Леонтий
РАКОВСКИЙ

ГЕНЕРАЛИССИМУС
СУВОРОВ
АДМИРАЛ УШАКОВ
КУТУЗОВ

ПОЛНОЕ
ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ
ТОМЕ

Издательство
АЛЬФА-КНИГА

Леонтий РАКОВСКИЙ

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ
АДМИРАЛ УШАКОВ
КУТУЗОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ

Леонтий РАКОВСКИЙ

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ
АДМИРАЛ УШАКОВ
КУТУЗОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ

Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2011

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Р19

Серия основана в 2007 году

Раковский Л. И.

Р19 Генералиссимус Суворов; Адмирал Ушаков; Кутузов: Исторические романы. Полное издание в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2011. — 1276 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0725-5

В настоящее издание вошли три знаменитых исторических романа известного русского писателя Леонтия Иосифовича Раковского (1896 — 1979), художественно ярко и с научной достоверностью повествующих о жизни и деятельности выдающихся русских военачальников. Судьбоносные победы армии и флота под их началом изменили ход истории России в конце XVIII — начале XIX века.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0725-5

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая
ПОДПОЛКОВНИК СУВОРОВ

I

Русская армия шла вперед.

Вся дорога, насколько можно окинуть глазом, была запружена повозками и пушками, людьми и лошадьми. Из лощины на гору, с пригорка в дол, сквозь перелески и буераки, мимо чистеньких немецких мыз и деревень бесконечной вереницей один за другим тянулись полки.

Побуревшие от солнца и пыли зеленые кафтаны мушкатеров и гренадер сменялись красными кафтанами артиллеристов. За однообразными васильковыми мундирами драгун и такими же однообразными колетами[1] кирасир плыли разноцветные — желтые, синие, красные, белые, голубые ментики[2] гусар. Казачьи бороды и скуластые лица башкир из легкой кавалерии мелькали и там и тут. В тучах густой пыли, поднятой тысячами людских и конских ног, тонули придорожные луга и поля.

Армия графа Салтыкова, разбив пруссаков под Пальцигом, продвигалась к Франкфурту-на-Одере.

Подполковник Александр Васильевич Суворов, прикомандированный в качестве дежурного офицера к штабу 1-й дивизии генерала Фермора, ехал по обочине дороги на своем неказистом на вид, но горячем донце. Генерал Фермор послал его подтянуть арьергард, и теперь Суворов догонял свою дивизию.

Суворов только что прибыл в действующую армию и с интересом наблюдал за всем. И в первый же день ему многое здесь не понравилось.

Армия двигалась очень медленно — часто останавливалась на дороге. То падал от бескормицы упряжный вол, то где-либо в обозе ломалась телега, не вынесшая далекого, тысячеверстного пути, и проходило несколько минут, пока фурлейты[3] не сбрасывали ее в

---

[1] Колет — куртка с короткими полами.

[2] Ментик — гусарская куртка.

[3] Фурлейт — обозный солдат.

канаву. То измученные, исхудавшие в беспрерывных походах артиллерийские лошади не могли втащить на гору двухкартаульную[1] гаубицу, пока ее красный лафет со всех сторон не облепляли артиллеристы.

И сразу весь этот поток останавливался. Повозки наезжали друг на друга, напирали на идущую впереди пехоту. В воздухе стояла ругань.

Эта медлительность, эти бесконечные остановки раздражали Суворова: в его представлении армия должна быть подвижной, быстрой, а на деле — она еле плелась, с трудом делая по восьми верст в сутки.

Энергичный, горячий Суворов не мог дремать в седле, как делали многие офицеры. И он был доволен, что генерал Фермор послал его с поручением к арьергарду.

Суворов видел всю армию на походе.

Его неприятно поразила необозримая вереница этих полковых и офицерских обозов.

Еще раньше Суворов знал, что в армии большой некомплект: много солдат осталось в России — «у корчемных сборов», «у соляных дел», «у сыску воров», «для поимки беспаспортных» и для прочих невоенных дел. В пехотном полку вместо положенных двух тысяч солдат едва насчитывалось полторы. И те совершенно тонули в бесконечном множестве колясок, повозок и телег.

Вслед за 12-й, мушкатерской ротой каждого полка обязательно тащилось больше сотни подвод.

Первой шла денежная палуба. На ней стоял окованный железом денежный сундук. Весь полк знал, что в сундуке пусто, но по обеим сторонам палубы, с фузеями[2] наперевес, брели двое мушкатеров.

За денежной следовала канцелярская, на которой, уткнувшись головой в мешок с овсом, безмятежно спал аудитор[3].

Дальше тянулись госпитальные повозки с легкоранеными, заболевшими, отставшими в пути солдатами, с полковыми фельдшерами и цирюльниками.

Тяжело поскрипывали провиантские палубы с мешками муки и солдатскими сухарями, — другого провианта не было. Тарахтели палубы с шанцевым инструментом. Белелись палаточные.

Полковой обоз кончался. За ним начинался самый многочисленный и пестрый — офицерский. Тут, в кибитках и колясках, ехали офицерские жены и любовницы. Повозки были набиты до-

---

[1] Картауль — калибр пушки, у которой бомба весила пуд.

[2] Фузея — ружье.

[3] Аудитор — военный чиновник.

верху разным домашним добром — кроватями, пуховиками. Более запасливые везли в клетках кур и гусей. Где-то визжал поросенок.

На повозках ехали и возле повозок шли сотни денщиков, поваров и прочих офицерских слуг, набранных из строевых солдат.

И наконец, весь полковой обоз замыкали роспуски с деревянными рогатками, которыми каждый полк ограждал себя на биваках и в бою от набегов вражеской конницы.

Суворов не мог видеть этих краснорожих денщиков и офицерских жен и старался поскорее проскочить мимо них, чтобы ехать возле рядов мушкатеров или гренадер.

Он нагнал пехотные полки 3-й дивизии графа Румянцова и ехал, невольно слушая, что говорят сбоку.

— Не перекладывай фузеи с плеча на плечо — легше не станет, — поучал какого-то, видимо, молодого, малохожалого солдата «дядька». — Коли вбилось тебе в голову, что тяжело, то хоть последнюю сорочку сыми, все тяжело будет!

В другой роте кто-то рассказывал, вспоминая:

— Отец мне и говорит: «Полно тебе, Лешка, баловать, пора умом жить. Я тебе сосватал Федосью». Бухнул я отцу в ноги: «Смилостивись, тятенька». А он и ухом не ведет. Всю неделю до свадьбы пропьянствовал без просыпу. Обвенчали. На другой день оглянулся я, да поздно. Жена — смирная, работящая, годов на десять меня старше. И бельмо на глазу. А мать у нее вовсе слепая. Парни смеются: у вас, говорят, на троих — всего три глаза. Озверел я. Избил жену и пошел на сеновал. Лежу и слышу — у нас на задворках бабы судачат: «Видала, Лешка-то свою хозяйку окстил? Знать, любит, коли бьет!» Я вскочил да в кабак. А потом повалился отцу в ноги: «Сдавай в солдаты, не то руки на себя наложу...»

Несколькими рядами дальше шел другой разговор:

— Подошву чистым бы дегтем намазать, да золой присыпать, да выставить на солнышко — всю Европу на них прошел бы, а то вон уже на подвертках иду!

Суворов поравнялся с Апшеронским полком, который шел непосредственно за полками 1-й дивизии. Подымались на гору, ехать быстро было нельзя.

Суворов смотрел на рослых, плечистых мушкатеров 1-й роты. Немного впереди него, крайним в ряду, шел молодой русоволосый солдат. Он то и дело подергивал плечами: видимо, с непривычки сильно резал плечи тяжелый ранец. Сосед рекрута, пожилой рябоватый мушкатер, поглядывал на него, а потом взял у молодого солдата с плеча фузею и негромко сказал:

— Ильюха, поправь ранец!

Рекрут сразу ожил, поднял голову и стал подтягивать ремни. Но в это время откуда-то из рядов раздался начальственный окрик:

— Иванов, зачем балуешь рекрута? Какой из Огнева солдат будет, ежели с фузеей не справится?

Рекрут торопливо потянул из рук старого солдата свою фузею.

— Егор Лукич, пущай парень хоть ремни-то поправит, — ответил рябой солдат.

Но Егор Лукич уже не слышал ответа: увидев, что возле его капральства[1] едет какой-то штабной офицер (у Суворова была повязка на рукаве), капрал продолжал показывать старание — распекал еще кого-то:

— А ты чего захромал?

— Пятку стер, дяденька.

— Обуваться не умеешь, мякина! Придем на место, салом натри — пройдет, — по привычке сказал капрал всегдашнюю в таких случаях фразу.

Рябой солдат усмехнулся и довольно громко заметил:

— Умный какой. Да кабы сало у кого было...

— Давно бы съели, — досказал за него сосед.

Поднялись на гору.

Впереди Суворов увидал знакомую картину. Над морем бесконечных повозок, палуб и телег возвышалась вереница верблюдов, — это шесть верблюдов вместе с двадцатью лошадьми везли багаж генерала Фермора: его роскошные палатки, мебель, кухонную и столовую посуду и многочисленных генеральских слуг.

Суворов покачал головой: «Нет, с таким табором не нагрянешь внезапно на врага! Восемь верст в сутки, помилуй Бог! Это не армия на походе, а барыня, едущая на богомолье!»

II

Мы во Пруссии стояли,
Много нужды принимали.

Солдатская песня

Мушкатер Ильюха Огнев, подложив под голову руки, лежал в тени палатки. Высоко вверху, как пушинка по воде, легко плыло белое облачко. Оно плыло в сторону Мельничной горы, к правому флангу, плыло на восток, на родину. Ильюха смотрел на него и с грустью думал все об одном и том же: «Вот облачко поплыло туда. Может, его увидят скоро и у нас, в Ручьях. Посмотрят на него. Мать, сестренка Любка, черноглазая Катюша...»

---

[1] Капральство — отделение.

Тоскливо сжалось сердце. Захотелось домой, в родную деревню, хотя Ильюхина жизнь и там была несладка — от зари и до зари гнуть спину на барщине.

Огнева только нынешней весной сдали в рекруты. Староста невзлюбил дерзкого, непокорного парня, которого бей не бей — он все свое.

«Вот погоди, в царской службе тебе хорошо перья пообломают!» — злорадствовал староста, когда Ильюху под истошный плач старухи матери и сестренки увозили из деревни.

В службе Ильюху действительно хорошо обломали. Два месяца гоняли с места на место по разным городам. Зуботычинами да палками учили постигать военную премудрость: как «метать артикулы», как заплетать косу да подвязывать порыжелые, никуда не годные кожаные штиблеты — других в цейхгаузе не было.

Наконец, решив, что достаточно обучили военному делу, отправили Огнева с пополнением к армии, которая уже второй год занимала Восточную Пруссию.

Ильюха был назначен в 3-ю дивизию графа Румянцова, в Апшеронский пехотный полк.

Русская армия в Ильин день заняла город Франкфурт-на-Одере и стала биваком на высоких, обрывистых холмах правого берега реки. Тут-то Огнев и нагнал свой полк.

Он попал в капральство Егора Лукича, старого, бывалого солдата, ходившего на турка, бравшего с фельдмаршалом Минихом Перекоп.

Егор Лукич любил покричать, но бил солдата меньше, чем другие капралы.

Ильюха Огнев оказался в капральстве Егора Лукича самым молодым: ему всего-навсего шел девятнадцатый год. Остальные подначальные Егора Лукича поседели на службе: кто тянул лямку уже пятнадцать лет, а кто — и все двадцать.

Старики давно свыклись с тяжелым солдатским положением. Большинство из них обзавелось женами и детьми — семьи жили вместе с ними в солдатских слободах или на обывательских квартирах, — и родные деревни как-то понемногу выветрились из памяти. Привыкшие к походной жизни, видавшие и Крым и Польшу, старые солдаты и за тысячу верст от родимого края чувствовали себя как дома.

Огневу же все здесь было непривычное и чужое. Непривычны были эти чистые немецкие мызы, эти ветряки, эти медлительные дородные немецкие девушки. То ли дело подвижная, смешливая ручьевская Катюша!

Огнев никак не мог свыкнуться с мыслью, что он на всю жизнь должен остаться солдатом. Пока Лукич учил его, как ставить палатку или как заряжать фузею («Не спеши! Помни: уронишь па-

трон аль два раза осечка будет — палок дадут!» — поучал старик), — Ильюха забывал о доме. Но стоило Огневу остаться наедине, как теперь, вот, и опять вспоминались родные Ручьи.

Ильюха лежал и живо представлял, что делается сейчас дома. Помещичье поле... Согнувшись в три погибели, бабы жнут яровое. Мать, проворная маленькая старуха, жнет ловко и быстро. Рядом с ней — пятнадцатилетняя Любка обливается потом, спешит, хочет не отстать от баб. Вдоль полосы едет верхом барский приказчик. Песья душа. Помахивает нагайкой, щурит коричневые злые глаза на согнутые бабьи спины...

— Черт косой! Портупея-то у тебя как? Потуже подтяни! — раздался где-то рядом начальственный окрик.

От Ильюхиных мыслей не осталось ни следа. Он с досадой приподнялся и сел. Глянул вокруг.

Из соседней палатки торчали чьи-то босые грязные ноги. В тени, под кустиком, пятидесятилетний мушкатер Зуев латал свои штаны. Штаны были когда-то, как полагается мушкатеру, из красного сукна, а теперь от множества заплат красное рдело на них лишь кое-где. Рядом с ним гренадер чинил башмак.

Русская армия сильно обносилась, обозы с амуницией все не приходили из России, а во Франкфурте в складах нашли только кирасы[1].

Дальше полковой цирюльник брил музыканта. Музыкант с зелеными суконными накладками на плечах — «крыльцами» — важно восседал на барабане.

А немного в стороне, на пригорке, денщик ротного чистил барский гардероб.

Ротный, в халате и туфлях, стоял тут же, покуривая и покрикивая на денщика.

Все то же, что Огнев видел в лагере на франкфуртских холмах каждый день уже в продолжение целой недели.

Откуда-то, из 3-й роты, доносилось:

— Скуси патрон, чтобы в зубах осталось немного пороху, всунь в дуло и прибей шомполом. Прибивай одним махом, а не так, как другой: возьмет и толчет, ровно крупу в ступе. Понял?

Это дядька обучал молодых, как заряжать фузею: в полках третья часть солдат была не обучена как следует.

«Все то же!.. Разве заснуть?» — подумал Огнев.

Но в это время его кликнул Егор Лукич:

— Огнев!

— Я тут, дядя Егор! — вскочил Огнев.

---

[1] Кираса — латы, металлический панцирь на спину и грудь.

— Сбегай, Ильюха, за водой. Глянь — Иванов опять тартофелю раздобыл! — сказал Егор Лукич, когда Огнев прибежал к капральской палатке.

Ильюха кинулся за башмаками, но капрал остановил его:

— Да беги босиком! Беги так!

Ильюха схватил котелок и побежал знакомой дорогой к ручью.

Апшеронцам, которые стояли на краю горы Большой Шпиц, против деревни Кунерсдорф, было сподручнее бегать за водой в деревню. Она лежала справа, между Большим Шпицем и Мельничной горой. В Кунерсдорфе были колодцы и три больших пруда. Но кроме апшеронцев и ростовцев, палатки которых расположились еще левее, ближе к оврагу, в деревне брал воду весь правый фланг, весь корпус князя Голицына. Помимо того, у деревни, на выгоне, разместился корпусной артиллерийский полк. Вся деревня была полна фузилерных и фурштатских служителей[1], фурлейтов и денщиков; всюду мелькали красные с черными обшлагами кафтаны артиллеристов. В больших кунерсдорфских прудах целый день купались солдаты, здесь же купали лошадей, стирали белье, мыли палубы и телеги.

К колодцу тоже было не протолкаться.

Ильюха решил бежать налево, на другой конец Большого Шпица, к ручью. Сюда собиралось меньше народа: вода в ручье была ржавая, болотная, берега — топкие.

Но Ильюхе вода нужна была не для щей, а только лишь для того, чтобы сварить эти «чертовы яблоки», как называли солдаты картофель.

Огнев здесь впервые увидал диковинное растение. Картофель понравился ему.

Ильюха готов был один съесть полкотелка, если бы Егор Лукич не покрикивал.

И как тут было не любить картофеля, когда изо дня в день варили пустые щи из лебеды и крапивы да одну и ту же ячменную кашу.

До смерти надоело! Правда, кроме водки и хлеба каждому мушкатеру полагалось еще в день два фунта мяса. Да откуда его возьмешь? Только в обозе, где резали упряжных быков, которые от бескормицы и худых дорог ежедневно падали десятками, ели мясо. Было оно и в офицерских котлах. Но в мушкатерских — не случалось. Оттого мушкатеры рады были картофелю.

Хотя у Франкфурта стояло больше сорока тысяч русских и около двадцати тысяч союзников-австрийцев и солдаты хорошо наведывались в поля и огороды форштадта, окрестных деревень и

---

[1] Фузилер — мушкатер, фурштатский — обозный.

мыз, но тороватый мушкатер Иванов все-таки ухитрился накопать полный котелок картофеля.

Ильюха бежал, утирая пот рукавом сорочки, — бежал без кафтана, в одном камзоле: все равно было жарко.

Июльское солнце жгло, как и все дни, немилосердно. Только когда оно спускалось туда, за самую высокую из всех трех гор — Еврейскую, где стояли левофланговые 1-я и 2-я дивизии, тогда становилось немного полегче.

Но до заката было еще далеко.

Огнев пробежал расположение соседей — своего брата пехоты, — пробежал мимо батареи секретных шуваловских единорогов. У каждой гаубицы дуло закрыто было медной покрышкой. Вокруг батареи, изнывая от жары, стояли часовые, чтобы никто не подходил к единорогам. Шуваловцы давали особую присягу — никому не рассказывать о секретных гаубицах, но вся армия давно знала, что у единорогов дуло не круглое, а такое, как яйцо. За батареей начиналась вся эта неразбериха полковых и офицерских обозов. На холме и в овраге теснились сотни повозок, палуб и телег.

Вокруг одной палубы толпились солдаты разных полков. Ильюха подбежал посмотреть, что там такое.

На палубе, свесив вниз ноги, сидел прусский перебежчик — большой плечистый мужчина лет сорока, со смешными, торчком поставленными маленькими усиками. Молодые солдаты, которые еще ни разу не видали прусских гренадер, лезли вперед, чтобы получше разглядеть гостя. А старики, покуривая, стояли в сторонке. Разговаривали:

— Не спорь — пруссак лучше нас стреляет...

— Да ты скажи, почему?

— Потому что у тебя в патронной суме сколько пуль?

— Пятнадцать.

— А у него — больше.

— Так и у нас в обозе, в патронных ящиках, лежит по пятнадцати пуль на каждого солдата...

— Ладно. Ты спроси вот у него, у фурлейта, он те скажет, много ль у них на палубах патронов осталось.

— Петров, погоди, — вмешался другой солдат, — я вот что скажу. Эй, парень! — потянул он за рукав Ильюху, который стоял возле спорящих.

Ильюха обернулся.

— Ты в бою бывал? — спросил у него какой-то седоусый гренадер.

— Нет еще, — почему-то смутился Огнев.

— А стрелял когда-либо из фузеи, хоть раз?

— Нет, не стрелял. Дядя Егор только приемы показал...

В толпе захохотали.

— Ну вот видишь! Много ль такой попадет? А ведь, как говорится, выстрели, пули не поймаешь. И таких, как он, у нас чуть не половина.

— Старых солдат, немного осталось, — прибавил другой.

— В новом корпусе, что на правом фланге стоит, рекрутов — целые роты.

Огневу этот спор был неинтересен. Он понемногу протискивался вперед, поближе к палубе.

Возле палубы стоял какой-то аудитор. Он служил переводчиком между пруссаком и русскими солдатами, которые задавали ему вопросы. Перебежчик словоохотливо говорил.

Ильюха во все глаза рассматривал немца.

— Ишь ведь по-каковски лопочет, а не собьется! — сказал кто-то из стоявших впереди Ильюхи.

— Тише! Погоди ты! — зашипели на него соседи: все внимательно слушали аудитора, который переводил, что сказал немец.

— У них, говорит, ни минуты свободной нет. Солдат должен весь день что-либо делать. Так стоять без работы, как мы сейчас стоим, у них не позволили б. То фузею смазывай, то ремни бели, то пуговицы начищай. Не справишь чего — бьют палкой. У каждого капрала — палка. Вот он ей и охаживает.

— Наши капралы неплохо и без палки бьют! — вполголоса сказал кто-то.

— А спроси у немца, за какие провинности бьют? — крикнули из толпы.

Аудитор перевел вопрос. Пруссак улыбнулся и что-то быстро ответил.

— Он говорит, что у них — всякая вина виновата. И старший — всегда прав. Слова против него не скажи, — насмерть убьет и отвечать не будет!

— Вот и служи!

— Хороша жизнь, нечего сказать!

— У нас бьют, так куда денешься: служба! А они ведь все наемные. За деньги служат! — говорили в толпе.

Ильюхе Огневу страсть хотелось больше бы послушать, да нужно было бежать за водой: Егор Лукич за пожданье тоже не помилует.

И Огнев стал выбираться из толпы.

III

Суворов в первый раз присутствовал на военном совете.

На дворе было ослепительное солнце, а в столовой палатке главнокомандующего, обитой голубой парчой, горели свечи. Вокруг большого обеденного стола, на котором лежала карта Франкфурта

и его окрестностей, сидели все старшие начальники русской армии: сам главнокомандующий, маленький, весь седой старичок граф Петр Семенович Салтыков, его заместитель и начальник 1-й дивизии генерал Фермор и командиры остальных дивизий — генерал-поручик Вильбуа, Голицын и Румянцов.

Суворов с бумагами и карандашом пристроился на противоположном, свободном от карт конце стола. У его ног, под столом, лежали, высунув от жары языки, две борзые: Салтыков очень любил псовую охоту и, уезжая к армии, взял с собою свою любимую свору собак.

На совете говорили все о том же, о чем за два года войны с королем прусским Фридрихом II надоело даже говорить.

С начала вступления России в войну, с 1757 года, русская армия делала все, чтобы соединиться со своими союзниками — австрийцами. Заняв Восточную Пруссию, русские шли вперед, австрийцы же боялись отойти от границ Богемии, несмотря на то что их армия была втрое больше русской.

Когда десять дней назад, 20 июля 1759 года, Салтыков, взяв Франкфурт, очутился всего в семидесяти верстах от Берлина, австрийский фельдмаршал Даун не сдвинулся с места. Только двадцатитысячный отряд генерала Лаудона присоединился 21 июля к русским у Франкфурта и стал впереди левого крыла русской армии, на Красной мызе.

Сегодня, 30 июля, Салтыков получил от Дауна извещение, что главные австрийские силы могут перейти в наступление лишь соединившись с русскими. Даун требовал, чтобы Салтыков отступил назад, к Кроссену.

— Кроссен-де условлен для соединения. А занявши Кроссен, нашли мы в нем хоть одного австрийца? Выиграли такую наижесточайшую баталию под Пальцигом, взяли Франкфурт, ин — нате, извольте отступать! Это черт те знает что! — горячился Салтыков.

Генералы молчали. Все думали то же, что и главнокомандующий.

Румяный, пухлощекий Вильбуа, надменный в обращении с подчиненными, но подобострастный с высшими, угодливо кивал головой.

Умный Румянцов, опершись подбородком об эфес сабли, задумчиво смотрел на разостланную перед ним карту.

Начальник Обсервационного корпуса, добродушный князь Голицын, барабанил по столу пальцами. Он нервничал. В его распоряжении было много артиллерии — шуваловских секретных гаубиц. В бесконечных же переходах по тяжелым песчаным дорогам, при всегдашней нехватке фуража, ежедневно падали десятки лошадей и упряжных волов, а пушечные лафеты, расшатанные в бою при Пальциге и наскоро починенные в Кроссене, не выдержали перехода даже до Франкфурта.

Красивое, слегка бледное лицо Фермора кривилось снисходительной улыбкой.

Всего лишь месяц тому назад он сдал командование армией графу Салтыкову, согласившись при этом остаться его заместителем. Как ни писал Фермор императрице Елизавете Петровне, что эту замену «не токмо себе за обиду не почитаю, но, припадая к стопам вашего императорского величества, рабское мое благодарение приношу», а все-таки в душе был глубоко оскорблен.

И как было не обижаться! Его, генерала Фермора, которого хвалил сам фельдмаршал Миних, генерала, поседевшего в боях, заменили — и кем же? Ни разу не командовавшим войсками в бою Салтыковым, все достоинство которого заключалось лишь в том, что он был родственником императрицы.

Когда Салтыков, проезжая через Кенигсберг, ходил по улицам в своем белом кафтане без единого ордена, на Салтыкова обращали не больше внимания, чем на какого-либо полкового аудитора. Салтыков был прост во всем: в своей жизни, в обращении с людьми. Фермор же держал себя очень важно и любил пышность. Одевался Фермор всегда щегольски — в голубой кафтан с красными отворотами. Было душно, но Фермор сидел в парике, напудренный, аккуратный. И даже по кафтану у него сегодня шла через плечо голубая орденская лента.

Салтыков, разморенный духотой, небрежно расстегнул свой когда-то белый, но изрядно потемневший от ежедневной носки старый ландмилицкий[1] кафтан, который нашивал, еще командуя ландмилицией на Украине. Парика Салтыков сегодня вовсе не надел и время от времени вытирал платком голову, пухлое лицо и старчески сморщенную шею.

Фермор смотрел на главнокомандующего и ликовал: пусть-ка этот барин узнает, легко ли командовать армией, когда руки связаны, с одной стороны, петербургской Конференцией[2], а с другой — австрийским гофкригсратом[3].

— Что ж будем делать? — прервал молчание Салтыков. — Ну-с, господин подполковник, каково ваше мнение? — обратился он к младшему среди присутствующих.

— Идти навстречу врагу! — твердо сказал Суворов.

Все оглянулись на него; то, что сказал подполковник, противоречило общепринятым правилам тогдашней стратегии, казалось абсурдом.

---

[1] Ландмилиция — местное земское войско, организованное Петром I.

[2] Конференция — придворный военный совет, руководивший из Петербурга военными действиями русской армии за границей.

[3] Гофкригсрат – австрийский придворный военный совет.

Вильбуа смотрел на тщедушного подполковника с явным пренебрежением: какую чепуху несет человек!

Скромный князь Голицын, слабо разбиравшийся в военном деле, смотрел то на одного, то на другого из генералов. Он не был и не считал себя сам военным человеком. Он только подчинялся монаршей воле: императрица назначила его командиром Обсервационного корпуса, и Голицын послушно командовал.

Румянцов с интересом взглянул на малознакомого подполковника.

Фермор снисходительно улыбался: он уже немного знал быстрый нрав своего дивизионного дежурного штаб-офицера, был знаком с его странными стратегическими взглядами.

Салтыков же только тер голову и ухмылялся: ну и предложил!

— Господа генералы, ваше мнение? — глянул он на трех генерал-поручиков.

Первым отозвался Румянцов:

— Оставаться на месте и ждать короля.

— И я так думаю, — поддержал его князь Голицын. — Ведь позиция у нас почти неприступная.

Фермор скривил свое красивое лицо:

— Позиция имеет большой недостаток — фронт прорезывается оврагами, никакого сикурсу[1] дать друг другу будет невозможно.

Ему было смешно, что Голицын — начальник дивизии, а не понимает такой простой вещи.

— Вы не правы, Вилим Вилимович, — оживился Салтыков.

В глубине души он понимал, что Фермор прав, но недолюбливал его и хотел уколоть.

Салтыков, наклонившись над картой, ткнул в нее пухлым перстом:

— С левого крыла нас обойти, сами видите, нельзя — река Одра. А с правого — пусть обходит! Тут — речка, пруды, болота. Король любит драться на ровной местности, чтобы ему можно было поставить свои линии, а у нас здесь — горы да овраги.

Фермор молчал.

— Может быть, ваше сиятельство, еще укрепить фронт ретраншаментом?[2] — поспешил предложить угодливый Вильбуа.

Салтыков недовольно поморщился, махнул рукой:

— Э, сейчас незачем. Зря только солдат мучить. Подождем до утра: утро вечера мудренее! А что же все-таки предлагаете вы? — спросил он у Вильбуа.

---

[1] Сикурс — помощь.

[2] Ретраншамент — окоп.

— Подчиняться приказу Конференции и отступить к Кроссену, — ответил Вильбуа, поглядывая на Фермора, — поддержит он или нет.

— Самое правильное решение! — поддержал Фермор.

Салтыков вытер лицо платком, секунду помолчал, как бы собираясь с духом, а потом отрубил:

— Трогаться с места нельзя: тронешься, перемешаешь все полки — потом и за сутки в боевой порядок их не поставишь! Нет, уж будем стоять здесь и ждать короля!

— Простите; ваше сиятельство, а как же с обозом? Ведь у нас двадцать тысяч повозок. С этаким цыганским табором принимать бой на холмах? — горячо выпалил Суворов.

Его раздражала нерешительность Салтыкова. Петр I, у которого учился подполковник Суворов, говаривал: «Во всех действиях упреждать», а этот толстый барин вовсе не думает идти навстречу врагу, а собирается только обороняться.

— Подполковник Суворов прав, — первым отозвался генерал Фермор.

Фермор был доволен, что его дивизионный дежурный штабофицер так основательно поддел главнокомандующего. Но ему не понравилось одно: зачем Суворов обозвал весь обоз, и в том числе, стало быть, и его верблюдов, «цыганским табором»?

— Будем мы отступать или нет, а обоз надобно сегодня же отправить за Одер, — сказал Фермор.

— Совершенно верно. Немедленно отправить за реку! — спохватился Румянцов.

— Да, да, да, отправить! — поддакнул Вильбуа.

— Ну что ж, — спокойно, не торопясь, ответил Салтыков, — отсылать так отсылать. Завтра же и отошлем, — легонько ударил он по столу рукой.

Выходило так, что он и соглашался с Фермором, но в то же время поступал по-своему: отошлю, но не сегодня!

— А теперь, господин подполковник, — кивнул он Суворову, — давайте-ка объедем весь лагерь, посмотрим, как и что у нас! — поднялся главнокомандующий.

IV

Казачья лошаденка Суворова не отставала от статного арабского жеребца графа Салтыкова.

Они объехали весь фрунт русских войск от левого крыла на Еврейской горе, самом высоком и широком из франкфуртских холмов, до правого — на узкой площадке Мельничной горы, где под

мирными ветряками расположились десятки шуваловских единорогов Обсервационного корпуса.

Жеребец графа продирался сквозь кусты, спускался с обрывов вниз, в долину, подымался на кручи. Главнокомандующий хотел лично проверить, насколько болотисты берега речки Гюнер, сможет ли пехота «скоропостижного короля» — так звали Фридриха II при русском дворе — пройти здесь или нет. Осматривал, как круты спуски оврагов Лаудонгрунда и Кунгрунда, на что давеча так напирал осторожный Фермор.

Возвращались назад.

Крепкий жеребец графа легко вымахнул из Кунгрунда наверх, на Большой Шпиц, который лежал между Еврейской и Мельничной горами.

Салтыков остановился, снял треуголку и, вытирая платком мокрый лоб, сказал штаб-офицеру, поспевавшему за ним:

— Напрасно Фермор пугал: тут не то что мушкатеры, а и полукартаульные единороги пройдут. И через овраги можно получить довольный сикурс. Ну и погодка! — переменил он разговор. — Вот благодать какая!

— Жарко, ваше сиятельство, помилуй Бог, жарко! — согласился худощавый подполковник: плечи его кафтана были мокры.

— Бабье лето. Скоро и в отъезжее поле. Эх, хорошо! — мечтательно сказал Салтыков, глядя вниз на болотистую равнину, по которой текла речка Гюнер.

За Гюнером, по лугу, в ярких черно-красных доломанах скакали гусары.

— Ваше сиятельство, обратите внимание на гусар: нельзя разобрать — свои или немцы, — сказал Суворов. — Надо, чтобы гусары в отводных караулах носили на руке белую повязку.

— Да-да. Это верно. Отдай, голубчик, завтра приказ при пароле, — ответил Салтыков, трогая жеребца.

Они ехали сзади расположения апшеронцев. В стороне молодой мушкатер рубил тесаком рогаточные колья.

— Ах, стервец, посмотри, что он делает! — указал на мушкатера Салтыков. — Этак они все рогатки изведут! Поезжай, взгрей его!

Суворов дал шпоры коню и подскакал к мушкатеру.

Увидев подъехавшего офицера, мушкатер вытянулся, испуганно заморгав глазами. Суворов оглянулся — главнокомандующий скрылся за кустами.

— Что, кашу варить собираешься? — спросил Суворов.

— Никак нет, тартофель, — смущенно ответил мушкатер.

— Чего ж оробел? Руби смело! Тут не в степи с туркой воевать! А коли и налетит конница, у тебя штык есть. Он, брат, лучше всякой рогатки — и крепче и вернее! — сказал подполковник Суворов и поскакал догонять главнокомандующего.

...Ильюха Огнев никому не рассказал об этом странном происшествии. Мушкатеры потихоньку рубили рогаточные колья, но все ротное начальство, начиная с Егора Лукича, строго взыскивало за это, а тут на штабного офицера нарвался — и то ничего.

V

— Твой барин что, аль такой бедный? — спросил у суворовского Степки франтоватый бригадирский денщик, входя за ним в подполковничью палатку.

Денщик бригадира Бранта забежал вечерком покалякать с соседом и посмотреть, как живет новый штаб-офицер: подполковник Суворов прибыл в армию недавно, две недели тому назад.

— Не. А что? — удивился Степка. — Отчего ты так думаешь?

— Да как же не думать? Ты у него только один! Больше-то никого нет — ни повара, ни вестовых!

— Зачем? Я ж барину обед стряпаю. Казак еще есть, — ответил Степка, зажигая свечу.

— Казак? Это ж не барский человек. То ли дело у моего: денщиков — двое, вестовых — двое, опять же повар да цирюльник... Вот! — хвастался бригадирский денщик.

Он в один миг окинул взглядом скудную подполковничью палатку.

Никакой кровати не было. На земле лежала охапка сена, прикрытая простыней. В изголовье — подушка. Ни ковра, ничего. Стол, свеча в деревянном подсвечнике. На столе одни книги.

— Твой барин ведь майор?

— Ну, вот еще, — обиделся Степка. — Александра Васильич — подполковник, а не майор!

— Тогда и того плоше! — не унимался денщик. — Подполковник, говоришь, а погляди, на чем спит! — Бригадирский денщик указал на постель подполковника. — Да у нас у сержанта, у пьянчужки Сашки Коробова, и то лучше! Ни пуховика, ни перины! Какой же это барин, штаб-офицер? Да кто его отец?

— Наш старый барин, Василий Иванович Суворов — слыхал, может? — главный в армии по хлебной части. Вот кто! — обиженным тоном сказал Степка, встряхивая простыню и взрыхляя слежавшееся сено. — Да у нас, кабы мы только пожелали, пуховиков этих — тьфу!.. Отседа до самого Франкфурту ими устлали б! У нас, брат, деревни в Московской, Володимирской губерниях. Да еще дом в Москве у Никитских ворот. Наш батюшка-барин — генерал-майор, а он...

— Почему ж тогда молодой барин так спит? В карты продулся, что ли?

— Какое там! — отмахнулся Степка. — Вовсе не любит этого занятия.

— Так почему ж?

— А вот поди у него и спроси, почему? Он и дома у нас никак иначе не спал, как на полу и на сене.

— То-то мне фермерский Яшка шептал: к нам, говорит, прислали нового штаб-офицера. Маленький, худенький, говорит. Одна кожа да кости. Бедный, должно быть, аль пьяница. Халата, говорит, и того не имеет. У всех штаб-офицеров по две повозки с добром. Любомирский даже в три не вмещается, а этот, Суворов, ровно прапорщик последний: на одной повозке везти нечего. Чудно́.

— Ну и врет твой Яшка! — обозлился суворовский денщик. — Александра Васильич пьет вовсе мало. Одно верно: вещей возить не любит.

— Человек он молодой, а ни тебе зеркала, ни чего другого. Только книги, — не переставал подзуживать бригадирский денщик.

— Погоди, кажись, кто-то подъехал, — перебил его Степка и выбежал вон. За ним из палатки шмыгнул и его гость.

В ночных сумерках бригадирский денщик увидал небольшого человека, который быстро шел к палатке. Камзол его был расстегнут, шляпу он держал в руке.

— Степка, воды! — крикнул он на ходу.

Бригадирский денщик шмыгнул за палатку — хотелось послушать, что ж будет дальше.

В подполковничьей палатке упал, глухо звякнув шпорой, один сапог, потом другой. Еще мгновение — и тот же быстрый голос уже не в палатке, а где-то тут, в двух шагах, сказал:

— Лей! Только не на плечи, а на голову!

Послышался плеск воды.

— Хор-рошо, помилуй Бог, как хорошо!

— У меня еще одно припасено, — сказал Степка.

— Молодчина! Валяй!

Снова шум воды, довольное покрякивание, топот босых ног.

— Есть не буду — ужинал у графа. Ступай, спи!

Бригадирский денщик, улыбаясь в подстриженные на гренадерский манер усы, пошел прочь.

«Ну и барин! — думал он. — Помыться в такую жару хорошо, слов нет, но помыться, как пристало штаб-офицеру — в тазу, с мылом, с душистой водой. А он — из ведра. Ровно мужик, слезший с полка. И теперь завалится на сено. Чудак!»

И бригадирский денщик даже махнул рукой.

VI

После холодной воды приятно пощипывало тело. Веки закрывались сами. Устал за день. Хотелось спать. В голове — все то, что назойливо лезло целый день: «Мне бы сорокатысячную армию и кроатов Лаудона! Плевал бы я на всех Даунов! Сегодня же — на Берлин! Хоть там впереди король, хоть черт, хоть дьявол!.. Царь Петр ведь говаривал: «Во всех действиях упреждать». Конечно же — упреждать, а не стоять так в нерешительности, как Салтыков!»

Суворов улыбнулся. «Ретирада» — подлое слово! И еще — обоз.

Перед глазами одна за другой замелькали тысячи повозок, палуб, телег...

— Александра Васильич, — тихо позвал Степка: ему было жалко будить барина в этакую рань.

Суворов всегда спал очень чутко. Проснулся, отбросил простыню:

— Ась?

— Казак с донесением. От Туроверова.

Суворов вскочил и как лежал голый, так и выбежал из палатки.

Лагерь спал. Откуда-то снизу, из Кунерсдорфа, доносился одинокий крик каким-то чудом уцелевшего петуха. Долина за Большим Шпицем, озёра — все в белом тумане.

У палатки — бородатый казак.

— Какие новости, дядя? — спросил Суворов.

— Пруссак переправился через Одру, ваше благородие.

— Где?

— У Горитца.

— Все? И артиллерия?

— Конница перешла вброд, а пехота и пушки — по мостам понтонным.

— Так-так. Спасибо. Обожди, борода!

Суворов юркнул в палатку.

Степка хотел помочь барину одеться, но, как всегда спросонок, был дурак дураком: тыкался во все и только мешал. Барин за сапог — и Степка тогда за сапог. Степка хочет подать кафтан — глядь, а он уж в руках у барина.

Суворов вскочил, напяливая на ходу кафтан. Побежал.

У палатки главнокомандующего стояло двое часовых. Один сладко спал, опершись о фузею, другой крепился.

— Кто идет? — заорал он больше для того, чтобы разбудить спящего товарища. Затем, как будто сейчас опознав подполковника, отвел фузею в сторону.

В передней части большой палатки спал денщик. Суворов тронул его за плечо, но в это время ковер, заменявший дверь, откинулся, и Суворов увидал главнокомандующего. В стареньком шлаф-

роке Салтыков казался еще меньше, чем был на самом деле. Граф почесывался и зевал.

— Что случилось? — спросил он.

— Казак с донесением от Туроверова, ваше сиятельство.

— Снова перебежчик, или захватили пленных?

— Нет. Король переправился через Одер у Горитца со всей армией.

— Так и знал, — махнул рукой Салтыков. — А они давеча: отступать к Кроссену. Дураки!.. Мишка! — крикнул он денщику. — Буди адъютантов!

Салтыков вышел из палатки.

— Вон какой туман. День жаркий будет, — сказал он, но видно было, что думает о другом. — Вот что, батюшка! — Салтыков взял Суворова за пуговицу. — Весь обоз немедля — за Одру, к Шетнау. Поставить вагенбург[1]. Команду... — он на секунду задумался, — бригадира Бранта. Господину Лаудону со всем отрядом подняться на высоту. Тотчас же бить зорю. Весь фрунт повернуть кругом, вот сюда, на юг, — указал пальцем Салтыков. — Всем полкам строить батареи, ретраншамент. Отсюда до Мельничной горы. Вторую дивизию Вильбуа поставить в центр, к Румянцову. Его величество хочет взять нас с тылу? Ин тому не бывать!

VII

Повернись, моя дивизия,
Со левого крыла,
Что со левого со фланга
На правое крыло.
Не пора ль нам зачинать,
Свое дело окончать.

Солдатская песня

Ильюха Огнев проснулся, — били барабаны.

Он вскочил вместе со всеми. Хотелось спать, слипались глаза, еще плохо слушались пальцы. А тут приходилось возиться с пуговицами да подвязками. Надо было смотреть, чтоб, как учил Егор Лукич, задний шов штиблета проходил точно посредине ноги, чтобы пуговицы на боку были все застегнуты, а сам штиблет не вылезал выше колена больше чем на три пальца.

Ильюха одевался и все никак не мог разобрать, как барабанят: или в поход, или вставать. Словно бы и вчера таким же манером

---

[1] Вагенбург — обоз, построенный прямоугольником.

били, только сегодня почему-то немножко пораньше, — за Мельничной горой, на востоке, еще чуть начинало розоветь.

Спросить у Егора Лукича постыдился — отчитает: мушкатер, а сигналов не помнишь!

Шепнул тихо соседу Иванову:

— Дяденька, почему сегодня так рано?

— Стало быть, надо! — хмуро буркнул тот. — Пруссак, должно, близко.

— Мы в поход пойдем?

— Дурья голова, да разве не слышишь, что бьют? Зорю, а не генеральный марш. Значит, только подыматься, а что дальше будет, увидим!

Скоро всем стало ясно: велено было свернуть палатки и сдать все лишнее в полковой обоз. И полковые и офицерские обозы отправлялись за Одер. Уже с Еврейской горы, вниз, к Франкфурту, без конца тарахтели провиантские, канцелярские и палаточные палубы. Вся гора стояла в облаке пыли.

Солдаты складывались, живо обсуждая события:

— Это, брат, неспроста! Коли уж из обозов вагенбург делают, значит, пруссак недалеко!

— Не забудь, парень, чистую рубаху оставить, — сказал Егор Лукич Огневу.

— А я только собирался стирать. Экая досада, — чесал затылок Иванов.

— Помрешь и в немытой, — ответили сбоку.

— Глянь-кось, дяденька, — сказал молодой мушкатер из соседнего капральства, — сколько войска валит!

— К нам на подмогу, — ответил ефрейтор.

— Под наше крылышко.

— Так-то веселей.

С Еврейской горы через овраг Лаудонгрунд шла во взводных колоннах на Большой Шпиц 2-я дивизия Вильбуа.

— Не задерживай, получай шанцевый инструмент! — крикнул, проезжая верхом, какой-то молодой офицер из обоза.

Видно, доставалось сегодня всем, — галстук у офицера съехал набок, лицо было озабоченное, потное. Солдаты мигом разобрали топоры, лопаты, кирки.

— Становись в строй! — пронеслось по горе.

Гремя фузеями и шпагами, спешили на свои места, откашливались, пока можно, сморкались.

— Смирно! Сомкнись! Задние, приступи! Кругом!

Повернулись кругом, лицом на юг.

— Право — стой, лево — заходи!

Заняв свои места, стояли «вольно». Солдатам разрешили съесть по сухарю. Более запасливые, у кого в водоносной фляге

еще с вечера была припасена вода, пили эту теплую, невкусную воду.

Внизу, по кунередорфской дороге, одна за другой тарахтели подводы. Обоз Обсервационного корпуса тоже спешил убраться за Одер.

— С той стороны у нас позиция куда крепче была — болото, гнилой ручей, — хмуро заметил Иванов.

— Пруссак хитер — обходит нас с тылу, — прибавил кто-то.

— А мы его и тут нехудо встретим, — ответил Егор Лукич. — Вот сейчас окопов нароем, насыпем батарею, и — добро пожаловать, гости дорогие!

VIII

31 июля русская армия целые сутки укреплялась на франкфуртских холмах.

На южных склонах Еврейской горы и Большого Шпица и вокруг всей Мельничной горы рыли окопы, насыпали батареи. Мушкатеры, гренадеры, артиллеристы работали босиком, в одних штанах, сбросив не только кафтаны, но и камзолы. Вместо душных кожаных, с медными украшениями гренадерок одни по-бабьи повязали голову платком, другие, более сметливые, заранее взяли из обоза старые шляпы, а кто работал просто так, с непокрытой головой: грейся на солнышке, солдатская голова, может, в последний раз тебе на солнышке греться!

Красные и зеленые кафтаны и камзолы кучками лежали наверху, на горе, где среди фузей, поставленных в козлы, изнывали на солнцепеке часовые у полковых знамен, у казны, у пушек.

А те солдаты, которым уже минуло за пятьдесят, сидели на опушке франкфуртского леса, плели туры для песка и вспоминали далекое детство, как когда-то сиживали вот так же на пастьбе с огрызком косы и лыком.

Батареи насыпáли на всех возвышенностях, но главные, многопушечные батареи были на правом крыле, на Еврейской горе, и в центре, на Большом Шпице. Тут батареи насыпались по всем правилам. Апшеронский полк работал над большой батареей Шпицберга. Бригада Любомирского — пехотные полки Ростовский, Апшеронский и Псковский — занимала ретраншаменты слева от большой батареи Шпицберга, прикрывая ее.

Постройку большой батареи вел сам генерал Фермор. Следить за работами и указывать он оставил какого-то невзрачного, худощавого штаб-офицера.

Ильюха Огнев сразу узнал его, — это был тот самый подполковник, который вчера видел, как Ильюха рубил рогаточные колья. Солдаты в первую же минуту окрестили подполковника «бы-

стрым»: он делал все чрезвычайно быстро — ходил, говорил, указывал, где и как надо рыть.

Солдатам он полюбился.

Командир полка, как глыба, стоял где-то там, наверху, ленясь спуститься пониже, хорошо не видел, как и что делается, и только знал кричать да по-всегдашнему сулить палки и «сквозь строй», а сам норовил поскорее убраться в тенек. Этот же штаб-офицер, в расстегнутом камзоле, без галстука, с локтями, измазанными в глине, был тут, во рву. Говорил он с солдатами ласково, шутками, вместе с ними жарился на солнышке и вместе с ними пил из одного ведерка невкусную, пахнущую болотом, ржавую воду.

Ильюха Огнев работал в охотку. Работа была, не та непривычная, постылая — «подвысь» да «скуси патрон», — а настоящая, деревенская, досконально Ильюхе знакомая — с лопатой.

Солнце приблизилось к полудню, когда апшеронцы вместе с псковичами, ростовцами и артиллеристами заканчивали половину главной батареи. Худощавый штаб-офицер сказал:

— Доведете до куртины, будем полдничать.

И сам поехал на Еврейскую гору, должно быть, к Фермору.

Поднажали, довели до куртины. Ротные, смотревшие за работой, увидев, что урок выполнен, подались понемногу наверх, к кустикам. А солдаты, выравнивая и подчищая скаты, перекидывались словами:

— Вот толокá у нас сегодня!

— На такую толоку много водки надо хозяину припасать!

— Больше чарки все равно не дадут, а то сдуреете, как при Цорндорфе.

— Душно, хоть бы дождик пошел.

— Не будет дождя — петухи вчера не пели...

— Кому ж и петь, коли шуваловские секретно всех петухов порезали, — съязвил мушкатер.

— Да и вы, пехота-матушка, не поддадитесь! Тоже хороши куроеды! — не оставались в долгу артиллеристы.

— Сегодня один пел, ей-ей, пел, сам слышал — на часах стоял.

— А у вас рунд[1] ходил? Может, ты во сне это слышал?

— Ребята, потише — едут!

Говор стих. Лопаты заработали усерднее. Офицеры, как воробьи с куста, посыпались вниз к солдатам.

К главной батарее приближалась группа всадников. Впереди ехал седенький главнокомандующий. Глаза у него были красные, невыспавшиеся, — старый человек, а долгий летний день на ногах.

Подъехали, остановились.

---

[1] Рунд — пещерка часовых.

— Что ж, Вилим Вилимович, неплохо? — спросил Салтыков у Фермора, ехавшего рядом. — Половина штерншанца[1] готова.

— Да, в таких поспешных условиях, конечно, — уклончиво ответил осторожный Фермор.

— Ну вот, Александр Васильевич, пусть работают так и дальше, — обернулся Салтыков к худощавому подполковнику и поехал со свитой прочь.

Суворов остался у штерншанца.

— Ребята, давайте полдничать, — сказал он, спрыгивая с лошади.

IX

Счастие имеет для предводителей часто гораздо печальнейшие последствия, чем неудачи: первое делает их самонадеянными, последние учат их осторожности и скромности.

Фридрих II

Король Фридрих стоял наклонившись над картой. Косичка с концом, загнутым, точно крючок, смешно взметнулась вверх.

Голубая змея широкого Одера. Красные прямоугольники, словно кирпичи: Франкфурт. Штриховка холмов, как срез молодой сосны: Юденберг, Шпицберг, Мюльберг.

Решено: косвенный порядок такой, как при Лейтене. Правым крылом атаковать левое крыло этих варваров русских. Генерал Финк ударит с тыла. И они все полетят в Одер, в реку, к черту!

До последних слов думал, по старой привычке, на французском языке. Недаром язвительный Вольтер когда-то заметил, что при дворе короля Фридриха «немецкий язык сохранен только для солдат и лошадей». Но для последней фразы понадобились гневные выражения, и губы сами сказали по-немецки:

— Zum Teufel![2]

Он даже швырнул на карту карандаш, который держал в руке. Зашагал по палатке. Вот додумал — сразу зевнулось, захотелось спать. Но спать уже некогда.

«Ничего. Завтра, разбив Салтыкова, высплюсь!» — подумал он и улыбнулся.

Где-то в лагере взвизгнули, сшибаясь, жеребцы. Фридрих недовольно высунулся из палатки. Что там такое?

---

[1] Штерншанц — звездообразный окоп.

[2] К черту!

Ничего. Все как полагается. У потухших костров спят солдаты — кто сидя, кто лежа, не выпуская из рук фузей и сабель.

В предрассветной мгле маячат силуэты всадников: по лагерю ездят гусары. Смотрят, не крадется ли какой-нибудь солдат, собираясь удирать.

Правда, все давно предусмотрено королем: прусский лагерь никогда не располагается близ леса. Но эти солдаты! Прохвосты! Воры! Их нельзя посылать одних даже за соломой или за водой: разбегутся. Что ни шаг, нужен конвой. Сброд со всего света — итальянцы, швейцарцы, силезцы... Кого только не набрали, подпоив, посулив хорошую жизнь или просто избив до полусмерти, прусские вербовщики! Кого только не одурачили, не улестили воевать за Пруссию! Где ж тут наступать с ними ночью, да еще лесом!

Король Фридрих шагнул к карте. Облокотился. Ну да. Вот. У него прекрасная память. Он превосходно знает свою землю: вот он, франкфуртский лес! Конечно, этих прохвостов ночью в лесу не собрать. Они держатся только палкой да фухтелем[1]. Солдат должен бояться палки капрала больше, чем неприятеля. Эта его фраза всем известна.

Фридрих улыбнулся и зашагал. Однако тонко придумано. В самом деле: палки своего капрала они боятся больше, нежели врага! Враг — где он там еще, а капральская палка — вот она, вот тут! И что такое солдат? Зверь. Ничтожная часть механизма!

Внезапно он вспомнил. Похолодел. Шагнул к двери:

— Рудольф!

Перед ним вытягивается голубоглазый адъютант.

— Офицеры знают местность? Хорошо изучили?

— Изучили, ваше величество!

— Засады всюду расставлены?

— С вечера, ваше величество!

Фридрих поворачивается и шагает в противоположный угол палатки широким прусским шагом. Адъютант исчезает.

Офицер должен отлично знать местность — не для боя. Король сам ведет, король знает все. Им много знать не полагается. От офицера до последнего рядового никто не должен рассуждать. Но лишь исполнять, что приказано!

Они должны знать только то, что лежит под самым носом: где — овраг, где — рожь, чтобы, когда пойдут, не растерять, не оставить во ржи, в овраге ни одного солдата! И для того каждый раз, когда нужно проходить через овраг или рожь, в овраге, во ржи заранее делаются засады: ловить беглецов. Идут через лес — вдоль дороги скачут верные гусары. Они чистокровные немцы. На них

---

[1] Фухтель — плоская сторона сабли.

можно положиться. Тем более что за немца-гусара, если он сам убежит от фухтелей, от позитуры[1], отвечает головой его отец!

Засады не для русских. Не для передовых частей, этих нечесаных, лохматых казаков и полуголых калмыков, вооруженных — смешно сказать — луками и стрелами. Они способны только пугать ребят. Что стоят они по сравнению с его гусарами Зейдлица, лейб-кирасирами Бидербее!

Сегодня в бою они — кирасиры, драгуны, гусары — будут решать дело.

Салтыков, этот русский барин, которому как-то посчастливилось разбить под Пальцигом старика Веделя, — что он думает? Думает, что спасется на франкфуртских холмах? Гусары выгонят их с холмов, как гончие зайцев!

Он смотрит из палатки. Кажется, посветлело. Пора.

— Рудольф!

В дверях — голубоглазый адъютант.

— Поднять лагерь. Без барабанов!

Король Фридрих отходит внутрь палатки. Он слышит глухой стук: это, без барабанов, офицеры бьют палками сержантов, сержанты — капралов, капралы — солдат.

Пока можно не думать ни о солдатах, ни о лошадях. Можно думать об искусстве, о философии, о музыке. Думать по-французски...

X

Главные силы короля Фридриха обходили левый фланг русских. Впереди, в утреннем тумане, колыхались разноцветные значки эскадронов Зейдлица. За ними, вытянувшись в две линии, точно на параде в Потсдаме, шагали батальоны гренадер.

Маршировать было трудно: гренадеры шли своим обычным маршем — семьдесят пять шагов в минуту — по еще не сжатым полям ярового. Высокие стебли звонко хлестали по штиблетам, путались в ногах, задерживая шаг. Но капральские, сержантские, офицерские трости были каждую секунду наготове, и старые гренадерские ноги, маршировавшие уже не первый десяток лет, вышагивали привычно.

Озеро Бишофзее осталось справа.

Входили на опушку молодого леса. Запахло прошлогодними листьями, лесной сыростью. Несколько шагов — и первая линия пехоты уперлась в крупы лошадей: конница Зейдлица почему-то не подвигалась вперед.

---

[1] Позитура — положение тела, выправка.

И тотчас же войска расступились — со своим штабом проскакал вперед сам король. Черная треуголка у Фрица — как звали короля солдаты — была надвинута на левую бровь. Длинный нос стал оттого еще длиннее. Со стороны король казался одноглазым.

Но правый глаз смотрел зло, губы плотно сжаты: Фриц недоволен. Не миновать кому-то виселицы или, в лучшем случае, фухтелей!

— Ну что там? — гневно спросил король.

— Пруды, ваше величество, — ответил ехавший навстречу королю Зейдлиц.

— Какого черта пруды? Их здесь не должно быть!

Король дал шпоры коню.

Среди бурелома и кустов лозы в легкой дымке подымающегося тумана подковой изогнулся обширный пруд. Слева, рядом с ним, другой, а дальше, в просветах кустов, блестели третий и четвертый.

Король не верил глазам.

— Карту!

Адъютант передал с поклоном трубочку карты. Король развернул ее.

На карте на этом месте, кроме леса, ничего не показано. Взбешенный король рванул карту — она с легким треском разорвалась пополам.

— Обходить! Налево! Живей! — помрачнев, приказал король.

...Уже пять часов измученные люди и лошади обходили пруды. Обходили один, ждали, что он последний. Глядь, за ним светлеет другой...

Между небольшими прудами пробовали перебираться, но лишь завязили лошадей.

Солнце подымалось все выше. С каждой минутой становилось жарче, невыносимее. Накаливались бляхи остроконечных гренадерских шапок. Хотелось пить.

Люди шли обок воды, но нельзя было сломать строй. Отдохнуть, сделать привал — невозможно: никто не знал, скоро ли кончатся эти пруды. Может быть, вон тот — последний.

Король был невероятно зол: он терял время, он уже опаздывал — он приходил к Малому Шпицу позже, чем было условлено.

Финк на Третине в положенное время пробил зорю — обманывал русских, чтобы они думали, будто вся армия короля прусского стоит еще у Третина. Затем Финк, исполняя намеченный королем план, открыл артиллерийский огонь по Мюльбергу. Финк должен был делать вид, что пруссаки хотят атаковать Мюльберг от Третина.

Русские батареи отвечали без промедления. Канонада была в полном разгаре. В лесу от гула орудий стоял гром.

Изнывавшие от жары и жажды, голодные солдаты шли вперед. Наконец пруды кончились.

— Лес, лес! — пронеслось по рядам. Войска вытянулись в линию.

Но здесь, в лесу, всех задержала артиллерия: без дороги с пушками трудно было поворачиваться, приходилось то и дело выпрягать лошадей.

Солнце уже стояло почти на полдне, когда войска Фридриха II вышли наконец из лесу на простор кунерсдорфских полей.

XI

Работы в русском лагере закончились поздно ночью.

От плоских, торчком стоявших памятников-плит еврейского кладбища на Юденберге и до мельниц Мюльберга протянулась двойная линия окопов.

Как и в первоначальном положении фронта на север, ключом русской позиции оставалась высокая Еврейская гора. Еврейскую гору и соседний Большой Шпиц Салтыков укреплял лучше всего и здесь предполагал сосредоточить свои главные силы. Тесную же, узкую Мельничную гору, где по-прежнему оставались восемьдесят шуваловских гаубиц, занимало только пять мушкетерских полков недавно сформированного, мало обстрелянного Обсервационного корпуса.

Еще днем 31 июля, засветло, на Мельничной горе насыпали четыре батареи. Но за окопы смогли взяться лишь под вечер. Как ни торопились рыть их, а все-таки к ночи не успели закончить.

Фермор и князь Голицын настаивали, чтобы окончить окопы хоть на рассвете 1 августа, если позволит неприятель. Но Салтыков замахал своими пухлыми руками:

— Довольно и так. Пусть лучше солдат выспится перед боем — больше проку будет!

Салтыков уже к вечеру 31 июля знал, где находится король Фридрих, понимал, что Мельничная гора легко может быть окружена пруссаками, но не считал свое положение плохим. По его мнению, левый фланг был маловажен, и Салтыков решил не тратить много сил на его защиту.

Лагерь понемногу затих. Солдаты поужинали, надели к завтрашнему бою чистые рубахи и легли спать под густым августовским небом, по которому одна за другой падали звезды.

Спали недолго: Салтыков поднял армию на ноги в четвертом часу утра, — светлело, в любую минуту можно было ждать атаки. Солдаты успели сварить кашу и выпить по чарке водки, когда, в шесть утра, за Тюнером послышалась оживленная перестрелка.

Выстрелы всполошили всех:

— Пруссак идет! Пруссак!

Смотрели во все глаза из окопов и батарей. Но простым глазом ничего нельзя было рассмотреть. Только Салтыков и его штаб видели в зрительные трубы, как за Мюльбергом горели мосты через Гюнер, подожженные казаками, как, нахлестывая нагайками коней, мчались к лесу красные, синие кафтаны.

— Казаки, — узнал подполковник Суворов, стоявший в свите главнокомандующего.

Салтыков, вместе с начальником австрийского отряда генералом Лаудоном и начальниками дивизий — Фермером и Вильбуа, окруженный штаб-офицерами, сидел у своей палатки. Поодаль, в ложбине, вестовые держали наготове оседланных лошадей.

Подполковник Суворов стоял в стороне. Он не любил компании штабных офицеров и, как всегда, держался от них подальше.

Спустя немного времени на третинских высотах прусские барабаны забили зорю.

— Не обманешь, знаю! Дурачков ловят: барабаны бьют, а король-то уж за это время бог знает куда ушел, — усмехнулся Салтыков.

— Хитрость небольшая, — сдержанно процедил Фермор.

— Король считает нас маленькими детьми: он играет с нами в прятки, — твердо выговаривая каждое слово, отчеканил по-русски генерал Лаудон.

Он служил прежде на русской службе и правильно произнес всю фразу. Только последнее слово он все-таки сказал с мягким знаком: «прьятки».

В томительном ожидании прошло три часа.

Небо было безоблачно. Солнце палило немилосердно. Солдаты, разморенные, сидели в окопах. Старики, не раз бывавшие под пулями, дремали, а те, кто еще не видал боя, с волнением ждали решительной минуты. Артиллеристы сидели с зажженными фитилями в руках.

В девять часов с третинских высот ударил первый залп по левому флангу. Видно было, как у шуваловцев взлетел на воздух желтый зарядный ящик. От орудийной запряжки в шесть лошадей уцелела всего лишь одна. Обезумев от страха, она билась в спутанных постромках.

В ответ пруссакам по-особому глухо отозвались шуваловские единороги. На каждый выстрел пруссаков князь Голицын отвечал тремя. В одну минуту Мельничную гору заволокло черным дымом.

Канонада продолжалась уже больше часа, а пруссаки не думали штурмовать Мельничную гору. Только небольшой отряд пехоты попытался перейти на левый берег Гюнера, но был рассеян картечью.

— Пропал наш «скоропостижный» король, — сказал Салтыков, нетерпеливо шагавший по холму.

— Его величество обходит нас, — заметил Вильбуа.

Лаудон чуть сощурил свои большие умные глаза:

— О да, несомненно!

— Король ищет, откуда бы нас побольнее укусить, — говорил Салтыков, — да что-то не может выбрать места. Должен же он откуда-нибудь показать свой длинный нос — ведь скоро полдень!

В окопах и на батареях центра и правого фланга, куда не долетали прусские ядра, тоже подтрунивали над немцами:

— Потерялся пруссак!

— Как зашел в лес, так и заблудился!

— Он в своем царстве да заблудился, тогда что же нам делать?

— Вон Петрушка наш в бору у лесника дочку высмотрел. Полную неделю к ней бегал, штиблеты казенные изодрал, а ничего, ни разу не блудил!

Наконец на Малом Шпице показались пушки. С Клейстберга, искусно укрытая кустами, заговорила батарея.

— Ваше сиятельство, там пехота и конница, — доложил глядевший в трубу князь Волконский.

— Вижу, вижу! Наконец-то, голубчики! Заждались вас, — ответил Салтыков.

— Сейчас они атакуют наш левый фланг, — сказал Фермор.

— А я думаю, — возразил Салтыков, — не атаковал бы он с правого. Надо заставить его величество остановиться на левом!

Салтыков отнял трубу от глаз и обернулся к группе штабных офицеров.

Небольшой худощавый подполковник Суворов был расторопнее всех.

— Александр Васильевич, голубчик, — обратился граф к Суворову, — скачи на Большой Шпиц к Бороздину, пусть-ка он поскорее зажжет брандкугелями[1] деревню.

— Слушаю-с, ваше сиятельство!

Суворов кинулся к казаку, который держал его коня. Конь, спасаясь от надоедливых оводов, без устали мотал головой.

У батареи Бороздина Суворов на всем скаку осадил своего донца. Высокий сухощавый бригадир Бороздин с группой офицеров наблюдал за атакой Мельничной горы, которая обстреливалась пруссаками уже с трех сторон.

— Его сиятельство приказал зажечь Кунерсдорф, — сказал Суворов и отъехал в сторону от батареи.

Суворову хотелось, посмотреть, как зажгут Кунерсдорф. Артиллеристы давно стояли по обеим сторонам гаубиц, каждый на своем месте: кто у ганшпига[2], кто с прибойником, кто у фитиля. Между орудиями и зарядными ящиками томились в ожидании подносчики снарядов с кожаными сумками через плечо.

---

[1] Брандкугель — зажигательное ядро.

[2] Ганшпиг — деревянный рычаг для поворачивания хобота пушки.

— Брандкугелями по деревне! — зычно крикнул Бороздин.

Офицеры, окружавшие его, заторопились к своим орудиям.

Послышалась команда:

— Во фрунт!

Солдаты, стоявшие по обе стороны гаубиц, повернулись по команде лицом к орудиям.

— Бери принадлежность!

— Картуз!

Один миг — и картуз с порохом исчез в дуле. Прибойник прибил его до отказа.

Офицеры, наклонившись над единорогами, проверяли, правильно ли они наведены.

— Пали!

Все солдаты отступили на шаг от орудий.

Раздался оглушительный грохот. Волна воздуха качнулась назад. В лицо ударило гарью. Донец Суворова заиграл на месте, вскинув голову и нетерпеливо переступая ногами.

Дым понемногу рассеивался.

Суворов глянул вниз, в долину. Кунерсдорф горел в нескольких местах. Крытые соломой добротные избы сразу занялись огнем. При ослепительно ярком свете полуденного солнца это резвое, буйное пламя потеряло свой зловеще багровый цвет, каким привыкли видеть его ночью. Сейчас пламя было какое-то странно желтое, бледное. В клубах густого черного дыма оно едва было видно на солнце.

Из деревни к лесу бежали несколько человек.

Большинство жителей Кунерсдорфа еще с вечера убрались со скотом и пожитками во Франкфурт.

Суворов повернул донца назад. Отъезжая, он еще раз услышал знакомое:

— Картуз!

И еще раз все потонуло в грохоте.

— Здорово садят! — восхищались пехотинцы второй линии, мимо которых ехал Суворов.

— Горит-то как, ровно от молоньи!

— Глянь, Митрий, вон, у березы, та изба занялась, где нас с тобой старуха ни за что изругала, помнишь?

Суворов спешил на Еврейскую гору. Ему хотелось скорее вернуться к Салтыкову: может быть, главнокомандующий пошлет его с каким-либо поручением туда, в самую гущу боя.

В овраге между Большим Шпицем и Еврейской горой Суворов встретил австрийских гренадер — Лаудонов и Бранденбургский полки — и гусар Коловрата и Витенберга. Они направлялись на Большой Шпиц в подкрепление Румянцову.

В самом же овраге расположились русские — Киевский, Казанский, Новотроицкий кирасирские полки и Чугуевский казачий.

— А где же остальная конница? — спросил Суворов у казачьего сотника, поняв, что Салтыков спешно произвел перегруппировку.

— Драгуны и конногренадеры пошли в тот овраг, в Кунгрунд, а гусары остались в резерве.

— Всё там же?

— Да, здесь, за правым крылом, — махнул нагайкой сотник.

Когда Суворов подскакал к палатке главнокомандующего, Салтыкову уже было не до Кунерсдорфа. Салтыков и вся его свита, не отрываясь от зрительных труб, с волнением следили за тем, как пруссаки атакуют левое крыло князя Голицына.

Соскочив с коня и бросив поводья казаку, Суворов тоже стал смотреть. Он впервые был в сражении. Впервые видел в действии знаменитую армию прусского короля.

Несмотря на сильный огонь голицынских войск, пруссаки уступами шли в атаку. По ровному полю двигались к Мельничной горе правильные ряды прусских гренадер. Высокие, плотные гренадеры шли плечом к плечу крепкой, сплоченной стеной. Когда кто-либо из этих великанов падал, на ходу сраженный пулей, строй не нарушался: ряды тотчас же смыкались, и вся эта непоколебимая, грозная стена продолжала так же безостановочно и неуклонно двигаться вперед.

Время от времени прусские ряды вспыхивали огнем: пруссаки стреляли залпами побатальонно.

«Возятся они там с фузеями. Только время тратят! В штыки бы сейчас! Хоть в одном месте пробить этот строй. И тогда пошло бы! Честное слово, пошло бы!» — думал Суворов.

Но голицынские гренадеры не двигались с места — они продолжали отстреливаться.

— Узнаю короля Фридриха — он бросил на Мюльберг все свои силы, — спокойно сказал хладнокровный Лаудон.

— Да их втрое больше, чем наших на левом фланге, — сумрачно процедил Фермор. — И к тому же Обсервационный корпус. В нем половина людей ни разу не была в бою.

Салтыков молчал. Он все еще не верил, что главные силы прусского короля направлены на Мельничную гору. Он ждал нападения на свой правый фланг.

Передние прусские шеренги скрылись в лощине. И тут вдруг русские орудия и фузеи разом умолкли.

— Что это? Почему они не стреляют? — гневно крикнул Салтыков.

Он отнял трубу от глаз и удивленно смотрел на всех.

— Ваше сиятельство, ретраншаменты, очевидно, так вырыты, что ни единороги, ни фузеи не достают в лощину, — ответил Фермор.

«Выдержат ли? Не побегут ли?» — с тревогой думал каждый, глядя, как русские в полном молчании мужественно встречают приближающуюся лавину прусских батальонов.

Пруссаки подходили к Мельничной горе не только с фронта, но и с флангов — от Третина и Малого Шпица.

«Как они стоят? Их сейчас же зажмут в тиски!» — подумал Суворов, глядя на голицынских мушкатеров.

В свите главнокомандующего тоже заволновались:

— Мушкатеров надобно поставить поперек горы!

— Неужто Голицын не догадается перестроить полки?

Все беспокоились о мушкатерах Обсервационного корпуса, которые оказались в весьма невыгодном положении: два полка из них были расположены лицом на юг, два — на север.

Наконец эту опасность поняли и на Мельничной горе: видно было, как засуетились, перестраиваясь, мушкатеры. Они становились поперек горы.

И в обычное время перестроение в русской армии происходило не слишком быстро и гладко, а под угрозой надвигающегося с трех сторон врага, в суете и поспешности, оно прошло еще хуже. Мушкатеры не столько переменили положение, сколько перемешались и сбились на середине горы.

А в это время шуваловцы, занимавшие самый фронт и принявшие на себя первый удар прусских батальонов, не выдержали их страшного натиска. Шуваловцы побежали.

Необстрелянные и плохо обученные мушкатеры князя Голицына не могли спасти положение. Еще несколько минут — и мушкатеры побежали вслед за шуваловцами вниз с Мельничной горы, к болоту.

Все левое крыло русской армии вынуждено было отступить.

XII

Король Фридрих сидел на ступеньках мельницы, под ее обрубленными картечью, в щепы поломанными крыльями. Он был, как всегда, наглухо застегнут. Черная шляпа нависала над левой бровью. Сухие пальцы сжимали трость.

Король Фридрих улыбался. Он улыбался одним своим широким ртом: войска короля одержали полную победу — все левое крыло русских было разбито.

Восемьдесят секретных шуваловских гаубиц, умолкнув, остались здесь, на Мюльберге. Часть из них прусские гренадеры, первыми вскочившие на батареи, сгоряча заклепали сами. У других были разбиты лафеты, и гаубицы валялись в песке вместе с людскими трупами.

Победа была полная.

Король Фридрих ликовал; он уже отправил гонцов с этим радостным известием в Берлин и к армии в Саксонию.

Напрасно русские перестроили на Большом Шпице свой фланг — ближайшие к оврагу полки поставили поперек возвышенности, как раньше, на Мюльберге, сделал князь Голицын: гренадеры короля не шли вперед только потому, что Фридрих сам еще не знал, что предпринять.

Король Фридрих раздумывал. Генералы почтительно стояли перед ним.

Все они, кто еще сегодня не успел показать храбрость и силу своих солдат, как Зейдлиц и принц Вюртембергский, и кому уже пришлось хорошо поработать, как Финк, Шенкендорф, Линштедт, — все они в один голос говорили, что надо остановиться на Мюльберге и не идти дальше.

— Солдаты очень утомлены — они десять часов на ногах, пять часов в бою, — говорил Финк.

— Ваше величество, русские за ночь сами уйдут прочь. Им больше ничего не остается делать, — прибавил Зейдлиц.

Король иронически улыбнулся:

— Уйдут, чтобы завтра же снова прийти сюда.

— Они не скоро оправятся от такой конфузии: ведь уничтожено пятнадцать батальонов, — убеждал Линштедт.

— Ерунда! Враг еще силен. Посмотрите, как они стоят, — кивал на Большой Шпиц король Фридрих. — Господа, я вас не узнаю!

Улыбка разом исчезла. На лице короля все, за исключением длинного носа, сразу стало круглым: рот, глаза.

— Вы не хотите, чтобы я до конца воспользовался блистательной победой?

Генералы молчали, потея. Король сидел хоть и под разбитыми крыльями мельницы, но все-таки в тени, а им приходилось стоять на самом солнцепеке.

— Я понимаю вас, Зейдлиц: вам не нравятся эти озера и овраги. Вашим гусарам негде развернуться...

— Мои гусары пойдут туда, куда прикажете, ваше величество! — чуть вспыхнув, ответил Зейдлиц.

Король Фридрих пропустил его слова мимо ушей. Он сделал вид, что занят другим, — в это время к мельнице подъезжал тучный генерал Ведель.

— Вот посмотрим, что думает мой храбрый Ведель, — немного ласковее сказал Фридрих. — Мой Леонид, — прибавил он, позабыв на минуту, что этого «Леонида» только две недели тому назад Салтыков разбил под Пальцигом в пух и прах. — Генералы говорят, что нам следует остановиться здесь и не идти дальше. Что думаешь ты, Ведель?

Хитрый Ведель, весь век проживший при дворе, сразу, оценил положение. Он отлично знал короля Фридриха. Король был взбалмошен и упрям, как его покойный отец. Ведель знал, что если Фридрих задумал идти вперед, то никакие доводы и убеждения, никакая сила не собьют его с намеченного пути.

— Вперед! Уничтожить, истребить этих варваров! — театрально поднимая вверх руку, сказал Ведель.

Король Фридрих вскочил с места, шагнул к старому генералу и обнял его — уколол своей небритой щекой дряблую щеку Веделя. Так Фридрих целовался со всеми — даже со своей женой: губы король Фридрих оставлял для хорошеньких женщин.

Через минуту загрохотали барабаны: батальоны прусского короля снова пошли в атаку.

XIII

Когда голицынские мушкатеры, не выдержав натиска всей армии прусского короля, посыпались вслед за шуваловцами с Мельничной горы в болотистую долину Эльзбуш, Салтыков поехал со всем штабом на Большой Шпиц: он ждал, что теперь король будет атаковать центр его позиции.

Лаудон поскакал туда несколько раньше. На Еврейской горе остались Фермор и Вильбуа.

Фермор не вмешивался ни во что, стараясь все время держаться в тени. Суворов (по должности дежурного штаб-офицера 1-й дивизии он был обязан оставаться с Фермером) слышал, как Фермор с досадой в голосе говорил пухлощекому молодому генералу Вильбуа:

— Я ж его предупреждал... Теперь у нас позиция точь-в-точь как при Цорндорфе: мы прижаты к реке...

Подполковник Суворов томился на Еврейской горе без дела. Он ходил взад и вперед возле генеральской палатки и думал.

В полуверсте от него русские солдаты и офицеры дерутся с врагом, а он отсиживается тут вместе с генеральскими денщиками да поварами, которые, трусливо вытягивая шеи из-за палаток, глядят, не упадет ли где поблизости ядро.

Два года Александр Суворов всеми силами старался попасть в действующую армию, в бой, в огонь. Мужественно сражаться во славу отечества — это было целью всей его жизни, его давнишней мечтой. Сражаться и побеждать. Он с детства готовил себя к этому, когда целые дни просиживал за Плутархом, Корнелием Непотом и «Книгой Марсовой», рассказывающей о русских победах; когда в мечтах жил с великими полководцами — Петром I, Александром Македонским, Ганнибалом.

Русские войска уже два года ходили по вражеской земле, а он? Чем только не занимался он в эти два года!

Сопровождал батальоны пополнения из России в Пруссию, — бесконечные подводы, нерадивые ямщики, заботы о фураже и провианте, ветхое обмундирование солдат. Заведовал в Мемеле продовольственными магазейнами и гошпиталями, — папенька пристроил к хлебному делу. «Клистирная трубка вместо сабли!» — усмехнулся Суворов, вспоминая. Комендантствовал в том же Мемеле, — пьяные драки офицеров, жалобы жителей на военных постояльцев. Затем, когда уже сделалось совсем невмоготу, пристал к отцу с резонами, доводами, уговорами.

Василий Иванович не любил войны и жалел единственного сына:

— Где ж тебе переносить лишения походной жизни?

А он с детства приучал себя: спал на соломе, ел щи да кашу, закалялся — лето и зиму обливался холодной водой.

— Ты худ и слаб. Мал ростом...

— Так ведь не в прусской же армии служить! Это в Пруссии матери стращают ребят: «Не расти, а то тебя вербовщики в солдаты возьмут!» А к тому ж Фермор или тот же граф Салтыков — этакие, подумаешь, геркулесы!

Василий Иванович сдался. Поехал, попросил, чтобы его сына послали к армии, в Пруссию. Но Василий Иванович остался верен себе: пристроил Сашеньку опять на теплое местечко, в штаб 1-й дивизии.

«Тотчас же после баталии — рапорт! Проситься в полк, в роту — куда угодно! Чтоб только не киснуть больше ни в обозе, ни в штабе! Чтоб хоть раз побывать самому в какой-нибудь плохонькой стычке».

Отбросил эти мысли. Стал думать о другом.

Что сделал бы он теперь, будучи на месте прусского короля? Ударить на Шпиц от болота. С тылу захватить большую батарею Румянцова. Батарея обстреливает всю кунерсдорфскую долину. С гусарами врубиться на правый фланг. И тогда — помилуй Бог!

Но Фридрих, к счастью, этого не делал. Король Фридрих почему-то медлил, хотя Мельничная гора пестрела мундирами. Народу на ней было как на ярмарке.

Салтыков успел повернуть налево два крайних полка, стоявших на Большом Шпице, — Ростовский и Апшеронский. Они стояли теперь поперек возвышенности. Ростовцы и гренадеры мужественно отбивали все атаки пруссаков, которые пытались пробиться на Большой Шпиц с фронта, через крутой овраг Кунгрунд.

Тем временем такое же поперечное положение постепенно принимали все полки второй линии. За ростовцами и гренадерами уже образовалось несколько рядов пехоты.

И тут Фридрих снова бросил войска в атаку.

На самом краю Мельничной горы, в кустах, пруссаки поставили батарею. Она била навесным огнем по Большому Шпицу. Ядра ложились в густых шеренгах перестроившихся мушкатеров. Вслед за этим от Третина показались батальоны пехоты. Слева от них ярко заблестели на солнце, зажелтели латы кирасир принца Вюртембергского.

Пруссаки перешли болотистый Гюнер и направлялись в обход Большого Шпица: шуваловцы, бежавшие с Мельничной горы по этому кочкарнику, показали прусскому королю, что берега Тюнера не так уж непроходимы, как он раньше думал.

На Большом Шпице засуетились. Было видно, как артиллеристы Бороздина, точно муравьи, облепив тяжелые гаубицы, спешили переставить одну батарею из центра горы на ее северный склон.

Нахлестывая нагайкой коня и болтая локтями, к Фермеру прискакал один из адъютантов Салтыкова: главнокомандующий требовал подкрепления. Азовский и Низовский полки, стоявшие на самом краю Еврейской горы, бегом бросились к Большому Шпицу.

Пруссаки шли быстро. Кирасиры держались ближе к оврагу Кунгрунд, видимо намереваясь ударить во фланг первой линии пехоты, которая стояла поперек Большого Шпица. А гренадеры забирали несколько правее, где в настороженной тишине поджидали их Азовский и Низовский полки, стоявшие в первой линии.

Последние ряды азовцев и низовцев как добежали до гребня, так сразу и плюхнулись на колени, готовясь стрелять.

Прусские гренадеры двигались уступами по два батальона.

Суворов с большим любопытством смотрел в трубу на пруссаков.

Он снова видел эту безукоризненно ровную линию их рядов, их четкий шаг.

«Машина! Помилуй Бог, машина! Бездушная, бессмысленная! Ерунда! Фокусы! Пустая затея», — злился он.

Суворову не нравилась эта прославленная прусская линейная тактика: она отжила свой век и для русской армии не годилась.

«Солдат идет как заведенный, сам не ведая, куда и зачем. В голове только одно: как бы линию соблюсти. А когда вдруг очутится один, будет ли тогда знать, что делать? Вот дойдут сейчас до кустиков да овражков и рассыплются кто куда. Ох, дали бы мне хоть полк! Я бы всю эту прусскую позитуру — в кашу!» — думал он. Суворову даже не стоялось на месте.

А гренадеры продолжали свой затверженный, под палкой заученный шаг. Они шли без единого выстрела, спокойно, как на ученье. Издалека доносился грохот их барабанов. Затем барабаны

умолкли. Залились гобои. Они играли гимн: «Ich bin ja, Herr, in deiner Macht!»[1]

И тотчас же гренадеры открыли огонь. Пруссаки стреляли, правильно чередуясь: пять-шесть шеренг выбегали вперед и давали залп. Пока эти, стоя на месте, заряжали, сзади, на смену им, выбегали вперед следующие шеренги.

Суворов не отрывался от трубы. Он видел, как первые ряды пруссаков, сломав всю свою безупречную линию, карабкались наверх по обрывистым склонам Большого Шпица.

«Вот теперь каждый из них сам за себя, в одиночку! И только кинуться на них в штыки хорошенько — и конец всей их хваленой силе!» — думал он.

Пруссаки привыкли к тому, что враг обычно не выдерживал неуклонного, размеренного движения их батальонов и бежал с поля, не доводя дела до рукопашной схватки. Но этот враг оказался иным.

Бороздинские гаубицы были удачно поставлены: их ядра косили пруссаков. Гренадеры один за другим падали вниз, сбивая идущих сзади. Но все-таки батальоны, хоть и редея, продвигались вперед.

Горячий, нетерпеливый, Суворов не мог видеть, как пруссаки идут, а русские спокойно стоят и ждут, вместо того чтобы самим кинуться навстречу врагу.

«Нет, нужно переучить, переделать всю армию!» — думал он.

Среди визга ядер и свиста пуль прокатилось «ура»: азовцы и низовцы встретили пруссаков в штыки. Прусская пехота дрогнула и побежала с горы.

— Вот так! Вот молодцы! Наконец-то сделали по-русски! Штыком их! Штык не выдаст, это не пуля! — восхищенно говорил Суворов.

Здесь уже все было в порядке. Суворов перевел зрительную трубу направо. Прусские кирасиры мчались вперед. Крупные вороные кони легко скакали через бугры и ямы. Кирасиры заезжали во фланг новгородцам.

Новгородцы дрались уже на два фронта: отбивали прусскую пехоту, которая яростно наседала на них со стороны Мельничной горы, и отстреливались от кирасир.

Несколько лошадей со своими грузными всадниками покатились под откос. Уже кое-где в кустах желтели окровавленные, пробитые пулями кирасы. Еще один прыжок — и вороные кони кирасир встали на гребне Большого Шпица. Засверкали палаши. Прусские кирасиры рубили новгородцев.

Новгородцы попятились назад. В образовавшийся пролом тотчас же кинулась из Кунгрунда прусская пехота, которая атакой в лоб не могла сюда взобраться.

---

[1] Господи, я в твоей власти! *(Нем.)*

Неприятель был уже на Большом Шпице.

«Что же это? — встрепенулся Суворов. — Поражение?» Кровь бросилась ему в лицо.

Первая мысль была — вскочить на своего донца и мчаться туда, наперерез этим высоким вороным коням.

Он оглянулся на Фермора. Фермор, не отрываясь от зрительной трубы, что-то быстро говорил генералу Вильбуа, тоже смотревшему вниз. Внизу снова прокатилось «ура».

По неширокой площадке Большого Шпица мчалась во весь карьер союзная конница. Яркие ментики австрийских гусар перемежались с васильковыми кафтанами русских драгун. Впереди, с поднятым палашом в руке, скакал генерал Румянцов. Сзади за ним мелькнул белый жеребец Лаудона.

Суворов опять поднес трубу к глазам.

Союзная конница плотной стеной летела навстречу рассыпавшимся по всему склону прусским кирасирам. Еще миг — и все потонуло в тучах поднятой пыли.

Суворов подбежал к Фермору.

— Ваше превосходительство, разрешите мне туда...

Фермор, ни на секунду не отрывавшийся от зрительной трубы, улыбнулся и весело сказал:

— Вы опоздали, Александр Васильевич. Свершилось невозможное: граф Румянцов и генерал Лаудон с тремя слабыми полками, кажется, опрокинули кирасир короля!

— Конечно, смотрите — пруссаки уже бегут! — подтвердил Вильбуа.

Суворов посмотрел вниз.

Ни пехоты, ни конницы неприятельской на Большом Шпице уже не было. Вороные кони рассыпались по всему склону, сломя голову летели вниз, к болоту.

«Вот это дело! Нет, проситься сейчас же в конницу! И только в легкую!» — твердо решил Суворов.

XIV

Зейдлиц со всей своей конницей целый день томился без дела на левом фланге пруссаков.

Впереди уныло торчали трубы сожженной деревни Кунерсдорф, откуда тянуло, как из овина, горьким дымком. Лошади стояли под седлом уже двенадцать часов. Всадники изнывали от жары и безделья. Работы не было, но она могла появиться каждую минуту. Зейдлиц ждал, что пехота Финка расчистит ему дорогу на Большой Шпиц, куда понемногу стягивались все русские войска. Зейдлиц разговаривал в кругу офицеров, изредка поглядывая на Мюльберг.

— Кто-то скачет к нам, — сказал полковник черных гусар.

Зейдлиц обернулся. Из мюльбергских кустарников выскочил всадник. Он мчался что было мочи. Все узнали Рудольфа, одного из адъютантов короля.

— Его величество приказал идти в атаку. Туда, на ретраншаменты! — указывая на Большой Шпиц, выпалил Рудольф и, не дождавшись ответа, повернул коня.

— Передайте его величеству, что еще рано атаковать Большой Шпиц! — крикнул ему вдогонку Зейдлиц.

Не успел ускакать первый адъютант, как за ним прискакал к Зейдлицу второй:

— Король требует немедленно атаковать Большой Шпиц!

Адъютант удивленно смотрел на спокойное лицо Зейдлица.

«Фриц сегодня окончательно сошел с ума», — подумал Зейдлиц, но ответил:

— Передайте его величеству — еще не настало время для атаки.

И, вынув трубку, Зейдлиц стал спокойно закуривать.

Кирасиры, стоявшие в передних рядах, с интересом ждали, что выйдет из этой стычки Зейдлица с королем.

Не прошло и десяти минут, как на взмыленном коне показался все тот же Рудольф. Он был без шляпы, взлохмаченный и красный. Задыхаясь от волнения, он прерывающимся голосом выпалил:

— Его величество очень недоволен! Его величество велел сказать так: «Ради самого черта, пусть Зейдлиц идет в атаку!»

Впереди — кунерсдорфские пруды; стало быть, развернуться для атаки можно лишь за ними, на полях.

Впереди — перекрестный огонь сильных русских батарей и ретраншаментов, из которых все так же торчат треуголки пехоты и настороженные дула тысячи фузей.

Впереди — рвы, профиля которых Зейдлиц не знает. Атаковать конницей Большой Шпиц пока что безрассудно, но атаковать приказывает король. Зейдлиц бросает недокуренную трубку, вздыбливает коня и выскакивает перед фронтом.

— За мной, друзья! — кричит он, выхватывая палаш.

Король может быть доволен: конница Зейдлица пошла в немыслимую атаку.

XV

День понемногу проходил, а Ильюха Огнев еще ни разу не был в бою.

Апшеронцы, слева защищавшие большую батарею Румянцова, не трогались с места. Только тогда, когда на гору вскочили прус-

ские кирасиры, апшеронцам и псковичам было приказано на всякий случай подать вперед свой правый фланг.

Мушкатеры в сотый раз за день осматривали кремни у фузей, а Егор Лукич сердито таращил глаза, шептал, напоминая в последний раз Ильюхе:

— Ежели пехота — целься в полчеловека, а ежели гусар — бей в грудь коня!

У Ильюхи сильно стучало сердце. «Скорей бы уж, скорее!» Но и в этот раз не пришлось стрелять.

Мимо пехоты словно ураган промчались в атаку на прусских кирасир два полка русских драгун и австрийские гусары. Земля задрожала от топота сотен лошадей, далеко прокатилось громовое «ура», и конница скрылась в облаке пыли.

Очень скоро после этого апшеронцам и псковичам велели вновь занять прежнюю позицию: пруссак был прогнан с большим уроном.

Мимо них проехал окруженный генералами главнокомандующий граф Салтыков.

— Победа за нами. Враг бежит, ребятушки! — говорил он солдатам, широко улыбаясь и размахивая треуголкой.

Солдаты оживились, повеселели. После того как пруссаки заняли Мельничную гору, в ретраншаментах все сидели молча, нахохлившись. Ждали беды. Теперь же, после первой за день удачи — отбитой яростной атаки пруссаков, — все заговорили:

— Пруссак только хитростью берет. Ровно собачонка — то с энтого боку цапнет, то с другого. А как чуть доведется сойтиться, всегда наша возьмет!

— Куда немцу против русского!

И тут вскоре Ильюхе Огневу впервые пришлось стрелять по врагу.

Из-за кунерсдорфских огородов, таких знакомых русским солдатам, показалась конница. Кунерсдорфское поле разом зацвело тысячами разноцветных мундиров, запестрело воронЫми, серыми, гнедыми лошадьми.

— Кони-то, кони, гляди! — не выдержав, восхищенно причмокнул кто-то сзади за Огневым.

— Застоялись. Выехали размяться!

— Вот погоди, наша антилерия их тотчас... — начал чей-то старый голос, видимо бывалого человека, и не успел докончить: тут же, рядом, ухнули, ударили тяжелые картаульные гаубицы большой батареи.

Молодые мушкатеры зажимали пальцами уши, морщились, косясь на батарею. Ни пушек, ни людей не было видно: батарея вся скрылась в черном пороховом дыму.

За первым ударом бухнул второй, третий. Артиллерия била по прусской коннице, которая проходила на рысях между тремя кунерсдорфскими прудами.

Ильюха смотрел во все глаза. Вот один кирасир сунулся вниз головой с седла. Его высокая белая лошадь продолжала мчаться вместе с остальными всадниками вперед. Под другим ядро повалило коня. Кирасир успел удачно соскочить, но прыгать ему пришлось в пруд. Кирасир, в забрызганных грязью белых лосинах, стоял по колено в воде, не зная, как выбраться: мимо него взвод за взводом скакали драгуны, гусары.

Ядра косили прусскую конницу Зейдлица. Узкие проезды между прудами с каждой минутой все больше и больше загромождались трупами людей и лошадей. Гусары, шедшие последними, перепрыгивали через эти препятствия на своих легких буланых лошадках.

И все-таки сотни кирасир, драгун, гусар благополучно проскакивали между прудами и под огнем выстраивались по эту сторону прудов.

— Оправляй замки, кремни! Готовься к стрельбе! — хрипловато крикнул тучный командир полка, улучив момент, когда соседи — большая батарея — заряжали.

И тотчас же к гулу тяжелых единорогов примешался непрерывный треск фузей: все пехотные полки южного склона стреляли по коннице Зейдлица, которая готовилась идти в атаку.

Огнев в семнадцать приемов, как учил Егор Лукич, быстро и точно заряжал. Не спешил выстрелить в одиночку, ждал команды. Стрелял без осечки.

Снизу на них, на большую батарею и на ретраншаменты, летели три линии прусской конницы. В вечернем солнце зловеще блестели клинки палашей и сабель.

«Доскачут или нет?» — билась у Огнева мысль.

Вот всадники еще ближе. Уже можно различить их сведенные злобной гримасой лица, кричащие рты.

Еще залп. Еще раз из всех единорогов хлестнула картечью большая батарея.

Поспешно зарядив фузею и не слыша над ухом команды «пали», Ильюха Огнев посмотрел вниз. Прусская конница, сломав все свои три линии, в беспорядке скакала назад, к предательским кунерсдорфским прудам. А сзади за нею с гиканьем и криком «ура» мчалась русская и австрийская конница.

— Ну, теперь нарубят капусты! — сказал кто-то.

— Не лишь бы какой — пруцкой! — прибавил Егор Лукич, вытирая рукавом кафтана лоснящееся от пота, коричневое от загара лицо.

XVI

Ой мы бились, рубилися
Четырнадцать часов.

Солдатская песня

Подполковник Суворов наконец-то попал в самый огонь. Полки генерала Фермора тронулись с Еврейской горы. К Фермору подвели его кровного жеребца, он сел и поехал через овраг на Большой Шпиц. Суворов поехал вместе с ним.

Вокруг них, справа и слева, гремя фузеями и шпагами, сыпались с Еврейской горы в овраг, карабкались на склоны Большого Шпица солдаты. Они измучились, стоя целый день под палящим солнцем, не ели с самого утра. Лица их посерели от пыли, из-под тяжелых кожаных гренадерок тек пот, но солдаты поспешали, торопились на Большой Шпиц; все чувствовали — настал решающий час боя.

Въехали на гору. Большой Шпиц был весь заставлен войсками. Сквозь клубы и завесы порохового дыма там и тут сверкали огни единорогов. Воздух сотрясался от гула пушек. Визжали ядра, тонко пели проворные пули.

Подполковник Суворов был счастлив: наконец-то он слышал вокруг себя свист пуль. На его худых щеках играл румянец, большие голубые глаза блестели.

Фермор подъехал к главнокомандующему, который стоял на пригорке, окруженный генералами. Здесь были Лаудон, Румянцов и Вильбуа. Не хватало лишь одного князя Голицына, которого ранили еще до полудня при защите Мельничной горы. Граф Салтыков, красный и потный, растерянно смотрел вокруг.

После того как пруссаки отступили от Большого Шпица и засели в овраге Кунгрунд; а конница Зейдлица с большим уроном была отброшена назад, в баталии почувствовался какой-то перелом. Пруссаки больше не наступали, они отстреливались из-за кустов. Настала пора действовать русским. Солнце шло к закату, оставаться на ночь так, стоя друг против друга в нескольких саженях, было нелепо.

Лаудон и Румянцов советовали Салтыкову наступать, осторожный Вильбуа отмалчивался. Сам же Салтыков колебался, не зная, на что решиться. Он поджидал Фермора с его полками. Это был законный, уважительный предлог для того, чтобы хоть немного отсрочить решение. Салтыков боялся атаковать Фридриха II. Полководец он был неопытный и твердо помнил одно из основных правил линейной тактики: заняв крепкую позицию, не сходить с нее.

— Вилим Вилимович, вы уже здесь! — обрадовался он, увидев подъехавшего и слезавшего с коня Фермора. — Ну, что ж будем делать?

Суворов, спрыгнувший с коня раньше Фермора, не слышал, что́ тот отвечал главнокомандующему, — внимание Александра Васильевича привлекло другое: слева вдруг прокатилось громкое «ура» и раздался топот сотен ног.

И тотчас же это «ура» вспыхнуло правее, совсем недалеко от того места, где стоял Суворов.

В ленивую, затихавшую было ружейную перестрелку утомленной многочасовым боем измученной пехоты врезался этот задорный, полный бодрости и силы, подмывающий, зовущий клич. Забыв обо всем, Суворов побежал к гребню горы, откуда слышалось это «ура».

Пока генералы решали, как поступать дальше, солдаты 1-го гренадерского, стоявшие саженях в двадцати от врага и перестреливавшиеся с ним, не выдержали и бросились на укрывавшихся за кустами, уже потерявших прежний пыл пруссаков. Справа их примеру тотчас же последовали вологодцы.

Суворов подбежал к гребню горы, когда вологодцы, подняв за собой тучи пыли, только что кинулись вниз на пруссаков в штыки.

За вологодцами плотными рядами стояли знакомые апшеронцы, с которыми он вчера насыпал большую батарею. Подбегая к ним, Суворов издали увидал их сутуловатого, мешковатого полкового командира. Он сидел в сторонке на барабане.

По возбужденным лицам мушкатеров можно было видеть, что они готовы сейчас же последовать примеру вологодцев и только ждут сигнала к атаке. Минута была решающая.

Суворов не раздумывал. Он бежал к фрунту апшеронцев. Сутуловатый командир, увидев бегущего к полку штабного офицера, поднялся с барабана и заковылял на своих негнущихся, подагрических ногах.

Александр Васильевич раньше его выбежал вперед и, выхватив из ножен шпагу, закричал:

— За мной, ребята! — и побежал к оврагу.

Это было боевое крещение Суворова, но он не чувствовал никакого страха. Наоборот, здесь, под пулями, он стал более спокоен, чем был там, на горе, когда смотрел на бой в зрительную трубу. Суворов немного волновался, но к этому волнению примешивалось какое-то любопытство — поскорее узнать, испытать все самому.

— Ваше высокоблагородие, батюшка барин, бросьте этот вертел — вы же с ним пропадете! Возьмите хоть нашу солдатскую фузею! — совал ему в руки тяжелую, четырнадцатифунтовую фузею какой-то капрал, подбежавший к нему.

Суворов в одну секунду оценил услугу: капрал был — прав — что можно сделать с тонким клинком против штыка?

Он сунул шпагу в ножны и схватил фузею.

В двух шагах уже был овраг. Суворов обернулся к апшеронцам. На мгновение он увидел за собою плотную стену мушкатеров, их полные решимости лица.

— Ура! — закричал Суворов и бросился вниз.

За ним, обгоняя, ринулись в овраг апшеронцы. Кто-то упал, загремев фузеей и водоносной флягой. Кто-то крикнул сзади: «О господи!» — видимо, угодила пуля. Апшеронцы сбежали в овраг.

Пруссаки не выдержали натиска гренадер и вологодцев и попятились к Мельничной горе. На ее склонах кипел штыковой бой. Апшеронцы хорошо подоспевали на помощь.

Слева вновь прокатилось «ура»: русские полки атаковали пруссаков по всему оврагу.

Суворов легко бежал с фузеей наперевес: с горы ноги бежали сами. Шляпа давно слетела с головы, но он и не подумал ее подымать — хотелось скорее вперед. Он уже различал пруссаков. Рослые, плотные, они отчаянно отбивались от мушкатеров, но мушкатеры бесстрашно лезли вперед.

Неожиданно из-за куста на Суворова выскочил пруссак. Подвижный, ловкий Суворов, как опытный фехтовальщик, быстро отпрыгнул в сторону и ударил неповоротливого, тяжелого гренадера штыком в бок. Пруссак упал.

Суворов побежал дальше. Он видел, как впереди, в нескольких шагах от него, старик мушкатер боролся с пруссаком — оба старались вырвать друг у друга оставшуюся у кого-то в руках фузею. Небольшая канава отделяла Суворова от борющихся. Александр Васильевич прыгнул, но оступился и упал на одно колено. Падая, он увидел — что-то черное и большое метнулось к нему сбоку.

«Пруссак! Конец!» — пронеслось в мозгу.

Но над его головой раздался крик, и, больно задев Суворова, в канаву полетел пруссак: вовремя подоспевший русский мушкатер свалил его сзади штыком. Суворов вскочил на ноги и глянул на своего спасителя. Он без труда узнал в нем молодого мушкатера, рубившего рогаточные колья.

Пруссаков вблизи уже не было, — русские штыками теснили их выше и выше. С Большого Шпица с криком «ура» бежали новые полки.

Пруссаки лезли на Мельничную гору, которая и без того была переполнена войсками. Но и на горе не было спасения: батареи Бороздина, стоявшие в центре Большого Шпица, давно били продольным огнем по этому скоплению неприятеля. Ни одно ядро, ни одна картечь не пропадали даром.

Горела подожженная брандкугелями ветряная мельница. Густой сизый дым полз по горе.

Пруссаки заколебались, побежали с Мельничной горы вниз, к берегам болотистой речки Гюнер. Русские сидели у них на плечах.

XVII

Король Фридрих, без шляпы, в измятом, изодранном мундире, стоял один на пригорке и тупо, невидящими глазами глядел перед собой.

Мимо него, обезумев от страха, бежали его гренадеры, мушкатеры, егеря. Пришпоривая, нахлестывая нагайками, подгоняя палашами коней, скакали в одиночку кирасиры, драгуны, гусары. Побросав пушки, с обрубленными постромками, на тяжелых артиллерийских лошадях удирали фурлейты, канониры.

Никто не обращал внимания на короля. Еще так недавно — всего лишь час тому назад — в его руках была победа, была армия, была власть. А теперь не осталось ничего.

Его неустрашимая пехота была опрокинута русскими мужиками. Его прославленная конница разбита. Сам Зейдлиц и принц Вюртембергский тяжело ранены, генерал Путкамер убит, командир кирасирского полка Бидербее взят в плен казаками. Пушки застряли на берегах мелкой болотистой речонки Гюнер.

Все погибло. Не помогли ни капральская палка, ни его, королевские, угрозы, уговоры и просьбы. Он обещал награды, обещал увеличить жалованье, наконец, собственноручно колотил тростью бегущих. Все напрасно: остановить этот поток было невозможно.

Сбитые русскими штыками с Мюльберга, пруссаки бежали куда кто мог. В глазах у каждого светился страх. Уши ловили только одно слово: «казак». Из сорокавосьмитысячной армии спаслось немного: большая часть оставалась тут ранеными и убитыми.

Уже уходили последние верховые. Уже слышались казачьи крики и гиканье, когда наконец короля заметили. Пришпоривая измученного жеребца и в страхе ежесекундно оглядываясь назад, мимо пригорка, на котором стоял король Фридрих, промчался ротмистр Притвиц. Он не заметил бы короля, если бы скакавший сзади за ним гусар не крикнул:

— Господин ротмистр, вон наш король!

Король Фридрих не успел опомниться, как чья-то рука бесцеремонно схватила его поперек туловища и бросила в седло. Король лежал, точно куль соломы. Ни возражать, ни поправляться было некогда: казаки настигали беглецов.

XVIII

Полулежа на соломе в какой-то заброшенной лесной сторожке, король Фридрих едва нацарапал при свете сумерек две записки — одну в Берлин, другую генералу Финку, который унес-таки благополучно из Кунерсдорфа свой толстый живот.

Король отказывался от армии.

Армии, собственно, не было: из сорока восьми тысяч едва осталось три. Король поручал генералу Финку эти жалкие остатки.

«Я передаю ему армию, которая не в силах бороться с русскими», — писал он в Берлин.

Написав записки, король отвернулся к стене и вжал голову в плечи, стараясь поглубже уйти в воротник: даже голову нечем было покрыть, — шляпа короля осталась на поле сражения, там же, где остались 26 знамен, 2 штандарта и 172 пушки.

Офицеры на цыпочках вышли из халупы: король спит!

Но в эту ночь королю Фридриху не спалось. Эту ночь король Фридрих запомнил на всю жизнь.

XIX

После двенадцати часов беспрерывной пушечной пальбы, грохота взрывов, визга ядер и свиста пуль, после всей этой музыки ожесточенного боя наконец-то на франкфуртских холмах наступила тишина.

Сражение было окончено: пруссаки бежали. Преследовать их, рассыпавшихся по дорогам, полям и болотам, бросилась легкая конница, которая весь день простояла в резерве.

В бурной штыковой атаке все перемешалось. Сейчас нельзя было разобрать, где какая дивизия, какой полк, какая рота. Все перетасовалось: мушкатеры и артиллеристы, солдаты и офицеры, русские, австрийцы и пленные пруссаки.

Голодные, измученные солдаты рады были посидеть, отдохнуть, напиться ржавой болотной воды, съесть припасенный черный сухарь. Там и сям загорались костры из поломанных картечью зарядных ящиков и лафетов. Проголодавшиеся солдаты варили кашу. Многие, не дождавшись ужина, завалились спать тут же, среди убитых и умирающих.

Подполковнику Александру Суворову пришлось еще немного поработать: главнокомандующий Салтыков хотел немедленно же отправить императрице донесение о победе. Для этого прежде всего нужно было выяснить, сколько трофеев взято у неприятеля — пушек, знамен и пленных. Аккуратный штаб-офицер провозился с подсчетом довольно долго, — было уже за полночь, когда Александр Васильевич подъехал к своей палатке, остававшейся все там же, на Еврейской горе.

Он устал за этот бесконечно длинный, богатый впечатлениями день. Суворов лежал и думал.

До сих пор он только читал, а сегодня наконец-то сам участвовал в сражении, видел русского солдата и его начальников не в лагере или на вахтпараде, а в бою. И несмотря на то что сегодня русская армия разбила непобедимого «скоропостижного» короля, многое в русской армии не нравилось подполковнику Суворову.

Солдат, младший офицер были храбры, дрались мужественно. Русский солдат вызывал своей неустрашимостью и стойкостью только восхищение. С таким солдатом не страшен никто!

Зато возмущала нерешительность командиров — Салтыкова, Фермора и других, — их оборонительная тактика, их медлительность.

Один Петр Александрович Румянцов был среди них приятным исключением, — отважный, быстро схватывающий обстановку. В нем чувствовался настоящий полководец, у которого есть чему поучиться.

Суворова возмущали ненужные бесконечные обозы, сковывающие действия армии. Возмущало то, что на весь бой русскому солдату давалось всего лишь тридцать патронов.

«Все, все надо переделать! Не оставить камня на камне! — с жаром думал Суворов. — Надо приучить солдата идти только вперед! Вселить в него уверенность в победе! Надо выучить стрелять: пока русский мушкатер выстрелил раз, пруссак успевает — три. И надо обратить внимание на штык, недаром он сегодня решил исход боя. Русский солдат — землепашец; охотников, стрелков — мало. Значит, ему сподручнее штык!» — думал подполковник Суворов, ворочаясь с боку на бок.

Он был нетерпелив. Ему хотелось вот сейчас же взяться за дело, выучить русского солдата всему, что солдату необходимо знать.

Но пока он никого учить не мог. Подполковник Суворов служил дивизионным дежурным офицером и не имел в непосредственном распоряжении не только полка, но даже самого малого капральства.

Глава вторая

«СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

I

Мушкатер Воронов с неудовольствием думал о том, что ему сегодня вовсе не придется спать: его назначили назавтра в караул. Надо было чесать и завивать волосы, да не лишь бы как, а завить виски в три бумажки длиной, а букли чтобы не походили на сосульки. Это все в один час не сделаешь. Приходилось готовиться заранее, с вечера. А потом, причесавшись, маяться целую ночь без

сна. Уснуть было опасно: можно измять прическу. За это полагалось двадцать палок. Но бывали случаи и похуже: нахальные крысы отгрызали у спящих букли, которые густо смазывались салом и присыпались мукой. За испорченную буклю давали еще больше палок, чем за измятую.

Воронов сидел и расчесывал волосы.

Его товарищи по капральству тоже готовились к завтрашнему воскресному параду. Старый мушкатер полировал ружье, рядом с ним другой чернил суму, а трое сидели вокруг горшка с клеем — они белили амуницию.

Один только еще скоблил ножом перевязь; другой, отскоблив плащной ремень, макал палец в горшок и осторожно размазывал клей по ремню; третий, беливший портупею, уже посыпал мелко натертым мелом сверху, по клею.

Ванька Прохоров, молодой, недавно — уже после окончания Семилетней войны с пруссаками — взятый в солдаты, угрюмо чернил ложу ружья. Он не подымал ни на кого глаз. Верхняя губа и нос у Прохорова были вспухши, под глазами лиловели огромные синяки: капрал изувечил Прохорова за то, что он никак не мог постичь позитуру. Одно плечо у него всегда было выше другого, а когда маршировал с ружьем, то шатался из стороны в сторону.

— И что ты, Ванюха, такой косолапый? Другой в неделю всю позитуру поймет, а с тобой капрал, поди, уж третью бьется! — говорил солдат, беливший перевязь.

— Лучше б я цельный день каменья ворочал, — сумрачно ответил Прохоров. — Неспособен я к этому делу...

— Бьют, брат, везде! Такая уж наша солдатская доля! — сказал мушкатер, чернивший суму. — Теперь в каждом полку так: кто больше бьет солдата, тот, значит, лучший командир. Семь годов как повоевали с пруссаком, так научились у него этой премудрости.

— У нас еще что, — прибавил старый солдат. — А вот, сказывают, в Нашебургском полку станок такой есть: поставят солдата, завинтят его — и стой в станке пять часов!

— Это зачем же? — спросил Прохоров.

— Приучить, чтоб не гнулся, не горбился...

— А верно. Ведь как лубки впервой к коленям подвяжут, до чего неловко, а потом пообыкнешь и без лубков ходишь не сгибая колен, — согласился старый мушкатер.

— Воронов, к поручику! — крикнул издали капрал.

Воронов вскочил и стал торопливо приводить себя в порядок.

«Зачем это? — думал он. — Может быть, к себе в деревню отправит? Ведь плотника же выпросил у командира полка ротный пятой роты и отослал к себе в поместье. Куда бы ни послали, все лучше, чем в карауле стоять. Мундир, штаны тесны, ни повернуть-

ся, ни сесть. Жарко, сало с волос за воротник течет. Стоишь как огородное чучело. Бабы смеются».

И он побежал к ротному.

Но догадка Воронова оказалась неверной. Поручик ошеломил его: Воронова откомандировывали из Смоленского пехотного полка в Суздальский, который стоял на непременных квартирах в Новой Ладоге. Полковой командир обменял Воронова, который был сапожником, на гренадера-суздальца, умевшего хорошо завивать волосы. Полковник Суздальского полка, видимо, больше ценил сапожника, нежели куафера.

Воронов тут же получил ордер и должен был немедля отправляться в Новую Ладогу. Суздальский гренадер уже пришел в Шлиссельбург, в Смоленский полк.

— Авось там, в Суздальском полку, командир полегче, — сказал Прохоров, когда Воронов собирался в дорогу.

II

В Новую Ладогу Воронов пришел под вечер четвертого дня пути. Подходя к Ладоге, он у санкт-петербургской заставы увидал издалека на лугу ряды палаток.

«А где же у них плац? Где они маршируют?» — смотрел по сторонам Воронов.

Но нигде ничего похожего на плац-парад он не видел.

Удивляло Воронова и другое: в лагере было тихо — не слышалось ни ругани, ни палок.

В Смоленском полку эти вечерние часы, когда июльское солнце жжет не так сильно, считались самым лучшим временем для маршировки и ружейной экзерциции[1]. С двух часов пополудни и до заката гоняли мушкатеров по пыльному плацу. Отовсюду неслась отборная ругань. Ругались все — офицеры ругали солдат, полковник и секунд-майор перед всем фрунтом хорошо честили подпоручиков и поручиков.

А тут — стояла тишина. Только откуда-то доносился стук топоров.

Когда Воронов подошел поближе к лагерю, он увидал за палатками четыре свежих желтых сруба. Солдаты рубили, строгали. Несколько человек сваливали привезенные бревна. А немного поодаль, за срубами, виднелись тонкие деревца молодого сада. Капральства два солдат возились в саду — окапывали деревья, расчищали дорожки.

---

[1] Экзерциция — ученье.

У них, в Смоленском, полковник отправил всю 6-ю роту к себе в поместье под Новгород на сенокос, десятка два солдат выпросил у командира секунд-майор в свое имение.

«Не из Ладоги ли и сам полковник Суздальского полка? — подумал Воронов. — Наверное, ему и строят дом. И сад, должно быть, его».

Воронов подошел к ближнему срубу.

Постройку уже подвели под самую крышу — ставили стропила. Вверху, на последнем венце, с топором в руках сидели солдаты. Если б не кожаные гренадерки на головах, нельзя было б и сказать, что это мушкатеры: по положению, они с 15 апреля носили не красные, а белые штаны и ничем не отличались от обыкновенных мужиков.

Перед срубом, поставив ногу на свежее бревно, стоял спиной к Воронову небольшого роста человек в белой куртке. Он был без шляпы.

— Бог помощь! — сказал Воронов, подходя.

Человек, стоявший спиной к Воронову, обернулся. На Воронова глядели быстрые голубые глаза. Большой лоб человека был покрыт капельками пота.

— Спасибо, служивый! — ответил голубоглазый человек. — Откуда и куда путь держишь? Уж не из Смоленского ли полку?

— Так точно! — браво ответил Воронов, по привычке вытягиваясь и глядя, как велено в уставе: быстро и весело.

«Должно быть, сержант какой — смотрит за постройкой», — сразу мелькнула мысль.

— Прислали взамен прикмахтера.

— Да, да, знаю. Вот и хорошо, — улыбнулся голубоглазый человек. — Стало быть, ты сапожник?

— Сапожник, вашбродие.

— Водку пьешь?

— Пью, вашбродие!

— Звать как?

— Воронов.

— На ворона мало похож: курнос! — определил голубоглазый человек, оглядывая с ног до головы Воронова. — А ну-ка покажи, как у вас, в Смоленском, клинки точат? — неожиданно сказал он, шагнул к Воронову и сам выхватил из ножен его полусаблю.

Клинок был весь в ржавчине. Голубые глаза помрачнели и чуть прикрылись тяжелыми веками.

— Так и знал: эфес блестит — глазам больно, а клинок — помилуй Бог, какой! Хороши вояки, нечего сказать!

Воронов залился краской.

— У нас, ваше благородие, первое дело, чтоб эфес горел, — извиняющимся тоном сказал он, вкладывая клинок в ножны.

— А ружье как? — спросил голубоглазый, протягивая руку.

Воронов снял с плеча ружье.

— Ружье-то вычищено, — уверенно сказал он.

Голубоглазый человек повертел в руках ружье. Оно все гремело: в прикладе была высверлена довольно большая дыра, в которой перекатывались, звенели стеклышки, черепки.

Голубоглазый удивленно посмотрел на Воронова:

— Эти побрякушки зачем?

— Их высокоблагородие наш полковник велели так сделать, чтоб, дескать, громче было. Когда зачнем кидать ружье на плечо аль на караул, чтоб стучало, — все равно как орех щелкнул!

Солдаты молча улыбались. Голубоглазый человек неодобрительно покачал головой.

— А много ль раз за лето у вас в полку стреляли? — спросил он. — Поди, ни разу?

— Так точно, выше благородие, ни разу! — признался Воронов.

— Вот то-то! Ну, ничего, у нас постреляешь! Лети, Ворон! — кивнул голубоглазый человек, возвращая Воронову ружье. — Рост у тебя хорош, лети в первую роту к капитану Кутузову. Да ступай прежде всего к Волхову — умойся: ишь запылился как! Солдат должен быть чист, опрятен!

— Слушаюсь! — ответил Воронов, поворачиваясь кругом.

— Да запомни: пить у нас где хочешь пей, только не в кабаке! — крикнул он вдогонку Воронову.

Полчаса спустя Воронов, определенный в капральство и получивший место в палатке, шел с мушкатером к Волхову.

— Значит, это училище для полка строят, а дальше — полковые конюшни. И сад, стало быть, тоже полковой. Вон оно что-о! А скажи-ка, приятель, — расспрашивал он у мушкатера, — с кем это я разговаривал? В белом кафтане, без шляпы. Офицер он аль кто?

— Маленький, быстрый такой? Глаза голубые, а в лице худощавый?

— Во-во-во, — узнал по описанию Воронов.

— Это ж и есть наш полковой командир, Александра Васильич.

Воронов даже остановился от удивления:

— Вот те на — сам полковой командир!

И он тотчас же представил себе командира Смоленского полка фон Штраля: как тот со шляпой, надвинутой на левую бровь, идет с тростью по лагерю и даже не посмотрит на солдата. Что-нибудь спросит, а потом ткнет тростью в живот солдата и скажет зло: «Пшел!»

— А как полковнику фамилие? — спросил Воронов.

— Суворов.

«Он говорил давеча, что мое фамилие не по мне, — раздумывал, идучи, Воронов, — но и его ж не подходит к нему: ну какой же он суровый?»

III

Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но единственно смешанное с оною военное искусство.

«Полковое учреждение»

1-й батальон, с мокрыми от росы штиблетами, стоял в кустах, ожидая сигнала к атаке.

Солнце еще не взошло, но лес уже был полон птичьего гама, а над полями трепетали, заливались жаворонки.

Впереди расстилался обширный монастырский луг. Он весь был в росистой паутине, — прозрачная и тонкая, она висела на стеблях трав, на головках еще не скошенных цветов. Вдали, за лугом, на том берегу подернутой туманом реки, вырисовывались белые стены монастыря.

Мушкатеры, покашливая и перешептываясь между собою, стояли, ожидая, когда 2-й батальон выйдет на луг с противоположной стороны от реки. Командир полка, живой, непоседливый полковник Суворов, сам повел 2-й батальон в обход луга, чтобы потом, от реки, наступать на 1-й батальон.

Здесь, на просторном монастырском лугу, оба батальона суздальцев должны были сойтись в сквозной штыковой атаке: это было излюбленное, всегдашнее упражнение полковника Суворова.

Мушкатеру Воронову все еще было ново в этом полку. В Смоленском полку, где Воронов служил прежде, полковой командир помешался на всем прусском — позитуре, маршировке, ружейной экзерциции.

Прусский король Фридрих II, с которым Россия, провоевав семь лет, заключила по настоянию императора Петра III мир, теперь не выходил у всех начальников из головы.

Русские командиры считали, что Фридрихов косвенный порядок ведения боя — самый совершенный, забыв о том, что именно русские войска дважды опрокинули этот косвенный порядок и разбили короля Фридриха.

Но особенно пришлась по вкусу Фридрихова палочная система обучения солдат. Офицеры-помещики считали, что это единственно правильный и самый надежный метод воспитания крепостных солдат. Потому каждый офицер — от полковника до подпоручика — старался во всем подражать прославленному полководцу Фридриху II: ведь ему подражала вся Европа!

По прусскому образцу шили мундиры и завивали волосы, по прусскому образцу целые дни маршировали, и по прусскому образцу били палками солдат.

Так было везде, и так было в Смоленском пехотном полку. Все ученье в нем обычно проходило на плацу. Измученных солдат с утра и до ночи гоняли по пыльной площади взад и вперед, наблюдая, чтобы роты, вытянутые в ровную линию, шли как один человек. Заставляли солдат без конца полировать ружья, белить ремни. За плохо причесанные или небрежно напудренные волосы нещадно били палками.

Можно было подумать, что солдата каждую минуту готовят к какому-то смотру, плац-параду.

А в Суздальском Воронов увидал иное. Сухощавый подвижный командир суздальцев обучал своих солдат по-своему.

Полковник Суворов не заботился о том, чтобы солдат был красиво завит и напудрен. Но зато сам показывал солдату, попавшему в армию из какого-нибудь медвежьего угла, как надо мыться, как обшиваться.

Полковник Суворов не требовал, чтобы ружье звенело и гремело во время ружейных приемов, но старался, чтобы солдат умел быстрее заряжать и в мишень стрелял метко, что называется — «в утку».

Полковник Суворов не заставлял солдат целыми днями бессмысленно маршировать по плацу. Но очень часто, среди глухой ночи, в дождь и непогоду, вдруг подымал свой полк и без обозов уходил с ним на несколько суток в поле — делал быстрые марши, устраивал ночные атаки, переходил вброд реки, проходил болота.

Весь смысл суворовского ученья сводился к одному: приучить солдата не останавливаться ни перед каким препятствием, приучить солдата быть смелым, уметь наступать.

Во всех полках русской армии солдат готовили к параду, полковник Суворов готовил суздальцев к бою.

Вот и сейчас суздальцы уже два дня были в походе.

Смоленский полк проходил не более десяти верст в сутки, а суздальцы сделали за двое — сто верст и возвращались назад, в Новую Ладогу, без единого отсталого или больного. Как всегда, ученье у полковника Суворова заканчивалось сквозной штыковой атакой, — оба батальона шли в штыки друг против друга.

Сигнала к атаке и ждали мушкатеры.

В прозрачном воздухе послышалась барабанная дробь. В дымке постепенно таявшего тумана показались знакомые зеленые мундиры: 2-й батальон уже развернулся на лугу. Впереди батальона, на буланом жеребце, ехал полковник Суворов.

Раздалась команда:

— Смирно! Сомкнись! Право — стой, лево — заходи!

Мушкатеры вышли из лесу и, разбрызгивая башмаками тонкую росистую паутинку, пошли навстречу «врагу». Когда между батальонами оставалось не более ста шагов, полковник Суворов поднял вверх шпагу и, ударив жеребца шпорами, закричал:

— Ура, ребятушки! Коли!

Оба батальона кинулись друг на друга со штыками наперевес. Буланый жеребец полковника, видимо не раз бывавший в сквозной атаке, смело шел на штыки.

Воронов впервые участвовал в таком необычном ученье.

«Собьют на бегу! Ударят!» — думал он, глядя на приближающихся мушкатеров 2-го батальона, которые с возбужденными лицами бежали навстречу и неистово кричали так же, как и Воронов:

— Коли! Руби! Ура!

Но никто не пострадал: добежав до «врага», мушкатеры подняли вверх ружья, и батальоны благополучно проскочили сквозь друг друга.

...Суздальцы сидели и лежали на берегу реки. После штыковой атаки Суворов дал людям немного отдохнуть.

Воронов с любопытством наблюдал за командиром. Суворов ходил от одной роты к другой, запросто разговаривал с солдатами, шутил. Это очень поразило Воронова: командир полка, помещик, дворянин, а держится как ровня.

«Чудак!» — подумал Воронов.

Но вот полковник махнул барабанщику рукой. Застучал барабан.

Полк стал в ружье.

— Ребята, скидывай башмаки и мундиры — пойдем вброд! — сказал Суворов.

Мушкатеры стали быстро раздеваться. Полковник ходил вдоль рядов.

— Ишь какие у тебя портянки грязные. Почему не выстираешь? — журил он молодого мушкатера.

Парень стоял красный от стыда, поджимал ноги, не зная, куда девать их.

— Ноги сейчас отмоешь, а как придем в лагерь — выстирать портянки!

— А у тебя почему пятки стерты? Должно, в сапогах спишь? Ленишься сбросить? — накинулся он на другого.

— Что, брат Ворон, тяжело у нас ученье? — спросил Суворов, подходя к Воронову.

— Никак нет! — бойко ответил Воронов.

Он был удивлен и обрадован, что полковник до сих пор помнит его.

— Тяжело в ученье — легко в походе! — сказал Суворов, проходя. — Патронную сумку привяжи к шее! Вот так. Береги патрон. Замочишь, помилуй Бог! — учил он кого-то в соседнем капральстве.

Наконец все были готовы. Полковник сел на своего жеребца.

— За мной, ребятушки! — сказал Суворов и стал спускаться с берега.

Солдаты, подняв над головами ружья, входили в реку. Поеживались от холодной воды, перекидывались словами:

— Ого-го!.. Студеная...

— Под этим бережком ключи.

— Гляди, Гришка, натруску свою не замочи, — шутил кто-то.

— Вот бы с бреденьком походить...

— Полу макаешь, держи выше!

— Коли глубоко, снесет: горазд быстрая.

— Тут мелко не будет. Кабы мелко, она сейчас бы объявилась, а то — гляди...

Вот уже вода выше пояса. Правые руки солдат стараются вцепиться в соседскую рубашку, а в левых высоко качаются ружья. Все сразу стали однорукими. Над рекой видны только треуголки, сумки, ружья.

Белые, незагорелые руки покачивались, точно плыли в воздухе, медленно подавались вперед.

— Вот так глубоко!

— Ротный наш, Михайло Илларионыч, поплыл.

— Гляди, чтоб и тебе не пришлось!

— Чего тянешь? Не тяни зря!

— Держись!

Небольшой мушкатер, шедший рядом с Вороновым, вдруг по уши нырнул в воду. Воронов схватил его за руку.

— Не сдержался, дяденька, — виновато прошепелявил он, — в ямину попал!

Стало мельче. Передние уже выбирались на берег. Проворно одевались, — командир полка сам делал все быстро и того же требовал от солдат.

Из-за дальнего болотца показалось солнце.

— Станови-ись!

Все стали по местам. После бессонной ночи холодное купанье приятно освежало, бодрило. Но у многих посинели от холода губы, людей пробирала легкая дрожь.

— Ребята, видите — монастырь? — указал Суворов на белевшие стены. До них было не более ружейного выстрела. — А ну-ка погреемся! Взять штурмом монастырь! На стены! Ура!

Мушкатеры охотно побежали на штурм. Подбежав к монастырю, они, затарахтев ружьями, полезли на его высокие стены. Передние солдаты подставляли спины, задние шеренги полезли наверх, подсаживая друг друга.

В монастыре поднялся переполох. Сонная братия, нечесаная и немытая, показывалась из окон и дверей. Сам игумен, здоровенный мужик, выскочил на крыльцо в одних портах.

— Что творите? Чего беснуетесь? Куда вы прете, оглашенные? — кричал он пропитым басом.

В воротах показался буланый жеребец Суворова.

— Не шумите, отче преподобный! Это экзерциция, — спокойно сказал Суворов, подъезжая к выстраивающимся ротам.

— У добрых людей экзерциция — в поле, а у вас — во святой обители! Ровно басурманы. Я жаловаться в Синод буду! — выходил из себя игумен.

— Смирно! — крикнул полковник Суворов, не обращая внимания на игумена. — Хорошо взяли крепость. Молодцы, ребята!

— Рады стараться! — грохнуло в ответ.

И суздальцы с барабанным боем и песнями пошли из завоеванного монастыря.

IV

Уже шестой день под Красным Селом стояли лагерем три дивизии.

Императрица Екатерина II приказала вступить 15 июня 1765 года в лагерь при Красном Селе войскам генерал-фельдмаршала Бутурлина, 2-й дивизии Голицына и 3-й Финляндской дивизии Панина. Тридцать тысяч человек конницы и пехоты лейб-гвардии и полевых полков расположились в палатках у Красного Села.

В первые дни войска занимались ружейной экзерцицией и усердно готовились не столько к бою, сколько к высочайшему смотру: чистились сами, чистили оружие, белили амуницию.

В полках все начальство, начиная от полковника и кончая капралом, ходило злое-презлое: каждый хотел, чтобы его часть была лучше других. Значит, надо было не жалеть солдату палок, а здесь, вблизи от императрицыной ставки, нельзя было не только ударить, но даже всласть изругать солдата — в писаном уставе не сказано было обучать побоями. Капралы ругались вполголоса, втихомолку тыкали солдату куда-нибудь в бок, под девятое ребро, кулаком. В зубы ударить не годилось — еще невзначай понаставишь к смотру фонарей.

Только в одном Суздальском полку все шло по-обычному: полковник Суворов не терпел никаких зуботычин, считал, что солдат надо учить словом, а наказывал в крайнем случае, за большую провинность.

20 июня отдали приказ при пароле: бригадира Измайлова назначить командиром легкого корпуса. Корпус должен был прикрывать фронт и левое крыло царицыной армии от «врага» — дивизии Панина.

Легкий корпус сформировали из войск 2-й дивизии. Конница — Санкт-Петербургский карабинерный полк, казаки и четыре эскадрона грузинских гусар. Пехота — один батальон мушкатеров

и две роты гренадер Суздальского пехотного полка под начальством полковника Суворова.

Суздальцев императрица выбрала из всех других армейских полков потому, что об их полковнике Александре Суворове шла молва, будто он по-особому обучил свой полк.

«Противник» — дивизия Панина — занял позицию на возвышенностях перед рекой Пудость. Панин построил три моста через реку, впереди линий пехоты, на холмах, поставил пушки с прикрытием и стоял, ожидая нападения сил императрицы.

21 июня, в пять часов пополудни, Екатерина II выехала из лагеря. Впереди, в полуверсте, шел авангард — двести гусар и пятьсот казаков. Полк Конной гвардии прикрывал ее справа. Екатерина II обходила правое крыло Панина.

Полковник Суворов со своими суздальцами стоял у деревни Техвиной. Бригадир Измайлов приказал не отходить от нее.

Был жаркий день. Парило. Солдаты, еще с вечера завитые и напудренные, одетые в тесные мундиры, изнывали от жары. По щекам текла бурая жижа из свечного сала, муки и пыли. Сам полковник чувствовал себя тоже неважно: с непривычки давил застегнутый на все пуговицы камзол, мешала треуголка. А главное, у него не хватало терпения пережидать все эти обычные эволюции, которые нужно было по правилам линейной тактики проделывать атакующим войскам.

Панин, заняв крепкую позицию, будет стоять неподвижно на одном месте, а войска императрицы начнут перестреливаться с ними. Это была раз навсегда узаконенная тактика всех положений. До чего это было скучно, плац-парадно и, прежде всего, неверно!

Суворов видел: Панин, строго придерживаясь линейного построения, растянул свои войска двумя тонкими линиями, стараясь охватить побольше важных пунктов местности. Но зачем обязательно обходить с флангов, когда можно, построив войска в несколько рядов, в колонну, броситься в любом месте на тонкую панинскую цепочку и без труда прорвать ее?

А вместо этого нарядные желто-красные грузинские гусары императрицы и бородатые казаки вяло перестреливались с панинскими ведетами[1], медленно теснили их. Ведеты постепенно отступали к своим главным силам.

Вместо жаркого короткого сабельного удара, мгновенно решающего все, получалась жалкая, никчемушная стычка. Нет, положительно не хватало сил терпеть.

Против него, на холмах, стоят панинские пушки. Первое дело — надо захватить их, и всё тут! Он поступит не по прусскому об-

---

[1] Ведеты — конный караул близ лагеря или квартиры начальника войск.

разцу, а по своему разумению! Не будет понапрасну тратить время и пули: в штыки их!

— Ведь это — что? Бой? Так чего ж тут, в самом деле, возиться? — обернулся он к молодому, двадцатилетнему командиру 1-й роты Михаилу Кутузову. — Беги, Мишенька, к гренадерам, пусть они из-за кустов откроют огонь по холмам. — А сам повел батальон в лощину.

На лугу Суворов остановил батальон и разъяснил солдатам, что он хочет делать. Во всей русской армии, по примеру пруссаков, только офицеры знали о том, что будет предпринимать их командир. Полковник же Суздальского полка всегда говаривал, что «каждый солдат должен знать свой маневр».

— Ребята, впереди, на холмах, — пушки. Их надо взять в штыки! — сказал он и повел суздальцев через лужок на пахоту.

Суздальцы поднялись на высокую межу и с криком «ура» неожиданно бросились на панинские пушки и их прикрытие. Артиллеристы, отвлеченные ложной атакой двух гренадерских рот, которые стреляли из-за кустов, не ожидали «врага» с этой стороны. Но все же успели дать залп по наступающим суздальцам.

Суздальцев не остановила пальба: еще в Новой Ладоге Суворов не раз водил их в атаку на пушки. Мушкатеры сквозь пороховой дым бежали вперед. Не успели артиллеристы перезарядить, как мушкатеры Суворова, опрокинув пехотное прикрытие, уже сидели на панинских пушках.

Один канонир сгоряча ударил банником Воронова, который, как рядовой 1-й роты, попал в легкий корпус. Обозленный Воронов с такой силой рванул банник к себе, что канонир потерял равновесие и торчком упал на землю. Когда он вскочил, готовый кинуться с кулаками на Воронова, суздальский капрал сердито стукнул его по загривку:

— Чего лезешь, щучий сын?

— А что же вы? А чего же вы? — бормотал канонир, не зная, что и сказать в свое оправдание. — Выскочили — и в штыки... Где это видано?..

— Нет — думаешь, будем с вами в кошки-мышки играть? Вы — налево, а мы — направо, так, что ли? — обрезал капрал. — У нас, брат, расправа короткая!

Суворов уже поворачивал пушки, собираясь палить из них по пехоте Панина, когда от императрицы прискакал во весь опор адъютант.

Императрице понравилась решительность и быстрота полковника Суворова, но его действия как-то выходили за рамки общепринятой линейной тактики, противоречили ей. Так говорили императрице все генералы, находившиеся в ее свите, — фельдмаршал Салтыков, генералы Воейков и Сиверс.

— Ее величество благодарит полковника Суворова за молодецкое дело, но приказывает отойти назад.

Суздальцы глядели именинниками, хотя и пришлось возвращаться назад, к деревне Техвиной.

V

Всю ночь с 21 по 22 июня шел проливной дождь. Не перестал он и утром. Войскам назначили дневку и выдали по две чарки водки.

В палатке у Акима Акимовича, капитана Смоленского пехотного полка, сидели гости из соседних полков: капитан — Великолуцкого и поручик — Нарвского.

Палатку трепало ветром. Дождь лил как из ведра. Один угол палатки уже протек.

Офицеры допивали третий штоф водки, закусывая салом и луком, и от скуки сплетничали по поводу вчерашнего необычного «дела» этого сумасбродного полковника Суздальского полка Александра Суворова.

Еще вчера вечером весь лагерь уже знал о высочайшей благодарности Суворову. Офицеры судили-рядили, завидовали ему и удивлялись: за что?

— Подумаешь, он против прусского короля! Он не уважает линейной тактики! — говорил уже достаточно покрасневший от вина хозяин. — Всему свету она хороша, а господину Суворову, видите ли, негожа! — театрально развел он руками.

— Аким Акимыч, а, будучи, правда ли это, — перебил его поручик, который так нагрузился на даровщинку, что все время только облизывал губы и моргал глазами, — а правда ли, будучи, что Суворов штурмовал какой-то монастырь в Ладоге?

— Верно, штурмовал. Точно не знаю, какой — то ли Гостинопольский, то ли Ивановский, или еще какой, а штурмовал. Игумен ездил в Синод жаловаться.

— Вот сумасброд! И как ему полк доверили? — усмехнулся великолуцкий капитан. — И что выдумал? Штурмовать обитель! Да разве ему мало чего другого было?

— Аким Акимыч, — не отставал болтливый поручик, — а правда ли, будучи, что Суворов солдат не бьет?

— Сказывают, не бьет, а кто его знает. Да не в этом дело: можно его, сукина сына, батожьем и не бить, а держать — во! — сжал кулак Аким Акимович. — Нам другое доподлинно известно — Новая Ладога от нас недалече — Суворов школу для солдат построил! — выпалил Аким Акимович и глядел на приятелей, наслаждаясь произведенным эффектом.

— Солдатам — школу? — подался вперед великолуцкий капитан. — Не может быть!

— Да, да, школу!

— Чудак! — рассмеялся великолуцкий капитан.

— Что ж он, будучи, в своем уме? Зачем солдату грамота? — брызгался слюной поручик.

— У нас в полку половина офицеров еле Псалтырь разбирает, — рассказывал великолуцкий капитан, — а у соседей, в Вологодском, сам полковник Механошин, этот черный такой, как кузнец, — тот вовсе неграмотен. За него адъютант расписывается, ей-богу! И ничего. Погляди, какой у Механошина полк! Ружья, шпаги — словно солнце горят. Идут — не хуже пруссаков: точно линейка движется, а не полк! А у Суворова — я видел, как вчера суздальцы шли, — никакой позитуры. И офицеры бедно одеты.

— Говорят, Суворов этот обо всех, будучи, заботится, — опять вмешался поручик. — Говорят, у него офицеры не живут, будучи, впроголодь, как в других полках, потому что их командир не грабит. А наш дьявол, будучи, только и знает одно — тащить с офицера. То на мундир, то на шарф, то еще что выдумает. В прошлом годе с нас, поручиков, высчитал, будучи, из жалованья по сорока одному рублю тридцать две копейки, обещал, будучи, нам построить новые мундиры, а вот в этом и по сей день хожу, — рвал себя за ворот поношенного мундира захмелевший поручик.

— Да, Иван Фомич, — не глядя на поручика, говорил великолуцкому капитану хозяин. — Верно ты сказал: разве, кроме Суздальского, в нашей дивизии других полков нет?

— Суворова в легкий корпус потому назначили, что у него, Аким Акимович, рука: папаша-то его, Василий Иванович, подполковник гвардии Измайловского полка! Вот оно что! — подчеркнул великолуцкий капитан.

— Конечно, поэтому! — крикнул поручик. — И я это, будучи, знаю!

— Погоди, ваше благородие, погоди! — Хозяин недовольно поморщился и даже тронул надоедливого гостя за локоть. — Суворов со своими суздальцами потому отличился, что попал в императрицыну часть! — раздельно сказал он, глядя только на великолуцкого капитана. — Кто же посмеет гнать императрицыны войска? Поневоле станешь отступать, коли она хочет наступать!

— Правильно, верно! — размахивал руками поручик.

— Да и чем взял? — подхватил со своей стороны великолуцкий капитан. — Наскоком. Полез на батарею, и прикрытие в штыки. Хорошо лезть, когда знаешь, что они палят, а тебе никакого урону. А в настоящем бою не так будет: пуля виновного найдет! В штыки, брат, не всегда сунешься! Это хорошо на маневрах делать! — запальчиво сказал великолуцкий капитан и зло посмотрел на Акима

Акимовича, точно видел перед собою ненавистного полковника Суворова.

— Конечно, — согласился Аким Акимович. — Только на маневрах. А вот поглядим, что этот чудак сделает, когда ему придется быть в настоящем бою! Поглядим!

Глава третья

ПЕРВОУЧИНКА

Надлежит начинать солидным,
а кончать блистательным.

Суворов

I

Суворов сидел за столом туча-тучей: он не мог дождаться конца обеда.

С его горячим, нетерпеливым характером трудно было высидеть за обедом несколько часов. Но здесь, в Букаресте, у генерал-поручика Ивана Петровича Салтыкова, волей-неволей приходилось сидеть.

Суворов неделю тому назад приехал из Санкт-Петербурга в действующую армию на Дунай.

Русские войска, отбив у турок в предыдущие годы Крым, Молдавию и Валахию, к весне нынешнего, 1773 года стояли на левом берегу Дуная.

Главнокомандующий граф Румянцов назначил генерал-майора Суворова во 2-ю дивизию Салтыкова, штаб-квартира которого была в Букаресте. Сегодня, 4 мая 1773 года, Суворов прискакал из Ясс в Букарест к Салтыкову. Салтыков дал Суворову в команду небольшой, двухтысячный отряд, стоявший у монастыря Негоешти, в десяти верстах от Дуная.

Суворову было обидно: его, генерал-майора, только что отличившегося в боевых действиях в Польше, получившего там орден Георгия 3-го класса, Анну и Александра Невского, назначают командиром отряда, которым до него командовал ничем не известный полковник Батурин.

Суворов был огорчен. Он ничего не ел, отказывался от обязательных в Букаресте блюд — жареной баранины, разной сушеной рыбы и вкусной брынзы — и с досады только выпил две рюмки кукурузной водки.

Одно утешало его: негоештскому отряду было приказано немедленно сделать поиск на городок Туртукай, который лежал на правом берегу Дуная. Поиск был нужен затем, чтобы Румянцов

мог со временем перевести за Дунай главные силы. Из всего расположения русских войск на Дунае негоештский пост был ближайшим пунктом к Шумле, где визирь сосредоточил всю свою армию.

Суворова радовало то, что этот поиск поручали ему. Наконец-то Суворову представляется случай показать всю свою любовь к отечеству и свое воинское искусство. Наконец, на сорок третьем году жизни, он сможет самостоятельно, независимо ни от кого, проводить боевые действия против сильного врага.

Суворов задумчиво катал по скатерти хлебные шарики и ждал, когда кончится этот скучный обед, чтобы можно было поскорее мчаться к отряду в Негоешти. Он был зол на болтливого Салтыкова. Суворову не терпелось. Он день и ночь скакал на ямских, спешил поскорее к армии, рвался в бой, а вместо этого — изволь сидеть и слушать пустую болтовню.

Салтыков был в одних летах с Суворовым, но раньше его получил генерал-поручика, потому что отцом Салтыкова был фельдмаршал Петр Семенович Салтыков, победитель Фридриха II при Кунерсдорфе.

Суворов смотрел на Салтыкова, вспоминал его умного, хитрого отца и сравнивал их обоих. Сравнение было не в пользу сына. Иван Петрович Салтыков держал себя так же просто, как и отец, но Суворов сразу увидел: сын был глупее старика. Салтыков рассказывал всякие истории, хвастался, прикидывался великим полководцем и тянул молдаванское винцо. Суворов мысленно окрестил своего начальника Ивашкой.

У фельдмаршала Салтыкова была одна страсть — псовая охота. А сын, видимо, любил широко пожить, хорошо поесть и выпить и охотился за другою дичью: из задних комнат в раскрытую дверь сначала глянула какая-то смуглая девушка, а потом — полнотелая черноглазая красавица молдаванка.

Суворов лишь опустил вниз и без того низко опущенные веки и чуть заметно хихикнул, подумав: «Хорош гусь Ивашка! Помилуй Бог!»

Но не только этот бестолковый Салтыков портил настроение Суворову. Ему было неприятно и другое — в гостях у Салтыкова сидел заехавший к нему генерал-поручик Михаил Федотович Каменский.

Это был небольшой, крепко сложенный человек. Каменский чуть ли не на десять лет был моложе Суворова. Уже на двадцать восьмом году он командовал Московским пехотным полком. Затем был послан в Пруссию к самому королю Фридриху II учиться у него в лагере под Бреславлем прусской тактике. Из Пруссии Каменский вернулся ярым поклонником всего прусского. Он составил «Описание прусского лагеря» и поднес его наследнику Павлу Петровичу. И теперь важничал.

Суворов не любил его, как не любил все прусское.

Салтыков и Каменский оживленно разговаривали. Один говорил о здешних женщинах — молдаванках и валашках, а другой — о прусской линейной тактике. И оба хвалили свое. Суворову же одинаково было неинтересно как то, так и другое.

Хитрый, умный Каменский слегка подтрунивал над простодушным Ивашкой. Когда Салтыков вышел на минуту из комнаты, Каменский кивнул на его опустевший стол и на тарелку, полную костей, и, наклонившись к Суворову, сказал вполголоса:

— Каков командир дивизии?

Суворов не сдержался. Его здесь все злило.

— Да. Вы, Михаил Федотович, знаете тактику, я — практику, а Салтыков ничего не знает: ни практики, ни тактики! — запальчиво сказал он.

Каменский засмеялся, откидывая назад голову.

— Верно изволили заметить, Александр Васильевич: ни тактики, ни практики! Верно! — смеялся Каменский.

Когда Салтыков вернулся в комнату, Суворов поднялся:

— Ваше сиятельство, мне уже пора: вечереет.

— Успеете! До Негоешт не больше десяти часов, как говорят молдаване. Ехать еще жарко. Посидите. Сейчас шербет принесут, рахат-лукум. Выпьем кофею по-турецки. Знаете, как здесь пьют? Сперва съедят ложечку варенья, запьют холодной водой, а потом — густой кофе без сливок. Куда как хорошо! Вот попробуете!

— Нет, благодарствую, Иван Петрович! Право, мне уже пора в путь-дорогу...

— Пожалуй, Александру Васильевичу надо собираться, — поддержал Суворова Каменский. — А то и к утру не доберется. Ведь до Негоешт пятьдесят верст.

— Ну, коли так спешите, что ж делать, — согласился Салтыков. — Значит, поиск не откладывать! Пощупать Туртукай как следует!

— Сделаю. Бог милостив, — ответил Суворов. — Только, ваше сиятельство, сила у меня невелика...

— А какой в Негоештах деташемент?[1] — полюбопытствовал Каменский.

— Пехота — астраханцы, штыков около восьмисот, — перечислял Салтыков, — а кавалерия — Астраханский же карабинерный, сабель без малого четыреста, да казаки Леонова, коней с пятьсот.

— Кавалерии предостаточно, а пехоты действительно маловато, — сказал Каменский.

— Вот и я говорю... — начал Суворов.

---

[1] Деташемент — отряд.

— Пришлю, пришлю, не бойтесь! Поезжайте! — перебил его Салтыков.

Суворов откланялся. Он вышел из дома и быстро затопотал по каменным ступенькам крыльца. Впалые, худые щеки Суворова горели румянцем.

«Вояки! Полководцы!» — со злостью думал он.

У крыльца стояла тройка вороных генерала Каменского, запряженная в щегольской экипаж. Кучер-солдат, не выпуская из рук вожжей, дремал, сидя на козлах.

Поодаль, у садовой изгороди, в канаве, скособочилась каруца — узкая, длинная молдаванская телега, на которой приехал из Ясс в Букарест генерал-майор Суворов. Двое суруджу — старик с длинными черными волосами до плеч и черноглазый красивый парень — сидели тут же под забором. Старик ел кукурузную лепешку, а молодой, напевая что-то заунывное, молдаванское, лениво пощелкивал по крапиве своим невероятно длинным кнутом.

— Ну, поехали! — крикнул им Суворов.

Ямщики вскочили. Выволокли из канавы на дорогу худых лошадей и неуклюжую каруцу. Старик начал торопливо приводить в порядок скверную веревочную сбрую, которая едва держалась на лошадях. А молодой проворно перебегал от лошади к лошади и зачем-то дергал их за уши и тер им ладонью глаза.

Суворов влез в каруцу, завернулся в плащ и сел на солому. В передке каруцы лежал старый, потертый солдатский ранец — в нем были все пожитки генерал-майора Суворова.

Суворов видел, с каким удивлением смотрели слуги Каменского и Салтыкова на его странный экипаж, но сделал вид, будто не замечает этого.

— Гайдади грабо! — весело крикнул он ямщикам. — Гайдади грабо![1]

Суворов любил изучать языки. И теперь, в дороге, он научился от этих суруджу нескольким словам.

Суруджу вскочили верхом на лошадей, взмахнули кнутами. Кнуты щелкнули так, словно выстрелили из пистолета, ямщики закричали пронзительно-дикими голосами «ги-га», «ги-га», и каруца помчалась по узким пыльным улицам Букареста, немилосердно скрипя своими никогда не мазанными колесами. Суворов за дорогу уже привык к тому, что молдаване вовсе не мажут телег.

Замелькали низенькие домики в садах, разнообразные лавчонки.

Вон на двери пылится зеленый бархатный кафтан с оловянными пуговицами — тут торгуют абаджи; на другой болтается длин-

---

[1] Пошел скорей!

ная связка деревянных лошадок, петушков — здесь теркукули; а там на дверях висит жирная баранья туша: это маченары.

Промелькнула цирюльня с кучкой солдат-пехотинцев у дверей. Внизу блеснула быстрая Дембровица. Откуда-то снизу раздался стук кузнечных молотов.

А дальше — опять одноэтажные домишки. Все двери раскрыты настежь. Женщины жарят баранину, пекут хлеб, на сковородках шипят вкусные плацинды[1]. Кухонный чад и запах бараньего жира смешиваются с запахом отцветающих садов.

Вечерело. Дневная жара спадала. С каждой минутой становилось все холоднее.

После знойного дня все спешили на улицу — насладиться вечерней прохладой.

В узких улочках каруца едва могла разъехаться со встречными.

Верхом на лошади проехал богатый молдаванин в фиолетовом бархатном кафтане, подпоясанном алой шалью, в голубой суконной шапке, похожей по форме на дыню. В руке молдаванин держал четки — знак боярства. Сзади за ним во всю прыть бежал грязный, оборванный цыган. Он должен был смотреть за лошадью господина, когда тот где-либо останавливался и слезал с нее.

Восемь небольших, но крепких лошадей, запряженных попарно, тащили тяжелый рыдван. В нем важно восседал боярин со своей куконой. За господами, на запятках, стояли двое слуг. Один держал длинную боярскую трубку. На плече у него висел сафьяновый мешок с табаком.

По улицам сновали длинношерстые молдаванские свиньи.

Босоногие мальчишки, продающие брагу, кричали нараспев:

— Брага дульче-е![2]

В вечернем воздухе стоял немолчный шум от стука кузнечных молотов, скрипа немазаных телег, беспрерывного хлопанья бичей, пронзительных криков ямщиков и пения пьяных, которые шатались из харчевни в харчевню. Ко всему этому примешивались звуки скрипки и гитары: под их аккомпанемент где-то пели заунывную молдаванскую песню.

Суворов рассеянно глядел по сторонам и думал о своем.

Сейчас на него смотрит вся дунайская армия, все эти Салтыковы и каменские, которые так благоговеют перед прусской муштрой. Они думают, что вся сила армии в ярко начищенных пуговицах, в завитых волосах и в том, что ошалелый от страха солдат лезет вон из кожи, чтобы не сбиться, по всем прусским правилам взять «на караул» или «на плечо». И никто не может понять про-

---

[1] Плацинда — пресная, тонко раскатанная лепешка.

[2] Сладкая брага.

стой истины: главное — не эта бездушная парадная муштра, а сам солдат, человек.

Суворов докажет это. Он обучит солдат по-своему, на суздальский образец — без капральской палки, без излишнего «метания артикул» и прочих прусских «чудес». И враг будет разбит. И тогда в суворовскую тактику нехотя придется поверить! А с ней — Суворов был в этом глубоко убежден — русская армия станет непобедимой.

И все-таки как Суворову удивительно не везет! Спесивый, заносчивый Каменский участвовал в штурме Бендер и взятии Хотина, а Суворову в это время приходилось гоняться по всей Польше за несколькими отрядами врагов.

Настоящий шпицрутенный бег. В такой войне не развернешься.

Десять лет Суворов ждал момента, чтобы не где-либо на маневрах, а в настоящем бою с сильным врагом показать, на что способен русский солдат. И теперь такой момент настал!

«Теперь-то уж русская тактика себя покажет!» — думал он, поплотнее запахиваясь в плащ.

...А в это время Салтыков и Каменский, развалясь на диване и попивая кофе по-турецки, перемывали косточки Александру Васильевичу.

— Не понимаю такого человека. Дворянин, генерал-майор, а ни своего выезда, ни слуг... Просто срам! — возмущался Салтыков. — Видали, на чем он приехал? На каруце! А вещи? В одном солдатском ранце уместились. Ей-богу! — смеялся Салтыков.

— Суворовы, правда, не очень родовиты, но, кажется, у них достаточно поместий? — спросил Каменский.

— Хватает. Его отец — Василий Иванович — превеликий жмот, — ответил Салтыков. — Собрал душ порядочно.

— Как старик ни скуп, а не поверю, чтобы отказывал сыну в необходимом! Просто Александр Васильевич сам уж такой. Про него я в штабе графа Румянцова разное слышал. Говорят, будто он ест солдатские щи да кашу. Потому, вероятно, отказывался сегодня от шербета и кофею, — усмехнулся Каменский.

— Щи да кашу? Это черт знает что! Генерал-майор и — щи да кашу! — возмущался Салтыков.

— Иван Петрович, а почему граф Румянцов поручил именно ему сделать поиск? — спросил Каменский.

— Должно быть, потому, что Суворов в Польше отличился быстротою действий. Его войска проходили по пятьдесят верст в сутки.

— Ну этого не может быть! — возразил Каменский. — Пятьдесят верст сам его величество король Фридрих Второй не сделал бы!

— А вы знаете, Михаил Федотович, что Суворов ни во что ставит короля Фридриха Второго? — спросил, оживляясь, Салтыков.

— Как? Суворов — Фридриха Второго? Это он-то? — удивленно переспросил Каменский, отставляя в сторону чашечку с кофе.

— Да-да, Суворов! Он не признает линейной тактики!

Каменский был поражен. Для него, боготворившего все прусское, все Фридрихово, было странно слышать, что кто-то может думать иначе.

— Он не в своем уме! — выпалил Каменский.

Салтыков пожал плечами:

— Не знаю. Знаю только одно: Суворов все делает не так, как другие. Он с каждым солдатом запанибрата.

— Посмотрим, далеко ли он уйдет со своей тактикой, — горячился Каменский, не слушая, что говорит собеседник. — Теперь я понимаю, почему Суворов так презрительно отзывается о других!

— О ком, например? — насторожился Салтыков.

— Да хоть бы и о вас, Иван Петрович. Давеча, как вы на минутку ушли из комнаты, Суворов мне шепчет: «Вы, — шепчет, — Михаил Федотович, знаете тактику, я — практику, а Салтыков, — шепчет, — не знает ни тактики, ни практики!» Каков?

Салтыков побагровел и вскочил с места.

— Ах вот что! Ну, коли так, тогда пусть же он с одним Астраханским полком делает поиск! Я ему сикурсу не дам! Ни одного пехотинца! — стукнул он по столу кулаком. — Так и знайте — ни единого!

II

Астраханцев подняли барабаны.

Солдаты негоештского отряда, разбуженные среди ночи, вскакивали и торопливо одевались. У всех в голове стояло одно — басурманы!

Каждый спрашивал: «Где? Сколько?» И недоумевал, почему, однако, не слыхать еще ни выстрелов, ни яростных криков турецких янычар.

Солдат 1-й роты Воронов, на ходу перекидывая через плечо перевязь патронной сумки, бежал вместе с другими к полковой линейке.

Из всех палаток к линейке бежали всполошившиеся солдаты и офицеры. Но их ждало приятное разочарование: никаких басурман нигде не было. Из Букареста приехал новый начальник отряда, и велено строиться к смотру.

Солдаты, повеселев, становились по местам. Они были удивлены: до сих пор ни один командир не подымал полк ночью. В рядах тихо обсуждали это диковинное событие:

— И чего выдумал — ночью устроить смотр!

— Пусть его смотрит. Нам же лучше, что не днем. В темноте не больно увидишь, скривил полк линию аль нет...

— Ну, не скажи, что нам лучше. А когда начнем метать артикулы по флигельману[1], так в этаком тумане ты и не разберешь, что там флигельман делает!

Капралы ходили вдоль шеренг, напоминали:

— Прихлопывать по суме, не жалея рук! По ружью пристукивать покрепче!

И кое-кому из нерадивых и нерасторопных прибавляли однодругое словечко для пущего внушения.

Вдоль фрунта, запыхавшись, пробежал толстый полковник Батурин, временно командовавший негоештским отрядом.

Солдаты ждали, что вот-вот раздастся: «Слушай!» — и начнется надоедливая, ненавистная ружейная экзерциция.

Но вместо этого скомандовали: «Направо во фрунт! Ступай!» — и вывели полк за деревянные рогатки, которыми был обнесен весь лагерь от набегов турецкой конницы.

Полк построили на площади возле монастыря в каре, оставив одну сторону каре незамкнутой для спешенной конницы.

В середину каре быстро вошел небольшого роста человек в генеральском мундире. За ним спешили старшие начальники отряда — толстый Батурин, высокий жилистый подполковник Мауринов и юркий майор Ребок.

Незнакомый небольшого роста человек, вероятно, и был новый командир. Астраханцы с любопытством смотрели на него, стараясь получше разглядеть в предутренних сумерках.

Воронов смотрел и силился вспомнить, где он видел его.

— Да это никак тот Суворов, что был у нас командиром, когда мы стояли еще в Петербурге. Помнишь? — сказал Воронову его сосед, мушкатер Клюшников.

Воронов не мог знать Суворова по Астраханскому полку: он только год назад попал в этот полк. Но помнил зато Суворова еще по Новой Ладоге. И когда Клюшников напомнил ему, он сразу признал Суворова.

— Да-да, это Суворов! — обрадовался старому знакомому Воронов. — Такой же маленький, худенький. И все не постоит спокойно на одном месте. Я у него в Суздальском полку служил.

— Мало ли похожих! — сказал другой сосед Воронова, всегдашний спорщик в капральстве. — Генерал Каменский тоже невелик ростом...

— Да я те говорю, это он, — горячо ответил Воронов. — И тогда вот так же, бывало, подымет полк на ученье ни свет ни заря...

Клюшников поддержал его:

---

[1] Флигельман — солдат, делавший перед фронтом ружейные приемы, которые вслед за ним повторял весь строй.

— Правильно. И холоду так же не боялся — все в одном мундирчике. Глянь: у Батурина зуб на зуб не попадает, трясется, ровно студень, а Суворову хоть бы что. Это он!

После знойного дня ночь была, как обычно в Валахии, промозгло-сырая. Дул холодный северо-восточный ветер — «русский», как называли валахи. Солдаты поеживались в суконных мундирах, невыспавшиеся офицеры зябли без плащей, позевывая в кулак.

И только одному генерал-майору Суворову было нипочем: он стоял без плаща, — ему скорее было жарко, нежели холодно.

Послышался топот лошадей. На рысях подошла конница — Астраханский карабинерный и казаки. Они быстро спешились и замкнули каре. Батурин скомандовал:

— Слушай! На караул!

Генерал-майор Суворов отделился от штаб-офицеров и крикнул:

— Здоро́во, молодцы-астраханцы! Здоро́во, старые друзья!

Уже многие из старослужащих астраханцев узнали своего бывшего командира. Весть о том, что этот генерал-майор — тот самый Суворов, который одиннадцать лет тому назад временно командовал Астраханским полком, в один миг пролетела по всему каре.

И дружное солдатское «здравия желаем» гулко ударило в стены монастыря.

III

Суворов сидел в пустой келье Негоештского монастыря. В разбитое окно тянуло ночной сыростью, надоедливые комары кусали открытую шею и лицо Александра Васильевича, свеча оплывала и чадила, но Суворов ничего не замечал: он писал диспозицию к завтрашнему поиску на Туртукай.

Все эти три дня, что Суворов пробыл в Негоешти, он не знал ни сна, ни покоя.

В Негоешти Суворов приехал в ночь на 5 мая 1773 года. Сделав пятьдесят верст в нестерпимо тряской молдаванской каруце, он и не подумал лечь отдохнуть с дороги, а тотчас же пошел знакомиться со своим отрядом.

Пехота — Астраханский полк — была ему знакома еще с 1762 года, когда Суворов, в чине полковника, временно командовал им. Многие астраханцы помнили Суворова. Они помнили его потому, что полковник Суворов обучал не так, как командиры других полков, — не любил излишнего парадного шума и грома, когда брали «на плечо» или «на караул». Обычно делали это с нарочитым пристукиванием по ружью, прихлопыванием по сумке — на прусский лад. Вместо пустого, ненужного звона ружейной экзерциции пол-

ковник Суворов налегал на повороты, захождения, стрельбу да на удар в штыки.

И здесь, в Негоешти, Суворов с первых своих шагов удивил весь отряд: поздоровавшись с войсками, он не стал делать никакого смотра, ни маршировки прусскими линиями, а запросто беседовал с солдатами — учил их не бояться врага, говорил, что негоештскому отряду надобно во что бы то ни стало разбить турок на том берегу, у Туртукая.

Астраханцы слушали с удивлением. Где это видано, чтобы генерал так просто говорил с солдатом, как ровня! Эта простая беседа была всем в диковинку.

Поговорив с войсками, Суворов разделил отряд пополам и заставил конницу — Астраханский карабинерный — идти в атаку на пехоту.

Первая сквозная атака прошла не очень благополучно: кони боялись идти на штыки, шарахались в сторону, несколько человек получили ушибы. Но когда Суворов повторил сквозную атаку раз и другой, дело пошло глаже.

С этого утра в негоештском отряде началась учеба по суздальскому образцу: никакой пустой шагистики, а только атака, только штурм. Суворов учил, чтобы солдат не делал ни шагу назад, учил наступать.

Суворов деятельно готовился к поиску.

На реке Аржис, которая протекала в версте от негоештского лагеря, Суворов нашел двадцать косных — узких и легких — лодок. Каждая лодка могла поднять тридцать человек. Нужно было починить, осмолить лодки, назначить к ним гребцов. Суворов выбрал из астраханцев тех солдат, которые жили близ рек и озер и умели грести. Отрядил людей заготовить шесты, багры, сделать сходни.

Работа кипела. Надо было все предусмотреть, ничего не упустить, за всем наблюсти самому.

На второй день Суворов с казачьим есаулом Сенюткиным съездил к Дунаю и осмотрел место для переправы.

Противоположный берег Дуная, занятый турками, был очень высок и крут. Он перерезывался оврагами, покрытыми кустарником и лесом. Из-за кустов виднелись пушки турецких батарей. Турки не спускали глаз с левого берега, и стоило показаться на нем пешему или конному, как они начинали стрелять из ружей, хотя Дунай в этих местах был больше трехсот сажен шириной.

Против Аржиса покачивалось на волнах турецкое судно. Его орудия держали под обстрелом все устье этого притока.

Суворов тогда же решил, что все лодки придется перевезти к Дунаю на волах — иначе турки не дадут им выйти из Аржиса. Возникла новая забота — подготовить подводы для перевозки лодок.

Но это были пустяки.

Главное препятствие заключалось в другом: для поиска все-таки не хватало пехоты. Суворов прикинул: под ружьем оставалось не более пятисот человек. С этой горстью людей надо было произвести амбаркацию[1], переправиться через Дунай, высадить десант на крутой берег, с боем пройти овраги, промоины, штурмовать четыре батареи и три лагеря. Биться с врагом, которого в Туртукае, по донесениям лазутчиков, в пять раз больше, чем русских в отряде Суворова.

Суворов несколько раз писал Салтыкову в Букарест, просил прислать подкрепления. Но Ивашка почему-то молчал. Суворов слал гонца за гонцом. Он знал, что от удачного исхода поиска зависит все осуществление его заветных дум.

Румянцов доверил ему это дело, но если поиск не удастся, Суворову не поручат больше никакой операции, где можно выявить себя. И будешь бесславно доживать век, как многие генерал-майоры. Прощай тогда все мечты, которые он лелеял с детства, — стать великим полководцем.

Потому Суворов не спал. Он всюду поспевал сам — смотрел за гребцами, проверял, сделаны ли шесты, багры; ночью водил астраханцев в атаку — приучал к ночному бою, собирал обывательские подводы для перевозки лодок и, наконец, сегодня устроил пробную амбаркацию — пехота довольно быстро садилась в лодки.

Суворов предполагал выступить из Негоешти к урочищу Ольтениц, которое лежало в трех верстах от Дуная, сегодня, в ночь с 7 на 8 мая. Но пришлось отложить еще на один день — проклятый Ивашка не присылал подкрепления, и только сегодня к вечеру вернулся гонец: князь Мещерский с остальными тремя эскадронами карабинеров шел в Негоешти.

Это походило на насмешку. Конницы у Суворова и без того хватало, — да и той в поиске предстояло не много работы: впереди была река, с лошадьми трудно переправиться. И для штурма лагеря и батарей нужнее пехота, чем кавалерия. А Ивашка, как назло, чтобы сорвать поиск, не прислал ни одного пехотинца.

Суворов рвал и метал.

«Но погодите, я и так возьму Туртукай!» — думал он.

Он писал подробную диспозицию, чтобы не только офицеры — всякий солдат знал маневр начальников.

Первый пункт, о переправе, закончен. Все силы расставлены. Каждый имеет определенное место. Осталось написать диспозицию атаки и возвращения после разгрома Туртукая.

Суворов бросил перо, вскочил и зашагал по каменному полу монастырской кельи, потирая искусанную комарами шею.

---

[1] Амбаркация — посадка десанта на суда.

Пройдя раз-другой из угла в угол, он подбежал к столу: нужное, сильное, отвечающее всему его поиску начало второго пункта диспозиции было найдено.

Суворов сел и написал:

«Атака будет ночью, с храбростию и фурией[1] российских солдат».

IV

Уже начинало темнеть, когда весь отряд Суворова — пехота и конница, семь пушек и обывательские фуры, запряженные волами, на которых Суворов собирался незаметно для турок перевозить к Дунаю свои лодки, — подошел к невзрачным желтым мазанкам урочища Ольтениц, расположенного на горе. Одновременно с сухопутными войсками приплыли по Аржису до Ольтеница двадцать косны́х лодок.

Все были в сборе.

До Дуная оставалось четыре версты.

Суворов поставил войска в лощине у Ольтеница, а сам с казаками Сенюткина поехал поближе к реке.

Суворову не понравилось, что среди казаков он заметил пьяных. Он подозвал есаула Сенюткина и спросил у него:

— Что это, Захар Пахомович, у тебя сегодня казачки́ навеселе?

— Есть грех, ваше превосходительство, — выпили малость ради Иванова дня, — смущенно почесал затылок есаул.

— Иванов-то в святцах, помилуй Бог, шестьдесят один в году! — сказал, иронически поглядывая на есаула, Суворов.

— Так-то оно так, да не извольте, Александр Васильевич, беспокоиться: ужо к делу все тверезы будуть!

— Гляди у меня!

Выехали из лесу. До реки оставалось версты две. Суворов велел казакам расположиться на опушке леса и выслать дозоры к Дунаю, а сам с ординарцем сержантом Горшковым лег чуть впереди их, на пригорке под одиноко стоящим дубком.

Ночь была сырая. Суворов завернулся в плащ и лежал, глядя в чистое, звездное небо. Он плохо и мало спал все эти ночи в Негоешти, но и сейчас не мог сразу уснуть.

В двух шагах, почти над самой его головой, кони, привязанные к дубку, щипали траву. Трава вкусно хрустела у них на зубах. Кони то и дело всхрапывали, звякали перекинутые через седло стремена.

Комары пели всегдашнюю песню, кружась над лицом. От реки тянуло свежестью. Стайка уток поднялась из камышей и пронеслась к Аржису. С правого берега доносился мирный лай собак.

---

[1] Фурия — ярость.

Молодой сержант Горшков тотчас же захрапел, а Суворов лежал и думал.

Как-то удастся завтра переправиться? И как вообще окончится весь поиск? Все-таки очень мало пехоты. Проклятый Ивашка! Завтра — Николин день, завтра решится все: вся судьба Суворова, вся его жизнь. Завтра еще раз будет проверено, прав ли он, что главное на войне не все эти четырехверстные прусские линии, а солдат. Что побеждает не тот, у кого солдаты исправно «мечут артикулы» и маршируют как один, а тот, чьи солдаты уверены в себе, в своей силе, в своей победе, чьи солдаты знают, чего от них хочет полководец.

Если бы здесь были его суздальцы! За три дня немногому можно было научить астраханцев...

Потом перед глазами Суворова предстала мясистая недовольная рожа полковника Батурина. «Зол, что не он начальник негоештского отряда. Послужи, заслужи, братец! Потяни лямку, как тянул генерал-майор Суворов! Небось солдатом-то наверняка не служил!»

И одно за другим мелькнули воспоминания прошлого: солдатская служба в лейб-гвардии Семеновском полку, офицерство, учеба, книги...

Мысли перебивали одна другую. Суворов заснул.

Он проснулся от топота сотен конских копыт, от неистового крика «алла».

— Ваше превосходительство, турки! — крикнул над его ухом Горшков.

Суворов вскочил. Еще чуть рассветало. От Дуная мчалась прямо на них целая лавина спагов.

«Проспали! Пропили, казачки! Весь поиск пропал! Все погибло!» — мелькнуло в голове.

— Ваше превосходительство, садитесь! — кричал перепуганный Горшков. Он вертелся на лошади, держа в поводу генеральского коня.

Суворов схватил из рук Горшкова поводья и прыгнул в седло.

Из лесу с гиканьем и криком выскочили казаки Сенюткина. Они ударили во фланг туркам и смяли их.

Дерзкий набег турок обошелся басурманам дорого: от широкого Дуная до лесу валялись восемьдесят пять изрубленных казаками спагов. Казаки и подоспевшие карабинеры гнали турок до самой реки. Не один турок остался лежать в высоких прибрежных тростниках. Несколько человек утонули в быстром Дунае.

В плен попали сам предводитель турецкого отряда, седобородый Бим-паша, правая рука туртукайского паши, два аги[1] и шесть спагов.

---

[1] Ага́ — начальник.

Русские потеряли семь казаков ранеными и двух убитыми: турки, переправившись, сняли их, сонных, на берегу.

Суворов отправил пленных к Ивашке как первые трофеи.

С одной стороны, он был недоволен: турки уже знали, что русские войска стоят у самого Дуная, — стало быть, готовятся к делу. Вся неожиданность, внезапность удара пропала. Да и прошло намеченное время для переправы — уже наступил день.

Но, с другой стороны, Суворов был доволен: первая стычка окончилась полным поражением врага. Он знал суеверие турок: если при первой встрече с противником турки бывали побиты, они считали, что все их дело погибло и что им суждено быть побитыми и в дальнейшем.

Суворов решил не откладывать поиска, а произвести его в эту же ночь.

— Сегодня турки нас не ждут, а мы и нагрянем! — И он написал Салтыкову: «На здешней стороне мы уже их побили!»

V

Атака будет ночью, с храбростию и фурией российских солдат.

Диспозиция

Грузные меланхоличные волы медленно тащились по дороге, подымая облака пыли.

Астраханцы, двигавшиеся сзади двумя колоннами, посерели от пыли. Особенно доставалось головной 1-й роте, которая шла непосредственно за фурами. Пыль набивалась в глаза, рот и нос, в горле пересыхало. Солдаты чихали и поминутно сморкались. Но делать было нечего, — волов пустили вперед нарочно, чтобы ввести в заблуждение турок: глядя издали, с высокого правого берега Дуная, можно было подумать, что от Ольтеница к реке движется в вечерних сумерках огромное войско.

На самом же деле за обывательскими фурами шло всего-навсего пятьсот человек — все, что осталось в Астраханском пехотном полку после того, как из него были наряжены люди в гребцы и выделена рота для охраны десанта.

Фуры тащились порожнем, — перевозить лодки к Дунаю сухим путем уже не было надобности: турки после неудачного набега отвели к своим берегам судно, которое держало под обстрелом устье Аржиса. Теперь Суворов мог спокойно спустить двадцать косных лодок по Аржису до самого места переправы.

Когда подошли к берегу, пехоту укрыли в прибрежных кустах и тростнике. Солдаты облегченно вздохнули. Они протирали глаза,

вытирали рукавами, платками, полами мундира — кто чем мог — запыленные лица.

Воронов, как мушкатер 1-й роты, запылился в дороге основательно. Он встряхнул свой мундир, вытер рубашкой грязное лицо и сидел, ожидая наступления темноты: Суворов выбрал для поиска самое необычное время — ночь, чтобы скрыть от турок малочисленность своего отряда.

1-я рота расположилась в кустах. Солдаты отдыхали, жевали сухари, некоторые уже дремали. Воронову спать не хотелось. Он смотрел, как по берегу бегает неутомимый генерал-майор.

Суворов сильно похудел за эти дни, глаза у него ввалились, но никто не видал, чтобы генерал-майор хоть минутку посидел без дела.

В диспозиции, которую сегодня несколько раз читали отряду, было точно указано, что делать каждому. Но Суворов хотел во что бы то ни стало вырвать победу у турок и потому не жалел сил на подготовку поиска.

Вот на берег, глубоко увязая в песке колесами, въехали пушки. Суворов засуетился возле них. Он сам выбирал место для пушек. Когда же одна из них как-то больше других застряла в песке и лошади не могли взять ее с места, Суворов первым подскочил к пушке и схватился за колесо. Но подбежали артиллеристы, и усатый канонир сказал с улыбкой:

— Не извольте марать руки, ваше превосходительство. Это мы враз!

Установив орудия, Суворов поговорил с подполковником князем Мещерским и указал ему, где и как лучше расположить конницу.

Мещерский только вчера прибыл из Букареста с последними эскадронами астраханских карабинеров. Суворов совершенно не знал князя и потому оставил его прикрывать переправу и не допускать турок на русский берег.

И весь этот вечер небольшая фигурка генерал-майора, в пропыленном мундире, с треуголкой в руке, мелькала то тут, то там.

Наконец стемнело. К берегу неслышно подплыли лодки, благополучно вышедшие из Аржиса в Дунай.

Суворов приказал начать амбаркацию.

Втихомолку, без барабанов, подняли роты. Как было указано в диспозиции, на лодки сажали только пехоту. Казаки и карабинеры пока оставались на месте. Астраханцы, которых Суворов вчера заставил два раза произвести пробную посадку, быстро, без излишней толчеи, расселись по местам.

Турецкие батареи стояли против устья Аржиса, Суворов же переправлялся ниже, верстах в трех, где Дунай всего триста сажен в ширину и где на правом берегу расположены только два турецких пикета.

Воронов попал во вторую лодку.

Хотя старались не делать лишнего шума, но все-таки невозможно было вовсе уберечься от него: то кто-нибудь, оступившись в темноте, ударял прикладом ружья о лодку, то гребец неловко задевал шестом сходню.

В лодках приказано было сидеть тихо, не разговаривать и не высекать огня. Двадцать лодок плыли одна за другой. Все с тревогой поглядывали на темный молчаливый правый берег. Днем он, покрытый дикими розами и терновником, был чрезвычайно живописен, а теперь, в полутьме, возвышался как грозная, страшная стена. Подплыть совершенно незаметно к нему было, конечно, невозможно, — на воде хорошо различались силуэты лодок.

Воронов сидел и думал, как все: «Скоро ли заметят нас басурманы?»

Лодки уже выплывали на середину реки.

Все еще пристальнее вглядывались в высокий, поросший кустами и лесом турецкий берег. Глаза выискивали притаившегося в этой темноте коварного врага. Но, как ни напрягали зрение, нельзя было увидеть на правом берегу никакой тревоги.

— Неужто не заметят, проспят? — наклоняясь к Воронову, сказал шепотом Клюшников.

И вдруг просвистела первая пуля. За ней полетели десятки. Началась беспорядочная стрельба.

Стреляли с обоих турецких пикетов. Солдаты крестились, снимая треуголки. Немного погодя на высоком берегу блеснул огонек, и над Дунаем прокатился гром — турецкая батарея стреляла по десанту.

Гребцы налегли на весла.

Князь Мещерский отвечал туркам со своего берега. Турки продолжали стрелять по лодкам, но безрезультатно: они стреляли в темноте и с большого расстояния — ядра не долетали до лодок.

Быстрое течение Дуная сносило лодки вниз.

Наконец лодки благополучно пристали к берегу, на версту ниже назначенного места. Солдаты, один за другим, прыгали на берег. Клюшников оступился и упал по пояс в воду.

— Ружье береги! — крикнул откуда-то знакомый голос генерал-майора.

В несколько минут астраханцы высадились на турецкий берег. Построились, как было указано в диспозиции, в два каре. Первая колонна под командой полковника Батурина, вторая — подполковника Мауринова. Резерв вел майор Ребок. Впереди рассыпались стрелки.

Не успели пройти и десятка сажен, как стрелки наткнулись на неприятеля. Защелкали выстрелы. Турецкий пикет был мгновенно опрокинут и бежал к своим лагерям. В темноте только трещали кусты да сыпалась из-под ног земля. Миновали место второго ту-

рецкого пикета. У догоравшего костра валялась чалма, лежал оставленный ятаган.

Здесь Суворов разделил отряд. Мауринова с его колонной отправил налево к лагерю паши, перед которым стояла батарея, а сам с колонной Батурина двинулся вдоль берега. Суворов заходил во фланг турецкой батарее, защищавшей центральный лагерь.

В турецком лагере слышались крики. Очевидно, турки узнали о переправе русских.

Солдаты, ободренные благополучной переправой и первыми успехами, весело переговаривались:

— Ишь загудел улей...

— Паше спать помешали!

— А у них, брат, жен у каждого — по десяти...

Астраханцы шли в темноте через рытвины, промоины, овраги, продирались сквозь кусты, то спускались вниз, то подымались наверх.

Подошли к крутизне, на которой стояла четырехпушечная батарея. Шутки смолкли: все знали — турки за прикрытием всегда дерутся ожесточеннее, чем в поле.

Когда первые ряды астраханцев вышли из кустов и стали подыматься на обрыв, турки засыпали их пулями. Грохнул залп из четырех орудий.

В колонне сразу повалилось больше десятка людей.

Клюшников, шедший рядом с Вороновым, вдруг присел, схватившись за ногу.

Но астраханцы мужественно выдержали огонь. Вот когда на деле пригодились сквозные суворовские атаки.

Астраханцы бросились на крутизну. Воронов, цепляясь за кусты и ежесекундно скользя, карабкался вместе со всеми наверх. Впереди, сзади, с боков только и слышались запыхавшиеся, торопливые голоса:

— Живее, живее!

— Пошел скорей!

Все спешили на гору: Люди падали, катились вниз, вставали и снова продолжали лезть наверх.

Воронов зацепился за какие-то корни и растянулся. Кто-то в темноте наткнулся на него, выругался и, перешагнув, побежал дальше. Воронов вскочил. Передние ряды астраханцев уже прорвались на высокий бруствер, которым была обнесена батарея.

Впереди, в толпе, Воронов на мгновение увидел знакомую фигуру Суворова.

«Ишь не отстает!» — подумал он и с криком «ура» кинулся вперед.

Все смешалось. В полутьме только по чалмам можно было отличить врагов от своих.

Суворов, разгоряченный свистом пуль, бежал вперед, насколько позволяли силы.

Приземистый янычар выскочил из-за куста и взметнул над головой кривым клинком. Суворов, больше наугад, привычно отпарировал удар. Сталь звонко чиркнула по стали. Суворов едва удержал в руках шпагу — так силен был удар. Он отпрыгнул назад, готовясь к следующему нападению. Янычар снова занес шашку. Суворов отбил и это нападение.

И тут из-за плеча Суворова кто-то выстрелил в янычара. Турок упал.

Суворов побежал вперед, к орудиям. Три орудия были уже в руках у русских. Только вокруг последнего шла свалка, — турецкие артиллеристы отбивались шашками и ятаганами от астраханцев. Суворов поспешил туда.

Но не успел он сделать двух шагов, как впереди что-то грохнуло и ударило в грудь. Суворов отлетел в сторону и упал, больно стукнувшись боком о сломанный лафет. В глазах пошли круги. Захватило дух.

Сержант Горшков и какой-то солдат подняли Суворова. Суворов стоял, левой рукой держась за ушибленный бок, а правой судорожно сжимая эфес шпаги.

Он огляделся — четвертое орудие чернело на земле. Вокруг него лежали тела турок и русских. Кто-то стонал. Суворов догадался: пушка разорвалась, перебив и переранив окружавших ее.

Горшков хотел вести Суворова назад, к реке, но Суворов отстранил его, мотая головой. Он едва нашел в себе силы выдавить:

— Ничего, вперед!

И, прихрамывая и потирая левый бок рукой, он побежал к турецкому лагерю, из которого астраханцы гнали штыками обезумевших от страха разбитых турок.

VI

Подлинно мы были вчера veni, vidi, vici[1], а мне так первоучинка.

Письмо Суворова к Салтыкову после Туртукая

За три часа поиск был удачно окончен, — семьсот человек русских разбили у Туртукая четыре тысячи турок.

Когда русские овладели всеми тремя лагерями, князь Мещерский отправил на помощь сто пятьдесят охотников из карабинеров и шестьдесят казаков Сенюткина. Лошади плыли за лодками.

Турки были разбиты и бежали: кто к Шумле, кто к Рущуку.

---

[1] Пришел, увидел, победил *(лат.)*.

Несчастливо начинавшийся поиск, который из-за непонятной медлительности и несговорчивости упрямого и глупого Ивашки неоднократно стоял под угрозой срыва, закончился столь удачно. Русские войска взяли 6 знамен, 16 пушек и захватили 51 судно на Дунае.

Суворов был счастлив — первая самостоятельная операция выполнена отлично. Все уже сделано, можно возвращаться восвояси с победой и трофеями. Суворов даже не обращал внимания на то, что болят контуженые бок и грудь. Он ждал только, когда вернутся две роты, посланные в Туртукай взорвать пороховой магазин и сжечь весь город.

Он ходил по площадке холма, глядя вниз, на Дунай, где у лодок копошились солдаты. Они переносили раненых, волокли на сходни турецкие пушки, — две из них, наиболее тяжелые, пришлось сбросить в Дунай.

Из Туртукая шли группами, ехали на волах обыватели — булгары, валахи, молдаване. Суворов приказал переправить их с имуществом на русскую сторону.

Но вот раздался оглушительный взрыв. Весь Туртукай заволокло дымом, потом прорвалось, заполыхало резвое пламя: это взорвали пороховой склад. Один за другим занимались дома, горела мечеть, пылал дом паши.

«Можно, пожалуй, писать донесения», — подумал Суворов. Он пошарил в карманах — бумаги не оказалось.

— Горшков, нет ли у тебя бумаги?

— Есть небольшой клочок, ваше превосходительство, — ответил сержант, подавая измятую осьмушку.

Суворов повертел в пальцах серый листок:

— Маловато. Ну да ничего. Я кратко напишу: победа сама за себя скажет!

Он сел на пенек и задумался. Первое надо написать Ивашке. Этому упрямому глупцу.

Разорвал листок пополам. Написал:

Ваше сиятельство,
Мы победили! Слава Богу, слава вам!

А. Суворов.

Взялся писать второе, графу Румянцову. А в уме вдруг возникли рифмованные строчки: вспомнилось старое! Что, ежели так и написать, стихами? Ивашке этого нельзя было бы, но графу Петру Александровичу — вполне можно: он во сто крат умнее Ивашки. Он не обидится, он — поймет!

И генерал-майор написал главнокомандующему донесение:

Слава Богу, слава вам —
Туртукай взят, и я там!

Из-за Дуная вставало яркое солнце.

Глава четвертая

ВАРЮТА

Коль дойдет когда нам дело
До войны иль до любви,
Наши всюду идут смело,
Жар весь чувствуя в крови.

Солдатская песня

I

В церквах только ударили к заутрене, когда Суворов приехал в Москву. Снег на улицах еще казался голубым. Окна домов были темны; лишь кое-где мелькал огонек.

Москва просыпалась.

Сани легко бежали по выезженной, раскатанной дороге. Суворов лежал на дне саней, запахнувшись в шубу и засунув в рукава озябшие руки, — ни перчаток, ни рукавиц он никогда не нашивал. Ноги, обутые в легкие сапоги, зашлись от холода — еще перед заставой начало покалывать в пятки.

«Ничего, теперь уж скоро! — думал Александр Васильевич, стуча нога об ногу и глядя по сторонам. — Вот батюшка удивится и обрадуется моему неожиданному приезду!»

Стал думать об отце.

Василий Иванович Суворов вышел в отставку и жил дома, занимаясь любимым делом — хозяйством в своих поместьях. Хозяин он был расчетливый, бережливый, — недаром в Семилетнюю войну царица поручила ему сначала провиантское дело всей армии, а потом назначила губернатором завоеванной Восточной Пруссии. Число поместий у Василия Ивановича не уменьшалось, а год от году росло. Отец Василия Ивановича оставил ему только триста душ крестьян, а у него к 1774 году набралось их уже до двух тысяч.

Заветной мечтой старика Суворова было одно: чтобы Сашенька поскорее бросил эту беспокойную военную службу и принял из его рук все поместья.

Сашенька мало чем походил на отца. Василий Иванович любил тихую поместную жизнь и ненавидел военную, а сын с детства только и бредил сражениями да походами.

Но Василий Иванович с радостью видел: в одном отношении сын все-таки пошел в него — был так же бережлив. На такого сына можно спокойно оставить все нажитое — Саша не промотает, не пропьет. Оттого каждый раз, когда сын приезжал из армии домой, Василий Иванович непременно заводил с ним всегдашний разговор: чтобы Саша поскорее оставил военную службу.

Несмотря на то что сын дослужился уже до генеральского чина, отец все-таки считал, что Саша зря служит в армии. Василий Иванович прочил его с детства в гражданскую службу, а вышло совершенно иное.

И во всем этом был виноват старый приятель и сослуживец Василия Ивановича, питомец Петра I, арап Ганнибал.

Однажды генерал Ганнибал заехал к Суворовым. Саше тогда шел двенадцатый год. Увидев Сашу за чтением Вобана, Ганнибал спросил у Василия Ивановича, в какой полк он записал сына. Суворов ответил, что он никуда не записывал сына, потому что хочет, чтобы Саша служил в гражданской службе.

Ганнибал взбеленился. Он так заворочал своими белками, что Василий Иванович опешил.

— У тебя один сын, а ты хочешь сделать его приказным? Стыдись, Василий Иванович! — усовещивал он приятеля.

— Да ведь посмотри, какой он слабенький и худой. С его ли здоровьем служить в армии? — говорил Суворов.

— В детстве все мы таковы, — ответил арап. — Такой худенький до ста лет проживет!

И Ганнибал уговорил приятеля записать Сашу в Семеновский полк.

Василий Иванович потом не раз жалел об этом.

Он с каждым годом все больше приходил к мысли, что был прав: никакого особенного дарования к военному делу у сына, кажется, не обнаруживалось, как Саша ни твердил всегда об этом.

Во время Семилетней войны Саша не усидел на спокойном месте в штабе 1-й дивизии Фермора, куда его устроил отец, а отпросился в легкий корпус генерала Берга. После окончания кампании Берг дал о Саше лестный отзыв, как о прекрасном кавалерийском офицере, написал, что Александр Суворов «быстр в рекогносцировке и отважен в бою». Но мало ли было в русской армии кавалерийских офицеров, о которых лестно отзывалось их начальство!

Затем Саша командовал Суздальским пехотным полком.

Это назначение Василий Иванович одобрял. Полковые командиры обычно присылали солдат в свои поместья помогать во время сенокоса и уборки хлеба, руками солдат полковые командиры строили усадьбы. Да ведь Саша не такой, как все: он ни разу не прислал в свои поместья ни одного солдата. Правда, его полк стоял далеко от Москвы, но при желании можно было перевестись поближе к родным местам.

Василий Иванович был сам человеком неподкупной честности и не ждал от сына того, что Саша, по примеру многих полковых командиров, сколотит себе деньгу на солдатском довольствии. Ему доставляло неприятность другое — сын тратил на полковые нужды

все свое полковничье жалованье. Человеку было уже тридцать пять лет, пора бы, кажется, наживать добро, а он еще ничего своего не имеет.

Потом Саша получил в командование бригаду, с которой участвовал в польской кампании. Театр этот был опять-таки второстепенный, все лучшие генералы сражались на юге, с турками.

Саша вернулся из Польши генерал-майором, с орденами Александра Невского, Анны и Георгия 3-го класса, а главное, что всего было приятнее Василию Ивановичу, — императрица пожаловала Александру Суворову тысячу червонных.

Генерал-майорство и ордена Саша получил уже в сорокалетнем возрасте, в то время как другие, у которых, вероятно, было больше способностей к военному делу, продвигались по службе значительно быстрее. Например, Михаил Каменский уже в двадцать девять лет командовал бригадой и был отправлен к самому королю Фридриху II учиться прусской тактике. А князь Николай Репнин в двадцать восемь лет получил генерал-майора и, кроме того, назначение полномочным министром в Польшу с ежегодным жалованьем в двадцать тысяч рублей.

Вот таким стоило служить в армии и дальше!

Василию Ивановичу было ясно: Саша, как всегда, только из упрямства делает все по-своему, никаких особенных талантов у него нет. Напрасно он тянул столько лет солдатскую лямку. Лучше бы обзавелся семьей и сидел бы дома, смотрел за поместьями.

Отец знал, что Саша очень самолюбив. Он с детства мечтал о славе: воображал себя то великим полководцем, то великим писателем.

Василий Иванович считал: из сына тогда не получилось писателя, теперь не выйдет полководца.

Да разве мало быть просто честным человеком? Разве мало — заниматься своими поместьями, хозяйством? Ведь труд сельского хозяина так же почетен, как и работа воина.

Василий Иванович не терял надежды на то, что сын наконец послушается его и выйдет в отставку. Главным доводом его было слабое телосложение сына.

— Ты не вынесешь военной жизни, — постоянно твердил Саше отец.

Он не переставал убеждать Сашу всякий раз, как сын возвращался домой. И теперь Суворов ждал такого разговора.

«Не проговориться бы, что в Негоештах меня свалила с ног проклятая лихорадка!» — подумал Александр Васильевич. И тотчас же Суворову вспомнилось, как в июне, когда был задуман второй поиск на Туртукай, лихорадка так затрясла его, что он не мог ходить и от слабости чуть говорил.

Но все-таки Суворов сам руководил поиском и сам вел войска в бой, хотя два офицера поддерживали его под руки, а адъютант передавал его приказания, которые Суворов едва шептал. И все-таки и во второй раз турки были разбиты.

Суворов улыбнулся.

«Теперь о суворовской тактике знает вся армия, знает матушка императрица!»

...Суворов оглянулся — сани мчались уже по знакомой, родной Царицынской улице.

Вот уже и церковь Федора Студита. Та же красная кирпичная ограда, железная калитка и, кажется, всё те же нищие на паперти. А за церковью — третий дом, одноэтажный, каменный, — их, суворовский.

Суворов издалека увидел: свет только в поварне да у батюшки, в угловой горнице. Старик проснулся, жалеет жечь свечу и сидит при лампадке.

Сани остановились у калитки. Суворов скинул с плеч шубу, легко и быстро перебежал к черному крыльцу и с удовольствием застучал намерзшими сапогами по ступенькам. Вбежал в сени. Справа, из людской половины, где помещались музыканты, певчие и прочая дворня, открылась дверь и выглянула чья-то голова.

— Молодой барин! — услышал Суворов за собой.

Суворов бежал привычным путем через все нежилые, нетопленые комнаты большого дома. В них гулко отдавались шаги. Сквозь замерзшие окна лился голубой утренний свет. Скорее угадывая, чем различая в этой полутьме, Суворов увидел в зале изразцовую печь, ломберный стол, какие-то кадки на полу, холст на креслах.

«Должно быть, недавно приезжали из подмосковной с припасами».

Впереди распахнулась дверь. На пороге показалась знакомая фигура отца в халате и туфлях.

— Сынок! Сашенька!

Генерал-майор Суворов упал на колени, целуя небольшую сухую руку отца. Отец поднял, обнял его.

— Ступай, ступай ко мне, тут холодно! — говорил он, подталкивая сына в жарко натопленную горницу.

Суворов сбросил на руки дворового человека, который бежал следом за ним по всем комнатам, свой настывший плащ и шляпу и, потирая руки, заходил по горнице.

— Ну что, папенька, как живы-здоровы? Как Аня, как Манечка? — спросил Суворов о сестрах.

— Слава Богу, все здоровы. А ты, Сашенька, не озяб ли? Гляди, не простудился бы!

— Ничего. Мне не холодно было — я ведь в шубе ехал.

— У нас морозы стоят настоящие. Давеча из Рождествена привезли продукты — битую птицу. Так гуси и утки словно каменные. Хорошо продали птицу, — рассказывал сыну Василий Иванович, — да и грибов пуда четыре. Ты, может, отдохнешь, приляжешь? — сказал он, увидев, что сына не очень-то интересуют хозяйственные дела.

— Я, папенька, выспался в дороге, — покосился на пуховики отца Суворов.

Дворовый человек зажег свечу. Комната оеветилась.

Шкаф с книгами. Стол, на нем тетради с записями прихода и расхода. Часы в деревянной подставке. Бронзовая чернильница. Все знакомое с детства.

— А ты что-то худоват нынче, Сашенька. Здоров ли? — спросил отец, пристально глядя на сына, ходившего из угла в угол.

— Здоров, слава Богу!

— Может, с дороги рюмку водки выпьешь? С морозу хорошо.

— Я, пожалуй, раньше умоюсь, — ответил Александр Васильевич. — Тебя как звать? — обернулся он к дворовому человеку, который стоял у двери, с любопытством разглядывая молодого барина-генерала.

Это был толстощекий парень с крупным носом.

— Прохор, — глухим басом ответил он.

— Экий у тебя голос — ровно у протодьякона, — заметил Суворов, оглядывая парня.

— Определил его в певчие, да толку мало: одно знает — водку хлестать. Хочу в Кончанское отправить, — сказал Василий Иванович.

Прохор виновато потупил глаза. Насупившись, смотрел в пол.

— Ну, Прошка, тащи в баню два ведра воды. Я следом иду, — приказал ему Суворов.

Прошка глядел, не понимая, что это значит. Его сомнения тотчас же высказал старый барин:

— Сашенька, да ведь баня-то не топлена. Обожди, велю к вечеру истопить.

— Я и в холодной окачусь! — ответил Суворов, накидывая плащ. — Ну, чего ж ты стоишь? Ступай! — сказал он Прошке. — Да полотенце не забудь!

Прошка исчез за дверью.

— Ведь, эдак, упаси Господи, простудишься, сляжешь! Ведь не лето же, а декабрь на дворе. Через неделю Рождество! — говорил отец.

— Ничего не будет — не впервой! — улыбнулся Суворов, выходя из горницы.

Василий Иванович от досады только хлопнул себя руками по халату.

«Опять за свое! Строптив, точно покойная Авдотьюшка!» — огорченно подумал он.

...Отец и сын завтракали. Был Филипповский пост. На столе стояло одно постное: жареная рыба, моченые грибы, кислая капуста, соленые огурцы и любимое блюдо Александра Васильевича — тертая редька.

После того как Прошка окатил молодого барина холодной водой, он ел с аппетитом. Суворов выпил большую чарку водки и теперь закусывал, рассказывая отцу о военных делах, о том, как он дважды делал поиск на Туртукай и оба раза побил турок.

— А кроме тебя кто-либо ходил еще за Дунай? — спросил отец.

— Как же, ходили. Полковник Репнин. На Марутянский лагерь делал поиск. Потерял две пушки и сам с тремя штаб-офицерами попался в плен. Герой! — усмехнулся Суворов.

— Чьей он дивизии?

— Да всё нашей, второй, этого дурака Ивашки Салтыкова, — отрезал Суворов.

— Отец его, Петр Семенович, тоже не бог весть какого ума, хоть и фельдмаршал. Добрый человек, это верно. И хозяин рачительный — погляди, как он в своем подмосковном Марфине управляется. Богат! — по-своему оценивал людей Василий Иванович. — А кто еще из генералов там?

— Именитый прусский тактик Каменский, — язвительно процедил Суворов.

— Каменские — тоже хозяева неплохие! Правда, у них вотчина в Орловской губернии. Там земли жирные, не чета нашим володимирским. Мне бы их село! У Каменских в одном Сабурове три тысячи душ, вот! — с завистью сказал старик.

Но ни чужие поместья, ни богатства не трогали Александра Васильевича.

— Что ж, Сашенька, — сказал, немного помолчав, отец, — наслужился, слава те Господи! Начальники тобой довольны, императрица отличила — дала второй класс Георгия. Думаю, что к Новому году получишь генерал-поручика. Теперь пора и на покой!

Суворов даже перестал есть.

— Да что вы, папенька! — вспыхнул он.

— А то, что пора и о себе подумать, не все ж о благе отечества! — ответил Василий Иванович. — Здоровья ты слабого, и отставку тебе матушка даст.

Суворов швырнул вилку, выскочил из-за стола и забегал по комнате. Потом ткнулся на стул у топившейся печки. Сидел, смотрел на весело, с треском горевшие дрова.

Он был зол. И как не злиться! Всю жизнь, с самого детства, вечный спор с отцом из-за военной службы. У отца не было ника-

кой склонности к военной службе, он не любил ее, тяготился ею и никак не понимал, не мог поверить в то, что сын — прирожденный полководец.

Василий Иванович медленно ел жареного окуня и думал: «Весь в мать. Та, Царствие ей Небесное, бывало, рассердится — вот так же: фырк-фырк, и вон из-за стола. Упрямец был, упрямцем и остался. Это он по их роду, по Мануковым пошел. У Суворовых таких строптивых нет!»

— Ну, коли так уж хочется, служи! — сказал Василий Иванович, вытирая рот уголком скатерти. — Только хоть раз послушай отца. Я стар, скоро умру. Подумай, на кого я оставлю все это, что нажил, — обвел он кругом рукой. — Сестры замужем, отрезанный ломоть. Один ты.

Александр Васильевич молчал, искоса, через плечо, поглядывая на отца. Видимо, хотел что-то сказать, но сдерживался. Он и сам не раз уж подумывал о женитьбе, да заняться этим все как-то было недосуг. Но теперь отец завел разговор некстати: связал женитьбу с отставкой, и Суворов взбеленился.

«Не мытьем, так катаньем хочет! Женитьбой привязать к поместьям? Нет, юбкой меня не отобьешь от намеченной цели!» — думал он.

А отец продолжал:

— Тебе сорок три года, а я уже в двадцать пять был женат. Женись, Сашенька, послушай старика. Подумай: ты один у меня, да и то приезжаешь домой раз в три года. Чужие люди мне глаза закроют. Живу одинешенек, как бирюк!

Суворову стало жаль отца. Последние его доводы были убедительны и справедливы.

«Действительно, на старости лет живет один. Бедный! Что ж, может, и вправду жениться? Жена останется здесь с отцом. У старика будут внуки. Женитьба рук не свяжет. Александра Суворова на эту удочку не поймаешь!»

— Подумай, Сашенька, ведь с тобой прекратится наш род, — говорил отец.

Суворов быстро встал со стула:

— Батюшка, жениться — я готов!

— Вот этак давно бы! — радостно сказал отец, обнимая его. — А я и невесту тебе присмотрел. Немного бедновата — рухляди тысчонок на пять, может, за ней и дадут, — да зато хорошего, знатного роду. И сама — ражая, высокая, личмянистая, крепкая...

«Крепка и тюрьма, да черт ли в ней!» — подумал Суворов, но сказал другое:

— Кто ж она такая?

— Княжна Варвара Ивановна Прозоровская, — ответил отец.

II

Белолица, круглолица
Красная девица.
Во твоем лице румянец
Завсегда играет,
Молодому, холостому
Назóлу давает.

Песня

Суворов ходил из угла в угол по комнате и думал.

Уже два раза он ездил с отцом к Прозоровским.

Александр Васильевич не любил бывать в большом обществе, среди столичных щеголей и щеголих. В гостиной Суворов чувствовал себя неуверенно и неловко. Он каждую секунду помнил о том, что мал ростом и худощав, что у него тяжелые, низко опущенные веки.

Суворову тошно было смотреть на этих разодетых, напудренных, чопорных московских барышень и барынь, сидевших словно истуканы; на пустоголовых щеголей, которые в расшитых атласных кафтанах, в париках, шелковых чулочках и модных башмаках с розовыми каблучками плели разный вздор на плохом французском языке.

Суворова так и подмывало выкинуть что-либо озорное, что разбило бы эту натянутость, неестественность и скуку, крикнуть вдруг: «Через капральство ряды сдво-ой!»

Или запеть хорошее, свое, русское, вроде:

Ах! На что ж было,
Да к чему ж было
По горам ходить,
По крутым бродить?

Правда, дом у Прозоровских был чисто русский, без всяких затей. Да и какие уж тут затеи, коли у князя Ивана Андреича денег мало!

Бывая у Прозоровских, Александр Васильевич охотнее всего разговаривал с самим хозяином, генерал-аншефом в отставке Иваном Андреевичем Прозоровским. С ним Суворов находил общий язык — они говорили о военных делах. Но каждый раз вся родня невесты, все гости по молчаливому сговору норовили оставить Александра Васильевича вдвоем с пышнотелой, румяной Варютой, а не с ее отцом.

Суворов вспомнил Варюту и невольно улыбнулся: «Помады на ней, пудры — не приведи господи, — как на гвардии поручике! И все же Варюта, ей-ей, неплоха: веселая, глаз у нее лукавый, живой — так и играет! Разбитная, должно быть. Точно маркитантка!»

Энергичный, быстрый во всем Суворов любил это же и в других.

«Нет, ничего. Право слово, ничего!» — чем больше думал о Варюте, тем больше приходил к такому выводу Александр Васильевич.

Суворов так и сказал отцу в первый же вечер, когда они возвращались от Прозоровских и отец спросил у Сашеньки, нравится ли ему невеста.

— Только не особенно умна, должно быть: о чем ни заговори с ней — не знает. Про Сумарокова даже не слыхивала.

— Эка беда! Была бы у мужа голова на плечах, — отвечал отец.

По мнению Василия Ивановича, ждать больше было незачем, — приличие соблюдено, и сегодня Сашенька может сделать предложение княжне Варваре. Александр Васильевич согласился, — он тоже не любил откладывать то, что намерен был сделать.

Суворов устал ходить по комнате. Взял книгу и присел к окну.

Просматривая книги в отцовской горнице, он нашел им самим когда-то купленную любопытную книжку:

«Подлинное известие о славнейшей крепости,
называемой Склонность, ее примечанию,
достойной осады и взятья».

Книжка была презабавная и как раз к месту: в ней серьезным языком, словно в каком-нибудь Вобане, описывалось взятие генерал-аншефом по имени Постоянство крепости Склонность. В книжке действовали полковник Признание, майор Верность, капитан-поручик Обманное лукавство и другие, всё в таком же шутливом тоне.

К книжке прилагался обстоятельный чертеж крепости со всеми болверками, горнверками, равелинами и контрэскарпами, которые назывались так же, как и всё в ней, именами чувств: ревность, зависть, неимоверствие и прочими. Было забавно читать это:

«Перьвое фундамент сея крепости заложен наподобие сердца, внутри того одна полата наполнена богатством (Добродетели), которые больше, как золото и драгоценные камни, почитаются».

Суворов перелистывал шершавые страницы книжки и думал, как сегодня он возьмет свою *крепость*. Он решил взять ее, как брал настоящие, — стремительным штурмом. Подойти и сказать без дальних околичностей: «Княжна Варвара, не хотите ли быть моей женой?»

И всё тут!

Этот разговор был Суворову неприятен. Он почувствовал себя так, точно ему предстоит сегодня говорить об условиях сдачи на капитуляцию своего войска. Но жребий был брошен. Отступать Суворов ни в чем не любил.

Занятый чтением и своими мыслями, Александр Васильевич не услыхал, как в комнату вошел отец.

Василий Иванович был уже готов: одет, напудрен и завит дворовым куафером. Старик остановился у порога, с удивлением глядя на сына.

Саша был в старом мундире, без единого ордена.

— Ты что ж не одеваешься? Уже пора ехать.

— Я одет, папенька.

— Ты — одет? Да ведь я говорил — нонче надо кончать. Чего тянуть? У отца, как сказано, брови густы, да карманы пусты, а Варюта — старшая дочь, засиделась в девках: ей уже двадцать пять годов. Я все, брат, доподлинно узнал. Отдадут!

Суворов вспыхнул. Его обидело: выходит, он ничего не стоит, ежели за него можно сватать любую, что ли?

Но тотчас же вспомнил свои сорок три года, многочисленные морщины на лбу и у висков и сдержался.

«В военном деле не очень везет, может быть, хоть в другом вывезет!» — подумал Суворов.

— Прошка! — полуоткрыв дверь, сердито закричал Василий Иванович. — Ты чего, стервец, смотришь? Барин-то еще не одет!

Прошка, виновато моргая глазами, втиснулся бочком в комнату и, неуклюже переваливаясь, точно медведь, подбежал к молодому барину.

«Опять начинается мука, — думал Суворов. — Снова этот камзол, застегнутый на все крючки! Снова отсиживать в гостиной! Лучше б в третий раз Туртукай брать, чем объясняться с невестой, а потом сидеть ровно остолоп на этом сговоре! Ей-богу! А делать нечего: назвался груздем — полезай в кузов!» — трунил он сам над собой, подставляя Прошке сапог.

Прошка усердно стаскивал с барина сапог и старался не дышать: от Прошки шел крепкий винный дух.

III

Суворов проснулся, и холодный пот сразу прошиб его: впервые за всю свою жизнь он спал на пуховике, укрытый атласным одеялом, точно разжиревший, облинившийся барин, а не солдат.

Суворов никак не мог понять: где он и что с ним? На широкой кровати, рядом с ним, кто-то спал. Александр Васильевич повернулся и увидел: возле него, в нарядном кружевном чепчике, лежала пухлая, румяная женщина.

«Варюта. Жена», — подумал он.

И сразу вспомнилась вся неугомонная сутолока вчерашнего дня.

Еще накануне, с вечера, в большом доме Суворовых не осталось спокойного угла — готовились к завтрашней свадьбе, чисти-

ли, убирали. В комнатах все было вверх дном. Александр Васильевич лег спать не в девять часов, как ложился обычно, а за полночь.

А на следующий день, с утра, и пошло одно за другим.

Сперва жениха усадили причесываться. Кудрявый старик Матвей, дворовый куафер Суворовых, целый час плясал возле молодого барина — примеривал парик, завивал букли, пудрил. Он вконец измучил Александра Васильевича. Суворов не переносил ни пудры, ни парика, от которого, по его словам, всегда пахло псиной.

После Матвея Александр Васильевич попал в руки к портному, который ползал вокруг Суворова на коленях, обдергивал приметку, что-то пришивал и, видя, как барину не стоится на одном месте, все повторял:

— Сейчас, батюшка! Сейчас! Еще минутку!

Суворов любил простую, свободную одежду, а тут эти галстуки, крючки да пуговицы.

Наконец Александр Васильевич был готов.

Суворов всегда избегал смотреть в зеркало, но, проходя через зал, мельком взглянул на себя.

Он и без зеркала чувствовал, что затянут, сдавлен, неестествен и смешон. Из зеркала на него глядел какой-то напомаженный штабной франт, который, конечно, никогда не нюхал пороху.

Анюта, замужняя сестра Александра Васильевича, не отходившая сегодня ни на шаг от брата, заметила недовольное выражение Сашеньки.

— Хорошо, Сашенька! Ей-ей, хорошо! — заторопилась она, зная горячий, своенравный характер брата.

Суворов передернул плечами.

— Помилуй Бог, красавец! Точно прусский сержант! Огородное пугало! — фыркнул он и, круто повернувшись на каблуках, поспешил прочь от зеркала.

Затем начался новый искус — поехали в церковь к венцу. Яркий свет паникадил, чад от многочисленных свечей, духота, десятки любопытных лиц, которые беззастенчиво глазели на жениха и невесту.

Суворов и Варюта шли между двумя плотно сбитыми рядами людей, жавшихся поближе к ковровой дорожке.

«Точно сквозь строй прогоняют!» — подумал Суворов.

А со всех сторон явственно доносился шепот:

— Это какой у него орден?

— И до чего худущий...

— Невеста-то, невеста! Краля бубновая!

— За едакого сухопарого идет...

— Пойдешь, коли у него, сказывают, десять тыщ душ!

Наконец венчание окончилось. Оставалась последняя тягостная повинность — сидеть за свадебным столом. Начались бесконечные поздравления, тосты, крики «горько». Александр Васильевич готов

был провалиться сквозь землю. Чтобы хоть как-нибудь преодолеть смущение и неловкость, он пил. И в первый раз в жизни захмелел.

Вспоминая теперь вчерашний день, Суворов не мог припомнить даже, когда и как он укладывался спать.

Суворов осмотрелся. Было уже поздно. В окна глядел не солнечный, но светлый от снега, прозрачный, морозный день.

«Совсем обабился, заспался! Срам! — с досадой подумал Суворов. — Скорее, скорей обливаться!»

Вылить на себя ведро холодной воды сейчас хотелось больше, чем когда бы то ни было, — голова после вчерашнего была еще немного тяжеловата.

Он осторожно выскользнул из-под атласного одеяла, стараясь не разбудить жену.

«Разве теперь сыщешь этого пьяницу Прохора? Дрыхнет где-нибудь с похмелья. И куда девали мой плащ? Засунули, пожалуй», — думал Суворов, идучи из одной комнаты в другую.

Ни Прошки, ни кого-либо еще из слуг не было видно.

Только подходя к буфетной, Александр Васильевич услыхал голоса. Он остановился, прислушиваясь, нет ли кого чужого, — Суворов был не одет.

— Не ждите, Прохор Иваныч, ступайте отдыхать. Ваш барин нонче долго будет почивать: Варвара Ивановна спозаранку подыматься не любить! — говорил бойкий женский голосок.

— Чего спозаранку? Уже полдень, — ответил надтреснутый бас, видимо, еще не совсем протрезвившегося Прохора.

— С молодой женой и до вечерни проспишь! — усмехнулся буфетчик.

— Нет, вы не знаете Ляксандры Васильича, — твердил Прохор, — он встанет! Он, брат...

— А и встанеть, так обливаться не станеть, — перебила его все та же бойкая бабенка. — Варвара Иванна его враз на свой лад переделаеть. Сама от Пасхи до Рождества немытая ходить.

В буфетной загоготали.

Суворов вспыхнул.

— Прохор! — гаркнул он.

В буфетной сразу стихло. Дверь отворилась. На пороге стоял, моргая осоловелыми глазами, толстоносый Прохор:

— Чего изволите, батюшка барин?

— Вода у тебя готова?

— Готова.

— Подай плащ!

— Сейчас, — ответил Прохор и нетвердыми шагами пошел из комнаты.

«Я ж говорил — встанет!» — повторял он про себя.

IV

Женился — переменился.

Поговорка

Суворову быстро наскучила спокойная жизнь мирного обывателя.

На другой день после обручения он и сам еще думал, что с молодой женой можно побыть в Москве несколько дольше. Но прошел только месяц после свадьбы, и Суворову уже стало невмоготу.

Ему казалось, будто он давно, невесть бог с каких пор, сидит в Москве; будто там, на Дунае, идут бои, хотя прекрасно знал, что зимою нет никаких военных действий и что войска отведены на зимние квартиры. Ему казалось, что, пока он сидит здесь, другие генералы, не щадя жизни, сражаются за родину, а он променял бранный меч на женскую туфлю, на колпак добродетельного супруга.

Сразу все становилось немилым. И в первую очередь — жена.

Василий Иванович, скупившийся отапливать весь свой большой дом, жил зимою в одной горенке. А теперь, с женитьбой сына, оказались занятыми все комнаты: Варюта не привыкла стеснять себя ни в чем, а Сашенька тоже продолжал делать все по-своему — он спал в отдельной комнате от жены.

Варюта принесла с собою не очень много червонных, но зато постель у нее была пышная: гора пуховиков и подушек, голландские простыни, атласные одеяла.

Когда Варюта увидала впервые постель своего мужа — в углу комнаты лежала охапка сена, прикрытая простыней, в головах была небольшая подушка, а вместо одеяла старый плащ (такую постель Суворов завел себе еще с детства), — Варюта подумала, что тут спит Прохор.

— Прохор, ты больше спать здесь не будешь! Убирай вон этот сор! — сердито сказала она. — И кто тебе позволил натащить в комнату сена! От него ж блохи разводятся!

— Матушка барыня, это не моя постель, — оправдывался ни в чем не повинный Прохор.

— А чья же?

— Барина.

— Какого барина? Что ты вздор мелешь? — накинулась Варюта.

— Нашего молодого барина, Ляксандры Васильича!

— Ты лжешь, негодяй!

— Вот крест святой, не лгу! — крестился на образа Прохор.

— Ну, все равно — чья бы ни была, ей здесь не место! Убирай вон эту дрянь! — сердито сказала барыня, подбрасывая носком туфли маленькую жесткую подушку Александра Васильевича.

Прохор уже собрал в охапку сено, когда на крик явился сам Суворов.

— Я, Варюта, солдат, а не барин-лежебока! — строго сказал он жене.

— А я не за солдата выходила замуж, а за генерала, — возмутилась Варюта. — Какой же генерал спит эдак, на полу, на сенной трухе?

Суворов не переносил прекословия. Он совсем прикрыл глаза и без того низко опущенными веками и глухо сказал:

— Меня, сударыня, поздно переучивать!

И, обернувшись к Прохору, который все еще держал в руках злополучную охапку сена, не зная, что с ней делать, крикнул:

— Тебе говорят, клади на место!

Обозленная Варюта выбежала из комнаты.

Это была их первая стычка.

Два дня супруги не говорили друг с другом. Василий Иванович пытался мирить их, но напрасно: у обоих супругов был неуступчивый характер.

Дело обошлось как-то само.

Однажды Василий Иванович, встав поутру, хотел поговорить с Сашей о разных хозяйственных делах. Старик заглянул в комнату к сыну. Сашенька был уже на ногах — он всегда вставал очень рано: сидел у окна и читал «Описание жития и дел принца Евгения Савойского». Но в комнате он был не один: в углу, на Сашиной спартанской постели, занимая собою все его сено, сладко спала, завернувшись в голубое атласное одеяло, дородная Варюта.

Мир был восстановлен.

С этого дня Варюта не возражала против жесткого мужнина ложа, и каждый спал у себя в комнате. Да Варваре Ивановне спать в одной спальне с мужем было неудобно: муж вставал еще до света, а она просыпалась, когда уже давно отблаговестили во всех церквах к обедне.

Пока Варюта спала, весь этот беспокойный, шумливый курятник, все эти девки-горничные не тревожили Суворова. Он в тиши мог спокойно читать, думать о войне, о походах, о славе. Но как только просыпалась жена, весь дом ходил ходуном. Тотчас же начинались хлопанье дверей, беготня, суета, шум. Было похоже, точно в крепость ворвался неприятель.

Варюта хлестала девушек по щекам, за дверью всегда кто-либо сдержанно плакал.

Все это выводило Суворова из равновесия. В службе он был так же строг к солдатам, как и к самому себе, но избегал шпицрутенов и сам никогда не мог бы ударить безоружного.

Варюта просыпалась и тут же, в постели, пила кофе. Куда девалась парадная чистота и опрятность первых дней, первой недели замужества!

Неряшливость Суворову была хуже всего. Он во всем любил чистоту и порядок. Он от каждого солдата требовал опрятности, сам был чист и аккуратен, а жена не мылась по неделям.

Александр Васильевич пробовал урезонивать жену, но, кроме скандала, ничего из этого не получалось.

«Вот выбрал папенька! Знатного роду, а такая тетеха!» — думал иногда он.

И, наблюдательный, он прозвал ее в уме «фаготом» — за всегдашнюю крикливость.

Суворов уже месяц был женат, но всё никак не мог привыкнуть к этому. Каждый день повторялась старая история: когда Суворов утром видел в своих, с детства родных комнатах какую-то чужую румянощекую, полную женщину, он думал одно и то же: «Когда же уедет эта гостья?»

Он не привык к семейной жизни, не любил спокойно сидеть на одном месте. Это было выше его сил.

С женщинами Суворов до этого сталкивался мало. Мать Александра Васильевича умерла, когда ему шел четырнадцатый год. С сестрами Саша не водился, — они были значительно моложе его, да к тому же он все дни просиживал за чтением: у отца в комнате стоял большой шкаф, набитый военными книгами.

Потом, с пятнадцати лет, началась военная служба. Ну, еще в лагере или на походе ущипнуть за мягкий бок какую-нибудь смазливую маркитантку, посмеяться и пошутить — это куда ни шло солдату. Это, по всей вероятности, не считал для себя непозволительным ни Тюреннь, ни Монтекукули. Но жить вот так, как он теперь, — байбаком, держась за женин салоп, — слуга покорный!

«Совсем обабился! Халата и трубки только недостает!» — сердито фыркал Суворов, вышагивая по комнате.

Александру Васильевичу не сиделось на месте.

Однажды он встретил в городе знакомого штаб-офицера из штаба графа Румянцова, которого Румянцов прислал в Москву по каким-то делам.

Штаб-офицер рассказал, что граф намеревается весной перейти Дунай и пробиться за Балканы, чтобы поскорее окончить эту войну, которая тянется вот уже шесть лет.

Это известие всполошило Суворова.

На следующее утро Суворов принял решение: сегодня же, не откладывая, ехать к армии.

— Вели запрячь тройку! — сказал он Прошке.

Варюта еще нежилась в постели, когда муж, в плаще и треуголке, пришел к ней проститься:

— Ну, Варюта, оставайся здесь с батюшкой, живите с Богом, а я — поеду!

— Куда же ты, Сашенька? Погоди, я тотчас встану, поедем вместе!

— Я к армии еду. На войне бабам — какая ж работа, помилуй Бог! — усмехнулся Суворов.

Он поцеловал жену, которая от изумления не могла выговорить ни слова, и вышел из комнаты.

Когда он пришел к отцу, старик развел руками:

— Без сборов, ничего вчера не сказал. Раз-два — и в такую дорогу?

— Так, по-солдатски, раз-два, и надо, папенька! Какие же у нас сборы? Треуголка да палаш — вот и весь сбор наш! Армия не ждет. И так загостился! — весело сказал Александр Васильевич.

— А жена-то как? — спросил отец.

— Уповаю на вас, папенька. Посмотрите за ней! — ответил он, целуя худую отцовскую руку.

Суворов был рад, он был счастлив, что наконец-то снова едет туда, куда зовет его сердце.

Путь лежал на юг, к Дунаю, к армии графа Румянцова.

Путь лежал к победам и славе.

Глава пятая

КОЗЛУДЖИ

Последнюю баталию в турецкой войне выиграл я при Козлуджи.

Суворов

I

Солдаты в узких, прусского покроя мундирах и тяжелых треуголках изнывали от жары. Июньские дни в Валахии были томительно жарки, и пехотинцы, идучи, обливались пóтом. Голова казалась тяжелее ранца, в висках стучало. Во рту пересохло, — не хватало слюны. Губы запеклись. Лица стали темно-багровыми, а у иных — землистыми. Более слабые, недавно попавшие в армию, нехожалые еще рекруты падали на дороге от жары и изнеможения. В шеренгах не было ни говора, ни смеха. Все думали об одном — о воде.

В самый полдень генерал Каменский сделал на час привал, но и в этот час немногим удалось отдохнуть.

Желтая генеральская коляска (генерал-поручик Каменский страдал грыжей и не мог ездить верхом) остановилась у белоснежного мраморного фонтана, — они уже не раз встречались на пути.

После того как напился сам генерал, денщик Егор налил самовар и все фляги, а кучера напоили генеральскую тройку, — фонтан тотчас же облепили сотни людей.

Сначала кинулась к нему ближайшая часть — батальон егерей, а потом, прослышав о воде, поспешили все: пехотинцы, артиллеристы, конница. В одну минуту у фонтана образовалась громадная толпа. Шум, крики, давка. Офицеры расталкивали солдат, гусары оттирали лошадьми пехоту, казаки выжимали гусар.

— Ишь лезут-то. Другому ничего не достанется, а пузо хорошо намнут! — смеялся генеральский денщик, глядя на шумевшую, волновавшуюся толпу.

И весь этот час, что простояли на отдыхе, толпа у фонтана не редела. А когда по команде все стали в ружье и корпус с сожалением прошел мимо вожделенного источника, в размешанной грязи у фонтана осталось несколько пуговиц, осколки разбитой бутылки, какой-то ремешок, грязная тряпка и тысячи следов человеческих ног и лошадиных копыт, пробивавшихся к прозрачной студеной воде.

Но даже и те счастливцы, которым удалось хоть разик глотнуть воды, уже через несколько минут снова продолжали томиться от жажды. Люди не могли дождаться следующего привала. С тоской поглядывали на небо:

— Хоть бы Господь дождичка послал!

Но небо было безоблачно. Солнце палило без устали. И попрежнему мокла под ранцем и тяжелым ружьем спина, а из-под треуголки тек по щекам пот. Распахнуть мундир или снять ненавистную треуголку было невозможно: каждую минуту мог налететь сам командир корпуса генерал-поручик Каменский, который и на походе не давал солдату никакой поблажки.

Желтая генеральская коляска то и дело съезжала в сторону с дороги и останавливалась, пропуская мимо себя ряды солдат, или обгоняла медленно тащившуюся пехоту и пушки.

Как только генеральская коляска сворачивала с дороги в степь, по рядам солдат проносилось:

— Гляди, опять выехал!

— У, черт килатый!..

— А ему что утро, что полдень — все единственно, не жарко: верх в коляске поднял и сидит ровно сыч!

И сдвинутые было на затылок треуголки поспешно надевались по всем правилам, расстегнутые пуговицы мундиров застегивались. Солдаты подымали опущенные, усталые плечи, бодрились и так отбивали шаг, что ехавшие сзади артиллеристы совсем скрывались в облаке пыли.

А он, небольшой, широкоплечий, стоял в коляске, одной рукой опираясь на трость, а другой держась за козлы. Строгие, внимательные глаза подмечали непорядок в обмундировании, снаряжении. И уже раздавалось:

— Эй ты, конопатый! С левого фланга! Где у тебя патронная сумка? Господин ротный, на два часа его под ружье!

Капрал, в чьем капральстве случался такой конфуз, сердито смотрел на проштрафившегося мушкатера и шептал, играя желваками:

— Погоди ужо!

А сам «конопатый», служивший всего лишь второй год в армии, краснел от стыда, виновато улыбался и думал: «Хоть бы сегодня напороться на турка! Чтоб не пришлось стоять на привале под ружьем!..»

Генерал-поручик Каменский никогда не отличался мягкостью характера, но в последние дни был придирчив, как никогда. Причину этого знал весь его восьмитысячный корпус.

Главнокомандующий Дунайской армией граф Румянцов решил перейти весной 1774 года на правый берег Дуная и пробиться за Балканы, чтобы поскорее окончить надолго затянувшуюся войну с турками. Эту операцию он поручил двум генерал-поручикам — Каменскому и Суворову. Каменский шел из Измаила, а Суворову с корпусом в шесть тысяч человек надо было переправиться через Дунай у Гирсова и сначала следовать по берегу реки, а потом соединиться с Каменским и вместе идти к Шумле, где со всей армией стоял визирь.

И вот теперь Каменский уже прошел Базарджик, а Суворов как в воду канул. Суворов был младшим, — его на несколько месяцев позже произвели в генерал-поручики, чем Каменского, — но он не давал ничего знать Каменскому о своем движении.

Каменский послал главнокомандующему письмо, жалуясь на строптивого товарища. Румянцов ответил, что Михаил Федотович сам виноват, ежели не может установить связи с деташементом Суворова.

До Шумлы оставалось не так уж много, а о Суворове не было ни слуху ни духу. Каменский окончательно вышел из себя и сегодня, 8 июня, с утра отправил на розыски Суворова по разным дорогам казачьи разъезды.

Но день понемногу проходил, а Суворова все не было. Корпус продолжал идти по унылой, безлесной и безводной степи, покрытой молочаем, и колючим кустарником. По сторонам от дороги не было видно ни деревушки, ни полей, ни человека. Только в одном месте из-за кустов глянуло на солдат длинноносое лицо чабана-валаха в громадной барашковой шапке. Увидев русских, чабан с неожиданной для валаха быстротой метнулся назад, что-то закричал на собак, облепившихся на жаре, и небольшое стадо овец с ослом посредине, навьюченным пожитками чабана, стало быстро уходить в сторону от дороги. Чабан бежал, размахивая своей клюкой и ежесекундно оглядываясь назад.

Солдаты оживились:

— Вишь, сполохали человека.

— Бежит ровно егарь...

— А не худо бы, братцы, баранинки сейчас...

— Будешь ты и сухарем сыт!

Наконец этот мучительный длинный день прошел-таки. К вечеру корпус Каменского подошел к деревне Юшенли и остановился на ночевку.

Войска стали лагерем в степи, по обеим сторонам деревни. Тотчас же и тут и там запылали веселые огни костров. В каждом капральстве артельные старосты варили кашу. Но немного солдат смогло дождаться ужина: большинство из них, утомившись переходом, быстро задремало у костров. Солдаты жались поближе к огоньку, — днем им было жарко в тесных мундирах, а ночью холодно: ночи стояли студеные.

Другие, более предусмотрительные, продолжали тесниться у деревенского колодца, запасаясь водой к завтрашнему дню.

В деревне Юшенли, в пяти-шести убогих валашских землянках, совершенно утонувших в высоком бурьяне, расположился штаб генерал-поручика, а сам Каменский занял единственную в Юшенли мазанку зажиточного валаха.

Хозяин, малоразговорчивый валах, не торопясь ушел из мазанки ночевать в камышовый хлев для скота. За его спиною, прикрывая, как турчанка, лицо, прошмыгнула стройная молодая жена.

Михаил Федотович вошел в мазанку, швырнул на лавку треуголку и трость и заходил из угла в угол.

Весь вечер он был зол и раздражителен.

Его злил тусклый свиной пузырь в мазанке, заменявший стекло. Каменский велел было выставить пузырь, но в мазанку тотчас налетела туча комаров. Пришлось завешивать окно.

Злил повар, который, как казалось Каменскому, не скоро готовил ужин.

И наконец, когда Михаил Федотович, поужинав и повязав на ночь голову платком, отчего стал похожим на деревенскую девку-вековуху, лег среди мазанки на пуховик и хотел заснуть, его раздражало непрерывное мычание коровы за стеной. Видимо, от коровы только что отняли теленка, и она не переставала жалобно мычать.

Генерал-поручик Каменский не выдержал.

— Егор! — крикнул он сдавленным от злобы голосом.

Денщик, не раз битый за день, боязливо жался у порога:

— Чего изволите, ваше превосходительство?

— Ступай, прирежь эту чертову корову! Пусть не мычит. Не дает спать! — приказал генерал-поручик, сердито ворочаясь на пуховике.

Денщик охотно побежал исполнять приказание. Сперва за стеной послышалась какая-то возня, потом все стихло. Надоедливое мычание прекратилось, и Каменский кое-как уснул.

II

Быть стремительно вперед, маршируя без ночлегов.

Суворов

Шеститысячный корпус Суворова шел малопроезженными, худыми дорогами, а иногда и вовсе без дорог, по степи, «вороньей тропой», как шутили солдаты.

Когда граф Румянцов отправлял обоих генерал-поручиков за Дунай, он, не желая обидеть Александра Васильевича, не подчинил его Каменскому, хотя это и нужно было бы сделать. Румянцов сказал лишь, что в случае разногласия решающее слово принадлежит Каменскому, как старшему по производству. И прибавил, что надеется на согласованность действий обоих начальников.

Но какая согласованность могла быть у Суворова с Каменским?

Каменский во всем подражал Фридриху II, а Суворов не признавал ни прусского отношения к солдату, ни прусской палочной учебы, ни прусской линейной тактики. Каменский делал переходы днем, Суворов — ночью. Каменский слепо верил лишь в одно линейное построение, а Суворов предпочитал колонны и батальонные каре. Каменский по прусскому образцу готовился обороняться, маневрировать, отходить, Суворов держался своего всегдашнего правила: идти вперед прямо на врага.

Уезжая из Браилова, из ставки Румянцова, к себе в корпус, Суворов тогда же задумался: как быть?

Не подчиняться старшему Суворов — дисциплинированный, военный человек — не мог. Но, с другой стороны, ясно видел: прусская тактика не принесет славы русскому оружию. Он был убежден, что нельзя на всех театрах войны применять одни и те же способы ведения боя. Суворов считал, что при линейной тактике разбить турок в короткий срок будет трудно. И что Каменский, скованный прусской выучкой, не способен проявить инициативу.

Сказать об этом главнокомандующему Суворов не хотел: хотя Румянцов ценил талантливость генерал-поручика Суворова, но все-таки еще не настолько, чтобы предпочесть суворовскую тактику.

Суворов долго думал, как поступить. Он верил, что и в этот раз победит турок, если только Каменский не свяжет его по рукам.

Он решился на крайнее средство: для блага отечества, для пользы дела Суворов поставил на карту свое имя. Пусть потом главнокомандующий как угодно наказывает его, но Суворов сделает по-своему, сделает так, чтобы русские разбили врага.

Суворов решил до последнего момента идти отдельно от Каменского, а потом, подходя к Шумле, выдвинуться вперед и принять на себя главный удар турок.

Он рассчитывал на то, что успеет завязать бой по-своему и Каменскому не останется нечего другого, как помогать младшему товарищу.

Суворов так и сделал.

Он должен был выступить 28 мая, но тронулся с места только 30-го. О своей двухдневной задержке Суворов донес Румянцову. Он написал, что задержался, поджидая прибытия Апшеронского пехотного полка. И в частном письме к Румянцову язвительно прибавил, что надеется вовремя поспеть к Шумле, потому что генерал-поручик Каменский, по причине грыжи, не сможет двигаться быстро.

Затем, чтобы Каменский в пути не пришел с ним в соприкосновение и не заставил его корпус следовать позади, Суворов пошел не по условленной дороге, а по другой, хотя вторая была значительно хуже первой, и не известил Каменского о перемене маршрута.

Но дальше уходить от Каменского было уже невозможно. До Шумлы оставалось не так много верст. Суворов решил сегодня же вечером, после отдыха, свернуть наконец с узкой, неудобной дороги на большую, которая вела прямо к Шумле.

Солнце близилось к полудню. Наступали самые жаркие часы.

Апшеронский пехотный полк шел в голове колонны, вслед за гнедыми лошадьми и васильковыми ментиками сербских гусар. Шли свободно, не в ногу, расстегнув мундиры, сдвинув на затылок или совершенно сняв треуголки, держа ружья попеременно то на одном, то на другом плече.

И все-таки чем выше подымалось солнце, тем идти становилось тяжелее. Разговоры в шеренгах приумолкли. Солдаты нетерпеливо поглядывали на небо: скоро ли полдень, скоро ли отдых?

Только во 2-м капральстве 1-й роты все еще слышался оживленный говор. 2-е капральство было самое живое в роте: в нем служил высокий, плечистый Ильюха Огнев, острый на язык, не дававший никому спуска, будь то ефрейтор или даже сам капрал. Огнев уже пятнадцатый год служил в армии. Мушкатер он был исправный, его несколько раз хотели представить в капралы, но Огнев упорно отказывался от этой чести. «Увольте, ваше благородие, пускай кто-либо другой!» — говорил он.

И товарищи уважали прямодушного, смелого Огнева не меньше, чем если бы он был капралом.

Вместе с Огневым служил черноглазый, смуглый, как цыган, Алешка Зыбин, песельник, весельчак и балагур.

К шеренге, в которой шли Огнев и Зыбин, на походе притискивались все охотники до веселых шуток и рассказов. В самые тягостные часы переходов, когда людей размаривало на солнце или мочило дождем, во 2-м капральстве никогда не вешали носов. То Ильюха Огнев, сдержанно улыбаясь в усы, бросал меткое словцо —

камешек в чей-то огород, то Зыбин рассказывал свои бесконечные, всякий раз новые, веселые истории, от которых все покатывались со смеху.

Только один мушкатер, стоявший в строю рядом с Огневым, худощавый старый солдат Воронов, не смеялся: он считал себя умнее всех в роте. Воронов хмурил свой мясистый лоб и презрительно бросал Зыбину:

— Ври больше: со вранья деньги не берут!

Не смеялся сегодня шуткам Зыбина еще один солдат — молодой рекрут Башилов, голубоглазый курносый парень лет девятнадцати, с детски открытым лицом. Башилов был красен как кумач. Он то и дело вытирал рукавом жесткого суконного мундира вспотевшее лицо.

Ильюха Огнев, шагавший рядом с Башиловым, наблюдал за ним. Глядя на него, Огнев невольно вспоминал свои первые дни в армии, как когда-то, в Восточной Пруссии, и ему так же тяжело было втягиваться в непривычные, томительные ежедневные переходы.

Башилов облизывал пересохшие губы и с тоской смотрел по сторонам — нет ли где-нибудь колодца или ручейка. Огнев видел, что Башилову до смерти хочется пить.

— Я ж те говорил давеча, — сказал он Башилову, — не пей на походе воды, хуже будет — не успеешь шагу ступить, как размякнешь тотчас, ровно банный веник!

— Как же вытерпеть, дяденька, коли в горле пересохло? — оправдывался Башилов.

— А ты пососи сухарик, чтобы рот не гулял, — не будет и пересыхать!

— Пить в походе — Боже упаси! Не ровен час — падет вода на ноги, — наставительно заметил Воронов. — Вот как с конем бывает — загонят сердягу, а потом дадут напиться. Вода сразу и кинется в ноги. Так и человек. Загорится у него в нутре, станет невтерпеж, глотнет водички — и пропал: на всю жизнь будет в ногах ломота...

— Э, не слушай этого старого ворона, не унывай, Башилов! — сказал Зыбин. — Сзади не оставайся, в бока не подавайся, вперед не лети, молодцом гляди! Вишь генерал-то наш выехал уже в сторонку, машет рукой, стало быть, привал близко!

Действительно, корпус прошел еще с полверсты и остановился в долине у ручья. Солдаты уже привыкли к походному порядку генерала Суворова: в самые жаркие часы дня отдыхать, а потом, пообедав, идти дальше по холодку весь вечер и большую часть ночи. Потому они располагались основательно: составив ружья в козлы, снимали ранцы, пропотевшие насквозь мундиры, треуголки, разувались и устраивали постель.

Башилов, наконец вдосталь напившийся воды, укладывался вместе с другими товарищами по капральству, свободными от на-

рядов, спать. Все жались поближе к кустам, в тенек. Только один Воронов стоял на солнцепеке, поглаживая лысину и переминаясь с ноги на ногу.

— А ты чего не ложишься? — окликнул Воронова капрал.

— Он теплое местечко высматривает, — уронил Огнев.

— С походу завсегда надо сперва постоять немного, а потом уже ложиться. И то с умом, — ответил Воронов. Он лег в высокую траву, поднял кверху свои босые жилистые ноги и стал ими трясти.

— Эвона, что дяденька выдумал! — прыснул со смеху Башилов.

Солдаты потешались, глядя на Воронова:

— Глянь, ровно маленький, — задрал ноги кверху...

— Ремнем бы его теперь...

— Воронов чертей колышет!

— От старости из ума выжил, — прибавил Огнев.

Воронов, не слушая иронических замечаний, продолжал трясти ногами. Потом сел и, обращаясь к Огневу, строго сказал:

— Погляжу я на тебя, Ильюха, ломаный ты, старый уже солдат, а еще — дурак!

Все кругом рассмеялись.

— Отчего так думаешь? — спросил, улыбаясь, Огнев. — Что ногами не трясу, как ты? Как жеребец, что катается по лугу?

— Не смейся раньше сроку. Я потрясу ногами, вся тяжесть с ног и отольет, понял? А ты вот кувыркнулся поскореича, а посмотрю, как встанешь...

— Встану. Тебе подымать меня не придется...

— Посмотрим, чьи ноги будут больше скучать, твои аль мои, — приговаривал Воронов, устраивая тень из мундира, который он распяливал на кусте.

III

Суворов нагнал корпус генерал-поручика Каменского в ту же ночь, у деревни Юшенли.

Снявшись с привала в седьмом часу пополудни, Суворов тотчас же свернул на шумлинскую дорогу и увидал на ней свежие следы недавно прошедшего войска. Тысячи ног отпечатались на песке, посреди дороги шли глубокие колеи от обозных телег и пушек. На дороге то тут, то там попадались сломанное колесо, павший от безводья вол, рогаточное копье, брошенная пустая бочка — в них обычно перевозилась мука. А пройдя еще с полверсты, он наткнулся на один из казачьих разъездов, которые были посланы Каменским на розыски пропавшего генерал-поручика Суворова.

Суворов был доволен, что ночью может нагнать Каменского. Он знал, что Каменский ночью продвигаться дальше не станет, и

решил обогнать его. Иначе ничего не оставалось делать. Солдаты Суворова прекрасно отдохнули за день и могли продолжать поход.

Когда Суворов со своими шестью полками пехоты, двадцатью пушками, пятью полками конницы и казаками подошел к деревне Юшенли, вокруг которой биваком расположились войска генерала Каменского, лагерь, окруженный деревянными рогатками, крепко спал. Лишь кое-где еще чуть тлели костры, да у деревенского колодца, вычерпанного за вечер до дна, все еще маячила кучка солдат, терпеливо дожидавшихся под одиноким деревцом белой акации, пока в колодце снова соберется вода.

«Ну, будет сейчас баталия, помилуй Бог!» — улыбаясь подумал Суворов, зная вспыльчивый, крутой нрав Михаила Федотовича.

Остановив корпус на дороге, он с казаком-вестовым поехал в деревню к генералу. Еще издали, по этой необычной для валашской деревни генеральской коляске, стоявшей у одного из дворов, и по фигурам двух часовых, ежившихся от ночного холода у двери мазанки, Суворов увидел, где остановился генерал-поручик Каменский.

Подъехав, он соскочил с коня, бросил поводья казаку и, с удовольствием разминая после долгой верховой езды затекшие ноги, шагнул в темные сени мазанки.

В густой темноте слышался храп денщика. Суворов набрел на Егора впотьмах и с трудом растормошил его. Сначала денщик не хотел вставать, но, услышав, что с ним говорит генерал-поручик Суворов, сразу пришел в себя. Он вскочил и побежал будить барина.

До Суворова донеслось недовольное бурчанье разбуженного генерала: «А, что?» Затем послышалось чирканье огнива, — денщик зажигал свечу. В полуоткрытой двери блеснул огонек. Дверь распахнулась, и Егор, стыдливо подтягивая сползающие штаны, сказал:

— Пожалуйте, ваше превосходительство!

Суворов вошел в мазанку.

При скудном свете огарка он увидал злое, нахмуренное лицо Михаила Федотовича. Генерал Каменский, повязанный сбившимся набок платком, приподнялся на пуховике. Он был так зол, что не знал, с чего начать.

— Напрасно беспокоились, Михаил Федотович. Вот и мы! — козыряя, сказал Суворов.

— Извольте, ваше превосходительство, слушаться старшего! Извольте впредь быть вместе, чтобы не приходилось вас больше разыскивать! — строго отрезал Каменский. — Вы всё сзади где-то...

— Мы люди необученные, идем не по-прусски, а по-русски, как умеем. А впрочем, я могу идти в авангарде. Мои ребята отдохнули, и я тотчас же исполню ваше желание! — ответил Суворов, круто поворачиваясь к двери.

— Ночью вы никуда не пойдете! Я не разрешаю! — крикнул Каменский.

Суворов обернулся к нему. Он закрыл глаза и раздельно отчеканил:

— Запрещать, Михаил Федотович, вы мне ничего не можете: я такой же генерал-поручик, как и вы! И тоже кое-что в военном деле смыслю! Можете спать спокойно, а я пойду вперед, к Козлуджи! — И он выскочил из мазанки.

— Ступай к черту! — крикнул ему вдогонку Каменский.

Строптивость Суворова окончательно вывела Каменского из терпения. Он лежал и прислушивался: неужели этот сумасброд пойдет ночью куда-нибудь?

Через минуту послышался топот коней и сдержанный говор людей, — мимо окон мазанки ехали казаки Суворова.

Каменский накрыл голову подушкой, чтобы ничего не слышать. Он пролежал так довольно долго. Потом вспотел и со злостью отбросил подушку. Мимо окон продолжали топать шаги. Привычное ухо Каменского уловило, как звякнула водоносная фляга, — это уже шла пехота.

Шеститысячный корпус Суворова, без всяких прусских хитростей и эволюции, упрямо двигался вперед.

IV

Деревня Юшенли давно осталась позади. Уже начинало светать. Шли не останавливаясь: Суворов хотел пройти лес Делиорман, который лежал на его пути, и устроить привал у городка Козлуджи.

Делиорман уже был виден. Он высился как черная, непроницаемая стена. Посреди него чуть белела узкая полоска дороги, быстро исчезавшая из глаз в непроглядной лесной чаще.

У самого леса остановились, — ждали, пока возвратится эскадрон сербских гусар, посланный вперед на разведку.

Остальные четыре эскадрона Сербского полка отошли в сторону с дороги, чтобы хоть немного дать отдых измученным, еле волочившим ноги лошадям. Голодные кони с жадностью набросились на скудную, жесткую траву, — чем дальше продвигались на юг, тем каменистее становилась почва.

Стоять без движения пехоте было хуже, нежели идти: сразу наваливалась дремота, по спине подирал холодок. Зевалось.

Воронов, опершись на ружье, клевал носом.

Зыбин, схоронившись за спинами товарищей, высекал огонь, собираясь закуривать: турок еще не ждали и шли без особых предосторожностей.

Башилов, для которого все представляло интерес, жадно смотрел по сторонам. Впереди плотной стеной возвышался лес, сзади такой же стеной стояли полки суворовского корпуса.

— Дяденька, чего мы стоим? — спросил он у Огнева.

— Послали гусар посмотреть, что в лесу. Видишь, какой он. Сунешься туда, а в нем, может быть, турок притаился, — ответил Огнев.

Было тихо. Слышался приглушенный говор сотен людей, где-то сзади взвизгнул жеребец.

И вдруг по лесу пронесся дробный треск ружейной стрельбы. Эхо донесло какие-то крики, топот лошадиных копыт.

— Басурманы!

— На турка напоролись! — заговорили все.

Дремота вмиг пропала.

Гусары садились на коней, строились сбоку от дороги.

— В каре! — раздалась команда.

Апшеронцы быстро стали в батальонные каре.

Первая рота занимала передний фас[1] каре. Справа от Огнева плечом к плечу стоял Башилов. Огнев чувствовал, как мелкой дрожью трясется плечо рекрута.

«Робеет, бедняга!» — подумал Огнев. Сам он неоднократно бывал в бою, пообвык, но все же каждый раз перед началом сражения ему было как-то не по себе.

Из лесу, пригибаясь к шеям лошадей, выскочило врассыпную с десяток гусар. В предутренних сумерках было видно, как у одного со щеки на васильковый доломан ручьем льется кровь. На втором не было кивера. Одна лошадь промчалась без всадника. Седло съехало набок, и стремя било по каменистой дороге.

Гусары, как обезумевшие, проскочили между батальонными каре апшеронцев.

— Стой! Стой! — останавливали их где-то сзади свои.

Следом за гусарами вырвались из лесу конные турки. Они, видимо, не ожидали, что сразу наткнутся на главные силы врага. Два-три всадника успели на всем скаку осадить коней и круто повернуть назад. Но одного из них сшибли налетевшие свои же, — турок вылетел из седла и, шлепнувшись о землю, остался лежать, а лошадь поднялась и побежала в сторону, вдоль опушки леса.

Десятка три турок, распаленных удачной погоней, в безумной, бессмысленной ярости наскочили с шашками на ощетинившееся штыками каре апшеронцев. Впереди всех на прекрасном вороном жеребце мчался какой-то чернобородый турок, видимо начальник.

---

[1] Фас — здесь — сторона.

Дико крича и размахивая кривой шашкой, он бросился на угол фаса, где стояло 2-е капральство.

Апшеронцы спокойно приняли их всех на штыки. Громадный вороной конь грохнулся со всего маху на бок, приподнялся и забился в предсмертных судорогах, больно задевая копытами апшеронцев. А чернобородый минуту висел на апшеронских штыках. Его рука, сжимавшая шашку и бесполезно рубившая по далеко вперед выброшенным ружьям, разжалась. Турок что-то крикнул в последний раз и поник. Апшеронцы сбросили его со штыков.

Башилов тяжело дышал.

— Уважили их благородие — досыта накачали! — сурово усмехнувшись, сказал Зыбин.

— Коня-то жалко: вон какой жеребец был! — пожалел Огнев.

— Бес его возьми — мне всю голенку копытами истолок и штиблет изорвал, — потирал ушибленную голень Воронов.

В это время откуда-то сзади прискакал на своем степняке сам Суворов.

— Ребята, справа по три, за мной! — крикнул он сербским гусарам и первый помчался в этот густой, страшный своей темнотой и неизвестностью лес.

Гусары, крестясь и пришпоривая коней, поспешили вслед за Суворовым.

V

Войска Суворова уже несколько часов пробивали себе дорогу штыками через лес Делиорман. Взошло солнце, настало утро, а в лесу все еще кипел горячий бой. Вся узкая лесная дорога была завалена трупами людей и лошадей и повозками брошенного на пути турецкого обоза.

Турки, засевшие в лесу, сначала опрокинули сербских гусар Суворова: гусарам негде было развернуться, и они бежали. Но потом подоспела пехота, и турки начали отступать, хотя упорно отстаивали каждый свой шаг.

Для Башилова все это утро пролетело как один миг. Башилов двигался словно во сне: в кого-то стрелял, кого-то колол штыком. Кругом Башилова падали люди, — ранило молодого рекрута, который пришел в полк одновременно с Башиловым, упал зарубленный янычаром старик капрал. Башилов ежесекундно ждал, что его убьют, но продолжал идти невредимым. Только раз шальная пуля сшибла с его стриженой головы треуголку.

Чувство страха, которое Башилов испытывал в начале боя, теперь как-то притупилось. Башилов уже немного привык к виду крови, к мертвым телам турок и своих, лежавшим на каждом шагу.

И лишь одного Башилов не мог равнодушно перенести: на ближайших придорожных деревьях и кустах торчали воткнутые на сучья отрубленные турками головы русских гусар. Когда Башилов впервые, в полушаге от себя, увидал на молодом дубке эту страшную мертвую голову, он точно ступил на уплывающую из-под ног доску деревенских качелей. По разгоряченной, потной спине откуда-то хватил сквознячок. Башилов чуть не выпустил ружья из рук.

Но лесная дорога была узка, сзади все бежали новые и новые капральства. Кто-то сильно толкнул плечом загородившего дорогу Башилова, и он тотчас же пришел в себя. Огляделся: кругом него были незнакомые мушкатеры. Ни Зыбина, ни дядьки Огнева не было рядом.

На одной лужайке, где столпились турецкие телеги и из-за этого прикрытия янычары отбивались от русских, он услыхал знакомый зычный голос Алексея Зыбина:

— А ну расступись, ребятки, дайте второму капральству вдарить!

Башилов кинулся на голос, но когда подбежал к турецким возам, то Зыбина уже не оказалось. Разыскивать свое капральство было некогда, — стремительный людской поток увлекал его все дальше.

Башилова, как и всех в суворовском корпусе, сильно мучил голод, — с самого вечера во рту не было ни крошки. Еще больше мучила жажда. Столько времени были на ногах, в движении, а тут еще в лесу стало душно, как в бане. Парило. Многие солдаты падали замертво от изнеможения и страшной усталости.

А проклятому лесу не было конца. Вот, казалось, уже выходили на опушку, но это опять была очередная лужайка.

Наконец лес стал заметно редеть. Впереди посветлело, — видимо, пробивались к опушке.

И вдруг сверху точно кожухом накрыло Делиорман. В лесу разом стемнело. Над головами неожиданно загрохотал гром, ослепительно сверкнула молния, и на лес шумной, звонкой лавиной обрушился ливень.

Выстрелы сразу прекратились. Стихли неистовые крики турок. Ливень устроил перемирие. Движение приостановилось. В одну минуту по узкой дороге побежали мутные потоки воды. Люди не укрывались от дождя — каждый старался только прикрыть ружейный замок.

Все охотно стояли под этими освежающими струями воды и ветра, ловили воду. Подставляли фляги, манерки, котелки, кружки, ладони. Не могли напиться, не могли нарадоваться этой спасительной влаге и свежести.

В минуту — усталости как не бывало. Люди хотя и вымокли до нитки, но не ждали, когда перестанет ливень, — с новым упорст-

вом двинулись вперед, туда, где сквозь поредевшие деревья уже блестело солнце.

Туркам этот ливень был очень некстати: их широкие шаровары намокли, отяжелели, мешали в ходьбе, а ружейные патроны, которые турки обычно насыпали в карманы, быстро промокли.

Выскочив на опушку леса, апшеронцы увидели, как по полю неуклюже, точно стреноженные, бежали из лесу неприятельские солдаты.

За лесом расстилалась обширная поляна, покрытая кустами терновника.

На холмах белели палатки турецкого лагеря, виднелись батареи.

Апшеронцы и суздальцы, сильно поредевшие в бою, рота за ротой высыпались из лесу на солнышко. Солдаты с удивлением глядели на раскинувшийся перед ними турецкий лагерь, над которым по небу кривой азиатской шашкой изогнулась великолепная радуга.

В это время из лесу выскочил на коне Суворов.

Мундир его был мокр, лицо посерело от усталости, но большие голубые глаза глядели весело и зорко.

Он сегодня ни на минуту не выходил из боя. Он поспевал всюду — подбадривал измученных солдат, увлекал их вперед.

От пленных турок Суворов уже знал, что за лесом стоит вся сорокатысячная армия Абдул-Резака и главного янычарского аги. Он не предполагал, что турецкая армия так близко и что она встретит их в поле, перед Шумлой. Но Суворов был доволен, что Каменский не оказался впереди: он, конечно, пустился бы на все прусские «чудеса» — медлил бы ударить на врага, а враг тем временем укрылся бы под стенами крепости.

Ждать нечего. Нужно ударить, ошеломить!

Пусть русских впятеро меньше, но турки не знают, сколько у Суворова войск и сколько еще может выйти из лесу.

Суворов заторопил пехоту. Сильно поредевшие апшеронцы, суздальцы и севцы строились в батальонные каре.

Из лесу, тарахтя и звеня, выкатились десять пушек капитана Базина.

Турки увидали выстраивающегося неприятеля и уже открыли огонь. Ядра с треском разрывались в лесу — во все стороны летели щепы от дубов и ясеней.

— Ишь со злости пошел лучину колоть! — смеялся Зыбин. — Ты где это был, парень? Мы уж тебя поминать хотели! — обернулся он к Башилову.

— Отстал, дяденька...

— Молодец — пробился! — похвалил его Огнев.

Раздалась команда. Каре двинулись вперед, на турецкий лагерь. С флангов скакали казаки и гусары.

VI

Решимость чаще выигрывает сражение, нежели сила.

Ксенофонт

Абдул-Резак, сидя на своем арабском жеребце, глядел вниз, в лощину. Ему не нужна была зрительная труба, — Абдул-Резак и без нее прекрасно видел быстрыми черными глазами.

Абдул-Резак смотрел и не верил.

Он был ошеломлен внезапным появлением русских у Козлуджи. Еще несколько часов тому назад все считали, что русские стоят где-то под Гирсовом, верст за полтораста от Козлуджи. Абдул-Резак и направлялся туда, чтобы отнять у неверных этот важный пункт, а они вдруг очутились здесь.

Но не только это озадачивало Абдул-Резака, — русские войска сегодня вели бой не так, как обычно.

Европейцы боялись стремительных, следующих одна за другой, лихих атак турецкой конницы, которая с диким воем, точно ураган, налетала на врага. Застигнутые в открытом поле, неверные тотчас же сбивались в одну большую кучу, становились спиной к спине, словно овцы, приготовившиеся отбиваться от волков. А впереди себя обязательно выдвигали деревянные рогатки, чтобы головы неверных не так легко могла достать кривая турецкая шашка.

Но тут, у Козлуджи, было что-то другое. Абдул-Резак привык к тому, что неприятельская пехота стоит на месте громадным, неповоротливым четырехугольником. А в этот раз русские разбросали свою пехоту по всему полю небольшими квадратами. Сегодня впереди пехоты почему-то не было рогаток, и русские не только старались отбивать турецкие атаки, но и сами быстро шли вперед.

Войска Абдул-Резака сражались как обычно — беспорядочной толпой. Они остервенело кидались на врага. Вперед, как всегда, лезли самые храбрые. Более малодушные напирали на них сзади, не давая передним останавливаться.

Абдул-Резак видел: слева русские отбивали все яростные атаки его спагов и янычар, но справа как будто бы дело шло лучше для турок — в нескольких местах эти плотно сбитые квадраты русской пехоты теряли свою правильную форму.

Абдул-Резак повеселел. Он поглаживал курчавую бороду, хотя его пальцы дрожали при этом; Абдул-Резака все-таки беспокоила неожиданность удара русских и полная неизвестность — сколько же еще укрылось их за этим густым лесом? Сможет ли он противостоять им со своими двадцатью пятью тысячами янычар и пятнадцатью тысячами спагов? Ведь у визиря в Шумле осталось не более тысячи человек. Если Абдул-Резак потерпит на этом поле по-

ражение, русским будет открыта дорога на Балканы. Абдул-Резак обернулся и сказал своему адъютанту, чтобы к левому крылу послали еще спагов на подмогу. Через минуту из лагеря вниз, в лощину, помчались тысячи всадников.

Абдул-Резак смотрел, что будет дальше.

Но произошло совсем неожиданное: не успели спаги доскакать до русских, как вдруг на всем скаку круто повернули в сторону и, рассыпавшись по полю, кинулись назад, к Козлуджи.

Дело было в том, что весь левый край турок бежал назад, а за ним побежал и правый. И все сразу перемешалось. Малодушные, бывшие до этого в задних рядах, теперь бежали первыми. Они выбрасывали из карманов патроны, стреляли вверх, швыряли в сторону тяжелые длинные ружья, которые неудобно заряжать и из которых без упора трудно стрелять.

Задних же настигала и рубила русская кавалерия: Абдул-Резак ясно видел яркие мундиры гусар и казаков.

— Сюбхан Аллах![1] — воскликнул он. — Все погибло!

Абдул-Резак прекрасно знал своих воинов: если побежала хоть одна часть с поля, тотчас же ей следовали остальные. В атаке для турок не существовало никаких преград, но зато и в бегстве не было ничего, что бы их остановило. Страх летел быстрее ветра. И страх не просто быть убитым, а быть заколотым штыком: после того как Магомет запретил мусульманам есть свинину и приказал переколоть всех свиней, смерть от штыка считалась у турок позорной.

Абдул-Резак ударил своего бедуина плетью и бросился туда, где стоял толстый ага янычар.

— Останови этих трусов! — закричал он, указывая на бегущих.

— Я говорил тебе — будет плохо, пророк не за нас: когда мы выступали в поход, ветер дул нам в лицо! — ответил ага, поглядывая на столпившихся, тревожно перешептывавшихся между собою янычар.

— Их ружья длиннее наших ятаганов! Мы не хотим, чтоб нас закололи, как свиней! — кричали из толпы. Янычары жались поближе к палаткам, видимо собираясь тоже наутек.

Абдул-Резак круто повернул коня и поскакал к спагам. Но и тут никто не хотел слушать его. Спаги не слушали увещаний ни Абдул-Резака, ни своих начальников. Они навьючивали на лошадей свои и чужие вещи из брошенных палаток и только смотрели, успеют ли еще захватить что-нибудь или нет.

В лагере каждый уже думал только о себе самом. Если бы удалось остановить бегущих, весь страх мгновенно прошел бы и здесь.

---

[1] Великий Боже!

Абдул-Резак помчался навстречу бегущим. Запыхавшиеся, красные, потные, они уже вбегали в лагерь, крича: «Вай! Хайди!»[1]

И вселяли страх и смятение в тех, кто еще кое-как держался.

Абдул-Резак вертелся на своем бедуине, размахивая выхваченной из ножен саблей, и кричал:

— Остановитесь, трусы! Стойте, презренные ишаки!

Но никто не останавливался. Только со всех сторон кричали ему со злостью и руганью:

— Встречай сам свою смерть!

— Ты на коне, а мы пешие!

— Ты спасешься, а мы погибнем!

— Накажи меня Аллах, чтобы я вас покинул! — исступленно кричал Абдул-Резак. — Если хотите, и я с вами буду драться пешим...

Но его слова заглушил визг шлепнувшегося неподалеку ядра: русские пушки уже били по лагерю. Это еще больше усилило смятение. Весь лагерь охватил ужас. Артиллеристы рубили постромки, собираясь удирать. Янычары кидались к спагам, стараясь как-либо уцепиться за стремя. Спаги били их плетьми, рубили шашками. Пешие стреляли в верховых, чтобы завладеть конем. Какой-то янычар выстрелил даже в самого Абдул-Резака, но промахнулся.

Все окончательно потеряли рассудок.

Абдул-Резак метался по лагерю на коне, кричал охрипшим от отчаяния голосом:

— Дур! Дур![2]

Но все его старания были тщетны: турецкая армия бежала врассыпную, куда кто мог.

VII

Букарест изнывал в полуденной истоме. Было безветренно. Стояла удушливая жара.

Пыльные узенькие улочки опустели; даже свиньи и те забились куда-то в тень.

По бревенчатой мостовой не дребезжала ни одна каруца. Умолкли всегдашние шумливые ферарави и скаумеле[3], притихли, обезлюдели веселые, оживленные ханы[4]. Все обыватели попрятались в дома — забирались в просторные прохладные сени и пили дульчец[5], особенно приятный в такую жару. Только в полутемных сенях и можно было найти спасение от зноя.

---

[1] Беда! Вон отсюда!

[2] Стой! Стой!

[3] Ферарави — медники, скаумеле — музыканты.

[4] Ханы — трактиры.

[5] Дульчец — холодная вода с вареньем.

Суворов в одном белье лежал на коврике в сенях. Час тому назад он вернулся из ставки, куда ездил докладывать главнокомандующему о козлуджинской баталии.

Когда 9 июня, на закате, турки бежали из Козлуджи, оставив Суворову трофеи — богатейший лагерь, обоз, 29 пушек и 107 знамен, Каменский с главными своими силами еще только подходил к Делиорману. Он остановился на ночь у леса, а на рассвете 10 июня соединился с Суворовым у Козлуджи.

Суворов тотчас же предложил Каменскому идти вперед: путь за Балканы был открыт — у визиря в Шумле оставалась горсть людей.

Каменский не соглашался на это. Он твердил, что надо обождать, пока подвезут провиант. Фридрих II учил, что полководец не должен отходить от своих продовольственных магазейнов дальше чем на семь переходов. Каменский слепо придерживался этого, не учитывая, что здесь были иные условия, иной противник, а главное — что он имел дело не с наемным солдатом, а со своим, русским.

— Мы уже и без того не в семи переходах, а бог весть во скольких от магазейнов, — упрямо твердил Каменский.

Суворова наконец взорвало:

— Фридрих Второй да Фридрих Второй! Помилуй Бог! Затвердила сорока Якова, твердит про всякого! — крикнул он и побежал прочь от этого фанатичного поклонника прусского короля.

Каменский упрямо не понимал того, что прусская тактика отжила свой век, не хотел видеть, что только суворовское движение вперед выиграло баталию у Козлуджи.

Из-за глупого упрямства Каменского вчерашняя славная победа Суворова теряла всякое значение.

Суворов тотчас же подал рапорт о болезни. Действительно, его вновь стала трепать старая лихорадка, которая пристала к нему еще в Негоешти.

И Суворов уехал в Букарест. В Букаресте он пробыл полдня, а ночью отправился в Браилов к Румянцову.

Главнокомандующий ласково встретил победителя, но отпустил ему несколько «купоросных пилюль», как любил выражаться Суворов. Румянцов корил Суворова за то, что он действовал независимо от Каменского.

— Но, ваше сиятельство, посудите сами, разве можно согласованно действовать с таким упрямцем? — возражал Суворов.

— Хороши вы были оба при Козлуджи. Оба упрямы как козлы! — улыбнулся Румянцов невольно подвернувшемуся каламбуру.

— Может быть, я и упрям, но мое упрямство принесло России победу, — запальчиво ответил Суворов. — А вот Каменский из уп-

рямства стоит на месте. Разве после такой победы можно стоять? Не только день, а даже час промедления смерти подобен!

— В его положении не дни и часы, но каждый момент дорог, — согласился Румянцов.

Вспоминая сейчас все это, Суворов подумал: «Разумеется, Каменский и все мои завистники будут кричать: «Суворов не тактик! Суворов не по правилам!» И пусть кричат! Да-да. Я — не по-прусскому! Я — по-русскому! Бил и буду бить врага».

— По-своему! — громко сказал Суворов и заходил из угла в угол.

— Кликали меня, ваше превосходительство? — просунул в дверь лохматую голову казак-вестовой.

— Нет, ничего. Отдыхай, братец! — ответил Суворов, продолжая ходить по сеням.

Глава шестая

СУВОРОЧКА

Смерть моя — для отечества,
Жизнь моя — для Наташи.

Суворов

I

В просторной хате Трохима Зинченки со вчерашнего вечера стоял переполох: бабы подновляли пол, белили стены, мыли столы и лавки, а Трохим перетаскивал к брату, жившему по соседству, макитры, кожухи, свитки, прялки и прочее добро.

Все село знало эту новость: у Трохима будет жить сам генерал из дивизии, которая уже не первый год располагалась лагерем на поле.

Хата Трохима стояла на краю села, в садочке. Если бы в ней поместился какой-нибудь аудитор или поручик, не было бы никакого дива. Но в хате простого селянина собирался жить не лишь бы кто, а генерал, и это всех очень удивляло. Тем более что в трех верстах от села находилось панское имение с большим домом, где всегда и жил прежний командир дивизии.

Все помнили высокого широкоплечего генерала, который, в орденах, напудренный и важный, как следует быть барину, генералу, проезжал иногда через село на тройке. Хотя он жил не у себя в имении, но и тут остался помещиком: в его руках было тысяч десять подневольных солдатских душ. Он распоряжался ими как хотел, отдавал солдат на работу к окрестным помещикам: у одного

строили стодолы[1], у другого — всю усадьбу. Не один батальон косил у панов хлеба и сено.

И за все лето генерал только раз или два устраивал ученья в поле, чтобы за косой, топором да граблями мушкатер не забыл, как ходить ровно по линейке, а гусар не разучился ездить верхом.

А в этом году прислали нового генерала. Все поле забелело палатками. Новый генерал не отпустил на сторону на работы ни одного солдата: косили сено только для своих лошадей и убирали хлеб только свой, купленный у помещиков на корню для дивизии. Большею же частью занимались военным делом — то учились стрелять, то уходили куда-нибудь, чуть ли не под Харьков, в поход.

Иногда утром пастухи, гнавшие скот, видели, что лагерь опустел за ночь, что в нем остались одни часовые. А через несколько дней с другого конца села с песнями и барабанным боем возвращались домой полки.

А впереди войск, на коне, ехал такой же запыленный и черный от загара, с таким же обветренным лицом и шелушившейся на носу кожей, как у всех его мушкатеров, егерей и гусар, этот генерал.

Он ни в чем не походил на тех генералов, которых привыкло видеть село.

Генерал должен быть толст, чванлив и важен. А этот, худенький и неказистый, приветлив и прост.

Генерал должен быть всегда в красивом мундире, чтоб блестели пуговицы, галуны, ордена. А этот одет в полотняные штаны и куртку, как дьячок, когда работает в поле. Одним словом, если бы не знать, кто это, никому и в голову не пришло бы, что это генерал.

— Може, вин и добрый вояка, але якый же з нього генерал! — высказал кузнец общее мнение всех селян, когда они впервые увидали генерала в церкви у обедни.

Но все-таки, как он странно ни одевался, как ни держал себя просто со всеми — разговаривал у церкви с ребятами, сам подал полушку убогим, но был он командиром — шутка ли сказать! — целой дивизии.

И все село завидовало Трохиму, что ему вдруг привалило такое счастье.

У Трохимова плетня толпились любопытные бабы и ребятишки — смотрели, что будет дальше, ждали. Бабы стояли у самого перелаза, а ребятам из-за них ничего не было видно. Бóльшие вешались на плетень, меньшиé подглядывали в щели.

К хате подъехала солдатская повозка, запряженная худой лошаденкой. В повозке сидели ямщик в рыжей шапке с желтым медным орлом и молодой толстоносый парень — нос у него как доб-

---

[1] Стодола — сарай для скота.

рая груша. Толстоносый парень был, по всей видимости, генеральский денщик.

Никого уже не удивляло то, что у нового генерала всего-навсего один человек, — у этого генерала все было по-иному. Денщик стал вносить в хату генеральские вещи. Но и вещей было мало.

Сначала он порадовал всех — достал из узелка и встряхнул настоящий, как надо быть, темно-зеленого сукна, с золотом и орденами, генеральский мундир.

Бабы так и ахнули:

— Дывиться, дывиться, ось яке!

Денщик понес мундир в хату, где мать и дочь Зинченки уже стлали полавники, вешали на иконы чистые, вышитые петухами длинные рушники, шест, протянутый над кроватью, покрывали рядном.

Кроме мундира и таких же штанов и золотого шарфа с темляком еще были новые ботфорты со шпорами.

Проходивший мимо хаты гончар издалека оценил их:

— Справни. Мабуть, карбованци два коштують!

Но остальное все — пустяки: книги в желтых телячьих переплетах, небольшая подушка в ситцевой наволочке, синий плащ, шпага и ломаный подсвечник.

Не на что смотреть!

На дне повозки больше ничего не было.

Солдат поехал назад к лагерю, а толстоносый неразговорчивый денщик, кликнув на помощь хозяина, стал зачем-то разбивать в саду, возле дома, палатку.

— Це що, тут будэ стояты варта? Генерала вартуваты? — полюбопытствовал Зинченко.

— Нет, — буркнул Прохор.

— Сами будэтэ спаты? Та хиба ж в хати мисця мало?

— Нет.

Зинченко больше не стал допытываться, — из денщика слова хоть клещами рви.

Через минуту угрюмый Прохор сам сказал:

— Ляксандра Васильич не любит в избе спать.

В полдень нежданно-негаданно — никто и не заметил, как он подошел, — явился сам генерал.

Бабы все так же стояли кучкой у перелаза, говорили разное, забыв о генерале. Говорили про то, что в Хорошках объявилась ведьма и пьет молоко у коров, про то, что к гончарихе — Бога не боится и детей не стыдится — бегает сват.

И в это время кто-то легонько ударил пальцами в толстые бока Горпины, которая стояла у перелаза на самой дороге. Горпина вскрикнула — боялась щекотки, — круто обернулась, собираясь

уже ударить по рукам шаловливого мужика, и обомлела: перед ней стоял, весело улыбаясь, сам генерал.

Когда он возвращался из похода, небритый и черный, или когда стоял во время обедни на левом клиросе и издалека видны были только его впалые щеки с двумя складками вдоль носа и высокий лоб, изборожденный морщинами, — генералу можно было дать за пятьдесят. Но сейчас голубые глаза глядели молодо, небольшой приятный рот насмешливо улыбался.

— Позволь, красавица! — сказал генерал.

— Ой, лышенько! — смутилась покрасневшая Горпина, пятясь назад.

Генерал легко, как двадцатилетний, перемахнул через перелаз и быстро зашагал к хате. Бабы оживились, потешаясь над Горпиной, расспрашивали, как генерал пощекотал ее, верили и не верили ее рассказам.

А из хаты доносился веселый, быстрый голос генерала. Ему вторила бойкая скороговорка Параски, жены Зинченки. Хитрая, льстивая баба сокотала, рассыпалась перед таким важным постояльцем — дробней маку.

Но что происходило в хате, не было видно, а всем так не терпелось — хотелось узнать. Бабы заходили то с одного, то с другого боку — не видать! Наконец какой-то черноглазый хлопец, бывший пошустрее остальных, перескочил через перелаз, подбежал к хате и смело глянул в небольшое оконце. Он постоял так с минуту, а потом кинулся со всех ног назад к плетню.

Бабы обступили хлопца.

— Ну що?

— Сыдыть та йисть.

— Що йисть?

— Титка Параска насыпала йому борщу.

— Брэшэш?

— Не брэшу! — обиделся хлопец. — Побижить подывиться!

— Боже ж милостивый! Генерал йисть борщ!

— Вин сказывся.

— А чого бы не йисты? Параска добрэ варыть.

— Та же не я або ты. Нас с тобою пусты, мы будэм йисты и Бога хвалыть: Параска в борщ добрэ, мабуть, сала натовкла. А то ж вин сказано — *генерал!*

Обедал генерал недолго — по-солдатски. Пообедав, направился в сад, на ходу сбрасывая с плеч полотняную куртку. Заглянул в палатку и вышел оттуда с какой-то бумажкою в руке. Генерал стал быстро ходить по саду, то и дело заглядывая в бумажку и что-то бормоча.

От перелаза было невозможно что-либо услыхать. Ребята побежали к саду со стороны улицы, где рос вишенник. Приникли к плетню, осторожно смотрели из-за него.

— Мыколо, Мыколо, ось я бачу. Иды сюды! — шептал один.

— Та почэкай, и у менэ добрэ выдно.

— Де вин? Я ничого нэ бачу! — хныкал и лез ко всем ребятам самый маленький из них, не видевший ничего.

— Ось дурный! Ось бач! — тыкал его головой в проломленный плетень старший хлопец.

Смотрели, жадно слушали, что такое сам с собою говорит генерал, но ничего не понимали: генерал говорил на непонятном языке.

Потихоньку за ребятами потянулись к вишеннику и любопытные бабы. Подходить к самому плетню соромились. Стояли на дороге, издалека тихо спрашивали у ребят:

— Що вин робыть?

— Що вин говорыть?

Ребята разочарованно отвечали:

— А хто ж його зна. Ходыть та бормочэ.

— А що ж бормочэ?

— Молиться або що?

— Щось бормочэ нэ по-нашому...

Ребятам уже становилось скучно смотреть на эти генеральские сапоги — сапоги как сапоги, даже без шпор, — на небольшую косичку генерала, на его худую шею. Ничего интересного.

Но генерал ходил недолго. Он шмыгнул вдруг в палатку и остался в ней. Должно быть, лег спать. Ребята божились, что слышат, как генерал храпит.

— О, чуеш, чуеш?

— Та ж то Пэтро сопэ...

— Пэтро, одийды!

Маленький Петро обиженно отошел в сторону.

— О, чуеш?

— Эгэ.

— Спыть. Мыколо, побижымо на ричку купаться...

А в это время денщик Прохор не торопясь обедал за тем же самым столом, за которым полчаса тому назад ел генерал. Прохор сказал хозяевам, что у его барина такой порядок: после обеда он учит по бумажке турецкий разговор, а потом ложится спать, стало быть, пока что можно и ему спокойно пообедать.

— А на що гэнэралови вчытыся по-турэцькому? — спросила хозяйка.

— Дурна баба, — вмешался муж, — з туркамы который рик воюе — и по-християнському з нымы будэ балакаты? В полон кого возьмут або що...

Хозяин сбегал в шинок, принес полкварты горелки — хотел развязать язык денщика, расспросить у Прохора про такого необычного генерала. Горелку Прохор выпил охотно, но остался все так же немногословен и мрачен, как и был. Он только сказал, что барин — что ж барин? Барин ничего, добрый!

— А чы богатый? — спросил Трохим.

— Бога-атый...

— А чы жонатый? — спросила Трохимиха.

— Женат. Барыня, должно быть, сегодня приедут из Москвы — ждем!..

Тут обе Зинченки — мать и дочь — засыпали Прохора вопросами.

Прохор ковырял в зубах пальцами, икал, глядя на опустевшую полкварту, и, слабо понимая, что такое лопочут бабы, все переспрашивал:

— Ась? Чего-с?

Разобрав наконец, что они хотят побольше знать о генеральше — какого она роду, красивая ли и прочее, — Прохор только махнул рукой и изрек:

— Баба да бес — один у них вес!

И больше не стал ничего говорить — курил, задумчиво вертя в пальцах пустую чарку.

Хозяйка, отчаявшись разузнать у денщика что-нибудь еще, стала собирать со стола, когда на улице послышался шум.

Ее дочь глянула в окно, всплеснула руками и закричала:

— Генеральша йиде!

Хозяева опрометью бросились из хаты. А Прохор нетвердыми ногами побежал в сад будить барина.

К дому действительно подъезжала целая вереница телег, точно свадебный поезд. Впереди ехала высокая коляска, запряженная тройкой лошадей. Ее занимали полная румяная женщина лет тридцати и молодой офицер в новеньком мундире и треуголке: Между ними виднелась светловолосая пушистая головка миловидной девочки с большим голубым бантом в волосах. На передней скамейке, против господ, сидела горничная.

На следующих возках и телегах, среди узлов, сундуков и корзин, пестрели кофты и платки дворовых девок.

Навстречу приехавшим бежал из сада в туфлях на босу ногу генерал. Он радостно улыбался и кричал:

— А, приехали! Добро пожаловать!

Горничная, сидевшая в коляске, взяла на руки девочку и передала ее подбежавшему генералу. Генерал подхватил дочь и стал целовать ее, приговаривая:

— Наташенька! Сестричка! Суворочка!

Молодой офицер выпрыгнул из коляски и помог выйти барыне, которая без удовольствия смотрела на эти низенькие белые

хатки, на желтые головы подсолнечников, на горшки, сушившиеся на плетне.

Генеральша, шурша юбками, подплыла к мужу. Он, не отпуская дочери, одной рукой обнял жену, поцеловал ее и пошел к хате, нисколько не обращая внимания на щеголя-офицера, который, сняв треуголку, почтительно стоял поодаль.

— Саша, — остановила мужа генеральша, — что ж ты не здороваешься с Николаем Сергеевичем? Племянника знать не хочешь?

Генерал, державший дочку на плече, обернулся. Быстро взглянул на щеголя-офицера.

— Здравия желаю, дядюшка! — поклонился офицер.

— Здоро́во, дружок, здоро́во, — каким-то вялым, безразличным голосом ответил генерал, делая шаг к племяннику и подставляя ему щеку для поцелуя.

— Николай Сергеевич нас сопровождал. Охранял! — сказала жена.

Генерал фыркнул.

— Услужил! Премного благодарен. Помилуй Бог! Услужил! — все так же неласково говорил генерал, меряя с ног до головы неожиданно приехавшего родственника.

Потом вдруг его глаза снова вспыхнули всегдашним огнем.

— Сергея, двоюродного брата, сынок? — как будто что-то вспоминая, твердо спросил он.

— Точно так.

— В каком чине изволите служить, ваше благородие?

— Секунд-майор.

Генерал еще раз окинул его быстрым взглядом и, приговаривая: «Секунд, секунд!», побежал к хате вприпрыжку, изображая лошадь.

Светловолосая девочка звонко смеялась, держась за голову отца обеими руками.

Генеральша шла за ними, недовольно поджав толстые губы. Секунд-майор смущенно следовал сзади.

...Бабам хватило разговоров о Зинченковых постояльцах на целый день. Все село тотчас же узнало, что генеральша Суворова привезла с собой двенадцать дворовых девок и шесть сундуков с платьем, что она заказала Параске варить только для девок на обед три курицы, а себе — селезня и поросенка, что у генеральши полны руки колец, что она как стала переодеваться, так на ней было накручено пять шелковых юбок, не считая исподних, что она, видать, настоящая богатая барыня.

Все бабы наперебой хвалили ее:

— Та молода, вродлыва, як троянда![1]

---

[1] Троянда — роза.

— А богата: убрання на йий бачыла яке?

— Шовкове.

— А донька яка малэнька, прыгожа. Зубкы — як кыпинь били. Такэ голубьятонько!

— А хто ж той молодый?

— Племьянныk, кажуть...

— Ой то ж мени тийи племьянныкы у молодойи бабы! — покачала головой жена кузнеца.

II

Ветра почти не было — пламя свечи едва колебалось.

Александр Васильевич сидел у себя в палатке и писал.

Он встал, как обычно, в третьем часу пополуночи. На густом украинском небе еще ярко горели звезды. Было тихо. Лишь в саду время от времени с глухим стуком падало на землю яблоко да по всему селу перекликались верные часовые — горластые петухи.

Александр Васильевич занимался хозяйственными делами. Сегодня уезжали назад подводы, привезшие вчера Варютины вещи и дворовых девок. Нужно было еще раз прочесть все письма и отчеты московского домоправителя и адъютанта поручика Кузнецова, которого Суворов звал просто Матвеичем, и корявые, смешные письма старост других суворовских вотчин и деревень.

После смерти батюшки (он умер в ту осень, когда родилась Наташенька, ровно четыре года тому назад) Александру Васильевичу приходилось самому заниматься постылыми хозяйственными делами. Раньше он не касался до этого, а теперь нужно было вникать во все.

Нужно было помнить, что в Рождествене мало заведено домашней птицы, в Ундоле — надо строить дом, а в Кончанском староста — видно по письмам — лжец и льстец и, стало быть, от него нет житья мужикам, но проверить это пока что нельзя: в Кончанском Суворов еще ни разу не был.

Наконец, надо следить за всеми плутнями постоянного стряпчего Терентия Ивановича, известного болтуна и безвестного пииты, а прежде всего — первостатейного прохвоста, которому Александр Васильевич два года назад как-то неосмотрительно доверил ведение всех своих дел. «Велеречивый юрист Терентий», как для себя называл его Александр Васильевич, всегда вел в суде какую-то тяжбу. Суворов прекрасно понимал, зачем это делается: затем, чтобы показать, что Терентий Иванович не зря получает в год пятьсот рублей ассигнациями.

Александр Васильевич не терпел всех этих хозяйственных дел: они напоминали ему те несносные годы, когда он был обер-провиантмейстером в Новгороде и комендантом в Мемеле.

Но делать было нечего: приходилось читать отчеты, думать о разных хозяйственных мелочах, хотя у Суворова и без них было о чем думать. Приходилось решать — решал-то Александр Васильевич быстро! — и, что скучнее всего, писать.

Александр Васильевич уже написал длинное письмо Матвеичу. Матвеич — хороший, честный служака, но еще молод. В голове у него бог весть что, и если ему вовремя не напомнить — поди, все перезабудет.

Александр Васильевич напомнил ему о дровах — поколоты, сохнут ли? — о том, что надо наварить и зарубить в лед крепкого русского пива — пиво Суворов любил, — о том, чтобы насушить к зиме грибов, насолить — огурцов, наготовить капусты белой, и серой, и кочанной.

Подумал и приписал:

«Также и всех земляных продуктов довольное число в запасе до новых».

— Кажется, всё? Нет, еще о музыкантах и певчих.

В московской дворне осталось от батюшки довольно музыкантов и певчих. Александр Васильевич тоже любил и музыку и пение, но не мог примириться с тем, что теперь все эти люди сидят там ничего не делая. В прошлом письме он написал Матвеичу, чтобы все музыканты и певцы работали в огороде, в саду, на пашне — где захотят, чтобы сами добывали себе хлеб. Велел дать им коров, лошадей, семена, бороны, сохи. А Матвеич пишет, что не все взялись за хозяйство.

Конечно, дудить в трубу или петь легче, чем за сошкой ходить! Но от лени и праздности — одни пороки.

Написал:

«Остающимся вокальным инструментам пахать и сеять».

«Вот теперь все. Только ответить на письмо старосты Пензенского села Никольского».

Староста хочет отдать бобыля в рекруты. Вспомнил — обозлился.

— А почему — бобыль? Почему допустили до того, что шатается по миру голодный?

С размаху ткнул пером в чернильницу. Мелко, бисерным почерком, быстро застрочил:

«Бобыля отнюдь в рекруты не отдавать. Не надлежало дозволять бродить ему по сторонам. С получением сего этого бобыля женить и завести ему миром хозяйство. Буде же замешкаетесь, то я велю его женить на вашей первостатейной девице, а доколе он исправится, ему пособлять миром во всем: завести ему дом, ложку, плошку, скотину и прочее».

Даже кляксу посадил с досады.

Староста... Толстая морда! Самого бы его на место этого парня-бобыля! «Бобыль, бобыль!»

Да, он прекрасно знает, что такое бобыль. Таких бобылей у него в полках — сотни. Честные люди. Прекрасные, исполнительные, храбрые солдаты.

Александр Васильевич вскочил. Шагнул было по палатке, но в ней не разойдешься: шагнешь — и уже очутишься в саду. Схватил со стола табакерку. Понюхал и сморщился, прислушиваясь.

Чихнул.

«Дрянь табачок. Ах ты, Матвеич, Матвеич, простая душа! — покачал он головой. — Добрый человек, а любой торгаш вокруг пальца тебя обведет: вот всучили какую-то дрянь! — Матвеич прислал с Варютой табаку, и, как всегда, присылал ли он чаю или табаку, все плохо. А к чаю и табаку Александр Васильевич был неравнодушен. — Сам не нюхает, а ведь не посоветуется со знающим человеком. Верит торговцу».

Суворов сел и, взяв перо, написал:

«От нюхательного табаку, тобой присланного, у меня голова болит. Через знатоков надобно впредь покупать, смотри исправно внутрь, а не на обертку, чтобы не была позолоченная ослиная голова».

Задумался.

Вот и Варюта такая же, как Матвеич: все на обертку только смотрит, и оттого всё у нее — «позолоченная ослиная голова». Притащила с собою этого франта-племянника.

Суворов фыркнул от досады: «Дура!»

Думал: Варюта крепкая, из нее выйдет добрая мать-командирша, солдатская жена, товарищ в походе, в лагере. Ан вышло не так. Вышло такое, что лучше и не говорить.

В это время издалека послышалось тарахтенье колес, — ехали подводы, которым Александр Васильевич велел еще до света отправиться из села назад, в Москву.

Сколько раз он говорил Варюте, чтобы она, приезжая к нему в армию, не тащила с собой весь этот курятник — целую кучу ненужных дворовых девок.

Прозоровские век жили на широкую ногу, привыкли без толку сорить деньгами направо и налево. У них в доме всегда толкалось без дела пропасть народу — горничные, лакеи, разные кофишенки, музыканты, казачки́. Приехала и сюда с этим выводком.

Александр Васильевич сам ни одного часу не сидел без дела и не переносил безделья и лени ни в ком. Потому он решил оставить при Варюте и Наташеньке одну горничную Улю, данную за Варютой в приданое, а остальных, двенадцать рождественских девок, немедля, сегодня же отправить восвояси в Москву. И отправить спозаранку, пока Варюта спит, чтобы меньше было слез и крику.

Подводы подъезжали. Уже, заслышав их, Прохор пошел будить девок собираться в дорогу. Нужно было кончать письма.

Александр Васильевич перечел еще раз все, что написал.

Приписал:

«Пиши, Матвеич, кратко да подробно и ясно, да и без дальних комплиментов».

Подписался, присыпал письмо песком и стал складывать толстый лист.

Сверху надписал:

«Государю моему, моему младшему адъютанту его благородию Степану Матвеевичу Кузнецову в доме моем близ церкви Вознесения у Никитских ворот».

Достал сургуч и печать. Запечатал. В палатке приятно запахло сургучом. Посмотрел на печать, как получилось. Хорошо: знамена, пушки, сабли — четки, ясны. И легко можно прочесть вытисненный на печати суворовский девиз: Virtute et veritate[1].

III

Варваре Ивановне хорошо спалось с дороги.

Она не слышала ничего: как уезжали девушки, как мимо хаты гнали в поле скотину, как встала Наташа, которой постлали постель на лавке, у окна.

Когда Варвара Ивановна открыла глаза, солнце стояло уже высоко.

Варвара Ивановна лежала, осматривая хату.

«Эти грубые полавники — выбросить, постлать свой бухарский ковер. Холстину, что висит на шесте, над кроватью, тоже убрать. Вместо нее можно будет повесить шаль. А рушники на иконах — пусть висят!» — думала она. Решила вставать, — хотелось есть.

— Уля! — позвала она горничную.

Ответа не было.

— Ульяна! — повторила Варвара Ивановна.

Молчание.

— Ушла куда-нибудь... Маша! — крикнула она погромче.

Никого.

Начинала разбирать злость.

— Не слышат, оглохли! Вот встану, я ж вам! Настя! — уже сердито закричала Варвара Ивановна. — Настя!

Все то же — никакого ответа. Варвара Ивановна вскочила с кровати в одной сорочке, босиком побежала по холодному глиняному полу, приоткрыла дверь в нагретые солнцем, пахнущие огурцами, дынями и какими-то травами сени.

— Девки, подите сюда!

---

[1] Добродетелью и справедливостью *(лат.)*.

На крыльце кто-то зашевелился, шагнул в сени. И в ярком солнечном свете показалась не то смущенная, не то виноватая рожа Прохора.

Варвара Ивановна захлопнула дверь, быстро пробежала назад, к кровати, и села, прикрывшись одеялом.

Дверь медленно отворилась, и в нее сначала просунулся толстый нос Прохора, а потом и весь он сам пролез бочком в хату:

— Чего изволите, ваше превосходительство?

Денщик стоял у порога, потупивши голову, — старался не смотреть на полуобнаженные полные плечи генеральши и ее голые ноги.

— Ты чего влез? Разве я тебя звала? — накинулась на него Варвара Ивановна. — Где все девки? Что это значит? Куда они ушли?

— Барин услал.

— Куда услал? — встревожилась Варвара Ивановна, чуя недоброе.

— Домой.

— Как домой? Куда домой?

— В Рождествено.

Варвару Ивановну точно обухом ударило.

— Ты пьян. Ты... — запнулась она от гнева.

— Никак нет, ваше превосходительство, я не пьян! — впервые поднял он на барыню глаза: действительно, хотелось бы выпить, но еще сегодня нигде не довелось.

— Что ж он, старый бес, с ума сошел? — дрожащим от слез голосом закричала Варвара Ивановна. — Почему он услал?

— Ляксандра Васильич говорят: а чего ж, говорят, им здеся баклуши бить?

— И кроме тебя, дурака, никого не осталось?

— Зачем никого? Есть. Ульяна есть. Она за Наташенькой побежала. Я сейчас...

И он уже повернулся к двери, но в это время в хату вбежала Ульяна.

Прохор воспользовался ее приходом и поскорее шмыгнул в сени — подальше от беды.

Из хаты несся плач рассерженной, расстроенной барыни.

«Ничего: бабьи слезы дешевы!» — думал Прохор, идучи ставить для барыни самовар.

И он оказался прав: барыня скоро поутихла и успокоилась. А когда к чаю пришел племянник Николай Сергеевич, который поместился в соседней хате, Варвара Ивановна уже смеялась.

Такую, смеющуюся и веселую, застал ее Александр Васильевич, возвратившийся сегодня из лагеря несколько раньше вчерашнего.

Суворов тоже был в отменном настроении, — день складывался как-то хорошо. Надоедливые хозяйственные дела улажены, о

них можно уже долгое время не думать; девки, которые раздражали бы своей всегдашней суетой и бездельем, уехали; больных в лагере немного, не более пяти человек на полк, егеря стреляли на ученье хорошо; и, главное, дома его ждали Варюта и Наташенька.

Что бы ни делал Александр Васильевич — смотрел ли, как полужены ротные котлы, следил ли за тем, как егеря быстро заряжают ружья, но все время сегодня где-то стояла мысль о жене и дочери.

Не доходя до Трохимовой хаты, Александр Васильевич на улице увидал Наташеньку. Она вместе с какими-то крестьянскими ребятишками играла возле низенькой хаты. Была Наташа в одном платьице, с непокрытой головой и босая.

Александру Васильевичу понравилось это. Вспомнилось, как он, бывало, в детстве, в Рождествене, вот так же целыми днями играл на улице с дворовыми мальчишками в разбойников, без счету купался в речке и вместе со всеми, за компанию, лазил в отцовский сад воровать зеленый крыжовник.

«В меня пошла», — подумал Суворов.

Ребята, увидав подходившего генерала, сказали об этом Наташе. Она обернулась и бросилась к нему навстречу. Повисла у отца на руках. А потом, когда отец поднял ее, целуя, попросила:

— Папенька, прокати, как вчера.

Александр Васильевич усадил ее к себе на шею и, держа руками за голые, все в песке, толстые ножки, побежал к хате.

Так, верхом на папеньке, Наташа въехала и в хату.

— Вот и мы! Принимайте, маменька, гусара! — весело сказал Александр Васильевич, входя в чисто прибранную прохладную хату.

Варвара Ивановна поднялась из-за стола, но племянник опередил ее и снял с плеч Александра Васильевича Наташеньку.

Суворов ласково поздоровался с племянником.

— Вчера — запамятовал, а сегодня вспомнил тебя, Коля! — сказал он. — Служить к нам пожаловал?

— Хотелось бы, дядюшка.

— Ладно. Послужим! — ответил Суворов. — Ну как, Варенька, тебе спалось на новом месте? — спросил он, целуя жену.

Варвара Ивановна вспомнила давешнюю обиду и уже нахмурилась, но муж предупредил ее:

— Знаю, знаю — гневаешься, что отослал домой твоих дур. Не сердись, душа моя. Ведь, право, им тут нечего делать! В прошлом году жили же мы в Крыму с одной Улей и Прохором. И неплохо.

Если бы в хате не было Николая Сергеевича, Варвара Ивановна не так легко простила бы мужу, но теперь ей не хотелось поднимать спор. Тем более еще, что Александр Васильевич сегодня был особенно ласков даже с Николаем Сергеевичем.

И она только возразила:

— Да разве Уля справится одна со всем?

— А Прохор зачем?

— Прохор вечно пьян...

— Выпить он любит — это верно, но зато — хороший слуга. Пьян да умен — два угодья в нем, — улыбнулся Суворов.

— А что подумают о нас люди? Генерал, а один денщик да горничная, точно мелкопоместные какие...

— Пусть думают что хотят, помилуй Бог! Меня моя матушка императрица знает, меня солдат знает, а до остального мне и дела нет! — ответил Суворов.

И на этом разговор о дворовых девках окончился.

IV

Четырехлетняя Наташа проснулась, как всегда, вместе с мухами: еще все спали, но мухи уже почуяли день, без устали кружились под потолком.

В хате стоял полумрак, — на ночь окна закрывались старыми, щелистыми ставнями. В полумраке все представлялось иным: арбузы на лавке — словно чьи-то головы, а маменькин салоп — как страшная ведьма, о которой вчера вечером, захлебываясь от страха, рассказывала Гапка.

Но Наташа не трусиха.

Это вечером немного страшновато пробегать через темные сени, когда не знаешь к тому же, дома ли маменька или опять ушла куда-нибудь с дядей Колей. Но теперь ничего. Теперь Наташа чувствовала, что выспалась, — значит, уже утро, — значит, на дворе солнце, голубое небо, а над садом, над ставом высоко пролетают тонкие паутинки.

Наташа повернулась к маменькиной кровати. Голубое атласное одеяло возвышалось на постели точно гора. Середина этой горы едва заметно колыхалась. Так и есть: маменька еще спит.

Но за окном, в саду, где стояла папенькина палатка, слышались голоса: один быстрый, со смешком, а другой медленный, приглушенный, гудевший, точно шмель в вишеннике. Папенька встал уж — он вставал раньше Наташи, — напился чаю, побегал по саду и теперь сидит и читает толстую книгу, а Прохор, как всегда с утра, бурчит, чем-то недоволен.

Вставать, вставать!

Наташа отбросила одеяло, схватила платье, перекинутое через спинку кровати. Повертела платье в руках, чтобы найти на нем желтенькую пуговку, — Уля всегда твердит: эта пуговка должна быть сзади. Нашла ее, надела платье так, как учила Уля. Пуговка все-таки очутилась почему-то на груди, но Наташа не стала переодеваться, — некогда: папенька сейчас убежит в лагерь к солдатам.

Наташа легла животом на кровать, спустила вниз толстые загорелые ножки и привычно соскочила на холодный глиняный пол. Побежала к дверям, встряхивая своими пушистыми льняными кудрями.

В сенях было уже совершенно светло. Наташе казалось странным, что горничная Уля, спавшая в сенях на полу, может в такую пору сладко храпеть.

Хлопнув дверью, Наташа выскочила на крыльцо.

Улица была пуста. Солнце только что всходило. На белой стене низенькой одноглазой хатенки, где жила Гапка, Наташина подруга, горели первые солнечные лучи.

Наташа бочком спустилась по ступенькам крыльца, бесстрашно прошла мимо злого индюка, который забавно надувался и пыхтел, и побежала в сад.

Еще издали она увидала всегдашнюю картину: под яблоней, на складном стуле, сидел папенька. На коленях у него лежала та же самая толстая книга, в которой нарисованы солдаты и пушки. Папенька что-то говорил Прохору, выглядывавшему из палатки. Маленькая косичка папеньки, перевязанная черной шелковой лентой, смешно вздрагивала.

Отца Наташа любила больше, чем мать.

Наташа — непоседа и егоза. От маменьки всегда только и слышишь: «не тронь», «положи на место», «ступай, займись своим делом». У маменьки много припасено для Наташи этих «нельзя»: перед обедом есть варенье — нельзя, полоскаться в пруду — нельзя, драться с мальчишками на улице — нельзя. Маменька редко сама играла с Наташей и никогда не брала ее с собою, когда собиралась идти гулять с дядей Колей на реку или в леваду.

А с папенькой всегда весело.

Его не надо просить, он сам охотно шалил с Наташей: играл в прятки, прыгал на одной ножке, умел смешно лаять по-собачьи, так, что хозяйская кошка Мушка, услышав лай, в страхе и недоумении смотрела то на папеньку, то на Наташу: где же этот страшный пес? А Наташа стояла, зажав руки в коленки, смеялась над глупой Мушкой. И самое главное, папенька все позволял Наташе: бегать босиком, играть на улице с Гапкой, пить холодную воду.

В палатке у него ничего интересного не было, — у маменьки в хате куда интереснее: и разноцветные лоскутики, и красивые шелковые ленты, и флакончики на столе у зеркала. Так и хочется всё посмотреть, потрогать, но это — заказано.

А в папенькиной палатке даже зеркала нет, ничего нет, кроме книг и большого флакона с оделаваном.

Но с папенькой все равно веселее. И Наташа спешила к отцу, чтобы еще застать его дома.

По скошенной, совершенно выгоревшей от солнца траве быстро не побежишь — колется. Наташа знала уже, как надо бегать, — поджимала пальцы, ступала не на всю ногу, а на ребро, и все-таки ногам было больно.

Но отец уже увидал ее. Он с радостным криком кинулся ей навстречу:

— А, шалунья моя! Сестричка! Суворочка! Хош гельдин! — Наташа знала от папеньки: это по-турецки значит — здравствуй!

Он подхватил Наташу под мышки, поцеловал в обе щеки — щеки у Наташи были пухлые и румяные, как у маменьки, — и подбросил высоко вверх. У Наташи сладко захватило дух — и страшно и приятно. Она зажмурила глаза.

— Как спали-почивали, ваше превосходительство? — спросил ее отец, держа на руках.

Наташа не ответила на вопрос. Улыбаясь, она пристально рассматривала это знакомое худощавое лицо, высокий лоб, на котором, как ступеньки, одна над другой легли морщины. Потом вдруг обняла отца за шею обеими руками и потрогала его косичку.

Папенька состроил уморительную гримасу и запрыгал на одном месте.

— Ой, Суворочка! Сакын, шу шеи эйлеме![1] — взмолился он.

Этих слов Наташа не знала, но поняла: трогать косу нельзя. Она опустила руки и сказала:

— И у меня будет такая коса, как у тебя. Уля говорила. Ага!

— Я свою косу скоро отрежу!

— Почему? Заплетать надоело?

— Скоро, сестричка, все солдаты будут без кос.

— Ты хитрый, я знаю: боишься, что у меня коса вырастет больше твоей!

— Боюсь, Суворочка, боюсь! А ты что сегодня так поздно встала? Мы ведь ложились вместе. Вероятно, не скоро заснула? — спросил отец. — Кто тебе не давал спать? Мухи кусали?

Он всегда ложился спать с закатом солнца.

— Я маменьку ждала... Знаешь, — оживилась Наташа, — что я тебе смешное расскажу!

— Ну, что? Гапку опять индюк напугал?

— Нет. Вчера вечером дядя Коля кормил маменьку вареньем с ложечки, как маленькую. Сам ест и ей дает. Так смешно было. Я еще не спала, видела, — рассмеялась Наташа.

Но папенька почему-то не смеялся. Он вдруг спустил Наташу с рук на землю и сказал:

— Ступай, Наташенька, мне надо идти!

---

[1] Не делай этого!

Он подбежал к палатке, схватил треуголку и, размахивая ею, быстро пошел из сада. Наташа побежала к перелазу через плетень. Смотрела вслед отцу.

Папенька шел, как всегда, очень быстро. Но сегодня он почему-то ни разу не обернулся назад и не помахал Наташе рукой. И перед уходом забыл спросить у Наташи, как будет по-турецки «первый», «второй», «третий»: папенька учил Наташу считать.

И теперь Наташа невольно повторяла затверженные слова:

бирин́джи́,
ики́нджи́,
ючюнджю́...

V

Варвара Ивановна уже две недели жила в селе. Всякий раз, как она приезжала из Москвы к мужу в армию, ей быстро надоедала эта походная обстановка.

Александр Васильевич целый день был занят. Он вставал еще ночью и уже с восходом солнца уходил к своим солдатам. К полудню он возвращался домой, обедал, спал часа два, а потом читал газеты и книги и обязательно учил по тетрадке турецкие или татарские слова.

А ей без дела было скучно. Дома, в Москве, Варвара Ивановна тоже ничего не делала, но день был как-то заполнен: то приезжали гости, то сама отправлялась к родным и знакомым, ездила в церковь, наконец, распоряжалась по хозяйству — давала работу своим девушкам.

День и проходил незаметно.

А здесь он тянулся мучительно длинный, ничем не занятый. Читать Варвара Ивановна не любила, в церковь ходить здесь мало удовольствия, — от холопьих сапог несет дегтем, на клиросе гнусавит один дьячок, да и кого встретишь в сельской церкви? В гости поехать не к кому, — Александр Васильевич ни с кем из окрестных панов-помещиков не заводил знакомства.

Варвара Ивановна, зная, что деревня ей скоро наскучит, взяла с собою побольше прислуги, чтобы хоть было чем заняться. Но муж на следующий же день услал всю дворню назад, в Москву. Сам командовал тысячами людей, а ей оставил одну Ульяну да угрюмого Прохора.

Унижаться же и говорить с деревенскими бабами она не хотела. Изредка лишь говорила о том о сем со своей хозяйкой Параской, но и то Варвара Ивановна очень плохо понимала ее быструю украинскую речь.

Возиться с Наташей она не очень любила, — да Наташа была похожа на отца: как убегала утром с ребятами, так Уля едва нахо-

дила ее к обеду и ужину. Наташа загорела и потолстела и стала разговаривать, как холопка: подсолнечник называла «соешником», вместо «яйца» говорила «крашанки́». Варвару Ивановну это раздражало. В первые дни она не отпускала дочь на улицу, чтобы Наташа не играла с холопьими детьми, но Наташа томилась, плакала. И кроме того, папенька во всем поддерживал Наташу. Он ничего не имел против того, чтобы его дочь играла с деревенскими ребятишками, и всегда потешался, когда Наташа за столом говорила:

— Мамочка, насыпь мне еще борщу!

— Что ты говоришь? Ну как это можно «насыпать» борщу, когда он жидкий! — возмущалась Варвара Ивановна.

— Ты напрасно, Варенька, ее бранишь — она правильно говорит, — заступался отец. — Всякий язык — хорош. А чем какой-нибудь турецкий лучше украинского? Говори, говори, сестричка! Учись! Языки надо знать!

И Варвара Ивановна отступилась от Наташи. Она знала, что скоро вернется в Москву и от Наташиного украинского языка в две недели не останется и следа: девочка так же быстро забудет все эти слова, как быстро запомнила.

Варвара Ивановна совсем умерла бы от тоски, если бы не племянник мужа Николай Сергеевич.

Мужа Варвара Ивановна не любила — только терпела. Выходила она за Суворова по расчету — так настояли родители. Вздыхателей у Варюты было предостаточно, а женихов — ни одного: знали, что генерал-аншеф Прозоровский прожился и ничего за дочерью дать не может.

Александр Васильевич был некрасив и стар, а то, что бегал он словно двадцатилетний, был жизнерадостен и бодр, что его глаза глядели по-молодому, — все это лишь раздражало Варвару Ивановну: сидел бы уж!

Племянник Николай Сергеевич был другой человек: говорил вкрадчиво, не рубил так по-солдатски, как Александр Васильевич, и томно поглядывал на Варюту своими карими с поволокой глазами.

Варваре Ивановне племянник нравился.

Суворов дал ему работу — прикомандировал к какому-то полку. Николай Сергеевич бывал на разных ученьях, дежурил по лагерю и все же находил время развлекать скучающую молодую тетушку.

Особенно хороши были эти лунные ночи на обрыве, над рекой, когда все кругом спало и только они вдвоем сидели на белом плаще Николая Сергеевича.

Варвара Ивановна возвращалась домой поздно. Иногда она еще не успевала заснуть, как слышала, что уже в своей палатке проснулся муж. Он ничего не знал об этих ночных прогулках, в последнее время был занят обмундированием солдат и не видел ни-

чего, о чем уже на селе давно перешептывались любопытные, все замечающие кумушки.

...Суворов проснулся. В палатку еще светила луна.

Ему вдруг пришла в голову хорошая мысль — поднять сегодня всю дивизию и пойти маршем до Полтавы. Уже недели три никуда далеко не ходили, и люди немного закисли на одном месте.

Суворов вскочил, вылил на себя ведро воды, поставленное еще с вечера Прохором у палатки, быстро оделся и разбудил денщика, который спал под яблоней.

— Ступай к секунд-майору, подыми его — идем в поход, — сказал Суворов.

Прохор, почесываясь, встал и не торопясь пошел к соседней хате гончара, где жил Николай Сергеевич.

Суворов стоял у плетня, ожидая племянника. Смотрел на голубовато-белые, очаровательные в лунном свете низенькие хатки, на высокие тополя.

Прохор возвращался почему-то один.

«Ишь копается. Тоже — солдат, помилуй Бог!» — подумал о племяннике Суворов.

— Ну что, скоро он там?

— Их благородия нету дома, — ответил Прохор глухим басом.

— А где он?

— Кто их знает. Хозяйка сказала, как ушли ввечеру, так еще не возвращались. Должно, гуляют. Известно, дело молодое, — зевая, ответил Прохор. И пошел досыпать.

Неясная догадка мелькнула в голове Суворова. Он круто повернулся и, обгоняя Прохора, зашагал к хате.

В сенях, в молочной полосе лунного света, спала на полу Ульяна. Она не слышала, как вошел барин. Суворов осторожно открыл дверь в хату. Окна, как всегда, были закрыты ставнями, чтобы утром не докучали мухи.

Александр Васильевич секунду постоял у порога, прислушиваясь. Слышалось только мерное дыхание Наташеньки. Он в темноте привычным путем подошел к постели жены. Протянул руку.

Постель была приготовлена — подушки взбиты, одеяло откинуто, но на постели никого не было.

Суворов выбежал из хаты. Стало все ясно. Кровь ударила в голову.

«Стервец! Племянничек! Секунд-майор!»

Александр Васильевич почти бежал по пустынной улице. Душила злоба.

Сколько сплетен ходило о Варюте в Москве! Не слушал, не давал им веры, а теперь...

На повороте из села к лагерю, в аллее из тополей, он увидел какие-то фигуры. Один человек зачем-то прыгнул в канаву и, приги-

баясь к земле, побежал в сторону. Второй, укрывшись чем-то белым, стоял, прислонившись к дереву.

Суворов подошел и глянул. Перед ним, закутавшись в белый плащ Николая Сергеевича, стояла Варюта. При бледном свете луны он видел только ее красивые глаза. Они смеялись не то смущенно, не то дерзко.

Александр Васильевич на мгновение запнулся от негодования.

— Я терпеть далее не намерен. Вы мне больше не жена! — крикнул он и, не оглядываясь, побежал к лагерю.

«Тотчас же подать прошение о разводе! Наташеньку отнять! Оставлять на руках у такой мамаши — преступление! Просить светлейшего, просить императрицу принять Наташу в Смольный институт».

Решение пришло мгновенно. Он привык никогда не теряться, даже в самых затруднительных случаях жизни.

«Ну вот, семейная жизнь не удалась, окончена бесславно, — огорченно подумал он. — Но военная — еще впереди! Военная должна удаться во что бы то ни стало!»

— Трубач, подъем! — крикнул он горнисту.

...Когда через два дня дивизия возвратилась назад в лагерь, Суворов даже не поехал в село. Впрочем, это было и незачем: Варвара Ивановна с Наташей, Улей и Николаем Сергеевичем в то же злосчастное утро выехала в Москву.

— Несчастлива у тебя хата, Трохим, — смеялись соседи Зинченки.

Глава седьмая

«ГЕНЕРАЛ-ВПЕРЕД»

Со времени великого Евгения искусство унижения полумесяца принадлежало только искусным русским генералам.

Принц Кобургский в письме к Суворову

I

Суворов, перебиравший у стола свои бумаги, заметки, черновики, письма, радостно улыбнулся:

«Большая доченька. Тринадцатый год. Уже в белом платье. В старшем классе Смольного. Время-то как летит!»

Еще, кажется, так недавно Наташенька бегала с деревенскими ребятишками босиком. Загибая толстые пальчики, забавно считала по-турецки — сам же учил ее — бирinджи, икинджи, ючюнджю...

«Милая моя Суворочка! Письмо твое от 31 числа генваря получил; ты меня так утешила, что я, по обычаю моему, от утехи заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному слогу? О! ай да, Суворочка, как уже у нас много полевого салата, птиц, жаворонков, стерлядей, воробьев, полевых цветов! Морские волны бьют в берега, как у вас в крепости из пушек. От нас слышно, как в Очакове собачки лают, как петухи поют. Куда бы я, матушка, посмотрел тебя в белом платье! Как-то ты растешь! Как увидимся, не забудь мне рассказать...»

Дальше две строчки были зачеркнуты — видимо, что-то не понравилось. Александр Васильевич всегда писал осторожно, выбирая слова: знал, что императрица читает все его письма, даже к дочери.

Мысли невольно перескочили к жене, к Варюте.

С ней у Александра Васильевича все кончено. О жене Суворов избегал не только говорить, но даже думать. Он нахмурился. Пальцы вновь стали торопливо перелистывать бумаги — листки, исписанные черновиками писем, заметками, отчеты старост, разные письма к нему самому.

Под руку снова попались исчерканные четвертушки — письма к Наташеньке. Все, что было связано с нею, с доченькой, все было дорого, приятно его сердцу. Глянул: писал из-под Кинбурна, о турках:

«Какой же у них по ночам в Очакове вой! Собачки поют волками, коровы охают, кошки блеют, козы ревут. Я сплю на косе: она так далеко в море, в лимане. Как гуляю, слышно, что они говорят; они там около нас, очень много, на таких превеликих лодках — шесты большие, к облакам, полотны на них на версту; видно, как табак курят; песни поют заунывные. На иной лодке их больше, чем у вас во всем Смольном мух, — красненькие, зелененькие, синенькие, серенькие. Ружья у них такие большие, как камера, где ты спишь с сестрицами».

Второй листок был поменьше:

«В Ильин и на другой день мы были в Réfectoire[1] с турками. Ай да ох! Как же мы потчевались! Играли, бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями, в твою голову величины: у нас были такие длинные булавки да ножницы кривые и прямые — рука не попадайся: тотчас отрежет хоть и голову. Ну, полно с тебя, заврались! Кончилось иллюминациею, фейерверком, — с Festin[2] турки ушли, ой далеко! Богу молиться по-своему, и только — больше нет ничего».

---

[1] В столовой *(фр.)*.

[2] С праздника *(фр.)*.

«Это тоже из-под Кинбурна», — подумал он.

Суворов припомнил, с какою радостью прискакал в Кинбурн командовать передовой линией, когда Турция объявила войну, — хитрые англичане снова уговорили горячие турецкие головы ввязаться в войну с Россией: англичанам было выгодно, чтобы не русские, а турки плавали по Черному морю.

Назначение было приятным: Александр Васильевич попал в самый огонь, и к тому же полновластным начальником, — никаких безмозглых «Ивашек» и взбалмошных Каменских.

Вспомнилось, как в самый покров турки, под руководством французских офицеров, высаживались на узкой Кинбурнской косе. Как дрались наши молодцы. Как Александра Васильевича сперва чуть не убил спаг, а потом ранило пулей в левую руку навылет.

Крови натекло — полон рукав. Александр Васильевич за день устал, — под ним убили коня, и он все время в бою был пешим. Обессилел, еле держался на ногах. Хорошо, что подоспели казаки. Рыжебородый есаул Кутейников промыл рану соленой морской водой и перевязал своим галстуком. Галстук-то засаленный, грязный, но — Бог милостив — зажило.

И как досталось туркам! Сколько трупов плавало в волнах, валялось на косе!

— Отбил у турок охоту делать вылазки! — повторял Суворов, перебирая бумаги и уничтожая ненужные.

Одну записку порвал в клочья, другую, скомкав, выбросил за окно.

А вот письмо самого Потемкина:

«Не нахожу слов выразить Вам, сколько я убежден в важности Ваших заслуг, сколько я Вас уважаю».

«Еще бы — первую турецкую прикончил у Козлуджи, а вторую так счастливо начал Кинбурном», — усмехнулся Суворов.

«Молю Бога о твоем здоровье так искренно, что охотно хотел бы страдать вместо тебя, лишь бы ты остался здоров».

Суворов скривился:

— Чепуха! Лесть! В этих двух фразах — весь он, Григорий Александрович, — то «вы», то «ты». Семь пятниц на одной неделе! Сегодня — друг, завтра — враг. Лесть да месть дружны!

Это писалось тогда, когда Потемкин командовал только одной армией. А что напишет теперь, когда он командует обеими?

Последнее время Потемкин что-то стал коситься на Суворова, хотя и продолжал называть его в письмах «мой сердечный друг» и говорил, что Суворов для него дороже десяти тысяч человек.

Суворов бросил письмо и в раздражении заходил по комнате. Но не тут-то было, — быстро не побежишь, как прежде: проклятая иголка!

Вот Прохор, дуралей и неряха! Как штопал чулок, так и оставил к нем иголку. Александр Васильевич напоролся на нее пяткой. Иголка сломалась. Большую ее часть нашли, а самое острие глубоко засело. Как ни ковырял ножом полковой лекарь, как ни давил своими протабаченными толстыми пальцами Прошка, как ни злился нетерпеливый Александр Васильевич, — ничего не вышло. Острие иголки ушло куда-то глубоко в пятку, и теперь больно ступить на ногу. Приходится надевать на одну ногу сапог, а на другую — туфлю.

Суворов, прихрамывая, ходил по комнате. Потирал открытую шею и грудь. В одной рубашке, а душно: солнце близилось к закату, но все-таки был июль и все-таки в Молдавии.

Потемкин снова назначил Суворова на самый ответственный участок — начальником передовой 3-й дивизии, стоявшей у Бырлада. Суворов был доволен, что он впереди всей русской армии, но опять, как и раньше, развернуться было невозможно: ему доверили только одну дивизию, да и то самую слабую — в ней едва насчитывалось десять тысяч человек. Что можно сделать с такими силами против всегдашних громадных турецких полчищ? Как с плетью против обуха.

У союзников-австрийцев, которые стояли по ту сторону реки Серéт, передовой отряд был более значителен.

Когда Суворов принял дивизию, он известил об этом принца Кобургского, командовавшего австрийским отрядом. Хоть и австрияк и нихтбештимтзагер[1], а все-таки — старший в чине! Принц любезно ответил, что он рад сражаться вместе с генерал-аншефом Сувара́.

Суворов подошел к раскрытому настежь окну. Казак-вестовой сидел у крыльца и, напевая, чинил кафтан. По пыльной улице прошел мушкатер в новой форме. Ее недавно ввели во всей русской армии, по настоянию Румянцова, Потемкина и Суворова, вопреки мнению пруссофилов, вроде Репнина и Каменского, дороживших каждой пуговичкой, каждой буклей.

Мушкатер был в полотняных широких шароварах вместо узких штанов, которые так стесняли и так быстро рвались, что солдат вечно ходил в заплатах. Вместо тесного — ни вздохнуть, ни расправить руки — мундира был просторный кафтан. Коса, пудра и прочая грязь, от которой одни вши, тоже исчезли: солдаты были коротко острижены. А душную, одинаково неудобную и в бою и на походе треуголку заменила легкая каска.

Суворов вспомнил, как он, защищая свою заветную мысль о необходимости изменить неудобную форму, как-то в споре сказал:

---

[1] Немогузнайка.

«Солдат должен быть таков, чтобы встал — и готов!» Потемкину понравилась эта фраза. Он стал повторять ее, и все забыли, что первый так сказал не он, а Суворов.

Впрочем, в хозяйственных делах — в обмундировании и продовольствии — князь Потемкин действительно сведущ и ловок. Ему быть бы обер-провиантмейстером. Пусть Потемкин занялся бы мундирами, госпиталями и сеном, а ему вверил бы солдат.

Суворов уже хотел отойти от окна, но в это время послышался приближающийся топот, — кто-то скакал во всю мочь. Придерживая одной рукой шляпу, к дому мчался на высоком гнедом коне австрийский офицер.

«Гонец от принца Кобургского», — смекнул Суворов.

Австриец подскакал к крыльцу. Коню, видимо, сильно досталось, — пахи ходили у него, как кузнечные мехи, мыло, перемешанное с пылью, покрывало его от ушей до копыт. Австриец, не слезая с коня, торопливо спрашивал у казака, здесь ли живет генерал-аншеф.

Казак встал, отбросив кафтан, улыбался и мотал отрицательно головой, — мол, не понимаю, ваше благородие...

Австрийский офицер беспомощно оглянулся.

— Kommen Sie hier! Пожалуйте сюда! — крикнул, высовываясь в окно, Суворов.

Офицер недоверчиво посмотрел на седого старичка в расстегнутой рубашке, но соскочил с коня, бросил поводья казаку и секунду замешкался, доставая из кармана письмо принца. Он не знал, как следует держать себя с этим необычным стариком: козырять ли ему? Кто это: сам генерал-аншеф или только его повар? Русские генералы все какие-то странные. В штабе рассказывали и смеялись, как князь Потемкин в одном белье принимает посетителей и даже дам. А вдруг это сам генерал Сувара?

И, подбегая к окну, офицер — на всякий случай — чуть дотронулся пальцами до полей шляпы, — так, что нельзя было разобрать: козыряет ли он или просто поправляет треуголку. А передавая старику письмо принца, еще раз сказал, подчеркнув:

— Генерал-аншеф Сувара!

«Вот сейчас узнаю, попал я в глупое положение или нет, — подумал офицер. — Сейчас этот старичок станет напяливать ливрею и побежит к генералу. Вот-то будет конфуз!»

Но пальцы старичка смело ломают сургуч и разворачивают письмо. Старичок читает. Видно, как его глаза быстро пробегают по строчкам.

Суворов прочел письмо. Принц Кобургский просил помощи: отряд турок в тридцать тысяч человек под командой Осман-паши уже двигался к Фокшанам. План турок был прост и ясен: разбить

союзников поодиночке — сначала принца, потом Суворова. Выход один: спешить немедленно, спешить принцу на помощь.

— Передайте его высочеству: иду! — выразительно сказал старик и круто повернулся в глубь комнаты. И уже что-то кричал по-русски.

В доме засуетились, забегали. Казак, вытиравший попоной взмыленного офицерского коня, уже подтягивал подпруги.

«Письма, очевидно, не будет. Нужно скакать назад». И офицер поспешил к своему коню.

Не успел он выехать из расположения русских войск, как весь их лагерь пришел в движение.

II

Подпоручик Лосев приехал в 3-ю дивизию в начале мая 1789 года, за неделю до того как командование над нею принял генерал-аншеф Суворов.

Лосев был из мелкопоместных смоленских дворян, в столицах не живал и о генерал-аншефе Суворове узнал только по пути в Молдавию. На одной из почтовых станций, где-то на Украине, он впервые услыхал эту фамилию. Подпоручик, пожалуй, не обратил бы на нее внимания, если бы не услыхал, что именно Суворову главнокомандующий дал 3-ю дивизию, в которую направлялся Лосев. Говорили, стало быть, о его будущем начальнике, и Лосев невольно прислушался.

Беседовали двое проезжих — какой-то щегольски одетый поручик из штаба князя Потемкина и пехотный премьер-майор в старомодном, еще прусского покроя, запыленном мундире.

Майор подобострастно слушал молодого щеголя, который с важностью рассказывал штабные новости и сплетни — назначения, перемещения, отставки.

— А в третью дивизию светлейший назначил генерал-аншефа Суворова, — рассказывал он.

— Позвольте, ведь третьей дивизией командовал же Эльмпт, достойный, храбрый генерал. Что ж, он получил повышение? — спросил майор.

— Нет. Эльмпт отставлен вовсе. Пусть о себе меньше думает! Светлейший не любит Эльмпта за его слишком острый язык, — наклонившись к майору, сказал поручик.

— Ну, Суворов тоже не из тихих. Помните, как стояли долго под Очаковом и он смеялся:

Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу...

— Это еще ничего. Князю Потемкину не понравилось другое, — сказал поручик. — Суворов жаловался императрице, что его в этом году сначала никуда не определили.

— Как так?

— А очень просто. Суворов не был внесен в список генералов действующей армии.

— И что же он сделал? — поднял вверх брови премьер-майор.

— Поехал к императрице и говорит: «Матушка, я — прописной. Мне, — говорит, — ни одного капральства в команду не дали...» Тогда императрица назначила его в армию графа Румянцова, а теперь Румянцов в отставке. Светлейший дал Суворову самую слабую в армии третью дивизию: в ней всего десять тысяч человек. Пусть-ка Суворов и отличится с ней в Молдавии! — усмехнулся поручик.

Больше Лосев не слышал о Суворове: штабному франту подали лошадей, и он ускакал дальше, а премьер-майор тотчас же завалился спать.

Лосев мог бы расспросить о генерале Суворове на месте, в Бырладе, но, добравшись до своего Апшеронского полка, он забыл обо всем: службы Лосев еще не знал, и работы у него было много.

И только когда однажды под вечер по лагерю пронеслось: «Суворов приехал», подпоручик Лосев вспомнил о нем.

В этот раз солдаты бежали строиться более резво, чем тогда, когда в полк приезжал временно командовавший дивизией пучеглазый генерал Дерфельден. Полк выстроился чрезвычайно быстро.

Высокий жилистый полковник Шершнев, выйдя за переднюю, штаб-офицерскую линию, все время смотрел в сторону расположения Смоленского пехотного полка, откуда доносилось громкое «ура».

Лосев стоял и невольно слушал, как сзади за ним, в шеренгах, перешептываются солдаты.

— Какой-то он теперь? Я его с Козлуджи не видал. Пятнадцать годов прошло, — говорил один. — Постарел, поди!

«Как будто Воронов говорит», — по голосу узнавал своих солдат подпоручик.

— А ты думаешь, помолодел? — насмешливо сказал другой.

«Это наверняка Огнев: он любит поддеть», — догадался Лосев.

— Едет! Едет! — зашелестело по рядам.

Издалека, в легком облачке пыли, показалась группа всадников. Впереди них почему-то ехала обыкновенная повозка. Полковник Шершнев, вынув шпагу, скомандовал:

— Смирно! На караул!

Все замерло.

Всадники приближались. Вот уже повозка сейчас поравняется с левым флангом. Вот уже можно отчетливо рассмотреть: за повозкой трусят на лошадях три офицера.

Не успела повозка подъехать к апшеронцам, как по всему полку, от края до края, пронеслось «ура». Музыка заиграла встречу.

Лосев видел, как быстро-быстро машет руками капельмейстер, как полковник Шершнев, четко отбивая шаг, идет навстречу командующему дивизией.

Повозка остановилась. Из нее вылез невысокий сухонький старичок в полотняном кафтане и каске. Одна нога его была в сапоге, вторая — в туфле.

Генерал-аншеф принял от полкового командира рапорт и, хромая, пошел вдоль строя, останавливаясь возле каждой роты.

Иногда он, минуя не только переднюю, штаб-офицерскую линию, но и следующую, обер-офицерскую, подходил вплотную к роте и с кем-то разговаривал. С кем он говорил, Лосев не мог видеть.

«Неужели с младшими офицерами в роте говорит? Может, кто-нибудь не так стоит?» — подтягивался Лосев.

Но вот уже генерал-аншеф миновал притихших музыкантов и яркий куст полковых знамен. Он подошел к правофланговой 1-й роте и заговорил с ней.

Лосев услышал его голос. Голос был негромкий, басовитый, но внятный и совсем не старческий:

— Солдат должен быть здоров, тверд, храбр, справедлив. Обывателя не обижай — он нас поит и кормит. Солдат не разбойник! Бойся богадельни, гошпиталя. Береги здоровье. Кто не бережет людей, офицеру — арест. Ученье — свет, неученье — тьма. Дело мастера боится. И крестьянин: не умеет сохой владеть — хлеб у него не родится. За ученого трех неученых дают. Нам мало трех! Давай нам шесть! Давай нам десять на одного! Всех побьем, повалим, в полон возьмем! Били турок в поле, били у моря, били у реки, побьем и здесь, старики!

Рота ответила «Ура!». Ее охотно поддержали остальные. Суворов стоял перед полком с непокрытой головой, — каску он снял, когда махал, отвечая на дружное приветствие полка.

Когда наконец стихло «ура», Суворов оглядел 1-ю роту.

— А-а, знакомого вижу! — крикнул он.

Лосев даже покраснел, — генерал-аншеф смотрел прямо на него и приветливо улыбался.

«Обознался, я его впервой вижу!» — мелькнуло в голове.

Но генерал-аншеф уже подходил к нему.

Лосев не знал, что делать.

— Ну, как летаешь, Ворон? — спросил генерал-аншеф, останавливаясь в двух шагах от первой шеренги солдат.

«Это он Воронову», — не то с обидой, не то с облегчением подумал Лосев.

— Жив-здоров, ваше высокопревосходительство! — гаркнул сзади Воронов.

— Старого знакомого встретил. Еще с Новой Ладоги помню.

— Точно так. С шестьдесят третьего году. Был под Туртукаем, был у Козлуджи...

— Помилуй Бог! Старый товарищ. Как же, помню! А почему не ефрейтор?

— Разжалован, ваше высокопревосходительство, — так же весело и громко ответил Воронов.

— За что?

— За пьянство! — бодро выкрикнул Воронов.

Генерал-аншеф улыбнулся.

— Произвести в ефрейторы, — обратился он к Шершневу — Тут у меня не только один. Тут знакомых много, — сказал Суворов, быстрыми глазами оглядывая роту. — Вон, вижу, Огнев, старинный приятель... Лет тридцать друг друга знаем. Здорово, Огонь!

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! — отозвался Огнев.

— Все мои старые, мои боевые товарищи. Мои друзья! — говорил Суворов.

Он взглянул на Лосева:

— А ты, ваше благородие, давно в полку?

— Восьмой день, ваше высокопревосходительство, — залился краской подпоручик.

— Ну, ничего, послужим, еще послужим! — улыбнулся Суворов, садясь в повозку.

Повозка тронулась. Суворов обернулся назад и махал своей маленькой каской.

Апшеронцы провожали любимого генерала дружным «ура».

— Гляди, Воронов, опять не загуляй с радости. Не пропей еще раз ефрейторство! — пошутил полковой командир.

— Да что вы, ваше высокоблагородие! Да нешто можно: суворовский чин пропить! — обиделся Воронов.

III

Принц Кобургский расхаживал по палатке уже без парика и мундира, собираясь спать. Последние ночи он спал плохо: тревожило то, что Осман-паша со своим тридцатитысячным корпусом хотя и очень осторожно и медленно, но все-таки каждый день неуклонно двигался вперед. Вот и сейчас принцу донесли о том, что Осман-паша уже за Фокшанами.

От Аджуша, где стоял принц, До Фокшан было почти столько же верст, как от Аджуша до Бырлада, откуда шел Суворов.

Принца Кобургского больше всего занимал один вопрос: успеет ли генерал Сувара прийти на помощь австрийцам? Принц уже познакомился с Молдавией. Идти с войсками по этим ужасным дорогам, пересекая горы и овраги, переходя многочисленные ручьи и речки, пусть немноговодные, было тяжело и неудобно. По такой дороге русским можно добраться до Аджуша дня через четыре, не раньше.

Это была одна неутешительная выкладка, которой принц занимался несколько раз в день.

Но была и другая, не менее важная: а сколько же генерал Сувара может взять с собой солдат из своей 3-й дивизии? Ведь ему нужно оставить заслон, чтобы обеспечить себе тыл. У него пять пехотных полков и восемь кавалерийских, стало быть, всего тысяч десять. А оставить нужно не менее пяти тысяч.

Тогда сразу выяснилось главное: количество союзных войск — восемнадцать тысяч австрийцев и пять тысяч русских. Это всего-навсего двадцать три тысячи. А у Осман-паши, по сведениям лазутчиков, тридцать тысяч человек. Но ведь как точно сосчитать эти дикие толпы янычар? Если официально их тридцать тысяч, значит, на самом деле там много больше.

Получалась никуда не годная арифметика.

В такие минуты принц Кобургский невольно вспоминал, что говорилось в Вене об этом генерале Сувара.

При Козлуджи у Абдул-Резака было сорок тысяч человек, а у Сувара, рассказывают, не насчитывалось и десяти. Тот же значительный перевес был у турок и при Туртукае. И в обоих случаях генерал Сувара разбил турок наголову.

«Нет, без русских будет плохо!»

Принц шагнул к кровати, но в это время полог палатки откинулся и в дверях стал любимый адъютант принца майор Траутмансдорф. Всегда спокойный, невозмутимый, он был чем-то взволнован. Или, может быть, быстро бежал, — майор секунду не мог сказать ни слова.

— Что такое? — с тревогой спросил принц.

— Ваша светлость, русские пришли! — выпалил майор.

Принцу показалось, что он ослышался.

— Кто? Кто пришел?

— Генерал Сувара уже здесь.

— Этого быть не может!

— Его полки уже становятся к нашему левому крылу. Вот послушайте!

Майор откинул полог палатки, приглашая принца выйти на воздух. Принц шагнул из палатки.

Был тихий и теплый июльский вечер. Австрийский лагерь уже затихал. И в этот привычный шум затихающего, уже наполовину спящего лагеря вошли какие-то новые, посторонние звуки.

— Значит, это правда. Пятьдесят верст в сутки! Это непостижимо, невозможно!

Принц взглянул на майора. На лице адъютанта было такое же восхищение.

— Очень хорошо. Ай да генерал Сувара! Ну, пусть отдыхают!

И принц Кобургский спокойно лег спать.

Суворов встал, как всегда, с солнцем. Он осмотрел берега реки Тротуш, через которую приходилось переправляться. Река была неширока, но с быстрым течением и обрывистыми берегами. Суворов наметил места, в которых нужно наводить мосты, и вернулся к себе в лагерь.

К лагерю то и дело подходили отставшие по пути из Бырлада пехотинцы. Дорога была тяжелая, шли быстро, — даже на привале генерал-аншеф не разрешал разбивать палатки.

Апшеронцы и смоленцы, издавна знакомые с суворовским маршем, почти не имели отсталых. Но в Ростовском не привыкли к таким переходам и по дороге присаживались по двое, по трое отдохнуть. Когда капралы старались поднять отстающих угрозами, Суворов кричал, подъезжая:

— Оставь! Пусть отдыхают. Не бойся — подойдут, не подведут. К бою поспеют. Ступай, ступай! — гнал он капрала. — Голова хвоста не ждет!

И он был прав: отставшие в пути старались изо всех сил нагнать ушедших вперед товарищей. И постепенно подтягивались к своим.

После утренней молитвы и каши Суворов приказал строить мосты через Тротуш.

Дальше Суворову полагалось бы явиться к принцу Кобургскому: начальник австрийского отряда был как-никак старший в чине, но Суворов боялся встречи с ним.

Еще в Семилетнюю войну он хорошо изучил австрийские штабы и австрийских генералов. Суворов помнил их традиционную медлительность и нерешительность и их слепую приверженность линейной тактике, которой он вовсе не признавал. Тем более она была неуместна в войне с турками. Турок надо устрашать, изумлять, не давать им одуматься. Австрийцы всегда были склонны к обороне, к хитрым маневрам, а Суворов признавал только натиск, быструю, неожиданную атаку.

Суворов знал, что стоит ему встретиться с принцем, как у них тотчас же пойдут споры. Принц, конечно же, не согласится с его

дерзкой мыслью ударить на численно превосходящего их противника. Принц, чего доброго, начнет представлять резоны, что у союзников меньше войск, чем у турок, и так далее. И пока Суворов будет с ним препираться, Осман-паша нагрянет со своими спагами и янычарами и сомнет спорщиков.

Суворов решил как-либо уклониться от разговоров с принцем. Он знал, что уже с некоторых пор за ним утвердилась в армии и в Петербурге при дворе распространяемая его врагами и завистниками слава чудака. Офицеры из штаба графа Румянцова тогда же разнесли по всей армии двустишие Суворова, которым он рапортовал главнокомандующему о взятии Туртукая.

Каменский, обозленный тем, что Суворов у него на глазах разбил Абдул-Резака при Козлуджи, насплетничал — всюду уверял, что Суворов не столько талантлив, сколько счастлив.

Эти же слова говорили и в штабе Потемкина. Нет сомнения, что все эти сплетни докатились и до австрийского гофкригсрата, и, вероятно, принц Кобургский заранее считает Суворова чудаком. Адъютант принца, этот долговязый майор, который позавчера прискакал с письмом к Суворову, небось прежде всего расписал Кобургу то, в каком виде он застал генерал-аншефа.

И теперь Суворов решил воспользоваться этой своей необычной славой.

«Пусть считают меня чудаком, кем угодно, но я своего добьюсь: и в этот раз турки будут разбиты!»

...Принц Кобургский проснулся раньше обычного — в девятом часу утра. И первой его мыслью было: что делают русские, сколько их и как себя чувствует после такого утомительного перехода генерал Сувара?

Принц позвонил.

Камердинер, тотчас же вошедший в палатку, ответил на большинство этих вопросов.

Весь австрийский лагерь уже знал, что у русских семь тысяч человек и что они строят три моста через реку Тротуш. Все было не только хорошо, все было превосходно, — этот удивительный генерал Сувара в одни сутки прошел с дивизией такое расстояние, какое австрийская дивизия прошла бы в четыре. И он оставил при тяжелом обозе в Бырладе не пять тысяч, как думал принц, а всего только три. Значит, у союзников уже было двадцать пять тысяч человек.

Одно было странно и непонятно в действиях генерала Сувара: зачем он строит мосты? Неужели он, вопреки основам линейной тактики, хочет покинуть выгодную позицию? Принц Кобургский считал, что, если бы на реке Тротуш были мосты, их следовало бы уничтожить, а не строить новые.

Принц Кобургский решил поговорить об этом с генерал-аншефом Сувара, а пока в прекрасном настроении начал свой день. Он

не спеша умылся, оделся, напился кофе и только тогда отправил майора Траутмансдорфа к генералу Сувара приветствовать его с благополучным прибытием и узнать, когда генерал Сувара пожалует к нему договориться о совместных действиях против турок.

...Суворов уже отобедал, когда к его палатке подъехал майор Траутмансдорф.

«Конечно, звать на совет! — догадался Суворов. — Нужно как-либо уклониться от этого».

Суворов думал недолго.

— Прошка, бритву и мыло! Живо! — крикнул он.

Ленивый Прошка, который с годами начинал все больше вступать с барином в споры и грубить ему, недовольно буркнул:

— Да вы же давеча брились!

— Не рассуждай! Давай живее! — вспыхнул Суворов.

Пока мешковатый Прошка достал бритву, Суворов сам схватил кисточку и мыло, плеснул в чашку воды и стал густо намыливать себе щеки и подбородок.

— Меньше брей, больше намыливай! — шепнул он Прошке. — Прости! — обернулся Суворов к адъютанту.

Майора Траутмансдорфа уже не смутила одежда русского генерала. Майор передал приветствие генерал-аншефу Сувара от его высочества принца Фридриха-Иосии Кобург-Заальфельда, поздравил с благополучным и столь быстрым прибытием и приглашал приехать к принцу обсудить диспозицию. А сам с любопытством смотрел вокруг.

В палатке стояли простой некрашеный стол да один складной стул, на котором сидел генерал.

У майора Траутмансдорфа и то обстановка была лучше, чем у русского генерала.

Генерал Сувара сидел к входу спиной. Он чуть поворотился к майору — щека и подбородок были густо намылены — и сказал:

— Спасибо! Хорошо!

Кивнул Траутмансдорфу и снова обернулся к толстоносому неопрятному солдату, который не спеша стал намыливать щеки генерала.

Траутмансдорф постоял секунду, а потом звякнул шпорами и, поклонившись худой спине генерала Сувара, покрытой грубым полотенцем, удалился в крайнем недоумении.

Как только он дал шпоры коню, Суворов вскочил с места.

— Фу, австрияк проклятый! Торчит над душой! — рассмеялся он и начал смывать с лица мыльную пену.

Один раз сошло благополучно. Но впереди — весь длинный летний день. Пока солдаты сделают мосты, принц, конечно, еще не раз пришлет своего щеголеватого адъютанта.

«Какой бы предлог придумать еще, чтобы не ехать к Кобургу?»

...Принц с нетерпением ждал, когда вернется Траутмансдорф.

Наконец адъютант возвратился. На невозмутимом лице чрезвычайно выдержанного и вместе с тем расторопного, исполнительного майора было написано смущение. В глазах стоял смех.

Брови принца поехали к самому парику.

— Что случилось?

Траутмансдорф, слегка улыбаясь — было невозможно оставаться серьезным, — передал в двух словах о своем посещении генерала Сувара.

— Старик, вероятно, только что встал. Мы помешали. Ведь он сделал за сутки пятьдесят верст! — снисходительно сказал принц Кобургский, оправдывая не вполне любезный прием его посланца русским генералом.

Прошло два часа. Принц собрался уже завтракать и решил пригласить генерала Сувара.

Майор Траутмансдорф с интересом подъезжал к простой, не новой палатке русского генерала. Ему показалось, что, когда он соскакивал с коня, край палатки отогнулся и на него глянул сам генерал.

В этот раз навстречу Траутмансдорфу вышел не чубатый казак и не толстоносый неопрятный генеральский денщик, а офицер.

Не успел Траутмансдорф вымолвить слово, как офицер, учтиво поклонившись, сказал по-немецки:

— Его высокопревосходительство молится!

И тотчас же скрылся в палатке.

Траутмансдорфу не оставалось ничего делать, как уехать. Казак, державший поводья, разумеется, не понимал по-немецки, и с ним говорить было бесполезно.

Когда майор вошел к принцу, его лицо выражало явную растерянность.

— Что такое? — спросил принц.

— Генерал Сувара молится, — ответил, почему-то смутившись, майор и поспешил выйти из палатки.

Принц позавтракал один. Он был в чудном настроении, — он ездил к реке смотреть, как русские строят мосты, и русские солдаты показались ему хорошо одетыми, здоровыми и ничуть не усталыми.

Солнце уже перевалило за полдень, когда принц снова вызвал адъютанта:

— Как вы думаете, сколько у русских может продолжаться молитва?

Майор почтительно улыбнулся, пожал плечами и сказал:

— Право, не знаю, ваше высочество.

— Ведь это ж не в церкви. Вероятно, генерал Сувара уже помолился. Пожалуйста, поезжайте еще раз!

Траутмансдорф поехал в третий раз к той же знакомой, побелевшей от солнца старой палатке. Ехал он без удовольствия.

Когда Траутмансдорф бросил поводья тому же хитрому кареглазому казаку с серебряной серьгой в ухе, навстречу Траутмансдорфу, зевая, поднялся лежавший у палатки денщик. Он сказал безо всякого почтения и субординации:

— Его высокопревосходительство... — только и понял Траутмансдорф, а дальше шло какое-то коротенькое русское слово.

Траутмансдорф беспомощно оглянулся. Кругом — никого, кто мог бы помочь в разговоре.

— Was? Was?[1] — переспросил он, строго насупив брови.

Но генеральский денщик не испугался его строгого вида. Он поднял вверх палец и зашикал, делая большие глаза:

— Тсс!

«Вот я бы тебя поставил под ружье, пьяная каналья!» — со злостью думал майор, глядя на толстый красный нос денщика.

Денщик приложил к щеке ладонь, наклонил голову набок, закрыл свои плутовские глаза и снова повторил это непонятное коротенькое слово: спит!

Майор наконец понял. Ему вдруг стало стыдно своей недогадливости. Он понимающе закивал головой и на цыпочках отошел к коню.

К принцу майор Траутмансдорф вошел с совершенно каменным выражением лица.

— Генерал-аншеф Сувара спит, — сказал он и отвел глаза в сторону: в его представлении это было со стороны русского генерала вызовом, издевательством.

Принц только кивнул головой и зашагал по палатке.

Майор вышел.

Принц исходил много верст по своей палатке.

В первые минуты со зла лезли в голову самые нелепые мысли. Послать к туркам парламентеров о перемирии. Но что дальше? Почему всё это, спросят.

Поехать лично к Сувара? Но что сказать ему? Человек ведь может устать, — он в сутки прошел пятьдесят верст. И вообще что знает он об этом русском генерале? Все говорят о нем как о восходящей звезде русской армии, вроде князя Репнина. Говорят, что он глубокий старик и что он со странностями. Все это хорошо. Но еще лучше то, что до сих пор Сувара превосходно бил турок.

— Подождем!

И принц сел обедать. Потом лег отдохнуть, иронически думая: «Вот теперь пусть же он ко мне приедет!»

Но принц великолепно выспался, его никто не тревожил.

---

[1] Что? Что? *(Нем.)*

Русские уже заканчивали все три моста. Так незаметно пролетел весь день. Принц решил больше не напоминать о себе генералу Сувара, — сам отзовется!

И генерал Сувара отозвался.

Слуги накрыли в роскошной столовой палатке принца к ужину, когда прискакал русский офицер. Он передал принцу конверт.

Принц Кобургский, стоя у палатки, тут же вскрыл его. Кровь ударила ему в лицо — генерал Сувара на довольно хорошем французском языке писал:

«Войска достаточно отдохнули, и мы завтра в три часа утра выступим двумя колоннами: австрийцы в правой, русские в левой, пойдем прямо на неприятеля. Говорят, что неверных только пятьдесят тысяч, а другие пятьдесят дальше. Жаль, что они не вместе, — разом бы их разбили!»

Это была готовая диспозиция.

Генерал Сувара все обдумал без него сам и предлагает принцу безоговорочно поступить так, как этого хочет Сувара.

Это задело принца. Он вошел с листком диспозиции в палатку, задумчиво прошел раз-другой мимо стола, задевая стулья и не видя слуг, дававших ему дорогу, а потом круто повернулся к выходу, где стоял в ожидании ответа русский офицер.

В этой диспозиции есть вызов, есть чуть ли не оскорбление, но зато в ней чувствуется настоящая убежденность, правота, сила.

Будь что будет!

— Передайте его высокопревосходительству: я согласен. Только я думаю, что надо до последнего момента скрыть от турок присутствие ваших войск. Так будет лучше! — сказал он русскому офицеру.

— Конечно, конечно, ваше высочество! — угодливо поддакнул тот.

Принц стоял, раздумывая: кого бы назначить командиром отряда? Генерала Сплени? Полковника Барко? Нет, пожалуй, лучше всего будет Карачай: он быстр, он подойдет к этому необычайному русскому генералу.

— Прикажите полковнику Карачаю, — обернулся принц к адъютанту, — взять батальон Кауница и батальон Колло, один дивизион[1] гусар Барко и дивизион драгун Левенера и тотчас же явиться в распоряжение генерал-аншефа Сувара!

...Суворов, прихрамывая, ходил возле палатки. Он нетерпеливо поглядывал в сторону австрийского расположения: что-то будет? Согласится с его диспозицией принц Кобургский или нет?

— Disposition zum Agnriff![2] — повторял он.

---

[1] Дивизион — два эскадрона.

[2] Диспозиция для нападения! *(нем.)*.

Но вот прискакал адъютант, отвозивший принцу пакет.

— Согласен, ваше высокопревосходительство! — живо ответил адъютант.

— То-то!

Суворов был в восторге от принца:

— Ай да принц! Помилуй Бог! Молодец! Вот тебе и австрияк! Умница, ей-ей, умница!

Суворову понравилось все: и сговорчивость принца, и то, что принц не рассердился на него за отказ встретиться, и то, что Кобургский разумно предложил поставить впереди русских сил австрийский отряд.

— Как, говоришь, звать полковника? — переспросил Суворов.

— Карачай, ваше высокопревосходительство! — ответил адъютант.

— Карачай не Карачай, — весело приговаривал Суворов, идучи в палатку, — а будет туркам карачун!

IV

Подпоручик Лосев никак еще не мог за два с половиною месяца привыкнуть к здешнему странному климату. У них, в Дорогобужском уезде, такое июльское, пусть росистое и туманное, утро все-таки не было бы настолько пронизывающе-холодным. Здесь же, пока солнце не встало, не согреет никакой плащ, а чуть оно поднялось — пропадешь от жары.

Еще только рассветало.

Над рекой Путной, незнакомой, чужой, своенравной (вот навели мост — сорвало; это не дорогобужский Днепр!), стлался туман. Ни реки, ни стоящих возле нее людей не было видно. Лишь иногда из тумана вдруг появлялись человек или лошадь.

Подпоручику Лосеву, который впервые шел в бой, все казалось, что это уже турки.

Вчера авангард союзников целый день отбивал атаки турецких наездников, и Лосев в первый раз увидал раненых.

Соединенные русско-австрийские силы уже два дня шли на сближение с неприятелем. Шли, как было указано в суворовской диспозиции: русские — слева, австрийцы — справа.

Кавалерийский авангард двигался впереди полков первой линии — гренадер и егерей.

Так подошли к реке Путне и теперь ждали, когда наведут мосты.

Наконец после томительного топтания на одном месте, у берега реки, пехота ступила на мост.

Голые, посиневшие от холода саперы одевались и сушились у костра.

— Вишь, закалянéли, бедные!

— Еще бы! Вода теперь холодная: пророк Илья уже льдину бросил, — говорили проходившие пехотинцы.

Пехота тянулась по мосту бесконечной вереницей. Кавалерия нашла брод и переправлялась, минуя мост.

За Путной была все та же холмистая Молдавия, с кустарниками, оврагами и перелесками.

Когда перешли через мост, пехоте велели становиться в боевой порядок.

3-й дивизии боевой порядок был хорошо знаком, — генерал-аншеф Суворов каждое занятие в поле начинал именно с него, приучал быстро становиться в полковые каре.

Дивизия построилась в шесть каре. В первую линию поставили гренадер и егерей. Во вторую — полки Апшеронский, Смоленский и Ростовский. В третьей стала кавалерия. Пушки тарахтели между пехотными каре. В середине каре схоронились музыканты.

Пехота двигалась мимо кавалерии, которая раньше их перешла вброд Путну и теперь приводила себя в порядок.

— Довольно мы шли передом, ведите вы нас! — шутили карабинеры.

— Гляди, саквы свои замочил! — отшучивалась пехота.

Идти приходилось в гору. Впереди виднелись довольно большие холмы, занять которые и было приказано.

Лосев видел, как вперед проехал сам Суворов. Он обратил внимание на то, что у Суворова, кроме казачьей плети, ничего не было — ни шпаги, ни пистолета.

Рядом с Суворовым ехали коренастый смуглолицый полковник Карачай и пучеглазый Дерфельден, командовавший первой линией каре.

Лосев шел в первое свое дело. Он знал, что может не вернуться из него живым, но не имел представления обо всех опасностях и потому ждал боя скорее с любопытством, чем с тягостным томлением. Ему казалось, что он совершенно не боится. Лосев присматривался, искоса поглядывал, как ведут себя его соседи — солдаты.

Вот курносый Башилов. Ему, должно быть, уже под тридцать, но на его детски открытом лице можно без труда прочесть все: он явно озабочен.

Рядом с ним шагает черноглазый мушкатер Зыбин. Этот по-всегдашнему оживлен. Он рассказывает что-то веселое. Может, и Зыбин думает о смерти, но, по крайней мере, не показывает виду.

Старики из капральства, Огнев и Воронов, которые служат в армии уже тридцать лет — больше, чем подпоручик Лосев жил на свете, — держатся обычно: Огнев немногословен, а Воронов почти по-стариковски суетлив и чересчур важен. Еще бы: сам Суворов произвел Воронова в ефрейторы.

Лосев глянул на артиллеристов, которые шли справа от них. Но на их лицах он не мог прочесть ничего, — артиллеристы были заняты своими пушками. Лошади с трудом тащили в гору тяжелые пушки, и артиллеристы помогали лошадям.

Взошло солнце. Его лучи ударили сбоку. Лосев посмотрел на восходящее солнце.

«Может быть, в последний раз вижу?» — с грустью подумал подпоручик.

Но тотчас же ему стало стыдно своего малодушия. Он опасливо глянул на соседей — не заметил ли кто-нибудь, что подпоручик Лосев трусит?

Но каждый был занят собой. Хотелось поскорее взойти на холм, хотелось узнать: а что там дальше? Не вылетят ли из-за холма, не ждут ли там турки?

Шли локоть к локтю. В этом тесном, сплоченном строе чувствовалась мощь, крепость.

Шли в ногу, хорошим, ровным шагом. Каждый знал, что здесь не на походе: если трет портянка, жмет ранец — не остановишься, не поправишь. Отстанешь от каре — пропадешь.

Наконец взошли на холм.

Впереди расстилалось поле, а сзади, верстах в двух, стоял лес, ярко-зеленый в лучах восходящего солнца.

По равнине темными массами переносились с места на место турецкие всадники.

— Вот они, голубчики! Гарцуют.

— Ну, сейчас держись, ребята!

В первой линии забили барабаны, заиграла музыка, прокатилось «ура». Этот клич подхватила и вторая линия.

Мороз пробежал по спине у Лосева. Он сжал ружье и шел, боясь только одного — споткнуться о кочку, нарушить стройный ряд.

С холма спускались быстро.

Лосев глянул направо. Австрийцы шли такими же каре. Между русскими и австрийцами двигался отряд Карачая. Лосев издалека узнал его малиновый ментик.

Не успели пройти и сотни шагов, как пришлось остановиться и приготовиться отбивать атаку: турецкие спаги широкой лавиной хлынули на каре союзников. Они приближались со стремительной, неудержимой быстротой. Турки налетали как ураган — с воем, с диким, неистовым криком.

Земля дрожала от топота тысяч копыт.

Подпоручик Лосев растерялся. Он вжал голову в плечи и невольно откинулся назад — такой неотвратимой казалась ему гибель. Лосев не мог представить себе, чтобы эту страшную лавину могло что-либо остановить. Но стоявший сзади за ним высокий коренастый мушкатер Огнев шепнул подпоручику ободряюще:

— Не сумлевайтесь, ваше благородие: пронесет!

Музыка перестала играть. Затихло, как перед надвигающейся грозой. Она приближалась, эта грозная, многоголосая туча, вспыхивающая клинками шашек и ятаганов. Вот-вот прокатится над головой, грянет, покрывая все, оглушающий гром.

И он ударил.

Русская пехота, подпустив турок поближе, хлестнула по ним картечью и ружейным огнем. На минуту вся передняя линия скрылась в пороховом дыму и в облаках поднятой турецкими всадниками желтой пыли.

Выстрелы смолкли. Только слышались истошные крики турок, лязг их шашек да тяжкий топот конских копыт: враги сошлись и дрались холодным оружием.

Еще миг — и на вторую линию русской пехоты ринулась турецкая кавалерия.

Лосеву на секунду показалось, что турки смяли гренадер и егерей Дерфельдена и что на них обрушилась вся масса спагов. Но когда апшеронцы стойко отбили этот первый наскок, Лосев увидел, что гренадеры и егеря стоят так же, как и прежде. Только перед каре валялись трупы убитых людей и лошадей.

Турецкие спаги кружились вокруг русской пехоты. Они с четырех сторон облепляли каре, стараясь где-либо пробить густую щетину русских штыков.

В этих атаках не было никакого плана. Спаги гарцевали на своих прекрасных конях. Одни безрассудно налетали на каре, другие, опустив поводья, стреляли на всем скаку из пистолетов.

Лосев только смотрел, откуда налетит турок. Он излишне суетился, и его кафтан был мокрехонек от пота.

— Не прозеваем, ваше благородие, увидим! — говорил сзади Огнев.

Лосев понимал, что Огнев хочет сказать другое: «Не суетись зря!», но никак не мог стоять так спокойно, как те, кто был знаком с этими лихими атаками.

Уже солнце висело почти над самой головой, а турки продолжали наседать. Яростные, безудержные атаки турецкой кавалерии стоили им многих жертв. Поле, пригорки — все было усеяно трупами людей и лошадей. Перед 1-й ротой апшеронцев лежало десятка два убитых турок. Лосев старался не смотреть на них. Одна раненая лошадь время от времени все подымала голову и с тяжелым храпом падала вновь, тюка наконец не затихла совсем.

Чуть в стороне лежал придавленный убитым конем спаг. У него, видимо, была сломана нога, он кричал, но никак не мог выбраться из-под коня. Вот налетела новая очередная волна спагов, — они мчались, не разбирая дороги. Когда и эта волна схлынула, крики раненого умолкли.

Лосев видел раненых и среди своих. Некоторые мушкатеры уже стояли с перевязанными головами. Нескольких солдат, зарубленных турками, уволокли в глубь каре. У старика мушкатера из 1-го капральства спаг перерубил руку — она висела, казалось, лишь на сукне кафтана.

Лосев пока что был невредим.

Турки все-таки не оставляли надежды прорвать эти плотные четырехугольники союзников.

В задний фас каре батальона Хастатова как-то ворвалась толпа спагов. Еще миг — и в эти ворота вольются новые полчища и все погибнет. Слышно было, как с треском лопнул барабан, — музыканты, стоявшие в середине каре гренадер, видимо, были опрокинуты влетевшими в него турками. Все спаги, которые были поближе к этому каре, сразу устремились туда. Но стоявшие сзади апшеронцы пришли на помощь товарищам, и турки, прорвавшиеся внутрь каре, пали под ударами русских штыков.

И тогда турки так же стремительно отхлынули назад, как неудержимо рвались вперед. Спаги один за другим мчались к лесу. Через несколько минут вся турецкая кавалерия неслась назад, словно убедившись, что все усилия прорвать каре союзников напрасны.

В каре вздохнули свободнее.

— Вот так всегда у них: если попрут вперед — река не река, — ничто не задержит. А выскочил на поле заяц, кинулся в сторону один конь — и все побежали назад. Смехота! — говорил, выезжая из каре, полковник Шершнев.

Союзники наконец смогли двинуться вперед. Люди устали стоять на одном месте и теперь с удовольствием шли, разминая ноги, вытирая рукавами потные лица.

Дойдя до леса, союзники не рискнули пойти через него, — Суворов приказал охватить лес с двух сторон.

Каре шли так спокойно, как на ученье.

Из лесу толпами повалили турки. Они бежали по направлению к Фокшанам, до которых оставалось всего семь верст.

Эти последние семь верст оказались наиболее трудными: за лесом тянулись густые заросли терновника. Колючки царапали руки и ноги, рвали одежду. Люди и лошади утомились продираться сквозь цепкие кусты. Только в одном отношении было хорошо: в зарослях почти не беспокоили турки.

Но вот проклятый терновник кончился. Снова вышли на открытое поле. Вдали, верстах в двух, были Фокшаны. Турки ждали неприятеля, сидя за небольшими укреплениями и рвами. Их конница ускакала на фланги, чтобы не мешать огню пушек.

Союзники выровняли свои каре и пошли на штурм Фокшан.

Подпоручик Лосев уже узнал ярость турецких кавалерийских атак, не раз отбивал занесенную над его головою кривую шашку

спага, отстреливался, колол штыком, но еще никогда не стоял под ядрами. Теперь Лосева отделяла от этого лишь небольшая черта: в турецком лагере издалека были видны пушки. Еще миг — и турки, конечно, начнут стрелять. Ухо с тревожным нетерпением ждало этого первого выстрела.

И он раздался.

У Лосева словно что-то оборвалось внутри, но вместе с тем ему стало как-то легче: вот, началось, назад не воротишь.

С гуденьем и ревом пронеслось ядро.

— Малость не угодил!

— Ишь как оно, проклятущее, ударило!

— Вона как ревет! — оглядывались солдаты.

Ядра рвались одно за другим. Подпоручик Лосев поймал себя на том, что под ядрами как-то хочется нагнуть голову и что вдруг сделалось до противного сухо во рту.

— Чего башкой киваешь, ровно конь от овода? Не отмахнешься! — бурчал на молодого солдата ефрейтор Воронов. — Хоть кланяйся, хоть не кланяйся — не помилует! На все Божье веление!

А Лосев тоже невольно наклонял голову и думал: «В меня! В меня!»

— В Смоленский угодило!

— Вон повалило. В четвертой роте, никак... — зашумели кругом. Все оглянулись.

Но долго рассматривать было некогда — впереди вспыхнуло «ура»: первая линия пехоты уже бежала на окопы, чтобы поскорее выйти из артиллерийского огня, поскорее сблизиться с врагом.

Апшеронцы последовали их примеру.

V

Войска Осман-паши не выдержали дружного натиска союзников и побежали. Несколько сотен янычар, засевших в укрепленном монастыре Св. Самуила, еще пытались защищаться, но их мгновенно выбили и оттуда.

Победа была полная.

Теперь наконец-то Суворов мог спокойно встретиться с принцем Кобургским, — за все десять часов боя они не съезжались вместе и еще ни разу вообще не видали друг друга. Суворов ехал к принцу в той же простой канифасной куртке, в которой он был в бою, и в старых ботфортах. На куртке у него висел только один Андреевский орден.

Вместе с Суворовым ехали командиры линий — генерал-поручик Дерфельден и генерал-майор Позняков. Командира второй линии князя Шаховского тяжело ранило в бою. Сзади за генералами трусили адъютанты и ординарцы.

Если бы не тела убитых, не лошадиные трупы, попадавшиеся на каждом шагу, фокшанское поле было бы похоже на ярмарку: всюду стояли сотни повозок с разным добром, белели наметы опустевшего турецкого лагеря, по полю бродили табуны лошадей, верблюдов, ослов, которых турки не успели угнать с собою.

Где-то там, впереди, куда ускакала, преследуя врага, союзная конница, еще слышались одиночные выстрелы, а здесь уже думали о мирном отдыхе: солдаты ставили ружья в козлы, сбрасывали пропотевшие кафтаны, разувались. Артельные старосты сразу же взялись разжигать костры — варить кашу.

Солдаты, принужденные в каре целый день жаться друг к другу, теперь с удовольствием сидели и ходили свободно, поодиночке.

Вон мушкатер несет большую охапку дубовых веток, нарубленных для костра. Вон уже босиком — успел сбросить сапоги — бежит молодой солдат и радостно кричит своим: «Дяденька Максимыч, шестая рота воду нашла!» Вон толпа солдат с хохотом и шутками старается окружить стадо овец, которые испуганно мечутся по полю.

Проехали мимо толпы мушкатеров, внимательно осматривавших захваченные турецкие пушки:

— Из этих самых пушек он в нас палил!

— Здоровые пушки!

— Глянь, тут у него вся снасть как следует: и пальник и банник!

Кое-где уже слышались разговоры о бое:

— Он кричит: «аман», «аман», а я думаю: меня, брат, не омманешь, — раз его штыком!

Суворов ехал, зорко глядя кругом.

— Это как будто уже апшеронцы? — спросил он у генералов, указывая на шумную, большую толпу пехотинцев, располагавшихся на отдых.

— Должно быть, они, Александр Васильевич, — ответил Позняков.

— Надо, пожалуй, от второй линии захватить Ивана Кузьмича: пусть-ка хоть с ним принц познакомится! Какой полк, ребятушки? — крикнул, подъезжая к пехоте, Суворов.

— Апшеронский! — ответили из толпы несколько голосов.

Суворов остановил коня.

— Ба, Воронов! Жив, старина! — узнал он ефрейтора. — И Огнев, слава Богу, уцелел, — продолжал он, оглядывая мушкатеров. — Молодцы! — весело говорил Суворов.

— Живы еще, батюшка Александра Васильевич! — ответил Огнев.

— Точно так, живы! — гаркнул Воронов.

— А ну-ка, ребятки, где ваш полковник? Покличьте Ивана Кузьмича!

Воронов обернулся к солдатам и, начальственно вытаращив глаза, приказал:

— Их высокоблагородие — к их высокопревосходительству!

Но уже и без ефрейторского приказания неслось от одного к другому:

— Полковника — к Суворову!

— Суворов кличет полковника!

— Что, много у вас раненых? — спросил Суворов.

— Человек, почитай, с двадцать, — ответил Огнев.

Воронов недовольно глянул на товарища — ишь вперед старшего лезет! Степенно ответил:

— В нашем капральстве, ваше высокопревосходительство, только одного ранило.

— Тяжело?

— Нет, не так чтобы.

— Да он сам вот тут, — прибавил Огнев.

— Зыбин, покажись! — заговорили кругом.

Из толпы шагнул вперед смуглый, как цыган, мушкатер. Рот у него был повязан окровавленным платком.

— В рот угодило? — нахмурился Суворов.

Мушкатер утвердительно кивнул головой.

— Так точно, в рот, — ответил Воронов.

— Он у нас песельник, — улыбнулся Огнев.

— Болтун. Все лопочет. Оттого ртом и поймал ее, — презрительно вставил Воронов.

Черные глаза раненого улыбались.

— Язык-то, зубы — целы? — участливо спросил Дерфельден.

— Целы, ваше высокопревосходительство.

— Только сквозь обе щеки прошла!

— Как иглой прошило! — отвечали солдаты.

— Ну, тогда ничего: скоро заживет. Опять песни петь будешь и с девками целоваться! — пошутил Суворов.

Мушкатеры загоготали.

— А ты, ваше благородие, впервой был в бою? — посмотрел на молодого подпоручика Суворов.

Лосев хоронился за спинами солдат, — он натер ноги, поспешил разуться и теперь стоял босиком.

Мушкатеры расступились.

— Так точно, первый раз, — ответил Лосев.

Красный от смущения, он не знал, куда девать босые ноги.

— Страшно было? — спросил, улыбаясь, Суворов.

Подпоручик замялся.

— Страшновато, — признался он.

— То-то. Война, брат, такое дело — натерпишься! Ну, отдыхайте, ребятушки; сегодня славно постарались! — сказал, отъезжая,

Суворов; к нему спешил полковник Шершнев. — Подтянись, Кузьмич, поедем, брат, к принцу — знакомиться с союзниками! — встретил Суворов командира апшеронцев.

— Да я-то, Александр Васильевич, по-немецки ни гу-гу, — виновато улыбнулся Шершнев.

— Ничего. Зато сражаешься ты по-русски. Поедем!

И они поехали к расположению австрийского корпуса.

Австрийские солдаты узнавали своего спасителя генерала Сувара в этом простецки одетом небольшом старичке, который ехал на неказистой лошаденке.

— Гляди, вон поехал генерал Сувара! — говорили они один другому.

И за то, что Суворов не стоял на месте в ожидании врага, как их генералы, а смело шел на него, австрийские солдаты сегодня прозвали Суворова «Генерал-вперед».

— Vivat Suvara! Vivat General! Vorwärts! — восторженно кричали они.

Суворов был очень тронут этим. Он махал каской и, приветливо улыбаясь, отвечал:

— Виват Иосиф! Виват Кобург!

Навстречу ему уже спешил сам принц Кобургский, окруженный нарядной, цветистой свитой генералов.

Приблизившись друг к другу, обе группы всадников спешились.

— Ваше высокопревосходительство, я восхищен! — начал было принц, подходя к Суворову, но Суворов не дал ему договорить — он крепко обнял принца.

Свита обоих полководцев хотя и более сдержанно, но все же последовала их примеру. Генерал-поручик Дерфельден чуть ткнулся губами в бритую щеку генерала Сплени. Полковник Барко, снисходительно улыбаясь, церемонно поцеловался с генералом Позняковым.

И только простодушный Иван Кузьмич Шершнев искренне заключил в свои мощные объятия какого-то маленького австрийского полковника и, к немалому его удивлению, троекратно, словно на Светлое Христово воскресенье, облобызался с ним.

— Поздравляю с победой, ваше высочество! — сказал Суворов, пожимая руку принца.

— Вас нужно поздравлять, а не меня! Все сделали вы! — широко улыбаясь, говорил принц, с интересом разглядывая генерала Сувара. — Так быстро прийти на помощь. Сделать пятьдесят верст в сутки! Это чудо!

— Римляне двигались еще быстрее, — живо отозвался Суворов. — Вспомните Цезаря!

— Но ваша прекрасная диспозиция, ваша замечательная тактика — идти вперед. Мои солдаты уже зовут вас «Генерал-вперед», — улыбаясь говорил принц.

— Все сделали они, наши храбрые солдаты! — отвечал Суворов.

— Нет, нет, победа принадлежит вам! — не уступал Кобургский.

Суворов весело улыбался.

— А, вот еще он, мой дорогой полковник Карачай! — радостно встретил он подъезжавшего Карачая.

— Ваше высокопревосходительство, вы слишком снисходительны ко мне, — смутился польщенный Карачай.

Но Суворов, прихрамывая, побежал к нему и обнял.

— Мой храбрый Карачай, подойдите, и я обниму вас! — сказал принц, делая шаг к Карачаю.

Карачай запнулся. Он глянул на белоснежный мундир принца и на свой пыльный ментик и чуть было не извинился: «Видите, какой я грязный!», но спохватился: ведь секунду назад он в таком же виде мог целоваться с генералом Сувара.

Карачай поспешил к принцу. Принц обнял его.

А между тем в стороне, на пригорке, слуги принца Кобургского расстилали большой ковер, ставили приборы, бутылки, закуску, — принц хотел тут же, на поле, отпраздновать столь блистательную победу Суворова.

Глава восьмая

РЫМНИК

Возвышайся, россов слава,
Веселися, наш герой;
Нам труды с тобой — забава,
И победа — каждый бой.
Число мало, но — в устройстве,
И великий генерал...
Как равняться вам в геройстве,
Коль Суворов приказал?

Песня Рымникская

I

Приступ лихорадки только что прошел — Суворов лежал, обливаясь пóтом. Он смотрел в потолок низенькой молдаванской хаты и напряженно думал все о том же. Вернувшись после победы у Фокшан на прежнее свое расположение, в Бырлад, Суворов написал командующему армией князю Репнину, что русские могли бы теперь двигаться к Дунаю. Суворов так и писал:

«Отвечаю за успех, ежели меры будут наступательные. Оборонительные же? Визирь придет! На что колоть тупым концом вместо острого? Правый бок чист: очистим левый и снимем плоды!»

Но, конечно, с его доводами никто не посчитался, и союзники продолжали «колоть тупым вместо острого» — стоять на месте, а визирь продолжал наступать.

Вчера вечером от принца прискакал гонец: Кобургский снова просил помощи.

Он сообщил, что великий визирь будто бы собрал громадную армию в сто тысяч человек, перешел Дунай у Браилова и движется к Рымнику. У принца был все тот же восемнадцатитысячный корпус, и он умолял Суворова поспешить на помощь.

Суворов и сам знал, что визирь намеревается где-то перейти Дунай, но в Браилове, Галаце или в Измаиле — неизвестно. Как доносили лазутчики, во всех этих пунктах было много турок. Великий визирь хотел, чтобы союзники не могли знать заранее, где он будет переправляться через Дунай.

Главнокомандующий Потемкин колебался, не зная, что делать: осаждать ли Бендеры или идти в Молдавию. Его армия медленно, черепашьим шагом двигалась от Ольвиополя к Дунаю.

Суворов, получив вчера вечером письмо принца, решил выждать — посмотреть, что будет дальше: ведь ему нужно наблюдать не только за Фокшанами, но и за Галацем — неизвестно, куда повернет визирь.

Суворов лежал и думал: что-то будет? Ему вдруг показалось, что к дому подъехали. Он приподнял голову. Так и есть: в сенях вестовой Ванюшка говорил с кем-то.

Дверь осторожно приоткрылась — выглянуло курносое лицо казака.

— Ну, входи, входи! — сказал Суворов. — Кого там бог несет?

— Тот самый австрийский офицер, ваше высокопревосходительство.

— Пусть входит.

Суворов, худой и желтый, сел на постели, вытирай полотенцем мокрый лоб и шею.

В комнату вошел уже знакомый Суворову по Фокшанам высокий длиннолицый майор Траутмансдорф. Плащ майора был весь забрызган грязью. Лицо лоснилось от пота — видимо, майор хорошо гнал коня.

Траутмансдорф уже знал повадки генерала Сувара и без удивления смотрел на его солдатскую постель, на простой полотняный мундир.

Сегодня генерал-аншеф выглядел особенно плохо — был очень худ. На его посеревшем, изможденном лице живым огнем горели

только глаза. И от этого хилого, казалось — немощного старичка весь австрийский корпус ждал помощи, ждал спасения.

— Ну что, где визирь? — не дожидаясь доклада, быстро спросил Суворов.

— Идет на Фокшаны, ваше высокопревосходительство. Уже в шестнадцати верстах от нас. Назавтра ждем боя, — ответил майор, подавая Суворову письмо принца.

Пот еще сильнее прошиб Суворова: значит, он напрасно прождал весь сегодняшний день! Он, Суворов, первый раз в жизни промедлил, опоздал!

Опираясь о стенку, Суворов встал на ноги. Письмо принца дрожало в его ослабевших от лихорадки пальцах. Суворов не стал читать, что пишет Кобургский.

— Писать некогда. Передайте принцу — выступаем немедленно! — твердо сказал Суворов.

Траутмансдорф не стал терять времени, — он надел треуголку, козырнул генерал-аншефу и скрылся за дверью: принц Кобургский с нетерпением ждал его возвращения.

...В полночь семитысячный корпус Суворова выступил в поход.

Ночь была темная, все небо покрыли тучи. Накрапывал дождь. Он шел тихий, но упорный и грозил перейти в обложной.

Впереди Стародубовского карабинерного ехал, ссутулившись, генерал Суворов.

Начинался очередной приступ. Суворова трясло под тонким плащом. Но он, казалось, не замечал лихорадки. Суворова беспокоило другое: он зря прождал целые сутки. Если визирь догадается немедленно атаковать австрийцев, союзники погибли.

Успеет ли он соединиться с принцем, чтобы спасти и австрийцев и себя от поражения?

II

Целую ночь, с небольшими перерывами, лил дождь. Стояла непроглядная темень — все небо заволокло тучами. Идти становилось с каждой верстой все труднее: и без того скверную дорогу совершенно размыло. В темноте спотыкались, попадали в колдобины, рытвины, ямы. Пехотинцы шли мокрые, забрызганные грязью по пояс. Плащи давно промокли, с касок за шею стекала вода.

Только под утро дождь немного утих. День вставал пасмурный, неприветливый, непохожий на обычный в Молдавии ясный сентябрьский день.

Юго-западный ветер — «средиземный», как называли жители, — продолжал без устали гнать низкие, тяжелые тучи.

— Ежели до полудня ветер не переменится, тогда дождь будет до самой полуночи, — сумрачно заметил Огнев.

И действительно, когда после небольшого роздыха тронулись дальше, то не успели пообветриться плащи, как снова полил дождь. Так, под дождем, переходили реку Бырлад.

Зыбин, оправившийся от раны, полученной при Фокшанах, по-всегдашнему веселый, уронил полушутя:

— Сказывают, еще одну реку переходить будем.

— А уж теперь хоть десяток — мокрей не станешь! — ответил Башилов.

— В самом деле будем переходить, — сказал Огнев.

— А какую, дяденька? — спросил кто-то из молодых солдат.

— Серéт.

Кругом рассмеялись.

— Ну и прозванье! Лучшего придумать не могли! — смеялся Зыбин.

— А знаешь, Илья Миколаевич, — обратился Башилов к Огневу, — у нас помещик был — ёрник, не приведи господи! Вот он выселил на пустошь мужиков и прозвал эти выселки, да так, что не всякий мужик скажет. А про баб и говорить нечего — соромились называть, откудова они. Так, бывало, в селе, на ярмарке парни и пристанут к девкам из выселок: откуда вы, девчата? Смеху было!..

— Серет, кажись, большая река, ее вброд не перейдешь, — заметил Воронов.

— Австрияк нам понтон сготовит, — сказал Зыбин.

— Он те наготовит! — улыбнулся Огнев.

Все ждали перехода через Серет, все знали: от Серета до австрийского лагеря несколько часов ходьбы.

Перед походом генерал Суворов сказал солдатам:

— Понатужьтесь, ребятушки, поспешим! А то басурман побьет нашего союзника. Их сто тысяч, а у принца и двадцати не наберется. Но коли мы подоспеем, вызволим!

И вот слушались любимого генерала, спешили. Шли так, что почти не отставали от конницы.

Было три часа пополудни, когда в стороне блеснула река. Колонна остановилась. Все оживились. Думали: вот уже переходят карабинеры, скоро и мы. Но случилось невероятное: войска, свернув в сторону, пошли прочь от реки. Тотчас же по рядам пронеслось:

— Моста нет.

— Австрияк понтонов не навел.

— Вот те и союзники!

— Да что они, шутки шутят с нами?

— А может, мы сами не туда вышли? — высказал кто-то предположение.

— Ну вот, скажешь! Что ж, Александра Васильевич не знает, куда идти?

— А может, басурман уже побил австрияка?

— Слыхать было б!..

И вслед за этим тотчас же разнеслась новость: мост есть, но — выше по реке, отсюда верст за пятнадцать. Потому что там река уже.

— Вот пропади они пропадом. Еще тащись по этакой грязи!

— Совсем от ног отстанешь!

— За дурной головой ногам непокой!

Но делать было нечего — снова пошли вперед.

А дождь, как назло, все усиливался. Поднялась буря. Раскатившись по небу, загремел гром. Сверкнула молния.

С большой дороги свернули на проселок. Идти стало еще тяжелее: грязь была по щиколотку.

— Нам, грешным, и ветер навстрешный, — сказал Огнев, шлепая по грязи.

— До Ильина дня тучи по ветру идут, после Ильина — против, — поправил Воронов.

— Нынче всё против нас — и дождь и ветер! — буркнул Башилов, отворачивая лицо от косого дождя.

— Ничего, лишь бы Суворов был с нами! — отозвался Зыбин.

На повороте они увидали своего генерала. Измученный лихорадкой, желтый, худой — краше в гроб кладут, — Суворов что-то быстро говорил по-немецки австрийскому офицеру, который почтительно его слушал.

Косой дождь хлестал им в лицо. Офицер все пригибал голову, но Суворов, казалось, не замечал дождя. Его плащ был мокрехонек, а конь из буланого стал гнедым.

Минуту спустя генерал Суворов обогнал апшеронцев, — ехал молча, не сказал ни слова — видимо, был очень не в духе.

— И ему, брат, несладко! — сочувственно сказал Башилов, указывая на проехавшего генерала.

Суворов направился к голове колонны, на свое постоянное место: в походах он шел всегда с авангардом.

Уже вечерело, когда измученные, еле тащившиеся солдаты снова увидали реку. Еще издали они заметили пасшихся сытых понтонных австрийских лошадей — значит, мост есть! Передние эскадроны карабинеров проваливались куда-то вниз. Подошли к обрыву и апшеронцы.

Река, вздувшаяся от дождей, шумела где-то внизу. К ней нужно было идти по довольно большому болотистому лугу. Пехота стала спускаться с крутого обрыва на луг. Луг был весь залит водой. Шедшие впереди эскадроны кавалерии размесили его. Пехота увязала до самых колен. Две пушки, следовавшие за апшеронцами, сразу же засосало — ни с места.

— Ну и нашли, где устраивать переправу! Как нарочно!

— Стоило пятнадцать верст трепать по грязи!

Солдаты ругали все на свете: и австрийцев, и погоду, и злосчастную реку.

А дождь продолжал лить. Он лил как из ведра. Сверху и снизу была вода. Стоя в ней по колено, люди продрогли окончательно.

— Да чего там замешкались? Скоро ли? — вытягивая шеи, смотрели на видневшийся впереди сквозь сетку дождя понтонный мост.

Наконец по доскам застучали копыта лошадей: авангард перешел на ту сторону. Пехота подвинулась вперед.

— Я только себе местечко нагрел, а тут опять в холодную лезть, — говорил Зыбин, с трудом выдирая ноги из грязи. Но никто не поддержал его, не улыбнулся даже — было не до шуток.

За авангардом на мост ступили стародубовцы. Впереди карабинеров ехал, нахохлившись, съежившись под дождем, больной генерал Суворов.

Ветер переменился. Теперь он был холодный северо-восточный — «русский». Казалось, что он гнал вчерашние тучи назад, к Дунаю. Ветер налетал порывами.

Карабинеры были уже почти на середине реки, когда вдруг сильным порывом ветра понтоны поворотило в сторону.

— Сорвет! Сорвет! — раздалось отовсюду.

Карабинеры на мосту замялись. Суворов повернул назад своего коня и, привстав на стременах, что-то кричал, махая нагайкой.

Задние ряды карабинеров, не видя, что делается на мосту, еще напирали на передних, торопясь поскорее выбраться из болота.

— Опять перетык — понтон порвет!

— Ну и навели!

И солдаты принялись ругать союзников.

— А чем они виноваты? Видишь, как реку вспучило? Круглые сутки этакий ливень!

Суворов с первыми эскадронами уже съезжал с моста. Все снова очутились на топком лугу.

— Вот и переправились! Теперь будем здесь ночевать.

— Заснешь. Места сухого нет.

— Где там спать — хоть бы дождь-то перестал. Хоть бы кафтан выжать, а то все мокрое, — говорили солдаты.

Пехоте велено было подняться наверх. Грязные, мокрые, выбрались из болота апшеронцы.

Австрийские понтонеры, гревшиеся у костра, торопились вниз, к реке.

Мимо пехоты, в плаще, забрызганном грязью, проехал сумрачный, злой, непохожий на себя генерал Суворов. Его маленькая лошаденка увязала на топком лугу чуть ли не по брюхо. Взобравшись наверх, Суворов, не обращая внимания на дождь и ветер, поскакал

куда-то в сторону. За ним поспешили дежурный майор и адъютант.

— Не удержишь, хочет все делать сам, — недовольно говорил адъютанту дежурный майор, шпоря усталого коня.

Пехота, потеряв всякий строй, сбилась в кучу.

Через несколько минут Суворов протрусил назад к обрыву, что-то сказал поджидавшим карабинерам. Карабинеры, эскадрон за эскадроном, пошли в ту сторону, откуда только что возвратился из разведки генерал. Оказалось, что в полуверсте был лес, куда на ночь переводил Суворов кавалерию.

Пехотинцы старались найти местечко посуше. Все-таки здесь было не так мокро, как внизу.

Дождь опять на время стих. Большинство солдат, укрывшись мокрыми плащами, улеглось. О костре нечего было и думать, — все намокло. Да и не хотелось возиться с ним, хотелось поскорее уснуть.

...Александр Васильевич был в ужасном настроении: его весь день мучила одна мысль — зачем он не выступил 6-го, зачем зря потерял целые сутки? Кобург шлет гонца за гонцом, торопит. Боится. Еще бы не бояться: визирь со своей громадной армией стоит от него в двух шагах. Правда, визирь до сих пор не атаковал принца. Это хороший знак, визирь чего-то ждет. Время, стало быть, еще не потеряно.

Но сегодня все как-то складывается против Суворова. Сначала эта нелепая путаница с местом переправы. Потеряли несколько дорогих, драгоценных часов. Затем несчастье с мостом. Теперь придется ждать, пока на таком сильном течении через разлившуюся, как весной, реку понтонеры снова наведут мост, пока солдаты починят дорогу через луг, чтобы можно было провезти пушки и повозки.

И в довершение ко всему этот ливень, редкостный, небывалый в Молдавии в сентябре. Сентябрь здесь обычно — самый лучший месяц в году: ясный, безоблачный. А вот нате вам... Проклятый ливень вконец испортил дорогу, измучил бедных солдат.

Суворов не находил себе места. Поглощенный своими неприятными мыслями, он забыл о лихорадке. И странное дело: здесь, под проливным дождем, на ветру, озябший, вымокший до нитки, Суворов чувствовал себя здоровым, — от волнения лихорадка совершенно прошла.

Суворов велел дежурному майору исправить за ночь дорогу через луг. Из каждого полка отрядили людей рубить фашинник. Казаков разослали по окрестным деревням собрать молдаван с лошадьми и каруцами возить песок.

Работы до утра хватало.

Сдать все на этого австрийского капитана-понтонера, у которого затряслись губы, когда он увидал, что с его мостом сделала река, Суворов не мог. И он не мог сидеть сложа руки, когда кругом

было столько дела. Он не мог бы спокойно уснуть, не будучи уверенным в том, что к завтрашнему дню все будет готово.

Суворов только пересел на свежую лошадь и закутался в сухой плащ, который дал ему вестовой. До самого утра он наблюдал за работой солдат и молдаван, толпами сходившихся и съезжавшихся к реке гатить дорогу.

...Башилов, наряженный вчера вместе с другими апшеронцами на работу, разбудил Огнева, который лежал, свернувшись калачиком, у межи:

— Вставай, дядя Илья, погрейся!

Башилов держал манерку с кипятком. Огнев поднялся.

Солнце только что взошло. Было тихо и безоблачно. Лишь глубокие борозды в песке, спускавшиеся вниз, к лугу, напоминали о вчерашнем ливне, да от сырости, от спанья в мокрой одежде ныло тело. Шаровары и кафтан были еще влажные, пахли прелью.

Весело трещали костры. Люди сушили одежду, чистились, грели кипяток. Все повеселели.

— Ну, как управились? — спросил Огнев, подымаясь.

— Починили. Навалили фашиннику, насыпали песку. Да ты пей, Илья Миколаевич, — говорил Башилов, подавая Огневу кружку, — грейся!

Зыбин проснулся сам. Он моргал красными, невыспавшимися глазами и, потягиваясь и зевая, говорил:

— До чего сладко спать на брюхе, спиной прикрывшись!

В это время с пригорка проехал окруженный офицерами генерал Суворов.

— Уже встал, — кивнул на него Огнев.

— Какое там встал. Он и не ложился, сердешный. Так с нами цельную ночку и коротал. И с коня не слезал, все смотрел за работой да указывал, — отвечал Башилов.

III

Пока вестовой и Прошка разбивали для Суворова палатку, он отослал принцу Кобургскому письмо:

«Я пришел и, чтобы показать это туркам, думаю атаковать их через несколько часов».

Наконец-таки, перейдя через реку Серет, русские к полудню 10 сентября 1789 года дошли до австрийцев.

Когда австрийские ведеты увидали казаков, они были вне себя от радости.

— Русские идут! Генерал-вперед пришел! Мы спасены! — понеслось по лагерю.

Как и при Фокшанах, русские примкнули к левому флангу австрийцев.

Австрийский лагерь стоял на реке Милька.

— Гляди, опять река. Сколько их тут, прости Господи! — удивлялись солдаты.

— А летом, поди, ручейка не сыщешь!..

— Турки, сказывают, уже два дня налетают...

— Пугают.

— Вот мы их ужо попугаем!

Третий день русские войска не отдыхали по-настоящему. Став на место, солдаты быстро разбили палатки, и каждый занялся своим делом. Кто в прошлую ночь был наряжен на работу и не спал, поскорее завалился спать. Любители покушать, стосковавшиеся по свежей кашице, развели костры. А большинство сушило и чистило забрызганные грязью измятые кафтаны и шаровары и приводило в порядок амуницию и оружие. Кавалеристы чистили лошадей, кое-кто уже точил саблю.

Отослав записку принцу, Суворов, прихрамывая, пошел в палатку. Казаки постарались для своего генерала — притащили в палатку добрый воз сена.

Суворов сбросил сапоги, снял каску и кафтан и с удовольствием растянулся на свежем сене. Так хорошо было бы сейчас заснуть: ведь он не спал уже три ночи подряд, но еще надо было договориться с принцем, осмотреть турецкое расположение и составить диспозицию к завтрашнему бою.

Суворов решил завтра же ударить на турок, чтобы ошеломить их. Он шел три ночи и два дня. Шел большею частью проселочными дорогами — чтобы турки не узнали о его продвижении.

Суворов ждал принца. Он разложил на сене карту и старался представить себе, какую позицию выбрал великий визирь.

Долго ждать принца не пришлось. Вдали послышались крики «ура». Суворов сунул руки в рукава кафтана и стал натягивать на больную ногу еще недостаточно просохший сапог.

Суворов успел одеться и выйти навстречу принцу, который, подъехав к палатке, легко спрыгнул со своего кровного серого жеребца.

— Ваше высокопревосходительство, как я рад! — кинулся он к Суворову.

Суворов с удовольствием обнял его и поцеловал в обе щеки:

— Здравствуйте, ваше высочество! Вот мы и снова вместе.

— Простите, что произошло недоразумение с этим мостом. Я не думал, что вы пойдете по столь скверной дороге.

— Некогда выбирать. Скверная, да верная. Самая короткая, — сказал Суворов, откидывая полотнище палатки и пропуская принца вперед.

Кобургский шагнул в пустую палатку. Он уже достаточно знал генерала Сувара и не удивлялся его спартанскому образу жизни.

Приминая сено, они расположились возле карты.

— Ваше высочество уверены, что визирь здесь со всем войском? — спросил Суворов.

— Так говорят лазутчики. Да и по кострам ночью видно.

— Нужно, не теряя времени, ударить. Визирь ждет подкреплений.

— Какие же еще подкрепления? — пожал плечами Кобургский. — Ведь у него и так больше ста тысяч человек!

— Тем лучше — сразу отделаемся от всех! — уверенно заявил Суворов.

— Но, мой друг... — запнулся принц. От волнения он даже встал.

— Чем больше турок, тем больше у них беспорядка! — выпалил Суворов.

— Но ведь их *вчетверо* больше! — подчеркнул Кобургский.

— А хоть бы и вдесятеро! Все же их не столько, чтобы затмить нам солнце! — твердо сказал Суворов, глядя снизу вверх на высокого собеседника.

— Я проезжал по лагерю, видел: русские войска изнурены походом. Вы так быстро шли — в дождь, в бурю, без ночлегов. Солдатам нужен отдых!

Суворов мельком взглянул на принца: умный, хороший человек, да опять, кажется, струсил. Опять заговорила линейная тактика: как же тут идти на басурман, если по всем ее правилам нужно отступать!

«Ретирада на уме. Придется снова ошеломить его», — подумал Суворов.

— Ежели ваше высочество не согласны атаковать визиря, я атакую один! — решительно сказал Суворов и, прихрамывая, пошел к выходу. — Эй, братец, коня! — высунувшись из палатки, крикнул он вестовому.

Суворов надел каску, положил в карман карту и обернулся к принцу.

Кобургский стоял, в раздумье перекусывая зубами травинку.

— Простите, ваше высочество, но я должен ехать. Хочу сам посмотреть турецкое расположение, — объяснил свой отъезд Суворов и вышел из палатки.

Принц пошел вслед за ним.

Суворов легко вскочил на коня и поехал.

Адъютант хотел было нарядить эскадрон для охраны генерала, но Суворов недовольно замахал рукой:

— Не надо, помилуй Бог! Пусть урядник и двое казаков!

Принц медленно шел к своему долговязому адъютанту, стоявшему в сторонке, и думал о генерале Сувара: «Удивительный человек! Великий полководец! Он и с семью своими тысячами разобьет сто тысяч визиря. Что же мне делать?»

IV

Суворов осторожно подъехал с казаками к самой Рымне. Лагерь союзников остался далеко позади. Тут уже из-за каждого куста мог выскочить янычар.

Прислушались, осмотрели ближайшие кусты, — вблизи, на этом берегу, никого не было.

Суворов спешился в кустах и пошел с урядником и казаком к дубкам, росшим на самой круче. Внизу, под обрывом, пенилась грязно-желтая после вчерашних дождей Рымна.

— Подсобите, казачки! — сказал Суворов, подпрыгивая и хватаясь за сук.

Урядник один легко приподнял генерала. Суворов ухватился за сук повыше, на нижний стал ногами и быстро полез вверх по дереву.

— Шестьдесят годов, а так легко лезет! — удивлялся казачий урядник, глядевший, как генерал взбирается все выше и выше.

— Не свалился бы старик — подошвы-то сырые, ствол тоже скользкий, — забеспокоился казак.

— Не свалится! Он, брат, не таковский! — ответил урядник.

Суворов влез насколько можно было повыше, поудобнее устроился, обломал мешавшие ветки и смотрел в трубу на турецкое расположение.

Турки стояли между реками Рымна и Рымник, которые блестели вдали. Все пространство между ними было занято турецкой армией. Белели сотни наметов, палаток, шатров. На просторных лугах и полях паслись табуны лошадей, верблюдов, буйволов, ослов. Как на громадной ярмарке, толпились телеги, повозки, каруцы, арбы. Тысячи костров горели всюду.

Суворов насчитал три лагеря. Первый лежал почти у его ног — на противоположном берегу Рымника, у деревни Тыргокукули. У деревенской околицы выглядывали из-за высокого бурьяна жерла турецких пушек.

Суворов прикинул на глаз: в одном этом лагере было значительно больше войск, чем у него.

Второй лагерь располагался на пригорке соседней деревни.

«Это Бохча», — вспомнил ее название Суворов.

Здесь паслось больше скота, чем у Тыргокукули, и гораздо больше было пушек, — Суворов насчитал их до сорока.

«Ну да ничего, мои богатыри возьмут и эти!» — думал он.

Левее Бохчи виднелся Крынгумейлорский лес. Он кишел людьми и лошадьми. А за ним — опять бесконечные обозы.

— Где-то там, у Рымника, как доносили лазутчики, был третий, самый большой, лагерь визиря.

«Вот если б принц глянул. Помилуй Бог! Расписывал ему лазутчик, но еще мало. Принц свалился бы с дерева от страху. Да, крепки дьяволы! Это не под Фокшанами. Позиция у визиря пре-

красная», — думал Суворов, слезая. Мешкать особенно было нечего: того и гляди — заметят басурманы и налетят.

Мысль работала лихорадочно. Диспозиция завтрашнего боя понемногу складывалась в голове.

«Я ударю на Тыргокукули, а принц будет охранять фланг и тыл. А потом соединимся и все разом — на визиря. Турки не ожидают. Растеряются!»

План был хорош, но все-таки чрезвычайно рискован: с каждым шагом русских к Тыргокукули расстояние между союзниками должно увеличиваться, фланг и тыл их — все больше обнажаться.

«Ничего, мои богатыри не допустят, чтобы турки атаковали нас с фланга», — думал Суворов, готовясь спрыгнуть вниз с дерева.

Казаки так же бережно сняли Суворова, и он заковылял к коню.

На полпути к лагерю их встретили два эскадрона гусар Цеклера, высланные принцем для охраны Суворова. А у лагеря нетерпеливо ждал сам принц Кобургский.

— Ну как? — спросил он, подъезжая к Суворову.

— Стоят хорошо, как дома. Но мы их завтра прогоним. Вы подумайте, ваше высочество, а я, простите, поеду немного отдохну!

Красные, воспаленные от бессонницы глаза Суворова смотрели устало. Лицо пожелтело и осунулось.

— Да вы едва держитесь на ногах. Вы сегодня спали? — участливо спросил принц.

— Нет.

— А вчера?

— Нет.

— А позавчера?

— Нет.

— Когда же вы спали?

— Еще в Бырладе...

Принц всплеснул руками:

— Так же невозможно!

— Ваше высочество, я пришлю к вам полковника Золотухина, вы обсудите с ним, а я поеду спать.

И, слабо улыбнувшись, Суворов поехал к своему лагерю.

Принц молча смотрел ему вслед.

«Удивительный человек!» — думал он.

V

Зыбину этот ночной марш был особенно несносен. Еще выступая из лагеря, Суворов сам объехал полки и строго приказал, чтоб на марше никак не обнаружить себя:

— Не курить, огней не высекать. Языком попусту не чесать. Команда — вполголоса. Горнисты, барабанщики — замри! Чтоб как снег на голову!

Так всю ночь и шли: ни закурить, ни поговорить. Иди и только оберегайся — не звякнуть бы невзначай ружьем, не споткнуться бы о что-либо на дороге.

До первого турецкого лагеря, к которому шли, говорят, еще верст пятнадцать. Казалось бы, к чему такая сугубая предосторожность, но раз Суворов приказал — стало быть, надо исполнять. Хотелось курить, гнало слюну. Эх, беда — затянуться нельзя!

Зыбин примечал — он томился не один в их капральстве. Воронов, который всегда много курил, жевал что-то на ходу. Подпоручик Лосев часто сплевывал, — видать, тоже охота покурить. Поговорить бы хоть, отвлечься — и то нельзя.

Впереди далеко видны турецкие огни. Небось кашу варят, не ждут гостей!

Вот послышался рев осла, — у турок их много. «Ах ты, пропади пропадом, как ревет! Скрипит, ровно немазаная молдаванская телега...»

Зыбин повернулся было к своему соседу Огневу, хотел шепнуть ему, но в полутьме увидал — Огнев недовольно сдвинул брови, замотал головой: молчи уж!

Со скуки поглядел на звезды: «Ковш-то где. У нас — чуть повыше и левее...»

И вот так шли и шли втихомолку. Если кто-либо в рядах нечаянно звякал ружьем о водоносную флягу или спотыкался, на него первым выпучивал глаза ефрейтор Воронов. Затем сердито шикал капрал, и, наконец, подбегал, придерживая левой рукой шпагу, подпоручик Лосев: «Что, кто? Тише!»

И в этой напряженной тишине как-то больше клонило ко сну.

...Уже совсем рассвело, когда подошли к реке Рымна. Рымна была мелководна — по колено. Поеживаясь, ступили в воду. Пошли через реку. Зыбин насчитал сто восемьдесят четыре шага. Он шел и смотрел, как осторожно, полуприседая, идет Воронов.

— Не любит дядя Ворон водички, — всегда трунил он над любившим выпить ефрейтором.

Хлюпая набравшейся в сапоги водой, взобрались по крутому, обрывистому берегу. Турецких огней уже не было видно. Впереди темнели кусты. Неужели опять проклятые колючки, как там, возле Фокшан? Все руки расцарапаешь, все шаровары изорвешь!

По рядам прошло тихое:

— Становись в каре!

Дело привычное, ровно щи хлебать! Построились быстро. Стояли, ожидая сигнала идти вперед.

Барабанщик дядя Ваня, который умел барабанить и в то же время показывать, как сапожник колет шилом, всучивает дратву, уже стоял наготове. Он сразу повеселел, сморкался наземь, не заботясь о том, что получается довольно громко.

Кавалерия уже заняла свою всегдашнюю третью линию. Пехотные каре были впереди.

К каре апшеронцев подъехала группа всадников. Зыбин узнал нового командира полка, широкоплечего полковника Апраксина, и высокого одутловатого генерал-майора Познякова. Посреди них на небольшой лошаденке сидел генерал-аншеф Суворов.

А рядом с ним — вихрастый казак Ванюшка. Затесался, будто и он — чин. А ведь только возит за генералом Суворовым его тяжелую саблю. Сам же Суворов — с одной нагайкой.

Что-то указывает ею в сторону, машет. Видно, чем-то недоволен.

— Замешкались. Все дело испортят. И еще этот Тищенко — словно за смертью поехал! — услышал Зыбин, что говорил Суворов.

Генерал-аншеф со свитой проехал к передней линии гренадер и егерей. Солдаты чуть оживились, стояли вольно, откашливались, сморкались.

Суворов возвращался назад, когда сзади, от третьей линии, послышался конский топот. Все увидали мчавшегося генеральского адъютанта.

К удовольствию Зыбина, Суворов остановился возле их каре. Зыбин слышал, как генерал-аншеф быстро спросил у адъютанта:

— Ну что, скоро ль принц? Чего он там замешкался?

— Поспешают, ваше высокопревосходительство! — отвечал запыхавшийся адъютант. — Я как сказал, что, ежели вы отстанете, мы тотчас же одни ударим на турок, так австрийские офицеры кинулись подгонять солдат: «Скорее, скорее! Сувара кричит: «Вперед!» Если мы не поспеем, русские пойдут одни, их разобьют и разобьют нас».

Суворов рассмеялся.

— Только испугом и можно взять! Что же, Александр Адрианович, — обернулся он к генералу Познякову, командовавшему первой линией, — с Богом, вперед!

Каре двинулись на турецкий лагерь, который был расположен у деревни Тыргокукули.

Суворов взял на себя главную и самую опасную задачу — наступать на стотысячную турецкую армию, а принцу Кобургскому поручил обеспечить тыл и фланг.

Шли через кусты, через бурьян, по пшеничной стерне, будыльями кукурузы, пересекали луга, на которых трава была по пояс. Версты три прошли спокойно. Турки еще не обнаружили неприятеля, — они безмятежно спали, потому что знали: перед ними стоят в шесть раз меньшие силы австрийцев.

Но вот на левом крыле раздался выстрел, за ним другой. Наступление было обнаружено. И еще не успели апшеронцы пройти кукурузное поле, как уже заговорили пушки турецкой батареи, защищавшей лагерь.

В первой линии тотчас же заиграли генерал-марш, ударили в барабаны, и полки с распущенными знаменами быстрым шагом пошли вперед.

Деревня, занятая турками, их лагерь, батарея — все было как на ладони, вот тут, казалось, уже в полуверсте. И вдруг бежавшие со штыками наперевес войска первой линии остановились: перед ними был глубокий овраг. Он пересекал путь русским каре. Через овраг вела только одна небольшая дорога. Всем каре по ней было сразу не пройти.

Войска передней линии остановились в замешательстве.

— Что там такое? Чего стали? — нетерпеливо спрашивали задние.

Барабаны как-то сами умолкли. Настроение сразу понизилось. Стоять под турецкими ядрами и пулями было не очень приятно. Падали раненые.

Не обращая внимания на свистевшие вокруг пули и ядра, к оврагу подскакал сам генерал-аншеф Суворов.

— Чего стали? Эка невидаль! Фанагорийцы, вперед! Сбить батарею! Вперед, богатыри! Ведь вы — русские! — крикнул Суворов.

Гренадеры кинулись в овраг — только из-под ног посыпался песок. Вот они уже внизу, вне турецкого огня. Вот подымаются, бегут вверх с ружьями наперевес.

— Ура! — крикнул первым чей-то голос.

— Ура! — подхватили оба батальона фанагорийцев.

Гренадеры ударили в штыки.

Тотчас же за фанагорийцами, так же быстро, но уже в полной безопасности, пересекли овраг шедшие сзади за ними апшеронцы.

В турецком лагере стоял переполох. Видно было, как по дороге из деревни уносятся верховые, мчатся каруцы, кибитки, арбы, убегают пешие. Этот неожиданный удар ошеломил турок.

Батарея замолчала, — она была уже взята русскими.

Апшеронцы только взобрались на верх обрыва, когда к их строю подскакал верховой турок. Он держал в руке белый платок.

— Неужели сдаются? Ага, пощады запросили! — обрадовались апшеронцы.

Турок, к удивлению всех, заговорил на русском языке.

— Вы разве русские? Вы переодетые австрийцы. Русские тут не могут быть — они еще в Бырладе! — кричал издалека турок, разглядывая апшеронцев.

— А ты подъезжай поближе, мы те покажем, кто такие! — крикнул из середины каре полковник Апраксин. — Бей его, сучьего сына! — прибавил он, сообразив, что это разведчик под видом парламентера.

Но хитрый наездник уже повернул коня и стрелой помчался назад, к лесу. Несколько пуль полетело ему вдогонку.

— Вот ворюга!

— Откуда он по-русски знает?

— Эх, далеконько стоял! Если бы хоть на шагов десяток поближе, я бы его окстил! — говорили в переднем фасе.

А между тем из леса Каята, слева от деревни, уже сыпались тысячи турецких всадников. Они намеревались ударить во фланг русским, переходившим овраг. Сегодня спаги были не одни, — каждый всадник вез с собою янычара. Причем янычары были какие-то черные. Они стояли на стременах, ухватившись одной рукой за седло, а другой держали ятаган. У многих из них в зубах блестели кинжалы.

— Глядите, ваше благородие, сегодня не только белые арапы против нас, а и черные, — сказал Воронов молодому подпоручику. — Я этаких за пятнадцать годов и то первый раз вижу!

Но первый яростный удар турецких спагов и янычар обрушился не на апшеронцев. Левее их из оврага только что поднялись шесть эскадронов бригадира Бурнашева. Синие мундиры карабинеров потонули в разноцветных кафтанах и чалмах налетевших турок.

Карабинеры не выдержали ужасного натиска и сломя голову помчались назад, к оврагу. Турки, ободренные успехом, кинулись с диким воем на пехоту.

Апшеронцы встретили их дружным залпом пушек и ружей. Но турок было слишком много. Еще миг — и огромная волна их все-таки проскочила эту огненную преграду и обрушилась на каре.

Черные африканские янычары уже спрыгнули на землю. Не боясь быть раздавленными лошадьми спагов, они лезли между всадниками, с остервенелым криком бросаясь вместе со спагами на русскую пехоту.

Зыбину, как и всем апшеронцам, было очень неудобно отбиваться одновременно от кавалерии и пехоты. Нужно было смотреть, как бы сверху не ударила острая шашка, а в то же время приходилось беречься и пеших янычар.

Около получаса турки ожесточенно лезли на каре.

В это время Бурнашев успел перестроить свои эскадроны и смело кинулся во фланг турок. Кроме того, турки попали под перекрестный огонь смоленцев, перешедших овраг левее.

Турки дрогнули и побежали. Теперь спаги удирали одни, бросив африканцев-янычар на произвол судьбы.

Янычары кидались к ним, стараясь вскочить на стремя, но спаги, чтобы облегчить себе отступление, безжалостно рубили своих же товарищей. Да и тех, которым удалось вскочить на стремя, ждала печальная участь: русские карабинеры и венгерские гусары рубили и спагов и янычар.

Смешавшаяся турецкая конница понеслась было к своему лагерю, но оттуда на них лавой вылетели казаки, которые уже хозяйничали в турецком лагере и в деревне. Турки повернули назад, к лесу Каята. Распаленные схваткой, карабинеры и гусары хотели было преследовать врага, но в пороховом дыму показался Суворов.

— Степан Данилович, — крикнул он бригадиру Бурнашеву, — дайте басурманам золотой мост! Пусть бегут, помилуй Бог! У нас и без них еще дела много!

Действительно, хотя здесь, в лагере, турок стояло вдвое больше, чем всего насчитывалось русских, но это была только незначительная, может быть десятая, часть того, что ждало впереди.

Горнист заиграл аппель[1].

Карабинеры и гусары возвращались назад.

VI

Прошка не считал себя трусом: пусть еще какой-либо генеральский денщик побудет в стольких сражениях, как он! Небось другие (к примеру, денщик генерала Познякова или бригадира Вестфалена) все остались за рекой, в вагенбурге.

А Прошка с первой минуты боя — здесь, в огне.

Хотя Прошка был верхом, но он не дружил с конницей. Как при ней можно находиться денщику? Трубач протрубит — и конница марш-марш, уже понеслась на врага. Еще минуту назад на лугу стояли сотни всадников, а тут глядь — остался один Прошка.

У Прошки, как и у его барина, при себе не было никакого оружия — одна солдатская никудышная короткая полусабля. Ею разве отобьешься от чертова турка? Прошка возит с собою эту полусаблю только потому, что она хорошо годится в денщичьем деле: дров наколоть, мясо, если случится, разрубить, а на худой конец и кол для палатки отесать.

Полусабля вся в зазубринах. Александр Васильевич как увидит ее, всякий раз ругается:

— Это пила, а не сабля. Эх ты, лентяй, пресная шлея! Наточить не можешь!

— Чего ж ее точить, Ляксандра Васильч, — скажет Прошка, — коли она через день снова такая же будет? А лучину колоть — она и так горазд хорошо колет!

Александр Васильевич знает Прошку — махнет рукой: мол, тебя не переделаешь!

Нет, генеральскому денщику место в бою одно — с пехотой, в середине каре, с музыкантами да с лекарем.

---

[1] Аппель — кавалерийский сигнал, сбор.

Прошка и одет по-пехотному, хотя ни строя, ни ружейной экзерциции не знает.

И сегодня Прошка пристроился к пехоте второй линии. Сначала он шел с ростовцами, а потом Александр Васильевич услал их куда-то влево, где пуще всего наседали басурманы, и Прошка с несколькими ранеными солдатами оставил каре. Раненые поплелись назад, к реке, к Фокшанам, а Прошка втиснулся в другое каре, к старым знакомым — апшеронцам. И стоял в середине его.

Когда на каре налетали с всегдашними неистовыми криками турецкие всадники, Прошка невольно хватался за свою тупую саблю — так страшен был этот ураган.

Но ничего — Бог милостив, — апшеронцы мужественно отбивали все атаки. После очередного турецкого наскока с какой-либо стороны каре на середину его вели раненого — с рассеченной головой или перерубленной рукой. Прошка не мог видеть крови, отворачивался.

В середине каре было душно от массы столпившихся, плотно сжатых людей, оттого что по-летнему жгло сентябрьское солнце: через три дня воздвиженье, а тут такая жара.

А от коня еще душнее. Прошка то слезал с коня, то опять садился на него, чтобы посмотреть, не видно ли где поблизости Александра Васильевича.

Прошка глядел на небо: солнышко подымалось все выше и выше. Недовольно качал головой. В обычное время барин уже давно отобедал бы, а сегодня — когда-то придется! Со вчерашнего вечера, с ужина, ничего не брал в рот. Ночью и ранним утром, на походе, Прошка несколько раз приставал к барину:

— Ляксандра Васильевич, да скушайте курочки!

— Не хочу! — отмахивался он.

И все-то выдумывает — хочет есть. Ведь в эту пору дома, в лагере, не на войне, ест так, что от тарелки не оттянешь. А здесь, как запоют пули, как загудят ядра, готов не пить, не есть! Чудной человек! Прошка знает, почему Александр Васильевич не хочет есть, — солдаты еще не ели, а он один, опричь, ни за что не станет.

«Так солдату-то что? Солдат здоров. А ведь его всю дорогу лихоманка трясла. Отощал так, что смотреть страшно. Как еще в седле держится. И к тому же старый человек. Храбрись, брат, не храбрись, а без малого шестьдесят!»

Перешли реку, с полчаса стояли, ждали, когда принц перейдет, — вот тут бы в самый раз и перекусить. Прошка подъехал к барину.

— Скушайте, Ляксандра Васильич, крылышко. Курица протухнет, спортится! — врал Прошка, зная, что барин бережлив и не любит, чтоб добро пропадало зря.

— Отстань! Сам ешь. Думаешь, у меня только твоя курица на уме? — рассердился Александр Васильевич.

Ночью, как всегда здесь, в Молдавии, холодно. За ночь курица не испортилась, но в такой духоте, того и гляди, в самом деле протухнет. Мясо быстро душок найдет, беспокоился Прошка.

И он вновь пристально смотрел по сторонам — не мелькнет ли где знакомая буланая лошаденка.

Александр Васильевич целое утро все летает то туда, то сюда — где турецкий огонь посильнее, туда и мчится. Будто нужно ему, генерал-аншефу, самому лезть в огонь. Уж сколько раз бывало — чуть голову не сложил. Два года назад, при Кинбурне, чудом ушел от смерти, а все не угомонился.

Наконец среди высоких киверов и ярких доломанов венгерских гусар мелькнули знакомая каска и белый канифасовый кафтан Александра Васильевича, сделавшийся от пыли и пота серым. И вот он подлетел к апшеронцам, благо турки отхлынули хоть на минуту.

Суворов что-то быстро говорил полковнику Апраксину, командиру полка, который верхом на лошади стоял за спинами своих мушкатеров.

Прошка задергал поводьями, ударил каблуками своего застоявшегося коня, протрусил к Апраксину и бесцеремонно поместился с ним рядом. Он приподнялся на стременах, чтобы лучше было видно, и крикнул через головы солдат:

— Ваше высокопревосходительство, Ляксандра Васильич!

Суворов быстро глянул на него:

— И ты тут? Жив, Прошка?

— Ваше высокопревосходительство, извольте покушать! — сказал умоляюще Прошка.

С глазу на глаз Прошка никогда не величал бы так барина и не говорил бы этаким ласковым тоном, но тут — целый полк слышит, нехорошо!

— Батюшка барин, скушайте курочки. Вы же голодные! — просил Прошка и уже тащил с плеч солдатский, яловичной кожи, потертый ранец, в котором были хлеб, курица, брынза и фляга с водкой.

— Не я один голоден. Все еще не ели! — нахмурился Суворов и уже глядел в сторону — собирался скакать дальше.

— Ляксандра Васильич, ну хоть брынзы кусочек!

— Ежели будешь приставать с глупостями, я попрошу его высокоблагородие поставить тебя под ружье! — сердито бросил Суворов и ускакал.

— Глупости, глупости! — бурчал, насупившись, Прошка, отъезжая в глубь каре. — Со вчерашнего дня не ел, уже от ветра валится, а всё — глупости! Под ружье! Да лучше б под ружье, чем так-то, не евши! Все не евши! — передразнивал он Суворова. — Так тебе же, — говорил Прошка, будто обращаясь к нему самому, — больше надо — ты же здесь всему делу голова!

VII

Руки сильной гренадерской
Не удержит янычар,
И наездник самый дерзкий
Лишь в сердцах удвоит жар!

Песня

— Ваше высокопревосходительство, апшеронцы в пятый раз отбили атаку! — отрапортовал Суворову запыхавшийся ординарец.

Суворов, смотревший вниз, в лощину, порывисто обернулся:

— В пятый раз?

— Точно так, в пятый!

— Ай да апшеронцы! Богатыри! — восхищенно сказал Суворов, обводя всех глазами.

Его войска уже шесть часов подряд стойко выдерживали беспрерывные страшные атаки турецкой конницы. Его храбрые войска и сегодня, как всегда, били врага.

Окруженный адъютантами и несколькими офицерами, которых Александр Васильевич взял из разных кавалерийских полков на сегодняшний бой к себе в ординарцы, Суворов стоял на краю обрыва.

Он смотрел туда, вниз, в лощину, откуда доносились дробные перекаты ружейной пальбы, иногда перебиваемые громом пушек, и яростные завывания и неистовые крики турок — обычная музыка турецкого боя. Клубы поднятой пыли и порохового дыма плавали над лощиной. Даже в трубу трудно было разобрать, что там происходит. Одно оставалось несомненным: конные турецкие толпы налетали на союзников как волны прибоя — беспрерывно, одна за другой.

Полки Суворова стояли непоколебимо, — за них он не боялся. Беспокоил Суворова принц Кобургский, с которым они, волей-неволей, были разобщены. Их войска не шли рядом, как при Фокшанах, а отстояли друг от друга верст на пять, и Суворов опасался, как бы австрийцы не дрогнули, хотя каждый австрийский солдат знал, что, если он побежит, его ждет верная смерть от кривой турецкой шашки.

Суворова беспокоило и другое — хватит ли у полковника Карачая живой силы противостоять со своими восемью эскадронами и двумя батальонами этому бешеному натиску турок?

Великий визирь мало того что выбрал весьма удобную для защиты позицию, но и чрезвычайно искусно руководил боем. Увидев, что русские и австрийцы разъединены, он бросил в середину их тысячи спагов. Визирь хотел смять Карачая и вбить клин между принцем и Суворовым.

«С умом задумано, да без ума сделано. Ему не дробить бы силы, а кинуть все на одного из нас — и тогда конец!» — думал Суворов.

Суворов слал ординарца за ординарцем к Карачаю, чтобы знать, как он держится. Карачай, наученный Суворовым, не ограничивался защитой — все время ходил в атаку. Но турки продолжали наседать.

Вот показался ординарец Карачая — корнет венгерского гусарского полка. Он мчался, сколько было сил у его маленькой, легкой лошаденки, почти пригнувшись к ее шее. Яркая ташка[1] отлетала назад.

«Должно быть, туго приходится бедному Карачаю — на корнете нет лица», — встревожился Суворов.

— Ваше высокопревосходительство, полковник Карачай просит подкрепления. Пехоты! — выпалил корнет.

Суворов, не говоря ни слова, круто повернул коня и поскакал к фанагорийцам.

— А ну-ка, ребятушки, подсобим полковнику Карачаю! Сделаем туркам карачун! — весело крикнул он. — Вперед! Марш!

Егеря повернулись и быстрым шагом пошли в лощину.

Суворов поехал назад. Навстречу ему спешил казачий есаул-ординарец.

— Что Карачай? Держится? — спросил Суворов.

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — отрубил есаул. — Устоял — наши помогли!

Суворов полузакрыл глаза и широко улыбнулся:

— Мои-то не выдадут, помилуй Бог! Богатыри! Русские!

Потом ударил плетью коня и взлетел на холм. Он хотел глянуть в трубу, что там внизу, но снизу, из лощины, раздалось «ура».

— Наконец побежали басурманы. Сейчас можно будет полдничать, — сказал с облегчением Суворов и поехал к пехотным каре.

Он хорошо изучил турок: если спаги побежали, то теперь за ними отступят по всей линии. Надолго ли, но отступят.

Суворов был прав: последние отряды турок, занимавшие деревню и лес Каята, ускакали по направлению к деревне Бохча, которая виднелась верстах в полутора. Русские войска заняли обезлюдевшую, разграбленную турками, опустошенную деревню и небольшой редкий лесок.

Полуденное солнце стояло над самой головой.

Войска были утомлены боем, этим многочасовым стоянием в тесных, душных рядах, проголодались, хотели пить. И так приятно было хоть немного отдохнуть, поесть и напиться: в деревне нашлись два колодца, а в лесу протекал ручей.

---

[1] Ташка — гусарская сумочка, висящая на ремнях ниже колен.

— Полдничать. Отдыхать — с полчаса. По человеку от капральства за водой. Не мешкать, не спать, строй не бросать! — сказал Суворов, проезжая мимо войск.

Бой затих по всех линии. У австрийцев тоже прекратилась стрельба. На всем фронте наступила тишина.

Солдаты оживились. Разминались, расправляли затекшие руки и ноги, вытирали с лица пыль. Легкораненые, оставшиеся в строю, перевязывали раны. Большинство село на землю, курило, ело, пило принесенную в манерках воду. Суворов на этот раз не смог отбиться от Прошки — денщик сунул-таки в руки барину кусок курицы и хлеб. Суворов торопливо поел и выехал один из лесу. Он хотел еще раз осмотреть турецкую позицию.

— Ваше высокопревосходительство, куда же вы один поедете? Еще налетят басурманы, — удержи́вал его командовавший кавалерией бригадир Бурнашев. — Я сейчас хоть взвод гусар отряжу!

— Вот тогда наверняка налетят. А на одного и внимания не обратят. Тоже полдничают — ишь притихли, — сказал Суворов и один поехал вперед. Он проехал сажен сто от леса и стал на пригорке.

Турок поблизости не было. Только в полуверсте отдыхал спешившийся небольшой отряд, сабель в пятьдесят. Суворов смотрел, прикидывая, как поступить.

Впереди, верстах в двух, виднелся редкий Крынгумейлорский лес. Суворов издалека увидал орудия батареи. Перед лесом копошилось много людей: турки, по своему обыкновению, рыли перед лесом окоп.

Здесь их самый последний рубеж. Здесь они будут защищать свой главный лагерь, который расположился за лесом, защищать не на живот, а на смерть.

Можно было бы тотчас же атаковать главную турецкую позицию, — окоп они докончить все равно не успеют, но оставалось одно препятствие — деревня Бохча.

Бохчу миновать никак нельзя, — ее батарея прекрасно ударит во фланг. Придется сначала выкурить турок из деревни, чтоб не стояли на дороге.

План был готов. Суворов поспешил назад. Медлить было нечего: из Крынгумейлорского леса на равнину снова выезжали тысячи всадников.

«Сейчас визирь еще раз ударит на нас, чтобы задержать. Проспали окоп, голубчики! Проспали!» — думал Суворов, рысью возвращаясь к своим.

Через несколько минут полуденная тишина вновь была нарушена: заиграла музыка, забили барабаны, и русская пехота двинулась в обход деревни Бохча.

VIII

Казаки, карабинеры,
Гренадеры и стрелки —
Всякий на свои манеры
Вьют Суворову венки.

Песня

Пот катился по впалым щекам Суворова — после лихорадки пот всегда прошибал быстро, — голова кружилась от слабости, от волнения, от голода — целый день сегодня и поесть толком все некогда; но глаза глядели весело: атака деревни Бохча шла успешно.

Русские пушки били чрезвычайно метко, — ядра ложились в самой деревне. Дымилась подожженная брандкугелями мазанка.

Напрасно турки перетаскивали тяжелые, неповоротливые орудия с места на место, — их огонь причинял мало вреда. И так же напрасно прибегали они к своему излюбленному средству — бросали на русскую пехоту, наступавшую с трех сторон на деревню, тысячи спагов. Мушкатеры, гренадеры, егеря столько раз за день благополучно отбивали конные атаки, что и эти не могли поколебать их: каре спокойно выдерживали страшный натиск разъярившихся спагов.

Все было хорошо. И только принц Кобургский немного раздражал Суворова. Отделенный от Суворова несколькими верстами, принц начинал терять самообладание. Он каждую минуту нуждался в моральной поддержке Суворова, словно ребенок, то и дело оглядывающийся на свою няню.

Правда, великий визирь не забывал и об австрийцах. Он беспрерывно слал на них все новые и новые толпы спагов. Австрийской пехоте и венгерским гусарам тоже хватало сегодня работы. Если бы не русские, они не смогли бы столько часов подряд отбиваться от врага, который был вчетверо сильнее.

Но совсем незачем было слать через каждые десять минут ординарца к Суворову с одной и той же просьбой:

— Скорее соединяться, а то нас раздавят!

«Эк его забирает! Да разве я сам не хочу этого?» — думал он и спокойно отвечал одно и то же каждому ординарцу Кобургского:

— Только — вперед! Ни шагу назад. Иначе погибнем. Вперед!

Наконец турецкие пушки снялись и затарахтели по дороге из Бохчи к Крынгумейлорскому лесу.

— Ого-го! Улепетывают! Скатертью дорога! — смеялись солдаты.

Сопротивление турок было сломлено: гренадеры слева, мушкатеры — справа ворвались в деревню.

Суворов стоял у плетня, поджидая к себе начальников линий, чтобы отдать приказания.

— Ванюшка, покличь поскорее полковника Золотухина! — обернулся он к своему казаку.

Суворов еще раз рассматривал турецкую позицию у Крынгумейлорского леса — теперь до нее было рукой подать — и думал. У великого визиря здесь наверняка еще тысяч сорок свежего войска, а солдаты союзников дрались уже целый день. Нужно обязательно поразить чем-то воображение турок. Утром их ошеломило то, что перед ними неожиданно оказались русские, которых они вовсе не ждали, теперь же надо было придумать что-то иное.

Суворов смотрел в зрительную трубу на длинный турецкий окоп, который тянулся вдоль леса. Он еще не совсем был окончен: кое-где турки продолжали рыть. Видно было, что они собирались отчаянно защищаться. Даже и сейчас турок было вдвое больше, чем союзников.

И вдруг в голове Суворова мелькнул план смелой, дерзкой атаки. Он опустил трубу и нетерпеливо оглянулся: генералы, командовавшие тремя линиями каре, уже съезжались к нему.

Первым прискакал аккуратный барон Вестфален. За ним, лихо перемахнув через невысокий плетень, примчался поджарый Бурнашев, командовавший кавалерией. Высохший, пожелтевший от недавнего приступа лихорадки, подъехал Позняков. И, пришпоривая усталого, заморенного коня, спешил расторопный командир фанагорийцев, молодой полковник Золотухин.

— Степан Данилович, твоим молодцам сейчас будет работа, — улыбаясь встретил Бурнашева Суворов. И он рассказал генералам свой план атаки Крынгумейлорского лагеря. — Ну, Вася, ты с принцем знаешься, лети, брат, к нему и передай! — обратился Суворов к Золотухину, садясь на коня. — Ванюшка, а ну-ка давай мою саблю — теперь пригодится, — сказал он вестовому и, взяв саблю, поехал вместе с генералами к войскам, которые уже выравнивались за деревней.

Русские снова тронулись вперед. Они на ходу перестраивались для атаки. Всю пехоту Суворов поместил в одну линию, а кавалерии приказал стать не сзади и не на флангах, а между пехотными каре. То же сделал и Карачай, шедший между русскими и австрийцами.

Суворов смотрел: как австрийцы? Что сделает принц? А вдруг оробеет! Австрийская конница еще стояла сзади за пехотой. Но вот ее ряды заколыхались — она двинулась вперед. Австрийцы по приказанию Суворова принимали тот же боевой порядок, что и русские.

— Согласился! Уговорил-таки Золотухин! — улыбаясь сказал Суворов ехавшему рядом с ним Бурнашеву.

С каждым шагом войска союзников сближались. И наконец соединились. Радостное «ура» прокатилось из конца в конец. Оба

корпуса, целый день порознь отбивавшие все атаки вчетверо сильнейшего врага, теперь шли на него одним фронтом.

Пестрые, беспорядочные толпы турецких спагов, занимавшие всю обширную равнину перед Крынгумейлорским лесом, стремительно понеслись на фланги, чтобы не загораживать тридцать пушек, которые стояли у леса. В то же время было видно, как сотни всадников и пеших убегали назад, к Рымнику.

В длинном окопе уже сидела наготове отборная турецкая пехота: далкылычи — янычары, вооруженные только ятаганами, и дели, давшие обет никого не щадить и самим не просить пощады.

Турецкая артиллерия начала стрелять. Она всегда не отличалась меткостью, а сегодня, в этом переполохе и смятении, которые царили у турок, их пушки стреляли из рук вон плохо: ядра перелетали через ряды союзников.

По лугу к лесу двигалось столько тысяч человек, но стояла тишина: не слышно было ни говора, ни музыки. И эта зловещая тишина действовала на турок: многие из янычар все-таки не выдержали и бросились бежать из окопов в лес.

Оставалось не больше полуверсты.

«Пора!» — решил Суворов.

Он отделился от высоких лошадей стародубовских карабинеров на своей низкорослой лошаденке, выскочил перед фронтом и, обернувшись к войскам, вырвал из ножен саблю:

— Вперед, богатыри! Ура!

Произошло невероятное: вся кавалерия союзников вдруг вынеслась вперед и с дружным «ура» и тяжким топотом помчалась на турецкий окоп. Сзади, за конницей, бежала с ружьями наперевес пехота.

Суворова тотчас же обогнали. Он видел: стародубовские карабинеры живо перемахнули через неглубокий окоп и низенький бруствер и врубились в толпы янычар и спагов.

Турки были подавлены такой совершенно неожиданной, немыслимой атакой кавалерии на окопы; никто никогда не мог думать, что Суворов решится бросить на окопы кавалерию. И без того уже расстроенная армия великого визиря окончательно дрогнула и побежала.

IX

До полудня великий визирь не выезжал из своего лагеря у деревни Одая, — он очень ослабел от лихорадки и продолжал лежать. К нему то и дело мчались гонцы — от Гаджи-Соитара-паши, командовавшего передовым двенадцатитысячным корпусом у Тыргокукули, от аги, стоявшего в центре, возле Крынгумейлорского

леса, у Мартинешти, с главными силами в семьдесят тысяч янычар и спагов.

Когда неожиданно появившиеся русские напали на Гаджи-Соитара и потеснили его, великий визирь нисколько не обеспокоился: у него ведь оставалось в запасе еще столько войска. Кроме того, обнаружилось нечто довольно приятное, — оказалось, что неверные наступают с двух сторон, двумя небольшими отрядами, а в середине идет третий, совсем малочисленный.

Великий визирь усмехнулся, «Аллах омрачил их разум — они сами вырыли себе могилу, — подумал он, — три пальца легче сломать по одному, чем вместе».

И он приказал Таджи-Соитару возобновить атаки, а храброму Осман-паше с двадцатью тысячами броситься на австрийцев и на средний, малочисленный отряд. Но, видимо, нынешний день был несчастлив для нападения: десятки раз бросались на врага спаги и столько же раз возвращались ни с чем назад.

Яркий румянец покрыл худые, чахоточные щеки великого визиря. Превозмогая слабость, он встал, оделся, приказал подать коляску и поехал к Крынгумейлорскому лесу. Великий визирь ехал не один, — за ним ехали бесконечной вереницей двадцать тысяч спагов, которые еще не были в бою и рвались помериться силами с врагом.

Редкий Крынгумейлорский лес дрожал от гула пушек и ружейной пальбы. И вдруг эта пальба замолкла по всей линии.

Великий визирь заторопил кучера, — хотелось поскорее выехать за этот редкий лес, заполненный обозами, людьми и лошадьми, и увидеть своими глазами, как бегут неверные под натиском храбрых турецких всадников. Он так понимал эту внезапно наступившую тишину.

Но его ждало разочарование: на позеленевшем после обильных дождей большом лугу были там и сям разбросаны яркие четырехугольники пехоты неверных, словно рахат-лукум на тарелке. Союзники все так же стояли против турок. А слева этот русский Топа́л-паша — так называли турки Суворова — уже выбил Гаджи-Соитара не только из деревни Каята, но даже из лесу. Остатки корпуса Гаджи-Соитара спешно отходили к Бохче.

Великий визирь покачал головой:

— Хаир аламе́т дейиль![1]

Было в самом деле похоже на то, что сегодня несчастливый день для атаки.

Рыжий Гаджи-Соитар, вызванный к визирю, был от стыда краснее своей бороды. Заикаясь и дрожа, он уверял, что его люди дра-

---

[1] Это плохой знак!

лись как львы, но сегодня — дурной день: первый турок, убитый в его отряде, лег головой к своим.

Стоявший тут же двухбунчужный паша из войск аги сказал, что на их крыле первый убитый турок лежал как раз наоборот — головой к австрийцам. Паша клялся пророком в том, что он видел это сам, и приводил в свидетели своего адъютанта.

— Кешке![1] — сказал великий визирь на слова паши и тут же отдал новое распоряжение: на левом крыле против русских — обороняться, а на правом еще раз попробовать наступать.

Бой возобновился.

Великий визирь сидел в коляске, надрывно кашлял, никак не мог согреться, хотя солнце жгло как летом, и ждал результатов боя.

Русские стояли на месте. И что больше всего удивляло великого визиря — даже весьма малочисленный кавалерийский отряд, занимавший центр, стойко выдерживал все атаки. А ведь на них были брошены свежие, еще не бывшие в бою войска. Проклятый же Топал-паша, кажется, выбивал Гаджи-Соитара из Бохчи. Русские пушки стреляли без перерыва, и так метко, что турецким артиллеристам ничего не оставалось делать, как поскорее уходить из Бохчи.

За артиллерией тотчас же кинулись отступать к Крынгумейлорскому лесу пехота и конница. Топал-паша занял Бохчу. На Гаджи-Соитаре не было лица: даже обороняться сегодня немыслимо — не везет!

— Их пушки стреляют сами. Мы слышали, как они часто стреляли. Так не может управиться с пушкой никакой человек! — бил себя в грудь Гаджи.

Великий визирь наконец уразумел: в такой день нужно только защищаться. И он велел поскорее кончать окоп, который ага очень предусмотрительно начал еще утром.

Защищать Крынгумейлорскую позицию оставалось тысяч до сорока янычар с тридцатью орудиями. Достаточно было и конницы для обеспечения флангов.

Топал-паша соединился с принцем, и они составляли теперь одну дугу. Хотя они поставили кавалерию в первый ряд, вперемежку с пехотой, но по сравнению с войсками великого визиря их все-таки было мало.

Великий визирь уехал за Крынгумейлорский лес, чтобы не подвергать себя излишней опасности, — пушки неверных уже обстреливали окоп.

---

[1] Дай Бог!

Очень неприятно подействовало на великого визиря то, что из лесу по направлению к реке Рымник ехали группами и в одиночку спаги и, придерживая зубами широкие шаровары, чтобы удобнее было идти, шли янычары.

Великий визирь не успел проехать и с версту, как его настигло ужасное «ура». Он велел повернуть назад, чтобы узнать, что случилось, и услыхал невероятное: союзники атаковали окоп своей конницей. Беглецы говорили, что окоп взят, что его защитники перерублены, что спаги смяты, что русские уже в лесу.

В самом деле: из лесу сломя голову бежали пешие и конные. Великий визирь приказал подать боевого коня, с трудом сел в седло и поскакал к лесу. Навстречу ему катилась обезумевшая, ничего не понимавшая от страха, беспорядочная многотысячная толпа.

Великий визирь пробовал было уговаривать беглецов, подымал над головой коран, именем пророка заклинал остановиться, но никто не хотел его слушать. Конь визиря не мог прорезать эти толпы, его повернули назад. Великий визирь несколько десятков сажен бежал назад, увлеченный этим потоком. Наконец он как-то смог осадить коня. В стороне от главного потока беглецов он увидал два орудия. Артиллеристы, видимо, только что переправились через Рымник и спокойно следовали к месту боя, не зная о случившемся. Великий визирь приказал юз-баши[1], командовавшему ими, стрелять в бегущих.

Артиллеристы послушно сняли орудия с передков, но, пока они заряжали, ездовые обрубили постромки и бросились наутек. Тогда и орудийная прислуга последовала их примеру.

Из лесу бежали все новые и новые толпы, как бурно волнующиеся, рассвирепевшие морские волны. Всюду царили смятение и ужас. Это был настоящий кыямет[2].

Тогда великий визирь понял, что так угодно Аллаху. Кое-как пересел он в коляску. Его телохранители уже не раз отбивали поползновения беглецов-пехотинцев завладеть лошадьми великого визиря.

— Башине язылы иди![3] — покорно повторял великий визирь, прижавшись в угол коляски. — Башине язылы иди!

Он так боялся погони, что когда с немногочисленными счастливцами, уцелевшими от стотысячной армии, переправился по мосту через реку Бузео, то велел сжечь за собою единственный мост, не заботясь о том, что будут делать на том берегу его разбитые, бегущие без оглядки войска.

---

[1] Юз-баши — капитан.

[2] Кыямет — страшный суд.

[3] Так угодно судьбе!

Глава девятая

ИЗМАИЛ

Почитаю Измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли еще где в истории находящееся.

Екатерина II

Нет крепче крепости, отчаяннее обороны, чем Измаил.

Суворов

I

Главная квартира командующего Дунайской армией светлейшего князя Потемкина сияла огнями. К ярко освещенному дворцу то и дело подъезжали кареты, коляски, брички, полковые кибитки. Сегодня у светлейшего был очередной бал — не для тесного круга избранных, а для всей знати, которая жила в Яссах возле ставки главнокомандующего в надежде на княжеские милости.

В густой темноте ноябрьского вечера ярко горели смоляные факелы, освещая подъезжавших гостей. Расторопные лакеи и гайдуки помогали приезжавшим всходить на высокое крыльцо.

Шуршали шелка нарядных дам, блестели раззолоченные мундиры, ордена и ленты военных, мелькали разноцветные фраки иностранцев.

Гости торопливо взбегали по высоким ступенькам, прислушивались: не гремит ли уже роговая музыка, не началось ли представление, не опоздали ль они? Но в княжеских покоях было тихо, — только журчали фонтаны да слышался приглушенный шепот гостей.

Все было готово к балу, — музыканты сидели на своих местах, черноглазый капельмейстер Сарти листал ноты, посматривая назад, на ту дверь, откуда должен был появиться светлейший. Из-за атласного занавеса выглядывали голые ноги балетных танцовщиц.

Гости сидели, стояли, осторожно, на цыпочках, переходили по мягким коврам от одной группы к другой.

Вот проковылял толстый, неуклюжий секретарь светлейшего Попов. Его широкоскулое, татарское лицо было чем-то озабочено. Вот, держа золотой поднос, на котором стояла чашка с любимыми кислыми щами светлейшего — Потемкин выпивал их в день до пятнадцати бутылок, — пробежал лакей, и все смотрели ему вслед. Смотрели на массивную золоченую дверь княжеской приемной, где в ожидании звонка стояло несколько адъютантов.

Светлейший как ушел после обеда к себе в спальню, так и не выходил оттуда. Гости строили всевозможные догадки, сплетничали.

Генеральские жены шушукались, осматривая и критикуя наряды племянниц светлейшего, и старались угадать, которая из них сегодня является любовницей князя. Или, может быть, уже все они надоели и Потемкин поэтому скучает? А вдруг он обратит внимание на кого-либо другого?

Подагрические пожилые генералы вспоминали, что у светлейшего последнее время что-то побаливала нога. Уж не это ли? Но хирурги Массо и Лонсиман были среди гостей: значит, что-то другое, не нога.

В группе молодых штабных офицеров рассказывали, что уже вчера светлейший был «в опасном положении» — был не в духе. Он послал адъютанта Пашку Лонгинова за кофеем. Не успел Пашка повернуться налево кругом, как светлейший послал ему вдогонку фон Зейна, а за фон Зейном — Петрова и так разогнал всех, до самого полковника Бауера. На кухне поднялся переполох. Кофишенк от волнения уронил поднос. Наконец полковник Бауер схватил чашку и поспешил с ней к князю. Сахар, сливки и сухари нес сзади Пашка Лонгинов. Потемкин разочарованно взглянул на Бауера, на поднос с чашкой кофе и досадливо махнул рукой: «Не надо! Я только хотел чего-нибудь ожидать, но и тут меня лишили удовольствия...»

И лишь в кучке иностранцев, где было больше лазутчиков, чем дипломатов, доподлинно знали всё. Здесь говорили о пустяках, пересмеивались, но все знали причину сегодняшнего плохого настроения светлейшего: русские войска, которые с октября стояли под неприступной крепостью Измаил на Дунае, сняли осаду; часть войск генерала Павла Потемкина, племянника светлейшего, осаждавшего Измаил, уже отступила, и осадная артиллерия тащилась по грязи к Яссам, на зимние квартиры.

Дело было в том, что русские под Измаилом страдали от холода, живя в палатках, и голодали: подвезти хлеб по осенней распутице и бездорожью было трудно, и ни один маркитант не решался ехать к далекому Измаилу. Кроме того, войскам восемь месяцев не выплачивали жалованья. В армии насчитывалось много больных, и настроение было ужасное.

Кончался четвертый год войны с турками, а сделано было мало — взято несколько второстепенных крепостей.

Союзники-австрийцы заключили с турками мир. Екатерина II осталась одна. На западных границах угрожали другие враги, которых сколачивала против России вероломная Англия. Иностранцы имели все основания радоваться.

...Князь Потемкин, немытый, нечесаный, в одном халате, лежал на широком диване. Он тупо уставился своим единственным зрячим глазом в бархатные разводы дивана и лежал не двигаясь.

На светлейшего часто нападала хандра. Он целыми часами лежал вот так, пересыпая в руках драгоценные камни, обтирая их серебряной палочкой и раскладывая на подушке. Но сегодня Потемкин был особенно мрачен — он только грыз ногти. Его сильно удручало положение в действующей армии.

Сегодня утром в ставку из-под Измаила прискакал гонец. Он передал неприятную весть: генералы, стоявшие под Измаилом, постановили снять осаду, так как взять крепость было немыслимо. Часть войск уже отступала на север, на зимние квартиры.

Турки крепко сидели в неприступном Измаиле. У них вдосталь было хлеба и снарядов, а седой Айдозли-Магмет-паша только посмеивался над русскими.

Гонец рассказывал, что в русском лагере — уныние, голод и холод, что войска спят не раздеваясь, так как боятся турецких вылазок: гарнизон Измаила многочисленнее русского осадного корпуса.

Это известие подействовало неприятно, потому что Измаил нужно было во что бы то ни стало взять, взять сейчас, чтобы все враги видели, что с Россией шутить нельзя.

Вместо этого русские войска уже отступали из-под Измаила. Придется зимовать, а тем временем, к весне, англичане подготовят против России новых врагов на севере.

Что делать?

Об этом и думал весь день князь Потемкин.

Надоело лежать. Он встал и вышел из спальни. Он шел — высокий, громоздкий, неряшливый. Его волосы были всклокочены, лицо немыто. Шелковые чулки сползли. На одной ноге чулок упал так, что совсем закрыл алмазную пряжку.

Потемкин вошел в залу. Среди гостей было много девиц и дам, а он шел, распахнув халат, ничуть не стесняясь того, что видны его голые ноги, волосатые, старчески дряблые, в узлах синих вен.

Увидев светлейшего, гости поднялись со своих мест. Капельмейстер Сарти уже постучал по пюпитру палочкой, но любимый адъютант князя, полковник Бауер, прекрасно знавший все причуды Потемкина, испуганно замахал руками, показывая Сарти, что играть еще не время.

Потемкин, не обращая внимания на поклоны расступавшихся перед ним гостей, подошел к шахматному столу, стоявшему у стены. Возле стола в почтительной позе застыли игроки — молодой офицер и стриженный в скобку быстроглазый низкорослый купчик.

Потемкину как-то сказали, что в Туле живет купец, который прекрасно играет в шахматы. Светлейший немедленно вызвал его к себе в ставку.

Потемкин взглянул на расставленные фигуры и опустился в кресло.

— Играйте! Садитесь! — кивнул он игрокам.

Молодой офицер робко присел на кончик стула, а купец, знавший, что светлейший любит его, уселся свободно.

Игра продолжалась.

Потемкин сидел, подперев щеку пухлой рукой. От этого лицо его перекосило. Оно приняло еще более злое выражение. Зрячий глаз смотрел как-то дико.

— Трубку! — чуть обернулся он.

Стоявший сзади за креслом полковник Бауер тотчас же подал ее. Длинный чубук трубки был весь усыпан крупными яхонтами и изумрудами. Потемкин курил, пуская дым прямо в лицо молодого офицера, который только моргал глазами.

Светлейший внимательно следил за игрой.

Купец дожимал своего противника. У офицера на доске было еще достаточно фигур, но уже не хватало ферзя. Купец играл и подшучивал над партнером.

— Напрасно, ваше благородие, защищаешься: от моей ферязи не уйдешь! Она у меня как Суворов — все берет! — сказал купец, снимая ферзем вражескую фигуру.

Бауер даже отступил назад, услышав такое не совсем осторожное слово: как знать, понравится ли светлейшему это сравнение? И точно — Потемкин вдруг порывисто встал и быстрыми шагами пошел в спальню.

Гости смотрели, что будет дальше. Купец, забыв о шахматах, сидел ни жив ни мертв. Но скоро все стало ясно. Из комнаты светлейшего вышел адъютант Пашка Лонгинов. Он держал пакет. Лонгинов побежал через залу к парадному крыльцу.

В кучке иностранцев произошло оживление. Английский посол постарался незаметно выйти из залы. Через минуту он вернулся с поразительной новостью: Потемкин приказал Суворову взять Измаил.

Иностранцы насмешливо улыбались: на дворе декабрь, время уже упущено! Да и крепость оставалась, как прежде, неприступной. Все напрасно!

А Потемкин, сразу повеселев, одевался к балу и думал: «Если Суворов возьмет Измаил, честь победы все-таки останется за мной. Если же не возьмет, вся вина падет на Суворова. Императрица уж очень носится с ним. Посмотрим, как-то он справится с Измаилом!»

II

Подпоручик Лосев держался поближе к домам, к полосе света, падавшего из окон на улицу. Возле домов вилась протоптанная в грязи извилистая тропинка. По ней приходилось идти след в след, и Лосев, пристально глядя себе под ноги, то семенил, то шагал громадными шагами, стараясь не слишком попадать в грязь. Сегодня подпоручик Лосев был дежурным по полку. Он ходил проверять караулы, а теперь спешил к генерал-аншефу Суворову.

Темные осенние вечера тянулись в Бырладе невыносимо долго, делать было нечего. Ложиться спозаранку спать не хотелось, а для того чтобы ходить по молдаванским ханам или играть в карты, нужны были деньги.

Генерал-аншеф Суворов, не переносивший безделья, каждый вечер собирал у себя человек пятнадцать офицеров, рассказывал им о доблестных победах их предков на льду Чудского озера, на Куликовом поле, под Полтавой. Он давал одному из них какую-нибудь историческую книгу — «Книгу Марсову», рассказывавшую о русских победах, Корнелия Непота, Квинта Курция или сочинение о фивском полководце Эпаминонде. Офицер читал вслух, а остальные слушали. После чтения начиналась беседа о прочитанном. Суворов задавал вопросы, говорил сам, разбирал боевые действия, о которых только что читали.

Большинство офицеров никогда не читало книг, и потому на эти чтения ходило с неохотой, стараясь под любым предлогом освободиться от них. Беседы у генерал-аншефа считались малопривлекательной служебной повинностью.

Но все-таки нашлись и любознательные офицеры, которые были не прочь получиться. Они охотно ходили к Суворову. К ним принадлежал подпоручик Лосев. Лосев впервые узнал на этих чтениях об Александре Македонском, Тюренне, Евгении Савойском.

Сегодня Лосев сильно опаздывал. Он знал, что на самое чтение ему уже не поспеть, но рассчитывал попасть хоть на беседу.

Суворов занимал две небольшие комнаты у одного богатого молдаванина. В передней, которая была побольше, происходили эти чтения. Комната набивалась офицерами до отказа. Сидели на лавках у стола, на диване, на стульях, а то и просто на полу, поджав по-турецки ноги.

Комната была жарко натоплена: Суворов очень любил тепло и дома сидел без кафтана, в одной рубахе. И эта духота еще больше располагала ко сну людей, не привыкших слушать, когда читают.

Лосев шел и с улыбкой вспоминал, как прошлый раз, когда читали о 2-й Пунической войне, о переходе Аннибала через Альпы, вдруг послышался сочный храп. Все невольно обернулись. Прикорнув в углу дивана, спал пожилой майор Смоленского полка.

Соседи незаметно толкали его локтями, но майор продолжал безмятежно спать. Наконец он открыл глаза.

— Иван Акимович, изволь табачку — он хорошо сон отгоняет! — сказал Суворов и протянул ему свою табакерку.

— Я не спал, я все слышал, — смущенно залепетал майор, но все-таки взял щепотку табаку.

«О чем-то сегодня читали?» — думал Лосев, пробираясь в темноте по грязной улице.

Вот и дом, в котором живет генерал-аншеф. В его трех окнах горел свет, — значит, еще не разошлись по домам.

Лосев взбежал на крыльцо, прошел большие сени, впотьмах по привычке нашарил рукою дверь и открыл ее.

Он увидал то, что видел неоднократно: комната была полна офицеров. Посреди комнаты стоял генерал-аншеф и что-то живо говорил.

Лосев поклонился генерал-аншефу, который ласково ему улыбнулся, — Суворов давно приметил любознательного подпоручика. Лосев не пошел далеко, а сел тут же, на пороге, и стал слушать, что говорит генерал-аншеф.

— Принц Конде не должен был атаковать. Мерси занимал выгодную горную позицию. Конде надо было ударить с фланга. Тогда Мерси сам откатился бы за Черные горы. А кто припомнит еще такой же пример? — спросил Суворов, обводя своих учеников глазами.

Все молчали.

Сидевшие на диване старались спрятаться за спину товарища, отводили в сторону глаза, думая: только бы не меня спросил! Хуже чувствовали себя те, кому пришлось сидеть в одиночку, на стульях, — они были на самом виду. Впереди других сидел тучный капитан. Ученье на старости лет давалось ему нелегко. Он сидел красный и потный, не столько от жарко натопленной комнаты, сколько от напряжения, — капитан старался во все вникнуть.

— Ну, Матвей Егорыч, ты что скажешь? — обратился к нему Суворов.

— Не могу знать, ваше сиятельство! — поднялся капитан.

Суворов разом помрачнел. Он закрыл глаза, что делал всегда, когда ему что-либо не нравилось, а потом взглянул на оробевшего капитана своими зоркими, молодыми глазами. Взглянул неласково, сердито. И сорвался с места — заходил по комнате. Но ходить было негде — всюду сидели офицеры. Суворов делал три шага в одну сторону, три шага назад и все оказывался перед сконфуженным, стоявшим навытяжку капитаном. Александр Васильевич поучал его, то и дело взглядывая неласково на провинившегося.

— Немогузнайство — чума! Немогузнайство — позор! Немогузнайство — робость, трусость! Из немогузнайки — какой солдат?

Вот неожиданный вопрос — и пришел в замешательство. А что ж будешь делать, ежели вдруг — неприятель! Нас не спросивши, валит на тебя? Тоже — не могу знать? Лучше ошибись, но не жди, как-нибудь поступи! Лучше обмолвись, но не молчи! Не промолвился тем, что обмолвился. На обмолвку есть поправка!

Капитан стоял, готовый провалиться сквозь землю от стыда.

— Сиди! — махнул на него Суворов. — Ну, кто ответит на мой вопрос?

— Ваше сиятельство, у Аннибала в Альпах было так, — поднялся фанагорийский поручик, которому Суворов часто поручал чтение.

— Верно, верно. А еще? — говорил уже более веселым голосом Суворов.

— Леонид при Фермопилах, — вырвалось у Лосева.

— Молодец, правильно! Ксеркс не мог взять Леонида с фронта, — глянул на Лосева генерал-аншеф. — Вот и нашлись и отбились, а то — не могу знать. Учиться, учиться надо!

Суворов секунду помолчал.

— Ну а теперь — пора спать. На сегодня довольно.

Офицеры стали расходиться по домам.

III

Суворов растворил настежь дверь, чтобы проветрить комнату, и ходил из угла в угол. Думал все о том же, что больше всего волновало его.

Безрезультатно кончался еще один год войны с Турцией, которая велась Потемкиным так бездарно.

Суворов с одной самой слабой дивизией громил главные силы турок, а Потемкин с громадной армией в это же время занимался осадой второстепенных турецких крепостей.

Год назад Суворов нанес страшное поражение туркам при Рымнике. Императрица щедро наградила его за это — дала орден Георгия 1-го класса и титул графа Рымникского, а Иосиф Австрийский присвоил Суворову титул рейхсграфа Римской империи. И все-таки Суворов не был удовлетворен: главнокомандующий Потемкин никак не воспользовался его победой.

Если бы Потемкин послушался Суворова и тогда же двинул войска за Дунай, к Балканам, война была бы давным-давно окончена, — после Рымника турецкой армии не существовало, солдаты разбежались по домам. Но Потемкин не отправил за Дунай Суворова и сам не двинулся с места. Это была грубейшая, непростительная ошибка. За год турки сумели оправиться от рымникского поражения. Они собрали силы и снова сосредоточились на Дунае.

На Дунае все так же стоял грозный, несокрушимый Измаил. Крепость не так давно — лет пятнадцать назад — была заново укреплена французским инженером де Лафит-Клове, гарнизон имела большой, и не считаться с ней было невозможно. Разве поставишь против Измаила заслон и пройдешь мимо?

Потемкин любил возиться с крепостями. Он полгода простоял под Очаковом, и это стоило здоровья и жизни пятидесяти тысячам человек. А потери союзников при Рымнике не доходили даже до одной тысячи.

После того как летом австрийцы заключили с турками перемирие, по которому обязались не пускать русских в Валахию дальше реки Серет, положение русской армии ухудшилось. Действия ее ограничивались теперь узким пространством между Галацем и морем. Театр войны на нижнем Дунае был очень труден, — здесь тянулись пустынные болота.

Думая об австрийцах, Суворов невольно вспомнил о своем друге, принце Кобургском. Суворову жаль было лишаться такого милого, умного, покладистого товарища. Кобург получил новое назначение. Они часто переписывались друг с другом. Принц Кобургский в письмах неизменно называл Александра Васильевича своим «высоким учителем». Недавно, перед отъездом к новому месту, принц прислал Суворову хорошее письмо. Александру Васильевичу захотелось еще раз прочесть его. Он подошел к столу, достал из ящика письмо и с удовольствием прочел:

«В будущую пятницу я уезжаю к моему новому назначению в Венгрию. Путешествие это тем тяжелее для меня, что еще более удаляет от Вас, мой дорогой и достойный друг. Я узнал цену Вашей великой души. Наш дружеский союз развился среди явлений величайшей важности, и при всяком новом случае я научался удивляться Вам, как герою, и уважать Вас, как достойнейшего человека».

«Вот это — искренние, настоящие слова! Полководец не бог весть какой, но сердечный человек! И — умница: коли сам не знает, то по крайней мере не мешает другим! Не то что Потемкин, этот светлейший заносчивый Полифем!»

Суворов сунул письмо в ящик, схватил каску и вышел.

«Проверю посты и — спать!»

...Еще не начинало светать, а Суворов, по обыкновению, был уже на ногах. Он встал, полчаса побегал по комнате, чтоб расходилась кровь, умылся, окатился холодной водой и сел пить чай. И тут нежданно-негаданно прискакал от Потемкина гонец с пакетом.

«Что еще он там выдумал? На какой праздник меня просит?» — подумал Александр Васильевич, вскрывая пакет.

Суворов поднес бумагу к свече, прочел и не поверил своим глазам: Потемкин поручал ему взять Измаил!

В секретном ордере так и было сказано:

«...Для сего, Ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в Вашу команду».

У Суворова даже захватило дух.

Наконец-то! Вот оно! Разбить с двадцатью пятью тысячами сто тысяч турок у Рымника, конечно, не шутка. Но ведь и Румянцов бил их почти так же у Кагула! А вот взять Измаил — с этим ничто не сравнится! За такое дело — конечно, фельдмаршальство. А тогда у Суворова будет не какая-нибудь жалкая дивизия, а целая армия. И тогда-то славу русских знамен должны будут признать все!

К ордеру было приложено собственноручное письмо светлейшего:

«Измаил остается гнездом неприятелю, и хотя сообщение прервано чрез флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних, моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг. По моему ордеру к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там разночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет Вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огляди всю и распорядись и, помоляся Богу, предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли.

Вернейший друг и покорнейший слуга
князь Потемкин-Таврический».

«Он мне рекомендует Кутузова! Я Михаила Илларионовича тридцать лет знаю! А пойдут у меня — дружно!» — думал Суворов.

— Прошка, где чернила? — нетерпеливо спросил он.

— Да вот они, аль не видишь? — неласково сказал Прохор, пододвигая пузырек.

Александр Васильевич присел и написал Потемкину ответ:

«Получа повеление Вашей светлости, отправился я к стороне Измаила».

IV

Суворов поместился в одной мазанке с вестовым и казачьим сотником, который, боясь стеснить генерал-аншефа, все порывался уйти ночевать к своим казакам.

— Да полно, ложись здесь! Хватит там и без тебя народу! — сказал Суворов.

Сотник послушался и лег вместе с генеральским вестовым на лавке. А Суворову принесли соломы, и он расположился на полу.

Целый день ехали к Измаилу. Когда уже стало настолько темно, что задние не видели едущих впереди, остановились в молдаванской деревушке на ночлег.

Александр Васильевич проспал часа три и проснулся, — больше спать не мог.

Суворов лежал, глядя в темноту. Он ждал, когда хоть немного четче обозначатся окна, — их было, как во всякой молдаванской хате, три, в честь Святой Троицы.

Сотник и вестовой, уставшие за день, спали крепким молодым сном. Им не надо было думать о турках, об Измаиле.

Суворов же не мог спать. Он думал о том громадном, ответственном деле, которое ему поручали, думал о славе России.

Вся Европа знала, что Измаил — неприступная крепость. Враги России надеялись на нее. Штурмовать Измаил решились бы немногие генералы.

Суворов решился.

Во взятии Измаила заключалось все: честь русской армии, благополучие России и безопасность ее границ на берегах Черного моря. Взятие Измаила давало такую славу, которую уже не посмел бы оспаривать у победителя никто из завистников. Ни один штабной сплетник не посмел бы тогда сказать, что генералу Суворову просто-напросто везет, как говорили после каждой очередной победы Суворова.

Обо всем этом и думал, лежа, Александр Васильевич. Он невольно вспоминал всю свою тридцатилетнюю боевую жизнь. До сих пор он не проиграл ни одного сражения. Были блистательные победы, как Козлуджи, Фокшаны, Рымник, но такие же победы одерживали и другие полководцы, например Румянцов, разбивший турок при Кагуле. Со взятием же Измаила не могло сравниться ничто.

Довольно!

Суворов решил: победить или погибнуть.

И разве можно спокойно отдыхать здесь, на полдороге, когда под Измаилом предстоит так много работы? Надо не упустить последних дней, удобных для штурма: мороз по утрам жал все сильнее и сильнее, начинались обычные зимние туманы. В безветрие они могли держаться до самого полудня. В такие дни нечего было и думать о штурме.

Суворов знал, что войска под Измаилом мерзнут, болеют, терпят голод.

Нет, медлить нечего! Дорога́ каждая минута! Надо ехать, надо оставить весь конвой, всех казаков здесь: пока казачки́ встанут, пока соберутся, Александр Васильевич с Ванюшкой будет уже далеко.

Хорошо, что с ним Ванюшка, а не этот лентяй и брюзга Прошка.

И Суворов стал торопливо одеваться.

V

Прошка второй день отчитывал своего всегдашнего врага, вестового казака Ванюшку.

И как было его не ругать?

Когда Александр Васильевич получил в Бырладе приказ князя Потемкина отправиться к неприступному Измаилу, он не посмотрел на свои шестьдесят лет, тотчас же поскакал верхом, хотя дорога была грязная, тяжелая и от Бырлада до Измаила добрых сто верст.

Прошка не поехал с барином. Он знал: за Александром Васильевичем не угонишься. Как ни поспевай, а барину все будет казаться, что Прошка его задерживает. Недаром Александр Васильевич, взяв с собою из Бырлада конвой в сорок человек, уже на половине дороги оставил его и поскакал с вестовым вперед. Ванюшка тоже готов был целые дни не слезать с коня.

И вот это прежде всего злило Прошку: ему было досадно, что с барином поехал не он, а этот прохвост Ванюшка.

Уезжая из Бырлада, Александр Васильевич не хотел ждать ни минуты. Прошка еле успел завязать в платок смену белья, полотенце, мыло и передать казаку синий плащ Александра Васильевича, служивший барину плащом и одеялом — чем угодно. Александр Васильевич по-всегдашнему нисколько не думал о том, как будет жить под Измаилом. Обо всем этом приходилось заботиться Прошке.

Прошка пустился в дорогу на следующий день вместе с войсками, — Суворов отправлял к Измаилу Фанагорийский гренадерский полк, сто пятьдесят охотников из своего любимого Апшеронского полка, двести казаков и тысячу арнаутов[1]. Везли сорок лестниц и больше двух тысяч фашин.

На одном из возов кое-как пристроился и Прошка: хоть Прошке было не шестьдесят, а всего-навсего тридцать пять лет, но он предпочитал ехать сто верст в телеге, а не верхом.

Прошка захватил все, что, по его мнению, могло пригодиться барину под Измаилом.

Спать без подушки несладко, на одном артельном солдатском квасе да на черных сухарях долго не протянешь, — надо везти подушку, надо везти горшки, миски. И на всякий случай надо взять с собою генеральский мундир со всеми орденами. Прошка был уверен, что Александр Васильевич возьмет Измаил, и тогда придется ехать к светлейшему с докладом.

---

[1] Арнауты — добровольцы из молдаван и валахов.

Обо всем этом Прошка помнил. А что сделал для барина казак Ванюшка?

Возле Измаила была только одна полуразрушенная, давно оставленная хозяевами небольшая деревушка — Броска. Александр Васильевич, как увидел, что солдаты живут в землянках, пожелал остаться в палатке, на ветру, в этих придунайских туманах. Суворову, конечно, было не до того, он о себе никогда не заботится, но что сделал Ванюшка? Ванюшка прекрасно знает, что Суворов хоть и не боится холода и даже зимой ежедневно обливается холодной водой, но очень любит тепло. И Ванюшка забыл, что графу как-никак уже шестьдесят лет.

Ванюшка не постарался сделать так, чтобы Александр Васильевич хоть не мерз. Барин приказал ему разбить палатку — Ванюшка и рад стараться, благо работа небольшая.

Из Бырлада войска шли к Измаилу четыре дня, и вчера, в николин день, они наконец увидали черные, неприветливые волны осеннего Дуная и черные, грозные измаильские стены, под которыми уже третий месяц томились русские войска.

Их встретили радостно — с музыкой, барабанным боем. Еще бы: шло подкрепление, ехали с провизией долгожданные маркитанты, ехал Суворов!

Прошка первым делом узнал, где стоит генерал-аншеф граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский. Он так и спросил полным титулом у какого-то старого алексопольского мушкатера.

— Это батюшка наш Александра Васильевич? — переспросил мушкатер.

— Экий ты непонятливый, ну да, он! — возмутился Прошка.

— Они — их сиятельство — живут в палатке, вон тама, видите, вон она! — указал мушкатер на трепыхавшуюся под ветром знакомую палатку.

Она была разбита на самом юру, на пригорке. Прошка велел фурлейту ехать туда.

Прошка ехал, предвкушая, как сейчас он отомстит казаку Ванюшке за то, что не он, Прошка, сопровождал барина к Измаилу. Повод для этого был.

Прошка ясно уже представлял себе, как живет здесь, под Измаилом, его барин. И он не ошибся: в палатке его ждала знакомая картина. На бариновом сене, на всегдашней постели Александра Васильевича, храпел Ванюшка. Парень он был молодой, и ему нипочем, что ветер треплет полотнища палатки и свободно разгуливает по ней.

— У наших казаков обычай таков: где просторно, тут и спать ложись! Нет того, чтобы подумать о барине, устроить ему как лучше! — отчитывал Прошка разбуженного вестового.

Ванюшка привык к брюзжанью Прошки — только улыбался.

— Да чего, ты, Прохор Иваныч, взъелся? Александр Васильевич сами захотели жить в палатке, — оправдывался казак.

— Захотели, захотели, — хмуро повторял денщик. — Не знаешь разве Ляксандру Васильича? Ему лишь бы к солдату поближе! А твоя-то голова где была? Этакий человек — и на холоду, в палатке. У тебя на уме завсегда только одно — нажрался, да и на боковую.

Казак смущенно молчал.

— Вон же мазанки есть, — продолжал Прошка, оглядываясь. — Кто в них живет?

— Офицеры да генералы, — ответил Ванюшка.

— Наш-то главнее их всех. Они, молодые, в тепле, а он, старик, шестьдесят годов, и в холоду... Сымай живо палатку!

Прохор сложил палатку на телегу, туда же взвалил сено и поехал прямо к ближайшей мазанке. Она показалась ему неплохой — в ее крохотных окошечках каким-то чудом уцелели тусклые стекла.

— Кто здесь живет, братец? — спросил Прошка у солдата, рубившего возле мазанки тростник.

Прохор глянул и подумал: «Ну и сторонка, прости господи, — то навозом топят, то тростником!»

— Их высокоблагородие майор князь Друцкой-Соколинской, — не без важности ответил солдат.

Прошка невольно улыбнулся, — экий чин, подумаешь!

— Ну так вот, братец, собирайся немедля и съезжай! — сказал он, слезая с телеги.

Княжеский денщик так и застыл от удивления с тесаком в руке.

— Здесь будет жить сам его сиятельство граф генерал-аншеф Ляксандра Васильевич Суворов-Рымникской, понял? — отчеканил Прошка и стал спокойно закуривать трубку. — А ну, ребятки, подсобите парню уложиться! — кивнул он фурлейту и ехидно улыбавшемуся Ванюшке.

Княжеский денщик даже не возражал — так подействовала на него эта спокойная уверенность Прошки.

— Ничего, — как бы оправдывался он, — мы вон в тую мазанку переберемся. Там наш секунд-майор Юрковский живет. Давеча квартермистр приезжал, сказывал, много войска придет и здеся какой-то принц Хистальский будет жить. Так пусть лучше свой, русский, живет! Печка тут справная, вьюшки только нет. Я крышку от манерки пристроил. И тростнику я вам, дяденька, оставлю... — заискивающе тараторил княжеский денщик.

Мазанка была не бог весть что, но все-таки в ней — стол, лавка, печь. Все же не на ветру, не на морозе.

Прошка знал, что Александр Васильевич осерчает на него за этот переход. Если бы не штурм, Суворов в мазанке все равно не ужился бы, но сейчас ему не будет времени вникать во все. Не за этим ходить.

Так оно и вышло: Александр Васильевич сначала сильно напустился на Прошку — да как ты смел, да кто тебе велел? Но Прошка только сопел носом. А потом поставил на стол горшок щей и сказал:

— Кушайте лучше — столько дней без горячего.

И Суворов уселся обедать.

Не успел он отобедать, как стали приходить генералы — длинноносый хитрый Рибас, красавец Платов и старый знакомый — генерал Кутузов.

Суворов поехал вместе с ними смотреть крепость, — как всегда, не доверял никаким планам, все хотел проверить сам.

Прошка тоже пошел посмотреть поближе на Измаил, — издалека чернели его высокие стены и каменные бастионы. Прошка не подошел к крепости так близко, как Суворов со своей свитой. По генералам даже начали стрелять с крепости из ружей.

«И чего, прости господи, лезть на рожон? Вот, неровен час, подстрелят! — недовольно думал он, с тревогой следя за белой канифасной курткой Суворова. — Еще не хватало, чтоб басурманы ударили по ним из пушки!»

Но турки, видимо, не придавали никакого значения этой небольшой группе, — чем могла она угрожать Измаилу? Турки даже перестали стрелять по Суворову из ружей. Его маленькая каска с зеленой бахромой продолжала мелькать почти под крепостными стенами. Суворов показывал, куда должны быть направлены атакующие колонны.

А Прошка не приблизился и на пушечный выстрел.

«Береженого и Бог бережет. И отсюда увижу», — думал он.

Прошка остановился у расположения какого-то полка мушкатеров и внимательно разглядывал турецкую твердыню. Отсюда ее стены, кое-где обшитые камнем, были еще выше, чем казались издалека. Прошка только качал головой:

— Вот так крепость! Одно слово — неприступная.

— Что, дяденька, глядишь, каков пирожок, по нашим ли зубам? — весело спросил у него какой-то солдат.

— Стены-то, стены! — качал головой Прошка. — А пушек сколько!

— Стены, никак, четыре сажени, — словоохотливо сообщил мушкатер.

— А ты почем знаешь, что четыре? — спросил Прошка.

— У нас в полку лестницы делают.

— А под стенами что, ров? — расспрашивал Прошка.

— Кабы ров, а то, дяденька, настоящая река: шесть сажен ширины да глубины, сказывают, пять.

— Ишь ты, проклятущая! — вырвалось у Прошки.

VI

Хатенка была маленькая — от порога до красного угла едва семь шагов. Суворов ходил и думал.

Ждать больше нечего. Войска Павла Потемкина вернулись все. Его богатыри, апшеронцы и фанагорийцы, пришли вчера из Бырлада, с маркитантами. Батареи насыпаны, лестницы и фашины для штурма делают в каждом полку. К вечеру окончат рыть ров и насыпать такой же четырехсаженный вал, как в Измаиле. Ночью сегодня Суворов покажет солдатам, как забрасывать фашинником ров, как приставлять лестницы и лезть на вал. Пора слать измаильскому сераскеру письмо Потемкина с предложением сдать крепость.

Суворов улыбнулся, вспомнив, какую приписку сделал светлейший в конце своего письма к туркам:

«К исполнению назначен храбрый генерал граф Александр Суворов-Рымникский».

Суворова турки хорошо знают. «Топа́л-паша» надолго останется у них в памяти!

Александр Васильевич шагнул к столу, присел и, взяв бумагу, написал:

«Сераскеру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи — воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть».

Помахал листком, чтобы засохли чернила. Сложил длинное потемкинское письмо и свою коротенькую записку и подал адъютанту, сидевшему на лавке у окошка:

— С трубачом к Бендерским воротам. К остальным — копии. У Михаила Илларионовича есть мулла; пусть переведет по-турецки.

— Слушаюсь, — ответил адъютант, принимая письма и направляясь к двери.

— Погоди, — остановил его Суворов. — Трубач и казак. Письма на дротик. Затрубить. По отзыву — дротик с письмами воткнуть и отъехать назад. Дожидаться ответа. Понял?

— Точно так!

— Погоди. При них обязательно офицер, знающий турецкий язык. И чтоб поживее!

VII

Суворов соскочил с коня, бросил поводья вестовому и вошел в мазанку.

Денщик Прохор спал, растянувшись на лавке.

— Вставай! — разбудил его Суворов. — Сейчас придут генералы.

Прошка нехотя поднялся и, позевывая, вышел. Суворов заходил из угла в угол.

Сераскер только что прислал ответ на письма, которые вчера отправил ему Суворов. Турки предлагали заключить на десять дней перемирие, чтобы успеть отправить гонца к визирю — узнать, можно ли сдать Измаил русским. Сераскер предупредил, что если русские не согласятся на перемирие, то турки будут защищаться до последнего.

Уловка была ясна: турки просто-напросто хотели оттянуть штурм на несколько дней. Уже начинались зимние туманы, во время которых нечего было и думать идти на штурм. Перемирие было на руку только туркам.

Офицер, передававший письма, говорил с мухафизом[1], старым трехбунчужным Мегмет-пашой. Вручая ему ответ сераскера, Мегмет гордо сказал:

— Скорее Дунай остановится в своем течении, а небо упадет на землю, чем Измаил сдастся!

Суворов разослал своих ординарцев рассказать во всех полках об этом заносчивом ответе турок и решил поскорее штурмовать Измаил, — все приготовления были уже сделаны.

Сейчас Суворов ждал генералов на военный совет. Он созывал их не потому, что колебался сам или не знал, что предпринять. У Суворова не было никаких сомнений: Измаил должен быть взят и будет взят во что бы то ни стало, — от этого зависела безопасность южных границ России. Суворову хотелось эту свою уверенность в победе вселить в генералов: ведь еще так недавно, до его приезда, они вынесли решение отступать от Измаила.

Впрочем, в войсках с приездом к Измаилу генерала Суворова настроение сразу же изменилось. Суворов каждый день объезжал полки и подолгу говорил с солдатами и младшими офицерами. Он не скрывал того, что Измаил превосходно защищен, что взять его будет чрезвычайно трудно.

— Стены — высокие, рвы — глубокие, но мы, русские, должны Измаил взять! — говорил Суворов.

— С тобою, батюшка, возьмем! — уверенно отвечали солдаты и офицеры.

Суворов несколько раз прошел из угла в угол, потом остановился, глядя на единственную в мазанке короткую лавку. Прикинул в уме: «Потемкин, Самойлов, Кутузов, Мекноб, де Рибас — пять. Львов, Вестфален, Арсеньев... Человек двенадцать будет. Тут одним генерал-поручикам только поместиться. А где же я генерал-майоров посажу?»

Суворов вышел из мазанки.

---

[1] Мухафиз — комендант.

— Прошка! — сказал он денщику, который сидел наа завалинке. — Надо найти доску — будет много народу, а сесть не на чем.

Прошка засопел от неудовольствия, — приходилось куда-то идти, что-то делать.

— Тоже скажете: доску найти! — поднялся он. — Что это — в Москве аль в Рождествене?

— Не умничай, сам знаю, где мы. А нужно достать! — вспылил Суворов.

— Батюшка барин, мы скамелечку найдем, — подскочил расторопный Ванюшка. — У того, как его, у майора есть, — знаешь, Прохор Иваныч?

— Ну вот и ступайте, — повернулся Суворов.

Больше он не слушал Прошки, который по-всегдашнему не соглашался с вестовым. Суворов в раздумье ходил возле мазанки.

Диспозиция была уже написана вчера. Кажется, в ней ничего не упущено, каждая часть, каждый офицер, каждый солдат имели свое точное место и назначение. Рабочие для подноски лестниц и фашин — тоже. Что делать флоту на Дунае — известно. И все-таки хотелось еще раз продумать: не забыто ли что-нибудь?

День стоял холодный, но Суворову даже в его легком канифасном кафтане было жарко. Он расстегнул кафтан, а маленькую каску бросил на кучу тростника, лежавшего под стеной.

В это время к мазанке подъехал адъютант, которого Суворов послал известить генералов о совете. Суворов, казалось, не заметил его.

— Все исполнено, ваше сиятельство! — подошел к Суворову адъютант.

— Бери бумагу, пиши! — приказал генерал-аншеф.

Адъютант быстро достал бумагу и карандаш.

— Садись! — глазами показал Суворов на завалинку. — Много писать!

Адъютант сел. Суворов, стоя над ним, диктовал. Он хотел в прибавлении к диспозиции сказать точнее о резерве, о том, где и как поставить обоз.

Прошка и вестовой притащили скамейку и кусок доски. Из мазанки слышалось неумолкаемое брюзжанье Прошки. Денщик был сильно зол на Ванюшку за то, что тот выскочил вперед с предложением. Прошка ведь тоже знал, где можно достать скамейку. Прошка давеча перечил барину так, по привычке, а в душе не хуже Ванюшки был готов исполнить поручение Александра Васильевича. И теперь злился на казака.

— Не туда, не этим концом! Орясина! — шипел он.

Суворов ничего не слышал, — он был поглощен своим делом. Даже когда к мазанке стали подъезжать один за другим генералы,

он продолжал диктовать. Суворов лишь на секунду оборачивался к приезжавшим.

— Александр Николаевич, пожалуйте в избу, я — сейчас, — сухо сказал он бездарному генералу Самойлову, племяннику светлейшего, который до приезда Суворова был за то, чтобы осаду Измаила снять.

— Осип Михайлович, посиди, голубчик! — приветливо встретил он ловкого, хитрого де Рибаса.

— А, Миша! — по-дружески кивнул он своему любимцу, генералу Кутузову, который когда-то, тридцать лет назад, служил у него в полку ротным командиром.

У мазанки уже стоял целый табун лошадей. Генеральские ординарцы и вестовые шептались в стороне.

Последним приехал Павел Потемкин.

— Перепиши, я погляжу, не пропустил ли чего, — бросил Суворов адъютанту и пошел в мазанку.

В тесной хатенке было полно. Генералы с трудом разместились на двух скамейках. Сидели плечом к плечу. На обломок доски, концы которой Прошка положил на обе скамейки, смело уселся де Рибас. Казачьему бригадиру Матвею Платову не хватило места. У самого порога стояло пустое ведро. Платов опрокинул его вверх дном и кое-как уселся на ведре.

Генералы сидели, разговаривая вполголоса. В мазанке было душно. Тучный Кутузов вытирал вспотевшее лицо платком.

Суворов стремительно вошел в мазанку, — генералы даже не успели встать со своих мест.

— Сидите, господа, сидите! — замахал он рукой, видя, что бригадиры поднялись.

Он не пошел к столу, на котором лежала карта Измаила и горели две свечи, а остановился у порога возле Платова.

Суворов обвел всех глазами и подумал: что станут говорить сегодня Потемкин, Самойлов, Львов? Те, кто был за отступление от Измаила?

Суворов сказал:

— Измаил — крепость без слабых мест. Гарнизон его — целая армия. Но напрасно турки считают себя в безопасности за каменными стенами. Русские солдаты достанут их и там. Против русского оружия ничто не устоит! Два раза наши войска подходили к Измаилу и два раза отступали. Теперь, в третий раз, остается либо взять Измаил, либо умереть под его стенами! Решайте: штурм или отступление?

Все взглянули на самого младшего среди присутствующих — Матвея Платова: он должен был говорить первым.

Черноусый Платов быстро поднялся со своего места, — ведро с грохотом упало набок, но Платов даже не посмотрел на него.

— Штурм! — решительно сказал он.

— Штурм! — подхватили бригадиры Орлов и Вестфален.

— Штурм! Штурм! — единодушно заговорили все генералы.

Суворов просиял: «Значит, дошло! Значит, уверены!» Он порывисто обернулся к Платову и обнял его.

— Спасибо, Матвей! Спасибо, — говорил Суворов генералам, которые встали со своих мест, — спасибо!

Он поочередно жал каждому руку, приговаривая:

— Сегодня — молиться, завтра — учиться, послезавтра — победа либо славная смерть!

VIII

День Измаила роковой.
Жуковский

Пал Измаил. Он пал, как дуб могучий,
Взлелеянный веками великан.
Байрон

Ночь была непроницаемо темная: низкие тучи заволокли все небо, а от Дуная, который шумел где-то справа, подымался густой туман. И в этой темноте исчезли грозные, четырехсаженные стены Измаила, его широкие, наполненные водою рвы и крепкие каменные бастионы.

В ордукалеси́[1] не было видно ни огонька. В густом мраке декабрьской ночи лишь ярко горели бивачные костры русских войск, с трех сторон охвативших Измаил. В русском лагере было тихо, но спали в нем немногие: Суворов назначил на сегодня, на пять часов утра, штурм Измаила, и ждать оставалось уже недолго.

Ночь была холодная, сырая. Люди жались поближе к огоньку. Костры горели жарче обычного: в них валили всё топливо, что было запасено на неделю, — завтрашнюю ночь все надеялись ночевать уже не под открытым небом, а в домах Измаила.

Сегодня у бивачных костров только сидели и разговаривали. Никто не латал кафтана, не выкраивал из старой рубашки онуч, не чистил ружья. Никто, как обычно у огонька, не смотрел, скоро ли поспеет каша или закипит в котелке вода.

---

[1] Ордукалеси́ — армейская крепость. Турки так называли Измаил потому, что в нем помещалась целая армия.

У каждого давным-давно было вычищено ружье, отточен штык. Ранец со всем солдатским добром сдан в обоз. А есть как-то никому не хотелось, да перед самым штурмом бывалые люди и не советовали.

Подпоручик Лосев сидел у костра.

Когда Суворов, выезжая из Бырлада к Измаилу, сказал, что возьмет с собою сто пятьдесят мушкатеров-апшеронцев, Лосев упросил полковника отправить и его. Восемь дней они уже прожили здесь, под Измаилом. Суворов сам учил полки, как забрасывать фашинником рвы, как взбираться по четырехсаженной лестнице на вал.

И вот наконец наступил долгожданный день штурма.

У подпоручика Лосева до сих пор еще шумело в ушах от беспрерывной пушечной пальбы, которая продолжалась уже целые сутки. Шестьсот русских орудий — с батарей, с судов дунайской флотилии и с острова Сулин, лежавшего против Измаила, — били по турецкой крепости не умолкая. И только час тому назад канонада прекратилась. Можно было разговаривать не надрываясь.

Лосев сидел у костра вместе-со своими мушкатерами. Из стариков 2-го капральства, в котором служил Лосев, пришли под Измаил Огнев, Воронов и Зыбин. Только Башилов остался в Бырладе, — его трепала лихорадка.

С вечера, пока еще стреляли пушки, мушкатеры говорили мало: было неприятно натуживаться и кричать, как неприятно и самому переспрашивать. А когда смолкла пальба, понемногу разговорились. Заговорили о родине, представляли, какие снега теперь там, как в это время в деревнях встают до света молотить. Потом кто-то вспомнил, что сегодня 11 декабря и, стало быть, завтра солнце поворачивает на лето, а зима на мороз.

— Говорят, с этого дня зима ходит в медвежьей шкуре, стучит по крышам, ночью будит баб топить печи, — сказал Огнев.

— А у нас сказывают, — поддержал его какой-то рябоватый мушкатер, — на солноворотьі медведь в берлоге ворочается с боку на бок.

— Где это — у нас? Ты откудова? — серьезно спросил у него ефрейтор Воронов.

— Из Тулы, — ответил рябоватый мушкатер.

— Хорош заяц — да тумак, хорош парень — да туляк! — улыбаясь черными цыганскими глазами, вставил Зыбин.

— А ты-то сам какой? — вспыхнул рябоватый.

— Он, наверно, рязанец косопузый. Мешком солнышко ловили, — поддержали рябоватого его земляки.

— Не угадал, брат! — засмеялся Зыбин.

— Он из Калуги, — ответил Огнев.

— А, Калузя! Козла в тесте соложеном утопили!

— Что, попало? — смеялись над Зыбиным.

— Ничего, — не сдавался он. — Калужанин поужинает, а туляк ляжет и так.

В это время послышался топот копыт, и из темноты раздался голос:

— Какой полк?

— Апшеронский! — ответило сразу несколько голосов.

Все обернулись. И в свете костра увидели знакомую фигуру генерал-аншефа. Суворов был в обычных лакированных сапогах с широкими раструбами выше колен, в белом суконном кафтане с зелеными китайчатыми обшлагами и в своей всегдашней маленькой каске.

— А, молодцы-апшеронцы! Храбрецы! Богатыри! Под Козлуджей, Фокшанами, Рымником делали чудеса. Сегодня превзойдут сами себя!

— Постараемся, батюшка Александр Васильевич! Не выдадим! — зашумели мушкатеры.

— Раньше времени в город не лезть! Пороховые погреба беречь! Безоружных не убивать! — говорил Суворов. — А как у тебя, князь, часы? Верно поставлены? — обернулся он к полковнику Лобанову-Ростовскому, который подошел, услышав, что с его апшеронцами говорит сам Суворов.

— Поставлены, как у всех, ваше сиятельство, — ответил полковник, вынимая из кармана часы. — Без двух минут три. Сейчас должна быть первая ракета.

— Посмотрим, так ли, — сказал Суворов, запрокидывая голову назад и глядя вверх.

Все невольно последовали его примеру. Смотрели и ждали. И точно — вдруг раздался треск, и над головами в черное, покрытое тучами небо взлетела яркая ракета.

Чтобы обмануть бдительность турок, Суворов приказал каждый день перед зарею пускать ракеты, и сегодня они не были в диковину туркам.

— Ну, пора. С Богом! — сказал Суворов. — Только чур не шуметь! — улыбнулся он и тронул коня.

Солдаты осторожно разбирали ружья и становились в колонну. Костры продолжали гореть.

...Первая колонна, впереди которой шли апшеронцы, уже несколько минут стояла у самой крепости. Колонна должна была по диспозиции взять каменный редут Табия, спускавшийся к самому Дунаю. За апшеронцами пятьдесят рабочих несли фашины, топоры, кирки, ломы. А дальше шли белорусские егеря и фанагорийцы.

Колонна стояла тихо. Ждала последней, третьей ракеты. Слышно было, как кто-то сзади, среди рабочих, вдруг кашлянул и сразу же оборвал: видимо, зажал рот рукою.

В Измаиле у турок было спокойно. Из-за стен чуть доносился приглушенный шум, да на валу громко перекликались часовые, а где-то в городе лениво лаяли собаки. Одна вдруг завыла.

— Чует недоброе, — шепнул Лосеву рядом стоявший Зыбин.

Справа однообразно шумел, бился о камни Дунай.

Лосев прислушался — не слыхать ли, как на судах подъезжает к Измаилу от Сулина десант де Рибаса. Ведь и они должны в эту минуту быть где-то недалеко. Но ничего не услышал.

От реки тянул густой туман. Знобило не то от холода, не то от волнения. Небо все так же было в тучах. До рассвета оставалось два часа.

И вот наконец высоко взвилась последняя ракета. Не успела она погаснуть в черном, беззвездном небе, как сразу же загремели пушки. Стреляли с реки, с судов. Ядра прочерчивали небо.

Притаившийся, затихший было Измаил, оказывается, и не думал спать, — турецкие батареи тотчас же заговорили в ответ. Огонь от пушечных выстрелов вырывал из темноты то черную блестящую полосу широкого Дуная, то высокие стены Измаила с жерлами пушек.

Но смотреть было некогда. Апшеронцы побежали вперед. У самого рва они рассыпались, и пока рабочие забрасывали шестисаженный ров фашинами, апшеронцы стреляли по редуту — на огоньки турецких выстрелов.

Но вот фашины уложены.

— Вперед, ребята! — закричал полковник Лобанов-Ростовский и первым кинулся через ров.

Лосев бежал вместе со всеми. Пули звенели вокруг. Под ногами хрустел фашинник. Кто-то упал убитый; его не успели оттащить в сторону, спотыкались, падая друг на друга. Кто-то провалился в ров — фыркал, отплевывался, но плыл к турецкому берегу. Пули чокались о фашины.

Ров перебежали. Дальше дорогу преградил крепкий палисад. Какой-то мушкатер с остервенением ударил прикладом в толстые бревна — напрасно.

— Рабочие, сюда! Топоров скорее! Ломы давай! — кричали все — и офицеры и солдаты, оглядываясь назад.

Апшеронцы, бросившись ко рву, оттеснили рабочих, и теперь получилась заминка. Каждая минута была дорога. Вторая колонна, шедшая слева, уже взбиралась на вал. Слышно было, как там кричали:

— Лестница мала, надвяжи ее!

— Лезь так. Вперед. Ура!

— Чего тут смотреть? Айда через палисад! — вдруг крикнул Огнев и в одну секунду ловко перемахнул через палисад.

За ним посыпались все. Тарахтя ружьями и флягами, обрывая на себе пуговицы и карманы, задевая друг друга, лезли апшеронцы.

Когда перескочили за палисад, пришлось остановиться, — впереди оказался второй, но на этот раз меньший ров. Бежавшие первыми попали в него и, вскрикивая от ледяной воды, перебирались на другой берег. Ров был неглубок — вода доходила только до пояса.

Ждать, пока рабочие прорубят палисад и протащат фашины, было невозможно. Тем более что турки с редута Табия засыпали пулями остановившихся апшеронцев. Падали убитые и раненые.

Мушкатеры стали прыгать через ров. Некоторые обрывались в воду.

— Ваше благородие, давайте прыгать! — крикнул Зыбин, в секундной вспышке орудийного выстрела увидевший возле себя подпоручика Лосева.

Лосев прыгнул вслед за ним. На той стороне рва собирались апшеронцы. Они снова залегли и стали стрелять по редуту, давая возможность переправиться егерям и фанагорийцам. Палисад уже трещал под ударами топоров.

Но неожиданно на апшеронцев кинулись от редута толпы турок. В темноте трудно было разобраться. Только по крикам «алла» догадывались, где враг. Апшеронцы вскочили и приняли турок в штыки.

Лосев больше наугад ударил кого-то штыком, ударил другого. И тут перед его глазами сверкнул яркий огонь, что-то больно стукнуло по голове, тысячи искр посыпались из глаз, и все исчезло.

...Лосев очнулся оттого, что ему лили на голову холодную воду. Он с трудом поднял отяжелевшую, как будто не свою голову.

Чуть светало. Уже можно было кое-что различить. Он увидал, что лежит возле рва и что над ним склонился мушкатер Огнев.

— Живы, ваше благородие, а я уж думал — убили, окаянные! — обрадованно сказал мушкатер.

Лосев, держась за Огнева, сел. Все плыло у него перед глазами. И почему-то он видел только одним левым глазом.

Ров, через который давеча они перепрыгивали, был заполнен фашинами. Кругом валялись трупы турок и русских. Воздух дрожал от пушечных и ружейных выстрелов, от криков «алла» и «ура». Где-то сверху призывно били барабаны.

— Где мы? Как штурм? — спросил, оглядываясь, Лосев.

— Маленько поспешили. Пришлось прыгать назад, через ров. А там подоспели с фашинами егеря и турок погнали, — рассказывал Огнев.

— Зыбин жив? Мы бежали с ним вместе, — спросил Лосев у Огнева, который зачем-то плевал в кулак.

— Жив еще. А вот ефрейтора нашего, Воронова, ранили в ногу.

Лосев силился открыть правый глаз, но не мог. Когда он моргал левым глазом, в правый кололо.

— Что у меня, глаз выбит? — упавшим голосом спросил Лосев.

— Нет, ваше благородие, глаз, должно, цел. В бровь маленько царапнула пуля. Сохрани господи, чуть правее взяла б, ну, тогда конец! — сказал Огнев, осматривая глаз. — Вот залепим сейчас землицей со слюнями рану, она засохнет и заживет.

Огнев приложил к глазу подпоручика влажный комочек земли. Лосев вытащил из кармана платок:

— Завяжи, братец!

Огнев перевязал раненому голову.

— Ну вот, теперь посидите, отдохните и помаленьку идите назад, а я побегу — у нас и так силы мало. Офицеров почти всех перебили, прямо страсть! Генерал Львов ранен, полковник Лобанов-Ростовский ранен.

— Кто же командует? — спросил Лосев.

— Полковник Золотухин, — ответил Огнев и, взяв ружье, побежал вдоль замолкнувшего бастиона.

Лосев остался сидеть. В голове у него звенело, перед единственным зрячим глазом плыли яркие круги.

Он нащупал флягу — цела. В ней было немного водки. Глотнул. Стало лучше. Взял чье-то ружье и с трудом поднялся. Пошатываясь, пошел вперед.

Навстречу ему тащились раненые. Придерживая обрубок левой руки, из которого хлестала кровь, шел мушкатер. Лосев узнал его, — это был апшеронец, тот рябоватый туляк.

— Ой, рученька моя, рученька! — приговаривал он.

Трое солдат, спотыкаясь, несли на плаще поручика-фанагорийца. Он был ранен в обе ноги.

— Я вам приказываю — оставьте меня здесь. Разве я не начальник ваш? Возвращайтесь назад, там вы нужнее!

— Сейчас, ваше благородие, только за палисад вынесем. Там из лезерву понесут дальше. А то как же своих раненых оставлять? — наставительно говорил старик егерь.

Поручик, увидав Лосева, приподнялся и лихорадочно-возбужденным голосом сказал:

— Торопитесь, подпоручик, — там командовать некому, всех офицеров выбили!

Лосев ничего не ответил. Он глотнул еще раз из фляги и уже совсем твердо пошел вперед.

IX

Суворов прилег у костра.

Он только что закончил последнее приготовление к штурму Измаила: объездил биваки своих войск — говорил с солдатами и офицерами. Вспоминал чудо-богатырям их славное прошлое: Туртукай, Козлуджи, Кинбурн, Фокшаны, Рымник.

Внушал им веру в победу.

Спать не хотелось, несмотря на то что за последнюю неделю приходилось отдыхать не более трех часов в сутки.

В первый же день как Суворов приехал из Бырлада к Измаилу и увидал эти грозные крепостные стены, окруженные валами, он решил тщательно подготовиться к штурму неприступной турецкой твердыни. По его приказу в пяти верстах от лагеря был насыпан — по измаильским размерам — четырехсаженный вал и вырыт такой же, как у турок, шестисаженный ров.

Конечно, Суворов не мог допустить, чтобы хоть одно ночное ученье прошло без него. Генерал-аншеф сам руководил им. Показывал, как забрасывать фашинником ров, как с помощью лестниц и штыка взбираться на вал.

И во все ночи у Александра Васильевича почти не оставалось времени для отдыха.

А сегодня и вовсе было не до сна.

Эта ночь должна решить все.

Европейские враги России уже ликовали, надеясь на то, что русским не справиться с грозным Измаилом. Недаром же французские инженеры в течение десяти лет укрепляли его.

Английский флот только и ждал момента, чтобы появиться у черноморских берегов.

Русские должны во что бы то ни стало взять Измаил!

Победа России у Измаила заставит ее врагов призадуматься.

Суворов надеялся на неустрашимость русского человека, на своих чудо-богатырей, которые хорошо подготовлены к штурму.

Александр Васильевич лежал, глядя на огонь. Смотрел, как вестовой, казак Ванюшка, подбрасывает в костер охапку тростника, — другого топлива в придунайских степях не сыскать.

Суворов расположился с несколькими штаб-офицерами, адъютантами и ординарцами на пригорке, против северных стен крепости, в полуверсте от Измаила. Александр Васильевич выбрал этот пункт потому, что он был в середине всего полукольца русских войск, в центре штурмующих колонн.

Несмотря на то что крепостной гарнизон был очень велик — 42 тысячи человек — и обеспечен продовольствием на полтора месяца, у турок уже не было прежней уверенности в своей мощи.

После того как к Измаилу приехал «Топа́л-паша» — Суворов, который в прошлом году разгромил у Рымника стотысячную армию великого визиря, турки заколебались.

Сегодня днем явились из осажденной крепости два перебежчика. Они рассказали о том, как все в Измаиле считают, что у Суворова 85 тысяч человек (а не 30 тысяч, как было на самом деле), и с тревогой ждут штурма.

Турки спят попеременно. Сам сераскер два раза в ночь объезжает крепость. Кроме него проверяют караулы татарские султаны и начальники янычар.

Эти известия порадовали Суворова:

— Кто напуган, тот наполовину побежден!

Александр Васильевич нетерпеливо поглядывал на часы, — приближалось время, назначенное для штурма.

Наконец настало пять часов. Генерал-аншеф быстро поднялся на ноги.

— Ракету! — крикнул он.

Разрывая ночной мрак, высоко взметнулась красная ракета. И тотчас же все кругом загремело.

Сотни пушек и ружей ударили с крепости по русским войскам, устремившимся к валам.

«Заприметили! Открыли огонь!» — подумал Суворов. В ответ им загрохотали русские пушки дунайской флотилии и с острова Сулин, лежащего против Измаила, а также батареи и стрелки штурмующих колонн.

Бой начался.

Генерал-аншеф стоял на пригорке, сжимая в руках зрительную трубу.

Было очень темно. К тому же от реки тянулся туман.

В черном небе возникали и тут же гасли огненные сполохи.

Вспышки пушечных выстрелов лишь на мгновение освещали крепостные стены.

Пока стояла густая темень и вся местность освещалась только огнями выстрелов, наблюдать, как проходит штурм, было невозможно. Приходилось ждать известий от начальников колонн и слушать обычную музыку боя — крики «ура» и «алла», доносившиеся сквозь раскаты пушек.

Суворов волновался, как ни в одном сражении. Он, не мог устоять на месте. Его тянуло туда, где кипел жестокий рукопашный бой. Впервые за все тридцать лет боевой деятельности он вынужден был оставаться где-то позади.

Суворов ходил по небольшому пригорку, — от его склона, где со своими конями толпились спешенные тридцать казаков кон-

воя, до костра, у которого на барабане, с бумагой и карандашом в руке, сидел белобрысый полковник барон Тизенгаузен.

Это был один из любимцев князя Потемкина. Светлейший прислал его «для примечания военных действий, для журнала и абреса», а попросту говоря, для слежки за Суворовым и для того, чтобы потом был предлог дать своему любимчику крест.

В последние дни к Суворову понаехало из Ясс множество разных сиятельных иностранцев и русских — погреть руки у измаильских стен. Но Суворов всех их прикомандировал к колоннам и полкам. Барон же оказался хитрее остальных: он оградил себя от опасности, получив у светлейшего точное назначение.

«Примечай, примечай!» — иронически думал Суворов, каждый раз доходя до него и круто поворачиваясь налево кругом.

В первые минуты, когда тишину разорвали пушечные залпы, когда со всех сторон в темноту понеслось громовое «ура» и ему тотчас же стало вторить заунывное «алла» турок, Суворов беспокоился об одном: как бы в темноте колонновожатые не напутали чего. Темнота, ночь, с одной стороны, были на руку русским: они скрывали их малочисленность. Суворов всегда уважал ночной бой. Как ни готовы были турки к обороне, но все-таки ночной удар получался внезапным, неожиданным. Кроме того, неприятель не мог видеть, какие силы атакуют, и при этом стрелял наугад. Но, с другой стороны, темнота имела и некоторые неудобства: в ней трудно было ориентироваться. Вот наконец послышался конский топот, и чей-то голос окликнул:

— Где генерал-аншеф? Где Александр Васильевич?

— Давай сюда, братец! — крикнул Суворов.

К костру подскакал ординарец от второй колонны. Уже по его бодрому голосу Александр Васильевич почувствовал, что известия хорошие.

— Вторая колонна закрепилась на валу, — торопливо докладывал ординарец. — Полковник Неклюдов первым взошел на бастион. Овладел пушками!

— Молодцы! Тесните басурман! Скачи назад! — махнул рукой Суворов и снова заходил по холму.

«Неклюдов, — думал он. — Леонтий Яковлевич. Бравый командир. Орел! Начало есть. Так, так!..»

— А ну, Ванюшка, подбрось-ка хворосту, чтоб нас получше видели! — сказал генерал-аншеф вестовому.

Не прошло и получаса, как на веселый огонек генеральского костра прискакал следующий верховой.

— Откуда? Какая колонна? — издалека спросил Суворов.

— Первая, ваше высокопревосходительство, генерала Львова! — живо ответил верховой.

«Это против каменного редута Табия. Его трудно взять. Но там мои богатыри — апшеронцы, фанагорийцы», — мелькнуло в голове.

Спросил:

— Как там у вас?

— Продвигаются, пошли правее редута. Генерал Львов ранен. Лобанов-Ростовский ранен.

Суворов поморщился:

— Кто повел?

— Полковник Золотухин.

— Ах да, ведь там Вася Золотухин, командир фанагорийцев! Хорошо, помилуй Бог!

Ординарец уехал.

Понемногу становилось светлее. Туман рассеялся. Показались очертания высоких измаильских стен.

На западной стороне все шло великолепно, без задержки.

Северный, самый сильный, участок крепостных стен упорно защищался. Вал на северной стороне был выше других. Чтобы достичь его вершины, приходилось связывать две пятисаженные лестницы.

Суворов не отрываясь смотрел в зрительную трубу на северный вал, который находился от него в полуверсте. Он видел, как тяжело приходилось лифляндским егерям, атакующим этот бастион.

Турки сверху бросали на них громадные камни, катили бревна, сталкивали русских вниз с головокружительной высоты. Но мужественные егеря упорно пробивались наверх.

«Сейчас вторая колонна ударит во фланг туркам, тогда им не устоять!»

Он перевел зрительную трубу налево, на восток, откуда шли четвертая, пятая и шестая колонны.

Четвертая и пятая составлены из казаков Орлова и Платова. У них были только шашки да укороченные пики, которые легко перерубались турками.

В шестую колонну, к бугским егерям, Суворов поставил командиром своего любимого ученика генерал-майора Михаила Кутузова.

У Кутузова с турками старые счеты.

Но пока что и от Михаила Илларионовича не поступало известий. Больше получаса тому назад Суворов послал к Кутузову ординарца-казака.

«Что-то задержался урядник!» — нетерпеливо поглядывал генерал-аншеф.

Наконец урядник примчался.

— Ну как? — спросил у него Александр Васильевич.

— Жарко, ваше высокопревосходительство. Взошли на вал, да басурманы уже два раза оттесняли егерей к самому краю. Не знаю, удержатся ли... Офицеров не видать: кто убит, кто ранен.

— А сам генерал-майор жив?

— Невредим. Идет впереди!

Суворов повеселел:

— Скачи назад. Передай генерал-майору Кутузову: назначаю его комендантом Измаила! Торопись, борода!

Казачий урядник поскакал передавать приказ.

— Коня! — обернулся к вестовому Суворов.

Казак Ванюшка подвел коня.

Александр Васильевич поехал к четвертой колонне Орлова, которая была рядом.

Солнце уже взошло. Было совершенно светло.

Подъезжая к резерву, Суворов издалека увидал: часть четвертой колонны прорубилась на вал, а другая — еще застряла у рва.

И вдруг соседние Бендерские ворота широко распахнулись, и турецкие янычары с дикими криками кинулись во фланг казакам.

Положение донцов, которые дрались на валу, стало критическим.

Суворов подскакал к бригадиру Вестфалену, командовавшему резервом.

— Карабинеров и два батальона Полоцкого пехотного — на выручку казакам! — приказал он.

— Поспешай, братцы! Бегом! — кричал он пехотинцам.

Пехота бросилась за карабинерами.

«Ура» перекрыло турецкое «алла».

— Наша берет, Александр Васильевич! Погнали турка! — не выдержал, обрадованно сказал казак Ванюшка, стоявший сбоку.

— А ты что ж думал: не возьмет? — улыбнулся Суворов. — Наша всегда возьмет!

И он поехал назад к своему командному пункту.

Теперь Суворов был спокоен и за третью колонну: четвертая тоже ударит во фланг туркам, защищающим крепкий северный бастион.

Суворов подъехал к пригорку.

Офицеры смотрели в зрительные трубы, обсуждая улучшившееся положение. Барон Тизенгаузен грел у потухающего костра озябшие руки.

— Ну, друзья, собирайтесь в Измаил! — весело сказал офицерам генерал-аншеф.

Все стали садиться на коней.

— Ваше высокопревосходительство, а все-таки у нас много потерь: бригадир Рибопьер убит, генерал Мекноб тяжело ранен... — подъезжая к Суворову, вкрадчиво начал Тизенгаузен.

Суворова передернуло: в этих словах потемкинского любимчика он почувствовал первый укол. Он сразу догадался, в чем станут обвинять победителя Измаила его завистники.

Генерал-аншеф резко оборвал Тизенгаузена:

— В штурме убит — один, а в осаде от голода и холода — умерло пять! Простая арифметика, помилуй Бог!

Он досадливо отвернулся от белобрысого барона и приставил трубу к глазам.

Весь этот бесконечный главный вал крепости общим протяжением в шесть верст уже был в руках у русских. Продырявленные пулями, прорубленные острыми турецкими шашками русские знамена победно развевались на стенах Измаила.

Враг не устоял и отступил внутрь города, в лабиринт узеньких, кривых улиц и переулков, в которых каждый дом, конечно, станет крепостью. Впереди предстояло еще много дела, много жертв, но главное уже стало явью: русские войска сломили врага.

Пришпорив коня, Суворов помчался к Хотинским воротам, которые изнутри открывали русские егеря.

Еще несколько часов тому назад бывшая несокрушимой, грозная турецкая крепость, на которую столько надежд возлагали враги России — Франция и Англия, теперь широко раскрывала перед великим русским полководцем свои ворота.

X

Сегодняшнее утро казалось Суворову бесконечно длинным: приходилось сидеть и ждать, а заполнить время было нечем, это не у себя дома.

Александр Васильевич приехал из Измаила в Яссы ночью. Он не выносил показной парадности и хотел избежать всей этой натянутой пышной встречи, которую князь Потемкин готовил победителю Измаила.

Суворов отправился в Яссы без всякой свиты и конвоя, в простой полковой кибитке. Ехал он не по большой дороге, где его ждали, а окольным путем и в Яссы постарался попасть ночью.

В Яссах Суворов остановился у знакомого полицеймейстера. Он строго-настрого приказал полицеймейстеру не рассказывать никому о его приезде, спокойно поспал часа три и встал по привычке — до зари.

Конечно, являться в такую рань к главнокомандующему со строевым рапортом было бесполезно: светлейший, несомненно, еще сладко спал после очередного бала. Суворов решил подождать, — пусть уж отоспится человек после трудов праведных.

Но все-таки он не вытерпел и слишком рано стал приготовляться к торжественному приему. Суворов надел шитый золотом парадный мундир с бесчисленными орденами и звездами, надел подарок императрицы — золотую шпагу, украшенную бриллиантами.

Оделся, приготовился — и от этого ждать стало еще несноснее.

Суворов всегда чувствовал себя в парадной одежде стесненно. Приятнее было ходить в будничном канифасном кафтане и свободных старых ботфортах. А в мундире давит воротник, и кажется, будто жмет под мышками.

Вспоминалось детство, когда маменька в большие праздники наряжала его в новое платье, и надо было беречься, чтобы не измять и не испачкать.

В невольном волнении Суворов расхаживал по небольшой комнате.

Если австрийский император наградил за Рымник принца Кобургского фельдмаршальством, то уж за Измаил Суворову надо дать и подавно!

Наконец исполнилось то, чего он ждал все долгие годы: он совершил такой подвиг, который сразу выделит его из всех русских генералов. Суворову уже не придется быть в подчинении ни у тупоумного Ивашки, ни у всех этих заносчивых каменчёнков и репниных! Даже сам Потемкин не сможет помешать ему вести операции так, как это найдет нужным Суворов: ведь и Александр Васильевич будет таким же фельдмаршалом, как Потемкин! Теперь-то он сможет еще больше укрепить мощь своего отечества!

Суворов нетерпеливо поглядывал то на хозяйские часы, то на дверь, — полицеймейстер пошел разведать, встал ли светлейший.

Наконец, в половине девятого, он вернулся:

— Ваше сиятельство, можно ехать — светлейший уже встал. Ждут вас. По улицам стоят гусары, смотрят, не едете ли.

— Ну что ж, коли так — поедем! — весело отозвался Суворов.

Он заложил за обшлаг мундира приготовленный рапорт, надел каску и вышел.

...Полковник Бауер не отходил от высокого венецианского окна, — отсюда открывалась вся Дунайская улица, по которой должен был ехать из Измаила граф Суворов. Светлейший приказал немедленно доложить ему, когда покажется карета Суворова: Потемкин хотел сам встретить его у крыльца.

Вот по улице протарабанила каруца на своих невероятно толстых, без спиц, таких, какие делают в детских игрушечных повозках, неуклюжих колесах. Гусары, стоявшие у перекрестка, хорошо подстегнули нагайками худых лошаденок молдаванина, постарались, чтобы он со своей грязной каруцей поскорее убрался в переулок.

Вот проехала в дрожках смазливая горничная госпожи Браницкой. Гусарский корнет заулыбался, проскакал рядом с дрожками несколько саженей, — вероятно, говорил какой-либо вздор кокетливой горничной, — потом вернулся на прежнее место, лихо покручивая усы: он был доволен не только девушкой, но и собой.

Вот из переулка на Дунайскую улицу, тяжело громыхая, выехал какой-то неуклюжий, старомодный рыдван. Когда-то, лет пятьдесят назад, он был покрашен и даже кое-где позолочен, но теперь все облупилось. Он был расшатан и стар, — в нем все дребезжало, скрипело, звенело. Рыдван с трудом тащили три лошади, запряженные помолдавански, цугом. Кучер то и дело щелкал своим длинным бичом.

— Это еще какая черепаха? — улыбнулся Бауер, глядя на допотопную карету.

Гусарский корнет тоже потешался, глядя на такое чудище. Он кивнул головой солдату. Тот подскочил было к рыдвану, но слуга, стоявший на запятках колымаги, что-то ответил, и гусар, не доехав до него, повернул назад. Корнет отвернулся и со скучающим видом продолжал смотреть в ту сторону, откуда ждали графа Суворова.

А смешной рыдван тащился прямо ко дворцу светлейшего.

«Кто же это? — соображал Бауер. — Какой это домине? Епископ, должно быть, или захудалый князь».

Но такой кареты на дворе светлейшего полковник Бауер еще ни разу не видал.

«Загородит мне всю улицу. Из-за него ничего не увидишь!» — смотрел он то так, то этак на подъезжавший рыдван. И вдруг ясно увидел: в рыдване мелькнули расшитый золотом, генеральский мундир и каска.

«Это Суворов!»

Бауер сорвался со своего поста и побежал в кабинет к светлейшему.

Потемкин торопливо пошел навстречу Суворову. Не успел он сойти с высокой лестницы, как Суворов одним духом был уже рядом с ним. Потемкин заулыбался своим зрячим глазом, раскрыл широкие объятия, и щуплый граф Суворов утонул в них.

Они троекратно поцеловались.

Суворов ждал первых слов светлейшего. Вот сейчас Потемкин поздравит его с фельдмаршальством, будет говорить с ним как с равным.

— Скажите, Александр Васильевич, чем могу я наградить ваши заслуги? — спросил Потемкин.

Что это? Неужели он ослышался? С ним опять говорят как с подчиненным, с обыкновенным генералом, который выиграл заурядную баталию?

Суворов вспыхнул.

Он невольно отступил шаг назад и, прикрыв глаза веками, сказал с дрожью в голосе:

— Ничем, князь. Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и государыни, никто наградить меня не может!

Одутловатое, пухлое лицо Потемкина побледнело. Вся ласковость исчезла из его единственного зрячего глаза. Он круто повернулся и пошел в залу.

Сзади за ним шел генерал-аншеф граф Суворов-Рымникский. Он уже понял, что его мечты напрасны, что все пропало, что плетью обуха не перешибешь!

Суворов дрожащими руками вынимал из-за обшлага приготовленный рапорт.

Адъютанты и слуги Потемкина, присутствовавшие при этом разговоре, недоумевающе посматривали друг на друга, испуганно перешептывались, — что он сделал? Как он смел?

Через минуту из залы стремительно выбежал граф Суворов. Он был бледен. Не видя никого вокруг, Суворов быстро сбежал по ступенькам высокого крыльца вниз и, не обращая внимания на приглашения кучера и лакея: «Ваше сиятельство, пожалуйте!» — быстро пошел по улице.

Неуклюжий, старомодный рыдван тяжело громыхал вслед за ним.

XI

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!

Державин

Во дворце, что стоял на большой дороге у Невы, в этом, как его все называли, «Конногвардейском доме», и на широкой площади возле него уже несколько дней шла спешная, горячая работа. Десятки разных мастеров — художников, обойщиков, маляров, столяров, штукатуров и прочих — работали здесь круглые сутки.

Ломали разные мелкие пристройки, прилепившиеся ко дворцу и портившие общий вид, сносили длиннейший грязный забор, тянувшийся вдоль Невы (за забором виднелись остатки каких-то са-

раев), строили пышные триумфальные ворота, устанавливали стеллажи для иллюминации.

Площадь была полна народу.

Из города ко дворцу по грязной дороге тянулись вереницы подвод. В деревянных ящиках везли бережно укутанные в солому хрустальные люстры, сверкавшие на солнце прозрачными льдинками подвесок. Князь Потемкин взял из лавок напрокат двести люстр.

На других возах лежали длинные — в полтора человеческих роста — зеркала. В них отражалось все: весенняя петербургская слякоть, чуть подсиненное северное небо, широкая Нева, грязные лапти мужиков-подводчиков, малиновый кафтан какого-то иностранца-художника, который в башмаках и шелковых чулках смело шлепал по лужам, за всем смотрел, отдавая приказания налево и направо.

С другого конца ко дворцу подъезжали возы с тускло желтевшими многопудовыми глыбами воска для шкаликов и иллюминации. Светлейший взял из придворной конторы четыреста пудов воску.

Медленно тащились возы с кадками диковинных заморских растений. У них все — и листья и цветы — было какое-то не похожее ни на что свое, русское, привычное.

В самом доме чувствовалась не меньшая суета, слышался стук молотков.

Художники, закинув вверх головы, стояли, осматривая дело рук своих. Измазанные в извести, сновали маляры. Декораторы разворачивали яркие штофные ткани.

В настежь раскрытые высокие окна виднелись вазы и статуи из мрамора. Голые девки, не очень стыдливо, одной ручкой, прикрывавшие крутую грудь; жилистые, икрястые бородачи; пухлые, но не сопливые, а чистенькие ребятишки с крылышками.

Все эти приготовления делались к большому празднику, который захотел устроить князь Потемкин в благодарность за царские милости, за ласковый прием, за торжественную встречу, оказанную ему как победителю турок, покорителю неприступного, гордого Измаила.

О будущем празднике в Таврическом дворце говорили удивительные вещи: будто по железным трубам потечет горячая вода, чтобы одинаково тепло было во всех высоких покоях, чтоб не иззябла матушка императрица.

Говорили, будто для простого люда на площади перед дворцом будут поставлены столы с угощением — медовым квасом и сбитнем, с разными подарками — лаптями, кóтами, шляпами, кушаками, лентами.

Императрица не могла никакими чинами и орденами наградить больше князя Потемкина, потому что он уже все имел. Екатерина подарила светлейшему этот богатый дворец, который был пожалован Потемкину в первый раз три года тому назад и который Потемкин продал тогда в казну за четыреста шестьдесят тысяч рублей. Кроме дворца светлейший получил от императрицы фельдмаршальский мундир, украшенный драгоценными камнями, стоившими двести тысяч рублей.

И князь Потемкин решил дать в честь взятия Измаила такой бал, какого еще никто никогда не давал в Санкт-Петербурге.

...По грязной, весенней дороге из Санкт-Петербурга на Выборг медленно тащилась ямская тройка.

На козлах, рядом с ямщиком, трясся толстоносый солдат. Сонными, осовелыми глазами он тупо глядел по сторонам. В повозке никого не было, повозка была пуста.

Чуть впереди тройки, по обочине дороги, по вытоптанной пешеходами и уже просохшей тропочке, быстро шел старик. Он был в сапогах, белых полотняных штанах и такой же куртке. Легкий ветерок трепал завитки его поседевших волос — шляпу старик держал в руке.

Он шел, глядя на зеленеющие поля, на трепыхавшихся в вышине жаворонков, на голубое небо, но думал не о небе, не о зеленях.

...Князь Потемкин хорошо отомстил Суворову за его прямоту, за резкий ответ.

Солдат, участников измаильского штурма, наградили серебряными медалями, офицерам дали золотые кресты, а Суворов не получил ничего.

Разве можно считать назначение подполковником в лейб-гвардии Преображенский полк за награду? Конечно, полковником в нем — сама императрица, но подполковник-то не один, а еще до Суворова насчитывалось десять человек. Все родовитые Репнины и Салтыковы, вся бездарь, вроде Долгорукова или Разумовского, удостоились этой великой чести раньше Суворова.

Своего возлюбленного Потемкина императрица встретила как победителя, как Цезаря, а о Суворове — не вспомнил никто!

Его давило негодование. Он никак не мог примириться с этой несправедливостью, с этим вероломством.

Суворов совсем распахнул кафтан и бежал по обочине еще быстрее.

Тройка с каждой минутой все больше оставалась позади.

Цитерное молодечество[1] — выше всяких военных талантов, выше побед! А он-то, он сам, о чем думал? О справедливости?! Дон-Кишотом был, Дон-Кишотом и остался!

---

[1] Любовные похождения.

И наконец, сегодняшняя «купоросная пилюля»: назначение Суворова к войскам в Финляндию — осмотреть, надежны ли укрепления на северных границах России.

Все это понятно даже младенцу.

Завтра в Таврическом дворце Потемкин дает бал в честь взятия Измаила. Не пригласить, обойти Суворова, которому Россия обязана взятием Измаила, — нельзя, а пригласить — значит чествовать Суворова. И Потемкин нашел благовидный предлог услать его подальше: победителя выгнали из Петербурга.

Вот она, благодарность! Вот он, «вернейший друг», как называл себя в письмах к Суворову князь Потемкин.

«Ну что ж, веселитесь! А я тем временем потружусь. Мое дело не пропадет! Границы России должны быть крепки везде — на юге и на севере. Работы много, надо спешить!»

Суворов обернулся и нетерпеливо махнул рукой. Ямщик ударил по лошадям. Тройка подкатила. Суворов вскочил в повозку и бодро приказал:

— Погоняй!

И тройка, разбрызгивая во все стороны грязь, помчалась вперед.

«Хотите отмахнуться, забыть победителя Измаила? — думал Суворов. — Пожалуйста, забывайте! Но отечество, но русский народ — не забудет!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая
«УРА, ФЕЛЬДМАРШАЛ!»

Не мщением, а великодушием покорена Польша.

Суворов

I

Издавна повелось: в мирной обстановке, после утреннего чая, отдохнуть часок. Попеть по нотам свои любимые концерты Бортнянского или Сартия.

Пение любил с детства. В Москве и в подмосковном Рождествене пел на клиросе дискантом — слух всегда был отменный; а возмужал — стал петь басом.

Но сегодня воскресенье, скоро идти к обедне. Там вдоволь напоешься.

А пока захотелось ответить на одно приятное письмо.

Бывший соратник, подполковник граф Цукато, просит позволения написать биографию Александра Васильевича.

Наконец дошло до того, что жизнью Суворова любопытствуются другие!

Писал адъютант Антинг, старался. Первая часть — еще туда-сюда, а во второй Антинг скворца дроздом встречает. Надобно исправить солдатским языком. Придется поручить подполковнику Петру Никифоровичу Ивашеву. Он пять лет при Суворове главным квартермистром, человек свой, русский, все знает, пусть исправит.

А теперь вот — Цукато. Может, у него получится лучше...

Задумался над своей, такой полной превратностей, жизнью.

За признанием — немилость, за падением — взлет.

Измаильский стыд до сих пор, четыре года спустя, жжет его щеки. Тогда Потемкин устроил так, что победителя Рымника и Измаила разжаловали в строителя крепостей. Заставили полтора года томиться в Финляндии. Сделали захребетным инженером.

Сколько крови испортило Суворову это финляндское «затмение», как прозвал он сам эту ссылку! Как рвался он оттуда! Писал своему всегдашнему адресату Димитрию Ивановичу Хвостову.

Хвостов женат на его родной племяннице Грушеньке Горчаковой. Он уважает дядюшку Александра Васильевича, всегда столь исправно отвечает ему на письма, сообщает обо всем, что происходит при дворе, в Петербурге.

Суворов огорченно говорил:

— Баталия покойнее, нежели лопатка извести и пирамида кирпичей!

— Бога ради избавьте меня от крепостей, лучше б я грамоте не знал!

Наконец вняли просьбам, вызволили. Зимой 1792 года послали в Херсон начальствовать над тамошними войсками. Но это — что в лоб, что по лбу: в Херсоне опять те же укрепления, те же госпитали. Опять выходил из себя, писал:

«Я не инженер, а полевой солдат. Знают меня Суворовым, а зовут Рымникским!»

Просился у царицы в Польшу — на западе сгущались тучи. В Польшу Екатерина не пускала. Терпеливо ждал. Но глаз не спускал с запада. Опытный глаз видел: здесь заговорят пушки.

И он оказался прав, — дело началось.

Румянцов, российский Нестор, великий полководец, вызвал Суворова из Херсона. Дал поручение отвлекать поляков от главного театра военных действий.

Задача — обидно мала. Постыдно мала. Ему ли этим заниматься? И все-таки Суворов согласился: лишь бы поближе к делу!

И тут опять встрепенулся Петербург, все эти дворцовые паркетные шаркуны, все завистники. Постарались свести решение Румянцова к нулю: Суворов получил ордер — вместо сражений с врагом в поле — устраивать магазейны, готовить провиант для других генералов, которые предполагали растянуть кампанию на год, не меньше.

А Суворов не собирался вести войну так долго. Еще до выступления в поход он обещал окончить все в 40 дней. И теперь обещанное сдержал: в 42 дня кампания была закончена. У Суворова никогда и ни в чем слово не расходилось с делом.

Одним ударом приобрел мир и положил конец кровопролитию!

События опередили всех петербургских курьеров. События шли суворовскими темпами.

Его чудо-богатыри взяли Крупчицы, взяли Брест, взяли Кобылку. Пала Прага — дело, подобное измаильскому.

И вот Суворов в самой Варшаве — победитель и умиротворитель.

«Ура, Варшава наша!» — написал он императрице.

В Польше настала долгожданная тишина.

Мир, Pokój.

Кто старое помянет, тому глаз вон!

«Все предано забвению. В беседах обращаемся как друзья и братья», — писал Суворов Румянцову.

Нет, петербургским указчикам за суворовскими штыками не угнаться!

...Суворов окунул перо в тушь и быстро застрочил:

«Почитая и любя нелицемерно Бога, а в нем и братии моих человеков, никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем — *временем* — *бережливо* и *деятельно,* в обширном поле и в тихом уединении, которое я везде себе доставлял.

Намерения, с великим трудом обдуманные и еще с большим исполненные, с настойчивостью и часто с крайнею скоростию и неупущением непостоянного времени. Всё сие, образованное по свойственной мне форме, часто доставляло мне победу над своенравною фортуною. Вот что я могу сказать про себя, оставляя современникам моим и потомству думать и говорить обо мне, что они думать и говорить пожелают.

Жизнь столь открытая и известная, какова моя, никогда и никаким биографом искажена быть не может. Всегда найдутся неложные свидетели истины, а более сего я не требую от того, кто почтет достойным трудиться обо мне, думать и писать. Сей то есть масштаб, по которому я жил и по которому желал бы быть известным...»

Дальше все мысли, так легко и плавно шедшие на бумагу, грубо перебил Прошка: он вошел и без всякого стеснения стукнул об пол — бросил начищенные сапоги Александра Васильевича.

Ах, медведь, медведь! Уж и не денщиком прозывается, а величают его «главный камердинер», а все не помогает: как ни назови, все такой же чурбан!

Однако пора одеваться. Пора к обедне.

II

Вот, братцы, воинское обучение.
Господа офицеры! Какой восторг!

Суворов

Полки стояли у церкви. Ожидали, когда окончится обедня. Офицеры ходили перед строем, разговаривая друг с другом, потирая стынущие уши — каска не уберегала от холода, — стучали рука об руку: морозило изрядно.

Солдаты, стоявшие «вольно», приплясывали на месте, переговаривались, кое-как коротали время.

На деревьях и заборах сидели мальчишки, мерзли, но терпеливо ждали, когда начнется парад: застучат барабаны, загремит музыка, пойдут, маршируя, по улицам полки. То и дело слышалось:

— Ясь, патшай![1]

— Стась, ходзь тутэй![2]

Кое-где кучками стояли и взрослые, смотрели на русские полки.

— Теперь уже попривыкли к нам, не боятся, — усмехнулся Башилов.

Он только что вернулся в полк после ранения. Голова еще была завязана, каска сидела на самой макушке.

— Ты сам не хуже их боялся бы, ежели бы тебе столь набрехали, — буркнул седой капрал Воронов.

— Тебя, брат, не было, — оживленно заговорил Зыбин. — Мы еще на той стороне Вислы стояли, как к нам в лагерь старый поляк зашел.

— Ну и что же?

— Пришел и говорит: вижу, что вы такие же люди, как и мы. А нам, говорит, наши паны да ксендзы сказывали, будто вы и на людей не похожи. И что все вы не из Москвы, не из Витебщины аль Киевщины, а из Сибири. И людей, особливо детей, жаривши, едите... Смеху-то, — скалил зубы говорливый Лешка Зыбин. — И вот потому, говорит, на всех нас такой страх нагнали. Мы все «утекли до лясу». А как прошли ваши войска, вернулись мы, говорит, до дому, видим — все в доме целехонько. Даже глечик — это по-ихнему кувшин — с водой как стоял на лавке, так и стоит. Теперь, говорит, знаю: сбрехали паны да ксендзы. Они нас только дурачат да сами грабят...

— Вольно ж собаке и на владыку лаять, — согласился Башилов.

— Капитан Лосев велел поднесть старику стаканчик вина. Мы его накормили щами да кашей.

— Отчего это наш капитан такой невеселый ходит? — спросил Башилов. — Аль нездоров?

— Заскучал наш капитан, — ответил Зыбин.

— А не хвастай, не говори пустого! — вмешался Воронов.

— Что ж он такое и кому говорил?

— Денщик сказывал, как-то в компании расхвастался: мне, мол, за Мачинскую баталию еще полагается, мне за то да мне за это...

— Верно, он при Мачине, да и при Бресте, и при этой самой Кобылке храбро себя держал. Не знаю, как тут, под Варшавой, меня ведь не было, — сказал Башилов.

— В штурме первым по лестнице на вал взошел. Он храбрый, это точно, — подтвердил Огнев.

---

[1] Ясь, смотри!

[2] Стась, поди сюда!

— Так скучать-то чего?

— А того, что батюшка наш Ляксандра Васильич к награде его, слышно, не представил — он хвастунишек не жалует. Да и таких, которые языком любят чесать, — глянул на Зыбина Воронов, явно относя последние слова на его счет. — Хвастать не косить — спина не болить! Вот и будет капитан теперь помнить...

— Скоро ль обедня отойдет? — перевел разговор Огнев. — Мороз потискивает.

— Сегодня Александра Васильич долго поучение говорить не станет, — заметил Зыбин, — сразу с «больницы» начнет: «Солдат — дорог. Береги здоровье...» А потом: «Ученье — свет», и конец: «Вот, братцы, воинское обучение. Господа офицеры, какой восторг!» Дельно это у него придумано!..

Суворов возвращался с обедни веселым. Сегодня думал говорить свое обычное поучение войскам коротко, в полчаса, а проговорил полтора. И всему причиной — репнинские полки.

Едва начал Александр Васильевич говорить, как увидел: в Ряжском полку скривился господин полковник, недовольно поджал губы и Азовский. Понял, сразу же прочел их мысли: «Опять поучение? И чего? Такой холод, а он...»

«Да, да, опять! Николай Васильевич Репнин, конечно, ничем таким не утруждали. К морозу не приучали. Неженки! Вот мне шестьдесят четыре года, а я стою в одном мундире, без перчаток — и хоть бы что. Солдат ко всему должен привыкнуть! Солдат и в мирное время — на войне!»

И сразу же мысль — проучить.

«Мои чудо-богатыри — привыкшие, выстоят. А вам — впредь наука!»

И после «больницы» Александр Васильевич начал все свое поучение с самого начала:

«Каблуки сомкнуты. Подколенки стянуты. Солдат стоит стрелкой: четвертого вижу, пятого не вижу...»

Он улыбнулся, вспомнив, с какими лицами встретили промерзшие, закоченевшие офицеры репнинских полков эти замечательные слова его поучения:

«Вот, братцы, воинское обучение! Господа офицеры! Какой восторг!»

III

До утра было еще далеко, но в камердинерской уже не спали. Прошка, взлохмаченный и хмурый, сидел на полу возле таза, в котором обычно целую ночь горела свеча. Насупив брови, Прошка оправлял нагоревшую свечу. Был мрачен и зол.

Повар Мишка, курносый, толстощекий, с жиденькими чернявыми усиками, лежал на тюфяке, глядел на Прошку.

Сзади за ним, у стены, виднелась курчавая седая голова и такая же седая бороденка фельдшера Наума. Фельдшер безмятежно храпел: в ближайшее время ему никакого дела не предвиделось.

— Совсем одурел старый, — сонным голосом говорил Прошка. — И без того спит мало, а ноне вовсе сна лишился: ждет. И только об нем, об этом, прости господи, жезле у него разговору... Ходит, в окна глядит — не едут ли. И знай посылает: выдь на крылец гляди. А чего теперь увидишь: темень, ночь. Ему нипочем — спал человек аль нет. Замучил...

— Так вы же, Прохор Иваныч, с вечеру хорошо дрыхли, — улыбнулся повар.

— Чую, где ночую, да не знаю, где сплю? — вопросительно глянул на него Прошка, подымаясь с полу.

— Нет, правда. Почитай, от самого обеду спали... Можно выспаться.

— Тоже скажешь: выспался. — Прошка смерил повара презрительным взглядом. — Эх ты, кастрюля! Мало ли когда что было. Да я и в позапрошлом годе спал, так и это считать? Сколь ни спать, а и завтра не миновать. Много ты понимаешь, поварешка! Я ежели и сплю, то у меня сон, коли на то пошло, соловьиный...

Он подошел к своему тюфяку, лежавшему на лавке, повалился на него и тут же захрапел.

— Соловьиный, — залился беззвучным смехом толстощекий повар. — Ой, чудак! Соловьиный! Да у тебя, брат, медвежий, а не соловьиный сон. Ишь спит. Теперь его никакой пушкой не пробьешь!

В комнате, которая служила и спальней и кабинетом, было жарко натоплено. Суворов в одном белье и туфлях быстро ходил из угла в угол, думал.

Иногда останавливался, прислушиваясь: не звенят ли за окном бубенцы? Нетерпеливо заглядывал в окна. Но при свете двух свечей, горевших на столе, виднелись сквозь стекла только голые кусты сирени, росшие у дома.

Почему-то припомнилась такая же, почти бессонная, ночь в Яссах, после Измаила, когда приехал к Потемкину.

— Великий человек и человек великий, — повторил он свой стародавний каламбур о Потемкине.

Жил, властвовал и умер. Умер вскоре после взятия Измаила Суворовым.

Бесспорно, для русской армии Потемкин сделал много. Он, так же как Румянцов и Суворов, добивался улучшения в обмундировании, вооружении. Он понимал никчемность всех этих солдатских буклей, косичек, петличек и пряжек. Это он сказал: «Если б

можно было счесть, сколько выдано в полках за щегольство палок и сколько храбрых душ пошло от сего на тот свет».

В этом Потемкин — великий человек. Но в делах человеческих он был — только человек великий. Великий ростом. Завистливый, непостоянный.

Если бы он был жив, что сделал бы сейчас? Неужели и теперь противился бы тому, чтобы императрица пожаловала Суворову фельдмаршальство?

Вот он, долгожданный день!

После стольких лет унижения Суворов наконец — фельдмаршал.

Военная карьера Суворова развивалась туго. Все приходилось брать с бою, не так, как другим, к примеру Репнину. Репнин в 28 лет был уже генерал-майором.

Как он надменен, Николай Васильевич Репнин! Отвратительно повелителен и без малейшей приятности. Еще так недавно, месяц назад, он придирался к Суворову, норовил приказывать, а теперь придется самому сноситься с фельдмаршалом Суворовым рапортами.

Суворов потер от удовольствия руки и вполголоса запел:

— Тебе Бога хвалим...

И так за пением не приметил, как в самом деле под окном зазвенели бубенцы. Рванулся к двери!

— Прошка! Приехали!

Не дожидаясь мешковатого Прошки, сам как был неодетый, так и проскочил через камердинерскую в сени, на крыльцо. Распахнул дверь.

У самого крыльца, мотая головами, стояла тройка лошадей. Шелестели бубенчики, говорили люди.

— Да скоро ли ты? — не выдержал, окликнул племянника Суворов.

— Иду, дяденька!

Из саней вылезал в шубе, точно медведь, племянник, сын старшей сестры Александра Васильевича Анны, Алеша Горчаков.

А Прошка, подошедший к Суворову сзади со свечою в руке, бубнил на ухо:

— Ступайте в комнаты, простудитесь. Как маленькие! Без вас внесут, никуда жезл энтот не денется...

Алеша шел уже, путаясь в длинных полах шубы. В руках он нес большой узел.

Суворов обнял его.

— Я с холоду, дядюшка!

Вошли в комнату. Горчаков положил узел на стол и вышел в камердинерскую снять шубу. Дуя в озябшие руки, вошел к Суворову в спальню.

Суворов осторожно развязывал узел.

Мундир фельдмаршальский, шитый золотом.

— Это императрицын подарок. Маменька и Наташа мерку давали. Не знаем — впору ли будет?

— Впору, впору! — улыбался Суворов, а руки нетерпеливо шарили в узле.

— Это алмазный бант на шляпу, — сказал Горчаков, когда Суворов вынул сверточек поменьше. — А это — фельдмаршальский жезл. Пятнадцать тысяч рублей стоит, дядюшка!

— Он мне пятнадцати миллионов дороже: в нем моя свобода! Орлу развязали крылья!

Суворов схватил стул, легко перепрыгнул через него, крикнул:

— Репнина обошел!

Поворотился, легко перепрыгнул стул снова:

— Салтыкова Николая — обошел!

Салтыкова Ивана — обошел!

Прозоровского — обошел!

Долгорукого — обошел!

Каменского — обошел!

Каховского — обошел!

Эльмпта — обошел!

Мусина-Пушкина — обошел! — прыгал он через стул туда и обратно.

Племянник смеялся, глядя на шалости развеселившегося Александра Васильевича.

— Помилуй Бог, легок стал: хорошо прыгаю! — улыбался Суворов, окончив свой счет.

Он раскрыл дверь в камердинерскую:

— Прошка, закусить полковнику!

И к племяннику:

— Ну, Алешенька, рассказывай!

Горчаков вынул из-за пазухи бумаги:

— Вот рескрипт императрицы и письмо.

Суворов бережно взял обе бумаги. Поднес к свече.

На одной стояло:

«Ура, фельдмаршал!

Екатерина».

На другой:

«Вы знаете, что как я не произвожу никого чрез очередь и никогда не делаю обиды старшим, но Вы, завоевав Польшу, сами себя сделали фельдмаршалом».

— Вот письмо Наташи.

Суворов развернул, увидал милые сердцу строчки:

...графиня Наталья Суворова-Рымникская.

Не стал читать, спросил:
— Здорова? Мама, Груша, Димитрий Иваныч?
— Все слава Богу...
— А это чье? — спросил Суворов, принимая толстый пакет.
— Гаврилы Романовича.
— А, посмотрим:

«Милостивый государь!

Преисполнен будучи истинной любви к Отечеству, почтения ко всему тому, что называется мужество или доблесть, уважения к громкой славе Россиян, обожания к великому духу нашей Государыни, беру смелость поздравить Ваше Сиятельство и сотрудников Ваших с толико знаменитыми и быстрыми победами.

Ежели бы я был пиит, обильный такими дарованиями, которые могут что-либо прибавлять к громкости дел и имени героев, то бы я Вас избрал моим и начал бы петь таким образом:

Пошел — и где тристаты[1] злобы?
Чему коснулся, все сразил.
Поля и грады стали гробы.
Шагнул — и царства покорил».

— Очень мило. Помилуй Бог! Спасибо! Ну что ж ты одну водку тащишь? А закуска, редька где? — встретил он Прошку, который нес штоф и чарки.

— Да ведь с дороги-то первей всего — водка, — сказал, облизывая губы, Прошка.

— Тебе — что с дороги, что в дорогу — она первей всего! Сказывай, Алешенька, что же в столице говорят?

— Все только и говорят о ваших победах, дядюшка. Когда Исленьев приехал с ключами Варшавы и хлебом-солью, на другой день во дворце был выход при большом съезде. Безбородко читал объявление о причинах войны, потом служили молебен благодарственный с коленопреклонением и пушечной пальбой. Императрица отведала варшавского хлеба-соли и собственноручно поднесла его Наташеньке. Похвалила: «Хлеб в Варшаве хорош, вкусен!»

— Не обидим Варшаву! — вставил сиявший от радости Суворов.

— Потом был парадный обед во дворце. В середине его императрица объявила о возведении вас в звание фельдмаршала. Пили ваше здоровье при двухстах одном пушечном выстреле.

— Помилуй Бог, сколько пороху истратили! Ну, Алешенька, давай выпьем и мы.

Дядя и племянник выпили.

---

[1] Тристат — военачальник.

— Ешь, закусывай!

Горчаков ел и рассказывал:

— Императрица лестно говорила о вас. При всех несколько раз напомнила мне: «Заботьтесь о здоровье фельдмаршала».

— Потемкин в гробу переворотился! — смеялся Суворов. — А что все эти придворные трутни? Как же они перенесли назначение Суворова фельдмаршалом?

— Императрица никому об этом заранее не говорила. Даже начальник военного департамента Николай Салтыков не знал.

— А что же Николай Салтыков говорил: чем бы меня наградить дóлжно?

— Довольно, говорит, с него и генерал-адъютанта.

— Это его Марфуша, жена, говорит, а не он. Своего ума Николай Иванович не имеет...

— Долгорукий и Иван Салтыков, те так были обижены, что просились уволить их со службы.

Суворов расхохотался:

— От них обоих как с козла молока; Долгорукий известно: в поле — с полком, с поля — с батальоном. А Ивашка — ну, тот Богом обижен. Его тридцать лет назад надобно было бы уволить. Но это всё военные, это товарищи. В одних ножнах, как сказано, двум шпагам не бывать. А что же говорят статские, иностранная часть?

— Страсть как довольны. Говорят: Суворов заставил Европу бояться России. За границей наконец увидали, поняли нашу силу!

— Еще не один раз Европа почувствует силу русских! — уверенно сказал Суворов.

В камердинерской все уже проснулись, — суворовский день начался. Прошка пребывал в своем неизменном ворчливом настроении:

— Через стулья прыгает. Фитьмаршал. Смехота!

— Нет, с тобой водку на радостях станет пить? — подрезал Наум. — Да кабы тебе такой жезл, что пятнадцать тысяч стоит, так ты через этот шкаф сиганул бы, а не то что. И потом — понимать надо: одно слово — фитьмаршал. Ему, брат, теперь все дозволено.

IV

Александр Алексеевич Столыпин не без волнения подходил к усадьбе Тогневского у Лазенок, где жил фельдмаршал Суворов. Столыпин приехал в Варшаву из Петербурга к Суворову на службу.

Когда он уезжал из Петербурга, ему пришлось наслушаться разных рассказов о фельдмаршале: Суворов был притчей во языцех.

Одни хвалили его за доброту, за ум, превозносили его военные таланты. Другие, наоборот, говорили, что в военных делах Суворову просто везет, что угодить ему нелегко — человек он с большими странностями, язвительно замечали, что «чин его по делам, но не по персоне».

И те и другие передавали многочисленные истории о фельдмаршале Суворове, которые ходили по Петербургу. Где в них правда, а где вымысел — сказать невозможно.

Еще во время путешествия в Крым императрица, награждая генералов, будто бы спросила Суворова, нет ли у него какой-либо просьбы.

«Матушка царица, хозяин покою не дает: задолжал я ему».

«А много ль?»

«Три с полтиной, матушка!»

Рассказывали, как Суворов, встретив барабанщика, уступил ему дорогу:

«Барабанщик — важен, его слушается сам Румянцов. Ему повинуются наши ноги».

С улыбочкой шептали на ухо, будто бы у Суворова есть печать. На ней изображена скала, от которой отскакивают стрелы. А под скалой надпись: «Рази, рази, м. т.!» И конечно, больше всего было разговоров о том, что фельдмаршал Суворов не терпит немогузнайства: солдат должен быть находчив, должен отвечать быстро и на всякий вопрос. Предупреждали Столыпина: Суворов требует, чтобы офицер читал книги, но не какую-либо «Пригожую повариху», а — «Книгу Марсову» или Плутарха.

Столыпин чувствовал себя неважно, — не хотелось бы срамиться. Плутарха он в руки не брал, а «Книгу Марсову» только перелистывал. Толстенный том, и, право же, нет охоты его читать.

Из книг Столыпин привез с собою в Варшаву лишь одну: недавно купленный песенник — «Эрато, или Приношение прекрасному полу на новый, 1795 год». Это читать, легко и приятно.

И теперь, идучи, Столыпин все старался предугадать: о чем же может его спросить Суворов — далеко ли до солнца, много ли рыбы в Висле?

Усадьба Тогневского — небольшой одноэтажный домик с садом — стояла у самой дороги. В саду, между деревьями, пестревшими яркими осенними красками, виднелась палатка. Бросилось в глаза: у дома фельдмаршала не было часовых.

Перед крыльцом стояла карета с парой лошадей. Усатый кучер в четырехугольной шапке и кафтане, очень похожем как у митрополичьих певчих, важно восседал на козлах. Лакей в белых перчатках ходил возле кареты.

Столыпин взошел на крыльцо, открыл дверь в переднюю.

Старый солдат, сидевший у окна и нюхавший табак, даже не пошевелился.

Дверь в следующую комнату была раскрыта. Столыпин несмело шагнул. На него глянуло потертое, все в морщинках лицо генерал-адъютанта Тищенко. Рядом с ним стоял племянник Суворова Алексей Горчаков, знакомый Столыпину по Петербургу.

— А, Сашенька, здравствуй! Когда прибыл? — приветливо встретил Столыпина Горчаков.

— Сегодня.

— На службу?

— Да. Когда я буду иметь счастье представиться фельдмаршалу? — спросил Столыпин у Тищенки, здороваясь с ним.

— Будет время, — неласково буркнул Тищенко и вышел из комнаты.

Столыпин вспыхнул:

— Коли он не хочет, я сам представлюсь!

— Погоди, — тронул его за локоть Горчаков. — Я все сделаю. Пойдем, дядюшка в саду, в палатке.

И Горчаков повел Столыпина в сад.

Из палатки слышались голоса, говорили по-польски.

— Ну, как ехал? Что там у нас, дома? Тепло, дождей еще нет?

— Ехал хорошо. В Петербурге тоже тепло.

Из палатки вышел Тищенко.

— Долго ли там? — спросил Горчаков.

— Сейчас уезжают. Уже написал.

— Опять Наташе придется принимать незваных гостей.

Столыпин смотрел, не понимая, о чем у них речь.

— Поляки — одни и с женами — едут по своим делам в Петербург. И все лезут к дядюшке — военные и статские — за рекомендательными письмами. А он никому не отказывает, пишет Наташе: прими, мол, «окажи по востребовании нужное пособие», «будь ласкова», «приятствуй». И этак каждый день. Точно у Наташи постоялый двор.

— Пользуются его добротой. Совести у людей нет, — недовольно прибавил Тищенко.

В это время из палатки вышли, кланяясь, поляк и полька. Сзади за ними шел Суворов. Он был в кителе и каске.

— Сьличне дзенькуемы![1] — благодарили они фельдмаршала.

— Сченстливэй подружи![2] — любезно провожал их Суворов.

Когда гости ушли, Суворов быстро обернулся к своим. Вопросительно глянул на вытянувшегося в струнку Столыпина.

— Адъютант Столыпин! — представил Тищенко.

---

[1] Чрезвычайно благодарим!

[2] Счастливого пути!

Суворов приложил руку к козырьку каски. Спросил:

— Где служил отец?

Кажется, все передумал — и сколько верст до Луны, и много ль звезд на небе, а об этом и не подумал.

— Не знаю, ваше сиятельство, — невольно вырвалось у Столыпина.

Краска залила все лицо. Стало жарко.

«Все пропало. Все кончено. Сейчас закричит, прогонит!»

Суворов приложил палец к губам и удивленно процедил:

— В первый раз... Не знаю?

— Алексей Емельянович служили по статской, — пришел на помощь Горчаков.

Столыпин покраснел еще пуще: он слышал, что фельдмаршал страсть не любит статской службы.

И тут словно молния прорезала: да ведь батюшка же оставлен при Петре III, лейб-кампанцем!

— Нет, ваше сиятельство, вспомнил! — обрадованно закричал Столыпин. — Вспомнил! Не статский, военный! Батюшка служил в лейб-кампании!

Все рассмеялись.

Со Столыпина катил пот.

Суворов хлопнул его по плечу:

— Не робей, Столыпин! И на Машку живет промашка! Ступай отдохни, а завтра за работу!

V

Репутация оригинала, которую он ловко сумел приобрести себе, служила ему для того, чтобы давать безнаказанно и кстати колкие ответы или искусные уроки.

Ланжерон

Адъютант Столыпин ехал позади Суворова и его главного квартермистра подполковника Ивашева. Фельдмаршал сегодня решил побывать в нескольких полках, расположенных неподалеку от Варшавы. Столыпин был доволен, что ему пришлось сопровождать Александра Васильевича.

Стоял сентябрь, ясное бабье лето. Солнечный безветренный день был по-осеннему прозрачен и чист. Куда-то вдаль не спеша летела осенняя тонкая паутинка. Столыпин то и дело смахивал ее с лица.

Он ехал, глядя на толстый затылок подполковника, на молодцеватую посадку Суворова. Глядя на него, бодрого и крепкого, невольно вспоминались его ровесники, вроде генерал-аншефа Алек-

сандра Прозоровского, который был немощен и дряхл и не мог без посторонней помощи влезть в седло.

Столыпин уже около месяца служил у Суворова, начинал понемногу узнавать его, свыкался с его обычаями.

Напрасно некоторые знакомые в Петербурге пугали Столыпина, что служить у графа Суворова будет трудно. Правда, день у него начинался не тогда, когда у других, а необычайно рано — Александр Васильевич вставал в два часа ночи, — но ведь у каждого свои привычки.

Служить адъютантом у графа Суворова было едва ли труднее, чем у надменного Репнина, скупца Николая Салтыкова, которым командовала жена, или у взбалмошного Каменского. Каменский однажды отколотил арапником своего родного сына за то, что тот, как показалось отцу, недостаточно быстро явился к нему.

Нелегко было служить и у покойного Потемкина: от княжеских причуд доставалось адъютантам.

Суворов — порывист и горяч, но, в сущности, чрезвычайно добрый человек.

Все его «причуды», о которых так был наслышан Столыпин до приезда в Варшаву, здесь получили совершенно иное освещение.

Завистники Суворова из придворных, все семьи девяти генерал-аншефов, которых обогнал в фельдмаршальстве неродовитый Суворов, их родственники и друзья — все старались обнести Суворова, рассказывая о нем разные небылицы. Особенно изощрялись в насмешках над тем, как генерал-аншеф Суворов, теперешний, стало быть, фельдмаршал, пел в польском походе петухом.

«Слыхали, наш-то фельдмаршал каков? Петушком, поет!» — хихикали петербургские сплетники, резонно умалчивая, при каких обстоятельствах и зачем это делалось.

Ко всем рассказам о Суворове Столыпин старался относиться беспристрастно, но все же невольно думал и сам: действительно, чего ради почтенный человек, генерал, так, за здорово живешь, поет петухом? Это его тоже коробило.

Но в Варшаве он узнал настоящую подоплеку кочетиного пения Суворова. Обо всем рассказал ему шурин, секунд-майор Аким Васильевич Хастатов, старый сослуживец Суворова.

«Шли мы, — словоохотливо рассказывал Хастатов, — по чужой земле. Кругом много всякого народу: кто за нас, кто против, как их разберешь. Значит, надо держать ухо востро. Вот наш батюшка Александр Васильевич и дает приказ: «Войскам выступать, когда петух запоет!» Коротко и ясно. Теперь надо понимать насчет петуха. Ежели бы это был обыкновенный петух, тогда всякий младенец знает: петух поет перед полночью и перед светом. Значит, легко предупредить своих — дескать, русские выступят тогда-то, встречайте. Но что делать, коли это петух необыкновенный, суворов-

ский? И поет он, когда захочет. И вот часиков в семь вечера наш батюшка вскочит с сенника, хлопнет в ладоши, закричит «кукареку», барабанщики ударят в барабаны, трубы подхватят, и, глядишь, через десять-пятнадцать минут нас и след простыл. Лови, лях! Кто не знает, тому, может, и верно смешно: генерал-аншеф по-кочетиному заливается. А как знаешь, тут не смеяться, а удивляться надо: умен, осторожен человек!»

Столыпин был согласен с шурином. Он видел: Суворов прикидывается, играет роль, а на самом деле не так прост, как может показаться поверхностному, ненаблюдательному человеку.

...Всадники проехали небольшой лесок и вдруг очутились перед лагерем Елецкого полка.

Был полдень. Лагерь отдыхал.

Стоявший у пирамиды часовой, видимо, сразу признал фельдмаршала.

— К ружью! — истошно закричал он.

Суворов скакал куда-то в гущу палаток.

«Куда он?» — шпоря своего коня, недоумевал Столыпин.

Фельдмаршал осадил коня у палатки, возле которой стоял огромный, с добрую кадку, барабан.

— Яков Васильич! — нагибаясь с седла, окликнул весело, по-приятельски Суворов. — Яков Васильич! Господин Кисляков!

— Асеньки? Ах ты господи! — послышалось из палатки.

Палатка заходила ходуном, и через секунду из нее выскочил высокий, весь седой барабанщик.

— Здравствуй, отец наш Александр Васильич! — радостно приветствовал он фельдмаршала. — А я-то сплю... — укорял себя барабанщик.

— Здоро́во, Яков! Ты — чудо-богатырь! Ты — русский!

Барабанщик надел каску и, проворно схватив барабан, стал натягивать бунты. Сразу было видно — мастер своего дела. Такой барабанщик, который и марш бьет, и водку пьет, и табак нюхает — все в такт.

— В бою при Бресте ядро прошибло у него барабан. Яков Васильевич ворвался к ляхам, выхватил у них барабан и ударил поход. Вот он каков! — рассказывал, обернувшись к Столыпину, Суворов. — Ну, как польский барабан, хорош?

— Справен, батюшка Александр Васильич. Мертвого подымет!

— Так бей тревогу, Яков!

Кисляков не заставил себя ждать. Взмахнув палками, он истово ударил в барабан.

— Свой народ надо знать. Румянцов через десять лет узнал в Орле сторожа, который был рядовым в Катульском бою. По имени его назвал, поцеловал! — кричал, нагибаясь к Ивашеву, Суворов.

«Вот те и чудак! Как бы не так!» — подумал Столыпин, едучи за Суворовым сзади.

Глава вторая

В ПЕТЕРБУРГЕ

I

Замолчавший в своем углу подполковник Ивашев вдруг сладко захрапел.

«Умаялся Петр Никифорович!» — улыбнулся Суворов.

Дорога была отвратительная: промерзшую осеннюю грязь едва прикрыл небольшой снежок. Дормез подскакивал, немилосердно тряс.

Александр Васильевич сидел с закрытыми глазами, — глаза уже с год болели. Да и смотреть было не на что и некуда: стекла дормеза закрыли, — на улице дул резкий ветер, за стеклами ночь, поля, снег.

«Спит, бедняга. Это я его доконал пением. Не любит Петр Никифорович петь».

От тоски и ничегонеделания в этом «путевом заточении», как окрестил свое путешествие Суворов, он взялся было за любимое развлечение на досуге — петь по нотам. Ноты он возил с собою. Сам пел первым басом, а Ивашеву предложил петь теноровую партию.

Ничего не вышло.

«В военном деле спелись, а тут — кто в лес, кто по дрова. Вот издеваются над Суворовым. Дураки смеются: мол, петухом поет. А поживи с мое, запоешь и курицей... Финляндия. Каменно-мшистые места. Ссылка. Херсон. Крепости да солдатские больницы. В Херсоне прожил больше полутора лет в полной праздности... И только в Польше — настоящее дело. Однако скоро ли станция?»

С каждым шагом все дальше уезжал от Польши.

«Польша — больше, — рифмовалось по привычке. — Да сколько их при дворе, что хотят быть *больше!* Завистники. Пускающие плащ по всякому ветру. Сей — глуп, тот — совести чужд, оный — между ними... Клеветники. А ведь чуть не породнился с одним из этих...»

За Наташеньку сватался сын Николая Салтыкова... Наташа была в те годы как порох в его глазу. Вышла из Смольного института через два месяца после Измаила. И сразу — женихи. Замучили женихи. Замучили письма к Хвостову. Жила у двоюродной сестры Груши, которая вышла замуж за Димитрия Ивановича Хвостова. Обуза Грушеньке. Обуза Димитрию Ивановичу.

И тотчас же представился грязный канал, у набережной которого стоит дом Хвостовых. Щепки по каналу плывут, тряпки. Валят в него разный мусор. Насупротив дома — Никольский рынок. Лавки. Дуги. Кумачовые платки, рукавицы. Подсолнухи. Баранки.

...Крюков канал. «Крючок».

Безбородко, Александр Андреич. Секретарь Екатерины II. Говорит о Суворове: «Не нашелся в нужных по обстоятельствам мерах». Недовольны, что в 40 дней умиротворил Польшу. Вызывают к себе в Петербург. Боятся, что Суворов очень милостив с побежденными.

— Я только военный человек и иных дарованиев чужд!

Сразу писал Румянцову: «Кабинетной политики не знаю...»

— В кабинете лгут, в поле бьют.

Упреки Суворову: слишком мягок с поляками — не взял контрибуции, забыл прошлое.

— Человеколюбием поражать противника не меньше, чем оружием.

Отпустил на свободу 18 польских генералов и более 800 офицеров.

Каждый день к нему — просители: офицеры и статские. Едут в Петербург по своим делам. Просят оказать помощь. Любомирский, Модзалевский, Иозефович — всех не упомнишь. Писал Наташе. Всё на ее плечи. Всех ей принимать, угощать...

Наташа живет уже самостоятельно. Наташа уже замужем за Николаем Зубовым. За старшим братом любимца императрицы Платона.

Суворов воевал в Польше, когда Зубов посватался.

Грушенька, Аграфена Ивановна Хвостова, двоюродная сестрица, нашептывала Наташе: у этого рука больная, тот кривой, у того нос долог.

Конечно, приискивали Наташе женишка, чтоб себе повыгоднее.

— Дешева рыба на чужом блюде!..

Отбила, отговорила разных женихов. Сватался сын Николая Салтыкова — мальчик для воспитания. Подзуживала: слепой, кривой!

Потом Долгорукий Сережа. Хороший парень. Благонравен, не мот. Чиновен. Грушенька выискала, нашла: родня Николаю Салтыкову, неудобно. Димитрий Иванович писал о нем, явно обносил: «ветроверие»...

Еще — Трубецкой. Единственный сын: добрых поступков и воспитания. Премьер-майор. А оказалось — пьет. Вся родня пьет. В долгу как в шелку.

Дальше — Эльмпт, самый приятный Александру Васильевичу из женихов. Юноша тихого портрета. Лица и обращения не противного. В службе беспорочен. По полку — без порицания. Хвостовы высмотрели: у Эльмпта рука плоха. От дуэли. Так не так, а брак.

И вот — пятый...

Раз-два-три-четыре-пять,
Вышел зайчик погулять...

Вышла замуж.

За жениха предстательствовала сама царица. А Наташа раз уже писала, что без отрицания исполнит волю отца купно с волею императрицы.

Люб или не люб — уговорили. Двадцатилетнюю девчонку легко уговорить, — молодо-зелено. Жених-то не стар, но и не из очень молодых: на десять лет старше невесты.

Николая Александровича Зубова Суворов давно знает. С турецкой кампании. Служил ничего. Александр Васильевич посылал его из армии к царице со столь радостным известием о рымникской победе.

До замужества Наташа правила судьбой отца. Теперь — отрезанный ломоть, и он свободная птица.

Свадьба была восемь месяцев назад, в апреле.

— Хорошо, что не в мае, — век маяться...

...Ох и намаялся же в Финляндии и в Херсоне.

— Лучше бой!

Шли на приступ Праги с песней:

Ах, на что ж было огород городить,
Ах, на что ж было капусту садить?

Вспомнились стихи, что послал Державину из Варшавы в ответ на его поздравление:

Ах! Сродно ль той прибегнуть к мщенью.
Кто век свой милости творит!
Карать оставя провиденью,
Сама, как солнце, возблестит!

Поляки, магистрат города Варшавы, поднесли Суворову золотую табакерку с надписью: «Warszawa — zbawcy swemu»[1].

— А цел ли жезл?

Он невольно тронул лежавший позади сверток. Там шкатулка с орденами. Там фельдмаршальский мундир.

Выплыло жирное, всегда веселое лицо Безбородки.

Нескладный. Ноги толстые в белых чулках. Чулки почему-то всегда сползают. Точно покойный великолепный князь Тавриды Григорий Александрович. Неряха. Женолюб.

...Как еще Наташа убереглась? Сначала, после Смольного, жила во дворце у Екатерины II. Царица подарила ей свой вензель, отличила. Пожаловала в фрейлины.

---

[1] Варшава — своему избавителю *(польск.)*.

Александр Васильевич поступил резко, по-солдатски: взял Наташу домой. Поместил у своей младшей сестры Машеньки, а потом к старшей — Ане Горчаковой, к ее дочери Груше.

Царицын двор.

— Для двора потребны три качества: смелость, гибкость, вероломство.

Пришли на ум стихи из Ал-Корана. Сура[1] 109-я. Сура ал-кафирин[2].

Хорошо там сказано:

Ля а' буду ма та' будун.
ва ля антум а бидуна ма а буду[3].

...Надоело сидеть ничего не делая. Устал, от тряски заболела спина.

— Скоро ли приедем?

Постучал кулаком:

— Прошка, скоро ли?

— Скоро, уже видать! — весело откликнулся с козел.

— Ишь к молодой жене едет, так не брюзжит, как муха в щели!

Молодка, молодка, молодая...
Солдатка, солдатка, полковая... —

запел вполголоса, чтобы не разбудить Ивашева.

Наконец приехали, стали.

— Петр Никифорович, приехали!

— Что? Что? — вскочил тот.

Суворов уже отворил дверцу и с удовольствием вылез из дормеза.

У небольшой хаты стоял с фонарем адъютант Столыпин, который на перекладной тройке ехал впереди с поваром, заготовляя ночлег и еду.

— Ну как, мальчик? — спросил его Суворов.

— Все готово, ваше сиятельство. Постель, самовар, вода.

— Молодец!

Суворов взбежал на крылечко. Повар Мишка стоял у раскрытой двери:

— Пожалуйте сюда, ваше сиятельство!

Суворов вошел в маленькую комнатку, — в этой половине дома было всего две комнаты.

---

[1] Сура — глава.

[2] Глава «неверных».

[3] Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь, и вы не поклоняетесь, чему я поклоняюсь *(араб.)*

В печке ярко горели дрова. На лавке шумел самовар. За тонкой перегородкой — вторая комната. В углу возвышалось сено, покрытое простыней, лежала подушка, суворовский плащ, которым Александр Васильевич накрывался. Стояла кадка с водой, ведро.

На столе, освещая посуду и приготовленный ужин, горела в походном подсвечнике свеча.

Суворов сбросил на руки Столыпина шинель и заходил по комнате, разминаясь после долгого сиденья.

— Бисм-алла́хи-р-рахма́ни-р-рахи́м![1] — повторял он.

Надо раздеваться, окатиться водой — и за чай.

Он сел на табурет и подставил Прошке ногу:

— Ну, тяни сапог!

Прошка стащил сапоги.

Суворов перешагнул во вторую комнату, где стояла вода, мигом разделся и приказал Прошке:

— Лей!

Прошка облил его холодной водой.

— Эх, хор-рошо! Эх, чудесно! — приговаривал Суворов, растираясь. — Готов! Полотенце!

Он схватил из рук камердинера полотенце и, вытираясь, запрыгал по комнате, напевая:

— Бисм-Аллахи-р-рахмани-р-рахим! Бисм-Аллахи...

— Ратуйте! Матка Бозка! Иезус, Мария! Ратуйте![2] — раздался вдруг истошный бабий вопль из угла.

Что-то черное шлепнулось с печки, — Суворов невольно отскочил в сторону и глядел с изумлением.

Это была старуха. Она дико вытаращила глаза на Суворова и с криком «ратуйте» кинулась опрометью вон из хаты.

— Что такое? Откуда она? — спросил Суворов.

Столыпин бросился за старухой вдогонку.

Повар Мишка, пряча улыбку, чесал в смущении голову:

— Тут, ваше сиятельство, должно, запечье есть. Стало быть, старушка задремала, не слыхала, как мы прибирали, а потом и перепугалась.

— Да вы-то чего смотрели?

— Кажись, все осмотрели, а вот какое дело...

Через минуту вернулся Столыпин.

— Ну, что она?

— Испугалась, ваше сиятельство. Говорит: думала... простите, — замялся адъютант.

— Черт, — подсказал Суворов.

---

[1] Во имя Аллаха милостивого, милосердного! *(Араб.)*

[2] Спасите! Матерь Божия! Иисус, Мария! Спасите!

— Так точно, черт!

— Конечно. Голый человек скачет по хате, говорит неизвестно по-каковски — не кто иной, как черт! — смеялся Суворов. — Старуха-то ведь по-арабски не знает. Снеси-ка ей рубль, а то еще родимчик прикинется!..

II

В пути Столыпин все время ехал впереди фельдмаршальского дормеза. Суворов приказал ему:

— Поезжай к князю Петру, скажи: никаких встреч. Солдат зря не морозить!

Князь Петр Багратион, командир егерского батальона, сразу же послушался. Он тотчас распустил приготовленный для встречи батальон и только сам дождался любимого начальника.

Суворов обнял храброго князя:

— Тебе, Петр, я всегда рад!

Лошадей быстро перепрягли, и дормез пошел трястись дальше.

Суворов всю жизнь мечтал о фельдмаршальстве, — все знали об этом. И можно было бы ожидать, что, добившись исполнения желаний, Суворов вдоволь насладится всеми почестями высокого положения.

Но и здесь Суворов поступил не так, как все.

В фельдмаршальстве ему важна была сущность: это звание открывало Суворову более широкое поле для военной деятельности на благо отечества.

Почести же Суворову были не важны. Он не любил, чуждался их. И остался таким же простым, как всегда.

В Гродне Суворова должен был встречать с рапортом генерал-аншеф Репнин, который еще так недавно был взыскательным начальником Суворова.

В Гродне Суворову вдвойне не хотелось задерживаться: с князем Репниным он не ладил — не любил его приверженности ко всему прусскому. Репнина он обошел в фельдмаршальстве, — о чем же было с ним говорить?

И на последней станции перед Гродной Суворов отправил Столыпина просить князя Репнина не делать никаких встреч.

— Для Николая Васильевича парад важнее баталии. Да и упражнялся он больше в дипломатических изворотах. Солдатского в нем мало. Не отменит встречу, — думал вслух Суворов, отправляя Столыпина. — Ну да, впрочем, мы и сами с усами! Поезжай, доложи!

Репнина Суворов знал отменно: для него буква была важнее сущности.

— Я не могу нарушить повеления императрицы, — сказал он Столыпину, который явился в Гродне к генерал-аншефу.

Репнин остался ожидать фельдмаршала.

Столыпин с адъютантом Репнина князем Гагариным, знакомым Столыпину по Петербургу, прошли к почтовой станции, где были приготовлены лошади для суворовских экипажей.

— И ты, Саша, говоришь, что фельдмаршал ни за что не остановится в Гродне? — спросил князь Гагарин, который очень хотел увидеть Суворова, так как еще ни разу не видал его.

— Разумеется.

Не прошло и получаса, как они увидали скачущую во весь опор кибитку. Рядом с кучером на козлах сидел толстощекий курносый Мишка-повар. Самая кибитка была закрыта рогожей.

Столыпин все понял. Он засуетился, стараясь поскорее перепрячь лошадей. А князь Гагарин, не обращая внимания на кибитку (в ней, разумеется, едут слуги Суворова), ходил, вытягивая шею, смотрел вдаль — не покажется ли фельдмаршальский дормез.

— Гляди, Мишка, чтоб у тебя было все готово! — сказал повару Столыпин.

— Будет, — улыбнулся повар.

Кибитка умчалась.

— Ну что, Пашенька, видал фельдмаршала? — спросил Столыпин у Гагарина.

— Какого фельдмаршала? — удивился тот.

— Александра Васильевича, графа Суворова-Рымникского.

— А где же я его мог видеть?

— Да ведь фельдмаршал-то уже проехал.

— Где? — завертел во все стороны головой Гагарин.

— В кибитке.

— Не шути!

— Не веришь? Вон скачет графский дормез — можешь сам влезть в него и убедиться, — смеялся Столыпин.

Когда дормез остановился, Столыпин распахнул дверцу. Гагарин боязливо заглянул в него.

— Да закрывай, не студи! Какого черта! — раздался оттуда сердитый хриплый голос.

И взорам удивленного Гагарина предстала сонная небритая рожа камердинера Прохора, который спал в дормезе, вытянувшись врастяжку.

Столыпин попрощался с Гагариным и влез к Прошке в дормез.

Гродна осталась позади.

III

В Стрельну встречать победителя Варшавы и Праги приехали князь Николай Александрович Зубов (Суворов впервые встречался с Николаем Зубовым как с зятем) и суворовские генералы Арсеньев и Исленьев.

Императрица выслала за фельдмаршалом пышный придворный экипаж — георгиевский: восьмистекольную роскошную карету, запряженную восьмеркой лошадей, и весь конюшенно-придворный штат в ливреях и галунах.

Мороз с каждым днем жал все сильнее и сильнее, и в этот день градусник показывал минус 22 градуса. К тому же дул сильный ветер. Он точно обжигал лицо и руки.

Лейб-форейторы и гайдуки с красными от мороза и ветра лицами, под стать красным обшлагам своих нарядных зеленых кафтанов на лисьем меху, толпились у крыльца, топали, оттирали носы и уши, ждали отъезда.

Фельдмаршал Суворов одевался. Зубов привез ему от Наташи новую ленту для косички и коробку пудры.

Наконец Александр Васильевич был готов.

Суворов вышел к зятю и генералам — выбритый, свежий, пахнувший своим любимым оделаваном, в новеньком фельдмаршальском мундире, шитом золотом, со всеми многочисленными русскими и иностранными орденами, со шляпой в руке, на которой сиял алмазный бант.

— Ну что ж, господа, поедем, — сказал он и так, не надевая шинели, пошел из комнаты.

«Все такой же», — подумал о Суворове Зубов.

Зубов недоумевающе глянул на генералов: в этакий мороз — и без всего, как же это?

Оба генерала шли за Суворовым и не думая одеваться. Арсеньев был в пехотном зеленом, а Исленьев — в белом кавалерийском мундире. Глядя на него, делалось как-то еще холоднее.

Зубов с тоской посмотрел на свою теплую соболью шубу, соболью муфту и шапку и вышел. Делать нечего, приходилось ехать в таком же виде, в каком собирался ехать фельдмаршал.

— Да ведь уже четвертый час, темно, кто же нас увидит, — не выдержал, шепнул он Арсеньеву.

Тот лишь пожал плечами и на ходу заранее уже растирал уши.

— Помилуй Бог, да я в такой карете отроду не езжал! — весело сказал Суворов, садясь в георгиевский экипаж.

Зубов, которого уже прохватила дрожь, сел рядом с тестем. Хотелось бы хоть прижаться к соседу — ведь этакий холод, — но показать Александру Васильевичу, что боишься холода, нельзя, засмеет: солдат боится мороза!

Против них сидели, нахохлившись, Арсеньев и Исленьев.

«Хоть бы он голову накрыл», — подумал начинавший лысеть Зубов.

Но фельдмаршал сидел, держа голыми руками шляпу на коленях.

От двадцатиградусного мороза и ветра их защищали только восемь зеркальных стекол кареты.

Суворов сидел прямой, со своим всегдашним румянцем на щеках, и так покойно, будто в теплой горнице.

...Через полтора часа георгиевский экипаж подъезжал к Зимнему дворцу. Несмотря на холод, в Петербурге на улицах толпился народ — ждали своего прославленного героя. За каретой бежали, кричали:

— Ура! Ура, Суворов!

Этой встрече Суворов был рад. Он опустил одно окно и отвечал на приветствия народа, не обращая внимания на то, что его зять весь дрожит как в лихорадке.

Суворов сначала пошел вместе с зятем на половину Зубовых.

Когда Николай Зубов подымался по маленькой лестнице к себе вслед за тестем, он не чувствовал ни ног, обутых в легкие сапожки, ни рук, ни ушей. Дрожащими от холода губами он шепнул Столыпину, который нес за ними вещи Суворова, и в том числе его шинель:

— Твой молодец всех нас заморозил! Что он — шинели не хотел своей надеть, что ли? — не понимал Зубов.

Столыпин молча пожал плечами: что-либо говорить было нельзя — в двух шагах перед ними шел Суворов.

IV

...в царском пышном доме
По звучном громе Марс почиет на соломе.

Державин

В десятом часу вечера та же восьмерка лошадей отвозила Суворова в Таврический дворец, в котором были приготовлены покои для фельдмаршала.

Теперь Суворов сидел, надев поверх парадного мундира и всех орденов старую светло-зеленую шинель. Она была так длинна и широка, что в поездке Суворов укутывался ею с головою и ногами.

К ночи мороз еще больше усилился, хотя ветер и стих. На улицах не было видно ни души. Мороз скрипел под тяжелыми, крашенными в желто-черную краску колесами георгиевского экипажа.

«Точно бочку водовоз тащит!» — мелькнуло в голове.

Деревья стояли все в инее, как напудренные. В тусклом свете фонарей виднелись безголовые, бесформенные будочники, утонувшие в необъятных тулупах.

Суворов сидел, думая о прошедшем дне: о своем торжественном въезде в столицу, о встрече с детьми — Наташенькой и сыном Аркадием, которых не видел три года, о милостивом приеме у императрицы.

Что ж, Наташенька уже — отрезанный ломоть. У нее своя семья, свои заботы. Скоро, очень скоро Александр Васильевич будет дедушкой.

Сынок Аркаша все время жил у маменьки, а теперь Варвара Ивановна передала его отцу на воспитание. Он вырос. Уезжая в Херсон в 1792 году, Александр Васильевич оставил сына семилетним маленьким мальчиком. За три года Аркаша вытянулся чуть ли не с папеньку ростом. Красивый, стройный мальчик.

«Не избаловали бы его похвалами красоте. Вырастет Нарциссом».

Матушка императрица встретила весьма ласково.

«Как она еще держится молодцом! Лет ей, кажется, уже шестьдесят пять, а все зубы и лицо свежее. Это мужику шестьдесят пять годов — ништо. У меня вон солдаты в таких летах какие еще крепкие и бодрые, а то ведь женщина!..» — подумал Суворов.

Усадила Александра Васильевича, угощала кофеем.

— Теперь моя обязанность — успокоить вас за все трудные и славные подвиги, за возвышение отечества!

— Вами гремит в мире наше отечество, — ответил Суворов.

Забеспокоилась о нем: как доехал?

(Вероятно, князь Николай Александрович пожаловался брату, что Суворов заморозил его. Давно служил с Суворовым, отвык от солдатской жизни, а напрасно: солдат и в мирное время — на войне!)

— Как же это вы ехали в одном мундире, без шубы? Не простудились бы, сохрани Господи!

— Ништо солдату и без шубы деется — идет да греется! — шутил Суворов. — Ничего, ваше величество, я привычный!

...Невский остался позади, позади домики Литейного. Чем дальше от центра, тем все тусклее огоньки, мельче домишки. Скоро и Таврический дворец.

Вот он наконец! Вот оно, возмездие!

Тогда, в апреле 1791 года, когда в Таврическом чествовали Потемкина как победителя Измаила, Суворов лазил по финским болотам и скалам. Суворова выгнали из Петербурга. Потемкин не захотел, чтобы Суворов был в Таврическом дворце гостем, теперь же будет в нем — хозяином!

Мелькнула красивая решетка дворца.

Восьмерка круто подкатила к крыльцу и остановилась. Гайдуки раскрыли дверцы. Лакеи кинулись высаживать, поддерживать фельдмаршала, помочь сойти, но он отстранил их помощь:

— Помилуй Бог, я не архимандрит, я сам!

Он проворно взбежал по ступенькам крыльца.

Фельдмаршала здесь ждали: двери отворялись перед ним заранее, и лакей в белых шелковых чулках, в шитых золотом ливреях кланялись из каждого угла, ловили его каждое движение.

Суворов, не сбрасывая ни шинели, ни шляпы, пробежал по всем роскошным покоям до самой спальни.

В небольшой уютной комнате ворох душистого чесаного (видимо, ни одного сучка, ни одного стебелька потолще) сена. Оно покрыто простынями и китайским шелковым одеялом, на котором яркие цветы и невиданные птицы. Диван. Кресла. Стол. На столе свечи. В углу — камин. Ярко горят дрова. У камина — дремлющий в креслах Петр Никифорович Ивашев.

— Я так и знал. Спасибо, что обождали, Петр Никифорович, — обрадовался Суворов. — Сейчас все расскажу.

В комнате рядом — гранитная ваза с водой, серебряный таз, ковш. Мохнатое полотенце. Зеркала все завешены.

Улыбнулся:

— Все, поди, Наташенька рассказала — что любит, чего не любит.

Вернулся в спальню. Снял шинель и шляпу:

— Да сиди, Петр Никифорович, я к тебе сейчас сяду. Вот, чтобы не измять, — вынул из кармана толстый пакет. — Царица спросила: не забыл ли кого наградить? И я вспомнил — капитан Лосев. Довольно наказан за хвастовство. Виноват, мол, говорю, упустил одного капитана. Хороший, храбрый солдат. Давно пора бы наградить, да больно расхвастался, так я его попридержал... «Вина, — говорит, — ваша, Александр Васильевич, невелика. Он наказан поделом. Садитесь и напишите сами ему достойную награду за доблесть и ожидание, а я подпишу». Читай, все ли я помянул. Читай, Петр Никифорович, вслух, каково звучит?

Ивашев развернул толстый лист. Прочел:

«Его высокоблагородию капитану Апшеронского мушкатерского полка Сергею Лосеву

За Мачин — майорский чин,
За Кобылку и Брест — Георгия крест,
За Прагу — золотую шпагу,
За долгое терпенье — сто душ в награжденье.

Екатерина.

— Будет доволен? — спросил Суворов.

— Еще бы, ваше сиятельство!

— Возьми отошли. Эй, Прошка, раздеваться!

Из-за портьеры бесшумно появился придворный лакей, важный, точно министр.

Суворов подбежал к нему:

— Что прикажете?

— Для услуг вашего сиятельства.

Суворов окинул его с ног до головы. В таких белых перчатках помогать стаскивать ботфорты?

— Милостивый государь, возвратитесь в свою комнату. А мне прошу прислать моего мальчика!

И, повернувшись, быстро подошел к камину. Сел на корточки, протянул к огню руки:

— Хорошо. Тепло. А на дворе, Петр Никифорович, морозина — градусов двадцать пять!

Послышались знакомые, не лакейские — осторожные, а твердые Прошкины шаги. Дверь отворилась, и предстал главный камердинер Прошка.

Он был необычайно торжествен, выбрит и чист. Мундир застегнут на все пуговицы, ни один рукав не вымазан в известке, лицо лоснилось, точно его смазали салом.

Дворцовая обстановка — люстры, гобелены, золоченая мебель — не смущала Прошку. Стесняло одно — выпиравшая, рвавшаяся изнутри икота. Сдерживался, подавлял ее.

— Вот это — иной разговор! Вот это — солдат. А то напудренный маркиз в белых перчатках станет снимать с меня сапоги!

— Лакеев полон дворец, а надобно меня тревожить... А еще — «мальчик». Какой я «мальчик»? Я главный камардин! Мне сорок годов, — выпалил одним духом и потом уже, прикрыв рот рукой, икнул Прошка.

— Ну, насчет сорока годов ты это, брат, своей куме рассказывай, — рассмеялся Суворов. — А гляди-ка, Петр Никифорович, как наш Прохор Иваныч в столице похорошел, а? — повернул он Прошку за рукав. — Красив, помилуй Бог, красив!

Прошка не устоял против лести — усмехнулся.

— Давайте, — икнул он, — лучше мундер, чем глупости-то сказывать, — подавил он благодушное настроение.

Он бережно снял мундир и повесил его.

Суворов сел в кресло, подставил Прошке ногу. Прошка привычно стянул ботфорт.

— Ну, что жена-то, Катюша, здесь? Видал уж? — подмигнул Ивашеву Суворов.

Прошка ухмыльнулся:

— Здеся.

— Как она? Все такая же толстая?

— А что ей делается?..

— Угощал?

— Угощал.

— Пряников, сладкой водочки поднеси. От меня, слышишь?..

— Премного благодарен, — икнул Прошка. — Поднесу.

Он надел барину туфли.

— Принеси варенья и воды. А их высокоблагородие ужинали? — показал он на Ивашева.

— Я сыт, ваше сиятельство. Благодарствую! — поспешил ответить Ивашев.

— Ужинали.

— Тащи вишневого. Или крыжовника. А подполковнику стаканчик наливки. И ступай милуйся со своей Катенькой!..

— Скажете!.. — в последний раз икнул Прошка и вышел.

Подав барину варенье и воду — всегдашний ужин Суворова — и стакан наливки подполковнику Ивашеву, Прошка вернулся в лакейскую. Он сидел в кругу придворных лакеев. Стол был обильно уставлен закусками и бутылками.

Катюша, толстощекая разбитная бабенка лет тридцати пяти, румяная от выпитого вина, от непривычной высокой компании, от восхищения своим муженьком, сидела в углу.

А тот, нимало не стесняясь ни такой необычной компании, ни возлияний, лил пули:

— Я же сказывал вам: без меня фитьмаршал не разденутся. Без меня и спать и не лягут. Без меня они, можно сказать, ничего не стоят... Бывало, в энтой самой Туреччине, аль в Фильяндии, аль хотя бы и в Польше, в Варшаве... Первое дело: а где Прохор Иваныч? А Прохор Иваныч сыт? А ты, Прохор, пил-ел?

— Прохор Иванович, — перебил его главный дворецкий, — извольте выкушать.

Прошка не отказался, выкушал и продолжал:

— А что вот в стражениях... — И он выпучил для большего впечатления глаза. — Вот при етом самом, — повертел он пальцами, — при ка-к его... при Рымнике, — словно вдруг вспомнил он. — Едем мы с ним в разведку. Он да я, ей-богу. Ядра гудят, пули визжат...

Ливрейные слушали затаив дыхание. Ужасались. Восхищались.

«Главный камардин» заливался соловьем.

V

Первый день жизни в Таврическом дворце доставил много хлопот адъютанту Столыпину. С утра ко дворцу стали съезжаться вельможи, разные военные чины — представиться фельдмаршалу Суворову.

Фельдмаршал давно уже встал. Уже напился чаю, но ни выходить в залу, ни принимать кого-либо не хотел.

Съезжались те, кто никогда, не будь бы Суворов фельдмаршалом, не подумал бы приехать, кто раньше едва раскланивался с ним. А теперь спешат, торопятся. С вечера, поди, пили-гуляли, не выспались и — чуть свет приехали.

Притворство!

А притворства он не любил.

И Суворов сидел, читал французские и немецкие газеты — утрехтские, лейденские, берлинские, гамбургские, кенигсбергские, эрлангенские, что ежегодно выписывал для себя на адрес Хвостова.

Столыпину то и дело приходилось входить в спальню к фельдмаршалу и докладывать.

— Обер-полицеймейстер бригадир Глазов.

— Полиция мне зачем? — не подымая головы от газет, неласково спрашивал Суворов. — С Прошкой и без полиции управлюсь.

— Обер-прокурор Святейшего Синода.

— Я в архимандриты не собираюсь.

— Почт-директор.

— Газеты получил. Лошадей не надо — уезжать никуда пока не думаю.

— Спрашивали: когда же вы будете выходить?

— Чего я там не видал? О чем мне с ними говорить! Никого не приму! — отворачивался Суворов.

— Державин.

— Гаврилу Романовича проси! — вскочил с места. — Гаврила Романович, друг мой! — кинулся он навстречу поэту.

Суворов обнял его и повел в следующую комнату. Закрыл за собою дверь.

Александр Васильевич и Державин о чем-то оживленно говорили. Слышался смех Суворова, — он сразу оживился, повеселел.

А бедный адъютант не знал, что и делать с приемной, что говорить этим важным гостям.

Вот снова подъехали к крыльцу. Столыпин увидал восьмерку лошадей, императрицыну карету с гербами. Он еще не сообразил, кто это пожаловал, как отовсюду раздался удивленный шепот:

— Зубов! Платон Зубов! Сам Зубов!

Столыпин сорвался с места и побежал предупредить Суворова.

— Одевайтесь, ваше сиятельство, Зубов! — сказал он, вбегая к Суворову.

— А что, разве я не одет? — посмотрел на себя фельдмаршал.

Он был в своем всегдашнем простом кафтане. На шее — один орден Анны.

Державин смотрел, недоумевая.

— Платон Александрович тоже принимал меня в затрапезном...

Столыпин повернулся, чтобы встретить Зубова, но он входил уже, украшенный орденами, с лентой через плечо, в пышном шелковом кафтане.

Столыпин выскользнул из спальни. Он только услышал, как Зубов сухо спросил:

— Как ваше здоровье, граф?

В словах должно было быть участие, но в тоне слышалось только негодование.

Зубов пробыл у фельдмаршала минут пять. Он вышел и быстро прошел через залу, провожаемый униженными поклонами сановников.

С его отъездом зала быстро опустела. Вельможи разъезжались не солоно хлебавши.

И когда уже почти никого не осталось в зале, к крыльцу подкатила карета вице-канцлера Остермана. Столыпин узнал ее по голубым епанчам гайдуков и их высоким картузам с перьями и серебряными бляхами.

— Погоди, Гаврила Романович, я сейчас! — сказал Суворов Державину и как был, так и выбежал из дворца навстречу Остерману.

Гайдуки только успели раскрыть дверцы перед вице-канцлером, как Суворов вскочил в карету к Остерману и захлопнул дверцы.

Он просидел минут десять и вылез из кареты. Остерман поехал назад. Визит был окончен.

— Этот визит — самый скорый, лучший и взаимно не отяготительный, — говорил Державину Суворов. — Человек он древний, помилуй Бог, зачем же его заставлять утруждаться.

— Александр Васильевич, мне тоже, пожалуй, надобно уезжать, — поднялся Державин.

— Нет, дорогой Гаврила Романович, тебя я не отпущу. Тебе я рад. Будем вместе обедать. Кого ж это еще бог дает? — спросил он у Столыпина, который снова шел с докладом.

— Камер-фурьер императрицы.

— Пусть входит.

В комнату вошел щегольски одетый камер-фурьер. Он держал в руках какой-то большой сверток.

— Здравия желаю, ваше сиятельство!

— Здоро́во, голубчик!

— Ее императорское величество изволят спрашивать, как здоровье, как отдыхали, ваше сиятельство?

— Отдохнул, помилуй Бог. Спали-ночевали, весело вставали. А здоровье — что! — Он громко вдохнул в себя воздух, выдохнул, точно проверял, не болит ли где-нибудь. — Здоров!

— Их величество очень беспокоятся. Вчерась, говорят, таким манером ехали... Вот изволили прислать вашему сиятельству в подарок шубу...

Камер-фурьер развернул сверток. В нем была прекрасная дорогая соболья шуба, крытая зеленым бархатом, с золотыми петлицами и золотыми на снурках кистями.

— Их величество приказали: без шубы не выезжать, беречься простуды.

— Спасибо! Вот так подарок. Спасибо! — хвалил Суворов, рассматривая шубу. — Да в ней все — и Измаил и Прага — спрячутся. Помилуй Бог, в ней я буду как Безбородко. Эй, Прошка!

Вошел сумрачный с похмелья главный камердинер Прошка.

— Вот видишь, матушка царица, милостивица, подарила шубу.

Прошка смотрел молча.

— Чего же ты молчишь?

— А что ж я буду сказывать? Чай, не мне, а вам подарена...

Державин улыбнулся. Суворов только кивнул Гавриле Романовичу: вот, мол, каков гусь!

— Возьми ее и храни!

Прошка подошел и взял из рук камер-фурьера дорогую шубу.

— А ты, братец, передай матушке царице: Суворов премного благодарен! Суворов в ножки ей кланяется, что она помнит старика! Да на, возьми вот.

Суворов протянул камер-фурьеру золотой и провожал его через все комнаты до выхода. Провожал так, как не провожал фаворита Зубова.

VI

Александр Васильевич собрался во дворец, — императрица пригласила его на обед. Он надел светло-зеленый фельдмаршальский мундир, шитый золотом, все ордена, бриллиантовые знаки ордена Андрея Первозванного, бриллиантовый эполет, взял шляпу с большим алмазным бантом.

— Прошка, шинель!

— Да ведь у вас шуба есть, что, ай забыли? Разве не наденете?

Суворов секунду раздумывал.

«Как же быть-то? В чем ехать? Неужели он, Суворов, поедет в шубе? Словно придворный генерал. Может, еще, Александр Васильевич, муфту для рук прикажете?» — измывался он сам над собою.

Прохор точно понял сомнения барина:

— Ежели не наденете, царица узнает — обидится. Подумает: брезгует моим подарком!

«А и в самом деле неудобно», — мелькнуло в голове.

— Давай шинель и шубу!

Прошка не знал: ослышался он аль нет? Шубу и шинель, — это уж слишком!

— Ну, что — стоишь? Шинель, говорю, и шубу!

Суворов надел свою старую шинель, а царицыну соболью шубу велел нести за собою в карету. Он положил шубу на колени и так поехал во дворец.

— Вот и волки сыты и овцы целы!

Был только одиннадцатый час, но на площади перед Зимним дворцом громоздились кареты и экипажи. Толпился народ. Суетились полицейские. Кареты не задерживались у подъезда. Высадив седоков, они быстро отъезжали прочь.

Приехав ко дворцу, Суворов снял шинель, надел шубу и в таком виде вышел из кареты. Он с удовольствием сбросил в громадной полутемной прихожей на руки предупредительного лакея эту непривычную ношу.

Мельком взглянул на себя в зеркало, мимо которого проходил, — кажется, все в порядке. И так, со шляпой в руке, быстро пошел по галерее. Длинная галерея казалась от белых мраморных колонн и белых статуй еще длиннее. В конце ее виднелась широкая лестница. На каждой ступеньке лестницы в золоченой ливрее, в белых шелковых чулках, с напудренной, завитой прической стоял лакей.

Суворов, быстро шагая через две-три ступеньки, поднялся наверх мимо величественных колонн и этих изогнувшихся в поклоне лакеев. Чуть взглянул наверх, туда, где, поддерживаемый колоннами, простирался необъятной ширины плафон. На плафоне был изображен Олимп.

Суворов, не останавливаясь, одним духом пробежал аванзалу и роскошную двусветную Белую залу, а затем повернул налево, к общей зале.

Общая зала была последней, куда мог войти каждый, кто имел право являться ко двору. Дальше разрешалось входить лишь немногим. Кроме ближайших к императрице лиц сюда допускались те, кто числился в списке.

Перед дверью, в кирасах и треугольных шляпах, с ружьями у ноги, стояли два рослых кавалергарда: у них был список приглашенных.

Кавалергарды лихо отдали фельдмаршалу честь, пажи раскрыли двери.

Суворов вошел.

К 10 часам утра, окончив работу в кабинете и выслушав доклады статс-секретарей, Екатерина начинала готовиться к обеду. Старый парикмахер Козлов причесывал ее, а затем императрица выходила из внутренней уборной во вторую. Здесь камер-юнгферы прикалывали ей флеровую наколку, здесь императрица вытирала лицо льдом, — других притираний она не признавала. Да она и не нуждалась в румянах и белилах: несмотря на преклонный возраст, лицо у нее было свежее и румяное.

И к окончанию туалета императрицы допускались все приглашенные к обеду.

Суворов не опоздал, — императрицы еще не было, но в уборной уже ожидали ее.

В креслах сидела пожелтевшая и подурневшая Наташенька — она со дня на день ожидала родов. Возле нее в французском нарядном кафтане и башмаках стоял со скучающим видом муж, Николай Зубов, и представительный в своем белом мундире с Георгием на шее и Владимиром через плечо генерал Исленьев.

Тут же сидели две любимицы императрицы — пожилая камер-фрейлина Протасова и еще очень недурная лицом племянница Потемкина статс-дама Александра Браницкая. Возле них, рассказывая что-то веселое, стояли известный остряк обер-шталмейстер Нарышкин и толстый обер-гофмаршал Барятинский.

Поодаль сидели граф Строганов с тучным, ленивым генерал-аншефом Пассеком, заядлым карточным игроком, у которого на языке были только — бостон, фараон, семпеля да соника[1].

Суворов поцеловал и перекрестил дочь, поздоровался с зятем и Исленьевым и подошел приветствовать дам, — с дамами Александр Васильевич был всегда отменно вежлив.

— Вы ничуть не меняетесь, граф! Вы всё цветете! — с милой улыбочкой встретила Суворова Браницкая, которая видела фельдмаршала в первый раз по его приезде из Польши.

— Одни цветы, графиня, производит весна, другие — осень, — ответил Суворов на комплимент комплиментом, подчеркивая слово «весна», хотя хорошенькой Браницкой было уже сорок. — Хорошо, что я отцветаю на солнце: в тени растения ядовиты!

— В ваших словах, Александр Васильевич, тоже иногда медку маловато, — колко заметил обер-шталмейстер Нарышкин.

— Бывает, бывает, — ответил Суворов и быстро перебежал к Пассеку и Строганову.

Поздоровавшись с ними, Суворов вернулся к Наташеньке.

Немного погодя дверь из внутренней уборной открылась и вошла императрица. Она была в парадном парчовом платье с Георгиевской звездой на груди. Ее густые волосы были убраны по старинной моде — в простую невысокую прическу с небольшими буклями сзади ушей. Как все люди маленького роста, Екатерина держалась ровно, не сутулясь, голову несла высоко и оттого казалась выше, чем была.

За ней следовали четыре ее всегдашние камер-юнгферы.

Все встали.

---

[1] Бостон, фараон — карточные игры. Семпеля, соника — карточные термины.

— Здравствуйте, господа! — приветствовала императрица собравшихся. — Как твое здоровье, Наташенька? — участливо спросила она. — Как вы, Александр Васильевич?

Императрица говорила по-русски чисто, но как-то очень старательно, особенно четко произносила каждое слово.

— Благодарствую! Жив-здоров, матушка! — ответил по-солдатски Суворов.

Императрица села к зеркалу. Пожилые камер-юнгферы окружили ее. По-мужски грузная, густо нарумяненная Алексеева подала на серебряном блюде кусок льда. Императрица потерла льдом лицо. Взяла из рук Алексеевой полотенце, вытерлась.

Высокая, костлявая как тарань, глуховатая гречанка Палакучи накалывала тюлевую наколку.

Две сестры Зверевы, когда-то очень красивые девушки, держали шпильки и булавки.

Пока Палакучи примеряла наколку, императрица, не поворачивая головы, сказала:

— Вы небось проголодались, Александр Васильевич? Я знаю, вы привыкли обедать рано. Я вас задержала, простите...

— Ничего, матушка! Все равно на век не наешься. Брюхо, как злодей, старого добра не помнит!

— Уж недолго. Мы сейчас пойдем!

Глуховатая Палакучи, думая, что это относится к ней, насторожилась, вопросительно посмотрела на императрицу.

— Ничего, это не к тебе. Приколи вот здесь. Так!

Она поднялась, оглядывая себя в зеркале.

— Ну, милости прошу, господа, к столу!

Обедали в «бриллиантовой» зале за большим круглым столом. Императрица посадила Суворова рядом с собою, с левой стороны. Справа от нее сидел Платон Зубов.

— Чем потчевать дорогого гостя? — спросила Екатерина Суворова.

— Благослови, матушка, водочкой!

— А что скажут красавицы фрейлины, с которыми вы будете говорить?

— Почувствуют, что с ними говорит солдат!

— Возьмите на закуску вашей любимой редьки, — угощала императрица.

— Премного благодарен! Обязательно возьму. В редьке, ваше величество, пять яств: редька-триха да редька-ломтиха, редька с маслом, редька с квасом да редька — так!.. — приговаривал Суворов, накладывая редьки.

Ему льстило, что императрица старалась угодить гостю, — досконально узнала обо всем, что любит Суворов.

— А что такое «триха»? — немного погодя спросила Екатерина.

— Тертая редька. Триха от слова «тереть».

— А, понимаю, понимаю...

Разговор за столом велся непринужденный. Говорили по-русски.

Царица ела медленно. Макала хлеб в соус, кормила своих двух английских собачек, которые не отходили от ее кресла. Она отставала от других, но, чтобы не задерживать стола, кушанья подавались своим чередом. Камер-пажи подавали ей на нескольких блюдах те кушанья, которые уже были обнесены. Екатерина выбирала какое-либо одно. За обедом она ела мало.

Суворов, по просьбе царицы, рассказывал о штурме Праги. Он увлекся рассказом и тоже отстал от всех.

Екатерина незаметно мигнула обер-гофмаршалу Барятинскому, который сидел напротив нее.

Барятинский подозвал камер-пажа. Тотчас же два пажа в богатых светло-зеленых бархатных мундирах, расшитых золотом не хуже фельдмаршальского, поднесли Суворову с двух сторон по две тарелки сразу.

Суворов даже запнулся на секунду, в недоумении глядя на предложенные блюда.

— Паштет из судака с налимьей печенкой. Репа в малаге, — сказал камер-паж справа.

— Ватрушки с луком. Гренки с мармеладом, — в тон ему доложил камер-паж слева.

Суворов быстро глянул и стал решительно складывать с четырех тарелок на свою одну. Перемешал все и начал с аппетитом есть.

Наташа вспыхнула и уткнулась лицом в тарелку, но за столом никто даже не улыбнулся, точно не видал суворовских проказ.

Обед продолжался недолго, не более часу.

Когда встали из-за стола, Суворов поблагодарил за внимание и умолял императрицу сохранить свой собственный покой.

— Я это приму в вящую себе награду!

— Вот погодите, Александр Васильевич, пройдет Филипповский пост, я вас угощу скоромным обедом. Что вы любите? Какое самое лучшее блюдо?

— Калмыцкая похлебка.

— Что это?

— Кусок баранины и кусочек соли в чистой воде. Самый легкий и здоровый суп.

— Хорошо. Я велю приготовить. Это просто, — улыбнулась императрица. — Приезжайте же обязательно ко мне вечерком, Александр Васильевич, — пригласила Екатерина, — в шесть часов.

— Буду, матушка, непременно буду!

VII

Суворов томился без дела в Петербурге. Третий месяц он жил в Таврическом дворце, окруженный вниманием и не зная никаких, забот, но и никаких обязанностей.

И это безделье (постоянное, ежедневное чтение книг и газет было не в счет) раздражало, тяготило Суворова. Раздражало и тяготило его и другое — двор, где хоть изредка, но приходилось ему бывать.

Императрица всегда приглашала Суворова на парадные обеды и свои вечера, на которые собирался избранный круг лиц.

Парадных обедов Суворов избегал — отпрашивался у царицы, и на вечерах, пользуясь репутацией чудака, которую давным-давно присвоили ему враги, Суворов давал волю своему горячему, вспыльчивому нраву.

Зависть и недоброжелательство, которые в первые дни после возвращения Суворова из Варшавы притаились и уступили место лести и подобострастию, теперь снова подняли голову. К фельдмаршалу, увенчанному лаврами стольких знаменитых побед, уже в Петербурге понемногу попривыкли. О Суворове все чаще и чаще стали злословить.

Это доходило до Суворова. И он не оставался в долгу: бичевал недостатки, резал правду-матку в глаза и своими, как он сам называл, «солдатскими проказами» зло смеялся над придворным чопорным ничтожеством. И этим, конечно, задел много самолюбий.

Соперники и клеветники сторожили каждый шаг, каждое слово Суворова. Из любой мухи готовы были сделать слона.

На все лады судачили о том, как Суворов неуважительно принял в Таврическом дворце Платона Зубова за то, что Зубов встретил фельдмаршала, явившегося к нему в парадном мундире, в одежде далеко не парадной.

Весь город знал о приеме Суворовым графа Безбородко, которого Александр Васильевич недолюбливал.

Безбородко как-то раз приехал к Суворову во время обеда. Суворов не встал из-за стола; только велел подать Безбородке стул, но к обеду не пригласил.

— Вам, Александр Андреич, еще рано обедать, прошу посидеть! — отрезал он.

Суворов знал, что в этакую рань Безбородко никогда не обедает, что он, стало быть, приехал неспроста, а в каких-либо своих видах, и это сразу же взорвало Александра Васильевича.

Смеялись над тем, как фельдмаршал бежит вприпрыжку по дворцовой зале, не зная, что Суворов делает это не зря.

— Суворов стар, ему уже пора на покой! — твердили всюду его завистники.

Друзья Александра Васильевича передали ему об этом. И чтобы показать всем, как еще он, несмотря на свои 66 лет, крепок и бодр, Суворов при всех не шел, а пробегал по зале, чего не смог бы сделать дряхлый генерал Прозоровский или тучный Мусин-Пушкин.

Враги Суворова распространяли о нем разные небылицы, вроде того, что будто бы, когда жена наследника Павла Петровича великая княгиня Мария Федоровна угощала его персиками, Суворов взял из ее рук всю вазочку и, передавая вазочку лакею, сказал: «Неси ко мне!»

Притворно ужасались тому, как Суворов свободно (хотя и почтительно) держит себя с императрицей: откровенно говорит ей о недостатках в армии, о дурном состоянии войск, о злоупотреблениях. Его честность и прямота, его настойчивость и кипучая энергия, с какой он хотел исправить все армейские недостатки, делали Суворова беспокойным фельдмаршалом.

Клеветники, наушничавшие на него, уже стали говорить, что императрице Суворов прискучил, хотя Екатерина наружно принимала все его замечания как будто бы благосклонно, что она не знает, как от беспокойного фельдмаршала поскорее отделаться.

Уехать из Петербурга к живому делу, к армии, Суворов мечтал и сам: солдатская палатка была для него ближе «бриллиантовой» залы и Таврического дворца.

И наконец к весне дело окончательно прояснилось: императрица назначила Суворова командовать войсками юге, где он провел столько лет. В его ведение поступали войска, расположенные в Врацлавской, Вознесенской, Екатеринославской и Харьковской губерниях и в Таврической области.

Суворову оставалось пробыть в Петербурге считанные дни. Потому сегодня он собирался во дворец более охотно, чем в предыдущие разы.

По случаю бракосочетания великого князя Константина Павловича с принцессой Кобургской Анной на Неве устраивался великолепный фейерверк, а на площади перед дворцом — всегдашнее царское угощение народу: жареный бык, фонтаны с вином.

— Ежели б я помоложе был, беспременно пошел бы рвать быка! — говорил Прошка, помогая барину одеваться.

— Тебя только там и не хватало. Что ты — голоден?

— А почему ж на даровщинку не выпить и не закусить? Опять же лакеи сказывают: кто с быка золотую голову сорвет и принесет во дворец, тому сто рублей заплатят. Такой закон.

— Смотри, чтоб из этой свалки свою голову вынес, а не то что бычью...

Когда Суворов подъезжал к Зимнему, он увидал, что все прилегающие к площади улицы были запружены народом: кто собирался «рвать быка», а кто просто поглазеть.

Против дворца возвышался высокий помост со ступеньками. На ступеньках лежали жареные гуси, утки, куры, свиные и телячьи окорока. А на верху помоста стоял громадный бык с позолоченными рогами.

Помост сверху донизу закрывала зеленая тафтяная занавеска. Возле помоста были устроены два красивых фонтана для красного и белого вина. Все это окружала цепь из солдат и полиции. Конные драгуны ездили тут же.

Посмотреть на эту сцену собралась во дворце вся знать. Сигналом к началу было появление в окне императрицы.

Когда пустили фонтаны, толпа поняла, что царица сейчас подойдет к окну. Солдаты и полиция едва сдерживали толпу, которая напирала со всех сторон. Пьяницы, увидев фонтаны вина, не могли стоять на месте.

Императрица подошла к окну.

И тогда отовсюду с криком и улюлюканьем бросились к помосту и фонтанам сотни людей. Сшибая и давя друг друга, они старались поскорее добежать до цели.

Вперед пробилась группа мясников. Они кулаками прокладывали себе дорогу. Зеленая тафтяная накидка в один миг полетела в клочья.

Мясники стали швырять в толпу жареными гусями, утками, курами, окороками — отбивались от остальных, давали возможность самому сильному и ловкому из своих пробиться к быку, чтобы завладеть золотой головой. Голова была укреплена на железном пруте. Вся громадная туша быка надевалась на прочную деревянную раму.

Плечистый рыжебородый мясник быстро пробежал по ступенькам к быку, легко подпрыгнул и упал к нему на спину, собираясь сесть верхом. Но с другой стороны помоста к быку пробились лабазники. Небольшой плотный купчик подскочил и дернул рыжебородого мясника за ноги. Рыжебородый ерзнул с быка, но еще пытался удержаться. Тогда купчик прыгнул ему на плечи. Мясник оторвался от быка, и оба покатились по ступенькам вниз.

Золотые рога быка сияли все так же недосягаемо и заманчиво.

В это самое время пьяницы кинулись к фонтанам с вином. Черпали пригоршнями, припасенными кружками, ведрами, шапками. Нагнувшись, свесившись в бассейн, просто лакали. Тянули друг друга прочь, толкались, дрались, падали в вино.

Один — в драном коротком кожухе и валенках, — перевесившись, упал прямо в бассейн. Он еще до праздника успел где-то хлебнуть и теперь сразу захмелел. Стоя по щиколотку в вине, он стал черпать шапкой-ушанкой и поливать лезущих к фонтану пьяниц.

Кто-то ударил его в грудь. Пьяница зашатался, чуть не упал навзничь, но схватился за трубку фонтана. Трубка изображала ствол,

обвитый виноградными листьями и гроздьями. Наверху она кончалась чашей из виноградных листьев. Из чаши во все стороны били ярко-красные струи.

Пьяница вдруг полез по этим железным гроздьям наверх к чаше. Красное вино, точно кровью, заливало его всего. Он лез, подставив под брызги широко раскрытый рот. Жадно глотал.

Он влез наверх и, закрыв глаза, сначала продолжал пить, а потом повернулся и плюхнулся в широкую чашу. Вино перестало литься.

Пьяница сидел, с победоносным видом глядя вниз, и горланил песню. Среди толпившихся, оттиравших друг друга от вина питухов поднялся отчаянный вопль. Ругали, проклинали, угрожали.

А мужик, пьяно хохоча, болтал от удовольствия валенками. Валенки были грязные и мокрые от вина.

Тогда в него стали швырять снегом, шапками, рукавицами, чтобы сбить его вниз. Ничего не помогало.

Наконец какой-то ямщик догадался: развязал свой длинный зеленый кушак, размахнулся и захлестнул мужика за ногу. Несколько услужливых рук рванули кушак. Пьяный мужичонка схватился за фонтан, но не удержался и бухнул вниз, в бассейн.

Ярко-красные струи забили снова.

...Во дворце у окон хохотали до упаду. Сама императрица утирала кружевным платочком слезы, — так прошиб смех.

— Ой, не могу!

— Мясники-то, мясники! Вон из-за головы дерутся...

— Оторвал. Бежит с головой!..

— Отбили. Упал!

— А этот пьяный что в фонтане делает! Срамота!..

Жались к окнам, смотрели.

Один Суворов ходил по зале, не глядя в окна. Не смеялся, — ему не нравилась, была противна вся эта грубая забава. К тому же пьяных он не любил. Если бы не торжество по случаю бракосочетания великого князя, он не приехал бы.

Враги Суворова и тут не оставляли его в покое — пользовались любой возможностью, чтоб уколоть фельдмаршала.

— Вот штурм так штурм. Почище измаильского, — громко сказал генерал-аншеф Николай Салтыков.

— А что это он влез на фонтан?

— Поучение солдатам говорит, — съязвил Долгорукий.

— И не замерзнет же — весь искупался, а ничего...

— Нонче стало модным — обливаться зимой. Он закалить себя хочет...

«В последний раз я в этом вертепе. Сегодня откланяюсь императрице, а завтра — в путь, к армии, в Тульчин!» — раздраженно думал Суворов.

Глава третья

«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ!»

I

В Тульчин Суворов ехал в прекрасном настроении. И в этот раз, как всегда, фельдмаршал Суворов ехал для скорости и легкости в простой кибитке, только с одним адъютантом Столыпиным.

Чтобы избавить себя от докучливых торжественных встреч местного начальства, он приказал никого не слать вперед готовить фельдмаршалу лошадей, а приезжал на станцию нежданно-негаданно.

Зато во время этих, как он выражался, «перелетов» случались самые разнообразные истории, которые были по душе Александру Васильевичу: в свободную минуту он любил позабавиться.

Как ни старался Суворов проскочить Курск ночью, но попал в него к утру. Станционный смотритель, юркая, продувная бестия, как-то пронюхал, кто едет, — кланялся и обещал немедленно дать лучшую тройку.

— Все будет-с! Стриженая девка косы не заплетет... — уверял он. А через минуту шептал уже кому-то за перегородкой: — Беги к полицеймейстеру! Сам фельдмаршал!

Суворов понял, что в Курске ему не избежать скучного парадного обеда у губернатора. Лошади у станционного смотрителя не готовы, и он постарается задержать Суворова, чтобы успеть все сделать.

Суворов сел со Столыпиным пить чай.

Быстро выпив чашку, Суворов, ни слова не говоря Столыпину, вышел из комнаты и незаметно шмыгнул на ямщичью половину.

Изба была пуста. На стенах, на лавках и под лавками висели и лежали дуги, хомуты, седелки, вожжи. Сочно пахло сыромятью, конским потом и дегтем.

Суворов подложил под голову хомут и лег на лавку, оборотившись лицом к раскрытому окну, которое выходило на огород. Он накрыл лицо носовым платком и преспокойно уснул.

Проснулся Суворов от скрипа двери. За его спиной кто-то тихо перешептывался. Немного погодя дверь скрипнула вновь. Шепот смолк.

Суворов снял платок и поворотился на другой бок. Поворачиваясь, успел заметить: у порога стоял в парадном мундире с треуголкой под мышкой полицеймейстер.

Суворов продолжал лежать с закрытыми глазами.

«Вот стоит человек. Клянет, поди, фельдмаршала: из-за него надо было наряжаться, бежать докладывать губернатору, потом ра-

зыскивать этого Суворова. Хлопот много, а радости — никакой. А ведь все они будут льстить, притворяться, что им это страсть как приятно!»

Чуть приоткрыл глаза.

Полицеймейстер, тучный мужчина, стоял навытяжку, не смея шевельнуться, не смея дохнуть. Обливался потом.

«Ишь стойку сделал, помилуй Бог!»

Делать нечего — приходилось вставать...

Потому-то губернские города Суворов и старался проскочить ночью. А больше всего любил в пути уездное захолустье, деревенскую глушь. В них меньше важности, меньше притворства, меньше лести...

...На маленькой станции за Курском фельдмаршала Суворова ждали с часу на час. Ямщик, приехавший из города, передал, что в Курске — фельдмаршал Суворов, который едет из Петербурга на юг.

Станционный смотритель, длинный и худой, как оглобля, бегал и суетился: еще бы — едет такой важный барин!

— Смотри же, Оксаночка, чтобы нигде ни пылиночки, ни сориночки, — просил он жену, которая мыла горницу, — ведь едет...

— Одийды! Не мешай! — грозно поднялась с мокрой тряпкой в руке толстощекая чернобровая Оксана. — Сама знаю, что йидэ генерал!

— Не просто генерал, а генерал-фельдмаршал! — робко поправил муж.

— Що я — не бачыла проезжающих? Разных було: и генералов, и полковников, и тых, як их, секунд-майоров... Всякого звания. Слава тоби Господы! Двадцать пьять рокив ось на тий станции... Светлейшего князя Потемкина видела, як йихав. Восемнадцать коней карету везлы. А сам — в шовковим кафтани и кругом золото и ордена: и тут и ось тут! Знаю!..

И разбитная жинка бойко зашлепала по мокрому полу босыми ногами.

К вечеру комната для проезжающих была готова. Оставалось ждать Суворова.

Фельдмаршал вечером не приехал. Стали ложиться спать.

— Та лягай ты, як следует быть. Що генерал по ночам будэ йиздыть? Що йому — дня мало? — уговаривала она мужа.

Но муж не послушался — прилег не раздеваясь.

Ночью к почтовому двору кто-то подъехал. Смотритель вскочил с постели.

— Ну и дурный же ты! Як хтось його шылом поре! Чы ж не чуешь — пидъихалы на паре коней. Який там генерал... — говорила Оксана.

Станционный смотритель выскочил на крыльцо и разочарованно остановился: жинка была права — у крыльца стояла обыкновенная кибитка.

Почесываясь и зевая, он спросил:

— Кого бог несет?

— Передовой графа Суворова, их благородие господин адъютант поручик Столыпин! — весело отозвался какой-то старичок, легко спрыгивая с козел. — Не оступитесь, ваше благородие! Извольте сюда! — помогал он молодому офицеру вылезть из кибитки.

«Адъютант с денщиком», — понял станционный смотритель.

— А что ж, их сиятельство когда прибудут? — спросил он, провожая путников в горницу.

— Не скоро, помилуй Бог! Не раньше вечера! Он у курского губернатора еще гуляет! — словоохотливо ответил денщик.

Станционный смотритель, успокоенный, вернулся к жене:

— Суворов приедет завтра к вечеру, а это его адъютант и денщик.

— А я тоби, дурню, що говорыла? Кажу: лягай, спы!

В горнице же для проезжающих фельдмаршал Суворов шептал своему адъютанту поручику Столыпину:

— Ты, Сашенька, ложись на лавке, а я — на полу, на сене. Мне ямщик клок сенца дал.

И немного погодя на почтовом дворе все уснуло.

Наутро Оксана, приоткрыв дверь, заглянула в горницу своим бойким карим глазом.

Офицер, видимо, вышел, — на лавке лежали его плащ и шпага. Зато на полу, в уголочке, похрапывал старик солдат. Спал он на сене, прикрывшись плащом.

— Ишь трясця його матери! Я мыла-мыла, а он туточки сена натряс! — вспылила Оксана. — А мий же дурень не мог солдата до ямщиков в хату отвесты!

Оксана подошла и потянула старика за ногу.

Старик дрыгнул ногой и спрятал ее под плащ.

Оксана дернула его за другую.

Старик поджал и другую.

Тогда Оксана подошла и сердито потрясла его за плечо:

— Эй, диду, вставай!

Старик проснулся и сел, протирая глаза:

— А? Что?

— Вставай, диду! Тут тоби не место!

— Почему?

— Тут будэ велыкый генерал...

— Какой генерал?

— Та ваш же, Суворов!

— А-а, ежели Суворов, тогда надо уступить!

Старик вскочил и, отойдя в сторонку, стал обуваться.

— Я мыла-мыла, а ты взяв и сена натряс, — недовольно говорила баба, собирая сено. — Чы ж тоби тут полагается? Старый солдат, а политыкы не знаешь: твое место ось де, иды сюды! — строго сказала она.

«Занозистая жинка. Но молодец: субординацию понимает!» — весело думал Суворов, идучи за Оксаной на кухню.

— Колы ты денщик, то ось де твое место. Сыды тут, не мешайся полоник миж ложками!

И она вышла.

Суворов умылся и сел на лавку ждать, что будет дальше. Все это забавляло его. Суворов любил ездить вот так, чтобы его не узнавали, принимали за другого.

В горнице стукнула дверь, — видимо, вернулся адъютант Столыпин.

Суворов подбежал к двери.

— Сашенька, я здесь, меня хозяйка на кухню вытурила, — смеясь сказал он адъютанту. — Гляди не проговорись, не выдай меня.

— Слушаю-с, ваше сиятельство!

— А лошади скоро?

— Позавтракаем и можем ехать.

— Ну так помни же: я — твой денщик!

Суворов закрыл дверь и сел на прежнее место, на лавку.

— Что, выспался, старинушка? — спросил у него станционный смотритель, входя на кухню.

— Выспался, милый человек.

— Тогда снеси их благородию самоварчик — уже готов, там, в сенях, стоит.

— Сейчас!

Суворов вскочил и побежал в сени, где шумел самовар. Открывая ногой двери, он понес самовар в горницу.

— Пожалуйте, ваше благородие, самоварчик! — сказал он, ставя самовар на стол.

Поручик Столыпин не мог смотреть на проказы Суворова, — давился от смеха.

— Александр Васильевич, куда же вы? Садитесь пить чай! — зашептал он, видя, что Суворов собирается уходить.

— Пей один, а я — там. Надо хозяина угостить, — подмигнул Суворов и, взяв свою походную флягу, вышел.

Станционный смотритель хлопотал у стола:

— Вот снеси-ка их благородию чайник и чашку. А мы с тобой, служивенький, молочка покушаем, сейчас хозяйка принесет.

Суворов отнес в горницу чайник и чашку.

— А что, мил человек, не выпить ли нам молочка от бешеной коровушки? — спросил Суворов, доставая флягу.

Он сам пил всегда очень мало и никогда не пил с утра, но хотел угостить человека, — знал, что каждый станционный смотритель — выпивоха.

— А ладно ли это будет — с утра? — боязливо оглянулся на дверь станционный смотритель. — Да и Суворов приедет. Фельдмаршал никак. Нехорошо!

— Суворов когда еще приедет! Мы по единой!

— Ну разве что по единой, — успокоился он, ставя на стол чарки. — Жинка моя — хорошая хозяйка, у нее всё есть, да для порядку запирает на замок, — смущенно говорил станционный смотритель, шаря на полице. — Вот только что есть для закуски: хлеб, лук да огурцы...

— А нет ли редьки?

— Редька есть.

— Помилуй Бог, да это первейшая закуска!

Суворов налил из фляги. Они чокнулись.

В это время дверь отворилась, и на пороге стала Оксана:

— Ось, бачтэ! Не йившы, не снидавшы — за горилочку?

— Оксаночка, погоди, послушай!

— И слухать не хочу!

— Надо ж уважить человека. Денщик адъютанта генерал-фельдмаршала графа Суворова...

— Денщик адивтанта! Як говорится по-русски: «нашему слесарю — двоюродный кузнец!» Тоби выпыть каждый раз якый-нэбудь адивтант знайдецця!

— Хозяюшка, мы только по единой. Мне много пить, сами знаете, нельзя, — мигнул на дверь Суворов. — Политику надо понимать!

Оксана улыбнулась.

— Та пыйтэ ж на здоровьичко, хиба ж мени жалко? Але злость на того старого дурня...

— А что?

— Як же ты гостя приймаешь?

— А что?

— Хлиб, редька та цыбуля?..

— Помилуй Бог, царская закуска. Солдат сыт крупицей, пьян водицей! Лучшей не надо! — сказал Суворов.

— Чы ж у нас ковбасы та масла нэмае?..

— Ключи ж у тебя...

— А язык у тебя?.. Почэкайтэ, господа служивые, я зараз принесу! — И Оксана вышла.

— Вот так, брат, у нее всегда. Она баба только крикливая, но добрая, — оправдывал жену станционный смотритель. — Да она и сама выпить не прочь...

— А мы ей с превеликим удовольствием и поднесем. Где чарка?

Через минуту на столе появились колбаса, масло, сыр. Старый денщик адъютанта сидел в красном углу между хозяином и хозяйкой. Он выпил одну рюмку, а потом только пригубливал. Хозяевам же подливал усердно. Станционный смотритель и жена не отказывались.

— Якый же ваш генерал Суворов? Сердытый? — спросила Оксана.

— Грозен! — вмешался ее муж.

— А ты видкиля знаешь?

— Как не знать! Я графа Суворова вон как знаю. Он у нас в семьдесят осьмом годе проезжал. Ты тогда у маменьки гостила. Высокий такой, толстый. Ему в экипажи двадцать восемь лошадей понадобилось, вот, брат! Так веришь ли, служивенький, я чуть во всем селе лошадей сыскал! — врал станционный смотритель.

— Александр Васильевич, ехать пора! — высунул голову в дверь поручик Столыпин.

Поблагодарив за угощение, Суворов вышел из дома вслед за адъютантом.

Кибитка стояла у крыльца.

Станционный смотритель и Оксана провожали их. У крыльца собралась куча ребятишек и баб.

Адъютант уже сел в кибитку, а Суворов только собирался сесть к ямщику на облучок, когда раздался крик:

— Ваше высокопревосходительство, Александр Васильевич!

Все обернулись. К кибитке бежал в порыжелом гарнизонном мундире отставной старик солдат.

— Отец родной, погоди! — кричал он, кидаясь к Суворову.

Но его перехватил станционный смотритель.

— Кузьмич, очумел ты? Какое тебе превосходительство? — смеялся подвыпивший станционный смотритель, не пуская солдата.

— Да пусти, это он, батюшка наш, Суворов! — рвался солдат.

— Карабанов, это ты? — узнал его Суворов. — Жив?

— Так точно, жив!

— Ну здравствуй, старый товарищ!

Станционный смотритель удивленно отпустил солдата. Солдат кинулся к этому денщику суворовского адъютанта. Старики обнялись. Станционный смотритель и его жена глядели, ничего не понимая.

— Как живешь, старинушка?

— Бог милостив, Александр Васильич!

— Может, помочь надо? В чем нужду имеешь? Говори, не стесняйся!

— Премного благодарен, ваше высокопревосходительство!.. Ничего не надо! Хотел вот только еще разок повидать вас. Ведь.с Измаилу не видались. Услыхал, что проезжать будете, ждал...

— Ну вот и увидались. Тридцать лет вместе с ним служили! — сказал Суворов адъютанту, садясь в кибитку. — Ну прощевай, друг. Прощайте, милые люди! — замахал он каской.

Еще секунду, и кибитка умчалась. Станционный смотритель стоял верстовым столбом — не мог прийти в себя.

— Ну чы ж не дурный ты? — трясла мужа за рукав Оксана. — Хвастался, говорыл: «Я знаю, какой Суворов!» Ничего ты не знал, брехал тилькы. Ось я теперычкы так знаю, який Суворов!

II

В Тульчине еще все спало, когда Столыпин вышел из дому. Вчера вечером Александр Васильевич, отпуская его на квартиру (Столыпин квартировал отдельно, в центре местечка), велел адъютанту прийти сегодня пораньше: Суворов собирался опять диктовать свою «Науку побеждать».

В Тульчине у фельдмаршала нашлось много работы.

Прежде всего Суворов принялся за самое важное — за ученье. Он хотел переучить все вверенное ему войско на суворовский лад.

Устав нужно знать, но не держаться его, «яко слепой стены», как верно наставлял великий полководец Петр I.

Главным в ученье Суворов считал закалку. Надо приучить солдата идти на опасность, действовать решительно, развить настойчивость и упорство.

Суворов всегда говаривал: «Солдат ученье любит, лишь бы кратко и с толком».

Его ученье — сквозные атаки, штурм и оборона укреплений, прицельная стрельба — продолжалось каждый раз не более полутора часов, надоесть не могло.

Словесное ученье было просто, толково и живо изложено. К тому же солдатам очень нравилось, что фельдмаршал сам непосредственно говорит с ними.

Старые, любимые полки Суворова, с которыми он громил турок при Фокшанах и Рымнике, брал Измаил и Прагу, как, например, Апшеронский и Фанагорийский, остались в Литве у Репнина.

Правда, некоторым из здешних полков приходилось раньше служить под командой Суворова и они были знакомы с суворовской тактикой, но большинство полков знало лишь устаревшую австрийско-прусскую линейную.

И когда на днях на ученье Суворов, желая проверить людей, вдруг направил своего коня на одну роту и строй не расступился перед ним, он остался чрезвычайно доволен:

— Молодцы! Подвижная крепость, помилуй Бог! И зубом не возьмешь!

Александр Васильевич повторил это и в другой роте, но там его ждала неприятность: ротный командир приказал дать дорогу фельдмаршалу.

Суворов взбеленился.

— Под арест немогузнайку! Он зачумит мне всю армию! — кричал фельдмаршал.

«Немогузнайка, лживка, лукавка, двуличка» — то есть леность мысли, страх ответственности, уклончивость — все это были враги, с которыми Суворов вел в своей армии борьбу не хуже, чем с неприятелем в поле.

Приняв новые полки, незнакомые с его тактикой, Суворов поверял всех, и солдат и офицеров.

— Что такое ретирада?[1] — спросил он у молодого поручика.

— Не знаю, ваше сиятельство!

Услышав нелюбимое, запрещенное в суворовских полках «не знаю», Александр Васильевич сразу сморщился. Но поручик вдруг прибавил:

— В нашем полку этого слова я не слыхивал!

Суворов просиял.

— Хороший полк, помилуй Бог! Очень хороший. В первый раз немогузнайка доставил мне удовольствие. Молодец, ваше благородие! Ты — русский! — хвалил он удивленного поручика.

Генералов, которые служили прежде с Суворовым, нашлось в Тульчине два-три человека, но Суворова это не смущало. От генералов он требовал следующего: «Был бы, первое, деятелен, второе — наступателен, третье — послушен».

За многолетнюю боевую практику у Суворова накопилось достаточно опыта. Александр Васильевич тщательно, годами обдумывал каждое положение. Теперь оставалось собрать все мысли о военном искусстве воедино, соединить теорию и практику.

И он приступил к этому.

«Наука побеждать» делилась на две части.

Одна — «вахтпарад» — для начальников: как проводить ученье.

Другая — «словесное поучение» — для солдат.

Словесное поучение говорил перед фрунтом командир. Оно рассчитано было на то, что солдат неграмотен, и потому должно было часто повторяться, чтобы люди могли запомнить его наизусть.

Вчера окончили записывать «вахтпарад» и начали «словесное поучение». Сегодня Александр Васильевич хотел продолжать диктовку.

Вторым важным делом в Тульчине оказалось благоустройство войск.

---

[1] Ретирада — отступление.

В сырых казармах цвела плесень, бань не было и в помине, воду солдаты пили скверную. В каждом полку валялись по госпиталям десятки людей.

В 1791—1792 годах Суворов застал такую же картину в Финляндии: в двух госпиталях насчитывалась тысяча больных.

Госпиталей Суворов не любил и никогда не принимал внутрь никаких лекарств.

— Минералы и ингредиенции[1] не по солдатскому воспитанию, — говорил он.

По его мнению, самое важное для здоровья солдата — сполна и в срок получить положенное довольствие.

Когда в полку оказывалось много больных, Суворов тотчас же назначал следствие.

В Финляндии эта мера родила Суворову много врагов. Но количество больных в двух госпиталях быстро снизилось с тысячи до сорока человек.

То же нашел Суворов и на юге.

Здоровое жилье, нормальная пища, чистота солдата лучше действовали, чем невежественные лекари.

— Перестань обогащать Харона![2] — сказал Суворов лекарю, у которого в части была большая смертность.

— Ваше сиятельство, в нашем полку Харон не числится!

Суворов секунду глядел на невежественного лекаря. Потом плюнул и убежал, крича:

— Помилуй Бог, не мечите бисера перед свиньями!

Лекарь обиделся на всю жизнь. Он так и не понял, почему обозлился фельдмаршал.

«Правду говорят — тяжелый человек», — подумал он о Суворове.

В дивизии генерал-поручика Киселева открылась повальная желудочная болезнь. Люди мерли как мухи.

Суворов отправил дежурного подполковника произвести следствие и навести в больницах порядок. Командиру дивизии — явиться в главную квартиру.

Вчера утром Киселев приехал. Смущенно поглаживая лысину, он подошел к Столыпину.

Столыпин сказал, что Александр Васильевич еще не выходил из кабинета, и посоветовал Киселеву сегодня не являться.

— Как же так? Да ведь фельдмаршал знает, что я приехал...

— Верно. Плац-майор еще вчера доложил, что вы приехали.

— Ну так как же мне не являться?

---

[1] Ингредиент — составная часть чего-нибудь (вещества, смеси).

[2] Харон — мифологический лодочник, перевозящий души умерших.

— Не являйтесь! — убеждал Столыпин. — Александр Васильевич еще очень сердит на вас.

Киселев послушался Столыпина и ушел к дежурному генералу Арсеньеву.

«Любопытно: спросит Александр Васильевич сегодня о Киселеве?» — подумал теперь, идучи, Столыпин.

Столыпину это интересно было потому, что хотелось проверить: настолько ли он знает Суворова, как ему кажется? За восемь месяцев службы у Суворова он освоился со всеми его привычками и обычаями. Казалось, знал Александра Васильевича, понимал его с полуслова.

Вчера произошел случай, который подтвердил это.

В Тульчин входил Смоленский драгунский полк. Суворов поехал за местечко смотреть полк на марше. Он скакал галопом по широкой дороге вдоль растянувшихся эскадронов. Вдруг обернулся к Столыпину и, махнув плетью куда-то в сторону, крикнул: «Э, а!»

Столыпин подскакал к эскадрону и сразу же сообразил, в чем дело: эскадрон потерял дистанцию, и потому отстали пушки.

Столыпин приказал артиллерийскому офицеру податься вперед.

Суворов, довольный, махнул Столыпину головой.

Фельдмаршал относился к Столыпину хорошо. В первую же субботу, когда Суворов учил войска драться колоннами, он поставил Столыпина с солдатским ружьем в пехотный полк. После ученья пожаловал его в унтер-офицеры. В следующую субботу поставил Столыпина в кавалерийский полк. После ученья произвел в офицеры.

Местечко еще спало. На улицах не было ни души. Шаги Столыпина гулко отдавались на мостовой.

Столыпин подходил к двухэтажному дому графини Потоцкой.

Графиня Потоцкая, статс-дама российского двора, уступила фельдмаршалу первый этаж, а сама со взрослой дочерью помещалась во втором.

Суворов подружился с Потоцкими. Он часто ходил к графине посидеть и поговорить. Потоцкие навещали Александра Васильевича.

Молодые офицеры из штаба Суворова засматривались на хорошенькую дочь графини, перешептывались с графининими горничными.

Подходя к дому, Столыпин по привычке обдернул мундир, осмотрелся, все ли в порядке.

Второй этаж был еще темен. В раскрытых окнах чуть шевелились под легким ветерком, белели шелковые занавески.

Лишь в одном окне первого этажа — в камердинерской Суворова — светился огонек.

У высокого крыльца стоял, отбиваясь от назойливых комаров, часовой.

Столыпин поднялся по ступенькам, прошел переднюю, где, растянувшись на скамейке, храпел вестовой, и вошел в следующую комнату. В ней спали Прошка, повар и фельдшер Наум, который лечил и брил барина.

Столыпин не без труда растолкал главного камердинера, который упорно не желал пробуждаться.

Александр Васильевич приказал поднять его пораньше.

Прошка, зевая и чертыхаясь, сел. Ткнул кулаком в бок Мишку-повара:

— Вставай, увалень!

И поплелся будить «самого».

Через секунду из спальни донесся приятный басок фельдмаршала.

Суворов проснулся бодрый, живой, веселый. Он все дни пребывал в отменном настроении. Еще бы — наступил сезон его удовольствий: ученья в поле, лагеря, беспрестанное движение и множество разнообразных дел. Покоя и безделья не выносила его кипучая натура.

Прошка и вестовой понесли в спальню два ведра воды и громадный таз. Начинался день, начинались обязательные, неоднократные обливания водой.

А повар пошел кипятить в печке чай. Как все старики, Суворов любил, чтобы еда и чай были горячими. Потому повар кипятил чай тут же, при нем, в спальне.

Суворов вытирался, отдавая приказания повару, что сготовить к обеду.

— На закуску — редька... Бишбармак[1]. Пельмени. Духовая говядина. Каша рисовая. И щука с голубым пером... А мальчик пришел? — спросил он. («Мальчиком» он звал Столыпина.)

— Давно. Ждет.

— Позови.

Столыпин вошел, поздоровался.

— Здравствуй, братец! Кликни ко мне господина Дьякова!

Столыпин отправил ординарца за полковником Дьяковым, который был начальником провиантской конторы при армии.

Сонный предстал перед фельдмаршалом полковник, — в такую рань вставать не привык.

— Николай Александрович, все запасные магазейны были б полны! И все исправно. Ежели провианта недостанет, на первом

---

[1] Бишбармак — вареное мясо, крошево.

суку тебя, ваше высокоблагородие, повешу! Ты, мой друг, меня знаешь: я тебя люблю и слово сдержу. Ступай!

Полковник Дьяков пулей вылетел из спальни, — куда и сон девался.

Все знали: фельдмаршал шутит только во время отдыха, за обедом, а в рабочие часы — шутки в сторону.

— Мальчик, садись, чайку попьем! — крикнул он Столыпина.

Пили чай с медом и сухарями.

Напившись, Суворов усадил адъютанта за стол к окну, которое выходило в большой графский сад:

— Прочти-ка, что вчера записали из «словесного поучения».

— «Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию...»

— Прибавь: «как негде взять».

— «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится. Пуля — дура, штык — молодец. Береги пулю в дуле; трое наскочат, первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун; это не редко, а заряжать некогда. В атаке не задерживай...»

— Так. А дальше, на той синей бумажке, что у нас?

Столыпин прочел:

— «Фитиль на картечь; бросься на картечь: летит сверх головы. Пушки твои, люди твои; вали на месте, гони, коли, остальным давай пощаду. Они такие же люди: грех напрасно убить».

— Всё?

— Всё, ваше сиятельство.

— Теперь пиши.

И Суворов, бегая из угла в угол, стал диктовать:

— Три воинские искусства: первое — глазомер, второе — быстрота, третье — натиск...

...Уже давно взошло солнце, давно погасили свечу, — она была не нужна. Наступило утро. Из сада, из не освещенных солнцем уголков, тянуло сыростью, но в этой непроницаемой дымке, которой уже было подернуто небо, чувствовалось, что день встает жаркий, душный.

Суворов диктовал:

— Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, опрятность, здоровье, бодрость, смелость, храбрость, победа и слава. Ну вот. Вчерне готово. Завтра перепишем, и можно посылать в полки. А теперь пора обедать. Что, Киселев приехал?

— Так точно.

— Ступай позови его к обеду!

Столыпин с удовлетворением пошел звать генерала Киселева, — он оказался прав: генерал-поручику было кстати не сразу являться к фельдмаршалу.

III

В приемной фельдмаршала собрались все приглашенные к обеду.

Суворов вышел из спальни (она служила ему и кабинетом) чисто выбритый, надушенный, свежий. Волосы после купанья еще сохраняли влагу. Фельдмаршал был во всем белом. Только на кителе обшлага, лацканы и воротник — зеленые. На груди висел один Андреевский орден.

Суворов стал здороваться с теми, кого сегодня видал впервые.

— Здравствуй, друг мой Дмитрий Иванович, — приветливо встретил он генерал-поручика Киселева. — Сядешь возле меня. Поговорим.

Это обыкновение фельдмаршала отчитывать потихоньку знали все. Ежели Суворов бывал недоволен полком, он никогда не бранил его тут же, на плацу или в поле, а потом, наедине, хорошенько пробирал командиров.

— Господа, прошу немножко повременить: Мандрыка пошел наверх пригласить к столу графинюшку, — обернулся ко всем Суворов.

Немного погодя в приемную вошла в сопровождении суворовского генерал-адъютанта Мандрыки сорокалетняя, еще красивая графиня Потоцкая.

Суворов кинулся к ней навстречу. Галантно поцеловал руку:

— Доброе утро, ваше сиятельство. Милости просим откушать нашего солдатского хлеба-соли...

— Спасибо, Александр Васильевич, но я ведь только что встала, — улыбнулась графиня, кокетливо окидывая всех своими большими карими глазами. Мне обедать еще рано...

— А мы кофейком вас попотчуем. Оживите, украсьте наше общество. А то всё мужики. Смотреть тошно. Прошу вас!

Суворов повел графиню в залу, где был накрыт стол и где уже похаживал румяный от выпитой водки, но ничуть не повеселевший камердинер Прошка. Он покрикивал на двух вестовых, отряженных подавать к столу.

Суворов никогда не сидел за столом на хозяйском месте. Он садился сбоку, на уголку, по правую сторону стола. И теперь хозяйское место фельдмаршал приготовил графине.

Подойдя к столу, Суворов громко и внятно прочел молитву:

Очи всех на Тя, Господи, уповают...

Кончив, он улыбнулся и будто бы сурово изрек:

— Кто не сказал «аминь», тому водки не будет!

В кабинете он был серьезен — не улыбнется, не пошутит, а за обедом любил смеяться, проказничать.

— Я не сказала «аминь», — отвечала, усаживаясь, графиня.

— Ваше счастье, что вы не пьете, а то сейчас бы заставил выпить водочки...

Всем мужчинам налили водки. Выпили. Суворов закусывал своей любимой редькой и усиленно угощал сидевшего рядом генерала Киселева.

— Простите, графинюшка, мы по-солдатски, редькой... Как про нее в поговорке сказано: «шут в луже, борода наруже»... Мы в вашу сторону дышать не станем!

— Кушайте, пожалуйста! Я сама очень люблю редьку.

Вестовые стали по чинам обносить гостей.

Суворов любил все горячее. Для него готовили в отдельных горшочках и так подавали на стол. Он ел с аппетитом и рассказывал, будто бы одному Киселеву, как в прошлое воскресенье вручали орден Анны командиру егерского батальона подполковнику Шмелькову. Подполковник с виду суров, брови лохматые, усищи громадные. И ни у кого в церкви, где освящали орден, не случилось булавки, чтобы приколоть ленту. И как дамы наперебой бежали к нему с булавками.

— Я замечал — дамы всегда любят эдакие марциальные[1] лица. Такие, как мы, бритые, у них не в почете. Свидетельствуюсь Эолом[2]. Его описывают ужасным, а этот старик ветреник — дамский угодник. Он никогда не отказывал в бурях Гомеровым богиням.

Графиня стала возражать, говоря, что дамы любят не только воинственных по виду.

Разговор понемногу оживился, стал общим. Суворов любил, чтобы за столом было шумно, весело. Если молчали, он сам просил:

— Да говорите, братцы! Не молчите. Сидят, ровно на хозяина злобу затаили!

Столыпин сидел на противоположном конце стола, рядом с другими адъютантами — Мерлиным, Уткиным, Ставраковым. Костя Уткин занятно рассказывал о своих последних победах у графининых горничных. Увлеклись, не слыхали, что говорят кругом. Вдруг дежурный генерал Арсеньев, сидевший по другую сторону графини, окликнул через стол:

— Столыпин, фельдмаршал спрашивает!

— Что прикажете, ваше сиятельство? — встрепенулся Столыпин, подымаясь.

— Чем у нас чистят полы?

— Нашатырем, ваше сиятельство! — не задумываясь брякнул Столыпин.

---

[1] Марциальный — здесь: воинственный.

[2] Эол — мифологический бог ветра.

— Что стоит в день?

— Двадцать пять червонцев.

— Помилуй Бог, как дорого!

Графиня и все сидевшие возле Суворова рассмеялись.

Столыпин понял, что Александр Васильевич, увидев, как они углубились в свои разговоры, хотел посмеяться — неожиданным и нелепым вопросом смутить его.

Вывернулся!

Суворов был весел, шутил, ухаживал за графиней, уговорил ее выпить рюмку малаги. И много ел.

Прошка подошел к Суворову и бесцеремонно потянул у него из рук тарелку с рисовой кашей:

— Позвольте, ваше сиятельство!

— Куда ты?

— Позвольте!

— Я еще не съел!

— Позвольте. Довольно!

— Как — довольно? Я есть хочу, Прошенька!

— Не приказано.

— Кто не приказал?

— Фитьмаршал.

— А, фельдмаршал... Его надобно слушать, помилуй Бог!

И он позволил Прошке убрать тарелку: Суворову запрещено было много есть.

— Александр Васильевич, вас здесь обижают, не дают и покушать. Приходите ко мне обедать, — смеялась графиня.

— Благодарствую. Но этот человек найдет меня и у вас. У него я за столом точно Санчо Панса во время губернаторства на острове Баратария...

Когда встали из-за стола, товарищи окружили Столыпина.

— Саша, откуда ты взял, что полы чистят нашатырем? — смеялись они.

— Сболтнул, что пришло в голову.

— Молодец!

К Столыпину протискался и генерал-поручик Киселев. Он крепко пожал ему руку:

— Спасибо, дружок! Почему ты узнал, что мне будет такой прием?

— Он Александра Васильевича хорошо знает, — ответил за друга Уткин.

— Вы помедлили являться, он и узнал, что вы чувствуете свою вину, не знаете, как показаться на глаза...

Выходили из залы.

Суворов, провожая графиню, кончал какой-то разговор:

— Вы говорите, что фортуна, как и купидон, слепая? Не верьте, графинюшка, этому мальчишке. Он играет в жмурки, а из-под повязки плутовски подглядывает. Иначе он не догнал бы своей душеньки...

Проводив графиню до лестницы, Суворов ушел отдыхать.

Все разошлись.

Прошка и тот ушел на квартиру к своей жене. Денщиков Столыпин отпустил в местечко.

Столыпину уходить никуда было нельзя, — сегодня он дежурил у фельдмаршала. Он сел в приемной на диван и от скуки взял со стола истрепанный том журнала «Дело от безделья» за 1792 год, принесенный кем-то из адъютантов для препровождения времени.

Перелистывая, читал:

«Ежели захотим мы рассматривать человека надлежащим образом во всех окрестностях его, тогда неминуемо долженствует разобрать и то, в каких отношениях находится он ко всем вещам, вне его сущим...»

Переворотил еще. Глянул стихи:

Песнь в честь храбрых
Российских войск на юге

Не сведом Россам страх,
Не таковы их души,
На море и на суше
Разят врагов, как прах.

Всё о нем, о Суворове. Тысячу раз это читывал. Полистал еще. Вот песня — это интереснее:

Поля, леса густые,
Спокойствия предел,
Где дни текли златые,
Где я драгую зрел!

Прочел все семь строф. Зевнул.

Спать хочется до смерти. Швырнул журнал. Отстегнул шпагу, прилег.

...Его разбудил Прошка.

— Вставай, уже за полдень! А он спит! — громко, во весь голос орал Прошка.

Столыпин вскочил:

— Тише! Фельдмаршал спит!

— Какое там спит. Ляксандры Васильича нету.

— Неужто проспал? Не слыхал? Срамота!

Столыпин осторожно приоткрыл дверь в фельдмаршальскую спальню. На сене — никого.

Кинулся в переднюю к вестовому:

— Куда ушел фельдмаршал?

— Сюдой не проходил, ваше благородие!

— Куда же он девался?

— Да что, впервой, не знаешь? В окно ушел, — подсказал Прошка, убирая постель Александра Васильевича. — Ишь гуляет, цветочки рвет.

Столыпин глянул в окно. Суворов шел по саду.

Он пристегнул шпагу и тоже вылез в окно. Быстрыми шагами стал догонять фельдмаршала.

Суворов, не оборачиваясь, прибавил шагу.

Столыпин побежал. Суворов побежал тоже.

Но Столыпин все-таки настиг его.

Суворов круто обернулся. Весело спросил:

— Что, отдохнул, ваше благородие?

— Отдохнул.

— Ну, пойдем еще поработаем. А я цветочков набрал — вишь какая прелесть! — показал он на пышный букет розовых, фиолетовых и белых астр.

Потом вынул из кармана черепаховую, отделанную золотом табакерку с портретом Екатерины — подарок императрицы — и посыпал нюхательным табаком цветы. Понюхал. Покачал от удовольствия головой:

— Приятно! На, понюхай!

Столыпин понюхал, чихнул и, улыбаясь, пошел вслед за фельдмаршалом к дому.

Вечером, умываясь на ночь, Суворов позвал Столыпина:

— Мальчик!

— Чего изволите?

— Завтра — суббота?

— Так точно, суббота!

— Пушки не боялись бы лошадей!

— Слушаю-с!

Больше спрашивать невозможно: нужно сообразить самому.

Столыпин в раздумье вышел из спальни: как бы не напутать, правильно отдать приказ.

Когда фельдмаршал говорил: «Патроны не мочить!» — это значило, что будет ученье на реке — переходить реку. Но «пушки не боялись бы лошадей»? Столыпин послал вестового за дежурными подполковниками — Каменевым по кавалерии и Тихановским по пехоте.

Через некоторое время подполковники явились. Столыпин передал им слово в слово приказ фельдмаршала. Стали думать сообща: что бы это могло значить? Предполагали, строили разные догадки.

Наконец Столыпин сказал:

— Вспомните, господа, первое ученье колоннами. Пехота училась против кавалерии. Потом артиллерия против пехоты. Но кавалерия против артиллерии еще не училась. Я думаю, так и до́лжно: ученье артиллерии против кавалерии.

— Похоже, — согласились подполковники.

— Как пушки запалят, я взойду в спальню, будто бы за чем-либо. Ежели мы ошиблись, Александр Васильевич тотчас же спросит: что за пальба? Ежели мы поняли верно, он станет продолжать свою работу.

На том и порешили.

На следующий день, как только загремели пушки, Столыпин с тревогой вошел к фельдмаршалу.

Тот сидел у стола — что-то писал. Увидав вошедшего адъютанта, Суворов приставил два пальца к губам — это был знак: все правильно, все хорошо!

IV

Фельдмаршал Суворов кончал подписывать бумаги, собираясь ехать к войскам.

— Ваше сиятельство, вас дожидаются, — доложил адъютант Столыпин.

— Кто?

— Из Петербурга.

— Фельдъегерь от царицы?

— Никак нет. Фазан, — улыбнулся Столыпин.

Суворов поморщился: опять какой-либо родовитый шалопай прискакал выслуживаться при штабе фельдмаршала. Благо, войны нет.

— Красив?

— Не приведи Бог! Весь в атласах и шелках. И завит, как пудель...

— Добро. Я ж его возьму с собою на ученье!

Суворов бросил перо, встал, надел каску, вышел.

В приемной его ждало что-то цветистое.

Зеленый атласный кафтан, коричневый шелковый камзол, желтые шелковые чулки, башмаки с золочеными пряжками, с красными каблучками.

«Фазан. Настоящий фазан!»

А из нарядной чужеземной рамки гляделось обыкновенное русское лицо — широкие скулы, нос пуговкой. Глаза голубые, упрямые.

«Вроде как не из глупых...»

Увидев Суворова, франт вскочил, взмахнул красной шляпой, низко склонился. С головы на пол посыпалась пудра.

— Как звать?

— Алексис Мещерский.

— Из каких Мещерских? Покойного князя Ивана сын?

— Да.

— А, очень рад. Отец был моим командиром. Достойный человек. Очень рад!

Суворов обнял его. Потом, не выпуская из объятий, чуть откинулся назад, разглядывая в упор:

— Каким фасоном повязан галстук?

— Эпикурейским.

— А сколько фасонов знаешь?

— Сорок.

— Пудра-то — заграничная?

— Парижская.

— Давно вернулся?

— Месяц назад.

— Кто посылал?

— Дядя Митрофан.

Суворов отпустил его. Прошелся по комнате.

— Помилуй Бог, этот может. Отец — вояка, дядя — гуляка! — Остановился, смерил еще раз с головы до ног. — Служить?

— Хотел бы.

— При штабе?

— При вас.

— Начнем с пехоты. Ступай переоденься, Алешенька!

Фазан удивленно поднял брови: что, он разве плохо одет?

— Я одет. Я готов...

— А готов, так идем! Только чур не отставать. Каждая минута дорога!

И Суворов вышел.

— Александр Васильевич фазанчика пошел крестить, — хихикали штабные, глядя им вслед.

День был жаркий. На дороге пыль — как перина.

Суворов в сапогах быстро шел по самой середине улицы. Фазан едва поспевал за ним на своих красных каблучках. Недоумевал: куда же так далеко ведет?

А фельдмаршал шел, все время поучая:

— Военный шаг — аршин. В захождении — полтора аршина!

И припечатывал, как на церемониальном марше. Пыль летела во все стороны.

Фазан чихал, сморкался от пыли, но терпел. Пот тек по лицу, по затылку. Пробовал вытереть — больше размазал: пыль смешалась с пудрой. Башмаки посерели, золоченые пряжки потускнели.

А Суворов без устали шагал и без устали говорил:

— Возьми себе в образец героя древних времен. Наблюдай его, иди за ним вслед. Поравняйся, обгони — слава тебе!..

Поравняться со старым фельдмаршалом — где там! Алексис старался хоть не отставать: ковылял на высоких каблуках, придерживал ерзавшую на голове шляпу, поглядывал по сторонам — куда идут? Скоро ли конец?

Но конца не предвиделось.

Давно прошли все улицы. Шли по дороге, по полям, напрямки. Прыгали через канавы, перелезали через плетни.

Алексис потерял несколько пуговиц из разных частей костюма, оторвал карман.

А Суворов все прибавлял шагу. Ему в сапогах идти было удобно, но в башмаках на высоких каблуках — не ахти как...

Суворов все жужжал:

— Последуй Аристиду в правоте, Фабрициану[1] в умеренности...

Вдруг разом остановился, так что Алексис чуть не наскочил на него.

— А кто такой Фабриций? Знаешь?

В Париже, в «Синем кабачке», хозяин был Фабриций. Но он неумерен во всем. Вероятно, не тот.

От усталости, от духоты, пыли, досады брякнул прямо:

— Не знаю!

Суворов отскочил. Смотрел неласково, строго.

И тут Алексис вспомнил: в Петербурге все предупреждали — у Суворова остерегись говорить «не знаю».

— Незнайка. Немогузнайка! — измывался фельдмаршал. — Солдат должен все уметь, все знать! Я все знаю!

Алексис вспыхнул. Вырвалось невольно:

— Нет, ваше сиятельство, и вы не все знаете!

Суворов удивленно воззрился:

— А ну-ка скажи, чего я не знаю?

— А как звали мою прабабушку?

Фельдмаршал рассмеялся. Хлопнул его по плечу:

— Молодец, Алешенька! Нашелся! Бабушку знаю — Авдотья, а прабабушку — помилуй Бог!

И пошел опять вышагивать.

Они шли уже по тропинке. Свернули куда-то в сторону, пошли кустами-кустами, и вот — громадный сухой ров.

Через глубокий ров перекинуты две тонкие жердинки.

---

[1] Аристид — греческий полководец; Фабриций — римский полководец.

Суворов как шел, так и пошел по этой кладочке. Уверенно и ловко, как по полу. В один миг очутился на том берегу рва.

А фазан на секунду замешкался — как тут идти? Потом очертя голову кинулся вслед за фельдмаршалом.

Ступил раз-два-три. Проклятый каблучок соскользнул с жердинки. Алексис качнулся вправо, влево, попробовал удержать равновесие, взмахнул руками, как птица крыльями, готовясь лететь, и — полетел вниз.

Но, падая, успел как-то схватиться руками за кладочку. Повис надо рвом, болтая ногами. Потом сообразил: перехватывая то одной, то другой рукой жердинки, перебрался через ров.

Не полез в бурьян, в камни, в битые черепки за своей шелковой красной шляпой. Побежал вслед за фельдмаршалом.

Суворов точно не видел, что произошло, — уже был далеко.

Алексис шел, на ходу зализывая оцарапанную руку. Куафюра его растрепалась — голова была взлохмачена, дика. Эпикурейский галстук съехал на сторону, лицо пылало. Он хромал: предательский каблучок так-таки сломался...

Алексис уже не смотрел по сторонам, — было все равно, куда идти и сколько идти. Поднялись на горку, спустились в лощину. Прошли лужок, и внизу — река.

Суворов еще на ходу сбросил куртку, быстро скинул сапоги, белье. Взял одежду, сапоги в руку и бросился в реку. Он плыл, покрякивая от удовольствия, и оглядывался.

Фазан едва приковылял к берегу. Невольно глянул на себя, на кафтан, камзол, башмаки. Ленты, пуговицы, пряжки. Ежели раздеваться, всё отстегивать и снимать — Суворова и след простынет.

Алексис перекрестился и бухнул головой с берега — только брызги во все стороны.

Плыл отменно легко, саженками. Над водой мерно мелькали оплюхшие кружевные манжеты, да горбатилась, дыбилась над водой зеленая атласная спина...

Противоположный берег был глинист и крут. Фазан увяз в глине, едва выдрал ноги, на четвереньках взобрался наверх.

Вода стекала с него ручьями. Камзол из коричневого стал желтым, а чулки из желтых — коричневыми. Волосы окончательно развились, висели по плечам, как у протодьякона. Башмаки все в глине, в башмаках чвакала вода.

А Суворов бежал уже по лугу. Впереди виднелись зеленые мундиры мушкатеров.

Вымокший, словно курица, полинявший с ног до головы, плелся Алексис. Мокрый атлас свисал на ходу.

Алексис был красен и зол. Он знал, что его вид смешон, но шагал твердо: второй каблук отломал сам, чтобы не хромать.

Офицеры выстроенного на лугу полка отворачивались. Солдаты беззвучно тряслись от смеха, — в строю у фельдмаршала Суворова не больно поговоришь!

— Что, умаялся, Алешенька? — участливо спросил Суворов, когда Мещерский подошел к нему.

— Нет, ничего, — буркнул тот.

«В отца! Упорен. Тверд. Молодец!» — подумал Суворов.

Спросил:

— В гвардии был записан сержантом?

— Точно так!

— Дай-ка мне шпагу, — обернулся Суворов к светлоусому капитану.

Суворов взял шпагу и передал ее Мещерскому:

— Вон, впереди — вал. Взять его штурмом!

Скомандовал:

— Первая рота, слушай команду подпоручика князя Мещерского! Веди, Алешенька!

Мещерский выбежал вперед и, закричав: «За мной, ура!» — побежал изо всех сил к валу.

Рота гаркнула «ура» и дружно кинулась за ним.

Мещерский бежал с удовольствием: он чувствовал — этот искус последний.

И вдруг, когда до вала осталось не более полусотни шагов, впереди блеснул огонь, что-то грохнуло, и горячая и дымная волна ударила в него. Чуть не сшибла с ног.

От неожиданности Мещерский на мгновение остановился, шатаясь.

«Холостыми», — пронеслось в мозгу.

— Коли, руби! — истошно заревел он, кидаясь к валу. Он обогнал неторопливо, привычно бегущих мушкатеров и раньше всех вскочил на вал. Мещерский так разъярился, что чуть в самом деле не пырнул шпагой первого попавшегося артиллериста.

...Когда вернулись с ученья в главную квартиру, Суворов кликнул своего цирюльника Наума:

— Остриги их благородие. В кружок.

Через минуту от пышной парижской куафюры с буклями и «кошельком» на затылке не осталось и следа.

Суворовский вестовой принес от каптенармуса новый офицерский мундир, сапоги, каску.

— Вот так-то лучше, Алешенька! Теперь ты не только по душе, но и по виду русский! — ласково сказал Суворов, обнимая бывшего фазана.

Мещерский от волнения и усталости едва стоял на ногах.

— Ну-ну, ступай отдохни. Ты молодец!

V

— Ваше благородие, вставайте, за вами пришли! — тормошил Столыпина денщик.

Столыпин проснулся. Сегодняшнюю ночь провел у фельдмаршала и потому лег после обеда отдохнуть.

Встал, надел мундир, вышел из спальни.

В комнате его ждал Мандрыка.

— Что такое случилось? — спросил Столыпин.

Было странно, что сам правитель фельдмаршальской канцелярии пришел на квартиру к адъютанту.

— Пойдем, расскажу! — Они вышли.

На площади, где никто не мог подслушать, Мандрыка сказал:

— Государыня скончалась.

— Не может быть!

Ошеломленный этой неожиданной неприятной новостью, Столыпин остановился.

Мандрыка вынул из кармана конверт с императорскими печатями:

— Что же нам делать, Александр Алексеич? Пришел с тобой посоветоваться. Ты нашего старика хорошо знаешь.

Они медленно шли по площади. Осенний ветер гнал по небу тучи. Было пасмурно и неуютно.

— Ежели доложить теперь, то он целую ночь протоскует и не уснет. Ослабнет старик. Не заболел бы. Не лучше ли будет так-то: я не пойду к себе, останусь на ночь при нем. По обыкновению, он в два часа ночи закричит: «Мальчик!» Я войду. «Что нового?» Я доложу: «Дмитрий Дмитриевич приходил, но вы изволили почивать». Он велит позвать вас. Пока я схожу да пока мы придем, он уже напьется чаю, и тогда можно будет объявить.

— Пожалуй, так и сделаем, — согласился Мандрыка.

Глава четвертая

«Я НЕ НЕМЕЦ, А ПРИРОДНЫЙ РУСАК!»

I

Получив известие о смерти Екатерины II, Суворов немедленно отправил в Петербург адъютанта Уткина с письмами к Хвостову и Наташе узнать, что происходит в столице.

Далекий захолустный Тульчин жил в эти недели только предположениями, догадками и невероятными слухами. Все сходилось в одном: новый царь заведет иные порядки, чем те, которые были при Екатерине.

Обстоятельства сложились для Павла Петровича так, что лишь в 42 года он унаследовал престол. Будучи наследником, он не очень дружил с матерью — они придерживались разных взглядов — и не принимал участия в государственных делах; значит, теперь наверстает упущенное: новая метла хлестко метет! Потому дворяне и чиновники тревожно шушукались по углам, а крестьяне, как после смерти каждого царя, ждали каких-то облегчений в своей подневольной, крепостной жизни. Тем более что этот царь велел привесть к присяге не только господ, но и мужиков, чего еще ни разу не случалось.

Суворов поначалу был доволен: «Повалил кумиров!» Полетел «мелкоумный», заносчивый мальчишка, царицын любимец Платон Зубов.

В последнее время Суворов окончательно разошелся со всеми Зубовыми, — даже со своим зятем Николаем Александровичем, который, как и следовало ожидать, тянул не за тестя, а за брата.

«Князь Платон, — писал Суворов Хвостову, — знает намеку, загадку и украшается *как угодным,* что называется в общежитии лукавым, хотя царя в голове не имеет».

— Козел, который и с научением не будет львом!

Взбешенный однажды надменностью Платона Зубова, Суворов под горячую руку написал фавориту резкую записку. Поставил его на место:

«Ко мне стиль Ваш рескриптный, указный, повелительный, употребляемый в аттестованиях! Нехорошо, сударь!»

И совершенно прекратил с ним переписку, а обращался непосредственно к царице.

И вот теперь вся карьера Зубова лопнула. «Кумир» повалился... Первые достоверные известия о новой петербургской жизни привезла дочь графини Потоцкой, которая приехала в Тульчин.

Графиня немедленно же пригласила Александра Васильевича к себе, так как знала, что Суворов захочет послушать о Петербурге.

— Можете себе представить, Александр Васильевич, государь ничего худого не сделал Платону Зубову! — такой невероятной новостью встретила Суворова Потоцкая.

Павел Петрович ненавидел всех любимцев Екатерины, и особенно покойного Потемкина, и должен был бы в первую очередь разделаться с теми, кто из них остался в живых.

— Я ж говорил: князь Платон — человек «как угодно». Пускает плащ по всякому ветру, — ответил Суворов.

— А Николай Александрович был отправлен в Гатчину сообщить Павлу о смерти матери.

Суворов только иронически улыбнулся, услышав об это»: важной миссии, которую поручили его зятю.

— Ну, графинюшка, рассказывайте! — сказал он, садясь в кресло и вынимая из кармана золотую табакерку.

Молодая графиня рассказывала, а Суворов вставлял свои замечания.

— Запрещено танцевать вальс...

— Помилуй Бог! Вальс — большое государственное дело!

— Нельзя носить французские круглые шляпы, отложные воротники, башмаки с лентами. А с пряжками так некрасиво... В воскресенье полиция и драгуны ловили на улицах всех, кто еще был одет по старой моде. Обрезывали воротники, рвали жилеты. Дядя Андрюша поехал с тетей в собор. Воротился точно после драки: соболий воротник отрезан, жилет — в клочья, — смеялась рассказчица.

— Да, отложные воротники — злейшие враги отечества! — басил, усмехаясь, Суворов.

— Вокруг Зимнего понатыкали полосатые будки. Черные с белым. И цвета похоронные, не могли какими-либо другими разрисовать. Не дворец, а казарма. И в одну ночь все фонарные столбы, все ворота, двери в домах — всё выкрасили этими противными полосами.

— Гатчинский, прусский манер. Понимаю...

— Запрещено говорить слово «курносый».

— Хорошо, что у меня нос не такой, — потрогал себя за нос Суворов.

— При встрече с государем все экипажи должны останавливаться, а кто едет — выходить и кланяться.

— А если на улице грязь? — спросила мать.

— Дамам разрешено делать поклон на подножке кареты. Госпожу Демут, жену владельца гостиницы, посадили на трое суток в смирительный дом за то, что она не скоро вышла из экипажа. И теперь все, как увидят царскую карету, заранее сворачивают в переулок.

— Знаете, Александр Васильевич, в Петербурге ложатся спать в десять часов вечера — так приказал государь, — сказала Суворову графиня Потоцкая.

— Оттого графинюшка и пожаловала к нам? Скучно небось стало в Петербурге? — посмотрел Суворов на молодую графиню. — А когда же встают — всё в двенадцать, в полдень?

— Смотря кто. Дядя Андрюша едет в департамент к пяти часам утра.

— Ого! Вот это здорово. Вот это по-нашему, — похвалил Суворов. — Каково-то сейчас таким, как Безбородко, в пять утра садиться за дела! Ну, еще что? Как армия?

Но об армии молодая графиня знала очень немного. Сказала только, что офицеры одеты точно монстры, как пугала: мундиры тесные, некрасивые, ботфорты простые, грубые, головы у офицеров завиты, и самое смешное — к ушам прицеплены громадные войлочные букли, в руках трости. Фи...

— Так-так. Стало быть, нарядили во все прусское, как при покойном батюшке Петре Третьем тридцать лет назад носили. Ну что ж, гатчинцы всегда были так одеты.

Больше ничего интересного графиня не рассказала. Дальше шло все то же: запрещено женщинам носить синие сюртуки с красными воротниками и белые юбки, цветные ленты через плечо и прочее.

О новых порядках в армии Суворов узнал пока что немного. Но уже было ясно: на всем — гатчинский, капральский дух. Да этого и надо было ожидать от Павла, потому что он всегда выставлял себя ярым поклонником всего прусского. Все последние годы наследник Павел Петрович жил у себя в Гатчине. В Гатчине завел свое небольшое войско — пехоты, кавалерии и артиллерии около двух с половиною тысяч человек. Войско было обмундировано и обучено по старопрусскому образцу. Ясно, что теперь Павел переделает всю армию на прусский манер, как было когда-то, еще при его отце, Петре III.

Матушку свою, Екатерину II, Павел не любил. Потемкина и с ним все нововведения в армии — ненавидел.

Суворов спускался вниз к себе, в первый этаж, и невольно повторял слова солдатской песни, которую сложили тогда, когда он, Румянцов и Потемкин добились отмены прусского обмундирования и этого дурацкого пудрения солдатских волос:

Спросить было у пудры,
Спросить было у сала,
Куда их делась слава?
Пудра, сало — в аде,
Солдаты в вертограде[1]
Кричат: «Виват, виват!»
Солдаты в вертограде!

Выходило, что пудра-то и свечное сало, которым смазывали волосы, опять брали верх, а солдаты оказывались далеко не в «вертограде»...

«Пустокрашения солидного», — огорченно думал фельдмаршал Суворов.

---

[1] Вертоград — сад.

II

Сколь же строго, государь, ты меня наказал за мою 55-летнюю прослугу!

Суворов

На следующий день после приезда Потоцкой Суворов отпустил в Петербург подполковника Батурина в отпуск, а сам с утра поехал на охоту; охоту и рыбную ловлю он любил.

Суворов со дня на день ждал нового устава, ждал более точных указаний насчет обмундирования, снаряжения и прочих изменений. Обучать солдат по-своему сейчас не хотелось — было не к чему.

По старой привычке, выработанной с юности, он много занимался, хотя продолжали болеть глаза: писал и читал. Читал книги и газеты. Следил за тем, как в Италии молодой французский генерал Бонапарт делает поразительные успехи.

«Ох, далеко шагает мальчик. Пора бы его унять!»

Но целые дни только читать да писать невозможно. Ведь он не кабинетный же человек!

Не сиделось на месте. Хотелось двигаться, действовать.

И потому Александр Васильевич уезжал на охоту.

Когда однажды Суворов после полудня, усталый, но довольный поездкой, вернулся домой, его ждали большие новости.

Из Петербурга наконец получили инструкции по поводу установления в армии новых порядков.

Новости оказались неприятными, хуже и представить трудно.

Устав в армии вводился, конечно, как и ожидал Александр Васильевич, прусский, старый, 1760 года, только слегка измененный любимцем Павла Ростопчиным. Его рука чувствовалась во всем.

Обмундирование тоже прусское, но еще более устаревшее. Такое, как пруссаки носили даже не при Фридрихе II, а еще при его отце.

Стало быть, все заботы, все труды, все знания Суворова, Румянцова, Потемкина — к ноге!

Не выдержал. Прорвалось гневное:

— Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять!

Из Петербурга даже прислали железный полуаршинный прутик — мерку, какой длины должна быть у солдата и офицера коса.

— Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак! — взбешенно крикнул Суворов и отшвырнул прочь железную мерку.

Но чем дальше в лес, тем больше дров. Дальше шли новые неприятности. Павел I ни за что вдруг произвел в фельдмаршалы девять генералов: Репнина, Эльмпта, Каменского, обоих Салтыковых, Прозоровского, Мусина-Пушкина, Гудовича и Чернышева.

Свалил всех в одну кучу.

И всех фельдмаршалов поставил в общий список генералов, — каждый назначался шефом какого-либо полка.

Главное значение в армии приобретали инспектора: они заменили прежних командующих дивизиями (дивизиями назывались округа, в которых войска располагались для постоянных квартир).

— Фельдмаршал понижается до генерал-майора! Если бы фельдмаршала сделали генерал-инспектором, и тогда не его дело этим заниматься!

Выходило так, что все прошлое, все боевые заслуги, вся воинская слава, добытая умом, сердцем, кровью, — стали ни во что.

Слишком большой удар!

Суворов в горечи рванул дрожащими руками конверт, который передал ему один из двух приехавших офицеров-курьеров.

Они стояли в своих новых прусских мундирах, резко выделяясь из всей группы офицеров суворовского штаба, бывших тут же. Суворову они казались какими-то чучелами из кунсткамеры, такой стариной, таким отжившим, далеким; Семилетней войной веяло от них.

Письмо было от самого царского адъютанта Ростопчина, «сумасшедшего Федьки», как метко окрестила гатчинского выскочку умная, проницательная Екатерина II.

«Сиятельнейший граф, милостивый государь!

По повелению государя императора, при сем отправляю к Вашему сиятельству двух фельдъегерей, коим и находиться при Вас для посылок вместо употребляемых прежде сего офицеров.

Препоручая себя при сем случае в милость Вашу, имею честь пребыть с глубочайшим почтением,

сиятельнейший граф, милостивый государь,

Ваш покорный слуга Федор Ростопчин».

Не подымая глаз от бумаги, секунду раздумывал. «Фельдъегери! Были курьеры, стали фельдъегери. Всё на прусскую колодку. Уткина, значит, послал не по правилу. Аракчеев, петербургский комендант, — его старый недоброжелатель. Допросит Уткина, все узнает, доложит царю. Надо немедля же отправить рапорт, что, посылая Уткина, не знал никаких новых распоряжений. Со своими письмами никого из офицеров слать будет невозможно. И вообще теперь он может слать только одного из этих вон двух незнакомых офицеров-фельдъегерей. Он будет под всегдашним надзором Аракчеева».

Так!

Лицо горело от обиды и негодования.

— Ну, каких же молодцов выбрали для Суворова?

Он бросил бумагу на стол, поднял глаза. Впервые пристально поглядел на фельдъегерей.

Один — маленький, быстрый, штаб-ротмистр Емелин — ему сразу же понравился. Даже нелепая прусская форма, этот «обряд, неудобь носимый», не смогла изуродовать, оболванить его.

«Смышлен. И видать, не подлец».

Второй — повыше, толстогубый, с распухшим не то от насморка, не то от пьянства носом, мешковатый поручик Котович — не пришелся по душе: «Глуповат. Плутоват. И должно, пьяница. Настоящий гатчинец. Царский соглядатай!»

— Ну вот, господа, полюбуйтесь — новая форма! — сказал Суворов офицерам своего штаба, выходя из-за стола. — Накройтесь. Наденьте перчатки, — обернулся он к фельдъегерям.

Оба офицера надели треуголки и длинные перчатки и стояли с тростями в руках.

Емелин, выпятив грудь, смотрел браво. В глазах чуть приметный смешок, — видимо, он разделял иронию Суворова. Котович, наоборот, от важности, что он служит примером, надулся как индюк.

Пожилые офицеры штаба, которые помнили старую прусскую форму, смотрели на фельдъегерей без интереса. Молодые удивленно рассматривали прусские мундиры, тесные штаны, уродливые войлочные букли над ушами, непомерной величины треуголку, перчатки, закрывающие локти, и трости в руках.

Павловская прусская форма была уродлива и нелепа.

— Повернись кругом, братец! — сказал Емелину Суворов.

Емелин отставил правую ногу назад и через правое плечо ловко сделал поворот.

Шпагу по новой форме носили не у бедра, а сзади. Она приходилась между фалдами мундира.

— А ну-ка попробуй вынуть шпагу!

Емелин торопливо зашарил по спине рукой, но вынуть шпагу из ножен не мог, — не хватало разворота.

— Оставь, не вынешь! Мерлин, собирайся, поедешь тотчас же в Петербург, — обратился он к одному из адъютантов.

Решил все-таки послать в Петербург в последний раз кого-либо из своих. Из этих двух фельдъегерей кого же слать — только что приехали и опять в такую дорогу?

— Поручик Котович может идти отдыхать. А ты, братец, обожди здесь, потолкуем! — тронул он за локоть штаб-ротмистра Емелина.

III

Штаб-ротмистр Емелин сидел в жарко натопленном кабинете фельдмаршала. Хотя он, по приказу Суворова, снял с головы уродливые войлочные букли, но все-таки было жарко. Он вытирал пот платком и рассказывал. А Суворов, в одной рубашке, без кителя, ходил из угла в угол. Слушал.

Емелин рассказывал ему, как Павел I влил в гвардию своих гатчинцев, которых раньше-то и к столичной заставе не допускали; как ежедневно — чем свет — царь устраивает на Дворцовой площади вахтпарад и за малейшую неточность или ошибку на ученье жестоко наказывает: Преображенский полк, например, весь сослал в Сибирь и спохватился только тогда, когда преображенцы дошли до самого Новгорода; и как переучивают всех офицеров по новому, прусскому, уставу.

— Учрежден «тактический класс», — рассказывал Емелин. — Занятия происходят в Белой зале Зимнего. На занятиях присутствует сам император.

— Кого именно обучают?

— Обер- и штаб-офицеров. Но приходят и генералы. Даже фельдмаршал князь Репнин частенько бывает.

Суворов скривился:

— Этот придет: он дипломат. И старый друг пруссаков. А кто преподает?

— Полковник Каннабих.

— Откуда такой Каннабих выискался? Немецкий булочник?

— Говорят, был где-то учителем фехтования.

— И чему же учит Каннабих этот?

— Объясняет обязанности офицера — где находиться, как командовать. Особенно приемы эспонтоном.

— Хорошо объясняет?

— Одна смехота, ваше сиятельство. Да вот извольте послушать.

Емелин сделал глупое лицо, отставил нижнюю губу и передразнил Каннабиха:

— «Э, когда командуют: «Повзводно на-право!» — официр говорит коротково. Э, когда командуют: «Повзводно на-лево!» — то просто — налево. Официр, который тут стоял, так эспонтон держал и так маршировал, и только всего, и больше ничего!»

— О-хо-хо! — смеялся Суворов. — «И только всего, и больше ничего»?.. Ха-ха-ха! Ловко же ты его. Молодец! Многому же такой тактик научит. Ах, учители, учители. Немые учат косых! — грустно сказал Суворов.

Он молча прошел из угла в угол, потом рванулся к двери, открыл:

— Мальчик!

Вошел Столыпин.

— Ты комнату его высокоблагородию нашел? — показал он глазами на Емелина.

— У моего хозяина поместимся.

— Вот и отлично. Ступайте отдыхайте. Да плюнь ты на эту прусскую пудру, вымой хорошенько, по-русски, голову, а то, помилуй Бог, волосы раньше времени вылезут! — сказал на прощанье штаб-ротмистру Суворов.

На квартиру к Столыпину послушать рассказы Емелина о Петербурге собрались Мандрыка, Тищенко и Ставраков. Сидели за столом, пили, ели, курили трубки, беседовали.

— В Петербурге теперь в эту пору уже давно спят. Ввечеру, в девятом часу, по улицам ходят нахтвахтеры. Орут во всю глотку: «Гась-гонь!» «Закр-вта!» «Лож-ать!» То есть — «гаси огонь, закрывай ворота, ложись спать!» И ни тебе в бостон, ни в фараон сыграть — карты запрещены.

— У нас тут — были бы денежки. Завтра у Тихановского соорудим, — сказал Мандрыка.

— Мерлину бедному страсть как не хотелось сегодня уезжать в Петербург, — заметил Ставраков.

— Туда, брат, не захочешь — добра не жди! Насидишься на гауптвахте.

— Э, губа — пустое. На губе всякий день не то что наш брат, офицер, а генералы клопов кормят. В Петербурге того и гляди в солдаты угодишь! — авторитетно заметил Емелин. — И до чего, однако, хорошо, как голова чиста и нет этого проклятого обруча с буклями. Надоела завивка!

— А как это завивают? — спросил Столыпин.

— Расскажу, — ответил словоохотливый штаб-ротмистр.

Он затянулся, потом окутался целым облаком дыма и начал:

— Вот каким манером я это впервые познал. Наш полк готовился к первому вахтпараду. К пяти часам утра — еще ночь, темно — приказано быть в полку. Офицерам пригоняли новую форму и оболванивали головы два гатчинских куафера-солдата. Дяди ростом чуть ли не в сажень, плечи — во, кулачищи — во. Посадили меня посреди комнаты на скамейку, окутали вместо пудроманте-ля[1] рогожным кулем. Остригли спереди волосы под гребенку. Потом один из них говорит: «Держися, вашескородие, я вам трошки головку побелю». И стал мне натирать мелко истолченным мелом переднюю часть головы. Мел — в глаза, в нос, в рот. Свету Божьего невзвидел. Так минут пять. Чихаю, сморкаюсь, слезы рекой, а он знай трет. Я уж думаю: не выдержу, рехнусь. Молю: «Погоди, братец, дай отдохнуть!» А он только твердит: «Еще трошки!» Наконец говорит: «Сухой подготовки — фатить! Теперь мокрой — и годи!» Набрал в рот артельного квасу, стал против меня, да как фукнет мне в рожу. Раз, другой, третий. Облил все мое черепоздание, а заодно и все окрестности — глаза, нос, щеки, уши. А второй стервец стоит возле меня и сыплет грязной пуховкой на голову муку. Потом причесали гребнем и приказали: «Сидите, вашескородие, доки не засохнете!» Сидим такие чучела подряд человек десять, друг на

---

[1] Пудромантель — накидка, надевавшаяся при пудрении головы.

друга глядеть тошно. Дальше привязали в волоса железный прут, такой, как мы сюда привезли вам, приделали мне, будь они прокляты, войлочные букли вон на ту, согнутую дугой, проволоку, что валяется на подоконнике. Часа через три мучная кора затвердела, и меня можно было выставлять, как мраморную статую, куда угодно: на дождь, снег. Такая куафюра все выдержит!

— Неужели и нам придется? — с тревогой спросил Ставраков.

— Придется, — ответил Мандрыка. — Ничего наш Александр Васильевич не поделает. Не любит он этого, да плетью обуха не перешибешь!

— А ловко, правильно это он давеча сказал: «Пудра не порох, коса не тесак!» — улыбнулся Емелин.

— Русское он в обиду не даст! — ответил Столыпин.

IV

Сегодня Александр Васильевич долго ворочался с боку на бок — сон не приходил. В голове теснились мысли — Целая буря мыслей.

Отношения с царем складывались у Суворова день ото дня все хуже. Сегодня Александр Васильевич получил рескрипт — обидный, оскорбительный. Царь унижал Суворова, старался уравнять с прочими генералами, зачеркивал все 55 лет его беспорочной службы, его славные победы.

Хотелось тут же, немедленно ответить на все. Хотелось спорить, доказывать, возражать. Но кому говорить здесь, в Тульчине? А между Тульчином и Петербургом легли сотни верст.

Оставался старый способ хоть немного успокоиться — излить накопившуюся горечь, все наболевшее на бумагу.

Александр Васильевич долго сидел у стола, смотрел ничего не видящими глазами на огонек свечи, грыз ноготь и время от времени схватывал перо, вслух приговаривая:

— Да, да! Вот именно, помилуй Бог!

Теперь фельдмаршал спал, разметавшись на постели, спал в неудобной позе: он сполз с сена и его седая голова упиралась в свежевымытые доски пола. Выражение лица у Суворова было страдальческое. Две складки у носа углубились, худые щеки впали.

А на столе, где горела в подсвечнике свеча, остались лежать три бумаги —

злосчастный рескрипт:

«Граф Александр Васильевич. С удивлением узнал я присылку от Вас сюда адъютанта Вашего капитана Уткина с одними только партикулярными письмами. Почитая употребление таковое не приличным ни службе, ни званию офицерскому, с равным же удивлением вижу, что Вы по сю пору не распустили штаба своего. Я приказал

здесь упомянутого адъютанта Вашего определить в полк, а Вам предписываю остальных адъютантов и прочих чинов, в штабе Вашем находящихся, с получением сего тотчас перечислить в состоящие под Вашею командою полки и к оным их немедленно отправить»;

плотный лист бумаги; на нем четким суворовским почерком написано:

Буря мыслей

и ниже:

«Сколь же строго, государь, ты меня наказал за мою 55-летнюю прослугу! Казнен я тобою штабом, властью производства, властью увольнения от службы, властью отпуска, знаменем с музыкою при приличном карауле, властью переводов. Оставил ты мне, государь, только власть высочайшего указа 1762 года[1].

Все степени до сего брал без фавора.

Я лучше прусского покойного короля; я милостью Божией баталии не проигрывал. Я генерал генералов, тако не в общем генералитете.

Я пожалован не при пароле.

Нет вшивее пруссаков: лаузер, или вшивень, называется их плащ; в шильтгауз и возле будки без заразы не пройдешь, а головною вонью вам подарят обморок.

Опыт военного искусства[2] найден в углу развалин древнего замка, на пергаменте, изъеденном мышами, свидетельствован Штенвером и Линденером и переведен на нероссийский язык.

Солдаты, сколько ни веселю, унылы, и разводы скучны. Шаг мой уменьшен в три четверти, и тако на неприятеля, вместо 40, 30 верст. Фельдмаршалы кассированы без прослуг. Я пахарь в Кобрине, лучше нежели только инспектор, каковым я был подполковником.

Со дня на день умираю»;

и черновик прошения царю: Александр Васильевич просился из армии в отпуск:

«Мои многие раны и увечья убеждают Вашего Императорского Величества всеподданнейше просить для исправления от дни в день ослабевающих моих сил о Всемилостивейшем увольнении меня в мои здешние Кобринские деревни на сей текущий год».

...Прошка проснулся: барин глухо, сдавленно кричал во сне. С ним это случалось иногда. Приказывал, не мешкая, будить.

Прошка прошлепал босиком в спальню, нагнулся и потащил барина за ногу:

— Ляксандра Васильич!

Суворов сел, вопросительно глядя на камердинера.

---

[1] Указ о вольности дворянства — разрешение служить или не служить.

[2] Так назывался новый устав.

— Кричите во сне, ровно маленькие. На ночь, должно, креститься позабыли...

Суворов улыбнулся, перекрестился и, ни слова не говоря, бухнулся на постель. На этот раз лежал хорошо.

— Вот свалится эдак и стонет, — почесываясь и зевая, сказал Прошка.

Он дунул на свечу и вышел.

V

Неравный поединок между Суворовым и Павлом I был в разгаре.

Вскрывая очередной пакет из Петербурга, Суворов заранее ждал неприятности: чем-то сегодня пожалует царь?

Ожидания оправдались. На этот раз Павел I пожаловал Суворову выговор, да не один, а сразу два: за то, что Суворов предоставил отпуск подполковнику Батурину, и за посылку в Петербург адъютанта Мерлина, а не фельдъегеря.

«Удивляемся, что Вы, тот, коего мы почитали из первых к исполнению воли нашей, остаетесь последним», — колол Павел I.

Бедняга Мерлин попался как кур во щи: царь швырнул его безвинно в Ригу, в гарнизонный полк.

И в добавление к двум выговорам Павел I прислал еще короткий, не предвещавший ничего приятного вызов в Петербург:

«Господин фельдмаршал гр. Суворов-Рымникский! С получением сего немедленно отправьтесь в Петербург».

Мало выговоров на бумаге, собирается отчитывать победителя Рымника, Измаила и Праги на словах. Может, еще станет сравнивать его, поседевшего в боях, со своими гатчинскими любимцами, которые только и знают вахтпарады, — с Аракчеевым, Ростопчиным и со всеми этими невежественными пруссаками — Каннабихом, Штенвером, Линденером?

Не бывать этому!

Встречаться, говорить с царем Суворов не мог. О чем было говорить с Павлом I? О том, что русская армия — национальная, а не наемная, что глупо, преступно переносить в нее особенности прусской, наемной армии? Павел I не поймет же этого!

Несмотря на то что вся русская армия уже «переучивалась» на прусский манер, Суворов у себя в Тульчине ничего не изменял. Не мог. Не подымалась рука уродовать русскую армию.

Но он знал, что так продолжаться долго не может. Надо или подчиняться царскому самодурству, или уходить из армии.

Уходить из армии, от солдата, от того, с чем за 55 лет службы сроднился, было выше сил.

Но приходилось.

Александр Васильевич предвидел такой исход неравной борьбы. Неделю тому назад он отправил с фельдъегерем Котовичем второе прошение об отпуске. Написал, что так как войны нет, то ему нечего делать при армии.

Ответа на оба прошения еще не последовало.

И вот — вызов в Петербург.

Тогда со всегдашней своей решимостью и мужеством Суворов написал царю прошение об отставке.

Повез его штаб-ротмистр Емелин.

В мягкий предвесенний день конца февраля приехал из Петербурга Котович.

Суворов уже свыкся с мыслью об отставке, давно приготовился к отъезду и потому без особого волнения прочел письмо Ростопчина (царь не удостоил ответом):

«Государь Император, получа донесение Вашего Сиятельства от 3 февраля, соизволил указать мне доставить к сведению Вашему, что желание Ваше предупреждено было и что Вы отставлены еще 6 числа сего месяца».

Уколол в последний раз.

Рука Суворова, державшая бумагу, все-таки дрожала.

Глава пятая

КОНЧАНСКОЕ

Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов тверд, велик всегда!

Державин

I

Гостей ждали с утра. Мальчишки сидели на всех самых высоких елках, — барин обещал пятак тому, кто первый увидит едущих гостей. Барин был добрый и никогда не обманывал. Потому с десяток ребят побежали наперегонки за околицу подальше от Кончанского, чтобы раньше других увидеть, как поедут из Боровичей господа. Один Ленька не торопился бежать. Он облюбовал себе самую высокую березу и стал проворно взбираться на нее, — с березы увидишь скорее всего. И тогда-то остальные мальчишки сообразили, что Ленька перехитрил всех. И некоторые из них уже не столько смотрели на боровичскую дорогу, как на березу: Ленькина рубашонка из синей крашенины еще там, или, может быть, Ленька уже увидал и слезает...

Кроме ребят на дорогу то и дело смотрел из сада в зрительную трубу сам барин Александр Васильевич.

В весеннюю распутицу, по немыслимой дороге, на двенадцатый день утомительного, тоскливого пути Суворов прибыл сюда из Кобрина.

В Кобрин он поехал из Тульчина, в Кобрине он жил в опале, а здесь, в Кончанском, в ссылке. Сюда его определил на жительство сам царь Павел I.

Из Тульчина Александр Васильевич выехал тогда до света. Опального фельдмаршала никто не провожал. Суворов вечером попрощался с очаровательной графиней Потоцкой, в доме которой он прожил целый год. Войска провожать его уже не могли: Суворов сдал Екатеринославскую дивизию генерал-майору Беклешеву, и проводы Суворова были бы вызовом царю.

Суворова заменил какой-то безвестный, бездарный генерал. Добро бы сдать дивизию хотя бы князю Репнину или Каменскому, но сдавать ничем не известному человеку...

Суворов уходил в отставку даже без мундира.

Впрочем, здесь, в Кончанском, фельдмаршальский мундир был не нужен. Мужики признавали Александра Васильевича и без мундира, — любили и уважали его.

В Кончанском Александр Васильевич не был уже тринадцать лет. Впервые он приехал сюда после окончательного разрыва с женой, в декабре 1784 года. Тогда двухэтажный барский дом о десяти покоях, построенный отцом Василием Ивановичем, и то был уже ветхим. Крыша текла, печи дымили (вьюшки были глиняные, и, вытопив печь, закладывали ее глиной и засыпали песком), из дверей и окон дуло. А за тринадцать-то лет дом совершенно обветшал и теперь годился лишь на слом.

Но делать было нечего. Александр Васильевич приехал в мае, впереди предстояло лето, — можно было решиться как-либо дожить здесь до холодов.

Кончанское. Леса, озера, болота, пески. До уездного городишки Боровичей 40 верст. Действительно, Кончанское — «конец».

Царь строго заказал: Суворову никуда не выезжать, никого не принимать, писем не писать.

За всем этим смотрели накрепко. С Александром Васильевичем оставлены только Прошка, повар Мишка да фельдшер Наум. Даже адъютантов отняли у Суворова. Не с кем и слово молвить.

Стосковался.

Написал Наташе — кое-как передал в Петербург, чтоб приехала. Александр Васильевич знал, что зять все время в Павловске по долгу службы, а Наташа с Аркадием и сыном своим Александром в Петербурге.

Александру Васильевичу очень хотелось увидеть детей и полугодовалого внука.

Наташенька писала:

«Все, что скажет сердце мое, — молить Всевышнего о продолжении дней Ваших, при спокойствии душевном. Мы здоровы с братом и сыном, просим благословения Вашего. Необходимое для Вас послано при записке к Прокофию. Желание мое непременное — скорее Вас видеть, о сем Бога прошу, Он наш покровитель.

Цалую ваши ручки».

А потом получила у царя разрешение навестить отца. И предполагала приехать к петрову дню.

Получив это известие, Александр Васильевич поехал в свою деревню Каменку за сорок пять верст — посмотреть: может быть, там удобнее будет всем разместиться. Он поехал туда в простой телеге, с одним Прохором.

Прошка правил, никому не уступая дороги. Только издалека кричал всем встречным — будь то крестьянская подвода или помещичьи «бегунки»:

— Вороти! Тебе не равен в коробу сидит!

Проездил двое суток, немного развлекся, хотя и измучился в тряской телеге, но вернулся ни с чем: в Каменке было еще хуже, чем в Кончанском.

— Ничего, не на век, как-либо поместимся и в Кончанском!

И вот теперь ходил по саду, с утра нетерпеливо ждал, время от времени посматривал в зрительную трубу, в которую столько раз смотрел в сражениях на разных врагов.

И вот увидал: по дороге вскачь неслись один за другим ребятишки.

А через минуту вся их воробьиная стая с криком ворвалась в барский сад:

— Едут! Едут!

— На мост уже взъехали!

— Я первый увидал!

— Врешь, я!

— Ты меня только обогнал. Я зацепился и упал...

— Ну ничего, вот вам обоим.

Александр Васильевич сунул Леньке и другому белоголовому мальчишке по пятаку, а всем — кто прибежал первым, кто последним — сыпнул из кармана горсть пряников:

— Ешьте!

И сам поскорее побежал за околицу встречать долгожданных, дорогих гостей.

II

Зима наградила меня влажным чтением и унылой скукой.

Суворов о Кончанском

Когда начались осенние дожди, во всех десяти покоях барского дома не стало житья: крыша текла как решето, и Александру Васильевичу приходилось вставать среди ночи и перетаскивать свое сено из одной комнаты в другую.

Волей-неволей надо было искать другое помещение.

Большого дома пока что и не требовалось: Александр Васильевич остался один со своими тремя слугами — Прошкой, поваром да фельдшером. Дорогие гости — Наташенька с сыном и Аркаша — прожили в Кончанском два самых хороших, погожих месяца, а потом уехали назад, в Петербург.

Александр Васильевич нашел себе пристанище. На краю села, у самой церкви, стояла небольшая причтовая изба. Ее перегородили досками, и получились две всегдашние суворовские комнаты: кабинет и спальня в одной, в другой — кухня и помещение для слуг.

— Хорошо, прусаков нету, — говорил, осматриваясь на новом месте, Мишка-повар.

— Пруссак моего духу не любит! — шутил Суворов. — Плохо одно: перегородка без двери. Наум спит тихо, Мишка изредка говорит во сне, смеется, а вот Прохор Иваныч храпит так, что стены дрожат!

— А вы-то сами. Молчали б уж!..

Как-никак — жили. В тесноте, но не в обиде.

Александр Васильевич вставал все так же до света.

Здесь была другая работа. Он ходил смотреть, как готовят к зиме сад, как молотят, как возят лес на постройку барского дома.

«Видно, мне пожить тут, — думал Суворов. — Хоть бы умереть в бою, как Тюренню!»

В полуверсте от Кончанского, на высокой горе, которая называлась Дубихой, хотя на ней росли одни высокие ели, Александр Васильевич задумал поставить летнюю светелку.

По субботам и воскресеньям обязательно ходил в церковь. Пел на клиросе, читал часы, канон, «Апостола».

Мужики валили валом в церковь. Приходили не только кончанские, а из соседних деревень послушать, как батюшка Александр Васильевич читает и поет. Не могли нахвалиться его басом:

— Гляди-тко, не молоденький, а каково выводит!

— Цельную жисть командовал, кричал, вот и образовался такой голосина!

— Скажешь этакое! Матрена Пашкина целый век в доме командует, кричит и на мужа и на невесток, не похуже командера, а что ж, голос у нее подходящий? Родиться надо с таким голосом!

Суворов обучал дворовых мальчишек грамоте, составил из ребят хор. Учил их священник отец Иоанн, а Александр Васильевич приходил на спевки и всегда приносил в кармане медовые пряники.

Ребята любили барина, — он шутил с ними, летом играл в рюхи, рассказывал про походы.

Но к Рождеству Александр Васильевич делался все сумрачнее и сумрачнее. Пребывал в плохом настроении. К тому были причины.

Прежде всего, Александр Васильевич стал все чаще болеть. В походной, боевой обстановке, в армии он не болел. Изредка страдал желудком, да в последние годы болели глаза, а так чувствовал себя хорошо.

А здесь как-то расклеился.

Часто немела вся левая половина тела, пухли подошвы ног, так что трудно было ходить. А однажды в темноте споткнулся в сенях о ведро, упал и больно ушиб грудь.

— Года помнить надо, а не бегать, как в восемнадцать, — отчитывал Прошка.

Фельдшер Наум взялся растирать его какой-то мазью, но Александр Васильевич потребовал баню. Баня считалась у него главным лекарством от всех болезней, наружных и внутренних. Но и после бани ребра не перестали болеть. Все так же трудно было кашлянуть. И не болезнь, а — противно!

Он не любил больных, считал, что многие только притворяются больными. И когда в армии ему докладывали о том, что кто-то заболел, Суворов всегда переспрашивал:

— Что, он бóлен или бо-лéн?

Бóлен — это когда человек по-настоящему слег, занедужил, а бо-лéн — это притворство, это то же, что лживка, лукавка, родная сестрица немогузнайки.

И теперь сам подтрунивал над собою:

— Помилуй Бог, и не бóлен и не бо-лéн. Хожу вроде здоров, а потом как кольнет...

— Пройдет. У меня так в Херсоне ребра болели, — говорил Прошка.

— Ну и утешил: пройдет! Да и вся-то жизнь пройдет! — горячился Суворов.

Ему хотелось, чтоб прошло сейчас, немедленно.

Второй неприятностью были материальные претензии, которые вдруг посыпались на Суворова со всех сторон. Как только прослышали, что царь отставил его из армии, так накинулись на опального фельдмаршала все, кому не лень, у кого нет совести.

Майор Чернозубов взыскивал с Суворова восемь тысяч рублей, израсходованных его частью на фураж. Полковник Низовского пехотного полка Шиллинг — четыре тысячи за продовольствие полка. Поляк Выгановский просил взыскать с Суворова тридцать шесть тысяч рублей — за опустошение во время прошлой войны его имения.

И пошли и посыпались со всех сторон претензии и убытки, связанные то с той, то с другой войной, в которой участвовал Суворов, — там войска скормили своим лошадям чье-то сено, там, идучи, потоптали озимь...

И за все отвечать Суворову, точно армия была лично его.

Налетели как воронье.

Думают, что Суворов уже ничего не стоит.

Упавшего не считай за пропавшего! Беда, что текучая вода, — набежит и схлынет!

И третье: подходили святки — время, которое Суворов очень любил, всегда проводил весело и шумно. А тут, в глуши, в снегах, в этой заброшенной избенке, среди неграмотных мужиков — какое веселье?

Идут длинные «святые» вечера, а вечерами Александру Васильевичу остается одно развлечение — читать. Но книг мало, да и некому читать, самому много не почитать: болят, слезятся глаза.

По вечерам все-таки читывал излюбленного «Оссиана» Кострова и его оды Суворову:

Герой! Твоих побед я громом изумлен...

и эту, на взятие Варшавы:

Суворов! Громом ты крылатым облечен.

Вспоминалось далекое детство. Как зачитывался Плутархом, Корнелием Непотом, Квинтом Курцием, а отец был бережлив, скупенек, все наказывал, чтоб пораньше ложился, глаз не портил, много не жег свечи.

И так, один за другим, проходили дни. Скоро уж и год, как Суворов в Кончанском. И только кое-какие происшествия разнообразили его скучную, монотонную жизнь.

За неделю до Рождества изба, в которой жил Суворов, чуть не сгорела. Случилось это поздним вечером, когда уже все в избе спали. Один Суворов лежал, думал.

Коротенький зимний день прошел, как всегда. И день-то выдался какой-то неприятный.

У Мирона простудилась и умерла двухлетняя девочка. Александр Васильевич дал ему на похороны рубль.

В разговоре с барином Мирон обмолвился: «Бог прибрал, и ладно!» Хотя у Мирона было всего трое ребят и жил он в достатке.

Суворов страшно разгневался, — детей он очень любил, и слова Мирона сильно возмутили его. Он раскричался, затопал ногами и побежал прочь от Мирона, как бегал в армии от немогузнайки.

— Ирод, а не человек! Отец называется! — кричал он.

А Мирон стоял, в смущении почесывая затылок и не понимая, что́ такое он сказал.

Суворов тотчас же вызвал старосту и приказал ему отослать Мирона после похорон дочери к отцу Иоанну: пусть он наложит на Мирона епитимью[1].

Затем досталось и самому старосте. Александр Васильевич увидал, что бочку с водой тащит колченогий полуслепой мерин Красавчик. Красавчик беспорочно отработал двадцать пять лет, и Александр Васильевич давно приказал ни в какие работы его не наряжать, а до самой смерти только кормить.

Вечерний чай поэтому пил Суворов хмурый, недовольный.

Потом, чтобы хоть отойти от житейских неприятностей, сел к свече почитать.

Читал Державина «На взятие Варшавы»:

Прокатится, пройдет,
Промчится, прозвучит
И в вечность возвестит,
Кто был Суворов:
По браням — Александр, по доблести — стойк,
В себе их совместил и в обоих велик.
Черная туча, мрачные крыла
С цепи сорвав, весь воздух покрыла;
Вихрь полуночный, летит богатырь.
Тьма от чела, с посвиста пыль.
Молньи от взоров бегут впереди,
Дубы грядою лежат позади.
Ступит на горы — горы трещат,
Ляжет на воды — воды кипят,
Граду коснется — град упадает...

Затем, не гася свечи, лежал на сене, думал о разном: о «Тульчинских параличах», как Павел I засыпал его выговорами. О покойном фельдмаршале Петре Александровиче Румянцове, который умер ровно месяц спустя после Екатерины II. О том, что, может, и верно судили Наташа, Димитрий Иванович — вся родня и доброжелатели: в Тульчине Александр Васильевич больно остро, неосторожно говорил о Павле I.

— Сам виноват: слишком раскрылся, не было пуговиц!

И наконец стал вспоминать.

---

[1] Епитимья — церковное наказание.

Вспоминались святки в Херсоне, как весело катались на санях с гор, как вечерами у него танцевали, играли в игры, в любимую Александра Васильевича «жив курилка!».

Он уже дремал, когда вдруг раздался сильный стук в наружную дверь:

— Пожар! Изба горит! Батюшка, Александр Васильевич!

Кричал дьячок Калистрат, живший по соседству. Первым шлепнулся с печки Прохор. Он схватил кожух и так, босиком, кинулся опрометью в дверь, крича:

— Горим!

Фельдшер Наум суетился, собирая в полутемной кухне какие-то вещи и приговаривая:

— Господи Исусе! Владычица Небесная!

Александр Васильевич в опасности не терялся. Сколько раз в бою он смотрел в лицо смерти! Он вскочил, быстро надел на босу ногу сапоги, канифасный камзольчик.

Дверь Прошка оставил открытой. Из сеней тянуло дымом.

«Горит на чердаке», — в единый миг сообразил Суворов.

— Наум, спокойней! — закричал он, выскакивая на кухню. — Мишка, за мной! Воды! — скомандовал он повару, который уже собирался тоже сигануть за дверь.

Александр Васильевич кинулся в сени и смело полез по маленькой лестнице на чердак — дым действительно валил оттуда.

В темноте, в дыму Александр Васильевич различил: над боровом уже нагрелась, дымилась крыша, и тлело ближайшее бревно верхнего венца стены.

За Суворовым лез с ведром воды Мишка, которого отрезвило спокойствие Александра Васильевича.

Суворов обернулся и хотел выхватить из рук Мишки ведро, но повар не дал:

— Позвольте, барин, я сам!

И он плеснул на тлевшую стену.

— Воды сюда! — кричал сверху Суворов.

— Александр Васильевич, батюшка, вы прозябнете! Мы без вас справимся! — говорил поднявшийся по лестнице с ведром воды дьячок Калистрат.

За ним лез фельдшер.

Слышно было, как снаружи кто-то взбирался на крышу.

К избе бежал народ.

Через час все было кончено: пожар потушен, чердак и крыша осмотрены, прохудившиеся кирпичи борова заложены новыми.

Пошли спать.

Александр Васильевич издевался над Прошкой, который так струсил:

— Аника-воин. В стольких баталиях со мною был, а пожара испугался!

— Он, ваше сиятельство, боялся, как бы его Катюша вдовой не осталась, — язвил Мишка.

Прохор чувствовал свой конфуз — молчал. Только раз буркнул в оправдание:

— В бою — одно, а тут — спросонья... Заорали, с ума сойдя...

Суворов лежал улыбаясь. Настроение у него поднялось: все-таки какая-то встряска. Все-таки в однообразную чреду этих похожих друг на друга дней ворвалось какое-то необычайное, хотя и пустяковое, происшествие.

III

«То-то обрадуется дядюшка царскому приглашению приехать в Петербург!» — думал Андрюша Горчаков, подъезжая к селу Кончанскому.

Конечно, жить в такой глухомани одному, не иметь возможности ни поехать куда-либо, ни принять у себя, не получать писем и не писать самому — просто ужасно. И какой приятной неожиданностью будет старику приезд его, пусть себе племянника, но как-никак царского флигель-адъютанта!

Андрюша то и дело высовывался из саней посмотреть, не видать ли. Но кругом были лес и поля, нигде никаких огней, и только обок дороги то тут, то там светились огненные точки: волчьи глаза или так мерещится?

Наконец где-то впереди глухо тявкнула сторожкая собака. За ней — другая, уже смелее и звонче. Значит, жилье близко.

Все — Андрюша, ямщик, лошади — ободрились.

И еще через некоторое время Андрюша различил впереди церковную колокольню и темные группы изб.

Ныряя то вверх, то вниз, едучи то где-то в преисподней, так что жерди забора оказывались выше лошадей, то вдруг взбираясь по сугробам наверх, — и тогда полозья саней стучали о колья утонувшего в снегу забора, — выбрались в улицу села. Село все было занесено снегом.

В нос ударил приятный запах душистого сена, — миновали сенные сараи. Пахнуло дымом, — пошли дома.

Увидев длинную шею колодезного журавля, переливчато заржали кони.

Вот проехали темную громаду барского дома и служб. Андрюша знал, что дом совсем плох, что дядюшка живет где-то возле церкви, на самом краю села, и так было сказано ямщику.

Избы темны — хотя бы в одной огонек. Но вот и церковь и немного поодаль — небольшой домик. В маленьком запыленном снегом окошке чуть светится скудный огонек.

Здесь!

Андрюша вылез и, путаясь в длинных полах дорожной шубы, подошел к окну. Легонько постучал в раму.

Показалось ему или в самом деле за стеной раздались голоса? Но свет оставался на месте, и только в одном окошке.

Андрюша стукнул еще раз. Прислушался.

Взвизгнула дверь, звякнула щеколда, и знакомый хриплый Прошкин голос неласково спросил:

— Кто там?

— Прошенька, это я, князь Андрей!

— Батюшки, князек! Откудова? — обрадовался Прошка, распахивая дверь.

— Из Петербурга. Ну, как вы тут горюете?

— Не приведи Бог!

— Ничего, ничего. Вот поедем со мной в столицу!

Андрюша сам нашарил ручку двери и вошел в полутемную избу, — свеча стояла за перегородкой, во второй комнате.

Горчаков сбросил с себя шубу, развязывал шарф.

— Кто там? — окликнул из-за перегородки Суворов.

— Дядюшка, это я, Андрюша.

— Замерз?

— Нет, ничего.

Горчаков вошел за перегородку.

— Как ваше здоровье? — целуясь, спросил он.

— Солдат да малых ребят Бог бережет. Как дома живы-здоровы? Как Наташа с детьми? Как мама?

— Все здоровы. Сашенька уже говорит. Аркадий учится. Я, дядюшка, к вам от императора...

Александр Васильевич лежал, заложив руки за голову. Молчал, будто не к нему и не о нем речь.

— Его императорское величество вот что написал мне два дня назад, — не без важности доложил Андрюша.

Он достал из кармана бумагу и, не подходя к свече, — видимо, читал ее столько раз, что помнил наизусть, — прочел.

«Ехать Вам, князь, к графу Суворову, сказать ему от меня, что есть ли было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет поводу подавать своим поведением к наималейшему недоразумению.

Павел».

Александр Васильевич молчал.

Андрюша удивился такому равнодушию:

— Что же вы, дядюшка, молчите?

— А чего говорить; не поеду!

— Как так? Почему?

— Я ему не маленький. То из службы выключает даже без мундира, то зовет. Мало ли что дураку на ум еще взбредет! У него не семь, а тридцать семь пятниц на одной неделе! Не поеду!

— Да эдак можно совсем государя прогневить. Надобно ехать!

— Сказал: не поеду! — отрезал Александр Васильевич и повернулся на бок.

Секунду молчали.

— Ты вот лучше поужинай, — отозвался наконец Александр Васильевич. — Прошка!

— Я сыт, есть не хочу!

— Тогда ложись спать: поди, устал в дороге. Когда из Петербурга?

— Выехали позавчера в ночь.

— Где ляжешь? У нас тесно, не разойдешься: либо — печь, либо — лавка...

— Пожалуй, и здесь будет хорошо, — сказал Горчаков.

Прошка стал стлать ему на лавке.

Андрюша раздевался и все продолжал доказывать дядюшке необходимость поездки. Александр Васильевич не отвечал, только изредка перебивал племянника:

— Аракчеев как, лютует?.. Репнин в почете? А французы Италию занимают... Ну, спи: утро вечера мудренее!

Андрюша лег — устал. Чуть было сделал передышку, чтобы опять с новыми резонами атаковать несговорчивого дядюшку, как тотчас же уснул.

А Суворов лежал с закрытыми глазами. Не спал, думал. И думал о Павле I и Петербурге; было противно — толку из этого никакого и никакой работы.

«Андрюше — хорошо: двадцать годов и уже подполковник, флигель-адъютант. А я в двадцать годов чуть до подпрапорщика дослужился».

И сразу перед глазами встали яркие, точно вчера происходило, картины далекого прошлого.

Слобода лейб-гвардии Семеновского полка «позади Фонтанки, за обывательскими домами». «Связи»-дома, где жили тесно, но весело. Наряды в театр — проверять билеты. Караулы в Летнем саду. Красивая царица Елизавета, как она пожаловала Александру Васильевичу рубль за его выправку, молодцеватый вид на часах. Вот ее пухлая рука треплет по щеке. Кажется, сейчас слышит запах ее пряных духов и ее ласковый голос.

...Утром, за чаем, разговоры возобновились. Андрюше являться без результатов к взбалмошному, грозному императору невозможно: чего доброго, разжалует и упечет.

Сегодня Андрюше пришел на помощь Прохор. Братьев Горчаковых он любил и всегда стоял за них, да и самому надоела кончанская дыра — ни людей, ни трактиров.

— И чего, прости господи, ломается? Царь, их анпираторское величество, честью просят, а он не желает...

— А ты помалкивай: дочь матери в сводни не годится! Хочешь ехать — поезжай! Царь таких дураков, как ты, в графы производит. Может, турчонка Кутайсова обгонишь... — отрезал Суворов.

Но видно было по всему, что сегодня ехать он уже согласен.

— Вот что, Андрюша, так и быть, только тебя жалеючи поеду. Но поеду на своих, на долгих.

— Дядюшка, да император знаете какой? Ждать не любит.

— И слушать не хочу! — стукнул ладонью по столу Суворов. — На ямских, на перекладных, неизвестно куда и зачем торопиться, по единой царской прихоти, — помилуй Бог! Мне шестьдесят шесть годов. И брюхо болит. Старость не радость. Ежели б на дело, а так — пусть подождет!

И остался на своем.

Андрюше Горчакову волей-неволей пришлось согласиться. Дядюшка поедет на долгих, а он немедленно поскачет упредить государя, доложить, что все в порядке...

IV

Приехав в Петербург, Горчаков, зная нетерпеливый характер императора Павла, направился прямо во дворец. Павел I ждал его, не раз справлялся уже, вернулся ли флигель-адъютант Горчаков.

— Ну как, граф принял мое приглашение? Приедет? — спросил он у Горчакова.

— Приглашение вашего величества граф Суворов принял с радостию. Едет уже в Петербург. Но по болезни и старости не на почтовых, а на своих.

— Когда же он приедет?

— На днях.

— Когда именно?

Царь уже начинал горячиться.

— В воскресенье, — бухнул наугад Горчаков.

Андрюша назвал, как ему казалось, крайний срок, вполне достаточный для того, чтобы приехать из Кончанского в Петербург: был только вторник, впереди — целая неделя.

— Когда приедет, доложить немедленно!

Горчаков полагал, что дядюшка доставится не раньше воскресенья. С пятницы он стал наведываться на заставу, но прошла и пятница и суббота, наступило воскресенье, а дядюшки нет как нет.

Уж не выкинул ли своенравный, самолюбивый старик какую-нибудь новую штуку? Может, в последний момент передумал и не поехал? Горчаков извелся вконец.

Проходило и воскресенье. Окончательно потерянный и не надеявшийся уже ни на что Андрюша вечером поехал на заставу. Оставался час. Скоро царь ляжет спать, в городе погаснут огни, и всё уснет.

Андрюша сидел в караульной избе и разговаривал с дежурным офицером. Он решил посидеть еще четверть часа и ехать домой. Сомнений не было: дядюшка его подвел. Андрюша уже сегодня не мог показаться на глаза императору, а завтра на разводе Павел, разумеется, лишит его флигель-адъютантского звания и упечет в гарнизон.

В таком печальном предчувствии и разговоры все вертелись вокруг разжалований, выключений из службы и прочего.

Дежурный офицер рассказывал последнюю историю, ходившую по Петербургу, о том, как гвардии поручик («Вот называли мне его фамилию, да я запамятовал. Кажется, Сукин...») выкрутился из беды лишь благодаря находчивости в ответе. Когда царь, разгневанный на поручика за то, что тот нехорошо салютовал ему эспонтоном, крикнул: «В армию, в гарнизон его!», поручик с отчаяния брякнул; «Из гвардии да в гарнизон, это не резон!» Павел I рассмеялся и тут же простил поручика.

Андрюша делал вид, что слушает рассказчика, притворно улыбался, а думал о своем: на сердце скребли кошки...

Под окнами заскрипели полозья.

— Вот еще тянется какой-то помещик на долгих. И чего они едут, сидели б уж в своих усадьбах, ежели не трогают. Придется снова писать, — недовольно сказал офицер, вставая.

Андрюша глянул из-за его плеча в окно и опрометью кинулся вон: на козлах он увидел непривычно трезвое, красное от ветра и мороза лицо Прохора.

— Что же это вы так поздно? Император каждый день справляется, ждет! — подбежал он к дядюшкиным саням. — Вы где остановитесь?

— У Грушеньки, на Крюковом, — ответил дядюшка, с любопытством рассматривая полосатый шлагбаум, полосатую будку заставы.

— Так поезжайте, а я лечу к императору, скажу, что приехал! — обрадованно крикнул Андрюша, прыгая в свои сани. — Гони!

Когда Горчаков примчался во дворец, Кутайсов сказал ему, что царь уже собирается спать — пошел раздеваться (уйдя в спальню, Павел никаких докладов не принимал).

— Но тебе повезло — еще не управились с печью. Минут десять пройдет. Сказали, что проветриваем спальню. Может, тебя и примет еще.

(Павел требовал, чтобы в спальне было не менее 18 градусов тепла, но чтобы печь при этом оставалась холодной, — он спал головой к печке. Это нелепое, невероятное положение достигалось следующим образом: пока царь ужинал, жарко натопленную печь натирали льдом. Царь входил, смотрел на градусник — 18 градусов, дотрагивался ладонью до кафелей печки — холодные. Приказание исполнено. Все в порядке. И ложился спать, нимало не горюя, что остывшие снаружи кафели быстро нагревались опять.)

— Доложите, Иван Павлович! — взмолился Горчаков.

Кутайсов охотно пошел докладывать, — это было ему на руку: можно отвлечь императора.

— Входи, примет, — сказал он, возвращаясь к Горчакову.

Андрюшу провели в кабинет царя.

Через минуту вошел Павел. На нем была только шинель. В накинутой на плечи старой шинели (Павел, подражая Фридриху II, хотел казаться бережливым) он был еще более смешон и не похож на венценосца: маленький, курносый.

— Ваше величество, граф Суворов по вашему приказанию прибыл! — доложил Горчаков.

— А, очень хорошо. Скажи ему — принял бы сегодня, но уже поздно: пора спать. Пусть пожалует завтра в девять утра.

— Слушаю-с. В каком мундире прикажете ему быть?

— В таком, какой вы носите.

Не чуя от радости под собою ног, выбежал Андрюша из Зимнего.

Приехав к Хвостовым на Крюков канал, он застал дядюшку и Хвостовых — сестру Грушу и Димитрия Ивановича — за чаем. Димитрий Иванович, конечно же, воспользовался новым слушателем и уже пичкал гостя своими стихами.

Суворов в старом полотняном кителе, на котором висел только один орден Анны, пил чай, видимо поглощенный больше им, нежели стихами Димитрия Ивановича.

— Завтра в девять утра велено быть вам, дядюшка.

Дядюшка не выказал интереса к данному сообщению.

— Мундир у барина готов? — спросил Горчаков у Прошки, который вошел следом за Андрюшей.

— Все тут, на ём, — ответил Прошка.

— Почему не взяли?

— Сами они не хотели. Я положил, так выкинуть изволили! — недовольно покосился на барина Прошка.

— К царю надо одеться по форме.

— Я помещик, а не фельдмаршал. Что у меня есть, в том и явлюсь!

— Дядюшка, да вы меня погубите! — не выдержал Андрюша.

— Нет, ты меня с этим погубишь! Меня уже погубили! — сверкнул глазами Суворов.

Груша подбежала к двери, закрыла ее плотнее.

Через секунду Александр Васильевич спросил спокойнее:

— А в каком же надо?

— В общеармейском.

— Андрюша, дядюшке твой мундир будет впору, — подошла сестра Груша.

— Вот примерьте, дядюшка. А ордена и звезды мы нашьем.

Общими усилиями уговорили старика примерить мундир Андрюши: он был почти впору.

V

И наутро настроение у дядюшки не улучшилось. Он дал себя выбрить, надел Андрюшин мундир, на который нашили ордена и звезды, но во дворец к царю отправлялся мрачнее тучи.

Андрюша повез дядюшку на простой паре лошадей.

Суворов ехал по знакомым улицам, озираясь с любопытством вокруг.

Город приобрел совершенно иной вид, чем был раньше. Все напоминало Пруссию: вон торчит полосатая будка, вон такой же, выкрашенный в черно-белый цвет забор, полосатые ставни, двери; мальчишка бежит в лавчонку — в одной руке бутылка, другой придерживает на голове дрянную треуголку, косичка трепыхается; ямщики — курносые, бородатые, русские — не в круглых шапках и кафтанах в сборку, как испокон веков положено, а тоже в дурацком каком-то подобии прусского мундира и в сплюснутой треуголке.

Суворов только крутил головой да недовольно хмыкал.

На площади перед Зимним, готовясь с самого раннего утра к вахтпараду, ровнялись взводы разных полков, которые сегодня заступали в караул. Вахтпарад у Павла был существенным делом, главной заботой всего дня. Здесь, при разводе, он отдавал приказы, здесь он карал и миловал.

На вахтпарадах должны были присутствовать все гвардейские офицеры.

Увидя войска, одетые в уродливую прусскую форму, унтер-офицеров с допотопными, никчемными алебардами, офицеров с такими же эспонтонами, Суворов выразительно плюнул и отвернулся.

Горчаков с тревогой наблюдал за дядюшкой: суворовское настроение не радовало его.

«Найдет коса на камень», — думал он.

Зимний тоже был другой, чем при матушке Екатерине. Вместо лакеев в шелковых чулках и золоченой ливрее всюду мелькали треуголки и ружья часовых, по паркету стучали офицерские трости, звенели шпоры. Вместо пышного роскошества дворца получилась холодная суровость казармы.

Андрюша провожал дядюшку до приемной залы.

Войдя в приемную, Суворов сразу оживился. Его всегда румяные щеки еще больше порозовели, глаза заблестели.

Увидев Кутайсова, царского брадобрея, турка по национальности, которого Павел пожаловал «в рассуждении долговременной и усердной его службы в гардеробмейстеры 5-го класса», Суворов приветствовал его по-турецки:

— Хош гельдюн! Кейфиниз насыл?[1]

Сконфуженный Кутайсов нехотя ответил:

— Пэк эйи![2]

Навстречу Суворову шел, ссутулясь, высокий угреватый граф Мусин-Пушкин. Он был одним из тех генералов, которых Павел I произвел вдруг в фельдмаршалы. В руках Мусин-Пушкин держал трость, как полагалось по уставу.

— Что, Валентин Платонович, бить меня собрался, с палкой идешь? — усмехнулся Суворов.

— Так полагается — раз при ботфортах и в мундире. Ежели б я в башмаках, тогда другое дело...

— А какое ж дело, ежели в башмаках? Что значит?

— Значит: собираюсь куртизировать дам.

— А в ботфортах уже не сможешь? Ой ли...

(Мусин-Пушкин до старости был ловеласом.)

— Вы всё шалите, Александр Васильевич.

— Мои шалости известны: Рымник, Измаил, Прага... Я фельдмаршал в поле, а не при пароле!

— А-а, вашему высокопревосходительству, Николаю Петровичу! — поздоровался он с петербургским генерал-губернатором Архаровым. — Ну как, пожары-то все упредили?

— Какие пожары? — удивился Архаров.

— А сказывают, ваш обер-полицеймейстер велел, чтобы владельцы домов извещали за три дня, когда у них в доме имеет быть пожар!

И так шел он по зале от одного к другому — желчный, ядовитый, прямой.

В приемной было много врагов — все эти старинные Салтыковы, Безбородки, Мусины-Пушкины и новые — Аракчеевы, Ростопчины, Архаровы.

Они сейчас радуются, видя Суворова поверженным в прах, униженным. Но Суворов, верный своей всегдашней тактике в бою и в жизни — идти вперед навстречу опасности, кидался в атаку сам, не ожидая нападения.

---

[1] Здравствуйте! Как самочувствие?

[2] Хорошо!

Горчаков не видал больше, с кем еще говорил дядюшка. Андрюша поспешил на крыльцо ожидать царя, который поехал на утреннюю прогулку по городу.

К девяти часам Павел, как всегда, вернулся с прогулки. Слезая со своего высокого Фрипона, он окликнул Горчакова:

— Дядюшка здесь?

— Здесь, ваше величество!

Павел I вошел во дворец.

Вмиг в нем все замерло. Только слышался крик караульных офицеров на постах: «Вон!», что означало: к оружию!

Император вошел в приемную и остановился, глядя на собравшихся. Маленький, в громадных грубых ботфортах, в тесном темно-зеленом мундире, в плоской треуголке, из-под которой глядели упрямые глаза и смешной, нелепо вздернутый нос.

Среди застывших в низком поклоне посетителей он увидал тщедушную фигуру Суворова.

Павел подошел к нему, взял под руку и увел к себе в кабинет.

В приемной зашушукались.

Случилось невероятное, небывалое: пробило десять часов — время начинаться вахтпараду, а царь еще не выходил из кабинета.

Продрогшие в одних мундирах на морозе офицеры топали у подъезда, ждали. Спрашивали:

— Государь где?

— В кабинете.

— С кем?

— С Суворовым.

— Кричит?

— Нет. Наоборот, там тихо.

— В чем же дело?

Наконец в приемной ясно услышали голос царя:

— Пойдемте, граф, посмотрим войска!

Генералы, участвовавшие в разводе, кинулись по лестнице вниз:

— Идет!..

VI

Участники вахтпарада и многочисленные зрители — военные и статские, — которые собирались к разводу по обязанности, а не по пристрастию к прусской экзерциции, были поражены. Сегодняшний вахтпарад Павел I проводил иначе, чем обычно: батальонное ученье делал скорым шагом, бросал взводы друг против друга в штыки, чего не практиковалось никогда. Всем было ясно, что государь хочет угодить Суворову, неумело подражает его «сквозным атакам».

Суворов стоял тут же, безмолвный и бесправный.

Можно было бы думать, что Суворов обрадуется таким знакам царского внимания к нему, но на его исхудалом старческом лице, кроме скуки и презрения, не было написано ничего.

Суворов отворачивался от лихо маршировавших взводов или довольно громко бросал ироническое:

— Не спеши, букля оторвется.

Ходил взад и вперед, нюхал табак, зевая поглядывал куда-то вбок, на Адмиралтейство.

А потом вдруг подошел к Андрюше Горчакову, стоявшему тут же, в нескольких шагах от императора, и сказал:

— Нет, больше не могу, уйду!

Андрюша вспыхнул, задвигал своими густыми бровями, что-то зашептал, с опаской оглядываясь на стоявшего невдалеке императора.

Суворов отошел, пропустил мимо себя еще один взвод, покачал головой, сказал:

— Комедия, помилуй Бог!

И опять подбежал к племяннику:

— Довольно, не могу!

Андрюша Горчаков готов был провалиться сквозь землю.

Но Павел, казалось, не слыхал и не видал ничего.

Когда же офицеры, проходя мимо царя, стали салютовать эспонтонами, припрыгивая и покачиваясь на тихом шагу, Суворов схватился за живот и беззвучно засмеялся.

Потом, опомнившись, он махнул рукой и быстрыми шагами пошел через площадь по направлению к недостроенной церкви Исаакия Далматского.

Народ, глазевший на вахтпарад, почтительно расступался перед Суворовым.

— Объясните же мне, сударь, почему граф уехал? — строго спросил Павел у бледного от страха Андрюши Горчакова, когда они вошли в кабинет.

— Дядюшка нездоров.

Павел отдувался и пыхтел: верный признак того, что был сильно зол.

— Я все время намекал ему, чтобы он попросился в службу, а он знай рассказывает о штурме Измаила. Рассказывал больше получаса. Я не перебивал. Чуть он остановится, я снова намекаю ему. Глядь, а мы уже после Измаила очутились в Праге. Так до вахтпарада дотянул, а тут убежал? Что это такое? Извольте, сударь, ехать к вашему дяде и спросить у него самого объяснение. И тотчас же привезите мне ответ. До тех пор я и за стол не сяду!

— Слушаюсь, ваше величество!

Горчаков повернулся налево кругом и с радостью выскочил из кабинета.

Сбегая по лестнице, он посмотрел на часы: Мать Пресвятая Богородица! Начало двенадцатого, а в час государь уже садится за стол.

— Ильюшка, гони вовсю к Хвостовым! — крикнул он ямщику, прыгая в сани.

...У Хвостовых стояла тишина. Груша и Димитрий Иванович ходили на цыпочках, словно в доме был тяжелобольной.

Александр Васильевич, вернувшись с вахтпарада, так и объявил племяннице и ее мужу, что не мог дождаться конца этой прусской комедии и ушел.

— Воображают: сим победит заяц Александра Македонского!

Хвостовы пришли в ужас.

— Дядюшка, что вы сделали? — всплеснула руками Груша.

— Да государь... Да он... — заикнулся от волнения Хвостов. — Ежели у солдата на вахтпараде пуговица от штиблета отлетит, так командира полка тотчас же гонят на гауптвахту, а солдата сквозь строй, а тут...

— Меня пугать нечего: я, брат, стреляный. Я десять раз ранен. Из них семь раз при дворе! Прошка, сымай!

Он сбросил мундир, сапоги и лег на диван.

В таком виде и настроении застал его Андрюша.

— Дядюшка, государь очень недоволен...

— А я, думаешь, доволен?

— Государь гневается. Говорит, что хотел, чтобы вы попросились снова на службу.

— Вступить в службу могу. Но только пусть вернет мне всю мою былую власть: награждать, увольнять, отпускать в отпуск, производить в чины до полковника. Инспектором я был еще генерал-майором. Пятиться назад не желаю. Лучше поеду в деревню с ребятами играть в бабки. Больше пользы!

— Я не могу, дядюшка, передать, что вы говорите!..

— Передавай что хочешь, а я от своего не отступлюсь!

И Александр Васильевич отвернулся к стене, показывая, что разговор окончен.

Горчаков вышел удрученный.

— Что же делать?

— Скажи, что дядя с радостью готов служить... Был смущен присутствием его императорского величества, — советовал шурин Хвостов.

— Андрюшенька, скажи, что дядя заболел, плохо себя почувствовал. Не помнит, что говорил, — подсказывала сестра Груша.

Горчаков поскорее поехал назад.

— Ну что, сударь? — встретил его Павел.

— Дядя весьма смущен придворной обстановкой. Он никогда не чувствовал себя хорошо при дворе, — дипломатично ввернул Андрюша, намекая на прежний екатерининский двор.

— Это верно, — согласился император.

— Граф с радостью готов служить.

— А почему ушел с вахтпарада?

— Заболел. Простите, ваше величество, у дяди с желудком плохо. Стар уж — семьдесят лет, — прибавил дядюшке три года Андрюша — не знал за что зацепиться, бедный посол.

— Да, да, не молоденький! Но смотрите, сударь, вы мне будете отвечать, ежели ваш дядя не образумится!

VII

Дядюшка не очень хотел образумливаться, — жил в столице третью неделю, а все держал себя наперекор царю. Каждый шаг Суворова был вызовом царю, издевательством над новыми воинскими порядками Павла I.

Павел неоднократно приглашал Суворова к себе на обед и вахтпарады, и всякий раз не обходилось без того, чтобы Суворов не чудил.

Когда после первого памятного вахтпарада Суворов, приглашенный на обед к царю, входил во дворец, караульный офицер, увидев его, вскочил и закричал: «Вон!» (Это были новые командные слова, обозначавшие: в ружье! Караульный офицер вызывал караул для приветствования входившего.)

Суворов повернулся и побежал вон из дворца. Он прошел всю площадь до гостиницы Демута и снова вернулся к Зимнему.

Повторилось опять то же самое.

Суворов уехал домой.

Царь прислал Горчакова узнать, что случилось, почему Суворов не приехал к обеду (хотя все во дворце в мгновение ока узнали об этой выходке). Александр Васильевич сказал, что он-де приезжал, но его выгнали вон. В другой раз, когда Александр Васильевич уезжал из Зимнего, ему подали царскую карету. Суворов был одет по уставу: шпага висела, как полагается, сзади, между фалдами мундира, наискосок.

Суворов шагнул в карету, не поправляя шпаги. Шпага, разумеется, зацепилась за дверцу кареты, не позволяя шагнуть дальше. Суворов попятился назад, обошел карету и попытался влезть в противоположную дверцу. Шпага и там задержала его.

Тогда Александр Васильевич соскочил с подножки и пошел пешком.

Карета следовала за ним сзади.

Так же вызывающе продолжал держать себя Суворов и на вахтпараде.

Он делал вид, что не может справиться с плоской шляпой: снимая ее, хватался то одной, то другой рукой за поля, и все мимо. Кончалось тем, что шляпа падала у него с головы.

Когда взводы проходили мимо Павла церемониальным маршем, Суворов суетился, пробегая между шеренгами, что считалось совершенно недопустимым, и все что-то шептал про себя и крестился.

— Что вы шепчете, граф? — спросил его выведенный из терпения Павел.

— Читаю молитву: «Да будет воля Твоя!»

Павел замучил своего флигель-адъютанта Горчакова вечными вопросами: почему Суворов делает то, почему сказал это?

Андрюша показывал вид, будто отправляется к Суворову за разъяснениями. Не доезжая до Крюкова канала, он возвращался во дворец с готовым ответом: Андрюша сам придумывал его. Дядюшка никогда не сказал бы того, что от его имени говорил племянник.

Такое ложное положение было нестерпимо всем троим — Суворову, Павлу, Горчакову.

Суворов никак не уступал. Он все ждал, что государь поймет нелепость и никчемность своих военных нововведений и отменит их.

Но царь стоял на своем.

Суворов увидел, что его насмешки над устаревшим, отжившим прусским уставом, над нелепым обмундированием и снаряжением не достигают цели.

Дальнейшее пребывание его в Петербурге не имело никакого смысла. Он решил вернуться в Кончанское и попросил у Павла разрешения уехать восвояси, жалуясь на здоровье и старость.

Император с неудовольствием отпустил его.

VIII

Пока Александр Васильевич отдыхал после обеда, солнце обошло светелку и глянуло в два окна, выходившие на запад.

Он проснулся.

Хорошо отдохнул. Хорошо в светелке на Дубихе: тишина.

Вернувшись из Петербурга, Суворов ранней весной, чуть стаял снег, построил на высокой горе Дубихе светелку. Жить в душной, тесной избе надоело.

Светелка небольшая: комната (в ней кухня) внизу, вторая комната наверху. Вокруг них, вокруг всего домика открытая галерея. Сверху, с галереи второго этажа, — чудесный вид. Сквозь просве-

ты в деревьях далеко видно окрест — и, главное, видна дорога в Боровичи, откуда должно же когда-нибудь прийти окончательное избавление от опалы.

В светелке при нем ночует попеременно кто-либо один из троих: Прошка, Наум или Мишка. Большею частью оставляли пожилого фельдшера. Прошка уходил к жене, которая жила в Кончанском, Мишка-повар — человек молодой, холостой. Чего же его связывать? После ужина Мишка получал разрешение идти, куда он хочет, на весь вечер и ночь, лишь бы явился кипятить утренний чай.

Вот и сейчас в светелке никого, все разбрелись. Наум собирает лекарственные травы, Мишка пошел по грибы для Александра Васильевича, а Прошка точит лясы на селе у старосты или дьячка Калистрата.

Суворов поднялся с постели, надел туфли и подошел к круглому столу, который занимал большую часть комнаты. На столе лежали недавно полученные газеты, письма, бумаги.

Французы замышляют высадку в Англии.

— Репетиция трагикомической военной драмы, которая никогда не будет разыграна!

Надобно написать Димитрию Ивановичу, ответить на всякие гнусные наговоры, которые продолжают плести в Петербурге его враги.

После поездки к царю положение Суворова в Кончанском несколько улучшилось: стало чуточку вольготнее. Суворову уже не мешали чаще ездить к соседям-помещикам, не препятствовали коекому из них приезжать к Александру Васильевичу на праздники к обеду, посидеть, потолковать, выпить и закусить чем Бог послал.

И вот в Петербурге готова сплетня:

— Суворова солдаты, дворяне любят, Суворов весело живет, много ездит и прочее.

Подозрительному, мнительному Павлу I это не может понравиться. Надо все объяснить.

Суворов придвинул тушь, бумагу и написал:

«“Меня желают” — я Цинциннат;[1]

“солдаты меня любят” — я их люблю;

“дворяне меня любят” — я их люблю и морально безгрешен;

“весело живу” — весело жил, весело умру, весел родился, не мизантроп;

“много ездят” — в торжественные дни препровождаем весело императорские праздники и даже до полуночи, иначе счел бы я за преступление; итак глас бездушных крамольников предавать на-

---

[1] Цинциннат — римлянин, оказавший большие услуги отечеству и бескорыстно оставивший свой пост.

смешеству. Редко мой выезд, прочие многие дни я, как Цинциннат, препровождаю в глубоком уединении».

Сделал приписку для Аркадия:

«Аркадию благочестие, благонравие, доблесть, отвращение к экивоку, энигму[1], фразе, умеренность, терпеливость, постоянство».

Аркаше уже 14 лет. Он жил у сестры Наташи, но теперь Зубовы должны уехать в Москву, и Суворов определил сына к Хвостову.

Приписал еще:

«Аристотель его — Вы, Наташа воспитана Вами, он ей наследник».

Павел все-таки оказывает милости Суворову, задабривает его: Аркаше дал звание камергера, Хвостов уже генерал, а племянники Горчаковы повышены в чине: Андрей — полковник, а Алеша (старший) — генерал-майор.

Окончив писать, Александр Васильевич выглянул в окно, из которого был виден строящийся барский дом (к осени будет готов) и сад. Там стучат топоры, визжат пилы. В саду мелькает белая рубаха садовника Игната.

Пойти посмотреть, как они там, полюбоваться на пчел — Александр Васильевич завел две колоды пчел.

Вообще он летом жил в Кончанском веселее, нежели зимой.

Крестьяне наперебой приглашали барина на свадьбы, крестины. Молодые бабенки приносили к нему новорожденных ребят: Александр Васильевич непременно дарил каждому младенцу рубль «на зубок».

Кончанские ребятишки души не чаяли в барине, не боялись его, бежали за ним следом. Так, окруженный ими, он ходил на поля смотреть, как колосится рожь, бродил по лесу за грибами и ягодами.

Но как ни жилось Суворову у себя в поместье беспечно, а все-таки был он в опале, жил как отшельник. Жил вдалеке от армии. Ему было скучно без своих чудо-богатырей, без ученья в поле, без барабана по утрам и вечерней зори.

Неужто и век так докончить бесславно, помещиком, байбаком?

Душа рвалась к боевым подвигам.

Александр Васильевич взял с подоконника подзорную трубу — нет-нет да все взглядывал на боровичскую дорогу: не пылит ли она, не скачет ли фельдъегерь?

Он поднес трубу к глазам, и от волнения задрожали руки: по дороге к Кончанскому скакала тройка.

Александр Васильевич бросил трубу на постель, в три прыжка пробежал узкую лестницу и зашагал к селу с горы.

— Не ошибся, кто-то скачет. Тройка. Кто бы это?

---

[1] Энигма — загадка.

Он входил в Кончанское, а уже по селу неслись колокольцы тройки.

У крайней избы Мирона, посредине улицы, ребятишки играли в бабки. Ленька, шустрый, курносый, собирался ударить.

— Леня, дай-ка я! — крикнул Александр Васильевич.

Тройка уже была в пятидесяти шагах. Ленька охотно передал бабку.

Александр Васильевич стал на его место и, прицелившись, метко ударил.

— Вот так ловко!

— Ленька, тебе так не ударить! — загудели ребята.

— Ваше сиятельство, вы что же это, в бабки играете? — спросил чей-то знакомый голос.

Суворов оглянулся. Из коляски смотрел на него боровичский городничий Вындомский.

«Э, Федот, да не тот!» — разочарованно подумал Суворов.

Он вспыхнул и опять не сдержался:

— Да, Алексей Львович, в бабки. Нонче столько в России фельдмаршалов развелось, что только в бабки и остается играть! — и быстро побежал от надоевшего городничего, приехавшего проверить, как ведет себя опальный фельдмаршал.

IX

Суворов лежал на полке, наслаждался: Мишка парил его.

— Еще, еще! Вот так! Чудесно! — приговаривал он.

Летом купался, а зимой, кроме ежедневных обливаний холодной водой, каждую субботу обязательно ходил в баню. Любил попариться, а потом посидеть, попить кваску.

С осени Александр Васильевич жил в своем новом барском доме, в Кончанском. В нем — не в причтовой избенке.

Вкусно пахнет свежими бревнами, чисто, светло и просторно. Одну комнату Александр Васильевич, как бывало в Ундоле и Херсоне, отвел для птиц. Ребятишки наловили синиц, щеглят, снегирей, а заодно и вора-воробья. Так собирался сделать и в этом году. В «птичьей» комнате в кадках поставили молоденьких елочек, березок, сосенок, смотрели, чтобы они прижились. В кормушки для птиц насыпáли корму, в корытца наливали воду.

«Птичью комнату» Александр Васильевич очень любил. Он подолгу сиживал в ней, смотрел на птиц, подсвистывал им. В ней же и обедал.

Вот и теперь с приятностью подумалось: «Еще разик, и хватит! Окачусь — и домой. В «птичьей» посижу, грушевого кваску выпью...»

И так неожиданно все перевернулось.

— Ляксандра Васильич, к вам там приехали, — влез в «жаркую» Прохор.

— Ну кто еще там? — недовольно глянул с полка Суворов. — Откуда?

— Из Петербургу.

Ослышался, что ли?

— Кто?

— Из Петербургу, говорю! — повторил Прошка. — Стоит тута, за дверью, ждет!

И Прошка вышел.

«Что за притча? Опять зовет? Зачем? Не поеду!»

Было досадно, но и любопытно все-таки.

Слез с полка. Раскрыл настежь дверь.

В облаках пара, вырвавшегося из «жаркой» в «мыльную», стоял в шинели, треуголке — во всей форме — молодой незнакомый офицер. Он держал пакет.

— Ты к кому, братец?

— К его высокопревосходительству генерал-фельдмаршалу...

— Фельдмаршал — при армии, а не в деревне, — перебил Суворов и уже повернулся назад, к полку, но фельдъегерь прибавил:

— Рескрипт его величества... Назначение...

Суворов круто обернулся. «Неужели? Не может быть!»

— Куда назначение? — спросил он.

— К армии, ваше сиятельство, — твердо, по-солдатски отчеканил фельдъегерь.

Суворов кинулся через порог и, весь мокрый, в березовых листочках, приставших кое-где к телу, обнял удивленного офицера:

— Спасибо! Вот удружил, помилуй Бог!

Через минуту, тут же, в «мыльной», едва прикрывшись простыней, Суворов при свече прочел императорский рескрипт:

«Теперь нам не время рассчитываться: виноватого Бог простит. Римский император требует Вас в начальники своей армии и поручает Вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а Ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы Вашей времени, а у меня удовольствия Вас видеть. Пребываю Вам доброжелательный

Павел».

— Прошка, беги к старосте. Приготовить лошадей и двести пятьдесят рублей. В долг. Скажи — отдам! А ты, Мишенька, лети к отцу Иоанну. Пусть откроют храм. Идем петь благодарственный молебен. И немедля в путь!

...К ночи из Кончанского выехали две тройки. Впереди скакал посланный в качестве фельдъегеря флигель-адъютант Толбухин, сзади — фельдмаршал граф Суворов-Рымникский. Прощаясь с

Кончанским, Суворов велел Катюше, жене Прохора, которая оставалась в барском доме за хозяйку:

— Птичек выпустить на Святой. Все разлетимся в разные стороны!

А дьячку Калистрату, с которым Александр Васильевич пел на клиросе, он весело сказал:

— Пел басом, а теперь еду петь Марсом!

Глава шестая

В ИТАЛИЮ

Победа предшествует Вам всеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам Вашим.

Из рескрипта Павла I Суворову

I

На этот раз императору Павлу не пришлось долго ждать Суворова: он прискакал немедленно, на ямских.

Вообще теперь Суворов держал себя не так, как в прежний приезд. Из этой глухой, упорной, двухлетней борьбы с царем Суворов все-таки выходил победителем.

Не желая соглашаться с павловскими нововведениями в армии, Суворов сам ушел из нее. Павел сделал вид, что уволил Суворова раньше, нежели получил его просьбу об увольнении.

Затем Павел вызвал Суворова в столицу, попытался сломить его упорство, сделать так, чтобы Суворов сам опять попросился на службу. Но и это не удалось царю.

Теперь же Павел сдался — выхода больше не было: он возвращал Суворова на службу в чине фельдмаршала сам и, кроме того, поручал Суворову столь ответственное и почетное дело — командовать соединенной русско-австрийской армией против французов.

О таком назначении Суворов только и мечтал.

В главном его желания и желания Павла сошлись (Павел был тоже доволен и горд, что Австрия, Англия — вся Европа — попросили его назначить главнокомандующим союзными войсками «знаменитого мужеством и подвигами» Суворова, обратились за помощью к русским). Ломать же копья из-за мелочей Суворову было не к чему. Он сквозь пальцы смотрел на павловскую экзерцицию, не придирался уже ни к ненужным эспонтонам, ни к уродлирым буклям. Суворов отлично знал, что под этой нелепой треуголкой, в этом неудобном, тесном чужеземном мундире был русский человек, любящий свою родину, беззаветно храбрый и стойкий.

И на первом же вахтпараде показал, что при желании легко сможет справиться с павловскими нововведениями: треуголка уже не падала с головы и шпага не мешала.

Павел показывал Суворову ученье батальона Преображенского полка. Батальон делал все четко и чисто. Павел сиял.

— Как вы находите, Александр Васильевич? — обернулся он к фельдмаршалу.

— Прекрасно, ваше величество! Да вот только... тихо вперед подаются!..

— Скомандуйте по-своему, Александр Васильевич! — любезно предложил Павел. — Слушать команду генерал-фельдмаршала!

Суворов быстро прошел по фронту, зорко глядя своими живыми голубыми глазами.

Солдат, офицер — молодец к молодцу. Павловская муштра не могла изменить русского человека. С такими можно на француза, на любого врага!

Радостно сказал:

— Есть еще мои старые товарищи!

Зычно скомандовал:

— Ружья наперевес! В штыки! Ура!

И побежал вперед, к Адмиралтейству, которое было обнесено рвами и палисадами.

Батальон с громким «ура» кинулся за Суворовым. Преображенцы вмиг добежали до адмиралтейских рвов, через палисады взобрались на бастион и подняли туда Суворова.

Суворов стоял, держа в руке развевающееся знамя. Махал императору шляпой.

Дворцовая площадь давно не слыхала такого радостного боевого клича, не видала такого вдохновенного порыва войск. В мертвящую тоску прусского вахтпарада ворвалась жизнь.

Павел был ошеломлен. В другое время он принял бы такую сцену с неудовольствием — все это напоминало ему победы «екатерининских орлов», но сейчас он сам ждал от своей армии побед.

В этот приезд не только Суворов держал себя по-иному: переменились и Павел и его двор. Император был милостив к фельдмаршалу, отличал его — он возложил на Суворова Мальтийский крест. И весь павловский двор, точно по команде, круто изменил свое отношение к Суворову. За ним ходили толпами, заискивали у него, льстили ему, чего совершенно не переносил Александр Васильевич.

Долго задерживаться в Петербурге Суворов не думал. Устроив в течение двух недель все дела, он в конце февраля 1799 года выехал к армии.

Во время прощальной аудиенции у Павла Суворов попросил разрешения дать штаб-офицерам по-прежнему лошадей, так как, будучи пешим, штаб-офицер не может видеть своих солдат, а те не

видят командира. Осторожно намекнул Павлу на то, что на войне трудно будет уследить за тем, чтобы у солдат были в порядке букли и прочее.

— Веди войну как умеешь! — сдался Павел.

Здесь у Суворова руки были развязаны. Оставалось договориться с австрийским императором Францем.

Суворов и держал путь к нему в Вену.

Езда была из рук вон плоха. Зима выдалась снежная. Февральские вьюги намели сугробы, занесли дорогу. Экипаж подвигался очень медленно.

За Вильной Суворов не выдержал, бросил экипаж и пересел в почтовые сани, — так получалось быстрее.

Вечером 14 марта Суворов приехал в Вену. Он остановился в доме русского посланника графа Андрея Кирилловича Разумовского.

На следующий день его принял император Франц.

Австрийцы встречали русского фельдмаршала с большим почетом. Куда бы ни поехал Суворов — во дворец или к старому приятелю принцу Кобургскому, — всюду его ждали толпы народа, которые приветствовали его криками: «Виват Сувара!» Министры и другие высокопоставленные лица наперебой приглашали его на обед, но Суворов отказывался под благовидным предлогом — был великий пост.

В один из дней император Франц поехал в Шенбрунн встречать русский корпус генерала Розенберга, шедший в Италию. Вена опустела, все повалили в Шенбрунн.

Суворов не был приглашен встречать войска, но поехал в карете посмотреть своих на марше.

Император Франц, увидев. Суворова, прислал ему верховую лошадь, приглашая вместе с ним делать смотр. Суворов сел на лошадь и подъехал к Францу. Они стояли так, рядом, пропуская мимо себя полки.

Венцы теснились к дороге, лезли на заборы и деревья — с интересом смотрели на проходившие русские полки и на их необычайного фельдмаршала.

Русские войска, запыленные и загорелые, в своих темных, зеленых и далеко не новых мундирах были вовсе не парадны, но шли бодро, с веселыми песнями. Эти удалые, с посвистом, с гиканьем, песни поражали австрийцев: их войска мало и плохо пели.

А русский старичок фельдмаршал поражал их еще больше: он годился императору в дедушки, а был живее, энергичнее их молодого меланхоличного Франца.

Впрочем, приезд Суворова подбодрил и Франца, вселил в него надежду и радость. Император Франц вверил Суворову всю австрийскую армию в Италии. А для того чтобы подчинить ему стар-

ших австрийских генералов, пожаловал Суворову чин фельдмаршала австрийской армии.

Он обещал предоставить Суворову полную свободу ведения войны. Но Суворов еще по прежним турецким кампаниям хорошо знал австрийский гофкригсрат, его нелепое обыкновение пытаться управлять военными действиями из Вены, за тридевять земель от места боя. Без гофкригсрата австрийские генералы не могли сделать ни шагу, шли у него на поводу. Суворов ждал, что гофкригсрат попытается и в этот раз наложить свою руку.

Его ожидания сбылись.

Первый министр и председатель гофкригсрата барон Тугут, считавший себя большим знатоком военного дела, каким в действительности он никогда не был, хотел, чтобы Суворов изложил гофкригсрату план будущей кампании.

Суворов резонно ответил, что решит на месте, так как все предвидеть заранее невозможно и так как кроме союзников есть же еще и неприятель.

Тугут не окончил на этом свои домогания. Он прислал Суворову готовый план действий союзных войск до реки Адды. Члены гофкригсрата, привезшие план, требовали, чтобы Суворов рассмотрел его — исправил или изменил.

Суворов перечеркнул крестом план Тугута и внизу написал:

«Начну кампанию переходом через Адду, а кончу где Богу будет угодно!»

В Вене — это не в Фокшанах: там можно было уйти от обсуждения плана с австрийским командующим, и там ведь был умный принц Кобургский, а здесь этот тупой, «тугой» — Тугут. Недаром его фамилия была «Тунихтгут», и барон только сократил ее для благовидности.

Суворов знал эти заранее написанные планы, — они большею частью попадают в руки неприятеля.

— В кабинете — лгут, в поле — бьют! Поменьше разговоров, побольше дела!

Наконец, к радости Суворова, настал последний день пребывания в Вене. Он получил аудиенцию у Франца. Император рассыпался в комплиментах Суворову, восхвалял его «великие испытанные дарования» и дал ему инструкцию.

Цель наступательных действий русско-австрийских войск одна: прикрывать австрийские владения от французов. (Австрийцы хорошо помнили, как еще так недавно, в 1797 году, Бонапарт оказался в нескольких переходах от Вены.)

Суворов с-главными силами должен был перейти реку Минчио, овладеть крепостью Пескьерою и осадить Мантую, продолжая наступление на реки Адду и Олио.

О дальнейших своих действиях — немедленно сообщать в Вену.

По австрийским замыслам, предполагалась бесцветная, тягучая кампания. Единственное, что из распоряжений Франца пришлось Суворову по душе, это поручение генералу Меласу заботы о продовольствии русских войск.

Пусть австрийцы занимаются снабжением, лишь бы не совали носа в его военные дела!

II

Суворов с Андрюшей Горчаковым и восемью казаками конвоя спешил через Виченцу и Верону в Валеджио, где командующий австрийскими войсками барон Мелас устроил главную квартиру. Суворов все время обгонял русские войска, — они эшелонами двигались туда же. Несмотря на весеннее бездорожье, разливы рек и снег, лежавший в горах, русский корпус шел ускоренным маршем, сделав за 18 суток более 500 верст.

В Виченце Суворова встретил маркиз Шателер. Император Франц назначил маркиза генерал-квартермистром соединенной армии.

Суворов пригласил Шателера в свою карету — хотел поскорее узнать, кого же австрийцы подсунули ему в ближайшие помощники.

Когда в Вене император назвал маркиза Шателера, Суворов невольно насторожился. Ему так и представился завитой, напомаженный придворный франт. Но маркиз оказался не таким. Правда, он изысканно вежлив, а белый мундир на нем с иголочки, но на мундире у маркиза — орден Марии-Терезии.

— За какое дело изволили получить? — спросил Суворов.

— За Фокшаны.

— Ба, да мы, оказывается, старые боевые товарищи! — просиял Суворов.

Разговор оживился.

Суворов тут же узнал, что его молодой генерал-квартермистр (Шателеру было 36 лет) — бельгиец по национальности, что при Фокшанах он служил в корпусе принца Кобургского капитаном.

Перед Суворовым сидел настоящий военный и вообще образованный человек, — это сразу давало себя знать.

Приятно было Суворову и то, что Шателер, видимо, очень тепло относился к своему главнокомандующему. Суворов не чувствовал в нем этой австрийской зависти, которую не могли скрыть австрийские генералы, особенно после того как Суворов получил звание фельдмаршала австрийской армии.

Суворов с удовольствием вспоминал Фокшаны и Рымник, говорил о своих приятелях — принце Кобургском и генерале Карачае. Карачая он убедил вновь вступить на службу, и Карачай опять служил под началом Суворова.

Генерал-квартермистр прекрасно — что так редко бывает в людях — умел слушать, но все старался направить разговор на деловую почву: развернул карты, показывал главнокомандующему расположение войск, пояснял их движения и спрашивал Суворова о его намерениях и предположениях.

Суворов слыхал уже это в Вене от Тугута. Он не хотел так, сразу же, выкладывать свои планы.

Александр Васильевич смотрел в окно кареты на пробегающие зеленые виноградники, на кипарисовые рощицы среди нив, на черепичные крыши домов.

И на все вопросы генерал-квартермистра отвечал одно:

— Штыки! Штыки!

А потом перебил Шателера:

— Мы едем на родину Корнелия Непота, Овидия и Витрувия: ведь они веронцы!

Шателер стал складывать свои карты и бумаги. Верона была близка. Слева, среди виноградников, блеснула река.

И тут, из-за поворота дороги, из-за высоких кипарисов, вдруг к карете хлынули толпы веронцев.

Утром в Верону пришли русские войска. Один за другим съезжались австрийские генералы. Местные власти готовили в palazzo Emilia комнаты для Суворова. Все это разнеслось по Вероне с быстротою молнии.

Суворова ожидали к вечеру. И чуть солнце стало клониться к закату, как по дороге на Виченцу двинулись сотни народа.

С холмов, окружающих город, веронцы увидали карету Суворова и кинулись ей навстречу. Они с радостным криком: «Eviva Suvarov!»[1] — вмиг облепили ее со всех сторон. Какой-то молодой черноглазый итальянец вскочил на козлы, несмотря на неласковый прием сидевшего с кучером Прошки, который сердито закричал:

— Куда ты, черт, лезешь? Ногу отдавил!

Итальянец все-таки пристроился на козлах. Из толпы ему подали какое-то голубое шелковое знамя. Итальянец торжественно водрузил его и так ехал, держа знамя.

В карету летели лавровые ветки, венки.

Народ шел рядом с каретой. Каждый старался поближе протиснуться к карете и, приветствуя фельдмаршала, кричал как можно громче.

Толпа народа увеличивалась с каждым шагом. Карета с трудом продвигалась вперед.

— Мы так не скоро приедем, — говорил по-итальянски Суворов.

Но на это ему отвечали с веселым смехом:

---

[1] Да здравствует Суворов! *(Итал.)*

— Chi va piano, va sano![1]

У старых городских стен, обвитых плющом и облепленных мальчишками, Суворова ждали новые и новые толпы.

— Eviva nostra liberatore![2] — неслось отовсюду.

Суворов, прижимая руку к сердцу, раскланивался во все стороны.

Лошадей выпрягли из кареты, и веронцы на руках легко покатили ее в город до самого палаццо.

Суворов, провожаемый радостными криками многотысячной толпы, взбежал на крыльцо.

Чиновники и высшее духовенство Вероны во главе с архиепископом удалились после приема их фельдмаршалом. В зале остались свои, военные: русские генералы и несколько австрийских — Шателер, Карачай, Левенер, которых Суворов знал еще по турецким походам.

Отпустив гражданские власти, Суворов на некоторое время вышел из приемной.

Потом снова стремительно вошел, стал посреди залы и сказал генералу от инфантерии Розенбергу, который до него командовал русским вспомогательным корпусом:

— Ваше высокопревосходительство, Андрей Григорьевич, познакомьте же меня с господами генералами!

Суворов стоял навытяжку, но смотрел вниз, точно задумался. Его всегда низко опущенные веки совершенно закрывали глаза. Лицо сразу же стало иным — старческим и кротким.

— Генерал-лейтенант Повало-Швейковский! — представил Розенберг.

Коренастый, плотный Повало-Швейковский по-солдатски «ел» глазами Суворова, но фельдмаршал не подымал глаз, только поклонился:

— Вместе не служили. Послужим!

— Генерал-майор Барановский!

— Помилуй Бог, не слыхал. Познакомимся! — стоял, не подымая глаз, Суворов.

— Генерал-майор Милорадович!

Суворов открыл глаза. Семидесятилетний старик сразу же исчез.

— А, это Миша! Мишенька! — оживился Суворов. — Я знал вас вот этаким, — он показал рукой на аршин от пола. — Едал у вашего батюшки Андрея Степановича вареники. Да какие сладкие! Как теперь помню. Помню и вас, Михайло Андреич. Вы тогда хорошо ездили верхом на палочке. Как же вы тогда лихо рубили деревянной сабелькой!

---

[1] Кто ходит медленно, ходит хорошо! *(Итал.)*

[2] Да здравствует наш освободитель! *(Итал.)*

Молодой, двадцатидевятилетний генерал Милорадович, шеф Апшеронского мушкатерского полка, стоял весь красный от счастья.

— Поцелуемся же, Михайло Андреич! Ты будешь герой.

Суворов обнял Милорадовича и опять стал в прежнее положение.

— Генерал-майор Тыртов!

— Помилуй Бог, не слыхал. Познакомимся! — поклонился, не глядя на Тыртова, Суворов.

— Генерал-майор князь Багратион!

— Князь Петр, это ты? Помнишь Очаков, Брест, Прагу?

— Так точно, ваше сиятельство!

Суворов горячо обнял любимого князя. Поцеловал его в глаза, в лоб, в губы.

— Господь с тобою!

Русские генералы были все.

Суворов вскинул голову и стал ходить широкими шагами, говоря:

— Субординация! Экзерциция! Военный шаг — аршин, в захождении — полтора. Голова хвоста не ждет: внезапно, как снег на голову. Пуля дура, штык молодец. Мы пришли бить ветреных, сумасбродных французишек. Они воюют колоннами, и мы будем их бить колоннами! Глазомер, быстрота, натиск!

Потом круто повернулся на каблуках к Розенбергу:

— Ваше высокопревосходительство, пожалуйте мне два полчка пехоты да два полчка казаков!

— В воле вашего сиятельства весь корпус. Которых прикажете?

Суворов резко отвернулся от Розенберга. Уклончивый ответ не понравился. Суворов вспыхнул и продолжал шагать, приговаривая:

— Намека, догадка, лживка, немогузнайка. От немогузнайки — много беды!

Высокий худой Розенберг стоял смущенный. Руки у него тряслись. Фельдмаршал разгневался, а почему — Розенберг так и не понял.

— Ваше сиятельство, мой полк готов! — молодцевато шагнул вперед князь Багратион.

Он знал суворовскую натуру: надо быстро и четко!

И Суворов еще раз обнял Багратиона:

— Ступай, приготовь и приготовься! Помни: голова хвоста не ждет! Внезапно, как снег на голову!

III

В Валеджио Суворов принял рапорт командующего австрийской армией престарелого барона Меласа и произвел смотр его войскам.

Австрийскую армию Суворов знал хорошо еще по турецкой кампании, по Фокшанам и Рымнику, и смотр ничего нового дать

ему не мог, но Суворов хотел всеми мерами поднять дух австрийской армии, которая несколько последних лет терпела неудачи.

— Что, старик, разобьем французов? — спросил Суворов у пожилого австрийского гренадера.

— Мы бивали врагов с Лаудоном, а с вашим сиятельством еще лучше будем бить! — отвечал не задумываясь гренадер.

Перед Суворовым целый час проходили полки.

Суворов был в белом австрийском фельдмаршальском мундире и небольшой каске.

Рядом с ним верхом на лошадях сидели старые кавалерийские генералы барон Мелас и венгерец Край.

Край, еще очень крепкий для своих шестидесяти пяти лет, был длинен, жилист и смугл.

А рыхлый небольшой Мелас, более старый, чем Край, уже с трудом сидел на лошади. Рука, державшая поводья, тряслась. Ему пристойнее было бы сидеть в покойной коляске, а не в седле, но барон бодрился: рядом с ним на казачьем коне молодцевато сидел его одногодок, сухонький, живой фельдмаршал Суворов.

Суворов, казалось, смотрел только на проходившие войска, но видел все: как перешептываются австрийские адъютанты, как барон Мелас по-стариковски шевелит пухлыми губами. Александр Васильевич в уме уже окрестил его — папа Мелас.

Мелас был не бог весть какой талантливый полководец, но человек почтенный, всю жизнь в строю и не интриган, и потому Суворов чувствовал к нему расположение.

Австрийцы шагали браво. Башмаки у них не так истрепаны, как у Багратионовых егерей, которые прошагали столько верст. Белые мундирчики созданы только для парадов. Но — Господь с ними! — надо для начала похвалить союзников.

— Шаг хорош: победа! — громко, чтобы слышали все, сказал Суворов, когда мимо него прошел последний австрийский взвод.

В своем же кругу Суворов дал другую оценку:

— Солдаты — неплохи. Много славян: чехов, поляков, русин. С солдатом, помилуй Бог, бить французов можно. Но офицеры австрийские — никуда. Все они — немогузнайки. Что ни спросишь, один ответ: «Ich kann nicht bestimmt sager!»[1] Ох уже эти мне «нихтбештимтзагеры», «унтеркунфтщики»!

Суворову очень не понравилось, когда на его вопрос адъютанту, где генерал Фрелих, австрийский офицер ответил, что генерал Фрелих поехал за город, чтобы иметь лучший «унтеркунфт»[2].

Новое меткое суворовское словцо было готово.

---

[1] Не могу определенно сказать! *(Нем.)*

[2] Унтеркунфт — теплый уголок, удобное помещение, комфорт.

— Куда может вести солдат такой офицер? Войска знают одно: оборону. Надобно переломить, переучить! Завтра же начать!

Обучаться австрийские войска действительно начали со следующего дня.

Русские полки собирались постепенно в Валеджио. Наступать с одними австрийцами, к тому же незнакомыми с суворовской тактикой, было немыслимо. Суворов решил подождать подхода всех своих войск. А чтобы не терять времени даром, велел обучать австрийцев сквозным атакам пехоты на пехоту, пехоты на кавалерию и т. д. И дал приказ — продиктовал по-немецки выдержки из своей «Науки побеждать».

В австрийские полки разослал русских офицеров обучать союзников штыковому бою, быстроте и натиску.

Австрийцы оскорбились: помилуйте, какие-то варвары станут учить их! Лапидарный, отрывистый стиль суворовских приказов был им непривычен и чужд.

«Марш вперед!» — когда австрийцы привыкли в лучшем случае стоять на одном месте.

«Смерть или плен — все едино!» — когда у австрийцев понятие о воинской чести не было так высоко, чтоб предпочитать смерть плену.

Только те, кто по Фокшанам и Рымнику помнил знаменитого «Генерала-вперед», понимали суворовский приказ. Остальные же в недоумении пожимали плечами, говоря: «Den Feind ьberall angreiffen!» Was ist das fьr eine Strategic?[1]

Папа Мелас, как старший австрийский генерал, приехал к фельдмаршалу поговорить об этих нововведениях. Он завел разговор издалека о том, что-де у русских и австрийцев разные воинские уставы и прочее.

Но Суворов прижал его, — папа Мелас вынужден был сказать прямо: да, австрийские генералы недовольны новыми порядками.

— Пустяки! Это младенцы, которые плачут, пока их обмывают! Зато после они спят крепким сном! — отрезал Суворов.

И папа Мелас уехал ни с чем.

Генерал Шателер предложил Суворову, пока подойдут русские войска, произвести рекогносцировку.

Суворов резко отказался:

— Рекогносцировки нужны только робким. Кто хочет найти неприятеля, найдет и без них. Штыки, холодное оружие, атака, удар — вот мои рекогносцировки!

Это говорил он сам, опытнейший разведчик, с первых дней своей военной службы показавший себя чрезвычайно смелым и

---

[1] «Неприятеля везде атаковать!» Это что за стратегия? *(Нем.)*

находчивым в рекогносцировке, бывший в разведке в двух шагах от палатки Фридриха II.

Но здесь под рекогносцировкой австрийцы понимали иное: демонстрацию. Излюбленным их приемом было — пугать неприятеля, делать вид, что они хотят наступать, в то время как сами желали обратного.

Суворову сразу же надо было показать, что на этот путь он не станет.

Суворов был намерен ударить по врагу, ударить немедленно и сокрушительно. Он только ждал, когда подойдут его чудо-богатыри.

IV

Суворовские полки один за другим собирались у Валеджио.

Русские войска шли, с удивлением глядя кругом: здесь все было необычайно — и люди и природа.

Казались странными эти городки и местечки, окруженные, точно крепости, каменными стенами и рвами; плоские крыши кирпичных домов; фруктовые деревья, разбросанные меж кукурузных и капустных полей; холмы, где тесно, друг к дружке, посажены виноград, кукуруза, тутовые деревья, яблони, груши, орешник; смуглые черноволосые крестьяне в кожаных штанах с голыми от подколенок ногами.

— Народ здесь черный, как цыгане.

— И ни одного курносого...

— Чесноком и луком больно пахнут: как откроет рот, так уноси ноги!

— И до чего голосистые, черти!

— А у баб голоса грубые...

— Сердитые, должно. Оттого тут мужики сами коз доят и ребят нянчат...

— Говорят смешно, словно барабан трещит. «Гррандэ!» — передразнил Зыбин.

— И скажи, какой вежливый народ: всех, даже нашего брата солдата, называют «синьор». «Синьор солдато!»

— Это во многих землях такой обычай, — наставительно сказал любивший поучать Воронов. — Вот в Польше — все «паны»: холоп — «пан» и Бог — «пан». «Цо пану треба?» «Як пан Бог позволи?»

С улыбкой смотрели на встречающихся ослов и мулов:

— Вчерась, как стояли в том городке, я, братцы, видал: едет на тележке человек. В тележку впряжены кобыла, корова, осёл да энтот самый мул.

— Вся родня, стало быть?

— Да, окромя только свиньи, вся.

— И вот хозяин ехал-ехал, потом стал и почал доить корову, посля кобылу...

— Тьфу ты! Пусть бы уж и осла доил...

— Ей-богу! Подоил, напился, травкой какой-то — щавелем не щавелем — закусил и поехал дальше...

— Ловко: и везут и кормят!

— Чего ж он травой-то закусывал?

— Да у них с хлебом неловко...

— Не так, как у нас. Ржи они не сеют, пшеницы мало.

— Тут все больше кукуруза. Ни тебе гречихи, ни проса...

— Булки тут невкусные, неизвестно из чего склеены.

— Ты не знаешь из чего? Из кукурузы. В ихней булке пшеницы мало.

— То ли дело наши, тамбовские!

— Нет, лучше вяземских пряников нет! — вздохнул Зыбин.

— И масло у них противное. Почему это?

— Из козьего и овечьего молока.

— Братцы, а я лягух на рынке видал.

— Брешешь?

— Ну вот!

— Это зачем же лягухи?

— Есть. В тряпицу завернуты. Да в сетку положены.

— У нас, в Беларуси, смеются, как один вот етак съел, не знавши, лягушку. Ему говорят, а ён отвечаеть: «А, ляга не ляга, — осталася однанога!»

— Тьфу ты, прости Господи! — плевался Воронов.

— У них, в Полесье, много этого добра, жаб.

— Насчет чего здесь хорошо, так это насчет вина!

— Да-а!

— И быки здесь важнецкие, — похвалил Огнев.

Удивляло солдат жилье: двухэтажные высокие дома, а печей нет. Вместо печки в комнате огромный камин.

— А где же у них печи?

— Зачем им печи? Это тебе не в твоем Великом Устюге! Тут кругом год — теплынь.

— Да, похоже на то, — говорили разомлевшие от зноя солдаты.

Жара стояла от утра до заката. Дорога настолько накалялась, что босиком не ступить. Вечера были такие же душные, как и дни.

— Тепло, як у нас, на Полтавщине...

— Тепло-то тепло, да земля не та. Здесь народ живет хуже вашего. Ишь едят чего: одни эти свои червяки, как их, макароны. С деревянным маслом...

— А нищих сколько, ровно у нас на ярмарке...

Смотрели, сравнивали, удивлялись, потешались.

Шли версту за верстой.

То между стенами садов, из-за которых виднелся широкий зубчатый лист винограда. То выходили на простор, и глазам представлялось зеленое море — дерево к дереву, кустик к кустику. А среди этой зелени белели домики и шпили церквей.

7 апреля в Валеджио собрались все русские полки.

Суворов приказал армии выступать. План Суворова был ясен и прост: не обращая внимания на французов в Средней и Южной Италии, побыстрее занять Ломбардию и Пьемонт. Кто владел Северной Италией, тот неизбежно вынуждал врага очистить весь Апеннинский полуостров.

Впереди австрийских колонн Суворов поставил казаков. Бородатые, в невиданной одежде, на своих маленьких лошадках, они должны были произвести впечатление на врага. Они должны были быть предвестниками той грозной, неотвратимой силы, которая двигалась с востока.

Встреча с сильным врагом на непривычном театре военных действий слегка волновала Суворова. Суворову приходилось действовать на полях Пруссии, в болотах Польши, в степях Молдавии и Валахии, но в горах еще не случалось. Русский солдат — равнинный человек. Леса, болота знакомы ему с детства, в них он чувствует себя превосходно; но как-то будет в горах?

Иной здесь был и неприятель.

Турки и поляки дрались тоже неплохо, дрались порою отчаянно, но французская армия все-таки представляла более грозную силу.

Любимой формой боя у французов была атака. Они смело кидались на врага в штыки. Французы во многом следовали тем же правилам, которым учил Суворов. Такого противника он еще не встречал. С ним любопытно было помериться силами. Только вот выдержат ли австрийцы? Уж очень вошло у них в привычку быть битыми.

Первые шаги Суворова сразу же принесли победу союзникам.

Французский главнокомандующий Шерер поспешно отступал к реке Адде. Река Адда представляла серьезную естественную преграду: она была непроходима вброд, глубока и широка, с обрывистыми, утесистыми берегами, с быстрым течением. Шерер рассчитывал создать оборонительную линию на правом, возвышенном берегу. Он отступал, бросая или уничтожая все, что нельзя было увезти. В крепостях оставались французские гарнизоны.

На пути Суворова лежал город Брешия, в котором был литейный завод. Когда союзники окружили город, французский гарнизон, видя бесполезность сопротивления, сложил оружие.

Это была первая победа Суворова в Италии.

Союзники продолжали двигаться дальше.

Суворовские войска шли так, как всегда, — выступали ночью, часто устраивали роздых.

Австрийцы не привыкли к таким быстрым ночным переходам по пересеченной местности под проливным дождем. Они сбивались и путались на каждом шагу. В австрийских полках стали роптать; казаки, шедшие в голове их колонн, рассказывали об этом смеясь. В довершение ко всему на одном из переходов осрамился сам папа Мелас.

Его колонна сбилась с пути, не попала на переправу и должна была под проливным дождем переходить реку. Все окончательно вымокли и измучились. Старый, больной папа Мелас не привык к таким передрягам. Он, не выполнив маршрута, остановился утром и дал возможность войскам обсушиться.

Суворов сильно разгневался — задержка Меласа нарушала все его расчеты. Он написал Меласу письмо, в котором доставалось всем австрийцам:

«До сведения моего доходят жалобы на то, что пехота промочила ноги. Виною тому погода. За хорошею погодою гонятся женщины, щеголи да ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет, как эгоист, отрешен от должности. В военных действиях следует быстро сообразить и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться. У кого здоровье плохо, тот пусть и остается позади», — намекал он прямо на командующего австрийскими силами.

Через неделю союзники подошли к Адде.

— Адда не преграда! — шутил Суворов.

Он решил прорвать в нескольких пунктах расположение французов, — Шерер растянул свои силы по всей реке. Чтобы обмануть Шерера, Суворов назначил переправу в самом неподходящем месте — у Сан-Джервазио: берега тут были особенно круты, а течение чрезвычайно быстро.

Австрийский офицер-понтонер рапортовал, что спустить понтоны с такого высокого берега, тем более ночью, невозможно.

Но суворовские войска все-таки переправились.

В этот день дряхлый и бездарный генерал Шерер был смещен. На его место назначили молодого талантливого генерала Моро, который считался во Франции лучшим полководцем после Бонапарта.

— Мало было славы разбить шарлатана. Лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть! — отозвался на это Суворов.

Союзные войска потеснили французов, захватив до шести тысяч пленных, в том числе генерала Серрюрье.

Моро не мог поправить ошибки Шерера, распылившего свои войска. Он мог думать пока лишь об отступлении. Дорога на Милан была уже отрезана, он не имел возможности помешать Суво-

рову продвигаться туда. Французы отступали по направлению к Павии.

Суворов сделал то, что в этих же местах в 1705 году, в войне против французов, не удалось выполнить другому великому полководцу — Евгению Савойскому.

V

Первыми к Милану прискакали донцы, преследовавшие отступающего врага. Это было вечером в субботу, 17 апреля 1799 года.

Французы закрыли городские ворота, но казаки вышибли их и гнали и кололи неприятеля, пока он не укрылся в миланской цитадели.

За казаками поспешал Мелас.

Фельдмаршал Суворов перешел Адду в 20 верстах от Милана. Въезд в город он назначил на следующий день, 18 апреля. День был воскресный и особенно торжественный: первый день пасхи.

С утра было тепло и ясно.

Милан в это воскресенье проснулся ранее обычного: все ждали вступления в город русских — людей, пришедших с далекого севера, где снега, морозы и медведи. На австрийские войска, расположившиеся в городе, никто не обращал внимания. Уже вчера вечером миланцы увидали казаков.

Бородатые, в длинных кафтанах и высоких барашковых шапках, они казались такими странными. Итальянцы сразу же прозвали казаков «русскими капуцинами».

С не меньшим любопытством ждали и самого фельдмаршала Суворова, диковинного полководца, который за всю жизнь не проиграл ни одного сражения. Они читали о Суворове в газетах, в брошюрах, где Суворов изображался страшным человеком, бог весть каким людоедом.

Потому миланцы поднялись спозаранку: каждому хотелось увидеть, как Суворов во главе войск будет въезжать в Милан.

Улицы были запружены народом. Тысячи людей двигались из города через восточные ворота за духовенством, которое с крестами и хоругвями шло встречать фельдмаршала Суворова. Окна, балконы, даже крыши домов были усеяны зрителями.

Милан гудел как улей.

Суворов еще с вечера чувствовал себя не совсем здоровым — ломило поясницу. Он сидел в карете вместе со статским советником Фуксом.

Генерал Розенберг, передавая Суворову в Вероне дела, представил ему гражданских чинов, прикомандированных к армии.

В их числе был состоявший на службе в коллегии иностранных дел статский советник Егор Борисович Фукс.

Суворов неприязненно глянул на толстого, мешковатого, с мясистым лицом старой бабы человека в очках.

— Помилуй Бог, какой ты худощавый. Тебе надобно со мною ездить верхом! — сказал он Фуксу.

Статский советник густо покраснел — обиделся, но промолчал.

Суворов не придал Фуксу особого значения, но Розенберг тут же осторожно намекнул фельдмаршалу, что статский советник Фукс «имеет другие препоручения» от генерал-прокурора.

— Так-так, понимаю, — нахмурился Суворов.

Он сообразил: толстый Фукс, стало быть, является в армии «оком» царя.

И на следующий день Суворов поручил Фуксу вести все военные письменные дела главнокомандующего. Тем более что сам Суворов донесения писал очень редко.

— Перо неприлично солдату, — говаривал он.

И Фукс стал находиться при фельдмаршале неотлучно.

Сегодня статский советник Фукс успел нарядиться — надел свой шитый золотом дипломатический мундир. Суворов же не имел времени переодеваться, — он ехал, как был все эти дни во время боев у Адды, в обычном австрийском мундире.

Когда вдалеке показались толпы народа и на утреннем солнце блеснули кресты и хоругви миланского духовенства, Суворов вылез из кареты и пересел на казачью лошадь. Он, вместе с генералом Шателером, ехал впереди кареты. За каретой по-прежнему следовала свита фельдмаршала, а дальше — войска с барабанным боем и музыкой.

Не доезжая шагов десяти до процессии, Суворов слез с коня и пошел навстречу архиепископу миланскому.

— Господь да благословит шествие твое, добродетельный муж! — приветствовал победителя архипастырь.

Суворов, сняв каску, приложился к кресту. Он на итальянском языке благодарил архиепископа за приветствие.

Архиепископ, удивленный тем, что этот русский варвар не только набожен, но и хорошо говорит по-итальянски, совершенно растаял. Он рассыпался в похвалах Суворову. Суворов стоял, наклонившись к архиепископу (ныла проклятая поясница, и так стоять было удобно), внимательно слушал, стараясь понять цветистую, выспреннюю речь архиепископа. Хотелось в ответе не ударить лицом в грязь.

А музыканты австрийской колонны, увидавшие многотысячную толпу, старались как могли. Они заглушали слова архиепископа, мешали Суворову уловить, что говорит велеречивый пастырь.

Суворов чуть поворотил голову и нетерпеливо махнул рукой: мол, перестаньте играть!

Прошка, снявший шапку перед крестом и набожно крестившийся на католические хоругви, не спускал глаз с барина. Прошка торопился поскорее доехать до места (он по опыту знал, что там ждет его вкусное итальянское винцо, тем более — сегодня Пасха). Прошка понял жест Александра Васильевича по-своему.

— Поезжай! — толкнул он локтем кучера. — Барин поедет сзади!

Карета с важно восседавшим в ней толстым, самодовольно улыбающимся статским советником Фуксом медленно поползла вперед. Народ расступился по обе стороны, давая дорогу.

Свита потянулась вслед за каретой.

Суворов недовольно поморщился: что они делают?

Но останавливать движение было уже поздно. Он сократил свое ответное слово и пригласил духовенство следовать за свитой.

Архиепископу со всем его клиром пришлось поместиться среди войск.

Суворов сел на коня и вместе с Шателером и двумя адъютантами-австрийцами ехал во главе войск.

Надоевшим, все испортившим музыкантам он велел замолчать.

Миланцы приветствовали суворовскую карету громкими криками. Овациям не было конца.

Фукс оказался один в зеленом мундире среди белых австрийских. Он был одет не так, как все. На военных в белых мундирах никто из толпы не глядел: эка невидаль — австрийцы! Все ждали необычного, ждали русского, ждали Суворова.

В суворовской свите были и русские мундиры, но впереди всех оказался только Фукс. Он ехал в карете, и толпа принимала его за фельдмаршала Суворова.

Фукс не мог безучастно взирать на шумные приветствия, которые неслись к нему со всех сторон. Толстое бабье лицо Фукса расплылось в самодовольную улыбку. Прижимая руку к сердцу, он кланялся во все стороны, как неопытный актер.

Суворов понимал неловкость случайно создавшегося положения, но поправить дело было уже нельзя.

В городских воротах фельдмаршала встретил барон Мелас. Он вступил в город со своей колонной еще ночью.

Суворов протянул к нему руки, желая обнять. Обрадованный папа Мелас как-то по-детски не рассчитал расстояния — живо обернулся, точно сидел на стуле, а не на лошади, и шлепнулся с седла на землю.

Итальянцы с сочувственным хохотком подхватили старого генерала, помогли сесть в седло. Суворов обнял переконфуженного папу Меласа и, подавляя невольный смех, участливо спросил, не ушибся ли барон.

Это курьезное происшествие только на секунду привлекло внимание толпы к Суворову. А вообще на него, как на Меласа и Шателера, никто особенно не смотрел: в глазах миланцев они были обычными австрийскими генералами. Тем более что за ними непосредственно шли австрийские, а не русские войска.

Александр Васильевич мог лишь слышать, что говорят живые, крикливые итальянцы по адресу Фукса, которого они принимали за Суворова:

— А лицо у этого Суворова, как у мясника!

— Мундир приятнее его лица!

— Но он не похож на людоеда!

— Какое там людоед? Он просто — толстая прачка!

— Стоило вставать из-за него в такую рань!

И лишь несколько сот итальянцев, потевших в тесноте и давке у дворца герцогини Кастильоне, в котором были приготовлены комнаты для фельдмаршала, могли разобрать, где настоящий Суворов. Этот неуклюжий с бабьим лицом человек в шитом золотом зеленом мундире, выйдя из кареты, остался ждать у подъезда. А по широкой мраморной лестнице впереди всех пошел наверх небольшого роста энергичный худощавый старик в белом австрийском мундире.

Русские, особенно казаки, очень поразили миланцев. За каждым донцом толпами бегали курчавые черноглазые итальянские мальчонки. Они быстро освоились с бородатыми «капуцинами» и не отставали от них.

Итальянцев удивляли чрезвычайное благочестие и набожность русских: русские крестились перед каждым храмом, несмотря на то что храмы были католические. Не зная пасхального русского обычая христосоваться, итальянцы весьма изумлялись, как русские при встрече троекратно целуются. Впрочем, к вечеру подгулявшие русачки христосовались не только друг с другом, но и с итальянцами, а особенно с итальянками. Итальянцы принимали это как должное.

У дворца герцогини Кастильоне не расходился, все время стоял народ: ждали, не выйдет ли Суворов.

Вечером весь город расцветился огнями.

В городском театре была приготовлена пышная встреча Суворова, но он никуда из дворца не поехал, — был на балу у своей хозяйки. Герцогиня Кастильоне, с согласия Суворова, пригласила к себе всю миланскую знать. Суворов явился в парадном фельдмаршальском мундире. Он поразил всех, особенно дам, своей изысканной любезностью, весельем и остроумием.

На следующий день, 19 апреля, миланцы могли хорошо разглядеть фельдмаршала Суворова: он присутствовал на молебствии в знаменитом миланском соборе.

По улицам рядами стояли войска. Суворов ехал в вызолоченной карете, в белом австрийском фельдмаршальском мундире со всеми орденами.

Архиепископ во всем облачении встретил его при входе в собор. В соборе для фельдмаршала было устроено возвышение, покрытое красным бархатом, с золотыми кистями и золотой цепью вокруг.

Громадный собор едва вмещал всех желающих присутствовать при богослужении.

Так же торжественно Суворов вернулся во дворец к обеду.

Обед у Суворова прошел очень живо.

Фельдмаршал шел к столу в прекрасном настроении. К обеду кроме русских генералов Розенберга, Багратиона, Милорадовича, Горчакова были приглашены австрийские с Меласом во главе. Тут же присутствовал какой-то итальянский поэт, курчавый, точно баран, и с бараньими глазами, молодой человек в нарядном шелковом кафтане. Поэт поднес фельдмаршалу Суворову свою поэму «Освобожденная Италия».

Подойдя к столу, Суворов громко и внятно прочел «Pater noster»[1].

— Сегодня у меня за столом два высокопревосходительства, — садясь, весело сказал он, поглядывая на своих соседей справа и слева: Розенберга и Меласа. — Папа Мелас, вам необходимо научиться говорить по-русски. Скажите: «высокопревосходительство».

— Фьий... Фийсок... — потел с натуги старый Мелас.

— Вы-соко-превосходительство, — нагибался к нему Суворов.

Но у папы Меласа так-таки ничего не получалось. Ему никак не удавалось преодолеть это трудное «ы».

— Русский язык — богатый, прекрасный. Ломоносов в своей грамматике так о нем сказал: Карл пятый говаривал, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женщинами говорить прилично. Но если бы, — говорит Ломоносов, — Карл пятый российскому языку был искусен, то нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого и нежность итальянского. Вот, папа Мелас, каков наш язык! А у вас в армии есть переводчики?

— Нет, — сконфузился Мелас.

— Ах так! Я же вам буду писать только по-русски! — шутливо пригрозил Суворов. — Военному человеку вообще надо знать язы-

---

[1] «Отче наш» *(лат.)*.

ки. Я стараюсь изучить язык тех, с кем воюю. В Турции выучил турецкий, в Польше — польский, в Финляндии — финский.

— Ваше сиятельство, а вот извольте послушать, как пятеро моих мушкатеров изъяснялись, не зная языка, — сказал через стол Милорадович.

— А ну-ка расскажи, Мишенька!

— В пути мы стали на дневку в одном городке. Пятерым молодцам из первой роты отвели дом одной старушки. Она приняла наших очень радушно — сразу усадила за стол, поила-кормила до отвалу. Мушкатеры благодарят ее, а та не понимает. «Эх, старуха такая бестолковая!» — говорят. А унтер-офицер Огнев — вы его, ваше сиятельство, изволите знать...

— Как же, знаю! Ильюха Огнев. Прекрасный солдат. Сорок лет вместе с ним служим!

— Так вот Огнев и говорит: «Знаете, братцы, наденем-ка мы амуницию, станем во фрунт и отдадим старушке честь по-нашему, по-солдатски!» Встали, надели амуницию. Старуха смотрит с удивлением: куда это они так скоро? Выстроились тут же, в комнате, Огнев скомандовал: «На караул!»

— И старуха поняла?

— Поняла, ваше сиятельство! Хохотала до слез, обнимала...

— Русский солдат найдется. Русский человек гостеприимен сам и гостеприимство ценит. Вот и меня здесь встретили радушно. Как бы только миланский фимиам не затуманил голову! Теперь пора рабочая!

Суворов взглянул на поэта:

— О чем вы думаете?

Поэт почти ничего не ел. Держа палец под глазом по итальянской привычке, он внимательно смотрел на Суворова.

— Воображаю себя в шатре Агамемнона, где сижу в совете греческих полководцев. И как будто уже вижу падение Трои, — сказал он, видимо, давно приготовленную фразу.

— Люблю Гомера, но не люблю десятилетней троянской осады. Какая медлительность! Сколько бед для Греции! Не могу быть Агамемноном: я бы не поссорился с быстроногим Ахиллесом. Люблю друга Патрокла за быстроту. Где появляется он, там врага нет.

Суворов поднял бокал с вином.

— Честь и слава певцам — они мужают нас! А давно была Троянская война? — вдруг спросил он у Меласа.

Папа Мелас поперхнулся. Видимо, вопрос застал его врасплох. Когда была Троянская война, он не знал, но боялся прослыть нихтбештимтзагером.

— Т-тысячу лет до Рождества Христова, — наугад поспешно ответил он.

— Как давно, помилуй Бог! — улыбнулся Суворов, понявший смущение почтенного генерала.

Глава седьмая

ТРИ УРОКА МАКДОНАЛЬДУ

Но Россов князь предводит
И лавр в полях находит
На Треббских берегах;
Победа на штыках
Российских веселится.

Песня

I

Миланский фимиам не затуманил голову Суворова: он не пробыл в Милане и трех дней, — 20 апреля войска выступили дальше.

За две недели с начала открытия военных действий Суворов сделал чрезвычайно много. Он сделал больше, чем ему полагалось по австрийской инструкции.

Перед Суворовым стояли три важные задачи: преследовать разбитые на Адде войска Моро, осаждать оставшиеся в тылу неприятельские крепости и взять Турин, занятый французами.

Преследовать Моро, который вышел из-под удара союзников и войска которого разбрелись во все стороны, словно раки, Суворов не мог: Вена категорически запрещала удаляться вглубь. Австрийцам всюду мерещились поражения, — пуганая ворона куста боится!

Приходилось пока что кончать с крепостями и ждать дальнейшего наступления французов.

Но все упорнее стали проникать слухи о том, что из Средней и Южной Италии на подкрепление Моро идет с Неаполитанской армией генерал Макдональд. Было бы грубейшей ошибкой, непростительной оплошностью позволить им соединиться. Суворов решил перейти реки Тичино и По, двинуться на Макдональда, разбить его, а потом поворотить к Турину на Моро. Такой план действий Суворов и отправил в Вену. Он знал, что Вена не согласится с ним, но так как почта в оба конца займет более трех недель, то Суворов взял на свою личную ответственность дальнейшее продолжение войны. И двинулся к Пьяченце, чтобы переправиться через По.

Очень скоро Суворов увидел, что Макдональд, шедший из Неаполя и Рима, все-таки не так еще близок, и потому круто переменил свой план. Он отправил Багратиона разведать на правом, неприятельском берегу реки По. (Багратиону, как всегда, Суворов поручал дело, которое требовало распорядительности и мужества.) А сам стал в центре, между Моро и Макдональдом, чтобы в нужный момент броситься на того, кто из них окажется ближе.

Апрель уже прошел. За апрель Суворов в Италии сделал чрезвычайно много. Союзники же в Швейцарии и на Рейне бездействовали так же в мае, как и в апреле.

Время шло. Осада крепостей велась успешно: Суворов поручил ее лучшему австрийскому генералу, энергичному венгерцу Краю, которого он уважал за храбрость и решительность.

И теперь-то можно было заняться Турином.

Взятие Турина, столицы Сардинского королевства, имело большое политическое и моральное значение. И наконец, в Турине помещались громадный арсенал и разные склады.

И 12 мая Суворов двинулся к Турину. Он направил колонны так, чтобы союзные войска со всех сторон окружали город.

В старой двухместной карете сидели вчетвером: Александр Васильевич с племянником генерал-майором Андреем Горчаковым — сзади, а против них на коротенькой скамеечке — Егор Борисович Фукс и войсковой атаман, армии полковник Андриян Карпович Денисов.

Дядя и племянник — нешироки, им на кожаных подушках не тесно, но Фукс и Андриян Карпович умещались на скамеечке с трудом: статский советник хоть невелик, да весь заплыл жиром, а Денисов широк в кости.

Егор Борисович придерживал руками свой живот. При каждом толчке старой кареты Фукс трясся весь, начиная со щек. Он все сползал с неудобной скамеечки и бесцеремонно напирал на крепкое казачье плечо. Денисов сидел совсем на отлете. Одной ногой он упирался в подножку кареты, чтобы только кое-как удержаться на месте.

Было душно. Итальянское солнце жгло, как в петровки, хотя стоял всего только май. Денисов в своем длинном суконном кафтане давно взопрел, а тут еще жаркое Фуксово плечо — от него некуда и податься.

Денисов с завистью поглядывал на казаков конвоя, которые ехали за каретой. С ними в поводу шли кони фельдмаршала, Горчакова и гнедой денисовский Ветер. С какой охотой он вскочил бы в седло, да нельзя: Александр Васильевич сам пригласил в карету Карповича, как ласково называл Суворов полковника Денисова.

Ехали молча. Сначала, пока обгоняли свои и австрийские полки, шедшие к Турину, говорили о войсках. Потом Александр Васильевич рассказывал о том, как он на днях ездил осматривать поле знаменитого сражения у Павии, где когда-то, более 250 лет назад, был разбит французский король Франциск I. И наконец, тихий ангел пролетел: все замолчали.

Александр Васильевич, задумавшись, смотрел куда-то вдаль. Андрюша Горчаков что-то тихонько насвистывал. Фукс сопел, а

Денисов гладил свою широкую бороду, вытирал ладонью пот, который тек по шее.

Войска остались позади, верстах в пяти. Фельдмаршальская карета с восемью казаками конвоя ехала по большой дороге к Турину одна. Правда, где-то у самого Турина должен был уже быть маркиз Шателер с венгерскими гусарами и шестью пушками.

Денисов поглядывал на казаков: смотрят ли они вперед, не прозевали бы неприятельский разъезд.

— Стой, Ванюшка! — крикнул Суворов казаку, который правил лошадьми.

Карета остановилась.

— Надо размяться. Засиделись!

Денисов с удовольствием выпрыгнул из тесной и душной кареты.

Все, кроме статского советника Фукса, сели на конь. Суворов поскакал вперед, Денисов, Горчаков и казаки конвоя не отставали от него.

Проскакав версты три, подъехали к небольшому городку.

Городок жил обычной мирной жизнью, совсем не думая о войне. Полуголые грязные мальчишки играли на площади. У мраморного фонтана горбоносые итальянки, полоскавшие белье, яростно переругивались. Возле них, заложив за спину руки, стоял полицейский. Он лениво покрикивал на них:

— Andante! Adagio![1]

Было странно слышать эти слова в применении к такой немузыкальной истории.

Сапожник, расположившийся прямо на улице, стучал молотком и пел высоким чистым тенором какую-то песню. Вторя ему, где-то пронзительно и нудно ревел осёл.

Увидев бородатых казаков, сапожник перестал петь, а мальчишки, забыв игру, закричали:

— Сон мошковит! Сон мошковит![2]

В окнах домов — тут и там — показались головы.

Итальянцы глядели на всадников с удивлением, но дружелюбно: жители всюду встречали союзников как избавителей.

Фельдмаршал что-то спросил по-итальянски. Денисов уловил слово «франчези» и понял: Александр Васильевич спрашивает, есть ли в городе французы?

— Non, non![3] — живо, наперебой ответило несколько голосов.

— Войска, поди, уже стали на роздых. Пора и нам! — сказал Александр Васильевич, глядя на солнце.

---

[1] Спокойно! Тихо! *(Итал.)*

[2] Московит! Московит!

[3] Нет, нет! *(Итал.)*

Суворов подъехал к одному дому. За его каменной оградой зеленел сад. Со стены свешивались зубчатые листья винограда, в прорези ворот виднелась глянцевитая темно-зеленая листва оливковых деревьев и буроватая зелень орешника.

Суворов спрыгнул с коня и, окруженный ребятишками, пошел в дом. Ребятишки, осмелев, уже что-то лопотали — конечно, выпрашивали у синьора денег.

Через минуту из дома послышался оживленный говор: фельдмаршал говорил с кем-то по-итальянски, договаривался о постое.

...Вечерело, когда, отдохнув в городке, Суворов с провожатыми отправился дальше.

— Ваше сиятельство, проводника бы взять, — поглаживая пушистую бороду, осторожно начал Денисов.

— Обойдемся, Карпович, и без него. Тут дорога одна: большак. Да и недалеко уж — какая-либо миля... Доедем! — хлопнул по плечу войскового атамана фельдмаршал.

Поехали дальше. Ночь была светлая и теплая. Суворов ехал так уверенно и спокойно, будто на прогулку по знакомой, много раз изъезженной дороге. Глядел по сторонам, что-то думал, насвистывал.

Денисов ехал, стараясь зорко смотреть вперед. Но здесь не в степи, гляди не гляди — не поможет: засаду легко сделать на каждом шагу. Вон у самой дороги рощица, вон опять потянулась куда-то в сторону от дороги каменная ограда, а там снова какие-то постройки, фонтан, кусты... Долго ли до беды.

— Андрей Иванович, — тихо сказал князю Горчакову Денисов, — как бы нам эдак своего фельдмаршала французам в лапы не отдать? Ведь едем-то мы — передом, да и как-никак дело ночное. Надобно его сиятельство остановить, сказать, что так ехать опасно.

— Попробуй скажи ему, что опасно, — усмехнулся Горчаков. — Я говорить не стану!

Денисов проехал несколько сажен в раздумье.

Слава тебе Господи, и он знал Александра Васильевича не первый день! Под Измаилом впервые познакомился.

Надо уберечь старика от опасности, надо сказать, но как? Конечно, придется сказать не прямо, а осторожно, обиняком.

Денисов поравнялся с фельдмаршалом:

— Ваше сиятельство, войска далеко сзади. Может, вы кому-нибудь нужны...

Суворов сразу раскусил, в чем дело:

— Нужон, так нагонят!

Таким простым ответом Александр Васильевич сразу разбил всю дипломатию Денисова. Не ожидавший его, Карпович смешался и бухнул первое, что пришло в голову:

— Вам бы немного отдохнуть надо бы... («Эх, не то, не то говорю!» — почувствовал сам.)

— Помилуй Бог, да мы ведь только что отдыхали!

— Отдыхать отдыхали, да не спали! — плел уже совсем и с Дону и с моря окончательно сбитый с толку Карпович.

— Что ты, Карпович! В этакую прекрасную ночь — и спать! — улыбнулся Суворов.

Дальше говорить Денисову было нечего. Он покраснел от злости на свое неуменье говорить. Ударив плеткой коня, Денисов выскочил вперед. Он поворотил коня боком, загораживая дорогу Суворову:

— Не гневайтесь, ваше сиятельство, а дальше я вас не пущу! Ежели что вам надо, извольте только сказать — выполню сам!

— Пусти, Карпович, пожалуйста!

— Никогда, ваше сиятельство! Так ехать — плену не миновать! Не пущу!

— А что же будет делать генерал Шателер?

— А он далеко ли?

— Нет, уж недалеко.

— Оставайтесь, ваше сиятельство, здесь, а я один слетаю. Найду!

И Денисов поскакал вперед.

Последнее, что он слышал, отъезжая, были слова Александра Васильевича племяннику:

— Помилуй Бог, ну и упрямый же Карпович!

Проехав один с полверсты, Денисов слез с коня. Прислушался, не говорят ли где, не звякнет ли стремя, не захрапит ли конь. Но всюду было тихо.

Проехал немного еще.

Дома, огороды, виноградники, заборы пошли чаще прежнего. Чувствовалось, что Турин близко.

Сбоку от дороги чернела рощица.

Слез снова. Стал слушать. Ослышался или в самом деле в рощице говорили люди?

Денисов подъехал поближе к рощице и спросил по-французски:

— Генерал Шателер тут?

— Тут! — ответил сам генерал, выезжая на дорогу.

— Фельдмаршал вас ждет.

— Где он?

— Недалеко.

Шателер поскакал вместе с Денисовым к фонтану, где остался Суворов.

Суворов, спешившись, стоял под тополями у фонтана.

Генерал-квартермистр доложил фельдмаршалу, что командир французского гарнизона генерал Фиорелла отказался положить оружие.

— Войска все на местах. Город окружен. Попугайте господина Фиореллу ядрами. А не поможет, тогда завтра — штурм. Заставим положить оружие!

Шателер вернулся к своим шести пушкам и гусарам.

И через полчаса тишину ночи разорвали оглушительные пушечные выстрелы. Шателер бил из шестидюймовых пушек по предместью Турина — Баллоне.

Французы молчали.

— Карпович, почему они не отвечают?

— Чувствуют, ваше сиятельство, что вы близко. Советуются, как бы просить пардону...

Но и тут Денисов сказал невпопад.

Вдруг с диким воем пронеслось и грохнулось где-то неподалеку ядро. За ним другое, третье. Французы стреляли ядрами большого калибра. Попадая на шоссе, они производили страшный гром.

Воздух дрожал от гула.

Ядра падали, не долетая до фонтана и перелетая через него. Лошади фыркали и рвались. Казаки только поглядывали вверх.

Суворов стоял спокойно.

— Фельдмаршал и мы все в опасности! Тут не место! — громко сказал Денисов.

Суворов услышал эти слова:

— Нет, Карпович, это место прекрасное. Гляди, какая здесь красота, какие тополя!

Не успел он окончить, как совсем неподалеку грохнулось ядро. Во все стороны с визгом посыпались камни.

Денисов знал, что уговаривать, приводить резоны Суворову бесполезно: он не послушается, да и у Андрияна Карповича резоны выйдут, как давеча, неубедительными. Лучше действовать!

— Ребята, за мной! Укроем фельдмаршала! — обернулся к казакам Денисов.

Он шагнул к Суворову, бережно взял его в охапку и побежал что было сил в сторону.

Ядра только визжали вокруг.

— Проклятый, что ты делаешь! — беззлобно кричал Суворов.

Но Денисов, не слушая ничего, выносил фельдмаршала из полосы обстрела.

II

Генерал Фиорелла напрасно артачился, — через день ему все-таки пришлось согласиться сдать город. (Туринской цитадели Фиорелла еще не уступил, продолжая сидеть в ней.) Фиорелла мог быть доволен: он оказался не в плохой компании: в этот день фельдмаршал Суворов получил известие, что его войскам сдались города Александрия, Феррара и цитадель в Милане, о взятии которой все уши прожужжала Суворову назойливая, соблюдающая только свои интересы Вена.

Турин встретил Суворова так же торжественно, как Верона и Милан.

17 мая в Турине Суворов отпраздновал день победы.

Сначала на квартире у Суворова православный священник отслужил молебен, а потом Суворов поехал в туринский собор. Он ехал в богатой карете, окруженный русскими и австрийскими генералами, которые верхами сопровождали фельдмаршала. Во время молебствия артиллерия на городском валу дала салют.

Вечером Суворов поехал в театр. При его появлении поднялся занавес. На сцене был изображен храм славы, в котором стоял бюст Суворова. Из театра Суворов ехал по ярко иллюминованным улицам. На транспарантах в свете разноцветных ламп горели буквы «A. S.».

Быстрые, ошеломляющие успехи — за полтора месяца Суворов очистил от врага всю Северную Италию, — восторженный прием населения — все это радовало старого фельдмаршала. Радовало Суворова и то, как горячо встречались его победы на родине, в России.

«Бейте французов, мы будем вам бить в ладоши», — писал в одном из рескриптов Павел I.

Но зато отношения с союзниками-австрийцами портились день ото дня. Пока русские войска были нужны союзникам, чтобы разбить грозного врага, вторгшегося в их страну, до тех пор они заискивали перед русскими. Но стоило только Суворову оттеснить французов, как австрийцы показали зубы. Они косо смотрели на продвижение русских войск на запад. Победы русского оружия стали им уже не по нутру. Теперь союзники всеми силами старались представить дело так, будто бы они разбили врага, а не русские.

Эта перемена в отношениях австрийцев к русским прежде всего сказалась на Суворове.

Барон Тугут, первый австрийский министр, привыкший к беспрекословному повиновению и раболепству, сразу невзлюбил независимо державшего себя Суворова. Самостоятельность Суворова бесила желчного, мелочного Тугута.

Все высшие места в австрийской армии Тугут раздавал бездарным, но послушным, преданным ему людям. А здесь — пусть всемирно знаменитый, но чужой, русский, «варвар», который к тому же не хочет идти на поводу у барона.

Как держал себя с Суворовым господин, так понемножку стали держать себя и его слуги. Австрийские генералы с первых же дней окружили Суворова недоброжелательством, завистью, интригами. Лишь несколько генералов, вроде Шателера, Меласа, Края и старого суворовского друга генерала Карачая, держались иначе. Суворову были отлично знакомы эти лисьи улыбочки, вежливые поклоны в глаза, а за глаза — доносы, наговоры и сплетни. Все это он видел и при русском дворе. Всю его жизнь завистники, мелкие,

бесталанные людишки ставили ему палки в колеса, злословили и клеветали на него. Это они старались сделать его «чудаком».

Еще ни разу Суворова не вязали так по рукам и ногам, как опутал его гофкригсрат.

В Турине Суворов получил ответ на свой план дальнейших операций, который он послал императору Францу из Милана.

Император Франц считал, что Суворов, перейдя на правый берег По, нарушил его прежние инструкции. В головах австрийцев, которые не знали ничего, кроме линейной тактики и вечных поражений на поле боя, не могли уложиться наступление и победа.

Франц в сотый раз твердил главнокомандующему, что главная задача Суворова — «занять пункты и крепости, которые доставляли бы нам возможность сосредоточивать наши силы и отражать стремления французов из Пьемонта и Нижней Италии». Франц не задавался более важными целями — уничтожением армии противника. Он хотел только небольшого — сохранить то, что завоевал Суворов. И в конце третьего рескрипта подчеркнул категоричность своих предложений Суворову:

«Прошу Вас, любезный фельдмаршал, содержание письма сего, как и двух предыдущих, всегда иметь в памяти».

Это походило на вежливый выговор, это звучало предупреждением, угрозой, возмущало Суворова.

Сначала позвали, облекли всей властью, а теперь связывают по рукам и ногам. Бездарный, никогда не нюхавший пороху баронишка поучает его, поседевшего в боях. Как-то сразу забыли, что до приезда Суворова австрийская армия терпела одни поражения, а с Суворовым знает только победы.

А ведь если начать считаться, то он может предъявить австрийцам по-настоящему основательные претензии. Тогда, в Вене, Франц определил, что все продовольствие для русского корпуса будут доставлять австрийцы. Такое, решение показалось Суворову естественным и удобным. А теперь он увидел, что это была хитрая лазейка: австрийцы хотели ограничить власть Суворова. К тому же австрийцы неаккуратно доставляли провиант. Русские войска по трое суток не видали хлеба. А если и привозили хлеб, то он был из рук вон — сырой, из крупно смолотого, самого различного зерна. Мясо давали большею частью ослятину, вино — разбавленное водой.

В богатой Италии не устроили магазейнов. Войска довольствовались на походе тем, что доставали у населения. Лошади были на подножном корму.

Что же оставалось делать? Жаловаться императору Францу — бесполезно, писать Павлу — преждевременно.

Было горько, нестерпимо, невыносимо. Было противно.

Наклонившись над столом, Суворов перебирал бумаги, когда дверь отворилась и кто-то без стука вошел в кабинет.

Назавтра Суворов назначил выступать из Турина. Сведения о противнике приходили самые разноречивые, но Суворов решил все-таки сосредоточиться у Александрии. И теперь, перед отъездом, и, может быть, накануне решительного сражения, он просматривал свои заметки, бумаги, планы.

И в это время кто-то вошел.

Без стука мог войти только Прошка. Но почему сегодня он не сопит, не ворчит и стоит на одном месте?

Суворов круто обернулся.

Перед ним стоял в мундире, со шляпой в руке, сын Аркадий:

— Здравствуйте, папенька!

— Сынок, Аркашенька! — кинулся к нему Александр Васильевич.

Суворов видел сына за всю его четырнадцатилетнюю жизнь пока что не очень много. До десяти лет Аркадий жил с маменькой в Москве. Впервые Александр Васильевич увидел его в Петербурге в 1796 году, когда приехал из Варшавы. Варвара Ивановна отправила сына к отцу, резонно полагая, что отец сможет дать лучшее воспитание и образование сыну, чем она.

Царица Екатерина сделала Аркадия камер-юнкером великого князя Константина Павловича. Затем Аркадий гостил вместе с Наташей у папеньки в Кончанском. Когда Александр Васильевич приезжал по вызову императора Павла в Петербург, он виделся с сыном. Аркадий провожал отца при его отъезде в Италию.

В общей сложности отец и сын были вместе в течение не более полугода.

После того как Наташа вышла замуж, все отеческие заботы Александр Васильевич сосредоточил на сыне. В переписке с Хвостовым Александр Васильевич уделял Аркадию — его жизни, учению, воспитанию — большое внимание. И вот теперь, нежданно-негаданно, Аркадий очутился в Турине. Он стоял перед отцом — высокий, красивый мальчик, загорелый и крепкий.

— Ну что, камер-юнкером к великому князю? — спросил отец. (Великий князь Константин Павлович месяц тому назад приехал в армию к Суворову.)

— Нет, папенька, я сам.

И Аркаша смущенно протянул отцу большой пакет.

Александр Васильевич вскрыл его, отнес бумагу подальше от глаз.

Царский рескрипт:

«Гр. Александр Васильевич!

Удовлетворяя желание сына идти по стопам отца и, будучи свидетелем побед его, научиться знаменитому искусству сему, отправляю к Вам сына Вашего, коего чувствительность и приверженность к Вам и к славе Вашей достойны всякой похвалы, о чем с удовольствием Вам свидетельствую».

— Ну, молодец, молодец!

Он еще раз обнял сына и поцеловал его в голову.

— Садись. Что в Вене?

— Андрей Кириллович кланяется...

— У него жил?

— У него.

— Как принял?

— Хорошо, папенька. Андрей Кириллович такой добрый...

— Добры-бобры... Добр, да на поводу у Тугута. У этой совы. Что Тугут?

И, не дождавшись ответов сына, с горечью сказал:

— В Вене любят только посредственность. А талант не поклонник для узды. Тугут. Сын лодочника на Дунае. Ежели бы его отец так правил своей лодкой, как сын австрийской политикой, то давно раков бы кормил в Дунае!.. Его настоящая фамилия — не Тугут, а лучше: Тунихтгут! А зря укоротил ее — так более подходяща, помилуй Бог! Беспредельное самолюбие. Самолюбие без предела и без основания...

Суворов глянул на сына.

Впрочем, кому он все это говорит?

Мальчик скучал. Он смотрел в окно — на веселую, залитую солнцем площадь, на фонтан, на голубей у фонтана.

— Аркашенька, поди, мальчик, отдохни, поешь с дороги. Эй, Прошка! — крикнул Александр Васильевич, подходя к двери.

«С сыном все-таки легче, чем с дочерью», — думал он, когда Аркаша вместе с Прохором вышел из комнаты.

III

К 1 июня у Александрии сосредоточились союзные войска, кроме тех, что остались в тылу для осады крепостей, еще занятых французами.

А через сутки стало совершенно очевидно, что прежние известия о намерениях врага неверны. Пленные, лазутчики и «очевидцы» — люди, приезжавшие из Генуи в Турин, — все они, вольно или невольно, врали.

Моро старался ввести Суворова в заблуждение. С одной стороны, он тревожил передовые части союзников, часто передвигая свои войска, делал вид, что хочет наступать на Александрию. С другой — распространял слухи о том, будто к нему идут морем подкрепления. По случайности в это время в Генуэзский залив действительно пришла французская эскадра адмирала Брюи. Брюи высадил только один батальон в тысячу человек. Но «очевидцы» клялись,

что видели, как в Генуе высадился сам Макдональд, даже описывали, в каком мундире и шляпе он был.

Макдональд же и не думал плыть к Генуе. Он прямо пошел через Апеннины к Модене. 36-тысячная армия Макдональда спустилась на равнины Северной Италии. План французов был иной: двигаясь на север, зажать Суворова в тиски.

2 июня к Суворову прискакал из-под Модены курьер с известием о том, что Макдональд отбросил передовые части австрийцев.

Демонстрации Моро не могли провести такого полководца, как Суворов. Он им никогда особенно не доверял, а в последние дни тем более: слухи о том, что Макдональд направляется к Модене, уже ходили. Суворов, собрав все силы в кулак, был теперь готов броситься или на обоих противников, или на каждого порознь.

Движение Макдональда к Парме представляло громадную опасность. Макдональд оказывался в тылу соединенных русско-австрийских войск. Получалось как будто бы то самое, о чем все время так зловеще каркал венский гофкригсрат: в своем вечном стремлении вперед Суворов зашел слишком далеко. Придется отступать, отдавая врагу все то, что за два месяца было завоевано.

Так думали все австрийские генералы. Но не так судил Суворов.

Первое достоверное известие о движении Макдональда не только не испугало, а даже обрадовало Суворова. По его мнению, оно сулило союзникам успех. Он давно ждал этого случая — разбить Моро и Макдональда порознь. Суворов искал боя, и вот он предстоит!

Не теряя ни минуты, Суворов стал готовиться идти назад, навстречу Макдональду.

«Новейшие известия. Французы как пчелы и почти из всех мест роятся к Мантуе... Нам надлежит на них спешить», — написал он генералу Розенбергу, который стоял с частью русских войск у Асти.

Двигаясь на запад, к границам Франции, и предполагая встретить главные силы врага у Александрии, Суворов заранее подготовился. Устремляясь вперед, он не кидался очертя голову. Еще две недели назад Суворов приказал привести в оборонительное положение крепости, взятые у французов.

Покидая Турин, Суворов не только не снял осаду туринской цитадели, а написал австрийскому генералу Кейму, осаждавшему ее:

«Любезный генерал! Иду к Пиаченце разбить Макдональда. Поспешите осадными работами против туринской цитадели, чтоб я не прежде Вас пропел «Тебе Бога хвалим».

А генералу Отту послал приказ держаться во что бы то ни стало между Пармой и Моденой.

Суворов пошел по правому берегу реки По на Страделлу — Пьяченцу. Это направление неизбежно приводило его к встрече с Макдональдом — пойдет ли Макдональд направо, к Мантуе, или налево, к Тортоне.

Выступая, Суворов дал войскам краткое энергичное наставление. Оно все было проникнуто духом победы.

«Неприятеля поражать холодным ружьем, штыками, саблями и пиками.

Артиллерия стреляет по неприятелю по своему рассмотрению», — так начиналось наставление.

Это было указание на то, как и чем достигается победа. А дальше с уверенностью в полном поражении сильнейшего врага говорилось о последующем:

«Котлы и прочие легкие обозы чтоб были не в дальнем расстоянии при сближении к неприятелю, по разбитии же его чтоб можно было каши варить».

Австрийские генералы, читая наставление, только перешептывались в недоумении.

IV

Марш к Треббии — изящнейшее произведение искусства.

Моро

Суворов лежал, скрытый кустами. Мимо него, по дороге, в пыли, шли войска.

Расстегнув на груди душный камзол, сняв с шеи теплый фланелевый галстук, солдаты почти бежали. Шляпу многие держали в руке, повязав голову платком, — щедрое итальянское солнце палило немилосердно. Люди изнывали от жары.

В каждой роте впереди всех без устали вышагивали версту за верстой более молодые и крепкие. Старики лет по шестьдесят, исходившие в походах многие тысячи верст, как ни были привычны к переходам, но постепенно отставали: такого быстрого марша не запомнил никто. Отставших от роты обгоняла следующая, за ней еще и еще. Но старики хоть и в хвосте другой, дальней роты, а все-таки неуклонно двигались вперед.

Перед выходом из Турина к Пьяченце Суворов дал Багратиону листок. На листке русскими буквами было написано несколько французских фраз. Тут же стояло их русское значение.

— Переписать в каждой роте! За время похода всем офицерам и солдатам затвердить! Чтоб все знали. Смотри, князь Петр! Буду спрашивать! — сказал Суворов.

Багратион тотчас же созвал всех командиров полков. Продиктовал им суворовскую записку. Передал приказ Александра Васильевича.

В тот же час французские фразы уже переписывали в каждой роте. Раз батюшка Александр Васильевич сказал, значит, должно быть сделано! Прослыть немогузнайкой не хотел никто.

Суворов придумал это неспроста.

Надо было спешить. Спешить даже больше, чем когда-то, на походе перед Столовичами и Рымником. Дорога — трудна: под знойным солнцем, в неудобном, тесном обмундировании. Чтобы хоть чем-либо отвлечь солдатскую голову, он придумал такое непривычное дело. Солдату заучить незнакомые слова — труд горший, нежели пройти лишний десяток верст.

Это заучивание на ходу слов чужого языка имело и другой смысл: оно подтягивало отстающих. Когда унтер-офицер замечал, что взвод слишком уж растягивался, он вынимал бумажку с французскими фразами. Тотчас же к нему спешили из последних сил солдаты, чтобы еще раз послушать и заучить надобные словечки.

Суворов из своего укрытия смотрел, как с небольшими интервалами шли рота за ротой. Полки растянулись на много верст по всей дороге. Отставшие старики ковыляли молча, не говоря ни слова. Более молодые, подававшиеся вперед легче, шли переговариваясь. До Суворова доносились обрывки солдатских разговоров.

Вот показалась группа солдат. Впереди шел усатый унтер. Он держал бумажку.

— Ду ман грае, — наморщив лоб, прочел с натугой унтер.

— Дяденька, а это что же значит? — чуть не бежал рядом с ним веснушчатый молодой солдат. Он был потен и сер от пыли.

— Ай забыл? — сурово взглянул на него унтер. — А это значит: «проси пощады»! Ну, скажи: «ду ман грае»!

— Дуй мя в грязь! — звонко выкрикнул солдат.

— Эх, окрошки бы сейчас, кваску...

— Ишь чего захотел — окрошки!

— Хоть бы хлебца нашего, русского, аржаного...

— Верно, надоела эта преснятина макаронная!

— Солнце высоко. Скоро, должно, станем.

— Как скажешь: «опусти оружию»?

— Палезай!

— То есть как это — «полезай»?

— А так. Дядя Митрич читал. Не веришь, спроси!

— Да не «полезай», а — «балезар».

— А-а, понимаю! «На базар»! Базар — это, стало быть, конец всему! Теперь запомню: «на базар»!

— Ванюшка, давай! — поднялся Суворов.

Казак, державший в поводу лошадей, сунул в карман недоеденный апельсин и подвел коня. Суворов вскочил в седло и выехал на дорогу.

Солнце подымалось выше. До полудня оставалось еще больше часу, а дышать уже было нечем.

«Ну, ничего, сейчас отдохнем. Отт сдержит Макдональда, — утешал себя Суворов, — Семьдесят верст прошли, осталось двадцать».

К деревне, у которой стоял Суворов, подходил новый полк. Отставшие от предыдущего полка солдаты, увидав фельдмаршала, схватывались, через силу спешили вперед.

Сержант, шедший в замке последней роты и собиравший отсталых, что-то неласково говорил двум старикам мушкатерам, прочно усевшимся на краю канавки.

— Ступай, ступай: голова хвоста не ждет! Подойдут! Не все же сразу! — подъехал к ним Суворов.

— И мы, ваше сиятельство, говорим: подойдем! — отвечали в один голос оба мушкатера.

— Притомились, батюшка Александр Васильевич. Ноги, чай, не молоденькие!

— Вона штиблетные подтяжки оборвались. Как не починивши идтить? Это не в сапогах. В етаком обмундировании...

— Ничего, старички, управляйтесь. Поспеете! — поворотил коня Суворов.

— Поспеем, отец родной! Под Рымником не подвели, не подведем и тут! — крикнул вдогонку Суворову мушкатер, расстегивавший штиблет.

Суворов поехал в деревню. Увидев его, солдаты оживились, загудели. Тянулись к любимому фельдмаршалу.

— Часика три отдохнем — и дальше. Вы — чудо-богатыри! Вы — русские! — говорил Суворов, проезжая через деревню.

На маленькой площади он увидел своих старых друзей апшеронцев. Они уже становились на отдых. Солдаты лепились к теневой стороне заборов и оград, укрывались под деревьями.

— Ну как, ребятушки, затвердили слова? Трудны?

— Трудны, Александр Васильевич!

— Да не горазд.

— Дикой язык. Цыганский не цыганский...

— Вроде офенского...

— А кто из вас лучший француз?

— Зыбин.

Суворов взглянул на смуглого, чуть подернутого сединой ефрейтора. Зыбин, сняв пропотевший мундир, развешивал его на заборе.

— Это верно?

— Точно так. Всё заучил!

— Ну, как будет: «Не бойся»?

— Хрен-тя! — весело оскалился Зыбин.

Суворов рассмеялся:

— Немножко не так. «Креньпа»!

— Ваше сиятельство, а Воронов одно только «пардон» затвердил, — улыбался, подмигивал товарищам Зыбин.

— Поживи с мое... Без двух шесть десятков... — бурчал старый, весь седой капрал Воронов, сидевший тут же у ограды.

Он расстегнул штиблет и, сняв ботинок, внимательно рассматривал его со всех сторон.

— Ты, Алешенька, на походе с сапожником не задирайся, — вставил слово еще очень крепкий, несмотря на свои пятьдесят девять лет, унтер-офицер Огнев.

— Да мне и одного «пардона» хватить. Французишка у меня вот это поймет! — тряхнул ружьем Воронов.

— Молодцы, ребята! Вы — мои витязи! Неприятель вас боится. Вы — русские! — сказал Суворов и поехал дальше.

Дорога превратилась в один сплошной лагерь. Люди где шли, там и повалились на отдых. Сбрасывали опостылевшее душное, потное обмундирование и обувь, подкреплялись чем Бог послал.

Австрийские провиантмейстеры не поспевали за суворовскими маршами, держали русские войска впроголодь.

У выезда из деревни, на берегу речонки, Суворов увидал группу егерей. Они пристроились у самой воды. Сидели и черпали ложками из речонки, точно из миски.

— Хлеб-соль, ребятушки! — соскочил с коня Суворов.

— Хлеба кушать, отец!

— Милости просим!

— Вы что это хлебаете?

— Тальянский суп, ваше сиятельство!

— А ну-ка дайте попробовать!

Суворов взял у ближайшего егеря ложку, зачерпнул воды. Не без удовольствия хлебнул одну ложку, вторую, третью... (Хотя Александр Васильевич был в белом легком костюме, но жар палил, без конца хотелось пить.)

— Извольте сырку, ваше сиятельство, с ним вроде лучше... — протянул один из егерей кусок сыру.

Суворов отломил половину:

— Благодарствую!

Передал ложку егерю. Доедая сыр, влез на коня:

— Теперь сыт. Совсем сыт, помилуй Бог! Француз уж недалече. У него в провиантских магазейнах разного добра полно. Добудем приправы к итальянскому супу!

Он поехал к казаку Ванюшке, который остался на дороге ожидать Александра Васильевича. Суворова уже разыскивали Багратион, Горчаков и Аркадий.

Аркадий весь цвел: ему было все интересно, все ново. Он сидел на прекрасной лошади. Вместе с ними ехал венгерский гусар. Своей ярко расшитой курткой и высокой шапкой он выделялся среди русских.

— Ваше сиятельство, гонец от Меласа. Макдональд теснит австрийцев к Сан-Джиованни, — сказал Багратион, предваряя доклад гусара.

— Казачьи полки — на конь! Князь Петр и ты, Андрюша, — со мной. Авангард сдай великому князю. Розенбергу — пусть спешит. Пусть пройдет сквозь австрийские войска вперед!

И, хлестнув плетью коня, Суворов уже помчался вперед, туда, где на лугу табунились казачьи сотни. «Вот тебе и отдохнули», — думал он.

Но спешить было необходимо: Макдональд и без того имел численный перевес над войсками Суворова.

Приходилось напрягать последние силы.

V

Барон Мелас, невыспавшийся, измученный жарой и треволнениями последних полутора суток, едва сидел за столом. Он то безнадежно смотрел на разостланную перед ним на столе карту, то с тревогой поворачивал голову к настежь раскрытому окну. Голова была совершенно седая и по-старчески немощно тряслась.

В окно летели частые перекаты ружейной пальбы и гром пушек. Было безветренно, но в окно тянуло запахом пороховой гари, — жаркий бой шел в полумиле, у деревни Сармата.

Французы наседали с самого утра.

Вчера вечером генерал Отт прислал к Суворову гонца с тревожным известием: Макдональд обрушился на него всеми своими силами. Шеститысячный отряд Отта, конечно, не смог удержать втрое сильнейшего врага. Австрийцы отступали за реку Тидоне.

Суворов приказал Меласу с австрийским авангардом идти на выручку.

Когда сегодня в десять часов утра Мелас подошел к Сан-Джиованни, войска Отта в панике отходили к Сармате. Если бы не пересеченная местность, не эти виноградники, заборы и речонки —

ничто не могло бы задержать солдат. Но так, волей-неволей, их бег замедлялся естественными препятствиями.

В это время, к счастью, и подошел авангард Меласа. Войска Отта подбодрились и прекратили отступление.

Мелас поставил на шоссе за деревней Сармата батарею из восьми орудий. Австрийцы стояли за рвами, наполненными водой, — недавно шли проливные дожди, и все глубокие канавы были полны.

И вот уже четыре часа подряд Мелас выдерживал яростные атаки французов.

Прибыв в Сан-Джиованни, Мелас тотчас же послал к Суворову адъютанта с запиской. Хотя деревня Сармата еще была у австрийцев и от Сан-Джиованни, где сидел Мелас, до Сарматы — добрых полмили, но Мелас написал, что французы теснят их к Сан-Джиованни. Он считал, что, пока гонец доскачет до Суворова, так в действительности и окажется.

Мелас вообще смотрел на создавшееся положение очень мрачно. Действия Суворова удивляли его. Он никак не понимал этой суворовской стратегии.

Вчера ночью, когда стало известно, что Макдональд идет с большими силами наперерез русско-австрийским войскам, фельдмаршал отдал новый приказ по армии. В нем всего три пункта. Первый пункт Мелас помнит наизусть. Мелас не мог вспомнить о нем без улыбки:

«Неприятельскую армию взять в полон!»

«Хорошо сказать — взять в плен! Дай Бог самому избежать плена на старости лет!» — думал Мелас.

И весь приказ, все три пункта, написан в таком победном тоне. В нем говорится только о том, как казаки будут колоть, а французы — кричать «пардон».

«С пленными обходиться милостиво... Музыке играть...»

Мелас покачал головой: «Не слишком ли рано играть музыке?»

Ему казалось: дела союзников сейчас таковы, что остается только ретироваться.

Мелас, получив от Суворова приказ спешить на выручку Отта, спросил безо всяких шуток у главнокомандующего:

— А куда же отступать?

— В Пьяченцу! — ответил Суворов.

Папа Мелас посмотрел на фельдмаршала: шутит?

Фельдмаршал и не думал шутить. Он смотрел властно и без улыбки.

В Пьяченцу отступать, к сожалению, уже поздно: в Пьяченце — Макдональд.

Но Мелас был в любую минуту готов к отступлению: у крыльца стояла наготове карета с парой прекрасных лошадей, кучер дремал

на козлах. Пол-эскадрона драгун — личная охрана барона Меласа — ждали во дворе. Они сидели в тени деревьев и дома, набив карманы ворованными в сан-джиованнских садах фруктами, ели и перемигивались с итальянками, спрятавшимися от военной грозы в погреба и подвалы.

Мелас с тревогой ждал, когда французы соберут силы и ударят вновь: отряд Отта и авангард, который привел барон Мелас, разумеется, не могли долго удерживать такого противника.

На беду, еще не подходили и главные силы союзников.

Мелас послал двух адъютантов — майора и ротмистра — на чердак дома. У самого Меласа не хватило бы сил взобраться туда. Адъютанты в зрительную трубу барона следили за боем и время от времени доносили ему.

Слуга барона, ефрейтор, курил в прихожей, готовый прийти на зов господина.

Шел уже третий час пополудни.

Адъютанты сверху давно что-то не сообщали ничего нового.

Папа Мелас, опершись на руку, незаметно вздремнул. Его разбудил поспешный топот шагов. Звеня шпорами и саблей, скатился вниз по лестнице ротмистр.

— Что там?

— Французская пехота обходит с двух сторон Сармату. Кавалерия строится на шоссе!

«Началось!» — подумал Мелас.

Он в тревоге поднялся со стула. Руки машинально свернули карту, надели треуголку. Беззвучно шевеля губами, точно жуя что-то, Мелас пошел из комнаты.

Австрийские пушки гремели чаще прежнего. Похоже было на то, словно кто-то выбивает за деревней Сан-Джиованни ковры.

И вдруг сквозь раскаты пальбы донеслись крики французов.

Мелас, поддерживаемый слугой и адъютантом, сел в карету. Драгуны поспешно садились на коней.

Мелас сгорбился в карете. Поворотив голову набок, прислушивался.

Пушки разом умолкли.

Мелас понял: кавалерия все-таки доскакала, батарея погибла!

Мелас повернул голову и недовольно, нетерпеливо глянул на крышу дома:

— Что он там?

Ждать не пришлось: с чердака со зрительной трубой в руке стремглав летел майор:

— Батарея в руках французов! Генерал Надасти отступает из Сарматы!

— Садитесь! — поморщился Мелас.

Катастрофа была налицо: сейчас побежит авангард и отряд Отта, а навстречу им идет вся армия, и паника, конечно, передастся ей!

Не успел майор сесть в карету, как вдруг не от Пьяченцы, откуда шли французы, а с противоположной стороны, от Страделлы, сзади, раздался потрясающий рев: «Ура!»

Мелас откинулся назад.

«Обошли с тыла! Плен! Позор!»

Краска залила его старое, дряблое лицо.

Но в это мгновение по улице, точно ураган, понеслись сотни всадников. В столбах поднятой пыли перед Меласом замелькал целый лес казачьих пик, казачьи бороды и широко раскрытые рты, кричащие «ура».

«Ура» гремело, удаляясь к Сармате.

«Казаки. Суворов. Спасены!» — облегченно подумал папа Мелас и стал поскорее вылезать из кареты: увидит фельдмаршал Суворов — засмеет!

VI

Только тут, на виду у неприятеля, на сан-джиованнских полях, выстраивалась подходившая, измученная непосильным переходом русская пехота. Люди не могли отдышаться, все были мокрехоньки, точно не бежали по шоссе, а шли вброд через реку. Этот последний переход от Страделлы до Сан-Джиованни был самым мучительным.

К Сан-Джиованни прибежали наиболее сильные. Полки были чрезвычайно жидки: роты насчитывали треть состава.

Суворов велел пехоте выстраиваться против флангов неприятеля. Горчакову дано правое крыло, Багратиону — левое. Австрийцев он оставлял в центре.

Ударить одновременно по всей линии.

Суворов въехал на холм, смотрел в трубу вперед, на деревню Сармата, занятую французами. Австрийские мундиры белели у деревни Фонтана-Прадоза на фоне зеленых виноградников, но сливались с белыми оградами садов. Глядел направо, на маленькую, в пять домиков, деревню Карамело.

К Александру Васильевичу подъехал Багратион. Он тихо сказал:

— Ваше сиятельство, в ротах нет и по сорока человек. Придется повременить.

— А у Макдональда нет и по двадцати. С Богом!

Багратион поскакал к войскам.

Не прошло и получаса, как вся линия союзников, с музыкой и барабанным боем, с развернутыми знаменами, кинулась в атаку.

Где-то грянула задорная русская песня:

И я селезня любила,
Я касатова хвалила.
Я кафтан ему купила...

Суворов, не обращая внимания на визг пуль, поехал к пехоте.

— Вперед, ребятушки, коли! — подбадривал он.

Французы держались упорно: обороняться помогала пересеченная местность. Но во фланги и тыл врага ворвались казаки, которых Неаполитанская армия видела еще впервые. Французы побежали. Деревню Сармата вновь заняли австрийцы. Левое крыло французов отступало за реку Тидоне. Синие мундиры бросались в воду.

К союзникам каждую минуту подходили подкрепления. Вечерело. Жара спадала. Становилось немного легче. Еще натиск, и за левым неприятельским крылом начало поспешно отходить и правое: боялись, чтобы Суворов не отрезал.

Все французы убирались за реку.

Преследовать сбитого неприятеля было невозможно: лошади, как и люди, едва таскали ноги. Кроме того, целые эскадроны должны были спешиваться и вести коней в поводу — через заборы и канавы.

Суворов поздравлял войска с победой.

— Ну что ж, поедем отдыхать. Хороший у вас там унтеркунфт, папа Мелас? — весело спросил он.

Меласу это не понравилось. Он знал, что Суворов не любит, презирает слово «унтеркунфт».

— В Сан-Джиованни есть хорошие дома, — уклончиво ответил папа Мелас.

VII

Суворов с Меласом, Шателером и адъютантами ехал к Сан-Джиованни, где была по диспозиции заранее назначена главная квартира армии.

Бой по всей линии затих. Кое-где уже горели костры.

Навстречу ковыляли отставшие солдаты разных русских полков, которые спешили к своим. Они старались пройти так, чтобы не попадаться на глаза фельдмаршалу.

Суворов делал вид, будто не замечает этих стариков, прошедших за полтора дня восемьдесят верст. Только увидев молодого поручика, который шел хромая (видимо, сильно натер ноги), он иронически обмолвился:

— Опоздали, ваше благородие. Мы и без тебя управились. Какого полку?

— Ферстера, ваше сиятельство!

— К новым названиям я не привык. Как он по-старому-то?

— Тамбовский, ваше сиятельство.

— А, хороший полк! Храбро дрался. Он там, у реки. Ступай, братец, завтра работенка найдется!

Въехали в Сан-Джиованни. Улицы были полны. Белые австрийские мундиры мешались с зелеными русскими. На площади сгрудились артиллерийские патронные ящики, кашеварные повозки, австрийские понтоны, сбились табуном французские пленные.

Во дворах виднелись телеги с тяжелоранеными.

У дома, где красовалась нарядная венская карета Меласа, Суворов увидал и свою древнюю, двухместную. На крыльце дома стоял Прошка. Он лил воду из кружки на руки Аркадию. Из окна высунулось мясистое лицо Фукса.

Суворов слез с коня и вошел в дом.

В прихожей толпились всякие штабные люди — из квартермистерской, провиантской, инженерной частей, ординарцы и денщики. Свои, русские, и австрийцы.

Увидав штабного полковника Кушникова, Александр Васильевич на ходу приказал:

— Немедля послать офицеров. Собирать по дороге отсталых. Пусть поторопятся!

Суворов вошел в комнату, снял каску и сел к столу. Разложил карту. Мелас, кряхтя, поместился по другую сторону. Шателер — поближе к главнокомандующему.

Австрийский адъютант зажег на столе свечу. В это время в комнату вошел своей шаркающей походкой (значит, уже под мухой!) Прошка. В руках он держал тарелки.

— Ты с едой погоди! Раньше — дело! — нахмурился Суворов.

Прошка ничего не сказал. Преспокойно поставил на карту тарелки. Впрочем, они закрыли только озеро Комо, которое в данный момент не так уж было и нужно.

— У Парпанезе сделать мост через По. Для подхода подкреплений Края, — сказал Суворов, взглядывая на Шателера.

Шателер понимающе закивал головой: этот приказ был ясен.

Первая стычка с Макдональдом выиграна, французы отбиты назад, но исход завтрашнего боя еще неизвестен. Как бы не пришлось отступать: у союзников 28 тысяч против 36 тысяч Макдональда. Если же придется отступать, то идти на Александрию уже нельзя: можно наткнуться на Моро. Предосторожность главнокомандующего была понятна. Понятна была и его ссылка на Края, — Суворов не любил даже упоминать слово «ретирада» и потому сказал о подкреплении, хотя от Края подкреплений ждать не приходилось.

— Завтра — удар на их левое крыло. Режем Макдональду пути отхода. Прижимаем его к По. Пишите диспозицию!

Суворов вынул из кармана табакерку, понюхал табачку и стал диктовать:

— Армия атакует неприятеля тремя колоннами...

Если маркиза Шателера, привыкшего к нерешительной, боязливой австрийской тактике, и утешало то, что фельдмаршал позаботился о мосте через По, то в диспозиции снова была только одна мысль: вперед! Фельдмаршал дал диспозицию с маршрутами до самой Нуры, то есть на тридцать верст вперед.

Окончив ее, Суворов продиктовал еще особое наставление войскам. Тут Суворов уже не высидел — вскочил и заходил по комнате.

В последней фразе наставления он опять особенно подчеркнул свою всегдашнюю идею — наступление:

«Не употреблять команды «стой!». Это не на учении, а в сражении: атака, руби, коли, ура, барабаны, музыка».

— Пароль и лозунг завтра: «Терезия» и «Коллин» — ведь завтра седьмое июня. В этот день в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году австрийцы побили Фридриха Второго у Коллина!

— О да, да! — радостно улыбаясь, закивал седой головой Мелас: это напомнило ему юность: в те далекие годы Мелас служил адъютантом у фельдмаршала Дауна.

— Прошка, неси ужинать! — крикнул Суворов.

VIII

Макдональд плохо спал: болели раны, ныло все тело, помятое конскими копытами, и тревожил этот напористый старик — фельдмаршал Суворов.

Шесть дней назад, 1 мая, у Модены 50 конноегерей полка Бюсси, пробивавшиеся из окружения, налетели случайно на самого французского главнокомандующего. Макдональд, следя за боем, стоял со свитой и конвоем эскадрона гусар. Пришлось взяться за шпагу.

Макдональд, все время служивший в пехоте, был не очень хорошим наездником. Кроме того, ему с тонкой шпагой пришлось действовать против конноегерского палаша.

В жаркой схватке какой-то конноегерь ударил Макдональда палашом. Главнокомандующего спасла высокая, пышная генеральская шляпа, — она ослабила удар. Макдональд свалился под копыта лошадей.

Все дни Макдональд очень страдал от раны и особенно от ушибов.

Тотчас же после ранения он предложил своим дивизионным генералам принять вместо него командование Неаполитанской армией. Более других подходил к этой роли энергичный и толковый Виктор, но числился, он по армии Моро.

Никто не согласился.

Кроме ран Макдональду не давал сегодня покоя Суваров. Макдональд не ожидал так быстро встретиться с ним: ведь Суваров три дня назад был еще у Александрии. А вчера он налетел на французов как вихрь.

Неаполитанская армия впервые услыхала это казачье «ги-ги», увидала их широкие бороды и почувствовала на себе удары их ужасных пик. Под натиском русских Макдональду пришлось отступить на семь верст, за реку Тидоне.

Макдональда злило то, что Моро, который должен был ударить с тылу, до сих пор не-показывался.

Раздражала задержка двух своих дивизий — Оливье и Монришара, которые еще не подошли к Пьяченце. Без них Макдональд как без рук. Он привык к тому — так твердила современная военная наука, так подтверждалось практикой, — что побеждает тот, кто имеет численный перевес.

Правда, и без этих двух дивизий Макдональд был сильнее Суварова, но до подхода Оливье и Монришара Макдональд не решался наступать. С ними Макдональд имел бы на всех участках значительный перевес сил, обязательный для победы.

За вчерашний день он успел немного познакомиться с этим Суваровым. Макдональд увидел, что имеет дело с каким-то необычайным полководцем. У Суварова явно было меньше войск, но Суваров наступал. И теперь Макдональд с тревогой предчувствовал», неугомонный старик фельдмаршал сегодня атакует его.

Просыпаясь среди ночи от боли — Макдональд был весь в ссадинах и кровоподтеках, — он прислушивался. Ему казалось, что он слышит в соседней комнате низкий насмешливый голос генерала Оливье.

Но из-за двери доносился только храп адъютанта, да где-то в углу возилась мышь.

Макдональд едва дождался утра. Главнокомандующий поднял всех спозаранку.

Утро было восхитительное. Позавтракав, Макдональд велел нести себя к Борго — Сан-Антонио. Шесть гренадеров несли на носилках главнокомандующего. Он полулежал, опираясь на локоть, — левая сторона тела меньше пострадала в свалке.

Итальянки сочувственно провожали взглядами красивого тридцатичетырехлетнего генерала, жалели его:

— Santa Maria![1]

— Ma quando finisce sta storia?[2] — восклицали они, подразумевая под «storia» войну.

---

[1] Святая Мария! *(Итал.)*

[2] Когда кончится эта история? *(Итал.)*

Был полдень, когда Макдональд очутился у правофланговой дивизии Сальма. Генерал Сальма приехал к главнокомандующему с левого берега Треббии на лодке.

Расположенные против него австрийские части и не думали еще двигаться вперед. Легкомысленный Сальма считал, что в этот день неприятель наступать не будет. Он уверял главнокомандующего, что фельдмаршал Суваров ранен, что сегодня союзники уже упустили время для наступления, — полдень, жара... Сальма просил главнокомандующего отпустить его часа на три в Пьяченцу, — генералу Сальма прискучила глухая деревушка, в которой всего четыре дома и где, кроме кьянти[1], никакого вина нет.

Макдональд рассердился.

— На правом фланге и в центре русские уже наступают. С минуты на минуту надо ждать наступления австрийцев. Немедленно отводите авангард сюда, за реку!

И велел гренадерам нести себя в Борго.

Сальма, чертыхаясь, поехал назад, на левый берег. Он решил не двигаться с места, чтобы показать, что он прав. Сальма не мог знать, что из-за своего легкомыслия и упрямства он через несколько часов будет с боем перебираться на правый берег и сам будет ранен.

Как и опасался Макдональд, Суворов наступал по всей линии. В центре и на правом фланге шли русские. Они перешли вброд реку Тидоне и медленно двигались вперед, — их задерживали бесконечные канавы, речки, плотины, изгороди.

День был нестерпимо жаркий. Французские солдаты, ожидая врага, изнемогали от жары. Но еще тяжелее было русским, которые шли под палящими лучами солнца. За три часа они едва прошли шесть верст.

В третьем часу пополудни бой кипел. Макдональд лежал в саду, в тени деревьев, с картой в руке. К нему то и дело подлетали верховые с известиями от генералов.

Наконец привезли долгожданное: дивизии Оливье и Монришара подошли к Треббии.

IX

Южная ночь разом опустилась на землю. Ружейная стрельба прекратилась: бесполезно стрелять, не видя врага.

После кровопролитного боя французы были по всей линии отброшены за Треббию. Отброшены, но не уничтожены. Там, за рекой, стояла 35-тысячная армия (а Суворов не имел 30 тысяч), готовая завтра же помериться силами.

---

[1] Кьянти — дешевое вино.

Из-за крайнего утомления войск, которые прямо с труднейшего форсированного марша попадали в дело, пришлось начать сражение не в семь часов утра, как назначил в диспозиции Суворов, а в десять.

Сильно пересеченная местность, неудобная для атак, очень удобна для обороны. Она-то и затянула сражение. В результате — не хватало дня.

С другой стороны, все дело испортил глупый, боявшийся всего папа Мелас. Под его командой находился резерв — войска австрийского генерала Фрёлиха. Резерв должен был в нужную минуту помочь правому флангу, игравшему самую главную роль в сегодняшней операции. Мелас же самовольно, вопреки суворовской диспозиции, присоединил весь резерв к своему левому флангу, хотя против него стояла слабая — в четыре раза меньшая бригада Сальма.

Из-за этого незаконного распоряжения Меласа вся прекрасно задуманная Суворовым операция теряла свой смысл. И одиннадцати батальонам Багратиона пришлось из-за Меласа выдерживать натиск шестнадцати батальонов французов.

— Этого старого сукина сына Меласа расстрелять мало! — горячился вспыльчивый Багратион.

— Помилуй Бог, при чем тут старость? Австриец и молодой это сделает, — иронически улыбнулся Суворов.

— Ой, простите, ваше сиятельство! Я не хотел!.. — смутился Багратион, вспомнив наконец, что Суворов и Мелас — одногодки.

В представлении Багратиона Александр Васильевич был молодым. Слово «старость» как-то не шло к подвижному, энергичному, полному жизни Суворову.

Багратион удивился, что фельдмаршал так снисходительно отнесся к проступку Меласа.

— А что с ним делать? Заводить сейчас, на поле, скандал — Макдональд нас обоих за хохолок. Черт с ним! То ли приходится спускать этим австриякам!

Эту ночь Суворов ночевал с Багратионом. Меласа он не видал целый день: их разделяли восемь верст, а теперь, после такого подвоха со стороны барона, Суворов не очень и хотел бы его видеть.

Суворов заночевал в небольшом одиноко стоявшем домике, в двух верстах от реки Треббия. Он сам едва держался на ногах от усталости: целый день под палящим солнцем и в седле.

Назавтра Суворов оставил прежнюю диспозицию: наступать по тем же направлениям, колонны те же. Только изменил начало боя, назначив пораньше — на восемь часов утра. Меласу Суворов подтвердил приказ отправить к средней колонне резерв, состоявший из дивизии Фрёлиха и десяти эскадронов кавалерии князя Лихтенштейна.

Быстро окончив дела, Суворов лег спать. Он лежал на голой лавке, постелив свой плащ. На полу, на тюфяке, услужливо предложенном хозяином дома, раскинулся Багратион.

Багратион не мог успокоиться. Он не мог простить австрийцам давешнюю обиду, клял гофкригсрат и Меласа и подсчитывал, сколько у Макдональда сил. Выходило — больше, чем у союзников.

— Ничего, князь Петр. Помни: воюют не числом, а уменьем! Спи! — сказал Суворов, поворачиваясь к стене.

X

День начался. Снова было бездонное голубое небо и яркое солнце. И снова в этом безоблачном, спокойном небе гулко отдавались, гремели громы.

Бой начался.

Сегодня Макдональд сам атаковал Суворова, атаковал уверенно: все было как полагалось — французы имели на всех участках позиции численный перевес. Оставалось только охватить с флангов и ударить в центр. Победа должна была свалиться в руки.

Французы переходили Треббию колоннами.

Между пехотой шла кавалерия. С правого берега по левому вели огонь батальоны, оставленные Макдональдом на местах.

Как и вчера, главный удар был не у реки По, а на противоположном конце фронта. Левое крыло французов обходило по высотам правое крыло русских.

У Суворова было значительно меньше сил, чем у врага, но он бесстрашно приказал Багратиону еще податься вправо.

Багратион принял правее и ударил в штыки. С флангов на французов кинулись казаки, и все было кончено: французы бежали к реке, спасаясь к своим.

Но Макдональд не зевал. Когда Багратион подался вправо, между Багратионом и Швейковским образовался промежуток шириною около версты. Дивизии Виктора и Руска кинулись в эти ворота. Французы нападали с фронта и с фланга. Их атаки шли одна за другой.

Русские войска, незнакомые с отступлением, упорно отстаивали каждый кустик, каждый камень.

Некоторые русские полки оказались окруженными, но оборонялись так, что французы не могли добиться победы. И все-таки численный перевес врага сказывался: положение русских становилось весьма тяжелым.

Суворов уже несколько дней почти не слезал с коня, ел кое-как, на ходу и всухомятку, спал меньше обычного и потому устал

невероятно. Только непреклонная воля и твердая вера в победу поддерживали его.

Небывало быстрый переход от Александрии к Сан-Джиованни, многодневный упорный бой с превосходным и превосходящим численностью противником, — все это окончательно измотало войска. Люди двигались буквально из последних сил.

Но Суворову нужно было держаться больше всех. Стоит ему хоть чуть ослабить этот напор, и победа уйдет из рук.

И Суворов держался.

Очень изнуряли Александра Васильевича дневная жара, безветрие душного июльского полдня, хотя вообще жару Суворов любил.

Сняв маленькую каску и сбросив с плеч пропотевший на спине полотняный китель, Суворов сидел в тени кустов у развилки дорог. Так чудесно было бы теперь выкупаться или хотя бы облиться студеной водой. Да и Прошка остался вместе с Аркадием где-то в Сан-Джиованни.

Александр Васильевич с удовольствием прислонился к громадному камню. От камня шел приятный холодок. Разгоряченное тело отдыхало.

Сзади за кустами перешептывались ординарцы и вестовые.

Все генералы были в бою. Только минуту назад Александр Васильевич услал в центр к Ферстеру генерал-квартермистра Шателера.

Суворов сидел, думая о том, что более двух тысяч лет тому назад на этих самых берегах Треббии великий Ганнибал одержал решительную победу над римлянами.

Прислушивался к звукам боя, стараясь угадать, как сегодня идет сражение.

Ружейная пальба и крики французов слышались уже где-то сбоку, чуть ли не у Казалиджио.

Суворов послал штабс-капитана Ставракова к Меласу — немедленно двинуть на помощь правому флангу резерв.

В висках ломило. Хотелось пить.

— Ванюшка, нет ли у тебя апельсинчика?

— Пожалуйте, ваше сиятельство, — вышел из-за кустов полковник Кушников.

— Спасибо, дружок!

Суворов съел апельсин. Хотел было послать Кушникова к Багратиону — его очень беспокоил правый фланг, — как вдруг из-за поворота дороги выскочил на буланой лошади генерал Розенберг.

«У него давеча вороной конь был. Опять подшибли, что ли?» — мелькнуло в голове.

Высокий, худой Розенберг соскочил с коня. Суворовский вестовой принял поводья.

— С какими новостями, Андрей Григорьевич?

Розенберг смутился. Снимая шляпу, он сказал:

— Ваше сиятельство, держаться нет сил. Надобно отступить...

Мгновение Суворов смотрел на Розенберга в упор. Потом повернулся так, чтобы Розенберг мог вполне охватить громаду камня, прислонившись к которому сидел Александр Васильевич.

— А этот камешек можете сдвинуть?

Розенберг не знал, что ответить. В разговорах с фельдмаршалом он всегда как-то не мог найти правильной линии. Всегда говорил не к месту, невпопад. Молчал.

— Не можете? Ну так и русские не могут отступать. Извольте держаться. Ни шагу назад! — хлопнул он ладонью по камню.

Розенберг вспыхнул: он был обидчив, горяч. Он знал, что граф Суворов не весьма жалует его. И потому в каждом слове фельдмаршала находил что-либо обидное для себя. Вот и теперь ему показалось, что Суворов подчеркнуто сказал — «русские». А ведь Розенберг хоть и курляндский дворянин, а всю жизнь в русской армии и всегда считал себя русским человеком.

— Слушаю-с! — по-солдатски отрубил он и, надев треуголку, торопливо отошел к коню.

На повороте дороги он встретился с князем Багратионом. Багратион во весь опор мчался туда же, к Суворову.

— А, князь Петр! Ну как? — спросил Суворов.

— Французы отброшены, ваше сиятельство. Но у нас убыль — до половины, — не слезая с коня, только перегнувшись с седла, докладывал Багратион. — И ружья плохо стреляют. Пороховой копоти накопилось...

Суворов почувствовал: если Багратион так говорит, значит, дело серьезное.

Люди утомились. Подкрепления нет. Придется Суворову двинуть в бой свой последний резерв — самого себя.

— Нехорошо, князь Петр, — крякнул Суворов, подымаясь. — Ванюшка, коня!

Казак выскочил из-за куста с конем. Суворов сел в седло, держа за рукав перекинутый через плечо полотняный китель. Его маленькая каска с зеленым плюмажем так и осталась лежать на камне.

Суворов скакал к войскам Розенберга.

Наперерез ему бежали в тыл перепутанные роты мушкатеров какого-то полка. Они ломили, не разбирая дороги, — через виноградники, заборы и кусты. Останавливаться и отстреливаться и не думали.

Французские пули пели вокруг.

— Заманивай их, заманивай! Спасибо, ребята, что догадались! — зычно закричал Суворов.

Он поворотил коня и, обогнав мушкатеров, скакал впереди их, точно отходил вглубь первым.

— Шибче, шибче, бегом!

Увидев любимого фельдмаршала, мушкатеры смутились и замедлили бег. Старики сразу остановились. Они задерживали бегущих, заряжали ружья, строились. Только наиболее сбитые с толку, перепуганные молодые мушкатеры продолжали бежать вслед за конем Суворова.

— Стой! — вдруг крикнул Суворов, поворачивая коня. — Вперед, за мной! Бей штыком, колоти прикладом! Ух, махни, головой тряхни!

Вся отступавшая масса мушкатеров повернулась на врага. Настроение сразу же переменилось. Мушкатеры в один миг обогнали Суворова и с яростными криками кинулись вперед.

Фельдмаршал и не думал долго оставаться на этом участке. Он поскакал к войскам Багратиона.

Не прошло получаса, как и оттуда загремело задорное, уверенное, раскатистое «ура».

XI

Барон Мелас, командовавший левым флангом союзных войск, сидел в Сан-Николо и преспокойно завтракал, когда к нему прискакал ординарец Суворова с приказом двинуть резерв генерала Фрёлиха.

На участке Меласа неприятель ограничивался только перестрелкой. Было давно ясно, что главный удар Макдональд направил на правый фланг, на русских. Мелас, присоединивший к себе резерв, полагал, что у него достаточно сил, чтобы, как и вчера, отразить удар врага.

И он пригласил своих генералов — князя Лихтенштейна, командовавшего вместо заболевшего Фрёлиха резервом, Отта и Готесгейма — к столу.

Об исходе сражения на Треббии барон Мелас держался все того же мнения, что и в первый день стычки с Макдональдом. Он считал дело союзников проигранным: превосходство сил у Макдональда было значительное, с минуты на минуту надо было ожидать удара Моро с тыла. И к тому же — об этом не всегда говорили, но всегда помнили — французы постоянно били австрийцев.

Позавчера, как ему казалось, положение спасли австрийские войска. (Мелас уже забыл о том, как собирался улепетывать сам из Сан-Джиованни и как потом его выручил из беды Суворов. В порыве радости он сам сказал фельдмаршалу, что Суворов спас австрийцев.)

Вчера Суворову удалось отбросить врага за Треббию только потому, что к Макдональду еще не подошли дивизии Оливье и Монришара. А сегодня — Мелас был твердо уверен — все будет конче-

но. Напрасно фельдмаршал Суворов считал себя Ганнибалом: у него на Треббии не получится, как у Ганнибала, победы.

Барон Мелас думал лишь о спасении своих, австрийских, сил. Он боялся, чтобы французы, прорвавшись на шоссе Пьяченца — Александрия, не прижали бы их к реке По.

Увидев русского офицера, барон Мелас недовольно поморщился и отбросил в сторону салфетку. Офицер передал его высокопревосходительству приказ фельдмаршала.

В прихожую выглянуло широкоскулое курносое лицо полковника казачьего полка, который был придан к левому флангу Меласа. Барон Мелас никак не мог выговорить его имя и фамилию — «Кузьма Семерников». У него с трудом получалось: «Куземерненкопф».

Вчера барон Мелас, на свой страх и риск, не отпустил от себя резерва. Он знал, что, донеси Суворов об этом императору Францу, из его жалобы не получится ничего: гофкригсрат покроет барона Меласа. Сегодня надо бы поступить так же. Но князь Лихтенштейн, услыхав настойчивое требование фельдмаршала прислать резерв, поспешно встал из-за стола.

И во-вторых, барон Мелас как-то почувствовал: если он и сегодня удержит у себя резерв, этот звероподобный Куземерненкопф уйдет к Суворову. А ведь барон Мелас знает, как лихо расправлялись с французами казаки. Казачий полк, разумеется, меньше, чем десять эскадронов князя Лихтенштейна, но еще неизвестно, кто сильнее.

И барон Мелас, пожевав в раздумье губами, изрек Лихтенштейну:

— Поезжайте, ваше сиятельство!

— А как же с пехотой? — спросил Лихтенштейн.

— Мы обсудим.

Лихтенштейн быстро вышел.

— Обождите там, — махнул рукой русскому офицеру барон Мелас.

Офицер вышел.

Барон Мелас посмотрел на генералов:

— Надо решить, как поступать сегодня. Я считаю: наше положение таково, что мы можем только обороняться.

— О да, да!

— Конечно, довольно с нас этой азиатской стратегии «вперед», — поддакнул Готесгейм.

Барон Мелас чуть повернул голову к адъютанту:

— Передайте русскому офицеру, что военный совет решил не отправлять пехоты к центру: она нужна и здесь! Да заодно скажите, чтоб подавали кофе. И ликеру!

Мимо окон процокали копыта, — суворовский ординарец ускакал.

Мелас сидел довольный: наконец-то он опять чувствовал себя хозяином в своей армии! Мелас в глубине души был все время обижен тем, что не ему, а какому-то русскому фельдмаршалу, пусть себе и «счастливому», вверили армию.

Сейчас он хоть немного мог сквитаться.

XII

«Последний резерв» Суворова прекрасно сыграл свою роль: где ни появлялся этот всадник в белой рубахе с полотняным кителем на одном плече, все разом преображалось. Куда девались усталь, жара, жажда, ружейная копоть...

Воодушевленный Суворовым авангард Багратиона ударил во фланг дивизиям Виктора и Руска, напиравшим на Швейковского. Русские шли с барабанным боем, с музыкой, с развернутыми знаменами.

Французы приняли их за свежее подкрепление, пришедшее к русским, и дрогнули.

Левый фланг врага, на который так много надежд возлагал Макдональд, не добившись успеха, откатился с огромными потерями за реку. В это же время наступил перелом и в центре: русские полки приняли наступавшие бригады Монришара в штыки, а подоспевшая кавалерия князя Лихтенштейна и казаки ударили во фланги.

Монришар, так же как Виктор и Руска, был отброшен за Треббию.

Попытались французы сунуться и на левом фланге, но австрийцы отбили их.

Резерва у Макдональда не оказалось, — да Макдональд и не считал нужным его оставлять, раз французы имели численный перевес на всех пунктах. Отступавшим бригадам помощи не было.

Французы перешли к обороне.

Суворов мог бы воспользоваться этим моментом и перенести наступление за реку Треббия, но солнце еще палило хорошо, — был только шестой час пополудни. И когда-нибудь нужно же было дать войскам отдых: люди падали от изнеможения.

Суворов решил отложить атаку до завтра. Пусть люди сварят кашу, выспятся, освежатся, а завтра в пять часов утра — вперед!

Александр Васильевич приехал в тот же домик, где ночевал накануне с Багратионом. Умылся, поел и ждал генералов. Они приезжали один за другим.

Александр Васильевич чуть стоял на ногах — сильно морил сон. Превозмогая усталость, он весело встречал генералов. Поздравлял с третьей победой. Просил поздравить войска. И всем говорил одно:

— Завтра дадим четвертый урок Макдональду!

XIII

Суворов вскочил точно ужаленный: ему показалось, что уже поздно, что он проспал все — и назначенные для атаки пять часов утра и победу.

Но еще не было даже и четырех.

Андрей Горчаков, в эту ночь бывший с ним, убеждал дядюшку не торопиться, так как времени предостаточно.

Суворов все-таки стал одеваться. Сегодня хотелось двинуть войска, пока еще не поднялось жаркое итальянское солнце. Хотелось объездить полки, подбодрить своих чудо-богатырей. Он быстро умылся, съел, стоя у стола, кусок сыру с хлебом и выпил стакан красного вина. Поел, перекрестился и, сказав: «С Богом!», стремительно вышел из комнаты.

На пороге дома он остановился, надевая каску. Враги, разделенные рекой, спали. Не слышалось ни одного выстрела. Только от Казалиджио до Сан-Николо перекликались петухи.

Суворов сел на коня и поехал к правому флангу. Андрей Горчаков и ординарцы следовали за ним.

Не успел Суворов проехать ста шагов, как увидал Багратиона. Князь Петр, с перевязанной головой — вчера он опять был ранен, — скакал во весь опор.

— Здравия желаю, ваше сиятельство! Макдональд ночью убежал из Пьяченцы! — возбужденно кричал он издали.

Суворов осадил коня:

— Помилуй Бог, это верно?

— Точно так. Мои казаки пронюхали. Были в Пьяченце. Собственными глазами видели — ушел. Не выдержал французишка, дал тягу!

— Нагнать, уничтожить! — загорелся Суворов.

Он оглянулся назад:

— Кушников, пиши приказ! Ординарцев по всем колоннам. Разослать трубачей во все деревни — вещать победу. Пусть сами итальянцы удостоверятся: завоеватели Италии изгнаны!

В четыре часа утра Суворов вступил в Пьяченцу, — Мелас еще почивал сладким сном.

Весь город — госпитали, обывательские дома — был полон ранеными. Раненых и пленных оказалось до двенадцати тысяч. В том числе два дивизионных генерала — Оливье и Руска, два бригадных — Сальма и Камбрэ и триста пятьдесят обер-офицеров. Шесть тысяч французов остались навсегда лежать по берегам рек Тидоне и Треббия, на песчаных отмелях и дорогах, в канавах и виноградниках.

Три суворовских урока дорого достались Макдональду: 35-тысячная Неаполитанская армия французов перестала существовать.

Глава восьмая

НОВИ

Адда, Треббия, Нови — три сестры.
Суворов

I

Только десять дней прошло с тех пор, как фельдмаршал Суворов выступил из Александрии навстречу Макдональду. За десять дней он успел пройти до Пьяченцы, в трехдневном жестоком бою разгромить сильного противника и преследовать его до Флоренцоло.

И теперь возвращался назад, в Александрию.

Уезжая из Флоренцоло, Суворов написал Бельгарду, оставленному командовать войсками у Александрии:

«Я надеюсь на Вас, а Вы положитесь на меня! Угостим Моро так же, как угостил я Макдональда».

Макдональд напрасно ждал поддержки от Итальянской армии, — Моро только прособирался выступить ему на помощь. Когда же стало известно, что Макдональд разбит, Моро принялся за свои излюбленные демонстрации: на большее он не решался. Он не думал наступать, а делал вид, что собирается.

Моро оправдывал себя тем, будто бы Суворов очень чувствителен к таким демонстрациям. Он считал, что, отвлекая Суворова от Макдональда, помогает Макдональду унести ноги.

На самом же деле было не так.

Суворов никогда ничего не боялся на войне и меньше всего уважал демонстрации. Отменно расправившись с одним противником, он просто-напросто кинулся на другого.

Тогда Моро стал поспешно уходить в горы.

А Суворов въезжал в Александрию победителем.

Снова была торжественная, пышная встреча, снова он ехал, и тысячи народа кричали: «Eviva Suvarov!»; матери подымали на руки детей и показывали: «Eccolo Suvarov»[1]. Блестящая свита окружала его. С одной стороны ехал великий князь Константин Павлович, с другой — папа Мелас.

Папа Мелас теперь тоже забыл все свои страхи, обычные разговоры австрийских генералов о том, что фельдмаршал Суворов «воюет не по правилам», — и охотно изображал победителя.

Папа Мелас обнаглел до того, что в своей реляции, поданной Суворову после сражения при Треббии, имел смелость упомянуть в числе отличившихся и себя лично:

«Если и нижеподписавшийся хорошо поступал, то и себя препоручает милостивому вниманию».

---

[1] Вот Суворов *(итал.)*.

За большой победой при Треббии шла маленькая: в день, когда Макдональд бежал из Пьяченцы, упрямый генерал Фиорелла наконец-таки сдал союзникам туринскую цитадель.

Когда Александр Васильевич вечером вернулся из театра, где в честь его было изображено «торжество победителей», он застал рескрипт императора Франца.

Рескрипт был длинен, точно кляуза, сочиненная крючкотворцем подьячим. Он начинался неизменным «Lieber Feldmarschal von Suvorov-Rymnikski»[1], в нем лесть переплеталась с иронией, а трусость и австрийская «неискоренимая привычка быть битым» — с прямой угрозой.

Смысл же его был все тот же, уже достаточно знакомый и крайне неприятный Суворову: Вена старалась сузить рамки его деятельности. Суворов хотел очистить от врага всю Италию, а Франц заботился лишь об одном — как бы сохранить свои завоевания.

«Убедительно прошу Вас, любезный фельдмаршал, всегда следовать прежним моим наставлениям, *то есть совершенно отказаться от всяких предприятий дальних и неверных*».

И особенно больно задевали такие фразы:

«Ваши опытность, храбрость и столь часто испытанное *счастье Ваше* подают мне надежду, что вскоре Вы успеете дать опять делам благоприятный оборот».

Тут, без сомнения, постарался господин Тугут. Чувствовался его стиль. Тугут подколол Суворова «счастьем»: австрийцы никак не могли примириться с тем, что Суворов — великий полководец. Старый прием всех суворовских врагов и завистников.

Но какого же черта им надо? Почти вся Италия свободна, одна армия разбита, вторая заранее уходит от столкновения.

Александр Васильевич побагровел. Со злостью швырнул рескрипт и забегал по комнате.

Аркаша, смирно сидевший в уголке, удивлялся. Давеча в театре был такой веселый, а теперь... Все кругом поздравляют папеньку, превозносят его. Аркаша думал, что и в этом толстом пакете пришла благодарность, а благодарность-то, оказывается, вон какая!

II

Нелегко было Суворову сидеть сложа руки в то время, когда неприятель, боясь вторжения суворовской армии в пределы Франции, лихорадочно собирал последние силы. Но ждать приходилось. До взятия двух главных крепостей Северной Италии — Мантуи и Александрии — Вена запретила и думать о дальнейшем наступлении.

---

[1] Дорогой фельдмаршал Суворов-Рымникский *(нем.)*.

Александрийская цитадель считалась очень крепкой, а мантуанская — одной из сильнейших в Европе. Она имела гарнизон в 10 тысяч человек при 675 орудиях и продовольствия на год. Комендантом ее был известный французский инженер генерал Фусак-Латур.

Осада крепостей затянулась, а время шло.

Суворов расценивал время в военном деле так же, как Петр I. Суворов говорил:

— Деньги дороги, жизнь человеческая дороже, но время — дороже всего!

Он понимал, что нужно ковать железо, пока горячо.

«Фортуна имеет голый затылок, а на лбу длинные, висящие власы. Лёт ее молниин: не схватишь за власы, уже она не возвратится», — писал Суворов Разумовскому.

Гофкригсрат же и не собирался хватать фортуну за власы. После Треббии его страхи поулеглись. Оставалось взять несколько крепостей, и завоевания были бы упрочены. Армия Суворова становилась чисто обсервационной.

Суворов видел эту линию Вены. Он с возмущением возражал против нее в письме к Разумовскому:

«Кабинет желает доказать, что я должен быть только стражем перед венскими воротами».

Но что было писать Разумовскому, ежели он, русский посол, плелся на поводу у Тугута?

Бездействовать Суворов вообще никогда не любил и не умел. Сидя в Александрии, он занимался тем, чем занимался всякий раз, когда оказывалось свободное время, — ученьем. Как ни тяготились им австрийские солдаты и особенно офицеры, фельдмаршал Суворов заставил их учиться. Это были все те же сквозные атаки, это была закалка человека, подготовка его к наступательным боевым действиям.

Австрийцы не понимали громадного значения этого ученья: в линейной тактике отдельному человеку отводилось слишком небольшое место.

В начале июля прибавилось новое дело: в Италию прибыл вспомогательный русский корпус под командой Максима Васильевича Ребиндера. Суворов уважал и любил Ребиндера и называл его запросто — Максимом.

Корпус расположился у Пьяченцы, куда Суворов ездил смотреть прибывшие полки.

Между тем «недорубленный лес вырастал»: Моро и Макдональд соединились в Ривьере. Положение французской армии на бесплодном, каменистом прибрежье было очень тяжелое: не хватало продовольствия. Сообщение с Францией и сухим и морским путем затруднительно; французы рано или поздно должны были искать выхода на плодородные равнины Пьемонта и Ломбардии.

11 июля наконец сдалась александрийская цитадель, а 19-го пала мантуанская.

У Суворова развязывались руки.

Он решил наступать немедленно, чтобы занять генуэзскую Ривьеру и окончательно изгнать французов из Италии. Тогда открывалась дорога во Францию.

План был разработан у Суворова заранее. С одновременным наступлением части сил на Геную со стороны Александрии и с востока, вдоль морского побережья, главный удар наносился через Тендский проход на Ниццу.

Это грозило французам полным окружением.

Суворов убедительно просил Меласа, заклинал его всем для него дорогим поспешить с приготовлениями к походу. Тут еще раз сказалась полная зависимость главнокомандующего от подчиненного австрийского генерала, который ведал снабжением: вместо того чтобы, как полагалось бы, приказывать Меласу, Суворов вынужден был умолять его.

Суворов давал сроку десять дней. И назначил наступление на 4 августа.

Но французы предупредили союзников. За последнее время во французской армии произошли большие перемены. Макдональд был отозван в Париж. Моро назначался главнокомандующим Рейнской армией. Вместо Моро в Итальянскую прислали молодого талантливого генерала Жубера, сподвижника Бонапарта.

Жубер был одним из самых молодых французских генералов. Восемь лет назад он поступил в армию рядовым и выказал большие способности и храбрость.

Бонапарт отличил его.

До назначения в Италию Жубер уже командовал армиями в Голландии и Майнце. Французы возлагали на Жубера большие надежды.

24 июля он, неожиданно для Моро, приехал в Геную принимать армию. Моро мужественно перенес эту обиду. Больше того, он предложил Жуберу помочь ему в первое время, — Рейнская армия, куда назначался Моро, была еще только на бумаге.

Жубер не отказался от этой великодушной помощи.

III

Александр Васильевич с утра был в чудном настроении, — оказывается, Жуберу не терпелось: он сам спускался с гор в долину. Французы стояли уже вот тут, за городком Нови. Дело могло решиться скорее, без горной войны. Если этот молодой французский главнокомандующий даст выманить себя в долину, Суворов раздавит его конницей и артиллерией: не спросясь броду, не суйся

в воду! Армия Суворова была готова встретить неприятеля, откуда бы он ни появился.

Бой мог разгореться в любую минуту.

Александр Васильевич торопился умываться и завтракать, — хотел, по своему обыкновению, съездить и лично посмотреть расположение противника. Он вытирался полотенцем и слушал Прошку, который рассказывал о том, как вчера, когда Александр Васильевич ложился отдыхать, к нему пришел какой-то поэт, а Прошка не пустил его.

— Уж я ему трижды сказывал; не понимает. Известно, тальянцы народ вовсе какой-то непонятливый...

— Да ты что ему сказывал?

— Да сказывал: барина, мол, нет! Убирайся, мол, сударь, к черту! Стоит, не понимает! Может, по-ихнему оно и не то значит...

— Эх ты, камердинер! Пришел поэт, а ты ему — нет!..

И, уже не слушая Прошки, Александр Васильевич схватился за эту нечаянно подвернувшуюся рифму: «поэт — нет».

И пошло:

— Поэт — Retraite. Поэт — Bajonett...

До седого волоса осталась любовь к рифме.

А за рифмой уже мелькали и строчки.

— Аркашенька, сынок, возьми карандаш, запиши! — высунул из полотенца голову Суворов.

Аркаша, который у стола пил чай (тоже собирался ехать с папенькой к авангарду), послушно взял карандаш и бумагу.

— Пиши:

Es lebe Säbel und Bajonett:
Keine garstige Retraite!
Erste Linie durchgestochen,
Andere umgeworfen.
Reserve nicht hält,
Weil da Bellegarde und Kray der Held.
Der Letzte hat Suvorov...[1]

А дальше — стоп! Нет рифмы к слову «Suvorov».

Александр Васильевич рассеянно выглянул в окно. Казак Ванюшка вел с водопоя коней.

---

[1] Да здравствует сабля и штык;
Долой мерзкое отступление!
Первую линию проколоть,
Другую опрокинуть.
Резерв не удержится,
Ведь там Бельгард и Край — герой.
За Суворовым последнее слово... *(нем.)*

— Некогда. Надо ехать!

И продиктовал:

Den Weg zu denen Siegen Gebannet[1].

— Хорошо и так, без рифмы! Перепиши чистенько — надо немедленно послать папе Меласу!

Суворов с казаком Ванюшкой верхами стояли впереди густой цепи Багратионовых егерей, которые залегли по обеим сторонам дороги из Поццоло-Формигаро в Нови. Меньше чем в полуверсте, также на огородах, среди гряд капусты, чесноку и луку, лежали синие мундиры французских стрелков. За ними белели стены и башни городка Нови.

Пули жужжали. Конь переступал ногами и дергал головой, как от оводов, но Суворов не обращал внимания. Он спокойно смотрел в зрительную трубу. Ему хотелось узнать, все ли силы Жубера здесь или нет.

Бесспорно, в Нови много войск. Из-за городских стен то тут, то там подымается едва заметный сизый дымок, — солдаты расположились на открытом воздухе, готовят пищу. Справа от Нови, среди гор, клубилась пыль. Очевидно, в лощине, по дороге передвигалась пехота или кавалерия. В горах то и дело раздавались ружейные выстрелы. Эхо множило их. Было ясно: эти зеленые склоны Апеннин полны жизни.

— Разве их, чертей, в горах всех усмотришь? Это не то, что мы, в долине: всё как на ладошке...

— Александр Васильевич, гляньте, гусары! — встревоженно зашептал сбоку Ванюшка.

— Где? — повернул трубу в его сторону Суворов.

— Слева. Хотят, видно, из-за рощицы подкрасться к нам.

— А, да, верно! Только шалишь, брат, не поймаешь! Да и свои в обиду не дадут!

Действительно, от Поццоло-Формигаро, где среди мушкатерских батальонов остались начальник авангарда князь Багратион, Андрей Горчаков и Аркаша Суворов, уже отделилось два взвода драгун Карачая для защиты Суворова.

Суворов еще раз спокойно осмотрел Нови, ближайшие к городу высоты и не спеша поехал к своим. Французские пули сопровождали его.

Мушкатеры восторженно смотрели на своего любимого фельдмаршала, на своего «дивного». Восхищались его храбростью:

— Вишь, едет, ровно и не под пулями...

— А чего ему: он заговорен. Его пуля не берет!

---

[1] Он закрыл путь к их победам *(нем.)*.

— Не бреши! При мне под Кинбурном ранили в руку. Не боится ничего, не так, как ты, это верно!..

А Суворов уже громко отдавал приказания батальонам, которые стояли наготове без палаток, ружья в козлах:

— Получить из обоза палатки. По одной на роту. Покуда дело, хорошо еще лоб нагреет. Ишь как припекает! Артельные, варить кашу! Провиантские, уксус для воды чтоб был!

Обо всем и за всех думал Александр Васильевич.

IV

Неустрашимый Жубер по храбрости — настоящий гренадер, а по своему знанию дела и военным способностям — отличный генерал.

Бонапарт

Совещание тянулось уже семь часов подряд, и все же французский главнокомандующий не мог прийти ни к какому решению.

Утром, выехав с генералами на высоты у Нови, Жубер при ярком солнечном свете мог отчетливо рассмотреть русско-австрийские войска Суворова. Они стояли в долине между реками Бормида и Скривия. Их было очень много.

Не хотелось соглашаться с генералом Сен-Сиром, но, пожалуй, он был прав: походило на то, что Мантуя действительно пала, как об этом шептались в армии, и что Край со своим корпусом присоединился к главным силам Суворова.

Обстоятельства складывались чрезвычайно плохо. Вся уверенность в победе, с которой Жубер летел сюда из Парижа, сразу поколебалась.

Жубер решил посоветоваться с генералами, что делать.

Он приказал адъютантам очистить небольшой домик, который прилепился тут же, на склоне высоты. Окна домика выходили вниз, на долину.

Хозяин, толстый глазастый итальянец, сначала не хотел и слушать адъютанта, который велел ему убраться с семьей из дома. Но как только по знаку адъютанта к ним подскакали гусары конвоя, хозяин тотчас же сменил гнев на милость.

— Si fara, si fara![1] — испуганно кричал он, вертясь вьюном в кругу гусар, которые с веселыми лицами напирали на него своими резвыми лошадками.

---

[1] Будет сделано, будет сделано! *(Итал.)*

Через несколько минут хозяева, забрав детей и кое-какие пожитки, потащились с проклятиями в хлев, стоявший чуть пониже дома, на дороге в Пастурану.

Жубер, Моро, начальник штаба Жубера генерал Сюше́, генерал Сен-Сир, командующий правым флангом, и генерал Периньон, командующий левым флангом, подъезжали к дому.

Они расположились в большой комнате. На голом обеденном столе лежали карты, планы, бумаги, карандаши. Во второй, меньшей, комнате скучали без дела адъютанты.

На кухне весело стучал ножами повар: Моро уступил его новому главнокомандующему вместе с армией.

В продолжение целого дня все генералы успели по нескольку раз переменить места за столом. Успели даже за этим же самым столом пообедать, а вопрос, ради которого собрались, не подвигался.

Сен-Сир и Периньон советовали возвратиться к Генуе и ждать там, когда Альпийская армия Шампионэ откроет военные действия.

Моро поддерживал их, но в то же время резонно подчеркивал, что для отступления очень мало дорог: позади центра и правого крыла — две, а за левым — только одна.

И лишь начальник штаба, круглоголовый здоровяк Сюше, убеждал стоять на месте. Он доказывал, что их позиция на невысоком, но крутом гребне гор неприступна и что у Суворова большая часть войск австрийцы, которых нечего бояться.

Сам Жубер не знал, куда и примкнуть.

Он был моложе всех, но неглуп и понимал опасность создавшегося положения: французская армия неожиданно оказалась перед сильнейшим противником. Атаковать Суворова с меньшими силами — безрассудно. Отступать — не позволяло самолюбие.

До назначения сюда он командовал уже в Голландии и в Майнцской армии, покрыл себя славой в битве при Риволи. В Париже все надеялись на него, 29-летнего выдающегося генерала. Назначили вместо Моро, а он в первом же деле — отступать. Кроме того, прощаясь с молодой женой, с которой он обвенчался накануне отъезда в Геную, Жубер при всех поклялся ей победить или умереть.

И теперь окончательно потерялся: он то соглашался с Сен-Сиром и Периньоном, то опять склонялся к мнению своего начальника штаба Сюше.

Генералы устали.

Моро, втайне довольный затруднениями Жубера, сидел в кресле и курил. Сюше, нагнувшись над картами, все что-то вымеривал карандашиком и высчитывал. Периньон со скучающим видом смотрел в окно, жуя сливу. Сен-Сир, в прошлом художник, рисо-

вал на бумажке воображаемый портрет Суворова. Суворов выходил у него курносым, с широкими скулами.

А сам Жубер, высокий и худой, нервно покашливая ходил по комнате.

Мысли мешались. Если бы кто-либо из присутствующих мог прочесть их, Жубер смутился бы: военные соображения, невеселые думы о предстоящем бое перебивались радужными мыслями о молодой жене. Ему казалось, что кто-то другой решит за него все, а он может думать о золотистых волосах, о родинке на щеке...

И он шагал и шагал.

— Надо ехать к войскам — уже вечер, пора отдавать какие-либо приказания на завтра! — поднялся сумрачный Периньон.

— Да, пора к нашим ребятам, — поддержал Сен-Сир, комкая бумажку с рисунком. — Что же решаем?

Жубер с небес снова спустился на землю.

— Простите, господа... Сегодня я как-то не узнаю самого себя... Я не знаю сам... — начал он.

Все присутствующие знали: Жубер — храбрый, решительный и талантливый генерал: недаром же его так хвалил сам Бонапарт; но оратор он — никудышный, никогда не умел связать двух слов, хотя отец готовил его в адвокаты. В этом Жуберу не помог даже Дижонский университет.

— Оставлять молодую жену ради победы опасно: победа ведь тоже женщина, — поняв невысказанные мысли Жубера, язвительно пошутил Периньон.

— Отступление иногда побеждает женщину быстрее, чем атака, — улыбнулся Сен-Сир.

Жубер чуть вспыхнул.

— Как ни печально, а надо отходить. Часа через два я пришлю диспозицию к общему отступлению, — твердо сказал главнокомандующий.

Жубер сидел один за столом. Вытянув длинные ноги и упершись плечами в спинку кресла, он смотрел на пламя свечи. Было десять часов вечера.

Никакой диспозиции к отступлению он, конечно, не написал. Когда все генералы ушли, Жубер опять взвесил всё и решил: отступать, имея одну-две дороги и такого сильного противника позади, более опасно, чем оставаться на месте. Отступать он не будет. Сюше прав: позиция у него прекрасная. Пусть же этот старик Суваров попробует ее взять!

К нему снова вернулась его всегдашняя боевая решимость.

С этим он отпустил своего начальника штаба Сюше укладываться в соседней комнате спать, а сам сидел, думая о другом.

И вдруг в раскрытое окно донесся какой-то стук. Жубер вытянул шею: где-то, должно быть внизу, тарахтели колеса. Жубер вскочил с места и высунулся из окна. Ночь была светлая, лунная.

— Что там, Тарро? — спросил он у адъютанта, стоявшего на крыльце возле часовых.

— Колеса стучат.

— Где, в Нови?

— Нет, у них, в долине. Не удирает ли наш Сувара?

Жубер встрепенулся.

А может быть, прав этот Тарро? Может быть, Суваров, увидев неприступную позицию французов, в самом деле отходит? Ведь сегодня утром Суваров сам выезжал за передовую цепь, — Жубер и генералы видели его; Моро и Сен-Сир сразу узнали Суварова. И если у Суварова преимущество в силах, почему же он не подумал наступать сегодня? Ведь целый день прошел только в пустяковой ружейной перестрелке. Нет, Жубер еще себя покажет! Он сдержит слово: победит или умрет! Конечно, победит!

Умирать не хотелось, умирать было некстати.

В окна светила полная луна. Александр Васильевич ходил по комнате от красного угла, в котором висело распятие, до порога.

В переднем углу, на широкой скамейке, разметавшись во сне, лежал Аркаша. Наездился верхом, намаялся за целый-то день. Вояка. Приехал учиться.

Ничего, парень не трус. Пулям уже не кланяется — только ядрам. И как увидал первого убитого, еще в Сан-Джиованни, — побледнел. Ну да это закон природы. Конь увидит мертвого коня — тоже храпит, косит глазом, страшится...

У порога, на кошме, как-то свернувшись калачиком, храпел во всю ивановскую Прошка. Александр Васильевич немного не доходил до него, а когда, задумавшись, упирался в Прошкины ноги, то крутил головой, торопливо отходил прочь. И тотчас же брался за табакерку — нюхал табак.

На столе горела свеча. Лежал план Нови и окрестностей, старательно вычерченный австрийскими офицерами (вот на это они мастера!), черновик давешнего письма генералу Краю.

Французы не поддавались на удочку: сами не атаковали, не спускались в долину. Целый день войска простояли на месте.

Ждать больше нечего. Завтра на рассвете Суворов сам атакует Жубера. А то еще удерет в горы или, чего доброго, начнет укрепляться здесь. Позиция у него превосходная, удобная для обороны. Ну да не из таких еще выкуривали! Не такие крепости брали!

Главное направление удара должно быть на правое крыло французов, — тут ключ позиции. Против правого крыла и против центра — городка Нови — Суворов потому и поставил свои, русские части.

Австрийский барон Край хоть и хвастунишка, а все-таки храбрый и дельный генерал. Будет со своими дивизиями Отта и Бельгарда справа.

В резерве — оба ненадежные, оба «высокопревосходительные» — Розенберг и папа Мелас. Чтоб не обидно было обоим!

На этот раз Суворов решил схитрить. Общей диспозиции к завтрашнему бою он писать не хотел: войска все под руками, он сам в центре, сам и будет всем командовать. Чтоб нихтбештимтзагеры не напортили, как при Треббии...

Но австрийские генералы больно с фанаберией. Если им сказать, что главная роль отводится в бою не им, а русским, то они, конечно, завопят. Потому Александр Васильевич отослал вечером генералу Краю письмо. В нем он дал понять барону, что его фланг — главный. И немного польстил венгерцу, закончив письмо так:

«Ich verlasse mins ganz auf meinen heldenmüthigen Freund»[1].

Пока даже Багратиону не говорить: князь Петр не болтун, но — не надо.

По замыслу Суворова, Край должен был атаковать первым и оттянуть на себя силы французов с их главного фланга.

«Край будет вроде горчичника! — улыбнулся своим мыслям Суворов. — А ежели атаку Края отобьют и он будет лезть раньше времени за подкреплениями, тогда как?»

Александр Васильевич остановился у раскрытого окна. Облокотился.

Казак Ванюшка не зевал, наслаждался жизнью. Что-то лопотал на крыльце, смеялся с хозяйской дочерью. Плел все, что знал, — французское и немецкое: «балезарм» и «зер гут».

«И ведь ни словечка не понимают оба, а понимают друг друга...»

В это время в тишине ночи раздался стук колес.

По деревне, тарахтя, ехали десятки фур.

— Дяденька, ето какой?

— Мушкатерский.

— А гренадеры де?

— Подале!

«Патронные фуры, — догадался Александр Васильевич. — А если Край или кто-либо начнет лезть в дело, то, чтоб не пускать-

---

[1] Я совершенно полагаюсь на моего смелого друга *(нем.)*.

ся в объяснения, не отвечать никому! Временно уклониться от ответа. То же и Краю! А как?» — спросил сам у себя.

И только подумал, тотчас же нашел прекрасный ответ.

Александр Васильевич улыбнулся удачной выдумке. Он подошел к распятию и стал молиться на ночь.

V

Адъютант Тарро осторожно тронул плечо главнокомандующего:

— Вставайте, генерал! Сувара наступает!

Жубер открыл глаза. В комнате уже было светло. Снизу доносилась отчаянная ружейная трескотня. Удесятеренная, она гулко отдавалась в горах.

— Значит, Суваров все-таки не ушел. Жребий брошен!

Он торопливо оделся, прицепил шпагу и крикнул в дверь:

— Коня!

Через минуту Жубер уже скакал к левому флангу, где на Периньона наседал корпус Края.

Войска были расположены у деревни Пастурана. Периньон, поздно вернувшийся с совещания, застал их уже спящими. Переход утомил войска. Они поели и улеглись тут, на кукурузных полях, в садах и виноградниках, даже на пастуранском кладбище. Чтобы зря не трогать людей, Периньон выдвинул на позицию всего лишь одну бригаду.

Войска только подымались и строились, когда Жубер проскакал через деревню Пастурана. Он мчался в цепь застрельщиков.

Когда вчера утром Жубер увидал в зрительную трубу русского фельдмаршала, спокойно стоявшего на поле между своими и французскими линиями, он залюбовался стариком.

«Молодец!» — похвалил Жубер, как хвалили Суворова все — Моро, Сен-Сир.

Цепи французских стрелков, разумеется, тоже видали Суварова. Так пусть же теперь увидят, что и их новый главнокомандующий не боится-пуль!

— Вперед, молодцы, вперед! — кричал он стрелкам, которые, не обращая внимания на него, делали свое дело.

Австрийские пули роем носились вокруг. Белые австрийские мундиры мелькали за деревьями, по ту сторону оврага, вот тут, совсем недалеко.

Жубер только поворотил коня, чтобы проскакать вдоль цепи, как пуля тирольского стрелка ударила его в грудь.

Смерть главнокомандующего скрыли от войск. Адъютант Тарро привез его тело к домику на горе в какой-то тележке, взятой в Пастуране. Жубер лежал, прикрытый гренадерским плащом.

Тележка проезжала мимо сарая, где сидели хозяева дома. Выстрелы разбудили их.

По удрученному виду адъютанта, ехавшего сзади за тележкой, и суете, поднявшейся в доме, итальянцы догадались, что случилось.

— Chi va presto, more lesto![1] — с чувством сказал толстый хозяин, указывая жене на торчавшие из-под гренадерского плаща мягкие сафьяновые сапожки.

Жена, сжав на груди руки, провожала печальную процессию широко открытыми, испуганными глазами.

VI

Багратион в точности следовал приказу Суворова выманивать французов в долину. Французы наседали, а Багратионовы егеря медленно оттягивались назад.

Но эта игра в кошки-мышки была не по душе ни горячему, напористому князю Петру, ни его егерям. Люди привыкли идти вперед, а тут надо пятиться.

Егеря отходили, ворча:

— Наших то и дело щелкают, а мы только ретируемся!

— Ровно австрияки...

— Шо вон нас жме, як мороз бабу?..

— Ударить бы в штыки — самое разлюбезное. Ваше благородие, прикажите!..

Багратиону и самому надоело. Он послал к «дивному», как называли Суворова солдаты, одного за другим трех адъютантов. Просил разрешить начать атаку. Но ни один из гонцов не вернулся назад.

Багратион нервничал. Солнце жгло, — близился полдень. Сегодня здесь, в этой долине у гор, было душно, как в пекле, душнее, чем при Треббии, а укрыться негде. Багратион вытирал платком свои густые черные волосы. Нетерпеливо поглядывал назад: не мчится ли хоть один из адъютантов.

— Какого черта они там делают? Поеду сам!

И он поскакал к Поццоло-Формигаро, где должен был находиться Суворов.

На дороге Багратион встретил своего адъютанта, корнета Дирина, которого послал первым.

---

[1] Кто ходит быстро, тот спешит к смерти! *(Итал.)*

— Почему никто не едет? Где вы все запропастились? — издалека грозно крикнул Багратион.

— Ваше сиятельство, генерал-фельдмаршал спит. Завернулся в плащ и лежит. Вон там, на поле, где генералы...

— Что бы это значило? Уж не случилось ли с ним чего, сохрани господи? Жив ли?

Багратион ударил коня шпорами и помчался во весь дух.

Не доезжая до деревни Поццоло-Формигаро, он увидал колонну мушкатеров Милорадовича. Справа от них, на совершенно вытоптанном кукурузном поле, виднелась группа генералов. Тут были все, русские и австрийцы: Цах, Карачай, Дерфельден, Милорадович, Тыртов, Ферстер, Горчаков. Адъютанты кучились в сторонке. Среди них Багратион увидал и своих.

Осадив коня на всем скаку, Багратион спрыгнул с седла и бросился к генералам. Генералы разговаривали вполголоса.

В их кругу, на земле, кто-то лежал, завернувшись в знакомый Багратиону старинный синий плащ Александра Васильевича.

— Что случилось, князь? — громко спросил Дерфельден.

— Французы наседают на правый фланг. Пора ударить нам. А что с его сиятельством? — тревожно спросил он.

В это время Суворов отбросил плащ и вскочил на ноги.

— Помилуй Бог, заснул. Крепко заснул! — надевая каску, сказал он. — Князь Петр прав: пора!

Тотчас же к главнокомандующему со всех сторон потянулись Цах, Дерфельден, ординарцы Края, которых набралось с полдюжины: французы теснили австрийцев, Край слал за помощью.

Суворов повернулся к Багратиону:

— Как у тебя, князь?

— Люди рвутся в бой. Надоело заманивать, ваше сиятельство!

— Хорошо!

Поворотился к Дерфельдену.

— Полки готовы, ваше сиятельство! — доложил Дерфельден, не дожидаясь вопроса.

Поворотился к Цаху:

— Как на правом?

— Барон Край занял высоты, но, не получив сикурсу, вынужден был...

— Понимаю!

Не дослушав главного квартермистра, Суворов сказал Багратиону:

— Князь Петр, веди своих. С Богом! И ты, Миша, на поддержку! — кивнул он Милорадовичу.

Бой, кипевший только на правом, австрийском, крыле, теперь разгорелся по всей линии.

VII

Чуть залились батальонные трубачи (у егерей барабанов не полагалось), как Багратионовы егеря поднялись и кинулись на врага.

Шли с охотой, с яростью. Перепрыгивая через канавы, перелезая через изгороди, быстро подвигались вперед. Теперь настал черед отходить французам: упорно отстреливаясь, они пятились к городским стенам.

Подходить близко, к самым стенам, было невозможно: укрытые за домами предместья, в садах и огородах у Нови, французы били егерей на выбор. Десятки французских пушек бросали сверху ядра.

Пехота принуждена была остановиться. На руках подтащили полевые пушки. И вскоре по тяжелым дубовым городским воротам, по белым оштукатуренным стенам, по башенкам застучали русские ядра.

Но стены Нови стояли как ни в чем не бывало.

— Калибр мал!

— Всю артиллерию оставили назади брать ненужные крепости!

— Теперь вот голыми руками и бери!

Егерей поворотили правее города в обход.

Но тут французы, увидев, что русские пушки не страшны городским стенам, вдруг с громкими криками высыпали из города. Французская пехота ударила егерям во фланг.

Егеря стали отходить.

Неприятельское ядро ударило в каменную стену, за которой стоял, стреляя, унтер-офицер Огнев. Камни с воем брызнули в сторону. Небольшой осколок угодил на излете Огневу в голову.

Старик зашатался и рухнул у стены. Некоторое время он лежал, а потом, превозмогая боль, поднялся на колени. Липкая кровь лилась с головы на мундир, на руки.

Ранцы — для облегчения солдат — остались где-то в обозе, но Огнев — бывалый, ломаный солдат: у него в бою всегда с собою в кармане наготове чистый кусок старой сорочки.

Огнев достал его, перевязал рану, кое-как приладил на голову пробитую треуголку и, взяв ружье, поднялся. В голове стоял трезвон. Пороховой дым застилал солнце.

Огнев глянул: своих, своего капральства и даже своей роты, он не видел.

Русские отступали. Мимо него, отстреливаясь, шли гренадеры Дендригина. Огнев стал отходить вместе с гренадерами.

Голова кружилась. Огнев очень ослабел, хотя крови вышло не так уж и много. Но стрелял он, как обычно, не торопясь.

«Хорошо, что в правую сторону ударило: кабы в левую, не стрелять бы!»

И вдруг, сквозь противный визг ядер и свист пуль, сквозь этот несмолкаемый трезвон в голове, он услыхал сзади такой знакомый голос:

— Молодцы, ребята, заманивай их! Заманивай!

Огнев оглянулся. В самой гуще сбившихся егерей и мушкатеров на своей неказистой казачьей лошаденке виднелся Александр Васильевич.

Фельдмаршал, увидев заминку в центре, тотчас же прискакал сюда.

Огневу стало стыдно, что он, унтер-офицер, отступает.

— Стой, куда? Стой! — кинулся он наперерез молодому гренадеру.

Гренадер остановился, взялся заряжать ружье.

Увидев своего «дивного» под пулями, егеря и мушкатеры снова кинулись на французов.

Ослабевший от потери крови, Огнев медленно подавался вперед, — его обгоняли уже свои, апшеронцы.

Вот уже поравнялась собравшаяся вместе и вся первая рота.

— Дядя Илья, жив? — радостно окликнул его Зыбин, бежавший вперед.

Суворовский конь нагонял Огнева. Фельдмаршал ехал вперед. Рядом с ним бежал батальонный командир апшеронцев майор Лосев. У Лосева в руках вместо шпаги было ружье.

Огнев слышал, как Лосев говорил фельдмаршалу:

— Моя шпага сломалась... Так я его, ваше сиятельство, обломком шпаги и эфесом — по голове!

— Браво! Хорошо, помилуй Бог, хорошо! Мы, русские, шутить не любим: коль не штыком, так кулаком!

Эти истоптанные огороды, эти кирпичные дома предместья, из которых давно перебрались в город жители, переходили по нескольку раз из рук в руки. Но пройти дальше, проникнуть в самый город или взобраться на высоты, где стояли пушки, не удавалось. Взять Нови с фронта казалось невозможным.

Полуденное солнце снова, как и при Треббии, висело над головой. Люди снова изнемогали от духоты и нестерпимой жажды.

Суворов, который сам все время был среди наступавших войск, видел, что надо дать отдых.

В полдень он велел прекратить бой по всей линии.

Французы уже ввели все свои силы, а у Суворова оставался нетронутым резерв. Его-то фельдмаршал и рассчитывал пустить к вечеру в дело.

VIII

Резерв Суворова сыграл свою роль: к шести часам вечера французская армия была сбита с неприступной позиции и в беспорядке бежала.

Непреклонная воля русского полководца и самоотверженность его войск решили всё. Только наступившая ночь спасла французов от окончательного истребления.

Воздух был насыщен пороховой гарью, полон стонов раненых. В горах гулко отдавались ружейные выстрелы, слышались крики «пардон».

Группами вели пленных, которых вылавливали из виноградников и садов. Конвоиры оживленно переговаривались:

— Я кричу ему «балезар», а он и не думает!

— Не понимает?

— Нет. Как стукнул его по башке, понял.

— Положил оружию?

— Положил. Больше не подымет!

Войска были в бою 16 часов подряд. Люди чрезвычайно утомились.

Генералы улеглись отдыхать. Не спал только один главнокомандующий. Он подводил итоги сегодняшнего боя и делал приготовления к завтрашнему дню.

Казак Ванюшка в этот вечер стоял у двери с обнаженной шашкой: Суворов расположился в самом городке Нови, где на задворках и огородах прятались одиночные французы.

Победа была полная: французы потеряли всю свою полевую артиллерию — до сорока пушек, четыре знамени, сдалось в плен свыше восьмидесяти штаб- и обер-офицеров и четыре генерала: Периньон, Груши, Партунб и Колли.

Суворов диктовал Кушникову диспозицию. Войскам предписывалось наступать за разбитым неприятелем в Генуэзскую Ривьеру.

IX

Выдавя из меня сок, нужный для
Италии, бросают меня за Альпы.

Суворов

Блистательную победу при Нови венский гофкригсрат умудрился свести на нет. Он сделал это руками добродушного на вид, но не столь безобидного по существу папы Меласа.

Еще ночью Александр Васильевич отдал приказ преследовать и уничтожить разбитого противника. Утром войска уже готовились выступать, когда Мелас сообщил главнокомандующему, что дви-

гаться в горы нельзя: нет ни провианта, ни мулов. Мелас не сделал ничего, хотя Суворов еще 20 июля приказал ему приготовить все к 4 августа.

Союзные войска имели всего лишь двухдневный запас хлеба. С таким запасом нечего было и думать двигаться дальше в бесплодную, бесхлебную Ривьеру. Везти пушки и тяжести было не на чем.

Французы уходили от окончательного разгрома.

Суворов был разгневан и возмущен. Он никак не мог примириться с очередной австрийской выходкой. Он бегал по комнате, ругался и кричал. Суворов приводил в пример адмирала Колиньи, который писал принцу Морицу, чтобы тот помнил, что войско живет желудком.

Адъютант Меласа, привезший такое неожиданное известие, стоял ничего не понимая. Из гневных слов фельдмаршала он смог разобрать только «унтеркунфт», «нихтбештимтзагер» и то, что Суворов вспоминает о каком-то Морице. Но о ком речь, адъютант так и не понял.

Как ни возмущался Суворов, а делать было нечего. Приходилось подчиняться нелепым обстоятельствам. Он отдал приказ двигаться к Асти.

9 августа Суворов был уже в Асти. Армия стала на полдороге между Турином и Тортоной.

А через два дня комендант гортонской цитадели генерал Гаст подписал перемирие.

Тортонская цитадель недаром называлась «Пьемонтским Гибралтаром»: она занимала вершину крутого горного уступа на высоте трехсот футов над равниной.

Союзные инженеры высчитали, что за двадцать дней можно проделать брешь и проникнуть в цитадель. Генерал Гаст согласился заключить на двадцать дней перемирие с условием, что, если в течение этого срока французы не выручат его, он капитулирует.

Снова приходилось понапрасну терять время и ждать у моря погоды.

Первые дни это бездействие, столь противное характеру Александра Васильевича, скрашивалось наградами и поздравлениями, которые со всех сторон сыпались на русскую армию и ее победоносного полководца.

В Асти Суворов получил награды за Треббию.

«Поздравляю Вас Вашими же словами: слава Богу, слава Вам!» — писал император Павел. Он прислал Суворову свой портрет, украшенный бриллиантами. Полки получили гренадерский марш.

Сардинский король Карл-Эммануил пожаловал Суворову высшие награды: сделал его великим маршалом Пьемонтским, «грандом королевства» и «кузеном короля».

Город Турин прислал Суворову золотую шпагу, украшенную драгоценными камнями.

Даже Прошка удостоился получить отличие. Однажды утром Александр Васильевич занимался с Фуксом разными канцелярскими делами, когда к нему вошел Прошка. Он протянул барину пакет, запечатанный большой печатью сардинского короля. На пакете было написано:

«Господину Прошке,
камердинеру его сиятельства гр. Суворова».

— Чего же ты мне даешь? Это тебе!

— Поглядите вы, батюшка барин...

Суворов распечатал пакет. В нем лежали две медали на зеленых лентах. На медалях было выбито: «За сбережение Суворова».

Прошка взвыл от радости:

— Господи, до чего дожил! Сам король...

— Чего ж ты ревешь? Радоваться надо! Ежели б я, получая награды, всякий раз так плакал, слез не хватило бы!

Главную квартиру фельдмаршала Суворова, которая не блистала пышностью, как, бывало, потемкинская (Суворов называл ее «бедная, но победная»), наводняли знатные иностранцы, приезжавшие посмотреть на прославленного фельдмаршала.

Весь мир восхищался победами Суворова, но враги России боялись усиления русского влияния в Европе и старались всячески ослабить его.

За пять месяцев пребывания в Италии Суворов нанес французам три решительных поражения, взял все укрепленные города и самые сильные крепости. Почти вся Италия была занята союзниками. Австрия не могла бы и мечтать о таком повороте событий и теперь, вместо благодарности, платила России неприязнью. Это замечалось уже и раньше, но в Асти сказалось особенно сильно.

Вероломство австрийцев отнимало у Суворова здоровья больше, нежели все походы и сражения.

В Асти он чувствовал себя совершенно больным.

«Уже с неделю я в горячке — больше от яду венской политики, — писал он Ростопчину. — Все мне немило. Присылаемые от гофкригсрата повеления ослабляют мое здоровье, и я здесь не могу продолжать службу. Хотят операциями править за тысячу верст, не зная, что всякая минута на месте заставляет оную переменить».

Суворов хотел только дождаться конца генуэзской кампании, чтобы уехать в Россию.

Но события складывались иначе.

16 августа Суворов получил из Вены сообщение о новом распределении союзных армий, которого в закулисных переговорах с Англией добилась хитрая Вена. Австрийцы решили вернуть из Швейцарии свою бездействующую армию эрцгерцога Карла домой, а в Швейцарию против французского генерала Массена, большого знатока горной войны, направить Суворова. Хотели загребать жар чужими руками. Узнав об этом, Суворов огорчился еще пуще прежнего.

— Сия сова не с ума ли сошла или того никогда не имела, — говорил он о Тугуте, чьих рук было дело.

Суворов рассчитывал еще в этом сезоне завладеть Генуэзской Ривьерой, обеспечить усталым войскам зимние квартиры, где бы они могли отдохнуть, а с весной двинуться в Швейцарию. Вместо этого русским войскам предстояло идти в Швейцарию сейчас, в позднее время года, не имея к тому же ни снаряжения для горной войны (горной артиллерии, мулов, понтонов и прочего), ни офицеров генерального штаба, знакомых с краем.

Суворова задерживала сдача Тортоны. Несмотря на постоянное вероломство австрийцев, Суворов не ушел из Италии раньше, чем сдалась Тортона.

Наконец 27 августа Суворов передал Меласу командование австрийскими войсками, попрощался с ними и выступил из Италии к Сен-Готарду.

Французское расположение рисовалось Суворову в виде запятой. Жирная часть приходилась против войск Римского-Корсакова. Римский-Корсаков, который пришел в Швейцарию через Германию, стоял на правом берегу реки Лимат, а хвост запятой подставлялся под удары из Италии через Сен-Готард.

Многие генералы считали более выгодным путь через Сплуген на соединение с австрийскими войсками Готце. Эрцгерцог Карл временно оставил Готце в Швейцарии для прикрытия Граубиндена и Тироля.

Но, как всегда, Суворов выбрал не самое легкое, а самое действенное и быстрое. Он не хотел терять времени на кружное движение для того, чтобы соединить силы. Суворов предпочел решительно ударить противнику во фланг и тыл.

Массена стоял на левой стороне рек Лимат, Аар и Рейн до Базеля.

Суворов видел, что у Массена более сильное левое крыло. 30 тысяч войск занимали неприступный горный хребет. В тех немногих местах, где на хребет возможен был подъем, он обстреливался артиллерией. Переправа через Лимат затрудняла атаку. Потому Суворов считал, что предпочтительнее атаковать правое крыло Массена через Сен-Готард.

Надо было поторапливаться: Римский-Корсаков имел 27 тысяч против 80 тысяч Массена.

Глава девятая

«РУССКИЙ ШТЫК ПРОНЗАЕТ АЛЬПЫ»

Этот переход был самым выдающимся из всех современных альпийских переходов.

Энгельс

Я бы отдал все мои кампании за швейцарский поход Суворова.

Массена

I

В чужую, незнакомую Швейцарию, куда-то в горы, под небеса, русские войска отправлялись налегке, словно из казармы на Марсово поле: без обозов и артиллерии. Путь на Сен-Готард был недоступен для повозок. Вся полевая артиллерия шла кружным путем вдоль озера Комо на Киавену и Фельдкирх. Вместо нее Суворов получил из пьемонтских арсеналов 25 горных пушек. Полковой обоз — все повозки генералов и офицеров и артельные, солдатские — отправлялся через Верону в Форарльберг.

Солдат нес все на себе. А и нести-то было мало чего: шило-мыло да сухарей на три дня.

Многие офицеры не имели ни вьюков, ни верховых лошадей, — скатка через плечо, мешок, и офицер готов.

— Так налегке куда хошь зайдешь!

— Я сороковый год служу, а впервой эдакий поход вижу.

— Да, разно бывало, а так не хаживали!..

Оттого шли быстро. В первые сутки отмерили шестьдесят верст. Отсталых не было. Старались, поспевали вместе со всеми. Кому казался тяжел, тянул ноги назад сухарный мешок, тому помогали товарищи. Отстать боялись. Старые солдаты, видавшие Крым и Кавказ, предупреждали:

— В горах живо заблудишься!

— Не поглядишь, в какой стороне пылит дорога!

Надо было спешить и потому, что австрийцы, занимавшие Швейцарию, слышно, все до единого солдата уходят домой. Оставляют немногочисленные русские полки Римского-Корсакова одни против сильного врага.

Все время выручали чужих, а теперь надо выручать своих.

Австрийцев ругали на чем свет стоит. Австрийцев ненавидели больше, чем французов. Вспоминали, как они, много раз на веку, подводили русских. Вспоминали этот — не выговорить — гофкригс-рат и этого Тугута. Его-то все солдаты помнили отлично и честили на все корки.

Вообще в Швейцарию шли невесело. И сама Швейцария не веселила.

Чем дальше уходили от Александрии, тем становилось холоднее, пасмурнее, суровее.

После жарких итальянских дней стал почасту лить дождь, пронзительный ветер продувал насквозь.

С каждым шагом все менялось — природа, люди, жилье.

Люди здесь были проворнее в движениях: суровый климат не давал засиживаться на одном месте. Люди — крупнее ростом и благообразнее.

— Тут вроде на нас больше походят. Не такие цыгане, как там.

— А живут беднее.

— И постройки поплоше.

— Отколь тут богатым быть: вишь, у них землицы — с ладонь.

На втором переходе до Александрии вдали, в синеве, показались горы.

— Ребята, вон уже горы, — указывали старики.

— Где? Где? — завертели во все стороны головами и не видели ничего молодые солдаты.

— Вон впереди. Высоко.

— Так это ж, дяденька, тучи...

— Не тучи, а горы. Эх ты!

Чем ближе подходили, тем горы вырисовывались яснее.

И вот наконец стали тут, рядом. Казалось, рукой подать.

Солдаты, молодые и старые, задирали кверху головы, удивлялись:

— Высокие...

— Повыше наших Жигулей!

— И как по таким горам с возом ехать? У нас косогор попадается, и то не знаешь, как спуститься, а то этакая круча...

Когда внизу, среди гранитных лиловых скал, показалась деревушка Таверно, Суворов не выдержал — вылез из своей маленькой двуколки, которую взял вместо кареты, и пересел на коня. Обгоняя шлепающую под дождем, измученную пехоту, он стал поскорее пробираться к деревне.

В Таверно Суворов со своими войсками пришел точно в назначенный по диспозиции день — 4 сентября. 6-го Суворов хотел уже быть у Сен-Готарда, а 8-го атаковать французов. Для этого теперь недоставало лишь одного — мулов. Суворова и беспокоило: пришли ли в Таверно мулы? Их должно было прибыть 1430 голов, чтобы поднять семидневный запас продовольствия для всех 18 тысяч суворовских войск, патроны и прочее.

На месте Суворов получил от Меласа, у которого вьючного скота было в избытке, только 30 мулов для горной артиллерии. Остальные полторы тысячи папа Мелас клятвенно обещал прислать к 4 сентября в Таверно. Но, зная «аккуратность и доброжелатель-

ность» австрийцев, Александр Васильевич беспокоился. Он поехал вперед, чтобы самому поскорее разузнать обо всем. Он смотрел вокруг — на лугах не было видно такого большого количества мулов. Прислушивался, не звенят ли колокольчики: мулы по горам ходят с колокольцами.

— Ванюшка, не слышишь, не звенят?

— Нет, не слыхать.

Наконец вот и сама деревня Таверно.

Низкие, с широкими основаниями дома, — будто их вдавила в землю тяжесть этих гор. Почерневшие столетние бревна стен. Крыши, покрытые гонтом и наваленными сверху увесистыми камнями.

На улице — ни души. Только из окон испуганно выглядывают лица.

— У кого бы спросить?

Где-то стукнула дверь.

А, вон у двухэтажного дома, обвитого плющом, с маленькими пристроечками вокруг, стоит у платана старик. Он такой же коренастый и крепкий, как его платан, что растет под окнами домов. И видать, сметлив. Вероятно, фогт[1].

Суворов направил коня к нему.

Старик снял свою войлочную шляпу и радушно приветствовал:

— Добрый день!

— Добрый день. Скажи, дружок, не пришел ли сегодня в Таверно обоз мулов?

— Нет, не приходил.

И, увидав, как на лицо Суворова сразу же легла тень, прибавил:

— Но раз вы ждете их, значит, они придут, — дорога тяжела. Милости прошу ко мне, в мой дом. Под дождем плохо ждать!

И старик широким жестом указал на двухэтажный дом, который весело глядел на свет своими пристроечками и цветами в окнах.

Стены дома были оштукатурены. На фронтоне виднелась четкая надпись:

АНТОНИО ГАММА.

II

Австрийцы опять подло обманули Суворова: 4 сентября прошло, а о мулах не было и помину. Ломался весь суворовский план. Приходилось волей-неволей ждать в Таверно, задерживаться тогда, когда дорога каждая минута: войска Римского-Корсакова подвергались страшной угрозе уничтожения.

---

[1] Фогт — староста.

Суворов возмущался, негодовал:

— Гофкригсрат — черту брат!

Он послал гонца к Меласу, обо всем донес в Петербург императору, написал Ростопчину:

«Нет лошаков, нет лошадей, но есть Тугут, и горы, и пропасти».

И тотчас же стал искать какой-нибудь выход из положения.

Решил спе́шить часть казаков, а их лошадей использовать для перевозки вьюков: все равно казакам в Швейцарии в конном строю работы мало. Думал взять 2500 коней, а для вьюков раздобыть где-либо 5000 мешков. Разослал казаков искать по окрестностям мешки.

Наутро пришла партия мулов в 650 штук, навьюченных овсом.

К удивлению всех, австрийцы подрядили погонщиков только до Белинцоны, которая лежит всего в восемнадцати верстах от Таверно. Пришлось уговаривать погонщиков, чтобы они согласились следовать дальше. В этих переговорах сильно помог Антонио Гамма.

Старик Антонио полюбил своего неожиданного, такого высокого и такого простого, гостя. Он поместил «графа Сульверо» и его сына в самой лучшей комнате первого этажа, а графского секретаря, толстого Фукса, — наверху. Антонио стеснил свою многочисленную семью — детей и внуков, — лишь бы только получше принять Сульверо.

От неприятностей Суворов почти не спал. Антонио, которому было семьдесят лет, тоже не спалось. Александр Васильевич, услыхав, что хозяин, помещавшийся в соседней комнате, не спит, позвал его к себе. Старики проговорили до самого утра.

— С нами словечко лишнее боится молвить, а с ним пролопотал цельную ноченьку, — ревновал Прошка. — Тоже советчика нашел. Старичишка лядащий, возгрёй убьешь!

Александр Васильевич расспрашивал Антонио о горах, о дорогах. Антонио хорошо знал Тессин, Граубинден, бывал у истоков Верхнего Рейна, но кантона Ури не знал. Он советовал Сульверо идти на Сплуген: путь на Сен-Готард весьма тяжел. И какие дороги там дальше, за Сен-Готардом, к Альторфу на Швиц, — сказать не мог.

— Там озёра, а я не рыболов, а охотник.

— Ничего, найдем проводников. Выйдем! — не терял уверенности Суворов.

Ведь австрийцы столько времени воюют здесь; они же должны знать Швейцарию. Их офицеры генерального штаба — подполковник Вейротер и другие, которых прикомандировал к Суворову Мелас в качестве знатоков местности, не сомневаются в пути на Швиц.

И кроме того, Суворов, как всегда, выбрал не самый легкий, а самый быстрый и неожиданный путь. Он крепко надеялся на себя и на своих чудо-богатырей.

Почти не спавший ночь, измученный дорогой и волнениями, Суворов в это утро осунулся и почернел.

Позавтракав, он поехал посмотреть, как расположились в Таверно его витязи. Полки стояли под открытым небом. В домах не хватало места. Были заняты все постройки — сараи, хлевы. Люди посменно приходили в дом обогреться, обсушиться, поспать.

Дождь немного стих, а ветер точно подрядился: дул с гор, резкий, пронизывающий, круглые сутки.

Суворов ехал в одном мундирчике и «родительском» плаще, — зимнего у него, как и у всей армии, ничего не было. Солдаты сразу приметили, как изменился их «дивный»:

— Что с ним, с отцом нашим, сталось?

— Уж здоров ли?

— Спаси его, Господи, и помилуй нас!

— Куда мы без него годны?

— А может, впереди враг сильный и батюшка Александр Васильевич думает, что мы не справимся?

— Э, впервой нам, что ли!

— Да подавай хоть сотню тысяч синекафтанников — всех успокоим!

— Укладем рядышком!

Но на следующий день, глядь, Суворов снова повеселел. Повеселел и весь русский лагерь. Все тотчас же узнали: из Петербурга прибыл царский гонец, привез большие награды за Итальянский поход.

Павел I прислал рескрипт по случаю взятия Мантуи и за победу при Нови.

За взятие Мантуи Суворову был пожалован титул «князя Италийского». Генералу Краю, осаждавшему Мантую, Павел I не дал ничего, — так досадили ему австрийцы:

«Хотя Вы генерал-фельдцехмейстера Края и рекомендуете, но я ему ничего не дам: потому что Римский император трудно признаёт услуги и воздает за спасение своих земель учителю и предводителю его войск».

Павел I был прав: император Франц не награждал фельдмаршала Суворова, — отделывался комплиментами в рескриптах.

За Нови Павел I наградил Суворова еще больше, — он отдал приказ:

«В благодарность подвигов князя Италийского, графа Суворова-Рымникского гвардии и всем Российским войскам, даже и в присутствии государя, отдавать ему все воинские почести, подобно отдаваемым особе его императорского величества».

Царь писал Суворову:

«Не знаю, что приятнее: Вам ли побеждать или мне награждать за победы».

Ростопчин со своей стороны подбадривал Александра Васильевича:

«Презрите действия злобы и зависти, Вы им делами Вашими с младых лет подвержены».

В этот же день вернулся гонец, посланный к Меласу. Папа Мелас винился, проливал крокодиловы слезы. Он оправдывался, сваливал вину на интендантского чиновника, обещал взыскать с него за несвоевременную присылку мулов.

А к вечеру прибыла еще одна партия мулов. Суворов мог теперь спешить наполовину меньше казаков. Работа кипела: готовили вьюки, провиант на неделю, патроны.

Но как ни торопились, а раньше 10 сентября из Таверно выйти не смогли. Пять драгоценных дней пропало ни за что.

Большинство солдат и офицеров впервые видали горы, никогда не воевали среди них. Поэтому Александр Васильевич написал правила ведения горной войны, а накануне выхода из Таверно еще раз объехал войска и говорил с ними:

— Горы велики, есть пропасти, есть водотоки, а мы их перейдем, перелетим! Мы — русские! Бог нас водит — Он нам генерал! Лезши на горы, одни — стреляй по головам врага, стреляй редко, да метко! А прочие — шибко лезь вроссыпь. Влезли: бей, коли, гони, не давай отдыху. Просящим — пощада: грех напрасно убивать. Кого из нас убьет — Царствие Небесное. Церковь Бога молит. Останемся живы — нам честь, нам слава, слава, слава!

— Веди нас, отец наш! Рады стараться. Веди! Идем! Ура! — отдавалось в горах.

10 сентября ранним утром выступали.

Суворов прощался с гостеприимными хозяевами. Его окружили многочисленные внуки, дети Антонио Гаммы.

Жена Антонио, высокая дородная старуха, протянула графу подарок — шерстяные носки, которые она связала сама: Сульверо пускался через Альпы в нитяных носках и ботфортах.

Александр Васильевич благодарил, но отказался, как выразительно ни смотрел на него Прошка. Сказал, что ни разу в жизни не носил шерстяных носков.

— Солдату не пристало греться!

Тогда кто-то из семьи предложил заменить холодную каску шляпой — войлочной, широкополой.

Этот подарок Александр Васильевич принял охотно. Австрийскую каску сунул Прохору, а шляпу тут же надел.

Он обнял на прощанье старика Антонио:

— Добрые вы люди! Жалко расставаться! Друг Антонио, едем с нами!

Антонио остолбенел. Мгновение он стоял, хлопая глазами. Потом улыбка осветила его морщинистое лицо. Он вспыхнул, как

молодой. Суворов подсказал то, о чем он все время думал сам, но не смел сказать.

Жена с тревогой глянула на мужа.

— Едем! — решительно ответил Антонио и кинулся в комнаты.

Суворов не верил своим глазам. Он сказал, не думая о последствиях. И ему уже было досадно, что он сказал. Александр Васильевич стоял смущенный.

В доме произошел переполох. Жена, взрослые дети обступили Антонио, убеждали, умоляли его не ехать:

— В такое позднее время года ехать через горы...

— И не на ярмарку, а на войну...

— Помешался человек!

— Что с него толку? Какой он проводник? Он уже видит плохо!

— Замолчите! — грозно повернулся Антонио Гамма.

Он был непреклонен. Он взял свой альпеншток, попрощался с плачущей женой, удивленными детьми и внуками и решительно пошел из дома.

— Надо это человека с места трогать? Добро бы молоденький, а то... Что, своих-то стариков у нас мало? — осуждал барина Прошка.

— Такой старик лучше молодого, — ответил Ванюшка, подводя Гамме запасного казачьего коня.

Антонио Гамма гордо ехал рядом с Суворовым.

III

Где только ветры могут дуть,
Проступят там полки орлины.

Ломоносов

Если до Белинцоны было еще некоторое подобие дороги, то дальше сразу въехали на узкую, извилистую тропочку.

Горы, немного раздвинувшиеся у Белинцоны, опять подошли вплотную. Сдавили со всех сторон, как-то совсем прижали к земле. Их хребет терялся где-то в сером небе.

Вдалеке, уже яснее, чем прежде, белел на вершинах снег. С каждым шагом зелени становилось меньше. Все чаще высовывались обнаженные ребра скал.

Тропинка вилась вдоль реки Тичино, перепрыгивая с одного берега на другой.

Вся долина была загромождена камнями — следами недавнего обвала.

Дорога была трудна.

Суворов ехал позади своей маленькой двуколки — единственной колесной повозки во всем обозе. В ней сидели Фукс и Прош-

ка. Двуколка едва тащилась, скособочившись. С трудом пробиралась через наваленные камни... Ее кидало из стороны в сторону.

Господин статский советник Фукс не вынес тряски — полез вон. Пересел на коня.

Суворов невольно улыбнулся:

— Это ему не по миланским улицам. Растрясет свой живот. И поделом!

А Прошка, держась за борт двуколки руками, недовольно глядел вверх, на высокие горы. Сокрушался:

— Господи, и куды нас занесло!

Ванюшка, шедший у самого суворовского стремени, сказал, указывая на Фукса:

— Идти-то лучше: греешься!

В самом деле, ехать было холодно. Резкий ветер откуда-то с гор пробирал насквозь, дождь хлестал то так, то эдак.

— Погодка. Добрый хозяин собаку на двор не выгонит, — пожимался Суворов.

Антонио Гамма догадывался, о чем речь. Смущенно поглядывал, точно он отвечал за непогоду. Оправдывался:

— В сентябре у нас еще тепло. А в этом году... Такая осень... Не запомнит никто...

Вдали, внизу показалась деревня. В ней был назначен ночлег. До Айроло, где уже стояли французы, оставалось десять верст.

...С 12 на 13 сентября всю ночь шел дождь, неистовствовала буря.

Большая часть войск опять ночевала под открытым небом: в домах, в хлевах, в сараях не хватало места. Деревьев, кустарников было мало. Люди жались к неуютным скалам, стараясь укрыться в какой-либо расщелине. Мокли, зябли в одних мундирчиках, мучились.

Суворов ночевал в доме, одной стеной в котором служила отвесная скала, — к ней и прилепился дом. В доме было сыро.

Аркадий, Фукс, офицеры штаба, Прошка, Ванюшка лежали вповалку в углу. Утомленные переходом, они давно спали. Аркаша переносил все лишения молодцом, — Александр Васильевич с удовольствием видел это.

Суворов сидел с Антонио Гаммой у очага. Ветер стучал по крыше камнями, выл в трубе, за дверью кашляли, гомонили солдаты и офицеры: все было забито людьми. Александр Васильевич говорил с Антонио о Сен-Готарде, который русские войска собирались завтра атаковать.

Со стороны Италии Сен-Готард был неприступен. К нему вела узкая, едва проходимая для вьюков тропинка.

Суворов за Белинцоной послал корпус генерала Розенберга направо в долину Тавечь, в обход Сен-Готарда.

Антонио Гамма говорил, что от Айроло восхождение на Сен-Готард очень опасно в бурю. Путники и те часто гибнут от утомления и холода, а тут еще французы, у которых такая надежная позиция.

Прислушивались оба — не стихает ли ветер.

Около полуночи ветер стих. Старики улеглись.

К утру перестал и дождь.

Было сыро и пасмурно. Над долиной нависли густые, темные облака, — они лепились к вершинам гранитных гор.

Невыспавшиеся, измученные люди ежились, согревались у костров. Хотелось поскорее двинуться с места, чтобы отогреться на ходу. Хотелось поскорее в дело.

Букли, косы давным-давно от дождя растрепались. Александр Васильевич велел: кос не заплетать, буклей не накладывать — не за этим ходить!

Выступили тремя колоннами: Багратион и генерал Барановский обходили с флангов, Суворов — в центре.

IV

Был четвертый час пополудни. Короткий осенний день угасал. В долине уже темнело. А французы всё еще занимали неприступные вершины Сен-Готарда.

Суворовским чудо-богатырям впервые пришлось вести войну в горах.

С неимоверными усилиями карабкались они со скалы на скалу. Уцепиться было не за что: ни деревца, ни кустика, только кое-где мох. Порядком поизношенные башмаки скользили по сырым камням, не держали человека. Люди выбивались из сил, чтобы кое-как продвинуться вниз. Приспосабливались, упирались, где можно, штыками, помогали друг другу.

А французы, невидимые, надежно укрытые камнями и скалами, били на выбор. Много ратников осталось лежать на месте, многие, сраженные, падали с кручи вниз, многие кое-как, с трудом тащились ранеными назад к Айроло.

Продвигались вперед крайне медленно. Еще никогда русскому солдату не приходилось сражаться в таких условиях. Враг был и без того почти невидим, а тут еще откуда-то наползало и скрывало все густое, сырое облако. Застилая глаза, тучами плавал пороховой дым: он не позволял разобрать, свой или чужой шевелится за камнем...

Высоты громоздились одна за другой выше и выше, и, кажется, не было им конца. А неприветливый, хмурый Сен-Готард все так же возвышался надо всем.

Суворов со штабом стоял на высоте. Смотрел в трубу. Смотрел туда, где должен был по крутизне, по непролазным ущельям и скалам появиться у французов с левого крыла Багратион.

Князю Петру горы не в диковину. Он и без карт, без тропинок — на глаз проведет своих. Багратион — ловок, находчив, отважен. Багратион — горяч. На него у Александра Васильевича крепкая надежда.

Но почему до сих пор Багратиона еще нет?

Забыт холод, ветер. Забыто все. Щеки горят. Познабливает, но не от стужи, а от волнения.

Суворов смотрит в трубу. Видит, как легко, умело, привычно перепрыгивают со скалы на скалу синие мундиры.

— Ну, да и мои постигнут, помилуй Бог! Первый бой в горах...

Смотрел в трубу, а смотреть вроде не на что. Смотрел так, чтобы можно было спокойно обдумать, чтобы не мешали, не лезли с никчемными своими советами австрийцы, офицеры генерального штаба. Буквоед, «проектный унтеркунфт» подполковник Вейротер и другие. Они ведь знатоки горной войны.

Что же делать?

Французы уже дважды отбивали с вершин Сен-Готарда настойчивые атаки русских.

От Розенберга сведений нет и не может быть: с ним связи никакой и не предполагалось.

И так не бог весть какие большие силы Суворова раздроблены: у Розенберга одна треть, часть пошла с Багратионом, часть с Барановским.

Сегодняшняя атака Сен-Готарда — первое сражение в горах. Если не взять Сен-Готард в ближайший час, тотчас же, значит, спасовать перед горами.

В степях, лесах, болотах — побеждали врагов, а тут что же?

И ведь впереди все такие же горы. Если сейчас не пробиться к Сен-Готарду, кто знает, что будет с Розенбергом: ведь тогда Розенберг выйдет в долину Тавечь один.

А Римский-Корсаков тоже ждет не дождется помощи от Суворова.

Тяжело смотреть, как убывают его чудо-богатыри, но делать нечего...

Еще раз в атаку!

Русские с фронта в третий раз полезли на эти проклятые дикие скалы.

Люди были измотаны, утомлены и боем и подъемом. Особенно тяжело было подыматься старикам.

Гора казалась бесконечной. Вершину ее то совершенно скрывал из глаз густой туман, то она опять вставала впереди еще величественнее, еще неприступнее.

И тут сверху, с этих теряющихся в облаках скал, далеким эхом разнеслось свое, родное «ура». Багратион одолел все, как горный орел, появился с фланга на снежных вершинах.

Перестрелка разом смолкла. Наконец русские дорвались до своего испытанного товарища — штыка...

Французы бежали.

Первая победа в горах была одержана.

V

На Сен-Готардском перевале Суворова встретил в полном облачении 70-летний настоятель монастыря капуцинов. Увидев рядом с русским полководцем Антонио Гамму, приор обратился к нему:

— Сын мой, передай северному вождю, что я приглашаю его и приближенных в трапезную.

Каково же было изумление приора, когда этот северный вождь ответил сам на чистом немецком языке:

— Я и мои дети томимся от голода, но раньше, святой отец, веди нас в храм. Воспоем хвалу Спасшему нас, а потом уже — за трапезу!

И, слезши с коня, пошел в монастырский храм.

Полки расположились вокруг монастыря.

Спуск с Сен-Готарда к деревне Госпиталь был не весьма удобен для защиты. Отступавшим французам не за что было зацепиться, — их сбили за деревню Госпиталь.

Дальше идти было нельзя: люди падали, больше не хватало сил.

И ночь уже спустилась на горы. На скалах гор весело запылали бивачные костры.

А в церкви монастыря шло богослужение. Офицеры и солдаты, сменяясь по ротам, входили в церковь. Прикладывались к распятию.

После богослужения приор угостил Суворова и его приближенных — Аркадия, Багратиона, генералов — обедом. Обед пришелся по вкусу Александру Васильевичу: картофель, горох, рыба. Суворов оживился и много говорил с приором на разных языках — немецком, французском, итальянском. Приор поражался учености северного полководца. Он рассказал, что, по летописи монастыря, первым русским, посетившим Сен-Готард, был Василий Лихачев, ездивший в 1659 году послом во Флоренцию.

Засиживаться Суворову было некогда. Пообедав, Александр Васильевич поехал вниз, в деревню Госпиталь, в которой он назначил свою главную квартиру. За Госпиталем начиналась Урзерн-

ская долина. К ней, к деревне Андермат, должен был к завтрему выйти из Тавечи со своим корпусом генерал Розенберг: Суворов послал его из Белинцоны в обход Урзерна с востока.

Александр Васильевич спускался вниз, к деревне Госпиталь. В темноте ночи раздавался неумолкаемый звон колокольчиков, — это снизу к Сен-Готарду беспрерывной вереницей тащился обоз мулов.

VI

Апшеронцы с егерями Кашкина и сотней казаков Поздеева шли в авангарде, вслед за батальоном Мансурова.

Как было условлено, корпус Розенберга соединился с главными силами Суворова на рассвете 14 сентября в Урзернской долине. Французы отступали к Чертову мосту.

Немного прояснилось, выглянуло солнышко, и все оживилось.

Да и широкая Урзернская долина, по которой проходили, была все-таки немного веселее, чем вчерашние пропасти и скалы.

— Вот здесь, на худой конец, жить еще можно, — сказал, оглядываясь кругом, Башилов. — Пастбища-то ничего.

— Нашел местечко: ни деревца, ни кустика, — не согласился с товарищем Зыбин. — И хоть бы птичка одна. Хоть бы самая что ни на есть ворона. А без птицы какая жизнь?

— Птица должна быть!

— Вон суслики свистят вместо птиц, — усмехнулся Огнев.

— Поживешь! Тут, сказывают, зима — восемь месяцев. Вишь, снег лежит.

— Нет, лучше нашей Расеи не найти!

Издалека послышался глухой, неясный шум. С каждым шагом он становился грознее.

— Что ето гудё? — спросил молодой белобрысый солдат.

— Не слышишь? — вода. Мельница, должно, на реке. Видишь, и свежей стало, — объяснил любивший поучать унтер-офицер Воронов.

И верно: стало прохладнее.

Горы опять подошли поближе. Еще несколько десятков сажен, и они с двух сторон крепко сжали тихую реку.

Долина со своими лугами, деревня Андермат с колокольней старой кирки, с жильем и теплом остались где-то позади. Впереди опять мрачнело темное ущелье, где шумела, билась в гранитных берегах Рейсса.

Из ущелья тянул резкий сквознячок. Сразу стало холоднее и телу и душе. Люди съежились, замолкли.

А грохот все нарастал.

И вдруг колонна стала: дорогу преградила громадная гора. Она отвесными утесами врезывалась в самое русло реки, стояла как могучая стена.

— Это что: дороги нет?

— Дорога пропала!

— На горы опять лезть, будь они...

— Нет, пошли. Там нора в горе.

— В этой норе-то и встретят...

Лишь только передние мансуровские мушкатеры сунулись в Урзерн-лох, как, заглушая грохот воды, ударила пушка. И застрекотали пули. Эхо удесятерило выстрелы. Гром пошел по горам. Мансуровцы отпрянули. Из дыры назад никто не вышел, — передних смельчаков уложили неприятельские пули и ядра.

— Стой! Стой! — закричало несколько голосов.

Командир апшеронцев генерал Милорадович, придерживая шляпу, побежал вперед, к полковнику мансуровцев Трубникову. А через секунду сзади, по цепи мушкатеров, понеслось:

— Дорогу фельдмаршалу!

— Сторонись влево!

— Дорогу батюшке Александру Васильевичу!

И сам «дивный», в плаще и войлочной швейцарской шляпе, быстро пробежал вперед. Он был озабочен, но полон решимости.

За ним бежали Багратион и курносый великий князь Константин Павлович. Длинный Розенберг и толстенький Дерфельден поотстали от молодых.

— Он порядок наведет!

— Пройдем! Сейчас пойдем!

— Вот это и есть Чертов мост?

— Какой же это мост, когда — нора?

— Мост, верно, дальше...

Апшеронцам не было слышно, что говорит Александр Васильевич, но скоро поняли все: приказано обходить. За эти первые дни войны в Швейцарии все уже знали, что в горах брать в лоб — не моги.

От мансуровцев отделилось триста мушкатеров. Их вел полковник Трубников, сорокалетний поджарый человек с измаильским крестом на груди. Мансуровцы побежали куда-то вправо, в горы.

Двести егерей Кашкина с молодым майором Тревогиным пошли влево.

— Егеря пойдут вброд через реку, — сказал майор Лосев, подходя к своим. — Привязывай покрепче штыки, ребята! Будет дело!

Пока обходили французов, все остальные ждали. Остатки мансуровского батальона и егеря Кашкина стояли наготове.

Апшеронцы топали, сморкались, переговаривались.

— Наш Михайло тоже горяч, ровно Суворов: не вытерпит, ему все надо первому в дело! — сказал Огнев о Милорадовиче, которого апшеронцы очень любили.

— А вчера как было! — оглянулся на товарищей Зыбин, точно, кроме него, никто не видал и не знает того, о чем он рассказывает. — Подбежали мы к спуску. Гора — вниз глянуть страшно. Все так на краю и стали, ни с места. А он как крикнет: «Смотрите, ребята, как вашего генерала в полон возьмут!» — и — вниз. Так меня за ним точно ветром сдуло!

— Храбер наш Михайло Андреич! Суворовской выучки!

— Что и говорить — летели вчерась важно!

— Тут на родимых салазках — одна спасень...

Переговаривались, а сами нетерпеливо поглядывали на горы: скоро ли обойдут?

И вот сверху раздались выстрелы. Гора задымилась, — Трубников обошел.

Французы отвечали ружейным огнем. Пушка молчала.

И тотчас же мансуровцы кинулись опять в эту страшную, темную дыру. Охотники быстро вытащили оттуда своих раненых и убитых. По ним никто из дыры уже не палил. Остальные кинулись вперед.

За горой перестрелка разгоралась.

Суворов с генералами стоял у самого входа в Урзерн-лох.

Мансуровцы и кашкинцы один за другим исчезали в дыре. Настал черед апшеронцев.

Лосев бежал первым: командир полка генерал Милорадович остался возле Суворова.

— По одному! Штыки вверх! — предупреждал Милорадович.

— Молодцами, ребята! С Богом! — кричал Суворов.

Лосев сунулся в дыру, как в могилу. В ней было темным-темно.

В правой руке Лосев держал шпагу, а левую невольно протянул вперед. Рука сразу же уперлась в сырую стену: дыра оказалась очень тесной, едва мог пройти человек.

«Точно в преисподнюю лезем», — мелькнуло в голове.

Впереди — ни проблеска света, темно — хоть глаз выколи. Только где-то недалеко слышался топот егерских ног. А сзади дышал в затылок Лосеву его адъютант.

Лосев старался, как мог, прибавить шагу, но шаг получался куцый, ноги двигались осторожно, боясь оступиться, упасть в этой дьявольской темноте. Левая рука, вытянутая вперед, то и дело натыкалась на выступы. Местами камни были мокрые, до противности склизкие. Было холодно и сыро, как в склепе.

Понемногу привыкнув к темноте, Лосев попытался бежать. Пробежав шагов с полсотни, он увидал впереди себя свет, — чертова дыра кончалась. В узенькой рамке выхода мелькали согнутые спины егерей. Выбегая на свет, они перепрыгивали через что-то.

Когда Лосев добежал до выхода, он увидал, что прыгали через убитого французского артиллериста, распластанного на дороге. Несколько трупов в синих французских мундирах валялось на небольшой площадке у опрокинутого зарядного ящика. Пушка, стрелявшая по мансуровцам, очевидно, была сброшена в реку.

В этом мрачном ущелье, где вверху едва голубела крохотная полоска неба, Лосева сразу же оглушил невероятный шум. Река Рейсса, которая в Урзернской долине течет так тихо и спокойно, здесь стала неузнаваемой. Сжатая узким высоким коридором отвесных скал, она с диким ревом стремительно падала вниз с высоты десятков сажен. На своем пути река встречала груды камней горных обвалов. Падая с головокружительной высоты, Рейсса разбивалась на камнях в мелкие брызги. На мрачном фоне черных, угрюмых скал, уходящих вершинами в самое небо, ослепительно белела пена. Она целыми облаками высоко подымалась вверх. Дорога, прибрежные скалы — все орошалось этой водяной пылью.

Егеря бежали по узенькой каменной тропинке, которая, точно карниз, лепилась кругом горы и исчезала за углом. Оттуда теперь раздавались выстрелы. Лосев побежал вслед за егерями, перепрыгивая через трупы французов, валявшиеся на тропинке. Он с любопытством и невольным страхом глядел налево, где в бездонной пропасти, далеко внизу, клокотала, ревела Рейсса.

Лицо и мундир Лосева сразу стали влажными от водяной пыли.

Местами берега Рейссы шли на одном уровне с тропинкой, а потом вдруг опять срывались куда-то вниз.

Обогнув гору, Лосев сразу увидал Чертов мост.

Тропинка круто спускалась к нему. В одном месте две скалы, сжимая с двух берегов Рейссу, так близко подбежали друг к другу, что люди смогли соединить их двумя каменными арками. Большая из них соединяла правый берег с выдающейся скалой левого. Меньшая арка была перекинута со скалы левого берега на дорогу.

Узкий, только пройти вьюку, без перил мост висел на страшной, десятисаженной высоте. Внизу, весь в пене, как бешеный конь, мчался с камня на камень неистовый поток.

Отступавшие французы залегли за камнями на левом берегу и обстреливали правый. Отходя поспешно, они не успели повредить большую арку и только теперь, под огнем русских, старались разломать малую, чтобы не дать возможности суворовским войскам перейти на левый берег Рейссы. Но окончательно разломать мост не удалось, — егеря Тревогина уже взобрались на горы левого берега и стали спускаться вниз, обходя Чертов мост. Французы, боясь быть отрезанными, бросились в горы. И все-таки пролом оказался так широк, что пройти по мосту стало невозможно.

— Бревен надо!

— Без бревна не перейти! — заговорили все солдаты и офицеры.

Сказать было легко, но где сыскать в этой поистине чертовой дыре бревно?

— У самой пещеры сарайчик стоит. Разобрать его! — смекнул кто-то.

— Передай по цепи: ломать сарай! Брёвна для моста нужны! — приказал Лосев своим мушкатерам.

Апшеронцы еще тянулись от моста до самой долины, проходя гуськом через Урзерн-лох. Минуты ожидания казались всем часами. Наконец по цепи, по мушкатерским рукам, пошло одно, второе, третье бревно.

Когда первое из них дошло до унтер-офицера Огнева, он, не выпуская бревна из рук, обратился к стоявшему тут же командиру батальона майору Лосеву:

— Дозвольте, ваше высокоблагородие, я сделаю!

— С Богом, Илья Николаевич! — согласился Лосев. Он знал, что старый унтер-офицер — мастер на все руки. — Давай-ка мне свое ружье!

Огнев передал майору ружье, перекрестился и смело пошел по Чертову мосту.

Брызги водопада и пули французских стрелков, засевших наверху, в скалах левого берега Рейссы, летели выше моста, падали на мост. Огнев тащил бревно, не обращая внимания ни на что. Его беспокоило одно: много ли успели проломать французы, велик ли пролом?

Дойдя до меньшей, разломанной арки, он лег и глянул. Сразу отлегло от сердца: конечно, бревно вдвое длиннее пролома. Его без особого труда можно передвинуть с одной стороны на другую.

Так Огнев и сделал.

Теперь только бы еще одно-два бревна, и ступай смело!

Он оглянулся. Какой-то молодой кашкинский егерь волок второе бревно.

— Давай сюда! — принял у него Огнев.

Сзади передавали еще одно.

Огнев положил рядышком через пролом три бревна. «Теперь чем-либо перевязать бы!»

— Веревку! Связать бревна!

Егерь кинулся со всех ног к своим.

На правом берегу ждали не дождались, когда Огнев укрепит бревна.

Сам Суворов и генералы были уже здесь.

Впереди у моста стоял вместе с Лосевым князь Мещерский. Их окружали охотники — мушкатеры, егеря, казаки, вызвавшиеся перебежать первыми по бревнышкам на ту сторону, чтобы сбить с гор французов, мешавших чинить мост.

Сметливый Мещерский думал недолго, — он рванул с себя свой длинный офицерский шарф:

— Возьми! Вяжи!

— Погоди, на мой! — передал ему и Лосев.

К егерю сразу протянулось несколько офицерских рук с шарфами.

— Довольно, ваше благородие, хватит!

Схватив поданные ему шарфы, егерь побежал к Огневу.

Вместе с Огневым они крепко-накрепко связали одним шарфом концы бревен.

— Навались, держи! — приказал Огнев.

А сам, сунув за пазуху остальные шарфы, пополз по бревнам, обнимая их руками и ногами.

На середине он неторопливо перевязал бревна еще раз. Потом благополучно дополз до каменной кладки левого берега и тут так же крепко связал концы бревен. Встал и перебежал на левый берег под скалу, укрываясь от французских пуль, которые все время били сверху.

Дело было сделано.

Огнев достал кисет с табаком и стал закуривать трубку. Руки его дрожали.

Первым рванулся на мост князь Мещерский. За ним бежал какой-то казак, дальше — майор Лосев с огневским ружьем.

Огнев смотрел не переводя дыхания: как-то перебегут?

Князь Мещерский, молодой и сноровистый, ловко перебежал по шаткому помосту.

«Должно, охотник. Хорошо!» — одобрительно подумал Огнев.

Казак не рассчитал, — побежал слишком близко за князем Мещерским. Он был на середине бревен, когда Мещерский прыгнул с бревен на каменную кладку. Бревна зашатались, казак поскользнулся, не удержал равновесия и упал вниз, в кипучую бездну потока.

Огнев только на мгновение увидал его раскрытый в ужасе рот. Крика за грохотом воды не было слышно.

Каждую минуту всякий мог ждать смерти от вражеской пули, со смертью давно сжились, но эта нелепая гибель казака ошеломила всех.

— Не спешить! По одному! — крикнул в раздражении Суворов, смотревший на переправу.

Майор Лосев, бежавший за казаком, сначала осекся на месте.

Огнев даже поежился:

— Только бы вниз не глядел!

Но майор решительно пошел по бревнам. Ружье Огнева помогало ему удерживать равновесие.

Князь Мещерский, подбежавший к Огневу, смотрел напряженно.

— Так, так! Молодец! — вырвалось у него, когда Лосев ступил на левый берег.

За ними, один за другим, перебегали мушкатеры, егеря, казаки. Из полсотни охотников не сорвался больше никто.

На правом берегу уже возвышалась целая куча бревен, досок, хворосту. Солдаты собирались по-настоящему чинить мост, а охотники в это время теснили французов все дальше: мушкатеры Трубникова и егеря Тревогина уже вышли в тыл неприятелю.

VII

На следующий день русские войска, отбрасывая французов, заняли Альторф.

Наконец из мрачных, зловещих ущелий вышли на простор. Горы раздвинулись снова. Пересеченная холмами, расстилалась долина.

Здесь все приобрело иной вид: предгорья зеленели, бурная река сделалась совершенно кроткой. Стало больше красок, больше света и тепла. Запестрели пашни и луга. Глянули домики и сады.

— Сохой запахло, — радовались солдаты.

— Хоть на свет Божий вышли!

Но сытнее не стало. Вьюки с продовольствием еще тянулись где-то — застряли в Чертовом ущелье, а в сухарных мешках у солдат и офицеров остались только хлебные крошки.

К счастью, в Альторфе захватили у французов провиантский склад. Каждому солдату выдали по нескольку сухарей и по три пригоршни муки.

Солдаты радовались селению, радовались тому, что могут сварить горяченького супцу. Радовались и не знали, что им угрожает страшная опасность.

Только в Альторфе Суворов обнаружил, что дороги на север по Люцернскому озеру нет никакой: дикий, обнаженный хребет Росшток падает в озеро отвесными скалами. У Люцернского озера дорога кончается вообще.

Русская армия очутилась в тупике.

«Унтеркунфтщики» — австрийцы, которые, казалось бы, должны были знать Швейцарию, не знали ничего. Они снова обманули, подвели Суворова. Но на этот раз подвели так, что малочисленная русская армия была поставлена в безвыходное положение. Ей угрожала катастрофа.

Катастрофа угрожала и русскому корпусу Римского-Корсакова, если Суворов не успеет соединиться с ним в Швице.

Швиц, где Суворов назначил место для соединения, был недалеко — от Альторфа до Швица 16 верст, но недалеко лишь на карте. Попасть же в него из Альторфа было невозможно, — так в один голос говорили все проводники.

О Римском-Корсакове Суворов не имел никаких известий, провианта у Суворова не было (он рассчитывал получить его в Швице), люди изнурены семидневным походом и боями, обувь изорвана, лошади подбились.

И тут — это невероятное открытие.

Больной, измученный тяжелым походом 70-летний фельдмаршал мужественно выдержал удар. Как всегда в минуту опасности, он сохранил веру в себя, в своих чудо-богатырей. Он твердо решил: какими угодно путями дойти до Швица.

— Не дам своих костей врагам. Умру здесь, и пусть на могиле моей будет надпись: Суворов — жертва измены, а не трусости! — возбужденно говорил он, вышагивая по комнате.

Генералы молчали, потрясенные.

Суворов собрал альторфских стариков охотников и пастухов, чтобы у них разузнать о дороге. Он сидел у стола перед разостланной картой, а швейцарцы, вместе с Антонио Гаммой, стояли перед ним. Они слабо разбирались в карте, но зато прекрасно знали все тропочки.

По их словам, в Муттенскую долину через высокий снеговой хребет Росшток можно попасть только двумя тропинками. О них не знал ни один генеральный штаб, а если бы и знал, то, конечно, не принял бы их в расчет. Эти тропы в позднее время года были доступны одним смелым охотникам за сернами. Тем, кто с малых лет привык карабкаться по утесам и пустынным ледникам.

Суворова это не смутило. Он остановил свой выбор, как всегда, на самом коротком пути к цели, хотя и на более трудном — на одной из этих немыслимых тропинок: «По ней и пойдем!»

Охотники и пастухи отговаривали.

— Значит, тут пройти войскам невозможно? — в последний раз спросил их Суворов.

— Нет!

— Солдат не пройдет?

— Тут пройдет лишь олень! — в один голос говорили альторфские знатоки местности.

Суворов сверкнул глазами.

— Где пройдет олень, там пройдет и русский солдат! — ударил он по столу сухоньким кулачком.

Не дав войскам ни одного дня отдыха в Альторфе, не подождав вьюков, Суворов повел своих чудо-богатырей на такие страшные стремнины, по которым никогда не шла ни одна армия в мире.

VIII

Гром, раздававшийся над нашими головами и гремевший внизу, под нашими ногами, был вестником нашей славы, нашего самоотвержения.

Багратион

Альторф еще крепко спал, когда русские полки поднялись в немыслимый поход через Росшток. На месте оставался один корпус генерала Розенберга. Он должен был держаться в Альторфе до тех пор, пока пройдут все отставшие вьюки.

Моросил дождик. Стояла темень. Дороги не различить. Да и видеть-то было нечего: была не дорога, а узенькая козья тропочка.

Солдаты и офицеры, не зная предстоящих трудностей, тронулись в путь бодро:

— Идти-то через горы всего-навсего шестнадцать верст. До обеда управимся.

Сначала шли по четыре в ряд, потом, сразу же за Альторфом, перестроились по два, а через полчаса уже тянулись гуськом.

С каждым шагом тропинка становилась все уже и круче.

Шли по скользкой вязкой глине. Ноги разъезжались — того и гляди полетишь. А лететь-то было небезопасно: сбоку чернела пропасть.

Думалось: рассветет — станет легче. Но и рассвет не принес облегчения. Дорога была все так же трудна. Подъем на Росшток оказался тяжелее, чем на Сен-Готард.

— Эти горы почище первых, — говорили солдаты.

Глина кончилась. Пошли голые камешки. Камешки были мелкие, но острые. Они резали ноги и предательски осыпались при каждом шаге. На них люди чувствовали себя еще неуверенней и ненадежней, чем на глине.

Каждый неверный шаг грозил гибелью.

Не шли, а ползли. Местами дорога на камнях вовсе пропадала, шли наугад.

Дождь перестал, но зато стали наползать тучи. Сырой туман заволакивал все: в двух шагах ничего не видно. От этой влаги мундиры промокли не хуже, чем от дождя. И на ходу не согреешься — едва волочили ноги. Когда же все закрывала туча, лезли ощупью, на авось.

Часто попадались горные ручьи, через которые приходилось брести по колено в ледяной воде. Ничего не поделаешь — брели.

Взбирались на уступы, как по лестнице, по ступенькам, с трудом умещая ногу на выступе.

От многочасового напряжения дрожали, болели ноги. Люди выбивались из сил.

Еще хуже, чем людям, доставалось вьючным животным. Мулы, привыкшие к горным тропкам, брали подъем с разбегу: один, другой прыжок — и отдых.

Казачьи же степные лошади не были приспособлены к горам и, кроме того, подбились, подковы поотрывались, копыта обломались. Они никак не могли взобраться — скользили, спотыкались, падали. Казакам, сопровождавшим вьюки, надо было следить не только за своим шагом, но и за каждым шагом коня. Где прозевали, недоглядели, там лошадь со всем добром летела вниз, в пропасть.

То тут, то там раздавался всполошный крик. С грохотом сыпались вниз камни, люди в ужасе оборачивались, но все было кончено: одной вьючной лошадью стало меньше, и меньше запасы сухарей или патронов.

Уже шли, перемогаясь, проклиная все на свете, шесть часов. Близился полдень, а не только не прошли шестнадцати верст, но даже не добрались до вершины хребта.

На Росштоке оказалось снегу больше, нежели на Сен-Готарде. Тут, на высоте, лежал рыхлый снег. Внизу ноги вязли в глине, а здесь — в снегу.

Сильнее пробирал холодный ветер. Коченели руки, застывали ноги. Зуб не попадал на зуб.

Тучи теперь ходили где-то под ногами. Слышался рокот грома. Эхо зловеще катило его по ущельям. Голубоватые вспышки молний сверкали внизу.

— Свят, свят, свят! — крестились солдаты.

— Ишь как мы — выше облака ходячего идем!

1-е капральство 1-й роты апшеронцев только взобралось на небольшую площадку. Остановились на минутку перевести дух, тем более что впереди на тропинке легла и не хотела подыматься лошадь, везшая горную пушку.

Внизу слева блестела полоса Люцернского озера.

Солдаты стояли посиневшие от холода, в мокрых мундирах. Повесили носы, ругались:

— Нелегкая занесла!

— Куда ворон костей не заносил!

— Старик наш выжил из ума. Бог весть куда завел!

— Тише, ребята! — замахал майор Лосев: он увидал, что к ним снизу незаметно подошел сам фельдмаршал.

Суворов все время был на виду у солдат: он или ехал верхом, или шел, как все, пешком.

Впереди него, ощупывая альпенштоком дорогу, предупреждая каждый шаг Суворова, шел коренастый старик Антонио Гамма.

Сзади за Суворовым, готовый в любую минуту поддержать барина, помочь ему, шел ловкий казак Ванюшка. За Ванюшкой — Аркадий Суворов и двое рыхлых, разбитых в походе, охающих и стонущих: статский советник Фукс и главный камердинер Прошка.

Суворов слышал, что о нем говорили его витязи. Он и сам видел, куда завел их. Ему самому было трудно, тяжело, но показать виду — нельзя.

Он улыбнулся и весело сказал, обращаясь к Лосеву:

— Помилуй Бог, как они меня хвалят!

И, взглянув на осунувшиеся, усталые лица своих чудо-богатырей, Суворов вдруг затянул любимую песенку:

Что девушке сделалось,
Что красной доспелось?..

Он так задорно, ухарски спел это, что все, даже угрюмый, вечно насупленный Воронов, расхохотались.

— Не слушайте, батюшка, это молодежь. Неженки...

— Нет, ваше сиятельство, это старики раскудахтались...

— Ничего, ребятушки, так меня и в Туретчине, бывало, похваливали.

— Дойдем!

— Одолеем!

— Я ж говорил: русский солдат пройдет и там, где не пройдет олень!

К ночи все окончательно выбились из сил. Где кто стоял, там и повалились, — прилегли, присели. Устраивались как могли на отдых, на ночь.

Одежда была мокрехонька, обсушиться нечем, топлива нет. В одних мундирах, без зимнего, прикрыться нечем на холодном, пронизывающем ветру.

Сидели, лежали. Дрожали от стужи. У кого остались сухари, грызли. Шарили по карманам, собирали остатки табачку, курили.

Даже кому посчастливилось, кто нашел местечко поукромнее — притулился в какой-либо щели и мог бы подремать, не имел возможности отдохнуть: леденящий ветер пробирал насквозь. Человек просыпался ежесекундно, а дрема, усталость опять валили с ног. Не сон, а мученье.

1-й роте апшеронцев повезло: она разместилась на довольно большой площадке.

Зыбин с несколькими молодыми солдатами увидал в стороне полуразрушенную пастушью избушку. Как ни тяжело было лезть еще куда-то, а все-таки полезли. Разломали избушку, приволокли дровец.

Солдаты и офицеры жались к костру. Сушились, чинили обувь. За сегодняшний день она пришла в полную негодность: на острых

камнях изрезалась, в вязкой, разжижевшей глине, в горных речках и рыхлом снеге располоскалась. У многих на ногах остались только штиблеты. Так получилось у майора Лосева. К ночи подошвы у сапог отстали. Лосев шел босиком. Потом догадался: обкорнал ножом полы своего мундира и этими суконками обернул ноги. Когда стали на отдых, унтер-офицер Воронов сказал:

— Дайте, ваше высокоблагородие, я вам сапоги кожей подобью.

— Откуда у тебя кожа? — удивился майор.

— Убил француза, снял ранец, вот и кожа.

И теперь Лосев сидел на барабане, протянув к огню босые расцарапанные ноги.

Башилов, сидевший у костра по-турецки, поджав ноги, огорченно сказал:

— Эх, подметки изорвались совсем, а починить нечем...

— На том свете тебя и без подметок признают, — пошутил никогда не унывавший Зыбин.

Многие пекли лепешки из муки, полученной в Альторфе. Кое у кого завалялась в мешке картофелина, пекли ее. В водоносных флягах кипятили воду, размачивали в ней сухари.

Огнев пек лепешку.

— Спереть ружья! Осмотреть патроны! Ввернуть новые кремни! — раздался знакомый зычный голос.

И в свете костра показался сам Михайло Андреич Милорадович.

— А у вас знатно, первая рота! Молодцы! — похвалил он, подходя к костру. — Что вы тут жарите?

— Лепешки, ваше сиятельство. Вот извольте отведать, — протянул ему Огнев.

Милорадович охотно взял лепешку. Съел.

— Да это вкуснее пирога!

— Извольте еще!

— Нет, благодарствую! Ешь сам! Значит, наши все? Впереди никого?

— Впереди егеря, — ответил Лосев. — А как вы устроились, ваше сиятельство? Дрова есть?

— Я со вторым батальоном. Нас тоже Бог миловал — пещеру нашли. И хворост есть. Отдыхайте, ребята!

И генерал Милорадович ушел назад.

Через несколько минут снизу, из кромешной тьмы, раздался голос:

— Котора рота?

— Первая.

— Ундер-офицер Огнев где?

— Я тут!

К костру подошел денщик Милорадовича Степан:

— Вот возьми. Генерал прислал тебе сырку. Извини, что немного: все, что имел барин, разделил пополам. Больше нетути. Наш вьюк отставши...

— Спасибо. Мне ничего не надо. Умру с голоду, а не возьму! — горячо сказал Огнев.

— Степан, погоди! — крикнул Зыбин.

Он нагнулся к своему сухарному мешку, вынул оттуда сухарь:

— На, передай его превосходительству. У меня еще есть.

— И от меня!

— Погоди, братец, и я! — зашумели мушкатеры.

Солдаты развязывали свои мешки, совали денщику Милорадовича сухари.

Огнев протянул что-то, завернутое в тряпицу:

— А вот от меня снеси сухого бульону: французский офицер бежал, бросил ранец. Я в ранце нашел. Скипятишь в фляге, наш батюшка Михайло Андреич горяченького поужинает!

— Ребятки, спасибо! Довольно, спасибо! — отвечал растроганный Степан, засовывая сухари во все карманы.

И, нагруженный, он осторожно двинулся назад.

— Гляди не оступись! — крикнул ему вдогонку майор Лосев. — Посветите ему головней!

IX

Войска Суворова два дня переваливали через Росшток. Авангард Багратиона спустился в Муттенскую долину к вечеру того же дня, а хвост колонны — только к вечеру 17 сентября. Вьюки же тянулись еще два дня.

Спуск оказался более трудным, чем подъем. От дождя все осклизло. Люди обрывались и стремглав летели вниз «на родимых салазках». Вниз катились оседавшие на крупы, храпевшие от страха кони.

Перед деревней Муттен стоял передовой французский пост. Багратион сбил его. За Муттеном оказался сильный корпус неприятеля.

В Муттене Суворова ждал больший удар, чем в Альторфе. Не успел он разместиться в чистой угловой келье францисканского женского монастыря, как монахини сообщили ему страшную весть — будто бы два дня тому назад у Цюриха Массена разбил русских, стало быть, Римского-Корсакова... Об этом уже судачил весь Муттен. Ссылались на торговца сыром Себастьяна Шельберта, который ездил в Вюртемберг и сам в Цюрихе видел все собственными глазами.

Суворов приказал привести торговца.

Он ходил широкими шагами по комнате, поглядывал в окна, не мог дождаться, когда Шельберт явится.

Наконец торговец предстал — круглый и жирный, как сыр.

Шельберт все подтверждал.

Да, он торгует сырами. Его отец, и дед, и прадед торговали. Только теперь стало плохо торговать: война. Что? Ах, это неинтересно! Да, он ездил в Вюртемберг. Возвращался через Цюрих. В Цюрихе сам слышал, как два дня гремели пушки. Видел, как по улицам вели пленных русских. На них вот такие зеленые мундиры и шапки, обшитые шнурами. В Цюрихе все говорят, что Массена хвастается: мол, через неделю я приведу пленным самого фон Сульверо! Ах, это вы и есть фон Сульверо? Простите, не знал...

Суворова взорвало:

— Какая наглость!

Было прискорбно, не хотелось верить тому, что говорил Себастьян Шельберт. Суворов не мог слышать это противное «фон Сульверо», всей глупой болтовни этого вонючего, как его сыры, торгаша. Впрочем, не нарочитая ли это болтовня? Не прикидывается ли глупеньким торговец? Ежели он глуп, какой же из него делец? Не подослали ль французы его, чтобы сбить с толку Суворова?

Суворов сказал Шельберту, что не верит его рассказам. Себастьян Шельберт с пеной у рта старался убедить, что все правда.

— Массена разбил русских. Верьте мне!

— Расстрелять его! — гневно приказал Суворов.

Себастьян Шельберт в первую секунду не понял, что с ним хотят делать. Но когда Суворов по-немецки повторил ему, что его расстреляют, чтобы он не болтал лишнего, торговец поднял вой на весь монастырь. На его истошный крик прибежала настоятельница монастыря. Она и Антонио Гамма упросили Суворова отложить исполнение приговора, пока не будет проверено то, что говорит Себастьян Шельберт.

Суворов согласился. Он и сам думал послать кого-нибудь в Швиц.

Суворов отправил своего штабного офицера барона Розена, знавшего немецкий и французский языки.

Розена переодели, взвалили ему на плечи громадный круглый, точно мельничный жернов, сыр, и он с провожатым, местным крестьянином, ушел в Швиц.

К вечеру они вернулись. Увы, Шельберт был прав: Розен слышал, как в гостинице французские офицеры похвалялись победой.

Суворов велел выпустить торговца. Себастьян Шельберт, не чуя под собою ног, помчался из монастыря.

Торговец оглядывался на белые монастырские стены и давал обет полного молчания.

К вечеру фельдмаршал получил письменное донесение о Цюрихском бое. Картина вырисовывалась яснее.

Войска Римского-Корсакова не посрамили себя — дрались отчаянно: но сила и солому ломит — Массена раздавил их численностью. Французы превышали русских чуть ли не в три раза. Римский-Корсаков отступил на правую сторону Рейна.

Суворов был потрясен известием.

Бесконечные обманы и предательство австрийцев наконец-то привели к тому, к чему они все время стремились, — к катастрофе.

Суворов со своим 18-тысячным отрядом оказался один на один против 60 с лишком тысяч свежих войск Массена.

Суворов очутился в западне, в тесном ущелье среди неприступных гор. Французы заперли ему все выходы из долины, сторожили каждый его шаг.

В довершение ко всему эта горсть русских терпела ужасные лишения. Войска Суворова были окончательно изнурены неимоверно трудным походом, ежедневными боями. Не спавшие сутками, не видавшие горячей пищи, босые, голодные и холодные люди шли как тени. У солдат уже не осталось сухарей. Офицеры рады были кусочку хлеба, картофелине. Заряды и патроны были на исходе. Артиллерия — только горная.

Провиант был взят из Белинцоны с таким расчетом, чтобы его хватило до Швица. Но около половины лошадей и мулов погибло с вьюками в пути, а на Швиц надеяться уже не приходилось, — обстоятельства в корне изменились.

Теперь надо было думать не о положении союзных войск в Швейцарии вообще, а о спасении своей малочисленной армии.

На карту ставилась честь русской армии, честь России.

Неужели — катастрофа?

Неужели в конце столь славной победной военной деятельности — позор?

«Respice finem!»[1]

Как часто Суворов сам твердил об этом.

И какой же найти выход? Что делать?

Отступать назад, к Альторфу? Продолжать идти на Швиц? Или через горы к Гларису?

Суворов находился в страшном волнении.

Разные чувства обуревали его.

«Великие приключения происходят от малых причин!»

Если бы австрийцы вовремя доставили мулов, он не потерял бы в Таверно пять дней, Римский-Корсаков не был бы разбит!

---

[1] Помни о конце! *(Лат.)*

Гнев, возмущение предательством австрийцев сменялись тревогой за армию, за честь России.

Он не находил себе места в этой келье. Не спал всю ночь. Не мог дождаться утра: утром Суворов решил созвать военный совет.

Впервые в жизни он, человек непреклонной воли, действительно нуждался в товарищеской поддержке.

Всегдашняя решимость и вера в себя и в свой народ не оставили его и на этот раз. Сам он готов был к невероятным трудностям и лишениям, но хотел об этом услышать от своих верных соратников. Хотел услышать, что на эти невероятные трудности и лишения так же самоотверженно пойдут до конца и они.

X

Суворов в фельдмаршальском мундире, при всех орденах, быстро ходил по келье. Он был так погружен в свои тревожные мысли, что не замечал никого.

Первым на совет явился Багратион. Александр Васильевич не удостоил сегодня своего любимца даже взглядом. Багратион ретировался.

Когда собрались старшие начальники — Суворов пригласил не только генералов, но и полковников, — вошли все вместе.

Александр Васильевич стоял посредине комнаты, опустив руки по швам.

Генералы и полковники вперемешку стали перед ним. Прямо перед фельдмаршалом стоял низенький, тучный Вилим Христофорович Дерфельден, старший среди генералов.

Суворов молча поклонился вошедшим и закрыл глаза. Все стояли, как по команде «смирно», не шелохнувшись.

И вот Суворов открыл глаза. Они горели гневом. Щеки покрыл румянец. Рот кривился в брезгливую гримасу.

Он заговорил. Сегодня его голос был немного глух, дрожал. В голосе клокотало возмущение.

— Корсаков разбит. Отброшен за Цюрих. Австрийцы опрокинуты, прогнаны от Гларис. Весь наш план изгнания французов из Швейцарии исчез! Всему виной Австрия. Тугут. Гофкригсрат. Он связал мне руки еще в Италии. Поход одних русских в Швейцарию — только предлог удалить нас из Италии. Чтобы присвоить завоевания. Австрийский принц Карл должен был не уходить отсюда. Ждать, когда мы соединимся с Корсаковым. Ушел. Оставил Корсакова с двадцатью тысячами защищать то, что сам защищал с шестьюдесятью. Погубил Корсакова. Доставили бы вовремя мулов в Белинцону, мы десятого-одиннадцатого были бы здесь. Массена побоялся бы идти на Корсакова!

Суворов остановился. Веки снова прикрыли глаза. Он стоял, словно подбирал в уме слова. Все ждали затаив дыхание.

Слова были найдены. Голос окреп. Звучал сильнее и чище:

— Что нам делать? Идти вперед на Швиц — невозможно: у Массена свыше шестидесяти тысяч, а у нас и двадцати нет. Идти назад — стыд. Русские и я никогда не отступали. У нас осталось мало сухарей. Еще меньше зарядов и патронов. Мы окружены горами. Мы окружены врагом. Сильным, возгордившимся победой, устроенной коварной изменой. Со времен дела при Пруте русские войска не были в таком гибельном положении. Но Петру Великому изменил мелкий человек. Ничтожный владетель маленькой земли. Зависимый от сильного властелина. Грек. А нашему государю — сильный союзник: кабинет великой державы. Это не измена, а предательство!

С каждым словом голос повышался, гремел. Теперь в нем звучали уже не злость и насмешка, а правота, сила:

— Помощи нам ждать не от кого. Одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и самоотвержение войск. Нам предстоят труды величайшие. Небывалые в мире. Мы на краю пропасти. Но мы — русские! С нами Бог!

Все невольно смотрели друг на друга — кто же тут младший, кому первому подавать мнение? Суворов стоял закрыв глаза.

И тогда Дерфельден точно почувствовал, что на таком необычном совете надо отвечать не самому младшему, а самому старшему. Он чуть оглянулся назад на всех и, волнуясь и спеша, сказал:

— Отец родной! Александр Васильевич! Мы знаем, что предстоит. Но ведь и ты знаешь нас. Верь нам! Клянемся тебе. Пусть не шестьдесят, а сто шестьдесят тысяч станут перед нами! Пусть горы втрое, вдесятеро, — мы победим! Всё перенесем, не посрамим русского оружия! А если падем, то умрем со славою! Веди куда думаешь!

Все подхватили:

— Клянемся! Веди нас! Клянемся!

Во время речи Дерфельдена Суворов стоял закрыв глаза. Теперь снова поднял их. Они горели всегдашним огнем, в них была — победа.

— Благодарю. Надеюсь! Рад! Враг будет разбит! Победа над ним, победа над коварством! Победа будет!

И, повернувшись, пошел к столу, где лежала карта. Все двинулись за ним, обступили.

— Кушников, пиши! — приказал Суворов.

Кушников выскочил из толпы. Многие генералы и полковники полезли в карманы за карандашом и бумагой, собираясь записывать диспозицию.

— Князь Петр завтра гонит врага за Гларис. Пункт в Гларисе. За князем — Вилим Христофорович. Я с ним. Корпус Розенберга

останется здесь. Враг наступит — разбить насмерть! Гнать до Швица. Не далее. Вьюки, все тягости Розенберг отправит за нами. Под прикрытием. А потом и сам. Тяжкораненых везти не на чем. Собрать. Оставить здесь с пропитанием. При них лекаря, прислуга. Офицер, знающий по-французски. Он смотрит за ранеными, как отец за детьми. Позовите Фукса!

В келью торопливо вкатился Фукс:

— Я здесь, ваше сиятельство!

— Написать Массена, что тяжкораненые остаются, поручаются его человеколюбию. Михайло! Ты — впереди! — обернулся Суворов к Милорадовичу. — Не давать врагу верха! Бить и гнать его! С Богом!

И Суворов поклонился всем. Генералы и полковники вышли.

XI

Всякое изражение недостаточно к изображению сей картины природы во всем ее ужасе.

Суворов о переходе через Альпы

19 сентября Суворов с половиною своей армии выступил из Муттенской долины. Пришлось подыматься на гору Брагель. Подъем был утомителен и нелегок, но после страшного Росштока показался пустяком.

Сбивая преграждавшего путь неприятеля, Суворов пришел в Гларис и вечером 20 сентября послал Розенбергу приказ двигаться за ним из Муттенталя в Клеталь.

В эти два дня — 19 и 20 сентября — корпусу Розенберга пришлось выдержать сильнейший натиск авангарда Массена.

Массена легковерно понадеялся на то, что в Муттенской долине разгромит всю малочисленную армию Суворова, а вместо этого был разбит сам. Он не мог справиться даже с одним корпусом Розенберга, хотя французский авангард был вдвое сильнее заслона русских.

Суворовские чудо-богатыри под командой Милорадовича и Розенберга в двухдневном бою одержали над французами блистательную победу.

Массена принужден был с большим уроном отступить. Французы бежали до самого Швица. Русские войска захватили 1200 пленных, в том числе генерала и пятнадцать офицеров.

Когда Суворов узнал о победе своих войск в Муттенской долине, он сказал:

— У меня и Розенберг бьет!

Корпус Розенберга следовал за главными силами. Он перевалил через гору Брагель в более тяжелых условиях, нежели остальные войска: выпал снег, стоял густой туман. Как с каждым днем ни уменьшался в переходах обоз, но все-таки он был еще длинен. Вьюки тянулись по узкой тропинке несколько дней.

Войска Розенберга две ночи провели без огней среди снежной пустыни и лишь 23 сентября наконец спустились к Гларису.

У Гларис собралось все, что осталось от армии Суворова. В изодранных, грязных, видавших виды мундирах, в башмаках, обмотанных тряпьем, перевязанных бечевкой, почерневшие от грязи, пороховой копоти и крайней усталости, стояли войска.

Но несмотря на такую убогую внешность, они по-прежнему сохранили все тот же суворовский дух. Это стояли победители, это стояли чудо-богатыри.

Они не знали, что напоследок им придется еще раз преодолеть грозную природу, что придется проделать более тяжелый переход, нежели через Росшток.

Глядя на своих витязей, Суворов был еще вполне уверен в том, что он смог бы пробиться сквозь войска Массена, который запирал выход из долины реки Линта. Но у него не было для этого патронов и зарядов, не было хлеба. Полагаться же на австрийцев он больше не мог.

Суворову оставался один выход — по Сернфтской долине через Эльм и гору Рингенкопф к Иланцу. Этим путем Суворов сразу совершенно выходил из опасности.

Путь для соединения с Римским-Корсаковым был кружный — по правой стороне Верхнего Рейна через Кур к Фельдкирху, — но спокойный. Здесь было продовольствие, здесь же к армии могли присоединиться обозы и полевая артиллерия, которые Суворов отправил из Италии.

Путь через Рингенкопф являлся, по существу, отступлением, той «ретирадой», которую всю жизнь так ненавидел Суворов. Но делать нечего, — это был единственно правильный выход из тяжелого положения, в которое попал Суворов.

И на совете в Гларисе Суворов мужественно принял его.

Целый день отражая натиск французов, которые наседали на арьергард, войска Суворова к ночи дошли до Эльма.

Ночь выдалась ненастная и темная. Снег валил хлопьями. Дров не было, войска дрогли на ветру. В каждом батальоне отдыхала половина, — остальные стояли в ружье, ожидая нападения.

В два часа пополуночи 25 сентября двинулись дальше.

Апшеронцы в авангарде. После двухдневного кровопролитного боя в Муттенской долине их ряды поредели. В Гларисе остался с

тяжелоранеными Башилов. Унтер-офицера Воронова контузило в бок. Он не захотел оставаться в Гларисе, кое-как пошел с полком. Воронов терпеливо переносил боль и все стыдил легкораненых молодых солдат, которые стонали:

— Ишь разохался, как баба на печи! Бери пример с нас, стариков. Думаешь, нам легче?

Майору Лосеву ядром оторвало на левой руке три пальца.

За апшеронцами ехал верхом сам фельдмаршал Суворов со штабом.

Ветхий плащ фельдмаршала слабо защищал его от стужи: Александр Васильевич посинел на ветру, скукожился. Аркадий, Андрей Горчаков, Прошка — все предлагали ему укрыться еще чем-либо, но Суворов и слушать не хотел. Всю жизнь он тянул солдатскую лямку и в привычках и в обиходе не хотел отличаться от солдата. Когда Кушников предложил ему запасной плащ, он сердито огрызнулся:

— Не надо. И так не холодно!

— Да ведь чичер какой, ваше сиятельство! Вон молодые солдаты и те посинели!..

— Что миру, то и бабьему сыну!

Сначала подъем на Рингенкопф не показался труднее, чем на Росшток. Как и там, вязкая, грязная тропинка — пройти одному человеку — тянулась по косогору, по краю отвесной кручи. Она то спускалась вниз, пересекая быстрые горные потоки, то опять взлетала куда-то под небеса.

Так же, как и там, мулы перед трудным подъемом останавливались, а потом, понукаемые прикладами, брали подъем рывком.

Так же, как и там, обезноженные казачьи лошади выбивались из сил, и солдаты на веревках втаскивали на кручи горные пушки.

Так же, как и там, люди скользили, и некоторые падали вниз, в пропасть.

Наступило утро. Все повеселели.

Но два проводника-швейцарца, которые должны были идти впереди апшеронцев, почему-то оказались у них в хвосте. Проводников что-то не особенно радовало утро. Они тревожно перешептывались между собою. Антонио Гамма тоже крутил головой.

Суворов приметил это. Он постарался сообразить, чем они так озабочены. Глянул вокруг.

В горах не в степи: глазом немного окинешь!

Очертания белоснежных гор, которые обычно едва видны на матовом бледно-сером горизонте, сегодня почему-то выступали определеннее и резче. Скалистые бока далеких гор сделались гуще и темнее. В воздухе повисла угрюмая, мертвящая тишина. Ветер стих.

«Точно перед бурей, — подумал Суворов. — Этого еще не хватало!»

Он знал, как страшны в альпийских горах снежные бури.

Увидев более широкое местечко, фельдмаршал слез с коня и подошел к Антонио Гамме. Старик шел, глядя уже больше вверх, чем под ноги.

— Что так тревожатся проводники? — спросил у него Суворов.

Антонио только чмокнул губами, словно не решаясь произнести то, что думалось.

— Будет буря?

— Да, похоже на бурю...

С каждой минутой становилось темнее, точно наступал вечер. И неожиданно откуда-то вырвался ветер. Он поднял легкую снежную пыль, — снег в горах был мелок, как песок. Ветер взвихрил его и швырнул в лицо. Люди невольно зажмурились, закрыли лицо руками.

Суворов стоял, прикрыв глаза ладонью. Кто-то толкнул его. Он отнял ладонь и взглянул. Ветер стих. Мимо Суворова вниз по тропинке спешил один из проводников. Суворов хотел крикнуть, чтоб его задержали, но в это время снизу из расщелин и пропастей донесся вой ветра. Эхо, удесятеряя, катило его. И вдруг он окончился страшным ударом, точно по растянувшимся цепочкой русским войскам ударила громадная невидимая пушка.

Суворовский конь тревожно заржал. Где-то сзади откликнулись другие.

Сразу надвинулась темнота. На горизонте уже не выделялась ни одна вершина. Скалы казались бесформенными массами.

И тотчас же налетел страшнейший порыв ветра. Весь снег, лежавший на горах, пришел в движение. В шаге ничего не стало видно.

Снежинки, легкие, как мука, с силой лепили в лицо. Как иглами, колол резкий ледяной ветер. Дышать стало трудно, — мелкий снег забивал глаза, нос, рот. При каждом вдохе сильно кололо в горле.

Где-то вверху с оглушительным грохотом катились вниз сброшенные ветром камни. Ветер был так силен, что казалось — вся громада скалы, где стоял Суворов, колышется, готовая рухнуть.

Суворов прижался спиной к скале, ожидая, когда стихнет сумасшедший ветер.

Лицо и руки пухли от холода.

Ветер продолжал выть, но выл уже все дальше и дальше. Он походил на крик отчаяния, доносящийся издалека.

И наконец стих.

Суворов на секунду выглянул из-под руки. В непроглядной темени, сквозь туман и снег, блеснула молния. Он сам и все кругом него были в снегу. От тропинки не осталось и следа.

Суворова взорвало:

— Всё против нас. Нет, преодолеем!

Чуть посветлело.

Он оглянулся, чтобы посмотреть вниз, на войска. В этой полутьме все сливалось. И только донесся оклик Аркадия. Он был по-детски испуганный и звучал совсем не по-военному:

— Папенька!

— Я тут! Держитесь, ребятушки! — крикнул, как мог, Суворов.

Его слова опять потонули в новом яростном порыве ветра.

Шел очередной вал.

...Нельзя было сказать, сколько времени — с минутными перерывами — свирепствовала эта страшная снежная буря. Казалось, она продолжается бог весть сколько и что ей никогда не будет конца. Стихало только на минуту, а потом яростный натиск начинался вновь. С новой ужасающей силой, с диким воем налетал ветер, вздымая тучи снега.

Снова где-то тут, рядом, с невероятным грохотом рушились, неслись вниз в стремительном обвале громадные камни.

Снова над головой и внизу, под ногами, оглушительно рокотал гром, точно залпом били десятки пушек, и кромешную тьму прорезал зловещий блеск молний.

Казалось, что гром и молния, ветер, горы и снег — все соединилось для того, чтобы раздавить, уничтожить суворовскую армию.

Озябшие руки творили крестное знамение. Губы невольно шептали:

— Свят, свят, свят!..

Становилось невмоготу.

Люди окончательно коченели от холода, от ледяного ветра, от мельчайших снежинок, которые проникали через одежду, резали тело. Все обледенело. Руки уже не могли ничего держать. Да и ноги держали не всех. Более слабые и раненые, которые не захотели оставаться в Муттене и кое-как шли вместе с войсками, теперь падали на месте.

Каждый думал, что пришел его последний час.

Но вот буря снова затихла. Прошли одна-другая томительные минуты. Все с ужасом, с замиранием сердца ждали: загудит, завоет опять? Если еще раз, тогда — конец...

Но гроза ушла. Становилось все яснее и яснее. Вернулся день, — было еще далеко до полудня.

И где-то вверху раздался пронзительный крик горного орла.

Люди зашевелились, затопали на месте. Отогревались, оттирали лицо, уши, руки, откашливались. Стряхивали снег. Шевелили, отрывали из-под снега упавших, засыпанных товарищей, разыскивали выпавшие из рук ружья.

После бури недосчитались многих людей, лошадей, мулов.

В числе погибших, сорванных ветром вниз, оказался унтер-офицер Воронов. Опираясь о ружье, он ковылял впереди Зыбина. Зыбин помогал ему влезать наверх, подсаживал. Когда налетел пер-

вый шквал, Воронов, как и многие, обернулся к ветру спиной, но не удержался на скале и рухнул куда-то в пропасть. Падая, он царапнул пальцами по зыбинскому плащу, но Зыбин не успел ухватить товарища.

— Да ведь кабы я знал, что он станет оборачиваться! — с жалостью говорил расстроенный Зыбин.

Мушкатеры хмуро молчали, с ужасом поглядывая вниз.

— Да не винись, в чем не виноват, — успокаивал его Огнев. — Все там будем. Вечная ему память!

Тропинка утонула бесследно в сугробах снега. Проводники разбежались. Остался один Антонио Гамма, который и сам не знал здесь дороги.

Двинулись дальше.

Пробиваясь по пояс в снегу, рискуя оступиться, сползти в ущелье, шли наугад.

Проходили мимо водопадов, которые сверху обдавали холодными брызгами, лепились по краю отвесных скал над бездонными пропастями.

Уцелевшие мулы ложились, не хотели идти дальше. Казачьи лошади выбивались из сил.

К вечеру стал по-настоящему жать мороз. Совсем зашлись мокрые необутые ноги, голые руки.

Середина колонны — полки Дерфельдена — еще взбиралась с превеликим трудом на вершину Рингенкопфа. И только авангард Милорадовича сегодня оказался в более счастливом положении: он подошел к спуску в долину еще засветло.

Вечерело. Внизу чернела деревушка Панике. Из труб шел дымок. Так близко были тепло и покой.

Но к этому теплу надо еще было добраться.

Спуск оказался снова еще более трудным, чем подъем.

Ветер сдул весь снег в лощину. На голых камнях блестел один лед. Он сровнял все выступы, выбоины, щели. Ноге негде было стать, не во что упереться. Нога предательски скользила.

Спускаться идучи было нельзя: рано или поздно сорвешься и полетишь вверх тормашками с этой поднебесной выси на выступы, на камни. Оставалось одно: слетать вниз на родимых салазках.

Дымок снизу манил.

Спускаться — так или иначе — приходилось.

Съежившиеся от холода, усталые и голодные солдаты смотрели вниз, в долину, туда, где, точно игрушечные, ходили маленькие люди.

Лететь с дьявольской кручи было все-таки не так легко и просто.

— Чего стали, ребята? Впервой нам, что ли? Отвязывай штыки и айда вниз! — подбадривал своих мушкатеров совершенно синий от холода Милорадович.

Солдаты и офицеры, отвязав от ружей штыки, садились и, перекрестившись, катились вниз, как в детстве с горки. Только никому еще не доводилось катиться с такой горки. Молили Бога лишь об одном, чтобы не наскочить с разгону на камень. Задние налетали на передних. Расцарапывались в кровь, ушибались. Изношенное обмундирование трещало по всем швам, но на все это не смотрели. Внизу вставали на ноги и отряхивались с удовольствием и облегчением.

Хуже было с животными. Лошади и мулы не хотели спускаться. Лошади храпели, лягались, рвались в сторону, но их подводили к спуску и сталкивали. Многие из них, домчавшись книзу, больше не подымались, — оставались лежать с переломанным хребтом или ногами.

Суворова усадили на попону. Впереди него сел Антонио Гамма, а перед Антонио — храбрый казак Ванюшка:

— Ваше сиятельство, я, бывало, у нас на Дону с одного берега на другой летал! Авось на камень не наскочим. А ежели угодим — я первый. Жены, детей нет, плакать некому!

— Не закликай смерть, сама придет! — сказал Суворов, садясь за Антонио Гамму и крепко обхватывая его руками. — Я с детства люблю катанье с гор. Сколько катался я, тебе не довелось. Поехали. С Богом!

И они благополучно домчались вниз.

Так же благополучно скатился Аркадий и весь суворовский штаб.

Струсил один лишь статский советник Фукс.

— Как же я поеду в очках? — твердил он, с ужасом глядя вниз.

— А вы очки снимите!

Фукс суетился возле спуска, примериваясь катиться то с одним, то с другим, но все не мог решиться. Прошка не выдержал:

— Что вы боитесь, ровно энти лошаки, прости господи! У меня вон штаны последние, и то я не трушу, а у вас, я знаю, во вьюке две пары лучших есть. Садитесь за мной! Ничегошеньки с вами не станет!

Статскому советнику пришлось покориться горькой участи: сел.

Они съехали благополучно.

Прошка потом рассказывал Ванюшке:

— Ну и ревел же он со страху, как бык, опившийся браги! И хорошо, что ветром относило!..

Апшеронцам на этот раз повезло: они к ночи были в деревне Панике. Альпы остались позади. Все ужасы остались позади.

А бóльшая часть войск — авангард Багратиона (дивизии Дерфельдена и Розенберга) — еще мучилась на Рингенкопфе. Ночью ударил мороз. Люди заночевали в снегу, на ветру и морозе.

Как и на Росштоке, стояли, сидели и лежали, где застигла ночь. Но здесь оказалось во много раз хуже: даже прутика нельзя было достать для костра. Ужасную ночь коротали без огня. Казаки жгли древки от пик.

Кто не уберегся, перестал шевелиться, поддался сну, тот замерз.

На следующий день войска собрались в деревне Паникс и двинулись к Иланцу. Дорога уже была широкая, не приходилось опасаться, что какой-либо один неверный шаг окажется гибельным.

После мрачных горных ущелий и темных скал Росштока и Рингенкопфа, на которых, кроме снега и мха, ничего не видно, показались живописные, покрытые лесом склоны гор, зеленеющие луга, пашни, деревни: Стало теплее.

27 сентября армия Суворова с немногими уцелевшими лошадьми и вьюками собралась в небольшом городе Кур.

Непроходимые, страшные Альпы остались позади.

Здесь Суворов осмотрел свои победоносные войска.

В изодранном обмундировании, почти без обуви, исхудавшие, черные от бесхлебицы, холода и прочих лишений, стояли полки. Все показное, павловское — пудра, букли, штиблеты, эспонтоны, алебарды — все это исчезло бесследно. Перед Суворовым безо всяких «прусских затей» стояли его всегдашние русские чудо-богатыри.

Суворов говорил войскам:

— Штыки, быстрота, внезапность — вот наши вожди. Неприятель думает, что ты за сто, за двести верст, а ты, удвоив, утроив шаг богатырский, нагрянь на него быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него как снег на голову. Рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться: кто испуган, тот побежден вполовину. У страха глаза больше — один за десятерых покажется. Будь прозорлив, осторожен: имей цель определенную. Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед. Поравняйся, обгони — слава тебе! Я выбрал Кесаря. Альпийские горы за нами — Бог пред нами: ура! Орлы русские облетели орлов римских!

Могучее «ура» было ответом на эти вдохновенные слова.

В Куре Суворов смог впервые подсчитать свои потери в Швейцарии. За шестнадцать дней беспрерывных боев и немыслимых переходов по альпийским кручам Суворов потерял меньше одной трети своей 20-тысячной армии.

— Александр Великий при движении через степи Гедрозии потерял три четверти армии. Ганнибал при переходе от Роны к По из сорока шести тысяч привел лишь двадцать шесть. Помилуй Бог, мои потери совсем невелики! — говорил Александр Васильевич своему племяннику Андрею Горчакову.

В Куре впервые за много дней солдаты получили мясную и винную порцию, обогрелись, — дров было достаточно. Возле жарких бивачных костров мылись, приговаривая:

— Эх, хорошо эту бессрочную амуничку побелить!

Стирали белье, кое-как чинили обувь, латали обмундирование. Пели песни, шутили. Переход через Альпы остался как тяжелый сон.

— Ну и горы, пропади они пропадом!

— Как еще ноги и вынесли!

— Смерть русскому солдату — свой брат...

— Никто, как Бог!

— Верно сказывает наш батюшка Александра Васильевич: Бог нас водит, он наш генерал!

Из Кура ушел к себе домой Антонио Гамма.

Суворов хотел щедро наградить его, но старик наотрез отказался от золота:

— Я не из-за этого шел!

Суворов уговорил его принять в подарок дорогую табакерку.

Этот подарок русского полководца Сульверо Антонио Гамма согласился взять на память.

Они обнялись на прощанье, и оба прослезились.

Суворов вышел провожать его на крыльцо. Стоял вместе с Аркадием, слугами, глядел ему вслед.

Антонио Гамма шел мимо солдатских костров. Солдаты, знавшие Антонио Гамму, жали ему руки, махали треуголками, гренадерками, кричали:

— Домой собрался? Хорошее дело!

— Прощевай, дружок!

— Счастливый путь!

— Спасибо, что не оставил нас!

У поворота дороги Антонио оглянулся в последний раз. Суворов все еще стоял на крыльце, — Антонио хорошо знал его фигуру. Антонио снял шляпу, помахал ею. В ответ Суворов замахал рукой.

Антонио Гамма засморкался, уронил последнюю слезу и с грустью поплелся из Кура.

Глава десятая

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ

I

Андрей Горчаков вышел вместе с князем Багратионом из фельдмаршальской палатки: Суворов, по старому своему обычаю, вскоре после обеда лег часика на два отдохнуть.

Русские войска возвращались после войны домой. Их знамена были покрыты новой, неувядаемой славой. Недаром Суворов сказал: орлы русские облетели орлов римских!

Ничто, никакие трудности и лишения не смогли сломить русского человека: ни сильный враг, ни природа.

Русские войска так же хорошо били врага в этих непривычных швейцарских горах, как бивали не раз в придунайских степях, в прусских лесах, в польских болотах. Далеко позади осталось все: неприступные, уходящие в облака альпийские вершины, узенькие, осыпающиеся под ногами оленьи тропочки, мрачные пропасти, леденящие струи низвергающихся водопадов.

Позади остались — привал на острых камнях под насквозь пронизывающим ветром, ночлег на снегу без огня и горячей пищи, мокрая, никогда не просыхающая одежда, изорванная обувь.

Позади остался голод.

Суворовские полки возвращались из Баварии, где они стояли на квартирах, в Россию. Суворов разделил всю свою армию на три корпуса. Двум из них положено было идти через Богемию, а третьему — через Моравию.

Сегодня полкам был назначен роздых. Отсюда дороги расходились: завтра одни сворачивали налево, другие — направо.

В лагере стояла тишина: солдаты чинили изношенное обмундирование и обувь.

День выдался ясный и чистый. Осень уже подходила к концу, но на солнце еще было тепло. На солнечной стороне палатки пригрелись, жужжали мухи.

— Сколько в эту пору у нас, в Грузии, вина! И какого! — мечтательно сказал Багратион, глядя куда-то вдаль.

— Зайдемте ко мне, князь, посидим, — предложил Горчаков. — Вином угощу, но, конечно, не грузинским, а таким, какое пили за обедом у дядюшки, — сущая немецкая кислятина...

— Спасибо. Посмотрите, — остановился Багратион, — по дороге кто-то скачет. Уж не из Петербурга ли?

— Где?

— Вон, уже поравнялся с коновязями драгун, — смотрел своими быстрыми глазами Багратион. — Да это к нам! Должно, фельдъегерь.

— Разбудят дядюшку, — поморщился Горчаков. — Придется попридержать, пока Александр Васильевич сам не проснется. С бумагами за два часа ничего не станет — все равно спешного не предвидится. А может, это из Вены, а не из Петербурга?

— Из Петербурга. Офицер-то не в белом, австрийском мундире, а в нашем, зеленом.

— Да, верно. И как раз Михаил Андреевич увидал его. На ловца и зверь.

Горчаков и Багратион поспешили навстречу фельдъегерю, который вместе с Милорадовичем быстро шел к палатке фельдмаршала.

Фельдъегерь с любопытством озирался кругом. Красивое лицо Милорадовича было почему-то возбуждено.

— Это Алешка Зайцев, — узнал издалека Горчаков. — Алешенька, здравствуй! С чем бог несет?

— Господа, — оживленно перебил Милорадович, — радостная весть: государь пожаловал его сиятельству Александру Васильевичу Суворову звание генералиссимуса!

— Отменно! Прекрасно! — просиял Багратион.

Горчаков был не менее обрадован и изумлен:

— Что ж, придется пойти разбудить дядюшку?

— Нет, нет! — замахал Багратион. — Знаете, господа, что надо сделать? Пусть Александр Васильевич спит на здоровье, а мы потихоньку подымем полки. Выстроим их перед палаткой «покоем». Со знаменами, с музыкой.

— Правильно! Он сам любит все неожиданное. Встанет, ничего не зная, а тут... — подхватил Горчаков.

— Мысль хорошая. Надо уважить нашего отца. Это слава не только его — это слава всей России. Он в труднейшую минуту спас армию, спас честь отечества, спас всех! — горячо сказал Милорадович. — Пойдем, князь Петр, выводить полки, пока Александр Васильевич не проснулся!

— Не спешите: дядюшка раньше полутора часов не проснется, — сказал Горчаков, уводя к себе фельдъегеря.

— А как встретили эту новость в Петербурге? — обернулся к Зайцеву Багратион.

— Полное ликование. Ростопчин говорит, что государь, подписывая рескрипт, сказал: «Это много для другого, а Суворову — мало!»

II

Полки без шума строились «покоем» возле палатки Суворова. Кавалерия и казаки были в пешем строю. На местах остались только часовые.

Весть о том, что их отец, их любимый Александр Васильевич, удостоился получить высшее воинское звание, какое только есть на свете, — генералиссимуса — мгновенно облетела роты, эскадроны, батальоны, полки. Мушкатеры и егеря, драгуны и казаки восторженно приняли ее. Строились с охотой, быстро и сторожко, — старались не звякнуть ружьем, не оступиться, не разбудить «дивного».

В шеренгах хотя и шепотом, но говорили:

— Потише, чего ломишь ровно медведь...

— Он-то наш сон бережет. Помнишь, как при Крупчицах стояли на карауле? Ночь, все спят, а ему и сон нейдет. Вышел, говорит с нами и все просит: «Потише, ребятушки, не шумите, пусть мои витязи выспятся»...

— Дяденька, как его звание-то? Я и позабыл уж...

— Ге-не-ра-лис-си-мус...

— Мудреное, не выговорить...

— В походе, в горах энтих проклятущих, когда он, сердешный, и спал?

— Часто на коне только и дремал.

— Он ето звание заслужил. Кабы не он, разве выдержали бы?

— Еще бы — такой вражина окаянный. Это тебе не турок!

— Мы, бывало, чуть ноги тащим, и словечка от устали не вымолвить. А батюшка Александр Васильевич — отколе ни возьмись — подъедет да как затянет таково весело: «Вдоль да по речке...» Всю усталь как рукой!

— Для него — ничего не жалко!

— Говорят, царь так и сказал: другого, говорит, такой чин с головой укроет, а ему, нашему родному, — в самую пору...

Меньше чем в час выстроились полки. Они стояли, готовые встретить со всеми воинскими почестями своего любимого полководца, поздравить его с высоким отличием.

Музыканты всех полков поместились отдельно. Прямо перед палаткой Суворова пестрел куст ротных и полковых знамен.

Генералы Багратион, Милорадович, Тучков, оба племянника Суворова генералы Горчаковы и его сын, высокий красивый генерал-адъютант Аркадий Александрович Суворов, в полной парадной форме стояли впереди. Они обступили царского посланца, бригадира Зайцева.

Зайцев, счистивший дорожную пыль и умывшийся, рассказывал петербургские новости: кого из офицеров Павел I разжаловал в солдаты, кого из солдат произвел в офицеры, кого выключил из службы, кому выговор «с наддранием».

«Главный камердинер» фельдмаршала Прошка, надевший для такого случая две свои золотые медали, которые сардинский король пожаловал ему за сбережение здоровья Суворова, важно прохаживался у палатки, то и дело заглядывая, не встал ли барин.

Прошка держал себя солидно, был доволен случившимся, но виду не показывал. Великая честь барину — стало быть, такая же честь и ему. Барин становится выше — стало быть, и он выше: то был «камардин» фельдмаршала, а то — генералиссимуса!

А казак Ванюшка — глупый, несамостоятельный человек: вся радость на роже так и отпечаталась. Хоть бы волос салом не мазал и латаных сапог тряпкой не тер, — видать: доволен! Нет в человеке настоящего понятия!

Все стояли, ждали. С нетерпением поглядывали на палатку, не шевельнется ли полотнище, не послышится ли быстрый, веселый суворовский басок.

III

Суворов спал. Ему снилась какая-то нелепица: будто он едет верхом на громадном буром медведе по горам. Он едет один, а где-то вот тут, за горой, идут его полки. Суворов слышит их многоголосый говор. И он, как тогда на походе, затянул:

Что девушке сделалось,
Что красной доспелось?..

И проснулся.

Никакого медведя, никаких полков. Та же палатка, то же сено, тот же китель с аннинским крестом.

Но в ушах почему-то еще слышится приглушенный гул многих сотен голосов.

Протер ладонью глаза. Кашлянул. Сел.

Конечно, никаких голосов: за палаткой — тишина.

В палатку тотчас же юркнул ловкий, расторопный казак Ванюшка. Плутовские глаза его сегодня как-то особенно улыбались. И весь он сам — Суворов сразу же, по своему уменью все быстро схватывать, увидел — почистился, помылся. Глядел именинником.

«Небось доволен роздыхом. Улизнет куда-либо ввечеру к девушкам. Поди, насмотрел. Маху не даст!»

Подмигнул:

— Что, Ванюшка, к девушкам собрался?

Казак, помогавший фельдмаршалу одеваться, смущенно хихикнул.

Затем на секунду показалась рожа самого «камардина» Прошки. Обознался или так попритчилось: у Прошки на шее блеснули обе его золотые медали.

«Что это они сегодня?»

Снова прислушался: конечно, за палаткой — всегдашняя лагерная тишина. Отдыхают, обшиваются, обмываются.

Невольно улыбнулся, вспомнив, как по уставу о полевой пехотной службе каждый солдат должен в год получить три пары башмаков да две пары подметок. А тут у солдата одна пара, да и от той ошметки остались.

— Погода не испортилась?

— Никак нет. Очень даже замечательная! — весело отозвался казак.

Не надевая каски, Суворов пошел к выходу. На ходу напевал свою любимую песенку:

Что девушке сделалось...

Шагнул из палатки — и замер.

Перед ним, выстроившись как для парада, стояли войска. Вот его «богатырский полк» — апшеронцы, вот москвичи, киевляне, бе-

лорусцы. Казаки, драгуны, егеря. Все старые боевые товарищи. Его генералы-любимцы — Багратион, Милорадович, племянники Горчаковы, сынок Аркадий. Все молодые — самому старшему из них — Багратиону — едва только за тридцать. Все в парадной форме.

— Помилуй Бог, что это? Почему?

Не успел он спросить, как Багратион скомандовал:

— Смирно! На кра-ул!

Полки четко взяли на караул. Все замерло.

И тогда, точно с рапортом, к нему шагнул незнакомый бригадир с большим пакетом в руке. Бригадир был молод, веснушчат, курнос.

«Фельдъегерь. Снова поход!» — радостной волной ударило в голову.

Бригадир, сняв треуголку, уже докладывал о том, что прислан от его императорского величества. Подал пакет.

Суворов взял пакет. Отнес подальше от глаз. На пакете было написано:

«Генералиссимусу, князю Италийскому,
графу Суворову-Рымникскому».

Сломал большие сургучные печати, развернул плотный лист. Буквы сливались.

«Проклятые глаза!»

— Читай! — передал он бригадиру.

Веснушчатый бригадир ломким, еще юношеским баритоном звучно, на весь лагерь, прочел:

«Князь Александр Васильевич!

Побеждая повсюду и во всю жизнь Вашу врагов Отечества, недоставало еще Вам одного рода славы — преодолеть и самую природу! Но Вы и над нею одержали ныне верх. Поразив еще раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистию против Вас вооруженных. Ныне награждаю Вас по мере признательности моей и, ставя на высший степень чести, геройству предоставленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полководца сего и других веков.

Пребываю Вам благосклонный

Павел.

Гатчина, октября 25. 1799 г.»

Что это? Царь Павел I, так не любивший Суворова, все-таки вынужден оценить его подвиги по достоинству?

Что это? Он — генералиссимус! Как Кондэ, Монтекукули, Евгений Савойский?

В одно мгновение пронеслась вся жизнь, все пятьдесят с лишком лет службы в армии.

Годы ученья. Ссылка. Происки завистников. Клевета.

И победы, победы, победы...

И тут, перебивая его мысли, вырвалось громовое — из тысячи уст — «ура». Оно катилось, потрясая воздух.

Вслед залились трубы, загрохотали барабаны, — музыканты грянули гренадерский марш, который царь пожаловал всем полкам корпуса Суворова.

Суворов рванулся вперед к этим шеренгам, но его предупредили. Багратион, Милорадович и Горчаковы бережно подхватили генералиссимуса на руки.

Опираясь на их плечи, он возвышался надо всеми.

Пробитые пулями, изорванные ядрами, изрубленные клинками, шелестели вокруг него славные боевые знамена.

Слабый ветерок чуть шевелил серебристую прядь его волос, причудливо спускавшуюся на лоб. Глаза блестели, словно перед атакой.

— Вольно! — махал он, стараясь перекричать.

И тогда шеренги бросились вперед, как делали всегда, когда их «дивный» говорил с ними.

Солдаты и офицеры со всех сторон плотной стеной окружили любимого генералиссимуса.

И он заговорил.

...Ефрейтор Зыбин досадовал, что ему пришлось стоять в карауле. Он вытягивал шею, стараясь расслышать, что говорит батюшка Александр Васильевич.

До него доносились только отдельные слова генералиссимуса:

— Отечество... Народ русский... Слава...

IV

Александр Васильевич следовал с дивизиями через Богемию. В Праге он пробыл рождество. Как и в других городах, где на походе бывала главная квартира Суворова, она в Праге пользовалась всеобщим вниманием. Чтобы только взглянуть на непобедимого генералиссимуса, издалека приезжали иностранные генералы, министры, знатные дамы. Ловили каждое его слово. Дамы целовали его руки.

Курфюрст Саксонский прислал в Прагу своего известного придворного портретиста Шмидта. Однажды утром, когда Суворов сидел еще в одном белье, Фукс пришел доложить, что явился Шмидт.

Суворов хотел отказаться позировать, но Фукс напомнил ему, что сказали Монтескье, который также отказывался: «Разве в отказе меньше гордости?»

Суворов махнул рукой:

— Ну, пусть идет! Только чтоб недолго!

Не успел Шмидт войти, как уже стал что-то набрасывать на бумагу.

Суворов схватился:

— Что вы меня в таком виде рисуете? Эй, Прошка, неси мундир!

Слава генералиссимуса Суворова гремела по всему свету.

В Праге Суворов был необычайно весел. Еще ни разу он так часто не появлялся в обществе, как здесь.

Весело провел Александр Васильевич в Праге русские святки. Он забавлялся тем, что заставлял чопорных немецких дам играть в жмурки, ходить в хороводах и петь по-русски хороводные песни. Танцевал, играл в любимую игру «жгуты» и больно хлестал жгутом важных австрийских сановников.

Глядя на Суворова, никто не мог бы подумать, что ему семьдесят лет и что дни его сочтены.

В половине января 1800 года русская армия двинулась дальше.

В Кракове Суворов сдал генералу Розенбергу армию и отправился в Петербург — император ждал его. Суворову готовили небывало торжественный прием. В Гатчине его должен был встретить с рескриптом флигель-адъютант. Комнаты отводились генералиссимусу в самом Зимнем дворце.

Но уже в Кракове Суворов почувствовал себя плохо. Сначала его сильно мучил кашель, который разбивал всю грудь. Затем по телу пошли сыпь и пузыри. Они постепенно покрывали все тело. Путешествие пришлось остановить. Суворов доехал до своего имения в Кобрине и тут слег.

Павел I, узнав о болезни генералиссимуса, отправил к нему лейб-медика Вейкарта.

Суворов немного поправился уже — вставал с постели, ходил в церковь. Всю жизнь не признававший никаких лекарств, Суворов не хотел подчиняться предписаниям латинской кухни и слушал советы только своего фельдшера Наума. Вейкарт убеждал Суворова, что он должен одеваться потеплее.

— Мне кутаться негоже — я солдат.

— Нет, вы — генералиссимус!

— Правда, генералиссимус, да солдат с меня пример берет! Не в шубе дело. Мне надобна деревенская изба, молитва, кашица да квас! — упрямо стоял на своем Суворов.

И если кто-либо заводил разговор о торжественном приеме, который готовился ему в Петербурге, Суворов говорил:

— Вот это вылечит меня лучше, чем Иван Иванович Вейкарт. (Всех иностранцев Суворов обязательно называл «Иванами Ивановичами».)

Но иногда, когда приступы кашля усиливались, он уныло заявлял:

— Нет, стар стал. Поеду в Петербург, увижу государя и потом — в деревню умирать! Долго гонялся я за славой, все мечта: покой души у престола Всевышнего!

Наконец Вейкарт нашел, что Суворов может отправиться в путь-дорогу. Решено было ехать медленно, не более двадцати пяти верст в сутки.

Суворов ехал в дормезе, лежа на перине.

V

Дормез тихо покачивался.

Александр Васильевич лежал и думал.

Адъютант штабс-капитан Ставраков, читавший генералиссимусу газеты, вылез из дормеза поразмяться. Фельдшер Наум дремал в ногах барина, в уголку.

Сегодня Александр Васильевич чувствовал себя неплохо, — даже не очень досаждал кашель. Сегодня госпожа фликтена, как называли врачи болезнь Суворова, была милостива к больному.

Суворов лежал и думал о своем предстоящем въезде в столицу. Одна заманчивее другой вставали картины: о готовящейся встрече писал Ростопчин.

...В Нарве его будут ждать придворные кареты. Флигель-адъютант с царским письмом... Он превозможет боль, на последней станции сядет: ведь на улицах Петербурга фрунтом выстроится гвардия. Барабанный бой. Пушечная пальба. Крики «ура». Колокола. Иллюминация.

Триумф!

До какой славы он дожил!

Суворов повернулся на другой бок.

Почему второй день все они такие оторопелые, эти адъютанты? Не смотрят в глаза, точно провинились в чем. Вот и теперь. Ставраков подозрительно быстро прочитал газету и улизнул. Не случилось ли чего?

— Наум! — крикнул он. — Наум!

Фельдшер открыл глаза.

— Позови мальчика!

Наум проворно вылез. Суворов с трудом приподнялся и сел.

Через минуту открылась дверь, и в дормез осторожно влез Ставраков.

— Чего сегодня вы от меня бежите, как от чумного? Что случилось?

Генералиссимус смотрел на Ставракова пристально, суворовским, проникающим в душу взглядом.

Молчать, притворяться больше нельзя.

— Что-либо из Петербурга?

— Получили рескрипт, — глухо ответил Ставраков.

Суворов вспыхнул. В томительном предчувствии беды упало, сильно забилось сердце.

Подумалось: «Снова? Не может быть!»

— Читай!

Ставраков вытащил дрожащими руками из кармана рескрипт и, не повышая голоса, по-дьячковски, прочел:

— «Господин Генералиссимус, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский!

Дошло до сведения моего, что во время командования Вами войсками моими за границею имели Вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех моих установлений и высочайшего устава, то и, удивляясь оному, повелеваю Вам уведомить меня, что Вас понудило сие сделать».

«Так и есть: снова немилость! Обнесли. Все пошло прахом!..»

Суворов закрыл глаза, откинулся назад. Тело его как-то сразу обмякло. Суворов полулежал.

Он слабо махнул рукой. Адъютант вылез из дормеза.

Вылезая, Ставраков глянул мельком на генералиссимуса. По исхудалой, впалой щеке Суворова катилась слеза...

VI

Александр Васильевич, покрытый холстиной, лежал на лавке у образов, словно покойник.

После известия о царской немилости ему сразу стало хуже: опять начал бить кашель, опять по всему телу пошла огневица.

Пришлось остановиться в деревне у Вильны.

Александр Васильевич лежал в избе один. Адъютанты тревожно шептались за дверями. При нем неотлучно сидели фельдшер Наум, которому Александр Васильевич верил больше, чем лейб-медику Вейкарту, и Прошка. Суворов видел по глазам: все думают, что он умирает.

Он слышал, как на дворе, под маленьким тусклым оконцем хаты, шуршали, точно мыши, деревенские ребятишки. Слышал их испуганное:

— Тут лежить. Помирае...

Он слабо улыбнулся ребячьему лепету.

Было тяжело и больно. Сам себе признавался: «Ветшаю ежечасно...»

Но смерти он еще не чувствовал. Голова еще работала ясно.

Он лежал и мучительно думал: кто? Кто обнес, оклеветал его? Кто снова настроил царя против Суворова?

Великий князь Константин Павлович?

Когда в Италии, у Басиньяно, великий князь очертя голову бросился на превосходящие силы французов и русские понесли урон, Суворов хорошо отчитал великого князя. Константину Павловичу, конечно, это понравиться не могло, но он быстро понял, что сам виноват. И во весь Итало-Швейцарский поход великий князь держался хорошо, солдатом. К Суворову был почтителен и добр.

Нет, Константин Павлович такой подлости не сделает!

Выплыло хитрое лицо статского советника рыжего Фукса.

Недаром он — Фукс, лисица. По шерсти и кличка. Царский соглядатай.

В походе он был кроток, как ягненок. В Швейцарии от страха заболел медвежьей болезнью, а как спустились с Рингенкопфа на твердую землю, вдруг переменился, заважничал. Вдруг объявил правителю канцелярии полковнику Лаврову, что он не зависит от Александра Васильевича, что имеет секретные поручения.

Он! Другого никого нет и не может быть!

Суворов застонал. Сквозь натужный кашель вырвалось:

— Боже, за что страдаю? Лучше б я умер в Италии! Лучше б погиб в альпийских горах!

— Ну, завел свою песню! Будя! — притворно грубо оборвал его Прошка. — Лучше бы, лучше бы!.. Солдат, а раскудахтался... Лучше бы домой поскорей ехать. В Петербурге вас ждут не дождутся. И чего убиваться-то раньше времени? Ничегошеньки не случилось, а он... Генералиссимусом был, им и остался. А выговор — что? Выговор может всякий получить. Военная служба, она, брат, такая!..

Александр Васильевич никогда не обращал внимания на Прошкины рацеи, но на эти слова невольно подумал: «А ведь говорит резонно. Так твердят и адъютанты. Мол, ничего не случилось. Император Павел сыплет выговоры направо и налево. У царя не семь, а тридцать семь пятниц на одной неделе! Может, они и правы?»

В этом измученном, исстрадавшемся старом теле опять пробудился неугомонный суворовский дух.

Александр Васильевич порывисто приподнялся:

— Не ворчи! Зови адъютантов. Поехали дальше!

VII

Тихим апрельским вечером въезжал суворовский дормез в Стрельну.

Приближаясь к Стрельне, Суворов собрал последние силы и велел надеть на себя парадный мундир. Облокотившись на подушки, он полулежал в дормезе.

Вечер был теплый. Окна дормеза Александр Васильевич велел опустить, — ветра не было.

Он ехал, втайне еще надеясь на то, что хоть в Стрельну император пришлет своего флигель-адъютанта встретить генералиссимуса.

В Нарве не оказалось ни придворных экипажей, ни царского посланца.

В Стрельне, у знакомого почтового двора, как на каждой станции в далеком пути от Кобрина до Петербурга, стояла и ждала генералиссимуса толпа народа. Крестьяне и солдаты, горожане и чиновники, ремесленники, причетники и купцы. Женщины и дети. Стар и мал. Теснились к дормезу Суворова.

Царь не пожелал встретить великого полководца, — его встречал народ.

В Стрельне Александра Васильевича ждали родные — Аркадий, Димитрий Иванович Хвостов — и князь Багратион.

В окна дормеза со всех сторон тянулись букеты цветов. Женщины подносили к окнам детей.

Суворов был тронут этой встречей до слез:

— Спасибо, родные! Спасибо!

Он благословлял детей, которых протягивали к нему.

Вечерело.

Политичный, осторожный Димитрий Иванович торопил дядюшку поскорее ехать домой, — боялся, чтобы эту встречу не сочли за демонстрацию. Суворов же не спешил. Сумрак белой ночи был кстати опальному генералиссимусу: лучше незаметно проехать по опустевшим петербургским улицам до тихой Коломны, к дому Хвостова на Крюковом канале.

VIII

На следующий день по приезде Суворова в Петербург к нему явился посланец царя.

Суворов был так слаб, что уже не вставал с постели. Теперь он лежал не на сене, а на перине в кровати.

Димитрий Иванович Хвостов вбежал в комнату дядюшки:

— От государя!

И, не дождавшись, что скажет Суворов, кинулся назад, широко распахнул дверь:

— Пожалуйте, ваше сиятельство!

Прошка, поправлявший постель барина, не успел выйти из комнаты, отошел в сторонку.

Александр Васильевич чуть приподнялся на подушках, чтобы посмотреть, кто пожаловал.

В красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо вошел черноволосый смуглый Кутайсов, бывший царский брадобрей, а ныне граф.

Суворов метнул глазами: «Издевается! Нашел, кого посылать!»

— Кто вы, сударь? — гневно спросил он.

— Граф Кутайсов.

— Граф Кутайсов? Кутайсов... Помилуй Бог, не слыхал такого графа. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове не слыхал! А что вы такое по службе?

— Обер-шталмейстер[1].

— А прежде чем были?

— Обер-егермейстер[2].

— А прежде?

Кутайсов запнулся. Он стоял краснее своего мальтийского мундира.

За его спиной Хвостов, в ужасе воздевая руки, поспешно скрылся за дверью.

— Да говорите же, сударь!

— Камердинер, — выдавил Кутайсов.

— То есть вы чесали и брили своего барина?

— Т-точно так-с...

— Прошка! Вот взгляни на этого господина. Он был такой же холоп, как и ты. Да он турок. По их магометанскому закону пить нельзя. Вот и видишь, куда он взлетел. Его к Суворову посылают! А ты пьешь как лошадь. Из тебя толку не выйдет!

И Суворов отвернулся к стене.

Кутайсов ушел не солоно хлебавши.

Провожая графа Кутайсова до кареты, Хвостов лепетал, что, к сожалению, дядюшка слаб, дядюшка никого не узнаёт, дядюшка бредит.

— Да, да, он бредит, — соглашался сконфуженный Кутайсов.

---

[1] Придворный конюший.

[2] Заведующий царской охотой.

Но пока что Суворов еще не бредил. Временами ему даже становилось как будто легче. Его возили по комнате в кресле. Все врачи удивлялись, как в этом немощном теле цепко держится жизнь.

— Жизненные запасы его удивительны, — говорили врачи.

Суворов понимал, что жить ему осталось немного. Но жить он так хотел!

Все подбадривали его, говорили, что он поправляется.

— Мы еще в Кончанское поедем, рыбу ловить будем, — говорил фельдшер Наум.

— Нет уж, брат, отловил я... Мне не встать...

— Дядюшка, я знаю, что вы от этой болезни не умрете, — старался уверить его Димитрий Иванович Хвостов.

— Думаешь?

— Убежден!

— Ладно. А ежели я останусь жив, сколько еще лет проживу?

— Пятнадцать.

— Злодей, скажи: тридцать!

Но все-таки с каждым днем он слабел все больше и больше. Он прекрасно помнил далекие годы турецких войн, но путал названия городов, рек в прошлогоднем Итало-Швейцарском походе.

Больше надоедливой фликтены угнетала Александра Васильевича царская опала: она добивала последние силы генералиссимуса.

Суворов на Крюковом канале жил уединеннее, заброшеннее, чем даже в Кончанском: он был заперт в четырех стенах комнаты.

Царская немилость не ослабевала.

Павел I лишил Аркадия звания генерал-адъютанта, которое он пожаловал во время Италийского похода, и определил его вновь в камергеры. А 25 апреля отнял у генералиссимуса Суворова его адъютантов.

Это окончательно убило Александра Васильевича. Напрасно Хвостов доказывал дядюшке, что сейчас такая полоса, что Павел I сыплет выговоры генералам направо и налево, что за весну он уволил из армии трех полных генералов, шестнадцать генерал-лейтенантов и пятьдесят семь генерал-майоров.

Суворову от этого было не легче.

Здоровье его ухудшалось с каждым днем. Жизнь уходила.

И на второй неделе своего пребывания в Петербурге Суворов стал все чаще терять сознание. На пятнадцатый день ему стало очень плохо. Царь, узнав о его тяжелом состоянии, прислал к нему князя Багратиона.

Когда Багратион приехал вечером на Крюков канал, в доме Хвостова стоял переполох. В прихожей неистово сморкался, пла-

кал денщик Прохор. Перепуганные дворовые девушки Хвостовых сбились у двери прихожей, несмело заглядывали в залу.

Навстречу Багратиону выбежал сам Димитрий Иванович Хвостов — растерянный и растрепанный.

Александр Васильевич лежал без сознания. Племянница Аграфена Ивановна и заплаканный сын Аркадий (дочь Наташенька была в Москве) терли Александру Васильевичу спиртом виски. Фельдшер Наум давал нюхать спирт.

Багратион застыл у кровати. С перекошенным от боли лицом он смотрел на своего учителя и друга.

Суворов, худенький и маленький, лежал с закрытыми глазами.

Вот наконец он с усилием открыл глаза. Смотрел куда-то вверх, в одну точку. Потом медленно перевел глаза ниже, на Багратиона.

Багратион сделал движение к нему, робко улыбнулся.

Но Суворов еще, видимо, не узнавал своего любимца.

Улыбка сползла с лица Багратиона.

Суворов с минуту смотрел на Багратиона в упор. Потом в его потускневших глазах мелькнула искра сознания.

— А, это ты... Петруша. Здравствуй! — с трудом сказал он и опять закрыл глаза.

В безумной тоске, в отчаянии бросился Багратион к Суворову. Он опустился на колени, припал к этой исхудавшей руке, которая всегда указывала ему путь к славе.

Великий полководец уже шел в свой последний переход...

IX

Северны громы в гробе лежат.

Державин

Унтер-офицер Огнев, уволенный от службы по старости лет, и ефрейтор Зыбин, получивший отпуск, помаленьку доставлялись домой. Путь их лежал через Петербург. В столицу они попали в Николин день. Здесь их ждала ужасная, потрясающая новость: в воскресенье 6 мая, во втором часу пополудни, скончался их «дивный». Умер батюшка Александр Васильевич.

Друзья, не отдохнув с дороги, только умывшись и почистившись, направились на Крюков канал, к дому Хвостова, чтобы в последний раз поклониться своему генералиссимусу.

Ни Огнев, ни Зыбин, конечно, ни разу не бывали в этом доме графа Хвостова и не знали точно, где он находится.

Будочник у Торгового моста указал им на двухэтажный дом:

— Да вон энтот. Ступайте за певчими, вон пошли от Николы Морского.

Огнев и Зыбин обрадовались, что можно идти вслед за кем-то. Они догнали певчих и за ними поднялись по узкой лестнице на второй этаж.

В прихожей пахло ладаном, хвоей, свечами. Было полно народу.

Входили и выходили какие-то барыни и господа. В углу немолодой протоиерей, заворотив широкий рукав рясы, торопливо расчесывал гребнем окладистую бороду. Дьякон откашливался рокочущим басом. Лысый пономарь раздувал у печки кадило.

Сквозь толпу в настежь раскрытые двери прихожей и залы виднелся ее уголок, затянутый черным сукном. На черную стену падал красный отблеск свечей.

Из залы слышался монотонный, журчащий, точно ручей, голос чтеца.

Мушкатеры в нерешительности остановились: можно ли сюда солдату?

И вдруг из этой чужой толпы вынырнул свой, знакомый, денщик Александра Васильевича Прохор Иваныч. Он был в лучшем кафтане, с двумя золотыми медалями на груди. Его лицо распухло от неумеренных возлияний последних дней.

Нисколько не смущаясь присутствием разных господ, Прошка кинулся к мушкатерам, громко крича:

— Братцы родимые! Чудо-богатыри! Орлы суворовские! Умер наш батюшка!

И в пьяных слезах припал к плечу Огнева, причитая:

— Всю жизнь страдал. Настрадался. И умер в день Иова Многострадального.

Огнев заморгал глазами.

— Пойдемте, поглядите на нашего соколика!

Прошка потащил мушкатеров в залу. Господа невольно расступились перед ними.

Огнев и Зыбин вошли в залу. Все стены ее были обтянуты черным сукном. Только вверху, под потолком, бежала белая полоска карниза. Посреди залы на высоком катафалке стоял гроб.

Первое, что увидал Огнев, что запечатлелось, было до боли знакомое, родное лицо. Тонкий нос. Впалые, исхудавшие щеки. И губы, сложенные в ироническую, снисходительную улыбку. Глаза были закрыты.

Александр Васильевич закрывал глаза, когда задумывался или бывал чем-либо недоволен.

Казалось, эти ясные глаза откроются, плотно сжатые губы разомкнутся и скажут со смешком: «Эх вы, немогузнайки!»

Огнев упал на колени. Сзади за ним грохнулся Зыбин. Размашисто крестясь и вздыхая, Огнев зашептал: «Господи-Сусе!»

Вслед за ними в залу вошли протоиерей, дьякон и певчие. Лития началась.

Сотрясая воздух, загремел могучий дьяконский бас. Все слова у него получались круглыми и упругими. Они как-то легко, непроизвольно соединялись воедино. Бас рокотал, точно хотел разбудить Александра Васильевича от его страшного сна.

Протоиерейский тенорок был скорбен и тих. Протоиерей говорил раздельно, не спеша, но негромко. Он словно боялся потревожить покой Александра Васильевича.

А тенора́ слаженного, стройного мужского хора заливались в безысходной, неизбывной печали так, что из глаз сами собой катились слезы.

Было невероятно слышать, как протоиерей говорил:

— Упокой душу усопшего раба твоего болярина Александра...

Не верилось, не хотелось верить, что «болярин Александр» — это он, их «дивный», их батюшка Александр Васильевич.

Но хор безжалостно подтверждал это, с торопливой настойчивостью повторяя:

— Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего!

И подчеркивал слово «усопшего».

Стоя на коленях, Огнев уже не мог видеть лицо Александра Васильевича. Оно утопало где-то там, вверху, в цветах, в синих облаках пахучего ладана.

Сквозь набегавшие на старческие глаза частые слезы расплывалось, колебалось пламя свечи, которую пономарь протянул Огневу в руки. Огнев держал свечу и смотрел на этот переливающийся, текучий желтый огонек.

В воспоминаниях проносилась вся жизнь Александра Васильевича и своя. Сорок лет они шли бок о бок. Вспоминался Суворов таким, каким был на Кунерсдорфских холмах, в степях Молдавии, под стенами Измаила и Праги, в горах Швейцарии.

Невольно думалось о том, что и его дней осталось не так уж много...

Огнев старался вслушиваться, вникать в слова, которые произносил протоиерей. Далеко не всё понимал он. На такой литии Огнев был впервые за все свои шестьдесят лет жизни. На войне убитых хоронили быстро. Священник отпевал торопливо. А иногда его и вовсе не оказывалось поблизости, и у раскрытой могилы не-

сколько слов говорил батальонный или ротный. Это были и молитва и надгробное слово товарищам.

А тут иное.

И из того, что Огнев услышал здесь, больше всего врезалось в память и поразило следующее:

— Правда Твоя — правда вовеки, и слово Твое — истина...

Он невольно отнес эти слова к батюшке Александру Васильевичу.

X

— Эк она его высушила, подлая! — сказал Зыбин, когда они, взволнованные, спускались по лестнице.

— Смерть никого, брат, не красит! — сумрачно ответил Огнев.

Они молча шли по набережной канала.

— Как хочешь, Алешенька, а я останусь до похорон. Прохор Иваныч сказывал — хоронить будут в субботу, а сегодня середа. Мне все равно спешить некуда: из отцовской семьи у меня вряд ли кто живой есть...

— Беспременно останемся. Как же можно куда идти? — горячо поддержал его Зыбин.

И они задержались в Петербурге до похорон.

Хоронили Суворова в субботу, 12 мая.

Утро выдалось солнечное, тихое, теплое.

Хотя нигде не было оповещено, но всюду — на рынках, в лавчонках, в чайных, в каждом доме — знали: вынос тела Александра Васильевича в десять часов.

С Песков и с Васильевского, из Старой Деревни и с Охты спешили к Невскому и Садовой люди. Весь город поднялся сегодня спозаранку.

К Николе Морскому было ни пройти ни проехать. Кареты и экипажи запрудили все прилегающие улицы. По Крюкову каналу, перед окнами дома номер 21 и дальше, фрунтом стояли войска. К Калинкину мосту — по Садовой — расположились гусары и пушки.

Огнев и Зыбин кое-как протолкались через фрунт солдат к рынку:

— Дозвольте, ваше благородие, суворовским мушкатерам пройти. Поближе стать. Сорок годов с батюшкой Александром Васильевичем служили...

За каналом, возле рынка, насупротив дома Хвостова, уже толпился народ. Огнев и Зыбин втиснулись в толпу.

— Все наш брат армеец стоит: пехота, артиллерия и гусары. А где же гвардия? — спросил у Огнева Зыбин. — Неужто гвардия не будет провожать?

— Царь не велел гвардии быть. Сказано хоронить как фельдмаршала только. Он на Суворова серчает, — вмешался какой-то словоохотливый департаментский служитель.

— А за что ж серчает?

— А пес его ведает. Разве ему долго? Вот у нас...

— Великие князья... Князья приехали! — зашумела толпа.

К дому подкатила придворная карета. Из нее вышли великие князья Александр и Константин.

— Сейчас отпевать начнут!

Балконная дверь во втором этаже дома была раскрыта настежь. Виднелся угол пышного катафалка, подсвечники со свечами, мелькали военные и гражданские мундиры.

Видно было, как в зале засуетились.

Потом движение прекратилось. Возле катафалка заблестели ризы духовенства, издалека донесся голос протодьякона.

Началась лития.

Войска взяли на караул. Толпа обнажила головы. Говор стих.

По набережной, откуда-то со стороны Фонтанки, подъехала к дому траурная колесница. Она была запряжена шестью серыми лошадьми, покрытыми черными попонами.

В ярком солнечном свете как-то необычно резко, ненужно горели факелы, — днем их огонь не производил впечатления.

— Несут, несут! — заволновалась толпа.

Из дверей стали попарно выходить офицеры. Они несли на подушках многочисленные русские и иностранные «кавалерии», фельдмаршальский жезл, бриллиантовую шпагу и прочее. За ними шли хоры певчих.

— Певчих-то, певчих сколько!

— В черных кафтанах — придворные! Сам Бортнянский вон!

— А поют-то какие?

— Архиерейские.

— Наши, псковского подворья, тоже не поддадутся и придворным...

— Нет, лучше Бортнянского капеллы не споешь!

За певчими потянулась бесконечная вереница дьяконов, иеродьяконов, протодьяконов. Потом попарно пошли со всей столицы и ближайших монастырей десятки иереев. Наконец за черными клобуками архимандритов блеснули золотые митры трех архиепископов во главе с петербургским — Амвросием.

И вот в дверях показался гроб.

Толпа зашелестела, точно ветер прошел по кустам, закрестилась, кто-то запричитал, кто-то воскликнул: «О Господи!»

Смотрели не отрываясь, как гроб подымали на колесницу, как над гробом устанавливали великолепный, малинового бархата с золотым фигурным подзором[1] балдахин на восьми столбах.

Шнуры поддерживали офицеры.

Раздалась команда отомкнуть штыки «на погребение».

И оркестры полковой музыки заиграли печальный марш.

Траурная процессия медленно тронулась к Александро-Невской лавре.

XI

Он жив в смерти!
Ломоносов

Огнев и Зыбин шли в густой, многотысячной толпе, которая провожала генералиссимуса Суворова в его последний путь. Улицы были запружены народом. Все окна, балконы и крыши домов усеяны людьми. Мальчишки, точно галчата, сидели на деревьях.

Огнев шел, задумчиво глядя себе под ноги. Зыбин говорил с каким-то чиновником, обсуждали всё то же, всем известное и всех возмущавшее: что царь велел отдавать на похоронах почести Суворову не как генералиссимусу, а лишь как фельдмаршалу. Оттого нигде не было видно гвардии.

Огнев задумался — не слыхал и не видал ничего. И вдруг Зыбин толкнул его в бок и с ужасом зашептал:

— Гляди: царь!

Огнев поднял голову.

Подходили к Невскому. На углу близ Гостиного ряду, верхом на лошади, со шляпой в руке, ждал Павел I.

Когда толпа, в которой шли Огнев и Зыбин, поравнялась с местом, где стоял Павел I, его уже не было: пропустив мимо себя гроб, царь поскакал прочь, к Неве.

Огнев только покосился в ту сторону.

В воротах Александро-Невской лавры траурная колесница остановилась: высокий балдахин мешал проехать.

— Не проходит в ворота!

— Не пройдет! — оживленно загудели кругом.

— Пройдет! Наш батюшка Суворов всюду проходил! — звонко сказал Зыбин и уже заработал локтями, пробираясь вперед, чтобы помочь.

---

[1] Подзор — подвесная кайма.

Но колесницу подтолкнули те, кто оказался ближе. Она с трудом въехала в узкие монастырские ворота. Печальное, хватающее за душу заупокойное «Святый Боже» с особенной четкостью раздавалось под этими сводами. Звучало неотвратимо и беспощадно.

Слезы брызнули у Огнева из глаз. Он рванулся к колеснице. Рванулся вперед за Суворовым, как всю жизнь привык следовать за ним. Зыбин не отставал от товарища.

Но у самых ворот дюжий полицейский чин, в треуголке и перчатках до локтей, ударил Огнева в грудь.

— Куда, кислая шерсть? Ос-с-сади назад! — прошипел он, тараща глаза.

Огнев и Зыбин оторопело подались назад.

Мимо них в узкие ворота хлынули толпой господа.

Протягивая полицейскому билетики с траурной каемкой и прижимая к груди треуголки, теснились, лезли какие-то важные, с орденами на шее, чиновники, надушенные, напудренные дамы в трауре. Те, кого так не жаловал при жизни батюшка Александр Васильевич.

Цепь нахальных ражих полицейских мигом — от одного к другому — оттерла Огнева и Зыбина к краю площади, туда, где толкался «подлый» народ: замашные рубахи, чуйки, бабьи платки.

Удрученный Огнев вытирал ладонью лицо.

— Всю жизнь с нами был. С солдатом. С простым народом. Сам простой был. А тут оттерли нас... — вырвалось у Зыбина, который стоял, растерянно моргая глазами.

— Ничего, Алешенька, — ответил Огнев. Голос у него дрожал от негодования. — Нашего батюшку Суворова от русского народу не отделишь!.. Он всегда был и будет с нами!

1938—1941
1944—1946

АДМИРАЛ УШАКОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Федя Ушаков торопился домой, — надо было готовиться к выпускным экзаменам. Он шел вдоль Невы. Река только неделю тому назад вскрылась, но на ней уже было оживленно: вверх и вниз сновали челноки и шлюпки, бегали, пеня воду, узконосые рябики.

Против коллежских апартаментов бабы весело колотили вальками. Босоногие ребятишки полоскались в холодной воде.

Вечер был теплый.

Голубоватое небо с каждым часом становилось все светлее и светлее. Там, у горизонта, оно казалось уже совершенно прозрачным, изумрудно-желтым. Чувствовалось, что едва закатится солнце, как тотчас же на город прольются светлые сумерки белой северной ночи.

Ушаков миновал сухопутный кадетский корпус. Окна в меншиковском доме были раскрыты настежь. В них мелькали голубые, кофейные, серые кафтаны, доносились голоса: сухопутные тоже готовились к экзаменам.

За корпусом по берегу тянулись поленницы дров, раскинулся склад разных материалов: лежали груды камня, бревна, доски, дранка. К берегу пришвартовалась высокая баржа, груженная древесным углем.

Подходя к морскому корпусу, Ушаков издалека увидал на своей пристани (которая была сделана в виде гавани, скобою) и возле нее знакомые зеленые сюртуки. Весною, в ясную погоду, набережная и пристань были излюбленным местом кадетских сборищ.

Из тесных, сырых, опостылевших за зиму классов и каморок высыпало на бережок все свободное от нарядов народонаселение корпуса. Сюда собирались поговорить, посмеяться, узнать последние корпусные новости. Здесь, не таясь, курили, играли в зернь[1], устраивали борьбу. Иные даже приходили сюда с учебниками, на-

---

[1] Игра в зернь — игра в кости (или зерна).

деясь позаниматься на свежем воздухе, но это редко удавалось: обстановка мало располагала к наукам.

Высоко поднятая бревенчатая пристань называлась в корпусе «опердеком»[1]. На этом опердеке, по неписаным гардемаринским законам, разрешалось сидеть только гардемаринам. Кадеты всех классов безжалостно изгонялись вниз, на прибрежный песок и камни, на «гондек»[2]. Исключение делалось лишь для тех, кого приводил с собою на пристань гардемарин.

Проходя мимо, Ушаков решил завернуть на минуту сюда, посмотреть, чем занимаются его товарищи.

Возле пристани, на берегу, на гондеке толпились кадеты. Стоял дым коромыслом: тут курили, о чем-то горячо спорили, играли в свайку. Чуть в стороне несколько завзятых рыболовов, примостившись на камнях, удили рыбу. Группа кадет младшего, 3-го класса обступила вихрастого гардемарина Алешку Тверитинова, любившего возиться с малышами. Алешка заказывал, а третьеклассники вязали морские узлы. Они наперебой друг перед дружкой старались поскорее завязать узел и заслужить одобрение гардемарина. А тот важно курил, сплевывая по-боцмански, снисходительно осматривал их работу и с улыбочкой щелкал по затылкам отстающих, неопытных такелажников.

Весь опердек, всю бревенчатую пристань, безраздельно занимали господа гардемарины. Кто, свесив ноги вниз с пристани, сидел и курил, кто, подостлав сюртук и оставшись в одном каламянковом камзоле, лежал, глядя на Неву. Строили планы на будущее, рассказывали разные истории. В дальнем углу пристани группа гардемарин сообща повторяла фортификацию, которую учили не по учебнику, а по запискам. Один читал вслух по толстой тетради, а остальные слушали.

В центре расположилась самая шумная компания.

Среди других товарищей Федя Ушаков увидел и своего сожителя по комнате, черноглазого, курчавого Гаврюшу Голенкина.

Голенкин всегда учился прилежно, но в прошлую осень вдруг втюрился в какую-то девчонку и теперь знал одно: чистить сюртук да, как трунил над ним степенный Федя Ушаков, тировать[3] свои волосы.

Всех на пристани, видимо, потешал пучеглазый Нерон Веленбаков.

Нерон был не лишенный способностей, смышленый парень, но его губило пристрастие к полпиву. Он предпочитал посидеть в

---

[1] Опердек — открытая верхняя палуба.

[2] Гондек — нижняя палуба.

[3] Тировать — покрывать смолою, смолить.

кабачке с корпусным боцманом Лукичом, обучавшим кадет такелажному делу, чем корпеть над какой-либо сферикой.

На этот раз, к удивлению Ушакова, в руках у Нерона Веленбакова была книга. Наморщив лоб, Нерон перелистывал ее. Перед ним, в позе ученика, вызванного учителем к ответу, стоял гардемарин Антоша Селёвин.

Это был маленький угреватый паренек. За его невзрачность товарищи называли Селёвина «Се-не-лёвин», потому что в его внешности действительно было мало львиного.

— Вот те на — Нерон взялся за учебу! — сказал Ушаков, подходя к товарищам.

— Он экзаменует Селёвина, — объяснил быстрый Голенкин.

— Что у тебя — Курганов? — наклонился к Веленбакову Ушаков.

— Нет, Ла-Кроц.

— «Универсальная история», — ответило за Нерона несколько голосов.

— А какой же вопрос он задает?

— Разве не знаешь Нерона? — улыбнулся Селёвин. — Он выискивает, где про беспутства говорится...

Веленбаков сосредоточенно листал книгу.

— А ну-ка триста восьмой вопрос, — вскинул он глазами на Селёвина и прочел: — «Каких качеств была Иулиа, дочь Августова?»

Все засмеялись.

— Вот видишь, что интересно Нерону, — сказал Антоша и без запинки ответил: — «Она была такого развращенного нрава, что отец ее Август принужден был сослать ее на остров Пандатарию».

Веленбаков, проверявший ответ по книге, восхищенно сказал:

— Верно! Слово в слово! А ну еще один!

Он провел пальцем по строчкам:

— Какой смертию умер Клавдий?

— Ну, это знают все, — вмешался Голенкин. — Жена отравила его грибами!

— Гляди, Нерон, как пойдешь с Лукичом на Десятую линию в кабак, не закусывай мочеными груздочками! — смеялись товарищи.

— Нерон, а ты помнишь, что о твоем тезке у Ла-Кроца сказано? — спросил Селевин.

— Нет. А что?

— Нерон был самый негодный из римских цезарей.

— И зачем тебе отец такое имя нарек? — потешались гардемарины.

— Так то ж цезарь, а я ведь всего лишь капрал, — отшучивался Веленбаков. — Федя, а ты знаешь, — обернулся он к Ушакову, — как твой Гаврюша сегодня ловко письмецо своей милой переслал? Сказывал он тебе?

— Нет, ничего...

— Неужто не говорил? — с деланным удивлением переспросил Веленбаков. — Ему за гардемаринство дают в месяц полтину, как сказано: «для лучшего в трудной морской службе куража и дабы в обучении ревностнее простирался», а Гаврюша потратил ее на шелковую ленту. Обмотал лентой письмецо и передал милой: мол, сделайте мне бант на шляпу! Вот каков!

Все гардемарины и сам черноглазый Голенкин смеялись.

— Молодец, хитер! Своего добьется! — чуть улыбнулся Ушаков.

— Федюше так не придется делать, — постарался перевести разговор зардевшийся Голенкин.

— Верно, он у нас красивый, черт! — поддержал Веленбаков, глядя снизу вверх на Ушакова.

— А когда еще мичманский мундир наденет, тогда всем девкам пропасть! — шутили гардемарины, зная, что Федя Ушаков скромен и застенчив.

— Да ну вас! — сконфузился Ушаков и круто повернулся.

— Постой, схимник, куда же ты? Посиди с нами! — задержал его Гагарин.

— Некогда: надо идти повторять навигацию.

— Зачем тебе повторять? Ты же смеешься над линейной тактикой!

— Смеюсь и буду смеяться, а знать надо! — освободился от Гагарина Ушаков.

— Федя, уже поздно: вечер на дворе! — кричали ему.

— Ушакова не переделаешь: как сказал, так и будет! — услышал он последние слова Голенкина.

Ушаков направлялся к корпусу.

Он прошел мимо главного здания. Из окон второго этажа, где помещались классы, выглядывали гардемарины, готовившиеся к экзаменам. Вон на подоконнике сидит с тетрадью и карандашом в руке первый ученик, Федюша Калугин. У другого окна, заткнув пальцами уши, склонился над книгой рыжеволосый Федя Путятин. Так смешно получилось — в первой четверке выпускников три Федора: Калугин, Путятин, Ушаков.

Возле входной двери корпуса на притине[1] скучает часовой, солдат морского полка.

Триста шестьдесят воспитанников морского кадетского корпуса помещались в каменном двухэтажном доме Миниха и в семи деревянных «связях» — флигелях, пристроенных во дворе. В них жили по преимуществу гардемарины.

---

[1] Притин — место, где ставится часовой.

В «связях» жить было вольготнее, чем в Миниховом доме, — меньше надзора. После молитвы и вечерней поверки можно незаметно улизнуть куда-нибудь погулять: забор, выходящий на Двенадцатую линию, обветшал и был весь в щелях. А ротный капитан-лейтенант лишь изредка проверял, все ли гардемарины дома.

Положим, Федя Ушаков ложился спать вовремя, ночью никуда не хаживал, но и ему маленький деревянный домик был больше по душе.

Три шаткие ступеньки крылечка, глиняный рукомойник, болтающийся на веревке, темные, крохотные сенцы, пахнущие кислятиной, да и сама каморка в одно окошко, с бревенчатыми, выскобленными стенами — все это живо напоминало Ушакову родную тамбовскую Алексеевку.

Отец Ушакова был небогат: за ним числилось всего девятнадцать душ, из которых пять — немощные старики.

В далекий Петербург пять лет назад Федя Ушаков приехал в липовых лаптях. Кадеты смеялись над этим невысоким, коренастым, синеглазым пареньком, который глядел на всех исподлобья, сдвинув густые брови.

Но когда желтозубый князь Гагарин попробовал было тронуть Федю Ушакова, этот тамбовский паренек так стукнул его по загривку, что у Гагарина навсегда отпала охота задевать «лапотника».

...Ушаков прошел через «сахарные» ворота во двор. («Сахарными» они назывались потому, что в соседнем доме был сахарный завод.)

Закатное солнце заливало весь корпусной двор — флигельки, хлебную и поварню, возле которой солдат рубил дрова.

На крылечке дома № 3, где жил Ушаков, сидел с книгой в руке его второй сожитель — румянощекий, плотный Паша Пустошкин. Паша хорошо успевал в науках, но зимою три месяца проболел, отстал и теперь целые дни занимался.

Ушаков не стал ему мешать разговорами (Федя вообще был не из болтливых), а сразу прошел в свою комнату.

Комната была тесная — в ней едва помещались три кровати, стол, скамья и табуреты. На стене висела полочка с книгами, а над ней, на желтых бревнах, была приклеена гравюра — идущий под марселями в полветра[1] корабль, перед которым лежит Слава с трубою в руке. Она трубит:

Дети, сему учитесь,
Волн морских не страшитесь!

---

[1] Полветра — когда ветер дует перпендикулярно плоскости судна.

Ушаков аккуратно повесил шляпу на гвоздь, поднял окно и взял с полки «Навигацию» Семена Мордвинова. Он присел к окошку и раскрыл книгу на том месте, где давеча остановился:

«Навигаторам нужно знать напервее мореплавания до выходу из порту о исправлении склонения компаса, чтоб знать, сколько в которую сторону компас склонение имеет для знания прямого пути».

II

...Солнце давно зашло. Ушаков продолжал сидеть у окна, — еще можно было читать не зажигая огня.

Где-то на улице послышался шум, крики. Федя заткнул уши пальцами и продолжал читать.

Вдруг в сенях раздались шаги, дверь распахнулась, и Паша Пустошкин крикнул:

— Федя, на Проспективной пожар!

И убежал.

Ушаков невольно глянул в окно: зарева не было видно. Но он тоже сорвался с места и, не надевая шляпы, помчался вслед за Пашей.

Пожар был у Большой Проспективной улицы.

Прыгая через канавы, еще полные весенней воды и грязи, Ушаков увидал: горит деревянный одноэтажный дом.

Пламя вместе с дымом вырывалось сквозь угловое, вероятно кухонное, окно. Было странно видеть, что при этом из трубы дома спокойной струйкой тянется обычный дымок.

Возле дома толпился народ.

Несколько мужиков и какой-то матрос суетились, что-то кричали, но ничего не предпринимали. Ни у кого из них не было ни ведра, ни багра, хотя на пожар полагалось являться всем с ведрами, топорами, баграми и лестницами.

Подальше от пожара держались бабы, Они обступили какую-то высокую женщину в шубе и пуховом платке, которая стояла возле узлов, подушек, укладок, сваленных прямо в топкую грязь пустыря. Возле нее, всплескивая руками, голосила старая баба, по всей видимости стряпуха.

Бабы соболезновали, говорили все разом, не слушая друг друга, а высокая женщина, словно окаменелая, смотрела, как огонь делает свою разрушительную работу.

— И чего это никто не едет и заливных труб не везет? Ни коллежские, ни солдаты? — обернулась к Феде Ушакову какая-то молодая бабенка, когда он подбежал к толпе.

Ушаков промолчал. Он и сам не знал, почему так замешкались и полиция и служители двенадцати коллегий, возле которых в сарае хранились пожарные трубы.

Его внимание сразу привлекло другое: детский плач в толпе.

Федя подошел поближе и увидел, что на узлах сидела курносая девочка. Она плакала, запрокидывая назад голову.

— Испугалась, поди? — сказал, не обращаясь ни к кому, Паша Пустошкин, стоявший рядом с Федей.

— Нет, плачет, что сгорит ее снегирь. Он в доме, в клетке оставши... — словоохотливо объяснил из толпы чей-то женский голос.

— А где висит клетка? — спросил Федя Ушаков, протискиваясь к девочке.

— В светелке... Над окном! — сквозь слезы выдавила она.

Ушаков повернулся и побежал к горевшему дому.

— Федя, куда же ты? — испуганно крикнул ему вдогонку Паша Пустошкин.

Ушаков подбежал к дому.

Дым уже показался из дверей.

Прикрывая голову бортом сюртука, Федя смело вскочил в дымные сени.

За ним раздался испуганный бабий вопль:

— Куда он? Рехнулся парень!

В сенях Ушакова охватило таким горячим воздухом, будто он попал на полóк жарко натопленной бани. Слева, на кухне, гудело, билось пламя, — дверь на кухню была заперта. Зато справа дверь в комнаты стояла распахнутой настежь.

Горечь сдавила горло. Слезы посыпались из глаз. Но Ушакова это не остановило, — сколько раз он бывал в курных избах, сколько раз мылся в прогорклых от едкого дыма деревенских банях!

Он вскочил в комнату и, протирая глаза, пригляделся в дыму. Над одним из окон висела маленькая клетка. В ней, перепархивая с жердочки на жердочку, тревожно кричал снегирь.

Федя вспрыгнул на лавку, сорвал с гвоздя клетку и опрометью кинулся вон.

В сенях его снова обдало нестерпимым жаром: кухонная дверь уже начинала тлеть. Густой столб черного дыма непроницаемой стеной закрывал выходную дверь.

Пригнув голову, Ушаков бросился наугад туда, где должен был быть выход, откуда слышались тревожные голоса. И очутился на воздухе.

Толпа, в волнении ждавшая его, облегченно вздохнула:

— Жив!

— Бабоньки, несет!

— Клетку вынес!

— Ну и отчаянный же!

Какой-то дед, только что прибежавший на пожар, услужливо плеснул на плечи Ушакова ведро воды.

Встряхиваясь, Федя побежал к толпе.

Навстречу ему спешила высокая женщина. Ее красивое лицо выражало испуг.

— Не обжегся? И зачем было лезть в огонь? Всё ее прихоти, баловницы! А как достал, теперь небось и не взглянет на своего снегиря! — говорила она Феде, словно давно знала его.

Девочка по-прежнему сидела на узлах, но уже не плакала.

— Ой, как тебя облили! — звонко рассмеялась она, принимая из рук Феди клетку со снегирем.

— Храбер солдат!

— Какой солдат? Гардемарин!

— И чего лез, непутевый? — обсуждали в толпе происшествие.

Ушаков покраснел от смущения и, не глядя ни на кого, побежал через пустыри домой.

Навстречу ему, дребезжа, мчалась телега. В ней, свесив ноги, сидели полицейский и несколько коллежских служителей. Из-за их спин торчала заливная труба. А за телегой спешил к пожару плутонг[1] солдат Великолуцкого пехотного полка, который по расписанию должен был тушить пожары на Васильевском острове.

III

Когда Гаврюша Голенкин вернулся домой, было уже за полночь. Федя Ушаков и Паша Пустошкин сидели и занимались при свече.

Вместе с Голенкиным заглянул к соседям и Нерон Веленбаков, живший в этом же домике, в комнате напротив.

Гаврюша, не мешкая, стал укладываться спать. А Веленбаков плюхнулся на скамейку и, вынув из кармана флягу, поставил ее со стуком на стол.

Дети, сему учитесь,
Водки пить не страшитесь! —

пробасил он.

Нерон был немного навеселе.

Ушаков только вскинул на него свои строгие глаза и снова углубился в чтение.

— Ну-ну, не коситесь, ваше преподобие! Я знаю: вы не жалуете пресной водицы. Уберу, уберу, — сказал Веленбаков, пряча флягу в карман. — Вот погуторю с Пашенькой минутку и уйду спать!

Словоохотливый Пустошкин захлопнул свою книгу и, улыбнувшись, спросил:

---

[1] Плутонг — отделение.

— Откуда это вы, полуношники? И где вас только носит?!

— Вы тут просвещаетесь, а мы — пребываем в гулянии... Я с вечера пришвартовался в кабачке у двенадцати коллегий, а он, — кивнул Веленбаков на Голенкина, — сказывал, на Неве с девушками скучал. Корабельную архитектуру с ними изучал... Мы с Гаврюшей на разных курсах шли к одному рандеву у «сахарных» ворот: гуляли порознь, а через забор лезли вместе. Только он — проворней меня, а я, кажись, карман оторвал! Ишь как они расселись, — посмотрел Нерон на Ушакова и Пустошкина, сидевших на противоположных концах стола. — Федя у нас — капрал, он, конечно, на «юте»[1] сидит, а Павлуша — гардемарин, он ближе к порогу, «на баке»... Это что, у вас всегда такой порядок? — усмехнулся Веленбаков.

— Тебе, Нерон, на юте никогда не бывать. Тебе и по фамилии велено на баке: Велен-баков, — не удержался от каламбура Голенкин.

— А мне — где угодно сидеть, лишь бы с чарочкой! — согласился Нерон.

— Пожар-то сегодня у нас, на острову, видали? — спросил Пустошкин.

— А что горело? — приподнял с подушки свою курчавую голову Гаврюша.

— Горел дом у Большой Проспективной. Да не в нем дело... Наш Федя, — кивнул на Ушакова Пустошкин, — отличился: из горящего дома клетку со снегирем вынес!

— Ай да молодец! Этакий случай за две кампании считать надобно! — восхищенно сказал Веленбаков.

— И зачем было лезть? Сгореть мог бы. До производства в мичманы не дожил бы. Зря лез в огонь! — по-своему оценил Голенкин. — Ведь опасно же!

— Ничего там опасного не было, — недовольно буркнул молчавший до этого Ушаков. Он встал, аккуратно положил книгу на полку и начал раздеваться.

— Я ему тоже весь вечер говорю: лезть в огонь было не из-за чего, — продолжал Пустошкин. — Кабы в огне человек остался, я бы и сам ни минуты не раздумывал...

— Верно! Класть жизнь, так хоть знать за что! — стукнул кулаком по столу Веленбаков.

— Ну хоть бы из-за хорошенькой, — поддержал Голенкин.

— Просила-то спасти снегиря девочка, и очень миленькая, курносенькая такая! — поддел Пустошкин.

Ушаков побагровел, недовольно сверкнул глазами.

---

[1] Ют — кормовая часть верхней палубы.

— И что ты мелешь? Ведь она ребенок еще! — с укоризной сказал он. — По снегирю слезами заливалась. Просила!..

— Верно, девчонка годов двенадцати, не более, — поспешил уточнить Пустошкин, зная скромного и застенчивого Федю.

— Ну, этакая в счет нейдет! — согласился Голенкин. — А ты не обгорел, Федюша? — участливо спросил он.

— Нет. Только какой-то дуралей меня всего водой облил, как я выскочил из дома, — улыбнулся Ушаков.

— А признайся, Федя: все-таки страшновато было? — спросил Веленбаков...

— Ничего страшного. Это не на медведя с рогатиной, — ответил, укладываясь спать, Ушаков.

— А ты почем знаешь, как на медведя?

— Хаживал однажды, оттого и знаю.

— Ты? Когда же это успел?

— А еще как жил дома.

— Сколько же тебе годов-то было? — не переставал удивляться Нерон.

— Шестнадцать.

— Поди, прижал какого захудалого муравьятника?

— Нет, не муравьятника, а самого настоящего стервятника. След такой, что еле лаптем закроешь! Ну, ложись, Павлуша! Довольно лясы точить, — обратился Ушаков к Пустошкину.

— Феденька, расскажи, как ходил на медведя! — попросил Нерон.

— Не буду. Поздно уже. Да и ничего интересного нет! — ответил Ушаков и закрыл глаза.

— Федя, да расскажи! — не отставал Веленбаков.

Ушаков молчал.

— Экий ты, прости господи, упрямец. Чистый каприкорнус, козерог небесный! — махнул рукой раздосадованный несговорчивостью товарища Веленбаков.

Гаврюша Голенкин, улыбаясь, смотрел на них.

— Не проси, — вмешался Пустошкин. — Разве не знаешь — сказал *нет,* стало быть, не расскажет.

— А вам он рассказывал?

— Рассказывал.

— Так расскажи хоть ты!

Паша не заставил себя просить. Он не спеша раздевался и рассказывал:

— У них, в Тамбовской, медведей много. Однажды летом повадился миша на гречиху — всю полосу вытоптал. Осенью бабы за груздями ходили, он баб напугал. А потом уже зимой вот как случилось. Пошел их человек в лес за дровами. Выбрал толстую со-

сну, ударил раз, слышит, что-то под хворостом зашевелилось, запыхтело. У мужика и волосы дыбом: не леший ли?

— Да, да, испугался! — вставил Нерон.

— Послушал, послушал — стукнул снова. Ничего. Стукнул смелее, в третий раз. А тут сам Михайло Иваныч, словно протопоп в шубе, лезет...

— Ого-го! — заржал Нерон. — Вот нарубил дров! И что ж, ноги-то унес мужик?

— Успел. А медведь снова залез в берлогу: накануне снег выпал, замело кругом. Тогда Федя со своим деревенским старостой вдвоем и отправился. И на рогатину его, добра молодца, и поддел.

— Как же это — на рогатину? Куда же ею колоть? В живот, что ли?

— В живот! — не выдержал, расхохотался Ушаков. — Посмотрел бы я, что от тебя осталось бы, кабы ты ударил медведя ратовищем[1] в живот!

— А куда же бить?

— Известно куда: под левую лопатку! — оживился Ушаков.

— И что же медведь делает?

— Лезет вперед, на охотника. Топает вокруг него, старается достать, а охотник только держит рогатину, чтобы она упиралась в землю. Медведь кровью и изойдет.

— Но ведь он близко ж от тебя?

— Не очень далеко.

— Это ж страшно?

— А я про что и говорил!..

— Да-а! — задумчиво протянул Веленбаков. — На такое не всякий решится...

— Ну, Павлуша, гаси свечу! Уходи, Нерон: спать пора! — прикрикнул Ушаков, поворачиваясь к стене.

Пустошкин дунул на свечу. По комнате разлились белесоватые сумерки петербургской ночи.

— Что и говорить, храбер ты у нас, Федя! Одно слово — ухо режь, кровь не капнет! — поднялся Веленбаков.

— Храбер-храбер, а тараканов боится! — рассмеялся Голенкин. — Однажды как-то заполз к нам таракан, так Федя на стол чуть не влез!

— Э, не так было! — возмутился Ушаков.

— Это ничего! Говорят, Петр Великий тоже тараканов не переносил, а какой храбрец был! И главное — отменный моряк! Ну, спите: уже, наверное, четыре склянки пробило! — сказал, уходя, Веленбаков.

---

[1] Ратовище — древко рогатины.

IV

После экзаменов возвращались из Адмиралтейств-коллегий гурьбой. Возбуждение еще не улеглось, говорили все вместе:

— Мне повезло — спросили то, что я хорошо знаю, — об исправлении румбов.

— А у меня — «Может ли корабль держаться в линии баталии, если повреждена фок-мачта?»

— Ясно, не может! Ведь поворотить-то нельзя!

— Я так и ответил.

— А как этот черт кривой, Кривцов, гонял по морской практике! — вспомнил кто-то. — «Что делать, ежели вдали от порта потерялись все мачты?»

— Это разве вопросы? Вот Феде Ушакову задали — тут, брат, задумаешься!

— Федюша, что спросили? — обратились товарищи к Ушакову, который, по обыкновению, шел молча.

— Да ничего особенного, — ответил Ушаков. — «Когда звезда Сириус восходит и заходит в одно время с солнцем на петербургском горизонте и в какой широте восходит вместе со звездою Капеллою?»

— Вот это вопросец!

— Феде такой и надо: он у нас крепкий! — хлопнул его по плечу Нерон Веленбаков.

Ушаков только улыбнулся.

— Братцы, а как Нерону-то нашему нонче досталось, — рассмеялся Голенкин. — У него, бедного, даже парик на ухо съехал.

— А что?

— Определить широту места.

— Что же в этом трудного?

— Да ведь находить-то ее надо по меридианальной высоте солнца, измерять квадрантом, а он — ни в зуб!

— Как же ты, Нероша, втянулся в гавань?

— Он не сробел. Я, говорит, в шести кампаниях на море служил. Тем только и спасся.

— Веленбаков — молодец; находчив. Расскажи, Нерон, как ты приставал на шлюпке к кораблю «Тверь», — напомнил Пустошкин.

— Да-а, было дело! — самодовольно улыбаясь, почесал затылок Нерон.

— А что? Расскажи, Нерон! — тормошили его со всех сторон.

— Собственно, не о чем рассказывать. Я пошел в первое плавание. Конечно, ничего еще не знал. В Архангельске отправляет меня капитан-лейтенант на шлюпке и говорит: «Подойди, говорит, к «Твери», вахтенный передаст тебе пакет». А где она, эта «Тверь», черт знает. На рейде судов — пропасть. Я гляжу как баран на но-

вые ворота. Капитан-лейтенант смекнул, что я не найду, и решил растолковать: «Да вот тот корабль, у которого спущенные бом-брам-стеньги». А я и этого — ни в зуб...

— Ах ты Нерон!

— И что же дальше?

— Отвалил я и спокойно говорю гребцам: «Давай, ребята, к тому кораблю, что со спущенными бом-брам-стеньгами!» Думаю: они-то уж наверняка знают! И не ошибся... В каждом деле главное — не робеть!

— А как сегодня Курганов показывает тебе карты и спрашивает: «Которая дередюксион?» А ты ему тянешь меркаторскую! — засмеялся Голенкин.

— Ну и что ж? Курганов мне: «Это не та!» А я: «Простите, мол, Николай Гаврилович, ошибся: действительно не та». Только и всего!

— И сколько же он тебе поставил? Поди, «необстоятельно»?

— Нет, «малопорядочно». А мне и хватит!

— Ах ты Нерон — не тронь! — потешались товарищи.

Веленбаков не обижался — смеялся вместе со всеми.

— Э, к черту! Как ни отвечал, а уже — мичман! — махнул он рукой. — Кончились навсегда эти противные генеалогия, риторика, геральдика и прочие шляхетские науки! Завтра — белый мундир. Каково-то сшили? Вроде тесноват в плечах оказывался. Зато нижняя амуниция — как следует: чулки шелковые и на ботинках пряжки чистого серебра. А у тебя, Федя, — обратился он к Ушакову, — всё будут те же выростковой кожи сапоги?

— У его отца всего девятнадцать душ, не то что у тебя, — ответил за друга такой же мелкопоместный, небогатый Паша Пустошкин.

— Это верно: у меня одного больше крепостных, чем у вас обоих!

— Значит, завтра производство. Придется явиться и благодарить по начальству?

— Так и быть: поблагодарим уж в последний раз!

— Напудримся, косичку заплетем, — с удовольствием сказал щеголеватый Гаврюша Голенкин.

— Куда-то назначат в плавание? — подумал вслух Федя Калугин.

— Ну, тебе-то что? Ты у нас — первый ученик. Ведь у тебя ни одной отметки «малопорядочно», а все — «исправно», и поведения ты нарочитого, не то что мы, грешные, — сказал Веленбаков.

— А назначат как обычно: до Архангельска и обратно.

— Эх, скорее бы в море! — вырвалось у Ушакова.

— Как до моря дошли, так и Ушаков заговорил!

— И в кого ты, Федюша, у нас такой зейман?[1] — сказал Селевин. — Где у вас там, в Тамбовской, моря? Лес как море, это верно!

---

[1] Зейман — моряк.

— А в селе Измайлове, где царь Петр нашел ботик, — большое море? А князь Игорь откуда ходил на Царьград, забыл? — иронически спросил Ушаков. — Русские люди исстари любили корабль! Вспомните хоть бы и Ваську Буслаева с товарищами:

Походили они на червлен корабль,
Подымали тонкие паруса полотняные,
Побежали по озеру Ильменю...

V

В слякотный ноябрьский день 1768 года притащился в Петербург на подводе из Ранбова, как называли моряки Ораниенбаум, мичман Федор Ушаков.

Два с лишним года он проплавал в Балтийском и Белом морях и вот снова ступил на землю. Ушаков получил перевод на Дон.

Русский народ решил отвоевать свои исконные земли на берегах Черного моря, укрепить и обезопасить южные границы государства от набегов турок и крымских татар.

Россия возрождала флот, захиревший после смерти Петра Великого.

Сухопутная армия была на юге готова, а флота у России недоставало.

Стремление России усилить свое положение на юге не нравилось Англии, Франции и другим европейским государствам. В 1768 году они вынудили турок объявить России войну.

Турция обладала на Черном море сильным флотом. Она в течение нескольких веков чувствовала себя здесь господином положения.

Воевать с Турцией на Черноморском побережье без флота было бы русским очень трудно. Оправдывались знаменитые слова Петра Первого: «Всякий Потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет».

Россия имела на юге пока что лишь одну руку. Необходимо было дать ей вторую: построить флот.

И конечно, прежде всего вспомнили о старых петровских верфях в Воронеже и на Дону, тем более что близ Воронежа было много прекрасного корабельного теса.

Постройку Азовской флотилии Екатерина II поручила одному из лучших моряков, сыну известного петровского адмирала Наума Сенявина, Алексею Наумовичу Сенявину.

Из Подмосковья на Дон отправили три тысячи мастеровых. Адмиралтейств-коллегия готовила чертежи судов с большей осадкой. Восстанавливали укрепления Азова и Таганрога. Спешно исправляли верфи в Ново-Павловске и Новохоперске.

Из Кронштадта через Петербург потянулись на юг подводы с офицерами, матросами и корабельными мастерами. В числе откомандированных на Дон оказался и мичман Ушаков.

Когда он наконец дотащился к Адмиралтейств-коллегий, шел шестой час пополудни. В канцеляриях уже никого не было. И Ушаков, взяв свой небольшой чемоданчик, пошел по старой памяти на Васильевский: надо же было найти ночлег.

Сойдя с моста, он встретил на набережной боцмана Лукича.

— А-а, с благополучным прибытием! — шумно приветствовал его боцман. — Откуда?

— С «Трех иерархов». Направляют куда-то на юг.

— Сейчас много туда едет. Наши мичманы тоже...

— Кто? — нетерпеливо перебил Ушаков.

— Пустошкин, Веленбаков...

— Не знаешь, Лукич, где они остановились?

— Как не знаю?! У Большой Проспективной и Двенадцатой линии. Вон новый дом, крашенный под кирпич.

— Спасибо, брат!

Ушаков больше не расспрашивал, а Лукич не задерживал его: боцман отлично помнил, что мичман Ушаков не пьет, стало быть, какой с ним разговор.

Ушаков сразу нашел дом, о котором говорил Лукич. Он был обшит тесом, побелен и раскрашен. Издали и впрямь можно было подумать, что дом — из кирпича.

Федя вошел на крыльцо, постучал.

Открыла старуха.

— Здравствуйте, бабушка. У вас моряки остановились?

— Здеся, здеся, входите, — приветливо ответила старуха, пропуская Федю в сени. — Извольте, батюшка, вот сюда, — открыла она дверь.

Ушаков шагнул в комнату.

Первый, кого он увидел, был Паша Пустошкин. Паша без мундира стоял посреди комнаты, курил и что-то говорил, — Пустошкин любил побеседовать. Был он все такой же полный, высокий, румяный. За ним у стола, на котором стоял полуштоф и лежала закуска, сидел пучеглазый Нерон Веленбаков.

— Здравия желаю, господа мичманы! — весело приветствовал Ушаков, ставя чемодан в угол.

— А-а, Федя, дружок, здорово! — пробасил, вставая, бывший немного под хмельком Нерон.

— Здравствуй, Феденька! Вот не ждали! — кинулся к нему чувствительный Паша Пустошкин.

Товарищи обнялись.

— Ты что, из Ранбова? — спросил Пустошкин.

— А откуда же ему и быть-то? Конечно, оттуда, — ответил за товарища Веленбаков.

— На Дон? — продолжал спрашивать Паша.

— На Дон, — ответил Ушаков. — А вы?

— И мы туда же.

— А куда именно?

— В Воронеж.

— В какое-то место меня назначат? — задумался Федя.

— Сейчас, брат, у всех один курс — Воронеж. Завтра в Адмиралтейств-коллегий получишь ордер, а послезавтра поедем вместе. Отправляется очередная партия, — объяснял Пустошкин.

— Вот и хорошо! — обрадовался Ушаков.

— Знаешь, Паша, я схожу еще за полштофом — согреться господину мичману с дорожки, — предложил Нерон.

— Нет, нет, я не буду пить! — схватил его своими крепкими руками Ушаков и усадил на скамейку.

— Сиди, Нерон. На сегодня довольно! — прикрикнул Пустошкин. — Ведь завтра поутру являться в Адмиралтейств-коллегию, аль забыл? Вот сейчас хозяйка самовар принесет.

— Экое питье — чай!..

— А я чайку выпью с удовольствием, — сказал Федя, садясь за стол.

— Эх вы, моряки! — безнадежно махнул рукой Нерон.

— Ты, Паша, раздобрел, я вижу. А Нерон — все такой же, — разглядывал товарищей Ушаков.

— Ты тоже не похудел! — хлопнул его по плечу Пустошкин. — Ну, где плавал? На чем? Под чьей командой? — забросал он вопросами.

— Разве забыл? Он ведь ушел тогда в Архангельск на пинке[1] «Наргин», — напомнил Веленбаков.

— И на нем вернулся назад. А с нынешнего, шестьдесят осьмого года, на «Трех иерархах».

— На этих «Трах-тарарах», как называют матросы? У капитана первого ранга Грейга?

— Да, у Самуила Карловича.

— Хороший у тебя был начальник, — позавидовал Пустошкин.

— А вы где?

— Я у капитана Наумова, — тотчас же завладел разговором словоохотливый Пустошкин. — Смешной дядя. Думает, что — лихой служака: шляпу и ту, как говорится, носит параллельно горизонту. И знает одно — как выйдет из каюты, обязательно кричит: «Право руля!» Хоть бы и вовсе в этом нужды не было. Считает себя

---

[1] Пинк — небольшое транспортное судно.

морским волком. Даже на берегу все называет не иначе, как поморски; коляска у него «барказ», линейка — «катер», дрожки — «шлюпка». А на судне любит держать фор-брам-стеньгу, она у него так постоянно и торчит. Этакий капитан немногому научит!

— Ну, ты сам, Пашенька, неплохо дело знаешь! А где Нерон был? — обернулся к Веленбакову Федя.

— Я, брат, плавал на фрегате «Диана». Не «Диана», а чистый верблюд. Нос и корма у нее подняты, а середина провалилась. Шканцы и бак выше шкафута на целую ступеньку. А когда на ростры подымут гребные суда, фрегат точь-в-точь верблюд. Капитан «Дианы» Козлов — ничего. Только больно худ, ровно скелет из рисовальной прейслеровской анатомии, что мы когда-то в корпусе учили. Но хитер как бес! Явился я к нему, а он сразу: «Которым, сударь мой, выпущены из корпуса?» А как мне признаться, что вышел я пятьдесят осьмым, что за мной остался только Сенька Трусов? Отвечаю: «Тридцать седьмым, ваше высокоблагородие! Последний год весь проболел». — «А сколько всего выпущено?» — «Пятьдесят девять», — отвечаю. «Ладно, — говорит, — служи исправно, человеком будешь! Деньги, — спрашивает, — имеешь?» — «Никак нет, ваше высокоблагородие!» И ка́к он узнал, что у меня один целковый в кармане? «Ну, не бойся, дадим вперед!» Сам выбрал мне вестового и показывает ему кулак: «Держи ухо востро да береги спину! Ежели барин попадет у тебя в кутеж или в картеж, я те пятьсот всыплю! Вишь, молод еще, оберегать надо!» Вот догадливый, черт!

— Легко ему быть догадливым, ежели от тебя, поди, за кабельтов[1] винищем разило! — улыбнулся Паша.

— А вот и не разило. И никогда не разит: я всегда чесночком закусываю!

В это время хозяйка внесла в комнату самовар. Паша Пустошкин засуетился, стал разливать чай, достал из чемодана колбасу и хлеб.

«Все такой же — любит поговорить и угостить», — подумал о товарище Ушаков.

Как только принялись за чай, Пустошкин снова овладел разговором:

— Федюша, а помнишь, как мы вчетвером — я, ты, Гаврюша, Нерон, — бывало, ходили в баню на пустырь у Шестнадцатой линии? Напаримся-нажаримся — и в снег: кто дольше пролежит, тому бутылка меду с остальных. Нерон, черт, лежал дольше всех. Ты-то в наш спор не встревал, а только помню, что и тебя раз подзадо-

---

[1] Кабельтов — морская мера длины, равен 185,2 метра.

рили. Говоришь: никакого меду мне не надо, а пролежу дольше вас всех! И пролежал. Помнишь, Нерон? — смеялся Паша.

— Как же, помню!

— Ну, нашел что вспоминать! — отмахнулся Ушаков. — А не знаете, где Гаврюша?

— Он на Балтийском. Командует гальотом[1] «Стрельна».

— Батюшка, к вам пришли, — просунула голову в дверь хозяйка.

— Кто там, пусть входит! — сказал, выглядывая из-за самовара, румяный Паша Пустошкин.

В комнату вошла девушка лет пятнадцати.

Несмотря на то что она очутилась с глазу на глаз с тремя молодыми моряками, девушка нисколько не смутилась.

Кутаясь в платок, накинутый поверх шубки, она приветливо улыбалась:

— Здравствуйте! Мне сказывали, что кто-то из вас поедет в Воронеж.

— Мы все поедем, — ответил, подымаясь, Пустошкин.

За ним поднялись остальные.

— Я хочу просить, чтобы вы передали моей маменьке письмо. Она живет в Воронеже.

— Охотно передадим, — ответил Пустошкин.

— Лучше поедемте вместе с нами, — предложил Веленбаков, — веселее будет!

— Я поеду, когда установится санный путь.

— Ну, так мы будем встречать вас в Воронеже, — улыбнулся Паша. — Давайте письмецо!

— Я еще не написала. Я завтра напишу. Может быть, кто-нибудь из вас зайдет за ним?

— Выбирайте любого из троих, — пошутил Нерон.

Девушка обвела всех глазами.

— Я прошу вас. Вы ведь тоже поедете? — обратилась она к Ушакову.

Федя стоял красный от смущения и неожиданности. Он уже давно узнал девушку: это была та, которой он спас снегиря.

Она выросла и повзрослела. Ее курносое личико было миловидно. А когда девушка улыбалась, то открывался ровный ряд белоснежных зубов. И эта улыбка озаряла все ее лицо.

— Поеду, — смущенно выдавил Федя.

— Я вас помню, сразу узнала, — улыбнулась девушка. — Выйдемте, я вам покажу, где сейчас живет моя тетушка. Тот дом — сгорел.

И она пошла из комнаты.

Федя волей-неволей должен был следовать за ней.

---

[1] Гальот — плоскодонное транспортное судно.

На крыльце девушка остановилась:

— Вон видите домик, где растет береза? Там живет моя тетушка. А вас я запомнила. Я даже видела вас несколько раз во сне, — сказала она и, светло улыбнувшись, сбежала с крыльца.

Ушаков вернулся в комнату еще более смущенный. Он старался не смотреть товарищам в глаза.

— А девушка-то ничего: стройная, легкая, словно гичка! Ай да Федя! — попробовал было пошутить Веленбаков, но Ушаков так покосился на него, что Нерон сразу умолк.

VI

В Адмиралтейств-коллегий Ушакову подтвердили, что он тоже назначен в Азовскую экспедицию, под начальство вице-адмирала Алексея Наумовича Сенявина, и должен отправляться в Воронеж завтра поутру.

Погода стояла отвратительная — моросил дождь, и Ушаков пошел из Адмиралтейств-коллегий прямо на квартиру.

Пустошкина и Веленбакова дома не оказалось.

Сегодня целый день у Феди не выходила из головы эта милая, улыбчивая девушка.

В тамбовском детстве у Феди все друзья-приятели были мальчишки. За шесть лет учения в Петербурге Ушаков не свел знакомства ни с одной девушкой, и в корпусе его за это прозвали схимником. А тут, первый раз в жизни, он говорил с девушкой, которая, оказывается, помнит его и даже видит во сне. От всего этого сладко закружилась голова.

«Пойду-ка я за письмом, пока нет этих пересмешников», — вдруг подумал Федя и поскорее шмыгнул из дому.

На крыльце он оглянулся — не смотрит ли кто, но Двенадцатая линия была пуста.

Только с Десятой, где был кабак, брели через пустыри два подгулявших матроса, и один из них куражился и орал:

Из-за Волги кума
В решете приплыла,
Веретенами гребла,
Юбкой парусила...

Ушаков быстро перешел улицу к домику с березой. Уже постучав в дверь, он вспомнил, что не знает ни имени, ни фамилии девушки.

Открыла высокая пожилая женщина, которую Федя видел в тот раз на пожаре.

«Верно, ее тетушка!»

— Вы за письмом? — спросила она.

— Точно так! — пересохшим от волнения, глухим голосом ответил Ушаков.

Он несколько похрабрел — такое начало было ему на руку: выходит, что Федя пришел по делу, а не вроде кавалера. Он хуже всего боялся, чтобы так не подумали о нем.

— Пожалуйте, пожалуйте! — ввела его тетушка в небольшую, скромно обставленную, но чистую комнату. — Садитесь. Любушка сейчас придет — она пошла в сарай за дровами.

«Ага, значит, ее зовут Любушкой», — приметил Ушаков.

— Непоседа-девчонка, егоза. Собиралась побыть у меня до весны, а вчера вдруг услыхала, что моряки отправляются в Воронеж, загорелась: поеду и я домой! Побежала узнавать, кто едет. Другая бы постеснялась говорить с незнакомыми, а этой — нипочем. Она с любым человеком запросто говорит. Я вон старая, а так не могу. Это она в отца пошла такая простая да ласковая. Тот, бывало, с первым встречным говорит, будто десять лет его знает. А письмо-то у Любушки еще не готово, — улыбаясь, закончила вполголоса тетушка.

В это время в соседней комнате послышался стук брошенных на пол дров.

— Любушка, пришли за письмом, — сказала тетушка, входя к ней в комнату.

В дверь просунулась голова со вздернутым носиком и быстрыми голубыми глазами.

— А-а, это вы? Я сейчас! — весело и просто сказала она и скрылась.

Федя сидел красный: все-таки он не мог побороть смущения, — как это он будет сидеть один с девушкой, словно жених или кавалер.

Через минуту в комнату впорхнула Любушка:

— Здравствуйте! Как вас величать?

— Федор Федорович Ушаков.

— Здравствуйте, Федор Федорович! Молодец, что пришли! А вот письмо-то у меня еще не готово... И я не знаю, может, и не буду его вовсе писать... — улыбаясь, сказала она и взглянула на Ушакова.

У Феди упало сердце: «Передумала, не поедет...»

— Вы что, разве не поедете в Воронеж? — испуганно спросил он.

— А вы хотите, чтобы я поехала?

— Хочу! — вырвалось у Феди.

— Я поеду. Только не знаю когда... — смеялась Любушка.

— Вы же говорили: по санному пути... Скоро должна установиться зимняя дорога.

— У нас, в Воронеже, санный путь — с Николина дня.

— Вот и поезжайте!

— Я и хочу — на Николу.

— А с кем вы поедете?

— В Воронеж часто ездят на верфь. У тетеньки есть знакомый подрядчик. Вы в Воронеже были?

— Нет. Хороший город?

— Хороший. Весь на горах. Обрывы, обрывы! Белые мазанки и ветряки. Красиво! А небо какое у нас — синее, глубокое!

— Ничего хорошего там нет. Дома на горе, а воду таскай из реки. А летом — ветры и ветры. Пыль — свету Божьего не видно! — вмешалась тетушка, входя в комнату.

— Да что вы, тетушка Настасья! Разве Питер лучше? Одно болото да вечная слякоть.

— А давно ли сама восхищалась: «Ах, белые ночи! Ах, Петербург!»

— Тогда нравился, а вот теперь уже пригляделась к нему! — тряхнула она русой косой.

Ушаков просидел у Настасьи Никитишны дотемна.

За чаем тетушка спросила мичмана о его родителях.

Федя ответил, что старик отец еще жив, а мать умерла давно, когда ему было восемь лет.

— Значит, росли сиротой, — пожалела Настасья Никитишна. — А откуда же вы родом?

— Из Тамбовской.

— Так вы наш сосед! — обрадовалась Любушка. — От Воронежа до Тамбова рукой подать!

— Я не из самого Тамбова, а из Темниковского уезда. Там у нас деревенька. Алексеевка.

— А почему поступили в морской корпус, а не в сухопутный? — полюбопытствовала тетушка.

— Сухопутный не по карману: у отца всего-навсего девятнадцать душ, — просто ответил Ушаков.

Он никогда не стыдился того, что его отец небогат.

— Морским офицером лучше быть, чем сухопутным. Что берег? Грязь, пыль. А в море волны, ветер, простор! — убежденно сказала Любушка.

Федя даже покраснел от удовольствия.

— Да, я тоже очень люблю море! — признался он.

Тут же, за чайным столом, Любушка в конце концов написала матери письмо и стала объяснять Феде, как найти в Воронеже дом, где они живут.

— Вот город, на горе. Так — Нищенская слободка, так — Стрелецкий лог, так — Гусиная слободка, — чертила она пальцем по скатерти. — А так — наша Чижовка, ближняя и дальняя. Когда-то в ней водилось много чижей. Вот церковь Троицы, слева большой

дом — в нем живут попы, дьякон Калистрат, пономарь. А справа — маленький, это и есть наш. Понятно?

— Понятно, — отвечал Федя, а думал только об одном: поскорее бы эта белозубая девушка приезжала в Воронеж!

— А вот тут, — не переставала Любушка чертить пальцем, — Чижовская роща. Дубы, дубы и дубы. И клены. Красиво! Сюда мы с вами пойдем весной гулять. Хорошо?

— Хорошо, — ответил Федя, а сам подумал: «Одно плохо — пора уходить, а так не хочется!..»

Он поднялся и стал прощаться.

— Ежели когда-либо приедете в Петербург и негде будет остановиться, милости просим ко мне! — гостеприимно предложила тетушка.

— Спасибо! — поблагодарил Федя уходя.

Любушка провожала его.

— Скажите, Любушка, а вы... в самом деле приедете? — спросил он, уже стоя на крыльце.

— При-и-еду! — улыбаясь, протянула она, и Феде почудилось в этом слове: «ми-и-лый...»

Он спрыгнул с крыльца и, не разбирая в темноте луж, зашагал через улицу к себе.

VII

Незаметно промелькнула неделя, как Ушаков приехал в Воронеж, а письмо Любушки все еще продолжало лежать в Федином чемодане.

Он был исполнителен и верен в своем слове, но не хватало времени. В адмиралтействе всем нашлось много дела. Пустошкин работал на постройке мастерских, а Ушакова определили в чертежную.

Когда-то, при Петре I, весь Воронеж был заполнен моряками. Целые улицы занимали корабельные мастера: шлюпочные, парусные, блочные, канатные, купорные. Жили плотники, кузнецы, литейщики. В Воронеже лили пушки, мортиры, ядра, варили смолу, гнали деготь, вили канаты и веревки.

После смерти Петра I все пришло в упадок. Мастерские обветшали или стояли заколоченные. Мастера перемерли или разъехались по другим местам. И многое приходилось начинать сызнова. Оттого теперь у всех — матросов и офицеров — было достаточно работы.

Федя приходил вечером на квартиру усталый. Он видел чемодан, в котором лежало письмо, терзался мыслью, что поручение Любушки до сих пор им не выполнено.

Ушаков каждый день невольно наблюдал за погодой: снежок понемногу укрывал землю.

Иногда, сидя у себя в чертежной и обсуждая с товарищами качество кораблей разной постройки, он говорил что-либо вроде:

— Архангельские хуже петербургских: в бейдевинд[1] имеют большой дрейф.

А сам в это время смотрел в окно на падающий снег и думал с тревогой: «Может, уже приехала?»

И невольно краснел.

Во-первых, от мысли, что он не сдержал слова, а во-вторых, оттого, что было приятно представить: Любушка уже в Воронеже!

Паша Пустошкин, который жил с ним (Нерона Веленбакова услали в Таганрог), пытался было навести разговор на интересующую тему, но прямо о девушке говорить не смел. Живя не первый год с Ушаковым, он знал, что Федя рассердится и сразу оборвет разговор. Он такой: нашел — молчит, потерял — молчит. И потому Пустошкин старался говорить обиняком:

— А уже санная дорога установилась. Вчера из Москвы констапель[2] приехал...

Но Федя упорно молчал, хотя прекрасно понимал, к чему клонит Паша, и хотя этот разговор был ему приятен.

Паша втихомолку наблюдал за другом.

Подошла суббота.

Вечером в чертежной, как и в других командах, был прочтен приказ:

«Завтрашнего числа для праздника воскресенья адмиралтейским служителям шабаш, чтоб Богу молились, гуляли тихо и смирно, шумства, драк и прочих непотребств не чинить».

Федя слушал и думал: «Завтра отнесу письмо».

Он утром попросил у соседа, корабельного мастера, бритву и побрился, хотя льняной пушок на щеках был мало заметен.

Потом не мог дождаться обеда. От скуки листал «Регламент о управлении адмиралтейства и верфи».

Паша, любивший пошутить, не выдержал и сказал:

— Не смотри: все равно по параграфу семьдесят седьмому гардемарину жениться запрещается. Не то — дадут три года каторжной работы!

Федя вспыхнул до корней волос и только глянул на него, как рублем подарил! Паше и этого хватило — сразу умолк. Так молча и обедали.

После обеда Федя оделся получше, достал из чемодана письмецо и, стараясь не смотреть Паше в глаза, шмыгнул за дверь.

---

[1] Бейдевинд — курс корабля, самый близкий к линии ветра.

[2] Констапель — артиллерийский прапорщик.

Адрес он помнил наизусть: «Марии Никитишне Ермаковой у Троицкой церкви, что на Чижовке». За эти дни он узнал, что Чижовка — слободка на горе, предместье Воронежа, которое от города отделяет крутой яр.

«Хорошо, что дом — у церкви. Значит, легко найти, не придется ни у кого спрашивать».

Войдя в слободку, Федя вспомнил: здесь когда-то водилось много чижей. «Не оттого ли и она держала в клетке снегиря? Любит птиц, значит, доброе сердце!..»

Он захотел представить себе ее лицо и не мог: оно как-то уплывало. И лишь не потухала, жила в его памяти широкая, светлая Любушкина улыбка.

Вот и церковь Троицы. Вон один дом деревянный — побольше, другой — маленький, весь белый, крытый очеретом.

Ох как бьется сердце!

Ушаков еще издали разогнался — для храбрости! — и бодро подошел к домику.

Он постучал и ждал, насупившись.

Дверь отворила высокая седая женщина. Хотя глаза у нее были карие, а нос прямой, но ее лицо чем-то напоминало Любушкино.

«Мать!»

— Входите, входите! — приветливо сказала она, отступая в глубь сеней.

Ушаков вошел.

— Честь имею видеть Марью Никитишну Ермакову? — официально спросил Федя.

— Да, это я, — сказала женщина.

— Вам письмо из Петербурга. От дочери.

Он протянул конверт.

— От Любушки? Когда же она приедет?

— Сказывала: по первопутку.

— Пожалуйте сюда, господин мичман. Милости прошу. — Марья Никитишна распахнула дверь в комнату. — Раздевайтесь, у нас тепло, — предложила она.

Поначалу Ушаков думал отдать письмо и сразу же уйти, но сейчас что-то удерживало его здесь. Он снял шинель и шляпу.

— Садитесь! — предложила хозяйка, усаживаясь у стола.

Федя сел.

— Мы ведь тоже из морской семьи. Мою мать в тысяча семьсот первом году по велению царя Петра отправили сюда. Каждый десятый двор должен был поставить одну девицу для вступления в брак с солдатами, а остальные дворы — снабдить ее всем необходимым. И кроме того, дать двадцать рублей приданого. Вот она и вышла замуж за моряка. И мой покойный муж тоже был моряк, — словоохотливо рассказывала Марья Никитишна.

Она оказалась более разговорчивой, чем ее сестра, Настасья Никитишна, и держалась так, что Феде казалось, будто он давным-давно знает ее.

— А вы когда же познакомились с Любушкой?

Федя зарделся. Говорить о том, как он спас снегиря, не хотелось.

— Верно, где-либо в церкви, — улыбнулась Марья Никитишна, — или на гулянье. Вот у нас, в роще, с мая месяца по воскресеньям гулянье... Что, Любушка здорова?

— Ничего, здорова. Я ее всего два раза видел... Я с Балтийского... Меня отправили сюда. Ехал, остановился на Васильевском острову...

— Да, там живет моя старшая сестра, Настасья. Домик-то у нее в третьем годе сгорел...

Ушакову хотелось сказать: знаю, сам видел, но — смолчал.

— Вас как же звать?

— Федор Ушаков.

— Я уж Феденькой стану звать, по-стариковски. Вот я вас пирогом с капустой угощу, — поднялась Марья Никитишна.

Ушаков не отказывался: он чувствовал себя здесь просто и хорошо. И главное, можно свободно говорить о Любушке — это же не с насмешником Пашкой Пустошкиным: не засмеет!

Марья Никитишна поставила пироги, флягу с водкой, угощала.

От водки Ушаков отказался — он не любил пить.

— Одну-единственную. В вашем морском деле — надо. Пьяницей быть — сохрани Господи, а придешь с вахты мокрехонький, водкой только и отогреешься и спасешься! — уговаривала хозяйка. — Первая рюмка и называется «прошеная», а вторая уже — «непрошеная»!

Пришлось выпить «прошеную» и закусить пирогом, — пироги были отменные.

Марья Никитишна расспросила его обо всем: откуда родом, сколько имеет душ крепостных, где и на чем плавал. В морском деле она разбиралась словно заправский моряк.

В беседе Ушаков не заметил, как заблаговестили к вечерне. Он хотел уже прощаться, когда в комнату вошел высокий красивый человек. Федя сразу признал: это был грек. Грек учтиво поздоровался, пожелал «приятно кушать» и прошел в соседнюю комнату, о которой Федя почему-то думал, что она Любушкина...

— Это мой постоялец, — зашептала через стол Марья Никитишна. — Павел Зосимович Метакса. Грек. Он поставщик в адмиралтействе. Гарпиус поставляет. Хороший, богатый человек...

У Феди почему-то сразу испортилось настроение. Румянец покрыл его щеки. Он сидел, сдвинув свои густые брови. И все его ли-

цо — с тяжелым, выступающим подбородком — стало старше и суровее.

Корпусные товарищи увидали бы: Федюша чем-то сильно недоволен. Такого лучше не трогать!

Он поднялся, поблагодарил за угощение и стал одеваться.

— Еще раз спасибо, родной! Спасибо, сынок! — говорила на прощанье Марья Никитишна. — Приходи же, Феденька. Вот Любушка приедет, — пела она. — Пишет: к Николину дню постарается...

Ушаков шел, невольно высчитывая в уме, сколько дней осталось до зимнего николы.

Грек очень не нравился Феде, хотя ничего худого о нем Ушаков сказать не мог.

VIII

Ушакова все больше и больше захватывала новая для него работа в адмиралтействе.

Приятно было сознавать, что принимаешь непосредственное участие в постройке Азовского флота, что по твоему чертежу будут строить отдельные члены судна. Не то что Паша Пустошкин, который занят такой малоинтересной, обычной, чуть ли не деревенской работой: стройкой кузниц, шлюпочных мастерских да разных сараев. Но Паша Пустошкин рьяно отстаивал свое дело.

— Посмотрел бы я, как ты на своем праме[1] обошелся бы без моего якоря или без шлюпки! — возражал он Феде.

Занятый работой, Ушаков не заметил, как подошел долгожданный Николин день.

Федя не знал, что делать: хотелось проведать, приехала ли Любушка, но идти к Ермаковой без дела было как-то стыдно.

Он ломал голову — что бы придумать! И наконец нашел простой выход: пойти к обедне в их слободскую церковь, — если Любушка в Воронеже, она обязательно должна прийти к Троице.

Федя приоделся и зашагал в Чижовку.

Войдя в церковь, он сразу же увидел на левой стороне среди женщин высокую Марью Никитишну. Рядом с ней стояла Любушка.

Ушаков прошел немного вперед и стал на виду. Ему так хотелось посмотреть назад, но это было неприлично.

Он терпеливо простоял до конца службы и, только когда все двинулись ко кресту, обернулся.

Ушаков пристально рассматривал толпу, теснившуюся к священнику с крестом, но Ермаковых не было. Раздосадованный, Федя пошел к выходу.

---

[1] Прам — плоскодонное судно, вооруженное пушками.

Выйдя на паперть, он стоял, растерянно смотря по сторонам.

Вдруг кто-то легонько взял его за локоть. Он зло поворотил голову, думая, что это какой-нибудь назойливый нищий, и оторопел: перед ним, улыбаясь, стояла Любушка.

— Здравствуйте, Феденька! Кого это вы ищете? Не меня ли?

Он хотел было отпереться, что, мол, не искал ее, но это не вышло.

— Здравия желаю! — с живостью ответил он.

— Пойдемте же к нам, чего тут стоять! — потащила его Любушка сквозь строй нищих и калек.

Пришли к Ермаковым. Любушка сняла шубку и упорхнула на кухню помогать матери накрывать на стол, приказав Феде немножко обождать, лукаво прибавив:

— И не скучать!

Ушаков смирнехонько сидел у печки. Он чувствовал бы себя счастливым, если бы не эта проклятая дверь в соседнюю комнату... Прислушивался: дома ли грек?

Вошли Марья Никитишна и Любушка с посудой и пирогами.

Хозяйка подошла к небольшому шкапику и, открывая дверку, обернулась к Ушакову:

— Феденька, а водочки выпьем?

— Нет, благодарствую, не надо! — замахал руками Ушаков.

— А в прошлый раз ведь пил! — насмешливо глянула через плечо Любушка. — Я все знаю!

— Быль молодцу не укор! — выручила Марья Никитишна. — Не хотите — неволить не стану!

Сели за стол.

Любушка рассказывала о том, как жила в Петербурге, как ехала до Воронежа.

Потом мать ушла на кухню убирать посуду, а Федя остался с Любушкой. Она упросила его рассказать, как он тогда спасал снегиря.

Ушаков нехотя повиновался.

— Спасли, Феденька, зря: все равно снегиря негодяй кот съел! — вспомнила Любушка.

На кухне послышались голоса. Марья Никитишна уговаривала кого-то откушать пирога, а мужской голос благодарил, но отказывался.

В комнату вошел Метакса. Он поклонился Ушакову и прошел к себе, закрыв дверь.

— Что, постоялец еще у вас? — спросил, заливаясь румянцем, Федя.

— А ну его! — махнула рукой Любушка и зашептала: — Он старый — ему уже тридцать лет!

Над Федей вновь засияло солнце...

Метакса пробыл у себя не больше пяти минут и снова ушел.

Весь вечер они провели втроем. Пили чай, а потом Марья Никитишна вязала, а Любушка играла с Федей в свои козыри и носки.

Было весело. Когда Федя проигрывал, озорная Любушка щелкала его по носу картами и заливалась смехом.

Наконец настало время уходить. Любушка провожала его до двери.

— Приходите в следующее воскресенье! Мне скучно одной! — сказала девушка на прощанье.

— Приду! — с радостью ответил Федя.

Дул пронзительный ветер, в лицо било снегом, но Федя не чувствовал холода. К себе в комнату он вошел напевая.

— Ого, какой веселый! Да ты, Федя, никак первый раз в жизни выпил! — рассмеялся Паша, при свече пришивающий пуговицы к бострогу[1].

— А если б и выпил, Пашенька!

Он обнял друга за плечи и так сдавил, что Пустошкин крякнул:

— Пусти, тамбовский медведь!

Когда в следующее воскресенье Ушаков собирался уходить, Паша, осмелев, спросил:

— Куда? Снова к ней?

— На кудыкину гору! — отшутился Федя и помчался в милую слободку. Дверь ему открыла сама любезная, льстивая Марья Никитишна.

— А, Феденька, деточка! — запела она, увидев мичмана. — Как раз на чаек. Милости просим!

Федя разделся, вошел в знакомую комнату и остолбенел: за столом сидел с Любушкой грек Метакса.

Ушаков стал мрачным и неразговорчивым. Ему было противно, что Марья Никитишна и Любушка ласковы с этим черноглазым красивым греком, что Любушка весело смеется и шутит.

Феде казалось, что на него не обращают внимания, обходятся с ним как с малым ребенком.

После чая девушка принесла карты, но Федя не остался играть, сказав, что завтра чем свет уезжает на неделю в Таврово.

— Вернетесь — приходите, не забывайте нас, — говорила в дверях Марья Никитишна, провожая гостя.

Ушаков ничего не ответил. Он только сжал челюсти и подумал: «Как же, ожидайте. Приду!»

Эту неделю Ушаков работал с остервенением.

Пришло воскресенье.

---

[1] Бострог — мундир.

В последнее время Федя по воскресеньям вставал рано, а теперь отзвонили к обедне, а он еще лежал. Лежал и думал все о том же — о женском коварстве...

Пустошкин уже ушел в город к знакомым, когда Ушаков встал. Подмывало пойти к Ермаковым, но он все-таки остался дома.

До обеда он рисовал фрегат, а вечером достал из сундука маленький томик Сумарокова. Федя любил эти притчи, где так легко текут слова:

Прибаску
Сложу
И сказку
Скажу...

где стихи о моряках:

Встала буря, ветры дуют,
Тучи помрачили свет...

Он листал знакомые страницы, а глаза сегодня ловили иные строчки:.

Изображает ясно
То пламень во крови
Тово, кто ждет напрасно
Взаимный любви:
Прохожева обманет
Текущая вода,
Тово любить не станет
Ириса никогда.

IX

В середине следующей недели Ушакова взаправду отправили в Таврово с чертежами новых прамов.

Не хотелось уезжать из Воронежа, но ехал он со странным удовлетворением: как будто кому-то назло. А очутившись в Таврове, не мог дождаться, когда разделается со своим поручением.

В Воронеж он вернулся только в понедельник.

Паша Пустошкин сидел дома — чертил.

— Федя, а о тебе тут беспокоились, — ехидно сказал Паша.

— Кто?

— Прибегала Любушка, спрашивала: почему, мол, Феденька не приходит? Здоров ли?

— Да ну, брось шутить! — нахмурился Ушаков.

— Ей-ей, не шучу! Прибегала!

— Давно?

— В пятницу.

Ушаков посветлел.

Эта неделя тянулась у него дольше всех других: не мог дождаться конца. В воскресенье утром пошел знакомой дорогой в милую Чижовку. Шел, полный обиды. Шел не торопясь, но в то же время хотелось скорее-скорее...

Открыла сама Любушка:

— Феденька, голубчик! Пришел!

Она кинулась к нему и неожиданно поцеловала в холодную щеку.

Ушаков окончательно опешил.

Любушка тормошила его, стащила с него шинель, повела в комнату.

Ушаков сразу приметил: дверь в комнату постояльца была раскрыта настежь.

— Грек дома? — насупился он.

Любушка залилась смехом.

— Что ты?

— Из-за грека-то и не приходил? Да?

Федя только потирал холодные руки, молчал, подозрительно озираясь.

— Глупенький, да он мне противен! Понимаешь: про-отивен! И он уехал!

— Куда?

— В Азов.

— Совсем?

— Совсем!

Федя кинулся к ней.

— Пусти! Мама! — с притворным испугом зашептала она, кивая на дверь.

Ее большие глаза стали еще больше.

Федя отпустил ее и оглянулся.

Любушка отбежала за стол и, выпячивая свои полные губы, протянула:

— Тру-ус! Мамы нет, ушла к протопопше. Мы одни в доме. Тру-ус!

Ушаков шагнул к столу. Их разделяла только столешница.

Любушка стояла против него, раскрасневшаяся, похорошевшая. Она дразнила, высунув язык.

Ушаков увидал: у Любушки на конце языка — небольшая ямка.

— Чего смотришь? Язык раздвоен? Как у змеи. Не бойся — это меня в детстве нянька кашей так накормила. Сунула в рот ложку горячей каши, а сама убежала. И сожгла мне язык...

Федя через стол ловко схватил ее за руку...

До весны было еще три месяца, но у Феди Ушакова она расцветала уже в январе.

X

В напряженной каждодневной работе мелькали похожие друг на друга дни. Зима пролетела незаметно: была она «сиротская» и не успела надоесть ни снегами, ни морозами.

В марте вскрылась река. И сразу прибавилось работы: отправляли припасы, вооружение и снаряжение для судов, которые строились на верфях в Таврове, Павловске, Икорце и Хопре.

От зари и до зари, не умолкая, стучали плотничьи топоры. Не потухали литейные печи, кузнечные горны, курились смолокурни.

Сенявин деятельно готовил Азовскую флотилию.

Присланных из Петербурга мичманов отправляли дальше, к Азовскому морю. Пустошкин уехал на Икорецкую верфь, Ушаков остался один. Ждал, что не сегодня завтра и его отправят куда-либо.

Каждое воскресенье Федя ходил по знакомой дороге в Чижовку.

Марья Никитишна уже в глаза называла его «зятек», ласково обнимала, потчевала, как могла, и все спрашивала, когда Ушакова произведут в лейтенанты и сколько он тогда будет получать жалованья.

Федя и сам думал жениться на Любушке.

Вся его прошлая жизнь — корпус, флот — прошла среди мужчин. Он любил море, флотскую суровую жизнь, готовился к ней и не представлял, как живут семейные моряки. Но без Любушки ему было тоскливо, тянуло к ней. Как ни был он занят, а всегда помнил о Любушке.

И Федя тоже говорил ей:

— Вот произведут в лейтенанты...

— Не говори заранее. Произведут, тогда то и будет! — обрывала Любушка и тащила Федю в рощу, где с мая месяца каждое воскресенье устраивались народные гулянья.

Ушаков не любил быть с ней на людях. Он робел и чувствовал себя неуверенно и плохо.

Федя предпочитал сидеть вдвоем с Любушкой где-либо в палисаднике у дома или на обрыве, чем ходить, как он выражался поморскому, «в ордере[1] конвоя». А Любушка обязательно хотела других посмотреть и себя показать.

— Мне, кроме тебя, никого не надо! — отговаривался Федя.

Тогда Любушка шла в атаку с другой стороны.

— Ты что, стыдишься ходить со мной? Жался бы только по углам! — насмешливо говорила она и отворачивалась, капризно надув свои пухлые губки.

---

[1] Ордер — строй флота в море.

И Федя скрепя сердце уступал. Он шел насупившись, точно его вели на казнь.

Но Любушка прижималась к его плечу, ласково заглядывала ему в глаза и вдруг улыбалась, и вся Федина суровость мгновенно исчезала.

Они шли в рощу и сразу же попадали в людской водоворот. Слышалось треньканье балалайки, гудели рожки, где-то пели песни. На качелях высоко взлетали вверх красные, синие, желтые сарафаны. Кричали сбитенщики, продавцы кваса. Зазывали продавцы сластей — пряников, конфет. Шум, гам, пыль. Ни поговорить, ни собраться с мыслями, ни помечтать о будущей совместной жизни...

В июне установилась сухая, маловетреная, жаркая погода. Солнце вставало в какой-то дымке и палило без милосердия.

Рабочие верфи и арсенала падали в изнеможении от зноя.

Город как вымер, на улицах — ни души. Окна закрыты ставнями. Собаки попрятались.

Только на реке с утра до ночи возились ребятишки.

Воскресный день выдался еще более знойным. Небольшой ветерок, который был накануне, совсем утих. Стало душно, как в бане.

Ушаков после обеда пошел, как всегда, к Любушке.

Марья Никитишна сидела в подполе, кляня Воронеж, что в нем нет колодцев и за водой приходится тащиться вниз, к реке.

— Ну и жара, прости господи!

— Сорок в тени, — сказал Федя, проходя в комнату к Любушке.

А Любушке было нипочем. Она хотела идти гулять в рощу.

— Эк, неугомонная! Сидела бы уж. Где там до прогулок! — сказала мать.

Но Любушка не послушалась матери и потащила Федю на всегдашнюю прогулку.

Роща была полна народу. Все жались в тень деревьев и кустов. Сидели и лежали, разомлев от жары.

Любушка и Федя устроились под молодым дубком. Сюда немного еще доставало солнце, но через некоторое время это место должно было оказаться совсем в тени.

Дубок стоял у самой опушки, дальше шел луг.

Любушка полулежала, обмахиваясь платочком, и напевала:

Несчастным детинка
На свет сей родился,
На свет сей родился,
В девушку влюбился...

В легком платьице ей было не так душно, как мичману в его суконном мундире и такой же «нижней амуниции».

А он изнывал от жары.

Во рту пересохло, — ни сбитенщиков, ни квасников уже не было: всё раскупили.

Ушаков сбросил шляпу. Сидел молча, — от духоты не хотелось даже говорить.

С запада надвигалась грозная сине-багровая туча. Лучи солнца окрашивали ее края в зловещий оранжевый цвет.

— Любушка, будет гроза, пойдем домой, — сказал Федя.

— Вот так зейман — дождя испугался! — усмехнулась Любушка.

Если бы Федя не был и так красен от духоты, Любушка могла бы увидеть, как он покраснел от возмущения.

— Пока промокнет мой мундир, ты уже вся до нитки будешь мокрехонькая!

— И хорошо — хоть освежусь! А то я сегодня три раза бегала купаться, а все не помогает! — ответила девушка, не меняя положения.

Федя вытирал лицо платком.

А страшная туча приближалась. Более предусмотрительные люди поспешно уходили из рощи, но таких оказалось немного.

Вот туча уже совсем близко, подул легкий, но не освежающий ветерок, и вдруг разом все — роща, луг, Воронеж — потонуло в непроницаемом мраке. Стало так темно, как не бывает даже в самую глухую осеннюю ночь. И вслед за темнотой налетел страшный ураган.

Роща загудела, застонала. Затрещали ломающиеся деревья, послышались крики людей.

Ушаков не растерялся. Он вскочил на ноги, схватил закричавшую от страха Любушку и, пересиливая ветер, шатаясь, кинулся в беспроглядную темноту, туда, подальше от рощи, на луг. Он вмиг сообразил, что во время урагана опаснее быть под деревьями, чем в поле.

Федя смог сделать лишь полдесятка шагов. Новый, более сильный порыв ветра заставил его упасть на колени. Он заслонил собою Любушку, которая беспомощно уткнула лицо в его камзол.

Тьма не рассеивалась ни на секунду. Тучи пыли неслись, забивая глаза, нос, рот.

Ураган свирепел.

В роще трещали, падали деревья. Сквозь вой ветра доносились вопли и крики.

«Вот так, должно быть, валится в бою от меткого пушечного залпа рангоут», — мелькнуло у Феди в голове.

Порывы ветра шли волнами. На какую-то долю секунды посветлело, чтобы снова покрыть все непроницаемой тьмой.

«Сколько же может так продолжаться?»

И вот над головой сверкнула молния, загрохотал громовой раскат, и полил дождь.

Ветер сразу утих.

Федя сорвал с себя мундир и накрыл им Любушку и себя. Они сидели под ливнем, тесно прижавшись друг к другу. Озорная Любушка смеялась, — страх прошел, и ей уже было весело.

Когда ливень наконец стих, из рощи бежали к слободке вымокшие, грязные, поцарапанные, напуганные люди.

Слышались чьи-то вопли, плакали дети.

Со многих домов и сараев буря сорвала крыши. По улице прыгали сбитые ураганом вороны.

Прибежали домой и Любушка с Федей.

— Любочка! Жива! — плакала, обнимая дочь, Марья Никитишна. — Деточки!

— Живы, живы, мамочка!

Ушаков стоял на пороге, не смея войти в комнаты: он был весь в грязи, с него текли потоки воды.

— Мамочка, если б не Федя, я бы, наверное, погибла! — кричала из комнаты Любушка, побежавшая переодеваться.

— Феденька, сыночек мой, а ты как? — наконец обратила внимание на Ушакова Марья Никитишна.

— Ничего. В порядке. Только вот шляпу унесло...

— Какую? Твою? Форменную? С золотым галуном? Так ведь она, я чай, рублев пять стоит!

— Пустяки! Одна голова навек! — улыбаясь, говорил мичман Ушаков.

XI

Производство в лейтенанты пришло летом — тридцатого июля. Одновременно с этим Ушакова назначили командиром только что построенного в Таврове прама № 5.

Федор Ушаков впервые получил в команду самостоятельное военное судно. Правда, это был не фрегат и даже не бриг, а всего лишь малоподвижный, плоскодонный прам, у которого нос и корма ничем не отличались друг от друга. Но и прам со своими двадцатью двумя пушками большого калибра в нижнем деке и столькими же меньшими на открытой верхней палубе все-таки представлял определенную военную силу.

Прам через два дня должен был уйти к устью Дона, защищать его с моря.

Узнав обо всем этом, Федя тотчас побежал к Ермаковым поделиться своими новостями.

Любушка сидела с вязаньем в палисаднике. Она издалека увидала Федю и по его взволнованному, сияющему лицу поняла все.

— Лейтенант! Лейтенант! — по-детски прыгала она, хлопая в ладоши.

Из дому на ее крик вышла навстречу лейтенанту Марья Никитишна. Она уже на ходу вытирала фартуком губы, собираясь приветствовать Федю.

Сегодня Федя был оживленным и веселым, как никогда. Он даже прочел шутливую оду на день производства в лейтенанты. Эти вирши сочинил на Балтийском флоте какой-то безвестный пиит, и их переписывали и затверживали наизусть все мичманы:

Как держит небеса плечами,
Упершись в адско дно. Атлант,
О! Флотские, так между вами
Велик и мощен лейтенант!
О день! О дух мой восхищенный,
Ты, лейтенантом воскрыленный,
Пари, взносись до облаков!
Се мысленно уж там летаю,
Как орл: взор долу устремляю
И зрю несчастных мичманов!

Когда сели обедать, Марья Никитишна вынула из шкапика штоф с водкой, настоянной на каких-то целебных травах.

Пили за лейтенанта.

— Второй раз в жизни пью, — признался Федя.

— А в третий раз когда будем? — толкнула его локтем Любушка.

— Скоро. Когда же повенчаемся?

— Неизвестно, где и как устроишься, Феденька. Раньше поезжай, узнай, а после приедешь.

Федя насупился.

— Не бойся, я тебя обожду!

— Наживетесь еще вместе! Успеете надоесть друг другу. Вся жизнь впереди! — уговаривала Марья Никитишна.

Ушаков задумался. Было больно, было досадно, что на какой-то срок вновь откладывается то, о чем он мечтал эти месяцы. Но, здраво рассуждая, Марья Никитишна права.

Никто не мог сказать, какая пристань, какой берег станет на ближайший год базой для Федора Ушакова. Ясно одно: только не Воронеж. Значит, придется обосноваться где-то там, в Азове, или в малообжитом Таганроге, а потом думать о женитьбе.

Скрепя сердце Ушаков принужден был согласиться с этим.

Марья Никитишна утешала молодых, говорила, что в жизни моряка разлука с семьей — обычное, неизбежное зло, что так живут все моряки и так жила со своим покойным мужем и она.

А Любушка клялась, обещалась ждать жениха, не забывать о нем...

Ушаков вздохнул и сказал:

— Что ж поделаешь?.. Значит, так держать!

И вот настал день отъезда в Таврово.

Ушаков уезжал ранним утром на шлюпке.

Любушка и Марья Никитишна пришли провожать его. Хотя, кроме матросов, рабочих, грузивших на баржу разные припасы, на пристани не было никого, Федя, как всегда на людях, чувствовал себя стесненно.

Ушаков никогда не был особенно разговорчивым, а теперь слова и вовсе не шли у него с языка. Он отвечал односложно на вопросы Марьи Никитишны и не спускал глаз с любимой девушки. А Любушка прижималась к нему, и в ее голубых глазах дрожали слезинки.

— Ваше благородие, шлюпка готова! — крикнул со шлюпки унтер.

Федя поцеловался с Марьей Никитишной и порывисто обернулся к Любушке.

Она, плача, упала в его объятия.

Ушаков прижал к себе эту, хрупкую, тоненькую девушку. Слезы сдавили ему горло, но он сдержался.

Еще раз поцеловал ее и, ссутулившись, быстро пошел к шлюпке. Лицо его было хмуро. Брови сдвинуты плотнее обычного.

А матросы, катавшие с пристани на баржу бочки со смолой и бухты канатов, видя это прощанье, весело затянули:

Матрос в море уплывает,
Свою женку оставляет.
Вот калина,
Вот малина...
Закрепили паруса,
Прощай, любушка-краса!..

Эта всем известная шуточная песенка била, что называется, не в бровь, а в глаз.

— Феденька, погоди, возьми! — бежала сзади за Ушаковым Марья Никитишна, протягивая ему сверток с провизией.

Ушаков машинально взял сверток и прыгнул в шлюпку.

Пристань, берег, Воронеж, милая сердцу Чижовка стали удаляться.

Все уменьшалась и уменьшалась на берегу фигурка Любушки, машущей платком. И вот наконец она слилась с берегом. Федя так отчетливо, так ясно представлял себе глаза, рот, улыбку Любушки, каждую черточку ее милого личика, что ему казалось: стоит только протянуть руку — и вот она, улыбающаяся и любимая!

Но с каждым дружным взмахом весел гребцов Любушка удалялась от него все больше и больше.

XII

За весь первый год командования прамом Ушаков был на берегу только один раз. В этот раз ему удалось отправить с оказией письмо Любушке. Он просил ее ждать, не забывать. Но обстоятельства складывались так, что пока ни о каком семейном устройстве думать было нельзя. Приходилось заботиться о другом: о выполнении порученного важного задания — охранять от врага устье Дона — и о вверенной Ушакову команде.

Ушаков был исполнительным, аккуратным подчиненным и потому командиром оказался требовательным и строгим. Начальник Азовской экспедиции вице-адмирал Сенявин оценил дельного, расторопного лейтенанта, давал ему разные ответственные поручения.

Ушаков безукоризненно выполнял их.

Свое морское дело Ушаков любил, был от природы деятелен, и работы у него всегда хватало, так что скучать не оставалось времени.

Он тосковал по Любушке и тревожился, не получая от нее никаких известий, но терпеливо переносил разлуку. Ждал, что когда-нибудь она все же окончится. Любушка, может быть, и давала о себе знать, но поймать Ушакова было нелегко; плавая два года по Азовскому морю и рекам, он нигде не засиживался долго.

До Азовской флотилии докатился гром славных Хиосской и Чесменской побед русского флота.

Чтобы заставить Турцию воевать на два фронта и тем самым помочь своей сухопутной армии, сражавшейся с турецкими полчищами в Молдавии и Валахии, Россия отправила из Балтийского моря в Архипелаг эскадру под командой вице-адмирала Григория Андреевича Спиридова.

Спиридов был талантливым, бесстрашным командиром. В боях у острова Хиос и в Чесменской бухте он уничтожил значительную часть всего турецкого флота.

Корабль «Три иерарха», на котором Ушаков, будучи мичманом, плавал в Финском заливе, тоже вошел в состав первой эскадры Спиридова. «Три иерарха» участвовали в знаменитых Хиосском и Чесменском сражениях, и теперь Федор Ушаков жалел, что его послали на Дон, а не оставили на «Трех иерархах».

Там, в Средиземном море, его товарищи дрались с сильным врагом и побеждали, а он здесь занимался скучным, невоенным делом — проводил караваны с лесом.

Летом 1772 года небольшие русские суда совершили первые переходы по Черному морю — прошли с депешами из Дунайской армии в Таганрог.

В это лето и Ушаков тоже впервые вышел на черноморские просторы.

Черное море не походило ни на одно из тех, которые знал Ушаков: ни на суровое, холодное Белое море, ни на скучное и серое Балтийское. Оно казалось необычайным.

Когда-то средиземноморские греки второпях обозвали его «негостеприимным» и лишь потом, приглядевшись к нему получше, стали именовать Понтом Эвксинским — «гостеприимным».

Турки же считали его черным: Кара-денгиз[1].

А оно было не столько черным, сколько синим, голубым, зеленым — разным. Оно переливалось всеми цветами, каждую минуту было неповторимо иным. Оно принимало тысячи различных оттенков: солнце, небо, облака, ветер, горы — все заставляло его изменяться.

Не похожими на иные были и прекрасные крымские берега.

Это дикое нагромождение голубых, розовых скал, стремительно падающих с поднебесной высоты в бирюзовую воду, в пенистое кружево буйного прибоя.

Эти небольшие заливы и уютные бухточки, защищенные каменными обвалами.

Эти причудливые гроты, спрятанные в расщелинах скал, обвитые вечнозеленым плющом.

И эти запахи полыни, чабреца и мяты, которые приносит с крымских гор легкий ветерок.

Черное море — то ласковое, то грозное — казалось Ушакову пленительно-сказочным синим морем, о котором он грезил с детства.

Ушаков увидал его только сейчас, но оно было знакомое, свое, Сурожское море...

Федор Ушаков плавал из Таганрога в Каффу[2] и Балаклаву, которая стала сборным местом для крейсеров, охранявших крымские берега.

Тихая Балаклава с ее уютной изумрудной бухтой полюбилась Ушакову.

«Вот, если бы не война, сюда можно было бы привезть Любушку!»

Но, несмотря на сухопутные победы Румянцова и занятие Крыма армией Долгорукова, турки никак не могли примириться с мыслью, что их господству на Черном море приходит конец.

А время незаметно летело — наступил 1774 год.

Суворовская победа у Козлуджи ускорила дело: летом 1774 года Турция была вынуждена заключить с Россией Кучук-Кайнарджийский мир.

---

[1] Кара-денгиз — Черное море.

[2] Каффа — Феодосия.

Ушаков подал рапорт, прося отпуск «для исправления семейных дел». И в апреле следующего, 1775 года пришел приказ: лейтенант Федор Ушаков переводился в Санкт-Петербургскую корабельную команду, и ему предоставлялся трехмесячный отпуск.

Ушаков, разумеется, первым делом направился в Воронеж.

XIII

В ясное майское утро он приплыл к Воронежу.

Как всегда, город от реки был очень живописен. Крутые скаты и обрывы, изрезанные глубокими оврагами, маковки церквей и колоколен, дома, разбросанные всюду — на холмах и в долинах.

Вон «чудодей», как называли матросы цитадель. Вон дом губернатора. Пристань разрослась. Вокруг нее кучились склады и амбары.

Все это было так знакомо. Казалось, он уезжал отсюда только вчера, а ведь прошло пять с лишком лет! Ушаков заторопился. Он так со своим чемоданчиком и пошел прямо к Ермаковым. Ноги быстро несли его по ярам и через овраги. Вот и слободка, милая Чижовка. Издалека видны зеленые главы Троицы.

С каждым шагом все ближе к Любушке. И все сильнее бьется сердце.

Вот уже Церковная улица. Цел ли маленький домик?

Ура! Стоит на месте! Такой же! Те же кусты сирени, тот же обомшелый, позеленевший от времени забор.

Не изменилось ничего.

Может быть, Любушка сидит в палисаднике?

Он подошел ближе и увидал: по палисаднику ходила Марья Никитишна. Такая же высокая и статная, как была. И на плечах у нее та же старая персидская шаль.

— Здравствуйте, маменька! — не выдержал, окликнул он издалека.

Марья Никитишна оглянулась было назад, но вдруг, с криком: «Егорушка!» — кинулась куда-то в сторону.

«Что это? Забыла, как звать?»

— Марья Никитишна, это я, Федя! — сказал он, смеясь, и подошел вплотную к забору.

Ушаков увидал: на дорожке сидел, плача (видимо, упал), маленький мальчик. Марья Никитишна утешала его, целуя.

Она взяла мальчика на руки и пошла к забору:

— Простите, Феденька, простите, милый! Видите: Егорушка упал. С приездом! Заходите, заходите же. Вот наши-то обрадуются дорогому гостю! Они оба пошли на рынок.

Ушаков стоял, онемев от удивления.

— Это — внучек, Егорушка. Любочкин сынок! — подбрасывала она мальчика, который уже смеялся сквозь слезы.

— Любушка... вышла замуж? — каким-то чужим голосом переспросил Ушаков. — За кого? Когда?

— За хорошего человека. За Метаксу, подрядчика. Да ведь вы его знаете... Вышла три года назад...

Ушаков больше не слушал. Он круто повернулся и не пошел, а почти побежал из Чижовки.

XIV

— Феденька, ты ли это? — окликнул кто-то Ушакова, когда он торопливо шел от кронштадтской пристани в город.

Ушаков оглянулся и стал. К нему быстро шел через улицу Гаврюша Голенкин.

Гаврюша был всё такой же — небольшой, ловкий. Из-под шляпы курчавились волосы. Одет с иголочки.

«Женишком был, женишком и остался».

— Гаврюша, здорово! — обрадовался однокашнику Федор Федорович.

Друзья крепко обнялись.

— Сколько лет не видались? — смотрел на товарища Ушаков.

— Погоди. В самом деле, сколько же? — прищурил свои карие глаза Голенкин.

— С выпуска. Стало быть, девять лет.

— А ведь как вчера было!

— Не бойся: ты не постарел. Все таком же молодчик!

— А ты, Федя, стал важный. Ну, где был после «Трех иерархов»?

— Сначала меня услали на Дон. Шесть лет болтался по Азовскому и Черному морям. Так завидовал вам, кто был в Архипелаге! Ты ведь участвовал в боях у Хиоса и в Чесме?

— А как же! Я поджигал Турцию с другого конца.

— На чем плавал?

— На «Саратове», во второй эскадре.

— А адмирал Спиридов держал свой флаг на «Евстафии»?

— Да, на «Евстафии».

— Наших в Архипелаге много было?

— Много: Калугин, Гагарин, Толбузин, Тимка Лавров. Тимка погиб при взрыве «Евстафия», слыхал?

— Слыхал. Жалко парня! А теперь ты откуда?

— Из Ливорно. А ты?

— А я завтра в Ливорно. На «Северном орле».

— Вот это здорово!

Друзья рассмеялись.

— Увидишь Италию. Чудесная страна. Какой воздух! Какие женщины!

Ушаков поморщился. После измены Любушки он не хотел думать ни об одной женщине, старался не замечать их.

— Да я вижу, ты все такой же схимник, каким и был. А вообще итальянцы — народ интересный, живой.

— Каждый интересен по-своему, — заметил Федор Федорович.

— Ты Павлушу Пустошкина встречал? Где он?

— Я с ним служил на юге. Он и теперь там, на Черном море.

— Каково плавать на Черном?

— Море глубокое, бурливое, своенравное, но плавать можно. А берега Тавриды красивые. Я думаю, не хуже твоей Италии! Скажи, а как адмирал Спиридов?

— Все такой же: строг, но справедлив. Матросы его обожают. Правда, Григорий Андреевич о них сильно заботится.

— Правильно делает!

— Я, Феденька, вот за что особенно уважаю адмирала Спиридова: он вроде нашего Николая Гавриловича Курганова — за русского человека горой. Это не кто-либо там, что потолчется неделю-другую в Англии, а потом от своих нос воротит!

— Гаврюша, расскажи про Хиос и Чесму. Как было?

— Было так. Мы искали в Архипелаге турецкий флот. Накануне Ивана Купалы подошли к проливу у острова Хиос. Видим — стоят на якоре шестнадцать линейных кораблей. Можешь представить: шестнадцать, а у нас всего-навсего девять!

— Трудновато. Ну и со скольких кабельтовых открыли огонь?

— Какие там кабельтовы! Сошлись на пистолетный выстрел.

— Ай да Спиридов! — вырвалось у Ушакова. — Он чем командовал, авангардом?

— Да. А мы — в арьергарде.

— Так-так. Значит, Спиридов в авангарде, — повторил, думая о чем-то своем, Ушаков. — Как царь Петр при Гангуте. И как же дрались? — продолжал расспрашивать он. — Турки вышли из пролива, и вы вели бой по всем правилам — на параллельных курсах?

— Какое там! Спиридов так внезапно атаковал турок, что они не успели сняться с якоря. Остались в двух линиях. И потому у них могла вести огонь лишь одна передняя линия — десять кораблей.

— Ах, Григорий Андреевич, молодец: как сообразил! — восхищался Ушаков.

— А мы шли в ордере колонны. Спиридов ударил сразу по флагману.

— Так-так, по голове!

— Все наши суда дрались отчаянно. Матросы и офицеры не щадили себя. Знаешь, когда «Евстафий» сцепился с флагманским «Реал-Мустафа», один наш матрос бросился к турецкому кора-

бельному флагу. Добежал, уже протянул руку — ее прострелили. Он схватился за флаг левой — турок проткнул руку ятаганом. Тогда матрос вцепился зубами в турецкий флаг и погиб, но не выпустил его.

— А флаг?

— Флаг наши отбили. Принесли адмиралу Спиридову. Ты бы знал, как держался он сам! Спиридов отдал приказ: «Музыке играть до последнего!» И вот представь: гром орудий, треск рангоута, крики людей — и музыка. А сам Григорий Андреевич со шпагой в руке ходит по шканцам.

— Герой!

— Ну и расколошматили басурманов. Турки — тягу. Укрылись в Чесменской бухте. Тут мы их и прикончили: кто взлетел на воздух, кто сгорел, кто потонул. Вот картина была — век не забуду! И ни один турецкий вымпел не ушел из бухты.

— Поистине великолепная виктория! — сказал Ушаков. — Эх, жалко — некогда ни посидеть, ни поговорить толком! Надо торопиться: завтра снимаемся с якоря, а дел еще много. Придется идти. Всего хорошего, Гаврюша!

— Тебе счастливого плавания!

Друзья простились.

Ушаков шел под впечатлением рассказов Голенкина о славных архипелажских победах.

«Вот над чем надо хорошо поразмыслить! Такого даже у Кургановa не вычитаешь, не то что у Госта», — думал он.

XV

Ушаков вышел из Адмиралтейств-коллегий и медленно направился к пристани. Он был так озадачен, что шел не замечая прохожих, — Федор Федорович только что получил новое назначение.

За последние пять лет Адмиралтейств-коллегия несколько раз перебрасывала его с места на место, словно проверяла: выдержит ли капитан-лейтенант Федор Ушаков?

Ушаков все выдерживал.

Около трех лет он плавал в Средиземном море, доходил до самого Константинополя. Вернулся из-за границы — послали к шведским шхерам осматривать стоявшие там суда. Выполнил это поручение — назначили командиром корабля «Георгий Победоносец». Не успел обжиться на корабле и привести его по-своему в порядок — новое назначение. В Рыбинске чуть не зазимовал караван с дубовым лесом для постройки фрегатов. Надо было успеть доставить караван, пока не кончилась навигация. Послали его. Благополучно привел караван, вернулся снова в Кронштадт ко-

мандовать кораблем, а вчера срочно вызвали в Адмиралтейств-коллегию.

Стало быть, где труднее, туда Ушакова? Что ж, он работы не боится!

Какое еще дело поручат ему?

Ушакова принял сам вице-президент Адмиралтейств-коллегий граф Иван Григорьевич Чернышев. Это был сухопутный моряк, не интересовавшийся морским делом, но ловкий, льстивый придворный кавалер, большой барин и богач.

Секретарь, провожавший капитан-лейтенанта к графу, что-то шептал ему на ходу о каком-то счастье, но Ушаков так и не понял, в чем дело.

Он вошел к графу.

Просторный кабинет вице-президента Адмиралтейств-коллегий был устлан роскошным ковром с вытканными на нем полевыми цветами. Одна стена кабинета была стеклянная. За ней в больших красивых кадках стояли деревья, на которых порхали и пели птицы.

Граф был одет в голубой польский полукафтан с желтыми отворотами. Шаровары вправлены в желтые сафьяновые сапожки. Чернышев сидел на пне. Второй пень, побольше, стоял перед ним и, по всей вероятности, изображал письменный стол: на пне лежали бумаги.

«Быть ему лесником, а не моряком!» — подумал Ушаков.

Граф Чернышев принял капитан-лейтенанта Федора Ушакова весьма любезно. Хвалил за расторопность. Сказал, что Адмиралтейств коллегия ценит его, следит за его успехами по службе и потому считает достойным занять важный пост командира императорской яхты «Счастье».

Граф тут же предупредил кое о чем нового капитана.

Императрица хочет чувствовать себя на яхте свободно — только пассажиром, а потому никакими рапортами ей не докучать.

— Встретить ее императорское величество я ведь должен? — спросил Ушаков.

— Разумеется! Но не рапортовать! Затем, когда государыня на корабле, — всем быть в полной парадной форме. Имейте в виду, что она может соизволить пригласить капитана своей яхты к столу...

При такой мысли Ушакова бросило в жар.

«Этого еще недоставало»! — подумал он.

— Вилку, ложку держать умеете? С ножа не едите? В зубах пальцами не ковыряете?

Ушаков вспыхнул еще раз.

— Ваше сиятельство, я читал «Юности честное зерцало». И у нас в корпусе учили...

— Вот и прекрасно. Ну, счастливого плавания вам на «Счастье», — пожелал вице-президент, отправляя капитан-лейтенанта.

Ушаков вышел.

Вон, стало быть, какое «счастье» ждало его!

Придворный флотоводец!

Карьеристы, дамские угодники позавидовали бы ему, но не боевые командиры.

Ушаков шел и вспоминал все, что знал об императрицыных яхтах.

Гаврюша Голенкин в одно лето был назначен во время практического плавания на императрицыну яхту «Петергоф». Гаврюша летел как на крыльях: фрейлины! Фрейлины! А за все лето увидал на яхте лишь одну фрейлину лет под пятьдесят, да зато день и ночь драил медяшки.

Ушакову фрейлины не нужны, будь они даже вдвое моложе!

Вспомнилось еще кое-что. Двое из их выпуска, Яша Карпов и Коля Хвостов, раньше него сподобились этой чести — были командирами императрицыной яхты. Но оба чем-то не угодили, и их быстро отчислили. Коля Хвостов не вытянул больше года, хотя был льстец и щеголь.

А после Хвостова назначили капитана 2-го ранга Суковатого — он командовал яхтой «Петергоф». Неглупый офицер, а кончил совсем уж плохо.

Два года назад у Красной Горки царица производила смотр флоту. Яхта «Петергоф», подходя к якорному месту, задела яхту «Счастье», где была Екатерина II. Императрица испугалась толчка и выбежала на палубу в одном белье (она уже спала). После Пугачевского восстания царицыны нервы стали похуже. Тогда тот же граф Чернышев грозил капитану Суковатому кулаком и кричал: «Ты у меня узнаешь!»

Суковатый так испугался графского возмездия, что бросился в море и утонул.

«Ну, у меня-то яхта будет становиться на место как полагается», — подумал Ушаков.

И все-таки на следующий день он с тяжелым чувством приставал на адмиралтейской шлюпке к императрицыной яхте «Счастье».

Легкая, великолепно оснащенная, украшенная позолоченными резными фигурами Посейдона, наяд и тритонов, она стояла на Неве против Зимнего дворца.

На набережной всегда толпился народ — глазели на красивую царскую игрушку, на цветные ливреи лакеев.

Ушакова встретил у трапа его предшественник, капитан-лейтенант Грязнов, представил ему команду, а затем повел осматривать судно.

Такелаж и рангоут были безукоризненны. Снасти — надежны. Паруса — из лучшего клавердука[1] и канифаса. Везде чистота и порядок. Нигде ни пылинки. Медные части сияли.

---

[1] Клавердук — сукно.

Команда, как заметил Федор Федорович, с любопытством и некоторой иронией наблюдала за новым командиром. Оно и немудрено: капитаны на императрицыной яхте менялись чуть ли не ежегодно.

— А теперь посмотрим каюты, — повел Грязнов.

Они спустились по трапу, устланному коврами, в каюты императрицы.

Внизу их ждали три камер-лакея.

— Они всегда на яхте, — кивнул на лакеев Грязнов. — Наблюдают за чистотой и порядком в царицыных покоях.

Вся облицовка кают была из красного дерева и палисандра.

Ушаков вошел в каюту и зажмурился: зеркала, бронза, фарфор, дорогая мебель. Ноги утонули в ковре. А капитан-лейтенант равнодушно шел дальше.

— А это — спальня императрицы. — Грязнов откинул шелковую портьеру.

Мелькнуло что-то белоснежное, кружевное.

Ушаков даже не заглянул туда.

Пошли дальше.

— Вот это — каюты камер-фрейлин. Это — для гостей. Сопровождает кто-либо из министров, гофмаршал...

«Возил дубовые кряжи, а теперь буду возить министров!» — подумал Ушаков.

— Здесь — гардеробная, а там — буфетная, — продолжал объяснять Грязнов. — Вот каюта для камер-пажей. Вон — камбуз, каюта лакеев и поваров.

— А где же размещается команда? — заинтересовался Федор Федорович.

— Команда — дальше. Для команды, признаться, на яхте места мало. Тесновато. Да и в нашей, капитанской, не больно разгуляешься!

Грязнов открыл каюту, — она действительно была тесная. Капитан-лейтенант стал проворно собирать свои вещи, продолжая рассказывать:

— Императрица бывает редко. Вам повезло: уже август месяц. Восшествие на престол — двадцать восьмое июня — прошло. Вряд ли она пожелает отправиться куда-либо на яхте. Ваше счастье, — улыбался Грязнов. — Конечно, без дела будет скучновато — известно, рейдовая жизнь, не в море. Каждый день одно и то же: с зюйда — Зимний дворец, с норда — Петропавловская крепость. Но зато если пожалует сама, тогда забот хватит!

Ушакова подмывало спросить на прощанье у Грязнова: чем он не угодил? Но не спросил, постеснялся.

— Ну вот я и готов! Счастливо оставаться! — попрощался Грязнов и безо всякого конфуза, что его сместили с капитанства, направился к трапу.

— Трап капитан-лейтенанту! — крикнул вахтенный.

Ушаков стоял, с завистью глядя, как отваливает адмиралтейская шлюпка, увозя Грязнова.

На набережной ее давно уже ожидала толпа: какие-то бабы, сбитенщик, босоногие загорелые ребятишки и будочник с алебардой.

«Он просидел на этой брандвахте[1] полгода, а сколько-то мне придется?» — подумал Ушаков.

XVI

Дни на императрицыной яхте «Счастье» тянулись однообразно-тоскливо. Делать было совершенно нечего. Матросы надраивали медяшки, которые и так сияли как солнце; буфетчик перетирал и без того чистую хрустальную и фарфоровую посуду; лакеи тщетно пытались выколотить из царских ковров хоть пылинку.

А вахтенному лейтенанту оставалось смотреть на берег, где шли люди, проезжали экипажи — кипела жизнь.

Ушаков ходил по яхте и злился.

Вот так привалило счастье, нечего сказать!

Еще две недели тому назад он был командиром боевого корабля, а теперь его словно исключили из флота: капитан превратился в какого-то дворцового управителя.

Теперь у него на судне не пороховой погреб, а винный. Вместо склада парусов — царицын гардероб.

И даже запахи на яхте не морские, привычные — смола, пенька, порох, а какие-то чужие и неподходящие: духи да пудра.

Ушаков готов был презирать себя за это.

Шла первая неделя сентября. Стояли редкие в Петербурге ясные осенние дни — последние перед слякотью и ненастьем. Бабье лето.

И вдруг в один из таких дней бабьего лета к «Счастью» подвалила дворцовая шлюпка. Она доставила на яхту поваров и провизию, золотую посуду и свежие цветы из оранжереи: императрица собиралась завтра утром на прогулку по заливу.

На следующий день уже со второй ночной вахты все были в парадной форме, начеку. Ушаков ходил, придирчиво осматривая каждый уголок.

Но отдежурила вторая, заступила третья вахта, а императрица еще не изволила пожаловать.

Только когда пробило шесть склянок, показался императорский катер со штандартом.

Федор Федорович с интересом и некоторым волнением ожидал императрицу, — он ни разу не видал близко Екатерину II.

---

[1] Брандвахта — караульное судно на рейде.

Чуть замелькали пышные дамские платья, шляпки, разноцветные зонтики, его уже заранее бросило в пот. Ушаков готов был лучше выдержать на яхте любой шторм, чем быть на ней в таком изысканном придворном обществе.

Спустили парадный, из красного дерева, трап.

Императрица легко поднялась на яхту. Ее поддерживал под руку какой-то важный сановник с Андреевской звездой на голубом шелковом кафтане.

Ушаков, сняв шляпу, склонился в поклоне. Волна духов обдала его. Прошуршали шелка — и все удалилось.

Начиналось свое, любимое, привычное, настоящее дело: сниматься с якоря, ставить паруса.

Федор Федорович получил приказ идти к Петергофу. Яхта, распустив паруса, летела как легкокрылая, белая птица. Петербург убегал назад. Впереди все шире и шире расстилался залив.

В плавании день промелькнул быстро. Ушаков не уходил с юта. Снизу, из императрицыных кают, доносились французский говор и смех. Бегали, суетились камер-лакеи. Пробегали камер-пажи в роскошных светло-зеленых бархатных мундирах, расшитых золотом. Чей-то сердитый голос бурчал:

— Сказано, на двенадцать кувертов, бери двенадцать! А фужеры где?

Явно готовились к обеду.

Ушаков боялся: а вдруг оттуда явится один из этих щеголеватых пажей и скажет: «Ее императорское величество приглашает ваше высокоблагородие к столу!»

От одной этой мысли становилось не по себе.

Но, к счастью, о капитане яхты не вспомнили, и Ушаков с большим аппетитом и безо всякого волнения, на скорую руку, пообедал у себя в тесной каюте. А похожи вернулся на шканцы.

Настал тихий вечер.

Солнце заходило, с точки зрения сухопутных гостей, прекрасно. Ничто не предвещало на завтра большого ветра. Императрица и ее гости любовались закатом, даже вышли наверх.

На ночь было приказано бросить якорь в виду Петергофа.

На яхте зажгли фонари. В царицыных покоях — свечи.

Близилась полночь, а лакеи всё еще бегали с кофеем.

Ушаков потихоньку пошел к себе в каюту выпить чайку. Вестовой зажег свечу и принес чаю. Федор Федорович снял мундир, напился чаю и сидел, прислонившись к переборке. И незаметно уснул.

Проснулся он от тишины: кругом все спало. Яхта чуть покачивалась.

Через переборку доносился из кубрика храп матросов. Свеча догорела и готовилась потухнуть.

Ушаков вынул часы: было ровно три часа пополуночи. Он прислушался — сейчас должны пробить шесть склянок.

Но прошло минуты две, а колокола не слыхать.

Что это они, уснули там?

Он быстро надел мундир и шляпу и поднялся наверх.

Матрос у склянок топал на месте, зевая и, видимо, не собираясь бить.

— Какая склянка? — спросил, подходя, Ушаков.

— Шестая, ваше высокоблагородие.

— Почему не бьешь?

— Не велено.

— Кто не велел? — ничего не понимая, возмутился Ушаков.

— Приходил этот, как его... Захар Кистинтинич...

— Что такое? Какой еще тут Захар Константиныч? — окончательно вспылил Федор Федорович.

— Зотов. Камардин царицы. Не велел бить!

— Морской устав важнее всех твоих Захаров! — прервал его Ушаков. — Бей, как положено!

Матрос послушно ударил шесть раз в колокол.

— Бить и впредь! Чтобы все было по уставу, — приказал Ушаков и быстро пошел к шканцам узнать у вахтенного лейтенанта все подробности этой ерунды. Он подходил к шканцам, когда из императрицыной рубки вышла какая-то женская фигура в белом. Ушаков с удивлением и ужасом узнал в ней императрицу.

— Господин капитан, что случилось? — с тревогой спросила Екатерина.

— На яхте все обстоит благополучно, ваше императорское величество, — почтительно ответил Ушаков, снимая шляпу.

— А почему звонил колокол? Это пожар?

— Никак нет. Это бьют склянки.

— Какие склянки? Кто бьет?

— Ваше величество, песочные часы называются поморскому — склянки. Пройдет полчаса, мы перевернем склянку и бьем в колокол.

— А-а, понимаю. Склянки — это Sanduhr[1]. Я не знала, проснулась, — говорила, улыбаясь, императрица. — Раньше, кажется, их не били...

— Их бьют всегда, ваше величество. Так положено по уставу императором Петром, — объяснял Ушаков, а у самого мелькнуло в голове: «Попал в историю, черт возьми эти склянки!»

— О, устав — большое дело. Его надо исполнять! — все так же улыбаясь, говорила императрица. — Продолжайте, пожалуйста, бить эти... склянки. Теперь я буду спать спокойно. Я накрою голову подушкой... Продолжайте, господин капитан!

---

[1] Песочные часы *(нем.)*.

И она ушла так же бесшумно, как и появилась.

Ушаков выждал, пока затихли шаги императрицы, и тогда накинулся на вахтенного лейтенанта Сорокина:

— Почему не доложили о том, что приходил камердинер царицы?

— Когда императрица ночует на яхте, никогда склянок не бьют. Это все у нас знают. Я думал, вас давно предупредили...

Склянки продолжали бить в эту ночь аккуратно каждые полчаса.

Наутро вся команда уже знала о ночном происшествии. Все смотрели на Ушакова как на обреченного.

А он был обычен: внешне спокоен и суров.

Как приказали с вечера, яхта «Счастье» к полудню благополучно прибыла к своей якорной стоянке на Неве.

Когда императрица шла к трапу, она взглянула на капитан-лейтенанта Ушакова, склонившегося в поклоне, и ласково сказала:

— Спасибо, господин капитан, за удовольствие!

Это происшествие внесло оживление в монотонную жизнь яхты. О нем говорили все. Мнения офицеров разделились: старший помощник жалел Федора Федоровича и винил во всем вахтенного лейтенанта Сорокина.

Сорокин отрицал свою вину и осуждал Ушакова:

— Мужлан. Я сразу увидал: не годится к нам в капитаны!

Матросы говорили по-иному.

— Одначе какой вспыльчивой, ровно фальшфейер![1] — говорил матрос, стоявший тогда у колокола.

— Ежели хочешь знать, он прав!

— Да, но, как говорится: тяни-тяни, да и отдай! Как сама пришла, пусть бы уж больше склянок не бил!

— Если закон сполнять, тогда пришла сама аль не пришла — все едино! Понимаешь?

— Э, что тут закон! Сказано: как, брат, ни пыжься, а выше клотика[2] не влезешь! Надо было уступить. А теперь уберут, как пить дать уберут. А капитан он стоящий, крепкий!

XVII

Прошло несколько дней после отъезда императрицы. Ушаков оставался на месте. Все на яхте уже думали: пронесло.

Но в субботу к яхте подошла адмиралтейская шлюпка. Она привезла капитан-лейтенанту Федору Ушакову пакет. Адмирал-

---

[1] Фальшфейер — бумажная трубка, набитая ярко горящим составом, для подачи сигналов ночью.

[2] Клотик — кружок, который надевается на оконечность стеньг флагштока, самая высокая точка судна.

тейств-коллегия приказывала ему сдать яхту старшему по себе офицеру и явиться в коллегию.

Все-таки злополучная склянка отозвалась!

Ушаков с легким сердцем покинул императрицыну яхту «Счастье».

«Хорошо птичке в золотой клетке, да еще лучше на зеленой ветке! — думал он, отваливая от надоевшей яхты. — Оставайтесь тут со своими кувертами и реверансами!»

В Адмиралтейств-коллегий ему сказали, что до вторника заседания не будет.

Он вышел и остановился у подъезда с чемоданом в руке, раздумывая, где бы устроиться на эти три дня.

Если бы Морской корпус оставался на месте, можно было бы пожить у кого-нибудь из знакомых служителей. Но он сгорел еще в 1771 году. Во время пожара сгорели почти все корпусные здания. Морской корпус пришлось перевести в Кронштадт.

«А если пойти к тетушке Настасье Никитишне?» — вдруг мелькнула мысль.

Только подумал о домике под березой — и сладко заныло сердце.

Прошло так много времени — десять лет, а он все не забыл голубоглазую, улыбчивую Любушку. Сквозь горечь обиды, которую она ему нанесла, все-таки пробивалась любовь.

Ушаков ничего не знал о Любушке — где она, как живет со своим Метаксой (ему втайне было бы приятно, если бы они жили не в ладу), и он давно хотел разузнать о ней.

Кроме Настасьи Никитишны, спросить о Любушке было не у кого, а за последние пять лет он впервые остановился в Петербурге.

Он с грустью прошел мимо здания Морского корпуса. «Связи» — деревянные флигели, где жили кадеты, их поварня, хлебная — все это сгорело дотла, а сам дом Миниха, который считался когда-то красивейшим на Васильевском острове, стоял как скелет: одни обгорелые стены и пустые глазницы закопченных окон.

Вот и Двенадцатая линия.

Как много построено новых домов!

Цел ли домик под березой?

Ушаков невольно ускорил шаг. Береза видна. И домик целехонек! Федор Федорович взошел на знакомое крылечко. Дверь в сени стояла открытой. Он шагнул дальше и постучал в комнату налево.

— Входите! — раздался голос Настасьи Никитишны.

Ушаков раскрыл дверь и остановился на пороге: за столом, перебирая грибы, сидели совершенно седая Настасья Никитишна и Любушка.

Тогда, десять лет назад, он оставил Любушку на пристани в Воронеже тоненькой шестнадцатилетней девушкой, а теперь перед

ним была молодая женщина. Ее голубые глаза смотрели по-иному, но ослепительная, все озаряющая улыбка была все та же.

Любушка, не стесняясь тетушки, кинулась к Ушакову. Плача и смеясь, она обняла его, прижалась к его белому парадному мундиру. А он стоял, несколько ошеломленный, с чемоданом в одной руке.

Еще минуту назад Ушаков думал, что никогда не сможет простить ей измену, забыть огорчение, которое она причинила ему. Но вот она рядом — и он уже забыл обо всех обидах.

Оказалось, что его письма она не получила. Ждала и тосковала. А тут вернулся из Азова Метакса, стал ухаживать за ней.

Мать уговаривала Любушку выйти замуж за подрядчика: человек он солидный, с положением, не то что мальчишка-лейтенант.

«Да и где этот твой Федя? Думаешь, он помнит о тебе? Если бы помнил, давно отозвался бы, а то вот прошло три года, а от него ни словечка. Стало быть, не хочет. Нашлась у него другая невеста: этого цвету — по всему свету!» — нашептывала дочери Марья Никитишна.

— А Метакса пристал ко мне, — продолжала рассказывать Ушакову Любушка, — как с ножом к горлу: выходи замуж. Я говорю: ты мне не люб. А он смеется: стерпится-слюбится! Тяжело было, обидно, что от тебя — ни словечка. И как-то стало все безразлично... Надоели они оба с уговорами. Я взяла да сдуру, чтобы только отвязаться, и вышла замуж... Думала: вся моя любовь к тебе угасла. А вот прошло столько лет и оказалось: люблю я только тебя одного! — говорила Любушка, обнимая его.

— Так кажется. Увидала меня, и в эту минуту действительно любишь, а с глаз долой — из сердца вон! — заметил Ушаков.

— Как тебе не стыдно, Феденька! Да я бросила семью, сына, прилетела сюда, за тридевять земель, чтобы хоть разок посмотреть на тебя!..

В Любушкиных глазах сияло такое искреннее чувство, что Ушаков больше ничего не сказал.

— Ну, верю, верю!.. Значит, не спросясь уехала в Петербург? А с кем же сын?

— Я сказала мужу, что еду в Петербург. А сына оставила с бабушкой.

— А как же ты думала разыскать меня?

— У тетушки есть знакомый канцелярист в Адмиралтействколлегий. Через него мы узнали, что ты назначен на императрицыну яхту. Я радовалась за тебя...

— Печалиться надо было, а не радоваться, — усмехнулся Ушаков.

— Радовалась и ревновала!

— А ревновала-то к кому же? К императрице, что ли?

— К фрейлинам!

— К фрейлинам? Да им по сту годов каждой. Беззубые...

— Почему такие старые?

— Императрице самой пятьдесят, так что же она двадцатилетних рядом с собой держать будет?

— Я так хотела тебя видеть! Однажды даже подъехала к яхте на лодке, — рассказывала Любушка. — Видела тебя — ты был на палубе, а потом вдруг ушел и больше не показывался. Чтобы поговорить с тобой, все рассказать, объяснить, я решила ждать здесь хоть до зимы! Я была уверена, что когда-нибудь мы встретимся. И вот теперь я счастлива! — И она прижалась к нему.

— А как же все-таки муж? — немного погодя спросил Ушаков. Любушка молчала. — Помнится, красивый такой, черноглазый. И рассудительный, деловой.

— Действительно, он и порядочный человек, и неглупый. Его все хвалят, а особенно мама. Но мне он противен. Я не могу с ним жить!

— Значит, у тебя выходит, как в былине: «Здравствуй, женимши, да не с кем жить»?

— Да, — грустно согласилась Любушка.

— А зачем же выходила за него замуж?

— Глупая девчонка. Вспомни, Феденька, сколько же мне тогда было?

— Почему меня не ждала?

— Но ведь я же говорю: я ждала тебя, ждала целых три года.

— Я тебя ждал пять лет!

— Так это ты. Ты — крепкий. Ты все можешь...

Ушакову как-то не хотелось спрашивать, но он все-таки спросил:

— А как же сын, Егорушка?

— Ты даже помнишь его имя? — засияла Любушка. — Он хороший мальчик, отлично учится. Черноглазый, красивый. Ему уже восемь лет.

— И тебе не скучно без него?

— Скучно, Феденька. Но я знаю, что он — мой, что он никуда не денется. А ты — ты скоро уедешь. И без тебя мне еще скучнее...

Так они сидели и говорили все об одном и том же — о своей юношеской любви, которая запылала с новой силой. Не могли наговориться, насмотреться друг на друга.

Три дня пролетели как одно мгновение.

— Ах, если бы завтра не состоялось заседание Адмиралтейств-коллегий! — говорила накануне вечером Любушка. — Пусть бы что-нибудь помешало — наводнение какое...

— Что ты, что ты говоришь, Любушка, окстись! — махала рукой тетушка. — Сегодня и впрямь ветер так и рвет с залива.

Но наводнения не случилось. Заседание прошло без помех. Капитан-лейтенанта Федора Ушакова назначили командиром 66-пушечного корабля «Викто́р».

Императрица сказала о нем графу Чернышеву:

— Ушаков слишком хорош для императорской яхты. Ему командовать боевым, линейным кораблем!

И желание Екатерины было тотчас же исполнено.

Ушаков должен был отправляться в Кронштадт.

Любушка плакала навзрыд, прощаясь с Федей.

— Когда же я теперь снова увижу тебя, когда? — повторяла она, неотрывно глядя на него.

Слезы текли у нее по щекам, но Любушка не вытирала их.

Ушаков сидел, подперев кулаком свой квадратный подбородок. Молчал.

— Вот привози Егорушку в Кронштадт, в Морской корпус, — сказал он.

— Верно! Я отдам его в корпус и останусь жить в Кронштадте. Тогда я буду часто видеть тебя, мой дорогой! — улыбалась сквозь слезы Любушка. — Ну, поезжай, поезжай!..

И Федор Федорович уехал.

XVIII

Ушаков недолго засиделся на Балтийском море. Чем больше Россия укреплялась на берегах Черного моря, тем больше требовалось на юге людей. По Кучук-Кайнарджийскому миру Россия получила право свободно плавать по Черному морю. К России отошли земли между Днепром и Бугом, города Азов, Таганрог, Керчь и Кинбурн, лежащий против Очакова, у входа в днепровский лиман. Турция признала независимость крымских татар.

На Черноморском побережье возникали укрепления и города. В Таганроге строили настоящие, глубокосидящие морские суда.

В недавно основанном городе Херсон на верфях было заложено несколько линейных кораблей. Туда с севера слали лучших корабельных мастеров. Туда же отправляли с Балтийского моря опытных морских офицеров.

В числе их получил назначение в Херсон и капитан 2-го ранга Федор Федорович Ушаков.

В начале июня 1783 года он отправился к новому назначению.

Ушакову приходилось ночевать в Петербурге, и он, не раздумывая, пошел на Двенадцатую линию к Настасье Никитишне.

Тетушку Настасью Никитишну он уважал больше, чем мать Любушки. Марья Никитишна не нравилась ему своей лестью, не

нравилась за то, что никогда нельзя было понять, кого она любит, а кого — ненавидит.

А Настасья Никитишна совсем не походила на свою сестру. Она держалась просто, без дипломатии, и Федор Федорович чувствовал, что у нее он действительно желанный гость. Кроме того, ему хотелось узнать, где сейчас Любушка, не приезжала ли в Петербург, пока он с эскадрой плавал по белу свету.

Ушаков увидал Настасью Никитишну на огороде, возле дома. Тетушка очень обрадовалась гостю.

— Давненько вы не были у нас, Федор Федорович, — говорила она, когда вошли в комнату.

— Почти три года. Я за это время снова успел побывать на Средиземном море.

— А теперь куда?

— В Херсон.

— Это где же такое?

— Новый город на Днепре, у Черного моря.

— Чудное какое название — Херсон!

— Князь Потемкин хочет сделать город таким же великолепным, каким был древний Херсонес Таврический.

— И кем же в Херсон назначены?

— На верфь, командиром строящегося корабля.

— Значит, снова будете жить в полуденном краю? Гиблые места. Говорят: воды хорошей мало и лихоманки трясут. Теперь у нас с севера все, как птицы, летят на юг. А Любушки нашей так с тех пор и не слыхать, — сказала Настасья Никитишна, зная, что этот разговор Ушакову интереснее всего.

Федор Федорович открыл чемодан и достал оттуда красивый шелковый платок.

— Примите, пожалуйста, заморский подарок, — передал он Настасье Никитишне платок.

— Спасибо, Федор Федорович. Зря мне, старой, дарите. Лучше приберегли бы для кого-нибудь другого, молодого. Для Любушки...

— Любушке есть, — улыбнулся Ушаков.

Ему было приятно хоть поговорить о ней. Вообще в этом доме все напоминало Любушку...

Ночевал он в той же комнате, где тогда они вдвоем проводили все дни.

— Встретите Любушку — поцелуйте ее от меня, — говорила наутро Настасья Никитишна, провожая недокучливого гостя.

— А что же, может, и встречу. Все возможно. На Черном море только две верфи — Таганрог да Херсон. Там строится Черноморский флот. Муж у Любушки — флотский подрядчик, значит, не в том, так в другом наверняка живут...

...Солнечным июльским утром, предвещавшим знойный день, подъезжал Ушаков к Херсону.

Сначала, справа от дороги, показались какие-то мазанковые пыльно-желтые казармы. Потом версты три снова тянулась голая, выжженная солнцем степь. И наконец, начались невзрачные городские улицы.

Назвать Херсон городом еще нельзя было. На большом пространстве рассыпались беленькие одноэтажные домишки, крытые тростником. Даже церковь не возвышалась над ними. Только вдали, на самом берегу Днепра, виднелись дома побольше, адмиралтейские и портовые сооружения и постройки.

Въехали в Херсон.

Окна домов были заранее — от дневного зноя — закрыты ставнями. Чахлые кустики, посаженные вдоль улицы, стояли в пыли. Противно пахло кизяком: хозяйки топили печи, готовя завтрак.

В Петербурге Ушаков узнал в Адмиралтейств-коллегий, что зимой в Херсон были отправлены его товарищи Пустошкин и Голенкин.

Павел Пустошкин к весне получил капитана 2-го ранга и был уже флаг-капитаном[1] у командующего новым Черноморским корабельным флотом, чесменского героя, вице-адмирала Клокачева.

Федор Федорович тогда же с удовлетворением отметил это: «Молодец, Паша!»

И теперь, едучи в Херсон, подумал: «Вот к нему я и заеду!»

Увидев идущего навстречу подводе мичмана, Ушаков окликнул его:

— Скажи-ка, братец, где стоит флаг-капитан Пустошкин?

— Капитан второго ранга Пустошкин уже две недели в Таганроге. Командует кораблем «Модон», ваше высокоблагородие.

Это было некстати.

— А не знаешь ли, случайно, капитана второго ранга Голенкина?

— Гаврилу Кузьмича? Как не знать! Мой начальник. Они при порте. Показать, где он живет?

— Да, будь добр, покажи!

— Поезжайте по этой улице. Взъедете на пригорок. Улица станет спускаться вниз, к реке. В конце ее, слева, дом. Как все, мазанковый, но возле дома во дворе натянут парус.

— Спасибо, братец, — кивнул Ушаков и поехал дальше.

Стали спускаться к реке. Издалека увидали парус и самого капитана 2-го ранга Голенкина.

Гаврюша был все такой же: курчавый, опрятно одетый. Он сидел в тени паруса без мундира, в шелковой сорочке и курил трубку.

---

[1] Флаг-капитан — командир флагманского корабля.

Голенкин тоже приметил Ушакова.

— Ба, Феденька! Здорово! — весело закричал он, бросаясь навстречу товарищу.

— Погоди, Гаврюша, дай мне умыться, я весь в пыли! — говорил, вылезая из повозки, Ушаков.

— Ничего! — обнял друга Голенкин. — Иван, умываться! — крикнул он денщику. — И ты угодил в это пекло?

— Да, брат. А городок, видать, еще дрянной. До великолепного Херсонеса ему далеко!

Голенкин только махнул рукой.

Ушаков умылся, переоделся и сел под парус пить с Гаврюшей чай.

— У тебя тут уютно, как за бизань-мачтой[1], — пошутил Федор Федорович.

— Одна спасень от духоты. Ну, хвались, Федя, куда назначен?

— В адмиралтейство, командиром строящегося корабля номер четыре.

— Это шестидесятишестипушечный «Святой Павел». Его строит прибывший из Донской флотилии корабельный мастер Семен Иванович Афанасьев. А ты чем командовал на Балтийском?

— Шестидесятишестипушечным «Викто́ром».

— Невелика разница!

— Номер четыре строится по новым чертежам... Оказывается, наш Пашенька — на «Модоне», на моем корабле. Я на нем ровно десять лет тому назад ходил. И в Балаклаве был...

— Пока не построим новый флот, здесь все та же донская да днепровская рухлядь... Хвастать нечем, — сказал Голенкин.

— Надо строить, да поскорее. Ну, а как все-таки вы тут живете, на берегах Борисфена?[2]

— Тяжеловато. Чертов климат: Зимой — собачий холод, летом — адова жарища, вечная пыль и комары. Ты, брат, приехал в самое худое время: вода спала, обнажились низменные берега. Ишь какой у нас воздух — болотом пахнет. Того и гляди, что чума еще пожалует.

— Откуда?

— Из Турции. Она с прошлого лета уже в Тамани.

— А здесь?

— Пока еще не слыхать. Впрочем, у нас и без чумы — чума. Народ сильно мрет от лихорадок и поноса. Посчитай, сколько умерло из нашего выпуска здесь, на Азовском и Черном: Анисимов, Селифонов, Марков, Развозов, — считал Голенкин.

— Еще Венгеров и Мерлин, — подсказал Ушаков.

---

[1] Бизань — задняя кормовая мачта.

[2] Борисфеном греки в древности называли Днепр.

— Вот видишь, и без войны. А при Чесме у нас погиб всего один — Тимка Лавров.

— А как чувствует себя наш вице-адмирал?

— Федот Алексеевич? Ничего. Сейчас сам увидишь.

После чая Федор Федорович направился к вице-адмиралу. Ушаков нашел вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачева в большом деревянном, на каменном фундаменте доме адмиралтейства. Он принял от Ушакова бумаги и усадил поговорить — расспросить о Питере, об Адмиралтейств-коллегий: что там слыхать, какие последние новости.

В кабинете Клокачева Федор Федорович застал какого-то капитана 1-го ранга.

Ушаков сразу увидал — это был нерусский офицер, поступивший, должно быть, к нам на службу. Он был черен. Волосы отливали синевой. Большой нос с горбинкой и черные, как маслины, глаза. По глазам видно, что дурак: их выражение баранье. Напыщенное лицо самодовольного глупца.

Клокачев познакомил их.

— Войнович, — отрекомендовался незнакомый капитан.

Узнав его фамилию, Ушаков вспомнил — о Войновиче ему рассказывали. Когда-то Марко Иванович Войнович плавал на придворной яхте. Потом командовал Каспийской флотилией. Но с ним случился конфуз: его захватил в плен персидский Ага-Мухамед-хан. И в плену Войнович пробыл целый год.

Клокачев быстро отпустил Ушакова:

— Вы устали с дороги. Отдохните денек. Выберите себе из команды корабля денщика, устройтесь, а завтра — за работу! Квартира у вас при казармах. Вашим кораблем временно командует капитан-лейтенант Антон Селевин.

Ушаков откланялся.

От адмирала он сразу же пошел на верфь к стапелю, на котором строился его корабль. Федор Федорович хотел посмотреть, как идет работа, и познакомиться со своей командой.

Подходя к адмиралтейским воротам, Ушаков издалека увидал давно знакомую — еще с воронежских лет — картину. По обеим сторонам громадных ворот толпились бабы, девки и дети. Они держали завернутые в тряпье (чтоб не остыли!) котелки и горшочки со щами и кашей.

Это семьи «чистодельцев», вольнонаемных мастеров — плотников, купоров, резчиков — принесли обед и ждут полуденной пушки. Они передадут мужьям и отцам еду, а те вынесут им в мешках щепу, которой всегда много на стройке.

Тут же толкались с лотками и кошелками бабы-торговки.

Ушаков издалека услышал обычные адмиралтейские звуки — стук кузнечных молотов, скрип блоков, треканье[1] и пение рабочих, перетаскивавших вручную тяжелую кладь.

Из калитки вышел дневальный боцман, — надоело сидеть в тесной и душной каморке.

— Что вы тут, бабье-тряпье, разгуделись? — беззлобно прикрикнул он на шумевшую толпу.

— Сам ты — тряпье, сальная пакля!

— С нока-рея сорвался, что ли? — понеслось в ответ.

Боцман стоял, смеясь над этим потревоженным муравейником.

— Пожалуйте, ваше высокоблагородие! — распахнул он перед Ушаковым калитку.

Антоша Селевин непритворно обрадовался старому товарищу. Он и в капитан-лейтенантском чине, как и в гардемаринском, был такой же «Се-не-левин»: маленький, угреватый, невзрачный.

— Наконец-то изволили пожаловать, Феденька! — говорил он, обнимая Ушакова. — Заждался я тебя. Меня давно в Таганроге прам ждет. Лучше там командовать прамом, чем в этой пыльной дыре фрегатом! Ну, ваше высокоблагородие, извольте принимать свою посудину!

И Селевин повел Ушакова к стапелю.

Как и ожидал Федор Федорович, его «посудина» пока что больше напоминала рыбий остов, чем корабль: торчали одни голые ребра шпангоутов.

Здесь, на стапеле, была занята большая часть экипажа и офицеров.

Селевин представил Ушакову корабельных лейтенантов, следивших за работой. Расторопнее и живее остальных показался Федору Федоровичу небольшой смуглый Иван Лавров.

Ушаков переходил от одной группы матросов к другой, говорил с ними, присматривался к команде своего будущего корабля.

У штабеля досок, которые подносили с берега к кораблю десятка два матросов, он застал жаркий спор. Федор Федорович издалека уловил архангельские морские словечки, знакомые ему по мичманскому плаванию в Белом море.

— Хорошо, коли припадет много ветра, а ежели море остеклеет[2], тогда что будешь делать? — спрашивал спокойный, низкий голос.

В ответ раздался скрипучий тенорок, напиравший по-волжски на «о»:

— Конечно, худая снасть отдохнуть не дасть!

Заметив подходившего капитана, спорщики разом притихли.

---

[1] Трекать — тянуть что-либо вяло, с припевами, со счетом.

[2] Море остеклело — полное безветрие.

Теперь Федор Федорович разглядел их. Они оба были в летах. Но один — весь седой, а другой — черный и худой, как цыган.

— Что, и архангельские у нас есть? — подходя к ним, живо спросил Ушаков.

— Этого цвету — по всему свету, — окая, иронически заметил черный.

— Точно так, ваше высокоблагородие, есть, — спокойно ответил седой матрос. — Вся наша артель — архангельцы.

Ушаков оглядел матросов:

— Хорошо. Семьей дружнее работать! Значит, море будет не в диковинку?

— Не впервой, ваше высокоблагородие!

— Тебя как звать-то?

— Канонир первой статьи Карташев.

— Какие из архангельцев моряки? Разве у них море? — как бы про себя заметил черный.

— А ты откуда? — обернулся к нему Ушаков.

— С Волги, ваше высокоблагородие, — не без гордости ответил он. — Матрос первой статьи Ефим Зуб.

— Вот построим наш корабль, выйдем в море, тогда и увидим, кто какой моряк! — сказал Федор Федорович, уходя.

— Верно! — понеслось ему вслед.

«Карташев — рассудителен и спокоен, как надо быть артиллеристу. А Зуб — горяч и быстр, такому только с парусами управляться», — подумал Федор Федорович.

Он зашел в мастерские, заглянул в помадную залу чертежной, в магазейны. Не упустил ничего. Узнал, что гвозди привозят из Пошехонья, а железо — от Демидова из Ярославля. Посмотрел в писарской караулке, сколько на сегодня оказывается по кораблю № 4 «морских служителей в нетях». Узнал, кто из них чем и как болен. Не поленился заглянуть во все сараи — купорный, шлюпочный, блочный, даже в сарай для чистки пеньки, хотя в нем стояла невероятная пылища.

— Ну вот, остался только парусный сарай, и все хозяйство, — с облегчением сказал Селевин.

— Алексей Наумович Сенявин говаривал: «Мастер парусного дела — душа корабля». Зайдем-ка, Антоша! — ответил Ушаков.

По дороге к парусникам их нагнал боцман. Селевина вызывали в контору срочно подписать провиантский табель, который озаглавливался без всякой канцелярской хитрости: «кто с кем в каше».

— Вот, Федор Федорович, наш лучший боцман! — сказал Селевин, указывая на моряка.

— Как звать?

— Макаров, ваше высокоблагородие.

— Мы его зовем попросту Макарычем.

— Так точно, Макарыч! — браво подтвердил боцман.

Ушаков оглядел его. Как и полагается быть боцману, крепок, смышлен и хитер. Но ничего не сказал, только кивнул головой и продолжал путь к парусникам один.

Подходя к длинному сараю, где шили паруса, Ушаков услыхал, как чей-то мягкий тенорок рассказывает.

Федор Федорович прислушался.

— Лучше нашего русского леса ничего нет на свете! Березки стоят белые-белые, чистые, стройные, как девушки. А сосенки — гонкие[1], ровные, как свечечки. И на солнышке — особенно на закате — они точно золотые, так и горят. Красота неописанная! Глядел бы — и не нагляделся бы...

Ушаков поднял брови. Он очень любил море, но и лес любил с детства.

А тенорок, словно пел, продолжал:

— А как подымется ветер, зашумит, загудит бор, заговорит своим голосом, — лучше моря! Сидел бы и слушал...

Федор Федорович вошел в мастерскую. Несколько человек шили паруса. Говорил рыжеватый небольшой матрос.

Увидев капитана, матрос притих и наклонился над полотном.

— Ты из каких краев? — спросил у рассказчика Ушаков.

— Тверской, ваше высокоблагородие.

— Как звать?

— Федор Скворцов.

— Будешь у меня денщиком. Бросай иглу, пойдем!

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — проворно вскочил на ноги Скворцов.

Дом капитана корабля № 4 стоял на самом краю, у степи.

Федору Скворцову это очень понравилось.

— Пусть она и степь, а не наше поле, да все-таки простор. Тут и птичка скорее будет и суслик...

— И саранча, — пошутил Ушаков.

XIX

Ушаков с утра до позднего вечера не выходил из адмиралтейства. Большую часть дня он проводил или у стапеля своего строящегося корабля, или в громадной чертежной зале, где на полу чертили в натуральную величину корабельные части. С этих чертежей потом делались лекала, по которым изготовлялись отдельные детали корабля.

Впрочем, капитана Ушакова можно было видеть в течение дня всюду: у корабельных плотников, кузнецов, в угольном сарае и провиантском магазине. А порой невысокая, плотная фигура ка-

---

[1] Гонкий лес — прямой, высокий лес.

питана мелькала на берегу Днепра, где стояли плоты с дубовым и сосновым лесом.

Ушаков вникал в каждую мелочь — ведь плавать-то на «Святом Павле» придется всем им, строителям!

Федор Федорович старался, чтобы поскорее спустить корабль со стапеля. Один 74-пушечный, «Слава Екатерины», уже был спущен в Херсоне и отправлен в Ахтиарскую бухту.

Ушаков около полутора лет пробыл в Балаклаве, недалеко от деревушки Ахтиар, и знал прекрасную, просторную Ахтиарскую бухту.

Ею всегда восхищались черноморские моряки.

Суворов, командовавший в 1778 году войсками в Крыму, первый укрепил берега Ахтиарской бухты, а Потемкин теперь приказал сосредоточить в ней новый Черноморский флот.

В субботу вечером Ушаков, уходя из адмиралтейства, взял с собою чертежи одного дека, чтобы наутро проверить кое-какие расчеты.

В воскресенье, позавтракав, он сел за работу, а денщик Федор ушел на базар.

Федор вернулся с базара и, по обыкновению, стал о чем-то рассказывать, не очень заботясь о том, слушают его или нет.

Федор был восторженный, словоохотливый человек. Он всегда чем-либо восхищался — небом, цветком, птицей, облаками. Ушаков уже привык к его излияниям.

Сначала Ушаков не обращал внимания на то, что говорил денщик. Потом как-то вслушался.

— И вот родится же такая — и приятная, и добрая, и обходительная, что все ее любят! — пел Федор.

— О ком это ты? — обернулся Ушаков.

— Есть одна. Барышня аль барыня — не знаю, а только замечательная. Я ее всегда встречаю на базаре.

— И что же?

— Со всеми она так хорошо говорит. С простым человеком не побрезгует. И не пропустит ни одного убогого, чтобы не подать ему милостыни. Сегодня мясник кинул в бродячую собаку камнем, а эта барышня так мясника корила, так корила, что он и сам-то не рад.

«Совсем как Любушка, — подумалось Федору Федоровичу. — Она тоже со всеми была приветлива, и все ее любили. И сердце у нее жалостливое — бывало, в Воронеже не пропустит на улице ни одного кошачьего хвоста», — улыбнулся при воспоминании он. Спросил:

— Кто же она?

— Не знаю. Только не из военной семьи: ходит с корзинкой одна, без денщика...

— А какая с виду?

— Высокая, статная. А зубы у нее белые-белые... Я таких отродясь не видал. И сама вся улыбчивая...

«Любушка!» — окончательно уверился Федор Федорович и не стал больше говорить с денщиком, хотя так приятно было слышать похвалы ей.

Наутро Ушаков спросил в конторе: какие поставщики в адмиралтействе?

— Уголь поставляет Пудер, вино — Фомин, уксус — Метакса.

«Так и есть: она в Херсоне!»

Хотелось поскорее увидеться с Любушкой, но пришлось ждать до воскресенья.

Федор Федорович решил, что самое удобное встретиться с ней как бы невзначай, на базаре.

В воскресенье утром он пошел посмотреть херсонский базар.

Большая пыльная площадь была полна народу. В центре ее, на узких столах, располагались со своими товарами продавцы мяса и рыбы. Рядом с ними стояли бабы с кувшинами молока, с какими-то лепешками, сыром, жареной рыбой. Сушеные фрукты лежали прямо на земле, на куске рогожи или старого паруса. Тут же в пыли сидели торговцы глиняной посудой и разным старьем. За ними тянулись продавцы вина с бурдюками и бочонками. Это был самый шумный участок базара. И по всей площади сновали цыганки в криво одетых ярких юбках, торговцы вразнос и мальчишки с бутылями в руках:

— Квасу! Квасу! Кому холодного квасу?

Не успел Федор Федорович ступить на площадь, как к нему подскочил пьяненький человек. На плече пьяненький держал кучу поношенной одежды, среди которой ярко рдели красные турецкие шаровары. Он протянул Ушакову турецкий пистолет:

— Купите, ваше-ство!

— Зачем он мне?

— Вам пригодится... Купи-ите!

— Да ведь пистолет-то без курка, — усмехнулся Ушаков.

— Это ничего. Отдадите адмиралтейскому слесарю — он вам за пять копеек приделает новый.

— Ступай-ка, братец, своей дорогой!

— Ваше высокоблагородие, возьмите даром, только пожалуйте хоть двугривенный на пропой души! — не отставал он.

Федор Федорович досадливо отмахнулся и стал проталкиваться дальше. Он шел, глядя по сторонам: где же Любушка?

В толпе на него набросились цыганки. Громко крича, точно ругаясь, они предлагали «барину пригожему», «высокому начальнику» погадать, заранее предсказывая разные блага.

Площадь уже кончалась. На самом краю сидели сапожники и цирюльники. За ними тянулись татарские арбы, запряженные осликами, длинные мажары. А среди них затесалась русская кибитка, обтянутая рогожей. Она вся была наполнена деревянными ложками и чашками, окрашенными желтой лаковой краской. Седобородый дед щурил на яркое полуденное солнце выцветшие от старости карие глаза.

— Откуда, дедушка? — удивился Ушаков.

— Володимерский, родимый, володимерский!

«Эк куда его занесло!»

Федор Федорович повернул назад.

«Неужели не пришла?»

Стало досадно.

Он вновь смешался с толпой.

Наконец Ушаков увидал Любушку, — она оживленно разговаривала с какими-то бабами. Федор Федорович туго сходился с людьми, и его удивляла способность Любушки легко и просто разговаривать с незнакомыми.

Увидев Ушакова, Любушка направилась ему навстречу.

Она была черна от загара. На ее лице белели только зубы.

— Здравствуйте! — широко улыбаясь, приветствовала она.

— Здравия желаю! — обрадовался Ушаков. — Ты стала как молдаванка! — залюбовался он. — Ты все такая же...

— Какая?

— Красивая... Выйдем отсюда, поговорим.

Они вышли из толпы на край площади.

— Давно приехал, Феденька?

— Уже две недели. А ты?

— Я здесь больше месяца.

— И Егорушка?

— Нет, Егорушка остался с мамой. Тащить ребенка сюда, где столько болезней!.. Я приехала в это пекло лишь потому, что Павел говорил, будто из Петербурга много шлют в Херсон моряков. Надеялась встретить тебя. Павел уехал позавчера в Таганрог. Феденька, скажи лучше, как ты живешь? Я так рада, что вижу тебя! Хочется о многом поговорить с тобой, посидеть вдвоем! Знаешь, приходи ко мне сегодня обедать!..

— Лучше ты приходи ко мне. Я живу на отшибе, в отдельном домике, у самой степи. А у тебя кругом соседи. Пойдут сплетни, — поморщился Федор Федорович.

— Ну, ладно, приду я, — согласилась Любушка, и они расстались.

Ушаков с нетерпением ждал вечера.

Вечером Любушка пришла.

Денщик Федор, увидав ее, расцвел. Он не знал, как и принять дорогую гостью.

Ушаков немного смутился.

— Мы с Федором Федоровичем старые знакомые, — просто объяснила удивленному денщику свой неожиданный визит Любушка, — Федор Федорович знавал меня еще в Петербурге совсем маленькой девочкой!

— Так-так. Вот и хорошо! Вот и хорошо! — умилялся Федор.

XX

Невидимой, весьма тонкой и сыростью противно пахнущий моровой яд никогда не показывается беспосредственно в наших странах в оных воздухе, но проходит к нам с восточных и полуденных земель чрез товары или зараженных оною людей.

Описание морового поветрия

Однажды, в конце июля, ранним утром к Ушакову прибежал адмиралтейский вестовой. Вице-адмирал Клокачев звал всех старших командиров на срочное совещание.

«Что там стряслось?» — раздумывал Ушаков, направляясь в адмиралтейство.

Первый, кого Федор Федорович увидал, входя в кабинет адмирала, был Войнович. Выпучив свои черные глаза, он важно восседал в кресле у самого адмиральского стола.

Федор Федорович сел к Голенкину, который выбрал место в сторонке, у окна.

— Что же это ты, Федор Федорович, и глаз не кажешь?

— Заработался, брат! — виновато улыбнулся Ушаков.

Работы у него в самом деле было достаточно. Но ему казалось, что все в Херсоне знают о том, что он встречается с Любушкой, знают, что она бывает у него. Правда, Любушка никогда не шла к Ушакову мимо казарм, а обходила их со стороны степи.

В кабинет вошел Клокачев. Он был чем-то, видимо, расстроен.

Все разговоры смолкли.

— Нашей верфи и нашему строящемуся флоту угрожает страшная опасность. Вчера в Херсоне появилась чума, — выпалил Клокачев и остановился.

— Всё же не ушли!

— Докатилась-таки и до нас! — послышались замечания.

— Это горше самого лютого и грозного врага. Во сто крат хуже всяких турок и их европейских покровителей. Морской флот строится на двух верфях: в Херсоне и Таганроге. В Таганроге уберегли, хотя он и ближе к Тамани, где прошлым летом объявилось это моровое поветрие. Надо и нам приложить все усилия, чтобы не дать распространиться заразе. Надо спасти Черноморский флот!

Клокачев говорил и все время подносил к носу головку чеснока — нюхал.

— Что делали в Таганроге, ваше превосходительство?

— Как уберегли они? — посыпались вопросы.

— А вот как. Капитан над Таганрогским портом генерал-майор Косливцев осматривал всех подозрительных «купцов»[1], устроил карантин. Нам также немедля учредить во всех кораблях и командах карантины, выставить караул. Перед работой и после работы самим лично осматривать команду.

— А как узнаешь, что человек заболел чумой? — спросил кто-то.

— Черные чирьи пойдут по телу. Как уголь.

— И синие пятна, морушки[2], — откликнулись те, кто слыхал о недавней московской чуме.

— Горячка! Человек лежит без памяти.

— И вовсе не так. У меня в Москве зять помер. При полной памяти. Перед смертью все соленых грибков просил...

Клокачев постучал рукой по столу:

— Тише, господа! Слушайте дальше. Во всех кораблях и командах немедля зажечь костер из кизяка. Жечь круглые сутки. Помните: при чуме, как у нас на море, главное — ветер. Ведь не зря и называется «моровое поветрие». Если команда идет на работу и встретит незнакомого человека, то смотреть, чтобы он не выиграл у тебя ветер. Ежели надо переговорить с ним, то становись так, чтобы вы оказались на-ветре.

— Ваше превосходительство, я полагаю, кроме ветра есть еще что-то, — сказал Ушаков. — Если бы только один ветер, то чума пошла бы и дальше, а ведь она второй год держится только на побережье.

— А как в семьдесят первом годе пожаловала в Москву, забыли? Ежели не в ветре, то, извольте сказать, в чем тогда? — обернулся к нему Клокачев.

— Не знаю, ваше превосходительство. Я не лекарь. Я только сказал, что думал.

— Думать нечего. Слушайте, что приказывают, господин капитан второго ранга!

Ушаков покраснел и смолк.

— Людям побольше есть чеснок. И обливаться уксусом. Песен не петь. Работы не прекращать. Но в Ахтиарскую бухту ничего не отправлять: не занести бы мор на готовые корабли.

И Клокачев распустил собрание.

Командиры уходили, озабоченно обсуждая неприятную новость.

— Видишь, сам же говорит: «не занести бы»; значит, не в одном ветре дело! — шептал Голенкину Ушаков, когда они выходили из адмиралтейства. — А то выйдет, как бабы говорят: «ветром надуло».

— Никто ничего не знает, — ответил Голенкин. — А наш Паша угодил: вовремя убрался из Херсона! Ну, Феденька, держись!

---

[1] «Купец» — торговое судно.

[2] Морушки — тифозные пятна.

— Будь здоров, Гаврюша!

Когда Ушаков пришел к своей команде, там уже знали о страшной новости. Судили-рядили на все лады:

— Не суждено — не заболеешь.

— Бояться не надо. Кто боится, того сразу возьмет.

— Береженого и Бог бережет!

— Бог-то Бог, да и сам не будь плох!

— Слыхал: уксусом надо обливаться.

— Пей водку — ничто не возьмет!

— Дяденька, а что с человеком тогда случается?

— Голова дюже болит.

— Это когда головная горячка, тогда голова болит, а тут горячка гнилая...

— И что же тут?

— Сине-багровые пятна по телу. И мясо клочьями лезет. Заживо человек гниет...

— Несладко!

— Чума есть всякая: одна холопская, другая — барская. От барской ни ты, ни я не помрем. Вон в Москве была барская — одни баре мерли, ровно мухи.

— Барская-то чума была не тогда. Вон как Пугачев шел с Урала, он, сынок, был барам пострашнее всякой чумы! Вон когда они нигде не могли найти себе места!

— Дяденька, а здеся какая чума?

— А здесь — холопская. Купил солдат у торговки старые шаровары, хотел себе штаны сделать. Торговка, к примеру, сегодня ноги кверху, а его, раба Божьего, назавтра скрутило.

— Сми-ирно! — прервала команда разговоры.

Ушаков стал перед строем:

— Вот, братцы, слыхали, какая напасть? Главное: смотреть за собой, чтобы сам и одежда — в чистоте, тогда никакая хворь не пристанет. Посторонних людей сторониться. Не здороваться за руку. Вещей чужих не трогать. Что надо будет купить, пойдем в строю, с офицером. Итак — беречься, но не трусить! Носов не вешать! Как в бою! Молодцами!

— Рады стараться, ваше высокоблагородие!

И команда бодро пошла на работу.

Вечером после работы Ушаков сам привел команду в казармы.

На улицах чадили костры из навоза, камыша и бурьяна. Солнце проглядывало сквозь дымные облака, как кровавый шар.

У капитана 2-го ранга Федора Ушакова все было готово: уксус для обливания команды, карантин, — для него он выделил мазанку, где помещался лазарет. Вокруг расположения команды корабля № 4 стояли посты, не пропускавшие никого.

Прежде Федор Федорович любил эти тихие вечерние часы. Он знал, что к нему обязательно прибежит коротать вечерок милая Любушка.

Ушаков делал что-либо у стола — проверял расчеты, просматривал ведомости, а она сидела рядом — вязала, напевая.

Так проходило полчаса. А потом Любушка вдруг обнимала его, карандаш летел в сторону, а ведомости мешались с чертежами...

Денщик Федора был доволен, что к ним приходила Любовь Флоровна. Он ее уважал, старался всячески угодить ей.

— А все-таки без хозяйки — дом сирота! — говорил он, будто бы сам с собой.

И старался все подать, а потом бесследно исчезал.

— Ну, Федор, слыхал, какая у нас объявилась гостья? — спросил Ушаков, придя домой.

— Как не слыхать, ваше высокоблагородие! Вон костры по всему городу запалили. Солнышко затмили. А гостья — точно, упаси Господи! Это, сказывают, как в семьдесят первом годе в Москву пожаловала. Тогда оно вот как было. Солнышко еще не встало — только в зорьке купалось, приплелась к заставе сгорбленная старушонка в черном саване с монашеским куколем на голове. Бредет, на суковатую клюку опирается. Караул стоит, усы разглаживает. Кричит ей: «Стой! Куда бредешь, гнилая? Как тебя звать, древняя?» А она подняла голову — один голюсенький череп. Вместо глаз синие болотные огоньки мигают. Зубы-клыки лязгают. «Звать меня — моровая язва!..» Смеется, вредная, во весь свой поганый рот. Распахнула саван, а под ним — кости, обтянутые желтой кожей, а на коже черные пятна. Караул попался не из робкого десятка. Спервоначалу отшатнулся: свят, свят! А потом сотворил крестное знамение и ружье наперевес: «Стой, язва!» А она язык показала — мол, на-кося, выкуси — да через заставу, как тень, в Москву и сгинула. А язык-то у нее ровно у змеи, — на конце раздвоен. Вот и можно теперь узнать чуму по раздвоенному языку да черным пятнам на теле!

— Да-а... Красивая сказка, — усмехнулся Ушаков. — А как же мы-то теперь будем, Федор?

— А как все, батюшка. Мы на базаре покупали только молоко да овощи. Овощ пусть мне в кувшин с уксусом кладут, а от молока откажемся.

— Верно. Сядем-ка мы на морской стол — на крупу да солонину!

— Точно так, Федор Федорович!

Ушаков ходил по комнате. Надо было ужинать, а Любушки нет как нет. Беспокоился, но ничего не говорил. Федор понял его состояние. Гремя стаканами, сказал в пространство:

— Где ты, ласточка, где, касаточка?

Только произнес — мимо окна мелькнула тень. Вбежала Любушка.

— Ух, чуть добежала! Едва не задохнулась в этом дымном смраде! Днем солнце багровое, теперь луна такая же. Собаки воют. Страшно! — говорила она, обмахиваясь платочком.

Федор в последний раз взглянул на стол, — всё ли есть, и ушел к себе. Остались вдвоем.

— Почему так задержалась?

— Рядышком с нами, на соседней улице, чума...

— Кто заболел?

— Перекупка. Она торговала на рынке старьем. Покупала у приезжих, скупала у матросов с «купцов». Из-за нее оцепили все три улицы до самого рынка.

— А как же ты прошла? Как не задержали?

— Э, караульщики стоят всё свои. Уговорила. А почему им не пропустить меня: знают, что я здорова! — засмеялась она.

Федор Федорович глянул на Любушку и не мог не улыбнуться:

— Да, действительно здорова. Как репка! Ну, будем ужинать, пить чай. Наливай!

Любушка принялась хозяйничать.

— Хочешь, я тебе расскажу, как чума пришла в Москву? — спросил Федор Федорович, когда поужинали.

— Расскажи!

Она села поближе к нему и приготовилась слушать.

— Был вот такой же вечер. Штилевая погода. Луна светит. Собаки лают. Стоит у будки часовой. Подходит к нему с зюйд-веста молодая женщина в белом платье. «Куда, барышня?» — «В Москву». — «Зачем?» — «А вот зачем!» И она распахнула платье...

— Фу, бесстыжая... — перебила Любушка.

— Не перебивай. Вот распахнула. Видит солдат: девушка вся в синяках...

— Хороша девушка. Должно быть, из какого-нибудь кабака плелась...

— Не перебивай, Любушка! Вся в синяках. Солдат к ней: «Стой!» А она показала ему язык. А язык у нее раздвоен. Дразнит: лови-ка! Он за ней. Чуть дотронулся — и умер.

— А не трогай девушки! — сказала Любушка и вдруг померкла, задумалась, глядя на огонек свечи: — Знаешь, Феденька, меня убьют.

— Что ты, что ты!

— Я хожу в белом. И язык у меня раздвоен...

Она высунула язык.

— Но у тебя нет одного, — сказал Ушаков, обнимая ее.

— Чего?

— Синяков.

— Как нет?

— А где же они?

— Вот полюбуйся!

Любушка закатала рукав. На полной руке, выше локтя, виднелся большой синяк.

— Кто это?

— Ты! Всё твои рученьки! Ах ты мой тамбовский медвежоночек!..

...Свеча почти догорела, когда Любушка собралась уходить.

— Я тебя провожу, — сказал Ушаков.

Любушка задула огарок, и они вышли. В сенях на лавке мирно храпел Федор.

Они обогнули казармы и пошли прямо по степи.

— Ну, до завтра, мой дорогой! — попрощалась Любушка. — Тут караулит наш сосед, Яков Иванович.

И она смело направилась к домам.

Ушаков стоял и смотрел, что будет.

— Кто идет? — раздался встревоженный окрик.

— Свои, Яков Иваныч, это я!

— А, проходи, полунощница!

И Любушка исчезла среди домов.

Ушаков возвращался назад, сдвинув густые брови. Озабоченно думал: «Вот так караул! Вот так оцепили! Любого пропустят. И даже с какой угодно кладью. Дочь или сестра этой умершей перекупки возьмет ее тряпье и свободно пройдет с ним через все гражданские караулы. А с ней пройдет чума. Нет, это не дело!»

И Ушаков пошел проверить свои флотские посты.

XXI

Чума в Херсоне распространялась. Каждый день умирали люди. Мертвые валялись на опустевших улицах.

Постепенно стали заболевать солдаты гарнизона и матросы верфи. Ушаков каждый день утром и вечером осматривал свою команду — четыреста с лишком человек. Однажды при вечернем осмотре он обратил внимание на мичмана Баташева. У него как-то осунулось лицо, а глаза были мутные, словно у непротрезвившегося человека.

— Что с вами, мичман? Нездоровится?

— Голова как-то болит, Федор Федорович. Днем водил команду на реку за камышом, было жарко. Пока ломали, я снял шляпу. Должно быть, нажгло голову.

«Уж не начинается ли?» — с тревогой подумал Ушаков, а вслух сказал:

— Ляжте сегодня в карантин. На всякий случай.

— Да я здоров. Это пройдет, Федор Федорович, — взмолился испугавшийся мичман.

— В карантине еще никто не лежал, чистая мазанка. Почему не переночевать там?

— Ваше высокоблагородие, я в мазанке один, — обратился уже совсем по-официальному мичман. — Кротов ведь уехал в Азов.

Ушаков вспомнил, что мазанка, где помещались двое мичманов, стояла на самом краю расположения его команды и что мичман Кротов действительно уехал.

— Ладно, оставайтесь у себя. Только уж никуда не выходите до моего разрешения.

На следующий день утром Ушаков с волнением подошел к мазанке Баташева.

— Ну, как здоровье, Баташев? — окликнул он, подходя к окну.

— Ничего, Федор Федорович. Только озноб. Должно, лихоманка проклятая. Она меня уже раз трясла!

— Полежи сегодня. Я велю, чтобы тебе принесли чаю и рому.

«Неужели чума? А может, в самом деле только лихоманка? Ежели чума, жаль: молодой, хороший паренек!»

Когда вечером Ушаков пришел наведаться к Баташеву, тот как-то возбужденно вскочил с койки и радостно крикнул:

— Федор Федорович, я себя хорошо чувствую! Я здоров!

— Здоров, так и слава Богу! Завтра в строй!

Ушаков пошел ужинать. Мичман не выходил у него из головы. Очень уж он возбужден, взгляд у него дик и неподвижен.

Было настолько неприятно, что даже Любушка, которая и сегодня сумела проскользнуть через заставу, не улучшила настроения Федора Федоровича.

— Тебя не задержали караулы? — удивился он.

— Что караулы? — улыбнулась Любушка, садясь рядом с ним за стол. — Есть и похуже их!

— Кто?

— Муж. Павел. Сегодня утром вернулся из Таганрога. Не пускал из дому: чума, чума!

— Правильно делал!

— Спрашивает: куда собираешься, на ночь глядя? А я: скоро вернусь, схожу к адмиралтейской Семеновне за уксусом. Уксусато, говорю, у нас в доме нет, хоть ты и флотский подрядчик!

Она секунду помолчала, а потом, ласково заглядывая ему в глаза, сказала:

— Вот прибежала взглянуть: жив ли ты, здоров ли, мой соколик!

— Нам придется расстаться на время, Любушка, — нахмурился Федор Федорович.

— Почему?

— Видишь ли, не полагается, чтобы кто-либо приходил сюда...

— Так ведь я же, Феденька, ничего с собой не ношу...

Она снова немного помолчала.

— Со мной только моя любовь к тебе, — вполголоса сказала Любушка.

Ушаков сидел, подперев голову ладонью. О чем-то думал.

— Знаешь, тебе надо уехать из Херсона.

— От тебя я никуда не поеду! — твердо ответила Любушка.

— Милая, да ведь пойми: в городе — чума! Мы люди военные, наше дело одно. А тебе что? Зачем рисковать? Сынок у тебя еще мал. Не ровен час... Нельзя же допустить, чтобы он остался сиротой.

Федор Федорович даже встал.

Любушка молча теребила пальцами концы платка.

— Хорошо. Я подумаю. Павел тоже настаивает: «Уедем от беды подальше!»

— Метакса говорит верно: незачем оставаться здесь. Нечего переть на рожон! Уезжайте!

— Но проститься я все-таки еще приду, так и знай! — сказала Любушка, нехотя подымаясь с места. — Дай-ка мне бутылку с уксусом — ведь я же пошла за ним, — улыбнулась она.

Федор Федорович достал бутылку с уксусом и пошел провожать Любушку по степи до городских улиц.

А затем еще раз наведался к своему больному мичману.

Часовой, стоявший как раз возле самой мазанки Баташева, увидав подходившего капитана, покачал головой:

— Плохо, ваше высокоблагородие. Без памяти находится, — прошептал он, в страхе глядя на мазанку. — Плетет невесть что!

Ушаков прислушался. В раскрытое окно донесся бред мичмана:

— Флаг и гюйс поднять! Ха-ха-ха, навались, ребята, навались! Прямо руль!

Ушаков с ужасом подумал: «Конец: чума! Вот-то беда!»

Но, стараясь говорить спокойно, сказал, уходя, часовому:

— Ничего особенно плохого: человек только бредит. Бывает, и здоровый не то что говорит во сне, а даже, зубами скрежещет!

Он пришел домой, вытерся уксусом, съел на ночь головку чесноку и лег, но уснуть долго не мог.

XXII

По степи тарахтела ямская повозка. В ней ехал из Петербурга только что произведенный в капитаны 2-го ранга Нерон Веленбаков. Последние годы он плавал на Балтийском, а теперь его назначили также в Херсон.

Уже на нескольких последних станциях перед Херсоном капитана предупреждали:

— Куда вы едете? В Херсоне — чума!

— Этак и в бой идти нельзя: ведь там убить могут! — шутил Веленбаков и неукоснительно подвигался к югу.

Только на последней станции, Богородицкой, он принял кое-какие меры предосторожности: захватил с собою для лечения три штофа водки.

— Уксусом вытираться — ерунда! Не уксус помогает, а водка! Мой дядя в Москве спасся только ею, сердешной. Пил водку и маринованными в уксусе рыжиками закусывал. Рыжиков здесь нет, так я вместо них лучком буду!

Когда стали приближаться к Херсону, ямщик начал просить отпустить его не доезжая до места.

— Смилуйся, ваше высокоблагородие! Христом-богом прошу: отпусти! Жена, дети! У тебя чемоданишко пустяковый, легкий — дойдешь! — со слезами на глазах умолял он.

— Ну, черт с тобой, уноси ноги, трус! — отпустил ямщика Веленбаков, когда невдалеке показались херсонские мазанки.

С чемоданчиком в руке он подошел к первой городской гражданской заставе. На заставе стоял толстый купчик-армянин. Он попытался было не пустить Веленбакова, но тот не посмотрел на его вооружение — кинжал и пику, толкнул караульного в грудь и закричал:

— По указу ее императорского величества, государыни императрицы, сучий сын!..

И, пошатываясь, вошел в город.

— Исайка, пропусти! — крикнул купчик на соседний пост.

На следующем Веленбакова пропустили беспрекословно. Так он добрался до военных адмиралтейских караулов.

Тут уже спрашивал он сам:

— Где корабль номер четыре?

Он знал, что Федор Федорович — командир корабля № 4, и решил остановиться у своего друга.

— Прямо, ваше благородие. Иванов, пропусти их благородие!

— Их высокоблагородие! — раскатистым басом милостиво поправил Веленбаков и пошел дальше.

Но на ушаковской заставе дело оказалось сложнее. Еще издалека часовой зычно крикнул:

— Стой! Кто идет? — И сразу взял ружье на руку.

— Из Петербурга, капитан второго ранга Веленбаков, — ответил Нерон. — Покличь капитана Ушакова!

— Дядя Макарыч! — позвал часовой.

Через секунду перед Веленбаковым предстал боцман.

— Вот они спрашивают капитана Ушакова, — сказал часовой.

— Чего изволите, ваше высокоблагородие? — переспросил боцман.

— Я к Ушакову. Я его друг и товарищ. Приехал из Петербурга. Спать хочу...

Боцман вмиг прикинул: будить капитана — жалко, только-только лег. Опять же — хоть это и офицер, а неизвестно, откуда он. Стало быть, его хорошо бы продержать в карантине!

— Вот в этой мазанке переночевать можно было бы, — рассуждал он вслух, — да там больной мичман, господин Баташев лежат.

— Вот и хорошо. Я с мичманом, — согласился Веленбаков, и не успел боцман оглянуться, как Нерон шагнул к мазанке, толкнул дверь ногой и был таков.

Боцман и часовой только переглянулись: а ладно ли это будет?

Стояли, слушали: что дальше?

А в мазанке происходило вот что. Веленбаков, чертыхаясь, высекал огонь. Наконец высек и зажег свечу.

— Здоро́во, мичман!

— Здравия желаю. А вы кто? — спросил слабым голосом Баташев.

— Я капитан второго ранга Веленбаков. Приехал из Петербурга к вам, в эту дыру. А ты что, заболел?

— Да, трясет...

— Это ничего. Это лихоманка. Вот мы сейчас выпьем водочки, и все как рукой сымет. Согреешься!

Веленбаков поставил на стол чемодан, собираясь открыть его, но в это время мичмана начало тошнить.

— Э, брат, да ты гусь: и без моей водочки доклюкался до жвака-галса[1]. Слаб, если так. Меня отродясь не тошнило, а пью я как ярыга. Ежели ты так, тогда я ложусь, брат, на другой курс. Я буду спать в сенях.

Веленбаков взял чемодан и пошел в сени. Положил чемодан под голову, растянулся на тростнике и через секунду захрапел.

— Пусть спит. Завтра утром доложу. Из мазанки не выпускать! — строго приказал боцман и ушел спать.

Боцман Макарыч поднял Ушакова чуть свет.

— Что, мичман умер? — вскочил Федор Федорович.

— Не слыхать что-то, ваше высокоблагородие. Без движимости находится. А только они не одни.

— А кто же еще заболел?

— Заболел ли, не знаю, а сам туда вскочил.

— Кто? — начал сердиться Ушаков.

Боцман рассказал о приезде Веленбакова. Ушаков только руками всплеснул от огорчения — вот история!

Он оделся и пошел с боцманом к мазанке Баташева. Заглянул в окно — мичман не двигался. Лица не было видно, но по свесившейся руке, по вытянутым, закостеневшим ногам было ясно: все кончено.

— Осталось куль да балластина! — вырвалось у боцмана Макарыча.

— Да. Вечная память, хороший был мальчик! — вздохнул Федор Федорович. — Сказать лекарю, чтобы немедля убрали. Языком не болтать! — приказал Ушаков и пошел к сеням.

---

[1] *До жвака-галса* — иносказательно: до конца.

Нерон спокойно спал врастяжку.

— Нерон, — позвал Ушаков. — Нерон!

Веленбаков проснулся и сел, сладко потягиваясь.

— А, Феденька, здравствуй! — хотел было подняться он, но Ушаков начальнически крикнул:

— Не вставай, погоди, выслушай!

Веленбаков слушал, почесываясь.

— Рядом с тобой в комнате лежит умерший от чумы мичман...

— Как — умерший? Да он со мной говорил!..

Нерон вскочил, шагнул через порог и попятился назад.

Он был бледен, как стена мазанки. Стоял, растерянно моргая.

— Не волнуйся. Закрой дверь!

Веленбаков захлопнул ногой дверь из сеней в комнату.

— Ты трогал его?

— Нет.

— Ни его, ни его вещей?

— Да. Я только хотел угостить мичмана водкой.

— Счастье твое, что не угостил! Забирай чемодан, пойдем в карантин!

— А как же мой рапорт адмиралу о прибытии?

— Успеешь! — махнул рукой Ушаков. — Ты как себя чувствуешь? Голова не болит?

— Признаться, трещит с похмелья. Вчера я хватил порядком! — виновато улыбался Веленбаков.

— Если с похмелья — ничего.

— Я еще выпью — у меня осталось.

— Выходи, пойдем в карантин!

Веленбаков взял чемодан и вышел из страшной мазанки. Ушаков сам отвел его в карантинную мазанку и сдал лекарю.

— Сиди здесь, пока я не выпущу!

— Ладно! — покорился печальной участи Нерон.

В этот день Ушаков особенно тщательно осмотрел с лекарем всю команду. Больных и подозрительных, к счастью, не оказалось. Команды ушли на работу.

Около полудня в расположение корабля № 4 явилась страшная телега. Впереди нее ехал верхом казак. На пике у него трепыхался зловещий черный флажок.

Возле телеги шли три каторжника с длинными железными крючьями и мешками на плечах.

Ушаков видел, как они, надев на головы мешки, вытащили крючьями койку с бедным мичманом и бросили ее на телегу.

— Вещи его возьмите! Заберите все вещи! — приказал Ушаков.

Из вещей у Баташева был только сундучок. Каторжник спокойно взял его голыми руками и поставил на телегу.

Ужасная процессия двинулась в степь. Ушаков пошел вслед за телегой: он хотел заставить каторжников сжечь при нем же сундучок мичмана.

Было безветренно, но все встречные с испугом шарахались в сторону.

Телега направилась в степь, где сжигали всех умерших от чумы.

— Сбрось сундучок здесь! — приказал Ушаков, когда отъехали с полверсты.

Казак удивленно и недовольно глянул на капитана, но перечить не стал.

Сундучок сбросили с телеги.

— Ну-ка, молодцы, зажигайте сундучок! — властно сказал Ушаков каторжникам.

— У нас огнива нет, — ответил один из них, по-видимому старшой.

— Я те поговорю! Зажигай! — побагровел Федор Федорович.

— Зажигай, Копыто, слушайся их высокоблагородия! — миролюбиво сказал казак. — Мы с Гришкой поедем, а вы вдвоем тут управьтесь поскорее!

Телега тронулась. Каторжники собрали сухой травы, бурьяна и зажгли костер. Один разломал сундучок. Из него посыпалось белье, какие-то письма. Каторжник медлил бросать всё в огонь, явно думал: зря пропадет добро.

— Вали в огонь, чего смотришь! — крикнул Ушаков.

Каторжник бросил мичманские пожитки в костер. Огонь жадно лизал сухое дерево сундучка.

Ушаков стоял печальный, глядя на пламя.

«Вот и следа не останется от человека... Ветер развеет и его по степи...»

— Слыхал, сегодня поутру на базаре бабу укокали? — спросил старшой у товарища.

Ушаков прислушался.

— Насмерть?

— А неужели так!

— Молодую?

— Да не очень.

— За что?

— Говорят, чуму по ночам разносила. Вся в синяках и язык как у змеи...

Ушаков дальше не слушал. Он рванул крючки ворота и быстро зашагал к городу. Каторжники удивленно переглянулись.

— Эх, жалко, поздно ушел: ничего не осталось, — поворошил старшой железным крюком золу.

— Нет, вот пуговица. Может, золотая, — прибавил второй, выгребая мичманскую медную пуговицу.

Ушаков бежал.

Неужели так и случилось, как он тогда полушутя-полусерьезно подумал, когда услыхал эту наивную, детскую сказку о чуме?

Легенда ходит повсюду. Он сам слыхал, как ее рассказывали корабельные плотники. Ее знает не один Федор.

Мало ли как могло случиться. Заподозрили, что каждую ночь куда-то ходит. Остановили. Осмотрели. На теле — синяк, а на конце языка — ложбинка. Вот и готово!

Холодело, замирало сердце. Он подбежал к первой городской заставе.

— Ваше благородие, стой, куда? — остановил его дед-караульщик.

— Пусти! Тут сегодня женщину убили?

— Убили старуху Егоровну.

— Ты точно знаешь, что ее?

— Как не знаю. Перекупка она, в Кривом переулке жила.

— За что убили?

— Шла на базар, просыпала какое-то зелье. Сказывают, чуму разбрасывала...

Отлегло. Ушаков снял шляпу, вытер вспотевший лоб.

— Фу ты!..

Повернулся и пошел домой.

Федор Федорович вошел к себе в комнату и остановился. На скамье сидела улыбающаяся, живая, любимая Любушка.

— Здравствуй, Феденька, я тебя жду! — кинулась она к Ушакову.

— Не подходи. Я сейчас. Федор: уксус, мундир, белье!

Он вышел в сени, облился уксусом, надел все чистое.

— Выколоти и высуши на солнце, — приказал он Федору.

Федор собрал одежду и ушел.

— А я тебя сегодня уже хоронил, — сказал, обнимая Любушку, Федор Федорович.

— Ты, верно, услыхал, что убили женщину?

— Да.

— Мне как сказали, я сразу побежала к тебе предупредить, что я жива.

— Убили ведь старуху.

— А я разве не старуха? Мне уже тридцать лет!

— Нет, ты еще у меня молоденькая, пригоженькая, — сиял Федор Федорович.

XXIII

С каждым днем эпидемия все усиливалась. У Ушакова умер еще один матрос, Сидоркин, а в других командах — флотской, солдатской, артиллерийской — чума косила народ направо и налево. Еще больше жертв было среди гражданского населения. Кто мог, уезжал из Херсона, бросая все.

Согласилась уехать и Любушка.

— Береги себя, будь здоров! Весной увидимся! — говорила она Федору Федоровичу на прощанье.

В день ее отъезда лекарь выписал из карантина Веленбакова. Нерон был совершенно здоров и напрасно томился больше недели в одиночестве и безделье.

Вечером Нерон пришел к Ушакову. За чаем он рассказал о том, как отдавал сегодня рапорт вице-адмиралу:

— Прихожу я в адмиралтейство, гляжу — поперек адмиральского кабинета прибита доска. «Где вице-адмирал?» — спрашиваю вестового. «В зале». Я — туда. Вижу — в самом углу залы, за столами, как за укрытием, сидит адмирал. Вошел, доложил. Подаю рапорт — не берет бумаги. «Кладите в ведро с уксусом, что стоит в передней», — говорит. Я положил: пусть себе мокнет! Вернулся в залу. «Приехали, — говорит, — в такую лихую пору. Назначаетесь командиром корабля номер два».

— Это пятидесятипушечный «Андрей». Там вчера два матроса заболели. Смотри!

— Э, меня чума не заберет! — смеялся Веленбаков.

Наутро Клокачев прислал приказ: «Ввиду того что моровое поветрие усиливается, все работы на верфи прекратить, а команды кораблей вывести в степь».

Стали собираться на новые квартиры.

Весь вечер и большая часть ночи ушли на обдумывание предстоящей борьбы со страшным врагом. В эту ночь Ушаков составил диспозицию боя, который он собирался дать чуме. Он вспомнил и разобрал оба случая чумы в его команде.

Мичман Баташев, как узнал впоследствии Федор Федорович, забежал накануне на корабль № 2 к приятелю, а матрос Сидоркин, стоя на карауле, одолжился у прохожего табачком.

Ушаков пришел к выводу, что главное — это беречься посторонних и держать себя и одежду в чистоте. Кроме того, чем меньше зараженный район, тем легче борьба.

К утру он составил примерный план лагеря и правила жизни в нем.

На рассвете адмиралтейские казармы опустели. Все команды, взяв пожитки, ушли в степь.

Ушаков поднял своих раньше всех. Он отошел в степь, вымерил нужное пространство и сразу поставил часовых, чтобы за черту лагеря — ни одного постороннего!

Часть людей под командой расторопного боцмана Макарыча отрядил к реке за камышом. Остальные под наблюдением офицеров рыли по указаниям Ушакова землянки и ставили палатки.

И всюду поспевал он сам.

Работа кипела.

Работали охотно — на воздухе, не в надоевших мастерских. Хотя чем выше подымалось солнце, тем становилось тяжелее.

Все другие команды устроились на новом месте за один день, а ушаковская — только к вечеру следующего дня вошла в палатки.

Ушаковский лагерь резко отличался от всех даже по своему внешнему виду. У всех других стояли большие палатки или землянки, где было набито народу как сельдей в бочке.

Ушаков же сразу разделил свою команду на небольшие артели, обособленные друг от друга.

У всех ходили по лагерю свободно, из одной палатки в другую: «Нет ли огоньку?», «А ну-ка, ребятки, у кого разживусь щепоткой соли — завтра отдам!»

А к палаткам и землянкам артели ушаковцев не смел подойти никто из товарищей соседней артели.

За водой и покупками наряжались команды с офицером. С посторонними было строжайше запрещено иметь дело.

Перед лагерем выстроили отдельную больничку, а еще дальше, в степи, стоял страшный карантин.

День ушаковцев начинался с просушивания и проветривания постелей и одежды. Перед каждой палаткой горел костер.

Ушаков говорил:

— У нас тут одна работа и забота: беречь себя. Не ленись мыться, не ленись чиститься!

Он сам проверял команду и не щадил ленивых.

Только два случая чумы приключились в лагере Ушакова, и то вскоре после переезда из городских квартир.

Палатку и все вещи чумных сожгли, их артель расселили сначала по одиночным землянкам, а потом всех свели в новую палатку.

Прежнее место, где осталась лишь куча золы, окопали рвом.

Но это были последние жертвы среди ушаковцев, и Ушаков каждый день с удовлетворением выслушивал в рапорте дежурного по лагерю: «Больных моровым поветрием не оказалось».

Ко всем остальным лагерям часто наведывался казак со зловещим черным флажком на пике, а ушаковцы спали спокойно.

Страшная восточная гостья отступила перед бдительным и мужественным капитаном корабля № 4.

Капитан Федор Ушаков вышел победителем в этом беспримерном, трудном единоборстве с чумой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Чума не помешала Федору Федоровичу Ушакову достроить свой 66-пушечный корабль «Святой Павел». Последний случай чумы был у капитана Ушакова 4 ноября 1783 года, тогда как в других командах она еще продолжала свирепствовать всю зиму. От чумы умер и сам адмирал Клокачев.

«Святой Павел» был в срок спущен на воду и присоединился к эскадре, которая стояла в Ахтиарской бухте под командой адмирала Мекензи.

Ушаков хорошо помнил эту защищенную от ветра, незамерзающую, уютную бухту. Десять лет назад он, командуя 16-пушечным кораблем «Модон», стоял в Балаклаве, охраняя ее от возможной высадки турецкого десанта, и потому хорошо знал эти берега.

Он запомнил убогую татарскую деревушку Ахтиар, лепившуюся по склонам гор среди кустарников. Сюда летом пастухи пригоняли с гор овечьи стада на водопой. Южная бухта так и называлась у татар: Чабанлиман — то есть пастушья бухта.

А теперь здесь, по берегам бухты, раскинулся маленький городок. Нарядный каменный дом адмирала, адмиралтейские и портовые сооружения, десятка два крытых черепицей белых и палевых офицерских и обывательских домиков с палисадниками, лавки маркитантов, магазейны. Потемкин назвал новый город по-гречески: Севастополь, что значит — знаменитый город. И сделал его главным портом Черноморского флота.

Он поручил Ушакову и Войновичу — двум капитанам 1-го ранга — устройство Севастопольского корабельного флота.

В яркий солнечный день августа 1785 года 66-пушечный «Святой Павел» пришвартовался у плоского мыса в Корабельной бухте Севастополя.

Ушаков отправился с рапортом к адмиралу и велел отпустить на берег всех моряков, свободных от вахты.

Матросы с интересом смотрели на лес, который подходил к самой бухте.

— Вот, братцы, и лесок!

— Давно я не бродил по лесу...

— Может, грибков найдем? — оживленно говорили они, ожидая своей очереди у трапа. А ступив на берег, вмиг разбрелись по лесу.

Дневная жара спала. Дул легкий западный ветер. Над бухтой носились чайки.

Капитан Ушаков, облокотившись о коечные сетки, смотрел на мысок. Прикидывал в уме, как и что следует завтра же начать делать, — ведь надо обживаться на новом месте. Из лесу группами шли к «Святому Павлу» матросы.

— Чего это они набрали? Ягод каких-то? — сказал стоявший сзади на почтительном расстоянии от капитана урядник Ефим Зуб.

Ушаков глянул. В самом деле, у лейтенантов, возвращавшихся из лесу, оттопыривались карманы, а матросы несли что-то в шляпах и платках. Боцман же Макарыч шел в одном парусиновом бушлате. Рубаху он скинул и, набив ее чем-то, нес на плече, как торбу.

Федор Федорович встревожился: «Вот наедятся бог весть какой гадости и заболеют. Этого еще недоставало!»

— Да, несут какую-то красную ягоду! — раздраженно сказал он.

Она не была похожа ни на одну из знакомых: ни в Тамбовской губернии, ни на севере Федор Федорович таких ягод не видал.

— И добро бы молодые матросы польстились, а то и старые туда же! Вон Власьич несет и ухмыляется, старая пакля! — указал на Карташева, своего всегдашнего противника, Ефим Зуб.

— Куда несете? Сыпьте эту чертову ягоду за борт! — гневно крикнул капитан Ушаков.

— Федор Федорович, она очень приятная. И совершенно зрелая! — ответил лейтенант Лавров, входя на шкафут.

— А какая это ягода, вы знаете? Ведь понятия не имеете, а едите! — злился Ушаков.

— Это кизил, — подошел вахтенный лейтенант Папаригопуло. — Татары считают, что он помогает ото всех болезней.

Возле капитана и лейтенантов уже образовалась толпа матросов. Вернувшиеся из лесу не знали, что и делать, — не хотелось расставаться с приятной добычей.

— Ваше высокоблагородие, она очень скусная, кисленькая.

— Извольте покушать! — протянул на ладони несколько желто-красных ягод Власьич.

— У тебя немного. А вот у Макарыча, как у доброго маркитанта, — целый тюк. А ну, боцман, угости-ка диковинкой! — сказал Ушаков.

— Извольте, ваше высокоблагородие! Моя ягода — не в пример ихней: крупная, — протянул Макарыч туго набитую рубаху.

Ушаков взял горсть кизила, съел одну, другую ягоду. Улыбнулся.

— Ничего. Кислота приятная, — подобрел он. — Ну что ж, ешьте, ребята, разрешаю! Только с умом: не до отвалу.

— Его много не съешь!

— Мы, ваше высокоблагородие, его с кипяточком, навроде чая! — улыбался Макарыч.

— Вот-вот, правильно!

— Они уже нажравши — дальше некуда! — вставил сбоку язвительный Ефим Зуб.

На следующий день сразу после подъема флага экипаж «Святого Павла» принялся за работу. Ушаков велел делать пристань. Унтер-офицеры и матросы под наблюдением офицеров били камень, вязали фашинник, носили землю, забивали колья и закладывали фашинником и землей.

Всем руководил сам Ушаков.

Он показывал, как надо делать, учил нерасторопных, понукал ленивых.

Херсонская выучка пригодилась: работа кипела.

Весь 1786 год севастопольские корабли не выходили в море: еще было очень много дела на берегу, а флот слишком мал.

Ушаков построил казармы для экипажа, заложил на горе двухэтажный каменный госпиталь, а в Корабельной бухте, рядом с якорной стоянкой своего корабля «Святой Павел», выбрал и очистил «киленбанку» — место для килевания[1] судов. Тут же готовились краны для постановки мачт на корабли.

Ушаков строил казармы для экипажа и все выискивал способы, как обеспечить эскадру питьевой водой, потому что пресной воды в Севастополе на хватало.

За победу над чумой Ушаков получил орден Владимира 4-й степени при именном указе. Адмиралтейств-коллегия выражала тогда благодарность Ушакову: «Отличившемуся неусыпными трудами, попечением и добрым распоряжением, через что вы по своей части гораздо скорее успели отвратить опасную болезнь, так что оная с 4 ноября больше не показывалась».

Завистливый Войнович боялся, как бы за деятельную работу по строительству в Севастополе Ушакова не отличили бы еще больше.

Но этого не случилось.

В мае 1787 года Крым посетила Екатерина II. Она ехала, окруженная блестящей свитой, в сопровождении своего союзника, австрийского императора Иосифа II и посланников Франции и Англии. Императрица Екатерина хотела показать европейским государствам и Турции, что Россия укрепляется на Черном море и никому не позволит помешать в этом.

Екатерина осталась довольна поездкой.

---

[1] Килевать — наклонять судно набок, чтобы днище вышло Из воды и можно было исправлять подводную часть корабля.

Марко Иванович Войнович тогда же получил чин контр-адмирала, а Федор Ушаков — только капитана бригадирского ранга.

К приезду царицы Черноморский флот уже имел в Севастополе три корабля и двенадцать фрегатов, не считая брандеров, мелких посыльных и сторожевых судов. Молодому флоту не повезло в отношении командиров. Трое адмиралов — Шубин, Клокачев и Мекензи — умерли; двое — Козлянинов и Сухотин — затосковали по северу и как-то сумели отпроситься с Черного моря.

Пришлось выбирать из двух недавно произведенных адмиралов: Николая Мордвинова и Марко Войновича. Выбор царицы пал на Марко Войновича. Он был назначен командующим Черноморским флотом.

Войнович не любил, да и не умел заниматься хозяйственными делами и не очень стремился вникать в нужды вверенных ему моряков. Его всегда больше беспокоило состояние адмиралтейских ведомостей и корабельных табелей, чем как и где живет матрос.

Марко Иванович тоже «строил», но его «строительство» шло в определенном направлении. Возле стоянки своего флагманского корабля «Слава Екатерины» он поставил на берегу гауптвахту, которую моряки называли «абвахтой». Адмирал Войнович признавал ее самым лучшим способом воспитания крепостного человека. И потому не проходило дня, чтобы возле «абвахты» не жарились бы на самом солнцепеке под ружьем и с полной выкладкой несколько матросов.

Кроме того, Войнович позаботился покрасивее отделать городскую Екатерининскую пристань.

Войнович тяготился жизнью на корабле. Он большею частью пребывал в городе, в просторном адмиральском особняке. Здесь, в центре города, стояли дома офицеров порта, поставщиков, купцов, именитых обывателей. Здесь размещалась контора над портом, где охотно бывал адмирал. Здесь в одном из магазейнов он устроил «благородное собрание», и в нем по воскресеньям играла музыка.

И только летом 1787 года, когда запахло войной, адмирал Войнович перебрался на флагманский корабль.

Стамбул никак не мог примириться с потерей Крыма и северных черноморских берегов. И потому Севастополь со своим молодым, растущим флотом и верфь в Херсоне с лиманской флотилией были у турок как бельмо на глазу.

Англия и Пруссия подбивали Турцию к новой войне, чтобы вытеснить Россию с черноморских берегов. Европейские покровители Турции уверили ее, что не допустят, чтобы русская эскадра прошла из Балтийского моря в Средиземное. Это позволило туркам собрать в Черном море все свои силы. Турецкая эскадра появилась у Очакова и без объявления войны напала на русский гребной флот.

II

Капитан должен смотреть, дабы офицеры матросов и прочих служителей корабельных ни чрезвычайно жестоко, ни слабо в команде своей содержали, но по правде и умеренности поступали с ними.

Устав морской

В один из августовских дней 1787 года контр-адмирал Войнович вызвал к себе всех командиров на совещание.

— Теперь наверное — поход! — вздыхал ушаковский денщик Федор, которого всегда укачивало в море.

Ушаков надел мундир и пошел из каюты.

На батарейной палубе было, как всегда, шумно и людно. Тут, в тени, кипела работа: вили каболки[1], расщипывали паклю, пряли и сучили нитки, вязали маты, клетневали[2] такелаж. Говор, шутки, смех.

Ушаков вышел на шканцы. Над шканцами был растянут тент. Вахтенный лейтенант и мичман стояли и смотрели на сверкающую под ярким солнцем изумрудную бухту, на чаек, которые стаями вились возле кораблей. Тут же стоял ординарец Ушакова, поджидая его.

Спустили трап. Ушаков и ординарец сели в шлюпку. Ординарец, по обыкновению, поместился на носу. Шлюпка отвалила.

Сверху, со «Святого Павла», на них смотрели вахтенный лейтенант и мичман. Мичман едва заметно улыбался.

Ушаков понял его улыбку: все мичманы всегда почему-то презирают ординарцев. Увидят, как ординарец на берегу идет сзади за командиром, непременно скажут: «Гляди, вон ординарец на бакштове![3]»

А когда ординарцу приходится сидеть вот так на носу гребного судна, обязательно посмеются: «Ишь статуя сидит!»

Они шли уже вдоль фрегатов. Вот от «Крыма» отвалила шлюпка с его капитаном — курносым Пугачевским.

Ушаков неодобрительно приметил: гребцы «Крыма» не умеют грести — держат одно плечо выше другого, сгибают спину.

«Каков поп, таков и приход», — подумал Ушаков.

---

[1] Каболка — пеньковая нить, из которой плетется трос.

[2] Клетневать — обертывать старой парусиной трос, чтобы предохранить его от перетирания.

[3] Бакштов — толстый трос, выпускаемый за корму судна. За трос крепятся гребные суда.

Ушаковская шлюпка поравнялась с «Марией Магдалиной» — фрегатом капитана Тизделя.

На баке фрегата было оживленно. Слышались мерные шлепки, чей-то голос бесстрастно считал: «Четыреста осемьдесят один, четыреста осемьдесят две», но его заглушали человеческие вопли:

— Ой, не могу! Ой, дяденьки, довольно!..

Лица гребцов стали сумрачными. Ушаков зло нахмурил брови.

Все знали, что это такое: у капитана Тизделя, как и у самого адмирала Войновича на его «Славе Екатерины», в большом ходу линьки и шпицрутены.

Шлюпка подошла к «Славе Екатерины».

Когда Ушаков вошел в каюту Войновича, контр-адмирал восседал в кресле, напыщенный и важный, в шитом зóлотом мундире. Перед ним стоял и что-то говорил длинный, белобрысый, точно его выварили, командир фрегата «Мария Магдалина» капитан 1-го ранга Вениамин Тиздель, фамилию которого матросы произносили на свой лад.

Тиздель был большим приятелем Войновича: оба они, иностранцы, вступили в русский флот, оба презрительно относились к русским, и оба были плохими моряками.

Ушаков поздоровался и сел рядом с героем Чесмы, стариком Кумани, командиром фрегата «Кинбурн». Ушаков служил вместе с Кумани еще на «Трех иерархах». Кумани, родом грек, поступил на русскую службу мичманом в 1768 году. Было ему тогда сорок лет. Кумани знал кроме греческого и русского английский, французский, итальянский, турецкий и арабский языки.

Федор Федорович уважал старого моряка.

Адмирал окончил разговор с Тизделем, окинул всех ничего не выражающими бараньими глазами и начал:

— Господа капитаны!

Войнович в некотором волнении погладил рукой свои иссиня-черные волосы, кашлянул и продолжал:

— Сегодня в ночь я получил приказ князя Потемкина: всей эскадре выйти в море, найти турок и драться. Надо помешать им оказывать помощь Очакову. Вот что пишет князь.

Войнович взял со стола бумагу — листок дрожал в его толстых, волосатых пальцах — и стал читать:

— «Подтверждаю вам собрать все корабли и фрегаты и стараться произвести дело, ожидаемое от храбрости и мужества вашего и подчиненных ваших. Хотя б всем погибнуть, но должно показать свою неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля. Сие объявите всем офицерам вашим. Где завидите флот турецкий, атакуйте его во что бы то ни стало, хотя б всем пропасть!»

Он положил листок на стол и начал вытирать лицо платком, — адмиралу было душно.

«Вот трус. Войновичем называется, а так войны боится!» — с презрением подумал Ушаков.

Секунду молчали.

— Коротко и узловато! — вполголоса сказал Кумани.

— Да, болшой садача! — пропищал Тиздель.

— Турецким флотом командует знаменитый капудан-паша Эски-Гассан! — прибавил Войнович.

— Мы его знаем, он при Чесме командовал «Капуданией», — усмехнулся Кумани.

— За лихость Эски-Гассана зовут «крокодилом морских битв», — продолжал расписывать контр-адмирал.

— Плавать он мастак. Если бы не бросился за борт, когда мы сцепились с его кораблем на абордаж, «крокодилу» несдобровать бы! — вполголоса говорил Кумани.

— Когда же уходим? — спросил Ушаков.

— Я полагаю... ждать нельзя. Надо бы сегодня, но сегодня понедельник — несчастливый день, — пыхтел Войнович. — Придется завтра на рассвете.

— Куда пойдем?

— К Варне.

— А не лучше ли прямо к Очакову? Там наверняка найдем турок...

— Нет, к Варне!

— Успеем ли мы дойти, Марко Иванович? Погода ненадежная — со дня на день можно ждать норд-оста, — сказал Ушаков, который не первый год плавал в Черном море и знал силу и свирепость осенних штормов.

Войнович только развел руками.

— Больше приказаний не будет?

— Нет. Чтоб к утру все корабли и фрегаты были готовы! — сказал, вставая, контр-адмирал.

Капитаны стали поспешно расходиться.

Ожидая трап, Ушаков слышал, как фалрепные[1] вполголоса обменивались новостями:

— Влепили по шестьсот...

— Скляренко не выдержал, а Катин — молодец: «очугунился» и хоть бы пикнул! Только встать сам не смог — подняли...

Федор Федорович понял, что речь шла об очередной, сегодняшней расправе на «Марии Магдалине». Он поморщился: Тиздель применял телесные наказания по самому пустяшному поводу.

---

[1] Фалрепные — матросы, подающие фалреп, то есть веревки, за которые держатся, подымаясь по трапу.

III

Как ни советовал Федор Федорович Войновичу направиться к Очакову, контр-адмирал все-таки держал курс к Варне.

«Ну и упрям, черт!» — подумал о нем Ушаков.

На пятые сутки похода, вечером, на северной стороне неба стали вспыхивать зарницы и подул норд.

— Вишь, заиграла зарница, — сказал денщик Федор, побелевший и чуть живой от качки.

— Ужо погоди, она тебе наиграет! — мрачно заметил Ушаков, которого никогда не укачивало.

Федор Федорович тревожно провел ночь, ожидая шторма.

Ветер не стихал.

Утро встало мрачное, в тучах. Темным и мрачным было и море. По морю ходила большая зыбь. Если б в такое волнение и встретили турок, то стрелять было бы трудно и бесполезно.

А ветер с каждой минутой свежел все больше и больше. Он упрямо, со страшной силой гнул мачты.

Ушаков велел убрать паруса и поставить штормовые.

«Слава Екатерины» и «Кинбурн» сделали то же.

Один Тизделъ и в ус не дул: на «Марии Магдалине» только закрепили бом-брамсели и брамсели.

На «Святом Павле» убрали стеньги, когда на эскадру налетел страшный ураган. Федор Федорович видел, как палубу «Марии Магдалины» покрыли переломанные ветром брам-стеньги.

Буря раскидала корабли.

Больше суток боролся «Святой Павел» со страшным ураганом и все-таки, хоть и не без повреждений, справился с ним. И корабль и команда показали себя с наилучшей стороны. Корабль был своей, херсонской постройки, а люди в большинстве — балтийские и беломорские моряки.

Испытание выдалось тяжелое. Досталось всем: и экипажу и кораблю, но Ушаков был доволен результатом: все-таки выдержали!

«Святой Павел» возвращался домой в одиночку. За эти несколько дней он не видел в море ни одного паруса. Ни своего, ни турецкого. И вот теперь, подходя к Севастополю, Ушаков не отнимал от глаз зрительной трубы. Его тревожило: где остальные корабли? Много ли вымпелов в бухте?

Он с волнением смотрел вперед. Вон наконец показался двухэтажный каменный госпиталь. Вот мысок на Корабельной бухте, который уже так и называют Павловским, потому что здесь стоянка корабля «Святой Павел».

Видны корабли. «Слава Екатерины» есть, а где же «Мария Магдалина»? Тизделя, значит, нет. А фрегатов сколько? Раз, два, три... только семь. Кого же нет? Кумани есть. А-а, нет «Крыма»... И тут

же подумал об адмирале: «Упрямо хотел идти к Варне. Вот тебе и Варна! Варна сделала угарно!»

Когда «Святой Павел» вошел в бухту и проходил мимо кораблей, их команды высыпали на верхнюю палубу, махали шляпами, кричали «ура».

Не успели стать на якорь, как денщик Федор откуда-то уже узнал, что «Крым» потонул, а «Марию Магдалину» унесло в Босфор к туркам.

Ушаков был вне себя от негодования.

— Ах, заморский дурак! Истинно слово... Тиздель! — в сердцах говорил он, шагая по шканцам.

Он немедля поехал с докладом к контр-адмиралу.

На «Славе Екатерины», как и на всех фрегатах, уже стучали топоры: плотники исправляли повреждения.

Войнович осунулся и стал весь черный, под глазами легли тени.

Он встретил Ушакова с распростертыми объятиями.

— Федор Федорович, дорогой, как я рад, что вы живы! — говорил он, тряся руку Ушакова.

— Здравия желаю, Марко Иванович, — сухо ответил Ушаков.

Он был зол на адмирала. Если бы не дурацкое суеверие Войновича, если бы вышли в понедельник, то эскадра была бы цела: успели бы дойти до Варны; оставалось не более сорока миль.

— А я уж и не чаял видеть вас!

— А мы и не думали погибать! — возмутился Ушаков. — Приходилось тяжело, это верно, но мы всё одолели!

— А думаете, нам было легко? — вспыхнул Войнович. — Открылась течь. Целый вечер и ночь качали всеми помпами, отливали ведрами, котлами, — кто чем мог. Едва управились с водой. Были на краю погибели!.. А какие у вас повреждения?

— Фок-рей[1] дал трещину, а остальное — пустяки: в нескольких местах повреждены борта, изрядно потрепало паруса и такелаж. Шквал так налетел, что не успели положить добавочные найтовы[2]. Но кое-что мы уже исправили в пути.

— Все это ничего. А вот слыхали — какая беда? «Крым» затонул, а с «Марией Магдалиной» хуже: ее унесло в Босфор. Прямо туркам в лапы. Какой срам! — рвал свои иссиня-черные волосы Войнович. — Бедный Вениамин Тиздель, ему так не повезло! У него команда на добрую половину из рекрутов. Не успел обучить!

— А на остальных судах разве меньше рекрутов? — возразил Ушаков. — Однако справились. Потому что ученье ученью рознь: на одних линьках да шпицрутенах, как бывало у Тизделя, далеко

---

[1] Фок-рей — поперечное дерево на передней мачте.

[2] Найтовить — связывать веревкой.

не уедешь! Тизделя как раз не жаль. Ему поделом — сам во всем виноват: не умеешь командовать, не берись! А вот моряков и корабль действительно жаль!

— Что я теперь скажу князю Потемкину? Как я напишу ему? — бегал по каюте Войнович.

— Напишите так, как было: русские люди еще раз показали, что могут преодолеть самые трудные препятствия! — спокойно ответил Ушаков.

IV

Мордвинов и Корсаков похожи на англичан более всякого чужестранца...

Если правду сказать, то у меня теперь в голове одни только географические карты и разные топографические планы. Все, касающееся до любопытства, не оставляю без внимания.

Из дневника миледи Кравен

Пока в Севастополе после неудачного выхода в море чинили повреждения на кораблях и фрегатах, турки атаковали Кинбурн.

Укрепления на Кинбурнской косе охраняли вход в лиман и защищали Херсон с моря.

Видя бездеятельность русской лиманской флотилии адмирала Мордвинова, турки 1 октября высадили на косе десант. Суворов, командовавший войсками в Кинбурне, позволил десанту высадиться, а потом ударил на турок, разбил их, а остатки сбросил в море.

Начальник лиманской флотилии контр-адмирал Николай Семенович Мордвинов не оказал никакой помощи Суворову. Только одна галера «Десна» бесстрашно кинулась навстречу всему турецкому флоту.

Турки приняли «Десну» за брандер и отошли к Очакову.

В Севастополе быстро узнали о блистательной кинбурнской победе Суворова и о подвиге галеры «Десна». Все моряки превозносили экипаж «Десны» и ругательски ругали адмирала Мордвинова. Ведь в распоряжении Мордвинова было больше полусотни различных судов, до фрегата включительно, и он побоялся двинуться с места, а «Десна» смело бросилась на врага.

Мордвиновым стали возмущаться еще больше, когда узнали, что он не только не наградил мужественный экипаж «Десны», как просил Суворов, а отдал его командира под суд за самовольные действия.

Но в конце концов правда все-таки восторжествовала. Суворов заступился за «Десну», и Потемкин не только не судил храброго командира галеры, но произвел его из мичманов в лейтенанты.

Вскоре наступила зима. Военные действия сухопутной армии прекратились.

Флот тоже расположился на зиму.

Для Ушакова зима тянулась очень долго, хотя он был занят подготовкой своего корабля и обучением матросов меткой и быстрой стрельбе.

Ушаков не мог дождаться весны. А для Войновича, который отсиживался в адмиралтействе, зима летела слишком, быстро.

Вот и весна. Зазеленели горы, зацвели деревья.

Турецкий флот снова у Очакова.

И вдруг весной Ушаков получил вызов Потемкина: немедленно явиться в Херсон.

Все офицеры на «Святом Павле» говорили:

— Куда-либо назначат нашего Федора Федоровича.

Жалели хорошего командира, но и радовались за него.

— Вот если бы светлейший назначил его командовать лиманской флотилией!

Федор Федорович и сам подумывал, что это может случиться.

Войнович был рад отъезду Ушакова.

На посыльном судне Ушаков дошел до Кинбурнской косы, а оттуда доставился в Херсон.

Два года он не был здесь. А сколько воспоминаний связано у Федора Федоровича с этим городом, где он встречался с Любушкой, и со степью, где еще видны остатки его бывших землянок.

В адмиралтействе стало тише, — на виду у грозного Очакова строили меньше. Но все же верфь жила.

Вот к ней тащатся подводы с корабельным лесом.

Лес, видимо, следует издалека: пока довезли, дубовые кряжи хорошо просохли на южном солнышке.

Вон под командой мичмана протопало отделение матросов.

— Мичман Петров, куда вы? — окликает идущий с верфи лейтенант.

— «Принцессу» конопатить! — зычно, на всю улицу, отвечает мичман.

Знакомая картина.

Ушаков сразу направился к большому адмиралтейскому дому, где была канцелярия светлейшего. Его ждала неожиданная неприятность: Потемкин уехал в Кременчуг, и никто не знал, когда он вернется.

Заботы о делах государственной важности мешались у Потемкина с забавами и пирами.

Ушаков оказался в затруднительном положении.

Скрепя сердце он направился к старшему члену Черноморского адмиралтейского правления, контр-адмиралу Николаю Мордвинову: может быть, князь передал Мордвинову то, что хотел сам сказать Ушакову?

Ушаков еще ни разу не встречался с Мордвиновым, но уже заранее не любил его. Федор Федорович чувствовал в нем завистливого, мелочного формалиста. Своими действиями Мордвинов напоминал ему Войновича.

О Николае Мордвинове Ушаков знал, что он сын известного адмирала Семена Ивановича Мордвинова, который написал книгу «Полное собрание о навигации» и перевел с французского «Книгу полного собрания об эволюции или экзерциции флотов». С этими книгами Ушаков познакомился еще в Морском корпусе.

Уже тогда все эти французские «Экзерциции флотов», переведенные Семеном Мордвиновым, и «Искусство военных флотов» иезуита Госта вызывали в молодом Ушакове сомнения.

Западноевропейская линейная тактика, перед которой все преклонялись, как перед незыблемым законом, представлялась ему не такой уж непогрешимой истиной. А чем больше Ушаков служил на флоте, наблюдал и думал, тем больше приходил к выводу, что линейная тактика отжила свой век.

Ведь вот же на глазах у всех генерал Суворов бьет турок вопреки всем правилам сухопутной линейной тактики, перед которой так благоговеют европейские полководцы. Генерал Суворов не придерживается ее правил, смело идет на врага и побеждает.

В морской линейной тактике Ушакова всегда возмущал закостеневший порядок боя. Линейная тактика устанавливала для всех боев одни и те же правила. Она указывала заранее, как надлежит строить линию баталии, как нападать на врага. Словно это был не морской бой, а какой-то чопорный танец, в котором танцор только и боится, как бы не перепутать па. И, уже не думая, делает всегда одно и то же: шаг — туда, шаг — сюда, шаг — вправо, шаг — влево.

Смешно и нелепо!

А отец и сын Мордвиновы верили в незыблемость линейной тактики, верили в Европу. Недаром Семен Иванович Мордвинов учился во Франции, а своего сына Николая отправил учиться морскому делу в Англию — очевидно, считая, что учиться в России у Петра I нечему!

И теперь Ушаков шел знакомиться с Николаем Мордвиновым хоть и с неудовольствием, но с невольным любопытством.

Когда Ушаков вошел в роскошный кабинет Мордвинова, адмирал говорил с каким-то купцом-иностранцем по-английски. Мордвинов небрежно кивнул Ушакову и, сказав: «Повремените немного!», продолжал что-то говорить иностранцу, улыбаясь.

Ушаков стоял, глядя на графа.

Перед ним был холеный человек лет тридцати пяти, в напудренном парике и ослепительно белом адмиральском мундире. В его лице, начинавшем уже полнеть, было что-то бабье. Мордвинов походил больше на английского пастора, чем на русского адмирала.

«Так вот ты какой! Всюду хвалишь только английское, даже женился на англичанке. И конечно, презираешь русских! Оттого и Суворову не помог! У Войновича глаза глупые и неприятные, а у этого — умные, но тоже неприятные», — думал Федор Федорович.

Ушаков ждал, невольно вспоминая, как два года назад в Крым приехала какая-то англичанка — миледи Кравен. С какой предупредительностью принимал ее тогда адмирал Мордвинов!

Миледи путешествовала по всем новоприобретенным русским землям на юге. По приказу Мордвинова ей всюду оказывалось такое внимание, словно она была не простой путешественницей, а по меньшей мере английской принцессой.

Миледи Кравен свободно разъезжала по всему Крыму, восхищалась его красотами и очень тщательно зарисовывала виды крымских берегов, городов и бухт.

Осторожному Ушакову любознательность миледи показалась подозрительной. Ведь всем было известно, что в турецком флоте служит много англичан. И только слепой не видел, что эта «путешественница» была, попросту говоря, шпионкой.

Федор Федорович поделился своими опасениями с Марко Ивановичем, но Войнович выслушал Ушакова и, глядя в сторону, сухо заметил: «Его превосходительство контр-адмирал Мордвинов знает, что делает!»

А когда эта «путешественница» уезжала из Крыма в Константинополь, Мордвинов дал ей специальный фрегат, который доставил миледи Кравен к турецким берегам, а Войнович салютовал ей.

Отдавал ли Мордвинов себе отчет в том, что он делает, или нет, но все то, что делал Мордвинов, Ушакову не нравилось.

— Ну-с, с чем изволили пожаловать, сударь? — обратился к Ушакову Мордвинов, когда иностранец наконец ушел.

Вопрос был неуместен: вызов Потемкина шел через Черноморское правление, и Мордвинов должен был бы знать о нем.

— Прибыл по вызову его светлости, но князь уехал, может быть, он передал вам, ваше превосходительство, относительно меня?

— Нет, не передавал, — ответил Мордвинов, разглядывая какие-то бумаги на столе.

— Что же делать? — невольно вырвалось у Федора Федоровича.

Пухлые губы адмирала скривила снисходительная улыбка:

— Не печальтесь: князь может утром вспомнить о вас, а к вечеру — забыть!

Ушаков вспыхнул.

— Вряд ли! — резко сказал он. — Видимо, придется ждать...

Глаза Мордвинова сразу стали злыми.

— Ждать нельзя. В Севастополе вы нужны больше, чем здесь! Извольте, господин капитан, немедленно отправляться к вверенному вам кораблю! — отрезал Мордвинов, недовольно двигаясь в кресле.

Сразу стало ясно: старший член Черноморского адмиралтейского правления не жалует капитана бригадирского ранга Федора Ушакова.

Делать было нечего, — приходилось возвращаться в Севастополь несолоно хлебавши.

«Ну и гусь! — думал о Мордвинове взбешенный Ушаков. — Это мой враг, но, кажется, враг поумнее и пострашнее Войновича!»

Когда Потемкин вернулся в Херсон и узнал, что Мордвинов не позволил Ушакову обождать его, князь сильно разгневался и сделал Мордвинову строгий выговор.

Потемкин давно раскусил Мордвинова. Он видел, что адмирал, несмотря на свое английское морское образование и большое самомнение, никудышный моряк, что он сухой и бездушный формалист.

Светлейший так и писал ему:

«Я вам откровенно скажу, что во всех деяниях Правления больше формы, нежели дела.

Есть два образца производить дела: один, где все возможное обращается в пользу и придумываются разные способы к поправлению недостатков, тут, по пословице, и шило бреет; другой, где метода наблюдается больше пользы; она везде бременит и усердию ставит препоны».

Конечно, об этом выговоре узнал и Ушаков.

И остался им весьма доволен.

V

Еще с начала весны Потемкин приказал Войновичу начать боевые действия против турок на море, чтобы помочь сухопутной армии, осаждавшей Очаков. Но Войнович под разными предлогами оттягивал выход эскадры в море. Он, очевидно, не мог забыть свой неудачный прошлогодний поход и был доволен тем, что турки хоть не тревожат его в Севастополе.

Ушакова возмущала эта откровенная трусость Войновича, это постыдное бездействие Севастопольского флота.

Он знал турок и их флот, — недаром десять лет назад плавал в Средиземном море, бывал у них в самом Константинополе. Он знал, что турки храбры в бою: их корабли легче потопить или сжечь, чем заставить сдаться. Знал, что Севастопольский флот малочисленнее и слабее турецкого: русские корабли приходилось строить наспех из сырого, невыстоявшегося леса, они не обшиты медью и тяжелы на ходу.

Но Ушакова не страшило все это: он надеялся на мужество и выучку своих матросов и офицеров.

— Как это можно? Наши сухопутные войска бьют врага, а мы сидим здесь, словно мыши в норе! — возмущался Ушаков. — Мы ведь ни разу не дрались с турками на море! Мы не помогаем нашей

армии. Зачем же тогда Черноморский флот? Пора сбить с турок спесь! Довольно им быть хозяевами в этом Кара-денгизе!

— Федор Федорович, но посудите сами, — оправдывался Войнович, — ведь капудан получил еще подкрепление из Константинополя. У него уже двадцать линейных кораблей, а у меня осталось только два! У нас крупнее шестидесятишестипушечных нет, а у него пять восьмидесятипушечных. Да у капудана на одних восьмидесятипушечных почти столько же пушек, как у меня на всей эскадре! — захлебывался Войнович.

— Но ведь вот Алексей Орлов имел при Хиосе девять линейных кораблей против шестнадцати Гассан-бея и все-таки победил!

— Так у Орлова только вдвое меньше было судов, а не вдесятеро! Я не хочу рисковать флотом! У меня одна голова на плечах!

«Да и та не бог весть какая!» — подумал Ушаков и сказал:

— Если не рискуете вы, тогда позвольте мне, ваше превосходительство!

— То есть как это? — не понимая, выпучил глаза Войнович.

— Как начальник авангарда, я приму бой на себя. Я поведу, а вы только помогайте!

— Хо-ро-шо, — ответил удивленный контр-адмирал.

— Но с одним условием.

— С каким?

— Вы дадите приказ эскадре, чтобы она во время боя следовала бы всем моим движениям, движениям передовых кораблей.

— Хо-ро-шо, — нехотя согласился Войнович.

— Значит, мы выйдем... послезавтра!

— Послезавтра!

Ушаков заторопился к себе. Оставалось двое суток, — можно еще подготовиться.

Вся надежда у него на своих моряков: на быструю, четкую постановку парусов и меткую стрельбу артиллеристов. Федор Федорович всегда уделял этому много внимания. И кроме того, он верил в то, что его новый метод ведения боя оправдает себя.

VI

18 июня 1788 года Севастопольский флот наконец вышел в море. Эскадра состояла из двух 66-пушечных кораблей, десяти фрегатов и двадцати четырех мелких судов. Войнович держал флаг на корабле «Преображение Господне», Ушаков — на своем «Святом Павле».

— Как-то в этот раз будет плавание? — с тревогой гадали оставшиеся на берегу: слишком хорошо памятен был предыдущий несчастливый выход Войновича.

Федор Федорович горел: скорее бы сразиться с врагом! Доказать на деле правоту своей мысли, что слепо придерживаться линейной тактики ни к чему, что она только связывает флотоводца по рукам!

Перед выходом из Севастополя Ушаков побывал на всех трех фрегатах авангарда — «Берославе», «Стреле» и «Кинбурне», говорил с матросами и офицерами.

Он разъяснил, какое важное значение будет иметь для России победа над турками и какая ответственная задача ложится на корабли авангарда в бою.

Экипаж фрегатов авангарда поклялся драться до последнего.

Капитаны фрегатов Саблин, Нелединский и Кумани уважали своего флагмана и верили в него больше, чем в Войновича.

— Будьте спокойны, Федор Федорович, мы не подведем! — сказал за всех капитан 2-го ранга Кумани.

Севастопольский флот шел медленно, — мешали противные ветры.

Лишь 29 июня русские увидели у румелийских берегов паруса турок.

Но, как назло, четыре дня подряд крутил, не уставая, переменный ветер. Он расстраивал линию баталии кораблей и не менее расстраивал Ушакова: враг был вот тут, а приходилось выжидать.

Ушаков шел, не упуская из виду турок, готовый в первый же благоприятный момент кинуться на врага.

Две ночи Федор Федорович совсем не ложился спать, — все надеялся, что вот-вот установится ветер. Только сегодня после обеда на час забылся короткой, беспокойной дремотой у себя в каюте.

Ожидание первого боя истомило всех.

И в ночь со 2-го на 3 июля Федор Федорович собирался бодрствовать. Он с красными от бессонницы глазами (за веки будто насыпали песку) ходил по шканцам, кусая от досады ногти.

Вахта смотрела на своего флагмана, перешептывалась.

— Не спится нашему Федору Федоровичу.

— Беспокоится.

— Ох и зол же он на работу, братцы!

— Да, гулять не любит!

Вдали, на горизонте, виднелись огни турецкой эскадры, — ночью турки всегда сильно освещали свои корабли.

Сегодня днем Эски-Гассан остановил флот и обошел на быстроходном кирлангиче[1] все корабли: видимо не надеясь на сигналы, лично отдавал последние указания на случай боя.

«Это хорошо: стало быть, будем драться не на шутку!» — подумал Федор Федорович.

---

[1] Кирлангич — небольшое легкое судно.

Войнович тоже воспользовался невольной передышкой, прислал Ушакову записку:

«Любезный товарищ. Мне бы нужно было поговорить с вами. Пожалствуй, приезжай, если будет досуг, двадцать линейных кораблей начел. Прости, бачушка.

Ваш слуга Войнович».

«Досуг! — с раздражением подумал Ушаков. — Враг сидит чуть ли не на боканцах[1], а он — досуг! «Двадцать линейных кораблей». Дурак! Считать и то не умеет! Не двадцать, а двадцать пять! Семнадцать линейных да восемь фрегатов. А говорить хочет известно о чем: как бы поскорее улепетнуть в Севастополь. Нет, брат, поручил Ушакову вести бой, сдался на младшего флагмана, — теперь не мешайся!»

И конечно же, никуда со «Святого Павла» не поехал: сказался нездоровым.

Больше всего Федора Федоровича беспокоил ветер. Ветер — главный помощник, друг моряка, но он же и главный враг.

На шканцы вышел денщик Федор. Он стал немного привыкать к морской жизни — его уже меньше укачивало.

— Батюшка, Федор Федорович, пойдите отдохните часок-другой, — ходил он за Ушаковым. — Нельзя же так, которую ночь не спавши!

— Спи сам, коли тебе нечего делать!

— Полноте мучиться, ваше высокоблагородие! Никуда ведь басурман он нас не уйдет, право слово, не уйдет! — не отставал Федор.

Его поддержал Шапилов:

— Федор Федорович, пойдите, в самом деле, сосните. Как чуть установится ветер, мы вас разбудим! И турок не упустим с глаз, будьте спокойны!

Ушаков остановился в раздумье: «Впереди вся ночь. Пожалуй, они правы: можно немного и поспать. А то голова как чугунная...»

И он согласился уйти.

Напрасно Федор совал ему ужин. Ушаков не стал ничего есть, а скинул сапоги и сюртук, повалился на койку и через минуту уже захрапел.

Денщик стоял, глядя на утомленное лицо Ушакова.

— Ишь как из-за этих проклятых басурман измотался, сердешный! — сказал он и, задув свечу, пошел на цыпочках к себе.

Ушаков выспался на славу. Он проснулся, когда било восемь склянок. По трапам топали десятки ног, — сменялась очередная вахта.

---

[1] Боканцы — брусья, на которых висят гребные суда.

Федор Федорович встал, оделся и, взяв со стола зрительную трубу, поспешно вышел на шкафут.

Наверху все было залито ярким утренним солнцем.

— Ну как? — спросил он у вахтенного лейтенанта.

— Норд-ост, Федор Федорович! — весело ответил лейтенант.

— Давно?

— Вторую склянку держит. Авось установится!

Ушаков поднял к глазам трубу.

Турки были невдалеке. За все дни оба флота еще ни разу не сходились так близко, как сегодня.

Ушаков с интересом рассматривал врага. Действительно, он был очень силен. Федор Федорович ясно видел эти совершенно новые, большие 80-пушечные корабли, такие мощные и вместе с тем такие легкие на ходу.

В авангарде у турок шло шесть кораблей. Сам капудан оказался с ними: на его 80-пушечном флагманском корабле с флагштока до самой воды спускался алый шелковый флаг с полумесяцем.

Турки были на-ветре.

Ушаков волновался — приближалась роковая минута. Решалась судьба Черноморского флота, судьба Крыма.

«Ждать больше нечего. Надо драться! Капудан, поди, спокоен: так силен и на-ветре. А вот я его огорошу неожиданным маневром!» — подумал он и крикнул:

— Прибавить парусов!

Ушаков решил выиграть ветер у передовых турецких кораблей. Обойти их и поставить между русским авангардом и кордебаталией[1]. Меж двух огней.

«Пусть этот маневр будет противоречить шаблонным правилам линейной тактики. Иногда нужно делать несходное с ней», — думал Ушаков.

Он стоял, крепко сжав в руке зрительную трубу, ждал.

— На «Святом Павле» лихо управились с парусами, — боцман Макарыч и урядник второй вахты Ефим Зуб постарались. Федор Федорович нетерпеливо перевел взгляд на свои фрегаты.

«Берислав» и «Стрела», шедшие впереди, тоже не зевали: быстро поставили добавочные паруса.

Глянул в трубу на турок.

А турки пока еще не чуяли никакой опасности. Враги подходили к небольшому пустынному острову Фидониси, расположенному против устья Дуная.

Теперь со стороны могло казаться, что русский авангард идет в голове турецкого флота.

---

[1] Кордебаталия — середина флота, построенного в линию.

«Если Войнович не спит и видит все, вот трясется от страха! — мелькнуло в голове. — Но погоди, дружок, то ли еще будет!»

— Боевую тревогу! — решительно сказал Ушаков и, сняв треуголку, перекрестился.

«Святой Павел» весь, от верхней палубы до орлопдека[1], ожил.

Загрохотали барабаны, залились свистки, боцманские дудки. По трапам и палубам застучали сотни ног.

Федор Федорович не спускал глаз с турецкого флагмана: «Что-то предпримет Эски-Гассан?»

Турки начали спускаться на линию русских. Капудан-паша хотел воспользоваться тем, что авангард русских вырвался вперед, и отрезать его.

Момент был решающий. Все с тревогой смотрели на Ушакова.

«Хочешь напугать? Не выйдет!» — с усмешкой подумал он.

— «Бериславу» и «Стреле» прибавить парусов! — твердо приказал Ушаков.

Сигнальщики быстро передали приказ.

На «Святом Павле» не спускали глаз со своих передовых фрегатов.

«Берислав» и «Стрела» успели выскочить на-ветер у турок.

Расстояние между двумя флотами еще больше сократилось.

— Ребята, теперь дело за вами! — крикнул в рупор артиллеристам Ушаков.

Федор Федорович не услыхал, что ответили артиллеристы, лишь на секунду увидал как-то вдруг помолодевшее лицо Власьича: оно было полно решимости.

На «Бериславе» блеснул огонь. Фрегат окутался дымом.

Над тихим, лазурным морем прокатился первый пушечный гром.

«Берислава» тотчас же поддержали остальные суда.

Все потонуло в грохоте сотен пушек: артиллерия заговорила уже с обеих сторон.

Турки спускались на русских по всем правилам линейной тактики: авангард на авангард, кордебаталия на кордебаталию, арьергард на арьергард.

Эски-Гассан, видимо, волновался тоже: поднимал сигнал за сигналом — его линия сильно растянулась.

Ушаков смотрел на артиллеристов верхнего дека, которыми командовал капитан-лейтенант Лавров. Они работали без излишней торопливости, быстро и четко, как на ученье.

Федор Федорович спустился в нижний дек. Там стояла непроницаемая темень. Только пламя выстрелов прорезывало толщу сгустившегося порохового дыма.

---

[1] Орлопдек — кубрик.

И здесь артиллеристы действовали уверенно и не спеша.

— Братцы! На вас вся надежда! Не палите зря. Чтобы каждое ядро либо топило, либо жгло! — крикнул в рупор Ушаков и поспешно вернулся наверх: приходилось зорко следить за всеми маневрами хитрого капудана.

Теперь Войнович мог посчитать совершенно точно: на каждый русский линейный корабль и 50-пушечный фрегат приходилось по пяти турецких линейных кораблей.

Против «Святого Павла» шел один 80-пушечный и два 60-пушечных.

Сам капудан-паша, прибавив парусов, выдвинулся с двумя кораблями вперед.

— Капудан хочет взять «Берислава» и «Стрелу» на абордаж, — понял Ушаков. — Поднять все возможные!

Не успел он сказать, как неприятельское ядро отбило поручень у марса и щепками ранило двух матросов. Это было первое попадание в его корабль.

Турецкие пушки палили по «Святому Павлу». С треском рвались пробитые паруса и ванты, затрещала фор-стеньга, но уже ничто не могло остановить его: «Святой Павел» вырвался вперед. Теперь он с «Бериславом», «Стрелой» и «Кинбурном» еще больше отдалился от своих.

И этот второй отчаянно смелый маневр Ушакова сделал свое дело. Два передовых турецких корабля, по которым, не умолкая, били русские, смешались. Капудана рядом с ними не оказалось, и они оробели. Ядра с «Берислава» и «Стрелы» поражали их. На турецких фрегатах валился рангоут. От русских брандскугелей несколько раз загорались паруса. Верхние палубы турок, до этого густо усеянные людьми, разом опустели.

Не обращая внимания на отчаянные сигналы капудана, оба фрегата поворотили и стали убегать.

— Теперь на кирлангиче не подойдешь! Не научишь, как поступать! — усмехался Ушаков.

На русских судах прокатилось радостное «ура».

Ожесточенный бегством своих кораблей, капудан-паша палил по отступающим, приказывая фрегатам снова вступить на место, но те и не думали его слушаться.

Силы врага сразу уменьшились. Теперь сам флагманский корабль Эски-Гассана очутился передовым. Он открыл бешеный огонь по русским фрегатам авангарда.

Первыми же ядрами на «Бериславе» переломило фок-мачту. Тяжелые, $2\,^1/_2$-пудовые мраморные ядра с турецкого флагманского корабля развороти ли борт «Стрелы». Валился верхний рангоут, простреленные паруса висели клочьями.

Но «крокодил морских битв» не остался безнаказанным: «Святой Павел» и ближайшие русские фрегаты обрушили на Эски-Гассана весь свой огонь. Брандскугели «Кинбурна» зажгли в рострах капудана разный хлам. Повалил густой дым.

— Молодец, Николай Петрович! — похвалил старика Кумани Ушаков.

На выручку капудана бросилось было несколько других кораблей, однако их быстро отбили.

Эски-Гассан отчаянно отстреливался, но не смог больше одной склянки выдержать меткого огня русских пушек и стал позорно убегать.

— Смотрите-ка, смотрите, «крокодил»-то наш хваленый удирает! — смеялся Ушаков, спокойно стоявший на шканцах под турецкими ядрами. — В авангарде, брат, быть несладко.

Поворачиваясь, капудан-паша подставил богато разукрашенную корму «Бериславу» и «Стреле». Фрегаты метко ударили по ней орудиями своего лага[1]. С высокой кормы посыпались в воду обломки больших ярко окрашенных досок, полетел вниз алый адмиральский флаг.

— Так его, молодцы! — похвалил Ушаков. — Ну, «крокодила» уже и след простыл! Пора взяться за его детушек! Поднять сигнал: «Всем следовать в точности движениям флагмана!»

В густом пороховом дыму русские корабли неожиданно для турок сблизились с ними.

— Бить книпелями![2] — скомандовал Ушаков.

Вот когда могла по-настоящему вступить в дело малокалиберная артиллерия русских фрегатов.

Книпеля с треском ломали мачты и реи, перебивали ванты. Снасти свисали с турецких кораблей гроздьями.

Лишенные своего знаменитого флотоводца, турки окончательно смешались. Они стреляли беспорядочно и торопливо. Море вокруг русского флота кипело от ядер и брандскугелей, падавших в воду.

Турки были подавлены. Они думали лишь об одном: поскорее выйти из боя. Их суда стали поспешно сверху донизу одеваться парусами. И, не дожидаясь друг друга, они врассыпную уже летели на запад.

Преследовать турок стало невозможно: турецкие корабли вообще были легче на ходу, чем русские. Им помогали также легкие бумажные паруса, которые надувались скорее тяжелых пеньковых.

И к закату солнца турки скрылись за горизонтом.

---

[1] Лаг — борт корабля.

[2] Книпель — снаряд для перебивания мачт, рей и снастей.

VII

Ушаков чувствовал себя счастливым: первый морской бой русской эскадры на Черном море был блестяще выигран. Нервное напряжение, в котором он находился все эти дни, улеглось, прошло. Федору Федоровичу хотелось теперь только спать.

Но нет, раньше надо под свежим впечатлением написать рапорт Войновичу о бое. Прежде всего надо подумать о героических матросах и офицерах, которые сегодня выиграли беспримерный морской бой с сильным врагом.

Ушаков пошел к себе в каюту, снял мундир, умылся и сел писать.

«Это была первая на здешнем море генеральная нашего флота баталия, — с удовлетворением написал он. — Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей: они стреляли в неприятельский корабль нечасто и с такою сноровкою, что казалось, каждый учится стрелять по цели».

Он подробно изложил все фазы боя и закончил:

«Прошу наградить команду, ибо всякая их ко мне доверенность совершает мои успехи; равно и в прошедшую кампанию одна только их ко мне доверенность спасла мой корабль от потопа, когда штормом носило его по морю».

— Федор Федорович, прибыли от адмирала, — прервал его вошедший в каюту денщик.

— Опять письмо? — недовольно поморщился Ушаков. — Переписка, как у жениха с невестой! И чего он? Снова какие-либо страхи мерещатся? Кто там с письмом? Давай! — встал он.

В каюту вошел посланный Войновичем мичман с «Преображения». Он протянул Ушакову конверт.

— Обожди, братец, я тебя кликну, — сказал Федор Федорович, принимая конверт.

Мичман вышел.

Ушаков разорвал конверт и снова увидал знакомые адмиральские каракули:

«Поздравляю тебя, бачушка Федор Федорович. Сего числа поступил весьма храбро: дал ты капитан-паше порядочный ужин. Мне все видно было».

— Интересно, куда он запрятался на время боя? В льяле[1], должно быть, хоронился? «Мне все видно было». И это говорит адмирал, командир эскадры! — презрительно качал головой Ушаков, читая.

«Сей вечер, как темно сделается, пойдем на курш 050 к нашим берегам. Сие весьма нужно. Вам скажу после...»

---

[1] Льяло — место в трюме, куда стекает скапливающаяся вода.

— Чего там — после? Этакий секрет. Я и сейчас знаю: струсил, Марко Иванович. Рвешься поскорее на берег — там безопаснее!

«...А наш флотик заслужил чести и устоял противу этакой силы».

— «Флотик»... — Ушакова даже передернуло. — Вот дурак, прости господи!

«Мы пойдем в Кезлову:[1] надобно мне доложить князю кое-что!»

— Понятно: похвастаться, что контр-адмирал Войнович выиграл сражение у острова Фидониси! Теперь ты будешь говорить так. Пули лить ты мастер. Да только вряд ли поверит тебе князь Потемкин. Мордвинов — тот нарочно сделает вид, что поверил!

«Прости, друг сердечный. Будь, душенько, осторожен...»

— Тьфу! — плюнул Ушаков. — Ей-ей, как невеста жениху! Ох и льстец! «Друг сердечный — таракан запечный!» Знаем мы таких «друзей»!

«Сей ночи, чтоб нам не разлучаться, я сделаю сигнал о соединении, тогда и спустимся».

— Держится за меня, как малое дитя за нянькину юбку. И это — контр-адмирал. Ничтожество! «Мне все видно было!» — передразнил Ушаков. — Еще бы не видеть, как с этого знаменитого «крокодила» перья летели. «Флотик»! Эх ты, зейман!

Ушаков со злостью швырнул записку Войновича на стол.

VIII

Пока шли к Севастополю, Войнович продолжал трусить и слал записки Ушакову, прося помощи:

«Друг мой, Федор Федорович! Предвижу дурные нам обстоятельства. Сего дня ветр туркам благодетельствует, а у нас нет его, фрегаты упали под ветр. Если да приблизится он, то должно нам строить поскорее линию и приготовиться к бою. Если бы фрегаты не были так увалены под ветр, мы достигли бы гавань, но что делать, судьба наша такая, надобно делать все, что к лучшему. Дай мне свое мнение и обкуражь, как думаешь, дойдем ли до гавани... Пошли к фрегатам, чтоб поднимались к ветру, да сам не уходи далеко, о чем да сам ты знаешь».

Но чуть только эскадра втянулась на севастопольский рейд, как сразу все резко изменилось. На берегу адмирал мог обойтись и без «друга сердечного» «бачушки» Федора Федоровича. Очутившись в безопасности, Войнович уже оставил лесть и притворство и показал свое настоящее лицо мелкого завистника и интригана.

Он не мог примириться с тем, что Ушаков оказался победителем, а он должен остаться в тени. Ему было стыдно признаться,

---

[1] Кезлов (Гезлев) — Евпатория.

что такую блестящую баталию выиграл начальник его авангарда, а он, командир всей эскадры, оказался простым наблюдателем.

И Войнович постарался представить дело в совершенно ином свете.

Прежде всего он притворился контуженым, чтобы все видели, что адмирал не щадил себя в бою.

На берег его снесли на руках, а там усадили на носилки. И он сидел, вытянув одну ногу (которая считалась контуженой), точно Карл XII под Полтавой, и при этом не забывал гордо держать голову, как подобает победителю.

Ушаков, увидя такую картину, в первую секунду поддался на эту удочку и с живым участием спросил:

— Что с вами, Марко Иванович?

Он был удивлен: Войнович так часто писал ему все эти дни и ни разу не обмолвился о том, что контужен. Но адмирал обдал его уничтожающим взглядом своих бараньих глаз и, как оскорбленная невинность, сказал:

— Удивляюсь вам, капитан Ушаков: ведь мы не с прогулки возвращаемся!

Всем встречающим на Екатерининской пристани должно было быть ясно: на берег сходит боевой адмирал, контуженный в бою, а вот идет целый и невредимый начальник его авангарда.

Ушаков понял, что скрытая вражда окончена и поединок вступил в новую фазу.

Федор Федорович не боялся за себя. Он беспокоился за команду своего корабля и фрегатов, боялся, что его мужественные матросы и офицеры могут остаться без должного вознаграждения.

И опасения Ушакова оказались верными.

Войнович в своем донесении Потемкину совершенно извратил настоящую картину боя, представив дело так, будто не авангард и не Ушаков решили исход баталии.

Чтобы восстановить истину, Ушаков написал обо всем Потемкину.

Он рассказал князю о своих взаимоотношениях с Войновичем.

«Все начальствующие во флоте, с кем я служил, и по них прочие обстоятельно знают меня с хорошей стороны, и ото всех по заслуге моей был счастлив и имею хорошие аттестаты. В одном изо всех, его превосходительстве Марке Ивановиче, не могу сыскать желаемого успеха, который с начала нашего знакомства, когда были еще полковниками и оба под командою других, восчувствовал некоторую отменную ко мне ненависть. Все дела, за которые я иногда был похвален, не знаю причины, отчего отменно его беспокоят, чего во всем виде и в деле укрыть не может», — писал Ушаков.

Федор Федорович говорил, что рапорт о бое при острове Фидониси Войнович «составил по собственным своим мыслям, не

соображаясь с рапортами начальников эскадр»; что он показал меньшее количество неприятельских кораблей и совершенно не упомянул о доблестных действиях передовых фрегатов.

«Реляцией своею хотел отнять у нас честь и славу, которую отменным случаем заслужили... Вот, Ваша светлость, вся важная причина и величайшая моя вина, ежели она так почтена быть может», — жаловался он. Он просил Потемкина уволить его от службы, с горечью добавляя, что «пенсию кампаниями уже вдвое заслужил».

Ушаков был сильно удручен тем, что Войнович хочет оставить без награды его боевых товарищей.

«Наипокорнейше прошу Вашей светлости удостоить команду мою служителей наградить... Они во всем словам моим бессомненно верят и надеются, а всякая их ко мне доверенность совершает мои успехи, равно и прошедшую кампанию одна только вернейшая их ко мне доверенность спасла мой корабль от потопа...»

На Войновича же снова напали страхи. Потемкин неоднократно приказывал Войновичу выйти в море, но тот под разными предлогами оттягивал поход. То указывал на повреждения судов после боя, хотя они не были столь значительными; то ссылался на большое количество больных, хотя их было не больше, чем всегда; то говорил, что не уверен в жителях Крыма и боится выйти в море, чтобы не оказаться отрезанным от своего главного порта; то, в конце концов, оправдывался плохой погодой.

Войнович кое-как дотянул до осени, а потом поспешил уехать в Петербург устраивать свои личные дела. Он знал, что при дворе найдет больше сочувствия, чем у Потемкина. На дворцовом паркете Войнович чувствовал себя тверже, чем на море.

Он правильно учел обстоятельства: в столице Войнович преуспевал.

Екатерина II помнила Марко Ивановича Войновича. Она пожаловала ему за победу под Фидониси Георгия 3-й степени, в то время как Ушаков получил всего лишь Владимира 3-й степени.

Кроме того, Войнович, к удивлению всех, вернулся из Петербурга графом.

Следом за ним в Севастополь долетели слухи о том, как и почему Войнович возведен в графское достоинство.

Князь Безбородко, поднося 22 октября 1788 года императрице на подпись грамоту о пожаловании Войновичу Георгия 3-й степени, назвал в ней контр-адмирала — по ошибке или по сговору с ним — графом.

Войнович тут же просил Екатерину утвердить его в графстве. Безбородко стал перед императрицей на колени и винился в описке.

Екатерина сказала:

— Мы виноваты оба: где руки, тут и голова.

И Войнович остался графом.

Но иначе оценил участников боя при Фидониси умный, заботившийся о процветании молодого Черноморского флота князь Потемкин. Он по-своему распределил роли в Черноморском флоте.

Прежде всего Потемкин уволил бездеятельного, влюбленного в себя фразера, расточительного адмирала Николая Мордвинова.

Мордвинов как адмирал был бездарен и труслив. Его морские проекты не шли дальше детских затей, например поджечь брандерами весь турецкий флот сразу, что Мордвинов совершенно серьезно собирался сделать в октябре 1787 года.

«Если б один из них загорелся, то пламя пошло бы по всей линии и верно все бы на месте сгорели, и если б некоторые и спаслись от огня, то б ветром бросило бы их на берег», — доносил он Потемкину в свое оправдание после неудачной попытки осуществить эту наивную затею.

А от решительных, настоящих боевых действий флота Мордвинов отказывался с не меньшей изворотливостью, нежели Войнович:

«Хотя бы я от бурь и не потерпел, могу еще встретить неприятеля с большими его силами, и могу ли я надеяться, что безо всякой потери отойду от него; потеряв я одно судно, нанесу важный урон после несчастного ослабления сил наших в Севастополе и потеряю лучших офицеров, лучших матрос Севастопольского флота, которыми укомплектовал я ныне мою эскадру. Сообразив все оное, нахожу я, что полезнее перезимовать в здешних местах...»

Умный Потемкин понимал, в чем тут дело.

Не лучше вел себя Мордвинов и на посту старшего члена Черноморского адмиралтейского правления. Он и здесь постоянно ссылался на трудности и помехи, и Потемкин не раз одергивал его:

«Теперь не время говорить о трудностях и препятствиях, а долг каждого требует употребить в пользу службы все возможное».

Получив миллион рублей для нужд адмиралтейства, Мордвинов нерасчетливо сорил деньгами, обнаружил полную бесхозяйственность, так что, по словам Потемкина, «не было ни в чем экономии и по неизвестности запасов часто требовано лишнее, наконец, корабль становился построением дороже нарочитой крепости».

Незадолго до увольнения Мордвинова Потемкин в раздражении писал ему:

«В Адмиралтействе трудно вступает все в свое звание, лишь только исходят деньги».

В конце концов его терпение лопнуло, и 12 декабря 1788 года Потемкин уволил контр-адмирала и кавалера Мордвинова.

Вместо него светлейший назначил старшим членом Черноморского адмиралтейского правления новоиспеченного «графа» Войновича.

И в первом ордере Войновичу он пространно и очень метко охарактеризовал деятельность его предшественника, Мордвинова:

«Препоручаю вам рассчитать замешанные дела по всем частям, где странные вышли суммы и недостатки умножены. Крайняя неизвестность во всех наличностях. Одним словом, хаос неописанный. Нет артикула, который бы был снабжен достаточно. Все хватано без расчету, на многое деньги истеряны в запас на предбудущее время, а самое нужное забыто... Сими и другими замешательствами спутаны дела так, что я не могу ничему добиться толку. Немало способствовало к тому и введение порядка в правлении больше приказного, нежели военного и сходственного с теперешними обстоятельствами. Тут для сохранения вредной формы останавливалась часто скорость, столь нужная в военное время, и, по необозримости вдруг обстоятельства, часто повторялись курьезы к большей потрате суммы бесполезно».

Потемкин одним ударом убил двух зайцев: удалил бездарного Мордвинова, а второго, столь же даровитого «графа» Войновича, убрал подальше от Севастопольского флота, в Херсон.

А 14 апреля 1789 года бригадир Федор Ушаков был произведен в контр-адмиралы и назначен начальником Севастопольского корабельного флота.

Черноморский флот наконец-то получил настоящего боевого адмирала.

IX

Ушаков жалел: эх, если бы Войновича, этого «графа», убрали немного пораньше — среди зимы! Можно было бы успеть подготовиться. А то до выхода в море оставались считанные дни.

И тем не менее он тотчас же взялся перестраивать все по-своему. Ушаков полагал, что самое главное на флоте — это человек, матрос. От трюма до салинга[1] — везде он. Матрос делает все: ставит паруса и заряжает пушки. И потому надо прежде всего помнить о его нуждах. А при Войновиче помнили только об одном: о линьках да шпицрутенах, — матрос был за все в ответе.

Войнович всегда жаловался, что у него в эскадре много больных.

Надо проверить, посмотреть, в чем дело.

Если Федор Федорович справился с чумой, неужели он не управится с простудой или поносом?

И контр-адмирал поехал осматривать свой флот.

Он начал с самых малых крейсерских судов, с «Принцессы Елены». Ею командовал увертливый капитан-лейтенант Анисифор Александрович Ходин. Он был похож на колдунчик:[2] сегодня Хо-

---

[1] Салинг — площадка из брусьев на втором колене мачты.

[2] Колдунчик — флюгарка из мелких перышек, втыкается на палке у борта на шканцах, чтобы показывать направление ветра.

дин нашептывает Ушакову на Войновича, а завтра станет с ехидной, косой улыбочкой плести всем небылицы об Ушакове.

Анисифор Ходин встретил нового командующего подобострастно и с первых же слов начал поносить Марко Ивановича, но Ушаков резко оборвал:

— Извольте перестать! Полно петь соловья на сосне!

И пошел осматривать «Принцессу Елену».

Крейсер был новый, но уже оказался запущенным и грязным.

В кубрике Ушаков застал шестерых больных матросов. Хотя наверху стояла апрельская благодать, здесь воздух был тяжелый и спертый, пахло кислятиной и заношенным бельем.

Контр-адмирал и без опроса догадывался, чем больны матросы, но все-таки решил проверить себя:

— Что, братцы, животами маетесь?

— Так точно, ваше превосходительство, животами.

— Обнедужили вовсе...

— А вон канонира лихоманка трясет, — говорили больные.

— Так-так, — посматривал Федор Федорович, недовольно хмуря русые брови. — А чем же вас кормили нынче?

— Варили щи с солониной.

— Солонинка-то, поди, позапрошлогодняя? — спросил контр-адмирал.

— Вроде того...

— А нам, ваше превосходительство, какая бы ни была, все равно без пользы: есть-то нельзя!

— Выходит, вы ничего не ели?

— Хлебушка жевали.

— Кипяток пили.

— А ты что ел? — обернулся Федор Федорович к исхудавшему — кожа да кости — канониру.

— Мне, ваше превосходительство, ничего не хочется. Только пить. Одну воду пью.

— С чем? С уксусом?

— Уксуса нет, весь вышел, — заторопился ответить Ходин. — Только вчера вышел... Виноват!

— Мне из твоей вины — не шубу шить! — побагровел контр-адмирал. — Разве им такая пища нужна? Почему в госпиталь не отсылаешь?

— Они поправляются, ваше превосходительство. Как же слать — экипаж-то у меня всего пятьдесят три человека...

— А больных шесть? Поправляются, говоришь? Из кулька в рогожку! — кричал контр-адмирал. — Отослать всех немедля!

Когда начальство ушло из кубрика, больные матросы, забыв о своей хвори, смеялись от души:

— Эк он его, молодец!

— Вот это адмирал!

С «Принцессы Елены» и началось.

Как и предполагал Ушаков, на большинстве судов о матросе заботились мало. Больные не отделялись от здоровых. Помещение редко проветривалось. Контр-адмирал осмотрел все, не поленился заглянуть в самые темные углы. Пробовал пищу, пробовал воду, говорил с матросами.

Матросы удивлялись его вопросам: адмирал вникал в их повседневную жизнь! «Граф» никогда не интересовался ими и не считал нужным вступать в разговор не только с больными, как Ушаков, а даже со здоровыми.

Матросы слыхали об Ушакове от друзей со «Святого Павла», кое-кто помнил его по Херсону, и всем сразу стало ясно: этот адмирал — за них, за матроса!

Интересуясь бытом и жизнью экипажа, Федор Федорович одновременно осматривал и сами корабли: прочен ли такелаж, надежны ли якоря и пушки, не разваливаются ли камбузные печи?

— Вот это — настоящий хозяин! — говорили матросы.

Вечером на следующий день контр-адмирал вызвал всех командиров судов к себе. А наутро Севастополь только и говорил о том, кого и как из господ командиров «надраивал» вчера контр-адмирал.

Передавали, ручаясь головой за точность, что и кому сказал Ушаков.

У «Нестора» сушится белье на самом бушприте. Это не фрегат, а прачечная!

На «Иерониме» разводят блох: в трюм намели целые горы мусора!

На «Александре» загнили бочки для пресной воды — пахнут тухлыми яйцами. Немудрено, что много больных.

У «Амвросия» на нижней палубе в углах сырость и зловоние! Люди ленятся подняться наверх.

Сразу же началась работа. Все корабли и фрегаты чистились, мылись, проветривались, как перед большим праздником.

А к адмиральскому дому потянулись поставщики и подрядчики — русские, греки, армяне, евреи. Тут было ясно: разговор пойдет о доброкачественных продуктах для флота. Войнович уделял этому мало внимания, и поставщики сбывали что попало.

Ушаков объявил подрядчикам:

— Сухари поставлять не в кулях, а в бочках. Солонину — только в небольших, пятипудовых, бочонках, чтоб не портилась и не заражала воздух. В рогожных кулях не приму ничего! — стукнул ладонью по столу адмирал.

Подрядчики чесались, жаловались на трудности доставки, на дальнюю дорогу, но согласились.

Уходили, сокрушаясь:

— Это не граф Войнович! Тому, бывало, привезешь тысячу-другую апельсинов и лимонов да мешок изюму или бочонок маслин — и поставляй, как и что хочешь. А этот... — крутили они головами.

Била уже четвертая склянка, когда Ушаков разделался с поставщиками, и только хотел идти обедать, как вошел его секретарь, подпоручик Федор Чалов.

(Севастопольцы уже трунили, что у них три Федора: адмирал, секретарь адмирала и адмиральский денщик.)

— К вам, ваше превосходительство.

— Кто? — недовольно нахмурился Ушаков.

— Капитан бригадирского ранга Голенкин.

— А-а, проси, проси! — повеселел адмирал и пошел навстречу своему однокашнику и другу.

— Здравия желаю, ваше превосходительство! Прибыл в ваше распоряжение! — официально, но просто и весело сказал Голенкин.

Ушаков обнял его.

— Рад тебе, Гаврюша! Садись, господин бригадир. Расстегивай крючки. Ты в параде! — улыбнулся Ушаков.

— Дружба дружбой, Феденька, а служба службой!

— И то верно! Вот будем вместе. И Нерон Веленбаков тут. Жаль только, что Павлуши Пустошкина нет.

— А хорошо было бы и его вытащить из Таганрога.

— Пока что светлейший не отпустит Пустошкина с места командира Таганрогского порта. Павла Васильевича за успешную постройку двадцати семи военных судов только что наградили Владимиром четвертой степени. Но, дай срок, я перетяну!

— Спасибо тебе, Феденька, что вытащил меня из Херсона. Надоело на берегу.

— Я просил тебя у светлейшего с умыслом.

— С каким?

— Чтобы поручить тебе командовать авангардом. Ты был при Чесме. Ты не трус, не рохля!..

— Не подведу! — покраснел кудрявый Голенкин.

— Даю тебе один из новых лучших черноморских кораблей — шестидесятишестипушечную «Марию Магдалину». Ты корабль знаешь — он строился у нас, в Херсоне.

— Корабль хороший, слов нет.

— Но вот, Гаврюша, я много продумал: за Войновичем времени у меня оставалось свободного достаточно. То, что мы учили в корпусе, надо забыть!

— Да я и так уж многое забыл, — пошутил Голенкин.

— Нет, не мелочи забыть. Не какую-либо там «Универсальную историю» господина Ла-Кроца или что-то вроде «А были ли у Тиверия дети?», а забыть главное!

— То есть что́: линейную тактику?

— Да. Полагается строить ордер-баталии только из двух параллельных кильватерных колонн. Авангард бьется против авангарда, кордебаталия — против кордебаталии, арьергард — против арьергарда. Скажи на милость: что это такое — танец или игра какая?

— Но таковы правила, принятые всеми. Все флоты мира... — пытался возразить Голенкин.

— А помнишь, что сказал Петр Великий: не держися, яко слепой стены!.. Довольно быть слепыми!

— А как же поступать тогда?

— А вот как. Не ждать, когда враг к тебе пожалует, а самому нагрянуть на него! Нападающий всегда имеет преимущество: он готов, а ты нет...

— Это верно, — согласился Голенкин. — Но что же дальше?

— А дальше — никаких «танцев»! Бей по голове, по флагману! Выбьешь вожака — легко управишься со стадом! Помнишь, ты же сам рассказывал, как Спиридов при Хиосе весь удар направил на флагмана.

— Это я понимаю, это верно. А если, например, ты идешь в строе двух или трех колонн, а неприятель в кильватере, тогда как?

— Вот так и навались на него. И не бойся прорезать линию его кораблей!

— Как, броситься в бой не перестраиваясь? — удивился Голенкин.

— Зачем перестраиваться? Только время терять. Бей, да и все!

Голенкин молча покачал головой, видимо обдумывая то, что говорил Ушаков.

— Вот послушай, как при Фидониси было, — продолжал Федор Федорович. — Я кое-как уговорил этого подлого трусишку Войновича, чтобы он позволил мне, начальнику авангарда, действовать по-своему. Встретились с капуданом. У турок сил втрое больше. Если по старым правилам, то мне что полагалось бы сделать?

— Уклониться от боя.

— А я кинулся в бой! Капудан хотел меня окружить, да не тут-то было: я атаковал его самого. Он — защищаться, а о руководстве боем ему и думать уже некогда!

— Ну, не знаю, — говорил Голенкин, теребя пальцами густые черные волосы. — Как-то непривычно, ново...

— И хорошо, что ново! Вон слыхал, есть генерал Суворов, который под Кинбурном разбил турок. Он воюет по-новому, по-своему. Все кричат: не по правилам, а ему — нипочем. Он бьет врага — и конец! И мы будем бить!..

— И что же, это всегда так надобно поступать?

— Не знаю — всегда ли, тут уж обстановка сама подскажет. А основа одна: старая линейная тактика свое отжила. Долой ее!

Голенкин молчал, видимо обдумывая мысли товарища.

— Знаешь, Феденька, может, ты и прав! — задумчиво сказал Голенкин. — Драться так драться. Но для этого надо, чтобы командир авангарда был храбр.

— Вот я тебя и выбрал!

— Спасибо, друг!

— Значит, согласен? — протянул ему руку Ушаков.

— Согласен! — пожал ее Голенкин.

— Тогда пойдем ко мне обедать, а после обеда посмотрим вместе, как твоя «Мария Магдалина». Ты ведь, Гаврюша, к девушкам всегда был неравнодушен! — пошутил адмирал.

X

В следующее лето 1789 года новый начальник Севастопольского флота не заставил себя упрашивать выйти в плавание, — он сам рвался из гавани. Ушаков больше любил ходить в море, чем в адмиралтейство. Он считал, что плавание — лучшая школа для каждого моряка.

Черноморская эскадра все лето крейсировала у берегов, лишь ненадолго заходя в Севастополь пополнить запасы. Турецкий флот не показывался. Зато сухопутная армия турок упрямо лезла в бой. Суворов дважды хорошо сбил с них спесь: нанес туркам страшное поражение при Фокшанах и Рымнике.

Зимою 1789 года Ушаков деятельно готовил суда к выходу в море. А чуть глянуло весеннее солнышко, начал так же безустанно готовить и моряков.

Турецкие корабли были легче на ходу, чем севастопольские, и турки всегда имели численный перевес в орудиях. Ушаков задумал добиться преимущества в другом: в быстроте и четкости постановки парусов и в меткой прицельной стрельбе. Поэтому он с весны стал ежедневно проводить парусные ученья.

— Не тот матрос, кто поразвалистее ходит, а кто хорошо знает морское дело! — говорил он.

И каждый день проводил пушечные и ружейные ученья.

— Чтобы победить, надо уметь готовиться к победе! — наставлял Ушаков. Федор Федорович добивался также более быстрого перестроения флота в море. Он отдал приказ по эскадре:

«Усматриваю я, что некоторые корабли и фрегаты по учиненным сигналам в места свои входят весьма медлительно, а по правилам эволюции и военным обстоятельствам требуется в построении ордеров отменная скорость, посему в подтверждение предписываю чинить следующее исполнение».

В один из первых дней благостного, теплого апреля 1790 года Ушаков в хорошем расположении духа возвращался с эскадрой на

севастопольский рейд. Он был очень доволен днем: корабли и фрегаты быстро строились и метко стреляли по бочкам на расстоянии в четыре кабельтова.

А в Севастополе Федора Федоровича ждала приятная весть: Потемкин вызывал его к себе в Яссы. Курьер уже несколько часов ждал адмирала.

Узнав об этом, к Ушакову приехали поговорить обо всем его старые друзья-товарищи, его помощники Голенкин и Веленбаков.

Капитан бригадирского ранга Голенкин командовал авангардом и новым 66-пушечным кораблем «Мария Магдалина», а капитан 2-го ранга Веленбаков — фрегатом «Амвросий Медиоланский».

Ушаков прежде всего передал им последнюю новость, которую привез из Ясс курьер. В этом году светлейший решил лично командовать флотом, а графа Войновича назначил в Каспийскую флотилию. Он продержал Войновича в Херсоне год и три месяца, видимо, только потому, что было неудобно тогда же, после получения Войновичем графского титула и Георгия 3-й степени, усылать его подальше.

В ордере Потемкин не без иронии написал, что избрал Войновича для командования на Каспии:

«По знанию вашему тамошних вод и по испытанию свойств и образа мест тамошних народов, где по бытности вашей несумненно распространили вы в них страх и завели со многими знакомство».

— Вот так здóрово! — хохотал Веленбаков. — «Распространили в них страх»! Нечего сказать, распространил: целый год в плену кормил и плодил ханских клопов! Ха-ха-ха!

— Зато действительно «завел знакомство»! — смеялся Голенкин.

— Завел! Этого отрицать нельзя. А конец ордера чего стóит: «Извольте туда следовать немедленно».

— Да, начал за здравие, а кончил за упокой.

— Поди, этот трус боится, как бы персы не захватили его в плен во второй раз! — потешался Веленбаков.

— Его-то и в первый раз не стоило брать! — заметил молчавший Ушаков.

— Вот теперь, Федя, тебе уже никто не помешает встретиться с князем. Увидишь, какой это любопытный человек! — сказал Голенкин, который больше своих товарищей знал Потемкина, потому что служил при нем в Херсоне. — Иногда с дамами заведет разговор о богословии, а случится архиерей, он с ним рассуждает о танцах.

Голенкин не упомянул о том, что Потемкин тратит сотни тысяч рублей государственных денег на любовниц и балы: Федор Федорович был пристрастен к Потемкину и не любил слушать об этом.

— Говорят, у него семь пятниц на неделе, — заметил Веленбаков.

Федор Федорович только покосился на Нерона. Он знал о причудливости характера Потемкина. Знал, что поэтому австрийский

принц де Линь, бывший во время осады Очакова при русских войсках, называл Потемкина то Ахиллесом, то Терситом[1]. Но Ушаков снисходительно относился ко всем слабостям Потемкина, так как оценил его большую заботу о молодом Черноморском флоте.

— А ты разве всегда одинаков? — обернулся он к товарищу.

— Сказывают: светлейший очень любит пить кислые щи, — не унимался Нерон.

— Конечно, ты на его месте предпочел бы пить что-либо покрепче, — поддел Федор Федорович.

— Любить кислые щи — это еще не самый большой порок, — улыбнулся Голенкин. — У светлейшего есть грешки и побольше!

— Пусть он любит власть, почет и роскошь, но все-таки он постоянно радеет о величии русского государства! — ответил Ушаков.

— Человек он незаурядный, нет спору. Но в жизни тяжел: мнителен, часто хандрит, — продолжал Голенкин.

— Ты на его месте не так бы еще захандрил, если бы тебе надо было заселять новые земли, строить крепости и города, заводить флот. Нужны люди, пушки, лес, а всего этого нет на месте. Каждый гвоздь, каждую каболку приходится доставать за тридевять земель. При таком положении быть всегда веселым — мудрено! — горячо сказал Федор Федорович.

Приятели не стали спорить с Федей: бесполезно — Ушаков старается не замечать недостатков Потемкина.

С рассветом Федор Федорович отправился на корвете «Красноселье» в Херсон. Теперь уже не приходилось опасаться Очакова: крепость была взята русскими войсками еще полгода назад.

На этот раз Ушаков был уверен, что увидит Потемкина, — никакой Мордвинов не стоял на его пути.

Из Херсона он на лошадях отправился через Молдавию в Яссы.

— Господи, благодать-то какая! — вертел во все стороны головой денщик Федор, сидевший рядом с кучером на козлах.

Он восхищался зеленеющей степью, солнцем, пением птиц:

— Цветочки, птицы! А небо, а степь, ширь, приволье какое! Вот где жизнь!

Ушаков смотрел на него и думал: «Как различны люди: Федору лучше в степи, а мне — в море. В море — настоящий простор. Там бодрый ветер, там крутые волны. Хорошо! А здесь — пыль, духота, и только клонит ко сну».

После десятидневного утомительного путешествия наконец ранним утром подъехали к Яссам. Федор Федорович смотрел на грязный, сонный городишко. На улицах еще не было ни души.

---

[1] Участники Троянской войны: Ахиллес — мужественный, Терсит — трусливый.

Но чем ближе подъезжали к ставке Потемкина, тем становилось оживленнее.

Вон куда-то промчался курьер. Ямщик нахлестывал лошадей, а офицер устраивался поудобнее в телеге. Вон молдаванин погнал — должно быть, на княжескую кухню — стадо гусей. Проехали верхами какие-то офицеры.

Впереди показался княжеский дворец.

По обширному двору пробегали гайдуки, лакеи. Солдаты посыпали свежим желтым песком двор. Ушаков велел подъехать к небольшому домику слева, на крыльце которого стоял солдат с ружьем.

«Это, вероятно, комендантская».

— Кто и откуда? — окликнул солдат.

— Контр-адмирал Ушаков из Севастополя, — ответил ямщик.

Солдат скрылся в доме. Через минуту оттуда, второпях застегивая мундир, выкатился толстый майор.

— Пожалуйте сюда, ваше превосходительство. Давно вас ждем! — сказал он, подбежав к коляске, и на своих толстых, но проворных ножках покатился к флигелю, стоявшему в глубине двора.

— Здесь вам приготовлены покои, — говорил он, распахивая перед Ушаковым дверь.

Навстречу им из комнат торопились лакеи в малиновых ливреях.

Федор в своем тиковом камзоле имел по сравнению с ними совершенно деревенский вид.

Ушакову отвели две хорошо обставленные комнаты.

— Отдыхайте, ваше превосходительство, с дороги, а часиков в одиннадцать князь вас примет. Я доложу, — сказал дежурный майор и выкатился вон.

Федор стоял с адмиральским чемоданом в руке и умилялся:

— Красота-то какая! Красота неописуемая!

Он смотрел на ковер, на мебель красного дерева, на бронзовые часы. Но адмирал — по морской привычке — провел пальцем по каминной доске, — палец оказался в пыли.

— Побольше бы чистоты, чем красоты! — насмешливо сказал он и стал раздеваться.

Федор Федорович умылся, сам побрился, надел адмиральский мундир со всеми орденами и стал ждать.

Федор ходил за барином, сдувал с адмиральского мундира одному ему видимые пушинки и все не мог налюбоваться на обстановку.

Ушаков не слушал его, думая о том, что надо не забыть сказать князю о нуждах флота.

Волновался, вроде как перед боем.

А время шло. Лакеи принесли завтрак. Федор Федорович успел позавтракать, немного успокоился, и тут явился адъютант князя и повел его к светлейшему.

В роскошной приемной ждали генералы в полной парадной форме, какие-то штатские — вероятно, дипломаты — в шелковых кафтанах и париках.

Прижимая к левому боку шляпу, Федор Федорович вошел в кабинет.

Посреди большой светлой комнаты стоял князь — высокий, улыбающийся одним своим умным глазом.

Напрасно плели разные небылицы о том, что Потемкин принимает посетителей чуть ли не в одном белье. Был он одет, как все люди, но одет, разумеется, прекрасно. Выбрит и чист.

— Федор Федорович, наконец-то!

Он обеими руками крепко сжал руку Ушакова и пристально смотрел на него сверху вниз: Потемкин был выше Федора Федоровича.

— Вот ты какой! Молодец! Откуда родом?

— Тамбовский, ваше сиятельство.

— Крепок, — говорил князь, глядя на невысокого, но плотно сбитого адмирала, на его энергичное лицо с крутым подбородком. — Недаром чуму поборол! Молодец!

— С Войновичем и Мордвиновым было труднее, чем с чумой, ваше сиятельство!

— Ты прав! — рассмеялся Потемкин. — Ну, теперь их нет и не будет. Садись, поговорим о деле.

Князь усадил Ушакова на шелковый диван рядом с собой. Федор Федорович старался не ошибиться и смотреть на зрячий глаз светлейшего.

— Ну, что татары? Как волка ни корми?..

— Да вроде того.

— Присматривай. Как флот?

— В полном порядке. Хоть сегодня в море!

— Молодец! Сколько кораблей?

— Десять кораблей и шесть фрегатов, не считая крейсерских, брандера и прочей необходимой мелочи, ваше сиятельство.

— Сколько всего пушек?

— Семьсот сорок четыре.

— Хорошо! — потирал руки Потемкин. — Так вот, дорогой Федор Федорович, слушай... У России врагов — как сам знаешь — много. Не только тут, а и в Европе. Французы уже не первый год строят туркам крепости: укрепляли Анапу, Очаков, теперь трудятся в Измаиле. Англичане того и гляди пожалуют в проливы. А из проливов могут и дальше: аппетит ведь приходит во время еды! Да и турки не хотят мириться ни со своим положением, ни с нами. После Рымника султан прогнал великого визиря. Вместо него — известный Эски-Гассан-паша. Умная бестия! Капуданом — двадцатидвухлетний Гуссейн. Мальчишка. Горячая голова — рвется в

бой. Обещал султану уничтожить Севастополь и вернуть Крым. Лазутчики доносят: у анатолийских берегов собрано много транспортных судов. Намереваются перевозить хлеб в Константинополь и к армии и десантные войска в Анапу. Десант надо ждать со стороны Анапы. Потому первое дело: осмотреть каждую щель на нашем побережье. Вот, — он повернулся к столу, на котором лежала карта. — Прощупать всю восточную сторону Анатолии, абазинские[1] берега от Синопа до Анапы. Торговые суда доставлять к себе, а что не сможешь — жги. Чтобы Константинополю и сухопутной турецкой армии — ни зернышка!

— Сделаю, ваше сиятельство!

— А если встретишь этого молокососа Гуссейна...

— Дам бой, — загорелся Ушаков. — Я им не Войнович.

— Знаю и верю! — улыбнулся Потемкин. — Одним словом, на море ты хозяин! — говорил он, раздумывая. — А мне и на суше дел хватит: крепости Тульча, Исакча, Килия, а главное — Измаил, — почесал голову Потемкин.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, на море я сделаю все!

— Да, чуть не позабыл: я получил из Константинополя известие, что два англичанина приготовили брандеры. Турки хотят ими поджечь наш флот. Будьте осторожны!

— Не подпустим к себе ни один парус!

— Надеюсь на тебя, Федор Федорович! Ну, а теперь говори, чего не хватает? Для возможного ремонта кораблей все есть? Доски, гвозди, конопать, смола?

— Предусмотрел, насколько возможно, ваше сиятельство. Конечно, хорошо бы получить смоленых разного сорта тросов. И рубах для матросов маловато. Тысяч бы пяток еще.

— Хорошо. Скажу Афанасьеву. Еще что?

— У нас в порту, как знаете, ваше сиятельство, нет денежной казны. Надо было срочно рассчитаться с подрядчиком за поставленные матросские сапоги. Я намедни занял у капитана Нерона Веленбакова две тысячи рублей.

— Получишь их сегодня же у Попова. Еще что?

— Как будто всё.

— Может, кто-либо из командиров не по душе? Верно, осталось «графское» наследство, иностранцы разные?

— Кое-кто еще есть.

— Недоброжелателей и бездельников гони всех на берег. А как наш Севастополь, строится?

— Вы бы его не узнали, ваше сиятельство. Чудесный город. Знаменитый город!

---

[1] Абазинские — абхазские.

Потемкин заулыбался. Ходил по комнате, напевая свою любимую песенку:

На бережку, у ставка,
На дощечке, у млынка,
Купалася дивчина,
Плескалася рыбчина...

— Ну так что ж, Федор Федорович, теперь погости у меня, отдохни с дороги денька два-три...

— Спасибо, ваше сиятельство: некогда. И так давно уж из Севастополя... Беспокоюсь, как там. Да и непривычен я...

— Знаю, знаю, — улыбнулся Потемкин. — Мне матушка императрица сказывала, как ты ее учил на яхте морским порядкам...

Ушаков смутился.

— А как без Мордвинова, нынче все-таки легче? — хитро смотрел Потемкин одним своим быстрым глазом.

— Не в пример легче, ваше сиятельство!

— Войнович не снится?

— Подлый человек! — вспыхнул при одном воспоминании Ушаков. — Если бы не вы, ваше сиятельство, несдобровать бы не только мне, но и всему Черноморскому флоту.

— Спи спокойно, Федор Федорович! Пока я жив, ни Черноморского флота, ни тебя никто не обидит! — твердо сказал Потемкин.

XI

В Севастополе на кораблях давно уже все спали, когда с флагманского «Рождества Христова» ударила пушка.

И тотчас же темноту душной июльской ночи прорезали яркие огни сигнальных фонарей: контр-адмирал Ушаков вызывал к себе всех командиров кораблей и фрегатов.

Дело было спешное. Ушаков только сейчас получил известие о том, что вечером мимо Севастополя к кавказским берегам прошел турецкий флот: десять линейных кораблей, восемь фрегатов и больше тридцати шебек[1], бригантин, лансонов[2] и прочих судов. На кораблях было видно очень много народу.

Турки давно готовились к десанту. Они хотели высадиться в Крыму и поднять восстание крымских татар, в недоброжелательности которых к русским Ушаков не сомневался.

А теперь сама обстановка на Черном море заставляла турок поторопиться с военными действиями.

---

[1] Шебека — небольшое узкое судно.

[2] Лансон — судно для перевозки войск.

Весь май Ушаков был в плавании. Он обошел с флотом всю восточную сторону Анатолии и абазинские берега, бомбардировал Синоп и Анапу и сжег свыше двадцати пяти разных турецких судов.

Русские легкие крейсеры ловили в Черном море турецкие суда, шедшие с продовольствием в столицу. За май — июнь они сожгли двенадцать транспортных судов, а восемь, груженных пшеницей, привели в Севастополь.

Снабжение продовольствием турецкой сухопутной армии и Константинополя с моря прекратилось.

Решительные действия русского флота устрашили турок. Турецкие торговые капитаны растерялись. Чуть увидев на горизонте русские паруса, они сразу же убегали.

Выходило, что в Черном море появился новый хозяин, а примириться с этим турки не могли.

Думая сейчас о турках, Федор Федорович усмехнулся: как, однако, они за много лет не научились ничему! Никакие военные уроки не пошли туркам впрок: ни Чесма, ни Ларга и Кагул, ни прошлогодний разгром при Фокшанах и Рымнике. Они так легко поддаются на уговоры всяких европейских интриганов, которые науськивают Турцию на Россию, которые хотят загребать жар турецкими руками!

Турки упрямо уходят от мира, упрямо лезут на рожон. Надеются на свой сильный флот, построенный французами, англичанами, шведами! Посмотрим!

Русский Черноморский флот создается в тяжелых условиях: одной рукой надо строить, другой — отбиваться от врага. Приходится из дальних губерний привозить в Крым все: мастеров, провиант, орудия, снаряды...

Нужно немедленно выходить в море, чтобы помешать турецкому десанту.

К кораблю «Рождество Христово» одна за другой подходили шлюпки. Фалрепные фонарями освещали трап. В стекла фонарей бились летевшие на свет большие бабочки, удивительно похожие на засохший листок. Слышались плеск воды, командные слова на шлюпках.

И все это покрывал немолчный треск цикад, доносившийся с берега.

Ушаков в раздумье ходил по шканцам до тех пор, пока вахтенный лейтенант не доложил, что все в сборе.

В адмиральской каюте, несмотря на раскрытые окна, было душно. Свечи мерцали тускло. Федор Федорович сел у стола и огляделся.

На месте были все: капитан бригадирского ранга Голенкин и семнадцать капитанов кораблей, и фрегатов.

Из этих семнадцати капитанов — не все друзья. Кое-кто (он доподлинно знал) недолюбливал командующего Черноморским флотом, контр-адмирала Ушакова.

Кое-кому не нравится ушаковская строгость и деловитость: что адмирал не дает покоя ни днем ни ночью — все артиллерийское да парусное ученье, что сует свой нос в каждый корабельный дек, что уж больно носится с заботами о матросе. Такими недовольными были капитаны Карандино, Демор, Винтер — чужие морю и чужие России люди.

Карандино — пронырливый венецианец — подобострастно смотрел на адмирала, готовый ловить каждое его слово, чтобы потом, за спиной Ушакова, исказить его замечания, представить всё в смешном виде. Ушаков, например, потребовал, чтобы палубы при утренней уборке опрыскивались уксусом. Карандино переделал по-своему: адмирал требует, чтобы палубу мыли уксусом. И возмущался: где же это видано — мыть палубу уксусом!

Лысый Демор, насупившись; хлопал сонными глазами. Был откровенно недоволен тем, что его подняли среди ночи с койки.

Винтер высокомерно-презрительно поджал сухие губы...

Черт с ними! Своих-то, надежных, больше!

Вон Голенкин, Языков, Шишмарев, Елчанинов, Баранов, Кумани, Веленбаков, Заостровский.

Впрочем, Винтер, Демор и Карандино служили на таких ветхих кораблях, что их все равно в дело не брать. Пусть остаются в Севастополе для работы на берегу.

Откашлялся, готовясь говорить. Приказывать умел, говорить же был не мастак. Разговаривать не любил.

— Наш недавний поиск к анатолийским берегам напугал султана. Сегодня ввечеру капудан помчался со всем флотом к Кавказу. На кораблях полно народа, — стало быть, повез десант. Видно, хочет напасть с востока. Нам надобно поспешить. На рассвете снимаемся с якоря. Дальше в море — меньше горя! — закончил он своей любимой поговоркой. — К походу готовы? Команды на месте? Пресной водой налились? Провизии, дров достаточно? — строго глянул он на господ капитанов, будто не знал, что Черноморский флот в любую минуту готов выйти в море.

— Готовы, ваше превосходительство, — услужливо выскочил вперед Карандино.

— Готовы! — послышалось со всех сторон.

— В остающееся время еще раз проверить все: запасной рангоут, такелаж. Смотреть, хорошо ли закреплены пушки. Осмотреть все самому капитану. Не лениться. Не пренебрегать никакой мелочью! У тебя, Ознобишин, фонари в порядке? Свечи уже обожжены?

— Обожжены, ваше превосходительство!

— А на «Несторе» швабры есть? Или опять нечем будет растирать просыпанный порох?

— Есть, — покраснел капитан Шишмарев.

— Пробки, доски, сермяжное сукно для заделки пробоин чтоб были. Ежели приведет Бог сразиться с врагом — драться по-русски, по-черноморски! Всё. Ну, час добрый!..

Ушаков встал.

XII

Вечером 7 июля 1790 года Ушаков с Черноморским флотом подошел к Керченскому проливу. Крейсеры, посланные Ушаковым вперед на разведку, обнаружили вчера весь большой флот капудана Гуссейна в Анапе. Сомнений больше не оставалось: турки готовились высаживать на восточном берегу Крыма большой десант.

Солнце закатилось в тучу. Море стало мрачным — черным и холодным. Ветер выл в снастях. Стали на якорь милях в десяти восточнее мыса Такла. После спуска флага и молитвы на кораблях все затихло, — люди устали за день.

Артиллеристы спали тут же, на верхней палубе, у своих пушек. Отовсюду слышался храп.

Не спалось только Ваське Легостаеву. Васька в первый раз был в плавании и в первый раз готовился к бою. Все дни после выхода из Севастополя его укачивало. Лишь сегодня стало как будто легче. Над ним потешались товарищи:

— Э, Васька, видать, ты с якоря илу не едал!

За Ваську вступился старый канонир Андрей Власьич:

— Привыкнет. Спервоначалу у всех на воде ноги жидки, — утешал он. — Ты из каких краев, милый?

— Тверской...

— Что и говорить, водный человек! — улыбнулся старик.

— У нас, дяденька, воды много: озера Селигер, Пено, может, слыхали?.. Опять же реки: Тверда, Молога, Мета, Цна... И Волга от нас течет...

— Ну, Волгу-то у вас курица вброд переходит!

Теперь Васька ворочался с боку на бок. Слышал, как пробило четыре склянки, как кто-то во сне громко сказал: «Да не трекай, тяни!»

Корабль «Рождество Христово» однообразно покачивался. В борт мерно билась волна. Так же однообразно, противно скрипела в блоке какая-то снасть.

Легкая дрема уже сковывала веки, когда близкие голоса вспугнули ее.

— Ежели за ночь ветер не переменится, то он будет у них, у турок... — громко сказал кому-то ходивший по шканцам вахтенный лейтенант.

Сон опять пропал. Васька повернулся на другой бок.

— Что ты, парень, все крутишься, как рыскливая посудина? — вполголоса беззлобно заворчал лежавший рядом Власьич и широко зевнул: — Охо-хо!..

— Блохи, дяденька...

Власьич знал, какие такие блохи перед первым боем. Поддержал:

— Забрели, проклятущие. Палуба завсегда чистая, ни блошки, а днем посыпали песочком на случай боя, вот они и зашевелились.

Ваське хотелось поговорить. Он несмело вступил в разговор:

— Захолодало что-то...

— Верно, холодом потянуло. Нонче все к берегу медуз гнало — это к холоду.

— Ветер какой нехороший...

— Чем нехороший? Ветер ровный, брамсельный.

— Ежели ветер не переменится, то басурману будет сподручнее: турок будет на-ветре! — повторил Васька слышанные слова.

Ему хотелось знать, что скажет на это Андрей Власьич, с мнением которого он очень считался.

— А нам что на-ветре, что под ветром — все едино! — ответил Власьич. — Я при Федониси был в бою. В аккурат два года тому назад, в июле месяце. У турок, брат, все было: и кораблей, почитай, втрое больше нашего и ветер, а все равно Федор Федорыч их расколошматил!

— А правда ль, дяденька, что у него, у турка, все борта скрозь медью обшитые? Что его никакое ядро не берет?

— Что ты, что ты! Спросонья мелешь, аль как? Кто тебе такую ерунду сказывал?

— В Севастополе. Печник-татарин... Крымчак...

— Знает твой печник! Обшит один киль, чтоб червь не точил, — это верно, — сердито сказал Власьич.

Старый канонир помолчал. Потом, почесываясь, добавил спокойнее:

— Ты, главное, парень, ничего не трусь. В первый бой идешь, тебе разное оказывается. Сам знаю... Только помни: не море топит, а лужа! Меньше ты слушай, что иной языком полощет... «Печник»! Знаем мы этих крымчаков, какие они нам, русским, друзья! Он тебе нарочно сказал — запугать тебя, а ты и рад стараться. Спи.

И Андрей Власьич повернулся к Легостаеву спиной и тотчас же захрапел.

А Васька Легостаев продолжал лежать, раздумывая о завтрашнем бое.

XIII

День вставал неприветливый, хмурый. За ночь все небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. С глухим ревом катились мрачные седые валы. Дали затянулись молочно-сизой пеленой тумана. В тумане потонули очертания берегов и мыса Такла.

Ветер дул прежний: ост-зюйд-ост.

За ночь от крейсеров еще не поступало новых донесений, но можно было с минуты на минуту ждать врага, — погода благоприятствовала десанту. И Ушаков, дав людям позавтракать, приказал флоту сниматься с якоря.

Он стоял, глядя в зрительную трубу, — ждал, не покажется ли кто-нибудь на горизонте: свои или враги.

Ушаков смотрел в сторону Анапы. Крепость в Анапе, как и в Измаиле, строили для турок французские инженеры.

Невольно подумалось: «Лезут... Далеконько берут!..»

Он терпеливо всматривался в даль, туда, где эти мутно-грязные валы незаметно переходят в иссиня-черные зловещие тучи.

И вот наконец как будто бы что-то обозначилось. Так и есть — корабли. Один, другой, третий...

Федор Федорович чуть повернул трубу влево — еще и еще. Целый лес мачт. Бесспорно, это Гуссейн.

Молодой султан Селим III, сев на престол, удалил прежнего капудана, Эски-Гассана: у него было слишком много неудач на море. Вместо Гассана султан назначил капудан-пашой своего друга и шурина, двадцатидвухлетнего Гуссейна. Гуссейн поклялся, что отнимет у русских Крым.

Вот и летит в надежде на легкую победу молодой сумасброд!

Турецкий флот уже увидали все.

— Турки... Турки... — заволновался сигнальщик.

— С на-ветра! — подчеркнуто прибавил капитан Елчанинов.

В его голосе чувствовалась тревога.

— У турок и при Фидониси был ветер, а что толку-то! — сказал флаг-капитан Данилов.

Ушаков обернулся и спокойно приказал строить линию баталии на левый галс. Чтобы увеличить число пушек, Ушаков ставил в линию баталии и фрегаты.

По всем писаным и неписаным законам морского боя турки оказывались в лучшем положении: они превосходили силою и были на-ветре. Это, конечно, могло озадачить многих, но не адмирала Ушакова.

Турки, увидев врага, стали тоже поспешно выстраиваться в линию.

Иностранцы-офицеры недаром ели турецкий хлеб: турки усвоили кое-что из основ европейской морской тактики. Они последовательно спускались на русские корабли.

Ушаков смотрел с волнением, как близко подойдут турки. На русских кораблях было мало артиллерии большого калибра. Федор Федорович хотел, чтобы турки подошли поближе: тогда можно будет ввести в дело и единороги малого калибра.

Голенкин тоже понимал это и не начинал боя.

Но Гуссейн остался на выгодной для него дистанции. И первым открыл огонь. Точно молния прорезала борта турецких судов. Гулкие пушечные раскаты ударили в низко навалившееся небо.

Русские не заставили себя ждать с ответом.

Турки сосредоточили весь огонь на авангарде Голенкина. Они хотели превосходящими силами раздавить его. Ушаков с тревогой смотрел: выдержит ли его друг этот бешеный натиск?

Голенкин мужественно отбивался. Его спасал меткий артиллерийский огонь, — русские стреляли прицельно, не спеша, а турки — часто и беспорядочно. И вскоре огонь турок стал ослабевать.

Но Гуссейн упорно продолжал вести атаку. Он все время усиливал авангард: в промежутки между линейными кораблями проходили шебеки, бригантины, на которых были установлены 18-фунтовые пушки.

— Фрегатам выйти в резерв! — закричал на ухо флаг-капитану Ушаков.

За грохотом, гулом и шумом не было слышно голоса.

Шесть фрегатов вышли из линии. Ушаков сомкнул строй и поспешил с главными силами на помощь авангарду.

В этом необычном маневре заключалась хитрая уловка: если Гуссейн вздумает охватить с флангов укороченную линию русских, то он неизбежно должен будет сблизиться.

Но Гуссейн продолжал сохранять выгодную для себя дистанцию.

— Хитер, чертов басурман! — обозлился Федор Федорович.

Подветренное положение русского флота было очень неудобным: ветер нес на него клубы дыма турецких пушек, ветер относил назад пыжи, — того и гляди, подожжешь свои же паруса. И главное — никак нельзя приблизиться к туркам, чтобы пустить в ход единороги малого калибра.

Прислуга при них томилась, не имея возможности в такую горячую минуту помочь своим.

И вдруг ветер переменился — стал отходить к северу. Русские корабли безо всяких эволюции оказались на-ветре. Теперь густые облака дыма понесло на турецкую эскадру.

Ушаков немедленно воспользовался этой переменой. Он поставил свой корабль «Рождество Христово» передовым и ринулся в атаку.

Это шло вразрез со всеми правилами морского боя: флагман никогда не должен быть передовым.

— Как же так? — еще не понимал странного адмиральского маневра флаг-капитан.

— А вот как! Сейчас увидишь! — улыбнулся Ушаков. — Огонь!

Барабаны забили первое колено егерского похода: приготовиться к залпу. Прислуга у единорогов быстро и с охотой стала по местам.

Скрытые завесой густого, непроницаемого дыма, русские корабли незаметно подошли к туркам на картечный выстрел и вдруг ударили по ним гранатами и книпелями.

К грохоту пушек прибавился треск ломающегося дерева: у турок посыпался верхний рангоут. В перерыве между залпами слышались дикие, истошные крики турок. Непредвиденный маневр Ушакова поразил их: ни французы, ни англичане не подготовили турок к такому сюрпризу.

Гуссейн потерялся. Ужас охватил все турецкие корабли.

Неожиданное приближение русских, небывало сильный грохот их пушек, десятки раненых и убитых, в первую же минуту пораженных картечью, — все это совершенно ошеломило их. Туркам показалось, будто на них свалился откуда-то новый, сильный враг.

Правильный строй кораблей сразу нарушился. Каждый думал лишь о своем спасении.

Артиллеристы метались от одного борта к другому, не зная, откуда придется стрелять. Суматоху увеличивали сотни человек десанта, разместившегося на верхних палубах. Спасаясь от русской картечи, они бежали в нижние деки, давя друг друга и вопя, что настал последний час. Обезумевшие толпы набрасывались на кумбараджи[1], отталкивая их от пушек, били ятаганами, стараясь закрыть пушечные порты, обращенные в сторону русских кораблей.

Турецкий флот, почти не отстреливаясь, поворачивал всей колонной.

Об отпоре врагу у них не было и мысли, — все думали лишь об одном: как бы поскорее улепетнуть на запад.

Корабли Ушакова расстреливали их опустошительными анфиладными[2] залпами.

Ушаков пустился было вдогонку за разбитым неприятелем, но турецкие корабли ушли от окончательного уничтожения: они были легче на ходу. А кроме того, им помогала темнота — они уходили в ночь.

— Ну что, паря? — лукаво посмотрел на Ваську Легостаева Власьич, когда бой отшумел и турецкие корабли были уже далеко.

— Ничего, — смущенно улыбался Васька, вытирая рукавом потное, грязное от пороховой копоти лицо.

---

[1] Кумбараджи — бомбардир.

[2] Анфиладный — продольный.

— Наша картечь турка берёт?

— Берёт...

— А что ж твой крымчак травил?[1]

— Да почему он мой, дяденька? — обиделся Васька.

— Вот их корабли ходоки лучшие, чем наши, это верно, — продолжал Андрей Власьич. — Нам за ними не угнаться: наши корабли больно садкие... Да пусть и убегают, все равно до Царьграда многие не дойдут! А страшновато, поди, было, ребятки? — оглядел он молодых товарищей.

— Спервоначалу, как сидели без дела, не горазд весело...

— Как это он в ростры саданет, я думал — конец...

— В море, что в поле: не столько смертей, сколько страстей! — наставительно сказал Власьич. — А ну, ребятки, давайте банить!

...К адмиралу Ушакову на шканцы принесли сбитый с турецкого вице-адмиральского корабля флаг. Его выловили русские шлюпки.

— Ваше превосходительство, поздравляю с победой Черноморского корабельного флота! — подошел капитан Елчанинов.

— Вот видите, не помогли туркам ни ветры, ни английские пушки! — улыбнулся адмирал Ушаков.

XIV

Да впишется сие памятное происшествие в журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храброго флота Черноморского подвигов.

Из приказа Потемкина

В бою у Керченского пролива турки позорно бежали, но Гуссейну все-таки удалось увести с собой все поврежденные суда. Он отошел к своим берегам и стал приводить потрепанную эскадру в порядок.

Возвращаться в Константинополь Гуссейн стыдился: он обещал султану наказать Ушак-пашу за его опустошительные набеги — и ничего не сделал.

Но турецкий флот все еще превосходил русский по количеству кораблей и корабельной артиллерии, и Гуссейн не терял надежды.

За месяц он починил повреждения на эскадре и снова вышел в море.

---

[1] Травить — шуточное: врать.

Султан прислал в помощь молодому Гуссейну престарелого капитан-бея[1] Саит-бея. Он предложил Гуссейну сторожить выход из лимана: турки знали, что в Херсоне достраивается для севастопольской эскадры несколько кораблей. Саит-бей советовал их уничтожить.

Ушаков узнал о выходе турок в море и 25 августа пошел их разыскивать: не в правилах Ушакова было дожидаться противника.

Черноморский флот пошел в трех колоннах к Очакову. Федор Федорович хотел соединиться с лиманской эскадрой и вместе с ней идти на поиски врага. По слухам, турки держались у устья Дуная.

28 августа, в шесть часов утра, когда Ушаков шел вдоль острова Тендра, матрос с салинга закричал:

— Вижу мачты!

Тотчас же бросились к адмиралу.

Ушаков выбежал на шканцы и глянул в трубу.

Турки стояли на якоре между узким, продолговатым островом Тендра и Гаджибеем.

— А, попались, голубчики! — весело говорил Ушаков.

Он немедленно оповестил флот, приказал нести все паруса и кинулся на турок.

Все уже знали привычку адмирала Ушакова не терять понапрасну времени на перестроение, а поскорее обрушиться на врага.

Турки хотя и превосходили силами Ушакова, но не выдержали дружного натиска русских — стали рубить канаты, в беспорядке вступали под паруса и бросились наутек к Дунаю.

...Погоня длилась уже четыре часа. Успела смениться вахта, команда успела пообедать, а боя все не предвиделось.

Ушаков продолжал настойчиво гнаться за врагом, — до вечера было еще далеко. Сигнал о погоне так и не убирался с мачт адмиральского корабля «Рождество Христово».

Федор Федорович, сдвинув брови, ходил по шканцам. «Неужели уйдут?» — беспокоился он.

На корабле все было готово к бою.

Матросы, переговариваясь, сидели на своих местах. Ожидание томило хуже всего. Говорили о разном: молодые вспоминали дом, старики — Севастополь, где остались семьи. Но все разговоры возвращались к самому близкому и волнующему — к сегодняшней встрече с врагом. Придется ли нынче драться, или турок все-таки убежит опять?

Это занимало всех — от брамсельного матроса до трюмного.

Васька Легостаев, молодой матрос, еще мало разбирался в морском деле. Он слушал, что говорят старшие, видавшие виды моряки.

---

[1] Капитан-бей — полный адмирал.

У их единорога, подле которого сидел Васька, беседу направляли двое: старик канонир Андрей Власьич и подошедший к ним урядник.

Приятели, как обычно, спорили.

— Не хочет турок принять бой, — заметил Власьич.

— Сегодня ему несподручно: он под ветром, — поправил его Зуб.

— А как же в тот раз мы под ветром дрались? Нам сподручнее было, что ль?

— То мы, а то он... Уйдет. Не догнать!

— Еще бы не уйти: у него паруса бумажные.

Урядник усмехнулся:

— Не в одних парусах дело. У него корабли обшиты медью. А наши — тяжелы на ходу.

Секунду помолчали. Потом Власьич обратился к молодым:

— Поглядите-ка, ребята, у кого глаза поострее: сдается мне, что у турка задние корабли отстают...

— Это так оказывается только, — буркнул Ефим Зуб.

— Отстают, дяденька! — весело доложил Васька Легостаев.

— Отстают!

— Глянь-кось, и адмирал наш увидал, повеселел, смеется! — заговорили артиллеристы.

— Я ж сказывал: сколько ни тянуть, а надо будет отдать! — с торжествующим видом посмотрел на урядника Власьич:

Все оживились:

— Что-то теперь будет?

— Оттяпаем ему хвост, вот что будет!

С каждой минутой становилось яснее, что задние турецкие суда вскоре окажутся отрезанными.

Адмирал Ушаков ходил, посмеиваясь от удовольствия: все-таки будет так, как он хочет. Либо капудан Гуссейн пожертвует своим арьергардом, либо должен будет принять бой, который навязывал ему Ушаков.

По морю прокатился пушечный выстрел: капудан сигналил своим кораблям поворачиваться.

Турки все-таки не ушли от боя.

XV

Трехбунчужный паша Саит-бей, поджав ноги, сидел у бизань-мачты на подушках.

Кругом кипел жестокий бой.

Громадный корабль сотрясался от выстрелов 38-фунтовых пушек нижнего дека. В ушах ломило от непрерывного грохота, который не умолкал ни на минуту вот уже в течение нескольких часов.

Пороховой дым ел глаза, застилая все вокруг. Сквозь него только на секунду пробивались лучи закатного солнца.

Русские ядра с визгом носились в воздухе. Под ударами книпелей трещал рангоут.

Над самой головой Саит-бея свисали концы оборванных снастей.

Палуба была завалена телами убитых галионджи[1]. Саит-бей невозмутимо курил, расчесывая пальцами длинную седую бороду: что суждено, того не минешь. Но пальцы Саит-бея все-таки дрожали.

Офицеры свиты паши, стоявшие перед ним полукругом в ожидании приказаний, тряслись от страха. За спиной паши, боязливо озираясь, стоял с опахалом в руке слуга, обычно отгонявший от своего господина мух. Теперь ему делать было нечего: он и сам боялся тех мух, которые летали кругом.

Престарелый Саит-бей был назначен султаном в советники к капудан-паше Гуссейну, командовавшему флотом. Но молодой Гуссейн что-то мало внимал советам старика.

Началось с того, что Гуссейн вышел в море во вторник. Саит-бей предупредил его: в этом дне есть один какой-то несчастливый час, которого никто не знает. Гуссейн не побоялся несчастливого часа.

Когда сегодня утром русские внезапно с на-ветра напали на них, Гуссейн поступил правильно, не приняв боя: под ветром драться нельзя. Но зачем было снова поворачивать на врага? Если задние корабли отставали, значит, такова воля Аллаха.

И рисковать из-за них всем флотом было ни к чему.

Теперь оставалось только положиться на милость пророка и драться. Но как ни отчаянно дрались турецкие корабли, а дело было плохо.

Турецкие адмиралы знали обыкновение русского паши — нападать на корабль капудана, потому Саит-бей посоветовал Гуссейну держать все флагманские суда поближе к капуданскому. Но увы! И это не помогло. Проклятый русский паша смело лез в самую гущу боя. Он бился с тремя турецкими кораблями, и в том числе с 80-пушечным кораблем капудан-паши. И все они, один за другим, вынуждены были выйти из линии.

Турецкая эскадра постепенно сбивалась в кучу, теряя строй.

Оставалось одно: поворачивать — хотя бы и под выстрелами русских — и уходить.

Солнце уже закатывается, скоро наступит благодатная ночная темнота, которая укроет турок.

«Чего он там ждет?» — недовольно подумал о Гуссейне Саит-бей и посмотрел, где капитан корабля.

---

[1] Галионджи — матрос.

Капитан корабля, жилистый высокий Магмет-Мустафа-ага, стоял на шканцах среди наваленных, точно дрова, обломков рей. В руках у него был курбач — толстый бич из кожи гиппопотама. Он понукал галионджи, возившихся с парусами. Магмет-Мустафа как раз смотрел в сторону паши.

Говорить было невозможно, — за грохотом не слышно слов. Саит-бей только махнул рукой, показывая, что надо уходить. Магмет-Мустафа-ага понял его. Перепрыгивая через тела убитых, он кинулся к галионджи.

XVI

Уже пять часов длился бой.

Ушаков заранее выделил три фрегата в резерв. Они вышли из линии и держались против передовой части флота, чтобы не позволить туркам атаковать наши суда с двух сторон.

Русские корабли старались подойти возможно ближе к врагу: хотели ввести в действие орудия всех калибров.

Не только командиры, но и матросы Севастопольской эскадры знали, что адмирал Ушаков не придерживается старой линейной тактики, а ведет бой по-своему.

Ушаков старался прежде всего ударить по флагманским, передовым кораблям. Лишившись руководства, турки быстро приходили в замешательство. Как и в бою при Керченском проливе, Ушаков брал на свой корабль «Рождество Христово» самую трудную задачу, чтобы остальные действовали так же храбро, как он.

И русские суда следовали примеру своего неустрашимого адмирала.

К закату солнца вся турецкая линия оказалась разбитой. Турки в беспорядке бежали.

Ушаков приказал повторить сигнал: «Гнаться под всеми возможными парусами и вести бой на самой близкой дистанции».

Турецкий флот был изрядно побит. Больше всего досталось отборным кораблям капудан-паши, реал-бея и новенькому, впервые вышедшему в море 74-пушечному красавцу «Капитание», на котором имел свой флаг Саит-бей.

Турецкие адмиралы были подавлены невиданной тактикой и храбростью русских.

Европейские наставники не научили их, как поступать в том случае, если неприятель не боится врезаться в строй вражеских кораблей и не очень смотрит, наветре он сам или нет.

Над морем повисла густая пелена дыма. Заходящее солнце казалось в ней огненным шаром. Южная осенняя ночь незаметно накрыла море и корабли.

Ушаков велел зажечь фонари, чтобы корабли не разбрелись кто куда.

Турки же хотели бы слиться с темнотой и, против обыкновения, не зажигали огней.

Русские продолжали погоню. Но туркам снова повезло: вдруг стало свежеть. Ветер развел волну.

Было досадно: неужели снова уйдут?

— С такими повреждениями далеко не уйдут! — сказал Данилов адмиралу.

Делать было нечего, — приходилось и самим становиться на якорь.

Мелкие крейсеры поспешили укрыться у берега.

Ушаков вошел к себе в каюту, со злостью швырнул шляпу на стол и скинул с плеч потный, пропахший порохом мундир. Сел к столу, обхватив голову руками.

Все-таки брала досада.

— Федор Федорович, что с вами? — тихо спросил денщик, зажигавший свечу.

— Как что? — закричал Ушаков. — Разве не видишь?

— А что такое? — Федор подбежал к иллюминатору.

Но там была ночь и ветер. Он посмотрел на адмирала: кажется, цел, невредим, все корабли налицо.

— Дурак! Не понимаешь: турок может опять уйти!

Федор повеселел:

— Куда же он такой непогодой уйдет? Потонет! Покушайте да лягте отдохните — на вас лица нет. Почернели за день. Утро вечера мудренее!

— Это пороховая копоть, — провел рукой по щеке Федор Федорович. — Давай умыться да поесть чего-либо.

А наверху Васька Легостаев растерянно спрашивал у Власьича:

— Дядя Власьич, а дядя Власьич, как же я буду спать?

— Поспишь!

— Мою койку и все со шкафута ядром сбило.

— Бери вон Митюхину — его ранило, — сказал товарищ. — Его койка цела, а твоей нет. Зато ты сам цел!

XVII

— Нерон Иваныч, а Нерон Иваныч! — испуганным шепотом взывал денщик, тряся капитана за плечо.

Капитан Веленбаков всегда спал крепко, а после вчерашнего боевого дня, когда всем хватило работы, и подавно.

— Нерон Иваныч, проснитеся! Беда!

Веленбаков открыл глаза и в полутьме недовольно смотрел на денщика. Вставать не торопился.

Капитан был лихой, не боялся ничего на свете, а денщик попался мнительный, трусил всего, как последняя баба.

— Ну чего ты? Какая склянка?

— Первая в начале.

Ложась спать, Веленбаков знал точно, что на его 44-пушечном фрегате «Амвросий Медиоланский» все благополучно. Вчера дрались с турками отменно, а сами отделались легко: двумя реями да пробитыми парусами. И потому ни о какой беде, кажется, не могло быть и речи.

— Что стряслось?

— Турки, ваше высокоблагородие! — шептал денщик.

— Заладил одно: турки да турки, — почесываясь и зевая, поднялся и сел Веленбаков. — Ну что турки?

— Турки окружили нас!

— Что ты говоришь?..

— Истинный Господь, окружили! Десять фрегатов! Сейчас прибежал с вахты мичман — на нем лица нет. Буди, говорит, поскорее капитана! Турки кругом... Конец!

— Довольно врать! — покрыл Веленбаков своим громоподобным басом шепот денщика. Но все-таки поспешил одеться и выбежал наверх.

Чуть светало. На шканцах стояли кучка старших офицеров и вахтенный мичман. Веленбаков оглянулся, и сердце у него захолонуло: в самом деле, «Амвросий Медиоланский» каким-то образом оказался среди турецких фрегатов. Правда, их было не десять, как уверял денщик, а всего лишь пять, но и этого достаточно. Турки стояли близко: один в кабельтове, другие — в полутора.

А за ними виднелся русский флот, тоже невдалеке, — не дальше чем на ружейный выстрел от крайних турецких фрегатов.

«Стыд и срам! Где стали на якорь! Что скажет Федор?» — мелькнула мысль об Ушакове.

И тотчас же обожгла другая: потопят! Сейчас совсем рассветет, разглядят и потопят. И винить некого: вчера становились на якорь, ночь — глаз выколи, ветер. А турки, сволочи, были к тому же без огней.

Он подошел к своим офицерам.

— Что будем делать, Нерон Иванович? — бросился к нему вахтенный.

— Обрубать канат и вступать под паруса, — поспешил высказать свою мысль старший офицер.

— Пока ты поставишь паруса, тебя пустят ко дну! — возразил артиллерийский лейтенант.

— Так что же делать?

— Первое: не робеть! — выпучил и без того выпученные светлые глаза Веленбаков. — Меньше страха, больше дела. Флаг не подымать. Прикинемся турками. Будем делать то, что и они, а там — посмотрим. Лишним на виду не торчать. Артиллеристам и очередной вахте быть наготове! Туркам скоро будет не до нас: разглядят Ушак-пашу. Нас не заметят. А увидят — дадим бой.

В это время мимо «Амвросия Медиоланского» прошла турецкая шлюпка. Гребцы в красных фесках что-то горланили, не обращая внимания на чужой фрегат.

Веленбаков поручил старшему офицеру и вахтенному следить за тремя фрегатами с левого борта, а сам не спускал глаз с двух справа.

Нерон впервые видел так близко неприятеля.

Турецкие фрегаты, построенные по французским чертежам, были хороши, хотя им сильно досталось от русской артиллерии. Пушки были английские, медные, но выглядывали они из портов как попало. Одни смотрели вверх, будто собирались палить по чьим-то брамстеньгам, другие, опустив хобот вниз, готовились топить шлюпки.

Кое-где порты были разворочены русскими ядрами, и в портах, свесив ноги, сидели флегматичные турки и курили. Палубы фрегатов завалены обломками рей и мачт, драными парусами и разным хламом. Вповалку лежали матросы. Доносились стоны раненых, — у турок лекарей не было и в помине.

На турецких фрегатах всё еще не думали о побудке.

Уже окончательно рассвело. Восток заалел, — скоро должно было взойти солнце.

Веленбаков смотрел на турок и со злостью думал: «Когда же они начнут сниматься с якоря?»

И вот с флагманского корабля грохнула сигнальная пушка: капудан увидал наконец, в каком опасном соседстве он находится. И тотчас же на фрегатах поднялась невероятная суматоха. Какие-то турки в чалмах — очевидно, офицеры — бегали по палубе и стегали бичами лежавших вповалку раненых и здоровых людей.

Разноголосые крики и турецкая и греческая ругань повисли в воздухе. Оборванные, одетые в лохмотья люди вскакивали и бросались к мачтам, готовясь ставить паруса.

Турецкие корабли подняли флаги, выбрали якоря и вот уже начали одеваться парусами.

Веленбаков приказал сняться с якоря, но флага не подымать и не спешить с парусами.

Но все-таки «Амвросию Медиоланскому» пришлось вступить в строй турецких фрегатов.

Турки спешили убраться подальше от Ушак-паши, который, к их счастью, был под ветром.

«Амвросий Медиоланский» стал незаметно отставать от турок. Вот уже кабельтов, вот другой, третий...

— Поднять флаг! — крикнул Веленбаков.

Над «Амвросием Медиоланский» взвился русский андреевский флаг.

— Петров, дай им на прощанье! — весело крикнул артиллерийскому лейтенанту Веленбаков.

Фрегат поворотился и ударил из 24-фунтовых пушек квартердека[1] по турецким фрегатам.

Когда «Амвросий Медиоланский» становился на свое место в ордере русского флота, товарищи встретили отважного, находчивого капитана радостными криками «ура».

XVIII

Погоня продолжалась. Турки рассыпались по морю в беспорядке.

Два больших турецких корабля — 74-пушечный «Капитание» под флагом знаменитого адмирала Саит-бея и 66-пушечный корабль «Мелеки Бахри»[2] — сильно отстали от своих. Из-за повреждений, полученных во вчерашнем бою, они не могли поспеть за капуданом. Гуссейн улепетывал как только мог, не заботясь о других.

Ушаков смотрел в трубу, как с каждым часом сокращается расстояние между ними и авангардом Голенкина, и смеялся:

— Нет, теперь, брат, не убежишь!

Еще до полудня русские окружили этих двух беглецов.

Кумани на 46-пушечном корабле «Иоанн Богослов» первый настиг «Мелеки Бахри» и ударил.

Паруса на «Мелеки Бахри» повисли клочьями, словно тряпье, развешанное для просушки.

На верхней палубе теснились турки. Они махали белыми тряпками и что-то кричали.

«Мелеки Бахри» сдался.

Тотчас же с «Иоанна» спустили шлюпки с матросами под командой лейтенанта, и над бывшим «Владыкой морей» заколыхался андреевский флаг.

— Молодец, Николай Петрович! — похвалил старика Кумани Ушаков.

Трофей оказался неплохим: «Мелеки Бахри» был недавней стройки и мало пострадал в бою.

---

[1] Квартердек — кормовая часть верхней палубы.

[2] Мелеки Бахри — владыка морей.

«Капитание» остался совсем один. Молодой капудан вероломно бросил своего престарелого советника.

Ушаков вывесил сигнал командиру авангарда Голенкину: «Стараться взять корабль в плен».

«Капитание» являлся самым лучшим кораблем в турецком флоте. Пушки на нем были только медные. Он шел к мелководью у Кинбурнской косы, еще тщетно надеясь, что капудан все-таки придет к нему на помощь.

Первым настиг «Капитание» 50-пушечный «Андрей». Он бил беглым огнем.

— В фор-марсель угодили. Молодцы! — сказал Ушаков.

— Теперь он убавит рыси! — улыбнулся флаг-капитан Данилов.

«Капитание» заметно сбавил ход. А тут подоспели «Георгий», «Преображение» и «Мария Магдалина» с командиром авангарда Голенкиным.

«Гаврюша старается! — с удовлетворением подумал о верном и храбром товарище Ушаков. — Хороший кус поймал!»

Но «Капитание» отчаянно отбивался, не думая спускать флаг.

— Вот упрямый старикашка! — говорил Ушаков, глядя в трубу. Это уже начинало его злить.

— Ишь как угодил в «Андрея»!

— Из экипажа у турок лучше всех артиллеристы, ваше превосходительство, — заметил Данилов.

— Ничего не выйдет. Придется его пустить ко дну! — сдвинул шляпу на затылок адмирал.

Он приказал подойти к турку с на-ветра.

«Рождество Христово» было саженях в тридцати от «Капитание». На верхней палубе у турок осталось мало народу — только валялись раненые и убитые. Все, очевидно, укрылись в нижний дек.

— Всыпать ему за упрямство! — крикнул в рупор Ушаков.

Еще мгновение, и «Рождество Христово» вздрогнуло от сильного толчка: это дали залп одним лагом. Все потонуло в пороховом дыму и копоти. Послышался страшный треск и крики.

Когда дым рассеялся, на «Капитание» не оказалось ни одной мачты. Корабль от бака до юта представлял причудливое нагромождение бревен, досок, рваных парусов и снастей. Но в нижнем деке блеснул огонь, и «Рождество Христово» потряс удар.

— Подлец — угодил в нашу фок-мачту! — сказал встревоженный Данилов.

— Сто́ит?

— Еще держится.

— Выкурить их брандскугелями! — крикнул взбешенный Ушаков.

Артиллеристы не заставили себя ждать. Еще минута — и из нижнего дека «Капитание» повалил густой дым и послышались крики турок.

«Рождество Христово» успело поворотить и стало бортом против изукрашенного разными цветами и плодами носа турецкого корабля: Ушаков приготовился дать еще один залп. Он был бы для «Капитание» смертельным, потому что корабль и так уже заливало водой.

Но тут наверх изо всех люков повылезли галионджи и абабы[1]. Пробираясь сквозь обломки мачт и рей, как через бурелом, давя друг друга, появились сотни турок. Они кинулись к бортам, крича: «Аман! Аман!»

А черный густой дым все больше выбивался из портов.

Сухое дерево, смола и краска горели с шумом, ярко и весело.

Ушаков велел прекратить бой. По морю прокатилась бодрая дробь барабана.

Адмирал приказал спустить вооруженные шлюпки, чтобы снять пашу, а самим отойти подальше: пожар на «Капитание» быстро распространялся, и можно было ждать взрыва крюйт-камеры[2].

Шлюпки подошли к «Капитание». К трапу с диким ревом бросились толпы народа. Турки толкали друг друга, дрались. Личная охрана трехбунчужного паши Саит-бея с трудом саблями и ятаганами пробила дорогу к трапу Саит-бею и капитану корабля Магмет-Мустафе-аге. С ними в шлюпку успели сесть семнадцать разных чиновников и шут турецкого адмирала.

Остальным русским шлюпкам пришлось отойти назад. Пристать к «Капитание» было бы трудно, потому что усилился ветер, а из нижнего дека било пламя. Кроме того, их потопила бы масса обезумевших людей, которые и так уже начали бросаться с горящего корабля в море.

Ушаков велел перекрепить паруса потуже, чтобы в них не могла завалиться искра, и обливать их водой.

Он с минуты на минуту ждал взрыва турецкого корабля.

Матросы на руках внесли на шкафут трехбунчужного пашу.

Саит-бей, глубокий старик, жевал сухими губами и растерянно повторял:

— Яваш! Яваш![3]

Бомбардир Власьич ответил с улыбкой:

— Знаем, ваше превосходительство, что ты, брат, теперь наш! Никуда не денешься. Васька, держи его, сукина сына, покрепче: ерзает, старый черт! — обернулся он к Легостаеву, несшему с ним пашу.

И тут раздался страшный взрыв. Все кругом заволокло дымом. Сверху на корабль посыпались головешки, доски, куски канатов, а

---

[1] Абаб — вольный матрос *(турецк.)*.

[2] Крюйт-камера — пороховой погреб.

[3] Яваш — потише *(турецк.)*.

потом послышался плеск — и все смолкло: это взлетел на воздух и затонул 74-пушечный «Капитание».

Ушаков встретил Саит-бея на шканцах. Престарелый турецкий адмирал подошел и, глядя исподлобья, как затравленный зверь, приложил руки ко лбу.

— Это его превосходительство адмирал Ушаков! — сказал ему по-турецки переводчик.

— Ушак-паша! — повторил с почтением Саит-бей, пристально глядя на знаменитого русского адмирала.

И еще раз низко склонился, приложив руку к своим сединам.

XIX

Когда пришли в Севастополь, адмирал Ушаков пригласил к себе всех своих боевых командиров на обед отпраздновать такую замечательную победу.

Турки потеряли три самых лучших линейных корабля; флагманский 74-пушечный корабль не дошел до Константинополя — затонул в пути. В пути же погибло и несколько мелких судов.

Как передавали «купцы», пришедшие в Севастополь, румелийский и абазинский берега были объяты ужасом.

Победа была полная: русский флот отделался небольшими повреждениями. Потери в людях: двадцать один убит и двадцать пять ранено.

Товарищи делились за обедом впечатлениями боя. Ушаков, посмеиваясь, рассказал, как Саит-бей, едва взойдя на палубу «Рождества Христова», стал проклинать своего малодушного двадцатидвухлетнего капудана Гуссейна.

— Как это он цветисто ругался? — спросил адмирал у Данилова.

«Презренный сын мыши и зайца!» — вспоминал флаг-капитан.

— Жаль, на «Капитание» погибла вся турецкая казна! — сказал командир «Рождества Христова» Елчанинов.

— Да, пригодилась бы для наших годовых порционных денег, — согласился Федор Федорович.

Смеялись, вспоминая, как пленные турки, которых выловили после гибели «Капитание» из воды, боялись всходить по трапу на русский корабль.

— Думали, что мы им сейчас же отрубим головы!

— У турок, брат, долго не разговаривают: на кол или секим башка! — сказал Кумани.

Своеобразными героями дня оказались двое капитанов: Кумани и Веленбаков.

Сын Кумани, шестнадцатилетний гардемарин Михаил, находился с отцом на «Иоанне». Во время боя он испугался артилле-

рийского огня турок, которые были на пистолетный выстрел от «Иоанна», и спрятался в деке за мачтой, с противоположной от турок стороны. Отец случайно заметил это, вытащил Михаила, посадил гардемарина на заряженную 24-фунтовую пушку и выстрелил.

— Больше не прятался? — смеялся Ушаков.

— Не-ет!

— Значит, отбил охоту праздновать труса?

— Думаю — навсегда!

Веленбакова все хвалили за самообладание и находчивость, которые он проявил, очутившись со своим фрегатом в гуще турок.

— Знаешь, Нерон, я уже, признаться, не думал, что ты выйдешь живым из этой дикой истории, — сказал Голенкин.

— Веленбаков переночевал в одной мазанке с чумным и то остался жив! — вспомнил капитан «Святого Павла».

— Я как увидал, где стоит «Амвросий», мне даже стало жарко, — говорил капитан Заостровский.

— Да-а, беспокоился и я, нечего греха таить! — признался Ушаков. — Но знал: Веленбаков — русский человек, не растеряется!

— Спасибо, Федор Федорович, — смеясь поклонился адмиралу Веленбаков. — Не за себя, а за русский народ спасибо!

XX

На кораблях Севастопольской эскадры шла горячая работа. Весна была не за горами, и приходилось готовиться к следующей кампании, — турки не успокаивались.

Минувший 1790 год прошел славно — побили турок в Керченском проливе и у Тендры, и корабли требовали ремонта: изорвались паруса, вытянулись снасти, из щелей повылезла конопать, южное горячее солнце выварило из палубы и снастей всю смолу.

И команды работали не покладая рук.

Плотники стучали топорами, такелажники ходили измазанные смолой и дегтем. Конопатчики, как мухи, облепили весь корабль сверху донизу.

Ушаков ненавидел канцелярские дела, но хозяйственные любил и умел ими руководить.

— Следите, чтоб смола не перекипела, а то будет сильно крошиться, — предупреждал он в одном месте.

В другом обратил внимание на пеньку:

— Гнильем пахнет. Десятник, почему, взял второй сорт?

Так он ходил сегодня целое утро и смотрел, как ремонтируют корабли и фрегаты, а теперь возвращался домой.

Федор Федорович был доволен, что кончается еще один зимний день, что скоро весна и скоро опять в море...

На берегу не было того раздолья, как в море.

Он вошел в прихожую и остановился: из приемной доносились чьи-то спорящие голоса.

— Не надо, маменька, я один, — умолял молодой, незнакомый голос.

— Я пойду с тобой, адмирал меня хорошо знает, — возражал женский голос, который Федор Федорович сразу узнал.

— Но ведь я не маленький. Я — мичман!..

Ушаков быстрыми шагами пошел через приемную к себе в кабинет, делая вид, что не замечает сидящих у окна посетителей.

Он снимал шинель, а руки у него дрожали.

«Это Любушка с сыном. Неужели Егорушка уже мичман? Так скоро? Хотя после встречи в Херсоне прошло — подумать только! — восемь лет. Значит, восемь лет не видались!»

Как часто Федор Федорович вспоминал ее, думал о ней! Ждал этого часа, когда опять увидит ее все озаряющую улыбку, услышит ее милый голосок.

И вот она здесь.

Федор Федорович сел за стол. Машинально перебирал какие-то бумаги из Адмиралтейств-коллегий, а думал о своем.

Вошел секретарь, подпоручик Федор Чалов:

— К вам, ваше превосходительство.

— Кто?

— Из Петербурга прислан мичман Метакса. С ним его мать. Просит принять вместе.

— Проси! — сказал, стараясь говорить посуше, адмирал.

Он не смотрел на дверь, делая вид, что занят бумагами, но с нетерпением ждал: когда же, когда она войдет!

В кабинет шагнул молодой черноглазый мичман. Сзади, радостно улыбаясь, шла Любушка.

Адмирал поднял глаза. Он не смотрел на Любушку, но успел заметить, что она как-то похорошела.

— Честь имею явиться, ваше превосходительство. Мичман Егор Метакса. Прибыл в ваше распоряжение! — отчеканил молодой человек давно заученную речь и подал рапорт.

Федор Федорович взял рапорт.

— Прошу садиться, сударыня! — вежливо обратился он к Любушке.

Они впервые встретились глазами. Федор Федорович порозовел. Любушка смотрела на него восторженно.

Ушаков окинул мичмана взглядом с ног до головы. Черноглазый Егорушка был, видимо, больше похож на отца. Лицо серьезное. «Хороший паренек».

— Когда окончил?

— В июле прошлого года.

— Которым?

— Четвертым, ваше превосходительство.

Ушаков улыбнулся:

— Я тоже когда-то окончил четвертым. Где плавал? Конечно, до Готланда?

— Точно так.

— Эволюции морские учили по иезуиту Госту?

— Да, по Павлу Госту.

— И читали «Книгу полного собрания об эволюции», перевод с французского господина капитана Семена Мордвинова?

— Точно так.

— Пятьдесят лет учат всё тому же, — с грустью покачал головой Ушаков, уже спокойнее глядя на Любушку и улыбаясь. — Ну, господин мичман, у нас научишься воевать не по французским или английским образцам, а по русским!

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— Морское дело любишь?

— Люблю, ваше превосходительство.

— И знаешь его? Подходя к кораблю, не будешь приставать носом к корме, а?

— Что вы, ваше превосходительство! Извольте проэкзаменовать!

— Покажи-ка руку!

Мичман протянул руку. Ладонь и пальцы были в мозолях от вытягивания снастей.

Адмирал ласково улыбнулся. Он вспомнил, как в такие же годы думал только о выкраивании парусов, вооружении мачт и отакелаживании рей. И любимой музыкой для него было завывание ветра в снастях.

— А может, лучше на бережку, чем на корабле? Вон и маменька, по-видимому, собирается просить об этом адмирала...

Мичман вспыхнул:

— Ваше превосходительство, я — моряк, а не пехотинец!

«Самолюбив, обидчив. Хорошо!»

Мичман начинал нравиться адмиралу.

— Ну, ладно, ладно! Знаю, что наш брат, моряк, не жалует пехоты. Мы в корпусе, бывало, звали пехотного офицера «бубновый валет», а кавалерийского — «пиковый валет». А у вас, интересно, как?

— У нас точно так же, — улыбаясь, ответил уже неофициальным тоном мичман.

— Будь покоен. На берег тебя я сам не пошлю. А вот куда же тебя назначить: на линейный корабль, фрегат или бриг? — спросил он и подмигнул Любушке, словно говоря: мол, посмотрим, куда молодой человек гнет?

— Куда вам будет угодно, ваше превосходительство.

— Он знает турецкий язык, Федор Федорович, — вкрадчиво сказала Любушка.

Мичман сделал движение — был явно недоволен вмешательством матери.

Ушаков с еще большим интересом глянул на Метаксу.

— И хорошо знаешь турецкий? — спросил он юного толмача.

— Почти как русский, ваше превосходительство.

— Это нам пригодится. И на берегу и в море. Я беру тебя к себе в переводчики!

Любушка расцвела. Смотрела благодарными глазами.

— А числиться ты будешь на корабле «Владимир». Это флагманский корабль капитана генерал-майорского ранга Павла Васильевича Пустошкина, которого Любовь Флоровна, вероятно, помнит...

— Как же! Пашенька Пустошкин! — отозвалась Любушка.

— Очень благодарен, ваше превосходительство! — радостно отвечал довольный мичман.

— Ступай отдохни с дороги. Подпоручик Чалов в канцелярии скажет, как и что делать.

— Есть!

Мичман четко повернулся кругом и вышел.

Они остались вдвоем.

Ушаков поднялся из-за стола навстречу Любушке. А она легкими шагами подбежала к нему и бросилась на шею.

— Феденька, милый мой, дорогой! Наконец-то мы снова вместе. Сколько не видались! Я так стосковалась по тебе! — говорила она. — А знаешь, ты стал важный. Настоящий адмирал! Я вижу: Егорушка уже от тебя без ума!

— Это все молодые так. Помню, как я Алексея Наумовича Сенявина обожал... А сынок у тебя хороший. И ты сама все хорошеешь!.. — говорил, улыбаясь, Федор Федорович. — Что же это мы стоим? Садись, Любушка.

Они сели на диван.

— Я согласна, мальчик у меня неплохой: серьезный, неглупый... Да, прости, — я все говорю, а о главном чуть не позабыла. Поздравляю тебя, Феденька, с победой, с Георгием!

— Спасибо, дорогая!

— В Петербурге все сравнивают твои прошлогодние победы с Чесмой.

— Ну что ты, — смутился Ушаков. — До Чесмы далеко!

— Нет, нет, не говори. А как была рада тетушка!

— Настасья Никитишна еще жива?

— Жива.

— И домик у березы цел?

— Стоит.

Перед глазами Федора Федоровича мелькнули картины юности, невозвратного прошлого.

Они замолчали. Смотрели друг на друга.

— А где же вы были все эти годы? — спросил Федор Федорович.

— После Херсона мы устроились в Кронштадте. Павел не хочет больше работать на юге.

— Понятно, — усмехнулся Ушаков. — А как же ты приехала сюда?

— Я сказала, что не отпущу Егорушку одного.

— И ты будешь здесь?

— Буду, мой родненький, буду. Буду видеть тебя!

— У меня, Любушка, есть в Севастополе свой небольшой домик.

— Вот и чудесно. Я буду приезжать в гости.

— Милости прошу! А теперь, Любушка, тебе, пожалуй, надо уходить: неудобно так долго быть у меня — ведь там Егорушка ждет.

— Верно, Феденька. Я пойду!

Любушка поцеловала его и вышла.

Ушаков подошел к столу, сел. Листал бумаги, думал.

Все дни, все годы думал о других: о своих моряках, о флоте; а вот сегодня подумал о себе и Любушке.

Вся их жизнь, еще с Воронежа, изломана...

И невольно пришла на ум всегдашняя мичманская фраза, которую обычно говорят, когда хотят сказать, что все остается без изменения:

А Ивану Лежневу —
Быть по-прежнему!

Эта фраза так подходила к их положению! Да, будет по-прежнему! Не счастье, а только какие-то крохи счастья!..

XXI

Адмирал Ушаков сам допрашивал турка, который на кирлангиче попал в плен в Анапе.

Турецкие корабли снова появились на Черном море: турки все еще не теряли надежды посчитаться с Севастопольским флотом.

Уже десять дней тому назад Ушаков получил донесение о том, что береговые посты видели пятьдесят неприятельских судов, проходивших мимо мыса Айя.

Противные западные и юго-западные ветры не позволяли Ушакову тогда же выйти в море. Кроме того, задерживал ремонт «Иоанна Предтечи», переделанного из взятого у турок «Мелехи Бахри».

А теперь все приготовления были окончены, и этот пленный турок оказался как нельзя более кстати.

Капудан-паша отправил своего чауша[1] за фруктами и овощами на берег.

Чауш пристал в Анапе, не зная, что она уже две недели тому назад занята русскими войсками.

Главнокомандующий Южной армией генерал-аншеф Каховский допросил пленного и немедленно отправил его в Севастополь к Ушакову.

И вместо свежего винограда, лука и перца для своего капудана чауш доставил русскому адмиралу свежие известия о турецком флоте.

Перед Ушаковым стоял пожилой флегматичный турок и с бесстрастным видом, но довольно охотно отвечал на все вопросы адмирала, которые переводил ему Егор Метакса.

— Значит, у турок не пятьдесят, а шестьдесят судов? — переспросил Федор Федорович.

— Да, и в том числе восемнадцать больших линейных кораблей и пятнадцать фрегатов, — ответил Метакса. — Султан выставил против нас всю свою морскую силу, — лучших, опытных моряков. На судах есть иностранные офицеры, на пашинском — три англичанина. Флот собрался в Варне и Калиакрии. Оттуда пошли к крымским берегам. У капудана Гуссейна девять кораблей под флагами на брам-стеньгах.

— Откуда же у них столько адмиралов? — удивился Ушаков.

— Султан собрал флот из приморских владений: алжирских, тунисских, трипольских. Среди адмиралов — храбрый алжирский паша Саит-Али. Известный морской наездник!

— Наездник! — усмехнулся Федор Федорович. — Знаем мы этих наездников! Сказал бы просто: пират!

— Говорит, на кораблях много народу. Всех с матросами — до двадцати тысяч человек. На каждом флагманском кроме экипажа не менее тысячи.

— А-а, понимаю — это для абордажа! — кивнул головой Ушаков.

— Да, он говорит: Саит-Али хочет взять Ушак-пашу по-мальтийски. Уже приготовил лестницы...

— Кого взять? Как сказал турок? — переспросил Федор Федорович.

— Ушак-пашу. Так турки называют вас.

Ушаков чуть улыбнулся:

— Запомнили!..

— Саит-Али поклялся султану, что привезет Ушак-пашу в Константинополь пленником, — докончил перевод Метакса.

Лицо Ушакова залилось краской.

---

[1] Чауш — сержант.

— Ах ты шелудивая алжирская сссобака! — сказал в сердцах адмирал. — Пленником! Грозится взять нас по-мальтийски! А вот мы дадим ему по-русски! Пусть уходит! — указал он на турка. — Все ясно!

XXII

Возле адмиралтейского шлюпочного сарая сидело несколько плотников. Они вышли вместе со своим плотничьим десятником, стариком матросом, покурить.

— Вишь, Семен, какая у нас, в Севастополе, благодать, а тебе все плохо! — наставительно говорил десятник молодому матросу-плотнику, веснушчатому пареньку, который угрюмо курил.

— А чего ж тут хорошего, дядя Степан? Воды и той мало... — нехотя ответил он.

— Как мало? А это что? — указал десятник на голубой простор бухты.

— Ну, соленой воды, этого рассолу — хоть залейся, а пресной — что здесь, что на корабле! Какая же это жизнь! То ли дело у нас дома — река...

— Твоя-то вологодская река разве такая, как море?

— Наша река Сýхона широкая... По ней ходят дощаники в десять сажен длины и насады...[1]

— Не шире моей Волги, а и я привык к морю, — сказал старик матрос. Он знал, что не в соленой воде тут дело. Парня недавно сдали в рекруты, оторвали от семьи, и он никак еще не мог примириться со своим новым положением. — Привыкнешь и ты!

— Верно, дядя Степан, — поддержал десятника молодой быстроглазый плотник. — Поперевости всем так несладко оказывается. Недаром про рекрута у нас и присказка складена: «В Черном море был рекрут-горе. На фрегате служил да по деревне тужил. Снастей не знал — только ел да спал. А ночью на вахту сломя голову прет: боцманский линек его больно бьет. А за что? Да так. За то, что рекрут — дурак! Моря боится, на море злобится. А не знает друже, что не море топит, а лужа!» Вот так-то. Привыкнешь, брат!

— Теперь с водой в Севастополе ничего, жить можно, — продолжал свою мысль десятник. — Сначала было трудновато, это верно. А теперь батюшка Федор Федорович провел из балок. Он мужик хозяйственный. Он у нас, в Херсоне, как чума объявилась, вона чего понастроил.

— Да он и Севастополь отстроил, — поддержал пожилой плотник. — До него здесь домов тридцать, стояло, не более. Ну, извест-

---

[1] Насады — плоскодонные грузовые суда.

но, еще кузницы, сараи, склады. Было село, а теперь — гляди-ко, какой город!

— Город, — насмешливо процедил молодой моряк. — Одно слово: на краю света... Ежели бы не миралтейство это самое, то что с него взять!..

Но старики уже не слушали молодого, говорили о своем.

— Граф Войнович никуда против Федора Федоровича не годился, — вспоминал десятник. — Ни на воде, ни на суше. При Федонисье Ушаков весь бой один выиграл...

— А дали ему только Владимира, а Войновичу — Егория, — прибавил пожилой плотник.

— Войнович — подлец, наябедничал. Ему легко: он из богатых, а наш Федор Федорович в детстве в липовых лапоточках хаживал, вон как!

— Федор Федорович — человек, а Войнович — собака. Войнович знал матросу одно: линьки. А Федор Федорович о нашем брате заботится. Я сам слыхал, как он говорил: «Матрос должон иметь четыре рубашки», — ей-богу, правда! «Одну — на тело, другую — в дело, третью — мыть, четвертую — в запас дожить!» Вот как!

— А, сохрани Господи, застанет кого, кто сменившись с вахты, спит в мокром...

— Да на сальник, на две склянки самое малое упечет. И скажет: для твоей же пользы!

— У него — чистота и порядок. Чтоб койки хорошо уложены, чтоб борты и гальюны окачены водой.

— А ежели увидит — где-либо концы или раздернутые снасти болтаются, тут и боцману и вахтенному влетит!

— Дядя, а это не он пошел? — перебил вологодский паренек, указывая на тополевую аллею.

От адмиральского дома к пристани быстро шел среднего роста плотный моряк в белом мундире. За ним спешил с узелком матрос.

— Да, он, — в одно слово подтвердили старики.

— Должно, опять поход. Не любит наш Федор Федорович долго на бережку прохлаждаться. Ну, полетят с турка перья! А и нам, ребята, пора за дело: покурили, и хватит! — сказал, вставая, плотничий десятник.

XXIII

На следующий день после допроса чауша Ушаков вышел с флотом в море искать капудана и его варварийских адмиралов.

12 июля Ушаков увидал весь турецкий флот под зелеными и красными флагами. Показания пленного оказались верными: у капудана было восемнадцать больших кораблей, десять больших ли-

нейных фрегатов и семь малых, не считая более двух десятков разных мелких судов.

Несмотря на то что турки значительно превосходили силами, они уклонялись от боя. Ушаков оказался наветре, а драться, будучи под ветром, капудан почел бы безумием.

Ушаков бросился в погоню, но опять, как всегда, сказалось преимущество турецких кораблей: они были легче на ходу, и только флагманский 84-пушечный «Рождество Христово» да «Иоанн Предтеча» не отставали от турок.

Остальные суда не могли поспеть и растянулись так, что задние стали едва видны.

Федор Федорович вынужден был дожидаться, когда подойдут остальные.

И тут наступил вечер.

Ушаков рвал и метал: враг снова уходил от него.

В довершение ко всему — засвежело: сильный ветер развел большую волну, трепал корабли.

Еще бой не начался, а уже на кораблях оказались повреждения: на «Святом Павле» сломало бушприт, на бригантине «Климент» надломило фок-мачту.

Приходилось возвращаться в Севастополь для ремонта.

...Только 29 июля Ушаков смог опять выйти в море.

Перед отходом он собрал младших флагманов: командующего авангардом Голенкина и арьергардом — Пустошкина.

— Куда направимся? — спросил своих друзей и верных помощников Федор Федорович. — Я думаю идти к румелийским берегам.

— Скорее всего, Гуссейн там, — согласился Голенкин. — У турок тоже, поди, не без повреждений. Они чинятся где-либо в Варне или Калиакрии.

— Туркам сейчас не до сражений: завтра у них начинается большой праздник — рамазан, — напомнил Пустошкин.

— Вот мы им и устроим праздничек! — потирал руки Федор Федорович.

И Севастопольский флот в трех колоннах направился к румелийским берегам. Отставших судов не было.

Ушаков беспокоился: как-то сложится обстановка? Турецкие адмиралы уже изучили его маневр: бить по флагману.

В первый раз перед ним — опытные мореходцы: девять варварийских адмиралов.

Конечно, придется обрушить главный удар на этого «наездника», Саит-Али.

К Калиакрии подошли в два часа пополудни 31 июля.

Ушаков стоял на шканцах, глядя в зрительную трубу: «Так и есть: у Калиакрии — лес мачт».

С каждым кабельтовом все отчетливее становились знакомые светло-желтые осыпи румелийского берега и ярко выделяющийся среди них темно-красный мыс Калерах-Бурну.

Вон на берегу — батарея. Под ее прикрытием беспечно расположился на обширном рейде весь соединенный турецкий флот капудана. На высоком голом берегу — убогие хатенки. Возле них толпа народа: абордажные команды гуляют. Рамазан в полном разгаре.

А ветер снова у них, — дует с берега.

Везет же басурманам!

Что же делать?

На всех русских кораблях сигнальщики напряженно ждали адмиральского приказа.

А адмирал, не отрывая глаз от зрительной трубы, мучительно думал: как лучше поразить сильного врага?

Хорошо бы заставить капудана драться без абордажных команд, сразу спутать бы все его расчеты и планы.

И вдруг мелькнула мысль: а что, если отрезать турецкий флот от берега?

В морской истории такого еще не бывало... Отрезать можно: можно пройти между берегом и линейными турецкими кораблями, стоящими далеко в море.

Но тут же подумалось: «Ведь это значит подставить себя под два огня? Не под два, а под один — под огонь береговой батареи, — возразил сам себе Федор Федорович. — Если я пройду вдоль берега, турецким кораблям только бы успеть сняться с якоря! Ведь тогда они окажутся под ветром! Турки смешаются. И я поведу бой, как захочу, а не так, как мне навяжет капудан!»

План был готов. Сложный и рискованный, но был. Никаких сомнений больше не оставалось.

— Поставить все возможные! Идти тем же строем! Между берегом и турецким флотом! — приказал Ушаков.

Сигнальщики заторопились, передавая такой необычный приказ.

Федор Федорович мельком глянул на матросов и офицеров.

Сосредоточенны, как-то собранны, но веселы.

Смелый ушаковский маневр до них дошел! Одобрен!

Русский флот в трех колоннах неотвратимо мчался на турок. Словно спешил к ним праздновать вместе радостный, веселый рамазан.

XXIV

Алжирский паша Саит-Али отдыхал у себя в каюте после вчерашней праздничной пирушки у капудан-паши Гуссейна. Он лежал на подушках с кальяном в руке. Июльское солнце чуть спустилось с полудня, и там, наверху, на палубе, было жарко, а здесь, в

полутемной каюте, стояла спасительная прохлада. В раскрытые окна с берега доносились звуки зурны и тамбурина и пьяные крики: это гарнизон Калиакрии вместе с матросами праздновал рамазан. На берег еще с утра съехало с турецких кораблей много галионджи.

Весь турецкий флот спокойно стоял на якоре у Калиакрии, против мыса Калерах-Бурну, под защитою береговой батареи. Суда стояли в линии: капудан-паша — мористее, Саит-Али со своей варварийской эскадрой «Красного флага» — ближе к берегу. Опасаться неприятеля не приходилось: турецкий флот занимал выгодную наветренную позицию, — ветер дул с берега. Можно было спокойно предаваться удовольствиям шумного праздника.

Саит-Али курил, слушая, как за стеной его слуга-негр и грек-переводчик играют в мангалы[1], и лениво думал о том о сем. Мысли его были далеки от войны: он думал об Алжире, о своих двадцати восьми женах. И задремал.

...Саит-Али проснулся от какого-то крика и шума наверху. Он сурово нахмурил брови: кто там из этих ишаков напился так, что смеет стучать над его головой?

Не успел он спустить ноги на пол, как в каюту с перекошенным от страха лицом вкатился негр.

— Русские! Беда! Ушак-паша! — завопил он.

— Где? Что? — вскочил Саит-Али.

Он подбежал к окну, надеясь увидеть за строем кораблей капудан-паши русскую эскадру. Но за кораблями капудана на море не белело ни одного паруса. Зато ясно было видно, как на всех турецких кораблях суетятся люди.

И вдруг начала стрелять береговая батарея. Значит, русские в самом деле где-то близко.

В минуты опасности Саит-Али был хладнокровен. Он грубо оттолкнул негра, который растерянно совал ему то шпагу, то кинжал, не спеша сунул за пояс пистолет и быстро взбежал по трапу наверх.

Глазам Саит-Али представилась невероятная картина: обогнув мыс Калиакрия, шел в строе трех колонн Ушак-паша. Его низко сидевшие корабли неслись всей массой на эти шебеки, бригантины, кирлангачи и прочую турецкую мелочь, которая стояла у самого берега. Не обращая внимания на беспорядочную и малоощутимую пальбу береговой батареи, Ушак-паша упрямо шел напролом. Его план был понятен: он хотел стать между берегом и эскадрой и тем выиграть у турок ветер.

План был прост, дерзок, но верен.

---

[1] Мангалы — турецкая игра, состоящая из доски с двенадцатью ямками, в которые перекладывают небольшие камушки, играя в чет и нечет.

Медлить нельзя было ни минуты. Приходилось вступать под паруса и уходить в море. Не собирать же теперь с берега матросов из всех домов и кофеен. На кораблях и без них оставалось достаточно команды. Невольники-мальтийцы, которые смотрели за парусами, были всегда на месте. Не съезжали на берег и английские офицеры, командовавшие корабельной артиллерией.

— Рубить якорные канаты! — приказал Саит-Али, хотя капудан-паша и без него уже догадался поднять такой сигнал всему флоту.

На турецких кораблях стоял переполох. В промежутках между выстрелами береговой батареи слышались истошные крики и ругань тысяч голосов. Каждый корабль старался поскорее разделаться с якорем, лечь под паруса и убраться в море, не заботясь о других.

Малые суда перемешались с линейными кораблями. Все сбились в кучу, словно стадо овец при виде волка. В этой суматохе два 70-пушечных корабля столкнулись друг с другом. Один из них ударил бушпритом в корму соседа — прошил ее, как иглой.

Саит-Али наблюдал, как капудан-паша окончательно потерял голову. Гуссейн, видимо, не знал, что предпринять, — поворачивал то на один, то на другой галс. Наконец он остановился на правом галсе и стал выстраивать линию своих кораблей, точно собирался удирать в Варну.

А Ушак-паша тремя колоннами неотвратимо спускался на них.

Нерешительность капудана возмутила Саит-Али. Он и не подумал следовать за капуданом: Саит-Али был полон решимости драться с русскими. Ведь султан надеялся только на него! Ведь Саит-Али обещал привезти в Константинополь Ушак-пашу в цепях!

Саит-Али поворотил весь свой флот «Красного флага» на левый галс и стал выстраиваться в линию. Он смотрел в зрительную трубу — что станет делать Гуссейн?

Пристыженный капудан последовал за ним.

Саит-Али шел впереди всех. Он подал сигнал своему авангарду — наиболее быстроходным кораблям — поднять все возможные паруса. Он хотел, в свою очередь, этим маневром попытаться выиграть у русских ветер.

Но и Ушак-паша не дремал. Его флот уже перестроился в одну линию и шел на сближение с турками. А 84-пушечный флагманский корабль «Рождество Христово» не позволял Саит-Али обогнать русских.

Расстояние между противниками сокращалось.

Уже можно было различить лица людей.

Саит-Али хотел сцепиться с флагманским кораблем Ушак-паши, поразить бесстрашного предводителя русского флота.

Его варварийская команда: бедуины, берберы, негры — привычные корсары — оживленной толпой теснились на баке, на шкафуте с абордажными лестницами и баграми, выглядывали из

деков с ятаганами и интрепелями[1] в руках. Предвкушали жаркую рукопашную схватку.

Но сцепиться не пришлось: Ушак-паша опередил и тут. Он ударил из носовых пушек по кораблю Саит-Али.

С грохотом посыпались разбитые в щепы абордажные лестницы, обломки рангоута и досок. Кучу раненых, исковерканных тел корсаров, готовившихся к рукопашной схватке, накрыли обрывки разодранных ядрами парусов и путаницы снастей. Оставшиеся в живых берберы, бедуины, негры с дикими воплями кинулись кто куда, уже не думая об абордаже. Давя друг друга, они теснились у люков, старались укрыться в нижнем деке от смертоносного огня русских пушек. Смятение и ужас, охватившие абордажные команды, передались артиллеристам верхнего дека. Топчи[2], не слушая приказов ни английского, ни своих офицеров, сбились в кучу, испуганно озираясь и крича.

В наступившей минутной тишине зловеще прозвучал чей-то испуганный голос:

— Мы погибли! Аллах против нас!

— Спускай флаг! — крикнул высокий кумбараджи, потрясая прибойником.

Саит-Али не потерял присутствия духа. Он кинулся в самую гущу этих оробевших людей и, выхватив из-за пояса пистолет, выстрелил в кумбараджи. Бомбардир упал.

— К пушкам, презренные трусы! — в бешенстве кричал Саит-Али и колотил пистолетом по спинам и чалмам артиллеристов.

Топчи разбежались по местам.

— Прибить флаг гвоздями! Погибать, но не сдаваться! — рассвирепел Саит-Али.

Невольник-мальтиец, вжимая от страха голову в плечи, полез на флагшток.

Через минуту флаг был прибит к флагштоку.

Но ненадолго.

Ушак-паша уже обогнул пашинский корабль с кормы и ударил по нему в упор всем своим лагом.

Саит-Али показалось, что в этом громе пушек, в свисте ядер на его голову рушится небо: со страшным треском упала перебитая русскими ядрами бизань-мачта. Вместе с ней посыпалась в воду резная золоченая корсарская корма — только зазвенели разбитые стекла.

Оглушенный, окровавленный, стоял Саит-Али в этой путанице снастей, как в паутине. Сквозь густые облака порохового дыма он увидал и запомнил на всю жизнь две вещи: в обломках рангоута

---

[1] Интрепель — абордажный топор.

[2] Топчи — канониры.

свой разорванный, поверженный флаг да на юте флагманского русского корабля — человека в белом мундире и треуголке. Глядя на Саит-Али, этот человек зло потрясал вслед ему кулаком.

Саит-Али догадался: то был непобедимый Ушак-паша.

XXV

Адмирал Ушаков хотел во что бы то ни стало захватить в плен или утопить этого наглеца и хвастунишку алжирского пашу Саит-Али. Но как только пашинский корабль увалился под ветер, алжирские и тунисские суда успели заслонить своего адмирала. Весь удар принял на себя вице-адмирал «Красного флага» и его авангард. Но и они недолго смогли выдержать сосредоточенный, меткий огонь русских пушек, — стали уходить к югу.

Ушаков бесстрашно врезался в самую гущу турецких кораблей. Флагманский корабль бил с обоих бортов — по кораблю Саит-Али и вдоль всего турецкого флота.

Мало-помалу турки оказались окруженными со всех сторон кораблями Ушакова. Русские били в это скопище турецких мачт как по густому лесу. Ни один выстрел не пропадал зря. Устрашенные и потерявшие всякий строй турки беспорядочно отстреливались, то и дело попадая в своих.

Над морем плавали столбы густого дыма, прорезывавшегося яркими вспышками выстрелов. Стало невозможно следить за движениями турок. К тому же совершенно упал ветер. Казалось, что и на этот раз турки благополучно укроются в портах.

Часа через два подул норд-вест. Ушаков кинулся в погоню. Но ветер стал усиливаться и развел большое волнение. Пришлось возвращаться назад.

— Неужели Саит-Али унесет ноги? — огорченно спросил флаг-капитан.

— Никогда! — возразил Федор Федорович. — Смотрите, что делается на море! Ветер доломает то, что перебили наши ядра.

Ушаков оказался прав.

До Константинополя кое-как добралась только алжирская эскадра. Остальные затонули в пути или, разбитые вдребезги, прибились к румелийским берегам.

Алжирская эскадра вошла в пролив ночью. Флагманский корабль Саит-Али, на котором лежало четыреста пятьдесят человек убитых и раненых, начал тонуть. Он стрелял из пушек, прося помощи, а турки думали, что в Босфор уже прорвался страшный Ушак-паша.

Весь Константинополь всполошился. Султан был настолько напуган всем случившимся, что послал гонца к великому визирю на

Дунай, приказав ускорить мирные переговоры с Россией, которые до этого турки сами же затягивали.

Ушаков не знал об этом. Он стоял у румелийских берегов, у мыса Эмене, спешно чинил поврежденные в бою суда.

Ремонт оказался небольшим. На эскадре день и ночь стучали топоры. Адмирал не спал сам, следил за всем, торопил:

— Поднатужьтесь, братцы! Добьем турка!

Он решил идти прямо в Константинополь, чтобы окончательно уничтожить остатки разбитого турецкого флота, собранного султаном со всех морей.

Повреждения на судах починили за трое суток.

Ушаков сначала направился к Варне. Он получил сведения, что там укрылась часть турецкого флота. Федор Федорович хотел сперва разделаться с ним.

8 августа показалась Варна.

И вдруг от берега отделились два турецких кирлангича и смело пошли навстречу русским.

— Гляди, гляди, турок прет в атаку!

— Чудеса в решете! — смеялись русские моряки.

Кирлангичи еще издали начали подавать какие-то знаки.

Ушаков смотрел в трубу, ничего не понимая. Злился:

— Ну и сигнальщики! Черт ли их разберет, чего они там хотят!

— Ваше превосходительство, машут белым. Сдаются! — радостно крикнул вахтенный лейтенант.

— Пусть подходят!

Кирлангичи подошли к флагманскому «Рождеству Христову».

Турецкие матросы глядели на русские корабли искоса, но с любопытством. А наемные греческие моряки толкались на верхней палубе, смеялись и что-то радостно кричали.

Вскоре на шканцы «Рождества Христова» взошел, прикладывая руки к груди, турецкий офицер. Он вручил пакет.

В пакете было уведомление командующего сухопутной армией князя Репнина о том, что между Россией и Турцией заключено перемирие и военные действия прекращены.

— Ну, счастлив турецкий бог! — сказал Федор Федорович. — А жалко: раз и навсегда покончили бы с оттоманским флотом!

Но делать было нечего, — пришлось идти домой, в Севастополь.

Потемкин чрезвычайно обрадовался блистательной победе Черноморского флота. Он писал Ушакову:

«С удовольствием получил я рапорт Вашего превосходительства... об одержанной Вами над флотом неприятельским победе, которая, возвышая честь флага Российского, служит и к особливой славе Вашей. Я, свидетельствуя чрез сие мою благодарность Вашему превосходительству, препоручаю Вам объявить оную и всем со-

участвовавшим в знаменитом сем происшествии. Подвиги их не останутся без достойного возмездия».

Это было последнее поздравление светлейшего: через два месяца его не стало.

Место Потемкина занял очередной любимец императрицы, ничем не замечательный Платон Зубов.

Адмиралтейство было переведено из Херсона в новый город Николаев, основанный на Бугском лимане у Черного моря.

Войны не предвиделось. Ушаков, как старший член Черноморского правления; зиму и весну жил в Николаеве.

XXVI

Денщик вице-адмирала Федора Федоровича Ушакова Федор Скворцов стоял на подоконнике и протирал верхние стекла окна. Адмирала не было дома — он с утра ушел на верфи, и Федор принялся за уборку.

В квартире все сияло, как на корабле. Медные ручки дверей начищены до умопомрачительного блеска, полы натерты воском — хоть смотрись в них.

Федор чуть дотягивался рукой до верхних рам, не спеша вытирал и не спеша пел. Пел он не сильным, но приятным тенорком:

Вниз по матушке по Волге...

И вдруг снизу чей-то бас очень хорошо подхватил:

По-о широкому раздолью...

«Кто это? Пустошкинский Иван? У того тоже бас, но Иван непереносимо козлит, а этот поет верно!»

Федор глянул через плечо вниз.

В комнате стоял небольшой худощавый человек в белом кителе нараспашку. На макушке — хохолок седых волос, одна прядка падает на высокий лоб. Глаза быстрые, молодые, хотя певцу, видать, годков немало.

«Кто это? Военный аль так?»

В Севастополе он знал всех, а тут, в Николаеве, они жили недавно и временно.

Федор обернулся и виновато сказал:

— Простите, ваше... ваше...

Он не знал, как и величать гостя: ни погон, ни кавалерии.

— Я и не слыхал, как вы изволили войти.

— Помилуй Бог, а ты хорошо поешь! — похвалил гость. — Как тебя звать, братец?

— Федор.

— Федор, а ты на клиросе пел?

— Не довелось — сдали в рекруты. Отец пел. У нас, ваше-ство, вся семья певучая, недаром и фамилия — Скворцовы. Бывало, вечер, мать в огороде поливает капусту и поет. А кругом такая благодать. Солнышко уже зашло. Закат бледно-розовый, а небо голубое, высокое, ясное...

— А с лугов пахнет цветами и вечерней свежестью, и у речки коростель: «дерг-дерг!» — в тон ему продолжил гость.

— Так, так. Истинная правда! И скажите, как верно, словно там были, — умилился Федор. — Поёшь, и вся душа поет!..

— А на море небось этого нет? — спросил гость.

— Где там! На море что? Вода и вода. Ни травки, ни цветочка. Одни волны. И качает тебя и купает. Сказано, ваше сиятельство: хляби!

— А ты почему величаешь меня «ваше сиятельство»? Помилуй Бог, я не князь!

— Хотя бы и не князь, а лучше князя! Так понимаете все наше... Что же это я тут стою?!. Простите, ваше сиятельство!

Он проворно соскочил с подоконника:

— Вы к Федору Федоровичу пожаловали?

— Да, заехал проведать дорогого друга.

— Прошу покорнейше садиться. Они сейчас будут. Может, умыться желаете с дорожки?

— Облиться бы водой хорошо!

— Извольте сюда, ваше сиятельство!

И Федор увел гостя.

Адмирал Ушаков вошел в переднюю и удивленно остановился. У окна сидел какой-то пожилой человек в полувоенном зеленом кафтане. Он смешно клевал толстым красным носом — дремал.

«Это какой же пьяница к нам затесался?» — подумал Федор Федорович.

Пьяных он не переносил.

Ушаков подошел к человеку и потряс его за плечо:

— Проснись!

Человек недовольно открыл глаза.

— Я вовсе не сплю, — неласково ответил он.

— С какого корабля?

— Как — с корабля? Я не на корабле, а на тройке приехал.

— Откуда?

— Из Знаменки.

Ушаков удивился: из какой такой Знаменки?

— Как — из Знаменки? Верно, из Херсона?

— Нет, из Знаменки. В Херсон мы тольки еще едем, — упрямо твердил угрюмый человек.

— А ко мне по какому делу?

— К вам? В гости.

— Тебя как звать?

— Прохор Иванович Дубасов.

— Что-то не помню, — нахмурился Ушаков. Подумалось: «Может, какой-либо крепостной из вотчины, кого я не знаю?» — Ты тамбовский?

— Нет, московский.

— Ничего не понимаю.

— А тут и понимать-то нечего!

— Да ты кто? — начинал уже терять терпение Федор Федорович.

— Так бы и спрашивали: я камардин его высокопревосходительства графа Ляксандры Васильича Суворова-Рымникского!

— Один?

— Зачем один? С им самим.

— А где же Александр Васильевич?

— Тама, лясы точит, — указал Прошка на комнаты.

— С кем?

— Да бог его знает. Он со всяким горазд.

Ушаков бросился в комнаты. За ним, позевывая, не спеша двинулся Прошка.

В столовой сидел освежившийся после купанья Александр Васильевич Суворов и пил квасок. Перед ним стоял сияющий денщик Федор.

— Ваше высокопревосходительство, Александр Васильевич, как я рад! — сказал Ушаков, идя к Суворову.

— Без чинов, без чинов. Здравствуй, дорогой Федор Федорович. Дай я тебя обниму, нашего черноморского героя!

Суворов обнял Ушакова и, целуя, каждый раз приговаривал:

— Фидониси, Тендра, Гаджибей, Калиакрия!..

— Александр Васильевич, ежели я начну перечислять все ваши подлинно блистательные победы, до утра здороваться придется!

Суворов смеялся:

— Это правда: у меня именин много — Туртукай, Козлуджи, Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил... Много, много, всего не упомнишь!.. Я, Федор Федорович, еду к новому назначению, в Херсон. Опять будем соседями. Вот умылся у тебя с дороги, квасок пью. Скворушка меня угощает.

— Ну какое же это угощенье! — поморщился Ушаков. — Беги к повару, чтоб живее, и... — обернулся Ушаков к денщику.

— Понимаю, ваше превосходительство, — ответил Федор и убежал.

— А не рановато ли обедать? — глянул Суворов.

— Нет, нет. Уже вторая склянка. Покушаете нашего флотского борща.

— С перцем?

— С перцем, — улыбнулся Ушаков.

— А денщик у тебя, Федор Федорович, расторопный. И к тому же пиит!

— Болтун! — махнул рукой Ушаков.

— А ты чего? — уставился Суворов на Прошку, который стоял у двери.

— Раз я ваш камардин, то где же мне и быть, как не при вас?

— Вот видал, какой у адмирала денщик? Вежливый, не такой, как ты. Не денщик, а поэт!

— Поет-то поет, да посмотрю, где сядет... — мрачно буркнул Прошка.

— Конечно, поет. И поет нежным тенорком. А ты рычишь басом. Ровно из винной бочки.

— Бас во сто раз лучше тенора. Недаром все протодьяконы — басы!

— Твоя фамилия как?

— Ай позабыли? Прохор Дубасов.

— А его — Скворцов. Не зря говорится: по шерсти и кличка. Назван — Дубасов, стало быть — дубина. А то — Скворцов.

Прошка угрюмо сопел.

— А вот это знаешь кто? — указал Суворов на Ушакова. — Его превосходительство вице-адмирал Федор Федорович Ушаков. Сам Ушак-паша. Он, брат, на море хорошо турка бьет!

— А мы их разве плохо бивали?

— Так это — на суше, а то — на море. На море труднее.

— На море легше...

— Это почему?

— Пробил евонную посудину, они все и пойдут на дно...

— Ну, ступай к Федору, помоги ему! Только в графины не больно заглядывай!

— Скажете! — уже веселее ответил Прошка и быстро исчез.

Во время обеда они говорили о войне с турками. Александр Васильевич охотно рассказывал о Кинбурне, Рымнике, о штурме Измаила, в котором участвовала и лиманская флотилия. Просил Федора Федоровича побольше рассказать о своих морских викториях.

Но Ушаков не умел говорить пространно. Все победы в его рассказе уложились в полчаса.

— Я вижу, дорогой Федор Федорович, у нас много общего в тактике, — сказал Суворов. — Вы ведь тоже исповедуете: «глазомер, быстрота, натиск»?

— Глазомер и натиск у меня, может, и есть, а вот быстротой похвастать не могу: турецкие корабли, к сожалению, лучшие ходоки, чем мои.

— Но вы ведь не раз нападали на них как снег на голову?

— Бывало, — улыбнулся Ушаков.

— Внезапность — та же быстрота. Главное — напугать врага: напуган — наполовину побежден. А вас и меня турки боятся. Одного нашего имени. Недаром прозвали по-своему: вас — Ушак-паша, меня — Топа́л-паша[1].

Не забыл Суворов и чуму в Херсоне.

— Победить чуму — это, помилуй Бог, сто́ит Измаила! — восторгался он.

— Вы меня захвалите, Александр Васильевич! — смутился Ушаков.

Вспомнили о графах Мордвинове и Войновиче. Суворов презрительно отозвался о них обоих:

— Немогузнайки. Паркетные шаркуны!

Помянули и покойного князя Потемкина.

Ушаков, зная, что Потемкин относился к Суворову несколько иначе, чем к нему, не особенно распространялся о своем благодетеле.

— А ведь и я — моряк, — сказал вдруг Суворов. — Я имею морской чин!

— Какой? — заинтересовался Ушаков.

— Помилуй Бог, я — мичман. Экзамен даже выдержал!

— Ешьте лучше, чем всякую-то юрунду сказывать! — буркнул Прошка, который помогал Федору подавать на стол. Прошка был недоволен, что барин так унижает себя: Ушаков — адмирал, а Суворов — только мичман.

После обеда Суворов лег на часок отдохнуть.

Проснувшись, начал собираться в путь: он хотел выехать из Николаева вечером, по холодку.

— Ну, до свиданья, дорогой Федор Федорович! — обнял он на прощанье Ушакова. — Прошка, дай-ка рубль!

Суворов никогда не носил при себе кошелька.

— Зачем вам?

— Давай, не разговаривай!

Прошка нехотя достал рубль.

— Вот возьми, Скворушка, — протянул Суворов ушаковскому денщику.

— Благодарствую, ваше сиятельство! Век буду его хранить!

Ушаков тоже подарил целковый Прошке.

— А ты, Прошенька, что же станешь с ним, батюшка, делать, а? — умильно спросил Суворов, подмигивая Ушакову.

— Какие вы любопытные...

— Нет, нет, нет, а ты все-таки скажи нам, а?

— Известно что, — весело ответил Прошка, — выпью за их здоровье.

---

[1] Топа́л — хромой *(турецк.)*.

— А беречь не будешь?

— Ежели б ето медаль в честь их превосходительства была выбитая, ну, тогда еще, конечно, может... А то на ём — императрица. Таких рублев у нас по всей Расее мильён ходит. Что ж его беречь?

— Ах ты, Прошенька, нет в тебе чувствительности! — смеялся Суворов, садясь в коляску.

— Счастливой дороги, Александр Васильевич! — провожал Ушаков.

— До свиданья, Федор Федорович, голубчик! До свиданья, русский герой. Теперь снова будем вместе защищать отечество!

— С вами, Александр Васильевич, на любого врага!

И они расстались.

Но их боевым знаменам суждено было встретиться еще раз, под небом Италии.

И там их вновь осенило лучезарное солнце победы.

XXVII

> Я не пекусь об удержании моего места, но единственно об одной справедливости и о удержании имени честного человека, чем бы я ни был.
>
> *Ушаков в письме Потемкину*

Разгромив столько раз турок на Черном море и отстояв Севастополь, Ушаков мог теперь с полным правом и гордостью писать: «благополучный Севастополь». Он так и ставил под всеми своими письмами. И это соответствовало действительности: Севастополь стоял прочно, рос и цвел. Все его враги — и ближние и дальние — были повержены.

В декабре 1791 года в Яссах был заключен мир. Турки подтвердили Кучук-Кайнарджийский договор и навсегда отказались от Крыма.

Севастополь был благополучен.

Но неблагополучен был адмирал Ушаков: после смерти Потемкина у него все шло под гору.

Правда, в 1793 году он получил чин вице-адмирала, но это еще по представлению светлейшего. Это еще были отголоски Тендры и Калиакрии.

Неблагополучие началось очень скоро. Фаворит царицы Платон Зубов, который после смерти Потемкина был назначен на его место екатеринославским и таврическим генерал-губернатором и которому вверялось управление Черноморским флотом, снова вытащил на свет своего бездарного, но родовитого приятеля Николая Семеновича Мордвинова.

Мордвинова произвели в вице-адмиралы и вновь назначили главным начальником Черноморского правления.

— Держись теперь, Федор Федорович, — говорил Ушакову его старый приятель Кумани.

— Плохо, Николай Петрович, держаться, коли за Мордвинова сам Зубов. И в Адмиралтейств-коллегий у него всё свои — графы. Ворон ворону глаз не выклюет!

— А ведь Голенкин и Пустошкин — члены Черноморского правления, — вспомнил Кумани. — Они поддержат.

— Э, ерунда! Кто такие Пустошкин и Голенкин? Мелкопоместные. У Пустошкина всего-навсего одиннадцать душ крестьян, а у Голенкина — семь.

— Слов нет, Мордвинов — богач. У него только здесь, в Крыму, в Байдарской долине, имение в пятнадцать тысяч десятин. А ведь оно не единственное. Должно быть, в России еще есть родовое поместье. Конечно, Мордвинов с мелкопоместными не считается...

В 1796 году умерла императрица Екатерина. На престол вступил Павел. Мордвинову и это оказалось на руку: как же, ведь его не любил Потемкин! Из флота выгнал Потемкин! Теперь забыли о том, что Потемкин так много сделал для Крыма и флота. И помнили только одно: он был любовником Екатерины!

А Ушакову опять плохо: его ценил Потемкин, одного имени которого не переносил Павел.

Через год врагов у Ушакова стало еще больше: опять выплыл наружу «граф» Войнович, тоже «пострадавший» при Потемкине. Его назначили членом Черноморского правления. И также дали чин вице-адмирала. А за что?

— Пока я бил турок, они оба били баклуши, — горько шутил Ушаков.

Графы получали чины безо всякого труда.

А Ушаков продолжал делать свое дело — укреплять Севастопольский флот. Это тем более было необходимо, что обстановка в районе Средиземного моря становилась напряженной. Революция во Франции закончилась победой крупной буржуазии, которая стала стремиться к захвату чужих земель.

В начале 1797 года французский генерал Бонапарт занял принадлежавшие Венеции Ионические острова. Отсюда прямой путь был к черноморским берегам.

Тотчас же пошли слухи, будто Франция намерена заключить военный союз с Турцией: ведь Франция в течение ста лет неизменно поддерживала на Черном море Оттоманскую Порту.

Тревогу усиливали известия о том, что в Тулоне, Марселе и других французских портах Средиземного моря идет спешная подготовка к какой-то громадной морской экспедиции: собирается

большой флот и десантные войска. В Петербурге предполагали, что удар будет направлен на наши черноморские берега.

И в феврале 1798 года Павел I приказал Ушакову усилить наблюдение за побережьем и привести Севастопольский флот в боевую готовность.

Спустя некоторое время Мордвинов прислал приказ о вооружении двенадцати кораблей. Бумага была написана так уклончиво, что из нее толком ничего нельзя было понять — чего же хочет главный начальник Черноморского флота. Он лавировал и так и этак.

— Ваше превосходительство, я ничего не понимаю. Что же будем отвечать? — спросил флаг-капитан.

— А вот так и надо написать. Он научился там, в Англии, всяким словесным эволюциям, а вот мы ответим ему по-честному, по-русски!

И Ушаков продиктовал ответ:

«Я все предписания вашего высокопревосходительства желательно и усердно стараюсь выполнять и во всей точности, разве что определено нерешительно или в неполном и двойном смысле, чего собою без спросу вновь исполнить невозможно или сумневаюсь».

Флаг-капитан только усмехнулся.

— Ладно ли будет, Федор Федорович? — тихо спросил он.

— Ладно! С этими крючкотворами так только и говорить! — ответил адмирал и подписал письмо.

Ссора нарастала. И наконец разразилась гроза.

В начале мая в Севастополь прибыли два корабля, построенные в Херсоне обер-саарваером Катасановым по мордвиновским чертежам.

Мордвинов, бесславный и бесталанный кабинетный адмирал, решил попробовать свои силы в морском строительстве. Эти два корабля строились под его личным наблюдением. Мордвинов надеялся, что впредь все корабли Черноморского флота будут строиться по его образцам.

После спуска на воду их испробовали в лимане, и комиссия нашла, что они хорошие ходоки. Но требовалось опробовать их на море.

И несмотря на то что Мордвинов из зависти не переносил адмирала Ушакова, Мордвинову пришлось обратиться к нему.

В Севастополь прибыл (но не на «своем» корабле, а на фрегате старой постройки) сам Мордвинов, а с ним член Черноморского адмиралтейского правления вице-адмирал Войнович, командир Херсонского порта контр-адмирал Голенкин, обер-саарваер Катасанов и несколько офицеров адмиралтейства.

Голенкин успел шепнуть Ушакову:

— Мордвиновские корабли никуда не годны: валки. Если б строил кто-либо другой, комиссия забраковала бы их на дрова!

— А как же смотрели? Почему в акте — «хорошие ходоки»?

— Мордвинов нарочно выбрал тихую погоду и нагрузил их меньше, чем положено.

— Как же это можно? — возмутился Ушаков.

— А что же делать? Сам хозяин: сам строил и сам принимал.

— Ну, у меня поблажки не будет! Я в свой флот хлама не допущу! — твердо сказал Федор Федорович.

Ушаков вышел с двумя мордвиновскими кораблями в море. Корабли оказались такими, как говорил контр-адмирал Голенкин: очень валкими. Ходить по Черному морю на них было невозможно.

«Ну и построил кораблик! Рысклив, крутится то туда, то сюда. Под стать самому строителю!» — думал Ушаков.

Ушаков вернулся в Севастополь, который теперь по велению Павла I именовался Ахтиаром, хотя в нем ничто не напоминало о прежней жалкой деревушке.

Тотчас же в адмиралтействе собралась комиссия во главе с Мордвиновым.

Мордвинов сидел напудренный, в новом зеленом мундире, — Павел I ввел их вместо прежних белых. Со всеми, кроме графа Войновича, Мордвинов держался свысока, говорил медленно и некоторые слова произносил на английский манер.

— Как вы находите новые корабли? — стараясь не смотреть на Ушакова, спросил у него Мордвинов.

— Корабли совсем непригодны: они очень валки! — по обыкновению моряков, привыкших говорить на ветру, громко сказал Ушаков.

Войнович вытаращил бараньи глаза. Голенкин насторожился. Офицеры с интересом смотрели на начинающуюся перепалку.

— Вы находите? — сощурился Мордвинов, с ненавистью глядя на Ушакова.

Мордвинов говорил тихо: он, подражая во всем англичанам, старался сохранять хладнокровие.

— Да.

— Однако мы в Херсоне испробовали...

— Значит, проба была ненадлежащая, несерьезная, — перебил Ушаков.

Мордвинов стал бледен, как его парик: замечание было не в бровь, а в глаз.

— Что же, вы не доверяете мне? — прошипел он. — Не доверяете господам членам комиссии, вот — вице-адмиралу графу Войновичу?

— Я верю своим глазам, своему тридцатидвухлетнему морскому опыту, ваше превосходительство!

— Вы слишком самоуверенны! — терял английскую выдержку Мордвинов. — Вы плохо воспитаны, сударь!

— Я воспитывался дома, а не за границей! — подколол Ушаков.

— Вы плохо усвоили то, чему учил вас мой покойный отец!

— Я учился не у вашего отца, у него нечему было учиться: он повторял французские зады. Я учился у Петра Великого!

— Позвольте узнать все-таки, чем вы так кичитесь? — уже кричал, с ненавистью глядя на Ушакова, Мордвинов. — Что вы такое сделали, сударь?

— Я бил турок на море столько раз, сколько раз с ними встречался, ваше превосходительство!

— Ваши победы ничего не стоят: вам везло...

— Побейте их вы хоть раз так, как бил я! — вскочил с места Ушаков.

Он был красен от возмущения и обиды.

— Ваше превосходительство, уйдем, уйдем! Это страшный человек! — тянул Мордвинова за руку перепуганный Войнович.

— Мне больше не о чем говорить с вами, сударь, — дрожа от злобы, ответил Ушакову Мордвинов. — Уйдемте, граф, — обернулся он к Войновичу.

Мордвинов вышел вместе с Войновичем из залы. За ними шмыгнули херсонские офицеры и обиженный Катасанов.

За столом остались севастопольцы да Голенкин.

— Гра-афы! — сказал с презрением Ушаков.

Он вытирал вспотевшее лицо платком. Его давила обида. Он был возмущен, оскорблен, как никогда. Голенкин подошел к нему.

— Не стоило так горячиться, Федор Федорович! Теперь он разведет...

— Пусть! А портить флот я не позволю! Я сегодня же напишу обо всем императору!

Дальновидный Голенкин только вздохнул, но ничего не сказал.

Севастопольцы обожали своего адмирала. Они все были на его стороне и, расходясь, оживленно обсуждали происшествие:

— Ну, брат, и отхлестал наш Федор Федорович этого надутого английского милорда!

— Да, молодец! Прописал Мордвинову боцманских капель!

— Как говорят у нас на Полтавщине: «Списав спину, що и курци негде клюнуть», — хохотал капитан Чечель.

Ушаков до глубокой ночи писал письмо императору Павлу. Он просил царя позволить ему приехать в Петербург и лично рассказать о мордвиновских безобразиях. Ушаков жаловался, что Мордвинов всегда придирается к нему, что сейчас он придрался только потому, что Ушаков дал отрицательную оценку новым кораблям. Федор Федорович писал, а перед ним на столе лежал вновь присланный рескрипт Павла о выходе в море.

Это еще больше растравляло его рану, и Ушаков сильными, гневными строками закончил письмо:

«...При самом отправлении моем со флотом на море вместо благословения и доброго желания претерпел я бесподобную жестокость и напрасные наичувствительнейшие нарекания и несправедливость, каковую беспрерывно замечаю в единственное меня утеснение. При таковой крайности не слезы, но кровь из глаз моих стремится. Смерть предпочитаю я легчайшею несоответственному поведению и служению моему бесчестью».

Горячая, честная натура Ушакова не могла отнестись иначе к вопиющему безобразию.

XXVIII

Утром Федор Федорович отправил с курьером письмо царю и тотчас же справился: сколько еще понадобится времени судам, чтобы запастись пресной водой для похода?

После тяжелого, неприятного разговора с Мордвиновым Федору Федоровичу, больше чем когда бы то ни было, не хотелось оставаться на берегу.

Выяснилось, что хотя корабли наливались уже двое суток, но раньше следующей ночи не успеть.

Приходилось маяться еще целый день в Ахтиаре.

Адмиралтейство с его рапортами, ордерами и промемориями казалось сегодня Ушакову противнее всего: это напоминало Федору Федоровичу о его зависимости от бездушного формалиста Мордвинова.

Хотелось отвлечься, и Ушаков, предупредив денщика, что будет обедать на своей даче, отправился в госпиталь: здоровье моряков было его всегдашней заботой, а каменный двухэтажный госпиталь — любимым детищем.

Ушаков вышел из адмиральского дома и остановился на крыльце. Утро было чудесное — теплое, солнечное.

Адмирал направился к пристани.

В яблоневой аллее у адмиральского дома преспокойно ходила чья-то лошадь — щипала траву по обочине дорожки.

— Безобразие! Опять тут шатаются лошади и ломают деревья! — возмутился адмирал.

— И каждый раз, ваше превосходительство, неизвестно чьи, — прибавил идущий сзади ординарец.

— А вот мы сейчас найдем ей хозяина, — остановился Ушаков. — Вернись и скажи Чалову, чтобы кто-либо забрал ее и отвел к капитану над портом. Пусть повозят на ней камни для постройки, тогда хозяин наверняка объявится!

В госпитале командующего в эту минуту не ждали.

Главный доктор госпиталя фон Вилинг знал пристрастие Ушакова к медицине и всегда опасался его приезда: адмирал приезжал неожиданно и всякий раз находил какие-либо неполадки. Но сего-

дня никто в госпитале не мог бы и предположить, что нагрянет командующий: ведь флот собрался уходить в море.

А Ушаков как раз и явился.

У госпиталя сидели на камнях и просто на земле выздоравливающие, наслаждаясь теплом и солнцем. Кое-кто курил, несколько человек в сторонке играло в «свои козыри», а большинство просто разговаривало, глядя на раскинувшуюся внизу бухту, где чернели корабли. (Раньше корабли красили желтой краской, а Павел I велел красить тиром — в черный цвет.)

Зорким морским глазом следили за шнырявшими по бухте шлюпками, угадывали: куда и зачем они посланы. Лениво перекидывались словами:

— А все-таки веселее смотреть, когда корабли желтые.

— Да, теперь уж больно черны!

— Зато ночью и за кабельтов не разглядишь.

— Никак сам адмирал к нам жалует? — увидал кто-то знакомую, крепкую фигуру Ушакова, который быстро шел к госпиталю.

Все заволновались:

— Где?

— А вон!

— Он самый.

— Вот поглядите, что сейчас тут начнется, — улыбаясь, покачал головой старый матрос, видимо не раз бывавший в госпитале.

— Ребята, прячь карты: адмирал с правого борту! — окликнули увлеченных карточной игрой товарищей: адмирал не любил карт.

Увидев подходившего адмирала, все встали.

— Здоро́во, братцы! — приветствовал Ушаков.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — нестройным хором ответили выздоравливающие.

— Ну, как вы тут?

— Пошло на поправку, ваше превосходительство! — ответил за всех пожилой матрос.

— Это хорошо. Не зря ведь сказано: солдат в поле умирает, а матрос — в море. Выздоровеете!

— А за зиму на бережку уже надоело, ваше превосходительство, — сказал пожилой матрос.

Федор Федорович расцвел: услышать, что в море лучше, чем на берегу, ему было приятнее всего!

— Не бойтесь — еще поплаваем! Набирайтесь только сил. А как же здесь вас кормят?

Матросы молчали. Кто-то вполголоса высказывал свои соображения соседу.

— Ну, чего шепчетесь? Говорите, не стесняйтесь! — оглядывал Ушаков обступивших его моряков.

— Каша жидковата... — начал кто-то.

— И маслица в ней не сыскать...

— Чухнин масло у себя на дому держит. Кладет — никто не видит сколь!

— Вот господин Чухнин идет к нам. Мы его сейчас и спросим про все, — сказал адмирал, увидев спешивших к нему дежурного штаб-лекаря Франца и госпитального комиссара Чухнина с одутловатым сусличьим лицом.

Ушаков выслушал рапорт дежурного штаб-лекаря о количестве и состоянии больных, а потом обратился к Чухнину:

— Вот больные жалуются, что у тебя каша жидка...

На толстое сусличье лицо Чухнина легла тень.

— Каша? Каша, ваше превосходительство, как следует быть!

— А скажи-ка, сколько ты кладешь масла на одного больного?

— Девятнадцать золотников, ваше превосходительство, — облизывая сохнувшие от волнения губы, отвечал Чухнин.

— А может, на весь котел кладешь девятнадцать золотников? — продолжал с легкой усмешкой спрашивать адмирал.

— Никак нет, ваше превосходительство. Все по закону вешаю.

— А кто видел, как ты вешал масло?

— Ж... жена видала...

— А штаб-лекарь был при этом?

— Никак нет.

— Почему?

— Я вешал дома...

— Почему дома? А где же ты масло держишь?

— Держу у себя в погребе... В нем, ваше превосходительство, холоднее, чем на складе... Боюсь, как бы на складе не растаяло...

— Я думаю, у тебя на дому скорее растает!

В толпе больных кто-то хихикнул.

Лицо адмирала утратило всякую веселость.

— Немедля взвесить масло! В присутствии дежурного лекаря. И отнести на склад. Ежели окажется больше, чем должно быть налицо, доложите мне!

И Ушаков быстро пошел к госпиталю.

Рыжий штаб-лекарь Франц бежал сбоку, что-то объясняя адмиралу, а Чухнин отстал.

Он сморкался на землю, со злостью поглядывая на больных, которые только посмеивались.

Пробыв около полутора часов в госпитале, адмирал наконец ушел. Кроме госпитального комиссара досталось и дежурному штаб-лекарю: командующий нашел, что коридоры «обвесились паутиной» и на больных грязное белье.

Вернувшись из госпиталя, Ушаков на минуту заглянул к себе в канцелярию — нет ли чего непредвиденного. Но все оказалось в порядке, и он пошел обедать.

Встречные военные и гражданские почтительно приветствовали адмирала. А Ушаков шел, по-хозяйски осматривая город, для благополучия которого он так много сделал.

От его взора не ускользало ничто.

Вот у строящегося флотского магазейна вольнонаемные мастеровые, собираясь отдыхать в обеденный час, располагались на самом солнцепеке.

Федор Федорович подошел к ним.

— Здешнее солнце не ваше, костромское: поспишь на солнцепеке — голова разболится! Ложитесь в тени, неужели холодно? — сказал адмирал и зашагал дальше.

Потянулись дома семейных морских служителей.

Федор Федорович поглядывал: как живут его моряки, чисто ли содержат дворы?

У одного дома он увидал молодую женщину. Она стирала в корыте белье и тут же выливала в бурьян грязную воду.

Ушаков вошел во двор.

Женщина с удивлением смотрела на такого нежданного, важного гостя. Она смущенно обдергивала подоткнутую юбку.

— Здравствуй, красавица!

— Здравствуйте, ваше превосходительство.

— Чья такая?

— Боцмана Кочина жена.

— Это с «Владимира»?

— С «Владимира»...

— Что же ты, милая, делаешь?

— Стираю, — улыбнулась женщина.

— Почему не пойдешь на берег? Зачем же у себя во дворе грязь разводить?

— Да... на берег далеко...

— Ох ты какая ленивая! Муж расторопный, быстрый, а она как старуха. Вот я ему на тебя пожалуюсь! — пошутил Федор Федорович.

— Я больше не буду, ваше превосходительство! — покраснела женщина.

— То-то же! — погрозил ей пальцем адмирал и пошел дальше.

Федор Федорович шел и втайне надеялся, что сегодня его навестит Любушка.

Денщик Федор, конечно же, зашел утром к Любови Флоровне и рассказал обо всем: о вчерашней ссоре Ушакова с Мордвиновым, о том, что Федор Федорович всю ночь (денщик, разумеется, преувеличивал) писал, а поутру сказал, что обедать собирается на даче, где будет сидеть один, туча-тучей... (Денщик уже изучил характер Ушакова. Если у Федора Федоровича какие-либо неполадки на флоте, если чем-либо обижают его матросов, адмирал выхо-

дит из себя, возмущается и кричит. Но если дело касается только его лично, он переживает все молча, в одиночку.)

И Любушка, конечно же, не выдержит — примчится на дачу. Сперва она возьмется готовить Ушакову обед (в таких случаях повар Парфен сам уступает ей бразды кухонного правления). А после обеда сядет рядышком с Федором Федоровичем, расспросит обо всем, поймет его лучше, чем кто бы то ни было, посочувствует, успокоит.

И от ее участливых, ободряющих, дружеских слов, от тепла ее улыбки неприятность станет казаться меньше и легче...

Вот наконец и его беленький домик, весь в зелени и цветах.

Окна распахнуты. Сейчас можно увидеть, кто ходит там, в этих чистых, прохладных комнатах.

Вон мелькнула фигура денщика — Федор накрывает на стол.

И больше никого не видно.

«Неужели не пришла?»

Нет, вот показалась она, что-то оживленно говорит своим собеседникам — повару Парфену и Федору. Выглянула в окно: ждет! Увидала Федора Федоровича. Приветливо замахала ему рукой.

Ушаков улыбнулся в ответ, ускорил шаги.

Он шел к калитке и думал: «Какое счастье, что на свете есть она, верный, бесценный, нежный друг!»

XXIX

Ушаков ходил по шканцам своего флагманского корабля «Святой Павел». Севастопольская эскадра крейсировала между Гаджибеем и Севастополем, высматривая врага. Но ни турок, ни французов не было видно. И адмиралу оставалось беспокоиться о своих личных врагах.

Он думал о том, что грызло его целое лето: о подлости Мордвинова, о своем письме царю, о чернильных душах из Адмиралтейств-коллегий.

6 мая Ушаков отослал с курьером письмо императору, а сегодня уж 4 августа. Прошло три месяца, а толку никакого.

Император передал все дело Адмиралтейств-коллегий, а та прибегла к испытанной, стародавней уловке всех волокитчиков и сутяг: изрекла, что не располагает всеми данными, чтобы решить дело, и потребовала от обеих сторон дополнительных сведений. Ушаков понял, что Мордвинов останется безнаказанным.

— С сильным не борись!

Оттого теперь уходил в море с еще большим удовольствием, чем обычно. В море он чувствовал себя в безопасности от сухопутного начальника Черноморского флота Мордвинова. В море у него было спокойнее на душе в любой шторм.

Вот и сегодня вдоль берегов резво играет свинка[1] — быть непогоде!

Морской бури Ушаков не боится!

Когда адмирал Ушаков нужен для боевых дел, то царь в рескрипте не забывает подчеркнуть: «И мы надеемся на Ваше мужество, храбрость и искусство, что честь нашего флота соблюдена будет».

А вот до его, ушаковской, чести царю нет дела. Ее Павел I не собирается блюсти!

«Дальше в море — меньше горя!» — повторял свою любимую поговорку Федор Федорович.

Море было неизменно — вечно волнующееся и волнующее...

— Крейсер с на-ветра! — перебил его мысли крик с салинга[2].

Ушаков поднес к глазам трубу.

Из Севастополя к ним на всех парусах мчался легкий крейсер.

— Что случилось? Неужели — война? Или, может быть, отставка? Мордвиновские происки перемогли! Ну что ж, поедем в Тамбовскую...

Он крепко сжал в руках зрительную трубу.

— Федор Федорович, это «Слава святого Георгия», — говорил смотревший в трубу капитан «Святого Павла» Сарандинаки.

— Да, это наша «Слава». Что-то она несет?

Ушаков нетерпеливо ждал, когда подойдет крейсер и пристанет шлюпка.

Наконец по трапу взбежал лейтенант со «Славы».

— Ваше превосходительство, пакет от его императорского величества! — рапортовал он и подал конверт.

Ушаков взял пакет, вскрыл. Вынул очередной рескрипт — за эту весну и лето их было предостаточно.

«А он все пишет и пишет!» — подумал о царе Федор Федорович.

Стал читать: «Господин вице-адмирал Ушаков! По получении сего имеете Вы со вверенною Вам эскадрою отправиться немедленно в крейсерство к Константинопольскому проливу, куда, прибыв, пошлите предварительно одно из легких судов к министру Нашему в Константинополь г. тайному советнику Томаре, известя его, что вы имеете повеление от Нас, буде Порта потребует помощи, где бы то ни было всею Вашею эскадрою содействовать с ними; и буде от министра Нашего получите уведомление о требовании от Блистательной Порты Вашей помощи, то имеете тотчас следовать и содействовать с Турецким флотом против французов, хотя бы то и далее Константинополя случилось».

---

[1] Свинка — морское название дельфина.

[2] Салинг — четыре накрест связанных бруска на стеньге — продолжении мачты.

«Значит, французы угрожают турецким берегам. Турки — наши союзники! Вот так фунт! — подумал, улыбаясь, Ушаков. — Князь Григорий Александрович перевернется в гробу!»

Капитан Сарандинаки обрадовался: если адмирал улыбается, значит, вести хорошие!

— Евстафий Павлович, послушайте! — обратился к нему Ушаков. — У нас союз с... турками! Будем вместе с ними воевать против французов!

— Это здóрово! Россия и Турция в союзе! Небывалая картина!

— Нам придется идти в Константинополь. Сигнальте: всем следовать за мной. Возвращаемся в Севастополь! — приказал адмирал и, улыбаясь своим новым мыслям, снова заходил взад и вперед по шканцам.

Думал: «Это как в песне: «Сарафан мой, сарафан дорогой! Везде ты, сарафан, пригожаешься, а не надо — и под лавкой лежишь...» Вот хотели бросить под лавку, ан спохватились: пригодится! Как война, так на графов слабая надежда. Выручит «тамбовский мужик» — Ушаков!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Как ни торопился Ушаков в Константинополь, а сборы заняли у него девять дней. Главная задержка произошла из-за самих судов. Ушаков имел только два новых 74-пушечных корабля, но они еще требовали кое-какой доработки, и их оставили, с тем что контр-адмирал Пустошкин придет с ними попозже. Остальные суда строились давно, к войне с турками.

Они были обшиты досками, быстро обрастали ракушками и к осени обычно становились тяжелыми на ходу.

Кроме того, эскадра только что провела в крейсерстве три месяца, и ее не раз трепали буйные черноморские ветра. На каждом судне оказались какие-либо повреждения.

Ушаков принялся спешно ремонтировать всю эскадру. Он поставил на работу плотников даже с тех судов, которые оставались в Севастополе.

Работали от зари до зари.

Решено было взять с собой тысячу семьсот человек морской пехоты, или, как их называли моряки, «гороховиков», и провианта до 1 декабря.

Офицерам выдали за три месяца жалованье.

Ремонт и погрузку закончили 12 августа. Эскадра была готова к плаванию в составе шести кораблей, семи фрегатов и трех посыльных судов.

Ушаков тщательно подобрал офицеров. Жаль, не было его друга, энергичного начальника авангарда Гавриила Голенкина. Он уже три года служил командиром порта в Херсоне.

Услали на Балтийское море старых товарищей, Шишмарева и Ознобишина, которые участвовали во всех ушаковских победах на Черном море. Но все-таки осталось много опытных и храбрых офицеров. Среди них наиболее выделялся Дмитрий Николаевич Сенявин. Он происходил из славной морской семьи Сенявиных. Его отец, Николай Федорович, служил адъютантом у Алексея Наумовича Сенявина.

Дмитрий Николаевич Сенявин был горяч и заносчив и не всегда ладил с требовательным и вспыльчивым Ушаковым, но Федор Федорович ценил его как талантливого, инициативного командира.

Всем капитанам судов было приказано просмотреть свои команды и отобрать наиболее опытных и крепких матросов, а стариков оставить на берегу.

К адмиралу Ушакову пришел старый канонир Андрей Власьич. Капитан «Святого Павла» Сарандинаки оставлял Власьича в Севастополе.

— Ваше превосходительство, чем же я негож? — взволнованно спрашивал канонир.

— Мы оставляем тебя не потому, что ты негож, а потому, что плавание будет трудное, а тебе годков сколько?

— А почитай, стольки, скольки и вашему превосходительству, — задорно ответил Власьич, — с вами во всех сражениях находился. Начиная с этой, как ее, Федонисьи. И когда буря нас у Варны трепала, тоже был. Ай запамятовали? Вы еще, ваше превосходительство, тогда меня похвалить изволили, как волна вырвала рым и мне удалось закрепить орудию... Я еще сгожусь. Я — крепкий, вроде вас: и смоленый и соленый... Весь век на море... Не обижайте, Федор Федорович!

— Ну, ладно, — улыбнулся адмирал. — Оставайся на судне... Головачев! — крикнул Ушаков своего флаг-офицера. — Скажи капитану Сарандинаки, что канонир идет с нами в плавание!

Власьич, не помня себя от радости, затопал из адмиральской каюты.

Переводчиком к себе на флагманский «Святой Павел» Ушаков взял лейтенанта Егора Метаксу.

Федор Федорович полюбил Егорушку.

Молодой Метакса оказался очень серьезным и умным офицером. Он великолепно держался, был исполнителен, расторопен и тактичен. В воспитании Егорушки, конечно, сыграла большую роль мать.

Федор Федорович не чувствовал к Егорушке никакой неприязни оттого, что он — сын Павла Метаксы, так нелепо вторгшегося в его жизнь, и обходился с ним с отеческой нежностью.

Ушаков ценил Егорушку как образованного, толкового переводчика.

Федор Федорович не мог не видеть, что лейтенант Егор Метакса боготворит его. Такова молодость: ученик всегда обожает любимого учителя.

Накануне отъезда Ушаков спросил у денщика:

— У тебя все готово? Завтра ведь снимаемся!

— Все готово, батюшка Федор Федорович! А куда же мы пойдем, неужто в самый Царьград?

— В Царьград. А может, и в Архипелаг.

— Ах ты, Господи! А что же это такое: Архипилат?

— Греческие острова.

— Скажите! Но, Федор Федорович, как же идтить завтра, ежели завтра тринадцатое число? — напомнил денщик.

— Ерунда! — махнул рукой адмирал.

Ушаков пускался в далекое, ответственное плавание на старых судах, но он был полон энергии, бодр и весел: он верил в своих людей.

Погода, казалось, благоприятствовала походу, — дул умеренный юго-восточный ветер.

12 августа 1798 года на восходе солнца ушло в Константинополь посыльное судно «Панагия», которое Ушаков отправил к русскому посланнику Томаре известить о выходе Севастопольского флота.

Всей эскадре сниматься с якоря Ушаков назначил 13 августа в полдень.

С самого раннего утра между Графской пристанью и судами в бухте забегали шлюпки. Они перевозили с берега последние вещи, что не успели или забыли захватить вчера.

На пристани толпился народ. Все эти десять дней Севастополь жил только одним — уходом эскадры в Константинополь.

Тут стояли, переговариваясь между собою, жены и подружки моряков. Они выискивали на рейде «свой» корабль или фрегат и не спускали с него глаз, тщетно стараясь разглядеть милого. Смотрели, хотя ничего не понимали, как с флагманского «Святого Павла» что-то сигналили арьергардному «Захарию и Елисавете». Следили за всеми, кто приходил оттуда или отправлялся на эскадру:

— Смотрите, смотрите, что-то несут!

— Сукно и веревки.

— Это на «Николай» — вишь, к его шлюпке пошли.

— Гляньте, бабоньки, чей-то повар кур тащит.

— Адмиральский.

— Нет, не адмиральский. У Ушакова — старик Парфен. Такой с шишкой на носу, а это молодой, пригоженький.

— Это Сережа, контр-адмирала Овцына.

Они ловили каждую вновь подходившую шлюпку.

— Дяденька, вы с «Михаила»? — спрашивала у загребного молодая бабенка.

— С «Михаила», тетенька, — весело улыбаясь, отвечал белозубый, ловкий загребной.

— Будьте такие добренькие, передайте это Селезневу Васе, — совала бабенка ему какой-то сверток.

— Да у нас на «Михаиле» четыреста душ. Может, и Селезневых пяток наберется, как же я его сыщу?

— Матрос первой статьи, Вася Селезнев, — уже дрогнувшим от страха голосом, что загребной не возьмет сверток, повторила она.

— Какой это Селезнев, не брамсельный ли? — окликнул один из гребцов.

— Ага, брамсельный, брамсельный!.. — обрадовалась бабенка.

— Теперь знаю, — смилостивился загребной. — Давай сюда. Коля, положь под банку! А у Селезнева губа не дура! — подмигнул он товарищам, передавая сверток. — Бабенка толстенькая, как томбуй[1].

Мальчишек было полно всюду — на пристани и в голубой воде. Они купались, стараясь догнать «шестерку», голые сидели на камнях, цеплялись за борта стоявших шлюпок, сновали в толпе. И без конца о чем-то спорили.

Как заправские морские волки, они оценивали суда, безошибочно называя их имена, снасти, паруса:

— Глянь, на «Богоявлении»-то поставили новую крюйс-стеньгу!

— Тю! Когда увидел! Ее весной еще ставили, спроси у Лени!

— А на «Павле» какие пушки?

— Где?

— На нижнем деке.

— Подумаешь! Тридцатишестифунтовые!

— А на «Казанской»?

— Тридцатифунтовые. То ж — фрегат!

— Леня, а это вон кто? Какой мальчик? — спрашивал у брата шестилетний моряк.

— Штурманский ученик, — ответили сбоку.

— Чего врешь? — накинулся Леня. — Какой штурманский ученик? Это подлекарь! Вишь, и бутыль у него.

— Леня, а с чем тая бутыль?

— С уксусом!

В другой толпе мальчишек, весь коричневый от загара, докупавшийся уже до того, что стучал зубами, паренек с азартом рассказывал:

— Вот реал-бей...[2] поворотился кормой... а Ушак... кэ-эк... жарнет в него всем лагом!..

К сходням сквозь толпу баб протискивался низенький, но плотный боцман с лихо сидевшей на голове шляпой. Его провожал какой-то подвыпивший купчик. Купчик шутливо говорил боцману на прощанье:

— Макарыч, а Макарыч, а ты мундер первого сроку не забыл взять?

— А то как же.

---

[1] Томбуй — поплавок.

[2] Реал-бей — контр-адмирал.

— Гляди, без турчанки назад не ворочайся!

— А что ж? — обернулся боцман. — У них жен много, а у меня, сиротинки, ни одной! Верно, бабоньки, а? — весело крикнул он.

— Ой бесстыжий!

— Эх ты, сальная пакля, разве своих те мало? — закудахтали бабы.

Чем ближе полдень, тем меньше становилось шлюпок.

Когда пробило шесть склянок, у Графской пристани легко покачивалась на волнах только одна адмиральская шлюпка. Толпа не расходилась. Все ждали, хотели увидеть самый торжественный момент — как эскадра снимется с якоря.

А пока внимание толпы привлекала группа, стоявшая в тени, под навесом на каменной пристани. Это были две нарядно одетые дамы, еще не старый капитан и молодой лейтенант. Дамы держали в руках букеты цветов. Они, видимо, ждали адмирала.

— Тетя Феня, какие это барыни? — шептала на ухо севастопольской прачке молоденькая девушка.

— Маленькая, рыженькая, что говорит с капитаном Доможировым, начальником порта, это Катерина Александровна Пустошкина. Она у него злющая!

— А тая высокая, красивая?

— Тая полная, голубоглазая, — Любовь Флоровна, жена грека Метаксы.

— Какого это Метаксы?

— Ты не помнишь. Был у нас в Севастополе подрядчик.

— Хорошая бабочка.

— Хорошая. Доброй, жалостливой души. А ты знаешь, сколько ей годов? Ну, как думаешь?

— Да тридцать, не больше...

— Сорок с хвостом, вот сколько! — глянула на девушку прачка.

— Да что ты, тетенька!

— Ей-богу, не вру! Вон ее сын, лейтенант Егор Палыч.

— Красивенький! Женатый?

— Где там! Сурьезный парень. Ученый. Адмиральский толмач. Он по-турецкому может говорить.

— Охти мне! А мать его такая веселая.

— А чего ей не быть веселой: живет на готовом!

— Адмирал! Адмирал!

— Федор Федорович идет! — пронеслось в толпе.

К пристани по дорожке, обсаженной тополями, шел сам адмирал Ушаков. Энергичное лицо его было озабочено. Он что-то говорил шедшему рядом с ним высокому, полному контр-адмиралу Пустошкину, а сам не спускал глаз с бухты, где чуть покачивались его суда.

— Здравствуйте, батюшка Федор Федорович! — раздалось в толпе.

Ушаков прервал разговор и снял шляпу, кланяясь во все стороны.

— Здоро́во, севастопольцы! Здравствуйте, бабоньки! — приветствовал он. — Пришли провожать нас?

— Пришли, ваше превосходительство!

— Счастливого плавания!

— Побыстрее вернуться! — слышалось отовсюду.

— Спасибо! — благодарил Ушаков, сходя на каменные плиты пристани. Он подошел к ожидавшей его группе.

Федор Федорович постоял с провожающими одну минуту и стал прощаться. Жена Пустошкина и Любушка поднесли ему цветы.

Любушка поцеловала сына:

— Доверяю вам его, дорогой Федор Федорович.

— Будьте спокойны, Любовь Флоровна! — ответил Ушаков. — Пашенька, поспеши, голубчик, с кораблями! Не задерживайся долго, — просил он друга.

— Будем работать не покладая рук! — ответил Пустошкин.

Ушаков пошел к шлюпке.

Егор Метакса следовал за любимым адмиралом.

Для тех, кто стоял на берегу, последняя склянка тянулась томительно долго.

А на кораблях, где было много дела, незаметно пересыпались последние песчинки.

И вот на «Святом Павле» взвился сигнал: «Сняться с якоря!»

На всех судах залились свистки, затопали сотни ног. Через пять минут эскадра оделась парусами и плавно двинулась из родной бухты. С берегов раздалось «ура».

Впереди распростерлось безбрежное море. Оно переливалось под солнцем разными цветами — от голубого до черного.

Эскадра адмирала Ушакова шла навстречу новым победам.

II

Двое суток Ушаков благополучно шел к румелийским берегам. Эскадра была в трех обычных колоннах.

Сколько раз ходили так к этим же берегам, зорко всматриваясь в каждое облачко на горизонте — не турецкий ли парус?

А теперь плыли спокойно.

Впрочем, адмирал Ушаков не был спокоен. Ему начинал не нравиться ветер: он постепенно усиливался и развел большую волну.

— Ох, раскачает нашу старую посудину! — беспокоился Ушаков.

А ветер становился все крепче.

Наутро пришлось приказать стать под берегом на якорь всей эскадре. Два дня ветер продержал эскадру на месте.

«Я и говорил: не надо было выходить тринадцатого — все равно потеряли двое суток», — рассуждал сам с собой Федор.

18 августа ветер ослабел. Суда починили повреждения и снялись с якоря. 23 августа подошли к проливу. Но «Панагия» еще не вернулась с ответом — входить в пролив или нет. Пришлось лавировать у пролива, ожидая известий от Томары.

Наконец 24-го вернулась «Панагия». Она привезла чиновника посольства, который сказал, что турки давно с нетерпением ждут русский флот.

25-го вошли в пролив. При входе каждое судно салютовало из семи орудий. Турецкие крепости отвечали столькими же выстрелами.

Берега были усеяны народом, радостно приветствовавшим союзников.

На русских судах все бросились к портам и на верхнюю палубу, чтобы наконец посмотреть на Босфор, о котором всегда было столько разговоров.

Он оказался похожим на величественную реку, текущую между двумя рядами холмов, поросших лесом. Их склоны были все в садах и красивых загородных домах и дачах.

Местами пролив причудливо извивался. Он образовывал прелестные бухточки и заливы, в него выдавались зеленые мысы с кипарисами и платанами.

После неспокойного Черного моря, где вечно бушуют и бьются в берега волны, здесь царила поразительная тишина: скалы и горы защищали Босфору от ветра.

— Вот, братцы, где стоять на якоре — спи не хочу! — удивлялись моряки.

— А дельфинов-то, дельфинов сколько!

— Смотрите, вон цапли! И откуда их так много?

— А какие кипарисы! Словно веретенце с пряжей!

Чиновник посольства стоял на шканцах вместе с Ушаковым, капитаном «Святого Павла» Сарандинаки и другими старшими офицерами. Он давал объяснения.

— Это Буюк-дере́, — указывал он на загородные дома, раскинувшиеся в прекрасной долине. — До Константинополя осталось двадцать пять верст. Здесь летом живут иностранные министры, консулы, чиновники миссий, купцы. Вон видите, на набережной, большой красивый дом в саду среди платанов и кипарисов? Это дом нашего посольства. Он построен министром Яковом Ивановичем Булгаковым, — с гордостью сказал чиновник.

Ушаков дал сигнал эскадре стать против Буюк-дере в линию на якорь.

И тотчас же на «Святой Павел» приехал сам посланник, обрусевший грек, носивший странную фамилию — Томара.

Это был небольшой, худощавый человек.

Ушаков встретил Василия Степановича Томару у трапа и повел в свою каюту.

— Вот вы уже у ворот Стамбула, — сказал, садясь, Томара.

— Меня обещали когда-то привезть сюда в клетке, а я приехал сам! — пошутил Ушаков.

— Это хвастался Саит-Али — пылкий и не очень умный господин. Он известен еще и тем, что однажды фрегат из его флота разбился во время бури у греческого острова Самос. Саит-Али заставил островитян уплатить ему все убытки на том основании, что если бы острова Самос не было, то фрегат остался бы цел. О словах Саит-Али теперь нечего поминать. Теперь вы здесь — самый желанный гость! Вот послушайте.

И Томара изложил Ушакову международную обстановку. Оказалось, что Франция готовила морскую экспедицию не для вторжения в Черное море, а для захвата турецкой провинции Египта: генерал Бонапарт три недели назад высадился с 36-тысячной армией в Александрии, — английский адмирал Нельсон не успел ему помешать в этом, хотя потом все-таки разбил французский флот у Абукира. Томара сказал, что французы захватили еще остров Мальта. Царь Павел I, считавший себя покровителем Мальты, увидел в последнем действии французов вызов и предложил Турции военный союз против Франции.

Томара сказал, что турки очень напуганы последними событиями. Французы заняли Ионические острова, а теперь продвигаются к Каиру. Турки боятся, что французы прочно укрепятся в Средиземном море и постепенно превратят Турцию в своего данника. Французы помогали туркам заводить флот, строили им крепости и корабли, учили лить пушки, и турки привыкли считать, что французы всё знают и всё могут.

— Поэтому теперь все надежды они возлагают на русскую помощь, на Ушак-пашу! И на вас смотрят как на избавителя!

Напоследок Томара сказал Ушакову, как нужно держать себя с турками.

— Как обходиться с турками на море, вы и без меня отлично знаете, ваше превосходительство, — улыбнулся Томара, — но позвольте мне посоветовать вам, как держать себя с ними на суше.

— Буду вам очень благодарен, Василий Степанович! — ответил Ушаков.

— Когда придется иметь дело с каким-либо пашой, не старайтесь обходиться с ним почтительно: турки сочтут это за слабость и перестанут уважать вас. Если бей или ага входит к вам, а вы из вежливости подыметесь с места, он сочтет это за уважение хри-

стианина к мусульманину. Вы же хоть сто раз входите к нему, он не встанет. Если вы входите в комнату к паше, а он сидит и не приглашает вас садиться, то не ждите приглашения, садитесь сами, как бы свирепо ни смотрели на вас его окружающие. В следующий раз он посадит вас рядом с собой. Знайте, что кофеем угощают всех. Только трубка считается признаком равенства. Если вас угощают одним кофеем, но не подают трубки, прикажите подать.

— А что мне делать с трубкой? Я не курю, — улыбнулся Ушаков.

— Делайте вид, что курите. Помните: на Востоке нет середины между равенством и рабством.

— Понимаю.

— Вот пока и все. Приготовьтесь к тому, что вас приедут поздравлять с благополучным прибытием, — предупредил Томара, прощаясь с адмиралом. — Для угощения турецких вельмож я сейчас же пришлю вам лучшего табаку — македонского или латакийского из Сирии.

Ушаков велел повару приготовить кофе и варенья и приказал поставить на бак часовых, чтобы следить, кто пожалует к нему.

Вскоре после отъезда Томары часовой на баке крикнул:

— Шлюпки с правого борту!

Вся очередная вахта, сидевшая на верхней палубе, и вахтенный мичман с удивлением смотрели вниз. К «Святому Павлу» двигался целый караван. Корма первой шлюпки утопала в цветах. Среди цветов, поджав ноги, сидел в красной чалме и огромной шубе чернобородый турок. За шлюпкой тянулись шесть фелюг, нагруженных свежими овощами, живыми баранами, клетками с птицей.

— Братцы, никак брандеры идут? — шутили на баке.

— Неужто все к нам?

— Много ли тут на столько тысяч человек!

— А цветы — ровно невесте!

— Молодец турка: понимает, что свежая баранинка лучше прошлогодней солонины!

— Ишь как салтан хочет задобрить нашего Ушак-пашу!

— Таких гостей почаще бы! Верно, Макарыч?

— Глянь: турок-то в шубе. Вот дурак! Жарина, а он...

— Ничего не поделаешь — форма...

Метакса побежал доложить адмиралу о гостях.

Ушаков вышел и с интересом смотрел на эту картину. А когда передняя шлюпка начала приставать к «Святому Павлу», ушел в каюту, кивнув Метаксе и капитану Сарандинаки:

— Встречайте богатого гостя!

Оказалось, что это кехая, то есть придворный чиновник, приехавший от имени великого визиря поздравить адмирала Ушакова, прославленного Ушак-пашу, с благополучным прибытием.

Федор Федорович тотчас же принял его. За турком внесли корзины цветов и чудных лимонов и апельсинов. Адмиральская каюта сразу заблагоухала.

Цветами больше всех был очарован денщик Федор. Он не мог оторваться от них, стоял и смотрел, в умилении сложив руки на груди.

Кехая просил Ушакова принять в подарок цветы, овощи, фрукты и свежую провизию.

Адмирал поблагодарил великого визиря за подарки и пригласил кехаю сесть. Турок сел. Пот тек с него, он утирался рукавом, но шубы не снимал.

Федор Федорович велел принесть кофе и варенья.

— А трубки подавать? — спросил шепотом Федор.

— Приедет визирь — тогда, а этому лупоглазому много чести, — ответил вполголоса Ушаков.

— Федор Федорович, а может, подадим, а? Вы бы сами не курили, а он пусть сосет. Человек-то какой уважительный! — шептал Федор, которого кехая расположил своими роскошными цветами.

— Уважительный! Останься с ним на ночь, он те голову оттянает! Вишь, насупился, как нагорелая свеча! — говорил на одной ноте Ушаков, приветливо глядя на гостя.

Принесли кофе и варенье.

Выпили кофе, поговорили о том о сем, и кехая уехал. Фелюги давным-давно были пусты: припасы быстро перегрузили на русские суда.

— По пять барашков на корабль, на семьсот человек. Не очень-то разойдешься, ваше высокоблагородие, — докладывал капитану Сарандинаки вахтенный мичман.

— Даровому коню в зубы не глядят! — ответил Сарандинаки. — И за это спасибо!

— Овощей много — это хорошо! — заметил Метакса.

— Ну, кто еще сегодня к нам пожалует? — сказал Ушаков после отъезда кехаи и пошел снимать парадный мундир: жара адова!

Баковый часовой успел уже смениться. Заступила другая вахта. Матросы разомлели на баке. На берег смотреть уже не хотелось, — одно и то же. Разговор не клеился.

— Ребята, а ну, кто отгадает загадку? — спросил всегдашний весельчак матрос первой статьи Левкович.

— Ну, говори, — лениво согласился кто-то.

— Что это: поставь на ноги — бежит, поставь на голову — бежит, и на стену повесь — бежит, и пусти — бежит, и держи — бежит, а положи — лежит? Кто знает, не говори!

— Муха, — сказал молодой матрос.

— Почему муха? Разве ее поставишь на голову, и она бежит?

— А по потолку, скажешь, она не бежит?

— Хорошо. А положи — лежит? Что, муха будет лежать?

— Отдави ей голову, будет лежать, — засмеялись матросы.

— Это не дело. Да и сказано: на стену повесь — бежит...

— Не-ет, это не муха! — повертел головой молодой матрос.

Его, видимо, заинтересовала загадка.

— Ну так что?

— Погоди, погоди, кажется, догадался, — повеселел он. — Склянка, склянка!

— То-то же. Ну, а вот эту...

— Шлюпка по носу! — вдруг крикнул часовой.

Сразу возникла живая загадка: кого Бог несет?

Все кинулись смотреть.

Шлюпка была красивее прежней, но одна. Издали видно: гребцы в красных фесках и синих кафтанах. На корме натянут голубой тент. Под тентом на софе сидит кто-то в чалме и пестрой одежде.

— Шестерка!

— Кто-то важный.

— Но уже без шубы...

— Смекнул все ж таки, что в шубе еще рановато...

Доложили адмиралу. Ушаков вышел не надевая мундира, в одной рубашке.

— Шестивесельный каик, — сразу разглядел Ушаков. — Он и не собирается приставать к нам.

— Федор Федорович, это султан! — зашептал Метакса.

— Отчего ты так думаешь?

— Вон у него на корме — алый флаг. И концы весел расписаны и украшены серебром.

— Пойдем-ка, Егорушка, на шкафут, там посмотрим. Тут неловко, — сказал Ушаков и пошел со шканцев.

Каик медленно шел вдоль русской эскадры.

Турок, сидевший под тентом, внимательно осматривал каждое русское судно.

— Хочет убедиться, хороша ли помощь, — догадался Ушаков. — Смотри, брат, смотри!

— Вот бы в него теперь пальнуть холостым хоть из нашей двенадцатифунтовой, — подумал вслух артиллерийский мичман.

Ушаков улыбнулся:

— Он и так пуганый!

— Хочешь, чтоб у Томары родимчик приключился? — сказал Сарандинаки. — Чуть чего — и посадят раба Божьего в Семибашенный замок блох кормить!

Била уже третья склянка, когда султанский каик обошел вдоль линии русских судов и вернулся обратно.

— Султан уже пошел домой! — доложил, входя в каюту к адмиралу, Метакса.

— Значит, теперь можем спокойно спать — больше никто не пожалует. Выше султана ведь у них кто?

— «И Магомет, пророк его...» — процитировал Метакса.

— Ну, Магомет до нас, грешных, не снизойдет! — улыбнулся Ушаков.

III

Наутро Томара прислал чиновника сказать, что вчера султан негласно осматривал русский флот и остался им очень доволен. Особенно ему понравился «Святой Павел». Удивился порядку и тишине на эскадре.

— У нас на одном каике больше шума, чем у русских на всех судах! — говорил султан.

Томара пригласил Ушакова на восемь часов вечера к себе, сказав, что у него будет великий драгоман[1] Оттоманской Порты, князь Ипсиланти.

В назначенное время Ушаков поехал к Томаре.

Весь берег — с утра до ночи — был усеян толпами народа, который приходил и приезжал из окрестных деревень посмотреть на русского Ушак-пашу и его флот. Тут были все — от богато одетого, важного чифликчи[2] до полуголых, в рваных грязных фесках гамалов[3].

Когда Ушаков вышел из шлюпки в парадном зеленом мундире, шитом золотом, с орденами, в адмиральской шляпе, толпа почтительно расступилась перед ним.

Князь Ипсиланти поднес Ушакову от имени султана табакерку, усыпанную бриллиантами, — за быстрый переход с флотом. Великий драгоман скоро уехал, и Федор Федорович остался с Томарой.

Посланник передал Ушакову текст декларации, которую Россия и Турция подписали 19 августа, и сказал об условиях союзного договора. Турки обязались не пропускать в Черное море никого, кроме русских. Всем русским эскадрам — во время войны с французами — разрешалось свободно плавать из Черного моря в Средиземное и обратно. Начальники турецких портов и арсеналов должны были повиноваться Ушакову.

Томара сказал также, что Павел I определил границы действий Ушакова в Средиземном море: не далее Египта, Кандии, Морей и Венецианского залива. И предупредил, что 28-го начнутся совещания с турками по поводу совместных действий против французов. С русской стороны в них должны были принять участие Ушаков и Томара, с турецкой — великий визирь, министр иностранных

---

[1] Драгоман — переводчик.

[2] Чифликчи — помещик.

[3] Гамал — носильщик.

дел, великий драгоман, генерал-интендант, а со стороны Англии — уполномоченный Спенсер Смит.

Собираясь на совещание, Ушаков сговорился с Томарой, что они будут стараться получить в помощь лучшую турецкую эскадру и не брать никаких обязательств относительно присоединения к Турции Ионических островов, как, видимо, хотел султан.

На совещании были приняты предложения Ушакова: прежде всего освободить Ионические острова и оставить их под временным протекторатом России и Турции; установление нового правления на островах возложить на Ушакова; к русской эскадре присоединить турецкую, под общей командой Ушакова.

Что же касается снабжения русских продовольствием, то турки сначала предлагали выдать Ушакову наличные деньги, но адмирал отказался и настаивал, чтобы союзники доставляли все натурой. Тогда турки определили в качестве комиссара[1] Каймакана Калфоглу. Он должен был снабжать русскую эскадру всем необходимым. Султан дал ему фирманы[2] к пашам и градоначальникам, чтобы они приготовили к ноябрю необходимый провиант.

Калфоглу был почтенный семидесятилетний грек. Он родился в Константинополе и с молодых лет служил при молдавских и валахских господарях. Калфоглу свободно говорил по-турецки, французски и итальянски. Во время русско-турецкой войны он попал в плен к русским.

— Я имел счастье знать графа Румянцова! — сказал он Ушакову, когда его знакомили с главнокомандующим союзным флотом.

На следующий день, после окончания совещаний, Ушаков, по желанию султана, поехал со своими офицерами осматривать турецкую эскадру. Она стояла на якоре в канале у летнего султанского дворца Бешикташа. Русских сопровождал лиман-рейза[3].

Командующий эскадрой реал-бей встретил Ушакова на флагманском корабле с большими почестями: парадный трап был устлан коврами, барабанщики били в барабаны, сам реал-бей в собольей шубе, окруженный многочисленной разряженной свитой, ждал его у трапа.

Увидев Ушакова, он поклонился и начал что-то говорить. Его драгоман тотчас же перевел речь на русский язык. Реал-бей приветствовал «знаменитого между князьями, высокопочтенного между вельможами нации христианской господина адмирала, командующего русским флотом, коего конец да будет благ...».

---

[1] Комиссаром назывался чиновник на корабле, заведующий провиантской частью.

[2] Фирман — именной указ султана.

[3] Лиман-рейза — капитан над портом.

«Что-то спешишь говорить о моем конце», — подумал Федор Федорович, но благодарил реал-бея и просил разрешения осмотреть его корабль.

Турецкий адмирал повел показывать сам. Его вели под руки два офицера. Пестрая свита двинулась за ними.

Корабль оказался очень хорошей постройки, прекрасно отделан и обшит медью. Артиллерия была дорогая — из меди. Понравилась Ушакову и чистота на корабле.

Федор Федорович тотчас же похвалил:

— Прекрасный корабль!

— Да, по милости Аллаха — хорош!

— Кем он построен?

— Не знаю...

— Он оказывает честь вашему превосходительству.

— Дай Бог!

— Не очень-то они чтят своих благодетелей-французов! — шепнул Ушакову Веленбаков.

Реал-бей и его офицеры были весьма польщены похвалой такого великого адмирала.

Но от Ушакова не могло укрыться полное отсутствие порядка и воинской дисциплины. Какие-то разнообразно одетые и полуодетые люди сидели на портовых косяках, свесив ноги за борт, и меланхолично курили, сплевывая. На баке лежали и сидели матросы. Одни играли в шахматы, другие пили кофе, третьи просто спали. Разобрать, кто из них старший, было невозможно.

Ушаков обратил внимание на то, что на корабле мало матросов и что все они одеты в свое платье, и только артиллеристы — в форме.

— Мы набираем галионджи перед самым уходом в плавание, потому их сейчас мало, а кумбараджи и топчи — постоянные. Они на особом положении: получают обмундирование, больше жалованья, но зато их обучают стрельбе.

— А разве матросов не обучают строю и стрельбе из ружья? — удивился Ушаков.

— Нет, — улыбнулся драгоман, — турки презирают это, считают насмешкой над собой, говоря: учить можно только медведей, собак или обезьян!

Турецкому контр-адмиралу понравилось, что Ушаков отметил его артиллеристов. Он приказал дать несколько выстрелов из пушки, чтобы показать, как ловко они работают.

После осмотра корабля реал-бей пригласил гостей к себе в каюту.

Вся каюта утопала в коврах. В ней стояли софа, два стола и полдюжины стульев, на спинках которых был изображен полумесяц. На стене висели дамасские сабли, ятаганы, французские пистолеты. На большом столе лежали карта Черного моря, циркуль,

линейка и французская зрительная труба. На маленьком столике — Коран и книга Сунны в роскошных переплетах. У портов навалены для запаха груды лимонов.

Реал-бей сел на софу и усадил рядом с собой Ушакова. Остальные сели поодаль.

Подали трубки, кофе — густой, как деготь, и шербет.

Адмирал курил из фарфорового кальяна. Змеистый чубук оканчивался янтарем. Хотя Ушаков не курил, но услыхал: табак не такой противный, как курят его офицеры.

«Наверно, это тот, македонский, о котором говорил Томара».

Слуги опахалами отгоняли мух.

Тут же среди свиты толкался шут адмирала — карлик. Он был в алом кафтане и желтой феске, окаймленной серебряным галуном.

Шут вдруг перекувырнулся на ковре и сел перед Ушаковым. Он что-то сказал по-турецки, а потом задрыгал ногой, точно лягал кого-то.

Реал-бей засмеялся, свита улыбалась. Драгоман поспешил перевести гостям слова шута:

— Вот как перевернется французский адмирал перед твоим победоносным громом, а я вот чем буду его приветствовать — ударом ноги.

Ушаков тоже улыбнулся и, достав из кармана рубль, протянул шуту.

Шут щелкал языком, плясал от радости.

Довольный реал-бей подозвал шута к себе, взял его за ухо и что-то сказал. Шут ответил.

Драгоман перевел:

— «Русский великий адмирал пригвоздит твое ухо к дверям своей каюты!» — сказал шуту турецкий адмирал. «Тогда дурак будет слышать тайны мудрецов!» — ответил шут.

«Хорошо подготовились», — насмешливо подумал Ушаков.

Он хотел осмотреть еще другие суда и адмиралтейство и потому сидел недолго.

Ушаков раздал подарки и деньги офицерам и артиллеристам и уехал. Реал-бей провожал его с большим почетом.

Когда шлюпка Ушакова отваливала от флагманского корабля, реал-бей приказал дать залп холостыми из пушек левого борта.

Воздух потряс мощный салют в честь непобедимого Ушак-паши.

IV

Вернувшись вечером после осмотра турецкого флота и адмиралтейства на «Святой Павел», Ушаков отправил в Севастополь судно «Ирина» с донесением Павлу обо всех соглашениях с турками и о плане совместных военных действий.

В этот же вечер Ушаков послал первое письмо Нельсону. Он поздравил английского адмирала с победой при Абукире и сообщил, что постарается с помощью турок освободить от французов Ионические острова, принадлежавшие Венеции.

Несколько следующих дней ушло на приготовления к отходу.

Из Терсаны[1] привезли легкие пушки для будущих десантных операций и два новых руля взамен поврежденных во время перехода из Севастополя в Константинополь. Потом сам капитан порта привез к Ушакову опытных лоцманов, а султан прислал шесть тысяч рублей нижним чинам русского флота.

Матросы остались довольны султанским подарком: как-никак по восьми гривен на человека!

Можно было отправляться в путь, но Ушаков ожидал бури.

И он оказался прав.

В Буюк-дере пришел из Синопа новый 74-пушечный турецкий корабль. Он выдержал на Черном море сильную бурю, потерял бушприт и все стеньги.

К вечеру подул сильный северо-восточный ветер. Он превратился в шторм. Даже здесь, в тихом проливе, трещали и ломались стеньги. Шторм продолжался двое суток и окончился страшной грозой. Наутро 8 сентября от него остался легкий северо-восточный ветерок.

Русский флот, простоявший в Буюк-дере две недели, наконец снялся с якоря и при попутном ветре начал спускаться по проливу.

Привыкнув за две недели к красотам Босфора, русские не ожидали, что их поразит Константинополь. Но перед ними открылся чудесный город, раскинувшийся на семи холмах.

Среди зелени садов, окруженных кипарисами, ослепительно белели стены султанского сераля. А дальше шло живописное нагромождение разноцветных домов, горевших красными черепичными крышами, султанских мечетей с огромными куполами и высокими минаретами, облепленными ажурными балкончиками и сверкающими на солнце золотыми полумесяцами.

Голубое море внизу, и голубое небо вверху.

Все снова высыпали на палубу, прильнули к портам:

— Царьград!

— Вот красота-а!

Замолчали, пораженные.

И вдруг кок-москвич, словно очнувшись, радостно сказал:

— Братцы, а ведь наша-то Москва лучше, ей-богу!

— Ну, конечно, лучше!

— Кто же с ней сравнивает? — посыпалось со всех сторон.

---

[1] Терсана — адмиралтейство.

У Бешикташа турецкая эскадра салютовала русскому адмиралу. Ушаков отвечал тем же. Дальше показался дворец султана.

Томара предупредил Ушакова, что султан будет смотреть на прохождение русского флота. Ушаков приказал эскадре, шедшей в линию, поставить команду по вантам. Караул матросов, одетых во все новое, отдавал честь ружьями, барабаны били поход, трубачи трубили. С корабля «Святой Павел» салютовали из тридцати одной пушки и шесть раз прокричали «ура».

Видно было, как толпы народа бежали по кривым уличкам к проливу, торопясь посмотреть на русских.

10 сентября приплыли в Галлиполи, где стояла турецкая эскадра, назначенная в помощь Ушакову.

11 сентября на «Святом Павел» прибыл начальник турецкой эскадры, высокий, с длинной седой бородой и мохнатыми черными бровями, адмирал Кадыр-Абдулбей. Это был старый морской волк, участник многих походов и сражений. С первых его слов Ушаков увидал, что имеет дело со сведущим и неглупым человеком.

С ним приехал его советник, Махмут-эфенди, человек себе на уме. Его кофейного цвета острые глазки так и бегали... Адмирала сопровождали грек-драгоман и несколько богато одетых офицеров свиты.

Ушаков уже знал, что свита у турецких адмиралов обычно состоит из невежественных и не сведущих в морском деле людей. Впрочем, для того чтобы водить Кадыр-бея под руки или подавать ему трубку, больших познаний и не требовалось.

Ушаков и Кадыр-бей с советником, пользуясь помощью Метаксы и драгомана, сели обсуждать детали совместного плавания. Чтобы адмиральская свита не мешала работе, Ушаков, с согласия Кадыр-бея, поручил ее капитанам Сарандинаки и Веленбакову, командовавшему на «Святом Павле» артиллерией нижнего дека.

— Займите их, угостите кофеем! — сказал Ушаков.

— Мы их сейчас, Федор Федорович! — моргнул Веленбаков и увел гостей в кают-компанию.

Сарандинаки хотел кликнуть адмиральского повара, но Веленбаков остановил его:

— Евстафий Павлович, что им кофей? Они дуют его ежечасно. Видал, у турок на корабле на каждом деке по две кофейни! А угостим-ка мы их лучше водочкой. Посмотри на этого капитана, — указал он на толстого турка с маленькими, заплывшими глазками. — Ему штоф — в самый раз будет.

— Нерон Иванович, да ведь им пить запрещено по закону...

— Э, знаешь, Евстафий Павлович, говорится: закон что дышло... Не откажутся!

— Ну, попробуем! — улыбнулся Сарандинаки и кликнул баталера.

Увидев на столе графины, никто из турок не пришел в негодование и ужас. Только все они вопросительно поглядывали на старшего в чине — толстого капитана, который умильно поглядывал на поставленное угощение.

Веленбаков предложил капитану выпить.

Турок сказал:

— По закону нам пить нельзя, но на христианском корабле, я думаю, греха не будет!

Офицеры охотно согласились с авторитетным мнением капитана и как следует отдали честь русскому вину.

— Ну что, видали этих постников? — смеясь, спрашивал у Сарандинаки Веленбаков, когда турки уезжали к себе.

— Да, теперь не они поддерживают капудана, а он их, — сказал Сарандинаки, глядя, как офицеры ведут под руки Кадыр-бея к трапу.

V

На следующий день Ушаков поехал смотреть свою вспомогательную турецкую эскадру Кадыр-Абдул-бея.

Разумеется, в Бешикташе турки показали товар лицом.

Недаром султан захотел, чтобы русский адмирал побывал на судах, которые стояли на якоре у самого дворца.

А здесь, в Галлиполи, турецкий флот предстал в натуральном виде. Стоя рядом на рейде, русские могли наблюдать повседневную жизнь турецкого корабля.

Три раза в сутки — утром, в полдень и в сумерки — с бизань-мачты флагманского корабля раздавался мелодичный призыв муллы: «Аллагу экбер, ашгеду анна ла иллага...» Его подхватывали муллы на всех судах.

На море, в тихом вечернем воздухе, это было не лишено своеобразной красоты.

По зову муллы вся палуба тотчас же покрывалась распростертыми телами. Галионджи становились на колени, подостлав свои драные кафтаны, а офицеры и артиллеристы — коврики.

А в полночь и утром, когда на русских судах било восемь склянок, у турок вдруг подымался ужасный грохот: по судну ходили барабанщики и изо всех сил колотили в барабаны.

Русские сначала думали, что это какая-то тревога, но потом выяснилось: турки так подымают новую вахту.

Ночью турецкие суда освещались, — должно быть, для того, чтобы матросы не могли сбежать с корабля.

Собираясь в плавание, Кадыр-бей послал на берег набирать матросов. В ближайших деревнях насильно брали первых попав-

шихся людей, которые не только не хотели отправляться в плавание, но в большинстве случаев впервые видели корабль.

Когда Ушаков приехал на флагманский двухдечный корабль, на нем толкалось много народу. Всюду на палубах стояла сутолока, шум и гам, как на базаре. Слышался разноязычный говор.

— Откуда столько народу? Ведь на двухдечный корабль достаточно не более восьмисот человек команды? — удивился Ушаков.

— Мы взяли свыше тысячи двухсот матросов, — ответил грек-драгоман.

— Зачем так много?

— Их берут насильно, и потому на первой же пристани несколько сот обязательно сбежит. Приходится набирать в запас, — объяснил переводчик.

Ушаков усмехнулся и подумал: «Вот почему в бою у турок всегда много жертв».

— А кто же управляется с парусами? — спросил он.

— Наемные матросы, греки. Без нас они бы пропали! — ответил грек-драгоман.

Галионджи занимались кто чем мог и хотел: спали, играли в шахматы, ели, курили.

Федор Федорович знал уже, что кормили на турецком корабле скудно: сухари да маслины. И только раз в неделю, по пятницам, варили чорбу — кашу из риса и чечевицы.

Но больше всего галионджи кричали и ругались. Видимо, никак не могли примириться со своим новым положением. Капитан корабля, одетый во все белое, за исключением красной фески и желтых туфель, ходил с огромным курбачом и охлаждал им пыл галионджи.

Только прислуга каждой пушки держалась вместе и в порядке. Разостлав на палубе коврик, артиллеристы спокойно сидели с трубками, курили и пили кофе. Они так и жили у своих пушек.

На баке Ушаков увидал толпу галионджи. Они окружили кадку с водой. Перед кадкой стоял голый до пояса мокрый турок. Он вытирался подолом своего грязного кафтана, а стоящие кругом смеялись.

— Что они делают? — спросил Ушаков.

— Забавляются. Надо достать зубами со дна кадки с водой пиастр, — объяснил драгоман.

В такой сутолоке было трудно осмотреть корабль, но зоркий глаз опытного моряка сразу схватил главное.

Все суда Кадыр-бея — четыре корабля, шесть фрегатов и четыре корвета — были хорошо, надежно сделаны из сухого, выдержанного леса, отлично выкрашены. Но такелаж болтался, обвиснув слабиной, а реи, выражаясь по-морскому, «стояли козлом», то есть один конец реи был выше другого. Оттого турецкие корабли с точки зрения правил европейского парусного флота представляли безобразную картину. Особенно это сказалось, когда стали нако-

нец сниматься с якоря и уходить из Галлиполи в Адалат-денгиз, в море, наполненное островами, как турки называли Архипелаг.

Когда уходили из Галлиполи, Ушаков отправил к Кадыр-бею для объяснения туркам сигналов и прочих движений командующего соединенным флотом — Егорушку (как называл Метаксу Федор Федорович) и в помощь ему двух расторопных мичманов.

Соединенный русско-турецкий флот сделал небольшую остановку у острова Хиос, — здесь брали лоцманов.

Греки на Хиосе, увидев на берегу турок, в ужасе закрыли все лавки и скрылись в домах. Улицы опустели. Русские моряки не могли ничего достать на берегу.

Ушаков тотчас же послал сказать Кадыр-бею, что если так будет всюду, то, пожалуй, русским и туркам лучше идти порознь, условившись о месте встречи.

Султан строго приказал Кадыр-бею действовать вместе с Ушак-пашой, и Кадыр-бей боялся и подумать отделяться от русских. Он немедленно вывесил сигнал: каждый из моряков, на кого пожалуется кто-либо из жителей острова, будет казнен на месте без следствия.

А грекам велел открыть лавки.

Эти распоряжения мгновенно облетели и эскадру и островитян. Греки вышли на улицы, открыли лавки, харчевни. И на берегу сразу все оживилось. Русские матросы смешались с турецкими.

Союзники впервые встретились лицом к лицу.

VI

Ушаков и Кадыр-бей считали, что начинать освобождение Ионических островов надо с острова Цериго (Цитеры), который лежал первым на их пути.

Цериго был у Бонапарта главной пристанью в Архипелаге.

Федор Федорович знал, как важно для духа войск, когда первое дело в кампании выполнено удачно. Начало должно быть успешным. И потому главную роль в занятии острова Цериго Ушаков отвел своим войскам, — на турок он не очень надеялся.

Операцию по овладению островом Цериго он поручил герою Измаила, капитану фрегата «Григорий Великий Армении» Ивану Андреевичу Шостаку. Ушаков дал ему в помощь небольшой 32-пушечный фрегат «Счастливый» и роту десантных войск.

Кроме того, Федор Федорович отправил с Шостаком воззвание к населению островов, которое составил сам. Воззвание было напечатано в три столбца на русском, турецком и греческом языках и подписано Ушаковым и Кадыр-беем. В нем от имени соединенных русско-турецких сил все греки призывались к совместной борьбе с общим врагом — французами. В воззвании Ушакова, так

же как и в манифесте константинопольского патриарха Григория, было дано обещание, что жители освобожденных островов учредят свое правление, которое изберут сами.

28 сентября эскадра подошла к Цериго.

Это был угрюмый остров. Он представлял собою дикое нагромождение громадных камней и скал красного и лазоревого цвета.

— Вот и Цитера. Здесь, по легенде, родилась богиня любви, — сказал кто-то из офицеров.

— Ну, знаете, веселенькое местечко она себе выбрала! — усмехнулся Веленбаков, вышедший на шканцы.

— Считается, что остров поднялся со дна моря, — прибавил Сарандинаки.

— С успехом мог бы не подыматься! — шутил Нерон Иванович.

— Евстафий Павлович, а знаете, крепостица-то в заливе пустяковая, — смотрел в трубу Ушаков. — А вот на горе крепость основательная. Стены высокие, крепкие. Как думаешь, Нерон Иванович, наши ядра не долетят?

— И думать нечего: далеко, — ответил Веленбаков. — А перепелок-то, перепелок сколько!

— Тут немало наших, русских. Они летят через Балаклаву, — невольно отвлекся Федор Федорович, вспомнив, сколько бывает перепелок осенью в балаклавских горах.

...Фрегаты Шостака стали бить по крепостице в заливе. Он дал только два залпа, как на стене взвился белый флаг.

Видно было, как часть гарнизона бросилась к главной крепости Капсали, которая лепилась на очень высокой и крутой горе.

— Что же, начало есть! — сказал довольный Ушаков. — Поедем на берег!

И он отправился с адъютантом Балабиным на остров. Капитан-лейтенант Шостак хлопотал на берегу: высаживался десант, выгружались орудия.

— Придется выкуривать французов из Капсали, — сказал он Ушакову.

— Ядра с кораблей не достанут!

— Втащим поближе к крепости легкие пушки и возьмем. Измаил брали, а это что! — уверенно говорил Шостак.

Впереди громоздились острые скалы. Пришлось тащить пушки на канатах через горы и овраги, нести на плечах припасы.

Десантные отряды русских и турок деятельно взялись за работу.

Через день были устроены две батареи, и 30 сентября на зорьке Шостак ударил по крепости.

Сначала французы отвечали очень живо, но уже к полудню в крепости оказались серьезные повреждения.

Соединенный русско-турецкий отряд готовился идти на штурм. Поняв это, французский гарнизон, боясь полного уничтожения, выбросил белый флаг.

Ушаков принял капитуляцию. Он отпустил французов на «честное слово» и обещал отправить пленных в Анкону или Марсель. Пока же их поместили в лагере на берегу.

Такое милостивое, мягкое отношение к сдавшимся в плен, конечно, стало известным на всех Ионических островах и значительно ослабило защиту гарнизонов других крепостей.

Над Капсали подняли русский и турецкий флаги.

А управление островом Ушаков доверил самим цериготам; они выбрали из своей среды трех человек.

Радости греков не было предела.

Появление в Архипелаге русско-турецкого флота привело население в неописуемый восторг и в то же время сильно обеспокоило французов.

Слух о приходе Ушакова в Архипелаг мгновенно долетел до Корфу.

Главный комиссар французской директории Дюбуа попытался бороться с этими правдивыми известиями: он выпустил на греческом языке прокламацию, в которой уверял, что никакой русской эскадры в Средиземном море нет, а что турки переодели часть своих солдат в русские мундиры.

Но в это время в Корфу появились манифест константинопольского патриарха Григория и воззвание адмиралов.

А самым убедительным был тот факт, что остров Цериго освобожден русско-турецкими войсками и что греки сами управляют своим островом. В один из дней, когда соединенная эскадра стояла еще у Цериго, к Ушакову приехал Кадыр-бей.

— Позвольте употребить военную хитрость, — попросил Кадыр-бей.

— Какую? — спросил Федор Федорович, не понимая, о чем будет речь.

— По вашему обещанию, французы надеются уехать домой и спокойно живут в лагере на берегу. Разрешите мне подойти к ним ночью и тихонько всех их вырезать!

Ушаков только развел от негодования и удивления руками:

— Ну и союзник!

И в тот же день постарался отправить пленных французов на родину.

VII

Ушаков задержался у острова Цериго до 6 октября, — выйти в море мешали ветра. Только 11 октября соединенная русско-турецкая эскадра увидала остров Занте.

Среди Ионических островов Занте считался вторым после Корфу по плодородию почвы и живописности места. Его называли «Золотой остров», или «Занте — цветок Леванта». Глазам моря-

ков предстал весь зеленый, в виноградниках и садах, город. Он причудливо раскинулся по склону отлогого холма.

Легкий осенний ветерок донес с берега запахи померанца и лимона.

Когда горожане увидали подходившую эскадру, они догадались, что это идут их избавители, и толпами, с радостными криками, кинулись к берегу.

Еще суда были под парусами, а к «Святому Павлу» подошла лодка с именитыми зантиотами.

Ушаков радушно принял их.

Греки рассказали, что гарнизон крепости состоит из пятисот человек под командой полковника Люкаса и что у самой пристани французы построили батареи, чтобы помешать высадке десанта. Они со слезами передавали обо всех насилиях и грабежах, которые чинили захватчики.

Ушаков снова назначил капитана Шостака начальником экспедиции и приказал немедленно высадить десант, но не на пристани, а просто на берегу.

Русским отрядом командовал майор Иванов, а турецким — лейтенант Егор Метакса. Турки повиновались русским офицерам лучше, нежели своим.

Зантиоты, увидев, куда направляются шлюпки, толпами устремились туда.

Уже наступил вечер, становилось темно, но весь берег осветился десятками огоньков: догадливые островитяне принесли с собой фонари.

Шлюпки шли на приветливые огоньки с берега.

Начался отлив, берег был усеян камнями, и первые русские солдаты, спрыгнувшие на мокрый песок, медленно брели, спотыкаясь в полутьме.

Греки кинулись к ним и понесли русских солдат на руках.

Они переговаривались между собою, и их говор звучал как перебранка, потому что южане не умеют говорить тихо.

А лодки все прибывали.

И вдруг греки, которые так радостно встречали каждую шлюпку, с проклятиями бросились к берегу: это оказалась первая партия турок. Вместо русских зантиоты увидали коварных, ненавистных им басурман.

Метакса успел крикнуть им вдогонку:

— Останьтесь! Не бойтесь! Турки — наши союзники! Помогите поскорее добраться до берега!

Тогда греки вернулись назад и, волей-неволей, стали переносить и турецких солдат.

А Шостак в это время подошел с двумя фрегатами к пристани на картечный выстрел и, несмотря на упорное сопротивление французов, в полчаса заставил их батареи замолчать.

Как и на Цериго, французские артиллеристы кинулись спасаться наверх, в крепость. Греки бежали за ними и, ругаясь, забрасывали их камнями и грязью.

Десантные отряды подошли к крепости. Шостак послал мичмана к французскому коменданту, предлагая сдаться.

Сначала Люкас не соглашался. Но потом, увидав, как русские и турки несут лестницы, услыхав ликующие крики зантиотов, идущих вместе с войсками, он струсил и решился пойти на переговоры. Чтобы не быть узнанным греками, Люкас переоделся в штатское платье и пошел к Шостаку.

Было одиннадцать часов ночи.

Люкас принял все предложения союзников.

14 октября, в восемь часов утра, полковник Люкас, сорок шесть офицеров и свыше четырехсот солдат сложили оружие.

Шостак принял ключи от крепости и французский флаг. Чтобы толпа не растерзала пленных, их пришлось поставить в середину соединенных десантных отрядов. Пленных французов разместили на русских и турецких кораблях поровну.

Русские относились к пленным по-человечески, но турки, не разбирая чинов, надели на них кандалы и заставляли делать самую изнурительную работу.

А кормили их так же впроголодь, как и своих галионджи.

Ушаков не задержал у себя пленных: он отправил французов на фрегате в Патрас.

VIII

На баке корабля «Святой Павел» было оживленно: счастливчики готовились на берег.

Сегодня в городском соборе торжественное молебствие по случаю освобождения острова от французов.

Адмирал Ушаков приказал присутствовать на нем всем командирам судов и назначил по двадцать человек морских служителей с каждого корабля и фрегата.

Капитан Сарандинаки лично отобрал наиболее видных, лихих брамсельных, марсовых, канониров и бомбардиров. А главным над ними поставил боцмана Макарыча.

Макарыч давно готов: выбрит, чист, пуговицы и дудка надраены — лучше нельзя, шляпа лихо сидит на голове. Он ходил и подгонял остальных товарищей.

Ото всех судов уже отвалили шлюпки, остался только «Святой Павел». Каждую минуту мог выйти из каюты Федор Федорович, а шлюпка с морскими служителями еще не на берегу.

— Поживей, поживей, не копайся, антиллерия! — гудел Макарыч на канониров.

— Вот нонче попьете, погуляете! — завидовали остающиеся.

— Мы же ведь на обедню...

— Знаем, какая обедня! Это спервоначалу — в церковь, а потом должон стол быть!

— Они не пожалеют!

— Ты, Степа, в обед мою порцию выпей тут. Скажи баталеру!

— Ванюшка, возьми денежки, купи там мне табачку.

— И скажи, как печет, ровно в Петровки, а ведь уже две недели после Покрова!

— Дома-то у нас, поди, холодина, дождь. А тут — экая благодать!

— Ну что, кажись, все? — оглядел собравшихся Макарыч и заспешил к вахтенному.

Через минуту шлюпка с матросами отвалила от корабля.

Пристань на острове сегодня утопала в зелени и цветах. Яркие ковры покрывали ее до самой дороги в город. Справа от ковра стояли празднично одетые зантиоты. Впереди — архиепископ и знатные граждане. А за ними толпился народ. Всюду реяли андреевские флаги, — турецких было меньше.

Каждую подходившую шлюпку греки встречали радостными криками.

Вот к пристани подошла шлюпка со «Святого Павла».

Боцман Макарыч издали приметил: команды выстраиваются слева в одну колонну, а господа офицеры стоят сбоку — говорят, курят, ждут адмирала.

Он лихо вывел своих и поставил впереди всех остальных кораблей: «Знай наших, флагманских!»

Матросы стояли вольно, смотрели, перешептывались:

— Это что ж, тут будет молебствие?

— Какое, тут! Сказано — в соборе.

— А ковры зачем?

— Ждут нашего.

— А турецкий адмирал будет?

— А почему ему и не быть?

— Да ведь в соборе молебствие. Он разве креста не боится?

Макарыч чуть повернул голову.

Шепот сразу стих.

И вот загудела, что-то залопотала толпа.

Показалась флагманская шлюпка, — в ней сидели оба адмирала.

Именитые граждане поправляли одежду, переминались с ноги на ногу. Офицеры стали впереди матросов.

Поскочин скомандовал:

— Смирно!

И вот на пристань ловко ступил адмирал Ушаков. Он был в парадном мундире и орденах. Ушаков шел чуть вразвалку, цепким, морским шагом. Видно было, что ступал он уверенно и его не свалит с ног никакая буря.

Чуть отставая от него, шел длинный седобородый Кадыр-бей в громадной шубе. Ушаков смотрел весело и гордо, а Кадыр-бей — сконфуженно: он не мог не видеть, что русским оказывают больше внимания.

За адмиралами шли советник Кадыр-бея хитрый Махмут-эфенди, адъютант Ушакова Балабин и Егор Метакса.

Греки бросали под ноги адмиралов цветы и что-то кричали. Архиепископ отделился от знати и пошел навстречу адмиралам.

Ушаков остановился. Архиепископ стал что-то говорить, видимо приветствуя своих освободителей.

Метакса быстро подошел к Ушакову и начал переводить. Когда архиепископ окончил, Ушаков снял шляпу и, кланяясь во все стороны, пошел к городу.

Снова все потонуло в криках «ура».

Во всех церквах зазвонили в колокола.

Адмиралы, окруженные знатью, пошли в собор.

Раздалась команда:

— Шагом марш!

И матросы двинулись за начальством, обмениваясь впечатлениями:

— Адмирал у них — ровно бом-брам-стеньга.

— Наш-то Федор Федорович — орел!

— И чего турок в шубе? Тут в одном мундире жарко, а он шубу напялил!

— Закон такой.

Вошли в город. Сначала тянулась узенькая уличка с невзрачными домишками, а потом вышли на более широкую, с красивыми большими домами.

Все окна и балконы были украшены коврами, яркими тканями, увиты померанцем и лавром. И всюду реяли андреевские флаги.

На головы матросов сыпались цветы. Греки, стоявшие на улице, совали матросам виноград, конфеты, абрикосы, апельсины, протягивали стаканы вина.

Матросы сначала не брали угощения, — они помнили приказ: у жителей не брать ничего. Но Веленбаков обернулся и сказал своим:

— Раз угощают, бери, ребята! От ихнего вина не захмелеешь!

И, к радости греков, матросы больше не отказывались.

— Я думал, что слива, сунул в рот, а она — противная, — плевался матрос.

— Верно, она вроде постного масла...

— Это маслина, — улыбнулся бывалый боцман Макарыч. — К ней привыкнуть надо!

— Гляди, братцы, у баб глаза и нос закрыты повязкой. Отчего это? — спрашивали друг друга матросы, увидев у знатных дам на лице шелковые маски.

— А вот тая без ничего. Красивая...

— Это холопка, а в повязке, должно быть, дворянка, барыня. Брезгует...

— Может, сама рябая или косоглазая — вот и схоронилась.

— Нет, у них, как у турок: муж боится, чтоб не приглянулась кому...

— Смотри, Макарыч, не моргай!..

Вошли на большую соборную площадь. Движение замедлилось: входили в узкие двери собора.

И вот уже ряды моряков ступили под прохладную сень древнего храма.

После обедни именитые граждане угощали адмиралов и капитанов парадным, роскошным завтраком.

Команды тоже не остались без угощения.

В полдень адмиралы созвали собрание в доме графа Марки, чтобы избрать управление острова.

Внизу, под окнами, на громадной площади стояли зантиоты, ожидая результатов собрания.

Когда им объявили, что они сами станут управлять островом, площадь заволновалась. Поднялся невероятный шум и крики. Но в криках почему-то не слышалось ни одобрения, ни радости.

Ушаков вопросительно глянул на Метаксу:

— Чем они недовольны? Чего еще хотят?

— Они хотят присоединения к России!

Ушаков невольно глянул на Кадыр-бея. Турецкий адмирал сидел, насупив густые черные брови. Махмут-эфенди, иронически улыбаясь, шептал ему что-то на ухо.

К Ушакову подошел обрадованный граф Марки:

— Ваше превосходительство, вы слышите: они хотят присоединения к России.

Ушаков свирепо посмотрел на графа:

— Это невозможно. Разъясните им, пожалуйста! — и отвернулся к Метаксе.

На балкон к волнующемуся народу вышел граф Марки.

Он что-то очень горячо говорил зантиотам, но его не слушали и перебивали криками. Марки вернулся, разводя руками.

— Они не хотят ни о чем слушать! — перевел Федору Федоровичу Метакса.

— Тогда пойдем! — поднялся адмирал и быстро зашагал к балкону.

Так он ходил по шканцам в самую трудную минуту боя.

Махмут-эфенди кивнул своему драгоману — он говорил по-английски и по-французски, но не понимал по-русски — и пошел к балкону.

Как только на балконе показался прославленный русский адмирал, по всей площади прокатился гул одобрения и крики радости. Толпа кричала «ура», в воздух летели шапки и платки.

Ушаков поднял руку. Все стихло.

Адмирал медленно говорил, а Метакса переводил.

Ушаков благодарил зантиотов за их добрые чувства к России и русскому народу, но сказал, что Россия верна своим обещаниям и договорам. Он доказывал зантиотам все преимущества свободного, независимого существования. Он говорил, что было бы нелепостью, освободив остров от французов, навязывать ему кого-либо другого.

— Мы пришли не завоевывать, а освобождать! Мы пришли к вам не владычествовать, а охранять. Мы не повелители ваши, а друзья и товарищи! — закончил Ушаков и ушел в комнату.

Секунду площадь молчала, а потом раздались крики: «Ура!» и «Зито[1] Ушаков!»

Махмут-эфенди подошел к Ушакову и, улыбаясь, сказал по-турецки:

— Вы не только храбры как лев, но и мудры как змея!

«Ну, положим, змея — это ты», — подумал, сухо поклонившись, Ушаков: он не любил этого поклонника англичан.

Зантиотам ничего не оставалось делать, — они принуждены были избрать правителей.

Временное правление острова Занте пожелало вознаградить своих освободителей деньгами. Турки охотно взяли предложенные им три тысячи пиастров, но капитан Шостак наотрез отказался принять такой подарок.

IX

Еще будучи на Занте, Ушаков отправил три отдельные, небольшие эскадры: Поскочина — занять острова Кефалония и Итака, Сенявина — овладеть островом Св. Мавры, капитана Селивачева — блокировать остров Корфу.

20 октября капитан Поскочин прислал мичмана с известием о том, что остров Кефалония освобожден от французов, и передал адмиралу французский флаг и крепостные ключи.

---

[1] З и т о — да здравствует *(греч.)*.

— Я-то думал: ключи от крепости красивые, а они вон какие! Ровно от господского амбара! — разочарованно сказал денщик Федор, подходя к адмиралу, рассматривавшему ключи.

Через три дня союзные суда вошли в Кефалонскую гавань.

Капитан Поскочин приехал к адмиралу с докладом. Он привез пленного коменданта крепости полковника Ройе, который очень просил свидания с адмиралом.

Выслушав доклад Поскочина, Федор Федорович сказал:

— Ну, пусть входит француз. Что ему надо?

В каюту ввели небольшого, поджарого человека. Он с независимым видом поклонился русскому адмиралу и стал что-то быстро говорить, указывая на Поскочина.

— О чем он так горячо? — посмотрел Ушаков на адъютанта Балабина, знавшего французский язык.

— Ваше превосходительство, он очень благодарит капитана Поскочина, называет его спасителем французов.

— Почему? За что?

— За то, что он спас их от мщения греков. Кефалонцы, помогавшие нашим обезоруживать французов, ругали их, держали, как преступников, связанными, издевались. Он говорит: так не обходятся с образованными людьми!

Француз запальчиво сказал последнюю фразу и гордо смотрел на русского адмирала.

Этот самоуверенный, нахальный тон возмутил Федора Федоровича.

— Вы называете себя образованными, но ваши деяния говорят о другом, — сказал Ушаков, обращаясь непосредственно к самому Ройе, забыв, что он не понимает по-русски.

Балабин быстро перевел.

— Я вел себя, как подобает французскому офицеру! — заносчиво ответил Ройе.

— Я вам докажу, что не так! — стукнул по столу адмирал.

— Я буду вам весьма признателен, — поклонился полковник. — Назовите, что я сделал, порочащее честь мундира?

Ушаков даже встал: этот напыщенный франт не понимает главного, а еще полковник!

— Вы поздно взялись укреплять вверенный вам остров! Вы не сделали ничего для сопротивления. Вы не выстрелили ни из одного орудия, не заклепали ни единой пушки! А что касается ваших жалоб на греков, то как аукнется, так и откликнется! Поведение же капитана Поскочина меня не удивляет: всякий русский офицер поступил бы, как он! — И адмирал повернулся к Поскочину.

Полковника увели. Он был смущен и удивлен.

Француз никак не ожидал, что русский адмирал станет упрекать его за то, что он плохо воевал с ним же!

Дожди задержали союзников в Кефалонии. Только 28 октября, при тихом южном ветре, союзники покинули залив.

Ушаков торопился к Корфу. Предстояла самая ответственная, решающая операция.

На пути они встретили посыльное судно с письмом от Сенявина.

Отправляя к острову Св. Мавры капитана 1-го ранга Дмитрия Николаевича Сенявина, самого талантливого из своих боевых офицеров, Ушаков, как всегда осмотрительный и осторожный, написал в ордере:

«Ежели можете предвидеть сильное с противной стороны сопротивление, на такой случай тотчас извольте прислать ко мне уведомление...»

И вот теперь Сенявин сообщал, что на острове Св. Мавры пятьсот человек гарнизона заперлись в крепости, имеют большую артиллерию и много припасов и оказывают упорное сопротивление. Крепость с двух сторон окружена морем, а с двух — широкими рвами.

Ушаков посоветовался с Кадыр-беем. Они решили сначала покончить с крепостью на острове Св. Мавры.

Ушаков взял с собою два корабля и два фрегата русские и два корабля и один фрегат турецкие, а остальным приказал идти к Корфу для усиления блокады.

Когда подходили к острову Св. Мавры, услыхали непрерывную пушечную пальбу: Сенявин продолжал осаду крепости. Эскадра стала на якорь в устье канала.

Ушаков и Кадыр-бей съехали на берег, чтобы осмотреть все на месте. Сенявин встретил их на берегу. Он показал адмиралам пять батарей, которые устроил против крепости. Сенявин снял с фрегата 24-фунтовые пушки.

Французский комендант полковник Миолет прислал к Сенявину парламентера. Он предлагал сдать крепость с условием, что весь гарнизон отправят во Францию. Сенявин ответил, что готов принять капитуляцию, если французы будут считаться военнопленными. Миолет не согласился и прекратил переговоры.

— Никуда он от нас не денется! Выкурим оттуда ядрами! — сказал Ушаков. И вернулся на корабль. С ним поехал и Сенявин: он шепнул адмиралу, что ему надо поговорить с глазу на глаз. Ушакова это сильно заинтересовало.

Оказалось, что кроме французов у союзников появился еще один враг — Али-паша Янинский.

Али-паша владел не только Яниной. Его власть распространялась на Эпир и частично на Фессалию. Официально он считался подданным султана, его наместником в Янине, но на деле Али-паша меньше опасался Константинополя, чем султан его самого.

Али-паши боялось все восточное побережье Адриатического моря. Одно его имя приводило в трепет греков и сербов. Все знали его страшную жестокость, хитрость и коварство. Чтобы завладеть наследством отца, Али-паша умертвил своих братьев. Потом, расширяя владения, истребил ближайших наместников и пашей. Он заставил свою родную сестру Хайницу отравить ее сына, Емас-бея, правившего Фессалией.

Али-паша захотел и теперь половить рыбку в мутной воде.

Как только Сенявин прибыл на остров, к нему явились насмерть перепуганные старшины и архиерей. Они рассказали, что Али-паша, чьи владения находились в пятистах шагах от острова Св. Мавры, ведет тайные переговоры с французским комендантом Миолетом. Али-паша хотел прирезать к своим владениям еще кусочек. Он обещал Миолету уплатить тридцать тысяч червонцев и перевезти на свой счет французский гарнизон в Анкону, если Миолет сдаст ему крепость.

И в то же время Али-паша прислал старшинам чрезвычайно ласковое письмо. Он обещал островитянам, если остров перейдет к нему, сохранить их имущество, закон и веру. Обещал не брать податей, — вообще сулил райскую жизнь.

И это сильно напугало жителей острова. Они отлично знали кровожадность и вероломство Али-паши и не верили ни одному его слову.

Сенявин успокоил старшин, сказав, что скоро освободит остров от французов.

А Али-паша попытался действовать еще с одной стороны: он прислал чиновника к Сенявину — предложил свою помощь в борьбе с французами.

Но Сенявин уже был наслышан о нем. Он поблагодарил Али-пашу за предложение и сказал, что у него хватит сил справиться с французами самому.

— Правильно, Дмитрий Николаевич, — похвалил Ушаков. — С этим подлецом надо держать ухо востро!

— А как быть в дальнейшем?

— А так. Формально Али-паша — турецкий подданный, чиновник султана. Потому будем считать его на бумаге, — подчеркнул Ушаков, — своим союзником, а самим — не спускать с него глаз. Пусть ловит где-нибудь других дурачков! Вот мы ему сейчас отправим письмецо. Пишите, Дмитрий Николаевич!

И адмирал стал диктовать:

— «Высокородный и превосходительный паша и губернатор провинции Янины, командующий турецкими войсками».

— Самое главное — подчеркнуть дружбу России и Турции. Он, я уверен, попытается еще играть на старой неприязни турок к нам. Пишите!

«Милостивый государь мой!

Имею честь уверить о совершеннейшей нашей дружбе тесного союза наших государей императоров, которых повеления мы с глубочайшим благоговением дружелюбно между нами выполняем».

Федор Федорович ходил по каюте, медленно диктовал:

— «Рекомендую себя в дружбу и благоприятство вашего превосходительства...»

— Нечего сказать — придется назвать убийцу и мерзавца превосходительством. Но, конечно, он — мерзавец из мерзавцев, в подлости и жестокости он *превосходит* всех! Будем писать дальше:

«...И уверяю честным словом, что всегда стараться буду спомоществовать вам во всем к общей пользе противу наших неприятелей французов».

— Хорошо, Федор Федорович, — сказал Сенявин.

— Погоди, погоди, мы ему еще подпустим.

Адмирал секунду подумал и продиктовал:

— «...Послал я от себя два корабля к острову Святой Мавры, также и от турецкой стороны два же корабля посланы, и приказал я командующему отделенною от меня эскадрою флота капитану 1-го ранга и кавалеру Сенявину сей остров, крепость и обывателей принять во общее наше покровительство и учреждение, флаги поднять на крепости оба вместе — Российский и Турецкий, которые означают совершенную между нациями нашими дружбу; надеюсь, ваше превосходительство, с таковыми благоприятными нашими распоряжениями и вы согласны». Вот и довольно!

— Федор Федорович, надо бы сказать насчет его предложения о помощи.

— Изволь. Сейчас.

Ушаков минуту подумал.

— Пиши:

«...В случае же надобности в рассуждении острова Корфу, если востребуется ваше нам воспомоществование, буду писать и просить о том ваше превосходительство и надеюсь, что вы к тому готовы...»

— Пусть переведут на греческий язык, а вы передадите!

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — ответил Сенявин.

X

Не успел Сенявин уехать с письмом к Али-паше, как к адмиралу Ушакову явилась на флагманский корабль делегация от города Парга.

По взволнованным, встревоженным лицам делегатов Ушаков понял: что-то случилось.

Рассказ паргиотов потряс всех.

Али-паша с десятью тысячами солдат напал на город Превеза, истребил храбро защищавшийся французский гарнизон в двести пятьдесят человек и вырезал большинство жителей Превезы. Рассказывали, что Али-паша сидел в доме французского консула у окна и смотрел, как под окном зверски мучают и убивают беззащитных превезян.

Али-паша угрожал всем остальным городам на берегу: если они добровольно не согласятся признать его власть, то их постигнет участь Превезы.

— В Превезе был русский консул. Что сделал с ним Али-паша? — спросил помрачневший Ушаков.

— Майора Ламброса заковали в кандалы и бросили в тюрьму! — ответили паргиоты.

Ушаков вспыхнул от возмущения и злобы.

«Ну, сейчас, Али-паша, держись!» — подумал Балабин, знавший своего адмирала.

Паргиоты просили Ушакова принять их в русское подданство. Они говорили все вместе, кто по-гречески, кто по-русски.

— Поймите, господа, император вступил в войну не затем, чтобы приобретать новые земли! У нас только одна задача: очистить Ионические острова от французов, — убеждал Ушаков.

Услыхав это, делегаты упали перед адмиралом на колени. Рыдая, ловили его руки, полы мундира, умоляли спасти Паргу.

Какой-то почтенный старик кричал в исступлении:

— Если Россия откажется спасти Паргу, нам останется одно: погибнуть! Мы сами перережем своих жен и детей и пойдем с кинжалами против Али-паши. Пусть истребится наш несчастный род!

Эта сцена ошеломила всех. Офицеры стояли молча, глядя на своего адмирала: какой выход найдет он?

А Ушаков, нахмурив лохматые брови, ходил из угла в угол каюты, обдумывая трудное положение. Он хотел спасти Паргу, но еще не видел способа, как сделать это, чтобы не восстановить Али-пашу против русских.

— Если нельзя присоединить город к России, то хоть возьмите его под свое покровительство! — в отчаянии крикнул кто-то из паргиотов.

Ушаков остановился:

— Хорошо! Я согласен!

Отчаяние сменилось бурной радостью. Делегаты Парги бросились к Ушакову. Плача и смеясь, они целовали полы его зеленого адмиральского мундира.

— Господа, возвращайтесь спокойно домой. Я все улажу с Кадыр-беем и немедленно пошлю к вам войска. Балабин, пригласите

ко мне его превосходительство турецкого адмирала! — приказал Ушаков.

— А теперь примемся за Али-пашу, — сказал адмирал, когда обнадеженные паргиоты вышли из каюты. — Егор Павлович, напишите по-гречески письмецо к господину Али-паше!

Метакса приготовился писать.

Ушаков продиктовал:

— «Жители города Парги прислали ко мне своих депутатов, прося от союзных эскадр помощи и защиты противу покушений ваших их поработить. Ваше превосходительство угрожаете им теми же бедствиями, которые нанесли войска ваши несчастным жителям Превезы. Я обязанным себя нахожу защищать их, потому что они, подняв на стенах своих флаги соединенных эскадр, объявили себя тем под защитою Союзных Империй. Я, с общего согласия турецкого адмирала Кадыр-бея, товарища моего, посылаю к ним отряд морских солдат с частью турецких войск, несколько орудий и военное судно.

Узнал я также, к крайнему моему негодованию, что при штурмовании войсками вашего превосходительства города Превезы вы заполонили пребывавшего там российского консула майора Ламброса, которого содержите в галере вашей, скованного в железах. Я требую от вас настоятельно, чтобы вы чиновника сего освободили немедленно и передали его посылаемому от меня к вашему превосходительству лейтенанту Метаксе, в противном же случае я отправлю нарочного курьера в Константинополь и извещу его султанское величество о неприязненных ваших поступках и доведу оные также до сведения его императорского величества...»

— Вот и все. И придется вам, дорогой Егор Павлович, самому отправиться с этим письмом. Вы не боитесь? — улыбнулся Ушаков.

— Что вы, ваше превосходительство, я готов! — вспыхнул Метакса.

«Если бы знала Любушка, куда я шлю ее сына», — мелькнула мысль.

— Поезжайте, друг мой! Я надеюсь на ваш ум и такт! — ласково сказал адмирал.

XI

Егора Метаксу сопровождал в Превезу Каймакан Калфоглу, ведавший продовольствием соединенной русско-турецкой эскадры. Султан прислал к Али-паше фирман снабдить союзные войска всем необходимым.

«Метакса и Калфоглу отправились на адмиральском катере.

К одиннадцати часам утра катер доставил их к Превезе. Не успели они сойти на берег, как увидели ужасную картину: группа

алипашинских разбойников вела связанных по рукам греков-невольников. Тут были старики, женщины, дети. Турки предлагали их всем прохожим за несколько пиастров. Несчастные рыдали, протягивали руки, просили их выкупить. Метакса выхватил веревку из рук турка и хотел уже силой освободить пленных, но Калфоглу в ужасе сказал по-французски:

— Что вы делаете? Не трогайте. Они изрубят нас!

Метакса с сожалением выпустил веревку. Но оставить пленных в руках турок ему было жаль. Егор Павлович отдал конвоирам все свои деньги и выкупил греков.

Они пришли к дому французского консула, который погиб вместе со всеми защитниками Превезы.

Их глазам представилось страшное зрелище. У входа на лестницу были сложены пирамидой, как ядра у пушки, отрезанные головы превезян с открытыми, застекленевшими в последних муках глазами.

Привычный к турецким зверствам Калфоглу шел, словно не видел этих голов.

Метакса еле плелся за ним по лестнице. Ужасный смрад кружил голову. На лбу выступил холодный пот. Егор Павлович не выдержал и сел на ступеньки.

— Мне дурно! — сказал он по-французски.

У лестницы на верхней площадке стояли вооруженные до зубов алипашинские янычары. Они с удивлением и презрением смотрели, как этому «франку» дурно при виде приятного для них, обычного зрелища.

— Дайте воды! — крикнул по-турецки Калфоглу.

Чья-то рука протянула кружку с холодной водой. Метакса выпил. Стало легче. Он поднялся, шатаясь.

Калфоглу хотел поддержать его, но Егор Павлович нашел в себе силы самостоятельно подняться наверх.

Им загородил дорогу какой-то неприятного вида человек с ятаганом за поясом.

— Откуда и зачем? — сурово спросил он, держась за ятаган.

— От его превосходительства русского адмирала Ушак-паши, — ответил Калфоглу.

— Придется обождать. Паша делает смотр коннице.

Метаксу и его спутника отвели в пустую комнату. В ней не уцелело ни одного стекла, потолок и стены были изрешечены пулями. Сверху сыпалась штукатурка. В стене блестели остатки большого прекрасного зеркала.

Метакса подошел к нему и посмотрел в осколок:

— Хорош посол: желтый как лимон, глаза провалились...

Калфоглу стоял у окна, задумчиво теребя бороду.

Егор Павлович опустился на ломаную скамью, стоявшую у стены.

Три чиновника Али-паши вертелись в комнате.

Они как будто развлекали послов, а на самом деле задавали вопросы, стараясь выведать силы и планы русских.

Метакса, пользуясь своим плохим самочувствием, старался говорить поменьше, а Калфоглу расхваливал русский флот, преувеличивая его мощь.

Вдруг за окном раздались пушечные и ружейные выстрелы, послышался топот сотен конских копыт, затрубили трубы. Это возвращался всесильный Али-паша.

Прошло еще четверть часа — в комнату вошел человек с ятаганом. Он повел Метаксу и Калфоглу к Али-паше.

Они прошли ряд пустых комнат с разбитыми стеклами и изодранными обоями, в которых сидели и лежали алипашинские солдаты, вышли на другую лестницу и попали в небольшую комнату. Комната была наспех обита парчой и малиновым бархатом.

Али-паша в зеленой бархатной куртке с бриллиантовыми пуговицами сидел на диване с трубкой в руке. Плечи паши покрывала шуба из черных соболей. Голова замотана зеленой шалью. Это был плотный, среднего роста человек лет пятидесяти с правильными, даже красивыми чертами лица. Поражали его большие коричневые глаза, очень живые и острые. Темно-русые усы и бороду кое-где тронула седина.

Метакса поклонился и протянул письмо Ушакова, сказав:

— Адмирал Ушаков, находящийся в Санта-Мавре, командующий русско-турецкой эскадрой, послал меня к вашему превосходительству пожелать вам здоровья. Я имею также приказание вручить вам это письмо и ждать ответа.

Али-паша чуть привстал, взял письмо и сказал:

— Добро пожаловать!

Почтенный Калфоглу по турецкому обычаю стал перед Али-пашой на колени и поцеловал полу его шубы. Вокруг стояли вооруженные с ног до головы арапы и турки. Они зорко следили за каждым движением послов.

Али-паша кивнул. Один из слуг подал кресла, с которых была содрана шелковая обивка — виднелись только голубые обрывки гобелена.

Метакса и Калфоглу сели. Калфоглу рассказал о причине их приезда.

Али-паша спросил у Метаксы по-гречески:

— Тот ли это Ушак-паша, который разбил славного морехода Саит-Али?

— Тот самый. Он же разбил при Гаджибее самого Гассан-пашу, взял в плен восьмидесятипушечный корабль и сжег корабль паши.

— Ваш государь знал, кого послать, — улыбнулся Али. — А сколько вашему адмиралу лет?

— Пятьдесят семь.

(Метакса дипломатично прибавил Федору Федоровичу четыре года).

— Так он гораздо старее меня, — покрутил усы Али-паша.

— Вашему превосходительству нельзя дать более сорока лет. Вы еще молоды, — польстил Метакса.

— Нет, куда там. Мне сорок шесть, — сказал Али-паша, убавив себе больше пяти лет.

Он был доволен, что так молодо выглядит. Потом взял с дивана конверт. Играя кинжалом, рукоять которого так и сверкала драгоценными камнями, Али-паша вскрыл конверт.

— Где подпись адмирала? — спросил он, глядя на бумагу.

Метакса привстал и показал подпись. Али-паша минуту смотрел на нее, потом передал письмо секретарю.

Слуги внесли трубки и кофе в золотых чашках.

Али-паша угощал представителей союзной эскадры. Егор Павлович с удовольствием пил кофе. А у Калфоглу чашка дрожала в руках.

Али-паша спросил у Калфоглу, с чем он приехал.

Калфоглу вынул из-за пазухи султанский фирман.

Али-паша усмехнулся. Взял фирман двумя пальцами, помахивая им, многозначительно посматривал на своих секретарей, точно говорил: «Не стоит внимания! Легко весит!»

И вернул его Калфоглу, приказав читать вслух.

Старик стал почтительно читать именной указ султана, но Али-паша не слушал его. Он кивнул одному из слуг. Вошел секретарь и стал возле него на колено. Али-паша нагнулся, и тот что-то долго шептал паше на ухо.

Метакса понял, что секретарь передает перевод ушаковского письма. Али-паша посмотрел на Егора Павловича и ехидно улыбнулся:

— Жаль, что адмирал Ушаков не знает меня так, как должно. Он добрый человек, но верит всяким бродягам, преданным французам и действующим во вред султану и императору.

— Адмирал Ушаков не руководствуется ничьими доносами. Он только выполняет повеления государя императора и султана. Ваше превосходительство не может сказать, что все это ложь, — указал Метакса на письмо.

— Хорошо, хорошо, — прервал Али-паша. — Я с вами поговорю обо всем наедине. Садитесь сюда, — указал он на диван. Али-паша совершенно не обратил внимания на то, что Калфоглу уже окончил чтение.

Метакса сел рядом с ним.

— Как вы называетесь?

— Метакса.

— Если не ошибаюсь, вы с острова Кефалония?

— Мой отец из Кефалонии, а я родился в России.

— Какое жалованье вы получаете?

— Лейтенант получает триста рублей в год, а в походе мы получаем еще столовые деньги. Впрочем, никто не служит императору из-за денег, а из усердия и благодарности.

— Рейзы, управляющие моими купеческими судами, получают у меня до пяти тысяч пиастров.

— Но, ваше превосходительство, портовое дело и военная служба — вещи разные.

— Почему?

— Ваши рейзы ищут добычи, а мы — славы и случая положить нашу жизнь за отечество.

— Слышите вы? — обратился к слугам Али-паша.

— Быть может, ваши шкиперы имеют больше доходов, чем сам адмирал Ушаков, но зато они целуют вашу полу, стоят перед вами на коленях, а я, простой лейтенант, сижу рядом с знаменитейшим визирем. И этой высокой чести я обязан только русскому мундиру, который имею счастье носить.

Али-паша захохотал и, хлопнув Метаксу по плечу, сказал:

— Нам с тобой надо о многом поговорить. Ну, ступайте кушать: вы, франки, обедаете в полдень, а мы — в девять часов вечера. Я пойду отдыхать, а потом позову вас.

Он встал и ушел.

Метаксу и Калфоглу повели в другую комнату.

В ней возле маленького дивана стоял круглый оловянный столик. На нем лежали хлеб, две роговые ложки и серебряная вилка.

— Садитесь на диван, а я на ковре, — сказал Калфоглу, усаживаясь на корточки перед столом.

Четверо арапов стояли возле стола. Они держали по оловянному закрытому блюду.

Прежде всего принесли чорбу, которую Метакса привык есть на корабле у Кадыр-бея, и плов. Затем — меньше чем в полчаса — подали двадцать восемь блюд.

Полагалось обязательно отведать каждое.

Последним блюдом был тот же плов, затем черный ливанский кофе и трубка.

Метакса ел без аппетита: он не мог забыть ужасных отрубленных голов.

После обеда Али-паша вызвал к себе Калфоглу.

Метаксу обступили приближенные паши. Они удивлялись его скромному мундиру, шляпе, шпаге, трости.

Егору Павловичу стало скучно с ними. Он пошел на берег посмотреть, как его гребцы, дали ли им поесть.

Адмиральская «десятка» стояла на якоре. Гребцы лежали под тентом, не выходя на берег.

Метакса издалека услыхал, как один из матросов пел тенорком:

В Ахтиаре на горе
Стоят девки на дворе.
На горе девки стоят,
В море Черное глядят.

В море Черное глядят.
Меж собою говорят:
— Скоро ль корабли придут,
Наших милых привезут?

Матросиков привезут,
Тоску нашу разнесут?

— Эй, там, на катере! — крикнул Егор Павлович, подходя к берегу.

Песня прервалась. Все гребцы вскочили.

— Чего изволите, ваше благородие? — спросил боцман Макарыч.

— Вас накормили?

— Точно так, накормили. Прислали три жареных барана, сыр, хлеб и ведро вина.

Метакса улыбнулся: гребцы поели сытнее, чем он.

— Значит, сыты?

— Точно так, ваше благородие! А стоять здесь долго еще будем?

— Часика через два отвалим, — ответил Метакса и без удовольствия пошел назад.

XII

Когда Метакса вернулся в дом французского консула, его провели наверх к Али-паше.

Али-паша был одет по-домашнему. Он рассматривал захваченный у французского консула телескоп: вертел во все стороны, ничего не видел в нем и ругал своих черных слуг, говоря, что они переносили телескоп с места на место и испортили его.

Увидев Метаксу, он сказал:

— Мне сказали, что ты плохо обедал. Знаю отчего, но я в этом не виноват. Превезяне действовали заодно с французами и поплатились за это.

Али-паша сел на диван и пригласил Метаксу:

— Садись сюда!

И вдруг из ласкового превратился в сурового:

— Ваш адмирал худо знает Али-пашу и не в свое вмешивается. Я имею фирман от Порты на владение Превезой, Паргою, Бутрин-

том. Эти земли составляют матерой берег. Они подвластны мне. Адмиралу предоставлено завоевывать только острова! Я сам визирь султана Селима! — прихвастнул он, хотя еще не был визирем. — Я владею несколькими областями. Я одному султану обязан давать отчет, и никому другому. Я мог бы взять остров Святой Мавры. Он в шаге от моих владений, но я видел, что приближается союзный флот, и отступил. А ваш адмирал не позволяет мне овладеть Паргою. Что он думает?

— Ваше превосходительство, напишите обо всем этом адмиралу Ушакову — он ничего не знает. Пошлите копию султанского фирмана, и все будет в порядке.

— Я никому не обязан сообщать султанские фирманы. Я ничего не боюсь, но не хочу поссорить русских с турками. Ушаков меня огорчает. Знайте, что он во сто крат более будет иметь надобности во мне, нежели я в нем...

— Верьте, ваше превосходительство, что адмирал Ушаков не желает вам зла. Напротив, он хочет дружбы, но то, что сделали вы с русским консулом Ламбросом, он не может и не должен терпеть.

Али-паша вскочил. Он был красен от гнева.

— Ламброс сам виноват. Он давно знал, что я покорю Превезу. Зачем не убрался он на острова? Он остался здесь, чтобы давать советы французам против меня. В доме Ламброса мои враги Христаки проводили все свои совещания и переговоры с французами. Ламброс изменник. Он не достоин ни вашего покровительства, ни моей пощады.

— Может быть, враги Ламброса оклеветали его? Какой резон ему идти против вас? Он, как и все консулы наши, получил официальное извещение о войне России и Турции против французов. Он предуведомлен был о прибытии к Ионическим островам соединенной эскадры. Зачем было ему уезжать? Он оставался, зная, что его, как чиновника союзной державы, никто не тронет. А его ограбили и, заковав в цепи, бросили на галеру. Этот поступок прежде всего оскорбляет государя императора и всю Россию. Ваше превосходительство этим фактом доказывает свою неприязнь ко всем русским вообще!

— Неправда! Я очень люблю и уважаю этот храбрый народ! Я имел случай оказать важные услуги князю Потемкину. Вот был человек! Он умел ценить меня. Во всех письмах он говорил со мною, как с другом. Я получал от него драгоценнейшие подарки. Жаль, их нет со мною — я бы показал! О, Потемкин был великий, необыкновенный человек! Он знал людей, знал, как с кем обходиться. Если бы он был жив, ваш адмирал относился бы ко мне по-другому!

— Будьте уверены, что и князь Потемкин не оставил бы без внимания консула Ламброса. Консул не частное лицо. Он доверенный

государя. Он представляет всю Россию. Кто оскорбляет русского консула, тот оскорбляет всех русских!

Али-паша ходил по комнате, опустив голову. Думал.

— Хорошо. Быть так. Я велю его освободить. Но адмирал Ушаков должен отступиться от Парги и не вмешиваться в мои дела!

— Он этого не может сделать, не подвергаясь гневу императора. Он обязан защитить паргиотов, — они никогда не были подвластны Порте. Парга подняла на своих стенах флаги союзников. Адмирал Ушаков и Кадыр-бей не смогут не признать независимости Парги, как и остальных Ионических островов.

Али-паша почесал затылок. Помолчал.

— Я сам оплошал. Если бы я взял Превезу пятью днями раньше, то Парга была бы теперь в моих руках. Я не посмотрел бы на неприступность ее гор! — угрожающе потряс он кулаком.

— Ваше превосходительство сильно злы на Паргу и паргиотов.

— Имею на то важные причины. Они причиняют зло мне и султану. Они укрывают моих врагов. Они помогают бунтовщикам — доставляют им порох. Я бы не пожалел двадцати тысяч венецианских червонцев, чтобы адмирал Ушаков отступился от Парги. Скажи мне откровенно: кто у него всем заправляет, кто его любимец?

— Наш адмирал любит всех одинаково. А отличает тех, кто более достоин по службе. Могу уверить вас, ваше превосходительство, что ни один русский чиновник ни за какие деньги не возьмется уговаривать адмирала. Да и никто не уговорит Ушакова пойти на такой поступок.

— Посоветуй, что мне делать?

— Я не смею советовать — ни чин мой, ни возраст не позволяют этого. Вы славитесь умом, вы не захотите из-за Парги поссориться с императором и впасть в немилость у султана. Вам необходимо примириться, сблизиться с адмиралом Ушаковым.

— Я готов хоть сейчас. Но скажи откровенно, как мне поступить. Будь ты Али-паша, что бы ты сделал?

— Я бы написал адмиралу Ушакову вежливое письмо, в котором принес бы извинения за поступок моих войск. Немедленно отправил бы Ламброса к русским, потом примирился бы с Паргой и приказал своим войскам не причинять ей никакого вреда!

— О, да ты требуешь невозможного!

— Я полагаю, что адмирал позволит вашему превосходительству послать и со своей стороны в Паргу двенадцать рядовых из христиан, которые будут составлять часть султанского гарнизона, — пока будет решение союзных государей о Парге. Возможно, что вся полоса материка берега присоединится к Турции, а Порта предоставит управление вашему превосходительству.

Али-паша слушал со вниманием. Что-то обдумывал. Очень благодарил Метаксу за совет. Потом позвал своего любимца Махмут-эфенди.

— Вот кого я пошлю к вашему адмиралу, чтобы снискать его благосклонность. А консула Ламброса отправлю завтра утром.

Метаксе не понравился этот посол. Хитрый, очень подвижный — не похож на ленивого, флегматичного турка.

Али-паша, прощаясь с Метаксой, приглашал его приехать в столицу, в Янину.

Метакса с удовольствием отвалил от превезианского берега.

Калфоглу сидел невесел: его миссия окончилась ничем, — Али-паша не посмотрел на султанский фирман и не дал продовольствия.

XIII

Когда Метакса вернулся назад, на крепости уже развевались союзные флаги. Полковник Миолет не выдержал русского огня и сдался.

— А, Егор Павлович, здравствуйте, дорогой мой! Ну как — со щитом? — приветливо встретил своего посланца адмирал Ушаков.

— Все в порядке, ваше превосходительство, — сдержанно улыбаясь, ответил лейтенант.

Адмирал услал всех из каюты и заперся с Егором Павловичем. Метакса подробно рассказал обо всем: о Превезе, о самом Али и беседе с ним. Ушаков внимательно слушал его и только изредка перебивал короткими замечаниями:

— О, подлец! Ах, разбойник! Правильно! Молодец, Егорушка!

Федор Федорович был доволен Метаксой. Лучше вести дело с этим вероломным, хитрым восточным деспотом не смог бы и заправский дипломат.

— Значит, он прислал сюда своего любимца, Махмута, — сказал, думая вслух, Ушаков. — Ты прав, Егорушка, от него надо ждать каких-либо козней. Али-паша знает, что никого из русских ему купить не удастся, и потому попытается играть со своими. Следи за ним и давай вовремя знать!

Но Кадыр-бей оказался верным союзником и порядочным человеком: он сам приехал с Метаксой к Ушакову и рассказал ему о происках подлого Махмута.

Как и предполагал Федор Федорович, Махмут повел двойную игру: с одной стороны, он тщетно убеждал Ушакова в том, что Али-паша расположен к русским, к адмиралу Ушакову и даже к пargиотам, а с другой — старался уговорить Кадыр-бея, что ему не стоит вмешиваться в дела на материке. Он даже пытался запугать

Кадыр-бея мщением капудан-паши Гуссейна, который якобы будет недоволен действиями союзных адмиралов.

Спокойный, уравновешенный Кадыр-бей был возмущен. Он предлагал Ушакову расправиться с вероломным Махмутом по-турецки: заковать в кандалы и отправить на русском военном судне в Константинополь с письмом их обоих султану о всех проделках Махмута.

Ушаков пожал руку почтенного Кадыр-бея и благодарил его за настоящее товарищеское отношение.

Для него вопрос был совершенно прост и ясен: ссориться с Али-пашой ни к чему. Ушаков приехал сюда не затем, чтобы укрощать турецких сатрапов. Это лишь отвлекло бы его от прямой задачи и усложнило бы ее. Надо стараться приобретать сторонников, а не врагов!

Федор Федорович предложил Кадыр-бею просто поскорее отослать незадачливого дипломата Махмута к его хозяину: Али-паша сам оценит его дела.

Кадыр-бей очень уважал Ушак-пашу и согласился с ним: Махмут был в тот же день отправлен в Превезу.

Но его пребывание на турецких судах и происки агентов Али-паши на острове все-таки сказались.

Во время совместных военных действий турецкие солдаты и офицеры беспрекословно слушали русских. Ибрагим, командир турецкого корабля, приданного отряду Сенявина, ходил за Дмитрием Николаевичем как тень. Турецкие солдаты усердно работали у Сенявина на батареях. Вместе с русскими втаскивали на горы под огнем французов 24-фунтовые пушки. И что больше всего удивляло Кадыр-бея и его флагманов, — галионджи ходили по городу и окрестностям без оружия: так приказал Сенявин. И никто из жителей не жаловался на бесчинства или убийства со стороны галионджи, как бывало в плавании всегда.

И вдруг, до сих пор спокойные, солдаты и офицеры стали роптать на союзников. Слышались недовольные голоса.

Приближался священный месяц магометанского года, Рамазан. Агенты Али-паши подзуживали турок. Они говорили: «Гяуры продолжают военные действия потому, что хотят надругаться над законом Магомета, чтобы вы трудились, а не праздновали».

Они лгали, уверяя, что русские берут себе трофеи. И галионджи, которые до сих пор и не думали ни о каком дележе военной добычи, вдруг запротестовали. Они требовали половину пушек, снарядов и прочего имущества или платы за все.

Сенявин и слушать не хотел об этом, потому что все взятое у французов вооружение сразу же передавалось островитянам.

Тогда часть турок решила наверстать упущенное своим обычным способом: грабежом окрестных деревень.

Пример Превезы был им очень близок во всех отношениях.

Но первую же турецкую шайку, которая попробовала грабить, обезоружили вооруженные жители. И пятерых турок доставили в городскую ратушу.

Денщик разбудил Ушакова еще до поднятия флага.

— Федор Федорович, к вам прибыли!

— Кто? — проснулся Ушаков.

— Этот, как его, Кадубей и наш Егорушка...

— Что там стряслось?

Пока Метакса докладывал о поимке турецких матросов-грабителей, Кадыр-бей смущенно теребил свою длинную бороду, словно хотел повыдергать ее. Он сидел красный от стыда и страха: если русский адмирал напишет обо всем султану, Кадыр-бею будет нехорошо.

Кадыр-бей приносил искренние извинения его превосходительству адмиралу Ушакову и просил главнокомандующего препроводить арестованных к нему. И пусть Ушак-паша напишет обо всех их подлостях в самых жестоких словах, чтобы покраснело небо и кровь застыла в жилах!

Старик был взволнован, убит.

— Не огорчайтесь, мой друг, — сказал по-русски Ушаков. — В семье не без урода! Я их пришлю вам — делайте что хотите, и на том конец. В Константинополь я сообщать об этом не стану!

Кадыр-бей с облегчением вздохнул. Он не знал, как и благодарить Ушакова. Он просил главнокомандующего написать правила, как должны поступать турецкие солдаты и офицеры. Опираясь на эти правила, он мог бы требовать от своих флагманов и капитанов безоговорочного исполнения.

— Все убеждены, что одна ваша строка, одно слово значат у султана больше, чем все мои жалобы! Турки давно привыкли бояться Ушак-паши!

Федор Федорович улыбнулся.

— Хорошо! Хорошо! Напишу! — кричал он, нагибаясь к Кадыр-бею, будто чем громче он говорил, тем понятнее становилось турку.

И тут же продиктовал адъютанту все то, о чем просил Кадыр-бей.

В правилах главным пунктом было:

«Строжайше запретить туркам отлучаться самовольно в города и селения по своим надобностям, а увольнять определенное токмо число единовременно и без оружия, под присмотром исправных урядников; возвращаться им на суда не позже захождения солнца. Не являющихся в срок наказывать строго и не отпускать впредь на землю».

Когда со «Святого Павла» отправляли под конвоем пятерых грабителей-турок на корабль Кадыр-бея, матросы обсуждали:

— И что им теперь будет?

— Ежели б в походе, то — за борт!

— А так?

— Палками по пяткам.

— А не грабь, не мучь жителев!

— Вот те и Рамазан!

XIV

Все малые Ионические острова были освобождены. Оставался последний, самый главный и большой, — остров Корфу. Его крепость считалась первоклассной, непобедимой. По своей неприступности и силе она могла равняться только Гибралтару.

Нельсон, блокировавший Мальту, уже пятый месяц стоял у этого острова без всяких результатов.

Ушаков имел о Корфу самые точные сведения. Гарнизон крепости состоял из трех тысяч человек при 636 пушках. Французские инженеры постарались усилить и без того надежные естественные и искусственные укрепления Корфу мощными крепостными сооружениями. Огромная крепость была обнесена толстыми и высокими гранитными стенами. Укрепления старой крепости на юге и новой к северу от города Корфу располагались так, что враг, взявший передовые, неминуемо попадал под огонь пяти мощных замкнутых фортов с круговым обстрелом.

Пороховые погреба были высечены в скалах. Казармы сообщались между собою ходами в горах.

Но все это адмирал Ушаков не считал главным препятствием для овладения островом Корфу. Его озадачивало другое: очень малое количество десантных русско-турецких войск и недостаток продовольствия.

И то и другое зависело только от турок.

7 ноября русско-турецкая эскадра снялась с якоря, провожаемая толпами благодарных островитян.

9 ноября подошли к острову Корфу.

Крепость возвышалась над морем, как высокий маяк.

Перед Корфу лежал небольшой остров Видо. Он превосходно защищал центр Корфу — самый город, расположенный между старой и новой крепостями.

Ушаков, глядя в трубу, сразу указал на остров Видо:

— Вот ключ к Корфу!

Все согласились с этим метким определением.

Адмирал велел, проходя мимо Видо, подойти поближе.

В трубу были ясно видны французские солдаты. Одни наверху строили новые батареи, другие внизу рубили масличные деревья, устраивая завалы, чтобы помешать высадке десанта. А на горах Корфу толпились офицеры.

Они в зрительные трубы смотрели, как в пролив под всеми парусами вступал в боевом порядке соединенный русско-турецкий флот.

Эскадра под командой Селивачева, посланная блокировать Корфу, сторожила выход из Корфинского пролива, находящегося между островами Корфу и Видо.

В этом проливе укрывался французский флот.

Союзники легли на якорь, охватив крепость Корфу со стороны пролива полукольцом. Русские корабли помещались на флангах, откуда можно было ждать появления французских судов.

Адмиральский «Святой Павел» стал ближе всех к берегу для более удобного сношения с островитянами.

К Ушакову тотчас же явился с рапортом капитан Селивачев. Он рассказал, что жители с нетерпением ждут русских.

Эскадра Селивачева все время находилась под парусами: сторожила оба выхода из проливов.

Селивачев посылал к французам капитан-лейтенанта Шостака, предлагая сложить оружие. Шостака ввели в крепость, завязав глаза. Французские генералы приняли его весьма любезно, угощали обедом, пили за его здоровье и с улыбкой отвечали, что не видят, кому надо сдаваться. И в свою очередь спрашивали: «Что, вы хотите въехать в наши бастионы на кораблях?»

— Зря, Иван Андреевич, посылали. Прежде времени! Французы ответили вполне резонно! — вспыхнул Ушаков.

И он перевел разговор на французский флот, стоящий у Корфу.

На рейде у французов кроме нескольких мелких судов и 32-пушечного «Ля Брюн» стояли 74-пушечный «Женеро» и 54-пушечный корабль «Леандр», бывший английский из эскадры Нельсона. Английский адмирал отправил его с донесением о победе над французским флотом при Абукире, а «Женеро» перехватил его по пути и заставил сдаться.

Выяснив обстановку при Корфу, Ушаков стал готовиться к штурму.

Прежде всего следовало позаботиться о десантных войсках. Кадыр-бей тотчас же послал нарочных к пашам на материке, чтобы они поскорее прислали сухопутные войска.

По приказу султана паши скутарийский, дельвинский, авлонский и янинский должны были прислать по три тысячи человек.

Адмирал Ушаков отправил обо всем донесение императору Павлу и писал:

«...Если бы я имел со мною один только полк российского сухопутного войска для десанта, непременно надеялся бы я Корфу взять, совокупясь вместе с жителями, которые одной только милости просят, чтобы ничьих других войск, кроме наших, к тому не употреблять».

По приходе к Корфу Ушаков получил в первые же дни секретное письмо от Томары из Константинополя.

Россия не особенно доверяла новым союзникам — туркам, которые сто лет находились в такой тесной дружбе с французами. Потому Томара писал:

«...Намерения высочайшего двора есть стараться чем можно более раздражить взаимно Порту и Францию; следственно, соблюдая с вашей стороны в рассуждении французов правила войны, вообще принятые, не должно понуждать к наблюдению их турков. Пущай они что хотят делают с французами, и турецкий начальник хотя в самом деле вам подчинен, но в наружности товарищ может поступать с ними, как хочет...»

«Выходит, что я напрасно не позволил тогда Кадыр-бею вырезать потихоньку первых французских пленных на острове Церигo? — подумал Ушаков, — Какая мерзость! Вероломство не лучше Али-паши! И это «высочайший двор»! Нет, пока я жив, так позорить честь русского человека не позволю!» — И Федор Федорович с брезгливостью поскорее запер в стол этот позорный секретный документ.

Соединенный флот блокировал Корфу, ожидая прибытия сухопутных войск и провианта.

Проходили дни и недели, а ни того, ни другого не поступало. Ушаков хорошо знал медлительность, неповоротливость турок и не ожидал быстрой доставки. Но все-таки уже наступил декабрь, а о сухопутных подкреплениях не было и слуху. Федор Федорович начинал понимать, что грозные фирманы султана страшны только в стенах сераля. Он в огорчении написал официальное письмо Кадыр-бею, упрекая турок в том, что время проходит, а обещанных десантных войск они не доставляют.

«...Долгое время пропущено понапрасну и в великий вред, в сие время французы беспрестанно разоряют деревни, грабят и обирают из их крепости провизию и всякие богатства и крепости укрепляют бесподобно; ежели еще несколько времени будет пропущено, то очевидная опасность настоит, что крепости Корфу взять будет невозможно», — припугнул Ушаков.

Кадыр-бей снова разослал гонцов во все стороны.

Но, помимо десанта, еще не весь русско-турецкий флот был в сборе. Два фрегата капитана Сорокина стояли понапрасну у Александрии, куда они были посланы еще из Константинополя. Не возвратились также корабли, отвозившие в Морею французских

пленных. Наконец, Ушаков с нетерпением ждал контр-адмирала Пустошкина. Он должен был прийти с двумя новыми 74-пушечными кораблями из Севастополя. Только в конце ноября присоединился к флоту капитан Сенявин со своими фрегатами, стоявший у острова Св. Мавры.

И в это время, когда у Ушакова не хватало сил даже для осады Корфу, он получил письмо от английского адмирала Нельсона из Неаполя:

«Я еще ничего не слышал о взятии Александрии турецкой и русской эскадрой совместно с моим дорогим другом капитаном Гудом, оставленным мною в качестве руководителя».

И в конце назидательно прибавлял:

«Египет должен быть первым объектом, Корфу — вторым».

Ушаков, прочтя это наглое письмо, только усмехнулся: уловка была очень уж проста! Нельсон не хотел, чтобы русские овладели Корфу. Для него было бы приятнее всего, если бы русские совсем ушли оттуда, оставив одних турок! Тогда бы Нельсон послал один какой-либо корвет в Корфу, а потом, когда крепость не выдержала бы многомесячной турецкой блокады и в конце концов сдалась, Нельсон кричал бы на весь мир, что только англичане взяли неприступный Корфу. И потребовал бы себе львиной доли дележа.

Ушаков давно раскусил этого лорда и не собирался следовать коварным советам Нельсона.

А Нельсон, не хуже Али-паши, действовал на два фронта. Вместе с письмом Ушакову он послал письмо Кадыр-бею:

«Я надеялся, сэр, что часть соединенной турецкой и русской эскадры пойдет к Египту, первой цели войны для оттоманов, а Корфу — это второстепенное соображение».

Он надеялся на своего старого друга, секретаря государственного Дивана, Махмут-Раиф-эфенди, который был предан англичанам и писал Нельсону чаще, чем султану.

Но прямодушный Кадыр-бей не скрыл этого коварного письма от своего русского союзника, и происки Нельсона остались без результата.

Ушаков приложил все усилия к тому, чтобы сделать блокаду острова полной. Он устроил на Корфу две батареи, на южном и северном берегу. В крепости чувствовался недостаток в продовольствии. Французы выходили грабить окрестные деревни, и батареи сильно мешали им в этом.

Но и в эскадре продуктов тоже становилось все меньше и меньше, а работы у русских моряков все прибавлялось. Утомляли бесконечные разъезды, особенно ночные. После вечерней зори вооруженные гребные суда посылались в дозор. Отряды из кораблей и мелких судов крейсировали в проливах, не позволяя крепо-

сти сноситься с албанским берегом. Кроме того, надо было доставлять на батареи провизию и снаряды.

Больше всего изнуряла русских промозглая, сырая, дождливая зима. Пронзительно-холодный ветер и беспрерывный дождь пробирали насквозь всех, кому приходилось стоять на открытом месте. Люди не успевали просушить одежду. Русские проклинали эту южную зиму:

— Ну и зима, будь ты неладна!

— У нас зима — мороз, солнце, а тут экая грязь да слякоть...

— Рождество на носу, а здесь дождь и холодина, как в покров!

В эскадре появились простуженные.

Ушаков, всегда заботившийся о здоровье матросов, не забыл о нем и здесь. Он приказал купить албанские капоты-бурки из толстого сукна. Бурка хорошо защищала от дождя и холода и могла служить одеялом.

Чтобы не тратить даром времени, Федор Федорович осмотрел с Кадыр-беем бывшее венецианское адмиралтейство в порте Гуино. Адмиралтейство находилось в пяти верстах к западу от крепости. Так как французы не смогли защитить Гуино, то они разрушили все здания, а строившиеся корабли затопили.

Ушаков решил обосновать здесь свои ремонтные мастерские, и в скором времени в Гуино стали производиться кузнечные, плотничные и купорные работы.

Ушаков обучал матросов сухопутному делу: стрельбе из ружей, учил высаживаться на берег.

А французы продолжали тревожить русские аванпосты. Не проходило дня, чтобы не было вылазок из крепости. На острове гарнизон Корфу мог достать только одно оливковое масло, а хлеб, скот и вино приходилось доставлять с материка.

Беспокойные ночные вылазки и частые попытки «Женеро» уйти из кольца союзных судов раздражали Ушакова. Он не мог дождаться возвращения своих судов.

Наконец вернулись из Патраса корабли, отвозившие французских пленных. Затем шхуна и две бригантины доставили провизию из черноморских портов.

С провиантом на русских судах положение было катастрофическое: уже начисто выколотили все бочки и съели даже сухарные сметки. Поддерживали свежее мясо и овощи, которые то и дело покупали на албанском берегу.

На турецких кораблях хлеб еще был, и Кадыр-бей по-товарищески делился с русскими. Когда Метакса бывал на «Святом Павле», офицеры в шутку говорили, что завидуют ему: у турок, мол, еще есть хлеб!

9 декабря вернулся с фрегатами из Александрии капитан Сорокин.

Ушаков, ходивший последние дни хмурым, повеселел.

Понемногу начали являться посланные пашами солдаты. Это были грязные, оборванные люди, без оружия и продовольствия.

В это время капитан Селивачев вдруг донес адмиралу, что «не надеется защищать проходы южного пролива Корфу по малости с ним судов».

Ушаков сильно разгневался:

— Мало того, что турки, так и наши начинают! А еще командующий арьергардом! Ведь у него есть три турецких корабля — разве этого мало!

И он отправил к Селивачеву грозный «ордер»:

«Я рекомендую вашему высокоблагородию иметь старание и бдительное смотрение французских кораблей и никаких из судов не пропускать, а ловить, бить, топить или брать в плен и во всем прочем поступать по силе закона».

Но, к сожалению, французскому кораблю «Женеро» все-таки удалось счастливо бежать. Отчаянный капитан «Женеро» Лажуаль выбрал для этого праздничный рождественский вечер, 25 декабря.

В девятом часу вечера, в непроглядной темноте, при крепком южном ветре Лажуаль, вычерня паруса, рискнул прорваться в Венецианский залив мимо русских и турецких кораблей.

Русские разведчики тотчас же дали сигнал, что из-под крепости вышел французский корабль.

Ушаков приказал сигналить фонарями: «Следовать за бегущим неприятелем и брать его в плен».

В узком проливе стоял наш старый 70-пушечный корабль, плохой ходок, «Богоявление Господне» и новый, не уступавший на ходу «Женеро», французской же постройки, турецкий корабль Фетих-бея.

— Егор Павлович, спешите на шлюпке к этому Фетих-бею. Наши не догонят, а он догонит! — сказал Ушаков сидевшему у него за праздничным столом Метаксе.

Метакса в мгновение ока очутился на шлюпке.

Уже слышалась пальба в проливе. Турецкие корабли, по обычаю, были сильно освещены, и Лажуаль, вероятно, ориентировался по ним в этой непроглядной темноте.

Вбежав на турецкий корабль, Метакса, прыгая через храпевших на палубе галионджи, побежал прямо в каюту адмирала.

В передней спали его адъютанты и слуги. В каюте стоял полумрак. На оловянном подносе горел светильник, который, мигая, освещал спящего на софе пашу и стены с развешанными изречениями из Корана.

Метакса бесцеремонно затормошил пашу:

— Вставайте, ваше превосходительство! Французский корабль уходит. Надо догнать!

Фетих-бей, отлично знавший Метаксу в лицо, потянулся, зевнул, потом сел на софе и преспокойно сказал, что он не будет уговаривать свою команду исполнять приказ Ушак-паши:

— Мои галионджи и топчи живут одной чорбой, не получают ни пиастра уже целый год и целый год не видят своих жен, и я не берусь даже будить их ото сна. Может, во сне им лучше, чем наяву. Франк бежит, говоришь? Чем гнаться за ним, дуй ему в паруса! Пусть бежит!

И Фетих-бей снова плюхнулся на софу.

Метаксу подмывало схватить этого жирного Фетих-бея за шиворот и погнать на палубу, но делать было нечего.

Он с досадой кинулся вон из каюты.

А в кромешной темноте ночи раздавались беспрерывные выстрелы: это «Богоявление» все-таки пошло в погоню за «Женеро».

Когда Егор Павлович вернулся к Ушакову и с возмущением рассказал ему об ответе турецкого адмирала, Федор Федорович только сжимал в ярости кулаки и восклицал:

— Ах, Фетюк, Фетюк!

«Женеро» ушел: он был значительно легче на ходу, чем старые русские корабли херсонской постройки.

В одном отношении этот побег сослужил союзникам некоторую службу: французская оборона Корфу лишилась семидесяти четырех новых пушек и восьмисот человек защитников.

XV

В последних числах декабря наконец стало поступать значительными партиями продовольствие. Паши раскачались, ограбили греков и прислали булгур[1] и плохо выпеченные ячменные сухари.

А 30 декабря пришел из Севастополя контр-адмирал Павел Васильевич Пустошкин.

Когда два новеньких 74-пушечных корабля подходили к союзной эскадре, на русских судах прокатилось громовое «ура».

— Генералу Шабо, вероятно, не нравится наше «ура», — смеялся Федор Федорович.

Он с удовольствием и с большим почетом встретил своего старого однокашника и приятеля. Повел к себе в каюту поговорить обо всем.

Пустошкин прежде всего доложил адмиралу о переходе из Севастополя к Корфу.

— Ты знаешь, Федор Федорович, — говорил Пустошкин, — мы снялись из Севастополя двадцать шестого октября, а в Константи-

---

[1] Булгур — толченая пшеница.

нополь прибыли четвертого ноября. Но из Дарданелл не могли выйти за штормами и противными ветрами до первого декабря! Я знал, что ты тут волосы на себе рвешь. Вон похудел как, — говорил Пустошкин, глядя на адмирала. — Но что же было делать...

— Да, с ветром ничего не поделаешь! — согласился Ушаков.

— Дошли до Занте пятнадцатого декабря, запаслись водой и дровами, а ветер опять подвел. Мы и стали. Простояли у Занте до двадцать восьмого декабря. Веришь, я от неприятности сна лишился!

— Верю! — чуть улыбнулся Федор Федорович. Он помнил: у толстого Павлуши сон был всегда превосходный. — Ну, как наш Севастополь?

— Стоит, что ему?

— Как его высокопревосходительство Николай Семенович Мордвинов? Как ему наши победы?

— Не очень о них вспоминает. Больше говорит о Абукирской победе Нельсона.

— Превозносит до небес? — усмехнулся Ушаков.

— Превозносит.

— Так английским приспешником и помрет! А знаешь, Павел Васильевич, что получилось в Абукире у Нельсона? Французы стояли на якоре у берега, как тогда турки у Калиакрии. Передовой корабль нельсоновского авангарда оказался между берегом и французским флотом. Части кораблей Нельсона пришлось следовать за ним. И теперь кричат о Нельсоне на весь мир: «Ах какой маневр!» А ведь мы на семь лет раньше милорда Нельсона решились на такой смелый маневр. И не случайно, а преднамеренно прошли между береговой батареей Калиакрии и турецким флотом. И разбили турок. Об этом наши враги стараются не вспоминать!

Пустошкин привез Метаксе письмо от матери.

— Ваше превосходительство, — подошел к Ушакову Егорушка, — вам кланяется матушка. Поздравляет с победой...

— Спасибо, Егор Павлович, — ответил Ушаков; этот привет был ему приятен.

Теперь, с приходом Пустошкина, весь флот союзников стоял у Корфу. Не хватало лишь десантных войск. Но приходилось торопиться. Французы вели себя на Корфу иначе, нежели на других островах. Они распространяли среди населения воззвания, предлагая грекам объединиться в борьбе против турок. Когда островитяне увидали у своего берега турецкие флаги, они пришли в ужас. Страшная участь Превезы облетела все побережье.

Ушаков уверял жителей, что турецкие войска находятся под его командой, но греки слишком хорошо знали необузданность турецких войск. И уже стали раздумывать: помогать Ушакову или французам. Ушаков писал Томаре, что французы «употребляют те-

перь все пронырливости обратить островских жителей к себе» и что они «рассылают по всему острову в великом количестве печатные листы и публикации».

Каждую неделю приезжали и приходили по нескольку человек с материка от пашей. В последнее время они стали говорить, что Али-паша задерживает большие отряды, которые следуют к флоту.

— Хитер и подл. Неизвестно, чего в нем больше: лисьей хитрости или волчьей повадки! — говорил Ушаков.

Он думал, не спал ночи — как быть с десантными войсками. И пришел к такой мысли, что без Али-паши все равно не обойтись.

Задерживая турецкие отряды, идущие через Албанию, Али-паша сам подсказывал русскому адмиралу выход: попросить у него помощи. Тем более что, как передавал Кадыр-бей, султан не очень доверяет Али-паше, хотя за взятие Превезы пожаловал победителю третий бунчук и звание визиря.

В конце января Ушаков как-то вызвал к себе Метаксу. Он рассказал Егорушке о поручении и передал ему украшенную бриллиантами табакерку, которую недавно подарил ему султан:

— Вот возьми подарок Али-паше.

— А как сказать, за что вы дарите?

— Ну, скажи — хотя бы за то, что он аккуратно поставляет нам свежую баранину, — улыбнулся Ушаков.

— Федор Федорович, но ведь табакерку вам подарил султан! — узнал Метакса.

— А мне что с ней делать? Табак я не нюхаю. Лежит только без дела. Пусть пойдет на пользу отечества.

XVI

Наутро Метакса с письмом Ушакова и султанской табакеркой отправился на катере в порт Бутринто, — по слухам, Али-паша перебрался сюда, поближе к Корфу.

Когда катер подходил к берегу, Метакса спросил у греков-рыбаков, не знают ли они, где паша. Рыбаки указали на купеческий трехмачтовый бриг.

Первый, кого увидал на бриге Егор Павлович, был сам Али-паша. Он ходил по палубе в простом албанском капоте и курил трубку.

— А, господин Метакса, — окликнул он. — Добро пожаловать! — приветствовал он русского лейтенанта.

Али-паша взял гостя под руку и повел его вниз, в каюту. Каюта оказалась темной, тесной и не очень чистой.

— Ну, Ламброса я отпустил. Зачем сейчас ко мне? — спросил Али, садясь за стол.

— Адмирал Ушаков шлет вам письмо и подарок за исправную доставку вашими поставщиками мяса на эскадру, — ответил Метакса, передавая с поклоном конверт и табакерку.

Глаза Али-паши впились в коробку. Письмо он отложил в сторону и первым делом взялся открывать футляр. В коробочке лежала чудесная табакерка, усыпанная изумрудами и бриллиантами.

— Красивый подарок. Очень красивый! — поворачивал Али-паша табакерку и так и этак. — Благодарю. Ну-ка прочти письмо.

Метакса прочел письмо Ушакова, текст которого он переводил на греческий язык и сам же переписывал.

— Все пойдет на лад! — сказал, выслушав письмо, Али-паша.

Он кликнул шкипера. Вошел разбойничьего вида турок.

— Накорми гостя! — приказал Али-паша, вставая из-за стола. — Простите, господин Метакса: обед — походный. Никто ведь не знал, что сегодня будет у нас такой приятный гость! — сказал Али-паша и, взяв табакерку и письмо, ушел.

Егора Павловича больше интересовал ответ паши, чем обед, но делать нечего — он остался сидеть в этой неуютной каюте.

Шкипер принес холодную жареную баранину, маслины, хлеб, виноград, достал из рундука бутылку вина и ушел, не сказав ни слова.

Егор Павлович выпил рюмку вина, закусил бараниной и ел виноград, ожидая Али-пашу.

Вместо него явился грек-секретарь, которого Метакса видел в первый свой приезд. Он пригласил русского лейтенанта на пашинский корвет.

Когда переезжали на корвет, Метакса спросил у секретаря, почему так задерживается ответ. Секретарь тихо сказал, что паша разослал курьеров в Дельвино и Янину за подарками для русского адмирала.

Каюту паши охраняли вооруженные турки.

Вошли в первую небольшую комнату. Здесь стояла широкая деревянная скамья, покрытая ковром. На скамье сидел турок, по всей вероятности один из пашинских секретарей. За перегородкой виднелась комната побольше.

Эта комната была великолепно убрана. Ковры покрывали ее от пола до потолка. Справа стоял широкий бархатный диван. Вся стена над ним была увешана кинжалами, ружьями, пистолетами, оправленными в золото и серебро. Слева висело большое овальное зеркало венецианской работы в прекрасной стеклянной раме с изображениями цветов. Перед зеркалом — круглый курительный столик черного дерева, инкрустированный перламутром, и два мягких кресла. Откуда и какими путями попало все это в каюту повелителя Эпира — кто скажет.

Али-паша в зеленой бархатной куртке с золотыми пуговицами полулежал на диване.

Он пригласил гостя сесть.

Метакса просил Али-пашу поскорее дать ответ, потому что адмирал велел ему возвращаться немедля.

— Я недолго задержу вас в Бутринто, — ответил Али-паша.

Он сказал, что готов предоставить Ушакову сколько угодно солдат, но с одним условием: после взятия Корфу Ушаков отдаст ему половину всей крепостной артиллерии и все мелкие французские суда.

Егор Павлович был поражен. «Ну и аппетит: запросил триста пушек! Какая наглость!» — подумал он.

Метакса вежливо ответил, что такого обещания не может дать сам султан, так как союзники условились, что все военное имущество должно в неприкосновенности оставаться на месте.

Али-паша стоял на своем.

Метаксе пришлось долго убеждать пашу в том, что помощь, которую он окажет русско-турецкому флоту, будет иметь большое значение и для него: султан увидит, что Али-паша старается для пользы Турции, и верховному визирю Низед-паше нельзя будет упрекнуть Али в том, что он непослушен.

— Кроме того, русский император щедро наградит вас, — рискнул вставить Метакса, хотя никто не говорил ему об этом.

Егор Павлович знал, что Али-паша все равно пошлет солдат и только нарочно тянет, чтобы «набить себе цену».

Так и вышло. Янинский паша наконец соизволил согласиться отправить к Корфу три тысячи человек.

Он вызвал секретаря и продиктовал приказ в Янину, а Метаксе сказал, что не отпустит его до завтрашнего утра.

Стемнело. Слуги зажгли свечи. И тотчас же стали накрывать на стол.

Али-паша пригласил гостя поужинать.

Им прислуживали два секретаря и капитан корвета.

Метаксу потчевали французскими винами.

«Не из Превезы ли?» — подумал он и отказался.

Али-паша ел очень мало, а пил только воду. После ужина он услал всех и, покуривая, говорил с Метаксой.

Егор Павлович поздравил его с полученными от султана милостями.

— Меня хотели сделать верховным визирем, но зачем мне это? Я здесь в почете, довольстве и силе. Скорее султан будет больше бояться меня в Стамбуле, чем я его в Янине. Все эти визири завидуют моему богатству и оговаривают меня перед султаном. А вы знаете, во сколько обходятся мне султанские министры? Я даю всем, начиная от последнего цирюльника султана и кончая министром иностранных дел. Едва приобретешь себе приятеля, глядь, а он уже без головы, а ты без денег...

Метакса не мог не улыбнуться.

— Вам смешно. Вы думаете: деньги у Али-паши не последние, а голова у министра — последняя? Э, бросим это. Скажи лучше откровенно: независимость, которую ваш адмирал провозглашает на островах, распространится и на греков материка?

К этому вопросу Егор Павлович был давно готов:

— Конечно, нет. На материке греки не под игом французов, а подданные султана, нашего друга и союзника...

Али-паша остался доволен ответом.

— А теперь пора на отдых. Ложитесь здесь, — указал он на диван.

— Ваше превосходительство, а где же вы? — спросил Метакса.

— Я там, — махнул он в сторону перегородки. — Доброй ночи!

Егор Павлович был удивлен: паша уступает ему лучшее место! Он расположился на диване и слыхал, как за перегородкой укладывался Али-паша.

Вооруженные телохранители всю ночь стояли у двери: смотрели за огнем в каюте, а больше за тем, не собирается ли этот русский лейтенант зарезать их повелителя.

Метакса спал плохо. Али-паша хоть и вполголоса, но требовал то трубку, то воды. И все время справлялся, не вернулся ли кто-нибудь из гонцов.

Наутро Али-паша вручил Метаксе ответное письмо Ушакову и два узла: в одном из них что-то бренчало, а другой был с материями.

— Я посылаю это адмиралу Ушакову в знак благодарности за его внимание ко мне. Насчет войск: я пришлю своего сына — Мухтар-пашу, — он выполнит все, что скажет ваш адмирал. Я надеюсь заслужить любовь русских и покровительство вашего государя. А это — вам лично. — Али-паша протянул Метаксе пару французских пистолетов в золотой оправе и длинный вигоневый кафтан алого цвета.

Егор Павлович поблагодарил пашу за подарки и сел в свой катер.

— Ребята, а вам подарил что-нибудь паша? — спросил у матросов лейтенант, когда катер отвалил от корвета.

— Сто пиастров, ваше благородие, — весело ответил боцман Макарыч.

Вернувшись на «Святой Павел», Метакса передал адмиралу пашинское письмо и подарки.

— Ну, Федор Федорович, посмотрим, чем отдарил тебя паша за бриллиантовую табакерку, — сказал бывший в каюте у адмирала капитан Веленбаков.

— Табакерке цена — самое малое две тысячи рублей, — заметил Сарандинаки.

Ушаков сидел, презрительно глядя на узлы, которые лежали на столе.

Денщик Федор развязал узел. В нем оказались: серебряные рукомойник, таз, поднос, кофейник и дюжина турецких чашек.

— Все это не стоит и полсотни, — оценил Веленбаков.

— Ваше высокоблагородие, погодите: в другом еще что-то, — сказал Федор, обращаясь к Нерону.

Он развязал узел. Тут лежало два шелковых халата, какие-то шелковые кушаки и кусок синего бархата.

Веленбаков только плюнул и отвернулся:

— Ну и подарочки!

— В таком вот тряпье привезли когда-то в Херсон чуму, — брезгливо покосился на подарки Ушаков. — Уноси, Федор! Сегодня едут в Гуино — пусть возьмут и там где-либо развесят на сквозняке.

— Вот тебе турецкая благодарность, — обратился к Федору Федоровичу Веленбаков.

— Мне нужны его солдаты, а не благодарность! — ответил адмирал.

XVII

Ушаков хотел ускорить приезд сына Али — Мухтара, которому паша поручил вести переговоры с русскими относительно присылки войск, и потому отправил в Бутринто крейсерское судно «Панагия».

Али-паше очень понравилась такая предупредительность адмирала, и он немедленно послал сына к Ушакову.

Двадцатилетний Мухтар-паша еще не приобрел наглости своего отца. Он робел перед знаменитым русским адмиралом и его офицерами, но во время переговоров не отступил ни на шаг от того, что сказал ему отец.

Ушаков условился о жалованье и питании солдат, и Мухтар-паша уехал в Бутринто готовить войска.

— Хорошо бы затащить в гости самого бандита Али-пашу, — усмехнулся Ушаков, обсуждая дальнейшие шаги.

— Не поедет: побоится, — высказал предположение Метакса.

— А что, если попробовать? Послать кого-либо с ответным визитом Мухтару, — предложил Пустошкин.

— Верно... Придется просить вас, Евстафий Павлович, — обратился адмирал к Сарандинаки. — Вы капитан флагманского корабля, вы знаете греческий язык...

— Пожалуйста. Я готов.

И на следующий день Сарандинаки отправился в Бутринто на фрегате «Сошествие Св. Духа».

Али-паша был польщен таким предложением, но опасался подвоха. Константинополь не раз покушался на его жизнь, и он

боялся вероломства турок. Он отговаривался разными предлогами и наконец сознался, что верит русским, но не верит своим туркам.

— Но ведь, ваше превосходительство, вы будете гостем русского адмирала! — подчеркивал Сарандинаки. — Я даю вам слово русского офицера, что ни один волос не упадет с вашей головы!

Жажда почета превозмогла все доводы осторожности, — Али-паша поехал, окруженный блестящей свитой и телохранителями. Его одежда и оружие сверкали бриллиантами, яхонтами и изумрудами.

Ушаков приказал встретить Али как полного адмирала. Кадырбей и турецкие флагманы были представлены ему самим главнокомандующим.

Турецкие адмиралы унизились до того, что целовали полу пашинской одежды.

Али-паша сиял от счастья, хотя глаза опасливо бегали, точно у волка, окруженного охотниками.

Ушаков угощал его по восточному обычаю: турецким кофе, вареньем и холодной водой. Причем велел подать серебряный кофейный сервиз — подарок Али-паши. Паша узнал его и улыбнулся.

После кофе гость осматривал адмиральский корабль.

Пока что все шло хорошо. Но вот Кадыр-бей пригласил повелителя Эпира осмотреть турецкий флагманский корабль.

Али-паша изменился в лице и с минуту не знал, что ответить. Ему на выручку пришел Ушаков: главнокомандующий попросил Метаксу сказать паше, что он будет сопровождать почетного гостя.

Али-паша с благодарностью глянул на русского адмирала.

Он все время держался рядом с Ушаковым и на турецком корабле пробыл только пятнадцать минут, не собираясь спускаться в нижний дек, хотя «Святой Павел» осмотрел до трюма. Паша отговаривался тем, что неотложные дела вынуждают его немедленно возвратиться в Бутринто, и поспешил покинуть турецкий корабль.

Али-паша цветисто благодарил Ушакова за прием, сказал, что считает большой честью быть знакомым с таким великим адмиралом. На его лице действительна было написано счастье: янинский паша уезжал к себе живым и невредимым.

XVIII

Прошло десять дней, пока Али-паша прислал свои войска. Он клялся, что вышлет не менее трех тысяч человек, а на деле оказалось немногим больше двух.

— Вот негодяй. Сподличал даже тут! — возмущался капитан Сарандинаки.

— С паршивой овцы — хоть шерсти клок! — раздраженно сказал Ушаков: ему уже надоело возиться с этим бандитом.

Русские суда доставили войска Али-паши из Бутринто в порт Гуино. Моряки с удивлением смотрели на их непомерно длинные ружья. Командовал моряками дельвинский воевода Мустафа-паша.

Русские ждали, что и полководец у Али-паши под стать своему повелителю: такой же надменный, одетый в пышную, дорогую одежду. Но оказалось, Мустафу-пашу нельзя было отличить по виду от его рядовых бойцов. Он носил такой же грубый шерстяной капот, как и они, а на ногах — шерстяные онучи и кожаные постолы. Мустафа-паша ни на шаг не отходил от своих солдат — пил и ел вместе с ними. Русские были удивлены.

Ушаков поместил его и телохранителей у себя на «Святом Павле». Сарандинаки предложил гостю ночевать в кают-компании, но Мустафа-паша поблагодарил и остался со своими. Он закутался в капот и лег на баке возле пушек, окруженный телохранителями.

— Вот такой паша не проспал бы «Женеро», — заметил, проходя, Ушаков.

Федор Федорович решил не откладывать штурма. У него было двадцать линейных кораблей, одиннадцать фрегатов и свыше четырех тысяч сухопутных войск, считая прибывших алипашинцев.

Месяц назад он построил новую большую батарею на возвышенности у Пантелеймоновского монастыря, против старой крепости. На ней стояло тридцать пушек.

Штурм Корфу Ушаков назначил на 18 февраля.

За несколько дней до штурма к нему приехал из Константинополя султанский гонец. Он привез Ушакову от султана тысячу червонных «на самомалейшие расходы» и письмо великого визиря.

Визирь хвалил «мудрые распоряжения и взаимное согласие с нашим адмиралом» и так высоко оценивал Ушакова:

«Деятельность и храбрость Ваша обнадеживает Блистательную Порту к дальнейшим подвигам, она нелицемерно поставляет Вас в число славнейших адмиралов в Европе».

Ушаков обдумывал план штурма, советовался с Пустошкиным, Сенявиным, Сарандинаки, старался вникнуть в каждую деталь предстоящей сухопутной операции.

План штурма вырисовывался в таком виде: флот овладевает островом Видо, а сухопутные войска берут приступом передовые укрепления.

На первый взгляд это было чрезвычайно рискованное и почти невыполнимое дело. Во всей мировой морской истории не было примеров, чтобы флот шел на приступ сильнейшей крепости.

Ушаков собрал общий военный совет, на который пригласил всех капитанов русских судов и трех турецких флагманов. Он изложил собравшимся свой смелый, оригинальный план.

Русские, надеясь на беззаветную храбрость офицеров и солдат, на меткость артиллеристов, единодушно поддержали своего любимого адмирала, восхищаясь его смелым решением трудной задачи.

А турки сидели в растерянности.

Длинный Кадыр-бей задумчиво теребил свою седую бороду. Толстый Фетих-бей хлопал заплывшими ото сна глазами, силился понять, в чем дело. А пронырливый рыжий Патрон-бей кусал ногти.

— Ну, что же скажут господа турецкие адмиралы? — спросил Ушаков, глядя на них в упор.

Кадыр-бей очнулся от раздумья и сказал просто:

— Я не слыхал, чтобы какие-нибудь корабли могли взять крепость.

— Деревом камня не прошибешь! — сердито выпалил рыжий Патрон-бей и отвернулся.

Ушаков и не ожидал от них иного ответа. Он попросил драгомана сказать турецким адмиралам, что им нечего беспокоиться: русские суда пойдут в первой линии, впереди турецких.

Это сразу понравилось всем трем турецким флагманам. В опасности — быть сзади, в дележе — наравне. Это турки поняли без труда.

Они наперебой стали восхищаться мудрым планом главнокомандующего. А Ушаков, откинувшись на спинку кресла, смотрел на них, иронически улыбаясь.

После совета Федор Федорович сел писать подробнейший приказ о плане атаки острова Видо.

Поди, в Херсоне адмирал Мордвинов сам лично не соизволит написать ни единой строчки. К его услугам десяток разных писарей, канцеляристов, копиистов. Он знай себе подписывает.

И не подумает о том, что на русской Черноморской эскадре в Средиземном море у адмирала Ушакова нет ни опытных переводчиков с французского и английского языков, ни знающих письмоводцев. Надо все продумать и всем самому же написать: и тайному врагу милорду Нельсону, который так и смотрит, чтобы оставить русских в дураках, и явному врагу Али-паше, кто не менее коварен и жесток, чем Нельсон.

Приходится отчитываться перед всесильным самодуром-царем и отчитывать не имеющего никакой силы Кадыр-бея.

Тут Федор Федорович — один за всех. И швец, и жнец, и в дуду игрец!

Впрочем, не привыкать стать! Когда-то написал же Федор Федорович в одну ночь план борьбы с чумой. Теперь напишет план взятия флотом неприступных французских крепостей.

И Ушаков начал:

«При первом удобном ветре от севера или северо-запада, не упуская ни одного числа, по согласному положению намерен я всем флотом атаковать остров Видо...»

Он подробно указал, как должно поступать каждое судно, а затем так же обстоятельно рассказал, что делать десанту.

Не было забыто ничто:

«Гребным судам, везомым десант, промеж собою не тесниться, для того и посылать их не все вдруг, а один за другими».

Или:

«...Также сказывают, хотя и невероятно, будто есть ко острову в которых-то местах набросанные колючки, засыпаны землёю и позакиданы натруской травой, так что без осторожности можно на оных попортить ноги...»

И когда все было досконально разъяснено каждому участнику штурма, окончил:

«Прошу благословения всевышнего и надеюсь на ревность и усердие господ командующих».

XIX

Подготовка к штурму велась уже с 16 февраля.

17 февраля командиры всех судов и десантных отрядов получили приказ Ушакова и сто тридцать сигналов, которые выработал штаб главнокомандующего для управления штурмом.

В ночь с 17-го на 18 февраля Ушаков не ложился. С первой склянки подул удобный для штурма западный ветер. Русско-турецкая эскадра оказалась на-ветре у острова Видо. Ветер гнал кружевную пену волн к берегам залива. Только что пробило восемь склянок.

Федор Федорович пил чай. Он по многолетнему опыту знал, что потом, во время боя, будет не до питья и еды.

В адмиральскую каюту вошел адъютант Балабин:

— Ваше превосходительство, беда!

— Что такое? — насторожился Ушаков.

— Прибыл мичман с Гуино. Пашинские солдаты отказываются погружаться на суда...

— Почему? Что, плата мала? — вспыхнул адмирал.

— Никак нет. Они боятся. Говорят, слишком сильная крепость. У французов, говорят, каленые ядра...

— Понятно. Французы нарочно распустили слухи, а дураки и уши развесили. — Он встал, схватил треуголку. — Едем в Гуино. Где драгоман?

Вестовой побежал за драгоманом.

Приехавший из Гуино мичман мог по пути рассказать адмиралу только то, что большинство алипашинских командиров, которых называют общим именем «капитаны», склонны идти на штурм. А рядовые отказываются наотрез.

Когда адмиральский катер подошел к Гуино, площадь, где стояли лагерем войска Али, кишела народом.

Ушаков сразу увидал Мустафу-пашу, окруженного телохранителями.

— Почему не садитесь на суда? — еще издали сердито крикнул Ушаков.

Вместо Мустафы-паши закричали в ответ из толпы.

— Что они кричат? — обернулся к драгоману адмирал.

— Нельзя брать приступом столь вооруженный остров.

— У французов приготовлены в печах каленые ядра.

— Мы умеем драться на суше, а не на воде!

Ушаков, не дослушав переводчика, в раздражении махнул рукой:

— Скажите этим трусам, что я сейчас некаленой картечью заставлю их сесть на суда!

Не успел драгоман перевести слова адмирала, как пашинцы, крича, кинулись в разные стороны. Слова адмирала с быстротой молнии облетели толпу.

Алипашинцы бежали, давя друг друга. Они прятались за домами, среди портовых сооружений. Ушаков с удивлением смотрел на то, что происходит. Он вспомнил рассказы Суворова о турецких сухопутных войсках: если они побежали, то уже никакая сила не может их остановить! Через несколько минут площадь опустела. Перед Ушаковым остались Мустафа-паша, несколько «капитанов» и полсотни телохранителей.

Только они не струсили.

Мустафа что-то сказал Ушакову.

— Он говорит, ваше превосходительство: задумали невозможное дело, — перевел драгоман.

— Невозможное? Скажи, пусть все они соберутся где-либо на холме и сложа руки смотрят, как я возьму и Видо и Корфу. Но за их трусость и предательство ни одного не пущу в город!

И, вне себя от гнева, Ушаков вернулся на «Святой Павел».

Был шестой час утра.

Никто из офицеров не говорил ни слова адмиралу. Все отлично понимали: отказ пашинцев может сорвать штурм. Турецких сухопутных войск осталось меньше половины: две тысячи с небольшим.

Все с тревогой думали: что предпримет адмирал?

Ушаков решил делать так, как было задумано.

Он сидел на шканцах в парадном мундире, с зрительной трубкой в руке. Обычная складка между бровями стала еще глубже. Синие глаза смотрели настойчиво и зло.

В семь часов утра адмирал махнул рукой.

И тотчас же бухнула пушка: это был сигнал береговым батареям открыть огонь по крепости, а десантным войскам идти на приступ.

Жребий был брошен: Ушаков почти без сухопутных войск, с тысячью семьюстами солдат морской пехоты, но при энергичной поддержке артиллерии флота, решил взять прекрасно вооруженные крепости на островах Видо и Корфу.

XX

Адмирал Ушаков с волнением смотрел в трубу: разгадают ли французы его смелый план или нет?

Все шло так, как хотел Федор Федорович.

Он дал сигнал фрегатам и мелким судам идти на приступ крепости.

И тут началось нечто неожиданное для французов.

Суда на всех парусах полетели к острову Видо. Они били по батареям и по берегу, очищая его от завалов и траншей, и все мчались вперед. Казалось, что корабли в самом деле хотят вскочить на французские бастионы. Но когда до берега оставалось расстояние не более картечного выстрела, суда вдруг стали на якорь, повернулись бортом к острову и продолжали стрелять.

За мелкими судами тотчас же пошли в атаку линейные корабли. Каждый из них становился на свое место, указанное в диспозиции, разворачивался, как на ученье, и начинал с близкого расстояния громить укрепления Видо.

Все дрожало от непрерывного, страшного грома пушек.

Французы смешались.

Они попытались было стрелять каленными ядрами, но от поспешности первый залп оказался неудачным. Ядра летели мимо. Лишь два-три из них угодили в борта фрегатов, не причинив им особого вреда. Зарядить пушки каленными ядрами еще раз французы уже не смогли: русско-турецкие суда засыпали их картечью.

Как и в сражениях с турками на Черном море, флагманский корабль адмирала Ушакова показывал всем пример неустрашимой храбрости. «Святой Павел» подошел к берегу на расстояние малого картечного выстрела, стал на якорь против самой мощной французской батареи № 2 и открыл по ней губительный огонь.

Французы отвечали, но все неудачно. И вдруг откуда-то сзади в борт «Святого Павла» ударило одно, другое ядро.

— Что это? Откуда? — всполошились все.

Разгадка оказалась простой: это в своего же главнокомандующего угодил турецкий корабль, стоявший, как и все турецкие суда, во второй линии. Они били по крепости через головы русских.

Ушаков был вне себя от гнева. Он тотчас же послал к Кадырбею адъютанта. Балабин вскоре вернулся. Кадыр-бей просил про-

щения и клялся, что, если бы не шел бой, он бросил бы виновных кумбараджи за борт.

А Видо был весь в огне и пороховом дыму. Чугунный и железный град сыпался на его дома и прекрасные сады. Грохот сотен пушек сотрясал небо, эхом отдавался в горах. Видо с трех сторон окружили суда союзников.

Адмирал Ушаков, увидев, что огонь французских батарей ослабел, приказал высаживаться на Видо. Гребные суда были давно готовы. Морская пехота и охотники из матросов бросились на барказы, катера, лодки. Турки только и ждали этого приказа. Не успев доплыть до берега, они кидались в воду с кинжалами в зубах, потрясая саблями.

Несмотря на отчаянное сопротивление, французы были опрокинуты и сдавались в плен.

Турки не слушали криков «пардон» — рубили пленным головы и собирали эти страшные трофеи, помня, что паша должен уплатить за каждую голову.

Боцман Макарыч бежал вместе с группой молодых матросов. Впереди они увидели двух турок и молодого француза-офицера. Один турок держал мешок, из которого текла кровь, а второй стоял с поднятой саблей, ожидая, когда французский офицер развяжет шейный платок, чтобы легче было отрубить голову.

— Дяденька, что они делают? — в ужасе спросил Васька Легостаев.

— Не видишь, хотят рубить голову. Стой, осман! — заревел Макарыч, кидаясь к турку со штыком наперевес.

Турки, увидев, что их значительно меньше, с неудовольствием отдали офицера. Молодой француз не знал, как и благодарить своих неожиданных спасителей.

— Степка, отведи их благородие к нашим шлюпкам, а то не эти, так другие басурманы зарежут! — приказал Макарыч матросу. — Вон видал — у них цельный мешок голов!

— Ага, ровно арбузов накидали, сволочи!

— Давай, давай, ребята, живей! — обернулся Макарыч к бежавшим сзади матросам.

Он зоркими морскими глазами выискивал уже не французов, а турок, которые продолжали рубить пленным головы.

Егор Метакса бежал вместе с лейтенантом Головачевым со «Святого Павла». Где можно, они спасали пленных от зверства союзников. Они роздали все деньги, выкупая французов у турок.

Метакса и Головачев взбежали на оставленный бастион. Среди пушек лежали порубленные тела французов. В стороне стояла большая бочка. Метакса мельком, на бегу, заметил торчавший из-под бочки трехцветный французский султан.

— Лейтенант Головачев, погодите! — крикнул он и, подбежав к бочке, опрокинул ее.

Под бочкой, закрыв лицо руками, сидел в парадной форме генерал.

— Встаньте, не бойтесь! — сказал Метакса по-французски.

Француз в ужасе отнял от лица дрожащие руки. Это оказался комендант острова Видо, бригадный генерал Пиврон.

Он сидел на шкатулке с деньгами.

Пиврон в радости совал шкатулку русским офицерам.

— Не надо, оставьте при себе! — отстранил Головачев.

— Ребята, ко мне! — крикнул Метакса пробегавшим матросам.

Через минуту генерал Пиврон, под конвоем русских моряков, шел к шлюпкам, неся шкатулку в руках.

Он оглядывался, не гонятся ли за ним турки. Он оглядывался и не видел, что над его островом Видо уже развевался победный русский флаг.

XXI

После взятия Видо все десантные силы были брошены на самый остров Корфу. На нем еще остались две крепости — старая и новая. Они имели мощные долговременные укрепления.

Ободренные успехом, союзники атаковали их и захватили передовые пункты.

Вечерело. Ушаков знал, что люди устали после такого жаркого дня и окончательный штурм крепостей придется отложить до утра.

В это время с острова Корфу пришла шлюпка с французскими парламентерами. Приехали адъютант коменданта полковник Брис и два армейских офицера. Они вручили главнокомандующему союзными силами письмо губернатора Ионических островов дивизионного генерала Шабо, командовавшего всеми французскими войсками в Леванте, и генерального комиссара Республики Дюбуа.

Французы писали:

«Господин адмирал!

Мы полагаем, что бесполезно подвергать опасности жизнь нескольких сотен храбрых русских, турецких и французских солдат в борьбе за обладание Корфу. Вследствие этого мы предлагаем вам перемирие на срок, на который вы найдете нужным для установления условий сдачи этой крепости».

Неприступная, никем не побежденная крепость острова Корфу сдавалась русским войскам.

Ушаков немедля ответил:

«...Я всегда на приятные договоры согласен и между тем пошлю во все места, чтобы от сего времени на двадцать четыре часа военные действия прекратить».

И на острова спустилась тишина. Все выстрелы, шум и крики постепенно утихли.

Видо лежал, окутанный дымом. Кое-где догорали подожженные брандскугелями завалы из масличных и тутовых деревьев.

Наутро к Ушакову приехали подписать капитуляцию французские генералы Шабо, Дюбуа.

«Святой Павел» сиял чистотой — нигде ни следа вчерашнего боя. Пробитые шальными турецкими ядрами борта зашиты досками. Фалрепные в парадных мундирах — молодец к молодцу.

Французы с интересом смотрели на своих победителей, особенно на самого Ушакова, который ждал их с Кадыр-беем и Махмут-Раиф-эфенди.

Остров Корфу сдался на следующих условиях.

Крепость и форты со всей артиллерией, арсеналами, запасами продовольствия и военным имуществом передаются в полной сохранности союзникам. Французский гарнизон должен положить оружие и будет отправлен во Францию.

После подписания капитуляции Ушаков угощал всех кофе.

Пленный комендант острова Видо, генерал Пиврон, которого Ушаков пригласил к завтраку, не мог еще опомниться от вчерашнего: чашка дрожала в его руках. Он с благодарностью посматривал на своего избавителя лейтенанта Метаксу, который спас его от турецкой расправы.

Следующий день внес в жизнь русских моряков новое оживление: из Петербурга прибыл фельдъегерь, который привез царские награды флоту за взятие островов Цериго и Занте.

Ушаков получил бриллиантовые знаки к имевшемуся у него ордену Александра Невского и орден Иоанна Иерусалимского.

Офицеров наградили орденами Анны второй и третьей степеней. А особо отличившимся матросам царь прислал для раздачи триста орденов Св. Анны, которыми раньше никогда не жаловали нижних чинов.

На «Святом Павле» первым из морских служителей Ушаков наградил орденом боцмана Макарыча.

— Вот теперь и ты женат: имеешь Анну, — пошутил капитан Сарандинаки.

— Ваше высокоблагородие, таких бы жен поболе! — просиял боцман. — Эта тихая, несварливая!..

По случаю беспримерного в истории взятия сильнейшей крепости Корфу силами одного флота адмирал Ушаков получил много поздравлений со всех сторон. Даже его заклятый враг, английский адмирал Нельсон, который все время старался как-либо по-

мешать Ушакову взять Корфу, вынужден был прислать льстивое поздравительное письмо.

Но из дружественных поздравлений самым приятным было для Федора Федоровича поздравление соратника и друга, Александра Васильевича Суворова. Прославленный полководец писал:

«Великий Петр наш жив... Что он, по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах, произнес, а именно: «Природа произвела Россию только одну, она соперницы не имеет», — то и теперь мы видим. Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя мичманом!»

XXII

Взяв Корфу, Ушаков задержался на острове. Прежде всего приходилось исправлять суда. Плавание в Архипелаге, а особенно зимняя блокада очень расшатали их. Большинство судов стало течь и нуждалось в срочном, неотложном ремонте.

После выхода из Севастополя Ушаков сам вел свою обширную корреспонденцию: писал донесения императору Павлу, Адмиралтейств-коллегий и турецкому султану; находился в частой переписке с русскими послами в Константинополе, Вене и Неаполе; с начальниками английских эскадр и правителями турецких провинций; рассматривал жалобы островитян.

Это так обременяло его, что Ушаков жаловался вице-президенту Адмиралтейств-коллегий графу Кушелеву:

«При теперешних обстоятельствах, да и всегда дел столь много, что, если бы со мною десять писцов было, не успели бы всего исполнить. Я никого таковых не имею, кто бы мог писать, выслушавши от меня только одно содержание, и потому затруднен и измучен бесподобно, так что, теряя последние силы, третий день совсем почти болен... В письменных делах обуза пренесносная; она отягощает меня до бесконечности и отводит от исполнения других важных дел... Но к письмоводству времени мне совсем недостает, да и столько им отягощен, что жизни моей не рад».

А теперь предстояло более сложное дело.

Надо было установить на Ионических островах самостоятельное правление, которое Россия и Турция обещали грекам.

Русские дипломаты решили, что удобнее всего объявить Ионические острова республикой, находящейся под покровительством России и Турции.

В Морском корпусе учили многим «шляхетским» наукам, но не учили, как учреждать республику. Ушакову пришлось самому все продумывать и самому же все писать — вплоть до текста при-

сяги Ионической республики. И он прекрасно справился и с этой необычной задачей.

На островах было два враждующих класса — дворяне и поселяне.

Ушаков не побоялся привлечь к самоуправлению и граждан этого «второго класса».

Верховным органом власти он сделал «Сенат семи соединенных островов», который был составлен поровну из представителей дворян и поселян.

По такому же принципу избирались и все должностные лица в органах местного самоуправления и суда.

Конечно, это не могло очень нравиться дворянству, и вскоре кое-где их представители пытались идти вразрез с конституцией, ущемляя права «второго класса», но Ушаков сурово пресекал эти попытки:

«Ежели вы не оправдаетесь в вашей ослушности, тот же час пошлю в Кефалонию эскадру или сам с эскадрою буду и всех ослушающихся нашему повелению без изъятия и первейшие из вас особы арестовав, пошлю в Константинополь пленными или еще гораздо далее, откуда и ворон костей ваших не занесет...» — писал он правлению острова Кефалония, получив жалобу островитян.

Учредив сенат, суд, магистраты и прочие органы местного управления, Ушаков смог двигаться с флотом дальше.

Надо было изгнать из Неаполя и Рима французов и помочь Суворову, который с весны 1799 года действовал против французов в Ломбардии и Пьемонте.

Но как Суворову на суше мешал австрийский премьер-министр Тугут, так всем военным предприятиям Ушакова на Средиземном море мешал английский адмирал Нельсон.

Нельсон старался отвлечь внимание и силы русских от Корфу и Мальты. Он вообще хотел загребать жар русскими руками.

Даже опытный в дипломатическом деле Василий Степанович Томара иногда попадался на английскую удочку: по наущению англичан советовал Ушакову послать часть эскадры в Египет.

Но что бы ни писали Нельсон и его сподручные, Ушаков шел своим, русским путем.

«Милостивый государь, Василий Степанович!

Требования английских начальников морскими силами в напрасные развлечения нашей эскадры я почитаю — не иное что, как они малую дружбу к нам показывают, желают нас от всех настоящих дел отщепить и, просто сказать, заставить ловить мух, а чтобы они вместо того вступили на те места, от которых нас отделить стараются.

Корфу всегда им была приятна; себя они к ней прочили, а нас под разными и напрасными видами без нужд хотели отдалить или разделением нас привесть в несостояние.

Однако Бог, помоществуя нам, все делает по-своему — и Корфу нами взята, теперь помощь наша крайне нужна Италии и берегам Блистательной Порты в защиту от французов, усиливающихся в неапольском владении...» — разжевывал Ушаков одураченному было англичанами посланнику Томаре.

Французы, заняв Неаполь, угрожали Сицилии. Ушаков, закончив все военные операции на Ионических островах, послал весною 1799 года к берегам Италии капитана 2-го ранга Сорокина с четырьмя фрегатами.

Чуть только русские паруса показались у порта Бриндизи, как французский гарнизон бежал. Сорокин высадил в Манфредонии десант в шестьсот человек под командой капитана Григория Белли, участника всех черноморских побед Ушакова.

Несмотря на малочисленность отряда, Белли храбро двинулся на французов и в течение двадцати дней освободил две трети королевства Сицилии. Он сломил сопротивление во много раз превосходящего силами врага и занял Неаполь.

Французский гарнизон и итальянские республиканцы сдались на милость победителей.

Союзники гарантировали им и их семьям личную неприкосновенность.

Со стороны Англии такую гарантию подписал представитель Нельсона капитан Фут.

Когда Нельсон узнал, что русские войска взяли Неаполь, он тотчас же приехал туда. Вместо того чтобы лично руководить осадой Мальты, Нельсон предпочитал с осени 1798 года сидеть в Палермо, где укрывалась королевская семья.

В Палермо Нельсона удерживали иные интересы: здесь жила его возлюбленная, жена британского посла в Неаполе, авантюристка леди Эмма Гамильтон, находившаяся в большой дружбе с королевой Сицилии Каролиной.

Приехав вместе с леди Гамильтон в Неаполь, Нельсон отказался признать то, что подписал его же представитель Фут, который ручался «честью Англии», что республиканцы будут пощажены.

Началась беспощадная расправа с итальянскими революционерами, которым так торжественно была обещана неприкосновенность.

Монархисты неистовствовали.

Был схвачен семидесятилетний республиканский адмирал Франческо Караччиоло. Над ним учинили суд, и, несмотря на то что суд постановил отложить дело, чтобы допросить свидетелей, Нельсон приказал немедленно повесить Караччиоло на рее его же корабля.

Он сделал это, чтобы доставить удовольствие своей возлюбленной леди Гамильтон, которая, так же как и ее подруга королева Каролина, ненавидела республиканцев.

В это время распространился слух о том, что в Средиземное море направляется большой франко-испанский флот.

Тогда Нельсон вновь обратился за помощью к тому, чьим победам он так завидовал, но с силой и талантом которого принужден был считаться, — к адмиралу Ушакову.

22 августа 1799 года Ушаков с русско-турецкой эскадрой пришел в Палермо.

XXIII

Русско-турецкая эскадра бросила якорь в лазурной бухте Палермо.

На раскинувшийся у подножия горы Пеллегрино утопающий в зелени город смотрели с кораблей тысячи любопытных глаз.

И только один человек из эскадры не смотрел на дворцы, шпили и кресты храмов. Это главнокомандующий адмирал Ушаков.

Он смотрел на бухту, где среди яхт, парусников и всякой рыбачьей мелочи возвышался «Фудройен», флагманский корабль адмирала Нельсона.

Наконец-то они оба сошлись в одной бухте!

Ушаков внимательно рассматривал «Фудройен».

Корабль неплох.

И конечно, на нем не поблекла краска. И борты не пробиты французскими ядрами. И не потрепаны паруса.

Еще бы — ведь «Фудройен» безмятежно отстаивался в этой спокойной, прекрасной бухте!

«И как ему не стыдно торчать здесь! — подумал о Нельсоне Федор Федорович. — Был бы у Мальты сам, скорее бы дело сделалось».

Он отвернулся и стал, как все, смотреть на веселый, оживленный берег. Оттуда вместе с пряными запахами миндаля, лимонов и апельсинов доносился, как прибой, гул голосов: это жизнерадостные, непоседливые итальянцы толпились на берегу, рассматривая гостей.

Не успели стать на якорь, как к «Святому Павлу» начали подходить шлюпки.

Первым явился к главнокомандующему с рапортом старый знакомый, вице-адмирал Петр Карцов. Карцов пришел в Палермо с небольшим отрядом — тремя кораблями и одним фрегатом — из Балтийского моря на помощь средиземноморской эскадре. Он поступал под команду Ушакова. Вслед за ним приехал с визитом русский представитель при неаполитанском дворе статский советник Андрей Яковлевич Италийский.

До этого Ушаков только переписывался с ним и всегда удивлялся тому, что фамилия посла — Италийский — так подошла к месту его работы — Италии.

Это был очень образованный, почтенный человек.

Италийский рассказал подробно обо всем. Он сказал, что в Сицилии всем правит королева Каролина, что король Фердинанд — вообще тряпка и трус; что леди Гамильтон — женщина с темным прошлым, но она — любимая подруга королевы; что Нельсон влюблен в красавицу Гамильтон, как последний мичман, хотя ему уже сорок один год; что Нельсон ненавидит русских.

Италийский сказал, что Англия очень недовольна либеральной ушаковской конституцией, которую он дал Республике семи Ионических островов.

— Я это знаю, — ответил Ушаков. — Австрии тоже не понравилась конституция. Ну и пусть. Зато самим островитянам нравится!

Он стоял на шканцах — ждал визита англичан.

После отъезда Италийского прошел час, а от Нельсона не было еще никого.

Ушаков во всех отношениях был старше Нельсона и полагал, что английский адмирал первым приедет к нему.

И вот от «Фудройена» отвалила шлюпка. Кто-то шел на ней к берегу.

На шлюпке пестрели женские платья и зонтики.

Матросы «Святого Павла» смеялись:

— Весело живут англичане: вишь, мадамы к ним ездят!

Наконец одна шлюпка с «Фудройена» направилась к «Святому Павлу».

— Евстафий Павлович, встречай дорогого гостя! — усмехнулся Ушаков и пошел с накаленных солнцем шканцев в прохладную каюту.

Английский адмирал прислал своего флаг-офицера, рыжего, высокого бритта, поздравить Ушакова с благополучным прибытием.

Адмирал Ушаков поблагодарил за поздравление и пригласил милорда Нельсона назавтра в 11 часов утра пожаловать для совещания о дальнейших совместных действиях.

На следующее утро к четвертой склянке прибыл на «Святой Павел» длинный Кадыр-бей в неизменной шубе.

Стали ждать Нельсона.

Вот показалась шлюпка.

— Ваше превосходительство, едет тот же самый рыжий флаг-офицер, — сказал адъютант Балабин. — Что-то случилось.

— Ничего не случилось. Все это британские штучки! — ответил адмирал.

Через несколько минут к Ушакову в каюту вошел флаг-офицер Нельсона:

— Милорд Нельсон извиняется, что не может сегодня быть. Вообще от считает, что для совещания лучше встретиться у нас, на «Фудройене».

Ушаков понял: английский адмирал хочет, чтобы русский приехал к нему на поклон.

«Не будет этого!»

Он сидел красный от гнева.

— Почему на «Фудройене?» — почти крикнул Ушаков.

— У нас просторнее. И будут присутствовать сам король Фердинанд и королева!

«И леди Гамильтон, — прибавил за него в мыслях Ушаков. — Король Сицилии... Экая силища!»

Ушаков обернулся к переводчику:

— Передай: там будет король Сицилии, а здесь уже есть командующий турецкой эскадрой адмирал Кадыр-бей!

Англичанин даже бровью не повел, видя, как гневается русский адмирал. Он только еще ниже опустил углы губ.

— Пусть скажет милорду Нельсону, что если он не сможет и завтра приехать, то мы немедля уходим назад в Корфу.

Англичанин откланялся.

Кадыр-бей посидел немного, покурил, выпил кофе и тоже уехал.

Рыжий флаг-офицер побывал в этот день на «Святом Павле» еще раз: адмирал Нельсон соизволил согласиться прибыть завтра на русский флагманский корабль.

— То-то! Я ему не мальчик! Пусть знает! — шагал по шканцам довольный Федор Федорович, весело поглядывая на «Фудройен».

Наутро встреча состоялась. Нельсон приехал с первым министром короля Сицилии англичанином Актоном.

Нельсон был тщедушен и мал ростом. И как все люди небольшого роста, держался чрезвычайно прямо.

Два года назад он потерял в бою правую руку и потому здоровался левой. Пустой рукав был приколот к мундиру.

Италийский рассказывал, что Нельсон внешне очень похож на Александра Васильевича Суворова. Федор Федорович пригляделся: «Да, какое-то сходство есть!»

Английский адмирал поздравил Ушакова со взятием Корфу.

После него с поздравлениями выступил министр Актон, вертлявый щеголь. На Актоне был модный фрак с широким отложным воротником и до смешного узкими рукавами, которые кончались небольшими отворотами. Под фраком виднелось несколько роскошных жилетов — один поверх другого. Шею первого министра Сицилии обертывало два цветных шелковых платка.

«Адова жара, тут впору ходить в одной рубашке, а он навесил на себя дюжину жилетов. И преет. Не хуже моего Кадыр-бея в шубе!» — подумал Ушаков.

Черноглазый тонкий Актон чем-то походил на кузнечика. И говорил как кузнечик — трещал быстро и без умолку.

Ушаков пригласил гостей в каюту.

Когда сели за стол, на котором лежала карта Средиземного моря, Ушаков сказал переводчику:

— Переведите милорду Нельсону: я полагаю — надо идти со всем соединенным флотом к Мальте!

Услыхав слово «Мальта», Нельсон сразу поджал губы.

Он сидел, не глядя на русского адмирала, прямой и надменный.

— На Мальте и без того скоро будет все кончено, — последовал ответ.

— А что же думает делать милорд Нельсон?

— Английская эскадра имеет приказ идти частью в Гибралтар, частью в порт Магон, — ответил Нельсон.

— Выходит, нам здесь делать нечего? Ведь французская эскадра блокирована в Тулоне!

— Я считаю, что русско-турецкой эскадре надо идти к Неаполю.

— Это зачем?

— Бунтовщики никак не успокаиваются. Королевская власть еще не чувствует себя там достаточно твердо... Русские должны помочь. Они превосходно сражаются на суше... — говорил Нельсон.

Ушаков чуть усмехнулся: в последней фразе Нельсона чувствовалось желание уколоть русских.

— Благодари милорда за признание наших успехов на суше, — обратился к переводчику Федор Федорович. — Но напомни, что русские показали себя и не такими уж плохими моряками. В этих же водах действовал Спиридов. Да и Корфу взята моряками...

Нельсон взглянул на Актона.

Видимо, срочно требовалась поддержка.

Первый министр ждал этого момента — вручил Ушакову конверт, сказав:

— Его величество просит вас поспешить в Неаполь.

«Понимаю, куда вы оба гнете», — подумал Ушаков, но стал говорить о том, что император Павел — великий магистр Мальтийского ордена и для русских Мальта — первое дело.

— На Мальте во многих местах уже развеваются два флага: британский и сицилийский, — ответил Нельсон.

Он встал, сказав, что, к сожалению, не может больше уделить времени для беседы и что он надеется видеть адмирала Ушакова у себя. И уехал с Актоном.

Альянса между двумя адмиралами явно не получилось.

Италийский передал, что Нельсон возмущался чрезвычайной гордостью Ушакова, которого он так и назвал: «русский медведь». Да, ему делать было нечего: английская коса нашла на русский камень!

XXIV

Непримиримую, твердую позицию Ушакова неожиданно поколебали коварные турки.

Турецкие абабы давно тосковали по «вольной» жизни. Мимо стольких роскошных и богатых мест они плыли, столько «купцов» встречали в море и ничем этим не смогли попользоваться!

Такого скучного плавания не ждал ни один из них! Такого бесприбыльного, бедного плавания не запомнил из них никто!

Прибыв в Палермо, они добились того, что капитаны стали отпускать их десятками на берег.

Турецкие матросы решили, что если на Ионических, греческих островах не позволяли грабить, то, может быть, будет дозволено им поживиться хоть тут, на берегах Италии.

И попробовали заняться этим в окрестностях Палермо.

Но сицилийцы неожиданно дали грабителям хороший отпор. Четырнадцать турок остались навсегда лежать на острове, пятьдесят три вернулись кое-как на свои суда израненными, посылая проклятия «неверным». До сорока турок пропало без вести.

Тогда чаша терпения турецкой вольницы переполнилась: они с ятаганами, саблями и интрепелями приступили к своим командирам, требуя немедленного ухода домой, в Константинополь.

Офицеры сами мечтали об этом, видя, что никакой прибыли от дальнейших морских и сухопутных путешествий не предвидится.

Один только Кадыр-бей перепугался насмерть: он боялся, что султан отрубит ему голову за самовольный уход от Ушакова. Кадыр-бей примчался к главнокомандующему бледный и в поту, без своей обязательной шубы.

Кадыр-бей умолял главнокомандующего, чтобы он собственной властью восстановил бы порядок на его кораблях.

Ушаков бесстрашно поехал один на взбунтовавшиеся турецкие суда.

Приезд грозного Ушак-паши, которому, как все знали, султан дал полную власть над турецкой эскадрой, отрезвил горячие головы. Порядок был восстановлен.

Однако Ушаков, уезжая от Кадыр-бея, взял с собою Метаксу и его помощников-переводчиков, говоря:

— Уедем-ка со мной. Не ровен час...

Он понимал, что турки угомонились ненадолго.

Вечер и ночь прошли на турецких судах спокойно.

Но ранним утром 1 сентября вдруг снялся с якоря корабль коварного Патрон-бея, который все время косо смотрел на русских и старался как можно меньше им помогать.

Чуть только остальные суда увидали, что их собрат уходит домой, как сразу же стали рубить якорные канаты. К парусам бросились все — и абабы и артиллеристы.

Русские моряки смеялись, глядя, как беспорядочно, хотя и быстро, турки одеваются парусами:

— Ишь как стосковался осман по своим женам!

— Да, прыти много!

— Вот кабы они так в бою!

— Домой, брат, всякая скотинка веселее бежит!

Кадыр-бей, уходивший из Палермо последним, попытался на прощанье вывесить главнокомандующему сигнал: «Благодарю». Но дальше у сигнальщиков ничего вразумительного не получилось.

Ушаков стоял, с какою-то грустью глядя, как от него уходит его ненадежный союзник.

Он оставался с другим, еще менее надежным.

Приходилось идти в Неаполь. Делать чуждое для России, чужое, ненужное дело.

XXV

Моряки Ушакова внезапным броском заняли Рим, а чудо-богатыри Суворова били лучших французских генералов на берегах Треббии и у Нови.

Но после того как русские солдаты и матросы освободили, от французов Северную Италию, они вдруг оказались не нужны своим «союзникам».

Австрия и Англия, использовав в своих интересах силу России, стали постепенно выживать русских из района Средиземного моря.

Выживали разными методами, хотя одинаково последовательно и вероломно.

Тогда Павел I отозвал армию и флот в Россию.

Ушаков вернулся на Корфу и вынужден был простоять здесь еще полгода, собирая свои суда, разбросанные по разным местам, и готовясь к далекому походу в Севастополь.

За освобождение «всех похищенных французами прежде бывших венецианских островов» и за взятие острова Корфу император Павел пожаловал Ушакову чин адмирала.

Это была последняя царская награда «морскому Суворову», непобедимому флотоводцу.

Султан прислал Ушакову челенг — перо, осыпанное алмазами. Челенг считался у турок самым высоким отличием. Кроме того,

подарил дорогую соболью шубу, табакерку, украшенную алмазами, и тысячу червонных.

Павел I наградил за взятие Корфу только Ушакова и Пустошкина (он был зол, что упустили «Женеро»), а султан вспомнил и о русских матросах: прислал им три с половиной тысячи червонных.

Отраднее всего была искренняя благодарность населения островов.

Последние месяцы пребывания русского флота на Корфу вылились в сплошное чествование русских моряков и их знаменитого адмирала.

Каждый освобожденный остров считал святой обязанностью сделать какой-либо подарок своему избавителю.

Остров Корфу поднес Ушакову золотой меч, осыпанный алмазами. Кефалония и Итака — золотую медаль, Занте — золотой меч и серебряный щит.

В благодарственных адресах Ушаков назывался «спасителем» и «отцом» Ионических островов.

На медали острова Итака была надпись:

«ФЕДОРУ УШАКОВУ,
РОССИЙСКИХ МОРСКИХ СИЛ ГЛАВНОМУ НАЧАЛЬНИКУ,
МУЖЕСТВЕННОМУ ОСВОБОДИТЕЛЮ ИТАКИ».

Здесь его оценивали по достоинству, а дома — его ждала все та же глухая зависть бездарностей, графская неприязнь и непрекращающиеся козни.

Ушаков чувствовал, что в России уже начинают забывать о подвигах русского флота в далеком Средиземном море. Он так и писал Томаре:

«За все мои старания и столь многие неусыпные труды из Петербурга не замечаю соответствия. Вижу, что, конечно, я кем-нибудь или какими-нибудь облыжностями расстроен; но могу чистосердечно уверить, что другой на моем месте, может быть, и третьей части не исполнил того, что я делаю...

Зависть, быть может, против меня действует за Корфу; я и слова благоприятного никакого не получил, не только ничего того, что вы предсказывали. Что сему причиною? Не знаю...

Столь славное дело, каково есть взятие Корфы (что на будущее время эпохою может служить), принято, как кажется, с неприятностью, а за что — не знаю.

Мальта — ровесница Корфу; она другой год уже в блокаде и когда возьмется, еще неизвестно, но Корфу нами взята почти безо всего и при всех неимуществах...»

И все-таки домой, в Россию, хотелось.

Хотелось увидеть ставшие родными крымские берега. Бурное, своенравное, но пленительное Черное море. Услышать теплый ветерок с гор, насыщенный запахами полыни и мяты.

Матросы всё чаще говорили:

— Эх, поскорее бы домой!

— Хорошо, братцы, по морозцу пройтись!

— Березку бы увидать!

— Щец покушать!

— А я бы за снежок все отдал!

И вот наконец в июле 1800 года Черноморская эскадра пошла на восток, домой.

Русский флот только еще возвращался, в то время как сухопутная армия давно уже была дома, а ее прославленный, непобедимый полководец спал вечным сном в стенах Александро-Невской лавры.

XXVI

Когда Ушаков вернулся в Севастополь, Мордвинов уже не командовал Черноморским флотом. Вместо него в Николаеве сидел такой же никчемный, бесталанный адмирал Виллим фон Дезин. Он всегда завидовал талантливому Ушакову и не любил его.

Федор Федорович не получил назначения никуда — ни к флоту, ни в Черноморское адмиралтейское правление. Адмирала Ушакова, который выпестовал Черноморский флот, который привел его к стольким славным победам, отстранили от руководства флотом.

Его заставили отчитываться по денежным и хозяйственным делам экспедиции на Ионические острова.

Знаменитый флотоводец потонул в тыловых бюрократических канцеляриях, — вынужден был заниматься тем, что всю жизнь презирал и ненавидел.

И так он оставался не у дел до того момента, когда на престол вступил Александр I.

Прославленного в боях адмирала Федора Ушакова назначили командовать Балтийским гребным флотом, который не имел ровно никакого значения для обороны отечества.

Александру I не нужны были такие флотоводцы, как Ушаков, — царь не любил и боялся моря. Необходимость самого существования русского флота Александр I брал под сомнение. Он учредил Особый комитет, который должен был, по мысли царя, принять меры «к извлечению флота из настоящего мнимого его существования и к приведению оного в подлинное бытие».

В комитет, разумеется, не вошел ни один боевой адмирал. Зато в нем были широко представлены все придворные «флотоводцы» — Мордвинов, фон Дезин, Чичагов, а председательствовал в нем вовсе ничего не смысливший в морском деле граф Александр Воронцов.

Комитет пришел к единодушному заключению, что «России быть нельзя в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится. Прямое могущество и сила наша должна быть в сухопутных войсках».

Комитет начисто зачеркивал всю славную историю русского флота: Гангут и Гренгам, Хиос и Чесму, все черноморские победы и блестящую Ионическую кампанию Ушакова.

Потому-то сильно пошел в гору Николай Мордвинов.

Мордвинов умел хорошо пускать пыль в глаза, был велеречив и при всей своей пасторской, «святой» внешности — пронырлив.

Сначала его назначили вице-президентом Адмиралтейств-коллегий, а затем морским министром.

Теперь Мордвинов быстро разделался со своим врагом: адмирал Ушаков был окончательно изгнан с Черного моря. Русский флот вновь переживал тяжелые дни.

И немудрено: во главе его стояли бездарные кабинетные адмиралы Мордвинов, Чичагов и проходимец и авантюрист, французский эмигрант маркиз де Траверсе.

Ушаков жил в Петербурге уединенно — с одним денщиком Федором. Он нигде, кроме своей бесполезной службы, не бывал и ни с кем не общался.

Иногда его навещали старые товарищи-черноморцы, офицеры и матросы, приезжавшие по делам в Петербург.

Федор Федорович был всегда рад таким гостям, но они привозили тяжелые вести.

На Черном море, как и на Балтийском, русский флот с каждым днем приходил в упадок. Старые, исконно русские морские традиции забывались.

Такие посещения доставляли не только радость, но и причиняли боль.

Бывший всегда не особенно разговорчивым, Федор Федорович теперь молчал по целым дням. Спал плохо и мало. Часто среди ночи вдруг просыпался в холодном поту и лежал, мучительно думая все о том же — о печальной судьбе российского флота, о своей одинокой, безрадостной старости...

Он лежал с закрытыми глазами и хотел — хоть на секунду — представить себе, что он в каюте. Но — увы! — все было так неподвижно, так мертво...

Федор, видя, как страдает адмирал, только вздыхал и сокрушенно качал головой.

С каждым днем становилось все тяжелее, все хуже.

Одного за другим выживали из флота старых боевых товарищей Федора Федоровича: морское министерство, видимо, не нуждалось в опытных, испытанных моряках.

Уволили вице-адмирала Гавриила Голенкина, сначала определив и его в тот же Балтийский гребной флот.

Не у дел оказался и второй верный соратник Ушакова, вице-адмирал Павел Пустошкин. Ушаков понимал, что скоро настанет и его черед.

Зато пошли вверх все бездарности, все кабинетные адмиралы, такие, как фон Дезин и Чичагов.

Много недель крепился Федор Федорович, все еще надеясь на что-то, но в конце концов решился пойти на крайнюю меру. 19 декабря 1806 года он подал на имя царя прошение об отставке. Федор Федорович не мог удержаться, чтобы хоть намеком не сказать о настоящей причине своего ухода из флота. Он написал, что «отягощен душевной и телесной болезнию и опасается по слабости здоровья быть в тягость службе».

Он написал это, хотя фактически никакой службы уже не нес и в свои шестьдесят два года чувствовал себя бодрым и крепким и был готов идти на любого «крокодила морских битв».

Александр I, считавший себя большим знатоком человеческой души, обратил внимание на странную формулировку просьбы об увольнении и приказал адмиралу Чичагову узнать у Ушакова, «в чем заключается душевная его болезнь, дабы его величество мог сделать что-либо к его облегчению».

Адмирал Ушаков ответил:

«Всемилостивейший государь!

В письме товарища министра морских дел объявлено мне: Вашему императорскому величеству в знак милостивого благоволения благоугодно узнать подробнее о душевной болезни моей, во всеподданнейшем прошении о увольнении меня при старости лет за болезнью моею от службы упомянутой.

Всеподданнейше доношу, долговременную службу мою продолжал я от юных лет моих всегда беспрерывно с ревностью, усердием и отличной неусыпной бдительностью. Справедливость сего свидетельствуют многократно получаемые мною знаки отличий, ныне же, по окончании знаменитой кампании, бывшей на Средиземном море, частию прославившей флот Ваш, замечаю в сравнении противу прочих лишенных себя высокомонарших милостей и милостивого воззрения. Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны — да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением. Молю о милосердии и щедроте, повто-

ряя всеподданнейшее прошение свое от 19 декабря минувшего 1806 года».

Неизвестно, что подумал Александр, этот «властитель слабый и лукавый», прочтя объяснения Ушакова, написанные кровью сердца.

Но очевидно, он все же внял голосу Мордвиновых и Траверсе, а не голосу бессмертного адмирала Ушакова.

17 января 1807 года Александр I «повелел»:

«Балтийского флота адмирал Ушаков по прошению за болезнью увольняется от службы...»

Таково было царское «облегчение».

XXVII

За несколько дней до отъезда Ушакова на родину в Тамбовскую губернию к нему неожиданно явилась Любовь Флоровна.

В первый год, когда Федора Федоровича назначили в Петербург, Любушка часто бывала у него, — после смерти тетушки Настасьи Никитишны Метакса жил в ее домике на Васильевском. Но в следующем, 1803 году Метакса снова уехал из Петербурга на юг, в Таганрог.

И Федор Федорович не виделся с Любушкой пять лет.

Денщик Федор первый встретил дорогую гостью.

— Барыня, Любовь Флоровна, вы ли это? — всплеснул он руками. — Вы все как цветок!

— Нет, голубчик, какой уж там цветок! Веник, а не цветок! — отшутилась она.

Любовь Флоровна сильно располнела, но ее щадила седина: в русых волосах она едва была заметна.

— Здравствуй, Феденька! — сказала Любовь Флоровна, входя в кабинет адмирала. Она поцеловала его.

— Откуда ты, Любушка? — обрадовался Федор Федорович, усаживая ее и садясь с нею рядом.

Он так был рад ее приходу. Ведь, кроме денщика Федора, это был у него единственный близкий человек.

— Приехала из Таганрога. Павел задумал продавать тетушкин дом. Я и решила: поеду в последний раз в Петербург. Прощусь со всем.

— Спасибо, Любушка. Спасибо, моя дорогая. Ну, а где Егорушка плавает?

— Он еще в экспедиции Сорокина в Средиземном море. А ты как, дорогой дружок? Собираешься на родину?

Федор Федорович помрачнел:

— Да, надо на покой. Довольно. Пусть тут графы да маркизы командуют, а мы, мужланы, уже не годимся... Как ты живешь?

— Что — я? Старею, — виновато улыбаясь, искренне и просто сказала она, дотрагиваясь своими маленькими пухлыми пальцами до его рукава.

Сидели молча. Слова не шли.

Федор Федорович смотрел на нее, невольно высчитывая в уме. Она на восемь лет моложе его, стало быть, ей уже пятьдесят четыре. А все не сдается.

Любовь Флоровна тоже незаметно рассматривала его. Поседел, постарел, хотя все такой же крепкий — не расплылся, как другие в его годы. В квадратном подбородке чувствуется большая сила. А в глазах горит прежний ушаковский огонь.

— Да-а, жизнь прожита, — сказал он, думая о них обоих.

— Прожита, Феденька, — печально согласилась Любовь Флоровна. — Что ж, ты прожил большую, настоящую жизнь. У тебя было счастье...

Федор Федорович секунду помолчал.

— Счастье? Мое счастье разобрали по кусочкам другие! — вспыхнул он, вставая.

Замолчали снова. Но теперь молчание уже стало тягостным. Любовь Флоровна склонилась и тихо заплакала. Слезы капали на бархат платья.

Ушаков, как все мужчины, не переносил слез. Он подошел и положил руку на ее вздрагивающее плечо:

— Не надо, не надо. Успокойся. Былого не воротишь!

«В первый раз увидел ее плачущею, и вот в последнее свидание она тоже плачет. А ведь по натуре — веселая...»

— Что уж говорить, Феденька! — поднялась она, вытирая слезы. — Я пойду. Верно, былого не воротишь. Прощай, мой дорогой! Прощай!

Любовь Флоровна порывисто обняла его и быстро пошла из комнаты, прикрывая лицо рукою.

А Федор Федорович остался стоять на месте. Он стоял, нахмурив брови и крепко опираясь рукой о спинку стула.

Ему вспомнилось их прощанье на пристани в Воронеже, когда он уезжал и матросы пели:

Закрепили паруса,
Прощай, любушка-краса!

Вот теперь уж действительно прощай! Ушаков глядел куда-то в одну точку. Думал о себе, о прожитом.

ЭПИЛОГ

Порывистый, холодный ветер бил в лицо, трепал волосы, но денщик Федор все стоял на крыльце, глядя вслед адмиралу. Не послушался, все-таки пошел в бор. Не молоденький — семьдесят третий год, а все не усидит! Особенно когда подымется ветер.

На всю жизнь осталась вера моряка: главное — это ветер!

Вчера было плохо с сердцем — едва отлежался. Но тут же радостно говорил: это к перемене, это к норд-осту.

И как верно сказал: сегодня ветер подул с севера. Погнал хмурые осенние тучи. Покатился волнами по шумному, гулкому бору.

И адмиралу уже не сидится в доме. Пошел на свою любимую горку.

Федор Федорович стоит на верху холма. Хоть и трудно взбираться на эту площадку, но здесь он чувствует себя словно на шканцах флагманского корабля.

Вверху, как мачты, качаются высокие сосны. И где-то одна сухая чуть поскрипывает, точно гнется под свежим ветром бизань.

Сегодня Федор Федорович едва отдышался, взобравшись наверх. Сел на пенек. Тяжело дышит.

Думает все о том же, о чем думал всю жизнь, о чем думает каждый день все эти десять лет, что томится в отставке: о родном, русском флоте.

Ушакова отстранили, забыли. Но русские моряки не забыли его заветов: на флоте остался верный ученик Ушакова — Дмитрий Сенявин. Он с честью продолжал славное русское морское дело.

Знатные завистники отставили и Сенявина.

Ушаков и Сенявин вели русский флот к победе. Бездарности и выскочки ведут его к гибели.

Дошло до того, что адмиралов послали командовать пехотой. Пять лет назад, в Отечественной войне, сухопутный адмирал Чичагов осрамился на весь мир. И не в Средиземном море, не в Черном, не в Балтийском, а на простой, тихой реке Березине.

Стыд и позор!

А Наполеона победил славный Кутузов. Великий ученик великого полководца.

Французы...

Как бил их Ушаков на Ионических островах!

Вспомнил о былой славе и разволновался. Покраснел.

Стало душно. Рванул ворот полушубка. Распахнул на груди старый адмиральский мундир. Сидел, тяжело дыша.

А над головой, не умолкая, шумели сосны, как морской прибой.

Он сидел и видел.

Высоко вздымаются седые гребни волн. Кружевная пена сыплется мелкими брызгами.

Вот, рассекая грудью грозные, черные валы, летят его легкие белокрылые фрегаты. Его бесстрашный авангард.

А за ним идут, шумя парусами, большие, тяжелые, могучие многопушечные корабли.

Скрипят, качаются мачты. Гул ширится и растет. Волны все крепче. Ветер все сильнее. Но всего сильнее — боль.

Нет, он не может больше молчать! Он бросит в лицо этим бездарным графам и маркизам: «Отстранили, Ушакова и Сенявина — на их место встанут другие! Не погубите! Русский флот будет жить! Будет!..»

Он кричит и вдруг тихо валится с пенька на мягкий мох.

Над его головой волнами ходит ветер. Как море, шумит вековой бор.

Лицо непобедимого адмирала радостно и спокойно.

Он уснул с глубокой верой в будущее величие своей родины.

1939—1953
Ленинград — Печоры Псковские

КУТУЗОВ

Часть первая

«ИЗ СТАИ СЛАВНОЙ»

Глава первая

«ЧУГУН КАТУЛЬСКИЙ, ТЫ СВЯЩЕН!»

С малым числом разбить великие силы тут есть искусство и сугубая слава.

П. Румянцов

Сражение при реке Кагуле походит более на баснословное, нежели на действительно историческое.

Д. Бантыш-Каменский

I

Россия не хотела войны, но турки навязали ее. Европейские покровители турок уговорили Оттоманскую Порту напасть на русских. Они боялись того, что силы России растут с каждым днем и что с каждым днем растет ее влияние в Европе.

Европейские враги России думали ослабить ее. Они убедили турок, что с такой армией, как турецкая, можно завоевать весь мир.

И война началась.

Русско-турецкая граница проходила по открытым причерноморским степям, удобным для нападения.

В первые же месяцы войны, осенью 1768 года, подвластные Турции крымские татары попробовали сделать набег на Украину, как делали они это сотни лет подряд.

Русские отбросили их, нанеся татарам большой урон.

Это был последний набег крымских татар на Россию. 1769 год прошел в незначительных военных операциях.

А летом следующего, 1770 года генерал Румянцов разбил турок и крымских татар в Молдавии у Рябой Могилы и на реке Ларге, несмотря на то что враг имел большое численное превосходство. Разбитые 7 июля у Ларги турки и татары бежали в беспорядке.

Легкая кавалерия и егеря, всегда шедшие впереди армии, неутомимо преследовали турок уже шестой день.

Июльское солнце стояло над головой. На небе ни облачка. Давили полуденная духота и дорожная пыль. Укрыться бы хоть на часок под чахлыми кустиками, да некогда: тотчас же после Ларги ко-

мандующий армией Румянцов приказал авангарду генерала Боура узнать, куда враг «ретираду держит».

И вот авангард поспешал из последних сил.

Измученная кавалерия вперемежку с егерями растянулась по всей дороге до самого горизонта. Кони едва тащились. В русской кавалерии лошади были рослые, требовавшие хороших кормов. А какой корм в выжженной солнцем степи?

Егеря не отставали от карабинеров: недаром в егеря Румянцов велел отобрать расторопных, проверенных и ловких людей. Они шли, по своему обыкновению, налегке: ни тяжелых гренадерских сум, ни палаток, ни шпаг. Одно винтовальное тульское ружье со штыком. А за плечами полупустой шнабзак — вещевой мешок.

— Сторонись, кавалерия: пятки отдавим! — шутил молодой егерь, поравнявшись с усталыми конниками.

— Катись, катыш! — беззлобно отвечал карабинер.

— Ишь, чуть от земли виден, а туда же! — откликнулся другой, глядя на опережавших их пехотинцев: в егеря брали малорослых.

Егеря не остались в долгу.

— Егерь ростом невелик: мал, да дорог золотник! — ответил словами песни один.

— Гляди, экой великан выискался!

— Взгромоздился на бедную скотинку и доволен!

— Слезь с коня, и ты больше нашего ростом не выйдешь! — отбивались другие.

— Нет, брат, — не сдавался карабинер. — Я — два аршина восемь вершков. А у вас, егерей, больше пяти вершков не положено. Видел я, как в прошедшую пруцкую кампанию генерал Румянцов впервые заводил энту вашу блошиную команду!..

— И отчего вы, карабинеры, так уморились? — поддевал егерь. — Ведь Петра Александрович почти на два пуда уменьшил вашу снасть. А что делали бы вы, если бы на вас кирасы да колеты еще остались?

— А ты разве столько несешь, сколь мушкатер? — огрызнулся карабинер. — Ни шпаги у тебя, ни гренадерской сумы. Не в снаряжении дело. Первое дело — конь. Сам знаешь, он животная нежная, не как человек. Он такую воду, как мы с тобой пьем, и в рот не возьмет! Опять же еда. Нехотя притомишься тут...

— И то верно! — согласились егеря.

— И куда же вы, егеря, так прытко?

— За туркой!

— Не поймаешь: турок хорошо пятки салом смазал. Который день его ни слуху ни духу!

— Ан поймаем!

— Ну, бегите, ловите! Вам — пешки мало замешки, а нам — коня седлай, амуницию надевай! — отшучивался карабинер.

Егеря один за другим обгоняли еле тащившихся карабинеров. Навстречу им из-за пригорка выехал казак. Загорелый, черный от пыли, одни зубы белые. Широкая русая борода, а глаза молодые, двадцатилетние.

— Что, станишник, назад ударился?

— Чего испугался? — спрашивали егеря.

— А знатная у тебя, казачок, грудка русая! Чай, тепло? — шутили безбородые егеря, намекая на пышную казачью бороду.

— Благодарение Господу. Не жалуюсь! — ответил казак. — А где ваш полковник, ребята? — серьезным тоном спросил он.

— У нас не полк, а батальон! У нас не полковник, а капитан.

— Ну, давай капитана!

— А тебе зачем?

Егеря — рады случаю — остановились, окружив казака.

— Надо: тьма-тьмущая турки валит, — махнул куда-то в сторону нагайкой казак. — И конница, и пехота, и пушки, над землей такой гул да трескотня, как на току.

— Дошли, братцы!

— Не убег! — зашумели егеря.

— Вон капитан! — указали казаку.

Сзади, в гуще егерей, ехали два офицера. Один — лет тридцати пяти, осповатый, с какой-то презрительно сощуренной физиономией. Похоже было, что офицер вот-вот чихнет. Другой — лет на десять моложе, миловидный, румяный, быстрый, как и надо быть егерскому командиру.

— Тот, рябой? — переспросил потише казак, мягко нагибаясь с седла к егерям.

— Да нет, другой, что помоложе, русский!

— Ай не видишь: кареглазый — наш, русский, а тот высокий — его помощник француз, капитан Анеужели.

— Это что, евоная прозвища такая — Анеужели? — улыбнулся казак.

— Да, фамилия.

— А нашего, русского капитана как звать-то?

— Михайло Кутузов.

Казак тронул коня и поехал навстречу офицерам.

— С чем, борода? — окликнул казака кареглазый офицер.

— Турок отыскался, ваше благородие.

— Где? — оживился Кутузов.

— Недалече. Верстов с пятнадцать.

— Чудесно. И много их там?

— Без счету, ваше благородие.

— Наконец-то! Что ж, придется поехать полюбопытствовать, не так ли? — обратился к капитану Анжели Кутузов.

Анжели только поморщился:

— А зачем? Ведь казак видел?

— Точно так, ваше благородие, видал!

— Как зачем? Рекогносцировать. Петр Александрович всегда так учит: обозреть самому! Он самовидцу больше доверяет!

— В Европе так никто не делает!

— В Европе у вас многого не делают. У вас и ночью не воюют, а вот Петр Александрович — воюет, и с успехом!

— Поезжайте один, Михайло Илларионович, а я останусь: невмоготу, жара...

— Труса празднуете, Франц Карлович, а зря: опасности-то никакой! — насмешливо улыбаясь, посмотрел на Анжели Кутузов. — Поедем, братец!

Он кивнул казаку и пришпорил коня.

Капитан Анжели вспыхнул — так о нем при солдатах! Молокосос! Мальчишка! Но ничего не сказал, а, отъехав в сторону с дороги, стал слезать с коня. Проходившие егеря смеялись втихомолку:

— Не в бровь, а в глаз: энтот Анеужели и впрямь трус!

— Трус, да еще каких мало. Даве, в бою, все возле обоза только и спасался!

— А гляди, наш Михайло: даром что молодой, а остер!

— Да, брат, и сметлив!

II

Небольшая молдаванская деревня Гречени — полтора десятка мазанок, разбросанных как попало по степи, — нежданно-негаданно оказалась в центре расположения русской армии.

Сначала до деревни доносились пушечные раскаты, и жители с ужасом ждали, что на Гречени налетят турки и предадут все огню и мечу. Потом все стихло, словно нигде не было никакой войны.

И вдруг однажды на рассвете появились русские войска.

Вся степь пришла в движение. Пушки, кони, люди, повозки охватили Гречени со всех сторон. Вокруг нее стала лагерем армия генерала Румянцова. Белые палатки, усеявшие степь, напоминали издали стадо гусей, слетевшихся на пастьбу.

Тихая, затерявшаяся в степи деревенька ожила. Ее мазанки заполнились генералами и офицерами. Хозяева уступали гостям чистую прохладную горницу: сами они все равно никогда не жили в ней. А солдаты уж устраивались кто как умел: в будяке и чертополохе, пожелтевшем на солнце, во дворе, у громадной — чуть поменьше хаты — плетеной кошелки, куда молдаване ссыпали початки кукурузы, или под одиноко стоящей каруцей, выискивая хоть какое-нибудь подобие тени. И обсуждали новую стоянку:

— Это называется у них — двор: ни сарая, ни гумна!

— Телега ихняя — каруца — и та вон жарится на солнцепеке.

— А молдаванину что? Он все равно колес никогда не мажет!

— И хоть бы деревцо! Солнце встанет — опять деваться некуда.

— А все-таки дома у них ладные, чистые. Вишь, окна и двери как размалеваны...

— Да что толку-то в чистоте, коли в избе настоящей русской печи нет. Один очаг в сенях.

— Нет, это хорошо, что варят в сенях: в избе чище!

— Чисто-то чисто, да красного угла у них нет...

— И спят где попало. Войлок по всей избе таскают. То ли дело у нас: печь.

— Ты все о холоде позабыть не можешь. Тут, брат, морозы поменьше, чем у тебя в Архангельске...

— Слышь, а как эта деревенька прозывается?

— Гречани.

— Выходит: «Гоп, мои гречаники»?

— Да. Наш Петра Александрович не зря подобрал такую — Гречаники: он любит все украинское, вырос на Украине!

— А знаешь, бабы тут схожи на украинок, ражие.

— Э, далеко куцему до зайца! — отозвался украинец. — Наша Одарка чи Пидорка як буря по хате носится, и кричит, и сокочет. А эта чуть ворушается и только одно знает: «Нушти русешти».

— Верно, народ здесь тихий.

А кое-кто раздумывал о другом:

— Сказывают, турок отселе недалече.

— Эх, рогаток нет. Обставились бы ими — все надежнее от турка! — говорил старик гренадер, который еще никак не мог привыкнуть к тому, что генерал Румянцов уничтожил все рогатки. Раньше и на постое, и в бою пехота ограждалась ими от налетов турецкой конницы.

— Зря жалеешь, дядя! — возразил гренадер помоложе. — Петр Александрович верно сказал: рогатки — трусу заграда, храброму помеха!

— Пропади они пропадом, эти рогатки! — поддержал другой. — Ты их не перетаскивал в бою, так тебе можно хвалить. А как мы вшестером из нашего взводу таскали их, так не сладко было. Басурман только и глядит, как бы перво-наперво срубить переносчиков. А у нас руки рогаткой заняты и за оружие не взяться!

— Сказано: надейтеся не на рогатку, а на штык!

— Без них и обозу легше!

— Теперь обозу и так легко, — ворчал старик. — Провиант на исходе. Пустые мешки возят...

— Не пропадем: у молдаванина кукуруза есть.

— Привезут! На целый месяц привезут. Провиант идет! Обоз не поспевает за нами: ведь только намедни он через Прут перешел.

Армия Румянцова действительно находилась в довольно трудном положении: провианта при себе было только до 21 июля, а впереди и сзади стоял численно превосходящий противник.

Если бы действовать по европейским правилам, то надо было бы торопиться назад, навстречу обозу. А Румянцов, подойдя к Гречени, остановился: он ждал, когда подойдут обозы, которые отстали на шестьдесят верст.

При Ларге Румянцов воспользовался тем, что визирь еще не переправился с главными силами через Дунай, и ударил на крымского хана Каплан-Гирея, который командовал соединенными турецко-татарскими силами.

А теперь Румянцов принужден был выжидать. Он стоял, зная, что визирь тем временем переправится и соберет все силы, но не боялся этого, надеясь на свои войска.

На второй день стоянки у Гречени в полдень с юга донеслись пушечные выстрелы.

В бою турки обычно палили торопливо, без толку, а тут стреляли размеренно и не спеша.

Было похоже на салют.

Румянцов понял: радуются, что наконец пришел с главными силами сам визирь Халил-бей.

Русская разведка подтвердила это: Халил-бей переправился через Дунай у Исакчи. Туркам в конце концов удалось навести мосты: в этом году река разлилась так широко, что старики не помнили такого половодья.

Визирь с громадными силами в сто пятьдесят тысяч человек при ста сорока орудиях надвигался с фронта, а сто тысяч татар все время норовили напасть с тыла на армию Румянцова, в которой насчитывалось не более двадцати пяти тысяч человек при ста восемнадцати орудиях.

Казаки в тот же день донесли: визирь остановился у деревни Вулканешти, до которой от Гречени было восемь верст.

— Если Халил-бей раскинет у Вулканешти хоть одну палатку, я атакую его немедленно! — сказал своим генералам Румянцов.

Генералы знали, что Румянцов не побоится сделать это. Они запомнили, как на военном совете перед Ларгой командующий сказал: «Слава и достоинство воинства российского не терпят, чтобы видеть неприятеля и не наступать на него!»

Но генералы знали также, что Петр Александрович вместе с тем очень осмотрителен и осторожен.

На следующий день, утром 20 июля, у Гречени уже появились турецкие конные разведчики. Они кружили на своих резвых скакунах, подлетали к самым передовым постам, джигитуя, что-то крича и стреляя на всем скаку.

Карабинеры и кирасиры не рисковали выступать против них на своих тяжелых лошадях, пригодных больше для парада, чем для боя. Но казаки Иловайского сразу кинулись в стычку — пятерых спагов[1] зарубили, а остальных прогнали за Траянов вал.

Румянцов приказал казакам захватить «языка».

Через час к русскому лагерю снова примчались назойливые, как оводы, наглые спаги. Их было около двух десятков. Один из турок, в малиновой чалме, был с зеленым значком на пике.

Казаки тотчас же кинулись на спагов.

— Берите живьем этого, со значком! — крикнул своим донцам урядник.

Казаки старались как-либо отбить в сторону турка, возившего значок. Они наскакивали, но спаг отмахивался значком. Пугливые казачьи кони каждый раз шарахались в сторону, и турок ускользал из рук.

— Вот я сейчас его, сучьего сына! — обозлился урядник. Он изловчился и выстрелил из пистолета в коня всадника.

Турецкий конь рухнул на передние ноги, а спаг перелетел через голову и шлепнулся, как мешок. Казаки в один миг скрутили его.

На выручку своего бросились остальные турки, но девятерых из них казаки уложили, а около десятка спагов успели ускакать. Пленного спага повели к командующему армией.

III

Пленный, поджав под себя ноги, невозмутимо сидел перед мазанкой, в которой помещался командующий русской армией. Турок уставился в землю, не обращая внимания ни на часовых, застывших у дверей мазанки, ни на входивших в нее и выходивших офицеров.

Двое карабинеров с палашами наголо стояли возле спага, изнывая от жары. Карабинеры с удивлением смотрели на турка: как может он сидеть в этакой чалме, окутавшей всю голову, когда в треуголке, которая прикрывает одно темя, и то невтерпеж?

Черноглазые молдаванские ребятишки выглядывали из-за угла, терпеливо ожидая, что же будет дальше. За эти дни они уже привыкли к русским и смело шныряли по лагерю.

Переводчик, низенький, тучный армянин, старался как-либо укрыться в тень камышовой крыши мазанки и все поглядывал на дверь: скоро ли выйдет командующий?

Наконец послышались голоса и шаги. Из мазанки не торопясь вышел высокий, величественный Петр Александрович Румянцов.

---

[1] Спаги — легкая кавалерия. (*Прим. автора.* В дальнейшем все примечания в сносках также принадлежат автору.)

За ним шли генералы Боур, Племянников, Олиц, Репнин и инженер-генерал Илларион Кутузов.

Переводчик подбежал к пленному, что-то быстро сказал ему и слегка ткнул турка в бок носком сапога. Турок лениво поднял голову, нехотя поднялся на ноги и вдруг, заливаясь краской, быстро залопотал. Он запальчиво выпалил несколько фраз, среди которых мелькнуло слово «Румянчув», и так же неожиданно смолк.

— Чего он хочет? — сурово спросил Румянцов.

Армянин перевел:

— Русские только надеются на свои пушки, против которых, конечно, никто не может устоять: они разят, как молнии! Но пусть русские не стреляют. Пусть Румянцов прикажет, чтобы его солдаты вышли как храбрые воины — с одним мечом в руках. И тогда он увидит, могут ли неверные противостоять мусульманам!

— Кипи, кипи, збанок, доки вухо не вырвется! — усмехнулся командующий, взглянув на генералов.

Турок исподлобья смотрел на него.

— Где визирь? — строго спросил Румянцов.

— В Вулканешти.

— Как расположен лагерь?

— В долине, на левом берегу реки, где она впадает в озеро Кагул.

— Войска много?

— Без числа.

— Сколько пушек?

— Как дней в году!

— Ну, положим, не столько! — ответил Румянцов. — А какого калибра? Больше, чем были при Ларге?

— Больше. У нас есть пушки «балгемес». Их каждую везут сорок буйволов.

— А что такое «балгемес»?

— «Балгемес» по-турецки значит: «не едят меду», — ответил переводчик.

Румянцов усмехнулся:

— Да, это известно: от любой пушки врагу сладости мало. А обозы-то богатые?

— Обозы богатые. Но русским не видать их как своих ушей! Вас мало. Вы будете раздавлены, как козявки! — убежденно твердил пленный.

— Когда же Халил-бей собирается нас раздавить?

— Завтра после намаза: завтра счастливый день.

— А где татары?

— За озером Ялпух.

— Почему они не вместе с турками?

— Татары осрамились при Ларге. Мы больше не хотим выступать вместе с ними.

— Так вам и поверили! — сказал Румянцов. — Янычары роют окопы? — спросил он, зная, что турецкая пехота предпочитает драться за укрытием.

— Роют.

— Значит, все готово к бою?

— Готовятся. Визирь подарил пашам по шубе. Паши поклялись, что, не разбив русских, не уйдут!

— Так, так. Завтра пашам и без шуб станет жарко!

Турок снова заговорил о чем-то очень горячо.

Армянин перевел:

— Турок хвалится, что перед их знаменем пророка не устоит никто: санджак-шериф — кипарис побед; зеленое знамя калифов! Чуть на него взглянет неверный, сразу же ослепнет!

— Ну, уж понес чепуху! — досадливо махнул рукой командующий. — Довольно. Все ясно. Уведите его!

И Румянцов пошел назад в мазанку.

«Медлить нельзя, надо упредить Халил-бея, — думал он. — Татары раньше завтрашнего полудня не поспеют к нему на помощь!»

В маленькой молдаванской хате командующий казался еще более высоким и мощным. У окна на столе лежала карта. Румянцов нагнулся над ней.

Генералы почтительно стояли поодаль.

Румянцов смотрел на карту и думал:

«Визирь уверен в победе. Он даже не позаботился выбрать лучшую позицию — стал не на высотах, а в долине. Ему удобно перебрасывать свою конницу по долинам. Он убежден в том, что ему не придется отступать. Надо воспользоваться оплошностью врага. Наступать немедленно!»

А генералы в это время раздумывали: что предпримет командующий в таком трудном положении? Отступать в виду превосходящего в десять раз противника уже опасно, но и наступать с двадцатью пятью тысячами против двухсот пятидесяти не шутка! В случае неудачи армия Румянцова оказалась бы запертой в узком пространстве между двух рек и больших озер.

Румянцов повернулся к начальникам дивизий.

— По моему простому рассуждению, — начал он своим любимым присловьем, — надо выступать сегодня в час пополуночи. Ударим, пока визирь не догадался переменить позицию. Вот смотрите, господа!

Генералы подошли к столу.

— Генералу Боуру идти по высотам к левому флангу турок. Племянникову и Олицу — туда же. Остальным — отвлекать неприятеля.

Многословия Петр Александрович не любил. Замысел командующего был ясен: Румянцов намеревается ударить всеми силами в одно место. В бой идти пятью каре. Бой начать ночью!

Все по-своему, не так, как учит Европа. Все по-русски!

IV

Войска, построенные в пять колонн, ждали сигнала к выступлению. Сегодня командующий приказал бить вечернюю зорю на два часа раньше, чтобы люди успели выспаться. И хотя была ночь, но в колоннах никто не клевал носом.

Полки стояли «вольно».

— Курить и говорить — на месте! Чтоб на марше ни огонька, ни звука! — таков был приказ.

Курили, переминаясь с ноги на ногу, думали, перешептывались:

— Знатно это, братцы, что впереди — Траянов вал: турок не видит, что ему готовится!

— Басурман спит спокойно.

— Чего ему бояться! Нас против него — горсточка!

— А хорошо это придумал Петра Александрович — выступать ночью: не жарко и враг нас не ждет.

Генерал Боур с остальными офицерами — графом Воронцовым, князем Меншиковым и Михайлой Кутузовым — стоял между егерями, разговаривая. Вестовые держали командирских лошадей.

К Боуру подошел капитан Анжели. Француз шел скорчившись и держась одной рукой за живот.

— Что с вами, капитан? — участливо спросил Боур.

— Живот схватило, ваше превосходительство. Как ножами режет, — хмуро ответил Анжели.

— А что вы ели? Лапти дульче?

— Ел эту проклятую молдаванскую маринованную тыкву с чесноком. Теперь ни стоять, ни сидеть...

— Подите ко мне в хату. Полежите. Выпейте водки или хотя бы здешней ракии. Авось пройдет. Вы нас успеете догнать!

Анжели только стонал.

— И надо же, перед самым боем схватило, — посочувствовал Воронцов.

— Да, да, — натужно сказал Анжели и, все так же скрючившись, пошел по направлению к Гречени.

— Медвежья болезнь приключилась! — вполголоса сказал вслед ему Кутузов.

Двадцатичетырехлетний подполковник Меншиков не выдержал, фыркнул. Первая шеренга егерей слышала весь разговор и оживленно перешептывалась:

— Анеужели тягу дал!

— И как ему не стыдно?

— А зачем барину-то голову класть за чужое отечество?

— Тогда не лезь в нашу армию! Сиди у себя дома на печке!

— Да, назвался груздем, полезай в кузов!

Сзади послышались конский топот и какие-то голоса.

— Кто там шумит? — встрепенулся Боур, взглянув назад, где стояли его двенадцать эскадронов карабинеров и гусар.

В полутьме летней ночи вырисовывалась приближающаяся группа всадников. Еще минута — и все сразу узнали высокого румянцовского жеребца Цербера, которого солдаты звали по-своему, понятнее, — Цебер. На Цербере возвышалась представительная фигура командующего. За ним трусили три адъютанта: Румянцов не любил пышной свиты.

— Са-ам!

— Петра Александрович! — заговорили егеря, к которым подъезжал он.

Боур и командиры батальонов поспешно сели на коней.

— Не робеть, ребята! — не спеша, раздельно и четко говорил командующий. — Вспомним Ларгу! Вспомним рябую Могилу! Была могила турку и впредь будет! Мы победим! Молодцами, егеря!

Вот тут-то егерям задача. В другое время они единодушно гаркнули бы: «Рады стараться!..» Но ведь сейчас громко говорить не велено. И задние полки тоже ведь молчат!

И по егерским рядам только пронесся одобрительный гул, — мол, не выдадим!

Чувствовалось, что солдаты поддерживают своего командира.

Румянцов поравнялся с Кутузовым.

— А-а, Михайло Ларионович! — улыбнулся он.

Кутузов молча снял треуголку, приветствуя командующего. «Всех всегда помнит. Удивительная память. Офицеров — даже по именам и отчествам, а многих солдат — по фамилии».

Румянцов заставлял офицеров знать своих солдат по имени, ближе знакомиться с ними.

Командующий армией поехал дальше, к артиллеристам, шедшим в голове колонны. Боур присоединился к Румянцову. Воронцов и Меншиков поспешили назад к своим батальонам.

Михаил Илларионович всегда с интересом смотрел на командующего. Когда он приехал в армию из Санкт-Петербурга и представлялся Румянцову, командующий сказал его отцу, Илариону Матвеевичу Кутузову, который присутствовал при этом: «Подобного Михайле наукою я в сем чине еще не встречал!»

Кутузов запомнил, как отец рассказывал, что Фридрих II Прусский в Семилетнюю войну предупреждал своих генералов: «Остерегайтесь этого дьявола Румянцова, остальные генералы союзников не опасны!» И всегда помнил, что Петр Александрович Румянцов — родной, хотя и внебрачный, сын Петра Великого.

Да, в Петре Александровиче Румянцове есть что-то от его отца! И особенно в военном искусстве.

В военном деле Румянцов во всем следует петровским заветам. Румянцов, так же как и Петр Первый, ценит и любит солдата, надеется на него, помнит о нем. Потому-то и сейчас приехал говорить с ними.

Чувствует, что солдаты знают о том, как силен визирь, и что кое-кто из солдат может вдруг усомниться в успехе.

Вот и приехал сказать им хоть два слова — Петр Александрович был немногословен. Приехал подбодрить в последнюю минуту перед неравным боем.

Недаром девиз Румянцова — non solum armis[1].

И солдаты ценили такое отношение к ним командующего.

V

Русские войска спокойно продвигались вперед, не встречая на своем пути никого. Идти было легко: ночь стояла прохладная.

Егеря капитана Кутузова, растянувшись по степи длинной цепочкой, сторожко шли впереди пехотных полков.

— Гляди в оба, ребята, — передал по цепи капитан Кутузов и сам зоркими глазами пристально вглядывался вдаль, осматривая местность: нет ли где засады. Но из-под ног егерей только выскакивали потревоженные суслики.

Румянцов ехал с самой сильной, в шестнадцать батальонов, дивизией генерала Олица, которая по диспозиции занимала в боевом порядке центр. Он ехал молча на своем высоком Цербере, думая о том, удастся ли нагрянуть на турка врасплох.

Как войска ни старались продвигаться бесшумно, но все-таки по степи к Траянову валу шагали двадцать тысяч пехотинцев и ехали семь тысяч всадников.

Иногда какой-либо гренадер спотыкался в полутьме о кочку и, не выдержав, чертыхался вполголоса. Иногда звякал подковой о подкову конь. По степным ухабам глухо тарахтели сто восемнадцать пушек.

Все эти звуки отчетливо раздавались в ночи.

А турки, которые располагались вон тут, за Траяновым валом, казалось, не слыхали ничего. Правда, однажды в их лагере вдруг

---

[1] Не только оружием *(лат.)*.

открылась беспорядочная ружейная стрельба. Но это была ложная тревога, и через минуту все стихло.

«Врасплох не захватить», — огорченно думал Румянцов.

Когда подошли к Траянову валу — древним римским земляным укреплениям, заалел восток.

До турок осталось не более двух верст.

Кутузов увидал: на возвышенностях, прилегающих к турецкому лагерю, табунятся тысячи турецких всадников. Турки, видимо, готовились к наступлению. Кутузов остановил егерей и послал к Румянцову ординарца с донесением.

Румянцов приказал войскам принять боевой порядок.

Егеря стали в резерве. Их батальонные каре прикрывали тыл.

Каждая дивизия построилась в два каре, имея позади резерв. Если окинуть глазом все четырехугольное каре, то как будто и много войск. Но там, за Траяновым валом, стоят несметные турецкие орды. Когда поднялись на Траянов вал, солнце взошло и турецкий лагерь оказался как на ладони.

Вся ложбина между гребнями высот была, как саранчой, покрыта всадниками. Турецкая кавалерия представляла весьма пеструю картину: красные, синие, малиновые чепраки, расшитые золотом, огромные огненно-красные чалмы, разноцветные шальвары, значки, бунчуки — все это двигалось, волновалось: горячие маленькие лошадки спагов не стояли на месте.

— Чистая ярмонка!

— Ишь сколько их, чертей, поднабравши!..

— Осиное гнездо! — говорили русские солдаты.

Румянцов приказал главной батарее генерала Мелессино ударить скорострельным огнем по лагерю и спагам.

Тихое, ясное утро прорезали пушечные выстрелы.

В лагере сразу же поднялась суматоха. А спаги лавиной кинулись вперед. Они мчались, и им не было видно конца. К грому пушек присоединился страшный топот тысяч лошадиных копыт и неистовый рев всадников.

Русские каре приостановились, ожидая удара. Они стояли неподвижно, словно окаменев, стояли безмолвно, как грозная стена. Турки с каждым мгновением становились все ближе. В каре раздалась команда:

— Тревога! Каре ...товсь!

Барабаны подхватили этот боевой клич.

Тысячи турецких всадников облепили все русские дивизии, но главная масса спагов бросилась на левое, слабое каре Брюса.

Русские встретили налетевший шквал дружным ружейным и пушечным огнем. Он раскатывался по степи веселой дробью. Столбы пыли, волны порохового дыма скрыли все.

Румянцов не мог видеть, выдержит ли Брюс. Свита тревожно переговаривалась, вытягивая головы. Цербер поставил уши: казалось, он тоже слушает — а что там, на левом фланге? Только всегда гордое лицо Румянцова было спокойно.

И вдруг турецкие крики и ружейные выстрелы стали уже доноситься откуда-то с тылу, из-за Траянова вала.

— По лощине докатились в тыл! — высказал общую мысль генерал Олиц.

Ни один мускул не дрогнул на лице командующего армией, словно он ждал, что так и должно быть.

— Резерв и пехоту с пушками! Правофланговым каре — вполоборота. Ударить сбоку! Закрыть туркам выход из лощины! — приказал он.

Ординарцы уже пробирались через задний фас каре, чтобы поскорее мчаться с приказом.

Столбы пыли и дыма у каре Брюса стали рассеиваться. И без зрительной трубы было видно: каре цело.

Пушечные и ружейные выстрелы раздавались уже сбоку: мушкатеры и егеря стали поливать огнем столпившуюся в лощине турецкую кавалерию. Снова под тысячами копыт застонала, загудела земля: орды турок мчались сломя голову по лощине назад. Но на многих лошадях не было видно всадников, и еще больше лошадей осталось лежать в лощине.

— Отбили, слава Те Господи!

— Первую атаку отбили! — радостно заговорили кругом.

Все хорошо знали, что турки вернутся. Это еще не конец. Спаги еще не раз попробуют напасть на каре.

А солнце поднималось все выше, и становилось невыносимо жарко. Пыль, поднятая тысячами конских копыт, клубы пушечного и ружейного дыма висели над полем битвы. Казалось, что бой длится еще не так долго, а уже прошло три часа. Атаки турецкой конницы были отбиты. Пехота не подкрепляла их, и русские окончательно отбросили спагов.

Впереди оставался укрепленный турецкий лагерь. В нем засели десятки тысяч янычар со ста сорока орудиями.

Лагерь ограждали четыре оборонительные линии.

— Не поленились, успели вырыть!

Но русские каре с барабанным боем смело шли на турецкие укрепления. Каре генерала Племянникова чуть выдалось вперед, двигалось быстрее соседнего каре Олица. Еще несколько сажен — и наши примут турка в штыки. И вдруг из лощины на каре Племянникова выскочили с саблями и ятаганами тысячи янычар. Они, очевидно, сидели в засаде.

Нападение было настолько неожиданным, что правый фас каре, который составляли Астраханский и первый Московский пол-

ки, в минуту оказался прорванным. Астраханцы и первомосковцы не успели выстрелить.

То, чего не удалось достичь коннице, удалось турецкой пехоте. Янычары с дикими, торжествующими криками ворвались внутрь каре. В образовавшиеся ворота ринулись лавиной спаги.

Каре Племянникова сразу потеряло строй. Солдаты бросились бежать назад, к своим, к каре Олица.

Ближе всех оказался первый гренадерский бригадира Озерова.

Румянцов тотчас же послал адъютанта с приказом Озерову:

— Удержаться во что бы то ни стало!

Гренадеры мужественно сдерживали яростный натиск янычар.

Румянцов оживился. Он выхватил из ножен шпагу и дал шпоры коню:

— Пропустите, ребята!

— Куда вы, батюшка?

— Куда? — останавливали командующего солдаты.

— Теперь мой черед! Пропусти!

Румянцов выехал из каре и помчался навстречу бегущим.

— Стой, ребята! Стой! — кричал он. — На вас смотрят отцы и матери! На вас смотрит родина! Стой!

Астраханцы и первомосковцы пришли в себя. Торопливо, не разбирая, какой полк, какая рота, становились плечом к плечу. Каре Племянникова понемногу восстанавливалось.

Румянцов увидал оплошность визиря: он не поддержал вовремя удачное нападение янычар. Командующий приказал кавалерии ударить по турецкой пехоте.

Из-за каре с тяжким топотом вырвалась русская конница Салтыкова и Долгорукова. Засверкали палаши. Астраханцы и первомосковцы, обозленные конфузом, приняли турок в штыки. Отборные, закаленные в боях янычары — цвет турецкого войска — побежали. Их рубили палаши кирасир и карабинеров.

А сзади, за легкой кавалерией, уже поспевали егеря Кутузова.

— Вперед, ура! — кричал капитан Кутузов, легко бежавший впереди солдат.

Егеря не отставали от своего неустрашимого командира.

В турецком лагере поднялся переполох.

Дивизия Боура первой ворвалась в лагерь. Егеря, рассыпавшиеся между палатками, били турецких командиров на выбор, увеличивая панику.

Турецкая армия кинулась из лагеря, бросая пушки, палатки, обозы — все свое добро.

Победа была полная. Татарская конница не успела прийти на помощь туркам.

VI

Жаркое, высоко стоявшее солнце освещало недавнее поле кровопролитной битвы и брошенный турками богатый лагерь.

В лощинах и на гребнях возвышенностей, у домов полуразрушенной, разграбленной турками деревни Вулканешти — всюду валялись сотни турецких трупов.

Оставленный турками лагерь был похож на громадную ярмарку. Среди белых наметов и палаток бродили верблюды, буйволы, кони. В степи кочевали без пастухов стада овец.

Румянцов приказал пехоте построиться; кавалерия еще продолжала преследовать разбитого врага.

Черные от пыли, потные и усталые, но веселые стояли русские войска. Кое-где в шеренгах вместо треуголок виднелись окровавленные повязки.

Румянцов въехал в это плотное многотысячное каре. Он ценил солдата, верного защитника отечества, и потому в эти минуты хотел говорить с ним. Командующий стал в середине каре и сказал:

— Я прошел все пространство степей от берегов Дуная и всюду бил врага, превосходящего нас численностью. Я нигде не делал укреплений. Ваше мужество и ваша добрая воля были моей непреоборимой стеной! Спасибо, дети мои! Поздравляю вас с викторией! Ура! — закончил он короткую речь и, подняв над головой треуголку, поехал вдоль строя.

Сквозь раскаты ответного «ура!» Румянцов слышал, как кричали из шеренг:

— Чему ты дивишься? Разве мы когда-нибудь были иными?

— Ты сам — прямой солдат!

— Ты — истинный товарищ!

Гордое, мужественное лицо Румянцова светилось довольной улыбкой. Эти простые, искренние слова солдат были лучшей похвалой сыну великого Петра.

...Победители, так нуждавшиеся в роздыхе, наконец смогли отдохнуть и подкрепиться по-настоящему. О провианте не приходилось уже беспокоиться: в турецком лагере оказалось много разных припасов.

Михаил Илларионович, вместе с легкоконными войсками Боура преследовавший бежавших без оглядки турок, вернулся к Вулканешти уже после полудня.

Полки стояли вперемежку, и нельзя было разобрать, кто где: становились ведь без квартирьеров, в степи.

Кутузов заботливо разместил в лощине среди кустиков своих егерей, едва таскавших ноги, и поехал разыскивать отца. Он был уверен, что отцовский денщик Митюха, который тридцать лет со-

путствовал Иллариону Матвеевичу во всех его походах, конечно, успел приготовить обед.

Михаил Илларионович сильно проголодался. Было жарко, спина под мундиром вся промокла, на зубах хрустел песок. Пробираясь сквозь гущу полковых палаток, своих и трофейных, среди фур и повозок подошедшего обоза, пушек, зарядных ящиков и прочей армейской толчеи, Кутузов смотрел по сторонам: а где же палатки штаба? Пахло дымком бивачных костров, свежей артельной кашей, а кое-где и жареной бараниной.

Внимание Михаила Илларионовича привлекла группа мушкатер. У костра, над которым висел артельный котел, сидели солдаты. Один из них стоял с ложкой в руке и, видимо, пробовал кашу. Он отплевывался и ругался под беззлобный, но дружный смех товарищей.

— Какой полк, ребята? — спросил Кутузов.

— Первомосковский, ваше высокоблагородие.

— Чем это угощаетесь?

— Да вот, ваше высокоблагородие, пробуем какое-то басурманское масло, — ответил мушкатер, державший в одной руке ложку, а в другой большой хрустальный флакон. — Пахнет очень скусно, а попробуешь класть в кашу, рот дерет!

— А ну-ка покажи мне скляночку, — протянул руку Кутузов.

Мушкатер передал ему красивый хрустальный флакон с какой-то жидкостью. Михаил Илларионович понюхал. Сомнений не оставалось: это было дорогое розовое масло, которое турецкая знать употребляла как благовоние.

— Это масло в пищу не годится, — улыбнулся Кутузов. — Это только для запаху!

— Я те говорил: давай лучше сапоги смажем!

— Осман им, должно быть, ружья смазыват!

— Возьми, братец, полтинник за эту склянку. Масло мне пригодится, — предложил Михаил Илларионович.

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие! — радостно ответил мушкатер, принимая деньги.

— А где палатки штаба? — спросил Михаил Илларионович. — Где инженер-генерал Кутузов?

— Вона, за бугорком...

— Давеча ихний денщик прибегал к нам за дровами.

— Так, так, спасибо!

Михаил Илларионович поехал к бугорку.

Через минуту он уже слезал у знакомой палатки.

Отец, без мундира, в туфлях, лежал и курил.

Михаил Илларионович передал ему флакон с розовым маслом и смеясь стал рассказывать:

— Солдаты пробовали класть его в кашу, не понравилось, говорят: рот больно дерет!

— Откуда же им знать о розовом масле, это не конопляное. Астраханцы вон нашли мешок чудного кофе. Думали — турецкий горох. Стали варить. Варят-варят — никак не разваривается. «Одначе, говорят, не поддается, проклятущий!» Так и выбросили. Вот мы тебя, Михайло, сейчас турецким горохом попотчуем... Митюха! — крикнул генерал.

...Кутузов проснулся.

Сразу же после сытного обеда и кофе он лег в палатке отца спать — валился от усталости.

Вечерело.

Отец — уже в сапогах и в мундире — ходил возле палатки. Его седые клочковатые брови были сдвинуты: старик явно был чем-то недоволен.

Михаил Илларионович сел на постели:

— Эх, хорошо отдохнул! Теперь надо поехать к своим егерям — посмотреть, как там они. Сегодня мои ребята показали себя молодцами!

— Тебе придется ехать немного подальше, — многозначительно сказал отец.

— Куда? — с удивлением посмотрел Михаил Илларионович.

— Какие у тебя счеты с этим Анжели?

— Никаких.

— А почему он так зол на тебя?

— Не знаю... Может, за то, что я сказал, что он — трус? А в чем дело? — встал с постели Михаил Илларионович.

— Анжели переписывал убитых...

— Это по его разумению...

— Докладывал командующему о потерях, а заодно и наябедничал на тебя. Мне только что генерал Ступишин сказывал.

— С Анжели всего станется. Что же он плел?

— Что ты осуждаешь действия Румянцова, говоришь, что Румянцов храбр умом, а не сердцем!..

— Так это же не я сказал, а царица! Все знают! И что в этом поносного?

— Знают, а тебе-то пересказывать зачем? Природа не зря дала человеку два уха и только один рот. Приучайся, Михайло, больше слушать, а меньше говорить. Понял? — наставительно сказал отец.

— Понял! — ответил Михаил Илларионович. — И что ж, Петр Александрович разгневался? — спросил он немного погодя.

— Разгневался. Знаешь: ведь он сам осторожен в словах. Сказал: отправить немедля этого новоиспеченного стратега в Крымскую армию.

— Ну что ж, в Крым так в Крым! — ответил несколько смущенный Михаил Илларионович и вышел из палатки.

Но этот урок и мудрые слова отца Кутузов запомнил на всю жизнь.

Глава вторая

ФОНТАН СУНГУСУ

I

Гренадеры целое утро стреляли в цель.

Два раза в неделю из гренадерского батальона Московского легиона выводили в степь на учебную стрельбу одну роту. Гренадеры шли с ружьями и патронными сумками, но без шпаг и гранат.

Батальон был составлен из молодых солдат, и его командир, двадцативосьмилетний подполковник Михаил Илларионович Кутузов, старался обучить своих солдат получше.

— Заряжать умеете, так думаете, остается только палить? Нет, надо раньше научиться стрелять! — подчеркивал он.

Кутузов строго предупреждал сержантов и капралов учить солдат терпеливо, не давать воли ни языку, ни рукам.

— Руганью да кулаком учит только лентяй или мало знающий сам! — говорил подполковник.

Он приказывал солдатам беречь патроны.

— Патроны сами не растут. Их надо беречь! В бою сколько хочешь патронов никто не даст!

Стреляли поодиночке в двухаршинные щиты, выкрашенные черной краской. Посредине щита шла узкая — в четыре вершка — белая полоска. В нее-то и надо было попасть. Щиты ставили сначала в сорока саженях, потом в восьмидесяти и наконец отнесли за сто двадцать сажен — так что белая полоска, казалось, и вовсе пропадала.

Офицеры ходили по капральствам и показывали, как надо прикладываться, как правильно целиться: не шевелить ни головой, ни ружьем, за «язычок» не дергать.

За всем неотступно следил сам командир батальона Михаил Илларионович.

И гренадеры день ото дня стреляли все лучше.

Другие командиры частей Крымской армии Долгорукова, стоявшей лагерем у деревушки близ Акмечети, не обучали своих солдат стрельбе. На вопрос молодого командира московцев они отговаривались по-разному.

— У меня солдаты обстрелянные, старые, а у вас, Михайло Ларионович, молодые. Им полезно! — говорил один.

— Разве наших пентюхов выучишь стрелять цельно? — нелепо отвечал другой.

— Да ведь у нас, в Крыму, войны-то нет. Это не на Дунае! — возражал третий.

На Дунае действительно шла настоящая война.

Восемьсот лет русские войска не переходили Дунай. Фельдмаршал Румянцов, впервые после князя Святослава, не только закрепился на его берегах, но и перешел через Дунай.

А генерал Суворов прекрасно продолжал румянцовские победы: бил турок у Туртукая, Гирсова и Козлуджи.

В Крыму ждали со дня на день заключения мира с Оттоманской Портой. Крымские татары уже три года считались независимыми от Турции. Все знали, что султан не признает ханом Саиб-Гирея, утвержденного русскими, и что в Константинополе сидит и ждет, когда русские будут изгнаны из Крыма, Девлет-Гирей, которого султан назначил крымским ханом.

А сами крымские татары держали себя так, словно они тут ни при чем. Молодые, надвинув на лоб низкую барашковую шапку и накинув на плечи бурку, под которой наверняка скрывалась кривая сабля, ездили верхом по своим делам. А старые, поджав ноги, отсиживались в кофейнях, а в благостные предзакатные часы выползали на плоские кровли домишек и, покуривая, бесстрастно смотрели сверху вниз.

Женщины — по восточному обычаю — не показывались вовсе на глаза, лишь изредка за глинобитным плетнем мелькал розовый бешмет и малиновая бархатная шапочка.

Глазастые загорелые татарчата, увидя русского, кричали «хазак, хазак» и мгновенно исчезали в кустах, как ящерицы.

А муэдзин пронзительно, заунывным, голосом что-то возглашал с высокого минарета. Но кто мог знать, к чему он звал правоверных в этот наполненный мелодическим треском цикад и терпким запахом полыни тихий вечер. Стоял томительно жаркий, сухой крымский июль, с ясным, безоблачным небом, раскаленными, горячими ветрами, веющими из прожженной солнцем степи, с внезапно падающей на землю густой чернотой ночи, когда часовой должен напрягать зрение, чтобы в пяти шагах рассмотреть, кто идет.

Подполковник Михаил Кутузов переходил от одной группы гренадер к другой. Наблюдал, как стреляют, поправлял. Иногда, поворачиваясь, он невольно смотрел туда, где за степью, в далекой синеве, чернел Чатырдаг, или, как называли его русские солдаты, Чердак. Где-то там немолчно шумело, билось в берега бирюзовое море, а здесь расстилалась скучная, сухая степь. Становилось жарко. Вода, принесенная в ведерке из лагеря, невкусная, солоноватая

вода, и та уже вся вышла. Люди утомились, и пули чаще шлепались в пригорок, чем в белую полосу мишени.

— Вольно! — скомандовал подполковник. — Отдохните, ребята! Брусков, сбегай-ка за водой! — приказал он капралу. Он знал всех своих гренадер-московцев по фамилии. Михаил Илларионович запомнил мудрый совет фельдмаршала Румянцова: поближе узнавать своих солдат. Подполковник Кутузов звал гренадер к себе в палатку и подолгу, запросто беседовал с ними о доме, о семье.

При команде «вольно» гренадеры начали проворно ставить ружья в козлы, оживленно переговариваясь:

— И до чего пить хочется! Теперь, кажется, напился бы даже ихней «язвы». («Язвой» солдаты звали язьму, любимый татарский напиток из разбавленного водой кислого молока с тертым чесноком.)

— Тьфу, пакость! Словно в прогорклую простоквашу натолкли мелу!

— Буза[1] у них лучше!

— А ветер сегодня какой горячий, ровно из бани, — говорил гренадер, снимая гренадерку и вытирая потный лоб.

— Эх, жалко: нашей русской баньки нет!

— И так паришься кажинный день! Айда, ребята, в тенек! — сказал капрал.

И гренадеры побежали в тень пригорка к мишеням.

— Вот моя пуля! — тыкал пальцем в белую полоску мишени один гренадер.

— Ты брат, ловок только ружейные приемы отхватывать, а в стрельбе еще слаб! Твоя вон где! — садясь, хлопнул по земле капрал.

Все рассмеялись, рассаживаясь на выжженной, желтой и жесткой траве.

— На такой травке-муравке не разлежишься!

— Да, здешнее сенцо не возьмешь в руки: пальцы сразу наколешь.

— И скажи, как только его скотина ест?

— Верблюд жрет за милую душу. У него язык и губы жесткие, ему хоть бы что: бурьян так бурьян!

— Верблюд — скотина особая. У него все иное. И ревет он ровно дитя, и зрак не такой, как, скажем, у коня.

— У коня зрак веселый. Конь человека любит. А энтот горбатый черт смотрит на тебя как на недруга, с презрением.

— Братцы, а я вчерась видал, как в деревне вола подковывали.

— Да ну?

— Ей-богу! Связали сердешному ноги, опрокинули на спину. И лежит вол — ноги кверху...

---

[1] Буза — пиво из проса.

— И на сколько же подков ковали?

— На восемь.

— Чтоб ему по горам способнее было ходить...

Офицеры — командир роты, капитан и восемнадцатилетний голубоглазый подпоручик — стояли вместе с подполковником, сняв гренадерки.

— Ну как, Павел Андреевич, привыкаете? — спросил Кутузов у своего любимца подпоручика Резвого, который недавно прибыл в армию.

— Привыкаю, господин подполковник.

— С ним вчера приключение случилось, — улыбнулся капитан.

— Какое?

— Да что там!.. — покраснел подпоручик.

Кутузов весело смотрел на обоих.

— Расскажите, расскажите!

— Наш Ахметка, что поставляет барашков, позвал подпоручика в гости... — начал капитан.

— И вовсе не в гости. Я хотел купить у него медный кунган.

— Ну и что же?

— Я вошел в хату, а в углу — две молодые татарки стоят. Без покрывал. Увидели меня, прижались друг к дружке и скорее платком завесились. Держат перед глазами платочек и из-под него выглядывают. А тут старуха — как вскочит в хату, как закричит на девушек! Накинула на обеих покрывало и потащила вон...

— И вот теперь наш Павел Андреевич влюбился... Хочет идти второй кунган торговать, — шутил капитан.

— Да полноте вам, Иван Егорович!

Подполковник улыбаясь смотрел на покрасневшего подпоручика.

— Что же это наш Брусков замешкался? Пора бы уж!.. — переменил разговор Кутузов.

Он оглянулся на белевшие в степи палатки лагеря. По пыльной дороге тащилась одна длинная татарская мажара, запряженная буйволами. Ее громадные, неуклюжие колеса раздражающе, немилосердно визжали. Татары не мазали своих телег, говоря, что только плохой человек въезжает в деревню потихоньку... И вдруг, перебивая отвратительный визг мажары, из лагеря донесся призывный звук генерал-марша: тревога, поход! Подполковник Кутузов оживился.

Генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков был хлебосольный московский барин и меньше всего полководец. Это не Румянцов и не Суворов. От тех можно всего ждать: подымут и среди ночи только затем, чтобы приучить войска к ночным походам. А Долгоруков воюет по старинке. Значит, тревога не для пробы, а на самом деле.

— Становись! — крикнул Кутузов.

Рота мигом построилась.

— Бегом! — скомандовал подполковник и первым легко побежал к лагерю, который уже весь пришел в движение.

Тревога была основательной. Генерал-аншеф Долгоруков получил неприятное известие: турецкий сераскир-паша Гаджи-Алибей высадил у Алушты с кораблей большой десант в пятьдесят тысяч человек.

Турки подняли восстание татар. Надо было поскорее уничтожить десант, чтобы восстание не распространилось по всему Крыму.

Саиб-Гирей оказался предателем. Он помогал туркам высаживаться и сразу же арестовал и передал туркам русского резидента — статского советника Веселицкого.

— Как волка ни корми, он в лес глядит!

— Да. Сказывают, турки уже высаживались в течение целой недели.

— Я-то смотрю, чего это татары разносились. Бывало, тащатся на осликах в арбе, а то все сигают верхами, — обсуждали новость офицеры.

К полудню 18 июля 1774 года от лагеря остались только следы, где стояли палатки и были коновязи кавалерии. Долгоруков со всеми своими силами — девятью батальонами пехоты и двумя конными полками — скорым маршем двинулся к Алуште, где, по слухам, сильно укрепился Гаджи-Али-бей.

II

Дорога сначала не представляла трудностей: шли глубокой степной балкой. Наверху осталась скудная, каменистая, выжженная солнцем степь. А здесь зеленели деревья и к дороге подбегали кусты орешника, кизила, жасмина. Иногда через балку переливался тоненькой серебряной струйкой небольшой ручеек и исчезал где-то в кустах.

Гор еще не было.

Далеко на горизонте синел Чатырдаг, похожий на гигантский стол. Но с боков долину сжимали степные обрывы, кое-где отвесные, как стена.

Идти было все-таки легче, нежели по открытой, голой степи, дышавшей зноем.

Так прошли около двадцати верст. День клонился к вечеру. И вдруг шедшие в авангарде московские гренадеры Кутузова увидали, что степная балка кончается и дорогу сжимают горы.

— И скажи, кто понастроил этакие горы? — подымая вверх головы, удивлялись солдаты.

— Да, без них шли бы свободнее!

— Кабы туда взобраться, все легче было бы...

— А ты еще попробуй взобраться, тогда и говори! — усмехались старики.

Двигаться ночью по горам было во всех отношениях трудно и неудобно.

— Стой! — скомандовал Кутузов.

И мгновенно от одного конца походной колонны до другого пронеслось это: «Стой!»

Люди и лошади, уставшие за день, остановились с удовольствием.

Подполковник Кутузов поехал к генерал-аншефу Долгорукову, который следовал в середине колонны. Командующий армией согласился с мнением подполковника Кутузова и приказал становиться на ночлег.

В свежем вечернем воздухе особенно четко звучали людские голоса, ржание коней. Уже трещали под топорами кусты, которые рубили для костров, и звенели ведрами разыскивающие воду артельные старосты, готовясь варить кашу. А некоторые солдаты, измученные целодневным походом, не дожидались ужина и укладывались тут же, у своей ружейной пирамиды или у лафета пушки под густым южным небом.

Темнота все сгущалась и все плотнее накрывала балку, смешивая гренадер и мушкатер, карабинеров и гусар. И в этой темноте еще ярче становились огни весело горевших костров.

Генерал-аншеф собрал у себя в палатке командиров. Он не хотел рисковать — двигаться со всей своей армией в горы. Чтобы не оказаться зажатыми среди ущелий, Долгоруков решил оставить на месте два батальона пехоты и два полка кавалерии прикрывать тыл. А остальным семи пехотным батальонам произвести поиск на Алушту.

Он рассказывал о своем плане собравшимся.

— Вам, Валентин Платонович, — обратился Долгоруков к генералу Мусину-Пушкину, — я поручаю сделать поиск. Лазутчики говорят, что визирь устроил где-то по дороге, в горах, передовое укрепление. Вы постараетесь занять его, но дальше пока не предпринимайте ничего: главный лагерь у Алушты защищают семь батарей. А я с двумя батальонами пехоты останусь здесь, чтобы вы были спокойны в спине.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

— Всю конницу я оставлю при себе: с ней в горах все равно делать нечего. Наши кони — не ихние, татарские, которые скачут по горам, как козы. Жаль, что не у всех господ командиров местные кони!

— У Михаила Илларионовича хороший конь, — похвалил Мусин-Пушкин.

— Да, настоящий горский, — подтвердил подполковник Кутузов.

— Он вас в горах вывезет, — сказал командующий. — Вот и все, господа. А теперь — отдыхать!

Румянцов тут же, у походного костра, собственноручно написал бы приказ, а Долгоруков, этот хлебосольный московский барин, а не полководец, никакого письменного приказа генералу Мусину-Пушкину не дал. Он писать не любил и часто говаривал: «Я человек военный и в чернилах не окупай!»

И командиры разошлись по своим частям.

III

Генерал-поручик Мусин-Пушкин выступил в поход еще до зари: предстояла самая трудная часть пути.

Московский гренадерский шел в авангарде. Подполковник Кутузов ехал вместе с проводником Ахметом впереди гренадер.

Войска вступили в ущелье. Пехоте сразу же пришлось перестроиться: гренадеры едва проходили по четыре в ряд. Узкую, тесную дорожку с обеих сторон крепко сжали горы, все склоны которых были покрыты лесом.

Дорога шла то вверх, то вниз, извиваясь вокруг горы. Она кружила, петляла. Одно и то же место проходили по нескольку раз. Вот дорога идет под нависшим уступом скалы, напоминающим кусок сломанной арки. А через полчаса ту же арку русские солдаты видят уже где-то внизу.

Под ногами хрустел осыпающийся мелкий щебень или стучал твердый, чистенький, словно отполированный, плитняк.

Несмотря на то что солнце еще не взошло и не было жарко, с солдат уже катил пот. Пехота шла напряженно, как по льду, то и дело скользя. Кони ступали осторожно, прижав уши. Единороги двигались сегодня медленнее, осмотрительнее: ездовые боялись засесть в какой-либо расщелине или свалиться с гаубицей в ущелье. В одном месте, у поворота, проводник Ахмет вдруг осадил коня.

— Что такое? — оглянулся своими быстрыми, зоркими глазами Кутузов. Он все время ехал, настороженно глядя вперед — нет ли где засады? И не очень доверял проводнику-татарину.

— За поворотом начинается такая дорога! — закрутил головой Ахмет и стал слезать с коня. — Надо подтянуть подпруги!

Кутузов дал знак. Гренадеры остановились. Приказ «остановиться» облетел с быстротой молнии всю колонну русских войск, все эти две тысячи восемьсот пятьдесят человек пехоты. Люди охотно остановились, снимая гренадерки, вытирая потные лица и шеи. Артиллеристы подкладывали под колеса единорогов камни, чтобы гаубицы не катились назад.

— Молодая! — говорил канонир, поглаживая свою гаубицу. — Вместе со мной на службу поступила.

— Ты гляди, хорошо ли подложил? Еще сунется под гору, — не шутя заметил ефрейтор.

— Не сдвинется, дяденька. А кабы сорвалась, беда! — глянул вниз солдат.

— Тебя ждать не стала бы! — засмеялись товарищи.

— Зачем остановились? Турки? — спрашивали сзади.

Как бы в ответ им из авангарда шло по цепи:

— Артиллерии и верховым: подтяни подпруги!

Михаил Илларионович слез и внимательно осмотрел, исправно ли у него седло.

А гренадеры, отдыхая, переговаривались:

— А нам что осмотреть?

— Подметки...

— До чего насклизли — идти нельзя!

— Тебя бы, Павлуша, подковать, как того вола, восемью подковами, ты бы легше пошел!

— А что, думаешь, худо было бы?

И вот колонна тронулась дальше.

Обогнули отвесную скалу, которая тянулась вверх, как стена. Сквозь кусты можжевельника внизу глянулась пропасть, а дальше шла такая немыслимо крутая тропинка, что Михаилу Илларионовичу стало не по себе.

Извилистая тропинка вся была завалена камнями. Она лепилась у горы по самому краю обрыва. По ней не пройти и трем человекам.

— Справа по двое! — обернулся Кутузов.

«А как же тут пройдут двенадцатифунтовые гаубицы?» — подумал он.

Колонна стала спускаться. Из-под ног гренадер сыпались камни и с глухим шумом падали в пропасть.

Кутузов невольно оглядывался: а его гренадеры все целы?

Тропинка все суживалась, а иногда и вовсе пропадала. Крепконогий маленький горский конь Михаила Илларионовича шел твердым шагом, не останавливаясь. Кутузов бросил поводья: он чувствовал, что конь лучше его знает, как идти по такой немыслимой дороге.

«Хорошо, что сухо. А если бы дождь? Тогда тут не пройти!»

Пробирались по краю скалы. Внизу — страшно взглянуть — чернела пропасть. Кони здесь чуть шли, цепляя нога за ногу; иногда садились на крупы. Одно малейшее неосторожное движение, и конь с всадником неминуемо летели бы в бездну.

Ахмет громко понукал своего коня, свистел, подбадривая его. Конь неохотно шел впереди. Голос Ахмета звучно отдавался в молчании гор.

«Уж не подает ли он знаки своим сородичам?» — подумалось Кутузову.

Колонна двигалась очень медленно. Трехфунтовые гаубицы еще кое-как прошли, а двенадцатифунтовые, «новой пропорции», пришлось тащить солдатам на канатах.

Солнце уже поднялось, когда вышли опять на более сносную, широкую дорогу.

И вот тут солдаты увидали — казалось, до них рукой подать — величественные горы: справа широко раскинул свою плосковерхую палатку четырехугольный Чатырдаг, опоясанный облаками. А слева — подымала красноватые голые изломы громадная Демерджи. Демерджи была похожа на женщину, закутанную в чадру, которая сидит высоко, над самой бездной.

Кутузов невольно залюбовался этим великолепием, но Ахмет уже указывал ему на другое.

— Тырда-тарла! — говорил он, показывая пальцем. — Земляной вал. Турки!

Верстах в полутора было расположено передовое турецкое укрепление. Турки насыпали вал и укрепили его камнями.

Они ждали русских.

Место для обороны было выбрано удачное: с двух сторон шли крутые каменные стремнины. Обойти врага не представлялось никакой возможности. Сзади за укреплением виднелись невдалеке плоские крыши татарского селения.

— Какая это деревня? — спросил у Ахмета Кутузов.

— Шумы.

— До моря далеко?

— Недалеко.

Кутузов слез с коня. Ноги от напряжения дрожали.

Гренадеры становились в каре.

Русская пехота и пушки выходили на дорогу.

IV

Над Чатырдагом, высоко в небе, парили орлы: их потревожили выстрелы. Уже два часа в горах, не умолкая, гремели громы. Русские гаубицы били по турецким укреплениям у деревни Шумы. Турки отвечали.

К грохоту орудий присоединялась частая ружейная трескотня. Обойти турок было нельзя. Приходилось атаковать сильно укрепившегося врага в лоб.

Сидя за надежным каменным укреплением, турки яростно защищались. Русская пехота медленно продвигалась вперед. Уже были убитые и раненые. К генерал-поручику Мусину-Пушкину,

стоявшему со своим адъютантом за грудой камней, подошел командир московцев, коренастый подполковник Кутузов:

— Ваше превосходительство, надо ударить в штыки. Время идет, а толку никакого. Наши ядра мало вредят басурманам. В этой перестрелке мы потеряем больше, чем в штыковой атаке!

— Пожалуй, вы правы, — согласился Мусин-Пушкин. — Но басурман ведь втрое больше, чем нас!

— Ничего, не устоят. Позвольте лишь начать. Мои гренадеры ближе всех к туркам. Я ударю первый, а вы поддержите!

— Ваши гренадеры действительно дерутся, как старые солдаты. Ну что ж, давайте. С Богом! — согласился Мусин-Пушкин.

Кутузов спокойно вернулся под свинцовым дождем турецких пуль к своему батальону.

Несколько минут у московцев шли приготовления. А потом они вдруг с распущенным знаменем и барабанным боем кинулись на турецкий ретраншемент. В первый момент турки, не ожидавшие такого смелого приступа, опешили. Но московцы еще не успели добежать до турецкого укрепления, как турки опомнились и засыпали их пулями. Гренадеры приостановились было на полдороге, и кое-кто из них стал укрываться за камнями.

Тогда подполковник Кутузов выбежал вперед и с криком: «За мной, ребята!» — бросился к турецкому редуту.

Гренадеры подхватили «ура!» и в один миг достигли турецкого вала. Вслед за ними ударило в штыки и правое крыло. На валу в числе первых показалась крепкая фигура подполковника Кутузова.

И тут турецкая пуля сразила храброго командира московцев — Кутузов упал. Но дело было сделано: янычары дрогнули и побежали к Алуште, где белели паруса их фрегатов и ждали семь больших батарей.

...Подполковник Кутузов лежал в тени, у фонтана Сунгусу. Вся его голова была забинтована.

Генерал-поручик Мусин-Пушкин со своими старшими офицерами и капитаном московцев Завалишиным стояли поодаль у кипариса и тихо переговаривались. Генерал расспрашивал лекаря, который все время находился при раненом, а теперь пришел доложить генералу о состоянии здоровья подполковника Кутузова:

— Ну как?

— Пуля угодила между глазом и виском. Прошла через всю голову...

— Жив останется?

— Не могу знать, ваше превосходительство. На все воля Божья.

— Глаза целы?

— Левой смотрит как надо быть, а правый запух.

— Жалко, если повредится. Глаза у Михайлы Илларионовича такие зоркие, — пожалел капитан Завалишин, — давеча орла уви-

дал раньше всех. Никто не мог приметить, а он показывает: вон — орел над горами!

— А теперь что — спит?

— Находится в забытьи, ваше превосходительство.

— Хорошо, что турецкая пуля, а не татарская баларма, — сказал секунд-майор Шипилов.

— А что такое баларма? — спросил генерал.

— Это, ваше превосходительство, две небольшие пули, прикрепленные друг к дружке медной проволочкой, собранной в спираль. При выстреле проволочка растягивается и получаются две раны. Да, кроме того, и проволочка дает рану. Подлая штука!

— Ну и турецкая немало беды натворила! Как чуть начнет солнышко спускаться, отправить подполковника Кутузова в лагерь к командующему! — приказал лекарю генерал-поручик Мусин-Пушкин.

Через несколько часов от шумлинского водопада к Акмечети отправилась экспедиция. Четверо гренадер бережно несли на носилках своего тяжело раненного командира. Сзади шли потрясенный случившимся подпоручик Резвой и проводник Ахмет с двумя лошадьми.

За ними следовало целое капральство московцев.

— И скажи, как получилось: больше недели тому назад турки замирились, а только сегодня об этом в Алуште узнал сераскир!

— Кабы на сутки раньше пришел естафет, никакого боя не было бы!

— И наш Михайло Ларивонович был бы невредимый! А так кто знает, что будет?.. — сокрушались гренадеры.

Глава третья

ЖЕНИТЬБА

Знать, к мученью я влюбился,
Знать, мне век несчастну быть,
И на то ль мой дух вспалился,
Чтоб в тоске всегдашней жить.

Н. Курганов

I

Второй день в Петербурге стояла непогодь. Хотя сентябрь только еще начинался, но уже по-осеннему было пасмурно и неуютно.

На город навалились низкие серые тучи — вот-вот польет дождь. Ветер крутил с разных сторон, а в полдень наконец установился — стал с бешенством налетать на город с залива.

Нева вздулась и помрачнела.

На Петропавловской крепости и Адмиралтействе трепыхались флаги. Корабли на Неве, еще вчера убравшие паруса, взлетали на свинцовых валах, как на качелях. Деревья Летнего сада гнулись и шумели. Под яростным напором ветра летели на землю сломанные ветви. На улицах редкие прохожие старались поскорее укрыться в дома: ветер валил с ног.

Вечерело. В Преображенском, всей гвардии соборе ударили ко всенощной. Колокольный звон слышался приглушенно: его относило ветром.

Михаил Илларионович, не зажигая огня, в раздумье ходил по комнате. Читать он не хотел — боялся натрудить глаза.

После боя у Шумы прошло три года. Подполковник Кутузов чудом остался жив. Не только вся русская армия, вся Европа изумлялась и никогда не поверила бы в это, если бы сама не увидала Кутузова.

Когда Кутузов, немного оправившись от раны, приехал в Петербург, императрица приняла его, наградила орденом Георгия 4-й степени и 1 января 1776 года отправила лечиться за границу, «на теплые воды».

Кутузов лечился в Лейдене, где был знаменитый медицинский факультет, и целый год прожил в Европе, путешествуя по Германии, Англии, Голландии и Италии. Живя за границей, Михаил Илларионович имел возможность встречаться со многими видными людьми. В Берлине его принял прусский король Фридрих II, в Вене — знаменитый генерал Лаудон.

Европейские врачи приказали беречь глаза, не утомлять их. После ранения правый глаз стал видеть плохо — как сквозь кисею. Поэтому Михаил Илларионович, любивший книги, вынужден был пока читать поменьше и старался заняться чем-либо иным. Сегодня утром он ездил с отцом на Глухой проток.

Чтобы предупредить разлив Невы, императрица Елизавета приказала устроить на месте Глухого протока канал. Проект канала она поручила сделать известному инженер-полковнику, ученику Брюса, Иллариону Матвеевичу Кутузову, которого за ум все звали «разумной книгой» и который построил Кронштадтский канал Петра I. Кутузов сделал проект, но строить канал пришлось уже при Екатерине II.

Новый канал назвали в честь императрицы Екатерининским и, так же как на набережной Невы и Фонтанки, приступили к облицовке его берегов камнем.

И вот теперь Илларион Матвеевич тревожился, что ветер нагонит воду с залива и размоет не одетые камнем берега Екатерининского канала. Илларион Матвеевич вернулся домой удрученный: вода в канале стояла высоко, если ветер не утихнет, то к ночи мож-

но ждать наводнения. Уже и теперь берега стали обсыпаться. Озабоченный, Кутузов пообедал и лег отдохнуть.

А сыну не хотелось спать. Молодой Кутузов вообще не мог понять, зачем старики ложатся после обеда отдыхать: разве мало им для этого ночи?

Он ходил и думал не о канале и наводнении, а о том, удобно ли сегодня сходить к Бибиковым, которые жили неподалеку, или нет. Пойти к ним Михаилу Илларионовичу очень уж хотелось.

Инженер-генерал Илья Александрович Бибиков, сослуживец и приятель отца, считался лучшим военным инженером и одним из самых образованных генералов русской армии. Он укреплял украинскую линию — Таганрог, Кизляр, Бахмут, затем служил начальником Тульского оружейного завода. Бибиков уже более десяти лет жил в отставке, но в свои восемьдесят лет сохранил ясность ума и был интересным собеседником. У старика инженера можно было многому поучиться.

Однако не это тянуло молодого Кутузова: у Ильи Александровича была дочь от второго брака — Катя.

Михаил Илларионович знал Катю с детства. Он был на девять лет старше ее и потому привык считать Катю девочкой, тем более что ростом она никогда похвастать не могла и всегда была худенькая и маленькая, но живая.

В годы ученья в Инженерном корпусе, когда Мише было пятнадцать лет, а Кате шесть, Миша держался с Катей снисходительно и дразнил ее «мышкой», а она не оставалась в долгу и звала его, конечно же, «Мишка-медведь».

Потом Миша уехал в армию и несколько лет не был в Петербурге. Приехав как-то в отпуск домой, он с удивлением обнаружил в «мышке» большую перемену. Миша увидал, что Катя превратилась из невзрачной девочки в миловидную барышню. Она все так же была невелика ростом, но грациозна. У нее оказались (раньше Миша как-то не обращал на это внимания) прекрасные черные «бибиковские» глаза. И вдобавок ко всему Катя была умная девушка.

Она смеялась над княжной Сукиной, которая на ее вопрос, что она читает, ответила: «Я — голубенькую, а сестра — розовую книжечку».

Встретившись после многих лет разлуки с другом детства, Катя зарделась. Миша уже никак не дразнил Катю, а был к ней отменно внимателен. После этой краткой встречи Катя запомнилась Кутузову, и он думал о ней с нежностью. А сейчас, вернувшись из-за границы, он два месяца прожил в Петербурге, видался с Катей, узнал ее ближе и теперь понял, что влюблен в нее по-настоящему.

Михаил Илларионович старался под тем или иным предлогом чаще бывать у Бибиковых. Лучшим предлогом был старший брат Кати Василий, с которым Михаил Илларионович учился в Инже-

нерном корпусе и дружил. Правда, последние годы друзья встречались редко: Василий Бибиков пошел не по военной дороге — он с детства пристрастился к театру.

Императрица Екатерина любила театр, покровительствовала ему. «Народ, который поет и пляшет, зла не думает!» — говорила она. Свою любовь к театру Екатерина старалась привить всем. Она заставила членов святейшего Синода посещать итальянскую оперу и в письме к Гримму так потешалась над монахами, которым волей-неволей пришлось насладиться «мирским» развлечением:

«Святейший Синод был на вчерашнем представлении, и они хохотали до слез вместе с нами».

По примеру Петра I она посылала русских детей учиться за границу. Петр слал в Европу артиллеристов и корабельщиков, Екатерина — «танцовальщиков» и актеров. Императрица сама писала (хотя и не лучше других доморощенных драматургов) пьесы. Трагедии и разные комедии «в улыбательном духе» стали повсеместным увлечением, начиная от придворной знати и кончая мастеровыми. На пустыре за Малой Морской улицей был открыт частный любительский театр, в котором играли желающие — переплетчики, наборщики, портные и иной рабочий люд.

Василий Бибиков играл на придворной сцене и, так же как многие другие актеры-любители, писал пьесы, потому что своих еще было мало — ставили большею частью переводные.

Императрица оценила его любовь к театру и рвение и назначила заведовать русской придворной труппой.

Это пристрастие старшего брата передалось Кате. Она в десять лет выступала уже в числе любителей на придворном спектакле во дворце. С тех пор Катя бредила Лекеном и Гарриком и была без ума от Дмитревского.

Михаилу Илларионовичу нравилось в Кате даже это увлечение — он сам любил театр.

Кутузов ходил по комнате и с улыбкой вспоминал, как первое, о чем спросила Катя у него после приезда из-за границы, было: «А в Париже не были? Клерон и Дюмениль не видали?»

И вот теперь он думал: идти ли сегодня к Кате или неудобно? «Вчера ходил, позавчера ходил, третьеводни ходил... Пожалуй, нельзя. Лучше завтра: завтра воскресенье...» — убеждал один, рассудительный, голос.

А второй не менее рассудительно напоминал, что два месяца тому назад Михаила Илларионовича произвели в полковники, назначили командовать Луганским пикинерным полком и что уже в воскресенье вечером надо отбывать к полку. Остались всего лишь сутки.

«Э, схожу!» — решил Кутузов, схватил плащ и треуголку и вышел из дому.

По 3-й Артиллерийской улице, где жил инженер-генерал Бибиков, ветер гнал тучи пыли и мусора. Где-то хлопала калитка. Редкие прохожие, солдаты-артиллеристы, служители с пушечного двора, торопились по домам. Михаил Илларионович пригнул от ветра голову и, придерживая рукой шляпу, осторожно пошел по улице.

Вот длинный желтый дом Татищева, а за ним синий, бибиковский.

У дома Кутузов с неудовольствием увидал карету и сразу же догадался чья: Жана Рибопьера.

Швейцарец лейтенант Жан Рибопьер оставил свое милое отечество и приехал искать счастья в дикой, суровой России. Счастье сопутствовало ему: он привез изящно написанное рекомендательное письмо Вольтера к императрице Екатерине.

Рибопьер обладал парижскими манерами, был бесспорно красив и так же бесспорно ловок и хитер. Его тотчас же повысили в чине и стали звать «Иван Степанович». Он был принят во всех лучших домах столицы, где очаровал девушек и дам. Но ухаживал швейцарец за одной — племянницей Кати, красавицей фрейлиной Аграфеной Александровной Бибиковой.

Бибиковы — старшее поколение — невзлюбили пронырливого, льстивого швейцарца. Да и считали они, что родниться с иностранцами нехорошо.

Груня же была более снисходительна к нему и не гнушалась его общества.

Михаил Илларионович сразу раскусил заморского гуся: «Карьерист и интриган!» Но держал свое мнение при себе и ничуть не уступал Рибопьеру в вежливом с ним обхождении.

Очевидно, Груня приехала с Рибопьером к своей ровеснице и подружке «тете Кате» (она была дочерью сводного брата Кати, известного вельможи Александра Ильича Бибикова, посланного Екатериной усмирять Пугачева и умершего скоропостижно весной 1774 года).

Михаилу Илларионовичу встреча с Рибопьером была неприятна. Он еще никак не мог примириться с мыслью, что у него поврежден правый глаз, и чувствовал себя весьма неважно. При разговоре с кем-либо приходилось все время помнить о том, чтобы собеседник находился слева, а не справа. Кутузову казалось, что все с любопытством смотрят на его глаз, что он словно какой-то монстр. Нужна была большая выдержка, чтобы оставаться веселым и непринужденным. Особенно когда рядом с тобой такой красавчик, у которого ни единой царапинки на выхоленном лице.

Катя как будто бы не обращала никакого внимания, никогда словом не обмолвилась о Мишиной ране, точно ее не было. Михаилу Илларионовичу хотелось думать, что для Кати он все такой же, каким был раньше (он помнил, что в детстве Катя хорошо относилась к нему).

Михаил Илларионович собирался поговорить с ней о своих чувствах, но откладывал со дня на день: боялся отказа, хотел проверить, правильно ли он полагает, что не противен Кате. К тому же всегда кто-нибудь мешал разговору. У Бибиковых вечно толкался народ — актеры, любители-театралы, приехавшие к Василию Ильичу. Катя, конечно, сидела тут же. По натуре она была человеком общительным, а театр ее очень интересовал.

Идучи к Бибиковым, Михаил Илларионович думал: погода плохая, авось сегодня никого чужого не будет.

И вот — нате!

Делать нечего. Кутузов взошел на крыльцо.

Старый денщик генерала уже широко распахнул перед ним дверь:

— Пожалуйте, ваше высокоблагородие!

В вестибюле стояли готовые к отъезду Груня и щеголеватый Рибопьер. Они, видимо, ожидали кого-то.

«Слава Богу, уезжают!» — подумал Кутузов.

Но не успел он поздороваться с ними, как по лестнице застучали каблучки и со второго этажа, где помещалась бибиковская молодежь, быстро сбежала оживленная Катя.

— Мы едем к Груне репетировать «Нанину» Вольтера, — сказала она, протягивая руку Михаилу Илларионовичу. — Я играю Нанину, а Иван Степанович — графа.

— Ну что ж, это прекрасно! — ответил Кутузов, хотя понял, что все надежды на разговор сегодня пропали.

— Поедемте с нами! — предложила Груня.

— Миша никуда не поедет, — раздался сбоку голос Ильи Александровича Бибикова.

Старый генерал стоял на пороге своего кабинета, расположенного на первом этаже.

— Он останется со мной. Куда еще ехать? Вон какой ветер. Того и гляди наводнение станет.

— Дедушка, если будет наводнение, то и Артиллерийские улицы зальет, — возразила, оборачиваясь к нему, Груня.

— Нет, Артиллерийские выше, чем ваша Конюшенная. К нам вода не достанет.

— Папенька, ежели случится наводнение, Миша меня спасет: приедет за мной на лодке. У них ведь на Фонтанке лодка есть. Правда, Миша, приедете? — спросила, кокетливо поглядывая, Катя.

— Приеду! — ответил, улыбаясь, Михаил Илларионович.

— Ну, адьё!

Катя помахала ручкой и выпорхнула на крыльцо.

За ней вышли Груня и Рибопьер.

Михаил Илларионович остался коротать вечер со стариком.

II

Молодой Кутузов просидел у Бибиковых за беседой до одиннадцати часов ночи. Илья Александрович, как всегда, рассказывал много интересного о Семилетней войне, об австрийском фельдмаршале Лаудоне.

Михаилу Илларионовичу, который знал Фридриха II и Лаудона, было смешно представить, как прусский король, увидав впервые генерала Лаудона, сухощавого человека с громадными черными бровями, сказал приближенным: «Физиономия этого господина мне не нравится». Король как будто предчувствовал, что этот скромный генерал будет способствовать страшному поражению пруссаков при Кунерсдорфе.

Когда Кутузов собрался уходить, Илья Александрович дал ему в провожатые лакея с фонарем: на улице была непроглядная темень. Ветер погасил те немногие фонари, что горели у некоторых домов. К ночи он не только не ослабел, но еще посвежел — рвал с необычной силой.

Где-то за Невой тревожно выли собаки.

«Видимо, придется в самом деле спасать Катю на лодке, — думал Михаил Илларионович, идучи следом за лакеем, несшим фонарь. — Не смыло бы нашу лодку на Фонтанке».

Ночь Михаил Илларионович спал тревожно. Он проснулся, чуть брезжил рассвет. С Петропавловской крепости били пушки.

Михаил Илларионович оделся — надел шинель и картуз вместо треуголки — и вышел из дому. У калитки стояли дворник, кучер, лакей и денщик молодого барина Иван, рязанский парень, никогда не видавший ничего подобного. Он, должно быть, ходил смотреть, как разливается Нева, и теперь делился впечатлениями и новостями.

— Вода уже пошла по верху невской каменной набережной. Сказывают, давеча сорвало с якоря корабль, он перемахнул через набережную и проплыл мимо Зимнего дворца... А любский, груженный яблоками, швырнуло в лес на Васильевский остров. А на Проспективной что делается! Не приведи Бог! Не улица, а река: шлюпки, боты плавают, — говорил он с увлечением.

— Гляди, и до нас скоро доберется, — опасливо косился лакей.

— Не дойдет, не впервой! — авторитетно возразил старый дворник.

— А нашу лодку на Фонтанке не сорвало с цепи, не унесло? — спросил, подходя к ним, Кутузов.

— Да я на ней только что ездил, — ответил Иван.

— Тогда поедем со мной. И еще кто-нибудь, — обернулся он к дворовым.

— Я поеду, — откликнулся кучер.

— Хорошо.

Михаил Илларионович быстро пошел по направлению к Фонтанке. Где-то в церкви не то звонили к ранней обедне, не то били в набат. Возбужденный Иван шел рядом с полковником и все продолжал рассказывать:

— А один дом, ваше высокоблагородие, снесло с Адмиралтейской на тую сторону Невы. А сколько крыш посрывало!..

У самой Фонтанки им пришлось шлепать по лужам: вода понемногу просачивалась все дальше. Лодку увидали издалека. Она чернела непривычно высоко — так вздулась Фонтанка, — и столб, к которому прикреплялась цепь, уже почти скрылся под водой. Кое-как отцепили лодку. Михаил Илларионович сел за руль, а денщик и кучер — на весла.

Полноводную Фонтанку пересекли быстро, а затем двинулись напрямик через пустыри и дворы домов: деревянные заборы нигде не уцелели.

Было странно видеть дома, окруженные водой. Волны захлестывали опустевшие лачуги бедняков. Из окон вторых этажей барских особняков испуганно смотрели невыспавшиеся господа и слуги.

Кутузов правил к березкам Невской Проспективной, которые маячили в бледном утреннем свете. Часть из них была сломана яростным ураганом. Справа мрачно шумел Летний сад, над которым носились, крича, вороны. Грести было трудно — ветер дул с прежней яростью.

Вот наконец лодка выплыла на Невскую Проспективную улицу. Денщик не соврал: по ней плавали доски, заборы, какие-то сарайчики. Как по реке, по грозным волнам сновали лодки и морские шлюпки, спасавшие бедноту, лишенную жилья, и ее скудный домашний скарб. Мимо Кутузова проплыл, покачиваясь, подмытый стог сена.

Сквозь порывы ветра доносились крики о помощи, мычание коров, плач детей, звон разбитого стекла. И вместе с тем где-то так обычно и спокойно пел петух.

Проехали мимо Гостиного двора. Из нескольких магазинов купеческие молодцы грузили на лодки товар.

Дальше слева показалась церковь Рождества Богородицы. Она словно возникала из воды, как град Китеж. Волны хлестали в ее запертую дверь.

Свернули направо, к Конюшенной.

А вот и дом, где живет с матерью красавица Аграфена Александровна Бибикова.

Вода плескалась у самых окон высокого первого этажа. Еще один дружный напор ветра, и она прольется внутрь.

В доме не спали. Слышалось, как из первого этажа спешно подымали мебель во второй.

Кутузов подвел лодку к одному из окон и хотел уже окликнуть Катю, но вдруг сверху услышал ее удивленно-радостный голос:

— Груня, смотри, Миша приехал! Вот верный рыцарь!

Михаил Илларионович поднял вверх голову. Из полураскрытого окна второго этажа на него смотрели вовсе не перепуганные Катя и Груня.

— Я здесь. Собирайтесь, Катя, поедемте домой — на Артиллерийской воды нет! — встал в лодке Михаил Илларионович, держась за подоконник. — Да и Груню забирайте!

— Груне надо во дворец: императрица ведь уже с вечера дома. Груня не хочет извиняться от дежурства. Вы сначала отвезите ее, а потом приедете за мной.

— Хорошо. Я готов.

Долго ждать Груню не пришлось. Она быстро собралась, сбежала в первый этаж, пока в нем еще не было воды, и через окно ловко прыгнула в лодку. Вслед за ней в окно передали чемоданы с фрейлинскими уборами.

— Спасибо вам, дорогой Мишенька! — высунувшись из окна, благодарила мать Груни Анастасия Семеновна.

— Приезжайте, я жду! — кричала вдогонку Катя.

Дворовые девушки смотрели из окна на свою красавицу барышню, которая не побоялась пуститься на лодке в такую бурю во дворец.

В Зимнем Михаил Илларионович благополучно сдал Груню придворным лакеям и отправился обратно. Ветер стихал. Вода стала заметно убывать.

— Навалитесь, ребята, а то и мы, чего доброго, застрянем с лодкой среди города, — сказал своим гребцам Кутузов, глядя, как засела на площади громаднейшая барка, которую выбросило из Невы.

Кате пришлось прыгать в лодку с большей высоты, чем Груне. Она даже на секунду замешкалась, стоя на подоконнике и в нерешительности глядя вниз, но Михаил Илларионович протянул к ней руки, и Катя с его помощью легко очутилась в лодке.

Назад ехать было легче и быстрее. Чтобы не засесть где-либо на мели, Кутузов сразу же постарался вывести лодку на Фонтанку.

Когда подъехали к своей пристани, столб уже возвышался над водой. Но ступеньки спуска были мокры и скользки, и Михаил Илларионович предложил Кате снести ее на берег.

Катя согласилась.

Михаил Илларионович бережно взял на руки маленькую, легонькую Катю и вынес наверх. Он с удовольствием понес бы ее до самого дома, но Катя воспротивилась:

— Уже светло. Что подумают люди?

Она быстро, не оглядываясь, побежала к Артиллерийским улицам.

— Катенька, мне надо с вами поговорить... — начал Кутузов, когда они подошли к дому Бибиковых и остановились.

— Только не сейчас. Я ничего не слышу, не понимаю... Мы не спали всю ночь. Я так хочу спать, — капризным тоном сказала девушка, пряча зевоту.

Михаил Илларионович умел владеть собой — он не показал виду, что слова Кати ему очень неприятны.

— Но ведь я сегодня вечером уезжаю...

Катя почувствовала огорчение Михаила Илларионовича и переменила тон:

— Вы же скоро приедете. Тогда и поговорим обо всем, не правда ли? Ведь к рождеству приедете, Мишенька, да? Приедете? — спрашивала она, ласково заглядывая ему в глаза.

— Постараюсь приехать! — ответил Михаил Илларионович, смягчаясь.

III

Как ни старался Михаил Илларионович исполнить обещание, данное Кате, — приехать к Рождеству, но ничего не поделаешь: служба! Смог вырваться домой лишь к февралю 1776 года.

Командующий легкой кавалерией Григорий Александрович Потемкин дал ему отпуск «для исправления домашних дел».

Кутузов хотел попасть домой к Масленой неделе, но Новороссия, где стоял Луганский пикинерный, — не близкий свет. Пока он тащился на перекладных, уже пришла — по календарю «сырная», по еде «блинная» — любимая масленица.

Каждый день широкой масленицы получил у народа свое название: понедельник звался «встреча», вторник — «заигрыш», среда — «лакомка», четверг — «тещины вечерни», пятница — «разгул», суббота — «золовкины посиделки», воскресенье — «проводы».

Сначала Михаил Илларионович думал поспеть домой к началу гулянья — к «встрече», чтобы это была встреча вдвойне, но за метелями и вьюгами только в среду доставился в Тверь.

«Разгул» он проводил не с Катей, а в дороге, а «тещины вечерни» просидел не у гостеприимных Бибиковых, а на постоялом дворе у Новгорода, ожидая лошадей. И только поздно вечером в субботу он наконец приехал в Петербург.

— Сегодня я приглашен к Илье Александровичу на блины. Поедем вместе, — сказал в воскресенье Илларион Матвеевич сыну.

Молодой Кутузов весьма охотно согласился поехать в гости.

У Бибикова собрался тесный круг его ближайших друзей. Сам разносторонне образованный и умный, Илья Александрович подбирал себе таких же собеседников. Это были директор Морского корпуса генерал Иван Лонгинович Кутузов, женатый на старшей дочери Бибикова — Евдокии, сослуживец Ильи Александровича

генерал в отставке Николай Порфирьевич Быков и известный артист, «русский Росциус», Иван Афанасьевич Дмитревский.

Пока хозяйка Варвара Никитишна не приглашала еще к столу, Бибиков увел Иллариона Матвеевича к себе в кабинет покурить, а Михаилом Илларионовичем завладела Катя.

Катя встретила Мишу очень тепло, искренне обрадовалась его приезду. Михаил Илларионович не без удовольствия заметил, что Катя, увидев его, покраснела, — стало быть, он был ей небезразличен. Катя повела гостя в залу, усадила на диван и сама села рядом.

Тотчас же из соседней комнаты выплыла с вязаньем в руках старая тетушка Прасковья Ивановна, — считалось неприличным оставаться девушке с молодым человеком наедине. Тетушка поздоровалась с Мишей и продолжала вязать, не вмешиваясь в их оживленную беседу.

— Почему вы так замешкались? — спросила Катя. — Почему не приехали к Рождеству?

— И рад бы в рай, да грехи не пускают: полк!

— Ну, рассказывайте, что у вас нового?

— Какие новости у солдата? — невольно улыбнулся Кутузов — ему вспомнилось, как на такой вопрос всегда отвечают в армии: «Знай службу — плюй в ружье, да не мочи дула!» Но так же неприлично сказать девушке. — У вас новостей больше!

— У нас, правда, новостей хватает. Об одной вы уже, я надеюсь, слыхали: Груня все-таки вышла за Рибопьера замуж, как мать ни была против.

— Что ж, не Анастасии Семеновне жить с Рибопьером, а Груне, — ответил Кутузов. — И увлечение театром у Груни уже прошло?

— Ничуть! Вскоре после свадьбы мы у них же играли «Привидение с барабаном». Затем, знаете, Мишенька, наша очаровательная Габриель чуть не уехала к себе в Италию.

— Это почему же?

— Она запросила у императрицы за оперный сезон десять тысяч рублей. Императрица ответила, что такое жалованье получает у нее только фельдмаршал. Тогда Габриель возьми и скажи: «Так пусть, ваше величество, фельдмаршалы и поют!» Хорошо, что императрица была в добром расположении и оставила без внимания эту дерзость.

Михаил Илларионович искренне смеялся.

— Это грубо, но право же, не дишено остроумия! А что же, некоторые из наших фельдмаршалов совсем неплохо поют, например, Румянцов, Потемкин. Да и у Разумовского голос хорош — недаром его брат на одном голосе карьеру сделал. Только у Александра Михайловича Голицына ни слуха, ни голоса. И на чем же все-таки примирились? — спросил Кутузов.

— На семи тысячах рублях.

— Не худо. Нет, Катенька, у вас в Петербурге веселее, чем у нас, в армии. Продолжайте, я вас с интересом слушаю!

— Самую главную новость вы тоже знаете, — продолжала рассказывать Катя. — Во вторник двенадцатого декабря у наследника Павла Петровича родился сын Александр. Петропавловская и Адмиралтейская крепости целый день палили из пушек. Можно было оглохнуть.

— Ничего не поделаешь: полагается салют в двести один выстрел, — шутливо развел руками Михаил Илларионович.

— И с той поры пошли у нас балы да маскарады, прямо отдыха нет. Вася рассказывал: императрица смеется — боюсь умереть от бесконечных обедов, придется заказать себе заранее эпитафию. Она так и написала Гримму.

— Жеманна матушка императрица, — улыбнулся Кутузов. — Теперь заказывать эпитафию нечего, а вот когда Пугачев шел на Москву, тогда приходилось о ней серьезно подумать, — добавил, понизив голос, Михаил Илларионович.

— А вы, Мишенька, я вижу, все такой же насмешник! — улыбнулась Катя.

— А как в петербургских гостиных, весело? — переменил тему Михаил Илларионович.

— Тоска смертная. На балах передвигают ноги и кланяются, а в вечерних беседах играют в бостон и фарао или говорят о модных шалях и чепчиках.

— Но все-таки ж не о погоде и городских происшествиях, а о предметах высоких чувств, — пошутил Кутузов. — А как кавалеры?

Катя только махнула рукой.

— Один непрестанно хохочет, думая, что в этом состоит любезность светского человека, а другой развлекает дам, говоря о гальванизме, в котором не разбирается сам.

— Пожалуйте к столу! — послышался из-за двери голос горничной.

— Ну, пойдемте есть блины! — пригласила Катя.

Они встали.

— А знаете, он мне нравится: в нем удаль наша, русская! — сказала Катя, когда они спускались по лестнице в столовую.

— В ком удаль русская, в Гримме? — спросил, сдерживая улыбку, Михаил Илларионович, будто не понимая, о ком речь.

Катя рассмеялась.

— Да ну вас, какой там Гримм! В Пугачеве! А вы как думаете, скажите серьезно!

— Что ж, Пугачев, конечно, незаурядный человек! — уже совершенно серьезно ответил Кутузов.

IV

За блинами Катя спросила у Михаила Илларионовича:

— Миша, вы давно видали масленичные балаганы?

— Уж и не помню когда. В детстве.

— Поедем после обеда. Сегодня ведь последний день.

— Поедем! — обрадовался Кутузов.

Это было ему на руку. Он все время ждал случая, чтобы поговорить наедине. Тетушка, конечно, будет сопровождать их, но побоится сесть на качели. Вот на качелях и поговорить с глазу на глаз!

Когда было покончено с блинами, Катя шепнула матери:

— Маменька, мы с Мишей чая пить не будем — поедем смотреть балаганы. Можно?

Варвара Никитишна разрешила им незаметно уйти из столовой.

— Только попроси тетушку сопровождать вас.

— Тетенька, милая, поедем! — приласкалась к Прасковье Ивановне Катя.

— Ну, поедем уж, что с тобой делать, баловница! — неохотно поднялась тетушка.

Гости продолжали сидеть у стола, оживленно разговаривая.

Они вспоминали молодость, военную службу. Дмитревский рассказывал о том, как он был в Париже и Лондоне.

Михаил Илларионович оделся, велел своему кучеру подать сани к крыльцу и ждал Катю и Прасковью Ивановну в вестибюле.

Катя выбежала в собольей шубке и беличьей шапке. Маленькая, верткая и черноглазая, точно белочка.

Кутузов залюбовался ею.

Сзади медленно плыла в лисьей шубе, точно попадья, тетушка.

Они сели в сани и поехали к Адмиралтейскому лугу, на котором устраивались все народные развлечения.

Погода благоприятствовала проводам масленицы: было безветренно и чуть морозило.

На улицах встречалось больше народа, чем обычно. Величественно проплывали роскошные придворные кареты, запряженные цугом, с нарядными гайдуками на запятках. Мелкой рысцой трусили чухонские лошаденки, украшенные бумажными розами. В их тесных санках едва умещалась честная компания ремесленников или чиновников с разрумянившимися барышнями. И с гиканьем и песнями мчались тройки. В розвальнях стояли, сидели и лежали подгулявшие бородатые купчики с приятелями, женами и детьми.

Масленичное катанье было в полном разгаре.

А издалека, от Адмиралтейского луга, уже доносился веселый, разноголосый шум. Когда они подъехали к Полицейскому мосту

через Мойку, где начиналась масленичная толчея, тетушка не стала вылезать из саней.

— Я не хочу. Я останусь, — сказала она. — Вы походите немного, а я лучше посижу...

— Хорошо, тетенька, мы быстро, — ответила Катя, выпрыгивая из саней.

Михаил Илларионович взял Катю под руку, и они направились к балаганам, у которых легко полоскались на ветру разноцветные флаги.

Адмиралтейский луг тонул в звуках: пронзительно свистели, верещали дудочки, рожки, свистульки; скрипели размашистые качели; заливалась, играла шарманка, тренькали балалайки, задорно бил бубен, ухал барабан.

Отовсюду раздавались назойливые зазыванья разносчиков, пьяные и просто веселые выкрики, хлопушечные, словно орудийные, выстрелы, девичий визг и восторженный детский смех.

Толпа, облепившая балаганы, была разношерстна и цветиста. Желтые и черные дубленые кожухи барской челяди мешались с зелеными шинелями солдат и мелкой чиновничьей сошки. И красными, синими, оранжевыми, фиолетовыми цветами пестрели среди них праздничные бабьи платки и полушалки. И тут же приплясывали на морозе оборванные нищие, выпрашивавшие грош на пропитание; слонялись опухшие присяжные пьяницы; толпились голодные крестьяне, пришедшие из далеких деревень за подаянием в столицу. В стороне от этой толпы, не смешиваясь с «подлым» людом, стояли приехавшие посмотреть в лорнеты на масленичное веселье, безучастные к чужому горю барыни и баре.

Катя и Михаил Илларионович, не задумываясь, нырнули в пестрый, шумный, веселый людской водоворот.

— Я люблю зрелища! — говорила возбужденная общим весельем Катя.

Они протискались сквозь текучую, праздную праздничную толпу. Над их ушами кричали продавцы калачей, пышек, ароматного имбирного сбитня, меда, кваса. Во всю мочь дудели, свистели продавцы глиняных лошадок и деревянных свистулек. Тянули за рукав к своим ларькам торговцы конфет, пряников, орехов, царьградских стручков.

Но Катя устремлялась все дальше, к балаганам, к ледяной горе, возвышающейся над всем широким лугом.

Вот наконец первый балаган с красным кумачовым занавесом. И перед балаганом, на шатком дощатом балкончике, — дед-зазывала.

Он в сером кафтане, подпоясанном зеленым ямщичьим кушаком, в громадных лаптях, в лохматой, волчьего меха, шапке, об-

шитой красной тесьмой. У него длинная льняная бородища и озорные голубые глаза.

Дед-зазывала весело, молодым, двадцатилетним голосом кричит:

Эх, для ваших для карманов
Сколь понастроено балаганов,
Каруселей да качелей
Для праздничных веселий!
А ну, шевелись, веселись,
У кого денежки завелись!

— Заглянем к нему в балаган? — спросил Кутузов.

— Нет, у них самое интересное на виду, а не внутри. Мы походим, послушаем. Так будет разнообразнее и веселее, — ответила Катя, и они пошли дальше.

Возле следующего балагана такой же разбитной дед потешал, зазывал, но по-иному:

Задумал я жениться,
Не было где деньгами разжиться,
У меня семь дураков —
Медных пятаков
Лежат под кокорою...
Сам не ведаю под которою...

Катя шла не останавливаясь.

— Подождем, послушаем, — предложил Михаил Илларионович.

— А вы что, не собираетесь ли жениться? — лукаво взглянула на него Катя.

— Собираюсь...

— Пойдем, пойдем! У него женитьба невеселая. У невесты вон какое приданое, слышите?

Они замедлили шаг. А дед под хохот толпы перечислял приданое своей невесты:

Липовых два котла, да и те прогорели дотла,
Сито с обечайкою да веник с шайкою,
Чепчик печальной из материи мочальной,
Кожаная самара[1] да рваных лаптей пара...

— А ведь этот дед не без ехидства, — улыбнулся Кутузов. — Заметили, как он сказал: «чепчик печальной». Это ведь последняя парижская мода. Так и называется: «чепчик печальный».

— Да. Есть еще чепчики «подавленных чувств» и «нескромных жалоб», — смеялась Катя. — Дед не отстает от века. Я ж говорила вам, что зазывалы интереснее прочего.

---

[1] Самара — долгополая одежда.

— Когда моя бабушка выходила замуж в одиннадцать лет, ей в приданое дали куклу, — вспомнил Кутузов.

Но Катя не поддержала разговора о свадьбе. Она была поглощена разворачивавшимся вокруг действием.

На их пути встал со своим ящиком с картинками раешник. Он издалека приманивал:

Подходи, народ честной и божий, шитый рогожей!
Подходи, мужик и барин, — всякой будет благодарен!

— Посмотрим? — спросил Кутузов.

И тут же сам невольно подумал: «Одним глазом неудобно смотреть...»

И Катя, словно поняла его мысль, ответила:

— Нет, не стоит — все знакомое: «Париж — угоришь», «Москва — золотые маковки... Успенский собор...» Это для детей хорошо.

— Может, покатаемся на карусели?

— Нет, лучше на качелях. Я люблю их — так дух и замирает. Но это напоследок. А теперь пойдем к Петрушке. Как же, быть на масленичном гулянье — и не повидать Петрушки? Я его очень люблю.

Они повернули и направились туда, где гнусавила шарманка. Перед ширмой петрушечника толпились ребятишки и взрослые. Из-за ширмы слышалось то кряхтенье, то какое-то кудахтанье.

И вдруг выскочил всем знакомый смешной Петрушка:

— Здравствуйте, господа. Я, Петрушка, пришел сюда повеселить всех, больших и малых, молодых и старых! — Он сел на барьер, застучал рукой: — Эй, музыка!

И тотчас же из другого угла ширмы появился музыкант — с громадным носом и скрипкой в руке.

В толпе засмеялись:

— Тальянец, тальянец!

— Что скажешь, Петрушка? — спросил музыкант.

— Я задумал жениться...

— А где невеста?

— Сейчас приведу!

Петрушка исчез за ширмой. Он вывел оттуда красиво одетую куклу.

— Смотри: хороша! Ручки, губки, шейка. Добыть такую сумейка. А пляшет как! Ну-ка, сыграй!

Музыкант заиграл «Камаринского». Петрушка пустился с невестой в пляс.

— Ну, дальше пойдет малопристойное: Петрушка станет выбирать для невесты лошадь. Пойдем к качелям, — обернулась к Михаилу Илларионовичу Катя, и они пошли к перекидным качелям.

Когда они взлетели на качелях и стали стремительно падать вниз, Катя прижалась к Мише — стало все-таки страшновато.

И он невольно поцеловал ее в прохладную от легкого морозца румяную щечку:

— Катенька, моя дорогая! Катенька!

Катя полуобернулась к нему и сказала с укоризной:

— И обязательно целоваться на людях? Разве иначе нельзя?

— Значит, целоваться можно? Значит, ты любишь меня? — зашептал Кутузов, не выпуская Кати.

Он не чувствовал больше ни взлетов, ни падений.

— Люблю, Мишенька...

— Когда же повенчаемся?

— Это тебя все Петрушка подбил? — шутила Катя.

— Нет, я давно хотел сказать.

— Знаю, знаю. Но что же делать? Завтра уже нельзя: Великий пост. Придется обождать Красной горки. Тогда и повенчаемся, — говорила она, и ее черные бибиковские глаза сияли от счастья.

Качели остановились.

Надо было с небес спускаться на землю.

Глава четвертая

ОЧАКОВ

Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу.
Суворов

I

Над русским лагерем у Очакова стояли облака пыли.

Армия фельдмаршала Потемкина располагалась одним громадным каре на пшеничных полях, истоптанных повозками, людьми и лошадьми.

Ветер, дувший из степи, подымал тучи песку. Он набивался в лицо и обмундирование. Им был запорошен весь полотняный палаточный город. Даже роскошные шатры фельдмаршала не избежали общей участи, хотя стояли в середине каре.

Когда русские полки становились вокруг Очакова и Потемкин увидал, что его со всех сторон обступили побуревшие армейские палатки, он, смеясь, сказал:

— Да вы меня, братцы, совсем сжали!

В ответ на это со всех сторон раздалось:

— Сейчас ослоним местечко, ваше сиятельство!

— Гренадеры, прими вправо!

— А ну, алексопольцы, подвиньтесь малость!

Солдаты любили фельдмаршала: Потемкин заботился о них. Он уничтожил ненавистные им букли и косы и тесное прусское обмундирование. Он запретил офицерам бить солдат.

Хотя какой фельдмаршал сможет запретить жилистому фельдфебельскому кулаку втихомолку угощать солдата зуботычиной?

Полки отодвинулись подальше от палаток фельдмаршала, чтобы густые армейские запахи — заношенного белья и плохих солдатских желудков — не так били бы в нос командующему.

Армия Потемкина охватила восьмиверстным полукругом турецкую крепость Очаков.

Очаков — с каменными одеждами и башнями — стоял на крутом мысу, на возвышенном берегу Черного моря и Днепровского лимана. Волны подбегали к его каменным высоким стенам, с которых глядели триста орудий.

Перед старой крепостью тянулись ретраншементы, рвы, волчьи ямы, и где-то были заложены мины — измышление французских, европейских инженеров.

Внутри крепости укрывался небольшой городок — лабиринт узких, восточных улочек, кое-где утыканных минаретами.

Очаков был единственной надеждой турок. Крым, ставший русским, не давал им покоя. Турки считали, что Очаков поможет им вернуть утраченный Крым. Очаков запирал выход к морю из Днепровского лимана, у которого русские построили город Херсон.

Кючук-Кайнарджийский мир турки считали простым перемирием.

Послы в Константинополе — английский Энсли и прусский Диц — научили турок: не ждать, а напасть на Россию. В Европе считали положение России плохим: два последних года были неурожайные. И 13 августа 1787 года «вздумалось Блистательной Порте и неблистательным ее советникам объявить войну России», как писала Екатерина II.

Прежде всего турки решили уничтожить русские укрепления на Кинбурнской косе, которая лежит против Очакова.

Первого октября они высадили на косе большой десант, но Суворов опрокинул турок в море. Из пятитысячного турецкого десанта спаслось не более шестисот человек.

А летом 1788 года армия Потемкина осадила Очаков.

В первую турецкую кампанию 1768—1774 годов никто не обращал внимания на Очаков, а теперь он приобрел первостепенное значение.

Екатерина II говорила об Очакове, что он «южный естественный Кронштадт»: Очаков влиял на развитие и само существование Черноморского флота и на оборону Крыма.

И к Очакову Потемкин стянул все свои силы.

В числе других войск у очаковских стен стояли любимые егеря Потемкина под командой генерал-майора Михаила Кутузова.

II

Кутузов смотрел из траншеи в зрительную трубу на очаковское предместье, утопавшее в садах. Сады находились в полуверсте от русской передовой батареи, которую прикрывали бугские егеря.

Сегодня егеря получили задание: во что бы то ни стало добыть «языка». Князь Потемкин хотел узнать расположение турецких мин у Очакова.

Турки сидели в окопах среди садов.

Егерям и батарее было приказано не тревожить сегодня турок. И на левом фланге с утра стояла полная тишина.

Уже час тому назад два егеря, умело пользуясь местностью, отважно подползли к буеракам и рвам, которые были в нескольких саженях от турецкого окопа, и залегли.

Кутузов остался доволен своими молодцами. Он недаром приучил егерей действовать на разнообразной местности. Егеря так скрытно подползли к буеракам, что турки не заметили их.

Дальше предстояло так же умело разыграть вторую часть действия. Убедившись, что егеря благополучно добрались до намеченного места и готовы к дальнейшему, Кутузов подал знак. Из траншеи выскочил Вася Ложкин, ловкий, быстрый солдат. Он был налегке — без штуцера, но турки не могли видеть, что под егерской курткой у Васи спрятан кинжал.

Ложкин бросился бежать напрямки к турецкому предместью. Он то и дело, падал, будто укрывался от русских выстрелов.

Егеря стреляли по Ложкину холостыми, делая вид, что хотят свалить перебежчика.

Тогда ожил и турецкий окоп. Из него высунулись пестрые чалмы: турки заинтересовались этой сценой.

Ложкин не добежал нескольких сажен до турок и упал, будто в изнеможении, в широкую яму. Он лежал так, что его товарищи оказались по обе стороны ямы.

Ложкин стал звать турок на помощь.

Русская батарея и егеря напряженно следили за тем, что будет, готовые в любой момент прийти на помощь товарищу.

Несколько минут турки совещались, а потом один из них перемахнул через бруствер и прыгнул в яму, где лежал Ложкин. Как только он наклонился над егерем, Ложкин крепко обхватил его руками, крича:

— Ребята, вяжи!

Егеря, выскочившие из своего укрытия, накинулись на турка. В яме образовался живой комок тел.

Кутузов махнул рукой. Батарея ударила по турецкому окопу, мешая туркам прийти на помощь своему.

А егеря уже волокли связанного «языка». Рой турецких пуль провожал их. Но егеря со своим пленником благополучно вкатились в траншею. Все были невредимы, только Ложкин отплевывался и вытирал разбитый нос.

— Проклятущий осман! В самый нос саданул кулачищем! — обижался он.

— Ты курносый, не страшно! — смеялись товарищи.

«Языка» повели в лагерь.

Турецкие батареи наконец спохватились: поднялась частая пушечная и ружейная стрельба.

Кутузов собирался уходить к себе, но увидел, что к траншее из лагеря приближается группа генералов.

Впереди, в шитом золотом фельдмаршальском мундире с орденами, в белых рейтузах, шел высокий, громадный князь Потемкин. Его окружали генералы и иностранные офицеры, которых при штабе Потемкина хоть отбавляй. Вся эта цветистая группа представляла прекрасную мишень для турок. Турки участили стрельбу.

Егеря, укрываясь от турецких снарядов, лежали в траншее.

Кутузов скомандовал:

— Встать, смирно!

Егеря поднялись.

Потемкин шел, не сгибаясь под турецкими выстрелами.

— Ребята! — сказал фельдмаршал. — Приказываю вам раз навсегда: передо мною не вставать, а от турецких ядер не ложиться!

Он поздоровался с Кутузовым, узнал, что «языка» добыли, и так же спокойно пошел дальше.

Михаил Илларионович пропустил мимо себя потемкинскую свиту. И вдруг в группе иностранцев увидал знакомое сморщенное лицо боязливо оглядывавшегося полковника Анжели.

Француз шел, делая вид, будто не замечает Кутузова.

«Давненько не встречались! — иронически подумал Михаил Илларионович. — Но что же делает при штабе этот хитрый интриган?»

Кутузов направился к себе в лагерь.

Занятый добычей «языка», он как-то не приметил, что с моря надвинулась туча. Засверкала молния, прогремел гром, и полил дождь.

Кутузов заторопился.

Лагерь весело принял грозу: всем надоела изнурительная жара последних недель.

Крупный дождь хлестал по палаткам. Земля сразу превратилась в липкую грязь.

Кутузов, отряхиваясь, вбежал к себе в палатку и стал переодеваться. Гром продолжал греметь, вплетаясь в орудийные раскаты.

А у фельдмаршала Потемкина уже играла музыка: князь каждый день угощал своих гостей концертами.

Кутузов лежал на жесткой тростниковой постели и с удовольствием освежался ветерком, дувшим с моря. Ветер приносил с собою морскую свежесть и едва уловимый запах тлена: из лимана к Очакову в бурную погоду все еще продолжало прибивать из-под Кинбурна турецкие трупы, исклеванные чайками.

«А ведь весь лагерь пьет воду из лимана!» — невольно подумал Кутузов.

В русском лагере с каждым днем все больше становилось больных. Кровавый понос и гнилая лихорадка косили солдат и офицеров.

А князь Потемкин только забавлялся концертами да балами, не думая штурмовать Очаков. Он ждал, когда Очаков сдастся сам.

III

Михаил Илларионович, задумавшись, шел по лагерю. Надоело ожидание штурма, вечная жара и еда всухомятку — с топливом под Очаковом было плохо.

Откуда-то со стороны берега моря доносилось жиденькое пение: несколько неспевшихся голосов тянули «со святыми упокой». Снова кто-то умер от поноса, не дождавшись штурма турецкой крепости.

— Михаил Илларионович! — окликнули сзади.

Кутузов обернулся. К нему шел, размахивая снятой с головы каской, непоседливый, энергичный генерал-аншеф Суворов — восходящая звезда русской армии, герой Туртукая, Козлуджи и Кинбурна. Любимец солдат.

— Здравия желаю, Александр Васильевич! — живо приветствовал его Кутузов.

— Ваши егеря — молодцы! Как ловко-то «языка» добыли, помилуй Бог! Слыхал, слыхал! — хвалил Суворов, пожимая Кутузову руку. — Ну что ж? Сидим у моря, ждем погоды? — спросил генерал-аншеф.

Осторожный Кутузов только улыбнулся.

А Суворов, не дождавшись ответа, с жаром заговорил — видимо, наболело:

— Князь Потемкин так спешил к Очакову: помилуй Бог, двести верст тащился тридцать пять суток. Словно баба на богомолье. Я вон из Минска до Варшавы — шестьсот верст — отмахал за двенадцать дней. Принц де Линь смеется: фельдмаршала, мол, задержала на Днепре вкусная рыба. Как говорится: либо рыбку съесть, либо на мель сесть. Вот и сел на мель. Сидит и глядит. А одним гляденьем крепости не возьмешь! Турок считает: раз толчемся на месте, значит, слабы. Ободрился. Лезет сам. Не таким способом бивали мы басурман! Послушался бы меня — давно Очаков был бы

наш! Помилуй Бог, штурм — дешевле всего. Наши вон без штурма кажинный день мрут как мухи. И выйдет по солдатской поговорке: турки падают, как чурки, а наши здоровы — стоят безголовы. Не правда ли? Знаем одно — палить из пушек.

— Бомбардировки ретраншемента не достигают цели, — согласился Кутузов. — Мы поздно оценили значение передовых турецких пунктов-садов.

— Верно! А кому тут и оценить? Инженер-генералу Меллеру? Сюда бы наших старичков: вашего батюшку Лариона Матвеича или тестя, Илью Александровича Бибикова. Вот это были инженеры.

— Да, — вздохнул Михаил Илларионович. — Старики умерли...

— А он сидит, боится шевельнуться: мины! Ждет, когда лазутчики купят в Париже и пришлют ему полный план, где в Очакове заложены мины. А я не боюсь! Мне надоело сидеть, помилуй Бог!

И он побежал дальше, точно сию минуту собирался на штурм. Кутузов смотрел вслед Суворову и думал: все такой же — пылкий, горячий.

А князь Потемкин чересчур уж осторожен!

Бригадным командиром Потемкин был хорош, а вот главнокомандующий из него получился никудышный.

IV

В палатке стало совершенно темно. Кутузов велел денщику зажечь свечу: хотел написать в Петербург жене. Домой Михаил Илларионович писал часто.

Как быстро летит время! Кажется, вчера женился, а вот уже прошло, больше десяти лет! И у них пятеро маленьких дочерей. Самой младшей, Дарье, нет еще и полугода...

Михаил Илларионович писал письмо, спрашивал о здоровье детей и живо представлял себе всех их. Старшая, Прасковья, уже совсем большая — ей одиннадцатый год. Но самая любимая — это средняя, пятилетняя Лизонька, толстенькая, черноглазая. Вся в Бибиковых.

Когда Михаил Илларионович уезжал в армию и старшие девочки плакали, Лизоньку уговорили, что папа уезжает ненадолго. И она повторяла: «Ты скоро вернешься, скоро?» — «Скоро, скоро», — отвечал папа, прижимая девочку к себе.

Михаил Илларионович не писал жене о том, что в лагере свирепствуют кровавый понос и гнилая лихорадка, чтобы не тревожить родных. Написал лишь, что маркитанты пользуются случаем, невероятно дерут за все продукты и что под Очаковом плохо с дровами — не на чем готовить еду. Рассказал, как он сжег свою коляску: на каждом колесе денщик Ничипор сготовил ужин, а на оглоблях — обед.

«Написать о том, как двадцать седьмого июля Суворов все-таки атаковал передовые укрепления Очакова, а Потемкин не поддержал его? Нет, не стоит!» — решил Михаил Илларионович.

В это время из ставки фельдмаршала послышалась веселая музыка: начинался всегдашний вечерний концерт, на который очаковские собаки отвечали нескончаемым лаем.

Кутузов продолжал писать:

«Нет ничего смешнее, как читать в разных немецких, французских и прочих ведомостях о действиях нашей армии: все ложно, бесчестно и бессовестно написано...»

Вдруг за палаткой послышались конский топот и какие-то возбужденные голоса.

Кутузов вышел из палатки.

С десяток егерей окружило двух ахтырских гусар, проезжавших мимо.

— В чем дело, ребята? — спросил Кутузов.

— Турки у лимана захватили в плен корнета и гусара, ваше превосходительство, — отвечал егерь.

— Как так?

— Ввечеру корнет и трое гусар поехали за тростником.

— На ночь глядя — за тростником? — удивился Кутузов.

— Так было приказано корнетом, ваше превосходительство, — объяснил гусар.

— Ну и что же дальше?

— Поехали, а турки у лимана их и схватили.

— Как же это? Ведь не слышно было ни выстрелов, ничего...

— Их благородие даже пистолетов из ольстреди не выняли, — рассказывал гусар.

— Как фамилия корнета?

— Шлимень.

Кутузов усмехнулся, думая: «Нарочно передался, подлец! Вон и степь подожгли».

Из степи несло на русский лагерь дымом и гарью: в степи горела трава. В сгущавшейся ночной темноте пожар представлял мрачную, зловещую картину.

А в ставке князя Потемкина гремела, не умолкая, веселая музыка.

V

Уже второй день очаковские пушки молчали, словно их и вовсе не было. Левофланговая русская батарея, ближе других расположенная к крепости, отдыхала.

Неожиданным роздыхом воспользовались и бугские егеря, прикрывавшие батарею. Полковник разрешил одной роте пости-

рать белье. Августовский день был благостен, тепел и тих. Егеря расползлись по берегу — стирали, сушили, купались.

С высокого минарета, выглядывавшего из садов очаковского предместья, прокричал муэдзин, призывая правоверных к полуденной молитве.

Намаз окончился.

И тут турки, таившиеся в соседних буераках как мыши, стали стрелять из ружей по егерям.

Егеря лишь посмеивались: толку от этой стрельбы для турок — никакого.

— Мало каши едал осман! Придется еще подучиться стрелять!

— Пусть его потешится.

Разложив на камнях и по берегу выстиранные сорочки и порты, егеря сидели под откосом, в укрытии. Несколько человек еще купалось в море. И вдруг нежданно-негаданно раздался пушечный выстрел и в самую середину разложенного белья грохнула бомба.

Вместе с песком и камнями полетели в стороны ошметки солдатского бельишка. А берег окрасился кровью — двое егерей оказались раненными. Егеря бросились собирать непросохшее белье и бежали к своим.

Турецкие пушки били по берегу, но на этот раз ядра падали в воду, подымая фонтаны радужных брызг.

Артиллеристы посмеивались сверху:

— Басурман — дурак: каждый выстрел стоит двадцать пять рублей, а за все эти латаные порты да сорочки маркитант и пятерки не даст.

— Тебе, конечно, не жалко — чужое, а мне сорочка дороже ста рублев! Потому как она у меня остатняя! — говорил в сердцах егерь, с трудом натягивая на себя еще сырую сорочку.

На батарее раздалось знакомое:

— ...То-овсь!

Русские пушки стали отвечать. С первого выстрела угодили в самую площадку минарета.

— Пусть мулла благодарит Аллаха, что успел убраться оттуда!

И тотчас же на очаковских валах показались белые и красные знамена. И турецкая пехота, надеясь, что егеря не успели одеться, высыпала из буераков и садов с истошными криками «алла».

Егеря приняли их в штыки.

— Вот тебе за мои порты! — кричал кто-то.

Все смешалось — чалмы и каски.

А батареи били через головы пехоты друг по другу.

...Генерал-майор Кутузов проверял с капитаном Резвым ведомости на продовольствие второго батальона, когда к нему от первого батальона прибежал егерь:

— Ваше превосходительство, турки зачали трепалку!

— Слышу! — спокойно ответил Кутузов.

— Их сила большая. Страсть. Головы нашим режут. Полковник просит сикурец![1]

Кутузов понял, что дело серьезное. Он бросил ведомости и кинулся выводить второй батальон.

Залились егерские трубы.

Капитан Резвой задержался в палатке, складывая ведомости.

Второй батальон уже поспешил на выручку к своим.

Резвой бежал сзади, с тревогой думая о генерале: «Ну что он сам всегда впереди? И ведь больше сорока годов, а бежит как молоденький!»

Второй батальон вступил в бой.

Где-то впереди виднелась плотная фигура генерал-майора. Вот он остановился, машет шпагой, увлекает егерей вперед — и вдруг зашатался:

— Что это? Опять ранили? Ах ты Господи!

Резвой бежал изо всех сил. Янычарские пули визжали вокруг. Когда капитан подбежал к группе егерей, склонившихся над упавшим командиром, он увидел: по щеке Михаила Илларионовича на мундир льется кровь.

— Неужели снова в голову? — с отчаянием вырвалось у Резвого.

— В голову, — ответил кто-то.

— Басурманы давно уже перестали стрелять Михайле Ларивоновичу в грудь: знают, что она у него каменная. Почали метить в голову!

— Не ждите носилок. Несите так! — приказал капитан, а сам кинулся вперед, потому что натиск турок не ослабевал и батарее угрожала опасность.

Турецкая вылазка была отбита, но командир бугских егерей генерал-майор Кутузов лежал без чувств: пуля, ударив в щеку, вышла в затылок.

И на следующий день, 19 августа, находившийся при Потемкине австрийский генерал принц де Линь, отправляя донесение императору Иосифу, написал:

«Принц Ангальт сменил генерала Кутузова, того самого, у которого в прошлую войну голова была насквозь прострелена пулею позади глаз и который, по беспримерному счастию, не лишился зрения. Вчера этот генерал получил другую, подобную той, рану в голову же, пониже глаз, и умрет сегодня или завтра».

---

[1] Сикурс — помощь.

VI

После дела 18 августа весь русский лагерь беспокоился об одном: останется ли в живых генерал-майор Михаил Кутузов?

Егерский лекарь, лысый немец Баллод, не надеялся на выздоровление. Первая рана была смертельна, а теперь пуля снова прошла через голову.

— Два раза чуда не пыфайт! — говорил он.

Но егеря почему-то надеялись.

— Ларивоныч поборет! Даст Бог, выживет!

Прошли сутки — генерал Кутузов не умер.

Прошла неделя — генерал Кутузов живет.

И так побежал день за днем...

Императрица Екатерина три раза справлялась в письмах к Потемкину о здоровье Михаила Илларионовича, писала: «Я весьма жалею о его ранах».

Кутузов снова удивил всех врачей: и рядовых — полковых, и главного лекаря потемкинской армии, известного парижского хирурга Массо, удивил весь мир — он выздоравливал от ужасной, смертельной раны.

Массо, убедившись наконец в том, что этот невероятно живучий русский генерал не умрет, донес императрице Екатерине:

«Должно полагать, что судьба назначает генерала Кутузова к чему-либо необычайному, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской».

В последних числах ноября 1788 года генерал-майор Кутузов возвратился из Елисаветграда, где он лежал в госпитале, в лагерь под Очаков.

Рана совершенно зажила.

Стояла стужа, мороз. Вместо палаток степь покрылась холмами: люди укрылись в землянки. Только бедные лошади кавалерии дрогли на ветру.

Егеря, увидев своего командира, были вне себя от радости:

— Видал: жив-здоров! А то каркала немчура: помрет!

— Кого так, загодя, хоронят, тот долго живет!

— Русский человек живуч!

— А Михайла Ларивоныч такой, как был! Не переменился!

— Правый глаз чуть маленечко вроде скашиват...

— Это ничего! Ему, брат, не жениться — давно женат!

Кутузов осмотрел своих егерей. Солдатам было нелегко: мерзли в траншеях, коченели от холода, стоя на часах, а возвратившись к себе в землянку, тоже не находили тепла.

Егеря просили генерала:

— Скорее бы, ваше превосходительство, на штурм! Хоть кровушку-то согреть!

Кутузов остановился у своего старого приятеля — капитана Резвого. Генерал не захотел поместиться у принца Ангальта, который после ранения Кутузова был временно назначен командиром бугских егерей.

— Пока мне сделают землянку, я поживу с тобой, Павел Андреевич, — сказал он капитану.

— Милости прошу, Михаил Ларионович, пожалуйста! Моя землянка не хуже принцевой. Только вместо ковров в ней одни рогожи!

— Нет, у тебя ничего, — осматривал землянку Резвого генерал. — Вон и потолок из досок...

— Много труда стоило, Михаил Ларионович, лес найти. За два эти бревна, — хлопнул капитан ладонью по столбу, подпиравшему потолок, — я заплатил — не поверите — четыре рубля! А перекладины мы из старых телег соорудили. Голь на выдумки хитра!

— Я и говорю: землянка ничего, только сыровато поди...

— Сырость есть. Хоть и песок, а все-таки — яма... Но ждать осталось недолго: не позже николина дня пойдем на штурм Очакова. Все говорят.

— Вот я и поспел! — улыбнулся Кутузов.

— Теперь-то хоть будьте поосторожнее, Михаил Ларионович!

— Пуля угодит во всякого — и в труса и в храбреца! А как же Очаков?

— Держится, да уже не тот. Позавчера вышел на левом фланге к батарее старый турок. Говорит по-русски: долго ли, спрашивает, будете стоять под Очаковом? А наши егеря смеются: хоть целую зиму, пока не сдадитесь... Не сладко и туркам. Как-то в октябре наши сделали большой пожар в Очакове, такой черный дым валил. Пленные турки говорили: хлебный магазин горит. У турок голод: доедают лошадей, собираются приняться за собак и кошек.

— У нас, видно, тоже не густо с хлебушком?

— Не очень. Как ударили морозы да пошел снег, много скота пало. У маркитантов цены на все еще повысились: морковку и ту стали на штуки продавать.

— А что делается в штабе фельдмаршала?

— Эх, — досадливо махнул рукой капитан. — Коварство да хитрость. Всяк старается всклепать на другого пороки, коими заражен сам. Да только и слышишь: тот сорвал уже за нонешнюю кампанию два чина, а тот получил такой-то орден. И все больше иностранцы ловят рыбку в мутной воде...

— Не слыхал ли, как Анжели?

— Выслали, как французского шпиона.

— Наконец-то. Давно пора! А что, Павел Андреевич, фельдмаршал тоже в землянке живет?

— В землянке. У него, сказывают, много отменно хороших покоев. Печи изразцовые, ковры, зеркала. Жить можно!

— Ну вот я сейчас все это увижу сам, — сказал Кутузов, собираясь явиться к фельдмаршалу Потемкину.

VII

Мокрая, холодная осень сменилась ранней зимой.

По осени армия Потемкина страдала от слякоти и непролазной грязи, а теперь стала терпеть от лютой стужи. Зима пришла раньше и суровее обычного.

Маркитанты жаловались: такой зимы в этих местах не запомнит никто. Градусник у больших парчовых палаток главнокомандующего показывал двадцать градусов ниже нуля. Степь покрылась снегом. Кое-где блестел ледок. Замерзли реки и лиман перед Очаковом. Солдаты без опаски ходили по прозрачному, в воздушных пупырышках льду. Топлива не хватало — жгли все, что могло гореть: тростник, старый бурьян, конский помет. Каждый день замерзало в настывших землянках и на постах до сорока человек.

А Потемкин все не решался на штурм, хотя даже Екатерина II писала ему: «Для сбережения людей — расчет самый неверный поздняя кампания, а особливо в местах, где продовольствие так затруднительно и есть лишение всех нужных потребностей. Филантропия не всегда бывает кстати».

Потемкин все еще надеялся на какое-то чудо, на то, что упрямому сераскиру Гуссейну-паше вдруг надоест сидеть в осаде и он сдастся. А хитрый Гуссейн-паша посылал в русский лагерь перебежчиков, чтобы они распространяли слухи, будто бы очаковский гарнизон готов сдаться и уже два раза пытался бунтовать, но паша не соглашается. И Потемкин верил в эти вздорные слухи.

Михаил Илларионович смеялся над нехитрой уловкой Гуссейна-паши.

— Князь не знает турок и их упрямства. Осман все вытерпит, а не сдастся, — говорил он Резвому.

Потемкин пребывал в мрачнейшем настроении: он уже ясно видел, что зря прождал лето и осень. Крепость была все та же. Перед ней на две с половиной версты тянулись большие земляные укрепления — с моря ее защищал пятиугольный форт Гассан-паша с толстыми стенами; гарнизон был больше осаждающей русской армии.

Придворные прихлебатели и роскошные петербургские дамы, лето и начало осени жившие при ставке главнокомандующего, с первыми заморозками потянулись в столицу, как журавли к теплу.

Ставка главнокомандующего поскучнела.

Нерешительность Потемкина угнетала всех — солдат и офицеров. Мороз, стужа и ветер, холод и голод прочно держали в своих цепях русскую армию. Походило на то, что в осаде находятся не турки, а русские.

Армия роптала.

Пятого декабря мороз усилился до двадцати двух градусов. Зимний Никола не сулил ничего приятного.

Дежурный генерал Рахманов поутру доложил главнокомандующему, что на завтра не осталось ни полена дров. Вместе с ним явился с такой же невеселой новостью и обер-провиантмейстер генерал Каховский: сегодня армии роздан последний хлеб.

Потемкин побледнел.

— Этот поганый городишко меня убьет! — зарычал он.

Выхода не оставалось — приходилось идти на штурм. Но Потемкин все еще продолжал упрямо верить во что-то. Он отправил к Гуссейну-паше еще одно предложение сдаться.

Турки только посмеялись над потемкинским парламентером:

— Сдавайтесь вы, пока не вымерзли все в степи, а у нас в домах тепло!

И вправду, над очаковскими домами подымались вверх столбики дыма.

Почерневший от волнения, от того, что последнюю неделю валялся среди подушек небритый и плохо вымытый, Потемкин наконец уступил: он приказал генералам Репнину и Меллеру написать диспозицию к завтрашнему штурму.

Диспозицию написали быстро.

Четыре колонны должны были с запада штурмовать большое нагорное укрепление и толстые стены форта Гассан-паша, две колонны — с востока передовые укрепления, прикрывающие Очаков.

К вечеру диспозицию разослали во все полки.

Солдаты не очень вникали в нее — это дело командиров. Они поняли одно: назад идти нельзя — нет ни хлеба, ни дров. Остается одно — победить!

О смерти никому не хотелось думать.

VIII

Михаил Илларионович шел мимо выстроенных егерей. Рассветало. Штурм был назначен на шесть часов утра. Мороз сегодня — как назло — жал сильнее, чем вчера. Все кругом было в инее. Каменные стены Очакова казались седыми.

Невыспавшиеся, закоченевшие, полуголодные егеря дрожали в своих легких мундирах. Пальцы с трудом держали настывшее на морозе ружье. На таком окаянном холоде странной казалась ко-

манда «смирно». Солдатам и офицерам трудно было не шевелиться: мороз пробирал все тело.

Михаил Илларионович, встав чуть свет, велел вытащить из своей землянки бревна, доски и перетертые в труху тростниковые постели, на которых он спал с Резвым, и сложить несколько костров для егерей: пусть хоть погреются у огонька да выкурят трубочку — все же легче перед штурмом.

Он выстроил егерей, чтобы сказать им несколько слов перед атакой:

— Ребята, берегитесь турецких мин. Французские инженеры не пожалели их, заложили эту пакость всюду. Продвигайтесь вперед только по следам отступающего врага. Не отходите в сторону. Особенно будьте осторожны в домах.

Михаил Илларионович говорил, и его голос дрожал: не от волнения, а от стужи зуб не попадал на зуб.

— А теперь — вольно! Погрейтесь, покурите, подвигайтесь!

И он сам, потирая озябшие руки и уши, затопал на месте.

Егеря охотно побежали к веселым огонькам костров. Плясали, шутя били друг друга по спине, по плечам, чтобы согреться. Но отдых продолжался недолго. Вот над русским лагерем взлетела долгожданная ракета. Егеря тотчас же поспешили встать на свои места.

Еще минута — и русские войска с криком «ура!» кинулись на штурм Очакова.

Кутузов привык быть в бою всегда впереди. Он и сегодня побежал вместе с первой шеренгой, но бежать было труднее, чем прежде: поврежденный правый глаз почти ничего не различал. Резвой и егеря уговаривали генерал-майора не торопиться — кутузовскую неустрашимость знали все.

Артиллерия усиленно била по Очакову. Она удачно пристрелялась — уже в нескольких местах города горели дома и взлетел на воздух турецкий пороховой склад. Столб пламени и густого дыма на минуту затмил ясное, морозное солнце, вставшее над степью. Замолчала гассан-пашинская батарея, которую атаковала соседняя колонна генерал-майора Палена.

Атака бугских егерей и астраханских гренадеров была так стремительна, что защитники части передовых турецких укреплений были смяты.

Михаил Илларионович вместе со всеми очутился внутри турецкого ретраншемента. Егеря, пробивая штыками дорогу, продвигались все дальше: теперь уже не было холодно.

Михаил Илларионович остановился передохнуть: он бежал все-таки слишком быстро и устал. Мороз и не думал уменьшаться, а со лба у Кутузова тек пот. Он вытер лицо, слезящийся правый глаз и невольно взглянул на часы. Прошло только двадцать пять минут, а уже все полевые укрепления Очакова, перед которыми

русские войска стояли столько месяцев, были взяты. Турки по-всегдашнему защищались храбро и упорно, но ярость русских войск была велика. Холод и голод не ослабляли, а лишь усиливали натиск штурмующих. Всюду валялись убитые, стонали раненые.

Михаил Илларионович ужаснулся их непривычному виду. На сильном морозе кровь запекалась, как сургуч. А на лицах убитых застыла последняя страшная гримаса, в которой соединились накрепко боль, ужас и отчаяние. На лицах убитых не было того умиротворения, которое в конце концов накладывает смерть.

В штурме действовали мужественно все — рядовые и командиры. Артиллерийские офицеры — из рвения — составили первый ряд бомбардирского дивизиона и по лестницам взошли на каменные стены крепости. Бригадир Горич был убит, три сына генерала Меллера ранены.

Бой уже перекинулся в самый город Очаков, в его тесные, узкие улочки.

Враг был сломлен, но не сдавался. Здесь и там раздавались взрывы мин. Астраханские гренадеры, не предупрежденные об этой коварной опасности, теряли на минах много людей. Но русские с еще большим ожесточением выбивали турок из переулков и домов.

Штурм оказался более стремительным и яростным, чем можно было предполагать: он длился лишь час пятнадцать минут.

Михаил Илларионович очищал с егерями последние дома на большой площади. Он командовал, стоя у мечети. К нему от его других батальонов подбегали с докладами ординарцы. Сюда же вели и турецких пленных. Среди группы турецких командиров оказался небольшой человек с рыжей остроконечной бородкой. На голове у него была зеленая чалма.

Михаил Илларионович догадался, что это сам сераскир. Невзрачный, худощавый Гуссейн-паша походил больше на какого-либо торговца рахат-лукумом, чем на твердого и упорного сераскира.

Кутузов окружил турецких пленных военачальников цепью егерей.

На площадь, заваленную трупами турок и русских, усеянную битым стеклом и выброшенным из домов имуществом, въехал победитель — князь Потемкин. Михаил Илларионович пошел навстречу главнокомандующему и доложил, что пленили самого сераскира Гуссейна-пашу.

— Где он? — оглянулся Потемкин.

— А вот, ваше сиятельство, в зеленой чалме, — указал Кутузов.

Потемкин подъехал к группе пленных и закричал:

— Твоему упрямству мы обязаны таким кровопролитием! — Он театральным жестом указал на турецкие и русские трупы, разбросанные по площади.

Один из приближенных сераскира тотчас же перевел ему гневные слова Потемкина.

— Останови реку своих упреков, — ответил Гуссейн-паша. — Я исполнил мой долг, как ты свой. Судьба решила в твою пользу. Так угодно Аллаху! — и презрительно отвернулся в сторону.

Офицер-толмач, ехавший позади главнокомандующего, перевел ему эти горделивые слова сераскира. Взбешенный Потемкин ударил нагайкой коня и помчался в узкую улочку, из которой доносились крики сражающихся и тянуло гарью и дымом близкого пожара.

Турецкая крепость пала.

Обрадованная Екатерина II даже написала по этому поводу вирши:

О пали, пали с звуком, с треском
Пешец и всадник, конь и флот,
И сам, со громким верных плеском,
Очаков, силы их оплот!

Глава пятая

«ДЕНЬ ИЗМАИЛА РОКОВОЙ...»

Кутузов находился на левом крыле, но был моею правой рукою.

Суворов

I

Суворов и Кутузов, оба небольшие, но Суворов — худощавый и подвижный, а Кутузов — полный и неторопливый, стояли с егерскими батальонными командирами у ярко горевшего костра. Генерал-аншеф Суворов дал бугским егерям получасовой отдых: они хорошо поработали, изображая штурм неприступного «Измайлова», как русские солдаты звали крепость Измаил.

Самая сильная турецкая крепость на Дунае, Измаил, лежала вот тут, верстах в пяти на восток. Ночная темнота скрыла ее высокие, четырехсаженные стены и шестисаженные рвы, сделанные под наблюдением французского инженера де Лафит-Клаве.

По приказу Суворова в придунайской степи, на запад от крепости, был насыпан вал и вырыт ров — такие же, как в Измаиле. Здесь каждую ночь Суворов лично обучал войска, как штурмовать турецкую крепость, учил забрасывать рвы фашинами, быстро выбираться из них наверх, а затем по лестницам всходить на вал.

На валу вместо турок стояли фашины; их надо было колоть штыком.

Некоторые генералы удивлялись: и зачем самому командующему, почтенному человеку, заниматься этим? Любой старый капрал мог показать, как надо влезать на стены!

Генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин, двоюродный брат светлейшего, так и сказал Александру Васильевичу: мол, зачем беспокоиться, стоило вам приказать, и каждый командир полка обучил бы своих солдат.

— «Si duo faciunt idem, non est idem!»[1] — ответил на это латинской поговоркой Суворов.

Павел Сергеевич, не знавший латыни, не понял, а Михаил Илларионович Кутузов считал, что Суворов прав: вложить в это обучение столько задора мог только он один.

Война с Турцией тянулась уже четвертый год. После падения Очакова турки были разбиты при Фокшанах и Рымнике. У турок не хватало средств, но они все-таки не хотели мириться: султан надеялся на помощь европейских держав. Его сильно разгневали недавние капитуляции соседних с Измаилом небольших крепостей на Дунае: Килии, Тульчи и Исакчи. Султан дал фирман[2], по которому велел казнить каждого защитника Измаила, если и эта сильная крепость сдастся русским. На Измаил в Константинополе очень надеялись. Он был весьма удобно расположен — на возвышенности, спускавшейся к Дунаю крутыми обрывами. Французские инженеры указали туркам, как укрепить Измаил. Турки согнали к нему тысячи валахов, которые сделали семь бастионов с каменными башнями, вырыли ров. Часть рва была наполнена водой. На измаильских стенах стояло двести орудий разного калибра. В Измаил сбежались остатки защитников маленьких дунайских крепостей, сдавшихся русским, и у Айдозли Мегмет-паши, командовавшего гарнизоном Измаила, оказалась целая армия в сорок тысяч человек, снабженная достаточным количеством продовольствия.

Покончив с незначительными крепостями на Дунае, русские подошли к Измаилу. Здесь находились войска генералов Павла Потемкина, Гудовича, Кутузова и флотилия де Рибаса. Они обложили Измаил, ожидая, что турки, устрашенные сдачей Килии, Тульчи и Исакчи, капитулируют, но Айдозли только посмеивался над русскими: крепость была неприступна. Кроме того, приближалась зима. Русские войска, жившие под открытым небом, сильно терпели от холода, недостатка провианта и болезней. Войска восемь месяцев не получали жалованья и вообще «начали скучать службой». Генералы решили: осаду крепости надо снять.

---

[1] Если двое делают то же, это не то же.

[2] Фирман — указ.

Но Екатерина II понимала, что если не покончить с Турцией сейчас, то весной на ее стороне выступят европейские державы, и в первую очередь Пруссия. Императрица настаивала на том, чтобы Измаил был взят во что бы то ни стало.

Тогда главнокомандующий князь Потемкин решил испробовать последнее средство: поручил штурм Измаила Александру Васильевичу Суворову.

Суворов прискакал к Измаилу, и в русском лагере снова все ожило. С приездом Суворова вернулась утраченная бодрость, вернулась вера в победу. Русские солдаты, четыре недели коченевшие в холодной, неуютной степи под Измаилом, повеселели: они знали, что Суворов долго тянуть не станет.

Александр Васильевич так и решил: взять Измаил, пока не нагрянула зима, взять немедленно, но подготовиться к штурму как следует.

Это была первая операция, которую Суворов проводил один: при Козлудже ему мешал Каменский, при Фокшанах и Рымнике приходилось считаться с принцем Кобургским, а здесь он был сам хозяин. Он не жалел себя, не жалел трудов, спешил обучить, подготовить русские войска к небывалому штурму.

Здесь, на ученье, он все изображал сам: показывал, как действовать внизу и как колоть турка наверху. За вечер он несколько раз быстро и ловко влезал в темноте по шаткой лестнице на четырехсаженный вал, кричал наверху «ура!» и остервенело колол штыком фашины, изображавшие турок.

Михаил Илларионович смотрел и удивлялся: как у Александра Васильевича хватает сил! Суворов в шестьдесят лет был легче и проворнее, чем Кутузов в сорок пять.

Вот и теперь Суворову не стоялось на месте. Минутку посушил у костра пропотевший мундир, а потом сорвался: пошел ходить от одной группы егерей, отдыхавших у костров, к другой.

Разговаривал, шутил, подбадривал.

Короткий роздых быстро кончился.

И опять неугомонный генерал-аншеф стоял перед строем егерей и учил:

— Бросай фашины, спускайся в ров! Ставь лестницы. Лети через стену на вал! Ударь в штыки, коли, гони, бери в полон!

II

Михаил Илларионович заночевал у командующего. Ученье бугских егерей кончилось поздно, а наутро Суворов решил поехать вместе с Кутузовым разведать Измаил с противоположной, восточной стороны, где располагался кутузовский корпус и откуда

Кутузову предстояло идти на приступ в общем штурме турецкой крепости.

Суворов жил в крохотной мазанке, которая как-то уцелела одна из всей разоренной дотла деревни Броска. Поместить вторую постель в мазанке было негде, и Михаил Илларионович лег в палатке. У себя в лагере он тоже спал на воздухе: с восточной стороны Измаила деревень не было и в помине. Но кутузовский денщик Ничипор возил для барина пуховичок и теплое шелковое одеяло, а здесь пришлось спать по-суворовски — на охапке дунайского камыша, укрывшись шинелью. И с непривычки было, признаться, жестковато и холодно.

«Как это он спит?» — ворочаясь на шуршащем, неудобном ложе, думал о Суворове Михаил Илларионович.

И когда чуть забрезжил рассвет и из мазанки послышались голоса (Суворов вставал), Михаил Илларионович мгновенно проснулся.

На дворе было холодно, сквозь легкий туман Михаил Илларионович видел, что вся земля покрыта инеем: ночью морозило. Вставать из-под шинели все-таки не хотелось. Михаил Илларионович лежал, облокотясь на руку, и смотрел сквозь отдернутый полог палатки на мазанку командующего.

Из мазанки выскочил нагишом, в одних туфлях, худенький Александр Васильевич. За ним шел с ведром в руке и мохнатым полотенцем на плече угрюмый, всегда чем-то недовольный денщик Прохор. За хмурым денщиком показалось веселое курносое лицо казака Ванюшки — вестовой нес к завалинке одежду и сапоги генерала.

Александр Васильевич легко согнулся, и Прошка не торопясь вылил на него ведро воды. Суворов выпрямился, встряхиваясь и подпрыгивая на одном месте. Денщик неласково сунул барину полотенце.

Александр Васильевич, что-то весело приговаривая, стал энергично растирать полотенцем шею, грудь, поясницу, ноги. Потом бросил полотенце денщику и начал бегать возле мазанки, выкидывая руки вверх и в стороны, и так и эдак, словно отбиваясь от кого-то.

Михаил Илларионович не раз видел эти не всем понятные упражнения. Он не уподоблялся большинству генералов и офицеров, которые за глаза осуждали Суворова, смеялись над его обливаниями и гимнастикой, называя все это чудачеством. Кутузов помнил, как в бабушкином псковском имении дворовые парни выбегали зимой из жаркой бани и катались по снегу. Народ не видел в этом ничего странного и смешного. И так же судил Кутузов. Он знал, что Александр Васильевич считает баню лучшим средством против всех болезней, завидовал Суворову, что он может закаляться, хотя сам никогда не пробовал подражать ему.

Но теперь, в это промозглое декабрьское утро, когда и без обливания сиро и зябко, было не по себе видеть, как человек окатывается студеной водой.

«Молодец Александр Васильевич!» — подумал Кутузов и стал подыматься с неудобной тростниковой постели.

Не надевая мундира, Михаил Илларионович, поеживаясь, вышел из палатки.

Лагерь еще спал. Над потухшими кострами лишь кое-где вился слабый дымок. Озябшие часовые, засунув руки в рукава шинелей и прижав ружья к груди, стояли нахохлившись.

А вдали, как горная гряда, высились измаильские стены. За стенами небось тепло: там дома, печи...

— Здравия желаю, Александр Васильевич! — приветствовал Суворова Кутузов.

— А-а, Мишенька! Здравствуй, дорогой. Сбрасывай все да обливайся! — предложил Суворов, не прекращая бега.

— Нет, благодарствую, Александр Васильевич, я не умею! — ответил, улыбаясь, Кутузов.

— Наука невелика! — крикнул Суворов, пробегая мимо.

— Наука, верно, не горазд велика, да больше-то дураков так скакать не сыщешь! — сурово ответил вместо Кутузова Прошка.

Он подошел к Кутузову с ведром, кружкой и полотенцем — собирался помочь гостю умываться; Михаил Илларионович подставил Прошке ладони, денщик стал лить на руки Кутузова воду и продолжал бурчать:

— Нет того, чтобы умываться по-человечески, а все, прости Господи, полощется, как воробей в луже... Давеча прибыл из Петербурху французский герцог Впросак, — вспоминал Прошка. — Увидал, как он козлом скачет, спрашивает: «Какой это, спрашивает, полоумной у вас?» Ей-богу! — рассказывал, вытаращив глаза, денщик.

— Твой герцог Фронсак столько же смыслит, сколь и ты! — беззлобно сказал Суворов, окончив бег и подходя к завалинке, где его ждал с одеждой казак.

— Это самый лучший способ дышать воздухом. По-моему, ничего нет здоровее! Советую тебе, Мишенька, заняться, а то вон как ты, помилуй Бог, раздался! — говорил Александр Васильевич, одеваясь.

— Да, брюхо у меня действительно... — утирая лицо полотенцем, виновато оправдывался Кутузов. — Но так бегать я, Александр Васильевич, отяжелел. А не побегать после обливания — закоченеешь на здешнем-то холоду.

— Ничего. Вот сейчас мы напьемся горяченького чайку, согреемся — и в путь! Пока осман почивает, — сказал Суворов, думая уже о другом.

III

Турки не обращали никакого внимания на всадников, подъехавших к крепостным рвам у восточных Килийских ворот.

Они не боялись русских: если «неверные» не смогли ничего сделать Измаилу за четыре недели, то чего же бояться их теперь, когда запахло зимой. И тем более нестрашными были эти четверо верховых (Суворова сопровождали два казака), которые с высоких крепостных валов казались просто не стоящими никакого внимания.

Суворов и Кутузов медленно ехали вдоль рва.

— Глубок, проклятущий!.. — смотрел Кутузов. — Придется бросать по две фашины.

— Да, не меньше, — согласился Суворов.

— У них вон сколько орудий, а у нас маловато...

— До рвов пройдете с колонной в темноте, тихонько, а чуть спуститесь в ров, ихние пушки станут вам не вредны. Тут, Михайло Ларионович, все дело будет решать штык! — уверенно говорил Суворов. — Значит, колонну выведете сюда, к Килийским воротам, — указал он. — Учтите, Мишенька: все ворота в Измаиле завалены камнями и бревнами — пусть солдаты зря не ломают прикладов! Де Рибас поддержит с Дуная. Запорожские лодки, дубы и паромы доставят с острова Чатал полторы тысячи казаков и три с половиною тысячи пехоты. Рибас займет берег, кавальер[1] и куртину[2]. Осип Михайлович поможет вам. А вы не упускайте из виду соседнюю казачью колонну Платова: у казаков, помилуй Бог, одни пики!

— Платову будет трудновато! — вздохнул Кутузов.

— Ваша колонна, Михайло Ларионович, и правофланговая генерала Львова — самые важные в штурме. Надеюсь на вас! — сказал на прощание Суворов, протягивая руку Кутузову.

— Будьте спокойны, Александр Васильевич, не выдадим! — ответил Михаил Илларионович, крепко пожимая руку командующего.

Суворов хлестнул коня нагайкой и помчался к себе в лагерь. Кутузов с минуту задумчиво смотрел вслед Александру Васильевичу. Он понимал мысли Суворова. Туртукай, Козлуджи, Кинбурн, Фокшаны, Рымник — славные, достойные дела, но такие же победы бывали и у других полководцев. А вот если Суворов возьмет этот неприступный Измаил, тогда с ним не сможет равняться никто!

Была глубокая ночь, когда Михаил Илларионович, еще раз проверив, все ли у него готово к штурму, подъехал к своей палатке.

В палатке горела свеча.

---

[1] Кавальер — отдельная башня позади вала в ограде крепости.

[2] Куртина — участок крепостной ограды между двумя бастионами.

«Значит, наши сидят не у солдатских костров, а дома», — подумал он.

Вместе с Кутузовым, кроме его старого приятеля, капитана Павла Андреевича Резвого, жили муж Груни Бибиковой, все такой же лощеный, щеголеватый бригадир Иван Степанович Рибопьер, и простецкая, русская душа — полковник первого батальона егерей Иван Иванович Глебов.

Михаил Илларионович слез с коня и, передав поводья вестовому, вошел в палатку.

У опрокинутой бочки, которая заменяла стол, закусывали Рибопьер и Глебов.

— Зря едите перед боем, господа! — заметил Кутузов. — Легче, если ранят в пустой живот, а не в полный.

— Вы правы, Михайло Ларионович, да коли не поесть перед боем, так и ног не потянешь: измаильские стены вон какие! Когда-то Бог приведет позавтракать, — ответил Глебов.

— Милости просим закусить с нами! — услужливо предложил, приятно улыбаясь, Рибопьер.

— Благодарю. Я лучше отдохну; день-деньской на ногах, чертовски устал, — сказал начинавший полнеть Кутузов и прилег на жесткую тростниковую постель.

Молчали. Каждый думал о своем, но все мысли неизбежно сводились к одному.

На сегодня Суворов назначил штурм Измаила. По его замыслу главный удар должен быть направлен на придунайскую, наиболее доступную часть Измаила. Здесь Александр Васильевич сосредоточил все лучшие по боевым качествам войска, и в том числе бугских егерей Кутузова. А остальные колонны должны были отвлекать турецкие силы, чтоб гарнизон Измаила защищал все шестиверстные крепостные стены.

Суворов остерегался, как бы турки не узнали о его замысле, и потому хитро составил диспозицию, тщательно замаскировав основную идею штурма: каждая колонна могла полагать, что ей поручена главная роль.

Михаил Илларионович, целый день занятый приготовлениями к бою, не мог найти времени подумать о семье. Было ясно: предстоял кровопролитный, ужасный штурм, который будет посерьезнее очаковского. Удастся ли выйти из него живым, кто знает.

И теперь Михаил Илларионович с нежностью думал о своих — Екатерине Ильинишне и девочках. Они спокойно спят в эту тревожную декабрьскую ночь там, в Петербурге, не чувствуя, какой страшной опасности подвергается он...

Рибопьер и Глебов окончили еду, курили молча, Иван Степанович вообще не отличался словоохотливостью, а Глебов тоже,

очевидно, думал о том же, о чем в эти часы думали осаждавшие Измаил русские войска...

Уставший Кутузов задремал.

Он проснулся от громкого окрика Резвого:

— Михаил Илларионович, пора: уже без четверти три!

Кутузов встрепенулся и стал подыматься.

В три часа ракетой будет дан подъем. Суворов приказал до первой ракеты не выводить войска, чтобы, как говорилось в диспозиции, «людей не удручать медленней к приобретению славы».

Он вышел с егерскими командирами из палатки. Все вокруг еще покрывала темная, мрачная ночь. Полукольцо огней русского лагеря ярко светилось в темноте. К этой ночи войска заготовили побольше камыша, чтобы костры не потухали и чтобы турки думали, что в русском лагере спокойно спят.

Но Измаил не спал. Лазутчики дали знать врагу о предполагающемся штурме. В крепости слышался какой-то шум. Тревожно лаяли собаки.

Присмотревшись к темноте, Кутузов снова различил штурмовые лестницы и кучи фашин, приготовленных для забрасывания широких, шестисаженных рвов.

И вот высоко вверх взвилась зеленая ракета. Казалось, она падает под самой крепостью.

Пора выступать и идти к назначенному пункту. Путь в четыре версты, в кромешной тьме.

— Колонновожатые на месте? — спросил у Глебова Михаил Илларионович.

— На месте.

— Не собьются в этакой темени, выведут к Килийским воротам?

— Выведут. Вчера опять делали пробу; пришли точно. А вчера было еще темнее — пасмурнее.

Кутузов сел на коня.

Его шестая колонна уже зашевелилась. Впереди шли сто пятьдесят стрелков, а за ними двигалось что-то большое, темное, лохматое: это обозные солдаты несли восемь четырехсаженных лестниц и шестьсот фашин.

И сзади за всеми выступали три батальона бугских егерей и войска резерва — два батальона херсонских гренадер и казачий полк Денисова в тысячу человек.

IV

Штурм Измаила был в полном разгаре.

Воздух дрожал от несмолкаемого грохота пушек, беспорядочной ружейной трескотни и людских криков. Еще стояла ночь, но от ярких вспышек выстрелов крепостные стены вырисовывались как днем.

Жестокий огонь турецких батарей и пехоты с валов не остановил и не расстроил кутузовскую колонну, двигавшуюся к бастиону у Килийских ворот. Колонна подошла к крепостному рву и под прикрытием стрелков стала забрасывать глубокий, шестисаженный ров фашинами, собираясь преодолеть его.

Кутузов верхом на коне стоял среди второго батальона егерей, готовящихся идти на штурм.

Турецкие пули, картечь и ядра косили русских, столпившихся перед рвом. То тут, то там падали убитые и, охая и стеная, тащились назад к своему лагерю раненые.

Вот из толпы прямо на Кутузова егеря вынесли на плаще чье-то распростертое тело. Кутузовский конь захрапел, вздергивая шею.

— Кого несете? — окликнул Михаил Илларионович.

— Бригадира Рыбапёрого, — ответили из темноты.

— Сильно ранен?

— Кончился уже...

Кутузов перекрестился:

— Вот те и поужинал... Бедная Груня!..

Но предаваться грустным размышлениям было некогда — его уже не на шутку беспокоила эта задержка первого батальона у рва.

«И чего они ждут, когда уложат все фашины?» — недовольно подумал Михаил Илларионович.

И, вспомнив суворовское наставление, крикнул как мог громче:

— Ребята, кидайся в ров!

И сам стал слезать с седла: конь беспокойно вертелся под выстрелами, наступая на егерей; к тому же незачем было предоставлять турецким стрелкам столь заметную мишень.

Первый батальон посыпался вниз, в ров. Затрещал фашинник — это егеря стали перебегать на другую сторону рва. Подсаживая друг друга, они карабкались наверх и оказывались под самыми страшными крепостными стенами. Сюда долетали только шальные пули и совсем не доставали ядра. Под стенами можно было минутку передохнуть, пока через ров не перетащат штурмовые лестницы.

Вместе со вторым батальоном подошел ко рву и Михаил Илларионович. Во время суворовских учений он не лазил по лестницам, а теперь приходилось.

Впереди Кутузова слезал в ров дежурный офицер, секунд-майор Алфимов; он смотрел, чтобы генерал-майор не оступился. Идти по качающимся под ногами, скользким фашинам было неудобно. В ров также сыпались турецкие пули, но Михаил Илларионович не спешил — чему быть, того не миновать. Он благополучно перешел через ров, а затем по лестнице взобрался наверх, к черной глыбе измаильской стены.

— Ребята, ставь к стенам лестницы! Вперед! — приказал он.

Длинные, неуклюжие штурмовые лестницы медленно поползли вверх по валу, обсыпая землю.

Турки всполошились. Начали бросать вниз камни, бревна, но лестницы продолжали продвигаться все выше и выше.

Вот уже их верхние концы стали вровень с валом. Турки пытались оттолкнуть их, в ярости рубили шашками, но лестницы крепко уперлись в вал, и по ним лезли проворные бугские егеря.

Впереди шли более опытные, те, кто принимал участие в очаковском штурме. Их вел отважный полковник Глебов.

Казалось, туркам было легко сбить так неустойчиво стоявших русских, но егеря отшвырнули турок от лестниц. Вот один егерь вскочил на вал, за ним другой. Наверху закрепилось целое капральство, потом рота. Лестницы были в безопасности. По ним спешили на подмогу своим десятки новых егерей.

— А ну, ребята, пустите и меня наверх! — сказал Кутузов, подходя к лестнице.

Он хотел сам руководить штурмом. Он хотел подбодрить егерей: раненые, слезавшие вниз, сказали, что полковник Глебов убит. Там командовал капитан Резвой. Дело было жаркое.

Было плохо видно. Лестничные перекладины — скользкие от крови. Мешала никчемная шпажонка, болтающаяся сбоку. С непривычки дрожали ноги. Мешала тучность.

Кутузов торопился: уж очень яростно кричали наверху «алла».

«Не опрокинули бы наших! Это не Очаков — тут они бьются не на живот, а на смерть!»

Наконец последняя перекладина.

Секунд-майор Алфимов и ротмистр Кошелев, бывшие при генерал-майоре для поручений, подхватили его под руки, помогая подняться на вал.

Михаил Илларионович встал на валу, вытер вспотевшее лицо, отдышался. Здесь, наверху, было свежо. Сквозь волны порохового дыма снизу, от Дуная, тянуло речной влагой.

Кутузов присмотрелся к полутьме. Справа и слева шел рукопашный бой. Турки отбивались шашками и ятаганами, егеря стреляли и кололи штыком.

Крики, лязг оружия, ругань, стоны.

Наверху бился только еще один первый батальон егерей. У бастиона, который яро штурмовали егеря, слышался звучный голос молодого секунд-майора Ергольского, командира батальона. Ергольский кричал не «виват Екатерина!», а попросту: «Бей их, ребята! А ну, смелее, братцы!» Видимо, загорелось ретивое.

«Молодец Вася!» — одобрительно подумал Кутузов.

Он глянул налево, на куртину, идущую к Дунаю. Там, в этой немыслимой свалке, где-то был Павел Андреевич Резвой, поднявшийся на вал в числе первых.

Снизу по штурмовым лестницам все лезли и лезли наверх егеря — уже подымался второй батальон. К Кутузову подбежал подполковник Меллер-Закомельский.

— Куда вести, Михайло Ларионович?

— Сюда! — указал Кутузов налево. — Здесь слабее!

Кутузова охватило знакомое волнение боя. Ему казалось, что офицеры подают мало примеров храбрости; к тому же их число сильно уменьшилось. Он вынул шпагу из ножен и хотел было идти к куртине, но Алфимов и Кошелев удержали:

— Ваше превосходительство, без вас справятся!

Кутузову пододвинули турецкий барабан. Михаил Илларионович машинально сел, беспокойно поглядывая одним своим зрячим глазом то на бастион, то на куртину.

Ядра с русских батарей, насыпанных перед Измаилом, и батарей с острова Чатал прочерчивали небо, падая в город. В Измаиле уже начались пожары. Пламя ярко рдело в непроглядной темноте, придавая всему зловещий оттенок. Из взбудораженного города доносились тревожные крики людей и вой собак.

У бастиона дела шли как будто успешно, но слева егеря вдруг стали отступать. Крики «алла» усиливались и приближались.

Михаил Илларионович увидел Резвого. Павел Андреевич был уже с ружьем. Он не только командовал, но и колол сам, отбиваясь от наседавших врагов.

Кутузов вскочил с барабана и кинулся навстречу отступающим егерям.

— Егеря, стой! Стой! — кричал он. — Второй батальон, сюда! — обернулся он к Алфимову. — Живо!

«Сомнут! Опрокинут!» — мелькнуло в голове.

Противный холодок прошел по спине.

Действительно, турки прижимали егерей к самому краю рва. Егеря пятились, спотыкаясь о трупы.

Даже Михаилу Илларионовичу пришлось отразить удар неожиданно появившегося перед ним турка. Он вспомнил старое — сделал выпад шпагой, и турок упал.

«Давненько не приходилось...» — подумал Кутузов.

Мимо Кутузова с криком «ура!» бросились на турок егеря второго батальона. Турки не устояли и начали отходить.

Кутузов облегченно вздохнул.

Михаил Илларионович не забывал, что его колонне выпало самое ответственное дело. От быстроты успеха здесь, у Килийских ворот, зависел успех всего штурма. Соседняя колонна Платова, составленная только из казаков, не могла сама пробиться в город. Казаки были вооружены одними пиками, которые легко перерубались турецкими шашками.

А время не ждало, — ночь проходила.

«Светлеет. Скоро турки увидят, как нас немного!» — тревожился Михаил Илларионович.

И тут к Кутузову подбежал какой-то незнакомый гусарский корнет.

— Его сиятельство граф Суворов-Рымникской назначает ваше превосходительство комендантом Измаила. Уже послан гонец к ее величеству о взятии крепости! — весело прокричал он.

Кутузов кивнул суворовскому гонцу. Он понял: Суворов, находясь в нескольких верстах от Килийских ворот, почувствовал заминку шестой колонны и прислал офицера подбодрить ее.

«Ну что ж, комендант так комендант!»

Надо торопиться. Михаил Илларионович поспешил к егерям, штурмовавшим бастион.

— Вперед, орлы! Вперед, егеря! Ура! — кричал он, размахивая шпагой.

Егеря, увидев генерала, с еще большим ожесточением кинулись на бастион. Подымавшихся на вал егерей третьего батальона Кутузов слал к бастиону.

И наконец бастион пал. Тогда-то и на куртине турки стали беспорядочно отступать.

Уже светало.

И вдруг снизу, из рва, послышались крики «алла».

Турки спустились в ров и попытались ударить на штурмующих с тыла.

Вот тут пришлось наконец двинуть последний резерв — два батальона херсонских гренадер.

Раскатистое «ура!» покрыло все турецкие крики.

Схватка продолжалась недолго: на валах показались гренадерские шапки херсонцев.

Последняя попытка турок отбить Килийский бастион провалилась. Подкрепленные свежими силами гренадер, егеря смяли турок. Янычары посыпались вниз, в город.

Успех шестой кутузовской колонны помог соседней, пятой колонне Платова. Турки, сжатые с двух сторон, начали отступать и там.

К восходу солнца русские знамена колыхались над всеми шестиверстными стенами Измаила.

V

Сбив турок с крепостных стен, русские скатились в тесные улочки города. Турки засели в домах, мечетях и продолжали отчаянно защищаться. Приходилось брать с бою каждый дом, отвоевывать каждый шаг.

Суворов впустил через городские ворота артиллерию. Она влетела и била по улицам продольным огнем.

Наконец атакующие подошли к центру Измаила.

Сераскир со своими приближенными заперся в громадном каменном сарае. Кутузовские егеря взяли его штурмом. Из сарая вышло и положило оружие около двух тысяч янычар.

Организованное сопротивление турок в Измаиле прекратилось.

Невыспавшийся, но бодрый, счастливый великолепной победой, Суворов принял в палатке, поставленной на крепостном валу, командиров колонн. Он обнимал каждого генерала, поздравлял с викторией и каждому говорил одно и то же:

— Если бы не ты, нам крепости не взять!

Михаил Илларионович, выслушав такой же комплимент, спросил, почему Александр Васильевич назначил его комендантом Измаила еще тогда, когда крепость не была взята.

— Суворов знает Кутузова, а Кутузов знает Суворова. Если бы Измаил не был взят, Суворов умер бы под его стенами и Кутузов тоже! — ответил Александр Васильевич. — Комендантствуйте, Михайло Ларионович!

Кутузову не оставалось больше ничего делать, как выполнять приказ командующего. Он выбрал в центре Измаила дом и принялся за трудные, хлопотливые комендантские обязанности. Прежде всего полагалось учесть пороховые погреба и разные провиантские и иные склады турок и поставить к ним часовых.

Затем приходилось спешно позаботиться о тысячах раненых — своих и неприятельских, о пленных, об уцелевших жителях Измаила — женщинах и детях.

Надо было собрать трофеи. Солдаты уже щеголяли, обвешанные турецкими знаменами, сорванными с древков, казаки гнали десятки турецких лошадей.

Надо было не допустить послабления дисциплины. Опьяненные победой, счастливые уже одним тем, что остались в живых после такого небывалого, кровопролитного штурма, солдаты готовы были пировать, забыв обо всем на свете.

И надо было предпринять срочные меры, чтобы уберечься от эпидемии: все дворы, улицы и площади Измаила заполняли турецкие трупы. И хотя уже начались заморозки, но днем еще хорошо пригревало солнышко.

Михаил Илларионович работал до ночи, не имея ни минутки покоя. Поздно вечером он поехал к себе в лагерь, чтобы хоть несколько часов отдохнуть на своей постели в степи, а не в Измаиле, заваленном трупами.

На следующий день, 12 декабря, Михаил Илларионович встал, чуть поднялось солнце, и вышел из палатки.

Сегодня он новыми глазами смотрел на грозно черневшие вдали уже не страшные измаильские стены. Глядя на них в утреннем свете, не верилось, что вчера можно было под турецким огнем по шатким лестницам влезть на них, сбить турок со стен и взять Измаил. Сейчас это все еще казалось немыслимым, непостижимым.

Михаил Илларионович позавтракал и решил здесь же, в спокойной лагерной обстановке, написать письмо домой. Вчера он успел послать из Измаила с курьером в Петербург только коротенькую записку, что жив-здоров, чтобы дома не беспокоились.

Кутузов написал жене:

«Любезный друг мой, Екатерина Ильинишна.

Я, слава Богу, здоров и вчерась к тебе писал с Луценковым, что я не ранен и Бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшной город в наших руках, а ввечеру приехал домой, как в пустыню. Иван Ст. и Глебов, которые у меня жили, убиты; кого в лагере ни спрошу — либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и залился слезами. Целой вечер был один; к тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу; надобно в порядок привесть город, в котором одних турецких тел больше пятнадцати тысяч... Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось...

Деткам благословение.

Верный друг Михайла Кутузов».

Глава шестая

«БЕДНЫЙ ПАВЕЛ!»

I

Хотя дома и знали, что Михаил Илларионович должен приехать из армии в Петербург (весь город облетела необычайная новость: царица назначила генерал-поручика Кутузова чрезвычайным послом в Турции), но так скоро его не ждали. Кутузов командовал первой частью Украинской армии, которая с весны находилась в Польше, и стоял с войсками у самой Варшавы.

Михаил Илларионович приехал в Петербург в сырое ноябрьское утро. Над городом тяжело плыли низкие тучи. Летний сад стоял голый и неуютный. Неприветливо и хмуро глядела широкая Нева.

Тройка, звеня бубенцами, проехала мимо пустынного и черного Царицына луга и завернула на набережную.

Когда коляска остановилась у подъезда, в окнах мелькнули удивленно-обрадованные лица прислуги.

В прихожей Михаила Илларионовича встретили жена Екатерина Ильинишна и старшая дочь, тринадцатилетняя Прасковья.

Екатерина Ильинишна, небольшая и худенькая, выглядела моложе своих тридцати восьми лет. Она всегда следила за собой и теперь, несмотря на ранний час, была причесана и одета так, словно собралась в гости.

— А-а, добро пожаловать, господин посол! — обняла она мужа.

— Здравствуй, мой дружок, здравствуй! Прости, что не поспел ко дню твоего рождения, — ответил Михаил Илларионович. — А ты все растешь, Прасковьюшка! — сказал он, целуя дочь.

Девочка смутилась: она, в самом деле, была уже ростом выше маменьки.

Все направились в гостиную.

Навстречу им спешили две средние дочери: десятилетняя Аня, такая же худенькая, как мать, только с голубыми глазами, и девятилетняя, по-бибиковски черноглазая и по-кутузовски крепкая, плотно сбитая, папина любимица Лиза.

Михаил Илларионович обнял их.

А из дальних комнат с радостными криками уже бежали самые младшие — пятилетняя Катя и четырехлетняя Даша. Девочки облепили отца.

— Погодите, вот я достану вам варшавские подарки, — сказал Кутузов. — Эй, Ничипор!

— Чего изволите, ваше превосходительство? — выглянул из прихожей денщик.

— Принеси-ка сюда меньшой чемодан.

— Подарки! Папа привез подарки! — прыгали вокруг отца девочки.

Екатерина Ильинишна улыбалась.

Денщик внес чемодан. Михаил Илларионович открыл его. Дети с любопытством заглядывали в чемодан: что там? Прасковья стояла поодаль. Ей тоже хотелось заглянуть, но было неловко: как маленькая!

— Вон что-то...

— Красивое... Золотое... — говорили дети.

— Это не ваше, это мой парадный мундир. Вот, получайте! — сказал папенька.

Он вынул из чемодана четыре совершенно одинаковые куклы. Они были одеты в польский национальный костюм — юбку и шнуровку. И всем четверым дал по большому шоколадному барашку.

— Спасибо, спасибо, папенька! — защебетали девочки.

Они тотчас же занялись куклами. Отошли в сторонку и стали рассматривать, у кого красивее цвет юбочки, у кого какой корсетик. Только Лиза не отходила от отца. Она держалась за его руку, восторженно глядя на папеньку снизу вверх.

— Почему это не зайчики или медведи, а барашки? — заинтересовалась Екатерина Ильинишна.

— Это польские рождественские подарки. Агнец непорочный. Видишь, возле каждого — хоругвь. А вот, Прасковьюшка, и тебе гостинец, — протянул старшей дочери золотое колечко Михаил Илларионович. — Может, велико будет? Я не знаю, какие у тебя пальцы. Брал на свой мизинец.

— Спасибо, папенька, как раз впору, — зарделась от удовольствия Прасковья.

— А это тебе, дружок! — передал жене сверток Кутузов.

— Ты очень мил, мой дорогой. Это что же такое? — говорила, поспешно разворачивая подарок, Екатерина Ильинишна.

— С цветами! Ох, какое красивое! — восхищались девочки.

— Это итальянский флер на бальное платье. В Париже и в Варшаве все знатные дамы носят.

— Правда, хорошенькое! Какие красивые розаны! И дорогой этот отрез, Мишенька?

— Шестнадцать червонцев заплатил.

— Дорогой. Ну и зачем было тратиться? — притворно-недовольным тоном говорила Екатерина Ильинишна, с восхищением разглядывая тонкую материю. Видно было, что подарок ей нравится. — А каким же покроем шьют в Варшаве? Парижским? Открытая грудь и плечи?

— Парижским, парижским. Все открыто. Таким покроем, как Федька Ростопчин смеется: словно с вывески торговых бань — дамы чуть ли не нагишом ходят! — усмехнулся Михаил Илларионович.

— А рукава носят одинакового цвета с юбкой?

— Разные.

— Папенька, а косыночки из лино или из кружев? — робко вставила Прасковья.

Кутузов, улыбаясь, потрепал дочь по щеке:

— Не помню, дружок. Я, право, как-то не присматривался... Чепцы и косынки весьма разнообразны.

— Мишенька, а какие носят прически? — не унималась щеголиха Екатерина Ильинишна. — Высокие, палисадником, или взбитые, вроде лебяжьего пуха?

— В большинстве случаев этакое остроконечное сооружение, — улыбаясь, показал пальцами Михаил Илларионович. — И наверху еще разные фигурки — пастушки, мельницы...

— А какие башмаки: остроконечные, стерлядкою?

— Да, да, стерлядкою! — потирал застывшие руки Михаил Илларионович, нетерпеливо поглядывая на дверь в столовую.

— Ты, верно, озяб в дороге, Мишенька? Такая отвратительная, промозглая погода, — зябко передернула плечами Екатерина Ильинишна. — И захотел есть. Пойдем, я отогрею тебя кофеем.

И она увела мужа.

Михаил Илларионович умылся и сел завтракать.

— Весь город удивлен, почему государыня назначила тебя послом, — рассказывала за столом Екатерина Ильинишна.

— Она всегда была заботлива и добра ко мне. А что же удивительного в моем назначении?

— Ты ведь никогда не был дипломатом.

— Официальным — да, но вести переговоры с врагом мне приходилось неоднократно.

— Но ты же военный человек, генерал.

— В прошлый раз, в тысяча семьсот семьдесят пятом году, ездил послом в Турцию князь Репнин, генерал-аншеф. А наш поверенный в делах в Константинополе теперь — полковник Хвостов. Он командовал Троицким пехотным полком. Видишь, все военные. Война и мир тесно связаны. Римляне ведь говорили: «Si vis pacem, para bellum».

— Это что значит? — задумалась Екатерина Ильинишна. — «Мир и война — сестры», не так ли?

— Почти так: «Если хочешь мира, готовься к войне». Мы хотим мира. Так кому же и думать о нем, как не нам, военным!

— Может быть, в этом и есть резон. Ты турок знаешь, всю жизнь имел с ними дело, и они тебя должны помнить.

— Если уже позабыли Кагул, Очаков и Измаил, то не могли еще забыть Мачин: ведь всего полтора года тому назад я неплохо побил у Мачина их великого визиря. Думаю, потому и назначили меня послом: с победителем приходится больше считаться! Тем более что великий визирь остался тот же.

— А кто он?

— Юсуф-паша, по прозвищу «Коджа» — большой. Прозвали за высокий рост: турок — как колокольня. Борода у него, словно у пророка, по пояс, но талантов никаких. В молодости служил у капудана Гази-Хасана, на адмиралтейские деньги торговал на фрегатах с лотка. Разбогател, купил чин паши.

— Как у них просто!

— Да, у турок решают всё две вещи — деньги и кинжал.

— Что было бы, если б у нас торговец с лотка стал министром?

— У нас и такие были.

— Кто?

— Меншикова забыла? А сколько у нас министров хуже любого лоточника! — махнул рукой Михаил Илларионович. Помолчал и сказал: — Да, как воевать с турками, я знаю, а вот как удержать их в мире — еще не пробовал!

— Найдешься! Я где-то читала, кажется, у леди Монтегю, что, если хочешь заслужить расположение турок, надо хвалить все ихнее.

— Ну, на эту удочку — на лесть — кого не поймаешь! — усмехнулся Михаил Илларионович. — Восток любит лесть, но больше любит подношения, бакшиш. Не зря Фридрих Второй говаривал: «Турок за деньги готов продать даже своего пророка!»

— Представляю, какие чудесные вещи вы повезете в подарок султану и всем этим пашам. Драгоценные камни, меха, золото...

— Надо будет выбрать верного человека для надзора за дарами. Я вообще наберу в свиту побольше своих людей. Вытребую из моего Бугского егерского корпуса.

— Кому же ты поручишь хранение подарков?

— Майору Павлу Андреевичу Резвому.

— А-а, это верно. Он вполне подходит: порядочный и преданный человек. Мишенька, а нельзя ли пристроить куда-либо Федю Кутузова?

— А что с него толку-то, с Феди?

— Свой человек. Возьми, голубчик!

— Разве что офицером для посылок — на большее он не годится, — ответил Михаил Илларионович. — А скажи, что нового во дворце? Императрица долго оплакивала смерть Потемкина?

Екатерина Ильинишна улыбнулась:

— Ты помнишь, мы когда-то играли у Груши комедию Детуша «Привидение с барабаном»?

— Помню, ты играла баронессу.

— Ну так вот. Баронесса убивалась по мужу до тех пор, пока портной не принес ей красивое турецкое платье. То же было и здесь: императрица скоро утешилась...

— А как чувствует себя ее новый любимчик Зубов?

— С каждым днем все больше входит в силу и все больше наглеет. И как ему не наглеть, если придворные льстецы уже уверяют, что этот Платон достойнее древнего Платона.

— Ну, знаете! — возмутился Кутузов.

— Льстецы и просители стараются попасть к нему в уборную, когда он одевается и причесывается.

— Это что ж, как было у мадам Помпадур или у кардинала Флери? — усмехнулся Михаил Илларионович.

— Наш Федя Кутузов пошел к нему с прошением — хотел перевестись в гвардию, но вынужден был уйти ни с чем.

— Зубов не принял его?

— Не то. У Зубова тоже есть своя фаворитка — обезьянка. Она живет у него на свободе. Прыгает по ширмам, столам, диванам. С печки на люстру, с люстры на плечи посетителей. Увидит у кого-либо высокий тупей, прыг на плечи и ну теребить его. Льстецы и просители терпят, а наш Федя испугался за свой пышный тупей и ретировался.

— А как наследник Павел Петрович? Все в том же небрежении?

— Да. По-прежнему живет у себя в Гатчине. Возится со своим гатчинским гарнизоном. До других дел императрица его не допускает. А сама она сейчас занята женитьбой старшего внука, Александра.

— Не рановато ли ему жениться? Позволь, а сколько же Александру лет? — вдруг задумался Михаил Илларионович. — Он, кажется, на год старше нашей Прасковьюшки.

— Да, он родился вскоре после наводнения; значит, ему только пятнадцать.

— Сыну подыскивала невесту, когда ему еще пятнадцати лет не было, теперь за внука взялась. А кто же невеста?

— Дочь маркграфа Баденского. Маркграфиня прислала в Петербург двух дочерей на выбор: Луизу тринадцати лет и Фредерику одиннадцати.

— Кого же выбрал Александр?

— Старшую.

— А что, какова она?

— Прелестна. У нее греческий профиль, большие голубые глаза, чудесные белокурые волосы, приятный голос. Она сразу же всем понравилась. Императрица зовет ее сиреною. И вот теперь Екатерина и весь двор изо всех сил стараются помочь неопытным возлюбленным.

— Ну, сводников и учителей цитерному искусству[1] в Зимнем хватит!

— В прошлое воскресенье на придворном театре ставили нарочито для молодого князя комедию «Новичок в любви». Александр громче всех бил в ладоши, а бабушка сияла от удовольствия, что комедия так трогает ее «ангела».

— Избалует она внука. Посмотрим, какой из Александра получится ангел. Не вышло бы так, как говорится в польской поговорке: «aniolek z pazurami» — не ангел, а черт. Сына держит в черном теле, а с внуком нянчится!

— Знаешь, Миша, мне очень жалко Павла Петровича, — сказала Екатерина Ильинишна.

— Да, его положение незавидное: человеку без малого сорок лет, а он все еще в наследниках ходит.

— Ты, Мишенька, съезди и в Гатчину. Во-первых, надо поздравить их: у Марии Федоровны летом родилась пятая дочь, Ольга. А во-вторых, Павел Петрович всегда так внимателен ко мне на балах: подойдет, поговорит. Не забыл, как мы детьми вместе играли на придворном театре, как танцевали и он всегда робел. Павел

---

[1] Цитерное искусство — любовное искусство.

Петрович тепло вспоминает покойного братца Василия — Вася ведь частенько бывал у наследника. И к тебе Павел Петрович хорош. Он всех Кутузовых жалует. Съезди!

— Конечно, съезжу, — ответил Михаил Илларионович и пошел одеваться.

II

Екатерина II встретила Кутузова по-всегдашнему очень радушно, была весьма внимательна к нему. Приняв его благодарность за столь ответственное назначение, императрица участливо справилась о здоровье Михаила Илларионовича, не забыла спросить о семье, сказав, что видела недавно «свою тезку», Екатерину Ильинишну, и что она прекрасно выглядит.

Кутузов не считал удобным спрашивать о самочувствии императрицы: она любила хвастать своим железным здоровьем и всегда подчеркивала, что ни разу в жизни не падала в обморок, как другие женщины.

Михаил Илларионович только как бы вскользь скромно заметил:

— Ваше величество одни знаете секрет вечной молодости... (Хотя сравнивать двух Екатерин не приходилось: императрице Екатерине было шестьдесят три года, а Екатерине Ильинишне Кутузовой — тридцать восемь.)

Это замечание императрица приняла с признательной улыбкой.

Когда Кутузов, в свою очередь, спросил о Павле Петровиче, императрица ответила, что он благоденствует у себя, в своей любимой Гатчине. И тут же полушутя пожаловалась:

— Он целую осень каждый день палил из пушек... Расстучал мне всю голову своей пальбой! — иронически улыбалась Екатерина, прикладывая пухлые, маленькие пальцы к своим чуть седеющим вискам.

— Его высочество всегда имел пристрастие к артиллерии, — с такою же улыбкой ответил Кутузов, вспомнив, как однажды в его присутствии Павел Петрович возмущенно говорил императрице о революции во Франции: «Не понимаю, чего толковать с этим сбродом? Я бы их тотчас усмирил пушками!» А Екатерина тогда резонно заметила сыну: «Пушки не могут воевать с идеями!»

Михаил Илларионович знал, что Екатерина недолюбливает свою красивую, молодую, добродетельную невестку, жену Павла — Марию Федоровну, но вынужден был справиться и о ней.

Императрица досадливо махнула рукой:

— Что ей делается? Рисует цветики да рожает детей! Она на это мастерица!

Екатерине было не по душе, что великая княгиня хорошо играет, рисует и вырезывает на камне.

Кутузов не стал углубляться в эту тему — и так было достаточно ясно: между «большим», петербургским, двором и «малым», гатчинским, по-старому лежит пропасть. Чтобы доставить императрице удовольствие, он спросил ее о внуках Александре и Константине.

Екатерина сразу оживилась. Она стала превозносить Александра — его красоту, обходительность, ум, его необычайные способности и таланты. По ее словам получалось так, что учителя и наставники не могут нахвалиться Александром, что он любит ученье, много читает и никогда не бывает праздным. Александр представлялся необыкновенным, замечательным мальчиком, равных которому нет никого на свете.

«Кажется, неглупая, рассудительная женщина, а вот об Александре судит, как всякая бабушка о родном внуке», — думал Кутузов.

О Константине императрица предпочла ничего не говорить: этого внука она не любила. Зато точно такие же дифирамбы, как Александру, пела она его невесте, тринадцатилетней баденской принцессе Луизе.

— Вот милости просим, Михаил Ларионович, сегодня отобедать с нами, увидите эту восхитительную юную пару. Это Амур и Психея, — восторженно говорила Екатерина, провожая гостя, который уже стал откланиваться...

...В зале, смежной с «бриллиантовой», где обедала императрица, Кутузов застал нескольких вельмож, приглашенных к царскому столу.

У окна стоял маленький, с непомерно большой головой на хилом, тщедушном теле Николай Иванович Салтыков, главный воспитатель великого князя Александра Павловича, нервный, желчный человек. Его желтое лицо всегда кривила гримаса, но, несмотря на нервозность, Салтыков считался самым ловким, пронырливым придворным. Отличительным свойством его характера была угодливость. Именно поэтому Екатерина II сносилась с великим князем Павлом Петровичем через Салтыкова, а наследник через него же пересылал матери свои ответы. Салтыков умел сглаживать все шероховатости этих большею частью малопривлекательных заочных переговоров.

В личной жизни Салтыков был беспомощен. Им безраздельно командовала его старая, своенравная, сварливая жена Наталья Владимировна.

Салтыков, стоя у окна, беседовал со своим помощником по воспитанию князя Александра генералом Александром Яковлевичем Протасовым. Салтыков говорил и все время поддергивал штаны: он не носил подтяжек.

У стола сидели, разговаривая, обер-гофмаршал князь Барятинский, вежливый, обходительный человек, и бездарный полководец граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, которого за его

нерешительность на поле брани императрица называла «мешок нерешимый».

Когда Кутузов вошел в залу, одновременно с ним из «бриллиантовой» вкатился толстый обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин.

Екатерина II считала веселость самой сильной стороной своего характера и любила веселых, остроумных людей. Она не выносила уныния и потому ценила Льва Александровича Нарышкина, неистощимого на забавную выдумку, на острое, меткое слово, на приятную шутку.

Нарышкин подошел к Кутузову, поздравил его с новым назначением и пошутил, сказав, что завидует Кутузову, потому что Михаил Илларионович увидит султанский гарем.

Кутузов в тон ему ответил:

— Я думаю, Лев Александрович, гаремов и в России не занимать стать! А вот расскажите, какие веселые истории приключились за последнее время при дворе.

— Вы слыхали, как адмирал Василий Яковлевич Чичагов докладывал ее величеству о своих победах над шведским флотом у Ревеля?

— Нет.

— Так извольте повесить уши на гвоздь внимания, как говорят ваши любезные турки. Императрица захотела послушать об этой виктории от самого Чичагова — ведь он разбил втрое превосходящий флот шведов. Ей очень, понравилось, что Чичагов, узнав о превосходстве шведов, сказал: «Ну что ж? Авось не проглотят! Подавятся!» Я Василия Яковлевича давненько знаю. Он — морской волк, ничего пресного не любит и в беседе тоже не жалеет соли. Предупредил об этом императрицу, но она отвечает: «Не извольте, Лев Александрович, мерить всех на свой аршин!» А, думаю, коли так, слушайте ж, ваше величество! Вот усадила она Чичагова рядом с собой и приготовилась слушать его рассказ. Сперва у адмирала был, так сказать, штиль — он вел рассказ спокойно и вполне пристойно. А как дошел до самой драки, то попал в шторм: пошел чесать по-морскому, по-боцмански. «Шведский король, распросукин сын, думал улизнуть от нас, ан не тут-то было. У меня не улизнешь, б... сын! Я его, такого-растакого, как хряснул!» Выпалил сгоряча и вдруг спохватился. Упал перед царицей на колени: «Виноват, матушка, прости меня, дурака! Я привык с матросами...» А императрица и виду не подала. «Ничего, — говорит, — Василий Яковлевич, продолжайте. Я ведь ваших морских речений не разумею!»

— И что же, неужто Чичагов продолжал после этого? — смеясь спросил Кутузов.

— Продолжал. Не так гладко, как раньше, потому что без «морских речений», но продолжал.

— Лев Александрович, можно вас на минуточку? — позвал Барятинский.

Нарышкин извинился перед Михаилом Илларионовичем и оставил Кутузова. Генерал Протасов, окончивший разговаривать с Салтыковым, собирался уходить из залы. Увидав Кутузова, Протасов подошел к нему. Протасов тоже поздравил Михаила Илларионовича с неожиданным, важным и интересным назначением. Кутузов спросил у Протасова, как его дела, и разговор невольно зашел о великом князе Александре Павловиче.

— Говорят, ваш воспитанник делает большие успехи в науке, много читает, — заметил Кутузов.

— Кто это вам сказал? — изумился Протасов.

— Сама бабушка.

— Ну, это настоящие бабушкины сказки!

Протасов огляделся кругом и заговорил вполголоса:

— К сожалению, дело обстоит далеко не так. Князь Александр чрезвычайно ленив. Его никакими канатами не притянуть к книге. Газету прочесть и то лень. У него одно на уме — веселиться и ничего не делать.

— Но все-таки чем-нибудь же он любит заниматься?

— Любимое его занятие — осуждать и высмеивать других. Вот передразнивать и притворяться Александр действительно мастер. Из него получился бы отменный актер.

— А нравом он как?

— Самолюбив и упрям. Недаром даже бабушка, для которой в Александре нет никаких изъянов, называет его «кроткий упрямец». Вообще императрица в нем души не чает. Своими неумеренными похвалами она и испортила его. Александр, мол, такой да Александр — этакой! А в результате — влюбленный в себя, своенравный и лживый мальчик! Да вот вы сейчас сами, Михаил Ларионович, увидите его за обедом, — с огорчением сказал Протасов и простился с Кутузовым.

За обедом Кутузов впервые увидел нового фаворита Екатерины II — Платона Александровича Зубова, бывшего конногвардейца, а теперь всесильного вельможу.

Своим появлением при дворе он был обязан хитрой лисе Николаю Ивановичу Салтыкову, у которого отец Зубова управлял поместьем.

Молодой конногвардейский ротмистр понравился стареющей, но пылкой императрице и в 1789 году, после Рымника, вошел в фавор. Двадцатипятилетний ротмистр Платон Зубов был в один день пожалован с великим Суворовым: Суворов за Рымникскую победу над турками — графом Рымникским, а Платон Зубов за «бескровную» победу во дворце — генерал-майором.

Зубов был небольшого роста стройный брюнет с злыми карими глазами.

Тут же, за императрицыным столом, Кутузов увидал обоих великих князей — Александра и Константина — и невесту Александра принцессу Луизу Баденскую.

В одном императрица оказалась права: Александр был рослый, красивый мальчик. Он походил лицом на мать, на вюртембергскую линию Марии Федоровны.

Его брат и неразлучный друг Константин больше напоминал голштинцев — своего отца Павла и деда Петра III: был так же мал, курнос и порывист.

Александр держал себя за столом хорошо, а Константин вертелся как юла, барабанил ножом по золотой тарелке, что-то выделывал под столом ногами, — видимо, лягал своего соседа — Льва Александровича Нарышкина. Николай Иванович Салтыков, сидевший напротив, не сделал проказнику ни одного замечания. Старый увертливый царедворец старался никогда не высказывать своего мнения. Он считал, что главная задача его как воспитателя состоит в том, чтобы уберечь молодых князей от сквозняка и засорения желудка. Не стоит с детских лет ожесточать горячего Константина и вооружать его против себя — не плюй в колодец, пригодится воды напиться!

Бабушка-императрица тоже, казалось, не видала ничего: она была увлечена зарождающейся на ее глазах молодой, неопытной любовью внука. Екатерина откровенно восхищалась обуревающими Александра чувствами, переживала всю их юную остроту.

Было странно видеть рядом две несовместные, несуразные пары: двух детей, всерьез стремящихся играть в любовь, и шестидесятитрехлетнюю женщину со своим двадцатипятилетним возлюбленным.

Михаил Илларионович заметил, что Платон Зубов с большим оживлением говорит с прелестной молоденькой принцессой, чем с величественной, но старой императрицей.

Александр же был всецело поглощен своей красавицей невестой, которая держала себя скромно и с достоинством. В детских голубых глазах Александра уже играли совсем не детские огоньки.

«Тебе бы, красавчик, следовало еще учиться, а не жениться!» — думал Кутузов, глядя на сластолюбивого мальчика.

III

На следующий день Михаил Илларионович поехал к «гатчинскому помещику» — так называл себя великий князь Павел Петрович после того, как в 1783 году поселился в Гатчине.

Императрица купила у Орловых мызу, расположенную в сорока двух верстах от Петербурга, и подарила ее наследнику. В стари-

ну мыза называлась «село Хотчино», но с годами название переделали в «Гатчину»; так показалось понятнее, потому что напоминало немецкое hat Schön[1].

Гатчина со своими живописными озерами, холмами и прекрасным парком была действительно недурна.

Павлу Петровичу Гатчина пришлась по душе, и он зажил здесь, уйдя в личную жизнь, потому что мать ревниво не допускала его ни до каких государственных дел. Поселившись в Гатчине, великий князь, при молчаливом попустительстве президента военной коллегии хитрого Николая Салтыкова, завел в Гатчине свое войско. Это стало главным занятием наследника престола, томившегося в безделье.

Павел Петрович был помешан на всем прусском. Он боготворил прусского короля Фридриха II, подражал ему в одежде, походке и хотел подражать даже в посадке на лошади, но ездил наследник хуже короля: робел. Свое гатчинское войско он обмундировал и обучал на старинный прусский лад.

Каждый въезжавший в гатчинские владения Павла Петровича словно попадал в другое государство. Все дороги перегораживали черно-красно-белые шлагбаумы с часовыми, окликавшими идущих и едущих: кто, куда, откуда? Там и сям торчали такие же полосатые будки и дорожные столбы. Встречные солдаты резко отличались по виду от солдат русской армии: они носили смешные, точно крысиные хвосты, косички, громоздкие, нелепые треуголки и были одеты в тесные, неудобные прусские мундиры времен Миниха.

Михаил Илларионович с иронической улыбкой смотрел на этот никчемный, пустой павловский маскарад.

Павел Петрович искренне обрадовался приезду генерала Кутузова.

— А кто-либо, кроме ваших домашних, знает, что вы, Михаил Ларионович, поехали ко мне? — спросил он. — Смотрите, не повредило бы это вашей карьере.

— Волков бояться — в лес не ходить, ваше высочество, — ответил Кутузов.

Ни для кого не представляло секрета, что в Гатчине было предостаточно шпионов императрицы. Михаил Илларионович понимал, что так или иначе, а завтра же Екатерина будет знать о его визите в Гатчину и, по всей вероятности, о всем том, что он будет здесь говорить.

Жизнь в гатчинском дворце не походила на жизнь Зимнего дворца в Петербурге.

В Петербурге были роскошь и великолепие, в Гатчине — суровая простота.

---

[1] Отличается красотой.

В Петербурге — легкомысленная непринужденность Версаля, в Гатчине — мещанская чопорность Потсдама.

В Петербурге царила атмосфера галантного алькова, в Гатчине — семейная, супружеская «тихая пристань».

Было странно, что петербургский разврат не коснулся Гатчины.

Несмотря на то что Павел Петрович с детства видел примеры легкого отношения к семье и браку, из него получился добродетельный муж и чадолюбивый отец.

Никита Иванович Панин, главный воспитатель мальчика-цесаревича Павла Петровича, гурман и сластолюбец, говорил у него за столом по преимуществу о женщинах. Эта тема была наиболее интересна Панину. Он позволял себе в присутствии мальчика касаться самых щекотливых вопросов, без стеснения рассказывал разные скабрезные истории. Так, например, Никита Иванович рассказал о том, как в Швеции за придворным столом зашла речь о «цитерном» мужестве. Все мнения сошлись на том, что в этом деле сильнее турок нет. А одна графиня, не покраснев, возразила: «На турок только слава, а я доподлинно знаю, что они не могут тягаться с русскими!!»

В другой раз за тем же обеденным столом наследника почтенные государственные мужи, не стеснявшиеся мальчика, стали разбирать физические достоинства актрисы Лагланд. Захарий Чернышев заметил, что он предпочитает полных, а Лагланд худа, как семь смертных грехов. И тут в разговор вдруг вмешался десятилетний Павел. Он сказал, вероятно, услышанную где-то фразу, не понимая ее скрытого смысла: «Лагландша потому худа, что прошла через несколько рук!» Это вызвало бурное восхищение почтенных воспитателей.

Мать Павла, императрица Екатерина II, тоже не всегда говорила с мальчиком о том, о чем следовало бы. Она с приятной улыбкой, словно беседовала не с сыном-ребенком, а с галантным принцем де Линем, допытывалась у Павла, которая из фрейлин ему больше всех нравится. И маленький Павел оказался тактичнее матери, ответил: «Мне все равны».

Дворцовая жизнь в Гатчине отличалась от дворцовой жизни в Петербурге, но в одном сохранялось сходство: и в Гатчине, и в Петербурге благоденствовали дворцы и бедствовали хижины.

После первых приветствий Михаил Илларионович стал поздравлять великого князя с рождением пятой дочери.

Павел Петрович улыбнулся:

— С дочерьми я догнал тебя, Михаил Ларионович, а вот с сыновьями — перегнал!

— Что же поделать, ваше высочество! — с шутливой виноватостью развел руками Кутузов.

Павел Петрович тотчас же спросил, как поживает Екатерина Ильинишна, как дети.

Михаил Илларионович поблагодарил великого князя за внимание, кратко сказал о своей семье. Затем он выразил соболезнование по поводу смерти младшего брата Марии Федоровны, вюртембергского принца Фридриха. Принц уехал летом 1791 года в армию Потемкина и скоропостижно умер в Галаце.

Павел заговорил о смерти Потемкина, который умер через два месяца после принца Фридриха. Потемкин присутствовал при отпевании, вышел из церкви, и ему вместо кареты вдруг подали к крыльцу погребальную колесницу, приготовленную для покойного принца. Потемкин в ужасе отшатнулся: он был чрезвычайно мнителен и суеверен.

Павлу Петровичу были близки переживания Потемкина, верившего во все таинственное.

— Это удивительно, непостижимо! — говорил он, шагая по кабинету прусским шагом.

Кутузов не находил в этом ничего удивительного — во всем был виноват разиня-церемониймейстер, — но смолчал.

Наследник с увлечением заговорил о своем войске, жалел, что Кутузов приехал поздно и не успел застать вахтпарад. И тотчас же сел на своего любимого конька — вспомнил о Фридрихе II.

Павел Петрович уважал Кутузова за то, что его когда-то принимал сам Фридрих II.

— Вам повезло, Михаил Ларионович: вы видели этого орла! — возбужденно говорил наследник, продолжая ходить по кабинету.

Кутузов невольно вспомнил сцену приема. Фридрих II вышел к русскому подполковнику со шляпой и костылем в руке. Синий мундир его был неряшливо засыпан нюхательным табаком. Голову этот «орел» держал не по-орлиному, а скорее по-вороньи — набок, направо.

— Да, имел счастие видеть короля, — ответил Кутузов, хотя и не разделял любви Павла Петровича к Фридриху II.

Павел Петрович стал превозносить прусскую линейную тактику. Михаил Илларионович слушал и думал: «Отстаешь, батенька, от жизни: ничего твоя линейная тактика не стоит!» Но из вежливости поддакивал и соглашался.

Затем Павел пригласил гостя к обеду.

Обед в гатчинском дворце был прост и скромен во всех отношениях. Великий князь ел не на золоте, как его мать, а на фарфоре: когда Павел Петрович путешествовал по Европе, ему в Берлине подарили саксонский сервиз.

Здесь за столом не слышалось фривольных шуток и каламбуров, как у императрицы Екатерины. Разговор был пристоен и тих.

Мария Федоровна, словно наседка любившая детей, подробно расспрашивала Михаила Илларионовича о его пяти дочерях.

Павел Петрович говорил о Турции, куда был назначен Кутузов.

Кроме известных Михаилу Илларионовичу приближенных «малого» двора — Бенкендорфа, Плещеева и фрейлин Нелидовой и Аксаковой, за обедом присутствовал незнакомый молодой капитан Аракчеев, которого Павел рекомендовал Кутузову.

— Это человек, умеющий, носить панталоны!

Так Павел Петрович называл людей с твердым характером.

Аракчеев был высок, жилист и сутуловат, с большими ушами и мясистым, некрасивым носом. В его серых, холодных глазах светилась хитрость. Всем своим обличьем капитан напоминал большерукую, нескладную, хотя и не лишенную некоторого ума, обезьяну.

«Ну и личико, — подумал Михаил Илларионович, глядя на капитана. — Не зря говорят, что в гатчинский гарнизон порядочные люди не идут! С такой физиономией только и насаждать тупую муштру!»

Аракчеев, видимо, чувствовал себя за великокняжеским столом не весьма удобно. Ел он жадно и некрасиво: дул на ложку, чавкал — не привык есть в таком обществе.

После обеда Павел Петрович пригласил Кутузова посидеть в библиотеке. У великого князя была прекрасная библиотека в сорок тысяч томов, купленная у президента Академии наук барона Корфа.

— Князь Репнин, ездивший послом в Турцию, рассказывал мне, что у турок вовсе нет книг, — сказал Павел Петрович, усаживаясь в кресло и закуривая. — Они думают, что книга служит лишь напоминанием о человеческой глупости, и потому читают один Коран.

— Да, ваше высочество, у них-то и грамотных, поди, днем с огнем не сыщешь, — сказал Кутузов.

Минуту сидели молча, курили.

— А вы знаете, Михаил Ларионович, со мной тоже случилось однажды таинственное приключение, — прервал молчание Павел Петрович (видно было, что вспомнившаяся нелепая история с Потемкиным не выходила у него из головы). — Я вам не рассказывал?

— Никак нет, ваше высочество.

— Так слушайте. Года два-три назад, ранней весной, мы как-то засиделись с Куракиным. Говорили о непонятном, таинственном. У меня вдруг разболелась голова. Я говорю: «Пойдем, князь, пройдемся по набережной инкогнито». Вышли. Идем как в дозоре: впереди, шагах в пяти, лакей, я, за мной Куракин, а за ним, в замке, — второй лакей. Ночь лунная, тени густые, странные. Идем. Вдруг вижу, слева в нише дома — высокий человек. Завернулся в плащ, шляпу надвинул на глаза, как испанец. Чуть я поравнялся с ним, он пошел рядом. Думаю: это какой-либо гвардеец для охраны. Никак не могу вспомнить, кто бы мог это быть такой высокий: Пассек не Пассек, Гагарин не Гагарин. Думаю: какой-нибудь правофланговый солдат. Шагает четко, но шаг тяжелый, гулкий. И чудится мне: левый бок мой стал холодеть. «Кто это?» — спрашиваю у Куракина. «Где, ваше высочество?» — «Идет слева от меня». —

«Слева от вас — стена дома. Человеку не пройти. А впереди — лакей!» Я протянул руку — правда: холодная стена... Идем. Спутник не отстает. И вдруг он заговорил. Я слышу глухой голос — рот у него закрыт плащом. Наглость — он осмелился назвать меня по имени: «Павел!» Я вспылил: «Что тебе нужно?» — «Павел! Бедный Павел! Бедный князь!» Я оборачиваюсь к Куракину: «Ты слышишь?» — «Ничего не слышу». — «Кто ты?» — спрашиваю у незнакомца. «Тот, кто принимает в тебе участие». — «Чего ты хочешь?» — «Хочу предостеречь тебя». — «От чего?» — «Если желаешь умереть спокойно, живи как следует!» В это время мы подошли к большой площади у Сената. «Прощай, Павел! Ты еще увидишь меня здесь», — сказал и приподнял шляпу. И я вижу: да это мой прадед, Петр Великий! Я вскрикнул от изумления. Куракин ко мне: «Что с вами?» Я оглянулся — прадед исчез. Я ничего не ответил Куракину, а скорым шагом во дворец. Я увидел прадеда на этом месте еще раз, когда матушка поставила ему памятник... Ну что вы на это скажете, Михаил Ларионович?

— Не следует много курить, ваше высочество, — с легкой улыбкой ответил Кутузов.

А сам невольно вспомнил рассказы Порошина, который в детские годы Павла был его воспитателем. Порошин всегда удивлялся впечатлительности и необузданной фантазии своего воспитанника.

Уже было совершенно темно, когда Кутузов, откланявшись, выехал из старомодной, странной Гатчины.

Глава седьмая

ПОСОЛ РОССИИ

В особливом уважении на усердную службу Вашу, многими отличными подвигами доказанную, избрали мы Вас к сему торжественному посольству.

Рескрипт Екатерины II Кутузову

Дипломатическая кариера сколь ни плутовата, но, ей-богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать как надобно.

Кутузов

I

Кутузов уже больше месяца жил в маленьком украинском городишке Елисаветграде: он задержался на пути в Константинополь.

Из Петербурга Михаил Илларионович выехал в конце февраля 1793 года со свитой торжественного посольства в шестьдесят во-

семь персон, воинскими командами и большим обозом, всего в шестьсот человек.

В Петербурге еще была настоящая зима, еще сердито завывали февральские метели, и Екатерина Ильинишна, провожая мужа, уговаривала, чтобы он повязал шею пуховым шарфом; а в Москве по-весеннему глянуло солнышко, с крыш застучали капели, и все шарфы оказались лишними.

И чем дальше продвигались на юг, тем становилось теплее. Из саней пришлось пересесть в коляску. С каждым днем было труднее ехать, снег стаял, дороги раскисли.

По Украине шла буйная, веселая весна.

Посольский обоз еле тащился и наконец застрял где-то в пути. А Михаил Илларионович торопился.

По Ясскому мирному договору 1791 года в пограничном городке Дубоссары на Днестре должен был состояться размен послов: Кутузов из Дубоссар направлялся в Константинополь, а турецкий посол беглер-бей[1] Румелии Рашик-Мустафа-паша — в Петербург.

Только в половине апреля посольство доставилось в Елисаветград.

До Константинополя было еще так далеко, а уже обнаружилась вся сложность миссии Кутузова.

Михаил Илларионович помнил обыкновение турок презрительно относиться ко всем немагометанам, помнил их всегдашнее стремление унизить «франка», если только он допустит это.

От мелочно-щепетильных турок можно было ждать любого подвоха. Кутузову рассказали, сколько пришлось его предшественнику князю Репнину в посольство 1775 года выказать твердости, чтобы удержать турок на должном месте.

Ближайшая задача Михаила Илларионовича была: выдержать характер, не отступать ни на йоту от условий, на которых договорился Николай Васильевич Репнин.

У турок еще не были готовы перевозочные средства, они, как обычно, делали все в самую последнюю минуту, но и у Кутузова еще не прибыл обоз. Приходилось ждать.

Было томительно сидеть в пыльном, скучном селе, которое пышно именовалось «городом», «крепостью святой Елисаветы».

Все эти посольские «дворяне», офицеры для посылок, квартирмейстеры, ванегмейстерские помощники и прочие чины, в большинстве своем состоявшие из офицеров армии и флота, от тоски и безделья потихоньку дулись в карты да любезничали с горожанками.

У самого Кутузова дел было мало. Небольшая дипломатическая переписка, которую он вел с Петербургом и поверенным в де-

---

[1] Беглер-бей — губернатор.

лах в Константинополе полковником Хвостовым, отнимала у него немного времени. Вечера оставались совершенно свободными.

К Михаилу Илларионовичу приходили посидеть за чайком приятели — генерал-аншеф Петр Богданович Пассек, который был назначен «комиссаром» проводить со стороны России размен послов, и генерал-майор Илья Андреевич Безбородко, брат министра иностранных дел, старый боевой товарищ Кутузова. Безбородко считался «первым приставом посольства»: на его обязанности было сопровождать турецкого посла в Петербург.

Обычно они заставали у Михаила Илларионовича его ученика и давнего сослуживца секунд-майора Бугского егерского корпуса Павла Андреевича Резвого, заведовавшего в свите царскими подарками, и советника посольства Николая Антоновича Пизани.

Кутузов приглашал Пизани потому, что Николай Антонович несколько лет прослужил первым драгоманом в Константинополе и превосходно знал быт и нравы турок. Михаил Илларионович хорошо изучил турок на поле сражения, но в мирной обстановке знал мало и хотел узнать их и с этой стороны.

— Вам, Михаил Ларионович, надо уже пить не чаек, а кофе потурецки — без сливок и сахара, — сказал в один из вечеров Пассек, принимая от кутузовского денщика стакан чаю.

— А почему это турки, словно наши московские барыни, так любят кофе? — подумал вслух Кутузов.

— Для мусульман кофе не просто напиток, а «капля радости», «отец веселья». Турки считают, что кофе открыл Магомет, — ответил Пизани.

— Хорошенькая радость! От кофе только сердцебиение, — скривился Безбородко.

— Да и аппетита никакого...

— Арабское слово «кафе» и значит «лишающий охоты к еде», — объяснил Пизани.

— Что ж, — вздохнул Михаил Илларионович, — придется пить кофе и есть барашков, а я баранины не люблю.

— Телятина, конечно, лучше, — улыбнулся Пассек.

— Турки не едят ни свинины, ни телятины, — напомнил Пизани.

— Может быть, так не едят, как не пьют вина? — язвительно заметил Безбородко. — Николай Васильевич Репнин рассказывал, что в Константинополе расходуется вина больше, чем в Париже.

— Я никогда не слыхал у турок веселых песен, — сказал Кутузов.

— Когда пьяный осман поет, он вздыхает до слез! — поправил Пизани.

— Не всякий пьяница весел. Турок вообще угрюм как сыч. Угрюм и ленив, — отрезал Пассек, не питавший большого расположения к ним.

— Не знаю, как в мирной обстановке, а в бою турок не ленив, — возразил Кутузов.

— Да, в бою он деятелен и жесток! — поддержал Безбородко. — Это мы хорошо видели в Измаиле.

— Турок очень сострадателен, — защищал османов Пизани.

— К кому?

— К животным...

— Видал я, как они колотят осла, когда осел не хочет тащить непосильную кладь.

— Кажется, турки любят детей, — вставил Резвой.

— Турки ценят только мальчиков, — повернулся к Резвому Пизани. — Ежели турок скажет, что у него трое детей, это значит — у него трое мальчиков. Девочки в счет не идут.

— Тогда мне с моими пятью дочерьми придется говорить, что я — бездетный, — улыбнулся Кутузов.

— Говорите — пятеро детей, кто в Константинополе проверит? — пошутил Безбородко.

— Найдутся. Первый — английский посол сэр Энсли. Он обо мне успеет все узнать, пока дотащимся... До смерти надоело ждать!

— Да, всем невмоготу. Давеча я смотрю, наши офицеры режутся со скуки в картишки. Что ни день — поминают царя фараона! Даже зависть берет! — сказал Безбородко.

— Что и говорить: фараон вещь приятная! — оживился Пассек.

Петр Богданович Пассек был завзятый игрок. О его страсти ходило много разных рассказов. Особенно был известен такой. Однажды, проиграв за ночь десять тысяч, Пассек под утро задремал у стола. Ему приснился старик, который сказал: «Пассек, ставь три тысячи на тройку. Она тебе выиграет три раза сряду!» Проснувшись, Пассек поставил на тройку три тысячи — и выиграл три раза.

У себя в Могилеве Пассек все вечера проводил за зеленым столом и как-то выиграл в карты у майора Салтыкова его жену Марью Сергеевну, и теперь в Елисаветграде скучал без нее.

В конце апреля турки предложили перенести пункт размена послов из Дубоссар, как было раньше условлено, в Бендеры.

Это предложение исходило не столько от них, сколько от князя молдавского, который хотел, чтобы размен состоялся не на его территории. Князь боялся излишних расходов по содержанию большой, прожорливой свиты Рашик-Мустафы.

Разница в расстоянии была невелика — около двадцати верст, но Кутузов не мог согласиться на это: казалось бы, что Россия уступает турецким настояниям, боится их.

Михаил Илларионович не забыл инструкции, данной ему Екатериной II. В ней говорилось:

«...не должно Вам соглашаться ни на какое снисхождение, от которого могло бы уменьшено быть достоинство и уважение, подобающее величию нашей империи и званию, на Вас возложенному, наблюдая напротиву того, чтоб весь церемониал точно и без малейшего упущения исполнен был».

Кутузов от предложения князя отказался.

И турки волей-неволей стали готовиться к переправе у Дубоссар, а Кутузов по частям отправлял туда воинские команды и свиту и в ночь на 19 мая выехал сам: условились окончательно, что размен послов произойдет 4 июня на середине Днестра.

В последний момент турки предложили, чтобы церемония размена обязательно происходила на их плоту.

— Пусть сделают и украсят плот они, — согласился Михаил Илларионович, — но к плоту подъезжать и входить на него одновременно — мне и Рашик-Мустафе.

Турки не возражали против этого.

II

У дубоссарских ребятишек никогда еще не было стольких развлечений, как в эту весну.

Сперва на противоположном, правом берегу Днестра появились турки — запестрели палатки, замелькали резвые всадники.

Турок теперь не боялись: уже прошло около двух лет с тех пор, как с ними был заключен вечный мир.

Турки купали в Днестре коней, конопатили и смолили лодки, пригнанные откуда-то, строили паром, — видимо, собирались переправляться на русский берег.

В Дубоссарах давно прошел слух, что отсюда турецкий посол поедет к царице.

Потом по шляху из Елисаветграда стали прибывать русские войска. Вот с песнями пришли мушкатеры, стали размещаться по хатам и рассказали хозяевам, что в воскресенье 4 июня на плоту на середине Днестра (чтоб ни нашим, ни вашим!) встретятся послы: русский, который живет в Елисаветграде, и турецкий. Русский поедет в Турцию к султану в гости, а турецкий — в Россию к царице.

Мужики обсуждали это предстоящее событие:

— Побачимо, чий краще: турецкий або наш.

— Турецкий, кажуть, паша...

— А наш — царицын сват.

— Какой сват? — вмешался мушкатер. — Не сват, а генерал-майор Кутузов.

— Вот я ж и кажу: генерал, да еще и майор...

— Генерал Кутузов. Одним словом, туз!

— А правда, что у него одного ока нема?

— Чтоб еще у твоих внуков были такие светлые очи, як у Кутузова!

Затем в одно утро в город въехали легкие, пестрые, как петухи, гусары. А на следующий день появились на больших белых конях, в белых мундирах грузные, словно откормленные гуси, кирасиры.

Глядя на них, крепких и ладных, старики говорили:

— Ишь гладки! Мабудь, их гарно кормят!

— Та ж яка у них работа? Коня почистить да щеки себе выголить.

За кавалерией, подымая по дороге пыль, протарахтели десять пушек. Их медь горела как золото.

Дубоссарцы всполошились: а пушки зачем? Уж не война ли снова?

Но их успокоили солдаты:

— Салют отдавать турецкому послу.

— Ему бы и одной хватило, зачем же десять?

— Такая, братику, форма!

Последним притащился обоз. На подводах лежало обычное: палатки, мешки с провиантом, котлы, солдатская «худоба». Но четыре фуры были наглухо закрыты, и в них день и ночь сидело по два солдата с ружьями — один спереди, другой сзади.

Объяснилось и это: в фурах везут подарки султану.

— Что ж, мы побили турка да мы же и подарки ему везем?

— Э, не понимаешь! Наш посол в гости к ним едет — царица гостинец султану шлет.

— Не была б жинка: хитрая.:.

— И салтан нашей царице что-сь пришлет.

— Побачимо!

А через день в Дубоссары приехал какой-то важный, громадного роста генерал со свитой. Он остановился у обер-провиантмейстера Зимина, дом которого, весь в вишеннике, стоял на дороге из Дубоссар к Днестру.

Все думали, что приехал наш посол, но солдаты объяснили: этот великан — генерал-аншеф Пассек, белорусский генерал-губернатор. Он назначен комиссаром от царицы при размене послов.

— А-а, вш вроде дружка чи свата! — догадались крестьяне.

Генерал Пассек поехал с офицерами к самому берегу реки, где стояли десять пушек, что-то говорил, указывал.

После его отъезда к берегу пришел обоз, и солдаты начали расчищать место и ставить палатки: здесь комиссар Пассек будет принимать своего и турецкого послов. А на реке сделали пристань и приготовили паром и лодки для перевоза.

Но самое интересное настало в воскресенье 4 июня. С утра ребятам — хоть разорвись: у реки было на что поглазеть, а у дома обер-провиантмейстера Зимина — и подавно.

В ставке генерала Пассека лакеи накрывали парадные столы для завтрака, убирали ветками палатки.

Турецкий и русский паромы для перевозки экипажей, повозок и воинских команд были наготове.

Посреди Днестра виднелся турецкий плот, на котором условились встретиться послы. Турки покрыли его дорогими коврами, и он чуть покачивался на реке, словно какой-то необычайно яркий цветок. На ковре стояли друг против друга два кресла, а за ними несколько скамеек, закрытых парчой.

Турецкие челноки сновали взад и вперед по реке, приставали к левому берегу, турки говорили с русскими солдатами-лодочниками.

Переводчик-татарин спрашивал у русских солдат:

— Правда ли, что у вас даже бабы пьют вино?

— А почему бы им не пить? — улыбался мушкатер.

— Только поднеси, осман, увидишь, как хлещут!

— Говорят, пьют оттого, что ваша сторона сильно холодная. У вас самый край земли. Туда и солнце мало достает. Если б народ не пил, так вымерз бы с корнем!

Мушкатер подмигнул товарищам и сказал:

— У нас холодно, это верно: вот борода у человека как обмерзнет зимой, так и до лета не оттает. Оттого у нас и бороды светлее ваших...

Турки смотрели исподлобья, молча курили, а русские солдаты весело пересмеивались.

Ребятишкам интересно потолкаться на берегу.

Всю дорогу на добрые полверсты заняли конные и пешие солдаты и разные посольские служащие в парадных кафтанах и париках.

Какой-то подполковник, сидя на лошади, устанавливал порядок шествия к берегу посольской свиты:

— Фурьеры, становись сюда, перед кирасирами! Господа переводчики, вы за пехотой. Антон, подавай карету! Так. За каретой господин шталмейстер. Лакеи, официанты, метрдотель, вот ваше место!

Ребята смотрели и не понимали, кого так мудрено называет подполковник.

За красивой — вся в стеклах — каретой становились не то бабы, не то мужики: в красных, расшитых шелковых кафтанах, на голове шляпа, а из-под шляпы торчит косичка.

Их тотчас же заслонили всадники.

Захотелось побежать и посмотреть: а что делается теперь на турецком берегу?

И вдруг ударила пушка.

Ей тотчас же ответили с турецкой стороны.

Все конные и пешие, растянувшиеся по дороге от дома Зимина, зашевелились.

Мальчишки побежали по обочине дороги, крича:

— Пойихалы! Едуть!

Вдоль дороги стояли толпы народа. Мужики, бабы, разряженные, перешептывающиеся между собою девчата.

Впереди всех ехал, важно упершись одной рукой в бок, молодой офицер. За ним — два солдата со значками, а потом, как белая каменная стена, кирасиры.

— Бач, бач, гарный!

— Который?

— О, той, что поглядае...

— Вiн до нас заходил напиться.

— Та шо ты!

Загремели трубы, ударили барабаны. За кирасирами шли музыка и пехота: ать-два, ать-два! Как одна нога!

Ребята бежали рядом с оркестром. А за пехотой медленно ползла карета, окруженная гусарами. В карете сидели какие-то важные господа. Один — видать, не русский — смотрел по сторонам с такой миной, будто у него живот схватило и он только выбирает место, где бы выскочить...

Деды и бабы кланялись карете в пояс:

— Мабудь, сам посол! Туз!

А за каретой ни с того ни с сего, как за телегой цыгана, табун коней. Сытые, вычищенные — так и лоснятся.

— Кони. Як на ярмонке!

— А воны куды ж?

— Туркам.

— У турка кони краше.

— Вот нам бы таких по одному!

За лошадьми — пешие и конные. Кто из них военный, кто — так, не разберешь.

И опять карета, но уже запряженная шестериком. На запятках пажи, а гайдуки по бокам. И кругом нее — гусары. Деды и бабы опять кланялись до земли. Ребята бежали, старались рассмотреть посла, но в карете сидели двое: оба толстые, оба в треуголках, у обоих лента через плечо и на груди как жар — ордена.

Вот уже и река.

На турецком берегу тоже двигалась к реке пестрая, цветистая толпа. Слышалась дикая турецкая музыка. Все заглушали барабаны.

И вдруг над русским берегом блеснул огонь и разом ударило десять пушек. Бабы и девки шарахнулись в сторону. Кто присел, кто стоял зажав пальцами уши.

Торжественная процессия подошла к комиссаровой ставке.

Генералы вылезли из кареты. Офицеры слезли с лошадей. Все пошли к палаткам. А войска и кареты стали съезжать на паром. Турецкая свита и повозки тоже собрались на своем пароме отчалить от берега.

Пока на пароме перевозили свиту Кутузова, слуг и команды на турецкий берег, комиссар Пассек угощал посла завтраком.

На русский берег стала выгружаться свита турецкого Рашик-Мустафы-паши в смешных высоких шапках и цветистых чалмах.

— Повозки у них поганые, а кони — гарные! — оценивали дубоссарцы, глядя без особого удовольствия на гостей.

Но вот паромы перевезли всю свиту: турки табунились на русском берегу, русские стояли на турецком. Тогда снова прогремела пушка. Турки ответили тем же.

Из ставки вышел высокий комиссар Пассек. Рядом с ним шел среднего роста полный генерал. А за ними человек десять офицеров.

— Посол! Посол!

Они не спеша спустились к пристани, где ждали лодки, и поехали к плоту.

Турки на своей стороне делали в точности то же.

— Везут, как жениха к невесте!

Русские и турецкие лодки одновременно пристали к плоту. Послы в одно время взошли на плот, сели в кресла друг против друга. Комиссары послов сели чуть сзади, свита за ними.

С берега смотрели, что будет дальше:

— Говорят.

— Да еще и как!

— И понимают?

— А переводчики на что?

Послы беседовали недолго. Разом встали. Каждый комиссар взял своего посла за руку и подвел к другому.

— Знакомятся.

— Пошли к лодкам. Садятся.

— Едут!

И снова с обоих берегов грохнули пушки и загремела музыка, встречая именитого посла.

Через несколько минут послы одновременно ступили на чужую землю.

III

Русскому посольству наскучило тащиться по скверным турецким дорогам в Константинополь.

Ехали чрезвычайно медленно: всюду подолгу ждали, пока турки соберут подводы. Немало задерживали пышные встречи, которые устраивались везде русскому послу.

Эти парадные встречи надоели всем до смерти. Толмачи и повара, швейцары и актуариусы[1], пажи и скороходы давным-давно заучили, после кого им положено следовать в шествии. Надоело

---

[1] Актуариус — чиновник, ведавший актами.

наряжаться во все парадное, а затем через час снова чиститься: стояла жара, было очень пыльно.

Михаил Илларионович в менее важных пунктах частенько прикидывался больным, и вместо него в этих церемониях отдувался маршал или первый секретарь посольства.

Вообще же в свите было много по-настоящему больных. Скверные продукты, доставляемые турками, обилие фруктов, на которые набросились северяне, — все это вызывало поносы. А чем ближе продвигались к Дунаю, тем больше становилось больных лихорадкой.

Хорошо, что нигде по дороге не встречали чумы.

У Михаила Илларионовича уже хватало работы: в его руках сосредоточивалась вся русская политика на Босфоре. Он держал непрерывную связь с Петербургом и поверенным в делах в Константинополе полковником Хвостовым.

Главная задача Кутузова в Турции была на первый взгляд проста. В секретной инструкции, данной Кутузову Екатериной II, было о Турции сказано:

«Иного от нее не требуем, как точного исполнения постановленных между нами соседственных и торговых условий, при чистосердечном с ее стороны попечении отвращать все, что тишину и безопасность границ наших колебать может».

Кутузову предписывалось устранять во взаимоотношениях России и Турции все то, что «остуду родить может».

В Турции царствовал умный Селим III, который начал реформировать армию и флот. Его считали ниспосланным для того, чтобы возвеличить Турецкую империю. Так якобы предсказал придворный астролог.

Но в коллегии министерства иностранных дел России верили больше в «астрологов» из английского и французского посольств и потому предупредили Кутузова, чтобы он установил, не являются ли эти реформы результатом «подущений министров других держав, нам завиствующих».

Вот уже вынырнул старый знакомец Михаила Илларионовича — Анжели: Кутузову донесли, что Анжели собирается приехать в Таврию.

Михаилу Илларионовичу было указано внимательно следить за военными приготовлениями Порты и извещать обо всем Суворова и вице-адмирала Мордвинова, командующих сухопутными и морскими силами на Черном море.

Кутузов в пути тщательно собирал сведения. Особых приготовлений нигде не было заметно. Правда, к Измаилу из Молдавии везли лес, понемногу обновляли внешние и внутренние палисады, а в Бендерах работало триста человек, но во всех этих крепостях и гарнизон и артиллерия были весьма малочисленны.

Только 12 августа Кутузов, при пушечной пальбе, переправился на двух галерах через Дунай.

Дальше шли собственно турецкие города. Они все были похожи друг на друга. Те же извилистые, грязные улочки, те же дома, напоминающие ящики (на улицу выходили только стены без окон), те же минареты, стоящие среди нагромождения домов, как неусыпные часовые, те же фонтаны, осененные плакучими ивами. Улицы чередовались с кладбищами, утопавшими в зелени кипарисов.

И по турецкой земле поехали не быстрее, чем ехали по Молдавии и Валахии.

Только в начале сентября проехали Адрианополь, а в воскресенье 25 сентября увидали минареты Стамбула, как турки называли свою столицу.

На последней станции у Константинополя Кутузов хотел немного отдохнуть и осмотреться перед въездом в столицу, но сопровождавший русское посольство двухбунчужный паша стал просить Кутузова обязательно въехать в Стамбул в понедельник 26 сентября.

— Что он, так соскучился по своим женам, что не может обождать одного дня? — спросил у переводчика Михаил Илларионович.

— Ваше превосходительство, он говорит, что у них вторник считается несчастливым днем.

— А у нас как раз понедельник тяжелый день, — заметил бывший при разговоре секунд-майор Резвой.

— Пусть турки боятся своих несчастливых дней, а нам не пристало. Хотят, чтобы мы въехали в понедельник, — извольте, въедем, — ответил Михаил Илларионович.

И русское посольство торжественно въехало в Стамбул в понедельник 26 сентября.

Вместо положенных шестидесяти дней пути русское посольство ехало от границы до Константинополя сто четырнадцать дней.

IV

Константинополь встретил Кутузова не только со всеми почестями, какие были обусловлены князем Репниным, но даже еще пышнее.

«Наружная вежливость министерства оттоманского противу меня и свиты моей превзошла некоторым образом мое чаяние», — писал Кутузов императрице.

Прусский и неаполитанский послы, благожелательно относившиеся к России, встретили Кутузова на последней станции перед Константинополем, а остальные только присутствовали при въезде русского посольства в столицу Турции.

На следующий день с утра к Кутузову явился чиновник великого визиря узнать о здоровье почетного гостя и передать ему подарки. Затем стали приезжать с визитом послы.

И только после обеда Кутузов смог уединиться с поверенным в делах, полковником Александром Семеновичем Хвостовым.

Хвостов познакомил чрезвычайного посла с людьми, с которыми ему предстояло иметь дело, и обрисовал всю обстановку.

Кутузов знал, что положение простого народа в Турции ужасно: деревня разорена непосильными налогами и взяточничеством алчных чиновников. Нищую турецкую деревню Михаил Илларионович видел собственными глазами во время трехмесячного пути из Дубоссар в Константинополь.

Но Хвостов дополнил эту картину. Он рассказал, что всего у турок насчитывается девяносто семь разных налогов, что существуют такие нелепые налоги, как «за воздух» или «за зубы» — вознаграждение чиновникам за то, что они во время командировок в деревни изнашивают свои зубы.

Крестьяне день и ночь изнывают в работе, чтобы только рассчитаться с податями. Многие бегут, бросая все.

— А что же султан? В чем же его реформы? Ведь от него ждут, что он вознесет Порту? — спросил Михаил Илларионович.

— Селим Третий не Гарун-аль-Рашид: он не интересуется, как живет народ. Его больше тревожат военные неудачи и пустая казна. Он реформирует армию и флот.

— Вероятно, он обыкновенный восточный деспот, жестокий и грубый?

— Нет, наоборот: Селим — образованный человек, любит музыку и поэзию, пишет стихи. А характер у него мягкий, безвольный.

— Выходит, как в поговорке: «От добрых людей мир погибает»? — улыбнулся Михаил Илларионович. — А кто же пользуется у него влиянием? Наш друг — великий визирь, кажется, не очень в фаворе?

— Да, султан не больно жалует этого Рашид-эфенди, — ответил Хвостов. — Первый друг его — сверстник и шурин капудан-паша Гуссейн, прозванный «Кючук».

— Что это значит «кючук»?

— Маленький. Гуссейн — коротышка. Он мало участвует в делах, живет в свое удовольствие, кутит. Говорят, он уже промотал три миллиона пиастров. Его не любят два главных лица в правительстве — министр иностранных дел Рашид-эфенди и Юсуф-ага.

— А Юсуф-ага кто? — расспрашивал Кутузов.

— Юсуф-ага — это «кяхья», гофмаршал султанши-матери, которая по-турецки называется «валиде». Валиде — большая сила.

— У турок испокон веков все дворцовые козни и интриги выходят из недр гарема. И, конечно, эта валиде, как мать султана, первое лицо в гареме? Какая она, очень старая?

— Совсем нет, — сказал Хвостов. — Султану ведь всего тридцать два года, стало быть, матери лет пятьдесят. Видно, была когда-то красивая женщина. Она родом из Грузии. Валиде имеет большой вес, но первое лицо в гареме не она, а кызлар-агасы, то есть «начальник девушек», а попросту начальник черных евнухов, стерегущих гарем. В его ведении весь гарем и личная казна султана. Предшественник нынешнего кызлар-агасы, Бешир, фактически правил государством. Его купили в Эфиопии за тридцать пиастров, а когда Бешир умер, то состояние покойного кызлар-агасы оценивалось в тридцать миллионов пиастров. Вот что значит «начальник девушек».

Кутузов внимательно слушал Хвостова и думал: «Надо постараться не ссориться с этим черным евнухом. И хорошо, что я догадался еще из Ясс отправить царице просьбу прислать для валиде дорогой эгрет!»[1]

Спросил у Хвостова:

— А как же драгоман Порты, господин Мурузи, такой же прохвост, как и его братец, князь Валашский? Тот все норовит учинить нам какую-либо пакость.

— Коварен и подл. Не зря же он родом из Фанары, квартала в Константинополе, где живут греки. Прусский посланник Гаффон метко сказал: «Фанара — университет подлости».

— А как турки относятся к тому, что во Франции республика? — спросил Михаил Илларионович немного погодя.

— Турецкие риджалы[2] расценивают французскую революцию как благоприятный факт: устранена опасность франко-русско-австрийского союза. Великий визирь сказал: «Хорошо, что во Франции республика: ведь республика не сможет жениться на австрийской эрцгерцогине!» А французские агенты постарались уверить турецкое духовенство, что раз во Франции покончено с христианской религией, то, значит, французы стали ближе к магометанам.

— Недурно придумано, — усмехнулся Михаил Илларионович.

Кутузов беседовал с полковником Хвостовым до ночи. Когда Хвостов ушел, Михаил Илларионович вышел на балкон.

Над Константинополем и проливом плыла полная луна. С балкона открывался великолепный вид. Внизу, у ног, лежали Пера и Галата, где живут «франки». За Галатой тихо плескались воды залива Золотой Рог. Теперь, в свете луны, он был сверкающим, серебряным. А за ним простерся сам Истамбул: плоские турецкие крыши, высокие минареты, разнообразные купола, блестящие позолотой, и купы деревьев.

---

[1] Эгрет — страусовое перо, украшенное драгоценными камнями.

[2] Риджалы — сановники.

Вот голубоватая в лунном сиянии громада сераля — дворца султана. Здесь живут его жены, наложницы, евнухи и бесчисленные слуги — все эти нелепо-странные хранители парадной султанской шубы, обрезыватели султанских ногтей, сторожа султанского попугая. А вот купол Айя-Софии, обставленный с четырех сторон стройными, как свечи, минаретами.

Но над всем Константинополем на холме возвышаются громоздящиеся друг на друга купола грандиозной мечети Сулеймание. Они кажутся выточенными из слоновой кости. А там, за мысом Сарай-бурну[1], раскинулось Мраморное море, и за ним смутно темнеют очертания гор азиатского берега. Как из сказки «Тысяча и одна ночь».

Приятно посидеть в такую мягкую лунную ночь, но еще ждут дела — надо написать письма.

Михаил Илларионович вернулся к себе в кабинет. Взглянул на подарки великого визиря, лежащие на столе, и подумал о жене.

«Табакерка с алмазами ее, пожалуй, не заинтересует. И мыло адрианопольское, хотя считается лучшим. Катенька моет лицо хлебным мякишем, говорит — лучше всякого мыла. А вот девять кусков шелка из Алепо разных цветов на девять платьев — это доставит удовольствие!.. Модница! Кокетка!» — снисходительно улыбнулся Кутузов и стал писать письмо жене.

V

Осмотревшись в Константинополе, Кутузов начал устанавливать непосредственные взаимоотношения с турецкими сановниками. Он делал это по восточному обычаю: рассылал им подарки.

Еще в пути приходилось обмениваться подарками с местными властями, но там попадалась одна чиновничья мелкота, и дары поэтому были незначительные: серебряная табакерка или мех лисицы-сиводушки.

Правда, в Яссах секунд-майору Резвому пришлось вынуть из заветных посольских сундуков золотые вещицы: господарь Молдавский, относившийся неприязненно к русским, хотел теперь подольститься к посольству и не поскупился на подарки. Кутузов приказал отдарить господаря, «дабы не дать ему превозмочь нас в щедрости и великолепии» — как написал царице в своем отчете Кутузов.

Михаил Илларионович очень беспокоился об одном — не задержали бы присылку эгрета для валиде, — он хотел поскорее послать подарки матери султана.

Эгрет доставили быстро, и Кутузов отправил к валиде первого секретаря посольства, секретаря ориентальных языков Занети и

---

[1] Сарай-бурну — дворцовый мыс.

секунд-майора Резвого в сопровождении нескольких офицеров, или, как они официально именовались, дворян посольства.

Троюродный племянник Михаила Илларионовича Федор Кутузов попросил дядюшку назначить и его в число офицеров, сопровождавших подарки султанше.

— Надеешься увидеть султанских жен? — улыбнулся Кутузов. — Поезжай. Только пусть Николай Антонович Пизани научит, как держать себя у турок за столом. Ты же с турками никогда дела не имел.

Пизани отвел Федю Кутузова в сторону и стал поучать восточному этикету:

— Сидят у турок на том, на чем стоят, но не всегда одинаково. Запомните: равный перед равным сидит, скрестив ноги. Колени у него далеко впереди: захочет — обопрется о них. Младший же перед старшим сидит на пятках. Вот сначала станьте на колени, а потом сядьте. Тут колени должны быть обязательно чем-либо закрыты, полами одежды, что ли. За столом старшему гостю подадут подушку, чтоб удобнее было сидеть. А ежели вы чином ниже майора, то садитесь прямо на ковер!

— А как же садиться со шпорами? — спросил Федя Кутузов.

— Ложитесь на бок, а ноги отбросьте подальше за фронт. Пусть не ведают ноги, что творят зубы! Потом запомните: если станут угощать вареньем с холодной водой — это у них первое угощение, — то возьмите одну ложечку варенья, а не накладывайте его, как кладут у нас в чай — ложку за ложкой.

Федя Кутузов внимательно выслушал наставления советника посольства, посланцы оделись в парадные мундиры, Резвой взял подарки, и они отправились.

Посланные к султанше пробыли в гостях несколько часов.

Валиде осталась чрезвычайно довольна подарками и приняла русских с большим почетом.

Михаил Илларионович подробно расспросил своих о приеме:

— Ну что, видали мать султана?

— Видали, — ответил первый секретарь. — Представительная женщина. Должно быть, когда-то была писаная красавица.

— Лет восемьдесят тому назад, — вставил Федя Кутузов.

Он был недоволен, что, кроме Михр-и-Шах, не видал ни одной женщины.

— Что, Федя, — спросил Михаил Илларионович у племянника, — султанских жен видел?

— Как же, увидишь! Они за семью замками!

— А угощали вас хорошо?

— Неплохо. Арапы то и дело носили на головах золотые блюда. Я со счету сбился. И все вперемешку: суп после варенья, жаркое после пирожного. И ни ножей, ни вилок — все берут пальцами.

— А суп как же?

— Ложку дали. И ложка какая-то странная: стебель у нее длинный, а сама неглубокая, плоская. Кашу есть этакой удобно, а суп — рука заболит носить от чашки ко рту.

— Зато красивая — вся украшена драгоценными каменьями, — прибавил Резвой.

— А когда подали фрукты, этот турок, что угощал нас, откусил персик и протянул огрызок Павлу Андреевичу. Я бы ни за что не взял. Точно кусок с барского стола! Он, этот важный турок, видно, никогда не читал «Правил учтивости».

— Нет, — улыбнулся Пизани. — Правила учтивости у них иные! Это у турок особое уважение к гостю. Не взять нельзя: обидишь хозяина.

— Да пропади он пропадом, чтоб я ел его огрызок!

— Ничего не поделаешь — обычай!

— Ну, и чем же все-таки угощали вас? — продолжал расспрашивать Кутузов.

— Сыр вроде с какими-то нитками, рыба соленая-пресоленая, зелень наподобие бурьяна, фрукты вареные. Потом поставили эту... как ее... каурму. До чего противная, приторная! Вот только каша рисовая с изюмом и была хороша: белая как снег.

— Это называется — пилав, — объяснил Пизани. — Он у турок за обедом так же необходим, как имя Аллаха, как трубка в беседе.

— По-турецки, может, пилав, а по-нашему — кутья, ее на поминках едят, — сказал Федя Кутузов.

— Знаете, ваше высокопревосходительство, — обратился к Кутузову Пизани, — как подали каурму, наши господа дворяне и нос заворотили, а чуть увидали пилав — и ну грабастать его по полной чашке. Им и невдомек, что каурма приготовлена во вкусе шаха персидского и что пилав перед ней как холоп перед боярином!

— А что же пили, Федя? — спросил Михаил Илларионович, зная, что Федя может неплохо выпить.

— Э, дядюшка, ерунду. Поили, как детей, холодным кваском. Квасок такой, квасок этакой...

— Не квасок, а шербет. Подавали разные шербеты. Шербет малиновый, шербет ананасовый, шербет вишневый, — поправил Пизани.

— Ну пусть шербет. Он вкусен, да отдает этой розовой водой. Она у них всюду: и руки после еды моют розовой водой, и в соус прибавляют розовую воду. Особенно противна она с мясом, — сморщился Федя Кутузов.

— Все-таки попробовали турецкого угощения, будете теперь знать и хвастаться дома, — сказал Михаил Илларионович, оканчивая легкий разговор.

Один из самых важных визитов, значит, прошел хорошо. Надо было готовиться к церемониальной встрече с великим визирем и к аудиенции у султана.

До сих пор все церемонии проходили без споров, а тут вдруг возникли затруднения из-за шубы.

По установленному этикету великий визирь должен был передать от султана русскому послу в подарок соболью шубу. Дорогая шуба и оседланный конь считались самыми почетными наградами султана. Чингисхан награждал когда-то тулупами.

Турки настаивали, чтобы Кутузов принимал эту шубу стоя, а Михаил Илларионович отвечал, что в таком случае пусть одновременно с ним встанет с места и сам великий визирь.

Юсуф-паша не соглашался.

Было похоже на детскую размолвку в игре, но Кутузов понимал, что, если он проявит даже в такой мелочи уступчивость, турки сочтут это за слабость и постепенно начнут оспаривать пункты самого «вечного» мира.

И он твердо стоял на своем.

Спор тянулся десять дней.

Турки доказывали, что князь Репнин вставал, когда на него надевали шубу, что сидя надеть шубу невозможно, но Кутузов не уступал. Наконец султан велел оставить все на усмотрение русского посла. Великий визирь так и передал Кутузову через драгомана, что «убежище мира (то есть султан) хочет поскорее запереть дверь раздоров».

Аудиенцию у великого визиря назначили на 29 октября.

VI

Утром 29 октября к дому русского посольства в Пере собралась целая толпа турецких придворных чиновников, рота янычар и музыканты.

Мекмандарь[1] и чорбаджи[2] явились к послу доложить, что все готово.

Из посольства высыпала парадно одетая свита Кутузова — вплоть до лекарей, официантов и метрдотеля. Обер-квартирмейстер и переводчик вместе с турецким драгоманом забегали по рядам, устанавливая процессию.

Когда все заняли свои места, из посольства вышел в парадном генеральском мундире, с лентой через плечо и орденами Михаил Илларионович Кутузов. Мекмандарь усадил посла в султанский портшез, и процессия двинулась к Золотому Рогу.

---

[1] Мекмандарь — сопровождающий.

[2] Чорбаджи — полковник.

Впереди ехал верхом капиджи-баши[1], за ним шла рота янычар в длинных шелковых халатах и тюрбанах, похожих на тыквы.

А дальше двигалась вперемешку пестрая свита из русских и турецких чиновников и слуг. Русские треуголки перемешивались с высокими смешными шапками османов. Здесь были шапки, похожие на луковицу и на громадный стручок перца. Одни из них напоминали кувшин, опрокинутый горлом вниз, другие — ведро.

Яркие конские чепраки, золотая и серебряная сбруя, разноцветные мундиры военных и ливреи лакеев создавали живую картину.

Жители Перы и Галаты, привлеченные заунывной турецкой музыкой и треском барабанов, высыпали из домов посмотреть на торжественное шествие. Процессия дошла до пристани. Там ждала целая стая лодок.

Кутузова посадили в парадный, убранный коврами, четырнадцативесельный каик, а свита разместилась в семидесяти шести простых каиках. Флотилия при пушечном залпе с кораблей быстро пересекла Золотой Рог.

На стамбульском берегу ожидали сто двадцать оседланных лошадей для свиты и роскошно убранный арабский жеребец для посла.

Русское посольство направилось к великому визирю, который всегда принимал послов в специальном доме. Кутузов обменялся с визирем приветствиями и вручил ему грамоту царицы, а великий визирь подал русскому послу подарок султана — дорогую соболью шубу. С шубой Михаил Илларионович поступил так, что вполне удовлетворил глупое честолюбие турок. Он сидя надел в рукава шубу, а потом поднялся, чтобы оправить ее длинные полы. Он как будто бы и не вставал, но в то же время встал...

Великий визирь угощал русское посольство восточными сластями, турецким кофе и шербетом.

Кутузов предупредил всех своих, чтобы они не вздумали пить розовую воду, подававшуюся для полоскания рта. Гостей обкурили благовониями. Это был знак: визит окончен.

— Ну, слава богу, одна скучная церемония уже позади! — с облегчением вздохнул Кутузов, вернувшись в посольский дом.

VII

Через день состоялся прием у султана.

Начало происходило так же, как при визите к великому визирю: утром за Кутузовым приехал со всей парадно убранной многочисленной свитой мекмандарь. Кутузова в султанском портшезе принесли к пристани, потом доставили на каике в Константино-

---

[1] Капиджи-баши — глава дворцовых привратников.

поль, и он поехал на прекрасном вороном арабском скакуне в сераль.

За ним следовал первый секретарь посольства с грамотой царицы в руках.

У стены сераля все иноземные послы должны были ожидать, пока в высокие резные ворота не проедет великий визирь, но русскому послу не пришлось ждать ни минуты: Юсуф-ага на белом коне нарочно подъехал в одно время с Кутузовым к первым воротам. У вторых ворот Кутузов слез. Здесь его ждал драгоман Порты — грек Мурузи.

Посла торжественно повели в диван[1]. Перед Кутузовым шел, косолапо ступая носками внутрь, как принято ходить у турок, седой чауш-баши[2] и стучал о мостовую серебряной тростью.

В диван Кутузов снова вошел одновременно с великим визирем — из двух разных дверей. Они обменялись приветствиями и сели друг против друга. Великий визирь отправил к султану рейс-эфенди[3] с письменным запросом: примет ли султан русского посла?

Михаил Илларионович сидел и невольно вспоминал, что рассказывал ему Пизани об этой смешной церемонии.

По обычаю, у рейс-эфенди с султаном в это время происходит такой разговор. Рейс-эфенди является к султану с письмом визиря и говорит: «Тень пророка на земле, гяур молит тебя о милости: он голоден, как собака». — «Накормить его!» — «Средоточие разума, гяур страдает от жажды, как ишак». — «Напоить его!» — «Прибежище справедливости, гяур замерзает от стужи, как муха». — «Одеть его!»

Что бы они там ни говорили, а рейс-эфенди вернулся с султанским фирманом, разрешающим принять русского посла.

И тотчас же поставили столы.

Кутузов обедал только с великим визирем. Остальные — за другими столами. Во время обеда царскую грамоту держали в руках попеременно дворяне посольства.

После парадного обеда двинулись в сераль.

На полдороге посол должен был облачиться в шубу. Для этого ставилась простая скамья, которую турки насмешливо прозвали «скамья поварят». Но, подойдя к скамье, Михаил Илларионович увидал, что рядом с ней стоит табурет, покрытый богатой золотой парчой. Хитрый Мурузи со сладенькой улыбочкой сказал его высокопревосходительству, что этот табурет поставлен по приказу самого султана из особого уважения к Кутузову.

---

[1] Диван — правительственный совет турецкого султана.

[2] Чауш-баши — главный церемониймейстер.

[3] Рейс-эфенди — министр иностранных дел.

На русского посла надели соболью, крытую золотой парчой шубу, на советника, маршала, секретаря посольства и полковника Барония — горностаевые. Остальным чинам посольства дали парчовые кафтаны. Турки надевали на послов и свиту шубы с длинными рукавами и, вводя к султану, держали послов под руки, чтобы гяуры не смогли напасть на султана. Сопровождавшие русских капиджи-баши не поддерживали никого под руки, а только шли, чуть дотрагиваясь до их рукавов.

В дверях аудиенц-залы бостанджи[1] держали в руках великолепные дары царицы султану. Сияло золото и бриллианты.

Кутузов вошел вслед за драгоманом Порты в большую залу. Она была вся увешана дорогими малиновыми, шитыми золотом коврами. В центре ее у стены стоял великолепный, весь усыпанный драгоценными камнями трон. На нем сидел плотный человек с длинной черной бородой и живыми карими глазами. Он выделялся среди своих разряженных сановников не только простотой одежды, но и умным лицом.

Кутузов поклонился Селиму III и, встав на свое место, начал говорить.

Султан внимательно слушал его, кивая головой. Когда русский посол окончил. Селим III что-то громко сказал великому визирю.

Драгоман перевел его краткое ответное слово.

Кутузов выслушал, поклонился и вышел из залы.

Так делал князь Репнин, так повторили и в этот раз.

Аудиенция была окончена.

Кутузов остался доволен приемом: Селим III принял его с таким почетом, с каким не принимал ни одного иноземного посла.

Султан не позволил русскому послу ждать перед сералем великого визиря, он не посадил Кутузова на унизительную «скамью поварят».

Вот-то надуются сэр Энсли и его приспешники!

В этот же вечер Михаил Илларионович написал письмо домой, в котором так изобразил свой визит к султану:

«На аудиенции велел делать мне учтивости, каких ни один посол не видел.

Дворец его, двор его, наряд придворных, строение и убранство покоев мудрено, странно, церемонии иногда смешны, но все велико, огромно, пышно и почетно. Это трагедия Шакесперова, поэма Мильтона или Одиссея Гомерова.

А вот какое впечатление сделало мне, как я вступил в аудиенц-залу: комната немножко темная, трон, при первом взгляде, оценишь миллиона в три; на троне сидит прекрасный человек, лучше

---

[1] Бостанджи — солдаты дворцовой охраны.

всего его двора, одет в сукне, просто, но на чалме огромный солитер с пером и на шубе петлицы бриллиантовые. Обратился несколько ко мне, сделал поклон глазами и показал, кажется, все, что он мне приказывал комплиментов прежде: или я худой физиономист, или он добрый и умный человек. Во время речи моей слушал он со вниманием, часто наклонял голову и, где в конце речи адресуется ему комплимент от меня собственно, наклонился с таким видом, что, кажется, сказал: «Мне очень это приятно, я тебя очень полюбил; мне очень жаль, что не могу с тобой говорить». Вот в каком виде мне представился султан».

VIII

Прием, оказанный Селимом III русскому послу, произвел большое волнение среди европейских дипломатов Стамбула.

Но вскоре после него произошло событие, совершенно неслыханное в летописях константинопольских посольств: к Кутузову прибыл от султанши-матери Михр-и-Шах валиде кефая колфосы[1] с переводчиком.

Султанша велела справиться о здоровье полномочного посла и прислала ему подарки: три шали, и три платка, и отрезы турецкой и ост-индийской парчи, и непременную кофейную чашечку, украшенную дорогими камнями.

Кутузов подарил кефае серебряные часы, а переводчику отрез сукна и велел секретарю посольства угостить их.

— Вот Екатерина Ильинишна будет довольна, — сказал Павел Андреевич Резвой, рассматривая вместе с Кутузовым подарки.

— Да, особенно шалями и платками, — согласился Михаил Илларионович. — А кофейные чашки у них такой же обычный и обязательный подарок, как у нас табакерка.

— И все это стоит не менее десяти тысяч пиастров, — оценил Резвой.

Осмотрев подарки, Михаил Илларионович вышел в посольский сад погулять для моциона. Он ходил по тенистым аллеям и думал, как бы завязать добрые отношения с султанскими женами. Ведь не только мать, но и они имеют влияние на Селима III. И хорошо бы подружиться с их черномазым евнухом — с кызлар-агасы.

«Но как найти для этого предлог и как это сделать? В гарем к ним не попадешь никак. Может, одалисок можно встретить где-либо вне гарема?»

Кутузов вызвал к себе Пизани.

---

[1] Валиде кефая колфосы — помощник дворецкого султанши-матери.

— Николай Антонович, ходят ли куда-нибудь султанские жены за пределы гарема?

— Ходят: в баню.

Кутузов невольно улыбнулся и подумал: «Это не годится». Спросил:

— А еще куда?

— Гулять в дворцовый сад.

— Когда?

— Утром.

«Вот к ним в сад и нагрянуть, — подумал он. — Там увидишь всех: и султанских жен и их начальника — кызлар-агасы. С турками чем смелее, тем лучше!»

Михаил Илларионович знал, что проникнуть в этот сад, где гуляют султанские жены, нельзя. За вход в него карают смертью.

«Но нам — сойдет! Не станет же Селим ссориться из-за таких пустяков. Он умен. И он побоится России!»

Еще с вечера Михаил Илларионович приказал приготовить на константинопольском берегу лошадей, а Резвому отобрать штук тридцать золотых колец с бриллиантами, алмазами, яхонтами, браслетов и сережек для султанских жен и особенный дорогой подарок «начальнику девушек» — золотые часы, табакерку, унизанную бриллиантами, и кольцо с громадным сапфиром.

На следующее утро Кутузов взял секунд-майора Резвого, переводчика Пизани и без всякой свиты, только в сопровождении бинбаши поехал осматривать Константинополь.

«Вот если бы наш Федя знал, куда мы поехали! — подумал Михаил Илларионович. — Но Федю брать нельзя: тут нужна осторожность, а он, как увидит гарем, все на свете забудет!»

Они на каике перебрались через Золотой Рог. На стамбульской стороне их ждали верховые лошади.

Михаил Илларионович велел Пизани везти его к султанскому саду.

Кутузов с сопровождающими медленно ехал по кривым, узким и грязным улицам Константинополя. Стаи голубей то и дело вспархивали из-под ног лошадей. Голубей в Стамбуле водилось много: мусульмане любят и почитают их.

Михаил Илларионович издалека, по одним разноцветным папушам, распознавал прохожих: греки должны были носить только черные туфли, евреи — только синие, армяне — только красные. В желтых ходили одни турки.

Навстречу попадались турчанки, закутанные от глаз до самых пяток в безобразно широкие, словно мешки, феред же[1]. Они шли

---

[1] Ферецже — длинное покрывало.

по-утиному, вперевалку. Встречались мулы, навьюченные огромными корзинами с овощами, буйволы, медленно тащившие арбу с мешками. Арба пронзительно, немилосердно скрипела.

Но в общем турецкая часть города была менее оживлена, чем кварталы Пера и Галата, где жили европейцы.

Турок предпочитает сидеть, поджав ноги, на балконе дома, в бане, кофейне или просто на площади с неизменной трубкой в зубах. Он не терпит суеты, не кричит, не поет, не смеется. У турецких лавок не слышно галдежа и зазываний, как в Галате: турок торгует без запроса. Он горд, ленив и потому важен.

— Однако как долго тянутся переулки! Когда же выедем на главную улицу? — спросил у Пизани Кутузов.

— А мы уже давно едем по ней, — ответил советник посольства.

Стамбул вблизи оказался хуже, нежели можно было предполагать, глядя на него издали.

Михаил Илларионович терпеливо ехал, раздумывая о турках. Присматриваясь к ним, он находил в их характере много противоречий.

Турок три раза в день совершает омовения, у него на каждом шагу прекрасные мраморные фонтаны с обязательной надписью из Корана: «Вода все оживляет», и в то же время он — неопрятен. Вот у этого щеголеватого бин-баши из-под нарядного мундира выглядывают рукава грязной сорочки.

Турок как будто воздержан в еде, но в то же время у него за обедом подают десятки блюд...

Кутузов ехал, с интересом глядя по сторонам.

Наконец впереди показалась высокая белоснежная стена, — видимо, начинался султанский сад.

Пока тянулись улицы, бин-баши, молодой, красивый турок, сохранял полное спокойствие. Он гордо ехал впереди всех, с удовольствием посматривая по сторонам и не предчувствуя, какой рискованный шаг замышляет этот степенный, важный русский посол.

Вот и широкая калитка с красивой резной мавританской решеткой. Возле нее, скрестив ноги, сидел в дремотной позе черный евнух с ятаганом за широким красным кушаком. Бин-баши уже миновал евнуха, когда посол, ехавший сзади, вдруг повернул к запретной калитке. Бин-баши быстро поворотил коня и, подскакав к послу, стал торопливо объяснять ему, что в этот сад въезжать никому не дозволено.

— Скажи ему, Николай Антонович, что я это и сам прекрасно знаю! — спокойно ответил Кутузов, продолжая ехать к калитке.

Евнух очнулся от своей дремоты, с неожиданной легкостью вскочил на ноги и кинулся в калитку.

Кутузов уже подъехал к решетчатым дверям, когда перед ним вырос второй черный евнух, — видимо, какой-то старший: у него на голове вместо тюрбана торчала шапка, похожая на бутыль.

— Кто едет? — свирепо вращая белками, закричал евнух, загораживая собою дверь.

— Посол императрицы Российской, принесший оттоманам мир! — невозмутимо ответил Кутузов.

Бин-баши, которому, вероятно, было приказано вообще ни в чем не перечить послу и который видел, с какими почестями встречал русского генерала сам султан, закричал что-то. Евнух продолжал стоять на месте.

— Если ты въедешь в сад, солнце падишаха перестанет освещать мою голову! — в отчаянии завопил он, видя, что Кутузов не намерен отступать.

— Что он говорит? — обернулся к Пизани Михаил Илларионович.

— Султан казнит его, если мы въедем в сад!

— Скажи ему: не казнит, а наградит. Он впускает в сад посла монархии, перед которой ничто не вянет, а все цветет!

Кутузов вынул из кармана горсть рублей и щедро сыпнул их на землю. Евнух кинулся собирать рублевики. Кутузов, Резвой и Пизани въехали через широкую калитку в этот запретный сад. Бин-баши не посмел следовать за ними.

Они ехали по прекрасной аллее из кипарисов.

Сад был великолепен, но Кутузова он не интересовал: Михаил Илларионович смотрел, где же гуляют султанские жены, одалиски.

Он в нетерпении пришпорил коня.

Впереди на широкой лужайке серебрился большой фонтан, обсаженный розами и миртом. У фонтана сидели и стояли женщины.

Услышав топот коней, женщины не испугались, не стали убегать, а с любопытством, во все глаза, смотрели на скачущих к ним всадников.

Одалиски не успели или не очень старались закрыть ясмаком лица. Тут были худенькие и полные, голубоглазые и черноокие, с волосами светлыми, как лен, и черными, как смола.

Одна из одалисок в желтом платье — любимый цвет турчанок — сидела в центре группы. Толстые черные косы падали на ее высокую грудь. Как гранат, горели губы. По ее манере держаться, по тому, как к ней жались остальные, можно было предположить, что это — первая, любимейшая из всех.

— Николай Антонович! — крикнул Кутузов. — Скажите им — пусть не боятся!

Но одалиски и не думали бояться. Не было глаз, которые бы не улыбались кокетливо или лукаво, глядя на незнакомых «франков». И видимо, никого из женщин не оскорбило это неожиданное, незаконное, дерзкое вторжение.

— Скажите им, что они прелестны, как розы, как гурии пророка! — обратился к Пизани Михаил Илларионович, подъехав к фонтану. — И что императрица Екатерина Вторая, которая царствует в России, прислала подарки им, самым прелестным девушкам земли. Не жалейте слов. Разукрасьте по-восточному: еще не родилась женщина, которая не любила бы комплиментов!

Пизани говорил. Одалиски улыбались, перешептывались между собою: в их монотонную, скучную жизнь ворвалось что-то необычайное, сказочное.

— А вы, Павел Андреевич, дарите. Получше дайте вон той полной красавице. Да не робейте вы, как красная девица! — сказал он Резвому, который слез с коня и несмело шел, под пристальным взглядом нескольких десятков женских глаз, к фонтану.

Резвой вынул из мешочка кольцо с бриллиантами и протянул его одалиске в желтом. Она, не колеблясь, взяла колечко и вспыхнула от удовольствия.

— Приложите руки к груди. Кланяйтесь, Павел Андреевич! — говорил смеясь Кутузов и кланялся султанским женам сам. — Да проворнее дарите других, пока нас отсюда не попросили как следует!

Резвой стал вынимать золотые колечки, брошки, сережки и дарил их одалискам.

Девушки, не робея, принимали подарки.

Резвой понемногу освоился со своим деликатным поручением; краска постепенно отливала от шеи и щек.

— Михаил Илларионович, еще остается один браслет, — сказал Резвой, одарив всех одалисок, которые уже что-то щебетали между собою, показывая друг другу подарки.

— Отдай главной! — приказал Кутузов.

Резвой уже совсем спокойно — даже с улыбкой — вручил браслет одалиске в желтом и сел на коня.

Кутузов снял треуголку и, махая ею, прощаясь с девушками, повернул от фонтана. Сзади, за ними журчал откровенный смех, раздавались какие-то радостные восклицания.

Кутузов ехал и думал: одно сделано. Теперь сюда должен примчаться сам кызлар-агасы.

И действительно, не успели они доехать до калитки, как навстречу им показалась торопливо идущая фигура в красном халате, отороченном мехом, в смешной высокой шапке, похожей на кувшин, опрокинутый вверх дном. Это был немолодой негр. Он недовольно смотрел на непрошеных гостей.

— Николай Антонович, скажите ему, что посол Российской царицы рад приветствовать человека, вырастившего такой прекрасный цветник! А вы, Павел Андреевич, сразу же передайте этому черному разбойнику подарки!

Кызлар-агасы хотел что-то сказать, но его предупредили: Пизани стал хвалить его мудрое, отеческое попечение о девушках, а Резвой уже безо всякого смущения передал кызлар-агасы богатые дары. У негра заблестели от жадности глаза, когда он увидал, что дарит ему русский посол. Лицо евнуха стало ласковее. Он взял сверток, прижал его к груди и поклонился.

— Поехали! — сказал Кутузов и с достоинством, медленно выехал из калитки.

Стража смотрела на них с удивлением и восторгом.

Первый караульный теперь услужливо распахнул перед ними красивую резную дверь: он тоже ожидал награды и не ошибся — Кутузов бросил ему горсть серебра.

Бин-баши с нетерпением, волнением и страхом ждал их за оградой султанского сада.

— А эта, в желтом, в самом деле недурна, — сказал Михаил Илларионович, когда они ехали к пристани.

— Турки говорят о таких: она — настоящая луна! Если б она была невольницей, то стоила бы по меньшей мере тысячу кошельков! — ответил, улыбаясь, Пизани. — Вообще у турок вся красота в дородности. Одна турчанка извинялась, что у ее дочери незаметен живот: «Но он скоро появится у нее. Теперь же просто беда: она пряма и тонка, словно тростинка!»

— Николай Антонович, скажите, — полюбопытствовал Резвой, — а труден у турок развод?

— Нет. Не надо никаких формальностей — одно желание мужа. Он только скажет жене: «Я смотрю на тебя, как на спину моей сестры!» — и довольно!

— Действительно без волокиты! — усмехнулся Кутузов.

Вернувшись в посольство, Михаил Илларионович тотчас же послал с секретарем письмо великому визирю. Кутузов просил простить его за то, что он нанес визит в гарем.

«Моя царица поручила мне передать прелестным обитательницам гарема, этому благоуханному цветнику, приветствие».

Кутузов хвалил ум, верность и бдительность стражи гарема и просил именем Екатерины II «наградить столь достойных подданных, жертвовавших собою для поддержания дружбы обоих дворов».

— Отрубят этим несчастным неграм головы за то, что они пропустили нас? — спросил Резвой.

— Не отрубят. Султанша-мать и кызлар-агасы за нас. Впрочем, посмотрим; если отрубят, значит, наши враги восторжествовали.

К вечеру Кутузов узнал: караульные черные евнухи получили подарки — так повелел султан, которого не возмутило это вторжение русского посла в запретный сад и который лишь смеялся, над всем происшедшим в гареме.

IX

Кутузов ждал, как откликнется на подарки всесильный начальник черных евнухов.

Через день после прогулки Михаила Илларионовича в султанский сад приехал в Перу черный евнух, посланный кызлар-агасы. По его сморщенному, в мелких морщинах лицу нельзя было определить, сколько ему лет: тридцать или шестьдесят. И, глядя на это безусое, жирное лицо, не сразу скажешь, кто это: мужчина или женщина.

Кутузов сам принял его.

Кызлар-агасы благодарил «высокородного» посла за подарки и прислал от себя массивный золотой ковш и шаль из Анкары, такую тонкую, что вся она проходила сквозь узенькое колечко.

А одалиски прислали русскому послу большой букет роз и один гранат.

Всех удивил последний подарок: обыкновенный гранат.

Евнух приехал без драгомана, и Михаил Илларионович велел своему переводчику спросить, что это значит.

Услышав вопрос, евнух сморщил в отвратительную улыбку свое и без того сморщенное лицо и сказал:

— Это — язык любви. У нас если девушка хочет что-либо сказать, чтобы не слыхали другие, то дает цветок или плод.

— А что же значит на таком языке — гранат?

— «Мое сердце горит по тебе!»

— А розы?

— «Веселись, мой возлюбленный».

— А что же посылают, когда хотят сказать обратное?

— Грушу. Груша значит: «Оставь надежду!»

Михаил Илларионович рассмеялся:

— Это очень похоже на украинскую «дулю»... Ну, угощайте дорогого гостя.

Кутузов остался в зале: ему хотелось поговорить с евнухом. Михаил Илларионович смотрел, как евнух с довольно равнодушным видом пьет привычный кофе.

— Что ему этот кофе? Он пьет кофе несколько раз в день. И кофе у них наверняка лучше нашего. Тут посторонних нет, угостим-ка мы его по-русски, — сказал Кутузов. — Пусть принесут штоф водки, да боровичков маринованных, да невского копченого сига. Говорят, османы не пьют вина и не уважают рыбу. Проверим!

Сам посольский метрдотель в ливрее и белых перчатках принес на серебряном подносе большой графин водки и закуску.

Евнуху налили в кофейную чашку водки, и переводчик сказал:

— Вот что пьют у нас вместо кофе. Только пить надо сразу.

Евнух выпил чашку. Его бабье лицо расплылось от удовольствия. Гостю подвинули мисочку с янтарно-желтенькими, словно фарфоровыми, боровичками, положили вилку.

Евнух не обратил внимания на вилку, а прямо полез своими коричневыми толстыми пальцами в миску, взял грибок и захрустел.

— Чох якши! — зажмурился он.

— Ну-ка, Федюша, налей гостю еще! — сказал племяннику Кутузов. — Да скажите ему, что грибки надо есть с хлебом.

Посмотреть на стража султанских жен собралось чуть ли не все посольство. Офицерская молодежь просила Михаила Илларионовича, чтобы он позволил спросить евнуха, хорошо ли ему жить среди стольких прекрасных девушек.

— Это непристойно: вы же знаете, у кого спрашиваете! — возразил Михаил Илларионович.

— Да ведь он пьян! — убеждал дядю Федя Кутузов.

— Ну спрашивайте! — махнул рукой Михаил Илларионович.

Евнух рвал руками копченого сига, исправно закусывая после очередной чашки, когда ему перевели нескромный, каверзный вопрос молодежи. Он секунду помолчал, обвел осоловелыми глазами улыбающихся офицеров и дипломатично ответил:

— Десять повинующихся женщин доставляют меньше хлопот, чем одна повелевающая!

Михаил Илларионович улыбался:

— Остроумно ушел от неприятного ответа, молодец!

— Пусть скажет, — обратился Федя Кутузов к переводчику, — почему у них заведено многоженство. Разве одной мало?

Турок, услышав вопрос, вынул из хрустальной вазы, в которой стояли розы, белую.

— Эта роза прекрасна? — спросил он.

— Прекрасна.

Евнух вынул вторую, алую:

— А эта?

— Прекрасна!

Турок вынул третью, черную:

— А эта?

— Прекрасна!

Евнух сложил все три розы в букетик и сказал с важностью:

— А все вместе они еще прекраснее!

— Да он совсем дипломат! — похвалил, улыбаясь, Михаил Илларионович.

— Дядюшка, а можно спросить: какие ему больше нравятся — худые или полные? — пристал Федя Кутузов.

— Ваше высокопревосходительство, пусть он ответит на это, — хором подхватили просьбу товарища молодые офицеры.

— Ну, валяйте!

Евнух уже осушил штоф. Теперь он долго вылавливал из миски скользкие белые грибки, глаза его блестели: посланец кызлар-агасы был навеселе.

— Он говорит, что вместо ответа расскажет вам, как один паша устроил в своем гареме спор, кто из одалисок красивее — белая или черная, тонкая или толстая, — сказал переводчик.

Все приготовились слушать. Евнух вытер ладонью рот и начал. Он говорил, а переводчик вслед за ним переводил на русский язык. Турок сидел, точно в кофейне, где любят рассказчиков и где охотно слушают.

— И вот паша обратился к белой: «Говори о своей красоте ты». Одалиска сказала: «Цвет мой — царь всех цветов. Белый цвет — цвет чистоты и непорочности. Цвет розы, цвет снега, падающего с неба. Цвет молока, дающего жизнь животным. Цвет кисеи, которую правоверные употребляют для чалмы. И разве может сравниться с белым цветом черный? Разве ночь может быть ярче светлого дня?»

Когда она кончила, встала ее соперница — черная одалиска — и сказала в свою защиту: «Чернила, которыми передан людям Коран, разве не черного цвета? Черен мускус, проливающий драгоценные благоухания. Черен зрачок, о котором так много заботятся, в то время как мало думают о белке. Когда пролетят прекрасные дни жизни, появляется седина. Белый цвет — цвет проказы, бельма, смерти».

«Ну, а теперь говори ты», — обратился паша к тонкой. И тонкая сказала: «Я стройна, как кипарис. Я легка и воздушна, как ветерок, как благоухание цветов. Я легче скворца, живее воробья. Встаю ли, сажусь ли — прелесть отпечатывается во всех моих телодвижениях. Мои ласки быстры. Я легко могу исполнить все желания моего возлюбленного. Склоняется ли он ко мне, я обвиваюсь вокруг него, как виноградная лоза. Он только хочет заключить меня в свои объятия, а я уж — в них. Как можешь сравниться со мной ты, тучная? Малейшее движение доставляет тебе усталость. Твой возлюбленный вздыхает, а ты едва можешь перевести дыхание. Сон и пища, пища и сон — вот твои наслаждения, толстая». — «Что ты скажешь на это?» — обратился к полной паша. И та ответила: «Сыщется ли мужчина, который не получил бы удовольствия, глядя на округлые очертания моего пышного тела? Сам Коран восхищается толщиной. Взгляни на плоды, при виде которых у всех текут слюнки, — на яблоко, персик, арбуз: не одна ли у них форма с моими щеками, грудью, животом? Я сияю, как полная луна. Я как чаша, налитая до краев. Слыхано ли было, чтобы кто-либо просил у мясника сухую кость, а не жирную и сочную мякоть! Ты, худая, остра, как гвоздь. Твои локти и колени словно колючие, засохшие ветки, от твоей тощей груди нет радости ни младенцу, ни возлюбленному. Твой скелет напоминает о смерти, а не о радостях

жизни! Хвала и благодарение Аллаху, что он явил на мне свою благость, создав полною!»

— Вот как спорили о своей красоте четыре невольницы, — окончил евнух.

— Красивый спор! Хорошо рассказывает евнух. Ну, довольно, господа! — поднялся Кутузов.

Он подарил посланцу кызлар-агасы серебряные часы и отрез парчи, а офицеры набросали ему серебряных рублей за рассказ.

Евнух кланялся и благодарил, прижимая руки к груди: видимо, был чрезвычайно доволен приемом, угощением и подарками. Он ушел, слегка покачиваясь.

Когда Михаил Илларионович остался один, он подошел к букету роз, стоявшему в вазе на столе, и наклонился над ним.

От цветов шел тонкий аромат.

— Эти нежные цветы — лучший залог мира. Мы получили надежных союзников. Вы, сэр Энсли, напрасно пренебрегли ими! — улыбнулся Кутузов.

X

За два месяца пребывания в Константинополе Кутузов установил хорошие взаимоотношения со всеми турецкими сановниками и постарался доказать им, что Россия действительно хочет мира.

— Мы и теперь, после столь блистательной победы, стоим за мир! — убеждал он.

— Мир наш с вами прочен. Если будет угодно Аллаху, причин к ссоре не случится до конца наших дней! — отвечали ему риджалы.

Русского посла всюду принимали очень любезно. Особенно учтив был зять султана — капудан-паша. Он устроил в честь Кутузова роскошный праздник: дал обед, после которого был жирит[1], и подарил Михаилу Илларионовичу пять прекрасных лошадей из своей замечательной конюшни.

Присутствовать на торжественных обедах приходилось Кутузову так часто, что он писал в Варшаву русскому послу Сиверсу:

«Теперь, мой дорогой и уважаемый коллега, я рискую каждую неделю получить расстройство желудка от ста и более турецких блюд, которые мне подносят все те, с кем я вел переговоры. Но я сейчас буду присутствовать на шестом и последнем обеде, который должен мне дать Рашид-рейс-эфенди».

На обеде у министра иностранных дел Михаила Илларионовича рассмешило то, что хозяин, подымая бокал, вдруг сказал по-русски:

---

[1] Жирит — скачки.

— Хватим!

Кто-то же научил его этому!

Министр не переставал быть внимательным и любезным с Кутузовым. Его речь была пересыпана такими цветами турецкого красноречия:

— Времена ваши да будут благополучны!

— Слава Аллаху, носом моего сердца я беспрестанно нюхаю почку розы благовонного ума вашего!

— Двери искренней дружбы всегда пребудут отверстыми между нами!

— Веления ваши на голове вашего раба!..

На словах у турок все было хорошо, но на деле происходило иначе. Турки все так же запрещали перегружать товары с русских судов на турецкие для вывоза в Средиземное море, чем наносили большой вред русской торговле. Купцы вынуждены были продавать хлеб в Константинополе, теряя при этом на каждой четверти по три рубля.

За 1793 год убыток составил более полумиллиона рублей. И самое главное — турки хотели повысить тариф на ввоз и вывоз товаров.

По торговому договору Турции и России 1783 года, подтвержденному в 1791 году, на товары, вывозимые из Турции и ввозимые русскими подданными, были установлены таможенные пошлины в три процента.

Англии и Франции не нравилось, что Россия находится в более благоприятном, привилегированном положении, чем они.

Английский посол в Константинополе Энсли подбил турок требовать пересмотра двадцать первой статьи торгового договора.

Кроме пронырливого Энсли, плел интриги против России драгоман Порты — коварный, мелочный Мурузи.

Михаил Илларионович приметил его «недоброхотство». Он знал, что Мурузи будет стараться укусить исподтишка. Это было в его характере — недаром он родился в константинопольском квартале Фанара, где, как говорили, сын готов убить своего отца из-за нескольких пиастров — и сделает это так ловко, что его не смогут наказать по закону.

Братец драгомана господарь Валашский Александр Мурузи также старался хоть по мелочам пакостить России: всячески препятствовал русской торговле, создавал разные затруднения тем, кто хотел переселиться в Россию. Кутузов понимал, что Турция ведет разговоры о повышении тарифа только на всякий случай: авось удастся, авось Россия пойдет на уступки. К войне Порта не была готова.

Он велел передать великому визирю, что Россия не потерпит нарушения договоров, что если турки предпочитают войну, то Россия готова отстаивать свои интересы с оружием в руках и туркам от этого будет не легче, что «коварство и худая верность» Порты могут наконец вывести Россию из терпения.

Поверенный в делах Хвостов передал Юсуф-аге и о кознях Мурузи. Мурузи струсил, юлил, изворачивался, как змея, прикидывался невиноватым, хотя в это же время у него в доме скрывался приехавший в Константинополь шпион Анжели.

Курьер привез из Петербурга рескрипт Екатерины II — решительный отказ пересмотреть тариф.

Михаил Илларионович передал через Хвостова отказ России и ждал, что на это ответят турки.

Но прошла неделя, другая, а турки молчали.

— Молчание есть признание, — решил Михаил Илларионович.

Он знал, что момент для разрыва отношений с Россией — весьма неподходящий. Пограничные крепости Турции не приведены в должное состояние, казна пуста, флот слаб, в ряде провинций продолжаются мятежи. А штыки Суворова и пушки Ушакова, готовые к делу, заставляли турок все больше думать о мире.

Учтя все это, Кутузов стал категорически настаивать, чтобы турки разрешили перегружать товары с русских судов на турецкие. Султан разрешил, но сказал, чтобы это не получило широкой огласки, чтобы не узнали другие послы.

Таким образом Кутузов и здесь добился полной победы: русская торговля в Архипелаге была в безопасности от всяких посягательств французов.

Все задачи, поставленные перед Кутузовым, были им успешно выполнены: мир, насколько возможно, упрочен, Россия занимала в Константинополе все такое же привилегированное положение, тариф остался по-прежнему низким, свобода русской торговли в Средиземном море — обеспечена.

Михаил Илларионович ждал вызова на родину: дипломатическая работа надоела.

«...Хлопот здесь множество: нету в свете министерского посту такого хлопотливого, как здесь, особливо в нынешних обстоятельствах, только все не так мудрено, как я думал; и так нахожу я, что человек того только не сделает, чего не заставят. Дипломатическая кариера сколь ни плутовата, но, ей-богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать как надобно...» — писал он жене.

И вот наконец Кутузов получил от коллегии иностранных дел указ, подписанный 9 декабря 1793 года Остерманом, Безбородко и Морковым. Он начинался обычными фразами: «Высоко- и благоурожденный, нам любезноверный...»

В указе говорилось о том, что Кутузов может возвращаться домой и что чрезвычайным посланником и полномочным министром при Порте Оттоманской назначен камер-юнкер Виктор Павлович Кочубей.

«Ну вот — «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!»» — с облегчением подумал Кутузов. Оставалось лишь дождаться приезда Кочубея.

XI

Виктор Павлович Кочубей приехал в Константинополь в начале февраля 1794 года.

Это был молодой, двадцатишестилетний, человек. Он получил образование в Париже, учился в Женеве у Лагарпа. Но назначен он был на такой ответственный пост не из-за своего заграничного образования, а потому, что Александр Андреевич Безбородко приходился ему родным дядей.

От петербургских знакомых Михаил Илларионович узнал, что Кочубей, получив назначение в Турцию, ездил в Гатчину к наследнику Павлу Петровичу разведать, угодно ли это ему. Кочубей пробыл в Гатчине два дня, стало быть, понравился наследнику.

— А-а, предусмотрителен и хитер! Из него дипломат получится! — оценил действия Кочубея Михаил Илларионович.

В первый же вечер Кутузов ввел Кочубея в курс всех константинопольских дел.

Кутузов сказал, что в Турции всем управляет диван. Это очень выгодно министру иностранных дел Рашид-эфенди: он вместе с Юсуф-агой управляет всем, слагая ответственность на диван.

Юсуф-ага ничего не значит. Больше значит драгоман, грек Мурузи. Турки так и говорят: у нас правит семья Мурузи. Трудно найти коварнее, лукавее человека, чем этот фанариот[1]. Рейс-эфенди, при всех затейливых поступках, — против войны. Если война начнется, ему придется уступить свою власть кому-то.

Народ недоволен: налоги непомерно велики, оттого повсюду мятежи. Чиновники тоже недовольны: прежде они сами грабили народ, а теперь их доходы забрали Рашид и Юсуф.

Капудан-паша — мот. Его больше интересуют развлечения и лошади, чем политика.

Итак, в ближайшее время войны не будет.

Михаил Илларионович охарактеризовал своему преемнику и европейских послов при турецком дворе.

Английский посол — Энсли — интриган, беспокойный человек. Он вечно против кого-то строит козни.

Австрийский — Герберт — не любит России. Он чрезвычайно самолюбив и скрытен, но, если польстить его самолюбию, он может разоткровенничаться.

Прусский — Кнобельсдорф — незначительная тень Герберта. Пруссак хочет все знать, но для этого у него не хватает денег и уменья. Испанский — Булини — пустое место. Датский — барон Гибш — и неаполитанский — Лудольф — оба за Россию. Лудольф

---

[1] Фанариот — житель Фанары.

по-бабьи болтлив. Потому хитрый рейс-эфенди старается почаще с ним беседовать.

Кочубей внимательно слушал старого посла, записывая кое-что для памяти.

— Живя здесь, я внимательно следил за турками. При всем своем лукавом расположении к России, у Порты еще нет твердого намерения разрывать с нами. Они ждут, какой оборот примет союз против Франции. Да и крепости в Бессарабии у турок будут готовы не раньше осени. Вот и все, пожалуй, — закончил Михаил Илларионович. — Рейс-эфенди спрашивал меня, не из турок ли вы, Виктор Павлович, — улыбнулся Кутузов.

— А это почему же?

— Он произносит вашу фамилию на турецкий лад: «Кочи-бей».

— А наши солдаты окрестили меня по-своему, я сам слыхал: «Хуч-убей!» — рассмеялся Кочубей.

— Что ж, и так похоже!

Когда Кочубей ушел, Михаил Илларионович с удовлетворением подумал: «Ну, я свое дело сделал, а теперь — домой. К лету бы благополучно доставиться в Петербург! Вот-то было бы чудесно!»

Глава восьмая

ОТЕЦ И СЫН

I

Вскоре после возвращения Кутузова из Турции в Петербург императрица назначила его главным директором сухопутного кадетского корпуса. Это было тоже немаловажное дело: кадетский корпус готовил офицеров для всей русской армии.

Екатерина Ильинишна обрадовалась новому назначению мужа.

— Хоть поживешь дома, — говорила она. — А то как соловей залетный: прилетишь к нам на недельку, а потом год обретаешься в походах!

В этот раз Михаил Илларионович пожил дома основательно — не успел оглянуться, как пролетело два года.

В жизни семьи Кутузовых не произошло никаких особенных событий: старое — старилось, молодое — росло.

Так было кругом.

Постарела, начала чаще жаловаться на головные боли, на слабость в ногах императрица Екатерина. Она с трудом всходила по лестнице. Безбородко устроил в своем доме вместо лестницы пологий скат, на тот случай, если императрица соизволит пожаловать к нему.

Облысел, похудел и пожелтел наследник Павел Петрович. От худобы у него стали заметнее выдаваться скулы и большой рот.

И повзрослел, вытянулся великий князь Александр Павлович. Он уже третий год был женат на принцессе Луизе, которая при крещении по православному обряду получила имя Елизаветы Алексеевны.

Женившись, Александр стал считать себя взрослым человеком, хотя в день свадьбы ему было всего шестнадцать лет. Он окончательно прекратил все учебные занятия. И даже те незначительные, поверхностные знания, которые урывками давали ему учителя, так и остались незавершенными.

Бабушка-императрица образовала для Александра и Елизаветы особый двор с гофмаршалом и гофмейстериной. Штат двора по количеству превышал двор Павла Петровича: Екатерина II оказывала внуку больше внимания, чем сыну.

Александр свел дружбу кое с кем из придворных распутников и вертопрахов, шептался с ними по углам. Более опытные в амурных делах камер-юнкеры учили Александра уму-разуму.

Много стараний развратить молодую пару приложила гофмейстерина Елизаветы Алексеевны графиня Шувалова, легкомысленная щеголиха, сплетница и кокетка. Она твердила им, что надо пользоваться жизнью, что вечной любви не существует.

Сластолюбивый Александр так предался утехам медового месяца, что заболел. Он стал туг на одно ухо и ходил, некрасиво вытянув голову вперед.

Кроме того, Александр оказался близоруким.

Преждевременная, ранняя женитьба из-за прихоти бабушки не пошла великому князю на пользу.

Еще до женитьбы Александр и его брат Константин ездили каждую неделю в Гатчину к отцу. Они с удовольствием принимали участие во всех странных и смешных павловских учениях и вахтпарадах.

Павел Петрович все время исподволь увеличивал свои войска. К 1796 году у него уже было шесть батальонов пехоты, рота егерей, четыре полка кавалерии, пешая и конная артиллерия с двенадцатью пушками. Общая численность войск достигала двух тысяч четырехсот человек, со ста двадцатью восемью офицерами в том числе.

Молодые князья заразились от отца марсоманией.

Александр предпочитал часами делать ружейные приемы, нежели читать какую-либо книгу. Он полюбил бессмысленную прусскую шагистику и бездушный фрунт. Капральские обязанности в Гатчине у отца были обоим мальчикам больше по душе, чем скучные уроки важных преподавателей и роскошные балы бабушки.

Им нравилось, что они в Гатчине занимают какое-то положение. Им полюбилась всамделишная игра в солдатики. Так приятно

было возвращаться из Гатчины усталыми после целодневной маршировки. Нравилось, что надо было таиться от бабушки, чтобы она не увидала их в этих нелепых, по ее мнению, но для них — таких красивых прусских мундирах.

С 1795 года Александр уже ездил в Гатчину не один раз в неделю, а четыре.

Все пышные наставники во главе со швейцарцем Лагарпом не смогли увлечь, занять великих князей больше, чем отец.

Александр и Константин считали себя капралами не русской, а гатчинской армии. Александр любил говорить (но так, чтобы не слыхала бабушка): «Это по-нашему, по-гатчински».

Императрица Екатерина всеми мерами старалась оградить внуков от влияния отца, но из этого не получилось ничего.

Александр и Константин на всю жизнь впитали в себя гатчинский, прусский дух.

II

В памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать.

В. Ключевский
(о Екатерине II)

В этот тусклый ноябрьский день у Михаила Илларионовича скопилось в корпусе много различных дел.

С утра он вел у выпускного пятого возраста урок тактики, а потом должен был заняться срочными вопросами. Главный казначей корпуса давно ждал директора с отчетами и требованиями. Инспектор классов майор Клингер принес списки неуспевающих кадет. И Михаил Илларионович вызвал к себе своего помощника, подполковника Ридингера, — хотел обсудить с ним, не лучше ли разделить кадет не по возрастам, а по ротам, как практиковалось раньше.

Михаил Илларионович беседовал с Ридингером, когда полицеймейстер корпуса подполковник Андреевский попросил разрешения войти в кабинет. Андреевский сегодня был чем-то озабочен, расстроен. Михаил Илларионович приготовился слушать рапорт полицеймейстера о том, что вновь какой-либо каптенармус запил или проворовался.

— Что случилось? — не очень ласково спросил Кутузов, недовольный тем, что Андреевский лезет с ерундой.

— И-императрица умирает! — заикнулся никогда не заикавшийся подполковник.

— Как умирает? Кто сказал? — изумился Кутузов.

— Все говорят. Я только что проезжал мимо Зимнего. У дворца полно экипажей.

— Как же так? — все не верил Кутузов. — Вчера был малый эрмитаж[1]. Я видал императрицу. Она шутила над Львом Александровичем Нарышкиным, что он боится смерти. Получили известие, что скончался сардинский король, а Нарышкин высчитал, будто король его ровесник, и скис.

— А сама императрица разве не боялась смерти? — спросил Ридингер.

— Нарышкин так и спросил у нее, а ее величество говорит: «Не боюсь. И хочу, чтобы при моем последнем вздохе были бы улыбающиеся особы, а не такие слабонервные, как вы, Лев Александрович!»

— Вот храбрилась, а сегодня умирает, — вздохнул Андреевский.

— А что же с ней случилось? — не мог примириться с такой новостью Михаил Илларионович.

— Кондрашка. Утром была здорова, занималась делами, а потом вышла, простите, в уборную и там упала...

Все сидели ошеломленные случившимся.

— Храповицкий мне рассказывал, — прервал молчание Кутузов, — когда императрице исполнилось шестьдесят лет, он пожелал ей прожить еще столько же, но Екатерина возразила: «Еще шестьдесят лет не надо — буду без ума и памяти, а лет двадцать проживу!» И хоть чувствовала себя хорошо, но не угадала: прожила не двадцать, а только восемь...

— Человек предполагает, а Бог располагает, — вздохнул Андреевский.

— Да, Сумароков верно сказал:

Время проходит,
Время летит!
Время проводит
Все, что ни льстит,
Счастье, забавы,
Светлость корон,
Пышность и славы —
Все только сон... —

продекламировал Михаил Илларионович.

Кутузову было жаль Екатерину: она всегда так хорошо относилась к нему, ценила его, называла «мой Кутузов». Оба раза после его тяжелых ранений императрица Екатерина принимала в Михайле Илларионовиче большое участие.

---

[1] Малый эрмитаж — неофициальный прием у императрицы.

Остаток дня был омрачен этим печальным известием, которое не выходило из головы. Чтоб хоть немного рассеяться, Михаил Илларионович пошел осмотреть корпусное хозяйство — манеж, экономию, типографию, лазарет.

Проходя по двору мимо манежа, он невольно подслушал разговор двух конюхов.

— Жаль матушку-царицу, — говорил один. — Хорошая была...

— Хорошая была матушка, да не для нашего брата! — ответил другой.

— Тебе разве плохо живется?

— Мне, может, и не так уж худо, а каково в деревне?

— А что?

— Босоты да наготы изнавешены шесты; а холоду да голоду амбары стоят. Вот что! Новый рекрутский набор ждут, — продолжал конюх, но, увидав директора корпуса, осекся.

Михаил Илларионович прошел, сделав вид, что не слышал разговора.

Когда Кутузов вечером ехал домой, он заметил, что на улицах, несмотря на плохую погоду, было много оживленнее, чем обычно.

Дома Михаил Илларионович застал слезы. Все девочки, дочери Кутузова, ходили заплаканными — жалели императрицу. Екатерина Ильинишна держалась спокойно. Хотя она до сих пор сама не прочь была пококетничать, любила мужское общество, поклонников, но всегда осуждала Екатерину за ее личную жизнь и противопоставляла ей добродетельную жену Павла, Марию Федоровну.

Кутузов пообедал, надел парадный мундир и поехал во дворец.

Площадь перед Зимним дворцом представляла бивак: она была сплошь уставлена каретами, а посередине ее горел большой костер, у которого грелись лакеи, форейторы, кучера.

В самом Зимнем стояла невообразимая толчея, как во время большого эрмитажа. Но сегодня в этом собрании сановников, генералитета, придворных кавалеров и дам царили печаль и растерянность.

По залам бродил в отчаянии, в ужасе, с взъерошенными волосами, не похожий на себя Платон Зубов. Еще сутки назад он был всесильным, разговаривать с ним почел бы за большое счастье любой сановник, а сегодня на фаворита никто не обращал внимания. Наоборот, все сторонились его, как зачумленного. Хотя Платон Зубов догадался первым сообщить Павлу о смертельной болезни императрицы — послал в Гатчину с этим известием своего брата Николая Зубова, он не считал себя в безопасности. Платон Зубов ждал если не смерти, то неминуемой ссылки в Сибирь.

Не лучше чувствовали себя остальные екатерининские вельможи. Они знали нелюбовь Павла ко всему, что было связано с прежним царствованием, и готовились к самому худшему.

Все с надеждой взирали на массивную дверь красного дерева: авось матушка Екатерина поправится, авось все останется по-прежнему.

Но за этой знакомой дверью, где умирала царица, уже сидел «гатчинский капрал», Павел Петрович. И оттуда появлялись вестники, но не те, которых так нетерпеливо все ждали.

Без стеснения стуча толстыми подошвами грубых армейских сапог, гремя шпорами и палашами, выходили из-за двери гатчинские сержанты. Они быстро устремлялись к выходу сквозь услужливо расступавшуюся нарядную толпу сановников и дам, которые смотрели на этих военных с ненавистью и презрением.

Разговор ни у кого не клеился: никто не знал, с кем и как следует сейчас говорить.

Более болтливые, опасливо оглядываясь, шептались по углам.

Михаил Илларионович встретил в толпе совершенно растерянного и перепуганного князя Барятинского. От него Кутузов узнал, что крепкий организм императрицы Екатерины еще продолжает бороться со смертью, хотя она после удара не приходила в сознание.

Он решил уехать домой.

Еще целый день 6 ноября императрица Екатерина была жива, оставаясь без сознания. Только к вечеру развязка стала очевидной: врачи сказали, что надежды на спасение нет.

Павел Петрович удалил обер-гофмаршала Барятинского, назначил вместо него графа Шереметева.

Без четверти десять вечера Екатерина II умерла.

Павел Петрович хорошо запомнил совет Фридриха II — поскорее приводить подданных к присяге. Он велел митрополиту Гавриилу приготовить все для присяги.

В начале двенадцатого часа ночи в дворцовой церкви собрались все вельможи, генералитет и высшие сановники. К ним вышел Павел Петрович с семьей.

Генерал-прокурор граф Самойлов прочел манифест о смерти Екатерины и о вступлении на престол Павла I. Наследником был объявлен Александр Павлович.

Все стали принимать присягу.

Было два часа ночи, когда Кутузов вышел из Зимнего дворца.

Площадь опустела. У средних ворот виднелось несколько солдат и офицеров в гатчинских мундирах. Видно было, что они устанавливают вокруг дворца прусские черно-красно-белые будки.

Михаил Илларионович тихо спросил у кучера:

— Кто там?

— Сам наследник Александр Павлович и Аракчеев. «Преобразователи армии!» — иронически, с огорчением подумал Кутузов, уезжая.

Гатчинский прусский дух распространялся все шире.

Он уже простерся над всей Россией.

III

Все царствование Павла, вероятно, излишне очернено. Довольно и того, что было.

П. Вяземский

В третьем часу ночи кончилась присяга, а уже в девять часов 7 ноября император Павел I в сопровождении наследника Александра Павловича выехал из Зимнего, чтобы показаться столице. Он медленно ехал по Большой Проспективной улице, пристально глядя по сторонам.

Вид Петербурга возмущал Павла: здесь все было по-старому, по-екатерининski — ни полосатых будок, ни шлагбаумов. Попадались прохожие с якобинскими отложными воротниками, в сапогах с отворотами, которых не терпел Павел, потому что видел в этом вольнодумство.

Вон, издали заметив императора, поскорее шмыгнул в калитку франт в круглой французской шляпе.

Навстречу Павлу медленно тащилась карета, в которой восседала какая-то разряженная в диковинный чепец из лент и кружев дура барыня. Она, конечно, спешила к своей подруге посплетничать, пожалеть о кончине «матушки» Екатерины. Лакей догадался-таки стянуть шляпу с головы, а кучер не додумался остановить лошадей, и царский жеребец Фрипон даже чуть посторонился, уступая дорогу неуклюжей карете.

Только у деревянной, выкрашенной в желтую краску церкви Рождества Богородицы Павла ждало приятное: группа крестьян с котомками за плечами. Увидав роскошных всадников-генералов, мужички бухнулись перед ними на колени в грязь.

Да порадовало то, что у моста через Фонтанку уже пестрел новенький шлагбаум, блестевший черно-красно-белой краской.

Когда в одиннадцатом часу Павел возвращался назад, на площади у Зимнего дворца выстроились войска, готовые к разводу. В толпе народа, собравшегося посмотреть на первый вахтпарад, стоял и Михаил Илларионович Кутузов.

Павел заметил Кутузова и приветливо кивнул ему.

Уже на вахтпараде новый император показал себя.

В первые же часы своего царствования он велел перестроить всю русскую армию на прусский лад. Екатерининские войска еще не знали новой команды. Когда гвардейцам скомандовали «марш» вместо привычного «ступай», они не двинулись с места.

Павел взбеленился.

— Что же вы, ракалии, не маршируете? — закричал он, кидаясь с тростью к гвардейским шеренгам. — Вперед, марш!

Военные, стоявшие в публике, только переглянулись: такое начало не сулило ничего хорошего.

Вахтпарад кое-как, с грехом пополам, был закончен по прусскому образцу. Не только с несчастных гвардейцев, участвовавших в разводе, но и с самого императора лил пот.

После вахтпарада император отдал при народе наследнику приказ. В нем Павел I принимал на себя звание шефа всех полков гвардии. Александр назначался полковником Семеновского полка, Константин — Измайловского, а Аракчеев — комендантом Петербурга.

С этого утра каждый день стал приносить новости одна другой неожиданнее и нелепее.

8 ноября Петербург узнал, что император приказал всем при встрече на улице с кем-либо из императорской семьи обязательно останавливаться, а едущим — выходить из карет и экипажей для поклона.

В воскресенье 9 ноября, когда на улицах Петербурга появилось больше гуляющих, полиция безжалостно расправилась с круглыми шляпами и отложными воротниками. Шляпы у франтов срывали, а пышные воротники — и смех и горе! — обрезывали. И вдруг обнаружились тонкие худые шеи и выдающиеся челюсти, которые раньше скрывала французская мода.

А в понедельник в Петербург, точно в завоеванный город, вступили гатчинские войска. Сам император с сыновьями и свитой выехал им навстречу к Обуховскому мосту.

Во главе гатчинцев Павел торжественно проехал к Зимнему дворцу. Знамена внесли в царские покои, а аракчеевские пушки поставили у ворот — Зимний дворец стал еще больше напоминать крепость.

Гатчинцы прошли мимо императора церемониальным маршем и выстроились в линию.

Павел вышел к фронту и сказал:

— Благодарю вас, мои друзья, за верную ко мне вашу службу!

Его голос, хриплый на низких нотах, был визглив на высоких.

— В награду за оную службу вы поступаете в гвардию! А господа офицеры — чин в чин!

По площади громом прокатилось радостное «ура!».

Громом среди ясного неба оказались для всей гвардии слова императора.

До этого дня гвардейские чины считались выше армейских. Если какому-либо счастливцу офицеру удавалось перевестись из армии в гвардию, он знал, что в гвардии он будет служить в меньшем чине, чем тот, в котором он служил в армии. А теперь произошло что-то невероятное: армейщину уравняли с гвардией!

Особенно ошеломило всех то, что эта царская милость распространялась и на полковников.

До сих пор полковником в гвардии была только императрица, а подполковниками и майорами — заслуженные, известные генералы. А теперь полковниками гвардии становились никому не ведомые, без роду и племени люди.

Все знали, что в гатчинскую армию Павла никто из порядочных офицеров не шел. В Гатчине служили захудалые мелкопоместные дворяне. И вот теперь они оказались на равной ноге со старой гвардейской знатью.

Это был прямой вызов всему родовитому дворянству, отцы и сыновья которых служили под знаменами Екатерины. Равнять с ними каких-то голодранцев (гатчинцы были бедно одеты), неучей и пьяниц? Все возмущались, с ужасом и негодованием рассказывали, как гатчинские офицеры бражничают в кабаках и дебоширят, забыв о том, что гвардейцы Екатерины пьянствовали и безобразничали ничуть не меньше гатчинцев.

В одном претензии знати были справедливы: гатчинские офицеры не могли похвастаться изысканными манерами и внешним лоском. Кроме фрунта, они не знали ничего.

Чтобы показать, что гвардия и армия равны, Павел ввел в гвардии вместо прежних светло-зеленых мундиров темно-зеленые, какие носила вся русская армия.

Подтянул Павел и дисциплину. Раньше гвардейские офицеры были больше придворными, чем военными. Они ходили во фраках и думали только о театре да балах. А теперь им вменили в обязанности целый день проводить на полковом дворе: их учили новой службе, как рекрутов.

Павел хотел ввести военный распорядок и при дворе. Он установил, как должны подходить к нему и императрице, сколько раз и каким образом кланяться.

Весь блеск екатерининского двора сразу померк. Галантный, непринужденный Зимний дворец в одну неделю превратился в суровую, неуютную казарму.

За шелковыми портьерами покоев вдруг на каждом шагу возникали штыки внутренних караулов.

Тишину роскошных зал грубо разрывали неуважительные, торопливые шаги фельдъегерей.

Гром прусских барабанов и резкие выкрики команды заменили бальную музыку и веселое щебетанье дам.

Недавно в Зимнем дворце проводились оживленные приемы — большие, средние и малые эрмитажные собрания. На них после театра играли в веселые игры, танцевали, пели хором.

Теперь придворные вечера стали походить на обязательные утренние разводы караулов. Приглашенные молча сидели вдоль стен, а в центре восседал окруженный семьей император Павел.

Говорил только он один. На шлейфе Марии Федоровны лежал, выпучив коричневые глазки, тонконогий фокстерьер Султан.

Не слышалось ни остроумных шуток, ни смеха.

У Екатерины в эрмитаже строго соблюдались правила, написанные ею самой. Среди других правил было следующее: «Не иметь пасмурного вида».

Пасмурный вид теперь господствовал во всех собраниях — больших и малых. Павел с первых дней вооружил против себя всю петербургскую знать, избалованную Екатериной.

IV

Павел считал военное дело главной деятельностью монарха. В Гатчине он занимался только своими войсками. И теперь, став императором, всецело отдался любимой марсомании. Он ввел в русской армии прусские уставы и нелепую форму, которые его отец, Петр III, позаимствовал когда-то у Фридриха II.

Екатерина называла прусское обмундирование «неудобьносимым». Потемкин справедливо замечал: «Полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами».

А Павел убежденно говорил офицерам:

— Эта одежда и Богу угодна и вам хороша!

Думая только о вахтпарадной красоте, Павел ввел для офицеров эспонтоны, а для унтер-офицеров алебарды, совершенно бесполезные в бою. Такое средневековое вооружение унтер-офицера сразу уменьшало силу каждого пехотного полка на сто штыков.

Нововведения Павла поражали своей несообразностью. Все возмущались, негодовали, но не смели говорить об этом открыто.

И лишь один Суворов не побоялся сказать: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак!»

Эти слова дошли до Павла, и он немедленно уволил Суворова из армии.

Отставка знаменитого фельдмаршала произвела на всех тягостное впечатление.

Не больше здравого смысла заключалось и в других распоряжениях нового императора. Павел приказал вынуть из склепа гроб своего отца Петра III, поставить его на один катафалк с гробом Екатерины и похоронить их рядом. Он хотел соединить после смерти то, что не соединялось при жизни.

Вообще Павел всеми мерами старался уничтожить, переделать или хотя бы опорочить то, что было сделано его матерью. Он не мог простить матери того, что она отстранила от престола его отца.

Павел освободил из Шлиссельбургской крепости писателя Новикова и возвратил из ссылки Радищева, но сделал это не потому,

что разделял их вольнолюбивые убеждения, а только чтобы поступить вопреки воле покойной Екатерины.

К удивлению всех, он никак не расправился с последним любовником матери Платоном Зубовым. Даже оставил его в прежней должности генерал-фельдцейхмейстера, несмотря на то что Зубов ничего не смыслил в артиллерии. Кроме того, Павел подарил Платону Зубову роскошно обставленный дом вместо его комнат в Зимнем дворце, которые тотчас же занял Аракчеев.

25 апреля 1797 года Павел короновался в Москве. По случаю коронации он осыпал милостями угодных ему сановников.

Хитрый Безбородко, который сумел угодить и сыну, как угождал матери, получил титул князя, Аракчеев — барона. Три генерала — Эльмпт, Мусин-Пушкин и Каменский — были произведены в фельдмаршалы, а их жены пожалованы в статс-дамы. Граф Николай Зубов получил орден Андрея Первозванного.

Михаил Илларионович Кутузов не получил ничего. Только Екатерина Ильинишна была награждена дамским орденом Екатерины, и то младшей степени.

— Вот видишь, я получила орден, а ты не награжден ничем, — шутила над мужем Екатерина Ильинишна.

— Я, Катенька, все-таки был очень отличён покойной императрицей. Да, вероятно, хорошо постарался барон Аракчеев: он меня не любит.

В день коронации Павел роздал вельможам восемьдесят две тысячи душ крестьян. Он считал, что «помещики лучше заботятся о своих крестьянах, у них своя, отеческая полиция».

Первые дни царствования Павла обнадежили крестьян. Царь велел привести к присяге и их, чего никогда не бывало. Кроме того, Павел разрешил крестьянам подавать жалобы на своих помещиков.

Крестьяне ждали, что после всего этого они «впредь не будут за помещиками». Но шли недели и месяцы, а положение крепостных не менялось. Тогда стали говорить, что воля вышла, но указ задерживают господа.

В ряде губерний — Орловской, Тульской, Калужской — начались волнения.

Павел, помнивший Пугачева, послал против восставших крестьян войска под командой Репнина. Восстание быстро подавили.

Был издан специальный манифест, в котором император говорил не очень кратко, но очень ясно:

«Повелеваем, чтоб все помещикам принадлежащие крестьяне, спокойно пребывая в прежнем их звании, были послушны помещикам своим в оброках, работах и, словом, всякого рода крестьянских повинностях, под опасением за преслушание и своевольство неизбежного по строгости законной наказания».

После таких слов крестьянам нечего было и думать о какой-то милости со стороны Павла — он был не лучше «матушки» Екатерины. И в народе Павла звали «курносый», «царишка», «гузноблуд».

С каждым месяцем в распоряжениях императора стала все больше обнаруживаться какая-то суетливость. Павел словно боялся, что у него вдруг отнимут престол, что он не успеет свершить задуманное, и торопился перекроить все по-своему. Чрезмерная нетерпеливость наблюдалась у него уже в детстве. Он и ребенком жил в состоянии непрерывной гонки: поскорее встать с постели, чтобы пойти завтракать, а чуть сел за стол — скорее-скорее поесть и бежать смотреть эстампы. Развернув папку с эстампами — побыстрее перелистать их, чтобы заняться ружейными приемами.

И так — целый день.

Его нервозность, поспешность отражались на всей жизни государства.

Екатерина II приучила дворянство к уравновешенной, спокойной и веселой жизни, а теперь вместо широкой масленицы настал Великий пост. Ни о каком спокойствии не было и речи. Ни один сановник, ни один генерал не знал, что будет с ним через час.

Павел без причины увольнял со службы, высылал в деревню.

Передавались слова Карамзина, что «награда утратила прелесть, а наказание — сопряженный с ним стыд».

Всюду царили растерянность и страх.

Новое царствование называли громогласно, на людях, «возрождением», а с глазу на глаз — «царством насилия и ужаса».

Кутузову как будто бояться не приходилось: Павел всегда был внимателен к нему и его семье. И, конечно, не забыл того, как Михаил Илларионович оказывал ему внимание тогда, когда с Павлом Петровичем не хотел считаться никто.

Осенью 1797 года царь впервые проводил большие маневры в Гатчине. Это не были прежние маневры шести гатчинских батальонов. Теперь в них участвовала вся гвардия.

Директор сухопутного кадетского корпуса Михаил Кутузов получил приглашение императора прибыть в Гатчину на маневры.

Этот знак императорского благоволения заметили все.

Не прошло и трех месяцев, как последовала новая милость. Павел отправил генерал-лейтенанта Кутузова в Берлин приветствовать нового прусского короля.

Не успел Кутузов доехать до Берлина, как был назначен инспектором Финляндской дивизии вместо фельдмаршала Каменского. А еще через десять дней — произведен в генералы от инфантерии.

Недоброжелатели и враги Михаила Илларионовича говорили себе в утешение:

— «Курносый» так всегда — сегодня вознесет, а завтра уничтожит!

За примерами ходить было недалеко.

В феврале 1798 года Павел уволил в отпуск «для излечения» своего любимца — всесильного Аракчеева. «Лечение» продолжалось только полтора месяца. 18 марта Аракчеев был вовсе отставлен от службы.

Немного раньше Павел уволил второго наперсника — «сумасшедшего Федьку», как прозвала Ростопчина Екатерина II.

Вместо них пошел в гору рижский губернатор, генерал Пален.

Кутузов пробыл в Берлине два месяца. Он имел большой успех при прусском дворе. В этом помогли ему ум, чрезвычайный такт и прекрасное знание немецкого языка. Панин, русский посол при прусском дворе, хотел, чтобы Кутузов подольше пробыл в Берлине. Но Павел не оставил Кутузова: Фридрих Вильгельм III не Фридрих II — слишком будет много чести для теперешнего короля.

А кроме того, для Кутузова нашлись большие дела дома.

Михаил Илларионович вернулся в Петербург. После приема у царя он тотчас же выехал в Выборг к месту новой службы.

Павел опасался, что под влиянием Франции Швеция объявит России войну, и хотел приготовиться к ней.

Работы у Кутузова в Финляндии поэтому хватало. Он инспектировал полки, приводил их в боевую, а не в плац-парадную готовность, заботился о провианте и фураже, укреплял русско-шведскую границу и составил операционный план на случай войны.

Михаил Илларионович поехал в Финляндию один. Екатерина Ильинишна осталась с девочками в Петербурге. Она любила жить весело, на широкую ногу, а в Выборге — тоска: ни театров, ни балов, ни порядочного общества. Одни чухонцы да солдаты. К тому же она знала, что Михаил Илларионович будет по целым неделям в разъезде.

Екатерина Ильинишна аккуратно писала мужу о детях, о театре, о петербургских новостях. Например, о благодарности, отданной Павлом в приказе великому князю Александру за то, что при его дворе такая хорошенькая фрейлина Наталья Шаховская. А если говорить по совести, то в этой Наташе только и есть, что пухлые щеки.

Присылала мужу книги для чтения.

21 декабря государь пожаловал старших дочерей Кутузова, Прасковью и Анну, фрейлинами.

Михаил Илларионович писал жене:

«Я доволен этим больше потому, что им весело, им действительно приятнее будет при великих княжнах, даром что без шифра»[1].

После целого дня смотров, рапортов царю, разных реляций и прочей переписки Михаил Илларионович с удовольствием ложился в постель почитать русские и немецкие газеты. Он внимательно

---

[1] Шифр — почетный знак, вензель императрицы.

следил за победами Александра Васильевича Суворова в Италии, радовался успехам русских войск, которые сражались не по прусским, а по суворовским канонам. Но немецкие газеты сообщали об этом очень кратко: зачем им было прославлять Россию.

Не больше писали о Суворове и «Санкт-Петербургские ведомости». В них целые страницы занимали павловские мелочные приказы вроде:

«Поручику Калмыкову, просившему о высочайшем повелении опубликовать в газетах, что он безвинно содержался в доме сумасшедших, отказывается, потому что в просьбе его нет здравого рассудка».

«Скульптору Эстейрейху, просившему о заплате ему шести тысяч рублей за поднесенные его величеству мраморные его работы, объявляется, что высочайшее дано повеление возвратить ему оные барельефы».

«Вдове титулярного советника Федоровой, просящей о пожаловании дочери ее на приданое, объявляется, чтоб она тогда испрашивала, когда будет жених».

И бесконечные объявления:

«Продается повар и кучер да попугай».

«Некоторый слепой желает определиться в господский дом для рассказывания разных историй».

«За сто восемьдесят рублей продается тридцатилетняя девка и там же малодержанная карета».

«У токаря Валстера продается машина для вспомоществования утопающим».

Это все — обычное, всегдашнее. И только в конце номера глаза иногда натыкались на такое забавное объявление:

«Продается недавно изданная книга «Любовь книжка золотая». Люби меня, хотя слегка, но долго.

В сей книге находятся домашние средства от разных неприятностей в любви и браке, как-то: от скуки, противу ревности, в случае уменьшения любви и опасных утомлений; произвесть гармонию сердец, воспятить вход ворам во святилище брака, налагать узду Ксантипам; когда случатся в браке опечатки, то что тогда делать, дабы избежать неприятных попреков».

Зимние месяцы 1798 года пролетели быстро.

В начале 1799 года Михаил Илларионович получил от Павла выговор за то, что без его разрешения командировал в столицу квартирмейстера. Кутузову был смешон такой мелочный павловский формализм. Но это не повлияло на отношения императора к Кутузову: осенью того же года он был назначен литовским военным губернатором и инспектором Литовской и Смоленской инспекции.

Кутузов не без удовольствия покинул Финляндию.

— Ну, как живете, мои дорогие? Что тут у вас нового? — спросил он у жены, приехав домой.

— Живем хорошо. А ты историю с младшим Чичаговым слыхал? — сразу же хотела ввести мужа в круг петербургских великосветских новостей Екатерина Ильинишна.

— Это с Павлом Васильевичем? Нет.

— Чичагов просил разрешения выехать в Англию жениться. У него там осталась невеста, дочь командира над портом. Император не разрешил. Говорит: в России довольно девушек, нечего ездить за невестами в Англию.

— Что ж, в этом есть резон, — улыбнулся Михаил Илларионович, глядя на своих пятерых дочерей.

V

Живописная, уютная Вильна не походила на унылый, захолустный Выборг. Здесь была иная — шумная, светская жизнь, балы, театры. Женщины щеголяли в парижских нарядах.

Если в Выборге надоедали бесконечные смотры и воинские учения, то в Вильне была утомительная салонная жизнь. Военному губернатору приходилось появляться всюду: на больших общественных собраниях, в домах местной знати и даже на воскресных танцевальных вечерах, которые назывались в Польше как-то на военный лад — «редутами».

«Мне бы весело в маленькой компании, в шесть часов выйти и в десять спать лечь, а здесь должен сидеть за ужином, без того обижаются, и ежели я куда не пойду, то никто не пойдет. Мне это не здорово и не весело», — писал он домой.

Но бумаг, на которые нужно отвечать, было предостаточно. Михаил Илларионович частенько сидел за ними до вечера и прямо из канцелярии ехал в театр.

«Я, слава Богу, здоров, только глазам работы так много, что не знаю, что будет с ними», — жаловался он в письмах жене.

В марте через Вильну проехал в Кобрин племянник Суворова — Андрей Горчаков. После победного итало-швейцарского похода Суворов вернулся на родину тяжело больным. По пути в Петербург он остановился в своем кобринском имении.

Кутузов надеялся, что крепкий организм Суворова поборет болезнь, но вышло по-иному. Из Кобрина Суворов переехал в Петербург, где и умер 6 мая 1800 года.

Михаил Илларионович не видал своего учителя и друга: Суворов, едучи в Петербург, миновал Вильну.

В действиях императора все так же было мало последовательности и логики, как и раньше.

Он дал Суворову звание генералиссимуса, а потом вдруг, неизвестно почему, резко переменил свое отношение к нему. И когда

Суворов скончался, то Павел велел хоронить его не как генералиссимуса, а как фельдмаршала.

Павел I объявил в приказе строгий выговор, «для примера другим», генералу Врангелю, несмотря на то что Врангель уже умер. С этим приказом мог соперничать только приказ, отданный его отцом, Петром III, который однажды предписал, чтобы все больные матросы выздоровели.

Обозленный на своих недавних вероломных союзников Австрию и Англию, Павел стал готовиться к войне. Он сформировал две армии — в Литве и на Волыни — и назначил командовать первой графа Палена, а второй — Михаила Кутузова. Желая испытать полководцев в действии, Павел назначил на 1 сентября 1800 года осенние маневры в Гатчине. Здесь Пален должен был выступать против Кутузова.

Маневры прошли великолепно. Кутузов внутренне потешался над всеми эволюциями войск, которые следовали не петровским и суворовским, а прусским канонам, но не перечил им, понимая, что это лишь маневры. Благополучному окончанию их много способствовал генерал Дибич, которого Павел ценил только потому, что он был адъютантом Фридриха II. Во время маневров Дибич на каждом шагу хвалил русскую армию: «О великий Фридрих! Если б ты мог видеть армию Павла! Она выше твоей!»

Лесть, которую так любила императрица Екатерина II, не была противна и ее сыну.

Павел остался весьма доволен маневрами. Он отдал в приказе благодарность генералам Кутузову, Палену и офицерам, а нижним чинам пожаловал по рублю, по чарке водки и фунту говядины на человека.

«Весьма утешно для его императорского величества видеть достижения войска такого совершенства, в каковом оно себя показало во всех частях под начальством таковых генералов, которых качество и таланты, действуя таковыми войсками и такой нации, какова российская, не могут не утвердить и не обеспечить безопасности и целости государства».

Кроме благодарности, Кутузов получил орден Андрея Первозванного. Расположение Павла к Кутузову осталось неизменным.

В декабре Павлу пришла на ум оригинальная мысль.

Так как европейские государства не могли прийти к соглашению, то он предложил организовать между главами государств поединок.

— Пусть по примеру древних рыцарей государи решают споры на поле! — говорил Павел.

Своими секундантами в этой дуэли он выбрал генералов Кутузова и Палена. Из рыцарского поединка царей не получилось ничего, но Михаил Илларионович еще раз убедился, что император Павел ценит его.

VI

1 февраля 1801 года Павел переехал из Зимнего дворца в Михайловский замок, который по его приказу был спешно построен на месте обветшалого Летнего дворца.

Едва вступив на престол, Павел уже собирался покинуть Зимний дворец, где он чувствовал себя не очень уютно. Во-первых, здесь все напоминало ему о матери, во-вторых, в этой анфиладе проходных зал негде было обособиться, укрыться от всех. Прожив сорок два года под негласным надзором царственной матери, которая считала сына своим соперником, чувствуя, что он нелюбим придворной знатью, Павел всюду и во всем видел измену, недоброжелательство и козни.

Он решил построить на месте старого елизаветинского Летнего дворца, в котором родился, новый дворец — Михайловский. Закладка его была произведена немедленно, 26 февраля 1797 года, через четыре месяца после вступления на престол.

Нетерпеливый во всем, Павел торопил с постройкой Михайловского замка. Шесть тысяч рабочих трудились не только днем, но и ночью, при свете факелов. Павел приказал использовать мрамор, который Екатерина II заготовила для верхней части Исаакиевского собора. Чтобы не возбуждать народ, мрамор от Исаакиевского собора перевозили к строящемуся дворцу ночью.

Новую резиденцию Павел построил по своему желанию и вкусу. Это был не обычный дворец, а средневековый замок со рвами и подъемными мостами. Здесь, за толстыми гранитными, словно крепостными, стенами, за двенадцатифунтовыми пушками, стоявшими у брустверов, Павел надеялся чувствовать себя безопаснее, нежели в открытом со всех сторон роскошном Зимнем дворце.

Еще не успели просохнуть стены, еще всюду в новом дворце проступала сырость, а император Павел уже въехал с семьей в Михайловский замок.

Этот новый дворец, выкрашенный в нелепую, до странности резкую красную краску, с непонятной надписью на фронтоне: «Дому Твоему подобает святыня Господня в долготу дний», был столь же странен и неприятен внутри, как и снаружи.

Залы были обставлены с подобающей роскошью, но не всегда с подобающим вкусом.

Обилие золота, бронзы, драгоценных ваз и столов уживалось с бездарными картинами и статуями посредственных мастеров и скверными зеркалами петербургской работы.

Добираться до этих зал приходилось по утомительному лабиринту бесконечных лестниц и мрачных коридоров, в которых без посторонней помощи было трудно ориентироваться.

Но нашлось предостаточно придворных льстецов и подхалимов, которые превозносили красоту и удобства нового дворца и даже красили свои дома в такой же дикий цвет; восхищались тяжелыми лестницами и бесконечными коридорами, в которых всегда разгуливал сквозняк, и становились на колени перед уродливыми статуями, аллегорически изображавшими Силу, Победу и прочее.

С первого же дня жизни в новом дворце Павел ежедневно приглашал Кутузова к обеду, а частенько и к ужину. Михаил Илларионович продолжал быть одним из тех сановников, к которым благоволил Павел. Иногда такую честь он оказывал и двум дочерям Михаила Илларионовича — фрейлинам Прасковье и Анне.

Кутузову надоели эти скучные, тягостные царские обеды и ужины, во время которых по преимуществу говорил только сам Павел. Когда же император бывал особенно мрачен, обед проходил в томительном молчании.

В последнее время подозрительность императора особенно возросла. Помня трагическую судьбу своего отца, Петра III, он с недоверием смотрел даже на императрицу и старших сыновей Александра и Константина.

Павлу всюду мерещились заговоры и покушения на его жизнь.

Действительно, в придворных кругах совершенно открыто выражали недовольство царем и его противоречивыми, необычными распоряжениями.

Глубокое возмущение вызывало то, что Павел совершенно не считался с общественным мнением. По меткому выражению Карамзина, «он казнил без вины, награждал без заслуг».

Павел вмешивался во все: сам обучал солдат, сам разбирал прошения, два раза в день появлялся на петербургских улицах, требуя поклонов, назойливо входил в житейские мелочи своих подданных, так что даже простой народ, для которого Павел был не хуже, но и не лучше других царей, иронизировал над ним, говоря:

— Наш батюшка царь стал до самой малости доходить!

VII

В понедельник 11 марта 1801 года Михаилу Илларионовичу пришлось дважды приезжать в Михайловский замок — к обеду и ужину.

На ужин получила приглашение и фрейлина Прасковья Кутузова, старшая дочь Михаила Илларионовича.

К восьми часам вечера Михаил Илларионович и Прасковья были уже во дворце.

Приглашенные к царскому столу ждали императора в соседней зале. Несмотря на то что в большом камине жарко пылали дубовые

плахи, в зале от непросохших сырых стен стоял туман. Свечи в большой бронзовой люстре горели тускло.

Приглашенные стояли на средине залы — от стен тянуло холодом. В углах сверху донизу белели полосы льда — сырость выступала наружу.

Ждали выхода императорской фамилии. Разговаривали вполголоса. Всех беспокоило одно: в каком настроении выйдет к вечернему столу император. Уже второй день он гневался, был раздражен и подозрителен.

Вчера вечером во дворце был праздничный концерт. Пела известная французская певица, любовница императора, Шевалье. Но Павел не слушал ее пения. Он ходил чем-то расстроенный и косо поглядывал на всех своих — императрицу Марию Федоровну и сыновей — Александра и Константина.

И сегодня в первой половине дня настроение его не улучшилось. На разводе император кричал, но как-то никого не разжаловал и не сослал. К удивлению всех, на разводе почему-то не присутствовали великие князья Александр и Константин. Все понимали, что так приказал Павел, что он, видимо, ими недоволен, что царский гнев растет.

К обеду император пригласил только шестерых сановников — в том числе генерала от инфантерии Кутузова. Никаких статс-дам и фрейлин не было. Обед прошел в гробовом молчании — никто не смел начать разговор, а сам хозяин только отдувался и пыхтел. Хорошо, что Павел всегда мало ел и больше часа не засиживался за столом.

И в этот вечер всех тревожила одна мысль: что-то будет сейчас, за ужином?

Собравшиеся с беспокойством поглядывали на дверь.

Их фигуры тускло, призрачно отражались в больших запотевших дворцовых зеркалах.

Черноглазая и чернобровая — вся в мать — Прасковья Кутузова старалась издалека рассмотреть себя в зеркале — в порядке ли ее туалет.

— Не забудь снять перчатки, — шепнул ей отец. — А то еще выйдет как с Кашкиной.

— Что вы, папенька! — ответила Прасковья и невольно ужаснулась, вспомнив эту неприятную сцену, которая произошла в ее присутствии на прошлой неделе.

Во время ужина фрейлина Кашкина села за стол, забыв по рассеянности снять перчатки. Император, всегда подозрительно осматривавший всех за столом, сразу заметил это. У него даже камер-пажи должны были прислуживать за столом без перчаток. Он обернулся к камер-пажу и громко сказал: «Спроси у фрейлины, почему она сидит в перчатках? Не чесотка ли у нее?» От незаслуженной обиды и стыда у Кашкиной посыпались из глаз слезы. Но

быть недовольной не полагалось. Она собрала все свое самообладание и с принужденной улыбкой кое-как высидела этот тягостный ужасный час.

Михаил Илларионович невольно обратил внимание на то, что сегодня к вечернему столу приглашено вдвое больше гостей, чем к обеду.

Ровно в половине девятого двери распахнулись и в залу вошел под руку с Марией Федоровной император. Он уже не пыхтел и не отдувался, как во время обеда, значит, был хорошо настроен.

У всех свалилась гора с плеч.

За Павлом шли сыновья Александр и Константин с женами и великая княгиня Мария Павловна.

Гости двинулись за императорской фамилией в столовую залу.

Павел порывистым движением протянул камер-пажу шляпу и перчатки. Сел на всегдашнее место — посредине стола. Справа от императора сели великий князь Александр, его жена Елизавета Алексеевна и сестра Мария Павловна. Слева — императрица, великий князь Константин и его жена Анна Федоровна. Вместе с императорской фамилией по одну сторону стола сидели только три статс-дамы — Пален, Ливен и Ренне. Места остальных девяти приглашенных расположились на противоположной стороне стола.

Михаил Илларионович в этот раз сидел против Елизаветы Алексеевны, а Прасковья — против княгини Марии Павловны.

Сели. Камер-пажи, стоявшие у стола впереди лакеев, привычным движением, ловко, в меру, придвинули стулья.

Близорукая Мария Федоровна, не поворачивая своей красивой головы, протянула назад через плечо руку. Камер-паж ждал этого момента: проворно вложил в пальцы императрицы золотую булавку. Мария Федоровна приколола булавкой к своей пышной груди салфетку.

Камер-пажи стали подавать блюда.

Ужин начался.

Павел уже пришел к ужину в хорошем настроении, а здесь оно еще больше поднялось: к столу впервые подали новый фарфоровый сервиз с видами Михайловского замка. Император восторгался им. Еще бы — его детище, его любимый дворец так красив! На фарфоре не было видно ни сырости, проступавшей всюду, ни безалаберных коридоров.

Разумеется, все наперебой восхищались и сервизом и дворцом, который за глаза никто и не думал хвалить.

Хорошее царское настроение отражалось на подобострастных лицах присутствующих.

Лишь один Александр сидел насупившись. Был мрачнее тучи.

«Странно, — подумал Михаил Илларионович, глядя на этого «кроткого упрямца», как когда-то назвала внука Екатерина II. — Никогда не показывал вида, что обижается на отца, а сегодня из-

менил своему притворству. Обиделся, что отец не допустил его к утреннему разводу. Любит шагистику и муштру, как папаша. А обидчив и злопамятен хуже его».

— Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? — обратился к Александру император.

— Да, немного простужен.

— Надо полечиться. Нельзя запускать болезнь, — заметил отец.

И затем, обращаясь ко всем, сказал:

— А я сегодня видел сон, будто на меня натягивали узкий парчовый кафтан. Он был так тесен, что я проснулся. Что это значит — видеть во сне кафтан? — спросил он, глядя на сидевших перед ним.

Его глаза встретились с черными глазами фрейлины Кутузовой.

— Это к прибыли, ваше императорское величество, — смело ответила Прасковья.

— А вы откуда знаете?

— Мне бабушка говорила...

— Ну, как сказано: «Бабушка надвое говорила!» — улыбнулся Павел и принялся за еду.

Несколько минут длилось молчание. Потом император спросил у своего любимца, известного остряка, обер-гофмаршала Нарышкина, сидевшего напротив:

— Александр Львович, так как же ты сегодня ответил девяностолетнему князю Хилкову? Видите ли, — объяснил присутствующим император, — князь Хилков боится, что умрет от каменной болезни, и всем твердит об этом, а Александр Львович возьми и отрежь князю на это. Что ты там сказал? — весело смотрел на Нарышкина Павел.

— Ничего особенного, ваше императорское величество. Я сказал только: «Вам, князь, бояться нечего. — деревянное строение на каменном фундаменте долго живет!»

Все заулыбались, а император смеялся, обнажая свои длинные, словно у зайца, некрасивые зубы.

Час ужина пролетел незаметно. Император был необычайно весел, внимателен к императрице и сыновьям, приветлив и прост с гостями.

В девять часов тридцать минут встали из-за стола.

Проходя мимо Кутузова, император остановился и попросил Михаила Илларионовича передать от него привет Екатерине Ильинишне. Потом глянул в зеркало, висевшее на стене, и сказал Кутузову:

— Как не умеют делать зеркала! Смотрите, Михайло Ларионович, я в нем кажусь со свернутой набок шеей!

И, напевая любимое:

Ельник мой, ельник,
частый березник... —

быстро ушел к себе.

VIII

На следующий день, 12 марта, Кутузова подняли с постели чем свет. В седьмом часу утра к нему приехал офицер от петербургского генерал-губернатора графа Палена с извещением о том, что в десять часов утра надо явиться в Зимний дворец для присяги императору Александру Первому.

— А где же император Павел? Что с ним? — удивленно спросил Кутузов.

— Скончался апоплексическим ударом! — весело ответил офицер и заторопился к выходу: ему нужно было успеть оповестить еще стольких сановников!

Михаил Илларионович понял все: с императором Павлом случился такой же «апоплексический удар», как и с его папашей Петром III.

Услыхав ответ офицера, из спальни в халате выбежала к мужу Екатерина Ильинишна:

— Что случилось?

— Императора убили, — ответил Михаил Илларионович, в раздумье расхаживая по кабинету.

— О боже! — всплеснула руками Екатерина Ильинишна. — Когда?

— Сегодня ночью.

— Кто убил?

— А вот скоро узнаем. Должно быть, гвардейцы, кто же больше?

Екатерина Ильинишна опустилась на стул. Сидела как в оцепенении. Не могла освоиться с такой новостью. Михаил Илларионович продолжал ходить по комнате.

Заговор против императора Павла как-то прошел мимо Михаила Илларионовича. Два последних года он почти не бывал в Петербурге — служил в Финляндии и Литве. И только с прошлогодних гатчинских маневров, с августа 1800 года, Кутузов восьмой месяц жил дома.

Он, как и все, видел недовольство придворной аристократии и дворянства Павлом, не раз слыхал, как в салонах и в кругу гвардейской молодежи высмеивались, порицались его странные нововведения и порядки.

Говорили, что в императоре средневековый рыцарь уживается с прусским капралом. Смеялись меткому выражению Чичагова, который прозвал Павла «курносый чухонец с движениями автомата».

В последние месяцы недовольство императором заметно усилилось, но никто не посвятил Михаила Илларионовича в готовящийся заговор. Произошло это, вероятно, потому, что все знали, как Павел благоволит к Бибиковым и из всех генералов особенно выделяет Кутузова.

— Кто же мог задумать заговор? — спросила мужа Екатерина Ильинишна. — Мне кажется, это дело рук братьев Зубовых: как волка ни корми, он в лес глядит!

— Да, вероятия много, что Зубовы принимали участие в убийстве. Но вообще, Катенька, все дело значительно глубже и тоньше, чем личные счеты. Видишь ли, Павел Петрович был человек с рыцарскими замашками. Австрия и Англия вероломно поступили с Россией, Павел и порвал с ними. Наложил эмбарго на английские суда, а это стоит денег. Затем он стал сближаться с первым консулом Бонапартом, с Францией. Вот Англия и расправилась с ним. Убийство императора Павла — дело Англии. Это меч на английской веревке. И тут, пожалуй, твое предположение насчет Зубовых имеет резон. Ведь английский посол Витворт до высылки его из России пребывал в нежнейших отношениях с их сестрицей Ольгой Александровной. Он подыскивал исполнителей, тех, кто будет непосредственно убивать. В этом деле братья Зубовы могли пригодиться...

— Как это Пален недоглядел? — спросила Екатерина Ильинишна.

Михаил Илларионович только хихикнул:

— Палена голыми руками не возьмешь: хитер. Еще неизвестно: то ли недоглядел заговора, то ли сам участвовал в нем. Павел Петрович зря уволил Аракчеева: тот был бы при нем как цепная собака!

— Бедный Павел Петрович! — вытирая слезы, сказала Екатерина Ильинишна. — Еще вчера передал мне привет... Еще и полсуток не прошло, как он был здоров и весел, а теперь — все кончено! Несчастный император!

— Родная мать была ему мачехой, а судьба оказалась злей мачехи! — согласился Михаил Илларионович.

Екатерина Ильинишна встала:

— И как в жизни бывает, подумать только! Мы спим спокойно, а в двух шагах от нас, только через Фонтанку, творится бог знает какой ужас!

Екатерина Ильинишна махнула рукой и вышла из комнаты.

А Михаил Илларионович продолжал ходить из угла в угол, думая о случившемся.

IX

Еще не было девяти часов, а Михаил Илларионович, позавтракав и надев парадный мундир, направился в Зимний дворец. Он ехал заранее, чтобы разузнать подробности «апоплексического удара».

Выехав с набережной Невы на Царицын луг, Михаил Илларионович невольно взглянул на видневшуюся вдали кроваво-красную громаду Михайловского замка.

«Не помогли тебе, Павел Петрович, ни двенадцатифунтовые пушки, ни толстые стены, ни подъемные мосты, ни фридриховская муштра...» — подумал Кутузов.

К Зимнему дворцу со всех сторон спешили приглашенные и неприглашенные, в экипажах и пешком. Ехавшие уже не боялись, что встретят на улице «курносого».

Площадь перед Зимним дворцом была сегодня похожа на вагенбург[1]. На ней столпились кареты, экипажи, коляски, кибитки курьеров, верховые лошади полицейских и ординарцев. К главному подъезду тянулась длинная вереница карет. Пришлось ждать очереди, медленно продвигаться в толпе.

Над площадью висел немолчный гул голосов, слышались веселые возгласы, смех. У полосатого черно-красно-белого фонарного столба, на котором желтел свежий листок манифеста, толпился простой народ.

Между каретами, на размешанном в грязь снегу, весело боролись чьи-то форейторы. Глядя на них, Михаил Илларионович вспомнил, как в день смерти Екатерины II здесь же, на площади, точно так же смеялись и шутили лакеи, а когда старик кучер пытался усовестить их, говоря: «Перестаньте, как не стыдно: царица померла!», то один из лакеев со смешком ответил: «И пора ей умереть! Столь поцарствовала. Хватит!»

Смерть царя никогда не печалила народ.

Мимо кареты Кутузова, громко разговаривая, медленно ехали ко дворцу гусар и конногвардеец, — должно быть, ординарцы.

— А ты сам видел, что умер? — спрашивал конногвардеец.

— Видал. Нас водили, показывали. Накрепко умер! — ответил гусар.

— И тогда вы присягнули?

— Да. Полковник спрашивает у меня: «Ну что, Иванов, теперь присягнешь императору Александру?» А я ему: «Не знаю, ваше высокоблагородие, лучше ли будет Александр, чем Павел, но делать нечего. Присягнем! Кто ни поп, тот и батька!»

«Правильно! — подумал Михаил Илларионович. — Умница гусар: еще посмотрим, какой-то получится император из этого балованного бабушкина «ангела»».

Раздеваясь внизу, Михаил Илларионович встретил своего дальнего родственника — кавалергардского полковника Павла Кутузова. Он принимал участие в заговоре, был ночью вместе со всеми заговорщиками в Михайловском замке и теперь рассказал Михаилу Илларионовичу, как все происходило.

---

[1] Вагенбург — построение военного обоза.

Катенька оказалась права: большое участие в заговоре приняла вся семья Зубовых — три брата и сестра, Ольга Александровна Жеребцова. У красавицы Ольги Александровны заговорщики собирались.

— Шампанское каждый день лилось рекой, — рассказывал Павел Кутузов.

«Еще бы ему не литься — на английские деньги!» — подумал Михаил Илларионович.

Из братьев Зубовых особенно отличился старший, Николай. Когда заговорщики, найдя императора Павла спрятавшимся за ширмой, на секунду растерялись, Николай Зубов ударил императора. Когда-то он первым принес Павлу императорскую корону, а теперь первым нес смерть.

За Николаем Зубовым на царя кинулся полковник Яшвиль. Он мстил за то, что Павел огрел его на вахтпараде палкой.

— А потом бросились все. И пошло! — сказал, улыбаясь, полковник.

— А что делал Платон Зубов?

— Платон Александрович стоял в стороне и возмущался императором: «Как он кричит! Это несносно!»

По рассказам Павла Кутузова, заговор возглавлял Пален.

«Я чувствовал: без «ливонского визиря» не обойдется!» — подумал Михаил Илларионович.

А ночью в Михайловском замке всем распоряжался хладнокровный генерал Беннигсен.

— Участие ганноверского кондотьера понятно: Павел не уважал его, и Беннигсен сводил с ним счеты, — сказал Михаил Илларионович. — А как же наследник, Александр Павлович, знал о готовящемся заговоре? — спросил он.

— Конечно! Ведь он же сам назначил в караул вне очереди своих надежных семеновцев. На измайловцев, например, положиться было нельзя.

Картина переворота стала для Михаила Илларионовича совершенно ясна. Так вот почему вчера за ужином Александр Павлович чувствовал себя так скверно, был невесел, не поднимал глаз от тарелки!

Оба Кутузова пошли наверх в залы, но уже на лестнице разошлись: Павла отозвали в сторону офицеры-однополчане, а Михаил Илларионович стал медленно подыматься по широким ступеням.

Роскошный, уютный Зимний дворец опять ожил.

Александр тотчас же переехал назад, в Зимний. В мрачном Михайловском замке остались лишь мертвый Павел и неутешная Мария Федоровна.

На широкой парадной лестнице Зимнего дворца царило оживление. Военные и гражданские радостно поздравляли друг друга, целовались, хотя до Пасхи оставалось еще полторы недели.

Михаил Илларионович шел не спеша, раскланиваясь со знакомыми. Нельзя сказать, чтобы его сторонились, но как-то никто не задерживался возле него, — очевидно, хорошо помнили, что Павел благоволил к Кутузову.

Михаил Илларионович внутренне потешался над этим: «Не знают, как будет со мной новый император».

А на лестнице стояли группами, переговаривались, громко обсуждали последние события:

— Хватит с нас! Довольно нам повторять зады Ивана Грозного!

— Я каждый день ждал ссылки!

— Избили императора так, что теперь художники красят, чтобы можно было показать народу!

— И врачи там, с англичанином Гривом.

— Манифест-то, манифест какой! «Управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу августейшей бабки нашей».

— Золотые слова!

— Кто же это так красиво написал? Карамзин?

— Нет. Дмитрий Прокофьевич Трощинский, екатерининский секретарь.

— Это не Трощинский, а сам Александр Павлович сказал. Я был в Михайловском замке, когда император вышел к войскам. Он так и сказал: «При мне будет все как при бабушке».

— Генерал-прокурора Обольянинова арестовали.

— Довольно ему арестовывать других.

— У, подлец, изверг!

Обгоняя Кутузова, шла гвардейская молодежь. Эти говорили о другом:

— Командира измайловцев, генерала Малютина, споили, чтоб не помешал...

— А генерала Кологривова Пален нарочно арестовал — гусары были ненадежны.

— Митька Ступин приехал уже в круглой шляпе.

— Да что ты?

— Ей-богу!

— Будем по-прежнему носить фраки и круглые шляпы!

Михаилу Илларионовичу было смешно: кому что. Для гвардейских вертопрахов отмена запрещения носить круглые французские шляпы была важнее отмены арестов и ссылок.

Кутузов вошел в залу.

Первое, что бросилось ему в глаза, была живописная группа у камина. Важно развалясь в кресле, сидел несуразно длинный, с лошадиным лицом Николай Зубов. Перед ним стоял, гордо поглядывая по сторонам бараньими глазами, маленький, перетянутый в талии грузин князь Яшвиль. Их почтительно окружала, на них смотрела как на героев, с завистью и восхищением, толпа молодых офицеров.

Зубов громко, видимо кончая беседу, сказал:

— Да, жаркое было дело!

Михаил Илларионович наслушался разных рассказов о вчерашней ночи. Даже те, кто ничего не знал о готовящемся заговоре, теперь старались уверить, что они были в курсе всех приготовлений и помогали заговорщикам. А те из заговорщиков, которые были с войсками ночью у Михайловского замка, но не попали в царские покои, рассказывали о своих подвигах, выставляя себя чуть не главными участниками убийства тирана. Если послушать таких, то можно было подумать, что, не будь их, Павел остался бы жив.

И все, конечно, рассказывали, как кричали вороны и галки в Михайловском саду, когда заговорщики шли к замку.

В десять часов пошли в дворцовую церковь присягать императору Александру I.

После присяги никто не уходил из Зимнего дворца — ждали, что выйдет император.

Через некоторое время Александр вышел к собравшимся. Он прошел гостиную, угловую комнату и мраморную залу, принимая поздравления.

Император был невесел. Сегодня он как-то еще больше вытягивал вперед шею, чем обычно.

Когда Александр проходил мимо группы сановников, где стоял Михаил Илларионович, он только мельком скользнул глазами по их лицам и прошел дальше. Он словно совестился прямо глянуть в глаза, зная, что всем известно его участие в убийстве отца.

«Остатки совести у Александра еще сохранились, но с годами он избавится и от этого непосильного груза», — подумал Михаил Илларионович, склонив голову перед новым, двадцатитрехлетним императором.

X

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Пушкин

Мелочность — несомненный знак не только узкого ума, но еще и низкой души...

Кардинал Ретц

В радужных надеждах и неумеренном восторге пролетел в Петербурге первый день нового царствования.

Придворная знать, дворянство и гвардия — ликовали. Не было особняка, в котором не веселились бы до поздней ночи.

Пили и пели:

После бури, бури преужасной,
Днесь настал нам день прекрасной...

Даже кое-кто из ремесленников и чиновничьей мелкоты тоже загулял; но мелкота гуляла не потому, что ждала каких-либо улучшений в своей серенькой жизни, а просто из привычки пить по любому поводу.

Простой народ не веселился; он не предвидел для себя никаких благоприятных перемен.

Петербург стал неузнаваем.

Еще два дня тому назад никто без особой нужды не выезжал из дому, боясь встречи с «курносым». С девяти часов вечера жизнь в столице вообще замирала: у шлагбаумов пропускали только повивальных бабок да фельдъегерей.

А сегодня весь день до глубокой ночи по петербургским улицам сновали кареты, коляски, мчались всадники. Днем какой-то шалый гусар въехал на тротуар Невской набережной на коне, радостно крича:

— Теперь все позволено!

В петербургских салонах, в гостиных — всюду главной темой разговоров оставалась одна: будет так, как при матушке Екатерине!

Михаил Илларионович только улыбнулся, когда впервые услыхал эти слова. Он по житейскому опыту знал, что никогда не бывает так, как было, никогда не возвращается то, что прошло. Нельзя войти дважды в одну и ту же текущую воду!

И уже утро следующего дня показало, что кое-что уцелеет и от Павла.

12 марта, разумеется, было не до вахтпарада, но 13 марта он состоялся на площади у Зимнего дворца, как прежде: Александр и его брат Константин на всю жизнь оказались отравленными прусской муштрой. Но все, кто смотрел на Александра как на преемника Екатерины II, постарались сделать вид, что не заметили этого возрождения павловского детища. Тем более что александровский вахтпарад не грозил никакой опасностью для дворянства. А что взбалмошный князь Константин Павлович во время вахтпарада издевался над солдатами, это никого из офицеров и знати не беспокоило.

Все ждали дальнейших шагов нового императора.

И дворянство не обманулось: следующие дни доставили ему полное удовлетворение.

Александр снял запрещение на ввоз в Россию товаров и на вывоз за границу русского хлеба. Ржи и пшеницы у помещиков было предостаточно, они не думали о хлебе насущном, а мечтали о ланкаширском сукне, о голландском полотне, о фарфоре и бронзе, которые можно было получить из Англии за русский хлеб.

Затем Александр разрешил ввоз книг и нот из-за границы. Это распоряжение было очень живо принято в столичных гостиных...

Подумать только: четыре года не знать о новых парижских песенках, не прочесть нового романа госпожи Радклиф!

2 апреля Александр уничтожил страшную Тайную экспедицию. Из Петропавловской крепости были освобождены сто пятьдесят три человека, но кроме них по всей России томилось в крепостях и монастырских тюрьмах, бедствовало в ссылке в Сибири и разных городах и деревнях около семисот человек невинно арестованных.

В указах первых месяцев чаще всего повторялось «отменить» и «простить».

В мае Александр снял эмбарго с английских судов. Россия снова восстанавливала добрые отношения с Англией. Пока что все шло, как и надеялись заговорщики, в духе Екатерины II.

Однако в июне молодой император поразил столицу одним своим необычным шагом. По неожиданности, внезапности это в первый момент очень напоминало указы его отца.

Но как ни были нелепы, дики распоряжения Павла, в них никто не мог бы найти вероломства. При всей своей неуравновешенности Павел все-таки оставался порядочным человеком.

А здесь налицо было самое неприкрытое вероломство: Александр не только уволил от службы, но и выслал навсегда из столицы своего благодетеля графа Палена. «Ливонский визирь», который расчистил Александру путь к трону, был в одно мгновение уничтожен.

На его удалении настояла Мария Федоровна. Она не могла примириться с тем, что убийца ее мужа не только занимает столь важный пост, но и стремится быть правой рукой императора.

— Покуда Пален в Петербурге, моей ноги там не будет! — заявила она в Гатчине сыну.

Тщеславная Мария Федоровна сама хотела управлять всем, не зная, с кем имеет дело.

С виду ласковый и кроткий, ее любимый сынок не был податлив. Александр не собирался делиться властью ни с кем. Он сам уже тяготился Паленом. Пален сделал свое дело и больше был не нужен Александру; Пален служил немым укором, тяжелым напоминанием об 11 марта.

Александр сделал вид, что исполняет волю матери, и разделался с Паленом.

В этом сказалась вся двуличная натура Александра I.

Когда-то Екатерина II постаралась привлечь для воспитания внука Александра лучших педагогов, но дворцовые интриги, разврат, лицемерие и обман оказали на Александра большее влияние, чем знаменитые Паллас и Лагарп.

Бабушка хотела воспитать внука в духе образцов Тацита и Плутарха; Александр же твердо и до конца жизни усвоил себе один

принцип — Макиавелли. Макиавелли был ему больше всего сродни. Екатерина II, кажется, предчувствовала это, когда говорила об Александре: «Этот мальчик соткан из противоречий».

В деле с Паленом Александр I обнаружил свое подлинное лицо.

Накануне отставки и высылки Палена Александр I поздно вечером принял, по обыкновению, рапорт военного губернатора Петербурга. Он был чрезвычайно любезен и мил с Паленом, и даже этот прожженный интриган и хитрец не почувствовал, что его песенка спета, — так хорошо сыграл свою роль Александр.

Когда на следующее утро граф Пален подкатил к Зимнему дворцу, его встретил флигель-адъютант императора с приказанием немедленно покинуть Петербург и жить в своем курляндском имении.

17 июня 1801 года последовал указ Александра I, в котором говорилось, что, «снисходя» на прошение графа фон дер Палена, он увольняется «за болезнями от всех дел».

18 июня Александр назначил вместо Палена военным губернатором Петербурга генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Кутузова.

Михаил Илларионович чувствовал, что этим назначением он обязан Марии Федоровне, а не Александру.

Мария Федоровна, как и Павел, всегда благожелательно относилась к Кутузову и его семье, и, очевидно, Мария Федоровна вспомнила о Михаиле Илларионовиче. Отношения между Александром Павловичем и Кутузовыми были всегда натянутыми, принужденными. С генералом, которого уважал отец и которого бабушка называла не иначе как «мой Кутузов», Александр Павлович был вежлив, даже почтителен, но сух.

Михаил Илларионович принял этот знак «благоволения» императора с недоверием.

Не прошло и недели, как последовал указ об образовании воинской комиссии под председательством наследника, Константина Павловича.

В эту комиссию был назначен и Кутузов.

С большинством мероприятий отца Александр I был не согласен, но в военном деле остался его верным и последовательным учеником.

Император Александр проводил дни в манеже. Он стоял в углу и, качаясь с ноги на ногу, как маятник, командовал марширующими до изнеможения солдатами:

— Ать-два! Р-раз, р-раз!

Он целыми часами занимался тем, что чертил мелом на мундирах живых манекенов-солдат, одетых в разную форму, — придумывал, какие лучше сделать «клапанца», с зубчатыми вырезками или прямыми, и сколько поместить пуговиц.

В его кабинете в Зимнем дворце, как в лавчонке, лежали на этажерках красного дерева образцы различных щеток для усов и сапог, дощечки для чистки пуговиц, солдатские ремни и пряжки.

Когда Александр стал императором, некоторые черты его характера, прежде чуть обозначавшиеся, обнаружились с полной ясностью. Привитая отцом любовь к шагистике и фрунту, к мелочным формальностям военной службы превратилась у него в страсть.

Армия стала его самым больным местом.

Он унаследовал от Павла пристрастие к формализму, доходившее до смешного. Если лист бумаги, на котором был написан доклад, казался Александру на одну восьмую дюйма больше или меньше положенного, Александр смотрел на это как на важное злоупотребление и выходил из себя.

Его подпись, витиеватая до крайности, тоже доставляла Александру мучения. Если первым взмахом пера «А» не получалось в вершине тонким, как волос, а внизу широким, как след кисти, Александр в сердцах бросал перо и не подписывал указ.

Назначенная военная комиссия должна была рассмотреть численность войск, штаты полков, продовольствие, обмундирование, вооружение.

Выбирая головной убор для армии, комиссия остановилась на круглой шляпе, потому что она прикрывает глаза от дождя и солнца, а треугольная «делает помешательства в разных строевых оборотах».

Этого мнения придерживалась вся комиссия, только ее председатель цесаревич Константин и президент военной коллегии генерал Ламб высказались против:

«Шляпы приличнее оставить треугольные, а не круглые, и волос у солдат не обрезывать, но завязывать или заплетать для того, чтоб не оставить их в виде, мужикам свойственном».

Император Александр, конечно, поддержал мнение брата, который не считался с тем, удобно это солдату или нет. Лишь бы было так, как ему нравится.

Круглые шляпы и здесь все-таки оказались опасными, какими их считал Павел.

Александр I не восстановил прежнюю, бывшую при Екатерине II, национальную, русскую форму, выработанную Румянцовым, Потемкиным и Суворовым. Пудра и коса все-таки уцелели. Только у офицеров косы стали поменьше — в полворотника; букли уничтожили, на лоб спускались волосы — «эсперансы».

Вместо широких и длинных мундиров стали узкие и чересчур короткие, чуть прикрывавшие грудь.

Молодым офицерам было неплохо, но старые, располневшие генералы выглядели в таких мундирах некрасиво: брюхо уродливо выпирало вперед.

Низкие отложные воротники павловских мундиров заменились стоячими, очень высокими, доходившими до ушей. В таком воротнике голова была словно в ящике. Плотный, жесткий воротник больно резал шею и уши. Из-за воротника невозможно было повернуть голову в сторону — приходилось поворачиваться всем корпусом. Вместо очень низких шляп стали носить огромные высокие, с черными султанами в пехоте и белыми в кавалерии. А записные гвардейские щеголи и франты невольно утрировали все эти размеры.

Новая форма по-своему была не менее уродлива и неудобна, чем павловская, но такую же носили в Пруссии, Австрии и других странах, она была модной, и потому ее находили красивой.

Александр так же старался изменить все, что было установлено его отцом, как Павел переделывал все екатерининское.

С каждым днем все больше обнаруживалось сходство в характерах отца и сына. Оба стремились вникать во все сами лично, у обоих было пристрастие к формализму и мелочам. Оба не верили никому и легко раздражались, но у Павла это выплескивалось наружу, а Александр научился скрывать все под личиной прекраснодушия и ангельской доброты, которую так неосторожно приписывала ему бабушка Екатерина II.

Для вдумчивых, наблюдательных людей, которые видели в Александре не то, что хотелось видеть его неумеренным обожателям и льстецам, а то, что было на самом деле, постепенно выявлялась скрытая сущность молодого императора.

12 марта умиленные дворяне поверили словам манифеста, в котором Александр обещал, что будет управлять «по законам и по сердцу» бабушки. Пален, Зубовы, Трощинский и прочие заговорщики хотели этого, и Александр ничего другого обещать в манифесте не мог. В сущности, эти слова говорил не Александр, а Дмитрий Прокофьевич Трощинский, бывший секретарь Екатерины II, написавший текст манифеста.

Александр же одинаково не любил вспоминать не только сумбурное царствование своего страшного отца, но и правление любимой бабушки, несмотря на то что в том же манифесте говорилось о Екатерине II так: «...коея память нам и всему отечеству вечно пребудет любезна».

«Вечная» не выдержала испытания даже одного года!

Обнаружилось, что Александр не терпит сравнений и сопоставлений своего царствования ни с какими предшествующими, и не только с павловским, осужденным всеми, но и с екатерининским. Правление бабушки тоже подвергалось Александром суровому осуждению.

Александр оказался очень самолюбивым, он хотел быть всегда и во всем первым.

XI

Что же касается личности Александра Павловича как человека и простого смертного, то вряд ли облик его, так сильно очаровавший современников, через сто лет беспристрастный исследователь признает столь же обаятельным.

Кн. Николай Михайлович

Уже год прослужил Михаил Илларионович в должности военного губернатора Петербурга и инспектора войск в Финляндии. Кроме этого, Александр подчинил ему всю гражданскую часть Санкт-Петербургской и Выборгской губерний.

Конечно, было лучше жить и работать у себя дома, чем даже в веселой, приятной Вильне. Но это смешение военных и гражданских дел доставляло Михаилу Илларионовичу много хлопот.

Тут и инспекция войск, и караулы, и вся столичная хозяйственная жизнь: продовольствие и фураж для Петербурга, питейные сборы, больницы, постройка провиантского магазина у Калинкина моста, — всегдашние неурожаи во вверенных губерниях и ежедневные, обычные происшествия: грабежи, уличные драки, дуэли и картежная игра, которую так не переносил Александр I.

Приятно было одно: в ведение Кутузова, к удовольствию Екатерины Ильинишны и девочек, поступали итальянская и немецкая оперные труппы. Теперь в салоне петербургской губернаторши прибавилось служителей Мельпомены.

Михаил Илларионович не находил ничего приятного в ежедневном общении с царем во время утренних и вечерних докладов.

Александр I, как и Павел, очень интересовался мелкими городскими происшествиями: лакей умер в бане, мещанка родила двойню.

Кутузова поражало и невольно задевало то, как русский император откровенно высказывал свою нелюбовь к России и русскому народу. Александр не хотел и не старался понять дух русского человека. Он не следовал в этом примеру Екатерины, которая старалась понять русскую жизнь, войти в нее. Его отец, Павел I, еще будучи мальчиком, подчеркивал свое благожелательное отношение ко всему русскому: когда ему ставили на обеденный стол испанскую соль, маленький Павел возмущался и просил, чтобы вместо испанской дали илецкую, русскую. Отношение отца и сына к простому народу, к крестьянам, было совершенно различным. Павел роздал за четыре года своего царствования больше крестьян, нежели Екатерина II за тридцать четыре: четыреста тысяч душ. Он продолжал крепостную политику матери, но Павел как-то помнил о народе, не считая его, как Александр I, совершенно не стоящим внимания. Недаром Павел велел привести к присяге даже крепостных.

Император же Александр откровенно презирал «подлый» народ. Он говорил о крестьянах так: «Каждый из них — либо дурак, либо подлец!»

Князь Репнин как-то сказал ему, что вынужден освободить своих крепостных от дорожной повинности из-за неурожая: крестьяне, мол, грызут вместо хлеба одни коренья. Император Александр ответил на это: «Что грызут дома, то могли бы грызть и на дороге!»

Когда Тормасов рассказал о своем лакее, который мечтал о воле, и Тормасов легко наказал лакея за это, Александр I прямо возмутился:

«За столь буйственный и дерзновенный поступок следовало бы наказать наистрожайше и публично!»

Насколько Александр не любил русских, настолько питал пристрастие к иностранцам. Кутузову было неприятно слышать, как Александр притворно жаловался иностранцам, что он окружен одними русскими бездарностями и мерзавцами. Михаилу Илларионовичу казалось, что при болезненном самолюбии Александра и его желании всех и во всем затмевать бездарности вообще должны были бы больше устраивать его.

Особенно старался понравиться Александр I дамам, к которым питал большое влечение с отроческих лет.

В семье, среди своих, Александр вечно брюзжал, был малоразговорчив и неласков. Но стоило ему очутиться среди дам, как он мгновенно преображался. Он очаровывал дам мягкой, вкрадчивой, многообещающей улыбкой, изысканным обращением и внимательностью. Дамам Александр мог нравиться потому, что лицом он напоминал свою миловидную мать Марию Федоровну.

Все, начиная с бабушки, льстили ему, твердили с детства, что он красавец. Александр возомнил о себе, считал себя неотразимым и не переставал любоваться собой, как Нарцисс.

У его отца был очень плохой вкус. Павел уродливо одевался, не умел обставить свою жизнь. Александр в эстетическом отношении превосходил отца. Он понимал, что могло быть ему к лицу, следил за своей внешностью, щегольски одевался. Александра сильно удручали глухота и близорукость, а особенно то, что он стал рано лысеть.

Лев Нарышкин смеялся, что Александр лысеет так рано из-за цитерных утех.

Личное отношение Александра к Кутузову было далеко от простого и сердечного отношения к нему Павла. Александр никогда не смотрел Михаилу Илларионовичу в глаза, отводил их в сторону, словно боялся прочесть в этом единственном, но далеко видевшем глазе Кутузова укор отцеубийце. Кутузову казалось, что в холодных голубых глазах императора часто вспыхивали недружелюбные, злые огоньки.

Михаил Илларионович говорил в кругу своей семьи:

— Я — калиф на час. Император не любит меня. Он очень злопамятен и мелочен. Не может мне простить, что я был за стрижку солдат, за круглые шляпы. Для него армия, прусские воинские порядки — самое дорогое.

— Ты придирчив, Миша, — говорила Екатерина Ильинишна, которой миловидный женский обожатель Александр Павлович был симпатичен.

— Нет, я прав, — не соглашался Кутузов. — Александр — чистейший византиец: предал отца, теперь понемногу предает бабушку. Так что я ему? В один прекрасный день явлюсь поутру во дворец, а меня и на порог не пустят, как Палена. И отправят, как его, на постоянное житье в поместье. Надо поскорее самому убираться в Горошки!

Особенно почувствовал себя непрочно на губернаторском посту Кутузов весной 1802 года.

В Петербурге участились грабежи и драки на улицах. Ямская карета, мчавшаяся с Васильевского острова, сшибла на Исаакиевской площади англичанина-негоцианта.

Когда Кутузов на утреннем докладе доложил об этом Александру, император только иронически улыбнулся. На его холеных щеках выступил румянец.

Михаил Илларионович увидел: его императорскому величеству это сообщение не по вкусу. Оно и понятно: карета сшибла ведь не лишь бы кого, а иностранца, англичанина. Если бы это оказался свой, российский купчик, у императора так не испортилось бы настроение.

Михаил Илларионович рассказал обо всем дома.

— Миша, а в самом деле, почему стало так неспокойно у нас на улицах? Вон у Михайловского замка позавчера ограбили и избили какого-то помещика...

— Ничего нет мудреного, Катенька, — ответил Кутузов. — Некому смотреть за порядком — будочников мало.

— А почему их мало?

— Сами обыватели не хотят торчать в будке — кому приятно возиться с пьяницами да буянами. Вместо этой повинности обыватели платят в казну по девять рублей в месяц. А за такую плату стоять день-деньской на часах, да еще зимой, много ли сыщется желающих?

И все эти мелкие неприятности завершила более крупная — побег крепостного парикмахера графа Николая Салтыкова.

Графине Салтыковой, жене бывшего воспитателя Александра Павловича, давно минуло шестьдесят лет, но она все не хотела стариться. У Салтыковой очень рано начала плешиветь голова, и графиня носила парик. Чтобы никто не узнал об этом конфузном изъяне, Салтыкова держала своего дворового куафера в клетке под замком. Клетка стояла в графининой спальне. Парикмахер выпус-

кался из клетки только тогда, когда графине надо было делать прическу. Куда бы ни уезжала Салтыкова, она обязательно брала с собою парикмахера в клетке. Несчастный парень сидел в заточении уже несколько лет. И вот теперь ему наконец как-то удалось бежать.

— Знаешь, Катенька, вчера бежал парикмахер Натальи Владимировны Салтыковой, которого она держала в клетке, — рассказывал жене Михаил Илларионович, приехав со службы домой.

— И что же, его поймали?

— Нет еще.

— Слава богу! А ты, Мишенька, не усердствуй в поимке. Пусть эта старая дура побесится! — горячо сказала Екатерина Ильинишна.

— А зачем мне усердствовать? — усмехнулся Кутузов. — И не подумаю.

Обозленная тем, что парикмахер не найден, а ее позорная тайна открыта (хотя все давно знали о том, что графиня плешива), Салтыкова пожаловалась на нерасторопность петербургской полиции самому императору. Александр I, привязанный с детства к Салтыковым и сам лысевший основательно, конечно встал на сторону графини. То, что петербургская полиция не нашла крепостного человека, особенно возмутило императора. Александр никогда не сочувствовал «подлому» народу и считал его всегда и во всем виноватым. На этот раз, говоря с Кутузовым, он не улыбался иронически, а прямо выразил ему свое недовольство.

Кутузов понял: его губернаторская песенка окончательно спета.

На следующий день он заранее прикинулся больным, чтобы дать царю благовидный повод к отставке петербургского военного губернатора.

Михаил Илларионович правильно предугадал дальнейший ход событий. Александр I тотчас же назначил вместо Кутузова военным губернатором Петербурга фельдмаршала Каменского и уехал к войскам в Красное Село: царю было стыдно после этого смотреть в глаза почтенному, заслуженному человеку, которого он обидел ни за что.

Вместе с императором, разумеется, отправился и Каменский. Сдавать дела пришлось заместителю Каменского, генерал-адъютанту графу Евграфу Федоровичу Комаровскому, которого остроумный Лев Нарышкин называл «полтора графа». Михаил Илларионович хорошо знал графа Комаровского. Ловкий, обходительный и красивый граф бывал желанным гостем в салоне Екатерины Ильинишны Кутузовой. Он с милыми шуточками, легко и просто принял от Михаила Илларионовича дела.

Вечером того же дня Кутузов засел у себя в кабинете и написал своим корявым, малоразборчивым почерком прошение царю:

«Всемилостивейший государь!

Бывши отягчен непритворною болезнию, не мог я чрез некоторое время отправлять должности; ныне же, получа облегчение, дерзаю испрашивать Вашего императорского величества о себе воли. Сколь ни тяжко мне видеть над собою гнев кроткого государя и сколь ни чувствительно, имев пред сим непосредственной доступ, относиться через другого, но, будучи удостоверен, что бытие мое и силы принадлежат не мне, но государю, повинуюсь без роптания во ожидании его священной воли. Но ежели бы Вашему императорскому величеству не угодна была вовсе служба моя, в таком случае всеподданейше прошу при милостивом увольнении воззреть оком, человеколюбивому Александру свойственном, на службу мою, больше как сорокалетнюю, в должностях военных и других, долго с честью отправляемых; на понесенные мною раны; на многочисленное мое семейство; на приближающуюся старость и на довольно расстроенное мое состояние от прехождения по службе из одного в другое место; и на беспредельную приверженность к особе Вашей, государь, которую, может быть, застенчивость моя или образ моего обращения перед Вашим императорским величеством затмевает».

Александр не задержался с ответом. Через четыре дня последовал указ Сената, в котором Михаил Илларионович Кутузов освобождался на год «от всех должностей по приключившейся ему болезни для поправления здоровья».

Александр, верный себе, принял половинчатое решение: он не увольнял в отставку Кутузова, но и не предоставлял ему никакой иной службы.

Михаил Илларионович оказался в тяжелом материальном положении. Позади было столько лет прекрасной боевой и дипломатической деятельности на пользу отечества, тяжелые раны, а впереди — необеспеченная старость.

Катюша, милая, легкомысленная Катюша, всю жизнь жила не по средствам, широко, не заботясь о завтрашнем дне. Семья была большая — пять дочерей-невест. Всем нужны наряды и приданое, а денег взять неоткуда. Екатерина Ильинишна, не задумываясь, занимала деньги, закладывала драгоценности в ломбард.

И теперь у Михаила Илларионовича оставался один выход — ехать в свое волынское имение Горошки и заниматься хозяйством, в ведении которого у Кутузова не было ни опыта, ни знаний.

— Пока поеду в Горошки один. Поправлю дела, а потом выпишу тебя, — сказал Михаил Илларионович жене, хотя Екатерина Ильинишна сама не выражала особого желания уезжать из Петербурга — от театров, балов, светского общества и поклонников, к вниманию которых она, несмотря на возраст, была еще столь неравнодушна.

Глава девятая

«ВЛАСТИТЕЛЬ СЛАБЫЙ И ЛУКАВЫЙ»

I

Михаил Илларионович ехал в Горошки, надеясь все-таки на то, что его хозяйственная деятельность продлится недолго, а пришлось пробыть в Волынской глуши почти три года.

Имение Горошки лежало в живописном месте — на возвышенности, крутыми обрывами спускавшейся к небольшой реке Ирше. Когда-то здесь было военное укрепление — об этом ясно говорили валы и рвы, напоминавшие измаильские. На возвышенности росли громадные столетние дубы. Дубы встречались здесь часто; и помещичий дом и церковь были сделаны из массивных дубовых бревен.

Хозяйство в Горошках оказалось неплохое, но сильно запущенное. Эконом, видимо, знал свое дело, но заботился больше о себе, чем о помещике.

«Он — профессор, но дай бог, чтобы у него было хотя наполовину честности против его ума», — писал жене об управляющем Михаил Илларионович.

Урожаи снимали неплохие, земля была плодородная, но получалось как-то так, что собирали меньше, чем рассчитывали собрать.

Живя в Горошках, Михаил Илларионович понемногу начинал постигать сельское хозяйство, построил селитренный завод, выгонял поташ, продавал лен и пеньку, старался уплатить проценты в банк по ссудам и в ломбард на выкуп вещей, заложенных женой.

Нужда и заботы не оставляли его.

Кутузов жил в Горошках уединенно и невесело. Единственным развлечением была охота с собаками. В «полевое время» он травил волков, лисиц и зайцев.

Здоровье Михаила Илларионовича держалось. Только попрежнему слезились и болели глаза, и временами он как-то становился туговат на левое ухо.

Екатерина Ильинишна приезжать в Горошки не собиралась. Она часто писала мужу — в большинстве случаев это были напоминания о необходимости выслать деньги — и сердилась на мужа за то, что он редко пишет, а он понимал, что речь идет не о том, что он мало пишет, а о том, что мало высылает денег.

Михаил Илларионович меланхолично отвечал:

«Письма твои, мой друг, получил. Напрасно, мой друг, меня бранишь: и когда в хлопотах, в досаде — не так мысли расположены, чтобы хорошо было писать к близким, и когда занеможится так, что не сможешь писать; а что касается до денег, то пересылаю и пересылать буду...»

Из писем жены и из газет Михаил Илларионович знал о петербургских новостях и следил за тем, что делается в Европе.

Французский генерал Бонапарт забирал силу. Сначала взаимоотношения России и Франции были сносными, но после того как Бонапарт сначала объявил себя пожизненным консулом, а потом — императором, отношения стали натянутыми. Особенно почувствовалось это весною 1804 года, после убийства Наполеоном герцога Энгиенского.

Опытный глаз старого полководца и дипломата Кутузова сразу увидел: война стоит у порога.

Александр I сколачивал европейскую коалицию против Наполеона. Он вздумал выразить Франции через своего посла негодование по поводу убийства герцога Энгиенского.

Наполеон прислал ответную ноту. В ней он рекомендовал Александру смотреть за своими, а не чужими делами. В ноте Наполеон язвительно напоминал Александру, что убийство императора Павла, совершенное по происках Англии, осталось безнаказанным: ведь никто из заговорщиков не понес заслуженной кары. Александр I никогда и никому не прощал обиды, а тем более такой.

Война близилась. И потому еще нелепей было сидеть Михаилу Илларионовичу в Горошках и заниматься никчемными, скучными поместными делами.

И он жаловался жене:

«Скучно работать и поправлять экономию, когда вижу, что состояние так расстроено; иногда, ей-богу, из отчаяния хочется все бросить и отдаться на волю Божию. Видя же себя уже в таких летах и здоровье, что другого имения не наживу, боюсь проводить дни старости в бедности и нужде, а все труды и опасности молодых лет и раны видеть потерянными».

Назначение в действующую армию было бы для него прекрасным выходом из тяжелого морального и материального положения.

Михаил Илларионович ждал, что в Петербурге наконец вспомнят о нем, о его заслугах.

Так и случилось: 4 июля 1805 года император назначил Кутузова командующим Подольской армией, которая направлялась в Моравию в помощь австрийской, идущей против Наполеона.

Михаил Илларионович с удовольствием уезжал из Горошек.

За три года, проведенных в имении, Кутузову надоели непривычные нудные хлопоты по хозяйству, надоело возиться с поташом, селитрой и льном, с факторами-евреями и ворами-приказчиками. Михаил Илларионович охотно ехал на театр военных действий, несмотря на то что за последние годы он очень отяжелел, пополнел, что все чаще стала болеть рука: сказывались давние ночевки в придунайских степях. Не хотелось сознаваться себе, что

наступала такая же нудная, как эти мелочи хозяйственной жизни, неумолимая, неотвратимая старость, хотя на киевских «контрактах», на шумной ярмарке Михаил Илларионович все еще по-прежнему примечал молоденьких хохлушек.

Кутузов выехал из Горошек в Петербург получить подробные инструкции императора.

Первая Подольская армия, назначенная в помощь австрийской для войны с Наполеоном Бонапартом, выступала в поход 13 августа.

Кутузов же не смог выехать из Петербурга раньше 14 августа: его задержал обширный рескрипт Александра I, в котором содержалась подробнейшая инструкция, как следует вести войну с Францией.

Хотя в рескрипте говорилось, что инструкция не входит «в начертание подробных наставлений», но в ней, в двадцати трех пунктах, была охвачена вся деятельность командующего, вплоть до того, как он должен поступить в том случае, если на сторону союзников перейдет какой-либо французский генерал или офицер.

Одним из первых пунктов указывалось, что Кутузов поступает «под главную команду императора римского».

Когда шесть лет назад император Павел отправлял Суворова в Италию против французов, он не давал Суворову никаких инструкций. Император просто сказал: «Веди войну по-своему, как умеешь!» Было сразу же договорено, что Суворов назначается главнокомандующим соединенными русско-австрийскими войсками, что австрийский фельдмаршал Мелас подчиняется Суворову.

Теперь же бездарный, но заносчивый австрийский гофкригсрат оказался более хитрым: Австрия добилась того, что Александр I согласился на подчинение Кутузова австрийскому командованию. Александру сделать это не составляло ничего: он и сам не верил в русских генералов. Александр хотел поручить свою армию французскому генералу Моро, которого Наполеон Бонапарт заставил бежать в Америку. Александр послал за Моро камергера графа Палена, а пока — до его приезда — был вынужден мириться с кандидатурой генерала Кутузова.

Конечно, в послужном списке Кутузова еще не числилось столь блистательных побед, как Кинбурн, Фокшаны, Рымник, как Измаил и Прага. Генерал Кутузов был в Европе более известен своими дипломатическими успехами и двумя необычайными ранениями, чем победами. Он представлялся боевым, заслуженным генералом, но не выдающимся полководцем, каким в 1799 году являлся Суворов.

Суворов бил в Италии и Швейцарии лучших французских генералов — Жубера, Макдональда, Моро, но ему не пришлось встретиться с Наполеоном.

Это теперь предстояло Кутузову.

Михаила Илларионовича огорчало его подчиненное положение австрийским «немогузнайкам».

Екатерину Ильинишну же беспокоило иное: то, что император отпустил генералу Кутузову только десять тысяч подъемных и сто рублей в месяц столовых.

— Мишенька, почему так мало? — удивлялась Екатерина Ильинишна. — А сколько же получал в девяносто девятом году Суворов?

— Так то Суворов... — попытался уйти от ответа Михаил Илларионович.

— Нет, а все-таки, сколько?

— Суворов получил тридцать тысяч подъемных и тысячу столовых в месяц.

— Вот видишь!..

— Дело еще, Катенька, в том, кто дает: император Павел был щедрее, чем его милый сынок...

Перед отъездом Михаил Илларионович встретился во дворце со старым знакомым, генералом Иваном Андреевичем Заборовским. Заборовский участвовал в Семилетней и обеих турецких войнах и отличился при Козлудже: преследуя разбитого сераскира, он пошел на Балканы и очистил путь к Андрианополю. Екатерина II хвалила «твердый нрав» Заборовского и говорила, что «он ближе всех подходил к Константинополю». Заборовскому было семьдесят лет, но держался он еще чрезвычайно бодро.

— Михаил Ларионович, вас можно поздравить с новым высоким назначением? — сказал, здороваясь, Заборовский.

— Благодарствую, Иван Андреевич. Придется помериться силами с этим неугомонным корсиканцем.

— Противник у вас отменный. Бесспорно, Бонапарте один из лучших французских генералов.

— Я тоже так думаю, — ответил Кутузов. — Недаром же он стал императором.

— А знаете, Михаил Ларионович, что этот самый господин Бонапарте просился к нам на русскую службу? И что он лично мне подавал об этом прошение? — спросил, улыбаясь, старый генерал.

— Неужели? — удивился Кутузов. — Когда же это было?

— В тысяча семьсот восемьдесят девятом году, в Ливорно, когда матушка Екатерина послала меня в средиземноморские края набирать добровольцев-христиан для войны с турками. Я завербовал вместе с греками, албанцами и прочими около семидесяти корсиканцев. И вот однажды, в числе прочих корсиканцев, ко мне явился двадцатилетний артиллерийский офицер Бонапарте. Видимо, ему туго жилось дома: он был бледен и худ. Бонапарте хотел, чтобы я принял его на русскую службу тем же чином, а я не имел права сделать это: иностранцев приказано было принимать с понижением в чине. И мы с ним не столковались.

— Как же Бонапарте встретил ваш отказ?

— Был явно оскорблен, вспылил. «Не хотите? — говорит. — Тогда я пойду к туркам. Они сразу дадут мне полковника!» — «Воля ваша, — отвечаю. — Ступайте к кому хотите!» — «Вы обо мне еще услышите!» — закричал и убежал.

— Да, Бонапарте оказался прав, — раздумчиво сказал Кутузов. — Мы о нем услыхали. А любопытно, что было бы, если бы Бонапарте поступил к нам на службу?

— Матушка Екатерина оценила бы его, а вот с Павлом Петровичем они не ужились бы. Этот невзрачный корсиканский офицерик показался мне не очень податливым, — вспоминал Заборовский.

II

13 августа Кутузов написал своему старому сослуживцу, министру внутренних дел Виктору Павловичу Кочубею, чтобы он отдал распоряжение приготовить ему на всех станциях по двадцать обывательских лошадей. И на следующий день поехал догонять Подольскую армию, которая уже выступила из пределов России и должна была двигаться, как того хотел австрийский император Франц, через Галицию и Моравию к границам Баварии. Главные австрийские силы — восьмидесятитысячная армия — стояли уже в Баварии возле Ульма. Считалось, что армией командует двадцатичетырехлетний эрцгерцог Фердинанд, на самом же деле всем распоряжался его генерал-квартирмейстер Макк. Ехать приходилось медленно: в этом году необычайно рано зарядили осенние дожди, дорога раскисла и стала тяжела. Михаил Илларионович так торопился к армии, что даже был вынужден не каждую ночь останавливаться на ночлег; он не смог завернуть и к себе в Горошки, хотя проезжал неподалеку от имения.

Кутузов жалел, что вместе с ним не едет его любимый зять и адъютант Фердинанд Тизенгаузен, — зять ехал к армии из Крыма, с Лизочкой.

31 августа Кутузов насилу добрался до границы. В Бродах командующего русской армией встретил австрийский генерал Штраух. Он должен был сопровождать русские войска по Австрии и снабжать их всем необходимым.

3 сентября приехали во Львов, чем-то напоминавший Михаилу Илларионовичу Вильну: те же узкие улочки, те же костелы, те же лапсердаки евреев и самодовольные лица чванливой польской шляхты.

За Львовом почувствовалась близость шедшей впереди русской армии. Экипажи Михаила Илларионовича и его штаба обгоняли медленно тащившиеся больничные фуры и австрийские форшпаны с провиантом.

Наконец 9 сентября догнали хвост шестой колонны Подольской армии.

Солдаты, увидев командующего, заговорили:

— Глянь-кось: Ларивоныч!

— Кутузов приехал, Кутуз!

— Он опять поведет нас на турку!

— На какого турку! Не знаешь, с кем воевать собрался!

— Как не знаю: у нашего царя размолвка вышла с цесарем...

— Что у тебя, глаза повылезли? Аль не видишь, как цесарцы круг нас увиваются? Какая тут размолвка!

— Француз задирает Расею, вот кто. Некой Бонапартий у них выискался. Долбит всех без разбору — и немца и цесарцев. Вот и послали за нами...

До Тешена русская армия шла по условленному маршруту не спеша.

10 сентября австрийцы попросили Кутузова поторопиться: их сильно встревожило сообщение о том, что Наполеон из лагеря при Булони необычайно быстро двинулся к Рейну.

Для того чтобы ускорить марш русской армии, австрийцы аккуратно выставляли необходимое количество подвод. Русскую пехоту везли на перекладных утроенными переходами до шестидесяти верст в день.

На каждый фургон садилось по двенадцати человек с полной выкладкой, да с других двенадцати человек в этот же фургон складывали ранцы и шинели, а сами солдаты шли пешком. Через десять верст менялись: шедшие садились на подводы, а ехавшие шли налегке, с одним ружьем и патронными сумами.

Офицеры не чередовались — их везли на особых форшпанах.

Кавалерии прибавили фуража и везли на подводах мундштуки и вьюки.

Привалов не делали.

Ночевали обычно в селениях. Каждый хозяин ожидал гостей у калитки. Пропустив во двор столько солдат, сколько ему было назначено на постой, хозяин закрывал калитку на запор. Солдат ждали сытный ужин, винная порция и мягкая, чистая постель.

По дороге было много фруктов, особенно винограда.

Расчетливых немцев очень удивляло то, что командир второй колонны генерал Милорадович закупал для солдат целые рынки и угощал апшеронцев, смоленцев и малороссиян.

Мушкатеры и гренадеры были горды своим щедрым командиром.

Как ни быстро продвигалась русская армия, но австрийцам и это казалось медленным. Вена просила Кутузова, чтобы он давал роздых армии не на третий, а на пятый день. Кутузов не согласился. Несмотря на то что пехоту подвозили, поспешность движения все-таки давала себя знать: солдаты сильно уставали в переходах.

А от ходьбы по каменистым шоссейным дорогам быстро рвалась обувь.

Двойной фураж, который австрийцы отпускали для артиллерийских лошадей, не мог прибавить им силы, чтобы переносить утроенные марши.

21 сентября дошли до красивого Брюнна. Из Брюнна Кутузов поехал в Вену. В погожий осенний день 24 сентября Михаил Илларионович приехал в союзную столицу.

Армия не шла вслед за ним, он явился в Вену неожиданно, и его карету и коляски сопровождающих лиц не встречали так торжественно — с духовенством и музыкой, как шесть лет назад встретили Суворова.

Но для Вены и сегодня командующий русскими войсками был символом побед.

Прохожие быстро распознали его и бежали за неспешно катившейся по улицам каретой. И когда Кутузов доехал до русского посольства, то у дома образовалась шумно приветствовавшая толпа венцев.

Русский посол в Вене Разумовский предоставил в распоряжение Михаила Илларионовича целый этаж посольского дома. Кутузов с удовольствием оставил надоевшую за бесконечный, утомительный марш карету. Наконец он мог как следует привести себя в порядок и выспаться на хорошей постели.

Но долго отдыхать не пришлось: уже на следующий день Кутузов поехал с Разумовским представляться императору Францу I, который жил в своем загородном охотничьем замке Хетцендорф.

Франц любезно принял русского командующего. Он благодарил Кутузова за быстрый марш, расспрашивал, в чем нуждаются русские войска, сказал, что поможет во всем, и тут же подарил шестьдесят тысяч серебряных гульденов русским офицерам на дорожные расходы.

Австрийский император пригласил Кутузова к обеду. За обедом он рассыпался в похвалах своему союзнику Александру. Он сказал:

— Приятно иметь дело с императором Александром — он ничего не делает наполовину!

«Да, для Австрии, но не для России», — подумал Кутузов, глядя на лошадиное лицо Франца.

26 сентября Михаил Илларионович встретился с вице-канцлером графом Людвигом Кобенцелем, которого знал еще по Петербургу. Кобенцель много лет прослужил послом при русском дворе. Он был завзятый театрал — вечно участвовал в каких-либо домашних спектаклях петербургской знати. Несмотря на свой почтенный возраст и малопривлекательную внешность (Кобенцель был косоглаз и плешив), он ухаживал за красавицей женой генерала князя Долгорукова (Крымского), обворожительной, умной и весе-

лой княгиней Екатериной Федоровной, и вечно пропадал у нее на даче. Если княгиня затевала спектакль, то влюбленный Кобенцель готов был исполнять любую роль, какую поручала ему княгиня. Однажды курьер из Вены привез графу срочные депеши. Он разыскал посла на даче у Долгоруковой, за кулисами ее театра. Шел спектакль, в котором Кобенцель играл роль садовника. Граф вышел к курьеру с граблями и лейкой в руках. Курьер не хотел вручать депеши этому накрашенному, насурмленному человеку. Екатерина II потешалась над неумеренными страстями австрийского посланника. Кобенцеля и отозвали из Петербурга только за то, что он больше уделял внимания Долгоруковой и театру, чем своим обязанностям дипломата.

И теперь не успел Кобенцель поздороваться с Михаилом Илларионовичем, как сразу же забросал его вопросами о Петербурге и общих знакомых. Когда Кобенцель удовлетворил свое любопытство, перешли к делам.

Вице-канцлер представил Кутузову членов гофкригсрата.

Помня о строптивом, своенравном Суворове, члены военного совета с опаской смотрели на Кутузова. Но осторожный и тактичный Кутузов действовал как старый дипломат. Деликатностью и обходительностью он добился тех же результатов, каких запальчивый Суворов достигал бравадой и скандалом. Кутузов договорился о доставке русской армии продовольствия и снарядов.

Члены гофкригсрата были довольны тем, что русский командующий обещал совещаться с австрийскими генералами, назначенными к его штабу, и особенно с генерал-квартирмейстером Шмитом. Кутузов не мог не согласиться на это: Александр I с самого начала показал ему, что не даст самостоятельно вести войну.

Кутузова беспокоила разобщенность русско-австрийской армии, в Вене же все были настроены весьма радужно. В гофкригсрате царила уверенность в благополучном исходе кампании, — может быть, только потому, что план войны разработал австрийский штаб.

Кобенцель показал Кутузову письмо генерала Макка из армии эрцгерцога. Макк писал из Ульма:

«Никогда никакая армия не находилась в столь выгодном положении, как наша, для одержания поверхности над неприятелем. Сожалею об одном, что нет здесь императора и его величество не может быть личным свидетелем торжества своих войск».

— Ну, дай-то Господи! — сказал Кутузов.

Как ни уговаривал его Кобенцель остаться еще на денек в столице, чтобы побывать в театре, Михаил Илларионович не согласился. На следующий же день, 27 сентября, он выехал из Вены в Браунау, сборное место его Подольской армии.

Несмотря на твердую уверенность австрийца в том, что все обстоит благополучно, положение союзников очень беспокоило Кутузова.

Гофкригсрат, стремившийся из Вены заранее начертать весь план будущей кампании, уже допустил непростительную ошибку.

В своих бумажных расчетах он не хотел принимать во внимание противника. Эрцгерцог Фердинанд, не дождавшись кутузовской армии, двинулся к Ульму. По плану гофкригсрата австрийская и русская армии должны были преспокойно соединиться возле Ульма. Гофкригсрат наивно предполагал, что Наполеон, стоявший в Булони (он думал высадиться в Англии), будет невозмутимо смотреть на это. Когда же выяснилось, что Наполеон быстро двинулся к Рейну, австрийцы всполошились. Их план, прекрасный на бумаге, начинал трещать. Они потребовали, чтобы кутузовская армия продвигалась быстрее, чем могла.

И вот теперь Наполеон стоял в двух шагах от эрцгерцога, а Подольская армия Кутузова еще тянулась к Браунау.

Легкомысленный просчет гофкригсрата был налицо.

III

Пока Кутузов ехал из Вены, русские войска устраивались в окрестных деревнях у Браунау.

Здесь, за Дунаем, многое показалось русскому солдату необычным: бритые подбородки жителей, черепичные крыши их домов, дороги, обсаженные фруктовыми деревьями, которых никто не ломает.

Поражали повсеместная чистота и порядок: нигде не увидишь ни грязной лужи среди двора, ни окна, заткнутого тряпьем или подушкой.

А солдаты-украинцы удивлялись, глядя на запряжку волов: немцы укрепляли ярмо не на шее, а на рогах.

— Хитер, немчура: понял, что у вола вся сила в башке!

— Да, брудеры народ смекалистый!

Пришелся по вкусу русскому солдату немецкий завтрак — кофе, которым хозяева потчевали своих постояльцев по утрам. Хозяйка наливала каждому солдату по кружке.

Но русские привыкли есть не в одиночку, а артелью. Потому они сливали все в один котелок и просили, чтоб хозяюшка, наливая, не жалела бы кофейной гущи. В этот взвар солдаты крошили ситник, прибавляли лучку и сольцы и, перекрестившись, хлебали кофе ложками, как свою, привычную тюрю.

— А скусная эта кава! — хвалили солдаты.

— Вроде нашего сбитня.

Очень удивительно было русским, что в немецких лавчонках не найти чая. Он продавался в аптеке, как лекарство. Полюбилось им баварское пиво. Но немец и пил-то не так, как надо: мог целый день сидеть за «гальбой» в трактире без песен и куражу. Он просто разговаривал с приятелем — водил пальцем по столу пивные дорожки, показывал, как лихо воюет Бонапартий.

А слухи о войне шли неважные: француз наседал.

— Срам: брудеры уже по первости не устояли, — осуждали австрийцев русские солдаты.

Не успел Кутузов приехать в Браунау, как к нему явился русский посланник в Баварии барон Бюлер. Барон был чрезвычайно расстроен: он бежал из Мюнхена, так как французы уже подходили к городу.

Как будто бы начинали оправдываться опасения Кутузова.

До Мюнхена от Браунау было сто верст. Мюнхен лежал на полпути между Браунау и Ульмом. Было похоже на то, что Наполеон уже перерезал дорогу Браунау — Ульм.

Михаил Илларионович приказал выставить посты на реке Инн, назначил Багратиона командовать авангардом армии и разослал во все стороны лазутчиков, чтобы собрать точные сведения о неприятеле.

На третий день после приезда из Вены Кутузов получил письмо от эрцгерцога Фердинанда. Эрцгерцог сообщал, что Бонапарт, видимо, боится атаковать австрийцев с фронта, а старается обойти их, чтобы стать между ними и русскими. Письмо было уверенное и бодрое.

«Моя армия одушевлена мужеством», — похвалялся Фердинанд.

Но что эрцгерцог предпримет дальше, из письма было неясно.

Больше писем от Фердинанда или Макка Кутузов не получал.

Каждый новый день приносил самые разноречивые сведения и слухи. По одним — эрцгерцог отступал в Тироль, по другим — перешел на левый берег Дуная.

Австрийские конные разъезды, которые Кутузов отправлял в Баварию, не могли достать «языка». Двигаться вперед на соединение с эрцгерцогом Кутузов пока не мог: задние русские колонны еще подходили к Браунау. Солдаты были изнурены усиленным маршем. Многие шли босиком — совершенно изорвалась обувь.

И тут в один ненастный день положение окончательно прояснилось.

11 октября 1805 года у дома, где жил русский командующий, остановилась австрийская почтовая карета. Стекла в ней были разбиты, одно крыло и подножка исковерканы, и вся карета залеплена грязью. Из нее вышел, прихрамывая и держась за повязанную белым платком голову, какой-то австрийский генерал. Ординарцы, сидевшие в коридоре, видели, как полковник Резвой сразу

провел приехавшего генерала к командующему. И тотчас же Кутузов послал за австрийским генералом Мерфельдом, который состоял при его штабе.

Началось совещание.

А штабные, со слов полковника Резвого, присутствовавшего при встрече Кутузова с Макком, уже передавали шепотком друг другу невероятную, неприятную новость: вся семидесятитысячная армия эрцгерцога с артиллерией и обозами сдалась под Ульмом Бонапарту.

Бонапарт переправился через Рейн и быстро очутился со стовосьмидесятитысячной армией в Баварии. Он окружил австрийцев и 8 октября заставил Макка сдаться. Эрцгерцог как-то успел улизнуть с несколькими эскадронами в Богемию, а Макка Наполеон отпустил, взяв с него слово не воевать против французов. И посрамленный Макк мчался в Вену к императору.

— Вот вояки! — возмущались все.

— Что, они даже не попытались вступить в бой?

— Нет, вероятно, дрались. Видишь: сам Макк-то хромает, и голова у него повязана. Должно быть, ранило.

— Какое там ранило! — смеялся Резвой. — Просто почтовая карета опрокинулась ночью в дороге, и Макк набил себе на лбу шишку.

— Стало быть, свой ямщик для генерала Макка оказался опаснее француза!

— Вот те и Макк!

— У нас на Украине говорится: «Сел маком!»

— Ну и дал ему Бонапартий жару! Вишь как смазал салом пятки — до нас еще об Ульме и слухи не дошли, а Макк уже тут как тут!

Как бы то ни было, а Кутузов пригласил Макка к обеду.

За обедом Макк рассказал еще несколько подробностей, хорошо рисовавших Наполеона.

Когда французы окружали австрийскую армию, эрцгерцог настаивал на том, чтобы пробиться сквозь корпус Нея и уйти в Богемию. Макк не согласился на это. Один из его верных лазутчиков уверял, что в Париже вспыхнул бунт и Наполеон должен будет спешить в столицу. А потом оказалось: верный лазутчик был подкуплен Наполеоном и нарочно вводил Макка в заблуждение.

Затем Наполеон отпустил на честное слово не только фельдмаршала Макка, но и всех австрийских офицеров. И распустил слух, что хотел даже отпустить по домам всех женатых солдат, но якобы этому воспротивились его министры.

— Тонко придумано, нечего сказать, — заметил Михаил Илларионович.

Конечно, обо всем этом сразу же узнали все австрийские солдаты.

Лисья уловка: смотрите, мол, какой я добрый...

Не только австрийские офицеры, но и все жители Браунау удивлялись хладнокровию и выдержке русского командующего: после приезда Макка он оставался в Браунау еще два дня.

Ульмская катастрофа сделала положение русской армии очень опасным: Наполеон располагал втрое большими силами.

Кутузов знал, что надо отходить, но выжидал: хотел выяснить, как развернет свои силы Наполеон.

Но уже тогда же, 11 октября, Кутузов послал предупредить все русские колонны, которые еще были в пути к Браунау, чтобы они остановились там, где их застанет это распоряжение. Кутузов приказал ломать мосты на реке Инн и вывезти больных, артиллерию и парки.

Вечером 16 октября Михаил Илларионович узнал от лазутчиков, что Наполеон двинулся от Мюнхена к Инну, чтобы покончить с русскими. Командующий велел немедленно собрать в зале всех ординарцев и вестовых от полков.

Кутузов вышел к ним в теплом вигоневом сюртуке зеленого цвета, с табакеркой в руке. Он был хмур. Лицо выражало недовольство. Вертя в пальцах табакерку, Кутузов сказал:

— Цесарцы не сумели подождать нас — сунулись вперед, не спросясь броду. Их и разбили. Немногие из храбрых бегут к нам, а трусы положили оружие к ногам неприятеля. Наш долг — защитить несчастные остатки разметанной австрийской армии. Передайте это вашим товарищам в полках. Ступайте. Завтра с вестовой пушкой выступаем!

Но никто не знал, куда поведет Кутузов — вперед или назад.

Полки расположились у Браунау каждый на своем, назначенном месте.

17 октября еще до рассвета ударила пушка, стоявшая на площади перед домом, где жил командующий.

К удивлению всех — и солдат и вышедших их провожать горожан, — русская армия двинулась назад.

— Ба, ба! Кажись, по старой дорожке пойдем, ребятушки?

— Не иначе.

— И без проводников.

— А к чему они? Дорога-то, чай, знакомая...

— Уж не зашел ли француз с тылу?

— А вот мы к следующей каше узнаем!

IV

В хмурый сентябрьский день, когда в Петербурге уже совсем запахло осенью, Александр собрался на театр военных действий.

С детства слышавший похвалы любвеобильной бабушки и льстивых придворных своей ангельской красоте и необычайному

уму, Александр был весьма высокого мнения о себе. Прусскую муштру он постиг на гатчинских вахтпарадах в совершенстве и потому считал себя прирожденным полководцем и сравнивал себя с воинственным прапрадедом: Петр Великий в двадцать восемь лет объявил войну Карлу XII, он же, Александр, в двадцать восемь лет собирался сражаться с Наполеоном.

Кроме армии Кутузова, на западной границе стояло девяносто тысяч русских войск под командой генерала Михельсона. Михельсон сосредоточился у Гродны и Брест-Литовска, чтобы побудить колебавшуюся Пруссию выступить на стороне союзников. Если же Пруссия согласится пропустить через Силезию русские войска, то Михельсон должен идти на соединение с Кутузовым.

9 сентября 1805 года Александр выехал из столицы. Хотя он не был религиозен, но терпеливо выстоял получасовой молебен в Казанском соборе: Александр прикидывался простым, а любил театральность.

Гвардия под командой Константина выступила в поход на неделю раньше. Александр провожал ее на Царицыном лугу.

Братец Константин, гордо подбоченясь, ехал героем впереди первой роты преображенцев, таких же курносых, как сам. За ним с музыкой и барабанным боем шла гвардия. Шла так, что дрожала земля и в Летнем саду заволновались, закаркали вороны.

Александр нагнал гвардию, подъезжая к Витебску.

Константин Павлович проехал верхом только до Гатчины, а потом пересел в коляску. Время от времени он садился на коня и пропускал мимо себя полки. Он придирчиво, зорко смотрел, как идут солдаты, держат ли равнение и дистанцию, не разбрелись ли по тракту, как стадо.

Александр с удовольствием увидел, что гвардия марширует как полагается: солдаты старательно держат ногу, офицеры все на своих местах. Они словно маршировали на Царицыном лугу, а не шли по выбитому белорусскому тракту. Пожалуй, даже отец не придрался бы ни к чему. Александр не замечал измученных солдатских лиц и санитарных повозок, которые были битком набиты изнемогшими в немыслимом походе людьми.

Он смотрел на бравую гвардию и уже видел свои победные лавры и всеобщее восхищение женщин, к которым Александр был неравнодушен с пятнадцати лет. Немного портило настроение то, что два его друга — князь Адам Чарторыйский и князь Петр Долгоруков, ехавшие с ним в одной коляске, сидели надувшись: они не ладили между собою.

Год назад, когда государственный канцлер граф Воронцов ушел по болезни в отставку, Александру пришла в голову диковинная мысль: назначить на его место своего друга — поляка Адама Чарторыйского.

Чарторыйский, как умный человек, не очень хотел занимать в чужом государстве ответственный пост министра иностранных дел. Он понимал, что такое назначение на одну из важнейших должностей в России его, поляка, неизбежно вызовет недовольство в придворных кругах. Любой русский вельможа скажет: «Неужели у нас не хватает своих?»

Чарторыйский знал упрямство Александра. Если какая-либо фантазия приходила императору в голову, то Александр не пытался разобраться, хороша она или плоха. Он хотел одного: поставить на своем. Достигнув же успеха, Александр очень скоро охладевал, а иногда становился даже враждебным тому, чего так страстно добивался.

Чарторыйский убеждал Александра, что чужестранцу неудобно быть министром иностранных дел в России, но Александр возражал ему: «При Петре Великом министром иностранных дел был же еврей Шафиров!»

Князю Адаму пришлось нехотя согласиться.

Как он и ожидал, придворное общество встретило его назначение холодно. При дворе у Чарторыйского оказалось много противников. И самым влиятельным из них был генерал-адъютант царя и его друг князь Петр Долгоруков.

Став министром иностранных дел, Чарторыйский, как горячий патриот, задался целью восстановить родную Польшу в ее прежних границах.

Чарторыйский играл на чувствительных струнах очень мнившего о себе Александра. Он говорил, что Александру надо возглавить европейскую коалицию против Наполеона. Политике завоевания надо противопоставить принципы справедливости и законности. По его словам, Александр должен был явиться избавителем Европы от тирана. Чарторыйский доказывал, что первым шагом должна быть восстановленная Польша. А так как это противоречило интересам Пруссии, то, начиная борьбу с Наполеоном, надо прежде всего разбить Пруссию.

Долгоруков не был сторонником ни восстановления Польши, ни войны с Пруссией. В этом они с Чарторыйский расходились. Но он тоже стоял за войну с Наполеоном.

В пути, когда выяснилось, что император Александр собирается заехать к родителям Чарторыйского в их имение Пулавы, отношения между Долгоруковым и Чарторыйский обострились. В представлении Долгорукова такой шаг со стороны Александра был унизительным: русский император едет точно на поклон к польскому вельможе, как будто извиняться за то, что его бабушка выгнала из Пулав молодых Чарторыйских. Долгорукова задевало то, что Александр всегда оказывал предпочтение иностранцам.

Так, почти не разговаривая друг с другом, они доехали до Брест-Литовска. Здесь их пути разошлись: Чарторыйский ускакал впе-

ред, в Пулавы, чтобы подготовиться к приему такого необычного гостя, а Долгорукова Александр послал в Берлин.

Александр остался верен себе: сам ехал в Пулавы, собираясь поднять поляков против Пруссии, а Долгорукову поручил сговариваться с королем Фридрихом-Вильгельмом III о союзе против Наполеона.

V

Глубокой осенью к чугунной решетке ворот дворца Чарторыйских в Пулавах подошли два человека. Один из них, державший в руках зажженный фонарь, стал стучать в ворота. В глубине двора тотчас же залились собаки. Человек без фонаря в испуге шарахнулся от калитки, хотя она была заперта, но второй сказал ему:

— Не бойтесь, ясновельможный пане, то гончие. Я их знаю. И они меня знают.

И стал приговаривать:

— Галус! Галус! Зельма! Зельма!

Но сам все-таки отошел немного назад.

Во дворе не светилось ни одно окно. В Пулавах все давно спали. Собаки яростно лаяли, прыгая у ворот. Так продолжалось несколько минут. Наконец где-то хлопнула дверь, послышались шаги — кто-то шел с фонарем к воротам.

— Кто тут? Что надо? — сердито спросил по-польски заспанный глухой голос.

— Это я, пане Миколай. Я, Ицек.

— Что ты бродишь среди ночи и будишь людей. Кнута захотел? Вот спущу на тебя свору собак!

— Тут к князю Адаму важный гость из Петербурга. Чи министр, чи генерал. Они заблудились в лесу у криницы. Карета сломалась. Я привел его светлость по тропинке...

Сторож поднял вверх фонарь и осветил стоявшего рядом молодого высокого человека в шляпе и забрызганном грязью плаще. Сторож знал, что во дворце ждали приезда русского императора.

«Это, верно, кто-либо из его свиты», — подумал сторож и, отогнав собак, раскрыл калитку.

Молодой человек протянул проводнику-еврею золотой и, опасливо косясь на лаявших собак, пошел за сторожем ко дворцу.

Спустя несколько минут в одном дворцовом окне зажегся свет, потом он появился во втором, в третьем.

Забрызганный грязью молодой человек оказался русским императором Александром. Он ехал в Пулавы в сопровождении австрийских чиновников, которые сбились в лесу с дороги. Кучер наскочил в темноте на пень и сломал каретную ось. Незадачливых путешественников вывел из беды еврей-корчмарь, который вез

бочку с водкой. Он согласился провести Александра I в Пулавы. Освещая путь фонарем, корчмарь провел царя по лесной тропке напрямки к Пулавам.

Александр запретил лакеям будить хозяев и прошел в приготовленные для него покои. Измученный непривычным вояжем, он повалился, не раздеваясь, на кровать. К утру императорскую карету кое-как доставили в Пулавы. Александр надел новый мундир, привел себя в порядок и ласково принял хозяев дома.

Чарторыйские просили прощения за то, что так нелепо получилось, что все спали, когда его величество изволил «прибыть», сокрушались, почему его величество не разбудил их, благодарили за высокую честь, оказанную им.

Александр I слушал хозяев, как всех, немного выставив вперед голову, и изображал на своем лице сладенькую улыбку. Александр I знал и никогда не забывал, что за этой его улыбкой упрочилась слава «обворожительной». Он ответил Чарторыйским, что обязан им еще большей благодарностью — ведь они дали ему «лучшего друга в жизни».

Присутствовавший при разговоре Адам Чарторыйский сиял от счастья.

Александр пустил в ход все свое притворство. Он лебезил перед хозяйкой и ее родственницами. Он был из тех людей, которые всегда вежливее, предупредительнее с чужими, чем со своими. Александр выражал желание познакомиться с возможно большим числом поляков, и в Пулавы стали стекаться из Варшавы целые толпы гостей.

Утром император Александр ехал верхом в лагерь и производил смотр своим войскам, занимался любимой шагистикой. В лагере он отбрасывал всякую любезность и простоту и опять становился придирчивым и жестким. Вернувшись во дворец, Александр сменял мундир на фрак и играл роль «милого человека» и простака. Он подавал руку каждому приезжавшему в Пулавы шляхтичу, дамам галантно целовал ручки. Паны были восхищены государем, а дамы сразу же превращались в ярых поклонниц двадцативосьмилетнего императора, который был скорее галантным кавалером, чем венценосцем. Александр заискивал у поляков, не скупился на комплименты и окончательно вскружил польской знати голову.

Обедать Александр соблаговолил за общим столом, в большой зале дворца, что дало возможность многим панам, любившим прихвастнуть, рассказывать потом:

— А я обедал за одним столом с русским императором!

Александр отбросил весь придворный этикет и держал себя как «друг семьи» Чарторыйских. Но стоило только явиться к нему с докладом русскому генералу или русскому дипломатическому чиновнику, как Александр из простого и любезного человека становился неласковым и надменным.

Еще минуту назад он мог подавать стул незнатной польской даме, а теперь свысока говорил с заслуженным русским сановником.

Поляки, и особенно польки, были в восторге от молодого императора. Они, казалось, не замечали его небольшой глухоты, рано начинающейся лысины и того, что Александр был хром.

Для них он был «ангел».

Все поляки невольно сравнивали русского императора с новоиспеченным французским. По рассказам, Наполеон был груб не только с мужчинами, но и с женщинами. Он на приеме мог подойти к даме и громко сказать: «А я думал, что вы хорошенькая!» (Александр I говорил каждой, что она — лучше всех!); или сказать: «Я знаю, вы любовница графа N» (Александр держался с многодетными матронами так, словно они еще были девушками).

Русский император обворожил польскую знать. Она была готова восстать против Пруссии и идти за Александром.

Варшавские торговки уже говорили прусским полицейским: «Ваше царство скоро кончится — вот придут русские, и мы вас прогоним!»

Александр I делал вид, что готов порвать с Пруссией.

Горячий патриот Адам Чарторыйский, бывший на седьмом небе от такого поворота дел, написал в депеше русскому послу в Вене графу Разумовскому:

«Его величество твердо решил начать войну против Пруссии».

Но прошло еще несколько дней, и все резко изменилось.

«На смену пулавской идиллии приближалась потсдамская мелодрама», — как написал впоследствии историк.

Князь Долгоруков, посланный из Бреста в Берлин для того, чтобы уговорить прусского короля вступить в коалицию против Наполеона, сначала не имел успеха.

Но король неожиданно получил известие, что французские войска перешли через прусскую границу в Анспахе.

После этого нарушения прусского нейтралитета король Фридрих-Вильгельм III согласился пропустить через прусскую территорию и русские войска.

Александр I гостил в Пулавах уже две недели. Он сидел здесь так долго не потому, что его в самом деле увлекли кокетливые польки всех возрастов, а потому, что ждал результата переговоров Долгорукова с прусским королем.

24 октября Александр объявил Адаму Чарторыйскому, что едет к Козеницу (где находилась главная квартира генерала Михельсона, назначенного для действий против Пруссии), а оттуда — в Берлин. Прежние намерения идти с войсками в Варшаву и прогонять из Польши пруссаков, в чем еще вчера клялся Чарторыйскому Александр, уже были забыты.

Александр предписал генералам Михельсону и Кутузову немедленно сжечь все бумаги, в которых содержалось что-либо враждебное Пруссии.

Это решение Александра было для всех поляков (а тем более для его друга Адама Чарторыйского) страшным ударом. «Ангел» показал свои коготки.

Поляки были до крайности возмущены таким неслыханным вероломством. Они не знали, что вероломство являлось одной из основных черт характера Александра I.

VI

Когда кокетничают немецкие женщины, они кокетничают с энтузиазмом.

Ж. де Сталь

15 октября 1805 года, расточая направо и налево свои «ангельские» улыбки, Александр торжественно, при пушечной пальбе, въехал в Берлин. На всем пути его следования ко дворцу стояли с ружьями на караул прусские войска. Толпы берлинцев восторженно приветствовали русского императора, который и по происхождению, и по духу был ближе Пруссии, чем России.

Он ехал в Берлин с одной целью — окончательно привлечь на свою сторону нерешительного и тупого короля Фридриха-Вильгельма III.

При королевском дворе у Александра I был верный пособник и друг — прусская королева Луиза, по справедливости считавшаяся первой европейской красавицей.

Некрасивый, недалекий, угрюмый Фридрих-Вильгельм женился на умной, общительной и кокетливой семнадцатилетней принцессе Луизе Мекленбургской. Луиза была красива и обаятельна. В этом мнении одинаково сходились все: сановники и слуги, мужчины и женщины. Пожилой Гете, чувствительный к женской молодости и красоте, называл ее «небесным видением». Более сдержанный Жан-Поль Рихтер превозносил не только ее красоту, но и грацию. Даже холодные, скептические сердца дипломатов таяли под взглядом синих глаз Луизы, в которых было столько восторженной жизнерадостности.

На фоне до крайности распущенного берлинского придворного общества, где, по словам современника, «проститутки казались скромными весталками по сравнению с многими знатными дамами», молоденькая королева Луиза была добродетельной женой. Она каждый год рожала своему скучному, малоразговорчивому мужу принцев и принцесс, которые все походили на уродливого от-

ца, но в то же время не пропускала ни одного бала, хотя бы он был накануне родов — так любила повеселиться. В первые годы замужества королева Луиза не вмешивалась в политику. Но потом, увидев, что Фридрих-Вильгельм малодушен, труслив и недалек, решила воспользоваться своей красотой и обаянием, чтобы возвысить Пруссию: Луиза была пламенная патриотка.

Первым шагом она наметила добиться союза с Россией.

В июне 1802 года прусская королева встретилась впервые с русским императором в Мемеле, где они прожили вместе шесть дней: Александр заехал к прусскому королю из Риги.

Днем Александр и Фридрих-Вильгельм занимались смотрами и парадами (они оба увлекались шагистикой и муштрой), устраивали приемы, а теплые июньские вечера проводили в домашнем кругу.

Фридрих-Вильгельм молча сидел на балконе, глядя на залив Куришгаф. Король курил трубку за трубкой и меланхолично плевал, как фельдфебель, через перила в кусты сирени, а потом, часам к десяти, уходил спать: он не ревновал жену к своему кузену, русскому императору.

А Луиза весь вечер ворковала где-нибудь в укромном, идиллическом уголке с Александром. Они много времени проводили наедине. И между ними, как метко выразился Адам Чарторыйский, началось «платоническое кокетничанье», которое было Александру более по вкусу, чем что-либо иное. Хотя он готов был увиваться за любой юбкой, но в его флирте всегда было больше мужского тщеславия, нежели темперамента.

Еще за вечерним чаем, который разливала своими очаровательными ручками королева Луиза, Александр сидел с гамлетовским раздумьем на челе, хотя никогда не читал Шекспира. Оставшись же вдвоем с Луизой, Александр пел дифирамбы ее неземной красоте и доброте, говорил о родстве их душ, о своей старой мечте — как он хотел бы оставить трон и жить среди благодатной природы в какомлибо живописном, уединенном уголке у моря или в тиши сельских полей с милым сердцу другом. Когда-то, мальчиком, он мечтал об этом искренне, а теперь говорил как актер заученную роль.

Александр говорил все это с единственной целью — увлечь собою молодую хорошенькую женщину: он любил такие платонические «победы».

Его меланхолия, его душевные излияния были насквозь фальшивы, а искренняя, порывистая Луиза принимала все это за чистую монету. Муж никогда не говорил ей ничего подобного. Он был по-солдатски однообразен и прост во всем: в желаниях, в чувствах, в любви.

Готовясь к встрече с Александром, Луиза рассчитывала покорить его. Она знала, что ее называют «феей, подчиняющей все силе очарования», а вышло наоборот: Александр уезжал таким же, каким приехал, а Луиза страдала и мучилась, предвидя разлуку.

Она поверила Александру и полюбила его, человека, о котором один посол сказал: «Он фальшив, как пена морская».

Александр искусно играл свою роль. Глядя со стороны, можно было серьезно подумать, что он влюблен в королеву. Обер-гофмейстерина Луизы, графиня Фосс, записала в своем дневнике об Александре: «Бедный, он совсем увлечен и очарован королевой!»

Они прощались чрезвычайно трогательно: Луиза была в слезах, а Александр стал как-то еще более хромать.

Луиза не знала, что для Александра это всего лишь политический флирт. Союз с Францией, к которому шел его отец, император Павел, был опасен: он вызывал недовольство дворян. Александр решил приобрести иных союзников, и в частности Пруссию: ей принадлежала значительная часть Польши. Географическое положение Пруссии оказалось таково, что обе стороны — и Франция и Россия — старались привлечь ее к себе.

Флирт с королевой помогал намерениям Александра.

И вот теперь, три года спустя, Луизе и Александру предстояло встретиться вновь.

Луиза ждала свидания с волнением и радостью, а он — с опаской и неохотой. Письма Луизы к нему дышали неподдельной, неудовлетворенной любовью. Александр же в каждом флирте любил только начало, был способен лишь к нему и потому боялся, что при этой встрече пылкая королева пойдет дальше, чем в Мемеле.

Адам Чарторыйский не сплетничал, когда говорил, что император был в Потсдаме «серьезно встревожен расположением комнат, смежных с его опочивальней», и что «на ночь он запирал дверь на два замка, боясь, чтобы его не застали врасплох и не подвергли бы слишком опасному искушению, которого он хотел избежать».

Холодный, расчетливый Александр играл в Потсдаме роль Иосифа Прекрасного.

Тугодум Фридрих-Вильгельм III по настоянию жены подписал 22 октября с Александром конвенцию. Пруссия присоединялась к антинаполеоновской коалиции условно, если Наполеон отвергнет посредничество прусского короля для заключения всеобщего мира. Фридрих-Вильгельм был менее решителен в делах, чем его жена.

В это же время Наполеон нанес коалиции страшный удар: заставил капитулировать австрийскую армию Макка. Александру пришлось торопиться к своим войскам в Моравии.

Во время последнего ужина во дворце Александр, любивший театральные эффекты, выразил притворное сожаление о том, что покидает Потсдам, не отдав дани уважения праху «Великого Фридриха».

— На это еще хватит времени, — просто ответил Фридрих-Вильгельм III, не отличавшийся особыми сантиментами.

В самую полночь они — влюбленная и потому готовая идти с возлюбленным куда угодно Луиза, холодный позер Александр и не

понимающий смысла этого посещения гробницы прозаический Фридрих-Вильгельм III — спустились при свечах в сырое и мрачное подземелье гарнизонной церкви. Александр подошел к гробнице Фридриха II, сдерживая отвращение, приложился губами к холодному гробу и, протянув руку прусскому королю и королеве, поклялся им в вечной дружбе.

Прекрасные синие глаза Луизы блестели от счастья, рыбьи глаза ее супруга откровенно хотели спать: Фридриху-Вильгельму была чужда вся эта лубочная инсценировка.

Год спустя Наполеон выпустил из занятого его войсками того же Потсдама свой семнадцатый бюллетень. Этот бюллетень был едва ли не самым достоверным и наиболее близким к истине из всех многочисленных бюллетеней Наполеона, наполненных всегда безудержным, непомерным хвастовством и наглой, беспардонной ложью. В нем говорилось о клятве у гроба Фридриха II:

«Через два дня после свидания оно было изображено на картинке, которую можно видеть во всех лавках и которая заставляет смеяться даже мужиков. На ней изображены: русский император, очень красивый, с ним рядом королева, а с другой стороны король, который поднимает руку над гробницей Фридриха Великого. Сама королева, закутанная в шаль, подобно тому как лондонские картинки изображают леди Гамильтон, прижимает руку к сердцу и смотрит при этом на императора».

В бюллетене все изображалось верно: и мрачное подземелье, и позы дающих клятву (Луиза действительно стояла рядом с Александром и смотрела на него, а не на супруга), но Наполеон, желая унизить своего ярого, непримиримого врага, королеву Луизу, напрасно сравнил ее с леди Гамильтон: роль Луизы была совершенно иная, чем у леди Гамильтон, а у императора Александра не было ни талантов Нельсона, ни его благородства, которое английский адмирал выказал в истории с леди Гамильтон.

VII

После того как австрийская армия Макка сдалась Наполеону, положение Кутузова стало тяжелым: у Наполеона было двести тысяч человек, а у Кутузова лишь пятьдесят. Волынская армия Буксгевдена находилась в двадцати переходах, а австрийские войска стояли в Северной Италии, и у Вены оставались лишь мелкие отряды союзников.

Кутузов решил отступать, уничтожив мосты на реке Инн. Он чувствовал, что австрийцы воюют нехотя. Кутузов переправился через Дунай раньше французов, разбив их у Кремса. Но после того как австрийцы сдали без боя мост у Вены, а с ним и самую столицу, Мю-

рат настиг Кутузова. Захватив обманным путем венский мост, Мюрат наивно думал, что обманет и Кутузова, но попался в ловушку сам — предложил русским заключить перемирие. Мюрат хотел дождаться подхода своих главных сил, чтобы обрушиться на Кутузова.

Кутузов охотно согласился на перемирие: это давало ему возможность оторваться от французов. Он оставил заслон в шесть тысяч человек под командой Багратиона, а сам скорыми маршами пошел к Ольмюцу.

Наполеон, узнав о перемирии Мюрата, обозлился до крайности: его шурин попался в свои собственные сети. Наполеон велел немедленно же начать военные действия. Французы погнались за Кутузовым.

Багратион с честью выдержал неравный бой против тридцати тысяч французов и не дал окончательно уничтожить свой корпус, чего боялся Кутузов.

У Ольмюца сошлись обе русские армии — Подольская Кутузова и Волынская Буксгевдена. У союзников оказалось всего восемьдесят шесть тысяч человек, из них пятнадцать тысяч австрийцев. Теперь соотношение сил воюющих резко изменилось. Кроме того, в Северной Италии стояли две армии под командой австрийских эрцгерцогов.

План Кутузова был естествен и несложен: оттянуть Наполеона за Карпаты и там разбить.

VIII

Александр слепо верил в себя и в свою счастливую звезду.

В самом деле, как хорошо получалось: с помощью Луизы Фридрих-Вильгельм III вступил в коалицию.

Александр I восторгался собою как тонким дипломатом, а его приближенные — генерал Фуль, полковник Вейротер, который приехал к императору в Берлин, и свои — Аракчеев, князь Долгоруков, Волконский — предвещали Александру славу великого полководца. Вейротер неустанно твердил: Наполеон пассивен, и стоит Александру фланговым маршем отрезать французов от Вены, как песенка Наполеона будет спета. У Наполеона меньше сил, чем у союзников. Он оставил две трети для охраны коммуникаций.

И Александр готов был наступать.

Наполеон предугадывал замыслы врагов. Пленные в один голос говорили о том, что союзники собираются наступать. Наполеон приказал Даву и Бернадоту отходить, притворяясь слабыми и нерешительными, а арьергарду не вступать в бой с русским авангардом и послал генерала Савари с письмом к Александру: Наполеон поздравлял императора с благополучным прибытием к армии.

Савари должен был высмотреть положение союзных армий и познакомиться с настроением в русской главной квартире.

Из разговоров с Александром Савари убедился в слепой самоуверенности русского императора и его окружения. С другой стороны, Савари удалось вселить в Александра убеждение в том, что Наполеон не готов к сражению.

Русский император ликовал. Он уже видел лавры победы и себя Александром Македонским.

15 ноября союзники начали наступать. Они шли как на парад.

Несмотря на грязь, на изорванную обувь, Александр приказал полкам идти в ногу.

На следующий день у Вишау произошло небольшое дело: пятьдесят шесть эскадронов союзников прогнали восемь французских.

Александр I впервые участвовал в деле. Правда, он ни в кого не стрелял и никого не колол, а только ехал за наступавшими колоннами, но все-таки услыхал свист пуль. Когда стычка окончилась, он шагом объехал поле сражения, рассматривая в лорнет трупы убитых, как барыня нищих на паперти.

Самоуверенные военные педанты и глупцы из императорской свиты возомнили о себе еще больше, непомерно раздув незначительный успех у Вишау.

Чтобы окончательно убедить союзников в своей кажущейся слабости, Наполеон еще раз послал Савари к Александру. Он предлагал перемирие и просил свидания с Александром.

Хитрый расчет Наполеона оказался верным: Александр с каждым днем все больше заносился — он не пожелал видеться с Наполеоном, а послал вместо себя князя Долгорукова.

Долгорукова во французскую главную квартиру не пустили — Наполеон был не так прост, как Александр. Посланца русского императора продержали на линии передовых постов, куда, любопытства ради, приехал сам Наполеон. Он говорил с Долгоруковым на большой дороге.

Узнав у Долгорукова о здоровье Александра, Наполеон спросил:

— Чего хочет Александр? За что воюет?.. России надо следовать иной политике и думать о собственных интересах! — резонно, справедливо заметил Наполеон.

Самонадеянный Долгоруков держал себя с Наполеоном напыщенно, вызывающе и ни разу не назвал его «ваше величество».

Наполеон с презрением смотрел на этого заносчивого фанфарона.

Когда Долгоруков уехал, французский император с возмущением рассказывал своим маршалам, что посланник русского императора держал себя с ним так, словно Наполеон был «боярином, которого собираются сослать в Сибирь».

Из-за желания показать свое пренебрежение «корсиканцу» Долгоруков не увидал во французском лагере ничего, кроме «робости и уныния».

— Наш успех несомненен. Стоит только идти вперед, и Бонапарт отступит, так же как от Вишау, — захлебываясь от удовольствия, рассказывал Долгоруков улыбающемуся Александру.

Чарторыйский и Новосильцев, наоборот, уговаривали Александра не давать боя.

— Если мы отступим, Бонапарт примет нас за трусов! — горячо возражал Долгоруков.

— Лучше умереть, чем прослыть трусом, — согласился с ним император. И на все доводы Чарторыйского и Новосильцева ответил: — Это дело генералов, а не гражданских сановников!

Предусмотрительный, опытный и осторожный Кутузов просил отделить австрийские войска от русских, говоря, что австрийцы подавлены неудачным началом действий их войск и только внесут неуверенность и беспорядок в русские ряды, советовал отходить к Карпатам.

— Вы говорите вздор! — нагло бросил в лицо старому полководцу вспыльчивый и глупый князь Константин Павлович.

Сам Александр I не пожелал даже ответить Кутузову на это. Русский император твердо решил наступать и поручил австрийскому полковнику, генерал-квартирмейстеру Вейротеру составить диспозицию к бою.

Оба императора — Александр I и Франц I, еще менее понимавший в военном деле, чем Александр, — утвердили диспозицию Вейротера, которая массой названий селений, озер и рек больше напоминала перечень к географической карте, чем план будущего сражения.

Молодые советники императора Александра ликовали — их мнение восторжествовало.

Судьба Наполеона, казалось, была уже предрешена.

IX

В эту ночь Александру не спалось: хотелось поскорее насладиться победой.

И он и его главный советчик Долгоруков боялись одного: как бы Наполеон не удрал, пользуясь темнотой зимней ночи.

С вечера Долгоруков сам объезжал посты, приказал наблюдать за французами, и если они начнут отступать, то следить, по какой дороге пойдут, чтобы нагнать и уничтожить врага.

Второй ярый сторонник наступления — генерал Аракчеев — начал нервничать: чем ближе становилась роковая минута боя, тем он чувствовал себя неспокойнее. Александр I, желая предоставить своему любимцу возможность разделить с ним славу победы, хотел поручить ему одну из колонн. Но Аракчеев отказался, он сказал,

что не выносит вида крови. Он забыл о том, как в Гатчине и Петергофе прогонял сквозь строй солдат и в злости сам вырывал у них усы. Та кровь не производила на Аракчеева никакого впечатления.

Александр I проснулся до света. Все окутывал густой туман.

Выбритый, одетый в парадный мундир, он казался себе безмерно красивым и уже осененным лавровым венком победителя. В сопровождении нарядной, напыщенной свиты Александр I поехал к Кутузову. Его злил этот упрямый старик. Вот и теперь на Праценских высотах, где при колонне Коловрата должен был находиться Кутузов, его еще не было.

«И чего он там спит?» — раздраженно думал Александр, не желая считаться с тем, что Кутузову не двадцать восемь лет, а шестьдесят, и не зная, что командующий только два часа тому назад лег спать.

Император послал разбудить Кутузова.

Михаил Илларионович тотчас же явился по приказу императора. Александр I захотел проехать с командующим вдоль расположения русских войск. Они подъехали к ближайшей бригаде генерала Берга.

Берг со своим штабом грелся у костра.

— Твои ружья заряжены? — спросил император у Берга.

— Никак нет, ваше величество.

— Зарядить! — приказал император.

Он внутренне любовался собой: смотрите, вот какой полководец!

А старый Кутузов, ссутулясь, сидел на маленьком неавантажном коне и смотрел как-то не очень уверенно и не очень весело.

— Ну, как полагаете, Михаил Илларионович, дело пойдет хорошо? — бодро спросил император.

— Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества, — ответил Михаил Илларионович. Он прекрасно понимал состояние духа Александра и ответил, как старый дипломат, привычной придворной льстивой фразой, в которой, однако, заключалась тонкая ирония.

Александр не переносил, когда кто-нибудь угадывал его слабость. И в нем сказался хитрый и двуличный человек — он на всякий случай поспешил обеспечить себе отступление.

— Нет, нет, командуйте вы. Я здесь простой зритель! — театрально замахал обеими руками император и поспешил дальше.

Кутузову оставалось только вежливо поклониться.

— Хорошенькое дело — я должен командовать боем, которого, видит Бог, не хотел предпринимать, — сказал Бергу с горькой улыбкой Михаил Илларионович. И последовал за императором.

Он заранее знал: хотя император затеял это сражение против желания Кутузова, но, в случае неудачи, свалит, как всегда, всю вину на него.

X

Под Австерлицем он бежал...

Пушкин

Союзники приняли план сражения против армии, которой не видели, предполагая ее на позиции, которой она не занимала, и, сверх того, рассчитывали на то, что французы останутся настолько же неподвижными, как пограничные столбы.

Ф. Бюлов

Русскими войсками распоряжались: император Франц, полковник Вейротер, Гогенлоэ, Лихтенштейн, Вимпфен и Буксгевден, изменник своей стране француз Ланжерон и т. д. Потеря сражения и бесчестие армии не были страшны для этих людей, они не боялись поражения.

Лев Толстой

Александр I и император Франц, окруженные свитой, стояли верхами на Працене среди войск четвертой колонны Коловрата, ожидая, когда рассеется туман.

Император Франц зевал, не выражая особого нетерпения. Он вообще был меланхоличен и вял. Дома его любимым развлечением было бить мух или, стоя у окна, считать проезжавшие мимо дворца кареты. Здесь император Франц смотрел равнодушными глазами на все. Победной славы он не ждал.

А самолюбивый Александр I горел от нетерпения: ему хотелось, чтобы поскорее начался бой.

Снизу из тумана доносился глухой шум — топот тысяч людских и конских ног, лязг оружия. Колонны, выполняя нелепую диспозицию Вейротера, спускались с высот, которые господствовали над местностью.

По замыслу Вейротера союзники намеревались выйти сквозь дефиле у селений Сокольницы и Тельницы в обход правого фланга французов.

Александр I томился в ожидании начала сражения. Вейротер, проведший с русским императором несколько дней в Пулавах, сумел убедить его в своих непререкаемых военных познаниях. Александр уверовал в этого сухого рыжеватого австрийца, как верил в таланты и ум всех иностранцев вообще.

Вейротер, Винцингероде и задававший тон нахальный Долгоруков убедили Александра в том, что Наполеон боится союзников, что стоит только наступать, и корсиканец будет побежден.

Тщеславный Александр ждал сражения, которое принесет ему славу великого полководца, и теперь ему казалось, что все совершается сегодня крайне медленно.

Император Александр не предполагал, что никто из русских командиров не мог толком разобраться в этой путаной кабинетной диспозиции австрийского педанта. К тому же, хотя в союзной армии насчитывалось всего лишь пятнадцать тысяч австрийцев, а русских семьдесят пять тысяч, диспозиция была написана на немецком языке. Только к утру ее успели перевести на русский язык и дали прочесть старшим командирам. И потому при движении войск к намеченным пунктам происходила путаница и неразбериха, усугублявшаяся туманом.

Александр I с неудовольствием видел, что четвертый корпус Коловрата все еще стоит на высотах, хотя, по мысли Вейротера, союзники должны были очистить Працен.

Несмотря на то что четвертая колонна состояла из четырех русских обстрелянных пехотных полков Милорадовича, а австрийские батальоны были составлены из рекрутов, Александр I вверил колонны не опытному суворовскому ученику генералу Милорадовичу, а австрийцу Коловрату.

Граф Коловрат, конечно, давно выполнил бы предначертания диспозиции, — ушел с Праценских высот, — но при четвертой колонне находился сам командующий союзными войсками генерал Кутузов. И эта задержка в движении, очевидно, результат его происков.

Как ни старался Кутузов под маской полного повиновения императору Александру скрыть свое недовольство, но Александр видел: Кутузов не согласен с прекрасной диспозицией Вейротера.

Александр расценивал это как зависть Кутузова. Терпеть дальше стало невмоготу. Александр подъехал к Кутузову и принудил его очистить Праценские высоты.

Старый дипломат Кутузов на этот раз не удержался — позволил себе даже возражать императору. Никто не заметил, как порозовели щеки у Александра от сдерживаемого гнева.

И все-таки стало так, как хотел Александр: последние союзные войска двинулись с Праценских высот.

Оба императора начали спускаться вниз.

В свите Александра I открыто возмущались поведением Кутузова, не желавшего оставлять высоты:

— До чего упрямый старик!

— Заважничался.

— Выжил из ума!

И вот наконец снизу, из тумана, послышались выстрелы. Но ружейная стрельба и крики сражающихся слышались где-то вот тут, поблизости. Союзники думали, что Наполеон стоит за Шлапаницем, готовый в любую минуту дать тягу, что до него не менее десяти верст, а на деле вышло иное: французы скрытно подошли и оказались в двух шагах от союзников по эту сторону прудов перед Кобельницем.

Случилось то, чего никак не ждал Вейротер: Наполеон не стал дожидаться, когда союзники обойдут его с фланга, а сам перешел в наступление.

Плотные массы французской пехоты ударили по неосторожно, преступно ослабленному центру союзников. Австрийцы и русские смешались, дрогнули и побежали.

Вся хитроумная диспозиция Вейротера рухнула, словно карточный домик.

Когда при обсуждении диспозиции у Вейротера спросили, что он предпримет в том случае, если Наполеон атакует Праценские высоты, австрийский генерал-квартирмейстер самоуверенно, категорически заявил: «Эта возможность исключена!»

Вейротер наивно, слепо верил в то, что Наполеон будет спокойно стоять на месте, пока враги пойдут в обход его правого фланга.

И вот теперь союзники жестоко платились за грубейший просчет позорной австрийской диспозиции: французы легко прорвали центр союзников и били с фронта и фланга. Каждая воинская часть была принуждена защищаться самостоятельно, а каждый солдат — думать лишь о своем спасении.

В суматохе жаркого штыкового боя все смешалось.

Александр I очень скоро растерял всех: меланхолического императора Франца, свою блестящую свиту, состоявшую из генералов и министров, и свою непреклонную уверенность в победе. Воинственный пыл Александра сразу же исчез. Он уже не воображал себя Александром Македонским, а торопился назад, к Аустерлицу, как самый обыкновенный беглец.

Мимо него, что-то крича, промчался без шляпы, с растрепанными буклями и потерянным, бледным лицом Вейротер.

В эти минуты Александр I охотнее увидел бы не сухопарого австрийского генерал-квартирмейстера, а грузного, неспешного, хотя и нелюбимого им, русского полководца Кутузова. Но и Кутузов где-то затерялся в жестоком побоище.

Русские солдаты, заведенные в ловушку австрийскими «немогузнайками», дрались мужественно и стойко. Впоследствии, на острове Святой Елены, Наполеон вспоминал доблесть и упорство русских солдат.

Александр I, увлекаемый бегущими толпами, ехал к Аустерлицу. Он был ошеломлен случившимся. Он видел, что ни победы, ни славы нет, а есть ужас и позор поражения.

Кроме берейтора Ене, рядом с императором оказался только лейб-медик барон Вилие. И это было как нельзя более кстати: от всех тягостных волнений у Александра открылась «медвежья болезнь». Он вынужден был ежеминутно слезать с коня.

Императорская коляска, теплые вещи, кухня — все исчезло. Приходилось ехать верхом.

Отступающие, как всегда, ничего и никого не видели, старались лишь унести ноги. Беглецы распространяли слухи один ужаснее другого.

Александр I услышал, что генерал Кутузов убит, что он сам, «Александра Павлович», тоже убит.

Ссутулившись, стараясь не смотреть никому в глаза, трясся в седле Александр I.

К вечеру, измученный переживаниями и желудком, император Александр кое-как дотащился до деревни Годьежицы.

Вся деревня была забита обозами, фурами, ранеными и бежавшими с поля боя. Александр решил ехать дальше: гул орудий затихал, но он боялся все-таки в довершение всего попасть в плен.

Накрапывал дождь, дорога превратилась в грязное месиво.

Александр смог протащиться еще только семь верст — понос усилился, и он уже чуть сидел в седле. Император принужден был остановиться в деревне Уржица, где ему с трудом нашли крестьянскую избу.

Забрызганный грязью, бледный, сидел за крестьянским столом у огарка свечи император Александр, держась за живот. Вилие дал ему тридцать капель опия и настой ромашки. Александру стало немного легче.

Вилие узнал, что тут же, в доме пастора, остановился император Франц, и пошел к обер-гофмаршалу Ламберти попросить у него для императора Александра вина, чтобы больной мог согреться. Но австрийский обер-гофмаршал отказал наотрез, сославшись на то, что у них самих вина очень мало.

Союзники показывали свое настоящее лицо.

XI

Поражение при Аустерлице больно отозвалось в столицах — Петербург и Москва были избалованы победами Румянцова, Суворова и других «екатерининских орлов».

Все обвиняли молодых министров, что они довели Россию до такого унижения. Народ ругал «немцев». Петербургские сапожники и портные в трактирах и полпивных лезли в драку с такими же ремесленниками-иностранцами с Васильевского острова за то, что они предали русских в бою.

Бонапарт, которого еще вчера называли не иначе как «корсиканский выскочка», теперь, явившись победителем, нашел себе

поклонников и особенно поклонниц — дамы стали носить шляпы «наполеон».

Чтобы как-нибудь сгладить горечь поражения, Александр щедро роздал участникам Аустерлица ордена и медали. Старые армейские служаки, чью грудь украшали очаковские, измаильские кресты и ордена за Итало-Швейцарский поход, называли вновь награжденных «кавалерами аустерлицкого поражения».

Георгиевская дума постановила поднести орден Георгия первой степени самому главному виновнику «торжества», императору Александру, — «будучи преисполнены благоговения к великим подвигам, которыми монарх лично подавал пример войску своему против неприятеля».

Но даже Александр I понял всю несуразность такой награды. Совершенно отказаться от ордена и тем признать свои ошибки у него не хватило воли и такта. Александр согласился принять Георгиевский крест, но самой последней, четвертой степени. Этим шагом Александр вновь попытался сложить с себя ответственность за аустерлицкое поражение, заявив, что орден Георгия первой степени дается только за «распоряжения начальственные», а что он-де «не командовал, а храброе войско свое привел на помощь своему союзнику».

Меньше других был, конечно, награжден Михаил Илларионович Кутузов.

Когда оба императора вместе со всеми своими вейротерами бежали без оглядки, Кутузов оставался на поле боя и принял командование. Он постарался спасти от окончательного уничтожения расстроенные полки и сам был при этом ранен в левую бровь.

Александр всегда не любил Михаила Илларионовича, а теперь окончательно возненавидел его и всю вину за аустерлицкое поражение свалил на ни в чем не повинного главнокомандующего.

Александр назначил Кутузова на новый пост — генерал-губернатором в Киев.

Это снова была плохо замаскированная опала.

Глава десятая

РУЩУКСКАЯ ВИКТОРИЯ

I

В Киеве Кутузова ждала полная своих каждодневных хлопот и забот мирная жизнь большого города, ждали скучные гражданские дела.

Михаилу Илларионовичу пришлось заниматься борьбой с воровством — очень уж много оказалось в Киеве взломов и краж; уличным освещением — в других губернских городах употребляли

для фонарей масло, здесь почему-то ставили свечи, которые быстро сгорали; наведением порядка на ежегодной контрактовой ярмарке, ценами на поставку продовольствия и фуража.

Были и свои, личные заботы о деньгах, о том, что бы такое продать из горошкинских запасов, как бы вывернуться и послать в Петербург Кате хотя бы тысчонку рублей. Она жила, как и раньше, не по средствам: устраивала у себя приемы, легко тратила деньги и еще легче подписывала векселя. И долги росли год от году.

Среди этих нудных своих и чужих мелких дел, неизбежной бумажной переписки, от которой болели слабые глаза, среди генерал-губернаторских приемов и визитов Михаил Илларионович все-таки не забывал о более высоком. Привычным, опытным глазом старого дипломата он внимательно следил за тем, что происходит в Европе.

Русской армии вновь предстояла работа: на западной границе опять вспыхнула война с Наполеоном.

Прусский король все время пытался усидеть между двумя стульями: заключил союз с Александром против Наполеона, а с Наполеоном — против Александра. Но в конце концов не избежал войны с Францией.

Наполеон в одну неделю разгромил прусскую армию и занял Берлин. Королевская семья бежала в Кенигсберг.

Наполеон поселился в королевском дворце в Берлине и ежедневно принимал ключи от позорно, без боя, сдававшихся прусских крепостей.

Александр I вспомнил синие прекрасные глаза королевы Луизы, их платонические беседы наедине — на большее он был не способен, свои клятвы в дружбе королю и решил прийти на помощь Пруссии, хотя России следовало бы думать не о благополучии Пруссии, а о защите и целости своих границ. Это не только понимал, но об этом даже беспокоился умный поляк Адам Чарторыйский, когда предостерегал Александра: «Доверяясь Пруссии и слепо подчиняясь ее внушениям, Россия готовит себе неминуемую гибель».

Но «кроткого упрямца» было невозможно переубедить. Он написал прусскому королю: «Будучи вдвойне связан с Вашим величеством в качестве союзника и узами нежнейшей дружбы, для меня нет ни жертв, ни усилий, которых я не совершил бы, чтобы доказать Вам всю мою преданность дорогим обязанностям, налагаемым на меня этими двумя наименованиями».

Александру было легко жертвовать русскими людьми — он к ним не питал таких нежных чувств, как к пленительной королеве Луизе!

Началась новая война против «общего врага тишины в Европе» Наполеона.

Встал вопрос о главнокомандующем армии.

Сам Александр I на этот раз благоразумно не выражал желания руководить войсками лично.

Сановные доморощенные полководцы, никогда не нюхавшие пороху, и придворные дамы, обожавшие своего «ангела» Александра I и тоже принимавшие деятельное участие в выборе командующего, не хотели и слышать о Михаиле Илларионовиче Кутузове. По их мнению, Кутузов нарочно дал возможность этим мальчишкам, генерал-адъютантам царя, проиграть Аустерлицкое сражение, чтоб оконфузить Александра I.

— Вот нет Суворова! — жалели все. — Он бы!..

И тут все вдруг вспомнили о фельдмаршале Михаиле Федотовиче Каменском. Каменский всю жизнь старался быть таким оригинальным, как великий Суворов, но только старался, а не был им. Каменский жил на покое у себя в орловском поместье. Ему было около семидесяти лет.

Но ведь и Суворову было не меньше, когда он отправился в Итало-Швейцарский поход!

Александр I назначил Михаила Федотовича Каменского главнокомандующим русской армией, предназначенной действовать против Наполеона...

Встреченный в Петербурге как спаситель отечества, Каменский еще бодрился. Восторженный прием во дворце временно придал старому фельдмаршалу силы. Но, отправившись к армии, он понял все-таки, что взялся не за свое дело, и стал слать царю с курьерами такие письма:

«Я лишился почти последнего зрения: ни одного города на карте сам отыскать не могу... Боль в глазах и голове; не способен я долго верхом ездить, пожалуйте мне, если можно, наставника, друга верного, сына отечества, чтобы сдать ему команду и жить при нем в армии. Истинно чувствую себя не способным к командованию столь обширным войском».

И в молодости отличавшийся странностями, Каменский повел себя в действующей армии так, что его вполне можно было счесть сумасшедшим.

Мало доверяя собственным силам и вовсе не доверяя никому другому вообще, он в неделю запутал в армии все до невероятия. Каменский сам лично писал маршруты, сам отправлял курьеров, ездил от одной дивизии к другой, отдавал противоречивые приказания и кончил тем, что бросил армию и самовольно уехал в Россию, написав с дороги в свое оправдание царю:

«Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, которому был избран... таковых, как я, в России тысячи».

Генерал Беннигсен, оставшийся вместо него, принял бой под Пултуском, и русские войска неожиданно для генерала Беннигсена одержали победу.

Пришлось опять думать о главнокомандующем.

Александр всегда относился презрительно к русским генералам. По его мнению, в России вообще не существовало никого, кто мог бы возглавить армию, кроме него самого, конечно.

«Где у нас тот человек, пользующийся общим доверием, который объединил бы военные дарования с необходимою строгостью в деле командования? — писал он своему любимцу, дежурному генералу армии Петру Толстому.

Когда Александр пытался наметить кандидатуру на этот ответственный пост, ему приходили на ум разные малопопулярные и столь же малодаровитые, но нерусские по происхождению генералы вроде Кнорринга, Мейендорфа или Сухтелена.

В конце концов Александр остановился на ганноверском ландскнехте бароне Беннигсене, который командовал под Пултуском. Беннигсен был больше других «тот человек», о котором думал Александр. «Необходимая строгость» у него присутствовала. Александр не забывал ее: в ночь на 11 марта Беннигсен один оказался в Михайловском замке на высоте положения.

Война с Наполеоном продолжалась девять месяцев. Русские еще раз одержали победу при Прейсиш-Эйлау, но потерпели поражение под Фридландом.

После Фридланда Александр, долго не раздумывая, покинул свою союзницу Пруссию и подписал перемирие с Наполеоном. Он давно ждал такого же вероломства со стороны Пруссии, а на деле сам первый встал на такой скользкий путь.

Для чувствительной Луизы Прусской это было двойным страшным ударом: с одной стороны — измена возлюбленного, с другой — предательство союзника. Подавленная случившимся, Луиза так писала своей подруге об Александре:

«Он не заслуживает больше писем от меня, так как он мог забыть обо мне в момент, когда все соединялось, чтобы сделать меня так беспощадно несчастной, когда не оставалось страданий, с которыми бы я не познакомилась. Нет, правда, мир — не лучший из миров, и люди в нем — не лучшие из людей. Не нужно Лагарпов для моих сыновей».

Летом 1807 года в Тильзите, на Немане, Александр встретился с Наполеоном, и здесь в день годовщины Полтавской битвы был заключен мир.

Наполеон ратовал за двойственное соглашение между Францией и Россией. Он не хотел никаких «третьих лиц», вроде Австрии.

— Я часто спал вдвоем, но никогда — втроем, — сказал он по этому поводу Александру.

Александр назвал это выражение «прелестным».

Если бы он пожелал говорить так же откровенно, как Наполеон, то вынужден был бы сказать, что всегда предпочитал обратное: спать в одиночку, делая вид, будто спит вдвоем.

Такого приема Александр придерживался и в политике и в жизни.

Еще накануне тильзитского свидания Наполеон в русской официальной переписке неуважительно именовался «Буонапарте», в воззваниях Синода — «антихристом» и «супостатом», в просторечии же — «авантюристом», а после тильзитского свидания стал Александру «другом» и «братом».

— Как же наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным нехристем? — недоумевал какой-нибудь мужичок, узнав о том, что Александр встретился с Наполеоном на плоту среди Немана.

— Эх, братец, ты не понимаешь дела! — урезонивал его более смекалистый. — Разве не знаешь: встретились на реке. Наш батюшка Ляксандра Павлыч и повелел приготовить плот, чтоб сперва окстить Бонапартия, а потом уж допустить перед свои светлые очи!..

Еще в начале войны, в 1806 году, Наполеон натравил на Россию турок, чтобы ослабить силы русских.

Последние сто лет Турция была тесно связана с Францией. Французские инженеры строили туркам крепости и корабли, заводили артиллерию и старались, чтобы турки вели войны, служившие интересам Франции.

Кутузов, будучи в Константинополе, метко охарактеризовал турок в письме к русскому послу в Польше Сиверсу:

«Верный градусник дел здешней страны — дела самой Франции. Кажется, Оттоманская империя предназначена только служить флюгером Франции».

Наполеон убедил султана Селима III, что теперь Турция сможет вернуть себе Крым и Причерноморье. Французский посол в Константинополе генерал Себастиани пообещал туркам военную помощь. И турки, забыв, что еще так недавно, семь лет тому назад, в союзе с русскими били под командой адмирала Ушакова французов на Ионических островах, безо всяких поводов со стороны России объявили ей войну.

Борьба с турками продолжалась шесть лет.

Главная русская армия была занята на западном фронте. Против турок на Дунае могли действовать лишь сравнительно небольшие силы.

За пять лет войны в Молдавской армии сменилось пять командующих. Тут были талантливые Багратион и Каменский-сын и малодаровитые: Михельсон, все воинские доблести которого заключались в поимке Пугачева, вероломно выданного своими друзьями; Ланжерон, французский эмигрант, завистник и интриган, и семидесятисемилетний князь Прозоровский, прозванный «Сиречь» за пристрастие к этому слову, которое он употреблял без меры. Прозоровский был глух и так дряхл, что напоминал мумию. С утра его приводили в чувство мадерой и затягивали в корсет. В течение дня он кое-как еще мог держаться прямо и даже, посаженный в седло, ездил на смирной лошади верхом.

Прозоровский был мелочен и придирчив. Будучи московским генерал-губернатором, он прославился как гонитель Новикова. По приказу Прозоровского сожгли карамзинский перевод «Юлия Цезаря» Шекспира. Прозоровский был круглый невежда, но считал себя поэтом и, уезжая на Дунай, сочинил вирши:

Побью — похвалите,
Побьют — потужите,
Убьют — помяните.

Ни хвалить, ни тужить не пришлось. И его не убили: он умер у себя в лагере под Мачином от дряхлости и обжорства.

За пять лет войны русские овладели рядом турецких крепостей, но достичь настоящего успеха на театре военных действий не могли. Происходило это потому, что ярый пруссофил Прозоровский, благоговевший перед Фридрихом II, придерживался его тактики и стратегии: хотел овладеть турецкими крепостями, не стараясь разгромить живую силу противника. Прозоровский умер, а его система ведения войны на Дунае как-то сама собою перешла к его преемникам.

Крепости были разбросаны по обеим сторонам Дуная, они отвлекали, распыляли и без того слабые силы русских. И из года в год получалось так, как впоследствии верно сказал один историк: «Половину года мы повторяли старые ошибки, а вторую употребляли на их исправление».

Война, достаточно надоевшая и Турции и России, стоившая немало людей и средств, тянулась безрезультатно шесть лет. Обе стороны были бы не прочь помириться, но не сходились в условиях: Александр настаивал, чтобы граница шла по Дунаю, а турки не соглашались. Их воинственный пыл по-прежнему разжигала Франция, которой русско-турецкая война была на руку.

Несмотря на встречи Наполеона с Александром в Тильзите и в 1808 году в Эрфурте, отношения России и Франции год от году становились напряженнее.

К 1811 году стало ясно, что военное столкновение — дело ближайших дней. От Пиренеев до Одера, от Зунда до Мессинского за-

лива — была Франция. Стремясь к мировому господству, Наполеон захватил всю Европу. Его гарнизоны стояли на всех границах с Россией, готовые к походу.

При таком положении турецкий фронт приобретал сугубое значение. Всем было понятно, что, в случае войны с французами, Турция будет представлять правый фланг Наполеона, угрожая Украине и Крыму. Затянувшуюся, надоевшую и малопопулярную войну надо было кончать, и как можно скорее. Всякое промедление теперь было поистине смерти подобно.

Кутузов с лета 1809 года жил в своей давно знакомой и любимой Вильне: царь назначил его литовским военным губернатором. Александр продолжал держаться в отношении Кутузова старой линии — неприязни. Перевод из Киева в Вильну Михаил Илларионович понял как понижение: в Вильне в то время было мало войск, и это назначение походило на замаскированную ссылку. Но, с усилением угрозы Наполеона, Вильна стала постепенно приобретать все большее значение.

В феврале 1811 года военный министр Барклай-де-Толли написал Михаилу Илларионовичу, что, ввиду болезни Николая Михайловича Каменского, царь предполагает назначить вместо него в Дунайскую армию Кутузова. Барклай кончал письмо так:

«По всем соображениям, кажется, слава заключить мир предназначена Вашему высокопревосходительству. Мне же позвольте заранее поздравить Вас с сим знаменитым назначением».

Прочтя письмо, Михаил Илларионович усмехнулся: это был очередной лисий ход императора Александра. Из писем жены Михаил Илларионович знал уже, что царь собирается назначить Николая Михайловича Каменского-сына командующим второй армией, которая будет действовать против Наполеона. Друзья из Петербурга прислали Кутузову даже копию рескрипта Александра молодому Каменскому. В рескрипте были поставлены все точки над «i»:

«Перемена в образе войны противу турок и убавление Молдавской армии соделывают в моих предположениях необходимым употребить блистательные способности Ваши к важнейшему начальству. Болезнь Ваша доставила мне случай исполнить оное без обращения лишнего внимания на сие перемещение.

Я дал повеление генералу Кутузову поспешить с приездом в Букарест и принять командование Молдавскою армиею. Вам же предписываю, сдав оную под видом слабости здоровья Вашего после столь тяжкой болезни преемнику Вашему и известя его подробно о всех моих намерениях, отправиться, сколь скоро возможно будет, в Житомир, где получите Вы от меня повеление принять главное начальство над второю армиею...»

Стало быть, Александр только поэтому и вспомнил о Кутузове! А фраза Барклая о славе и мире теперь, когда положение русской армии на Дунае стало тяжелее, чем когда-либо за все шесть лет, казалась просто иронической. И само преждевременное поздравление военного министра выглядело не лучше.

«Нечего сказать, «знаменитое» назначение! — думал Михаил Илларионович. — Пять дивизий сняли для западного фронта, на Дунае осталось всего четыре, и вот извольте с ними добиться победы и мира! За пять лет с большими силами не сделали ничего, а тут хотят, чтобы я с горстью людей победил в одну минуту!»

Делать было нечего, приходилось благодарить министра за поздравление. Но в письме к Барклаю Михаил Илларионович все-таки вскользь заметил: «Случаи дали мне познания той земли и неприятеля». Этим он как бы говорил: «Я столько лет имел дело с турками, так хорошо знаю их, а вы только теперь удосужились предложить мне пост командующего!»

7 марта 1811 года последовал рескрипт царя о назначении Кутузова на Дунай.

Михаил Илларионович не возрадовался рескрипту: он попадал в невыгодную историю. Задачи, как военная, так и дипломатическая, предстояли труднейшие. Кутузову, с его вдвое меньшими силами, в напряженнейший политический момент требовалось совершить то, чего не сделали исподволь за шесть лет все его предшественники. Положение осложнялось еще тем, что турки, ободренные шестью годами войны, не принесшей России победы, готовились сами к активным действиям. От султана, конечно, не скрылось то, что из Дунайской армии русские оттянули к своим границам пять дивизий из бывших девяти. Знали турки и о том, что Наполеон готовит войну против России.

II

15 марта 1811 года Кутузов без всякого удовольствия оставлял милую, живописную Вильну и отправлялся в Бухарест, где была главная квартира командующего Молдавской армией.

Вот уже позади остался роскошный генерал-губернаторский дворец. Замковая гора с башней Гедимина и еще черными, голыми деревьями, узкие средневековые улочки и Острая Брама, перед которой во всякую погоду стоят коленопреклоненные молящиеся.

Дальше, на многие сотни верст, протянулся давно знакомый путь через Минск — Ровно — Житомир. Он шел широким большаком, обсаженным с каждой стороны двумя рядами берез, — «екатерининским трактом» — мимо серых, бедных белорусских деревень и грязных еврейских местечек. А потом вырывался на степной

простор, где навстречу путнику выбегали белые, веселые украинские хатки и стройные тополя.

В последние годы Михаил Илларионович несколько раз проделывал этот путь. Еще два месяца назад он ехал так же из Вильны к себе в Горошки в отпуск, а затем возвращался этим же путем обратно. Правда, тогда в санях было покойнее, а теперь в коляске, несмотря на рессоры, порядком трясло.

От Вильны до Бухареста Михаил Илларионович ехал две недели.

Дни стояли здесь по-настоящему весенние — солнечные и теплые, а к ночи становилось холодно и сыро. Проезжая вечером через небольшое молдаванское село, где, видимо, располагался батальон какого-то мушкатерского полка, Михаил Илларионович увидел из коляски, как ежатся на резком ветру в истертых шинелишках, а главное — в парусиновых брюках (уже поспешили выдать взамен зимних суконных!) часовые.

«Это не дело! Ишь как беднягу кашель бьет! Так в госпитале окажется больше людей, чем в строю!» — озабоченно подумал Михаил Илларионович.

Кутузов очень хорошо помнил, что в Молдавской армии осталось всего четыре пехотные и две кавалерийские дивизии и что поэтому дорог буквально каждый солдат.

А на следующее утро Михаил Илларионович в другом лагере увидал иную картину, еще более возмутившую его. На площади маленького городка усатый унтер-офицер, тараща глаза, обучал молодых солдат самой пустой и ненужной прусской муштре.

Император Александр мог бы порадоваться такой гатчинской сценке: палочная пруссомания еще цвела в Молдавской армии пышным цветом! Положим, в том не было ничего мудреного: и Прозоровский, и Каменский-сын, и Ланжерон — все командующие были ярыми поклонниками Фридриха II.

— Вот учат, как вытягивать носок, а стрелять в цель поди не догадаются обучить! — высказал вслух свое негодование Кутузов.

31 марта Михаил Илларионович приехал в Бухарест. Николай Михайлович Каменский лежал при смерти. Командующим Дунайской армией как-то не везло: здесь умерли старики Михельсон и Прозоровский, теперь умирал от лихорадки тридцатитрехлетний Каменский.

Кутузову было искренне жаль Николая Михайловича, но невольно подумалось о царском рескрипте и намерениях Александра I: «Человек предполагает, а Бог располагает!»

Еще не приступая к приему дел по армии, Михаил Илларионович прежде всего отдал одно весьма тактичное и дальновидное распоряжение. По дороге в Бухарест он услыхал от жителей жалобы на то, что они за пять лет войны не могут спокойно ни посеять, ни убрать свой хлеб.

Кутузов запретил войскам брать подводы у крестьян. Этот приказ произвел огромное впечатление на жителей. В первое же воскресенье молдаво-валашский митрополит Игнатий сказал по этому поводу в Бухарестском соборе слово. Рассказав о подвигах Кутузова как полководца и дипломата, митрополит отметил большую человечность русского командующего.

— Он дает возможность землепашцу спокойно сеять. Он предотвращает голод, от которого так ужасно страдала наша страна, — сказал митрополит.

С первого дня своего вступления в командование Кутузов засуча рукава энергично принялся за дело. Прежде всего он уточнил свое положение и силы. По спискам в Молдавской армии осталось всего сорок шесть тысяч человек, но это было лишь на бумаге. Как и предвидел Кутузов, в каждом полку много людей болело. Легко одетые солдаты мерзли по ночам и простуживались. Всему виною были эти парусиновые «парталоны», как обычно писали штабные писаря.

— В Задунайской армии полезно было бы и летом носить зимние, — говорил Кутузов.

Он знал, что пока переменить это нельзя, и думал, чем бы помочь делу.

Русская армия занимала тысячеверстное расстояние. Часть войск составляла гарнизоны крепостей Рущук, Никополь и Силистрия — на правом берегу Дуная. Крепости Кутузову были не нужны: он решил действовать иначе, нежели все бывшие до него командующие Молдавской армией.

Кордонная система расположения войск, применявшаяся его предшественниками, не соответствовала планам Кутузова. Он хотел разгромить живую силу врага, а не заниматься турецкими крепостями и не сидеть сиднем в своих. Кутузов стал стягивать силы к трем пунктам — Бухаресту, Журже и Рущуку, зорко наблюдая за тем, что предпринимает неприятель. Турки собирали отовсюду войска к Шумле и Софии, готовясь к наступлению. Намереваясь вести эту трудную кампанию по-своему, осторожный Кутузов, как обычно, старался тщательно подготовиться к ней и все предусмотреть. Он всегда помнил, как делал в таких случаях Суворов. Ярче других суворовских примеров выступала в памяти подготовка Суворова к штурму Измаила.

Кутузов составил план предстоящей войны. План являлся итогом многолетних наблюдений над противником, обобщением всего опыта последних войн русских с турками.

В плане, между прочим, говорилось:

«Против турок не должно действовать как против европейских войск, всею массою совокупно.

Разделить всю армию на два или три корпуса отдельные, которые не должны озабочиваться иметь сношения между собою, но

всякой должен действиями своими располагать по обстоятельствам к преодолению всех могущих представиться препон.

Против турок безопасно можно с таковыми сильными корпусами вдаваться в отважные предприятия, не имея между собою никакого сообщения. Всякое неожиданное или новое действие приводит их всегда в такое смятение, что не можно предположить, в какие вдадутся они ошибки и сколь велик будет наш успех.

Сверх того, против турок успех зависит не от многолюдства, но от расторопности и бдительности командующего генерала. Фельдмаршал граф Румянцов всегда говорил, ежели б туркам удалось разбить наш корпус, состоявший из двадцати пяти тысяч человек, то и пятьдесят имели бы ту же участь».

Кутузов твердо знал, что не предоставит туркам этой возможности.

III

Михаил Илларионович начинал день в Бухаресте с прогулки по саду — командующий Молдавской армией жил в особняке богатого валашского боярина.

Он старался побольше двигаться, чтобы не толстеть, — склонность к полноте у Кутузова была смолоду, а в последние годы тучность стала особенно одолевать Михаила Илларионовича: кафтаны, шитые год назад, не сходились.

Пешие утренние прогулки Михаил Илларионович завел еще в Киеве, где при генерал-губернаторском дворце был расположен громадный сад, гулять в котором было тем более приятно, что в нем пели соловьи.

Особых результатов от прогулок Кутузов не видел, но оставить их все-таки не решался. Обычно во время прогулки его сопровождал полковник Резвой или правитель канцелярии капитан Кайсаров.

Сегодня Михаил Илларионович ходил один. Сад стоял, как невеста, весь в нежном цвету. Кутузов шел не торопясь, заложив руки назад. Пальцы едва сходились за спиной. В последние полгода он, кажется, снова пополнел: в Вильне Михаил Илларионович гулял меньше, нежели в Киеве и у себя в Горошках. Это раздражало его. Он невольно вспомнил, как две недели назад приехал сюда.

Бухарест встретил его торжественно и радушно. Коляску нового командующего ждала — кроме официальных лиц — пышная толпа валашских бояр и их ярко и порой безвкусно одетых жен и дочерей.

Валашки, наслышанные об европейской учтивости, галантности генерала Кутузова, о том, что он, несмотря на занятость, любит уделять время светскому обществу, театрам и балам и неизменно оказывает внимание дамам, встретили Кутузова цветами и улыбками. Яркая, шумливая толпа окружила карету командующе-

го. Цветник живописно нарядных дам возглавляла жена знатного валашского негоцианта красавица Смарагдецкая. И — о конфуз! — Смарагдецкая протянула Михаилу Илларионовичу руку, помогая вылезть из коляски.

«Проклятая тучность!» — досадливо вспомнил эту сцену Кутузов, снимая фуражку и вытирая вспотевший лоб платком. Дожил до того, что молодая женщина протягивает ему руку помощи! До сих пор он всегда помогал дамам выходить из кареты, а теперь... Правда, госпожа Смарагдецкая очень порывиста и немного более восторженна, чем следует, но все-таки женщина, и притом хорошенькая!

Никак не хотелось мириться с тем, что ему уже шестьдесят шесть лет, что, в сущности, как ни верти, а старость...

Он не спеша зашагал по дорожке. Мысли о старости невольно вызвали мысли о смерти. И Михаил Илларионович вспомнил о трагической гибели командира девятой дивизии генерал-лейтенанта Аркадия Суворова, сына прославленного полководца. Все последние дни Михаил Илларионович жил под впечатлением этого ужасного события.

Кутузов знал и любил Аркадия Суворова с детства, и его преждевременная нелепая смерть потрясла Михаила Илларионовича.

Ни лицом, ни фигурой Аркадий Суворов не напоминал отца. Высокий, белокурый, он был красив, но красотой не отцовской, суворовской, а материнской — Прозоровских. Не получив систематического образования, Аркадий Суворов дослужился до чина генерал-лейтенанта. Он ничего не читал, не был так жаден к знанию, как его великий отец, и увлекался только охотой и картами. И лишь характером немного походил на отца: имел ясный ум, был добр, общителен, прост и храбр. Офицеры и солдаты его дивизии обожали своего двадцатишестилетнего начальника.

И вот 13 апреля 1811 года, возвращаясь из Бухареста в Яссы, где располагалась девятая дивизия, Аркадий Суворов должен был переезжать через дрянную речонку Рымна, которая когда-то прославила его отца и название которой было присоединено к их фамилии.

Аркадий Александрович до этого неоднократно переезжал ее вброд без всяких приключений. Рымна была не широка и не глубока, и в первый раз, когда Аркадий Суворов увидал ее, он даже пошутил: «Я вижу, что мой батюшка иногда любил преувеличить: он рассказывал, что в этой речонке потонули во время сражения тысячи турок. Да через Рымну курица пройдет, не замочив ног!» Но перед 13 апреля прошли сильные дожди. Маленькая, тихая Рымна вздулась и превратилась в широкую, бурную реку.

Стоявшие на берегу молдаване и суруджи предупреждали генерала Суворова: «Не езди, ваше превосходительство!»

Но горячий Аркадий Александрович (в этом он был вылитый отец) возмутился и крикнул своему ямщику: «Чего боишься? Поезжай!»

Не успела коляска въехать в реку, как ее опрокинуло. Ямщик, плохо плававший, стал тонуть. Генерал Суворов, успевший сбросить шинель, кинулся ему на помощь. Ямщик кое-как уцепился за коляску, и его, порядком избитого о камни, выбросило на берег, в полуверсте от места переправы. А генерал-лейтенант Аркадий Суворов утонул. И вот это печальное происшествие не выходило из головы у Михаила Илларионовича. Точно он чего-то недосмотрел, точно он был виноват в смерти сына своего учителя и друга — Суворова.

И теперь Кутузов шел, с грустью думая о молодом Аркадии, так рано окончившем все расчеты с жизнью.

Сзади по дорожке послышались шаги. Михаил Илларионович обернулся и увидал шедшего к нему от дома генерал-лейтенанта Александра Федоровича Ланжерона.

Большим носом, наглыми, чуть навыкате, коричневыми глазами, в которых было не столько ума, сколько высокомерия, хохолком по моде взъерошенных волос граф Ланжерон напоминал забияку-петуха. Узкие губы его были всегда сжаты. Вот и теперь он, меньший летами, опытом и чином, шел к старому Кутузову с таким видом, словно учитель к ученику.

Граф Ланжерон, французский эмигрант, был не бог весть какой вояка. Он участвовал в штурме Измаила, в прошлом году отнял у турок Силистрию и поэтому считал себя непревзойденным полководцем. Интриган, сплетник и завистник, он никого не уважал и не ценил, кроме самого себя.

До приезда Михаила Илларионовича в Молдавскую армию Ланжерон временно командовал ею вместо больного Каменского и теперь безо всяких оснований считал себя обиженным: почему Молдавскую армию вверили не ему, а Кутузову? За плечами Кутузова Ланжерон судил о его действиях и приказах вкривь и вкось, нагло уверял, что Кутузов ничего не предпринимает без его совета.

— Михаил Илларионович, — сказал Ланжерон, здороваясь с Кутузовым, — посланный в Шумлу вернулся. Я прав: визирь новый!

Несколько дней тому назад в болгарских деревнях правого берега Дуная распространился слух о том, что султан назначил вместо престарелого, нерешительного Юсуф-паши нового. Кутузов послал в Шумлу разведчика под предлогом пересылки в Турцию писем турецких пленных, находящихся в России.

Почему Ланжерон считал правым себя? Ведь Михаил Илларионович не оспаривал слуха, Ланжерон же передавал слышанное от других. Кутузов не стал допытываться у Александра Федоровича об этом — фраза Ланжерона была во всегдашней манере надменного и наглого француза.

— И кто же назначен вместо Юсуфа? — обернулся к Ланжерону Кутузов.

— Ахмед-паша. Знаете, он был начальником Брэндовского гарнизона. В прошлом году он прекрасно отбил приступ князя Прозо-

ровского, — не без удовольствия рассказывал Ланжерон. — Ахмед-паша — деятельный и дельный азиат. С ним придется считаться!

— А я с Ахмед-пашой посчитался уже двадцать лет назад, — спокойно ответил Михаил Илларионович, — летом тысяча семьсот девяносто первого года разбил его при Бабадаге... А потом встречался с ним в мирной обстановке — вместе пили прекрасный кофе и курили чудесный табак в Константинополе. Ахмед часто сопровождал меня в поездках по Константинополю... Мы — старые друзья, — с легкой улыбочкой закончил Михаил Илларионович.

Высокий Ланжерон искоса, сверху глянул на небольшого Кутузова, но ничего не сказал — превосходства не получилось!

— Так, может быть, нам можно воспользоваться этой старой дружбой? — минуту, помолчав, предложил Ланжерон.

«Яйца курицу не учат!» — язвительно подумал Михаил Илларионович, но сказал:

— Такая глубокая мысль делает вам честь, граф. Я об этом сразу же подумал и сам.

И, как мог ускорив шаги, направился к дому.

Граф Ланжерон, звеня шпорами, шествовал сзади надменным петухом. Михаил Илларионович прошел прямо к себе в кабинет. Проходя через приемную, он молча кивнул головой Кайсарову, который что-то диктовал писарю. Капитан бросился вслед за командующим.

Михаил Илларионович повесил фуражку на вешалку и устало опустился в кресло.

«Ходишь-ходишь, а вот ноги не держат», — подумал он.

— Будем писать письмецо моему другу, новому визирю Ахмед-паше. — И стал диктовать:

«Благороднейший и прославленный друг!

Мне было весьма приятно по моем прибытии в армию узнать о почти одновременном возвышении Вашей светлости в ранг первых особ Оттоманской империи. Я спешу в связи с этим принести Вам мои искренние поздравления и пожелания. К этому побуждает меня давность нашего знакомства, начавшегося около девятнадцати лет тому назад. Я вспоминаю то время с истинным удовольствием и радуюсь счастливому обстоятельству, которое ставит меня теперь в непосредственные отношения с Вашей светлостью и позволит мне иногда выражать чувства, которые я сохранил к Вашей светлости с того времени, ибо я осмеливаюсь считать, что несчастные обстоятельства, разделяющие обе наши империи, ни в коей мере не повлияли на нашу старинную дружбу. Она не находится в противоречии с тем усердием и той верностью, которые мы оба должны испытывать к нашим августейшим монархам».

IV

В войне, как и в дипломатических переговорах со всякою державою, а с Турцией особенно, не должно забывать двух главных союзников — терпение и время.

Кутузов

Через несколько дней после отправки письма визирю приехал из Петербурга к Кутузову старый известный дипломат Андрей Яковлевич Италийский. Это был очень образованный человек. Окончив Киевскую духовную академию, Италийский изучал медицину в Петербурге, Париже и Лондоне и в Лондоне же получил звание доктора медицинских наук. Италийский служил послом в Неаполе и Константинополе. Ему-то канцлер Румянцов и поручил вести с турками переговоры о мире.

Италийский представил Кутузову своих сотрудников (один был лет сорока пяти, другой — помоложе):

— Надворный советник Петр Антонович Фонтон, секретарь нашей миссии в Константинополе. А это его брат, Антон Антонович, третий драгоман посольства.

— Очень приятно. Стало быть, целое семейство Фонтонов, — улыбнулся Кутузов.

— Ваше высокопревосходительство, Фонтоны вообще фамилия драгоманская, — ответил с такой же улыбкой надворный советник.

— Как же, знаю. У меня в Константинополе был знакомый Фонтон — Иосиф Петрович.

— Это наш двоюродный брат, — сказал младший Фонтон.

Италийский хотел тотчас же отправить Петра Фонтона в Шумлу к визирю, но Михаил Илларионович отсоветовал: пусть визирь раньше ответит на кутузовское письмо, а то еще, чего доброго, загордится!

Кутузов напомнил Италийскому азбучную дипломатическую истину: в переговорах с турками никогда не следует делать первого шага — они обязательно сочтут это за слабость. Италийский согласился с доводами Кутузова. Стали ждать.

Визирь ответил быстро. Он писал:

«Поспешность, с которой Ваше превосходительство известили меня о своем назначении, поздравления, которыми Вы почтили меня по случаю моего вступления в верховный визириат, и желание возобновить наши частные, старинные, дружеские отношения, — все это мне чрезвычайно приятно и побуждает вознести мольбы к всевышнему, чтобы несогласия и вражда, продолжающиеся до настоящего времени между двумя империями, которые некогда были соединены узами дружбы, были бы как можно скорее устранены и чтобы нам суждено было сделаться орудиями мира».

Ахмед предлагал прислать своего уполномоченного для переговоров, — видимо, война и туркам была в тягость.

Кутузов потирал руки от удовольствия: враг сам предлагает мириться, хотя положение турок во всех отношениях предпочтительнее.

— Теперь можно отправить старшего Фонтона, — сказал он и спокойно уехал проверять пехотную дивизию.

Михаил Илларионович вернулся из дивизии, успел побывать в двух других, а Фонтон все еще не возвращался из Шумлы. Старик Италийский явно беспокоился. Тревожился, не подавая вида, и Кутузов.

Наконец Фонтон прислал командующему рапорт. Он писал, что визирь оттягивает назначение уполномоченного для переговоров. Турция считает, писал он, что ее военно-политическое положение стало лучше, чем в прежние годы, а Россия, наоборот, находится в затруднительных обстоятельствах и ей нужен мир.

Сразу подуло каким-то другим ветром.

Кутузов не мог догадаться, в чем секрет внезапной перемены настроения визиря. Письмо, которое он дал Фонтону для передачи визирю, было очень осмотрительное и осторожное. В нем Кутузов сообщал лишь, что шлет в Шумлу Фонтона, исходя из настойчивого желания самого визиря.

— Андрей Яковлевич, что вы написали визирю, отправляя Фонтона? — спросил Италийского Кутузов.

— Я написал, что по повелению его императорского величества назначен для ведения мирных переговоров, — ответил Италийский.

Кутузову сразу все стало ясно.

Он не сказал ничего: не хотел огорчать старого дипломата.

Когда же Италийский ушел, Михаил Илларионович не мог успокоиться целый вечер. Он ходил по кабинету и изливался перед старым другом, полковником Резвым:

— Все испортила эта киевская кутья, эта колокольня Ивана Великого!

— И на старуху бывает проруха, Михаил Илларионович, — попытался оправдать Италийского Резвой.

— Понимаешь, Павел Андреевич, я ни разу не проговорился визирю, что бегаю за миром. Но когда визирь прочел в письме Италийского, что государь назначил его вести мирные переговоры, турку все стало ясно. Он понял, что я водил его за нос. И Ахмед сразу же начал жеманиться, как богатая невеста. Раньше он готов был на руках нести к нам своего уполномоченного, а теперь вишь как кобенится! Отправляет его через силу, словно еще вчера не набивался отправлять сам! Так хорошо было налажено, и вдруг, одним ударом, все полетело к черту! Всю жизнь дипломат, зубы на этом съел, дослужился до тайного советника, это по-нашему, по-

военному, чин генерал-лейтенанта, и так не понимать! — возмущался Кутузов Италийским.

— И у нас случается: генерал, а командовать батальоном не может!

— А тот же надворный советник Фонтон! Если бы он в первую минуту, как визирь стал артачиться, попросил бы отослать его назад, то визирю пришлось бы менять тон. Но, к сожалению, надворный советник соответствует тайному. Два сапога — пара. Теперь надежда только на меч. Не хотят мириться добром — иначе заставим!

Через день приехал из Шумлы Фонтон с турецким уполномоченным Абдул-Гамид-эфенди и его свитой.

Уполномоченный оказался молодым рыжебородым человеком. Он сразу же заявил, что если русские будут настаивать на границе по Дунаю, а не по Днестру, то он не имеет права вести переговоры.

Дело принимало еще более плохой оборот.

Упрямый и недальновидный Александр I настаивал на границе только по Дунаю.

«Мир же заключать, довольствуясь иною границей, нежели Дунай, я не нахожу ни нужды, ни приличия», — еще в январе 1811 года писал он Каменскому. Этот рескрипт оставался в силе и для Кутузова.

Писать царю о том, что лучше пойти туркам на уступки, чем иметь их на своем левом фланге в предстоящей войне с Наполеоном, Кутузов не хотел. Он слишком хорошо знал упрямый нрав царя, который не признавал ничьих советов, особенно в делах военных.

Предшественники Кутузова пытались давать подобные советы, но безуспешно: Александр I не хотел и слышать об иной границе.

Приходилось выжидать: авось царь сам поймет несвоевременность своего упрямства в сравнительно мелком вопросе.

Италийский был растерян и сконфужен: он понял свой промах, но делать было нечего.

— Надо постараться удержать подольше в Бухаресте Абдул-Гамида, — раздумывал вслух у себя в кабинете Михаил Илларионович. — Но кто бы занялся этим рыжебородым? Кто сможет сделать так, чтобы турецкому уполномоченному не очень хотелось покидать Бухарест? Андрей Яковлевич в товарищи не годится: ему шестьдесят восемь, а Абдулу — тридцать восемь. Италийского интересуют древности — вазы, черепа, кости...

— Абдулу еще рано думать о костях, он ищет мясца, — пошутил Резвой.

— Да, вполне естественно. И потом мы не знаем, кем он был до того, как стал янычарским секретарем: лоточником или водовозом.

— Если бы это был не турок, а русский, тогда сразу можно было бы сказать, чем его задержать в Бухаресте: водкой, — съязвил присутствовавший при разговоре генерал Ланжерон.

— А если был бы француз, то — женщиной, не так ли? — не остался в долгу Михаил Илларионович.

— Пусть молодой Фонтон узнает вкусы и привычки турка, — посоветовал Резвой.

Кутузов согласился с этим резонным предложением.

На следующий день Антон Фонтон доложил командующему свои наблюдения над турецким гостем:

— Абдул-Гамид любит поесть, покейфовать, не прочь выпить, и не видно, чтоб избегал женщин.

— Стало быть, как говорится, серединка на половинку? — заметил сидевший у командующего Резвой.

— Вот, Павел Андреевич, тебе и придется услаждать гостя, — сказал Кутузов. — Будешь, как они говорят, «разгонять облако скуки облаками дыма», потягивать молдаванское винцо и прочее...

— Михаил Илларионович, так я ведь не курю.

— Для пользы отечества придется.

— Вы не затягивайтесь, только пускайте дым, — посоветовал Фонтон.

— И пить я не могу...

— Самому пить как раз не надо, лишь бы гость не забывал!

— А к прочему я совсем... — смущенно махнул рукой Павел Андреевич.

— Прочее поручим Антону Антоновичу, — сказал командующий.

Шустрый Фонтон только улыбнулся, ничуть не возражая.

— Ни денежного, ни какого иного трактамента гостю не жалеть.

— А «сколько положено ему пиастров в сутки? — поинтересовался Резвой.

— Двести пятьдесят. А ты делай вид, что ошибся, давай ему триста. Не обидится, не вернет!

Через несколько дней Михаил Илларионович справился у Резвого: как гость — не тяготится бездельем, не рвется ли домой?

— Нет, как будто ничего. Говорит, что ж, будем ждать: цветок алоэ ждет двадцать пять лет, чтоб улыбнуться солнцу!

— Ишь как красиво сказал! Они на это мастера!

— Гуляет, отдыхает. Вчера мой повар окрошку сделал. Понравилось. И графинчик перцовки выхлестал!

— Вот, вот, хорошо, так и держите этого ястреба!

Канцлер Румянцов, узнав о затруднениях в переговорах, предложил Михаилу Илларионовичу свой вариант: просить Молдавию по реку Серет, а взамен Валахии двадцать миллионов пиастров.

Кутузов понимал, что все дело не в турках, а в корысти тех чиновников, которые хозяйничают в дунайских княжествах, то есть в фанарских греках. Греки ежегодно делали всем сановникам Порты богатые подношения, а сами грабили Молдавию и Валахию как хотели. Они уже несколько веков грабят дунайские княжества и не хотят выпускать добычу из рук.

Фанариоты не очень дорожили Молдавией. Драгоманы Порты князья Мурузи всегда называли ее «бесполезною». О Молдавии, вероятно, можно было бы как-либо договориться, но дать взамен Валахии двадцать миллионов пиастров Порта никогда не согласится: турок скорее расстанется с землей, чем с готовыми деньгами.

Немного уладив дело с турецким уполномоченным, Кутузов снова обратил внимание на своего старого дружка, великого визиря. Михаил Илларионович решил послать ему какой-нибудь подарок. Каждый раз только справляться о его здоровье — неловко. И затем — сухая ложка рот дерет.

Однажды, сидя с Резвым, Кутузов спросил его:

— Не помнишь ли, Павел Андреевич, чем мы потчевали Ахмеда в Константинополе?

— Не помню, Михаил Илларионович. Помню, что роздали мехов и золотых вещей на двадцать тысяч рублей, а чем угощали Ахмеда — ей-богу, забыл. И его самого не представляю себе. Для меня эти османы все как-то на одно лицо.

— Нет, лицо у Ахмеда, наоборот, не как у всех: малость осповато.

— А-а, припомнил! Не очень высокий, такой волосатый. И физиономия зверская...

— Ну и что же?

— Этот осповатый разбойник хорошо дул у нас чаек!

— Верно! Вот мы ему и пошлем чайку. Пусть потешится в жару.

— И пастилы московской.

— Нашел чем потчевать турка — пастилой. У него пастила получше нашей!

— Тогда коврижки медовой.

— Это можно!

И Кутузов послал через молодого Фонтона визирю гостинец.

Визирь не остался в долгу — прислал лимонов и сушеных фруктов.

А время шло.

Кутузов продолжал деятельно готовиться к схватке с врагом в поле.

Принимая Молдавскую армию, Михаил Илларионович сразу же обратил внимание на ее снабжение. Снабжение продовольствием и фуражом вызывало у Кутузова большие опасения: оказалось, что в валашских магазинах и в крепостях на Дунае не существовало хлебных запасов, полки имели у себя только десятидневный запас сухарей. Кутузов приказал держать его в неприкосновенности. Без твердого наличия хлеба нечего было и думать начинать летнюю кампанию.

Кутузов насел на обер-провиантмейстера армии генерал-лейтенанта Эртеля, чтобы он обеспечил доставку хлеба и фуража армии. Хлеб должен был заготовляться в Подольской и Херсонской губерниях. Кутузов взял заготовку хлеба под строжайший кон-

троль и добился бесперебойного снабжения армии продовольствием и фуражом.

Одновременно с этим Кутузов-всеми мерами старался улучшить боевую подготовку войск. Он приказал командирам частей не заниматься ненужной плац-парадной муштрой, которая только в тягость солдатам, а лучше обучать стрельбе в цель. Все обучение и воспитание солдат строились не на прусской жестокости, а на суворовском отношении к солдату. Кутузов так и говорил в своем предписании командирам:

«Субординация и дисциплина, будучи душою службы воинской, уверен я, не ускользнут от внимания Вашего в настоящем их виде, а не в том фальшивом понятии, будто бы сии важные идеи единственно жестокостью поддерживаются».

Просьба Кутузова разрешить солдатам Молдавской армии ввиду холодных ночей носить и летом суконные штаны увенчалась успехом. Император пошел на это: вопросы обмундирования были Александру I более близки и понятны, чем вопросы тактики и стратегии. Кроме того, Михаил Илларионович придумал сделать для солдат суконную шнуровку. Она должна была предохранить живот солдата от простуды.

Все эти заботы о быте и здоровье солдата сделали то, что в полках стало налицо вдвое больше строевых, чем числилось до приезда Кутузова.

И солдатам полюбился этот командующий: генерал Кутузов заботился о них. При Кутузове солдатам жилось лучше: с хлебушком всегда хорошо, обмундированием довольны и муштрой не замучены.

Кутузов целые дни был занят.

«Извини меня перед любезными детками моими, что редко пишу. Подумай, какая в мои лета забота и какая работа. С полтора часа ввечеру только стараюсь не допускать до себя дел, но и тут иногда заставит визирь писать», — говорил он в письме жене.

Свободные вечера он проводил в тесном кругу офицеров своей свиты и нескольких бухарестских знакомых.

Михаил Илларионович с детства был живым и общительным человеком. Проведя большую часть жизни в армии, он, однако, не стал «рубакой», знающим только саблю да штык. Он любил встречаться с людьми, посидеть и поговорить не только у солдатского костра, но и в гостиной, в кругу молодых, хорошеньких женщин, за легкой, непринужденной беседой. Недаром Екатерина II когда-то назначила его, боевого генерала, на трудный пост дипломата. Кутузов очаровывал дам своей внимательностью, предупредительностью к ним, своим веселым остроумием. Он был редким собеседником, потому что много знал, хорошо и интересно говорил и при нужде мог терпеливо слушать.

Среди знакомых бухарестских дам, «понимающих кое-что в светском обращении», как писал о них любимой дочери Елизавете Михаил Илларионович, его очень забавляла своей детской непосредственностью четырнадцатилетняя жена валашского боярина Гуниани, жившего по соседству.

Когда генерал Александр Федорович Ланжерон приходил к Кутузову посидеть вечером и встречал у него эту чету, он щурил глаза и иронически раздувал свои французские ноздри.

Михаил Илларионович все видел. И не без основания думал, что Александр Федорович, по-бабьи любивший сплетни и пересуды, завтра же станет рассказывать по всему штабу разные небылицы о шестидесятишестилетнем командующем.

Кутузова это ничуть не тревожило. Он продолжал вести знакомство с теми, с кем ему было приятно встречаться.

Очень часто такие беседы за чайным столом вдруг прерывались приехавшим из Константинополя или Шумлы лазутчиком, который привозил Кутузову последние новости о враге.

Разведка у Кутузова была поставлена прекрасно. Он своевременно знал, что делается в Турции вообще и в армии его друга, великого визиря, в частности. Кутузов знал, что у Ахмеда уже не менее восьмидесяти тысяч человек, но что в Константинополе тяготятся войной.

У Кутузова сил было мало. Оставалось только ждать какой-нибудь оплошности со стороны турок. Надо заставить великого визиря выйти из Шумлы. В поле Кутузов твердо надеялся разбить турецкую армию.

Кутузов хотел, чтобы турки продолжали думать по-прежнему, что русские боятся атаковать и будут только обороняться. Он велел срыть крепости Никополь и Силистрию и перевез все орудия и припасы на левый берег Дуная.

На правом берегу оставался один Рущук. Рущук был приманкой. Как червяк, на который должен клюнуть «достум»[1] Ахмед.

V

Пока турецкий уполномоченный развлекался в Бухаресте, а великий визирь деятельно собирал со всех концов — из Константинополя, Морей, Македонии, Салоник, Адрианополя, Анатолии — войска, Кутузов продолжал терпеливо ждать действий своего друга Ахмед-паши. Визирь со дня на день должен был пойти в наступление: силы его росли и росла уверенность в победе. Лазутчики передавали, что турецкие военачальники так и говорят: «Покуда не

---

[1] Достум — мой друг.

двинемся сами, проку не будет. У высокой Порты, подобно золотым, серебряным, медным рудникам, — бездна людей. У высокой Порты звезда высока, мужи храбры, сабли остры. Мы в три месяца сходим за Дунай и вернемся с победой и добычей!»

К концу мая Кутузов знал, что в составе армии великого визиря уже находятся войска Вели-паши, Мухтар-паши, Бошняк-аги, Асан-Яура, корпус янычар и лучшая анатолийская конница Чабан-оглы. Армия визиря насчитывала шестьдесят тысяч человек при семидесяти восьми орудиях. Да в Софии сосредоточивался двадцатипятитысячный корпус Измаил-бея, сераскира македонского.

По всей видимости, визирь намеревался действовать в двух пунктах — Рущуке и Видине, но где будет произведен главный удар, а где только отвлекающий — еще было неясно.

В первых числах июня положение окончательно прояснилось: Ахмед-паша решил ударить на Рущук — он наконец выступил с армией из Шумлы к Разграду. От Разграда до Рущука — рукой подать: какие-либо полсотни верст. Затем, не встречая сопротивления русских, Ахмед-паша двинулся дальше и стал лагерем у деревни Писанцы, уже всего в двадцати верстах от Рущука.

Следуя правилам турецкой тактики, Ахмед не делал ни одного шага не окапываясь. Турки сгоняли из деревень болгар и заставляли их рыть полуторасаженные траншеи.

Визирь укрепил Разград и все возвышенности между ним и Писанцами.

Кутузов подвинул корпус Ланжерона к Дунаю и 5 июня выехал сам к Журже, которая была расположена против самого Рущука на левом берегу реки.

Ни облачка, ни ветерка. Все застыло, все замерло в томительном зное июньского полудня. От духоты нет спасения.

Михаил Илларионович в туфлях и без кафтана, с широко распахнутым воротом сорочки сидел у дома в тени деревьев. Рядом на скамейке лежали карта и зрительная труба, а с другой стороны стояли кружка и глиняный кувшин с холодным грушевым взваром.

Михаил Илларионович вытирал лицо платком, обмахивался им, изредка пил из кувшинчика, но все не помогало: как в бане!

— Вот если бы разряженные, кокетливые бухарестские куконы[1] узрели бы русского командующего в этаком виде, — улыбнулся он.

После спокойной оседлой жизни — снова привычный с юных лет бивак: Кутузов две недели как приехал из Бухареста в Журжу.

— Запахло порохом — надо поближе к войскам!

---

[1] Куконы — дамы.

Михаил Илларионович глянул на реку. В версте от города простирался широкий Дунай. За ним, на противоположном крутом берегу, пестрел Рущук. Домики, минареты, сады, виноградники, рощицы. Рущук — в ложбине, а вокруг него — холмы, обрывы, овраги, скаты.

Михаил Илларионович смотрел на блестевшую под солнцем полосу Дуная и с вожделением думал: «Искупаться бы!..»

И так ярко вспомнилось, как много лет назад, в первую турецкую, он купался в Дунае.

Из дома слышались голоса: полковник Резвой говорил о чем-то с капитаном Кайсаровым.

Михаил Илларионович взял со скамейки карту, развернул ее на своих тучных коленях и — в который раз — стал прикидывать в уме: «Займем позицию впереди Рущука, вот здесь, где открытая возвышенность. Признаться, позиция у нас незавидная. Эти сады и виноградники, справа, хорошо укроют наступающих янычар. А слева равнина, как дыра в боку: по ней удобно обойти наш фланг — и в тыл... Но выхода нет: иной позиции по дороге в Разград не придумать. Придется драться здесь. У визиря шестьдесят, а у меня пятнадцать тысяч солдат. И сзади — река. Нет, сзади сперва Рущук, а потом река. Пусть себе будем стоять спиною к Дунаю, пусть мой дружок Ахмед-паша и его французские советчики тешатся! На правом фланге поставлю Эссена, на левом — этого галльского петуха Ланжерона. Сам — в центре. Сто четырнадцать пушек генерала Новака. На них надежда. У турок главное — кавалерия. Они налетят со всех сторон, как саранча, а мы — картечью... Их артиллерия — пустяки. Сколько французы ни обучают топчи[1], но пушки — не турецкое дело. Это не шашка и не ятаган. Топчи палят в белый свет как в копейку...»

Кутузов положил карту на скамейку.

Из-за дома донесся чистый тенорок кутузовского денщика Ничипора. Михаил Илларионович привез его из Горошек, он любил украинцев. Ничипор пел:

Як припхав мій миленький у ночи, у ночі,
А я лежу с прудивусом на печі, на печі,
Цур тобі, прудивусе,
Які в тебе руді вуса.
Сама собі дивуюся:
С прудивусом цілуюся.

«Вот поет, а сам — первейший «прудивус»: перемигивается с хозяйкой-болгаркой... Дородная женщина!» — подумал Кутузов.

---

[1] Топчи — артиллерист.

Он потянулся к кружке и кувшину.

В это время где-то за садом и домом дробно зацокали копыта. Потом послышались чьи-то быстрые шаги, голоса в доме — Кайсарова, Резвого и еще кого-то.

Михаил Илларионович чуть поворотил голову — совсем оборачиваться не хотелось. «Верно, с аванпостов. Опять захватили "языка"».

Кавалеристы Воинова каждый день брали в плен по нескольку турок. В последний раз они захватили известного любимца визиря, Дервиш-агу. Из дома в сад вышел полковник Резвой:

— Михаил Илларионович, гонец от генерала Воинова.

— Что нового?

— Авангард визиря уже в деревне Кадыкиой. Две тысячи сабель.

— Так, так. Значит, турки уже закончили свои окопчики?

— Видимо.

Кутузов невольно взял в руки зрительную трубу, словно сквозь нее можно было увидеть Кадыкиой.

— Стало быть, визирь в скольких же верстах от Рущука?

— В восемнадцати.

— Пора на тот берег! — поднялся Михаил Илларионович. — Приказ Александру Федоровичу: переправляться немедля. Стать скрытно от турок на равнине, слева от Рущука, где сохранились прошлогодние траншеи. Ланжерон знает, я предупреждал его. А мы по холодку — следом за ним, в Рущук!

VI

В сем бою, несмотря на чрезвычайное неравенство, кавалерия наша не упустила ни шагу.

Кутузов

К ночи корпус Ланжерона был уже на правом берегу Дуная. Переправа прошла благополучно: ни один турецкий кирджали не видал, как русские располагались в старых траншеях на низине. Кутузов хотел устроить своему другу Ахмед-паше маленький сюрприз.

Эту ночь Михаил Илларионович спал на поле перед Рущуком в палатке. Войска стояли в четырех верстах от крепости.

В первые две линии Кутузов поставил пехотные каре, а в третью — всю кавалерию.

Чтобы турки не смогли прорваться между армией и Рущуком, Кутузов оставил для прикрытия восемь батальонов пехоты.

Командующий расположился в центре. Его палатка стояла среди милых кутузовскому сердцу егерей двадцать девятого полка.

Днем была нестерпимая жара, а к ночи стало холодно. На холодке, на свежем воздухе спать было чудесно. Ничипор укрыл сво-

его барина поверх одеяла шинелью, и Михаил Илларионович уснул быстрее обычного. Его сладкий сон прервали выстрелы, крики «алла» и какой-то шум, доносившийся со стороны аванпостов.

Михаил Илларионович открыл глаза. В палатке было темно. Он отбросил одеяло и шинель и сел на постели.

Звуки не смолкали, а росли. Ясно: турецкие спаги напали на передовые отряды конницы Воинова, идет кавалерийская сшибка.

По старой боевой привычке Михаил Илларионович спал не раздеваясь. Он сунул ноги в туфли и вышел из палатки. Весь лагерь, все кругом тонуло в тумане. Туман стоял плотной, непроницаемой стеной. В двух шагах ничего не было видно.

— Давно началось? — спросил Кутузов у часовых, застывших возле палатки командующего.

— Только что...

— Минут пяток, ваше высокопревосходительство, — ответили егеря.

Кутузов прислушался. Крики не умолкали, но выстрелы были редки.

— Рубятся! — Он поежился. — Проклятый климат. Такая холодина! А ведь через несколько часов снова не найдешь себе места от жары!.. Паисий Сергеич! — позвал он.

В соседней штабной палатке, которая чуть вырисовывалась в тумане, зашевелились.

Кутузов, не дожидаясь Кайсарова, вернулся к себе, надел мундир и сел на постели.

— Ничипор, зажги свечу!

— Зараз, вашество, зараз! — сонным голосом ответил из передней части палатки денщик и немного погодя вышел, почесываясь и зевая. Он зажег стоявшую у постели на складном стуле свечу и выглянул из палатки.

— Ой, який туман! — сказал Ничипор и вернулся на свое место, где сразу же умолк — заснул.

В палатку вошел наспех одетый адъютант Кайсаров:

— Доброе утро, Михаил Илларионович!

— Здравствуй, дружок. Неизвестно, какое еще оно будет... Пошли кого-нибудь к генералу Воинову на аванпосты. Что там у них происходит?

— Слушаюсь! — ответил Кайсаров и быстро вышел из палатки.

Михаил Илларионович сидел, барабаня пальцами по колену, думал: началось взаправду или нет?

Через минуту послышался топот копыт. Всадник с места взял в галоп.

За палаткой, в лагере, началось движение.

Посидев некоторое время, Кутузов снова вышел наружу.

Туман и не думал уменьшаться, а на аванпостах не утихали шум и крики.

Кутузов стоял, ожидая возвращения ординарца.

Он примчался быстро.

— Ну и что?

— Турки наступают, ваше превосходительство! — выпалил ординарец. — Кавалерии — без числа. За туманом не видно, когда кончатся. Генерал Воинов послал чугуевских улан и ольвиопольских гусар, но их теснят — турка много!

«Стало быть, визирь наступает по-настоящему», — подумал Кутузов и сказал ординарцу:

— Лети, братец, к генералу Ланжерону — пусть выходит на поле!

Постепенно весь русский лагерь пришел в движение. Полки становились в каре, готовясь к бою.

Михаил Илларионович умылся, оделся.

Туман нехотя таял.

Из-за Дуная блеснул луч солнца. Все осветилось.

Шум на аванпостах утихал. Кутузов сел на коня и поехал мимо каре к первой линии.

— Что такое? — спросил он, подъезжая к группе генералов, стоявших перед фронтом первой линии.

— Отступают, ваше высокопревосходительство: испугались нашей матушки-пехоты, — весело сказал генерал-майор Энгельгардт. — Это пока что была только разведка.

— Налетело пять тысяч всадников, а у меня — около полутора тысяч, — говорил, словно оправдываясь, генерал-лейтенант Воинов.

— Посмотрите, Михаил Илларионович, — указал Энгельгардт, — сколько их осталось на поле!

Кутузов недовольно молчал. Непредвиденная, глупая случайность погубила весь его хитроумный план. Туман сыграл на руку туркам, а не русским. Он не позволил русским видеть, что это не общее наступление, а только разведка, а когда растаял, турки увидали все русские войска, и в том числе скрытно стоявший корпус Ланжерона.

VII

На следующий день обе стороны ограничились обычной разведкой.

«Надо узнать, как чувствует себя мой друг Ахмед, — подумал Михаил Илларионович. — Пошлю-ка ему снова чайку. Может, Фонтон что-либо пронюхает у турок».

Кутузов вызвал к себе младшего Фонтона и вручил ему целый сверток с чаем:

— Передайте визирю с моими всегдашними приветами шесть фунтов чаю.

— Так много! — невольно вырвалось у Фонтона.

— Пусть побалуется. Может, больше слать не придется. Будет спрашивать о моем здоровье, скажите, что изнываю от жары.

— Я скажу, что ваше высокопревосходительство еще в Журже.

— Можете говорить что угодно, но Ахмед не поверит: старого воробья на мякине не поймаешь! Постарайтесь узнать, что у них на уме.

Фонтон вернулся к вечеру. Рассказал, что посмотреть ничего не удалось: его провели через лагерь к визирю с завязанными глазами. Но, судя по отдельным фразам, которые он слышал, турки готовятся к бою. Визирь очень благодарил за чай, жаловался также на жару, но сказал, что у реки все же прохладнее, чем в Кадыкиой, и вскользь заметил, что с таким войском, как у него, Ахмеда, можно завоевать восток и запад.

— Похваляется! Это хорошо, что он так уверен; значит, надо ждать атаки! — обрадовался Кутузов.

22 июня утром русские войска только пропели утреннюю молитву и стали завтракать, как вдруг ударили турецкие пушки. Они били по всей линии русских каре.

— Эх, осман, и позавтракать спокойно не дает!

— Сегодня будет дело, коли с антилерии начал.

— Хватит тебе всего: и антилерии и кавалерии! — говорили солдаты, разбирая ружья из козел.

Ядра долетали и до второй линии, где в середине каре егерей разместился со штабом командующий. Необстрелянная молодежь из свиты Кутузова чувствовала себя под турецкими ядрами возбужденно. Сам же Михаил Илларионович относился к обстрелу совершенно спокойно.

— Это мой старый дружок оказывает мне любезность, — говорил он, продолжая разглядывать в зрительную трубу турецкое расположение.

Из-за порохового дыма, окутавшего турецкие укрепления, виднелись большие пестрые массы турецкой конницы. Конечно, визирь сейчас бросит их на русские каре. Только на какой фланг? «Скорее всего на открытый левый», — думал Кутузов, не обращая внимания на то, что через его голову с противным воем, несутся ядра.

Одно вдруг шлепнулось перед самым носом кутузовского коня, подняв облачко пыли. Конь чуть присел на задние ноги, вздернув голову.

— Ишь как мой старик удивился, — усмехнулся Кутузов, похлопывая коня по шее.

— Ваше высокопревосходительство, здесь опасно. Вы бы поехали в третью линию к кавалерии, — сказал адъютант Кайсаров.

Капитана Кайсарова поддержали остальные офицеры штаба. Только Резвой молчал. Он знал, что Михаил Илларионович не двинется с места.

— Куда я поеду? Что скажет молодежь? Нет, я не удалюсь отсюда, пока мой друг не исчерпает своей любезности. А потом, голубчик, еще неизвестно, где опаснее!

И через несколько минут слова Кутузова получили прекрасное подтверждение. Из дымных пороховых завес, окутывавших турецкую позицию, вдруг на равнину ринулись тысячи всадников. Точно кто-то взмахнул разноцветным платком. На русские каре стремительно катилась бушующая волна спагов. От топота сотен тысяч копыт тяжело застонала земля.

Глядя на этот грозный вал, невольно думалось, что нет силы, которая смогла бы остановить его. Опытные, бывалые солдаты хорошо знали: страшен первый удар. Выдержать его было самое главное. Потом натиск ослабевал.

Дружным артиллерийским и ружейным огнем атака была отбита по всей линии. Бешеная волна всадников откатилась назад.

Не успели русские отдышаться, перезарядить ружья и убрать в середину каре раненых и убитых, как турецкая кавалерия понеслась на правый фланг.

Первый налет был как бы разведкой — где русские слабее. Но все кутузовские каре стояли одинаково твердо. И вот теперь визирь кинулся на правый фланг. Он был неудобен для атак конницы: каре упирались в холмы и виноградники. Но турки яростно старались пробиться. Их упрямые атаки следовали одна за другой.

Кутузову пришлось послать из второй линии в подкрепление правому флангу 37-й егерский.

Егеря рассыпались по виноградникам. Их не было видно, но меткий прицельный огонь остановил янычар, появившихся вместе с конницей у правого фланга.

Архангелогородцы бросились в штыки, выбивая турок из лощины в лощину. В конце концов турки бежали к Кадыкиой.

В кутузовском штабе ликовали: дело идет! Но Михаил Илларионович думал иначе и предупреждал:

— Погодите радоваться. Это еще цветочки. Не может быть, чтобы визирь не ударил на левый фланг — ведь он совсем открыт. Его можно обойти. Мой дружок фокусничает. Он сегодня командует совсем не как турок!

— Должно быть, французские советники помогают, — заметил Резвой.

— И то может статься.

Слова Михаила Илларионовича сбылись в точности. Турецкие атаки правого фланга были только демонстрацией.

В девять часов утра отборная анатолийская конница бросилась на левый фланг. Визирь собрал в кулак десять тысяч самых лучших всадников. Несмотря на сильный пушечный и ружейный огонь, турки прорвались между первой и второй линиями и наскочили на малочисленную кавалерию Кутузова. Белорусские гусары и кинбурнские драгуны, стоявшие на краю левого фланга, в одну минуту оказались смятыми во много раз превосходящим противником.

Положение осложнилось. Визирь хотел отрезать русские войска от Рущука и окружить их. Но все спасла дальновидность опытного полководца: Кутузов недаром оставил у Рущука заслон в восемь батальонов, они-то и встретили непрошеных гостей. А сзади на турок ударили повернувшие по команде «по три направо кругом» чугуевские уланы, петербургские драгуны, ольвиопольские гусары. И, вместо того чтобы окружить русских, турки сами попали в мешок.

Анатолийской коннице, пыл которой уже был хорошо остужен, оставалось только ретироваться.

Если турецкая кавалерия возвращалась в свое расположение после демонстрации, хотя бы и отбитой русскими, это было одно, но когда с поля боя бежала знаменитая анатолийская конница, тут впечатление создавалось иное.

В сражении наступил явный перелом. И Кутузов не замедлил воспользоваться им: он отдал приказ всем каре идти вперед. С распущенными знаменами, с барабанным боем: и музыкой двинулись на орты[1] турецких янычар и бесчисленные толпы спагов русские каре.

Это был не стремительный вихрь кавалерийского удара, а неотвратимое, грозное движение сомкнутых, ощетинившихся штыками масс пехоты.

Турки бежали, кидая все.

Малочисленность русской кавалерии не позволила Кутузову бросить ее вперед для преследования врага. Турки успели увезти всю артиллерию. Русские преследовали турок десять верст до ретраншемента и заняли его. Кутузов велел войскам остановиться. Полуденное солнце стояло над головой. Люди изнывали от жары и жажды, устали, хотели есть. Бой длился уже восемь часов.

С Михаила Илларионовича градом катился пот: целый день на коне, в непрестанном напряжении и волнении; десять верст ехать верхом по жаре и в облаках пыли. Кутузов с трудом, но и с наслаждением слез с коня. Оглянулся — нигде ни кустика, ни деревца.

Кайсаров и ординарцы составили для главнокомандующего из отбитых разноцветных турецких санджаков, байраков и прочих знамен некое подобие шалаша. Михаил Илларионович сел на склад-

---

[1] Орта — подразделение янычар, среднее между полком и батальоном.

ной стульчик, вытер пот платком, попил из фляги тепловатой водицы и сказал генералам Ланжерону, Эссену, Воинову и Новаку, которые собрались у необычного шалаша:

— Поздравляю с победой, господа!

— Ваше высокопревосходительство, победа — там, — театрально протянул руку Ланжерон, указывая в ту сторону, где стояли клубы пыли от уходивших турок.

— Нет, Александр Федорович, мы больше сегодня никуда не пойдем. Отдохнем до вечера и по холодку — назад, к Рущуку.

— Но враг бежит. До Шумлы не так уже далеко, — поддержал Ланжерона Эссен.

— До Шумлы у визиря несколько укрепленных лагерей и вся артиллерия — семьдесят восемь орудий, — сказал генерал Новак, командовавший артиллерийской бригадой.

Михаил Илларионович молчал, вытирая платком лицо. Думал: «Какие Георгии Победоносцы! У Ахмеда еще в четыре раза больше сил, чем у нас, а они — наступать!»

— Ну, допустим, что мы дойдем до Шумлы, а дальше что? — спросил он вслух и сам же ответил: — Придется возвращаться назад. Лучше ободрить визиря. Он снова явится к нам. Отдыхайте, господа! — обратился он к генералам, давая знать, что разговор о ненужном наступлении окончен. — Александр Львович, пошлите казачков вперед! — сказал он командующему кавалерией генералу Воинову.

Генералы разохотились воевать, рвались на турок, а солдаты с удовольствием услыхали, что командующий сказал:

— Отдохнем здесь до вечера, а по холодку — назад, на старое место.

— Конечно, в этаку жару — куда иттить?

— Михаил Ларивонович правильно говорит: турка сам к нам припожалует! — говорили солдаты, не выпуская из рук оружия, но все-таки сидя и лежа, а не стоя плечом к плечу в душном каре.

VIII

Чтобы показать визирю, что победа осталась за русскими, Кутузов простоял на старом месте у Рущука четыре дня.

24 июня он получил от разведчиков последние сведения о неприятеле. У великого визиря особых новостей не было. Он продолжал укреплять лагерь при Кадыкиой, еще ожидая наступления Кутузова.

Тревожные известия шли из Софии. Измаил-паша, стоявший там с двадцатью тысячами войск, двинулся к Видвину, очевидно желая переправиться через Дунай и вторгнуться в Малую Валахию. Если бы это удалось ему, то создалась бы угроза Бухаресту. Армия

Кутузова оказалась бы в критическом положении: турки взяли бы ее в клещи.

Лазутчик из лагеря Измаил-паши приехал к Кутузову вечером, когда Михаил Илларионович с Ланжероном и Резвым сидел в садике маленького рущукского домишки, где командующий жил после сражения.

Лазутчик ушел, а Михаил Илларионович продолжал сидеть, обдумывая известие. Оно было малоприятно, хотя Кутузов давно ждал агрессивных действий со стороны Измаил-паши.

— Выход один: все-таки придется оставить Рущук! — высказал вслух свое решение Кутузов.

— Да ведь Рущук — наш последний плацдарм на правом берегу! — горячо возразил Ланжерон.

— Местоположение этого проклятого укрепления таково, что его нельзя предоставить собственным силам. Вы же видите, — обвел Кутузов рукою вокруг, показывая на холмы и виноградники, подступившие к самому ретраншементу. — Я всегда смотрел на Рущук как на нечто стесняющее меня, ослабляющее мои силы.

— Михаил Илларионович, да мы отстоим Рущук! — поддержал Ланжерона Резвой.

— Как будто я здесь только из-за Рущука! Черт с ним! — сказал Кутузов. — Важно заманить визиря на левый берег. Он увидит, что мы отступаем, и не выдержит, побежит следом.

— Оставление Рущука сочтут в Константинополе за турецкую победу, — убеждал заносчивый Ланжерон.

— А я этого и хочу! — упрямо твердил Кутузов.

— Михаил Илларионович, а что скажут в Петербурге? Вот привезут трофейные турецкие знамена, получат донесение о победе. В Казанском соборе отслужат благодарственный молебен, а через день-другой — хлоп: мы без боя оставили Рущук. Скажут: Кутузов трус, Кутузов такой да этакий!

— Пусть говорят что угодно. Конечно, мои враги обрадуются, воспользуются этим, но дело же не во мне. Важно не мое благополучие, не моя слава, а благополучие и слава России. Важен мир!

— Теперь нам не видать мира как своих ушей! — горячился Ланжерон.

— Поживем — увидим, — спокойно сказал Михаил Илларионович и, кликнув Кайсарова, стал диктовать ему приказ: завтра же приступить к уничтожению Рущукской крепости.

Этот приказ Кутузова ошеломил всю армию и вызвал разноречивые толки. Офицеры увидали в нем некий скрытый смысл:

— Хитрит Михаил Илларионович!

Солдаты недоумевали:

— Зачем было тогда огород городить? Третьеводни защищали Рущук, а нонче сами отдаем.

— Вот у тебя не спросили, как быть. Командующему виднее!

Сам Михаил Илларионович внешне сохранял спокойствие: был непреклонен в своем, казалось, мало оправданном решении, но волновался, — он брал на себя большую ответственность.

Что подумает подозрительный, не любящий Кутузова и не весьма сведущий в военном деле Александр I? И что скажет Наполеон? Конечно, обрадуется: турки бьют! Все это ерунда. Очень хорошо, что можно изменить условия борьбы в лучшую для себя сторону, сделать так, чтобы главные силы турок оказались бы на левом берегу.

25 июня солдаты генерала Эссена стали срывать старые земляные валы Рущука, которые от времени сделались точно каменные, вывозили из крепости на левый берег орудия и припасы.

Жители Рущука спешили перевезти имущество: Кутузов дал им для выезда два дня.

Суета, крики, плач детей — обычная тягостная картина отступления. Солдату что? Он как улитка — у него дом на себе. Снял палатку, ранец за плечи — и был таков. А жителям приходилось бросать все нажитое.

27 июня у понтонного моста через Дунай встали казаки Грекова — не пускали никого в Рущук: минеры готовились взрывать цитадель, поджигать дома, чтобы ничего не досталось басурманам.

Через мост потянулись последние войска. Кутузов переехал в Журжу накануне.

Вечером, когда над Дунаем стала полная луна, в городе раздались взрывы и в разных концах Рущука вспыхнуло пламя.

Рущук горел жарко. Лунный пояс на реке постепенно наливался огнем. Зарево затмевало лунный свет.

Михаил Илларионович сидел в Журже у дома и, глядя на зловещие отблески пожара, думал: «На османов это должно произвести ошеломляющее впечатление!»

IX

Армии приблизились друг к другу еще больше: Кутузов стоял в Журже, а Ахмед-паша — в Рущуке. Их разделяла только река.

Великолепные, шитые золотом шатры великого визиря расположились на равнине у Рущука, где так недавно белели полотняные палатки русской армии. Тут же разместились шатры министров и купцов, имевших в лагере склады разных товаров.

Друзья по-прежнему обменивались любезностями и подарками, словно между их войсками не было сражения.

В один из дней Ахмед-паша предупредил Кутузова, что в турецком лагере будет пальба по случаю рождения сына у султана.

— Не военная кампания, а сплошной Версаль! — улыбнулся Кутузов.

Через несколько дней Ахмед снова прислал такое же предупреждение. Солдаты, узнав о нем, живо обсуждали происшествие:

— Что султанша — рожает каждую неделю?

— Турок издевается над нами!

— А может, у нее — двойня?

— Что ж, один пащенок-пашонок родился сегодня, а другой дозрел через неделю — так, что ли?

— Эх, вы! Да разве не знаете, что у султана не одна женка, как у тебя, а целая сотня!

— У него, брат, на все святцы ребят хватит!

А когда через несколько дней с правого берега приехал к Кутузову новый турецкий курьер Мустафа-ага, солдаты, глядя на турка, заржали:

— Братцы, никак у третьей султанской женки крестины!

— Молодец салтан: не зевает, старается!

Но на этот раз дело было посерьезнее. Мустафа-ага передал Кутузову, что великий визирь не может вести никаких переговоров, если не будет обеспечена целость и независимость владений Порты. И что потому дальнейшее пребывание Абдул-Гамида в Бухаресте не нужно.

Мустафа-ага сказал все это важно, с самым решительным видом и смотрел, как примет такое сообщение русский сераскир Кутузов, которого турки называли бир-гиёглю[1]. Но русский командующий встретил известие как будто совершенно спокойно. Мустафа-ага был бы очень удивлен, если бы знал, что Кутузов даже остался доволен им: Ахмед, стало быть, уверен в том, что русские слабы!

Понемногу начинало сказываться оставление русскими Рущука. Кутузов знал, что в Константинополе ликовали по случаю этой «победы» и что султан наградил великого визиря. Наполеон тоже обрадовался отходу русских за Дунай. На приеме в Тюильри он подошел к русскому представителю, генералу Чернышеву, к которому благоволил, и с ехидной усмешкой спросил: «У вас, кажется, была резня с турками в Рущуке?»

Кутузов поручил Италийскому немедленно отпустить Гамида из Бухареста, сказав:

— Молдавию и Валахию мы занимаем, и пусть Порта попытается отнять их у нас!

— Зря кормили рыжего! Сколько денег на него извели! — пожалел Резвой.

---

[1] Бир-гиёглю — одноглазый.

— На свете, Павел Андреевич, ничто не пропадает, — ответил Кутузов.

Он тотчас же послал к Ахмед-паше Антона Фонтона с очередными подарками, дружескими приветами и ответным словом. Михаил Илларионович велел передать великому визирю, что турецкие условия не могут быть приняты за основу переговоров и что, хотя из Петербурга еще нет ответа, он исполнит просьбу Ахмед-паши и не станет больше задерживать Абдул-Гамида в Бухаресте.

«Продолжительность пребывания высокочтимого Гамид-эфенди в Бухаресте ни в коем случае не вызывается стремлением выиграть время, а должна служить для Вашего высокопревосходительства новым доказательством моего постоянного желания видеть восстановление дружбы и доброго согласия между обеими империями», — написал Кутузов в письме к великому визирю.

Фонтон явился назад с большой корзиной фруктов и передал о своей беседе с Ахмед-пашой. Великий визирь сказал: «Передайте генералу Кутузову, что я уже давно чувствую, насколько сильно я уважаю и люблю его. Он так же, как и я, честный человек!»

— Нечего сказать — похвала! — поморщился Кутузов.

— «Мы оба хотим блага нашей родине. Давно пора покончить с этой разорительной войной! Она только радует нашего общего врага Наполеона», — передавал Фонтон слова Ахмед-паши.

— Вот это он верно сказал. Молодец! — похвалил Михаил Илларионович.

— «Да вот я покажу депешу французского поверенного Латур-Мобура. Он советует нам не заключать с вами мир и уверяет, что правый берег Днестра и Крым будут нашей границей».

— И что же, визирь показал вам депешу? — удивился Кутузов.

— Визирь обратился к своему заместителю Гамид-эфенди, чтобы он дал депешу, — ответил Фонтон.

— И тот, конечно, не дал? — улыбнулся Михаил Илларионович.

— Да, он сказал, что депеша отправлена в Константинополь.

— Разумеется: у Гамид-эфенди больше выдержки, чем у него! Что же говорил дальше наш дружок?

— Он сказал: «Передайте генералу Кутузову, что я перейду Дунай».

— Вот, вот! Это чудесно! Пусть переходят! Давно ждем не дождемся!

— Говорит: «Опустошу Валахию, хотя мне жаль ее несчастных жителей...»

— Жалел волк кобылу — оставил хвост да гриву, — усмехнулся Кутузов.

— «Длинными переходами, говорит, и недостатком продовольствия изнурю и погублю русскую армию».

— Как это у него все быстро получается!..

— И напоследок визирь посоветовал: «Удовлетворитесь малым. Все равно Дунай никогда не станет вашим. Мы будем воевать десять лет, но не уступим!»

— Черт возьми, где этот неграмотный лазский пират научился всей гамме дипломатических песен? — вырвалось у Михаила Илларионовича.

После такого перелома в настроении турок следовало ожидать их активных действий.

Так как силы турок оказались больше, чем предполагалось раньше, то Кутузов отдал распоряжение возвратить в Молдавскую армию девятую и пятнадцатую дивизии, располагавшиеся в Яссах и Хотине.

Кутузов ждал, когда же турки начнут переправляться через Дунай. Знал, что они будут пробовать с двух сторон — у Рущука и Виддина.

Наконец 22 июля, через месяц после боя у Рущука, Измаил-паша высадился у Виддина на узкую полосу, окруженную болотами. Генерал Засс запер высадившихся турок в районе болот, не дав им прорваться на просторы Малой Валахии. План великого визиря — одновременное наступление на двух направлениях — сорвался.

Ахмед-паша продолжал готовиться к переправе. В этих приготовлениях прошел август.

Кутузов узнал через лазутчиков, что из Константинополя все время торопят визиря. Время для переправы было самое подходящее: Дунай сильно обмелел за жаркие летние месяцы.

И вот наконец в теплую, но по-осеннему темным-темную ночь, с 27 на 28 августа, турки начали переправляться через Дунай.

В четырех верстах выше Журжи казачьи посты обнаружили несколько сотен кирджали, переплывших на лодках на русскую сторону. К месту их высадки тотчас же направился генерал Сабанеев с батальоном архангелогородцев. Кирджали были смяты и опрокинуты в реку. Спастись удалось немногим.

Все казачьи посты до самого Туртукая были подняты на ноги.

А в это время, в восьми верстах ниже Журжи, спокойно переправлялись на паромах и лодках главные силы Ахмед-паши.

Недаром великий визирь стоял два месяца у Рущука — он выбрал чрезвычайно удобное место для переправы: по берегам рос высокий камыш, а прибрежная полоса была покрыта кустарником. Кроме того, с крутых высот правого берега хорошо обстреливался изгиб Дуная. Ахмед-паша поставил на своих высотах двадцать пять орудий крупного калибра.

Русские аванпосты проморгали переправу.

У турок на русском берегу скопилось уже более двух тысяч человек с четырьмя пушками, когда казаки наконец подняли тревогу.

X

После того как Ахмед-паша рискнул-таки переправиться через широкий, хотя и порядком обмелевший, Дунай, в Молдавской армии перестали понимать действия своего командующего.

Солдаты судили-рядили за артельным котлом, пока на них не прикрикнет старый фельдфебель, офицеры говорили за спиной высшего начальства, а генералы не стеснялись высказывать свое недоумение самому Михаилу Илларионовичу, но результат был один и тот же: все шло так, как хотел Кутузов.

Турки, едва ступив на левый берег Дуная, сразу в ту же ночь стали окапываться. Это была их всегдашняя излюбленная тактика. Турки придерживались ее всегда, если даже, как здесь, на пустынном берегу, некого было заставить рыть окопы и приходилось работать не только самим янычарам, но и спагам.

Никто не мог бы сказать, что турки поступают неверно. Пока что на левом берегу их собралось мало и они были вынуждены прежде всего подумать об обороне.

И турки усердно окапывались.

Генерал Булатов, поспешивший с пятью батальонами к месту переправы, хотел было сбросить басурман в реку. Он настойчиво три раза ходил в атаку, но ему не удалось окончательно опрокинуть врага: мешал сильный огонь удачно поставленной на высотах правого берега турецкой артиллерии. («Не иначе как хранцуз им поставил, сами не догадались бы!» — говорили, осердясь, солдаты.) Турки пристрелялись, и их огонь преграждал дорогу русским.

Уже утром Булатов намеревался в четвертый раз попытать счастья («Неужто не выкурим его, басурмана окаянного?»), но в эту минуту как раз приехал на своем белом тихом мекленбуржце Михаил Илларионович. К удивлению всех, он отменил атаку.

— Пусть их переправляются! Побольше бы перешло на наш берег! — спокойно сказал Кутузов.

Это было всем понятно — Кутузов жалеет народ, а с другой стороны, он, пожалуй, прав: пусть басурман переправится побольше, чтобы покончить с ними одним ударом!

Но прошел день, и другой, и третий, а Кутузов не шел в атаку.

Турок на русском берегу уже собралось много — целая армия с десятком пушек. Османы настойчиво окапывались — только блестели на солнце лопаты и кирки.

А Кутузов не предпринимал ничего. Правда, он привел сюда из Журжи свою, не бог весть какую большую — тысяч в десять — армию. Но пушек все-таки насчитывалось до сотни, солдаты были те же, что два месяца назад прогнали от Рущука всю турецкую армию, превышавшую русских по численности в четыре раза.

А здесь турок было вдвое меньше, чем у Рущука, так чего же медлить?

Но командующий вместо наступления приказал... рыть редуты.

Турки роют и днем и ночью, и русские не отстают от них.

Конечно, любой мушкатер или егерь мог сказать, что русский редут строился с большей смекалкой и расчетом, чем турецкий окоп: редуты поддерживали, защищали друг друга фланкирующим огнем. Редуты охватывали полукольцом весь турецкий лагерь, спускаясь к самому Дунаю, в тростники, так что турецкая кавалерия не смогла бы выбраться из них и заехать в тыл русским.

Цепь редутов тянулась на восемь с половиной верст, так говорили инженеры.

Но зачем все это?

Не проще ли сразу разделаться с турками, ударив на них, прижатых к широкой реке?

От пленных русские знали, что турки терпят лишения и недовольны своей жизнью на левом берегу. Ведь здесь турки как ворона на колу: ни продовольствия, ни магазинов, ни фуража — все надо доставлять из Рущука по Дунаю. Лошади стояли на подножном корму. Холеные арабские кони анатолийской конницы худели от бескормицы, а русские — московские, киевские, тамбовские, могилевские — лошаденки ели сена вволю.

В четырех верстах от русского правого фланга, у деревни Малка, егеря, вспомнив прежнюю крестьянскую жизнь, складывали в стога сено. Дни еще стояли ясные, но приходилось уже думать об осенней непогоде.

Деревня располагалась на возвышенности и была хорошо видна туркам. И вот спаги не выдержали искушения. Большие толпы их на полном карьере пронеслись между еще недоконченными русскими редутами и устремились к Малке. Егеря, вооруженные только граблями и вилами, кинулись в деревню. Но из-за пригорка выскочила лава стоявших наготове казаков. Они с гиканьем и криком ударили во фланг спагам.

Не удалось арабским скакунам поесть душистого сенца!

Вот тут бы и воспользоваться замешательством и страхом, которые внесли с собой в турецкий лагерь уцелевшие от казачьих сабель и пик спаги, — и ударить по туркам. Но все кончилось только кавалерийской сшибкой.

Каждый день у русских с турками, как у добрых соседей, происходили размолвки. И всякий раз командование не позволяло разойтись как следует штыку и сабле: командующий запретил превращать стычку в настоящий бой.

А так хотелось!

И было непонятно: почему нельзя?

Турки укреплялись, Кутузов не мешал.

Через неделю после высадки турки надумали строить в версте от своих ретраншементов большой сомкнутый окоп. Они, видимо, хотели, чтобы в этом отрезке можно было пасти лошадей.

Генерал Ланжерон приказал открыть по туркам, рывшим окоп, огонь из двадцати четырех орудий.

Артиллеристы оживились. Пехота тоже повеселела.

Но прошло не более часа, на батареи приехал сам Михаил Илларионович и громко и не весьма ласково — все слышали — сказал Ланжерону:

— Не тратьте попусту снарядов, генерал! Отставить!

И даже нетерпеливо замахал на канониров нагайкой. Потом, уезжая, Кутузов еще о чем-то говорил с Ланжероном.

Приказание главнокомандующего в одну минуту облетело и ошеломило всех:

— Не мешать туркам! А самим, не медля, в ночь построить против их окопа два редута!

Вот те на!

Ланжерон в недоумении развел руками.

— Нет ничего неприятнее, как иметь начальника боязливого! Уж лучше поменьше таланта, да побольше энергии! — запальчиво сказал он Булатову.

— Каменский не ждал бы, — поддержал его Булатов, — хотя, вечная ему память, Николай Михайлович был менее талантлив, чем Кутузов.

За последнее время командующий как-то изменился. Это видели все: денщик Ничипор, адъютант Кайсаров, племянник Паша Бибиков и все генералы, бывшие у Кутузова.

Михаил Илларионович все дни сидел у себя в палатке, не наведываясь, как бывало раньше, в полки.

Он вставал поздно, часу в десятом, не спеша завтракал, затем выслушивал рапорт дежурного генерала, подписывал бумаги, которые приносил Кайсаров. Так проходило до обеда. Обедал Михаил Илларионович долго, часа два, словно сидел у себя на набережной Невы в Петербурге, а не в двух шагах от неприятеля. После обеда отдыхал, чтобы, как он говорил, дать отдых больным глазам. И за обедом и на отдыхе все время молчал, думая о чем-то.

Резвой, лучше других знавший Михаила Илларионовича, понимал все это, но ни с кем не делился своими соображениями. Кутузов, видимо, старается протянуть время, к нему лучше не лезть с расспросами.

Но быстрый генерал Марков и наглый Ланжерон все-таки однажды не выдержали: пришли к Кутузову и стали убеждать его, что у турок, по сведениям лазутчиков, на этом берегу только тридцать шесть тысяч человек с пятьюдесятью пушками, а русских все-таки

около двадцати и орудий больше ста. Они убеждали Михаила Илларионовича наступать, ручаясь за полный успех.

Кутузов сидел, по-стариковски сложив на животе руки, молчал, не перебивая генералов. А потом, когда они выговорились и стали уже повторяться, сказал по-украински:

— Не спіши трусить яблук, поки зелені, поспіють, самі опадуть!

Генералы ушли недовольные.

— Почему он говорит, что мы трусим? — не понял француз. — Он сам трусит, а не мы!

— Э, нет, — недовольно скривился Марков. — «Трусить» — это по-украински значит «трясти». Кутузов говорит, что мы слишком спешим!

— Мы спешим, а он уж очень не торопится! Ну и пусть! Увидим, чего он дождется! — со злостью говорил Ланжерон, который считал себя умнее и талантливее этого старого кунктатора.

XI

Кутузов дождался-таки своего.

Михаил Илларионович давно задумал этот оригинальный план разгрома турецкой армии и никому не говорил о нем.

План заключался в следующем: когда большая часть турецкой армии окажется на левом берегу, перебросить небольшой корпус своих войск на правый и захватить с тылу турецкий лагерь у Рущука. Тогда турки на русском берегу окажутся в мешке.

Визирь выжидал, когда Измаил-бей выйдет в Малую Валахию, а сам, боясь дезертирства, постарался перевезти на русскую сторону побольше войск. Этим он ослабил свои силы у Рущука.

Кутузов, все время тщательно следивший за неприятелем, решил, что настала пора приводить свой план в исполнение.

Главнокомандующий вызвал генерала Маркова и, посвятив его во все, сказал:

— Возглавьте, Евгений Иванович, эту важную экспедицию. Ваша задача — занять высоты позади лагеря у Рущука. От успеха экспедиции зависит победное окончание всей кампании.

Вечером 29 сентября семитысячный корпус Маркова с тридцатью восемью орудиями двинулся из лагеря к переправе, которая была выбрана в восемнадцати верстах выше Слободзеи. Чтобы обмануть турок, Марков оставил палатки на месте.

Казаки, посланные на разведку, донесли, что на турецком берегу неприятельских разъездов вовсе нет. Турки не очень следили за своим берегом. Они никак не ждали, что русские снова станут переправляться на правый берег, который они сами оставили.

К вечеру 1 октября весь корпус Маркова, не замеченный турками, благополучно переправился через Дунай и стал на ночевку в пяти верстах от рущукского лагеря турок.

В ночь с 1 на 2 октября Кутузову не спалось. Хотя вечером к нему прискакал от генерала Маркова казак с известием, что все идет благополучно, но Михаил Илларионович все-таки тревожился: а вдруг Ахмед заметил переправу и послал гонца к Измаил-бею, чтобы он двинулся по правому берегу Дуная в тыл Маркову?

Чуть рассвело, а Михаил Илларионович был уже на ногах.

«Вот кажуть: «Одно око, а спать хоче», а тут одно, і тое не спит!» — недовольно думал денщик Ничипор, которого генерал поднял ни свет ни заря.

Палатка командующего стояла на возвышенности, с которой был хорошо виден турецкий лагерь у Рущука.

Михаил Илларионович сел на складной стул и сразу же прильнул к зрительной трубе. Он боялся, не возвели бы турки за ночь укреплений в рущукском лагере. Не может быть, чтобы они так начисто прозевали переправу корпуса Маркова!

Но в турецком лагере все было по-прежнему: палатки, шатры, наметы, кони, верблюды, мулы, телеги, арбы, экипажи.

Лагерь еще спал. Только часовые и старики торговцы, которым по-стариковски не спалось, уже совершали утреннюю молитву, не предчувствуя близкой опасности.

Томительно тянулось время. Кутузов сидел один, то и дело поднося трубу к глазу: волновался.

Понемногу на обоих берегах начали просыпаться, но в рущукском лагере все было спокойно. По Дунаю от Рущука к турецкому лагерю на русском берегу, как всегда, сновали лодки, тянулись паромы, перевозившие провиант и фураж. Шла обычная жизнь.

«Любопытно, где-то сегодня визирь: в Рущуке или здесь, на нашем берегу?» — подумал Кутузов.

Возле командующего уже собрался его штаб. Офицеры сидели, стояли, ходили. Командующий молчал, и все молчали.

Только Ланжерон, пришедший позже других, беседовал в сторонке с генералом. Сабанеевым, маленьким, точно полковой барабан. Говорил он как будто вполголоса, но некоторые слова произносил так, что их слышали все:

— Я полагаю... Я предупреждал Маркова... Я советовал Михаилу Илларионовичу...

И вот дождались: с противоположного берега донеслись отдаленные выстрелы. Все сразу встрепенулись. Кто имел зрительную трубу, прильнул к ней. Остальные нетерпеливо расспрашивали: «Ну, что там? Что видно?» Денщик Ничипор, со щеткой в одной руке и генеральским парадным мундиром в другой, тоже вышел из

палатки. Он стоял с ординарцем и, щурясь, силился рассмотреть, что происходит у турок.

Вот по дороге к лагерю заклубилась пыль. Вдоль Дуная мчались во весь опор всадники: должно быть, турецкие разъезды наконец наткнулись на Маркова и спешили предупредить своих.

Немного спустя в рущукском лагере поднялся переполох. Было видно, как с поля вели верблюдов, лошадей, как запрягали повозки и арбы, а кое-кто уже бежал пешком в Рущук.

Все пристально смотрели на дорогу:

— Когда же, когда покажутся наши?

И вот показались каре генерала Маркова. Издали они представлялись такими маленькими!

Не встречая сопротивления и видя улепетывающих, перепуганных спагов, пехота Маркова шла бодро, стройно, быстро. Через реку доносилась живая барабанная дробь.

— Как идут! Словно на параде!

— Молодцы!

— Вон впереди на коне сам Евгений Иванович!

— Суворовский герой! — говорили штабные.

Турок в лагере было еще втрое больше, чем наступающих русских, но тех, кто мог бы оказать сопротивление, нашлось не много. Все эти константинопольские риджалы, приехавшие насладиться победой над гяурами, купцы и маркитанты, ждавшие хорошей торговли, муллы, слуги пашей, обозники — все они не думали обороняться. Они бросали все и спешили поскорее унести ноги. Беспорядочный поток беглецов разлился по дорогам в Шумлу и Рущук.

Горсть храбрецов встретила русских у лагеря, но не могла устоять против грозной силы пяти каре Маркова: она гибла от ружейного огня и ядер полевой артиллерии, падала под ударами штыков и сабель.

Артиллеристы у орудий, стоявших на возвышенности, не знали, что и делать. Повернуть тяжелые пушки в сторону наступающих с тыла «неверных» не хватало времени. А долго защищаться ятаганами топчи не могли. Еще минута-другая — и турецкие пушки в руках марковских артиллеристов.

Кутузов приказал Маркову, захватив неприятельские орудия, тотчас же стрелять из них по лагерю турок на левом берегу.

Так и было исполнено. Блеснул огонь, другой, третий — прокатился пушечный гром. Марков бил по врагу из его же пушек.

— Ура! — крикнул Кутузов, размахивая шапкой.

Его радостный крик подхватили штабные, и он покатился от одного фланга русских редутов до другого.

XII

Кутузов был весел: все шло, как он задумал. Марков хозяйничал в визирском лагере, его артиллерия не переставая била из захваченных пушек по туркам, сидевшим на левом берегу. Туркам оставалось только прятаться от ядер в норы и ямы. Их небольшая артиллерия была быстро подавлена.

— Попал осман как кур во щи!

— А не спросясь броду не суйся в воду! — говорили солдаты.

Кутузов приказал Маркову не трогать Рущука, а только захватить все перевозочные средства на Дунае. Окруженные на левом берегу турки не могли бежать: у их пристани болтались лишь две-три небольшие лодчонки.

К вечеру генерал Марков прислал командующему трофеи: двадцать два знамени, булаву янычарского ага и первую партию пленных.

— Что, припасов в лагере много нашли? — спросил Кутузов у офицера, привезшего трофеи.

— Много, ваше высокопревосходительство. Кладовых пятьдесят с амуницией и порохом, склады с мукой и зерном, кофе. Экипажи, повозки, лошади, верблюды — все ихнее хозяйство. Всего полно!

— Потери у турок большие?

— Тысячи полторы.

— А наши?

— С десяток убитых и полсотни раненых. Майора Бибикова взяли в плен...

— Ах, Павлушка! — хлопнул себя руками по коленям сидевший перед палаткой Кутузов. — Как же это его угораздило?

— Слишком вырвался вперед, анатолийцы сшибли с коня и увезли в Рущук.

— Да, нехорошо! — забеспокоился о племяннике Михаил Илларионович. — Но жив?

— Жив, жив, ваше превосходительство!

— Тогда ничего. Авось выменяем: вон у нас сколько добычи! — посмотрел Кутузов на разношерстную толпу турок, сгрудившихся в стороне.

Среди пленных особенно выделялся пожилой, круглый как шар, турок. Он смотрел исподлобья и не мог унять дрожь коротеньких рук, сложенных на животе: так, очевидно, он трусил.

— Кто вон тот, как арбуз? — спросил командующий.

— Это, ваше высокопревосходительство, заведующий всей их продовольственной частью.

— Недаром он такой тучный. Что же вы его не уважили? Подзови, братец, ишь как его трясет.

Антон Фонтон, стоявший за стулом командующего, сказал толстяку, что с ним хочет говорить русский генерал. Толстяк с неожиданной проворностью юркнул в толпу пленных.

— Чего он так испугался?

— Вероятно, думает, что ему отрубят голову, — усмехнулся Фонтон и пошел к пленным.

— Ничипор, — сказал Кутузов денщику, глазевшему вместе со всеми на трофеи и пленных, — живо принеси варенье и стакан воды. Угостим визирского интенданта: он ведь присылал нам лимоны и апельсины! Долг платежом красен.

Ничипор кинулся в палатку.

Переводчик кое-как убедил турецкого интенданта, что ему не угрожает опасность. Прикладывая руки к голове и груди, кругленький турок несмело подкатился к Михаилу Илларионовичу.

— Пусть сядет на свой барабан, — предложил Кутузов, указывая на турецкий барабан, который привезли вместе с другими трофеями.

Турок поспешно сел.

— Подавай ему варенье и воду, — обернулся к денщику Кутузов.

Ничипор протянул гостю угощение. Турок взял блюдце с вареньем и чашку с водой, съел две ложечки варенья, охотно выпил воду и, вернув все это Ничипору, благодарно закивал головой. Потом, отдышавшись, похлопал себя короткими, толстыми ручками по животу и вдруг захохотал. Он хохотал, чуть не падая с барабана.

Глядя на его заразительный смех, засмеялся Ничипор, Фонтон и все штабные.

— Что с ним такое? Эк его разбирает! — улыбался Кутузов, глядя на толстяка.

— Смійя смішку, дам тобі кишку! — говорил Ничипор, смеясь сам до слез.

— Он смеется над своим недавним страхом, что был так глуп, — объяснил Фонтон, спросивший у турка о причине его неожиданного смеха.

Вслед за пленными приехал к Кутузову из Рущука посланец от пашей Вели, Мухтара и прочих константинопольских сановников, бежавших туда. Паши просили, чтобы русский комендант Рущука склонил великого визиря к миру или хотя бы к перемирию.

— Значит, мой дружок попался в ловушку, сидит на нашем берегу в лагере, — сказал Михаил Илларионович. — Я стоял под его ядрами, теперь ему приходится стоять под моими.

Кутузов ответил, что может только передать письма визирю. Он помнил турецкое правило: если великий визирь окружен неприятелем, он не имеет права договариваться о мире.

Кутузов уже ложился спать, когда великий визирь прислал письмо, прося о перемирии. Кутузов обещал дать ответ на следующий день.

«Неужели мой дружок не догадается бежать из лагеря? Ночь-то сегодня ведь очень подходящая», — думал Михаил Илларионович, слушая, как по палатке стучит осенний дождь.

XIII

Михаил Илларионович одевался и слышал, как у его палатки вполголоса о чем-то оживленно говорят генералы и штабные офицеры. Раз они собрались все так спозаранку, стало быть, за ночь что-то произошло.

— Что случилось? О чем они так? — спросил у денщика Кутузов.

— Павел Гаврилович возвернулись. Трошки ранетый. Вот сюды, в руку, — ответил Ничипор, помогая генералу надеть мундир.

— Что, его визирь отпустил?

— Эге ж.

Михаил Илларионович прислушался, о чем они так горячо беседуют. Услыхал голос племянника, Павлуши Бибикова:

— Весь лагерь, все наши солдаты пропахли розовым маслом... Какие экипажи, какие палатки министров, шитые шелками! Целый ящик золотых и серебряных значков, которые визирь выдавал за отличие!

Это Павлуша рассказывает о трофеях.

Но тенорок Бибикова покрывался возмущенным баритоном генерала Ланжерона:

— Это позор! Мы имели прекрасную возможность взять в плен визиря. Такого не было никогда! Мы прославились бы на весь мир. Это затмило бы славу Аустерлица!

— Да, упустили соколика. Теперь ищи-свищи! — вздохнул Булатов.

«Стало быть, мой дружок убежал-таки, — понял Михаил Илларионович. — Вот-то хорошо», — и он вышел из палатки.

Павлуша, немного побледневший и осунувшийся, с рукою на перевязи, все же глядел именинником, а генералы стояли как в воду опущенные, с нахмуренными, озабоченными лицами. И даже полковник Резвой смотрел сентябрем.

— Здравствуйте, господа! — весело приветствовал всех Кутузов. — Здорово, герой! — кивнул он племяннику. — Впредь будешь осторожнее, голубчик! Как же тебя отпустили?

— Меня в Рущуке увидел Мустафа-ага и взял к себе, а сегодня утром великий визирь, узнав, что я ваш племянник, отпустил.

— А где же великий визирь?

— В Рущуке, он ночью бежал из здешнего лагеря, переплыл Дунай в лодчонке, сам-третий.

— Ночь сегодня туманная, дождливая, — желая смягчить удар, сказал Кайсаров.

— Ваше высокопревосходительство, надо примерно наказать начальника флотилии на Дунае. Прозевать побег великого визиря — это позор, — начал возмущенно генерал Ланжерон.

— Простите, Александр Федорович, я не понимаю, чем вы так возмущены? — удивился Кутузов.

— Как же не возмущаться? Ведь мы могли бы взять в плен не только всю турецкую армию, но и самого визиря. Какая была бы слава!

— Пленив визиря, нам не с кем было бы заключать мир. По турецкому обычаю визирь, окруженный врагом, лишается права договариваться о мире. России нужен мир, а не победная реляция! — сухо ответил Кутузов.

Его злило то, что Ланжерон, до сих пор не уразумевший смысла всего кутузовского плана кампании, вечно лезет со своими вздорными предложениями.

— Пойдем, Павлуша, ты расскажешь мне о своих злоключениях, — кивнул племяннику Михаил Илларионович.

XIV

Турецкая армия, переправившаяся на левый берег Дуная, оказалась в мешке. Ее положение становилось день ото дня ужаснее. Русская артиллерия ежедневно била по лагерю с обоих берегов. Турецкие пушки быстро замолчали, и туркам оставалось лишь зарываться в землю, спасаясь от ядер. Они сняли все палатки, чтобы для русской артиллерии не было мишеней.

К этому прибавились неизбежные спутники осады — голод и холод. До сих пор турки ежедневно получали провизию, фураж и дрова с правого берега, а теперь, когда на обоих берегах укрепились русские, турецкий лагерь оказался лишенным пищи и топлива. Единственное, в чем турки не нуждались, была вода — широкий Дунай.

Вся трава на пространстве, отделявшем турецкие окопы от передовой цепи русских, была начисто выщипана голодными турками. Они вырывали и ели коренья, ели трупы павших от бескормицы лошадей. Ежедневно десятки лошадей спаги прирезывали сами и ели без соли сырое лошадиное мясо — сжарить или сварить его было не на чем: все деревянное — пики, палаточные колья — сразу же было сожжено.

К голоду прибавился холод. Ночи стали холодные, ударили заморозки, выпал снег. Люди коченели на холодном осеннем ветру без теплой одежды и крова, мокли под дождем, не имея возможности обсушиться.

В лагере свирепствовали желудочные болезни, а врачей не было. Каждый день умирало до полусотни человек. Хоронили неглубоко, и от лагеря шел страшный смрад гниющих трупов. Когда ветер дул с юга, в русских окопах невозможно было сидеть от нестерпимой вони. Более сметливые и смелые сдавались в плен русским.

От пленных Кутузов узнал, что войсками в осажденном лагере командует двадцатишестилетний паша, энергичный, мужественный и гордый Чапан-оглы, сын анатолийского вельможи и богача. Его фамилия считалась одной из самых древних и знатных в Турции. Султан уважал его.

Великий визирь убедил Чапан-оглы, что соберет новое войско, отбросит Маркова и снимет осаду. Это были пустые слова. Во-первых, собрать новую армию в Турции было уже невозможно: лучшие силы находились в окружении. Во-вторых, Марков сильно укрепился на занятой возвышенности, построив пять редутов. Чтобы отбросить его семитысячный корпус, туркам надо было иметь тысяч не менее пятидесяти.

Гордый Чапан-оглы не хотел сдаваться. Паши и янычарский ага убедили янычар, что если они сдадутся, то русские отрежут им головы или в лучшем случае отнимут у них оружие, которое составляло все богатство янычар.

Добравшись до Рущука, великий визирь написал Кутузову письмо:

«Я на Вас напал врасплох 28 августа. Вы сделали со мной то же самое. Теперь, перейдя Дунай, мне ничего не остается, как предложить мир. Заключим же его. Будьте великодушны и не злоупотребляйте Вашими успехами».

— То, да не то! — смеялся Кутузов. — Посмотрим, на каких же условиях мой дружок согласится мириться!

Через два дня визирь прислал новое письмо, в котором соглашался уступить Хотин.

— Нет, этого мало! — говорил Кутузов.

Через четыре дня турки отдавали уже все земли до реки Прут.

Кутузов отклонил и это.

Еще через день великий визирь предложил границу по реке Серет и просил на время перемирия прекратить военные действия и помочь осажденным.

Визирь как бы невзначай упомянул, что если Кутузов будет продолжать войну, то он, визирь, уйдет за Балканы и не оставит никого для переговоров. Он тоже понимал, что русским важнее

всего мир: войска Наполеона уже продвигались к границам России.

Кутузов согласился начать переговоры.

Ему важно было во что бы то ни стало сохранить окруженную турецкую армию. Истребление ее от голода, холода и артиллерийских обстрелов сделало бы то, что великий визирь не имел бы причин торопиться с заключением мира.

С другой стороны, Кутузов знал: великий визирь хочет спасти свои лучшие войска от полного уничтожения и постарается поскорее заключить мир.

Кутузов согласился отпускать для осажденного лагеря провизию.

Турки ежедневно получали от русских десять тысяч полуторафунтовых белых хлебов, мешок соли и семь пудов мяса. Этого хватало бы всем, но паши и янычары захватывали себе все, а простые солдаты оставались голодными. Паши продавали им хлеб по баснословным ценам.

Для переговоров Кутузов назначил Италийского, генерала Сабанеева и старшего Фонтона, который прекрасно знал нравы и обычаи турок и свободно говорил по-турецки.

С турецкой стороны в делегацию вошли кая-бей[1] Галиб-эфенди, урду-кадиси[2] Селим-эфенди, Гамид-эфенди, янычар-эфенди и первый драгоман Мурузи. Переводчиками были с русской стороны Антон Фонтон, а у турок — грек Апостолаки.

Переговоры открылись в Журже 19 октября 1811 года.

XV

Нужно было большое дипломатическое искусство, чтобы внушить Порте недоверие к Наполеону.

И. Петров

Мирные переговоры тянулись в Журже уже второй месяц, а дело не двигалось.

Кутузов по личному опыту знал, что, начиная договариваться с турками, надо запастись большим терпением: флегматичные и недоверчивые османы не любят, в таких случаях торопиться. Чтобы не показать своей заинтересованности в обсуждаемом вопросе, они на каждом заседании сначала будут говорить о разных пустяках и только потом постепенно перейдут к делу. Им обязательно

---

[1] Кая-бей — заместитель великого визиря.

[2] Урду-кадиси — главный судья.

надо собраться с мыслями, то есть выкурить трубок десять табаку и выпить столько же чашек кофе. Ко всему этому турки так придирчивы и мелочны, что готовы проспорить целый день из-за какого либо незначительного слова.

Впрочем, торопиться турецким делегатам было просто невыгодно: живя спокойно в Журже, каждый из них получал от России по двадцать пять рублей в сутки столовых, не считая подарков, на которые главнокомандующий не скупился.

Кутузову же эта затяжка переговоров была нестерпима.

Он знал, что Наполеон взбешен его победой над турками и всеми силами старается помешать России заключить мир с Турцией. «Поймите этих собак, этих болванов турок, — возмущался Наполеон. — Они сумели дать себя разбить таким постыдным образом! Кто бы мог это предвидеть!»

Наполеон слал в Константинополь гонца за гонцом, убеждая турок не мириться с русскими. Но Кутузов тоже не сидел сложа руки. Он пользовался всяким случаем, чтобы напомнить великому визирю, что Франция — плохой друг и ненадежный союзник для Турции, о чем умный Ахмед прекрасно знал и не раз сам говорил Кутузову.

Отовсюду поступали сведения о том, что войска Наполеона готовятся к походу в Россию. Сицилийский посланник в Константинополе, расположенный к России, писал старому другу Италийскому:

«России нельзя терять ни минуты, ей готовят страшный удар. Наполеон имеет веские причины желать, чтобы война затягивалась».

В Петербурге, где не понимали всех дипломатических трудностей Кутузова, смотрели на него как на кунктатора, а турки в лагере мерли по нескольку сотен человек в день.

Несмотря на помощь, которую русские оказывали окруженным туркам, их армия медленно, но верно погибала. Из тридцати шести тысяч человек, переправившихся на левый берег, уцелело лишь немногим больше одной трети. Если от истощения, холода и болезней, свирепствовавших в лагере, вымрут и эти остальные, то турки вовсе прекратят переговоры — не останется никакой побудительной причины для заключения мира.

Визирь прекрасно учитывал, что воевать зимой немыслимо: от Дуная до самых Балкан тянутся безлюдные пепелища вместо селений и непролазная грязь вместо дорог.

Погода с каждым днем становилась холоднее. Наступала зима, а русские солдаты вынуждены были сидеть в сырых окопах на придунайском низком берегу. Количество больных в полках по сравнению с осенью сильно возросло.

Затяжка переговоров с турками выводила Кутузова из терпения.

— Кормим, поим, не жалеем подарков, а они не торопятся! — возмущался он в кругу своих генералов.

— А чего им торопиться: над ними не каплет! — заметил Резвой.

— Первый член делегации, эта коротышка Галиб-эфенди, не очень заинтересован в мире: он не любит верховного визиря. Ему бы хотелось, чтобы султан отрубил Ахмеду голову за поражение. Второй делегат, толстяк и обжора Селим-эфенди, знай дремлет на заседании — ему бы только хорошо поесть и покейфовать. А рыжебородый Гамид-эфенди перемигивается через окошко с валашками, — рассказывал генерал Сабанеев. — Не худо бы вообще, Михаил Илларионович, перенести наши заседания в какое-нибудь другое помещение.

— Это почему же? — спросил Кутузов.

— Да ведь там, где мы заседаем, был кабачок с веселыми девушками...

— Я бы посадил конгресс в палатку, а палатку поставил бы в поле, между турецкими и русскими окопами. Там турки не засиделись бы! — предложил Ланжерон.

«Хоть раз француз говорит дело», — подумал Кутузов и сказал:

— Пора нашу армию отвести на зимние квартиры. А конгресс переведем в Бухарест.

Командующего беспокоила большая смертность в турецком лагере. Хорошо еще, что чумы не слыхать! Для него было важно сохранить хоть то, что осталось от турецкой армии, чтобы при заключении мира можно было сказать туркам: «Вот видите, мы отдаем вам вашу армию!»

Если бы паши распределяли хлеб, который получали от русских, турок уцелело бы значительно больше, но они продавали хлеб по страшно дорогой цене своим голодным солдатам, и смертность среди них росла.

Кутузов видел, что если так продолжать и дальше, то турки в осажденном лагере перемрут.

Он придумал небывалый в военной истории выход: предложил принять турецкую армию «на сохранение». На первый взгляд это казалось нелепостью: вместо того чтобы просто взять турецкую армию в плен и отослать ее в глубь России, русский командующий больше турок беспокоится о ее существовании. Но этот кажущийся несообразным ход был, в сущности, остроумнейшим, единственно правильным выходом.

Кутузов договорился с Галиб-эфенди, что до заключения мира русские возьмут остатки турецкой армии «на сохранение». Зная гордость турок, и в частности этого мальчишки Чапан-оглы, который скорее умрет в дунайских камышах, чем пойдет в плен, Куту-

зов подчеркивал, что турки поступают к русским не как ясыр[1], а идут по доброй воле, как музафир[2]. Их разместят по деревням под охраной русских. Во избежание драк Кутузов предложил туркам оставить все оружие в лагере под охраной турецких и русских часовых; тяжелобольных, стариков и неспособных к военной службе перевезти в Рущук, но в общем количестве не более двух тысяч. Фактически турецкая армия оказалась бы безоружной и в плену, но сохраняла бы видимость армии.

Галиб-эфенди согласился на это предложение Кутузова. Но в самом осажденном лагере турки совещались восемь дней: паши и прочее начальство, боясь капитуляции, так напугали раньше солдат, что они теперь боялись оставить свой ужасный лагерь. Анатолийцы и янычары были просто уверены, что русские задушат их всех.

Наконец турки рискнули согласиться покинуть злосчастный лагерь смерти.

Две тысячи тяжелобольных и стариков перевезли в Рущук, и только двенадцать тысяч человек, оставшихся в живых, двинулись из лагеря к деревне Малка, откуда их должны были распределить по окрестным деревням.

Оборванные, грязные, исхудалые, одна кожа да кости, с лихорадочно горящими голодными глазами, в которых еще сквозили страх и недоверие, шли понуро когда-то нарядные и гордые анатолийские спаги и высокомерные, жестокие янычары — цвет турецкого войска.

Страшное кладбище — смердящий лагерь с восемью тысячами конских костяков и двумя тысячами закоченевших, непогребенных трупов людей — осталось позади. Поземка заметала кости разбитой, поверженной армии великого визиря.

XVI

Бухарест торжественно и пышно встретил победителя турок. Несмотря на зимнее время, на улицах стояли толпы народа. Два дня город был иллюминирован. На площадях и главных улицах Бухареста висели десятки красиво написанных транспарантов, на разных языках восхвалявших Кутузова. Русского генерала сравнивали со львом, орлом, барсом, но еще чаще называли знаменитым греческим полководцем и дипломатом Фемистоклом.

На второй день в честь Кутузова был дан большой обед и вечером роскошный бал. Кроме высших гражданских чиновников, приветствовать полководца явились знатные бухарестские жители

---

[1] Ясыр — пленник.

[2] Музафир — гость.

и их жены. Куконы кокетничали с русским главнокомандующим, восхищались тем, как он посвежел за лето на Дунае. Михаил Илларионович благодарил, улыбался, а думал иное. При ярком свете люстр и канделябров в этих чистых, прекрасных зеркалах дворца он отлично видел, что, наоборот, постарел за лето: победа над турками не давалась даром.

Вместе с другими приветствовал Кутузова французский консул в Бухаресте Шарль Леду.

— Я всегда с большой живостью следил за вашими успехами на Дунае, генерал, — с почтительной, милой улыбочкой сказал он, очевидно, заранее приготовленную, полную едкой иронии (Аустерлиц тоже на Дунае!) фразу, которую Михаил Илларионович сразу же понял.

— Я не знал, господин консул, что вы еще не забыли об Измаиле! — отпарировал Кутузов и подумал: «Да, ты не только следил за мной, но и передавал все султану в Константинополь!»

Главнокомандующий поселился в том же особняке, в котором жил весной. Наконец-то можно было пожить в нормальных условиях: спать на всамделишной кровати, на которую не попадает дождь, обедать за просторным, хорошо сервированным столом, за которым всем хватает места, а не то что в лагере, где если приезжал из Виддинского корпуса кто-либо или курьер из Петербурга, то Ничипору приходилось подставлять к столу ящик, бочку или барабан. И, разумеется, приятнее сидеть в мягком кресле, нежели на жестком складном стуле.

Все шло как будто бы прекрасно — Михаил Илларионович добился того, чего хотел: победа была, и мир казался уже не за горами.

Портило настроение старое, закоренелое недоброжелательство к нему царя.

29 октября Александр I пожаловал Кутузову за победу над турками графский титул, словно это могло что-нибудь значить. Стать графом можно было и не побеждая никого. Например, тот же французский эмигрант Ланжерон получил графский титул, не одержав еще никакой победы. Единственным его подвигом оказалось то, что Ланжерон изменил своей родине и принял русское подданство.

Вся Дунайская армия, все генералы — друзья, как Сабанеев, Марков, Булатов, и недруги — Ланжерон, Засс — все были поражены и возмущены. И солдаты и офицеры — все единодушно считали, что за уничтожение лучшей турецкой армии Кутузову полагался фельдмаршальский жезл. В глубине души и сам Кутузов ждал этого. Теперь же, когда в часы ночной бессонницы он думал обо всем, он невольно вспоминал печальный пример своего учителя — Александра Васильевича Суворова. Того здесь же оскорбили,

дав за славную рымникскую победу не фельдмаршальский жезл, как полагалось бы, а ничего не стоящий этот самый графский титул.

Затем уже хотелось к своим, домой. Надоело болтаться по бивакам и лагерям, все-таки сказывались шестьдесят шесть лет.

Михаил Илларионович так и написал из Бухареста любимой дочери Лизе:

«Ты не можешь представить себе, дорогой друг, как я начинаю скучать вдали от вас, без дорогих мне людей, которые единственно привязывают меня к жизни. Чем дольше я живу, тем больше вижу, что слава — это только дым. Я всегда был философом, но теперь стал им в высшей степени. Говорят, что каждому возрасту свойственна своя страсть. Моя в настоящее время — это страстная любовь к моим близким, в то время как общество женщин, которого я ищу, — только развлечение. Мне смешно на самого себя, когда я размышляю о том, как я расцениваю и свое положение, и власть, и те почести, которыми я окружен. Я всегда вспоминаю Катеньку, сравнившую меня с Агамемноном: а был ли Агамемнон счастлив? Моя беседа с тобой не весела, как видишь, но я заговорил в таком тоне оттого, что уже восемь месяцев не видел никого из своих».

А турки и в Бухаресте не стали торопиться с подписанием мира.

Не только французы, но и австрийцы и англичане — каждый в своих интересах — прилагали усилия к тому, чтобы Турция не заключила мира. Султан не знал истинного положения вещей.

В Константинополе не хотели верить, что их армия разбита. Знали, что турецкие силы окружены, но не представляли себе ужасного состояния окруженных. Великий визирь был на свободе, у Виддина и Рущука оставались какие-то войска, — значит, как будто бы не все еще потеряно. Непосредственной угрозы Константинополю не существовало: война велась где-то за Балканами, за тридевять земель.

Сам факт окружения турецкой армии произвел на членов дивана страшное впечатление, но, вероятно, больше потому, что среди окруженных оказалось много военной знати: трехбунчужный паша Чапан-оглы, четыре двухбунчужных, три татарских султана, агалал-аги, командиры янычар.

Медлительность турок и затяжка ими мирных переговоров стоили Кутузову много крови.

В Петербурге тоже понимали немногим больше, чем в Константинополе, положение вещей на дунайском театре. Александр I наивно полагал, что раз турецкая армия окружена, то турки обязаны мириться.

Когда Ланжерон замещал заболевшего генерала Каменского, Александр I советовал ему таким путем добиться мира с турками: «Вы должны иметь целью быстрым движением распространить ужас за Балканы».

Ланжерон резонно ответил на это: чтобы устрашить Константинополь, нужно пробиться по крайней мере хотя бы к Адрианополю.

Предлагать-то было куда легче, чем выполнять.

Угроза с запада становилась с каждым днем все явственнее и ближе: обозы Наполеона уже перешли Рейн.

По письмам родных и петербургских приятелей, по рассказам, приезжавших из столицы Михаил Илларионович знал, что в Петербурге очень недовольны медлительностью ведения переговоров. Всю вину, конечно, возлагали на Кутузова.

В Зимнем дворце, в придворных гостиных и салонах казалось: так легко заставить битых турок мириться. Не знали, сколько тонких, остроумных ходов нужно было сделать, чтобы добиться поставленной цели.

В Константинополе ведь не все стояли за мир. Многолетнее следование французской политике сказывалось очень сильно, и переломить это влияние было не так-то просто.

Кутузов как будто бы отдыхал в Бухаресте. Он позволял себе даже немного развлечься: бывал в театре, на балах и приемах.

Главнокомандующий не чуждался женского общества. Дамы знали и ценили его как галантного и остроумного собеседника. Михаил Илларионович мог поговорить не только о маркитантах, турецких ортах или набрюшниках для солдат, но и о многом ином.

Кутузов тщательно следил за переговорами и почти ежедневно совещался с Италийским и Сабанеевым.

А время летело.

8 ожидании мира незаметно — день за днем — промелькнула зима...

Переговоры продолжались уже пятый месяц.

9 апреля 1812 года Александр I выехал в Вильну, где была расположена главная квартира первой Западной армии под командой военного министра Барклая-де-Толли.

А недели через две до Михаила Илларионовича дошли слухи: царь недоволен Кутузовым. («А когда же он был мною доволен?») Александр I решил отправить в Бухарест адмирала Чичагова, считая, что адмирал скорее заключит мир.

Услыхав о Чичагове, Михаил Илларионович улыбнулся: «Нашел дипломата!»

Чичагов был вспыльчив, невыдержан и крут.

Но приходилось нажать на турок, а то, чего доброго, все плоды боевых и дипломатических успехов целого года пожнет этот напыщенный адмирал.

5 мая были подписаны предварительные мирные условия.

А утром 6 мая перед особняком, в котором жил главнокомандующий, остановилась изрядно забрызганная весенней грязью карета. Из нее вышел, самодовольно поджимая губы, адмирал Павел Васильевич Чичагов.

«Оскудела русская армия — генералов уже не хватает!» — иронически подумал Михаил Илларионович, тяжело идучи навстречу гостю, который с портфелем в руке стремительно входил в кабинет главнокомандующего Дунайской армией.

Поздоровавшись с Кутузовым, он сразу же спросил:

— Как дела, Михаил Илларионович? («Вид и тон начальнический, а ведь мальчишка: сорок пять лет!»)

— Слава богу, Павел Васильевич.

— Император очень недоволен вашей мягкостью с турками... («Вот тебе бы поучиться выдержке и такту хотя бы у Ахмед-паши!») Недоволен вашими военными действиями, и вам уготовлено иное поприще. — Чичагов стал открывать ключиком запертый на замок портфель. — А мне уж придется заняться мирным договором!

— Простите, Павел Васильевич, но мир уже заключен, — спокойно сказал Кутузов.

Пальцы Чичагова застыли в раскрытом портфеле.

— Когда?

— Вчера.

Чичагов наморщил лоб, раздумывая. Потом стал рыться в портфеле и извлек оттуда плотный лист бумаги:

— Вот высочайший рескрипт.

Кутузов взял лист и прочел:

«Михаил Ларионович!

Заключение мира с Оттоманскою Портою прерывает действия Молдавской армии; нахожу приличным, чтобы Вы прибыли в Петербург, где ожидают вас награждения за все знаменитые заслуги, кои Вы оказали мне и отечеству. Армию, Вам вверенную, сдайте адмиралу Чичагову. Пребываю Вам навсегда благосклонным.

Александр».

Смех давил Кутузова: не мог же император, отправляя Чичагова из Петербурга, знать заранее, что договор подписан, если это случилось только вчера, меньше суток назад. Значит, царь слал Чичагова заменить Кутузова вообще — заключен мир или нет. И, конечно, в портфеле у адмирала лежит второй, менее милостивый рескрипт на случай, если мирный договор еще не заключен.

Но смысл этих обоих рескриптов одинаков: Кутузов на Дунае уже больше не нужен!

Все ясно!

Прочтя, Михаил Илларионович слегка поклонился, как бы благодаря Чичагова за то, что он привез царскую милость, и сказал:

— До ратификации договора я, Павел Васильевич, вынужден буду еще обождать здесь!

— Пожалуйста! — снисходительно ответил Чичагов.

16 мая турки ратифицировали договор. Михаил Илларионович попрощался с войсками и отправился к себе в Горошки.

Он уезжал из Дунайской армии домой с гордым чувством хорошо исполненного долга.

Как пойдут дела у первой Западной армии — кто знает, а Кутузов уже выиграл у Наполеона это сражение на Дунае!

Часть вторая

«СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ 1812 ГОД»

Настал 1812 год, памятный каждому русскому, тяжкий потерями, знаменитый славою в роды родов.

А. Ермолин

Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении.

И. Якушкин

Глава первая

ВСТРЕВОЖЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГ

I

На этот раз Кутузов не задерживался у себя в имении, хотя любил свои живописные Горелики, особенно очаровательные весной, когда буйно, молодо зеленели дубы и липы и нежно цвели яблони. Но сидеть одному, даже среди прекрасного, цветущего сада, было тоскливо. Тянуло к своим — жене, дочерям, внукам, тянуло в Петербург. Если бы еще он приехал в Горошки осенью, когда собирают урожай, тогда стоило бы ненадолго остаться, чтобы продать часть зерна и привезти хоть немного домой: Екатерина Ильинишна, конечно, опять задолжала кругом. Она никогда не умела жить экономно, по средствам.

Михаил Илларионович спешил в столицу еще по одной, не менее уважительной причине: над головой висела война, как эта сверкающая, зловещая комета, невиданная звезда, которая уже не один месяц приводила в трепет всех суеверных людей. Хвост кометы был блестящий и широкий. Казалось, если раскинуть его по земле, то он будет сажени в две длиной. К концу хвост расширялся. Потому народ и называл комету метлой. Говорили: «Война идет, все сметет!»

Война стучалась прямо в дом с близкого запада, а не откуда-либо с далеких от Петербурга и Москвы турецких границ.

Сидеть в захолустье, за тридевять земель от столицы, в такое тревожное время, когда каждый день мог принести самые невероятные новости, было тягостно, невозможно.

Михаил Илларионович отдохнул в Горошках только два дня. Он посмотрел, как взошли озимые и посеяны яровые, отдал распоряжения управляющему и потихоньку на перекладных двинулся дальше.

По дороге он уже услыхал пересуды обывателей о только что заключенном мире с турками:

— Турки покорились и дали нашему государству подписку, что будут платить дань: каждый год по двадцать тысяч голов французов!

В этой нелепой фразе сказывались предчувствие и боязнь войны, которую готовил французский император Наполеон.

На почтовой станции под Витебском Михаил Илларионович увидал в комнате для проезжающих приклеенную к стене хлебным мякишем гравюру — портрет Бонапарта. Он изображался еще молодым генералом — худощавое лицо с длинными, словно у женщины, волосами, падающими на плечи.

— Это кого же повесили тут под образами? — спросил у хозяев Михаил Илларионович, будто не узнавая, кто это.

— А-а, это батюшка барин, сама Бонапартиха, царица французская, которая идет на нас войной, — живо ответила старуха, жена станционного смотрителя, вероятно еще помнившая императрицу Екатерину и привыкшая к женщинам на троне.

— Не извольте, ваше высокопревосходительство, слушать, что плетет старая дура! — подскочил станционный смотритель, отталкивая локтем жену. — Это Бонапартий... Антихрист...

— Зачем же ты его держишь в красном углу, коли он — антихрист?

— А вот зачем, ваше высокопревосходительство: ежели Бонапартий как-то под чужим именем или с фальшивой подорожной заявится ко мне, я его, голубчика, враз признаю, схвачу, свяжу да к городничему.

Михаил Илларионович только улыбался.

Видимо, Бонапарт и война не выходили ни у кого из головы!

В Петербурге чуть установилась после холодного мая летняя погода. Ладожский лед прошел, сделалось тепло. По Неве плыли баржи с дровами и углем, лодки с глиняной и деревянной посудой, со свежими вениками и метлами. Будочники стояли в белых штанах, горожанки уже щеголяли в шляпах из желтой соломки с загнутыми «по-английски» полями, какие были в моде у аристократок лет десять назад.

Кутузов возвращался в Петербург не торжествующим победителем, а опальным полководцем. Несмотря на то что он добился немыслимого, невозможного — с незначительными силами уничтожил турецкую армию и своевременно заключил выгодный, почетный и, главное, такой нужный мир, — царь все-таки отозвал его, заменив напыщенным болтуном адмиралом Чичаговым. Стало быть, снова оставался недоволен Кутузовым.

Александр I любил трескучую деятельность молодого Каменского и англомана Чичагова, который в морское министерство, как и в армию, не внес ничего, кроме сутолоки.

Приезд Кутузова произвел дома радостный переполох. В залу, где сидел в кресле Михаил Илларионович, тотчас же сбежалась вся дворня. Челядь припадала к ручке и плечику любимого барина, поздравляла Михаила Илларионовича с знатной викторией над басурманами, с титулом «грахфа», с благополучным прибытием. Потом все ушли. Михаил Илларионович остался вдвоем с женой. Он пересел к ней на диван, и тут начался задушевный разговор. Когда переговорили все о своих девочках, их мужьях, о внуках и внучках, стали говорить о разном.

Михаил Илларионович рассказывал, как Чичагов разлетелся, — думал, что он, а не Кутузов, заключит долгожданный мир.

— Хотел загребать жар чужими руками, ан не вышло! На чужой каравай рта не разевай!

— Молодец, Мишенька! Утер нос и царю и Чичагову! — ласково потрепала мужа по щеке Катенька. — А над его назначением смеются. Александр Львович Нарышкин называет Чичагова — «адмирал Бонниве», которого король Франц Первый назначил командовать армией. Многие шутя спрашивают: «Если адмирал Чичагов командует армией, то Михаил Илларионович, вероятно, будет командовать флотом?»

— Флота Александр Павлович мне не пожалеет: он флот не любит, считает, что России флот не нужен.

— А за мир тебя все так превозносят! И поражаются предвзятому, странному отношению к тебе императора.

— Ничего странного в этом нет. Пора бы уж знать, что Александр терпеть не может русских. Презирать русских он считает «хорошим тоном». Любой иностранец для него дороже!

— Да, верно. В Вильну Александр Павлович поехал окруженный одними иностранцами, как будто своих нет.

— Ну, господь с ним... Что, Катенька, в столице уже мало кого осталось? Поди, все разъехались по имениям? — спросил Михаил Илларионович, хотя по тому, как была одета и причесана жена, можно было предполагать обратное.

— Нет, нынче никто не уезжает далеко — боятся войны. Все сидят в Петербурге. Вот завтра сам увидишь — поедем со мной в

театр. Французская труппа дает «Дмитрия Донского» Озерова. Жорж играет Ксению.

— А где же французы играют? Большой театр сгорел еще в прошлом году?

— Да, сгорел как раз под Новый год.

— И ничего не осталось?

— Ничего. Деньги и документы спасли — контора помещалась на первом этаже, а загорелось где-то наверху. Успели вытащить несколько декораций для «Андромахи». Император сам приезжал на пожар. Пожаловал по целковому пожарным служителям за усердие.

— А как себя чувствовал директор, Александр Львович Нарышкин?

— Как всегда — не выдержал, чтобы не сострить. Говорит государю: «Вот, ваше величество, нет больше ничего — ни сцены, ни лож, ни райка, остался один партер!»

— И откуда у него берется? — улыбнулся Михаил Илларионович. — Где сейчас играет французская труппа?

— Дирекция сняла дом Молчанова на Дворцовой площади. Бывший Кулешов, такой синий, знаешь?

— Знаю.

— Вот теперь в нем театр. Называется — «Новый».

— Как помещение?

— Ничего. Главная зала имеет два яруса лож и галерею. Конечно, той роскоши, какая была в Большом у Коломны, здесь нет и в помине — ни золоченой лепки, ни бронзы, ни тех люстр, ни зеркал, но все-таки зала очень мило драпирована голубым бархатом. У меня веселенькая ложа в первом ярусе, почти в самом центре, через две ложи от Марии Антоновны Нарышкиной.

«Да, ты денег на ложу не пожалеешь. Представляю, сколько она стоит!» — подумал Кутузов.

На следующий день Михаил Илларионович поехал с женой в Новый театр.

На спектакле он действительно увидал весь петербургский высший свет — тут были князья и графы, сановники и министры, генералы и их разряженные в парижские туалеты жены и дочери. Слышалась только французская речь.

Всюду были знакомые лица. Михаил Илларионович раскланивался направо и налево. В первом ряду, не в ложе, а в своих директорских креслах, между петербургским главнокомандующим тихим Вязмитиновым и глуховатым стариком Строгановым сидел веселый Александр Львович Нарышкин.

Катенька показала Михаилу Илларионовичу жену Барклая Елену Ивановну — она сидела во втором ряду с Кочубеем. Кутузов увидал сутулую, жирную спину и рыжую голову в какой-то без-

вкусной прическе. Необразованная лифляндка Бекгоф сумела когда-то поймать в свои сети скромного, безвольного егерского поручика Барклая-де-Толли и теперь держала себя надменно, с напускной важностью. Салонные острословы язвили, что мадам Барклай выбирает в прислуги самых безобразных девушек, чтобы казаться в доме самой красивой, а муж берет в адъютанты самых глупых офицеров, чтобы казаться самым умным.

Центральную ложу первого яруса занимала возлюбленная императора, известная красавица Мария Антоновна Нарышкина. У нее собиралось изысканное общество. Все, кто был принят у Марии Антоновны, имели доступ во все дома столицы. Ее наряды служили образцом (и были предметом зависти) для всех дам петербургской знати. И сегодня Мария Антоновна обращала на себя внимание всех скромным, но изящным вечерним платьем. Нарышкина была вся в голубом, которое так шло к ее черным глазам, — голубой короткий лиф с короткими же рукавчиками, обнажавшими красивые руки, и такая же юбка, вышитая васильками. Плотную, но хороших линий шею украшало колье из двух рядов крупного жемчуга. Из волос кокетливо выглядывал букетик свежих фиалок. Плечи и низко открытую крепкую грудь прикрывала длинная — до пят — дорогая кашемировая шаль.

Увидав Нарышкину, Михаил Илларионович сразу же пошел приветствовать очаровательную и милую Марию Антоновну, целовал ее ручку и говорил комплименты.

Нарышкина относилась к жене Кутузова холодновато, как обычно относятся друг к другу две красивые женщины, но галантному, остроумному Михаилу Илларионовичу она симпатизировала.

К Кутузову в ложу приходили многие, чтобы поздравить Михаила Илларионовича с приездом и царской милостью.

Долго сидела с ними и тараторила некрасивая Елизавета Петровна Дивова. В ее доме на Миллионной всегда вертелись иностранцы и актеры. Знаменитый тенор Мандини не без основания прозвал ее sempre pazza[1]. Дивова утверждала, что для полного счастья «надо много денег и немного легкомыслия». Сама она в пятьдесят лет была больше легкомысленна, чем богата. Михаила Илларионовича удивляло: как Катенька терпит вздорную, взбалмошную интриганку. Но их соединяло пристрастие к актерскому миру и, как всех стареющих женщин, к обществу молодых щеголей.

Дивова и Катенька горячо обсуждали новый наряд Нарышкиной, сходились во мнении, что лучше было бы не два ряда жемчугов, а один.

---

[1] Взбалмошная.

— Как купчиха какая! — поджимала губы Дивова.

Удивлялись, почему такой куцый канзу[1].

— Как у девчонки! Я бы своей внучке не решилась сделать! — говорила Екатерина Ильинишна.

И строили догадки, сколько тысяч франков стоит эта бесспорно чудесная кашемировая шаль.

Пришел поздравить Михаила Илларионовича старик Дмитревский. Он говорил по-русски.

— Катерина Ильинишна, как это вы допускаете, что Михайло Ларионович так долго любезничает с Марией Антоновной? — спросил, шутливо подмигивая, Дмитревский.

— У мужчин считается хорошим тоном быть обязательно влюбленным в Марию Антоновну, — наклонившись к Дмитревскому, вполголоса ответила Кутузова, но, поймав недовольный взгляд мужа, прибавила в тон Дмитревскому: — Впрочем, это старая привязанность Миши. Пусть он сам скажет.

— Да, я всегда говорю: Мария Антоновна — ангел. Я боготворю женщин только потому, что Мария Антоновна — женщина, — повторил Кутузов по-русски ту же фразу, которую несколько минут тому назад сказал по-французски Нарышкиной.

Кутузов держался с достоинством, не имел вида «опального» полководца, не прибеднялся, не жаловался никому на свою незаслуженную обиду. И от этого еще резче подчеркивалась вся мелочность предвзятого отношения императора Александра к уважаемому, заслуженному полководцу.

Все поздравляли Михаила Илларионовича со славной победой, с возвращением к родным пенатам, как водится, притворно уверяли, что Михаил Ларионович прекрасно, молодо выглядит.

И Кутузов был хоть отчасти удовлетворен. Получалось так: хотя никто не говорил прямо, но в каждой фразе сквозило: «Император бестактен и глуп, он зря обидел тебя, но ты, Михайло Ларионович, держишься так умно, что от этого только возвышаешься в наших глазах!»

II

Каждый день Михаил Ларионович просыпался с одной и той же мыслью: начал уже войну Наполеон или нет?

Но прошла неделя со дня приезда Кутузова домой, а все еще было тихо, мирно.

Михаил Ларионович пробуждался под певучие крики разносчиков, доносившиеся с набережной: «Ра-аки, ра-аки!» или «Ла-

---

[1] Канзу — лиф.

андышóв, ла-андышóв!» Он оборачивался к жениной постели. Екатерина Ильинишна — ранняя пташка — уже упорхнула в туалетную, взяв с собою книгу в желтом, как желудь, телячьем переплете, которая всегда лежала на ее ночном столике.

Книга называлась «Дамской врачь», перевел с французского М. И. У. медицинского факультета студент Кондрат Муковников.

«Дамской врачь» говорил не только о болезнях «различных возрастов», но и о многих других полезных вещах, например: «о благоприятных минутах исполнять должность брака», «о способнейшем возрасте выдавать девиц замуж»..

Екатерину Ильинишну особенно интересовал раздел, называвшийся «Венерин туалет». В нем содержались такие советы: «способ предохранить линяние волосов», «способ выравнивать морщины на лице», «как сделать здоровым и пригожим тело», «как сделать старое лицо наподобие двадцатилетнего».

Вот Катя каждое утро брала эту книгу и уходила в туалетную делать разные «удивительные для лица» белила и мази. И не оттого ли она выглядела моложе своих пятидесяти шести лет?

Михаил Илларионович вставал с постели и открывал настежь окно.

На Неве рыбаки закидывали сети. Низко летали белые чайки. Все дышало безмятежным покоем.

Но на преддиванном столе белело полотнище разложенной географической карты...

Михаил Илларионович звонил в колокольчик. Входил Ничипор помогать барину одеваться: дома, как и на войне, он один прислуживал Михаилу Илларионовичу, хотя в кутузовском доме лакеев хватало.

— Добрый день, ваше сиятельство!

— Здорóво, Ничипор! Ну, как ночевал? Не хуже, чем под Рущуком?

— Спаты — не воеваты! — весело отвечал денщик.

— Что слыхать в городе?

— Та ничего. Всэ як було.

— Курьера ждут?

— А що им робыты — ждуть!..

У дома военного министерства с утра толпился народ — ожидали курьера из Вильны к князю Горчакову, который замещал Барклая-де-Толли. Это была единственная возможность узнать последние новости.

От курьеров весь Петербург знал, что Александр занят в Вильне двумя своими любимыми пристрастиями — дамами и муштрой.

В Петербурге Александр оставил обеих жен — законную и фактическую: красивую, но надоевшую голубоглазую Елизавету Алексеевну и красивую, но любимую Марию Антоновну Нарышкину,

которую свет называл «чернookой Аспазией». Кроме них, император оставил прелестных актрис — Шевалье, Филлис и, как ее продолжали нелепо величать в печати, «девицу Жорж».

Но Александру все было мало.

Ему с детства внушали, что он «ангел», что он красив. Это он помнил, но забывал, что немного хромает и туговат на одно ухо. Он вообще считал себя неотразимым и любовался собою, как Нарцисс. Он с юных лет всюду волочился за самыми прекрасными женщинами и хотел и в Вильне пленять сердца польских дам. Правда, это имело здесь и другую подоплеку: Александр стремился привлечь на свою сторону поляков. Император легко жаловал польских дам во фрейлины, а мужчин в камер-юнкеры.

Он был чувствителен к женскому вниманию и лести и потому рассыпался перед любой польской графиней. Впрочем, это ухаживание такого именитого донжуана не угрожало ни спокойствию их мужей, ни чести самих жен.

«Мне хорошо известно, что в большинстве случаев добродетель дам, пользовавшихся благоволением Александра, весьма редко находилась в опасности», — писал об Александре его друг Адам Чарторыйский, знавший его прекрасно.

А лейб-медики сплетничали по этому поводу об императоре:

— Он воображает о себе, как и во многом другом, больше, чем может!

Император Александр I уделял в Вильне приемам и балам много времени, чего не следовало бы делать накануне войны с таким грозным противником.

Глядя на него, и офицерство вело себя по пословице: «Игуменья — за чарку, сестры — за ковши». Офицеры волочились за кокетливыми польками, пили и играли в карты.

Император Александр I только изредка занимался армией. Его не интересовало, хорошо ли стреляют, умеют ли колоть штыком и окапываться солдаты, достаточно ли в магазинах хлеба и фуража, хватит ли сапог и снарядов. Он беспокоился об одном: по правилам ли «тянут носок», как маршируют. И солдат и командиров Александр оценивал не по делам, а по форме, не по их подготовленности к войне, а лишь по выправке. Лучшей дивизией в армии Александр считал третью Коновницына, потому что на смотру она маршировала исправнее всех.

Александр верил в прусскую догму — фрунтомания батюшки Павла Петровича не умирала!

Михаил Илларионович живо представлял себе любимую Вильну, роскошный генерал-губернаторский дворец, где он жил и где теперь живет император. Представлял себе незавидное положение командующего первой Западной армией Барклая-де-Толли: как

он связан в своих действиях присутствием государя и всем его нелепым, пестрым окружением.

Свита государя была составлена не из известных всем своими общепризнанными заслугами в военном деле генералов, а из случайных иностранных выходцев, к которым почему-то благоволил Александр I, всю свою жизнь заискивавший перед Западом. Это были: никому не ведомый шведский генерал Армфельд и два прусских барона — Фуль и Вольцоген. После разгрома пруссаков Наполеоном в 1806 году Фуль и Вольцоген перешли на русскую службу.

Тридцатитрехлетний, не по-прусски курносый Вольцоген служил в Пруссии простым лейтенантом. В России этот пронырливый пруссак сразу попал в генеральный штаб, а потом был пожалован во флигель-адъютанты императора.

А пятидесятилетнего кабинетного генерала Фуля Александр сделал своим наставником в военных вопросах.

Александр I, кокетничая, любил уверять, что окружен тупицами и подлецами. Говоря это, он, разумеется, имел в виду только русских, но так как при нем русских было всегда мало, то он, сам того не желая, определял положение вещей совершенно точно.

Кроме этих трех горе-вояк, все достоинство которых заключалось лишь в том, что они были иностранцами, в свите Александра I числился еще генерал Беннигсен, единственный по-настоящему боевой человек.

Главным авторитетом в военном деле у императора Александра стал с 1807 года барон Карл фон Фуль. Малоначитанный вообще и совершенно несведущий в древней военной истории, Александр I благоговел перед обширными теоретическими знаниями Фуля. Буквоед и начетчик, Фуль был типичным схоластическим теоретиком, дальше «Записок о галльской войне» и однажды данной военной схемы не видевшим ничего.

Александр I никогда не любил читать, а барон фон фуль, нечесаный и лохматый, все дни проводил за любимыми латинскими авторами. Из него получился бы неплохой преподаватель римской филологии. Он был влюблен в латынь и серьезно утверждал, что настоящему полководцу нужнее знать латынь, чем название реки, на которой расположена его столица. Это пристрастие к латыни объяснялось тем, что Фуль признавал великими полководцами только Юлия Цезаря и Фридриха II. Все, что было после «скоропостижного» прусского короля, Фуль считал не стоящей внимания порчей святого военного искусства.

Он не имел и не хотел иметь ни малейшего понятия о полководческой деятельности Наполеона. Единственной меркой у Фуля была Семилетняя война Фридриха II.

Нелюдимый, замкнутый, угрюмый, вечно сидевший за книгами и картами, с неизменной табакеркой в руках, барон нигде не бывал и ни с кем не заводил знакомства. Фуль прожил пять лет в России и даже не научился ни одной русской фразе, в то время как его малограмотный денщик украинец Федор Владыка свободно говорил по-немецки.

Предвидя неизбежную войну с Наполеоном, многие русские генералы представили императору Александру планы ведения будущей войны. Одни были оборонительные, другие — наступательные. Предложил свой план и барон фон Фуль. Его план резко отличался от всех остальных. Это было пустое измышление человека, жившего в мире абстрактных схем и предвзятых понятий. Он сводился к следующему. Все русские силы делились на две армии. Главная из них, большая по численности, располагалась в укрепленном лагере у местечка Дрисса, на реке Западная Двина, а вторая должна была действовать во фланг и тыл противника, который, по мнению Фуля, обязательно должен был атаковать дрисский лагерь.

Болезненно недоверчивый, Александр остался верен себе: не принял целиком ни одного плана, но в то же время продолжал пополнять продовольственные магазины западнее Двины и Днепра и приказал строить дрисский лагерь. Позорно нелепый схоластический план кабинетного генерала Фуля, никогда не нюхавшего пороху, все-таки привлекал внимание Александра.

А в общем, даже в Вильне у Александра, который продолжал считать себя великим полководцем, не было никакого определенного плана ведения войны.

Императора, видимо, это обстоятельство никак не волновало.

На что он надеялся — не знал никто.

Но Михаила Илларионовича, как всякого русского гражданина и профессионального военного, отсутствие плана беспокоило. Зная упрямство Александра и его полную бездарность в полководческом деле, Кутузов боялся, как бы Александр в последний момент не последовал гибельному совету Фуля.

Так, в ожидании событий, прошло десять дней после приезда Кутузова домой.

В понедельник 17 июня Михаил Илларионович сидел в халате у раскрытого окна. После обеда клонило ко сну, но он крепился, не хотел спать: будешь полнеть, а и так уж не худенький! Можно было бы читать, отвлечься, но он щадил глаза, вернее — последний, левый глаз. И вдруг из дальних комнат донеслись какие-то возбужденные голоса. Михаил Илларионович прислушался. О чем-то по-всегдашнему быстро-быстро тараторила Марина, горничная Катеньки. Она такая же маленькая, щуплая и быстрая, как ее барыня, только лет на десять помоложе Екатерины Ильинишны, и

так же, как барыня, любит наряжаться, и так же не дает никому спуску. Марина занимала в доме особое, привилегированное положение. Она была чем-то вроде «барской барыни»[1].

Что у них там?

И вот — поспешные шаги, и в кабинет вошли они обе.

— Мишенька, война! — округляя и без того большие черные глаза, сказала жена.

— Откуда вы узнали? — живо обернулся к ним Михаил Илларионович. Дремота в один миг исчезла.

— Кульер прискакал, ваше сиятельство, — ответила Марина.

Марине очень нравилось, что ее господа стали графами, а то через дом жила графиня Гурьева, и ее горничная Стеша все чванилась. А теперь и Марина могла говорить всюду: «Ее сиятельство были в киятре», или: «А его сиятельство изволили сказывать...»

— Бонапартий перешел через энту, как ее, через Неман. И с ним двунадесять языков; все, все: и сами французы, и немцы, и австрияки, и поляки, и цыгане, и тальяне... Идут — земля стонет. Говорят, ежели выйти за город, к «Красному кабачку», то слыхать.

— Мишенька, поезжай, дружок, к князю Алексею Ивановичу, узнай подробно, что привез курьер, — попросила Катенька.

Михаил Илларионович и сам сразу же подумал об этом. Он оделся и поехал в военное министерство к Горчакову.

Карета медленно тащилась по набережной Невы. На лицах встречных была написана тревога, — видимо, в Адмиралтейской части города уже все проведали об ужасной новости.

У подъезда военного министерства стояло с десяток карет, несколько курьерских троек, готовых к отъезду, и толпился народ: чиновник с книгой под мышкой, подгулявшие мастеровые, трубочист с лестницей, разносчик саек, чьи-то лакеи в потертых ливреях, салопница, смазливая горничная с моськой, грузная купчиха в цветном повойнике и ковровой шали на плечах, дворовые девушки.

Женщины охали и ахали, мужчины тяжело обдумывали случившееся, глубокомысленно изрекали:

— Н-да...

— Это, брат, не шутка...

И все не спускали глаз с подъезда министерства.

— Мальчишки только и знали одну игру — солдатики да солдатики. Вот и накликали напасть! — протодьяконским басом гудела салопница.

Тут же ходил полицейский с сизым носом. Это был офицер Петров по прозвищу Шкалик. Михаил Илларионович знал его еще

---

[1] Барская барыня — ключница.

со времен своего генерал-губернаторства. Увидя подъезжавшего Кутузова, Шкалик подскочил к карете.

— Здравия желаю, ваше сиятельство! — сказал он, помогая Михаилу Илларионовичу вылезть из кареты.

Полицейский отворачивал голову в сторону, чтобы не дышать на графа. Но Михаил Илларионович все равно почувствовал: от Шкалика несло водочным перегаром и чесноком.

— Здоро́во, Петров! (Михаил Илларионович чуть не сказал: «Здоро́во, Шкалик!») Ну, что тут?

— Война, ваше сиятельство. Эй, расступись! Посторонись! — кинулся он к толпе.

Народ послушно раздался в стороны. Несколько человек сняли шапки. Михаил Илларионович, глядя под ноги, медленно шел по неровной булыжной мостовой к министерству.

Сзади за ним слышался шепот:

— Кутузов! Кутузов!

— Михайло Ларивонович!

В вестибюле и комнатах министерства стоял дым коромыслом. Бегали писаря и ординарцы, толпились военные.

Кутузов не пошел к самому Горчакову. Он узнал все тут же, в приемной. Толпа генералов и штаб-офицеров окружила одного из адъютантов Горчакова, корнета Прахова, — он был в курсе новостей.

Оказалось, что пять дней назад, в среду 12 июня, Наполеон без объявления войны, по-воровски, перешел через Неман у Ковны. А в это время император Александр собирался на бал к Беннигсену, в его дворец в Закрете.

— А где это такое — Закрет? — спросил кто-то.

— Закрет — загородный дворец на берегу реки Вилии, в очень живописном месте. В нем раньше жили иезуиты, — объяснил Кутузов.

— Свято место пусто не бывает, — вполголоса сказал стоявший рядом с Кутузовым иронический, горячий генерал Бегичев.

— Император еще до бала получил известие о переправе, но бала не отменил.

— Ему балы да бабы — превыше всего! — продолжал Бегичев.

— И что же, где наша первая армия? — спросил генерал Меллер-Закомельский.

— Отступает к Свенцянам.

При этих словах корнета все невольно глянули на большую карту Российской империи, висевшую на стене.

— Почему же отступают? — вырвалось у кого-то возмущенно.

— А что же делать? Ведь наши армии разобщены, — ответил Кутузов. — Вторая армия Багратиона — где?

— У Волковыска, — сказал корнет.

— А левый фланг Барклая?

— Шестой корпус Дохтурова — у Лиды, — не задумался корнет Прахов.

— Ну вот, стало быть, между ними верст сто будет, — подходя к карте, сказал Кутузов. — Пока что делать нечего, надо отходить...

— Неужели же император пойдет в эту мышеловку — в дрисский лагерь? — спросил кто-то с отчаянием.

Михаил Илларионович не ответил, а пошел к выходу. Все было ясно: жребий брошен!

III

Теперь каждый день приносил новости. Новости были невеселые: первая армия отступала, а от второй не имели никаких известий.

Теперь курьеров из армии ждал весь город. С утра до позднего вечера у здания военного министерства толпился встревоженный народ. Тут стояли не только какие-либо праздные, жившие по соседству, случайно проходившие мимо: нянька с ребенком, мальчишка, посланный за чем-то хозяином в лавку, старуха, бредущая в Казанский собор. Сюда шли специально, нарочно, шли с Коломны и Охты, с Мещанских, Литейного и Васильевского. Шли все: купцы, ремесленники, дворовые, чиновники, военные, духовные. Больше всего околачивалось в толпе лакеев и горничных — господа отправляли их сюда каждый день с единственной и определенной задачей: узнать, что сегодня привез из армии курьер.

Много времени проводили здесь кутузовские Марина и Ничипор.

Марина, конечно, узнавала новости быстрее флегматичного тугодума Ничипора, но Марине было все равно: что «дивизия», что «дирекция», что Двина, что Днепр. Ничипор же тоньше разбирался в этих делах и не принимал слышанного на веру так, как делала легкомысленная Марина, а относился к сказанному критически. Одним словом, Марина олицетворяла собою чувство, а Ничипор — разум.

Теперь Михаил Илларионович чаще подходил к карте, чем раньше, подолгу сидел, наклонившись над ней с циркулем в руке, думал. Он переносил карту с собой из спальни в столовую, из столовой в кабинет.

Его беспокоило прежде всего отсутствие у русских четкого, единого плана ведения войны. Александр I всегда и во всем любил неопределенность. Он предпочитал не выражать точно и ясно своего отношения к предмету или вопросу, чтобы потом, при нужде, можно было бы отпереться и свалить всю вину на другого.

Александр так хотел быть всегда чистым! Александр не забывал, что ведь он — «ангел»!

Но план Наполеона был ясен любому ученику кадетского корпуса: вбить клин между первой и второй русскими армиями, разбить Барклая-де-Толли и Багратиона поодиночке. Тем более что Наполеон располагал значительным перевесом в силах.

И оборонительные рубежи были только Западная Двина и Днепр. Это значит: Рига — Полоцк — Витебск — Орша — Могилев — Смоленск.

Затем Михаила Илларионовича очень беспокоило положение Багратиона. Где находилась вторая армия, какие Багратион получил указания от Александра I, когда плана-то вообще не было, Кутузов не знал. Не вызывало сомнений одно: если Барклай отступает, то это же приходится делать и Багратиону. И чем дальше шел на восток Барклай, тем все больше увеличивался разрыв между первой и второй армиями и тяжелее становилось положение Багратиона.

Но Кутузов хорошо знал напористого, энергичного князя Петра Ивановича. Он не забыл его замечательной ретирады в войне 1805 года и не терял надежды на любимого суворовского «Петрушу».

С того дня, как Марина и Ничипор принесли известия, что наша армия идет на Дриссу, Михаил Илларионович стал просыпаться раньше Катеньки. Она еще сладко, чуть всхрапывая, спала в своем голубом французском чепчике, который назывался «утраченная невинность». Михаил Илларионович осторожно, чтобы не разбудить жену, вставал, надевал туфли, набрасывал на плечи турецкий парчовый халат и, взяв карту, тихонько уходил в кабинет.

Дрисский лагерь — этот мешок, эта ловушка — беспокоил Кутузова больше всего. Он был так похож на лагерь великого визиря на левом берегу Дуная, где Михаил Илларионович уничтожил все отборное войско султана.

Михаил Илларионович смотрел на карту.

Прежде всего — дрисский лагерь не на главном направлении. Он не защищает ни Петербурга, ни Москвы. Наполеон может вообще оставить против него заслон и спокойно идти куда угодно. «А вы сидите тут, прижатые к реке, как турки на Дунае!»

В случае отступления из дрисского лагеря мостов, конечно, не хватит.

Хуже и придумать нельзя.

Если бы Наполеон хотел устроить западню для русской армии, он не смог бы придумать лучше, чем выдумал выживший из ума прусский барон фон Фуль.

Было противно смотреть на карту! Михаил Илларионович не выдерживал, бросал циркуль на стол и, заложив руки за спину, начинал ходить из угла в угол.

Злил этот высокомерный неуч, избалованный бабушкин внук, упрямый, как осел, Александр! Неужели он запрет свою армию в дрисский лагерь? Это будет разгром хуже аустерлицкого!

Неужели не найдется никого, кто бы объяснил, разжевал Александру всю гибельность, преступность дрисской ловушки?

Кутузов отлично понимал, что Александр совершенно нетерпимо относится к чьим бы то ни было указаниям и советам, особенно в военном деле, которое считает своим прирожденным и давно изученным.

Михаил Илларионович невольно перебирал в уме свиту царя. Вольцоген — друг и единомышленник Фуля. Аракчеев — холоп и трус, не скажет ни слова. Армфельд и Беннигсен — типичные ландскнехты: сегодня служат одному государю, завтра будут так же служить другому.

Но неужели не видит опасности, не думает о ней умный и честный Барклай? Он же настоящий полководец!

Багратион сказал бы: он по-грузински пылок и горяч, но Багратион далеко...

А настроение в столице стало мрачным. В салонах — ни шуток, у питейных домов — ни песен, ни балалайки.

Вместо разговоров о том, что капотики из крепа цвета трубочиста уже считаются вульгарными и какой пленительный и притом чисто русский голос у Менвьель-Фодор («Ведь вы знаете, душенька, она же родилась в России!»), вместо разговоров о том, что барыня вчерась высекла повара Василия за пересоленные «каклеты» и что, вишь, как время-то бежит — уже июль, как сказано: «Плясала бы баба, да макушка лета настала», — всюду — в гостиных и у ворот — велись одни невеселые, непривычные разговоры.

Судили-рядили, конечно, о нем, о Бонапарте, будь он неладен. Вверху говорили:

— Напрасно тогда император не отдал за Бонапарта своей сестры Екатерины Павловны.

А внизу — о том же, но несколько иначе:

— Бонапартий идет скрозь нашу землю в гости к своему тестюшке, папе римскому. Жена у него — колдунья: заговаривает огнестрельное оружие. Потому-то французы и побеждают. А сам Бонапартий — волшебник: знает все, что о нем думают.

Говорили разными словами, но, в сущности, сходились на одном: поносили Бонапарта. И во всем винили Тильзит. В гостиных сетовали, зачем Александр пошел тогда на поклон к Наполеону: все равно не помогло, а в людских сожалели: крестил царь в Нёманреке Бонапартия, да мало — нехристем так и остался!

Всех тревожило одно: идет война, а куда от нее побежишь? У господ не хватало денег, а у челяди — воли.

Уныние и страх усугубляли бежавшие из Риги. Ежедневно к городским шлагбаумам подъезжали десятки карет, колясок, повозок и телег с семьями дворян и их челядью, с сундуками, корзинами, с

мамками, горничными, лакеями, спасавшимися от войны из Риги в Петербург.

А время хоть и томительно, но шло. Смешно было читать в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Его императорское величество в присутствии своем в городе Вильне соизволил отдать следующие приказы...» — когда в Вильне давно сидел Наполеон.

1 июля курьер прискакал в Петербург уже из Дриссы: император Александр все-таки привел первую Западную армию в эту западню.

Михаил Илларионович окончательно помрачнел и перестал разговаривать; ходил по кабинету, стоял в раздумье у окна, барабаня пальцами по стеклу, или лежал на диване, закрыв глаза. Ворочался, молчал, но не спал. И ночью спал мало. Екатерина Ильинишна, проснувшись от какого-нибудь стука, видела: Миша сидит на постели или у раскрытого окна — любуется прозрачной и призрачной белой ночью. Он даже как-то осунулся. Екатерина Ильинишна не трогала мужа, понимая его состояние, и не старалась разговорами отвлечь Мишу — знала по опыту многолетней совместной жизни, что в таком настроении, какое было у него сейчас, ничего не добьешься: человек окончательно замкнулся в себе.

В следующие дни, когда армия стояла у Дриссы, от курьеров и ямщиков слышали одно: Наполеон перед войной отправил в Россию сотни шпионов — недаром во многих городах прошлым летом возникали пожары. Шпионов достаточно развелось всюду, и первый из них — Барклай-де-Толли.

Рассказывали, что с каким-то полком все время шла женщина. Один солдат вздумал на привале приударить за ней, хотел обнять, женщина стала вырываться, платок съехал с головы, и солдаты увидали, что у женщины голова-то стриженая. Ее схватили и обнаружили: это мужчина...

— Русский народ — добрый, доверчивый, Аким-простота, — рассудили слушавшие.

Вскоре выяснилось, что главные силы Наполеона подходят уже к местечку Глубокому, а Багратион — в Несвиже.

После того как первая Западная армия очутилась в Дриссе, Михаил Илларионович с досады не прикасался к карте. А теперь глянул: Дрисса — Несвиж — около трехсот верст. Разрыв между первой и второй армиями с первоначальных ста верст уже достигал трехсот!

Вспомнилось (рассказывал Алексей Иванович Горчаков, узнавший это от пленного французского офицера), как хвалился Наполеон: «Барклай и Багратион больше не увидят друг друга!»

«Удастся ли Петру Ивановичу прийти раньше французов в Минск?» — думал Кутузов.

IV

Ничипор вошел в кабинет и остановился: барин спал на диване. Теперь по ночам он спал скверно — мало и как-то тревожно, сон не приносил ему отдыха, и Михаил Илларионович, махнув на все рукой, ложился после обеда соснуть часок-другой.

Ничипор не знал, что делать — и будить жалко и новость-то уж больно интересна: русская армия оставила укрепленный дрисский лагерь.

Ничипор каждый день слышал, как барин сокрушался, что первая армия засела в этой ловушке. Он тоже вспоминал, как в таком же лагере на Дунае погибла отборная армия великого визиря. И вот теперь Ничипор принес барину долгожданную приятную новость, а он спит.

Денщик на всякий случай кашлянул.

Михаил Илларионович тотчас же проснулся и сел.

— Ну что? — с тревогой спросил он, глядя на Ничипора и Марину, которая выглядывала из-за денщика.

— Мабуть, позавчера наши оставили энтую, как ее, Дрысю...

— Оставили Дриссу? — оживился Кутузов. — Как, с боем? Сражение было?

— Нет, ваше сиятельство, стражения не было, наши сами ушли без боя. Не пондравилось. А боя не было — французы еще далече, за Полоцком, — затараторила Марина.

— И куда же наша армия движется?

— Идет в энтот... — начал Ничипор.

— Идет в Витьбеск, в Витьбеск движется, — сказала Марина.

— Эге ж, я и кажу: в Вытебск!

— Вот это здорово! — обрадовался Михаил Илларионович. — Ну-ка, расскажите подробнее, как дело было?

— Ты, Марина, не лезь поперед батька в пекло, не перебивай мене. Я сам их сиятельству как следует доложу! — обернулся к горничной денщик.

Марина обиженно поджала тонкие губы и стала обдергивать платье, делая вид, что эти слова к ней не относятся.

— Шо ж, стоимо мы, звесно, я, потим — она, — пренебрежительно кивнул на Марину Ничипор. — Семен, денщик того генерала, как его...

— Денщик генерала Сукина, что в Новой Голландии, в красном доме живут, и жена у них такая светлая блондинка, Елена Ивановна, — не выдержала, вмешалась Марина.

Ничипор не сказал ничего, только сердито глянул на нее.

— И я кажу: Сукина! И до нас подойшол лакей Козодавлева, Спиридон. Вот стоимо, разговариваем час и другий, а кульера всэ нема.

— Да что ты тянешь, рассказываешь от потопа! Говори про курьера! — возмутился Кутузов.

— Та я ж, ваше сиятельство, за кульера и кажу.

— Нет, лучше пусть она рассказывает! — показал на Марину Михаил Илларионович.

— Хорошо, ваше сиятельство, я сейчас все вам как надо быть представлю! — выступила вперед Марина, а Ничипор смущенно чесал затылок и смотрел на горничную так, как смотрит собака на жужжащую перед ее носом надоедливую муху.

— Вот стоим мы, ваше сиятельство, и час, и второй, и третий...

— Не бреши: трех часов не стоялы!

— Нет, стояли! Мы пришли, только полуденная пушка в крепости ударила. А когда закричали в толпе: «Едет, едет!» — я глянула: на миралтейских часах было десять минут четвертого! Кульер, ваше сиятельство, такой молоденький, с усиками, такой великатный, нарядный, как картинка: курточка у него в талию, малиновая, грудь расшита шнурами, исподние, простите, красные. Козодавлевский Спиридон говорил: лейб-гвардии улан!

— И не улан, а гусар. Знает твой Спиридон. Стильки у него в словах правды, як у козы хвоста! — буркнул Ничипор.

— Да перестанете ли вы наконец спорить! — прикрикнул Кутузов.

— Вот выскочил энтот улан из повозки, а на нем, бедненьком, пыли, не приведи Господи! И на курточке, и на сапожках, и на шапке. А шапка у него с хвостом! Стал, бедненький, встряхиваться! — засмеялась Марина, манерно поджимая губы, точь-в-точь, как барыня Екатерина Ильинишна.

— На кой черт мне знать, сколько на курьере было пыли? Рассказывай, что он говорил!

— Как выскочил кульер, все к нему так и бросились: да что, да как? Господин улан, ваше благородие, расскажите на милость, где наша армия, где французы? Он встряхивается и кричит: «Наша армия, кричит, ушла из лагеря, из энтой»... простите, ваше сиятельство, — стыдливо улыбаясь, сказала Марина. — Право, я не смогу сказать...

— А еще берешься рассказывать! — укоризненно посмотрел на нее Ничипор. — Из Дрыси...

— Ну и что ж дальше? — торопил Кутузов.

— И вот он отвечает: ушла, отвечает, оттеда, как Ничипор сказал. Тогда у офицерика спрашивают: а куда, спрашивают, ваше благородие, идет наша армия? Так он уже в дверях министерства крикнул: «В Вильню!»

— То есть как это в Вильну? — удивился Михаил Илларионович.

— Эх ты, ворона! Не в Вильню, а в Вытебск! — поправил Ничипор.

— И это все, что вы узнали?

— Все, все, ваше сиятельство!

— А чого ж бильш треба?

— Э, от вас толку не добьешься! Поеду сам. Беги, Марина, скажи, пусть запрягут лошадей, а ты, Ничипор, давай одеваться! — с необычайной легкостью засуетился Кутузов.

— Ваше сиятельство, кареты нет, — вернулась через минуту Марина.

— А где же она?

— Барыня уехала.

— Куда?

— К девице Жорж.

— Ах, черт ее, эту девицу! — вспылил Михаил Илларионович. — Пусть запрягут кого угодно и во что угодно! Беги, да поскорее!

Марина побежала распоряжаться насчет лошадей, а Ничипор стал помогать барину одеваться. Михаил Илларионович уже ни о чем не расспрашивал, а весело напевал:

Скучно было б расставаться
И любезных покидать,
Если б мы не шли сражаться
И злодеев побеждать...

Сенатор, генерал от инфантерии, граф, Кутузов вынужден был ехать в военное министерство в дребезжащей от старости, скособоченной коляске, запряженной парой плохоньких, разномастных лошаденок, на которых возили из Невы воду.

На этот раз Кутузов пошел к самому Алексею Ивановичу Горчакову и узнал от него все подробности об оставлении укрепленного лагеря у «Дризы», как в последнее время печатали «Санкт-Петербургские ведомости».

Прибыв с армией в Дриссу, Александр I продолжал наивно верить, что лагерь очень крепок: царь считал себя полководцем, но не видел вещей, которые увидел бы толковый унтер-офицер.

Все генералы свиты, кроме Фуля и его единомышленника Вольцогена, понимали гибельность этой затеи. Понимали, что в дрисском лагере русская армия будет отрезана от хлебных южных губерний и прижата к бесплодному северу и морю. Все возмущались, негодовали, но никто не решался сказать о никчемности плана Фуля самому императору. Русским генералам говорить это Александру было совершенно невозможно: царя почему-то всегда больше задевало, если о каком-либо недочете в армии говорил русский человек.

Сказать царю всю правду о дрисском лагере решился служивший на русской службе сардинский инженерный полковник Мишо. Он через генерал-адъютанта князя Волконского попросил у императора аудиенции.

Александр выслушал Мишо и поехал с ним посмотреть все недостатки на месте. Замечания Мишо были основательны и верны. Укрепления оказались очень слабыми, к левому флангу вплотную подступал лес, за которым мог свободно укрыться неприятель, внутри лагерь прерывался оврагами, спуски к четырем мостам через Двину были так круты, что не только орудия, но даже повозки приходилось спускать на руках.

Александр, приехав в лагерь, не видел в нем недостатков, но теперь, после того как умный и добросовестный Мишо на месте указал на них, разъяснил все, до императора наконец дошло. Вернувшись с осмотра, Александр созвал всю свиту и устроил нечто вроде совещания. Мишо должен был повторить при всех свой разбор недостатков дрисского лагеря.

Никто из свиты не возражал ему. А резкий и прямой генерал-адъютант маркиз Паулуччи так и заявил в лицо Фулю, что дрисский лагерь мог выдумать либо сумасшедший, либо изменник.

Фуль сидел взлохмаченный и красный. Он с упрямством тупого человека продолжал отстаивать свою правоту. Вольцоген поддержал его.

Александр, с юности привыкший скрывать свои чувства, не показал виду, что все это ему весьма неприятно. Но лагерь все-таки пришлось бросить и принять разумное предложение Барклая: идти на соединение с Багратионом.

Тут же были произведены перемены: начальником штаба первой Западной армии Александр назначил генерала Ермолова, а генерал-квартирмейстером — полковника Толя.

Карл Толь учился у Михаила Илларионовича в кадетском корпусе.

«Что ж, Карлуша был способный мальчик!» — думал Кутузов, едучи в хорошем настроении домой от Горчакова.

Главная опасность, которой Михаил Илларионович боялся больше всего, миновала.

V

Огромное значение ухода первой армии из дрисского лагеря понимали только военные, широким же кругам Петербурга было безразлично, стоит ли армия в Дриссе или идет к Витебску.

На них ошеломляющее, тяжелое впечатление произвело другое. После того как на правой стороне Двины остался один слабый

корпус под командой второстепенного генерала Витгенштейна, а где-то там, за Двиной, таились грозные, несметные полчища Наполеона, петербуржцы почувствовали себя тревожно.

Москву могут защищать обе армии — Барклая и Багратиона, а Петербург — только Витгенштейн. Положение северной столицы казалось очень ненадежным. Страх усугубило распоряжение императора председателю государственного совета Николаю Салтыкову, которое Александр дал, уходя из Дриссы. Александр приказал Салтыкову вывезти в глубь страны из Пѣтербурга следующее: святыни Александро-Невской лавры, государственный совет, Сенат, Синод, министерские департаменты, архивы, учебные заведения, банки, Монетный двор, Эрмитаж с его коллекциями, лучшие статуи из Таврического дворца, Сестрорецкий оружейный завод, статую Суворова и оба памятника Петру — у Инженерного замка и на Сенатской площади. Александр писал, что памятники Петру нужно вывезти, так как Наполеон, «в предположении вступить в Петербург», собирается увезти их во Францию, как увез из Венеции четырех бронзовых коней с площади Святого Марка и коней с Бранденбургских ворот в Берлине.

Эта страшная новость в один день облетела весь город. О ней заговорили всюду:

— Уж если сам государь допускает, что Наполеон может прийти в Петербург, то дело дрянь!

Знать, дворяне, купечество стали собираться в дорогу, на восток, а простой народ мог только сетовать.

— Господ черт не возьмет: они унесут от Бонапартия ноги, а мы останемся тут на растерзание! — говорили на улицах, рынках, папертях, в банях.

Уныние охватило всю столицу.

В присутственных местах царили сутолока и неразбериха. Все дела сразу остановились. В канцеляриях и коридорах стояли настежь раскрытые шкафы, на столах и на полу громоздились горы связок и папок, по лестницам, неуважительно громко переговариваясь, экзекуторы и сторожа волокли ящики и сундуки. Пахло пылью, мышами и сургучом. Слышался визг пилы и стук молотков. Учреждения спешили отослать куда-нибудь подальше на восток архивы, а кое-кто из начальства отправлял заодно и свое имущество — картины, фарфор, бронзу.

На Неве, у пристани, против здания Сената и Синода, стояло несколько больших барж: готовились увозить памятник Петру Фальконета.

Но памятник остался на месте.

К сенатору Голицыну, которому была поручена отправка памятника, пришел почт-директор Булгаков и рассказал свой не-

обычный сон. Будто он шел мимо памятника, и бронзовый конь вдруг сорвался с камня и, звонко цокая копытами, понес своего всадника на Каменный остров, где жил император. Увидев Александра, бронзовый Петр сказал: «Не бойся за Петербург — я охраняю его. Доколе я здесь, Петербург вне опасности!»

Голицын решил не вывозить памятника.

О чудесном сне почт-директора Булгакова тотчас же узнала вся столица. Не проходило дня, чтобы на церковной паперти или на рынке не возникал бы вдруг тревожный слух:

— Бабоньки, памятник-то Петру Великому увезли вчерась!

— Что ж это, как в каноне: «Коня и всадника в море Чермное»?..

— Не может быть!

— Ей-богу! Селедочница Дарья своими глазами видела — увезли родимого! Один камень оставши!

— Окаянные!

— Охти мне!

— Пропали мы!

— Спаси, Царица Небесная!

И на следующий день к Сенатской площади потянулись откуда-нибудь с Тринадцатой линии Васильевского острова или от Аларчина моста бабы. Подходя к Исаакиевскому собору, они уже издалека с тревогой всматривались, вытягивая шею, приставив козырьком ко лбу ладонь. Убеждались, что и конь, и всадник, и змея, и камень — все на месте.

— Стоит, целехонек, слава тебе Господи! — крестились бабы и, успокоенные, уходили домой.

А для Кутузова, для всех, разбирающихся в общей военной обстановке, пришла из ставки еще одна приятная новость: император оставил армию.

Александр всюду и везде хотел быть первым. Когда он в апреле уезжал из Петербурга в армию, в Вильне льстецы говорили ему, что он, как Петр Великий, становится сам во главе русских войск. А теперь волей-неволей приходилось сознаться, что никакого Петра из него не получилось. Александр только мешал своим присутствием, связывал по рукам и ногам командующего первой армией Барклая-де-Толли и отнюдь не облегчал положение Багратиона. Своим обыкновением во всех делах стоять как бы в стороне, наблюдателем («моя хата с краю...»), но все-таки стоять «над душой» каждого из командующих армиями, император делал невозможным проведение единого плана войны. Это давно понимала вся ставка, но этого упрямо не хотел понять сам царь.

Еще в Вильне государственный секретарь адмирал Шишков составил письмо к царю, в котором убеждал его уехать из армии, однако не решался вручить написанное Александру. В ставке все шептались об этом, судили и рядили о том, что император не командует сам всеми армиями и в то же время не назначает единого главнокомандующего. Но никто не хотел взять на себя такую рискованную миссию. Каждый знал, что этот улыбающийся, по виду такой кроткий и ласковый человек в одно мгновение может выпустить страшные когти.

Дальновидный, осмотрительный Шишков вспомнил, что государь как-то сказал ему, Аракчееву и Балашову по-всегдашнему неопределенно и уклончиво: «Вы бы трое иногда собирались бы и о чем-нибудь между собою рассуждали».

Шишков воспользовался этим и предложил Балашову и Аракчееву подписаться под письмом к царю. Балашов сразу согласился, а Аракчеев сразу же заупрямился. На все доводы Шишкова и Балашова Аракчеев отвечал:

— Что мне до отечества? Мне дороже всего — жизнь государя. Скажите: будет ли в опасности государь, если и дальше останется при армии?

— Конечно, конечно, — поспешил уверить льстеца и подхалима хитрый министр полиции. — Наполеон атакует и разобьет нас, и, что будет с государем, кто знает. Ведь при Аустерлице его величество чуть не погиб!

Объяснять Аракчееву опасность пребывания на войне не приходилось. Аракчеев был храб только на вахтпараде, где мог спокойно вырывать усы у провинившихся солдат, а под пулями и ядрами стоять не любил. Последний довод Балашова показался недалекому Аракчееву убедительным. Он не только подписал письмо, но вечером сам положил его на письменный стол императора.

В письме, между прочим, говорилось:

«...нет государю славы, ни государству пользы, чтобы глава его присоединилась к одной только части войск, оставляя все прочие силы и части государственного управления другим».

Опытный литератор, хорошо владевший выспренним церковнославянским языком, Шишков воспользовался ораторским искусством Феофана Прокоповича, написав р письме:

«Феофан о Петре I, вдавшемся опасности наряду с прочими, сказал: «Вострепетала Россия единою смертию вся умрети боящеся. Ежели прямой долг царей есть жить для благоденствия вверенных им народов, то едва ли похвально допускать в одном своем лице убить целое царство».

Одним словом, опять сыграли на сравнении с Петром Великим, сыграли на грубой лести.

Хотя прошло всего лишь два месяца, как сановные льстецы говорили, что Александр, отправляясь к армии, поступает, как Петр Великий, но теперь все сделали вид, будто забыли это, и с такою же настойчивостью утверждали обратное: если Александр покинет армию, он уподобится Петру Великому. Они сравнивали Александра с Петром перед Нарвским сражением, когда Карл XII угрожал нашествием на Россию и Петр уехал из армии в Москву.

Александр был не настолько глуп, чтоб не понять создавшегося положения. От него ждали точного решения: или — или. Подавив в себе обиду, он согласился уехать из армии, он «жертвовал» своим самолюбием. Уезжая, Александр I снова, в который раз, применил свой излюбленный ход: не назначил главнокомандующего всеми армиями.

Первой армией командовал военный министр Барклай-де-Толли, но он был младше в чине командующего второй армией генерала Багратиона.

Неопределенность, путаница и неразбериха продолжали существовать всюду.

Из ставки у Полоцка Александр написал воззвание не к Петербургу, а к «первопрестольной столице нашей Москве».

В Петербурге народ толпами стоял у желтых листков, расклеенных повсюду, слушал, как священники читают воззвание в церквах. Тяжелые обороты старой славянской речи были понятны немногим. Простой народ отлично уразумел только первые грозные, не затемненные никакими словесными красотами, фразы:

«Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество».

Это народ понимал и уходил возмущенный и готовый к отпору и мщению.

Кроме воззвания к Москве, Александр дал большой манифест об организации народного ополчения. Текст манифеста, как и всех других, был написан литератором, статс-секретарем Александром Шишковым. Ему удалось найти сильные, воодушевляющие народ слова, которые тотчас же заучили наизусть и стали повторять все:

«Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина».

Александр взял с собою в Москву Аракчеева, Балашова, Шишкова и флигель-адъютанта Чернышева. Все осиное гнездо иностранцев, интриговавших друг против друга, во главе с развенчанным Фулем, среди которых не было недостатка в наполеоновских шпионах, осталось при армии.

Перед отъездом император пришел проститься с Барклаем. Он застал военного министра осматривающим коновязи кавалерии. Прощаясь с Барклаем, Александр сказал:

— Поручаю вам свою армию. Не забудьте, что другой у меня нет; эта мысль не должна покидать вас!

Царские слова звучали как предостережение, как угроза.

Александр ехал в Москву, чтобы, по его словам, «поджечь тамошний дух».

Может быть, он ждал, что в «первопрестольной» народ попросит его стать во главе всей русской военной силы? Ведь в конце манифеста говорилось о том, что в Москве «избран будет Главный над всеми Предводитель».

VI

И в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

Пушкин. «Полководец»

Михаил Илларионович снова не расставался с картой — его волновало трагическое положение второй армии: удастся ли Багратиону уйти от наседавших со всех сторон французских войск и соединиться с Барклаем?

Соединение обеих армий было в данный момент самым важным и острым вопросом.

Сведения, получаемые в Петербурге о второй армии, были скудны и отрывочны, но все-таки позволяли следить за тем, как Багратион самоотверженно, настойчиво и ловко пробивается на восток.

Даву раньше Багратиона занял Минск, и Петру Ивановичу пришлось круто повернуть на юг, на Бобруйск.

«Ох, и достается же бедному князю!» — думал Кутузов, глядя на карту.

Первая армия спешила от Полоцка к Витебску навстречу Багратиону,

До Петербурга докатились рассказы о героическом бое седьмого корпуса генерала Раевского с превосходящими силами врага у деревни Салтановка, когда Багратион пытался пробиться на Могилев.

Все с восхищением передавали рассказ о том, как на плотину у Салтановки Раевский вывел двух своих сыновей, шестнадцатилетнего Александра и одиннадцатилетнего Николая, и вместе с ними

повел войска в атаку; как Александр попросил у такого же шестнадцатилетнего подпрапорщика-знаменосца: «Дайте я понесу знамя» — и услышал в ответ гордое: «Я и сам умею умирать!»; как потом корпус Раевского, прикрывая переправу Багратиона через Днепр у Старого Быхова, отражал атаки корпусов Даву и Мортье, и офицеры и солдаты, получившие по две раны, возвращались после перевязки в бой, «как на пир».

Багратионовым солдатам не уступали в самоотверженности и храбрости солдаты Барклая.

Через день Петербург только и говорил о бое в Островне, под Витебском. Здесь покрыли себя славой дивизии Коновницына и Остермана. Здесь Коновницын на вопрос одного генерала, терпевшего урон в людях: «Что делать?» — ответил: «Не пускать врага». А Остерман в подобном же случае сказал: «Стоять и умирать!» Русские армии мужественно отбивались от наседавшего, численно превосходящего врага.

Храбрость и самоотверженность русских солдат и офицеров не удивляли никого — так было всегда. Но в этой войне на помощь армии поднялся весь народ — в городах и селах, оставляемых врагу, тотчас же появлялись партизаны. Русская деревня встречала непрошеных гостей так же, как и белорусская: вилами, косами, топорами.

Тысячи безвестных героев делали в тылу врага то, что делала на поле боя армия: отстаивали свою независимость.

Русские солдаты были готовы стоять грудью за каждую пядь родной земли, но им приказывали отступать. За месяц войны Россия отдала врагу территорию больше Пруссии. Отступления не понимал никто — ни солдаты, ни офицеры. В русской армии еще жил дух Суворова, многие солдаты носили измаильские кресты. И отступать армии было тяжело, непривычно и странно.

Сам собою напрашивался вывод: в командовании завелся предатель, он нарочно пускает врага разорять русскую землю. И первое подозрение, конечно, падало на командующего первой Западной армией Барклая-де-Толли. Прежде всего потому, что он был «немец». Русский народ исстари не любил разбираться в национальных тонкостях и всякого нерусского считал просто немцем.

В штабе Барклая было много офицеров с нерусскими фамилиями. Достаточно назвать одних его адъютантов: Рейц, Клингер, Келлер, Бок. Острый на язык Ермолов, недолюбливавший Барклая, шутил, что когда он приехал в главную квартиру, то нашел у Барклая только одного чужестранца, и то Безродного.

Никто не знал, за какие заслуги Барклай-де-Толли так быстро пошел в гору из совершенно неизвестных генералов: сначала был назначен военным министром, а потом командующим первой армией. С его именем не соединялось ни одно крупное, блестящее сражение, которое сверкнуло бы победным фейерверком, как Полтава, Ларга-Кагул, Рымник или вчерашний кутузовский Рущук. До назначения на пост военного министра широкие круги народа вовсе не слыхали имени Барклая-де-Толли.

То, что Барклай-де-Толли честно служил в штаб-офицерских чинах, что участвовал во взятии Очакова, командовал егерским полком и бригадой, знали только военные. В Петербурге его еще более или менее помнили по войне со шведами, когда Барклай-де-Толли перешел с пушками по льду пролива Кваркен и занял шведский город Умео, но и только.

И чертами лица и характером он резко отличался от русских. Он был по-немецки педантичен и сух, не допускал непринужденного обхождения с подчиненными, всегда держался строго официально. Это не Румянцов и Суворов, не Кутузов, Багратион и Милорадович. С теми любой поручик иной раз чувствовал себя на равной ноге. Они могли по-товарищески есть с солдатом из одного котелка походную кашу и курить из одного кисета табачок.

Не то было с Барклаем-де-Толли. Он был так же скромен и неприхотлив в личной жизни, как и те генералы. В походе спал под открытым небом и мог обедать на барабане, но вместе с тем держал себя с младшими на определенной дистанции. Барклай-де-Толли не любил говорить, был холоден в обращении и чопорен и, как очень верно подметил Ермолов, «лишен дара объяснения».

Его честность, прямота, строгое отношение к себе и справедливое к другим, неутомимость в походе, необычайная храбрость и такое же самообладание в бою, стратегическая талантливость — все эти отменные, бесспорные качества не делали его любимцем армии. Он не был тем полководцем, который может зажечь и увлечь солдат на немыслимую атаку, невероятный штурм. К тому же он плохо говорил по-русски. Александр уехал из армии. Острослов Нарышкин шутил по этому поводу:

— Один ум — хорошо, два — лучше, но одна неопытность и одно неискусство гораздо лучше двух!

Александр уехал из армии, но императорская главная квартира осталась. Она кишела врагами Барклая-де-Толли. Первым из них был генерал Беннигсен, обиженный тем, что царь не поставил его во главе армий. Дальше шли все те же Фуль, Вольцоген, Армфельд, Римский-Корсаков и прочие завистники и интриганы. Они кри-

тиковали каждый шаг Барклая и наушничали на него брату царя Константину Павловичу, который почему-то не любил державшегося с достоинством, не шедшего ни у кого на поводу Барклая-де-Толли.

За всегдашнюю сосредоточенность и серьезность, за прямую, степенную, величественную поступь, за аккуратность, за требовательность ко всему и всем безалаберный Константин Павлович прозвал Барклая-де-Толли «тетя Барклай» и зло говорил, что господин военный министр больше похож на вдову министра, чем на самого министра.

Генералы из императорской главной квартиры восхищались этим солдафонским остроумием и, не стесняясь присутствия самого Барклая, отпускали разные колкости по его адресу. Барклай слышал их пересуды. Он спокойно слал к сплетникам своего адъютанта, прося их быть поскромнее.

Глупая кличка «изменник», пущенная из императорской главной квартиры, сразу же распространилась по армии. Какой-то штабной каламбурист неумно прозвал Барклая-де-Толли «Болтай да и только», воспользовавшись тем, что длинная, необычная для русского слуха фамилия получала при этом видимость какого-то осмысления. Этот каламбур быстро подхватили все, хотя он был в полном противоречии со здравым смыслом: Барклая-де-Толли никак нельзя было назвать «болтуном». Он говорил мало и никогда не говорил попусту.

Но армия, в течение двух месяцев уходившая без боя на восток, окончательно изнервничалась в неведении. Армия нуждалась в ясном объяснении того, что происходит, почему русские отступают. А вместо этого Александр «воодушевлял» войска витиеватыми приказами, которые для солдат были совсем невразумительными. Вот к императору вполне подходила бы такая кличка: «Болтай да и только».

Барклай понимал, что полководец должен говорить с солдатами. Раз он попытался сделать это — подъехал на привале к одному полку и спросил у обедавших солдат:

— Хороша ли каша? (Барклай долго думал, как и что сказать солдатам.)

— Хороша, ваше высокопревосходительство, да кормить-то нас не за что: не защищаем родную землю!

Барклай не нашелся что ответить и с тем уехал. Дружеской беседы с солдатами не получилось.

Положение Барклая-де-Толли с каждым днем, с каждой верстой отступления на восток становилось невыносимее: он всюду видел недоверчивые, озлобленные лица и за спиной все чаще слышал незаслуженное им, страшное слово «изменник».

Глава вторая

НАПОЛЕОН ТОРОПИЛСЯ

Император, который так желал сражения, пускал в ход всю свою энергию и весь свой гений, чтобы ускорить движение.

Арман де Коленкур
(о Наполеоне)

Было бы счастьем для него, если бы он не принял впоследствии порывов своего нетерпения за вдохновения своего гения.

Ф. Сегюр

I

Наполеон торопился.

Он всегда был безудержно стремителен и нетерпелив, а в эту кампанию, как говорил Коленкур, «хотел, чтобы все летели на крыльях».

Его лихорадочная поспешность сказалась с первых шагов похода.

Выбирая место для переправы через Неман, Наполеон пустил коня в галоп. Императорский кровный «араб» испугался выскочившего из-под ног простого белорусского зайца, бросился в сторону, и Наполеон упал с коня на землю.

В Вильне он вынужден был задержаться на восемнадцать дней. Он не столько был занят устройством Литвы, сколько ждал подходившие новые полки. Восемнадцать дней показались ему как восемнадцать месяцев.

Наконец он смог двинуться дальше. Путь шел через местечко Глубокое, через которое когда-то проходили полки Петра Великого и Карла XII.

В Глубоком, устраивая склады припасов, снарядов и оружия, Наполеон прожил пять дней. Местечко Глубокое очень понравилось Наполеону и его штабу. Наполеон жил в большом кармелитском монастыре. Окна его двух комнат выходили на маленькое озеро у холма и на цепочку живописных прудов, вырытых руками крепостных монастыря.

В Глубоком Наполеон узнал о том, что русские оставили Дриссу.

Он поспешил к Витебску.

Наполеон продвигался с армией день и ночь. Шел через оставленные жителями, сожженные, а иногда только еще горящие белорусские деревни, местечки и уездные городки, шел в тучах пылаю-

щей пыли, задыхаясь в томительном июльском зное, напоминавшем нестерпимой жарой, безводьем и песками трудные египетские переходы. Его даже не очень беспокоило, успеет ли Багратион соединиться с Барклаем или нет. Пусть соединяются, лишь бы не избегали решительного сражения! Отступление русских было Наполеону горше всего.

И вот 14 июля вечером он настиг Барклая у Витебска.

Наконец он мог видеть собственными глазами первую русскую армию, так много дней ускользавшую от него.

Войска Барклая стояли вот тут, у этого белорусского города, название которого Наполеон путал с Висбаденом. (У Наполеона была изумительная память на факты и местность, но он очень плохо запоминал собственные имена.)

Не успел Наполеон увидеть огни города и многочисленные бивачные костры русской армии, располагавшейся у Витебска, как закричал из кареты:

— Д'Альба ко мне!

Наполеон не нуждался в просвещенном сотруднике, в начальнике штаба, который помогал бы ему разрабатывать оперативные планы. Он все задумывал и решал сам. Он не терпел советчиков.

«Я один знаю, что мне делать!» — говорил он.

Всегда смеющийся, маленький, толстый маршал Бертье, обер-егермейстер, военный министр и начальник штаба, был нужен Наполеону только затем, чтобы иметь под рукой необходимые сведения и рассылать распоряжения. Но без директора топографического бюро инженера-географа Луи д'Альба не проходила ни одна самая мелкая военная операция. На обязанности д'Альба лежала подготовка всех картографических материалов. Он наносил на карту направления маршей и операционных линий. Иногда глубокой ночью, получив интересную депешу, Наполеон приказывал: «Позвать д'Альба!» На основании новых сведений д'Альб делал доклад Наполеону. Они понимали друг друга с полуслова.

И сейчас, когда Наполеон увидал так близко неприятельскую армию, первый, кто понадобился императору, был не начальник штаба, вечно грызущий ногти Бертье, не какой-либо из маршалов, а скромный инженер-географ.

Пока ставили полосатые императорские палатки из бело-синего тика, пока носили в них из фургонов мебель и походную библиотеку Наполеона в трех ящиках красного дерева, Наполеон тут же, в карете, рассматривал с д'Альбом при бледном свете угасавшей вечерней зари карту Витебска и окрестностей. Потом, когда походный кабинет Наполеона был готов, д'Альб перенес карту туда, на большой стол, на котором уже ярко, горели в тяжелых золоченых канделябрах свечи.

Наполеон, маленький и толстый, навалился грудью на карту: он не доставал до нужного места, а длинноногий д'Альб стоял, наклонившись над столом, как журавль.

Они смотрели на этот город, название которого так не давалось Наполеону, на реку Западную Двину и маленькую, чуть протянувшуюся на карте тонким волоском, дрянную и, вероятно, порядком пересохшую за эти жаркие июльские дни речонку Лучесу. Потом Наполеон ушел ужинать и спать: он спал в сутки не более шести часов. А д'Альб остался поднимать красками на карте реки, возвышенности и дороги, чтобы к утру карта с обозначениями частей своих и вражеских сил, наколотыми разноцветными булавочками, была готова.

Ночь Наполеон спал тревожно. Он просыпался каждый час и каждый раз звал Бертье, чтобы спросить:

— Русские не ушли?

Когда перед светом Бертье в седьмой раз уходил от императора, Наполеон, накинув на плечи халат, проводил принца Невшательского до выхода: он хотел удостовериться лично, что русские стоят на месте. Огни в русском лагере не горели уже так ярко, как с вечера, но костров было по-прежнему много. Наполеон спокойно лег заснуть еще на часок.

Чуть рассвело. Французский и русский лагеря еще спали, на аванпостах не слышалось ни шума, ни одиночных выстрелов. Над Двиной и Лучесой стлался густой туман, предвещавший и на сегодня такой же, как вчера, безоблачный, знойный день, а Наполеон был уже на ногах.

— Лошадь! — приказал он.

Лакеи и пажи кинулись из палатки.

Служить при Наполеоне было нелегко. В императорской главной квартире — ни в Париже, ни на театре военных действий — не придерживались правильного режима. Ни для чего не существовало определенного времени. Все делалось неожиданно, непредвиденно. Все должны были находиться начеку. Среди сотен депеш, которые приходили во всякое время суток, император мог получить глубокой ночью депешу, в связи с которой у него вдруг возникало какое-нибудь решение. И он подымал среди ночи всю свою громадную квартиру — сотни людей. Ночью ему работалось легче, чем днем, и он называл эту способность «присутствием духа после полуночи».

Уже вчера все знали, что раз неприятель стоит в двух шагах, то император завтра чем свет поедет сам на рекогносцировку. И обер-шталмейстер Коленкур с вечера отдал распоряжение, чтобы все было готово. Берейторы Фагальд и Амодрю с двух часов ночи держали оседланным, только с ослабленными подпругами, белого арабского жеребца Евфрата, подарок шаха персидского. Не-

выспавшиеся Коленкур, Дюрок, д'Альб, генерал-адъютант Рапп и вся положенная свита, ежась от утреннего холодка и зевая, сидели наготове. И потому Наполеону не пришлось ждать ни минуты. По первому его слову Евфрат и весь почетный эскорт стояли у палатки.

Наполеон, поддерживаемый Коленкуром и мамелюком Рустаном, сел в седло. За последние годы он отяжелел и садился, по выражению берейтора, жилистого и упругого Фагальда, «как мясник». Император имел такой вид, будто висит на седле. Поводья он держал в правой руке, а левая оставалась свободной. Наполеон всегда был посредственным наездником, чтобы не сказать больше. На галопе он болтался в седле, как мешок, часто терял стремя, но притом ездил отчаянно: по скатам обязательно пускался в галоп, рискуя сломать себе шею.

Впереди императора ехали два офицера-ординарца, сзади — Коленкур, Дюрок, д'Альб с картой, сложенной так, чтобы по первому требованию было удобно подать ее императору. За ними ехал мамелюк Рустан и паж, который вез зрительную трубу и сумку с походным письменным прибором и компасом. Все замыкали двадцать четыре конногренадера в голубых мундирах и медвежьих шапках.

Взошло солнце, проснулись оба лагеря — французский и русский, задымились потухшие за ночь костры: обе армии готовили завтрак. Позавтракав, занялись обычным соседским разговором — перестрелкой. Сначала это были одиночные ружейные выстрелы, потом понемногу к ним присоединила свой голос и артиллерия.

Но Наполеон приказал немедленно прекратить эту дуэль — сегодня он не хотел начинать сражение: еще не подошли некоторые колонны. И пусть войска отдохнут — завтра хватит всего: и пуль и ядер!

Он тщательно обследовал местность, осмотрел подходившие войска и только после полудня вернулся в лагерь — потный, запыленный, но сияющий и довольный: Барклай твердо стоял на месте, не обнаруживая желания уходить из-под Витебска.

— Видимо, собирает силы. Пусть! Завтра они будут наши! — сказал Наполеон, слезая с седла.

Во французском лагере все были такого же мнения: завтра — бой, завтра — второй Аустерлиц, конец войне, иначе нечего и думать!

У полосатых императорских палаток, окруженных караулом из двадцати гренадер с офицером и барабанщиком, весь день царило оживление. Сюда мчались с разных сторон ординарцы и курьеры с депешами, приезжали маршалы и генералы, отсюда с места в карьер скакали адъютанты императора.

Наполеон несколько раз за день выходил из палатки. Положив зрительную трубу на плечо гренадера, изнывавшего у императорской палатки на солнцепеке, он смотрел на Витебск и русский ла-

герь. За городом на обширной равнине располагались русская пехота, кавалерия, артиллерия. Там все было как вчера.

Откуда-то с аванпостов прошел слух, что в Витебске находится сам император Александр I.

Вечером в каждом полку прочли воззвание Наполеона:

«Солдаты! Настал наконец желанный день. Завтра дадим сражение, которого давно ждали. Надобно покончить этот поход одним громовым ударом! Вспомните, солдаты, ваши победы при Аустерлице и Фридланде. Завтра неприятель узнает, что мы не выродились».

Армия встретила воззвание с восторгом: всех утомил изнурительный, надоедливый безрезультатный поход, в котором главными врагами были пока что жара да нехватка продовольствия. Все надеялись, что завтра война будет окончена, и ликовали. А ужин еще больше поднял общее настроение: император приказал выдать к ужину каждому солдату по стакану русской водки, хотя полагалось бы французам повиноваться только духу чести. И лагерь долго не мог утихнуть — всюду слышались песни, шутки, смех.

Вечером егеря разложили у палатки императора громадный костер: Наполеон любил огонь. Император ходил возле костра, сам подбрасывал в огонь ветки и смотрел, как сотнями огненных пчел летят в ночное небо золотые искорки. Наполеон с удовольствием думал, что Барклаю этот радостный, буйный огонь, вероятно, кажется зловещим — русская армия отступала, озаряемая отблесками горевших сел и деревень. А Наполеону эта яркая, неукротимая стихия была по душе.

В десять часов вечера император пошел спать. Прощаясь с Мюратом, приехавшим с аванпоста, он сказал:

— Завтра взойдет солнце Аустерлица!

Наполеон еще раз глянул из палатки на русский лагерь, огней в нем было так же много, как и вчера.

II

Наполеон проснулся от какого-то шепота в переднем отделении палатки. Уже серело, близился рассвет. Император сел на постели, потирая жирную волосатую грудь.

— Рустан, кто там? — неторопливо окликнул он.

— Ваше величество, это я...

Полотняный полог палатки откинулся, и в спальню вошел, мягко звякнув золочеными шпорами, длинноногий Мюрат. На нем был гусарский доломан зеленого бархата, перевитый золоты-

ми жгутами, малиновые рейтузы, расшитые золотом, и сапоги из желтой кожи.

— Что такое?

— Барклай ушел... — виновато сказал Мюрат. Он до сих пор боялся своего могущественного шурина и держался с ним почтительно и подобострастно.

В первую секунду Наполеон не понял — так ошеломило его это невероятное сообщение.

Он машинально всунул ноги в отороченные мехом сафьяновые туфли и так, в одном белье, маленький и взъерошенный, подскочил к длинному, нарядно одетому Мюрату.

— Куда ушел? Кто ушел? Повтори! — в ярости потряс кулаками император. Он жестикулировал как истый корсиканец.

Мюрат чуть откинул назад курчавую голову, как бы спасаясь от маленьких властных рук императора.

— Ваше величество, русские ушли из-под Витебска. Их лагерь пуст, — сказал он чуть дрогнувшими, пухлыми, как у негра, губами. Его простодушное бурсацкое лицо выражало растерянность, будто он на уроке богословия спутал святого Оригена с блаженным Августином.

— Не может быть!

Император забегал по палатке. Потом крикнул: «Трубу!» — и бросился мимо ошеломленного Мюрата к выходу. Быстрый мамелюк Рустан сунул ему в руку зрительную трубу. Наполеон, в одном белье, с растрепанными волосами, обнажавшими начинающуюся лысину, выбежал из палатки. Часовые едва успели взять ружья на караул.

Лагерь только просыпался. Вчера было приказано всем надеть парадную форму. Люди чистились и по-разному готовились к бою. Мнительные, скептики и пессимисты прощались с этим, пусть чужим, но все же голубым небом, с росистым утром, а весельчаки и оптимисты ждали славы и не указанных в воинском уставе победных витебских удовольствий.

Наполеон в туфлях, без лосин и сюртука казался более коротким и толстым. В его фигуре не было ничего воинственного: таким мог быть с виду купец, фермер или не успевший облачиться аббат. Но все-таки это был Наполеон,

Он не положил трубу на плечо ближайшего из гренадер, которые стояли вокруг палатки императора на карауле, а держал ее сам. Пухлая рука дрожала.

Наполеон видел дым потухших костров, и больше ничего. На равнине у города, где вчера стояли люди, кони, пушки, теперь было совершенно пусто...

Наполеон кинулся в палатку мимо испуганных придворных и штабных. Он был страшен: брови сжаты, лоб избороздили морщины, глаза метали молнии, ноздри раздувались.

Наполеон швырнул на стол трубу:

— Одеваться!

При одевании Наполеон был всегда особенно нетерпелив и привередлив. Его нужно было одеть быстро и ловко, так, чтобы в одежде ничто и нигде не стесняло, не давило, не беспокоило. Император с трудом переносил, как на него надевают сорочку из лионского полотна, застегивают на нем белые суконные рейтузы, натягивают на ноги сафьяновые сапоги. Сам он не делал ничего, не застегивал ни одной пуговицы, ни одного крючка. Он только подставлял Рустану или камердинеру то голову, то руку, то ногу, позволяя слугам делать с собой что положено.

Но если — o di immortales![1] — сорочка вдруг на какую-то долю секунды встопорщилась на спине, в одно мгновение не облекла его, император рвал сорочку обеими руками, швыряя ошметки на пол или в лицо слугам.

Он не переносил, если ему вдруг казалось, что где-то что-то давит, стесняет, жмет. Особенно трудно было одевать императора в дни торжеств и парадов. Рустан заранее сговаривался с главным камердинером Констаном, как и кому действовать, с какой стороны лучше стоять с той или иной частью императорского туалета, как бы угадать каждое движение Наполеона, чтобы скорей надеть на него сорочку, рейтузы, вицмундир, сюртук. Надеть, но не задерживать, не побеспокоить, не разгневать.

А сегодня император вспомнил молодые лейтенантские годы. Он делал больше, чем Рустан. И Рустан сегодня делал все как-то медленно и неловко.

Наполеон, пыхтя от напряжения, сам схватил с полу сафьяновый сапог, натянул его кое-как на ногу. Рустан, стоя на коленях, пытался помочь, поправить косо надетый сапог. Наполеону казалось, что мамелюк только мешает. Он толкнул Рустана в грудь ногой. Рустан шлепнулся на ковер, а император уже нетерпеливо стучал каблуком в землю, чтобы нога вошла в сапог. Наконец он был готов умываться.

За палаткой шептались, суетились. Уже вся свита была в сборе — Коленкур, Дюрок, Бертье, Меневаль. Смущенный Мюрат все еще стоял, ожидая приказаний разгневанного императора.

— Это обман! — кричал, причесываясь перед венецианским зеркалом, император. — Они не могли так уйти! Восемьдесят ты-

---

[1] О бессмертные боги! *(Итал.)*

сяч — не иголка! Это же скифы! Они подстерегают нас. Идти с предосторожностями. Чего же вы стоите, Иоахим? Летите!

Это было Мюрату по сердцу — лететь вихрем на врага легче, нежели выслушивать нотации великого шурина!

Он взмахнул своей огромной, украшенной каменьями шляпой, на которой развевался пучок белых страусовых перьев, вскочил в седло и умчался, зеленый, малиновый, золотой. Только пыль завилась столбом.

Спустя несколько минут после отъезда неаполитанского короля к аванпостам помчался сам император — он все-таки не хотел поверить, что Барклай ушел.

Сегодня Наполеон влез на коня много проворнее, чем вчера. Он так стремительно садился в седло, что чуть не перевалился на противоположную сторону, как было уже однажды с ним, если бы тогда берейтор Амодрю не удержал его. Наполеон горел от нетерпения и злости.

Берейторы едва успели вставить носки императорских сапог в золоченые стремена. Наполеон галопом поскакал к Лучесе мимо палаток гвардии и итальянских полков вице-короля Евгения Богарне.

Коленкур, Дюрок, Бертье и свита с конвоем поспевали за ним.

Туман над Лучесой рассеивался.

Кавалерия Мюрата переходила вброд. Наверху уже мелькали синие мундиры польских улан и маячили бело-малиновые флюгера их пик. За ними колыхались зеленые мундиры вестфальских улан с бело-голубыми флюгерами.

Наполеон поднялся на правый берег Лучесы, где вчера располагался лагерь Барклая. Сегодня здесь было совершенно пусто. Русские не оставили ничего.

Наполеон внимательно и не спеша осматривал все места расположения русских, где были коновязи кавалерии, где стояла артиллерия, где размещалась пехота. Свита зажимала носы платками, а император ехал шагом, присматриваясь ко всему, что оставили русские, — хотел по этим следам представить себе численность и состояние армии Барклая.

Русские ушли, отдав без боя еще один город. Но куда направились их главные силы, по какой дороге двигалась их артиллерия, никто не знал. Отставших и пленных у русских не было, а о шпионах, которые могли бы спокойно жить в Витебске, французы своевременно не позаботились.

Солнце еще не поднялось, а императору уже стало душно. Он почувствовал, как вспотел под треуголкой лоб.

Наполеон потребовал карту. От Витебска шло пять дорог: одна на Петербург и четыре на Москву.

— Послать в город! Найти жителей! — обернулся Наполеон к Мюрату.

Эскадрон польских улан на рысях пошел к Витебску, подымая пыль.

Наполеон несколько минут ездил по оставленному лагерю, потом слез с лошади. Четыре конноегеря конвоя тотчас же спешились и образовали квадрат, в котором, не глядя ни на кого, короткими шагами ходил мрачный император.

Конноегеря все время старались сделать так, чтобы, куда ни вздумал повернуть император, он находился бы в центре их квадрата. Эти причудливые перемещения четырех конноегерей напоминали фигуру какого-то танца вроде кадрили. Свита давно привыкла к нему и смотрела с полным безразличием.

Маршалы, последовав примеру императора, слезли с коней и стояли, ожидая приказаний.

Наполеон был зол.

Город лежал перед ним, но где же делегация? Где магистрат, где знатные жители этого дрянного белорусского городишки? Конечно, это не Москва. Это только... как его? Он опять забыл название: Висбаден, Висбаден. Нет! Витебск! Город, каких он много перевидал на своем веку полководца, которые сдавались вот так, без боя, на его милость!

Наполеон остановился, глядя на Витебск.

Плохонький, небольшой, невзрачный городишко. Только река немного красит его. Это не германские Дрезден, Лейпциг. Каменных домов в нем совершенно мало. Вон несколько высоких церквей. Да на окраине какие-то кирпичные казармы и снова церковь. Наполеон уже угадывал: это, по всей вероятности, монастырь.

А в остальном — все сплошь черные, деревянные дома, которые так ярко и быстро горят!..

И вдруг из-за города, из-за мрачных, тяжелых лесов, которые опоясали горизонт, показалось солнце. Ослепительное, безжалостное, яркое солнце.

Ах, оно было сегодня не похоже на солнце Аустерлица!

— Ну да скоро ли они там, эти польские уланы?

Император в нетерпении подошел к спокойно стоявшему белому Евфрату. Рустан и берейтор Фагольд помогли Наполеону сесть в седло.

В свите произошло движение, маршалы и генералы зашептались. Взоры всех устремились на дорогу к городу: польские уланы скакали назад, только развевались флюгера на пиках.

Уланы возвращались не одни: у нескольких из них на луке седла сидели какие-то черные фигуры.

Через минуту-другую перед Наполеоном и его блестящей, раззолоченной свитой предстали шестеро перепуганных насмерть,

дрожащих, старых, заросших до ушей бородами, евреев. Это не были «отцы города», члены магистрата, знатные богачи. Это были обыкновенные витебские жители, очевидно мелкие торговцы и ремесленники, каких Наполеон уже привык видеть в Польше, в Литве и Белоруссии.

Испуганные и пораженные таким невиданным зрелищем, такой массой сверкающих мундиров, лентами и орденами генералов, евреи упали перед Евфратом на колени. Умный конь косил на них своими большими карими глазами.

Несчастных евреев, вероятно, схватили в синагоге: они были в черно-белых полосатых накидках поверх длинных люстриновых лапсердаков и в туфлях на босу ногу.

Конечно, никаких ключей у них не было и в помине.

Евреи что-то быстро говорили, о чем-то умоляли.

— Что они говорят? — спросил Наполеон.

— Они просят о помиловании, ваше величество, — сняв шляпу, почтительно ответил польский капитан Вонсович, прикомандированный к главному штабу в качестве переводчика.

Когда евреи подошли к императору, он оставил свое положенное место в эскорте и поместился поближе, хотя и не впереди Коленкура, Бертье и Дюрока, но все-таки впереди начальника конвоя генерала Гюно.

— Они просят помиловать город? А где же ключи? Где ключи, черт возьми!

Евреи только с удивлением переглянулись. Поднимая плечи и брови и выражая на лице полное недоумение, они заговорили все сразу. Они показывали рукой на город.

— Ваше величество, они говорят, что в Витебске нет городских ключей. Витебск не закрывается. В него можно просто въехать.

— Болван! — вырвалось у императора.

Он посмотрел в зрительную трубу на город.

«Вот приказать Сорбье ударить по этим лачугам из его тридцати семи гвардейских гаубиц, тогда и ключи нашлись бы!» — подумал он, но сказал:

— Может ли Витебск прокормить мою армию?

— Они говорят, город бедный, немноголюдный, — перевел Вонсович.

— Ну, мы сами поищем! Пусть говорят, куда ушли русские.

Услышав вопрос императора, переведенный им по-польски капитаном Вонсовичем, евреи изобразили на своих бородатых лицах еще большее изумление и еще сильнее зажестикулировали.

По одним жестам безо всякого перевода было ясно, что евреи не знают или делают вид, будто не знают, куда скрылась восьмидесятитысячная русская армия.

Наполеон уже не смотрел на евреев.

— Немедля послать по всем дорогам разъезды! — обернулся он к Мюрату, стоявшему чуть позади. — На Петербург, на Саламанку!..

— На Смоленск, — тихо поправил-подсказал Бертье.

Император все продолжал смешивать Смоленск с Саламанкой.

— Немедленно, Иоахим! Поживее!

И, ударив Евфрата шпорами, помчался галопом вниз к Витебску, точно хотел в этот неудачный день свернуть себе шею.

III

Не понимаю, как такой храбрец
мог иногда трусить.

Наполеон
(о Мюрате)

Небрежно бросив свою дорогую шляпу на траву и расстегнув душный доломан, Мюрат сидел на опушке леса и не спускал глаз с дороги — уже прошло три часа, как он послал по всем направлениям кавалерийские разъезды, а еще никто не вернулся.

Рядом с ним полулежал на траве его начальник штаба, маленький генерал Бельяр. Поодаль пестрой кучкой расположились адъютанты неаполитанского короля и ординарцы от разных кавалерийских полков. Большинство адъютантов Мюрата представляли несовершенную, но точную по замыслу копию своего любимого начальника: те же кудри до плеч, то же пестрое роскошество в обмундировании, насколько может позволить скудное офицерское жалованье, и та же кавалерийская удаль и безмерное легкомыслие во взоре.

Неаполитанский король со скучающим видом смотрел на Витебск: разве это город? Если бы дело происходило где-нибудь в Европе, у Мюрата уже к вечеру было бы несколько хорошеньких женщин. Недаром на клинке его дамасской сабли выгравировано: «Честь и дамы». И недаром император шутит, что у Мюрата, как и у влюбчивого Бертье, «полны карманы любовниц». Еще в Вильне были очаровательные польки, а здесь Мюрат проехал по всему городу и не встретил ни одних любопытных женских глаз, ни одной лукавой, манящей улыбки.

В Литве и Белоруссии попадаются красивые еврейки, но у евреев глупый обычай: все замужние женщины должны брить голову и носить парик...

Маркитантки и те отстали в этой немыслимой дороге, а маркитантки у неаполитанского короля все как на подбор.

Неизвестно, что будет, что прикажет император: идти дальше, или придется скучать в этом тоскливом белорусском городке? Все должны решить разъезды, а их нет как нет.

Но вот наконец на дороге показались всадники. По желтым доломанам и красным киверам сразу узнали: французские гусары из бригады Жакино. Мюрат послал их на Петербургскую дорогу, которая проходила вдоль реки Двины. Гусары и их кони выглядели свежими — они только что выкупались в реке.

— Ну как, молодцы? — вскочил на ноги Мюрат.

— Нигде никого, ваше величество. Проскакали чуть ли не десять лье, и хоть бы след.

— Конечно, Барклай отступил не к Петербургу, а к Москве.

Мюрат сделал два-три шага и стоял, глядя вдаль своими безмятежно-голубыми глазами и посвистывая.

Вот едут еще. Синие мундиры без ментика. Это прусские гусары. «Послушаем, что скажут они».

Пруссаки были не такие свежие, как французы, — их путь лежал далеко от воды.

— Какие вести?

— Никаких.

— Почему?

— Не встретили и не видели ни одной души.

— Ах, черт возьми!

Мюрат порывисто схватил с земли свою шляпу и стал обмахиваться ею, как веером.

— Еще кто-то скачет, — сказал, подымаясь с земли, Бельяр.

Издалека можно было различить красные мундиры и красные вальтрапы[1]. Это саксонские легкоконные принца Альбрехта.

— Ну, где настигли? Далеко? — спросил неаполитанский король.

— Не настигли, ваше величество.

— Не может быть!

— Извольте проверить.

— Бельяр, вы видели что-нибудь подобное? — возмущенно спросил Мюрат.

Он вновь швырнул шляпу и заходил широкими шагами в тени берез, то и дело поглядывая на дорогу.

Вдали заклубилась пыль. Вырисовывались пики, веселые флюгера и синие мундиры. Польские уланы. Они были посланы по дороге в Поречье.

— Где русские?

— Русские как сквозь землю провалились! Они пошли другими дорогами.

— Вы что-нибудь понимаете, Бельяр? — спросил Мюрат.

— Понимаю: русские провели нас.

---

[1] Вальтрап — попона, которую кладут под седло.

— Что я скажу императору?

— Это и скажете.

Мюрат ничего не ответил, только взглянул на начальника штаба, как бы говоря: «Попробуй скажи!»

— Еще не все потеряно. Я послал итальянских конноегерей по самой короткой дороге к Москве — на Рудню, — вспомнил он, надевая шляпу.

Мюрат стал кусать ногти, как Бертье. Ему казалось: если бы он сам помчался по какой-либо из этих пяти дорог, то до сих пор уже обязательно увидел бы, нашел бы, настиг бы русских!

Наконец на дороге показался последний разъезд.

— Скорее, друзья, скорее! — прищелкивал от нетерпения пальцами неаполитанский король. — Ну говорите же, что? — издали кричал он егерям.

— Дорога свободна, ваше величество. Русских нигде не видно.

— А следы? Кто шел: кавалерия, пушки? Сколько?

— Как могут быть следы на песке? Шли... Много шло, но мы не видели никого...

— О черт! Коня! — крикнул Мюрат.

Он вскочил в седло, словно бросался в холодную воду — он помчался с докладом к императору. Он мчался, стараясь не думать, что будет, — разговор предстоял не из приятных. Неаполитанский король, бесстрашный в атаке, был трус в императорском кабинете. Мюрат не боялся вражеского клинка, но боялся своей жены Каролины Бонапарт и ее брата — императора Наполеона.

IV

Когда смущенный Мюрат доложил императору, что кавалерийские разъезды нигде не обнаружили следов русских, Наполеон не поверил:

— Не видали на дороге ни одной павшей лошади?

— Нет, ваше величество.

— Не нашли ни одного поломанного колеса?

— Нет, ваше величество.

— Не захватили ни одного отставшего солдата?

— Нет, ваше величество.

— Черт возьми! Да это какая-то армия привидений! — вырвалось у Наполеона. — Кто у них командует арьергардом?

— Генерал Пален.

— Молодец! За такой блестящий отход я дал бы ему орден Почетного Легиона, — говорил Наполеон, быстро шагая по палатке. Шпага била его по ноге.

Наполеону невольно вспомнилось то, что сегодня сказал Коленкур: «Мы, как корабль без компаса, застряли среди безбрежного океана».

«Да, — подумал Наполеон. — Это верно. Мы не знаем, что происходит вокруг: нет ни пленных, ни перебежчиков, ни шпионов. И нет населения: крестьяне уходят в леса».

Наполеон в раздражении бросил треуголку на стол, где широкой скатертью лежала карта, подошел к пологу, отделявшему кабинет от помещения дежурных адъютантов, и приказал:

— Вице-короля и принца Невшательского!

Он продолжал ходить по палатке, не обращая внимания на Мюрата, который стоял, переминаясь с ноги на ногу.

Ни в одной кампании Наполеон не совещался ни с кем. Он всегда все решал сам. И теперь не собирался поступать иначе, тем более что знал: ни Мюрат, ни Бертье никогда не станут оспаривать его решений. Бертье боготворил императора, а Мюрат — боялся.

Бертье прибежал тотчас же, вице-король приехал через несколько минут.

Вице-король неаполитанский Евгений Богарне, талантливый полководец, советовал остановиться, дать отдохнуть войскам, подтянуть обозы. Он передал императору, что солдаты жалуются на быстроту и трудность похода, говорят: «Все, что мы вытерпели во время переходов по солончаковым степям Аравии, на спаленных солнцем возвышенностях Арагонии, в песках Ливийской пустыни, все это мы нашли здесь».

Наполеон знал и видел сам, что армия терпит в трудном походе большие лишения, что надо очень много лошадей, и из-за этого приходится бросать зарядные ящики и обозные фуры, но смотрел на все сквозь пальцы — на войне не без потерь.

— Русский арьергард отошел так, что не оставил после себя никаких следов, но тем не менее ясно: Барклай отступает к Смоленску. Надо подумать, почему он это сделал? Если отступил только для того, чтобы поскорее соединиться с Багратионом, одно дело. Но если русские станут отступать все дальше и дальше, как скифы, которые заманивали в свои безводные, пустынные степи? Не унаследовали ли русские вместе с территорией тактику и стратегию скифов? Ведь надо помнить основное правило войны: не делать того, что хочет противник. Надо организовать завоеванную Литву и Белоруссию и пополнить армию. — Он подошел к карте. — Две реки определяют нашу позицию: Двина и Днестр.

— Днепр, ваше величество, — поправил Бертье.

— Днепр, — повторил за ним Наполеон. — Наш правый фланг будет в... в Бобруйске, — прочел он, — а левый — в Риге. — Ригу он почему-то запомнил. — На всей линии устроим блокгаузы, провиантские магазины, преобразуем этот...

— Витебск, — подсказал Бертье.

— Витебск. Пригласим из Варшавы и Вильны польскую знать. Построим театр, вызовем, как в Дрездене, Тальма и Марс...

Он уже видел себя с очаровательной Валевской...

— Решено: первая кампания в России окончена. Воздвигнем здесь наши орлы! В тысяча восемьсот тринадцатом году нас увидят в Москве, а в тысяча восемьсот четырнадцатом году — в Петербурге. Война с Россией — трехлетняя война!

Он вынул шпагу из ножен и бросил ее на карту.

Маршалы расходились довольные: в императоре говорили разум, логика, говорил гений.

V

Неожиданный отдых у Витебска пришелся солдатам Наполеона по душе. Спокойнее и удобнее было размещаться в обывательских домах, чем где-либо в поле. Не приходилось мучиться с топливом для костров: заборы, сараи, полы, а иногда и окна и двери горели быстро и жарко. Проще обстояло дело с едой и питьем: в походе шагали без воды и без надежды на какую-нибудь еду, а здесь все оказалось на месте.

Артишоков и спаржи на витебских огородах, конечно, не водилось, но зато в изобилии произрастали картофель, редька, лук и огурцы. А в обывательских чуланах, каморках и погребах находили муку, крупу, масло, яйца, мед. Чтобы добыть корову, овцу или свинью, не надо было отряжать вооруженный отряд под командой полковника, с этим легко справлялся один простой гренадер.

Куры беспечно бегали под ногами у старой гвардии, а петух наивно пытался петь на зарядном ящике.

Куриный бульон возбуждал в велите, фузилере и вольтижере[1] больший аппетит, чем вареная репа или кашица из немолотой ржи, которой питались на походе.

В первые дни французы и португальцы, итальянцы и вестфальцы, пруссаки и поляки — все были довольны постоем в Витебске.

В первую неделю не скучал в генерал-губернаторском дворце и сам император. Его захватила работа: он ежедневно отправлял в разные концы Европы около сотни писем.

В белом шелковом китайском халате, с пестрым мадрасским платком, обмотанным вокруг головы в виде чалмы, Наполеон медленно ходил из угла в угол по кабинету. Он диктовал выразительно, но чрезвычайно быстро одно письмо за другим, без всякого перерыва. Секретарь, скромный, тихий Меневаль, и адъютанты ста-

---

[1] Велиты, фузилеры, вольтижеры — пехотинцы.

рались записать все, что диктовал император. Переспрашивать не полагалось.

Иной раз Наполеон сам набрасывал черновики писем. Рустан приносил ему черный кофе, он высылал всех из кабинета и садился за письменный стол. Писал Наполеон своими неразборчивыми, не поспевающими за полетом его лихорадочной мысли закорючками, которые мало походили на слова: у них не хватало половины букв. Сам император не всегда мог прочесть то, что написал минуту назад.

Написав, Наполеон стучал серебряным молоточком по столу: адъютанты должны были немедленно уносить черновики для переписки начисто. Разобраться в этом наборе малопонятных, наспех начертанных значков было очень трудно, но приходилось торопиться: из императорского кабинета вновь доносился настойчивый призывный стук молоточка — уже готов еще один черновик!

Император уделял много времени снабжению армии продовольствием. До сих пор никак не удавалось наладить правильную, регулярную выдачу пайков. Солдаты не получали водки, которая, по словам одного из главных врачей армии Наполеона, «так же полезна для французского солдата, как и для всякого другого». Солдаты, даже гвардия, питались кое-как.

Готовясь к походу в Россию, Наполеон рассчитывал на то, что можно будет воспользоваться неприятельскими запасами, как бывало всюду, но в России редко удавалось захватить провиантские магазины: отступая, русские сжигали их. А жители деревень уходили в леса, унося с собою или спрятав запасы.

Весь транспорт «великой армии» был приспособлен для хороших, шоссированных европейских трактов и сравнительно небольших расстояний. Здесь же от самой Вильны шла тяжелая песчаная дорога с плохими мостами. Тысячи повозок так разбили ее, что фуры, нагруженные сверх меры, зарывались в песок выше втулки колеса, лошади рвали упряжь, выбивались из сил и наконец падали замертво. С каждой верстой обоз катастрофически уменьшался. В придорожных канавах и на обочине дорог лежали с поломанными колесами фургоны, телеги, зарядные ящики.

Такого быстрого, форсированного марша не выдерживали ни повозки, ни лошади, ни упряжные волы. К тому же не хватало фуража. Придорожные луга и поля были покрыты пылью, стоявшей над ними целыми днями. Лошадей не подковывали: походные кузницы остались где-то позади, не было ни гвоздей, ни железа, чтобы сделать подкову. Лошади гибли тысячами.

Запасных подставных лошадей не было. Наполеон рассчитывал, что можно будет реквизировать их на месте, как делали всюду в Европе, но в Белоруссии крестьяне угоняли весь скот в лес.

В походе Наполеон не хотел замечать этого, не любил слушать, когда ему говорили о недостатках. Он надеялся — обозы нагонят, подойдут! Он знал, что его солдаты выдержат все, но не подумал о лошадях. Прекрасный кавалерийский генерал Нансути, в походе и в бою щадивший свои эскадроны, очень метко сказал по этому поводу: «Кони не имеют патриотизма, поэтому их нельзя заставить голодать!»

Наполеон увидал сам, до какого предела дошел развал в войсках. И он со всегдашним своим пылом взялся за реорганизацию армии. В Витебске Наполеон чувствовал себя свежим, был работоспособен, деятелен и неутомим.

Прежде чем принять какое-либо решение, император всегда хотел видеть все сам. Поэтому он ездил осматривать мельницы, где мололи зерно, хлебопекарни, кухни, делал смотр прибывающим частям, а в шесть часов утра ежедневно на площади перед генерал-губернаторским дворцом устраивал большой парад.

Перед дворцом высилась недостроенная церковь, а с разных сторон к площади подходили невзрачные деревянные домишки жителей.

Наполеон велел снести церковь и лачуги, чтобы площадь стала больше. Молодая гвардия в один день управилась с ними.

Наполеон жил в Витебске уже больше недели. Как будто все шло должным образом: войска отдыхали, приводили себя в порядок, тридцать шесть армейских пекарен ежедневно выпекали двадцать девять тысяч фунтов хлеба, постепенно налаживалась выдача рационов, во всех церквах и магазинах работали госпитали, понемногу прибывали в Витебск отставшие обозы и артиллерийские парки, подходили свежие батальоны.

Император ежедневно ездил по окрестностям Витебска, где стояли его войска, и неоднократно заезжал на бывшее место расположения русской армии. Наполеон каждый раз подсчитывал, прикидывал в уме, сколько может быть войск у Барклая. Неизменно получалось, что русская армия состоит лишь из кадровых частей. К тому же Наполеон знал: в русской армии очень много нестроевых, так как русский офицер — помещик. Он привык пользоваться даровыми услугами своих крепостных и держит при себе в полку и в обозе десяток солдат в качестве слуг.

Думая о том, что русская армия невелика, Наполеон невольно приходил в раздражение: какого дьявола сидит он здесь, в этой дыре? Почему приостановил, закончил кампанию, когда еще лето?

В душе он ругал себя за то, что не пошел дальше, как предлагал тогда же Мюрат. Наполеона день и ночь преследовала одна назойливая, навязчивая мысль. Им владело одно страстное желание: окончить войну во что бы то ни стало в этом году.

Он никогда не вел оборонительной войны. Да и французский солдат не способен сидеть в окопе осень и зиму: у него не хватает для этого ни терпения, ни энтузиазма.

Наполеон приказал доставить сведения о русской зиме, расспрашивал о ней у Коленкура, бывшего послом в России. В результате всех собранных данных Наполеон пришел к выводу, что русские холода такие же, как и французские, и что разница между ними заключается только в одном: те холода, которые в Париже держатся две недели, здесь продолжаются двенадцать недель.

— И все-таки — зачем ждать зимы? Лучше всего окончить войну немедленно, одним ударом разгромив русских!

Были дни, когда он ясно видел, что кавалерийские полки сократились почти вдвое, что в результате форсированных маршей от Немана до Витебска он понес столько потерь в людях, как если бы проиграл два сражения.

Но стоило самоуверенному, хвастливому Мюрату прислать напыщенное донесение о разгроме русских в незначительной кавалерийской стычке; стоило прийти из Вильны от министра иностранных дел Маре депеше, из которой явствовало, что вся Европа по-прежнему лежит у ног Наполеона; стоило на утреннем параде отоспавшимся и наевшимся солдатам особенно дружно прокричать «Да здравствует император», как Наполеон возвращался к себе во дворец с определенным решением: «Завтра же идти на врага! Сидеть здесь — преступление и позор!»

В такие минуты его раздражало все: и беспрекословный исполнитель его приказаний Бертье, и заботливый, точный, аккуратный Коленкур, и любимец Дюрок, и слабохарактерный красавец, нравившийся Наполеону своими манерами, Рапп, и возвышенный Сегюр, и генерал-адъютанты, и многочисленные слуги. Император придирался ко всем и всему. И сразу становился «nec affabilis, nec amabilis, nec adibilis»[1], как сказал о нем старый польский магнат, которому Наполеон не понравился своими дурными манерами и резкостью.

Однажды на утреннем параде Наполеон вызвал лейб-хирурга барона Ларрея. Главного хирурга армии не оказалось на месте — он уехал осматривать лагеря войск маршала Жюно. Вместо Ларрея перед императором предстал начальник походного госпиталя толстенький очкастый доктор Паулет.

— На сколько раненых изготовлены перевязки? — спросил император.

— На десять тысяч человек, ваше величество.

---

[1] Нелюбезен, неприветлив, неласков *(лат.)*.

— Сколько примерно необходимо дней, чтобы раненый вернулся в строй?

— Тридцать, ваше величество.

— Где находятся госпитальные припасы и аптеки?

— Остались в Вильне.

— Почему? — ноздри Наполеона раздулись: он уже начинал злиться.

— За недостатком перевозочных средств.

— Следовательно, — закричал на всю площадь Наполеон, — армия лишена медикаментов? И если бы мне вдруг понадобилось лекарство, я не смог бы получить его?

— В распоряжении вашего величества собственная аптека, — с поклоном, робко сказал испуганный Паулет.

— Я — первый солдат армии! Я имею право на лечение в ней! Где главный аптекарь Сюре?

— В Вильне...

— Как? Один из старших медицинских чинов армии не с ней? Я приказываю отправить его в Париж! Пусть отпускает слабительные гулящим девкам с улицы Сент-Оноре! Назначить на его место другого! Чтоб вся госпитальная часть немедленно примкнула к армии! — уже фистулой кричал разгневанный император.

Все понимали, что ученый парижский химик Сюре был меньше всего виноват в усиленных переходах армии и в том, что ему, главному аптекарю армии, не хватило лошадей.

В Витебске Наполеон получил неприятное известие: Турция все-таки заключила мир с Россией.

Наполеон выходил из себя:

— Турки дорого заплатят за свою ошибку. Она так велика, что я не мог даже это предвидеть!

В Наполеоне с каждым днем крепло убеждение, что, остановившись в Витебске, он допустил оплошность. Особенно подействовал на него один мелкий случай. В стычке взяли в плен русского офицера. Пленный на допросе уверял, что Барклай собирался дать под Витебском бой, но его остановило письмо Багратиона, который обещал соединиться с Барклаем в Смоленске.

Это было под вечер в воскресенье.

В шесть часов вечера Наполеон, как обычно, сел обедать. Застольных гостей он не любил, да их и не было. Император обедал только с Бертье. За вторым столом сидели Коленкур, Дюрок, Рапп, генерал-адъютанты. Император ел умеренно, но жадно и быстро. Обед всегда продолжался не более пятнадцати минут. Десерта не полагалось. Император только пил свой любимый шамбертен.

За столом он почти не говорил, но сегодня сказал Бертье, что приехал сюда не для того, чтобы завоевывать эти еврейские лачуги.

— Я пойду в Смоленск! — сказал император, швыряя салфетку на стол. Он встал и порывистыми шагами — что всегда было признаком раздражения — заходил по комнате. Генералы стояли у стола, с изумлением глядя на императора.

— Зачем нам оставаться здесь на восемь месяцев, когда мы можем кончить войну в двадцать дней? Через месяц мы должны быть в Москве. Иначе никогда в ней не будем! Мой план кампании — сражение. Моя политика — успех, — убежденно говорил он.

Наполеон не уходил, следовательно, он хотел знать, как свита примет его решение. Император пытливо смотрел на генералов. Генералы заговорили. Почтительно, но прямо и твердо все стали приводить доводы за то, чтобы остаться на месте.

Дюрок сказал, что русские заманивают в глубь страны и готовят гибель.

Бертье, всегда и во всем соглашавшийся с Наполеоном, поддержал Дюрока. Генерал-адъютант Лобо указал на страшный падеж лошадей.

— Почему мне об этом не говорит неаполитанский король? — спросил Наполеон, хотя сам знал, что Лобо прав.

— Надежда на завтрашний успех мешает неаполитанскому королю учитывать сегодняшние потери, ваше величество, — отвечал Коленкур.

— Я прекрасно отдаю себе отчет во всех сложностях, но кончу поход в Смоленске! — не уступал император.

— И в Смоленске русские не попросят мира, ваше величество, — сказал Коленкур.

Наполеон свирепо глянул на Коленкура. Император полушутя-полусерьезно всегда говорил, что Коленкур, будучи послом в России, обрусел. Генерал-адъютант Дюма напомнил о ненадежности «союзников» — Австрии и Пруссии.

— Если Пруссия изменит мне, я прерву войну с Россией и обращусь на запад. И тогда Пруссия заплатит за все! — стукнул ладонью по столу Наполеон.

Генералы никак не соглашались с опрометчивым решением императора. Даже Бертье, который говорил меньше других, всем своим видом показывал, что он не поддерживает Наполеона.

Наполеона взорвало такое единодушное мнение генералов.

— А-а, я понимаю! — закричал он, бегая по столовой. — Вы хотите поскорее вернуться в Париж к своим любовницам!

Бертье и Коленкур вправе были отнести эти слова к себе: Бертье тратил громадные средства на Жозефину Висконти, которая обманывала принца Невшательского как хотела, а Коленкур рвался в Париж к Адриенне де Канизи, с которой должен был обвенчаться.

— Я слишком обогатил моих генералов! Они думают об удовольствиях, об охоте, о катании по Парижу в своих великолепных

экипажах! Бертье предпочел бы охотиться, в своем Гро-буа, а Рапп — жить в великолепном отеле в Париже. Война им уже опротивела! Будьте же покойны, господа! Я продержу вас в строю до тех пор, пока вам не стукнет восемьдесят лет! Вы рождены на биваке, на нем и умрете!

Генералы стояли удрученные. Не перспективой своей долголетней боевой деятельности и жизни, а тем, что императором снова овладело лихорадочное нетерпение и он упрямо не хочет внимать голосу рассудка!

VI

После обеда император обычно ложился спать, а в час ночи вставал, чтобы отдать приказ на завтра. Сегодня Наполеону было не до сна. Он вызвал к себе главного интенданта, графа Дарю. В руках Дарю сосредоточивалось все: финансы, запасы продовольствия, снаряжение, вооружение. Дарю лучше всех знал состояние армии. Наполеон хотел послушать, что скажет главный интендант.

Это не увлекающийся Коленкур, не впечатлительный Дюрок, не мягкотелый Рапп или поэтический Сегюр: Дарю — трезвый, холодный, здравомыслящий человек.

Император оставил при разговоре с Дарю одного покорного, беспрекословного Бертье, хотя сегодня и он питался возражать Наполеону. Бертье мог пригодиться в предстоящей беседе: у начальника штаба была поразительная память. Наполеон называл Бертье — «ходячий справочник».

Наполеон сказал Дарю о своем решении не оставаться на зимние квартиры в Витебске, а идти дальше.

— Моя армия составлена так, что одно движение поддерживает ее. Во главе ее можно идти вперед, но не останавливаться и не отступать. Это армия нападения, а не защиты! Что вы скажете, Дарю? — спросил он, пытливо глядя серыми глазами на главного интенданта.

Дарю не заставил себя ждать. Он совершенно откровенно заявил императору, что от дезертирства и болезней армия уже уменьшилась на одну треть; что из двадцати двух тысяч лошадей пало в походе восемь тысяч; что войска снабжаются скверно: муки и мяса хватает лишь гвардии, остальные живут впроголодь, питаясь овощами и овсянкой, и потому ропщут; что громадные обозы с разными припасами, походные госпитали и гурты быков не могут поспеть за быстрыми движениями армии; что вокруг Витебска все съедено и на фуражировку приходится посылать за десять — пятнадцать лье. Отряды, которые посылаются за припасами, либо возвращаются ни с чем, либо вовсе не возвращаются: население старается уничтожить их.

— Продуктов не хватает здесь, а что же будет дальше? Дальше идти нельзя. Мое мнение: нужно зимовать в Витебске! — твердо сказал Дарю.

Наполеон покраснел — ему было неприятно слышать это от Дарю. Он встал из-за стола, за которым они сидели втроем, и заходил короткими, быстрыми шагами по кабинету. Наполеон придерживался такого мнения: «Война должна кормить войну». Он привык во всех кампаниях содержать армию за счет побежденных, широко грабя население. На завоеванные, захваченные местности налагалась огромная контрибуция, которую с беспощадным спокойствием методически взимал хозяйственный, лишенный всякой мягкотелости Дарю. После Тильзита в военной кассе Наполеона оказалось триста пятьдесят миллионов франков. Наполеон хвастался, что сможет вести войну пять лет, не прибегая ни к займам, ни к новым налогам. А здесь шли по опустошенным, оставленным жителями городам и сожженным селам.

Стада быков тащились где-то по литовским пескам. Наполеон взял их на всякий случай, про запас. Он был уверен, что и в России, как везде в Европе, он все достанет на месте и сможет написать интендантам, как приказал в Испании, отослать быков назад, потому что продовольствия для армии хватает от реквизиций.

Так было везде, но в России оказалось иное: в России Наполеон нуждался во всем.

Наполеону очень не понравилось, что Дарю тоже советует не идти дальше. Он ходил в раздумье.

А упрямый Дарю, рассказав о положении в армии, предложил императору вопрос, который был на уме у всех, но с которым никто не решался обратиться к императору:

— Простите, государь, я хочу спросить вас: из-за чего, собственно, ведется эта тяжелая война? Не только солдаты, но и мы не понимаем ее цели и необходимости. Воспрепятствовать Англии ввозить в Россию товары? Создать Польское государство? Эти мотивы недостаточны. Война непопулярна ни в армии, ни во Франции.

Наполеону нечем было парировать этот удар. Он старался хоть как-нибудь отговориться:

— Я помирился бы с Александром, но, чтобы помириться, надо быть вдвоем, а не одному. А император Александр молчит. Значит, нам нужна победа! Нужно сражение. В поисках сражения я готов идти до их святого города — Москвы. Я выиграю это сражение! Если же и тогда Александр будет упорствовать, я начну переговоры с боярами. Москва ненавидит Петербург. Я воспользуюсь этим. У московских ворот меня ожидает мир!

Наполеон горячился, возражал, но возражал не столько Дарю, сколько самому себе. В нем самом боролись два желания, два решения: оставаться в Витебске или идти вперед?

Трезвый расчет боролся с азартным риском.

Никакие красноречивые доводы главного интенданта Дарю и гримасы нервничающего принца Невшательского, который безжалостно грыз ногти и в волнении больше чем всегда ковырял в носу, не могли переубедить Наполеона.

— Я прекрасно вижу: вы все думаете о Карле Двенадцатом, — запальчиво говорил император, хотя в последние дни он сам чаще других вспоминал о Карле XII. — Этот пример ничего не доказывает. Шведскому королю было не по плечу такое предприятие. И нельзя из одного случая выводить общее правило. Не правило создает успех, а успех создает правило!..

— Император считает, что все уроки истории писаны не для него, — сказал Дарю удрученному Бертье, когда они глубокой ночью вышли из кабинета императора.

В приказе на следующий день все-таки не было ничего об уходе из Витебска. Наполеон колебался, раздумывал.

Наутро он говорил поодиночке с некоторыми генералами, но все уже знали, что император хочет наступать, и потому угодливо поддакивали ему. Кроме того, генералам жилось в Витебске скучно и не очень сытно. Генералы тоже были не прочь рискнуть: они еще верили в счастливую звезду Наполеона.

Наполеон только ждал какого-либо внешнего толчка.

Вечером 28 июля Наполеон собрался поехать посмотреть, как укрепили мост на Двине. Свита и конвой ждали его у крыльца. Император задержался в кабинете на минуту — он давал инструкции своему ординарцу, лейтенанту д'Опуль, которого отправлял в Островно и Бешенковичи.

Наполеон с трудом запоминал собственные имена, часто путал их, но в остальном у него была поразительная память. Он запоминал такие мелочи, которые, казалось, легче всего забыть, например: сколько пушек находится в каком-нибудь захудалом городишке и чей батальон несет в нем гарнизонную службу. И это он твердо помнил, независимо от того, шла ли речь о гарнизоне, стоящем в городке Испании, Пруссии или России.

Наполеон ходил по кабинету, диктуя одному из секретарей инструкцию для ординарца, а щеголеватый лейтенант Марий-Констанций д'Опуль стоял у порога в лазоревом расшитом серебром ординарском мундире, с черной шляпой в руке.

Наполеон выбирал в ординарцы офицеров из лучших фамилий, хорошо воспитанных, с изящными светскими манерами и недурным лицом.

Д'Опуль внимательно слушал: получив инструкцию на руки, он должен был тут же повторить ее содержание императору.

Наполеон ходил, щелкая пухлыми пальцами по золотой табакерке, и говорил. Иногда он вскидывал голову и смотрел на портрет Александра I, оставшийся висеть в кабинете русского военного губернатора. Александр I был изображен молодым, милым человеком. На портрете он казался искренним, простодушным, а не таким хитрым византийцем, каким был на самом деле.

— Ординарец д'Опуль отправится в Островно, а оттуда в Бешенковичи. В Островне он должен осмотреть, восстановлена ли деревня и есть ли комендант крепости. В Бешенковичах он должен проверить, наведены ли мосты, заменен ли мост на козлах мостом на плотах, потому что первый не вынесет сильного напора воды. Ординарец д'Опуль должен осмотреть больницу, хлебопекарню, магазины. Он должен отметить встречающиеся на пути войска, будь то пехота, кавалерия, артиллерия или обозы. Он должен повидать в Бешенковичах четвертый гвардейский стрелковый полк и Гессен-Дармштадтский батальон, которым я приказал остаться на своей позиции до моих распоряжений. Там должны находиться три орудия. Лейтенант д'Опуль соберет сведения о казаках и о тех деревнях, в которых население расправляется с нашими фуражирами... — диктовал император.

Лейтенант д'Опуль старался не пропустить ни одного слова императора.

При каждом императорском «должен» д'Опуль незаметно загибал один палец. О казаках и враждебности населения было шестым «должен».

— Если понадобится, то д'Опуль может остаться лишний день в Бешенковичах, чтобы все узнать и отправить донесение. Все! — сказал Наполеон.

Секретарь окончил писать и, встав, подал с поклоном бумагу императору. Наполеон взял перо, не читая подписал инструкцию и передал ее д'Опулю.

— Запомнили? Повторите приказ! — сказал он своим отрывистым, резким голосом.

Д'Опуль только начал повторять инструкцию, как в кабинет вошел Бертье:

— Простите, ваше величество, срочное донесение от генерала Себастиани.

— Довольно! — прервал ординарца Наполеон. — Поезжайте! — Затем обернулся к Бертье: — Что случилось?

— Казаки напали на кавалерийскую дивизию Себастиани и потеснили ее, — доложил несколько обескураженный Бертье. (У Бертье не хватило решимости прямо сказать, что Платов опрокинул кавалерию Себастиани и преследовал ее восемь верст.)

— Если русские смогли потеснить целую дивизию, значит, это был их авангард!

— Да, ваше величество, авангард под командой Платова. У нас есть небольшие потери в людях... (Бертье не хотел говорить императору, что казаки взяли в плен триста солдат и десять офицеров и даже захватили всю канцелярию генерала Себастиани.)

Но, к удивлению начальника штаба, упоминание о потерях не разгневало и не огорчило императора: он улыбался. В улыбку у Наполеона обычно складывался рот и щеки, а глаза оставались такими же строгими.

Наполеону было приятно услышать, что русские напали на Себастиани. Значит, Барклай соединился с Багратионом. Они оба стоят на правом берегу Днепра и хотят помериться силами с французами?

Что ж, это хорошо!

Наполеон кинулся к карте, лежавшей на столе, и наклонился над ней.

— Себастиани стоит у Инкова? — спросил он у Бертье, хотя сам прекрасно помнил об этом.

— Да, государь.

Наполеон перенес булавки с зелеными головками, обозначавшие русские войска, к Инкову, а свои — красные, желтые, синие — отнес чуть на запад, к Рудне.

Он пододвинул кресло, сел к столу и углубился в карту, забыв обо всем: о мосте через Двину, о вечерней прогулке, об ужине.

Начальник штаба постоял несколько минут у стола, потом на цыпочках вышел из кабинета.

Во дворце все затихло.

Свита разошлась по своим комнатам, конвой процокал копытами по плацу к конюшням.

Стемнело. Мамелюк Рустан в мягких войлочных туфлях неслышно внес в кабинет и осторожно поставил по краям стола зажженные канделябры.

Император сидел над картой, подперев голову руками. Он изредка нюхал табак или, откинувшись на спинку кресла, в раздумье барабанил пальцами по этим Бабиновичам — Рудне — Расасне; на минуту выскакивал из-за стола, быстро ходил по комнате, смотрел в окно на густое, уже по-августовски темное небо, на котором зажглись звезды, и снова спешил к столу, словно боясь, что, пока он стоит у окна, карта вдруг исчезнет, а с ней исчезнет и то, что он задумал.

Так он просидел над картой до зари.

Наполеон придумал простой, но гениальный в своей простоте план. Если напасть на русских с фронта, они могут еще продол-

жить свое «скифское» отступление. Надо сделать так, чтобы заставить их принять бой.

«Саламанка» осталась незащищенной. (Наполеон упорно называл Смоленск Саламанкой: он никак не мог запомнить, привыкнуть к странно звучащим для него русским названиям — Минск, Пинск, Слуцк, Смоленск. Он говорил: у этих русских более чем варварские названия местностей.) Надо скрытно — благо здесь много лесов — подтянуть войска к Расасне. У Расасны перейти на левый берег Днепра и быстрыми маршами (люди и лошади ведь хорошо отдохнули за две недели в Витебске!) через Ляды и Красный выйти к Смоленску. (Сейчас он просто читал все эти чуждые названия по карте.)

Надо отрезать русские армии от Смоленска, и тогда русским волей-неволей придется принять бой.

Он снова был весел, бодр и полон надежд — опять в поход!

Всегдашнее нетерпение, страстное желание побед и славы безудержно, безрассудно гнали Наполеона вперед.

VII

Наполеон тщательно готовился к походу в Россию. Недаром он писал в 1811 году маршалу Даву: «Никогда еще до сих пор не делал я столь обширные приготовления».

Он подготавливал свою армию и разузнавал все о русской.

Он изучал топографию будущего театра боевых действий и внимательно читал книги по истории России: изучал войны Ивана Грозного и Петра Великого. Официальные дипломаты и бродячие комедианты, иезуиты и торговцы доставляли ему свежие сведения о России. Он знал количество русских пушек лучше фельдцейхмейстера Аракчеева и характеристики русских генералов — лучше императора Александра.

Но ни Коленкур, пробывший послом в Петербурге четыре года, ни данцигский комендант Рапп, к которому стекались первоначальные сведения, ни польский генерал Сокольницкий, руководивший разведывательным бюро при штабе Наполеона, не предупредили его о твердости русских. Наполеон старался учесть все: интриги иноземных проходимцев в свите Александра, ошибки Карла XII в войне с Петром, климат России, но так и не подумал о русском человеке.

Сначала все шло, как планировал Наполеон. Армия, скрыто переправившаяся у Расасны через древний Борисфен, Днепр, неудержимо, нескончаемым мощным потоком, покатилась к Смоленску. Вся дорога, обсаженная березами, была запружена артиллерией, обозами и пехотой. Ее центральную часть занимали тяжело

громыхающие пушки, зарядные ящики, фургоны, повозки, коляски. По бокам, на тесных интервалах, густыми колоннами уверенно и бодро шагала пехота. С обеих сторон дороги, на одной высоте с пехотой, цветистыми волнами колыхались бесконечные эскадроны лихой кавалерии.

В такие часы Наполеону было тесно и душно в покойной, уютной карете. Хотелось почувствовать себя не императором, а полководцем. Он садился на белого, лоснившегося от жира Евфрата и пропускал мимо себя свои победоносные войска. Но у никому до сих пор не известного плохонького деревянного городка Красный (Наполеон, конечно же, называл его по-своему — «Креси») французскую армию ждала большая неприятность: русский человек в темно-зеленом мундире, пропахшем порохом, пылью и потом многих походных и боевых дней, дал о себе знать. Одна пехотная дивизия под командой генерала Неверовского, о котором не слыхал не только Наполеон, но даже генерал Сокольницкий, задержала все движение «великой армии» больше чем на сутки.

В авангарде шел быстрый Мюрат с тремя корпусами резервной кавалерии.

— О, мы живо разделаем их под белый соус! — самоуверенно заявил маршал, увидев, как генерал Неверовский уходит из Красного.

Русские построились в каре и отступали по этой широкой дороге, с двух сторон обсаженной березами и огражденной рвами.

Мюрат бросал в атаку одну кавалерийскую дивизию за другой. Гусары, уланы, карабинеры, драгуны, конноегеря налетали на русских со всех сторон, как неистовый шквал. Они старались врубиться в каре, но каждый раз были вынуждены откатываться назад: русские отбивали их ружейным огнем.

Мюрат свирепел. Мюрат не мог себе представить, что он с пятнадцатью тысячами всадников не сможет сломить вдвое меньшую численностью русскую, пехоту. Ведь при Йене он расстроил, разметал каре прусской пехоты. Ведь его кавалерийский генерал Ласаль взял крепость Штеттин, и Наполеон тогда шутил: «Вы берете крепости кавалерией. Мне придется уволить инженеров и перелить пушки!» Ведь Монбрюнн при Сома-Сиерре с одним уланским полком захватил пятнадцатипушечную батарею, укрытую за крутым горным хребтом, к которой вела узкая тропинка, где могло встать лишь три коня в ряд. А здесь? Что здесь?

На равнине жмутся несколько полков жалкой пехоты. Это стадо овец! Чепуха!

— Вперед! Сметем этих каналий! — размахивая саблей, кричал он перед фронтом очередной дивизии, которую бросал в атаку на пехоту Неверовского.

Мюрат был чертовски упрям. Он не хотел ждать конную артиллерию, отставшую в пути. Он хотел пробить каре пехоты одной конницей. Он за день сорок раз упрямо атаковал неустрашимого Неверовского и сорок раз не имел успеха. Мюрат охрип от крика, потемнел от пыли и возмущения.

Русские же теряли людей, но не поддавались и не сдавались. Они отступали в полном порядке и не пропускали французов в Смоленск. И только ночь прекратила безумные атаки неаполитанского короля.

В штабе Наполеона отдавали должное стойкости и мужеству русской дивизии.

— Вот пример превосходства хорошо выученной и искусно предводимой пехоты над конницей, — говорил Шамбре. (Он не знал еще, что пехоту Неверовского в основном составляли молодые, необстрелянные полки.)

— Блистательная храбрость нашей кавалерии не дает результата: она рубит врага, но не может его сломить, — сказал Фэн.

А поэтический Сегюр воскликнул:

— Неверовский отступает как лев!

Наполеон сделал вид, что не слышит этих слов — он был недоволен.

— Я ждал, что захватят в плен всю дивизию русских, а не семь пушек! — сказал он, когда ему доложили, что взяли часть русских орудий, которые Неверовский не смог увезти из Красного.

«Болван: не подождал конных артиллерийских рот!» — подумал о Мюрате раздосадованный император.

Но его орлы все-таки летели вперед.

Росистым, по-осеннему ясным и свежим августовским утром французская армия подошла к Смоленску.

Замысел Наполеона — прийти к Смоленску раньше русских — сорвался: остатки храбрецов Неверовского уже заняли оборону города. Их поддержал корпус Раевского, знакомый французским маршалам своей отвагой и мужеством.

Несмотря на задержку, Наполеон был полон бодрости и надежды: с холма, на котором стояла его палатка, Наполеон видел в трубу, как к Петербургскому предместью Смоленска спешат массы войск, — это шел Барклай.

Значит, русские не хотят отступать! Значит, не уступят без боя древний Смоленск!

— Наконец они в наших руках! — хлопал от радости в ладоши Наполеон.

Его войска все плотнее окружали город.

Император ждал подхода всех корпусов, чтобы завтра, 5 августа, штурмовать Смоленск.

Десятки пушек били по нему и сейчас, и войска маршалов Нея, Даву и Понятовского не прекращали атак.

Наполеон не спускал глаз с моста через Днепр, который соединял центр города, лежащий на южном берегу, с Петербургским предместьем.

К вечеру картина изменилась: почему-то одни войска входили в Смоленск, а другие оставляли его. Предчувствие чего-то недоброго кольнуло Наполеона: неужели придется идти еще дальше на восток за генеральным сражением и победой?

Император подозвал Коленкура: Наполеон считал герцога Виченского искренним и прямым человеком. Император спросил у Коленкура, что думает он об этих передвижениях русских.

Коленкур понял переживания Наполеона: он не хочет верить в отход русских армий от Смоленска и нетерпеливо ищет в Коленкуре поддержку своей ускользающей надежде. Можно было бы дипломатически покривить душой и поддакнуть Наполеону, но Коленкур остался верен себе: он сказал, что, видимо, русские и на этот раз отступают.

В серых глазах Наполеона сверкнула злость.

— Если это так, то, отдавая мне один из своих священных городов, русские генералы покрывают себя бесчестием! — запальчиво выкрикнул он, быстро шагая по холму.

Император с таким негодованием бросил эту фразу, словно верный себе Арман Коленкур был тем самым русским генералом, который решил отдать Смоленск Наполеону.

— Заняв Смоленск (Наполеон столько раз за последние дни упоминал о нем, что в конце концов запомнил это название), я получу выгодное положение. Опираясь на Смоленск, мы отдохнем, организуем завоеванную страну и тогда посмотрим, каково будет господину Александру. Моя позиция станет более грозной для России, чем если бы я выиграл не одно, а два сражения! Я поставлю под ружье всю Польшу, а потом решу, куда идти раньше — на Москву или Петербург! — сказал Наполеон и, увидев подъезжавшего маршала Даву, обернулся к нему.

А Коленкур поспешил к Бертье, чтобы поделиться с ним приятным известием. Он нашел принца Невшательского у второй палатки, где размещался штаб.

Бертье так обожал Наполеона, что старался во всем подражать ему, и прежде всего — в одежде: носил такой же простой серый сюртук и небольшую шляпу с черным шнуром и кокардой. Ростом и комплекцией он походил на Наполеона, только у Бертье была непомерно большая для его туловища голова. И волосы у принца Невшательского курчавились, как у барашка. В карете, издалека,

его иногда в самом деле принимали за императора, и Бертье этим очень гордился.

Маленький толстый Бертье стоял перед палаткой в своей любимой позе: заложив короткие руки в карманы рейтуз и гордо откинув назад курчавую голову. Он диктовал секретарям приказы.

Несколько штаб-офицеров, пристроившись прямо на земле у походного стола, заваленного бумагами и картами, строчили приказы командирам отдельных частей, следовавших к Смоленску, — император стягивал к городу все силы. Наполеон всегда придерживался одного правила: «Врозь двигаться, вместе драться».

Бертье, обладавший изумительной памятью, диктовал точь-в-точь, как делал это император. Только голос у него был гнусавый. При разговоре Бертье бормотал и гримасничал так, что для непривычного собеседника, не знавшего прекрасных деловых качеств начальника штаба, это могло показаться весьма неуважительным и странным.

Известие Коленкура о решении Наполеона остановиться в Смоленске не вызвало радости у Бертье: он слишком хорошо знал упрямство императора и не мог поверить, что Наполеон, раз приняв решение, может поступить как-либо иначе.

VIII

Призрак победы, так манившей его и, казалось, бывшей уже в его руках, снова ускользнул от него. Но он все-таки решил гнаться за ним.

Ф. Сегюр

На следующий день, 4 августа, русские были вынуждены оставить все позиции перед городом. Они укрылись за древними смоленскими стенами. Было ясно, что Барклай и на этот раз не собирается принимать генерального боя, а только хочет задержать врага, чтобы дать возможность соединенным русским армиям отойти в порядке.

Наполеон приказал подвести осадные орудия. Сотни пушек били по Смоленску и его стенам целый день. Французская пехота неоднократно бросалась на штурм, но истекавшие кровью полки Дохтурова мужественно отбивали все атаки, а французские ядра не могли пробить брешь в толстых каменных стенах Смоленска.

К вечеру весь форштадт Смоленска был в дыму и пламени. Пожары начались и в других частях города. Французские гранаты поджигали деревянные дома, которые преобладали в Смоленске.

Наступил вечер. Над Смоленском стоял густой дым, сквозь который пробивались яркие языки огня. Дым громадными столбами подымался к небесам, окрашивая их в багровый цвет.

И из этого моря огня, сквозь немолчный гром пушек, сквозь кипение ружейной трескотни, крики «ура» и грохот барабанов донесся колокольный звон. Он не был набатным, тревожным. Он был идиллическим, спокойным и необычным.

— Что такое? Почему они звонят? — удивился Наполеон.

Капитан Вонсович поторопился объяснить императору: в смоленских церквах звонят потому, что завтра у русских большой праздник. Наполеон поморщился. Он считал, что завтра будет большой праздник, но у него, а не у русских.

Пушки продолжали греметь, а колокола звонить.

Бой постепенно затихал, но не утихали пожары. В ночном небе они казались еще более зловещими, страшными и нелепыми. Огонь безжалостно пожирал Смоленск.

Император прогуливался возле костров, разложенных у его палаток, — ночи стали холодны. Оставаться хоть на минуту без дела Наполеон не мог. Он по-мальчишески подбрасывал носком сапога в огонь валявшиеся на земле сосновые шишки, потом пошел спать.

За ним последовала свита.

Только Коленкуру не спалось. Он ходил по лагерю, посматривая на Смоленск, думал о том, что ждет их, если император не остановится в Смоленске, а пойдет на Москву.

Становилось свежо.

Коленкур присел у костра на деревянный обрубок, смотрел на огонь, вспоминал далекую Францию и любимую Адриенну де Канизи, с которой его невольно разлучил этот безумный поход в Россию. И задремал, опершись руками о колени.

Он проснулся оттого, что император хлопнул его по плечу.

Близился рассвет. Костер горел уже менее жарко, но все так же ярко было пламя, подымавшееся над Смоленском.

— Не правда ли, красивое зрелище, господин обер-шталмейстер? — весело спросил Наполеон, указывая на Смоленск. — Как извержение Везувия.

— Ужасное зрелище, государь! — искренне признался Коленкур, подымаясь.

— Ба! Герцог Виченский! Вы забыли мудрое изречение Авла Вителия: труп врага хорошо пахнет! — сказал смеясь Наполеон.

Коленкур невольно переглянулся с Бертье, стоявшим рядом с императором: стало быть, о мире с Россией уже нет и речи?

Наполеон был весел. Он шутил с гренадерами караула, говоря, что они хорошо прокоптятся в этом смоленском дыму, как вдруг в Смоленске раздался оглушительный взрыв. Все поняли: русские, оставляя город, уничтожают пороховые склады.

Наполеон приказал подать коня и тотчас же поехал к Смоленску.

Вся французская армия, раскинутая на холмах и долинах у Днепра, пришла в движение.

У смоленских стен густо лежали трупы штурмовавших город французов и поляков.

— Dulce et decorum est pro patria mori![1] — равнодушно глядя на павших солдат, говорил Наполеон.

С развернутыми знаменами, барабанным боем и музыкой входила в Смоленск французская армия. Она шла радостно и бодро — солдатам так много обещали в Смоленске всяких благ, говорили о нем как о земле обетованной.

Наполеон въехал в Смоленск с таким торжеством, будто он взял город штурмом, а не занял после того, как его оставили русские.

Смоленск лежал в дымящихся развалинах. Нигде не было видно ни человека: жители ушли, а те немногие, кто не успел уйти, попрятались. На улицах валялись одни трупы. Навстречу французам подымался лишь едкий дым пожарищ.

— Спектакль без зрителей, — тихо заметил Коленкур, ехавший рядом с Сегюром. — Победа без славы...

— Дым — единственный свидетель победы. Не остался бы он ее эмблемой, — в тон Коленкуру мрачно, но поэтично прибавил Сегюр.

Наполеон проехал к днепровским воротам, вошел в церковь над ними и смотрел оттуда на противоположный берег, занятый русскими.

Русская пушка стреляла по французам, наводившим мост через Днепр.

Император приказал втащить в церковь два орудия, с удовольствием сам навел их и несколькими выстрелами заставил русскую пушку замолчать.

Наполеон поехал в губернаторский дом на Блонье.

В березовой аллее у дома уже располагалась старая гвардия.

Гренадеры таскали из губернского архива бумаги, выстилая ими пол в своих палатках.

В комнатах губернаторского дома суетились придворные пажи, слышался повелительный голос Констана, готовившего императо-

---

[1] Сладко и почетно умереть за родину! *(Лат.)*

ру постель. Тихий Меневаль уже поставил на большом письменном столе походный чернильный прибор императора, положил его портфель красного бархата, украшенный серебряным шитьем, изображавшим лавровый венок со звездами и пчелами.

Наполеон тотчас же сел за письма. Враг ускользал, победы еще не было, но приходилось делать хорошую мину при плохой игре, приходилось обманывать Европу.

Императрице он сам написал коротенькое письмо:

«Мой друг! Я в Смоленске с сегодняшнего утра. Я взял этот город у русских, перебив у них три тысячи человек и причинив урон ранеными в три раза больше. Мое здоровье хорошо, жара стоит чрезвычайная. Мои дела идут хорошо».

Министру иностранных дел герцогу Бассано он продиктовал:

«Жара крайняя, много пыли, и нас это несколько утомляет. У нас тут была вся неприятельская армия, она имела приказ дать здесь сражение и не посмела. Мы взяли Смоленск открытой силой. Это очень большой город, с солидными стенами и фортификацией. Мы перебили от трех до четырех тысяч человек у неприятеля, раненых у него втрое больше; мы нашли тут много пушек; несколько дивизионных генералов убито, как говорят. Русская армия уходит, очень недовольная и обескураженная, по направлению к Москве».

— Допишите, я пойду отдохну, — сказал он Бертье и пошел в спальню.

Бертье послушно дописал:

«Продиктовав это письмо, его величество немедленно бросился в постель», — чтобы герцог Бассано не встревожился, что письмо императора осталось недоконченным.

Наполеон спал не больше часа. Он мог спать один час, проснуться, вновь заснуть и вновь встать. Как мог он спать, если надо было готовиться идти дальше, к Москве? Наполеон не собирался оставаться в Смоленске. Он не тешил ни себя, ни маршалов, ни армию пустыми разговорами о том, что зазимуют здесь, на Днепре. Он упрямо твердил:

— Не пройдет и месяца, как мы войдем в Москву. Москва увидит нас в своих стенах, как видели Вена, Берлин, Рим, Мадрид! А через шесть недель у нас будет мир!

Никто не мог переубедить его в этом. Он верил в свою непобедимость и силу: ведь он вел за собой всю Европу!

Наполеон не хотел никого слушать.

Наполеон торопился.

Глава третья

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК

Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал —
и спас...
Пушкин.
«Перед гробницею святой»

Еще, Кутузов, прибавляешь
Ко славе ты своей венец;
Еще, еще ты глас внимаешь
От душ усердных и сердец.
В Петровом граде силы новой
Будь устрашителем, вождем;
Беснует в злобе враг суровый,
С тобой против врага пойдем.
Из стихов о войне 1812 года

I

Второй день к петербургским заставам прибывали самые разнообразные старые и новые кареты, коляски, тарантасы, дрожки, брички, бегунки, в которых ехало в столицу уездное, дворянство. Караульные на заставе сначала думали, что это псковские помещики бегут от неприятеля, но ехали они все налегке, без жен и детей, без дворни и пожитков. Оказывается, это съезжались на чрезвычайное собрание по поводу организации народного ополчения.

Утром 17 июля в доме Ильи Андреевича Безбородко на Фонтанке открылось собрание.

Михаил Илларионович сам не знал, как быть. С одной стороны, полагалось бы поехать, а с другой — как будто не следовало бы. Кутузов слыхал, что многие дворяне хотят, чтобы он возглавил Петербургское ополчение. После того как Михаил Илларионович командовал Молдавской армией, этот пост, с точки зрения военной, мог казаться не столь значительным, но он являлся почетным и лестным, как выражение общественного внимания. Да и сидеть полководцу без дела, в то время как отечеству угрожает страшная опасность, было тяжело. Ехать же в собрание — значит лишний раз напоминать о себе. Ведь из отставных генералов, которые жили в Петербурге, не было никого, кто бы мог равняться Кутузову по боевым заслугам, военным знаниям и опыту.

Недруги Михаила Илларионовича тотчас же воспользовались бы тем, что он приехал, чтобы расписать «хитрость» Кутузова — как он, вопреки царскому нерасположению, добивается почетного

назначения. И злопамятный и мстительный Александр не простил бы Кутузову его действий.

— Лучше не езди, Мишенька, пусть решают без тебя, — советовала жена.

— Конечно, не поеду, я ведь не какой-нибудь отставной козы барабанщик. Я ведь еще числюсь на государевой службе! — шутил Михаил Илларионович.

И он остался дома.

Господа уездное дворянство, съехавшиеся в столицу, обрадовались случаю почесать языки, поговорить о военных делах, обменяться сплетнями, предположениями, опасениями и — в кои веки — посидеть в ресторации, хотя бы за бутылкой английского пива.

Главный разговор велся по одному поводу — о вооружении крестьян. Народное ополчение, Минин и Пожарский — все это хорошо, но что будет, если крепостным дать ружья и пики? Не обернется ли Минин — Стенькой Разиным, а Пожарский — Пугачевым?

Не слишком ли?

Раздумий было много, и каждый дворянин, новоладожский или гдовский, обязательно считал себя политиком, дипломатом и немножко полководцем. Господа дворяне не изволили торопиться и совещались три дня.

По просьбе Кутузова полковник Резвой и капитан Кайсаров были откомандированы из Молдавской армии в Петербург. Оба они присутствовали на заседаниях и каждый день рассказывали Михаилу Илларионовичу, что происходило в доме Безбородко.

Когда 18 июля вечером приступили к выбору начальника Петербургского ополчения, то со всех сторон залы послышались голоса: «Кутузова, Кутузова!»

К баллотировке, к белым и черным шарам, прибегать не пришлось: мнение было единогласное — Кутузов.

19 июля в пятницу предполагалось объявить решение дворянства избраннику.

Екатерина Ильинична с утра обдумывала, чем пристойнее заняться Мише, что делать в ту минуту, когда приедут к нему делегаты.

— Пусть они застанут тебя за картой в кабинете.

— Так только на гравюрах изображают полководцев. Еще пушки по бокам... — усмехнулся Кутузов. — Я просто буду сидеть вот тут, в гостиной на диване, где сижу, и читать.

— А что же ты будешь читать?

— А вот лежит какая-то твоя книжка.

Михаил Илларионович развернул и прочел заглавие: «Позорище странных и смешных обрядов при бракосочетании».

— Да что ты, Миша, эта не подходит...

— Почему именно? Книжка интересная?

— Забавная...

— Я забавное как раз и люблю.

И в таком положении застала его делегация губернских и уездных предводителей дворянства.

Михаила Илларионовича повезли в собрание.

Дворянство еще на лестнице восторженно встретило Кутузова. Михаил Илларионович шел окруженный целой толпой. Знакомые поздравляли, жали руки. Хозяин дома, Илья Андреевич Безбородко, и братья Александр и Дмитрий Нарышкины, обер-камергер и егермейстер, обняли Михаила Илларионовича. Уездные дворяне в суконных, пахнущих нафталином фраках, со старомодными, высокими «золотушными» галстуками, душными в июльскую теплынь, не обращая внимания на шитые золотом камергерские мундиры и сюртуки военных, бесцеремонно протискивались вперед, чтобы поближе разглядеть знаменитого Кутузова. Смотрели на его седую, гордую голову, сквозь которую дважды прошла смертоносная неприятельская пуля.

Губернский предводитель дворянства Жеребцов и Безбородко подвели Михаила Илларионовича к большому столу, покрытому зеленым сукном, на котором белели разбросанные листки бумаги. Жеребцов позвонил в колокольчик. Шумный прибой голосов разом утих. Никто не садился. «Благородное» санкт-петербургское дворянство стоя ждало, что скажет генерал от инфантерии граф Кутузов.

— Господа, о многом мне хотелось бы вам сказать... — начал Михаил Илларионович.

Волнение сдавило ему горло. Он на секунду умолк.

— Вы украсили мои седины! Спасибо вам, господа!

И тут буйным ливнем ударили аплодисменты. Особенно не жалели ладоней, старались господа уездное дворянство. Аплодисменты дали возможность Михаилу Илларионовичу оправиться от волнения. И он уже почти спокойным голосом прибавил, что может принять столь лестное и почетное избрание, если государю не будет угодно призвать его к исполнению других обязанностей.

Кутузов поклонился и пошел к выходу.

По рвению уездных дворян Михаил Илларионович видел, что они готовы качать его, но губернское дворянство умерило пыл уездных. Сопровождаемый по-прежнему аплодисментами, пожатием рук, поклонами, улыбками и добрыми пожеланиями, растроганный Кутузов уехал с Резвым домой.

— Ты, Мишенька, как Эпаминонд, который не отказался служить простым воином под начальством неопытных полководцев,

добившихся коварством высших ступеней, — говорила обрадованная Екатерина Ильинишна.

— Павел Андреевич, заметь: в последнее время меня все сравнивают с греками, — сказал Резвому Михаил Илларионович. — В Бухаресте заладили — Фемистокл, здесь — Эпаминонд.

— А вы, Михаил Илларионович, скажите: хоть горшком назовите, лишь бы в печь не ставили! — шутил Резвой.

Император утвердил избрание Кутузова начальником Петербургского народного ополчения, и Михаил Илларионович энергично принялся за дело. Он был занят с утра до ночи: сидел на приеме ратников, обсуждал детали обмундирования, вооружения и снаряжения, ездил смотреть, как на Измайловском плацу учили ополченцев. Учили спешно — чуть ли не от зари до зари, благо ночи стояли прозрачные, белые. Учили без «красот», даже не брать на караул, а только знать свое место в шеренге, шагать в ногу, правильно носить на плече ружье, заряжать, стрелять и колоть штыком.

— Придется походить с ружьем! Это не с тросточкой прогуливаться по прошпекту, — говорили ополченцам-горожанам обучавшие их кадровые унтера.

Михаил Илларионович приободрился, ожил, повеселел. Снова почувствовал себя нужным для государства человеком.

— Знаешь, Мишенька, ты помолодел, — говорила жена.

— Ради бога, Катенька, только ты уж не превращайся в льстеца и подхалима: их и без тебя хватает, — отвечал Михаил Илларионович.

Через день в Петербурге узнали: московское дворянство тоже избрало Кутузова начальником ополчения. Это была пощечина Александру — он не хотел признавать Кутузова, а народ признавал.

22 июля в Петербург вернулся император Александр. Вечером полицейские офицеры ходили по домам, приказывали вывесить флаги и устроить иллюминацию. Петербуржцы недоумевали:

— Что случилось?

— Неужто наконец победа?

— Нет. Государь прибыл из армии.

— А-а-а... — вырвалось разочарованно.

Город расцветился огнями, но от этого ни у кого на душе не сделалось светлее. Положение Петербурга оставалось очень ненадежным. Пруссаки из корпуса маршала Макдональда заняли Митаву, маршал Удино шел из Полоцка на Псков.

Всех одолевала одна мысль: успеет ли хоть петербургское ополчение обучиться, чтобы выйти навстречу врагу?

Город жил в тоске и тревоге.

Раньше в белые ночи по Неве и протокам между островами плавало много богато разукрашенных коврами и разноцветными бумажными фонариками лодок. За ними шли лодки с собственным крепостным духовым оркестром или хором.

Много шныряло по Неве и простых челноков с купеческими молодцами, мастеровыми и мелким чиновным людом. Здесь сами гребли, сами пели и сами тренькали на балалайке.

Катание на Неве продолжалось с вечера до самой зари.

А теперь все исчезло: ни песен, ни музыки, ни веселого смеха. Вместо нарядно убранных лодок у пристаней толпились неуклюжие баржи: многие петербургские дворяне собрались уезжать из столицы по воде.

Императорская фамилия предполагала выехать в Казань, когда французы дойдут до Нарвы. Вдовствующая императрица Мария Федоровна очень боялась оставаться в столице: она не любила Наполеона и знала, что ему это известно.

На улицах стало меньше красивых карет и колясок — театры и собрания редко кто посещал. Зато много было телег, кибиток, повозок — некоторые московские семьи переехали в Петербург.

Прежде на каждом шагу попадались стройные, рослые гвардейцы в киверах, касках и блестящих мундирах. Теперь вместо них всюду мелькали сермяги ополченцев и их серые деревенские шапки с крестами. Впервые петербургскими проспектами завладел их подлинный хозяин — народ, который до этого жался на задних дворах барских хором в тесных и неуютных людских.

И в эти особенно тревожные для столицы дни пришла неожиданная и радостная весть: генерал Витгенштейн разбил у Клястиц маршала Удино, и французы отошли к Полоцку.

— Вот те на: знаменитые генералы отступают, а неизвестный бьет французов!

— Да, все «буки» — Барклай, Багратион, Беннигсен ничего не могут поделать, а этот «веди» — Витгенштейн побил. Вождь. Спас Петрополь!

— И тоже не русский — Витгенштейн.

— Не всякая блоха плоха. Не всякий немец — враг.

— Да нет, он русский: у него мать урожденная княжна Долгорукова.

— Сказано: русак — не трусак!

— А сколько у Витгенштейна войск?

— Двадцать пять тысяч.

— Вот еще Михайла Ларивонович с ополчением подымется!

Петербург повеселел.

В честь победы Витгенштейна 25 июля над Невой прогремел пушечный салют.

А 26-го пришла самая радостная весть: наконец первая и вторая армии соединились в Смоленске.

«Насилу вырвался из ада. Дураки меня выпустили», — писал Багратион Ермолову.

— Как хотите, а соединение наших армий — первое поражение Наполеона: он не смог разбить их по частям, — говорил в комитете своим генералам Кутузов.

Но все-таки враг стоял уже под стенами Смоленска. И волна негодования против Барклая-де-Толли все росла и ширилась.

Народ говорил:

— Нет, братцы, дело нечисто, нам изменяют. У нас немец командир. У него душа об Расее не болит!

Михаил Илларионович усталый приезжал из комитета и садился с Екатериной Ильинишной ужинать: Катенька делилась с мужем новостями вроде такой: адмирал Николай Семенович Мордвинов заявил, что, пока родина в опасности, он будет обедать не восемью блюдами, а лишь пятью, и разницу в расходах вносить в казначейство.

Марина, пользуясь своим особым положением барыниной наперсницы, присоединялась к Екатерине Ильинишне. Принимая от лакеев блюда, она сама подавала их на стол и рассказывала все то, что слышала на улице, в лавчонке, в Летнем саду, на набережных. Рассказывала как будто одной барыне и обращалась будто бы только к ней:

— Все, все говорят: разве, говорят, Кутузову питерскими мужланами командовать? Ему лейб-гвардией! Ему всей кавалерией, и фантерией, и антилерией — всей армией! Чего он здеся, бедненькой, сидит? — прибавляла она, взглянув на барина, который совсем не чувствовал себя «бедненьким» и аппетитно ел простоквашу с черным хлебом.

— А даве у Нового арсенала мужики судили: лучше Михайлы Ларионовича полководца нет! Он во как побил турка!

— А ты, Марина, не сочиняешь ли? — улыбался Кутузов.

— Да что вы, ваше сиятельство, да разрази меня Параскева-пятница! Да вот и гагаринская Нюшка слыхала. Спросите у нее, ежели не верите! — горячо и обиженно отстаивала истину своих слов горничная. Она не лгала и очень мало приукрашивала, даже говорила не все то, что слышала. Марина из деликатности опускала, например, такой диалог: «А вишь, у Кутузова один глаз...» — «Хуш у Кутузова и один глаз, он видит больше, чем все твои немцы двумя!»

29 июля Михаил Илларионович был возведен за мир с Оттоманской Портой в княжеское достоинство с титулом «светлости». Но в этом опять была плохо скрытая издевка Александра. В указе Сенату говорилось: «...возводим мы его с потомством».

А какое же потомство у Михаила Илларионовича Кутузова, когда у него пять дочерей и ни одного сына, а жене пятьдесят семь лет? Был сын, первенец, да сонная кормилица прислала — навалилась на маленького пышной грудью, и ребенок задохся. Екатерина Ильинишна не желала сама кормить: «Фи, молоко течет. Ни платье надеть, ни в театр!»

— Твои дела идут в гору, Мишенька, — говорила теперь Кутузову жена.

Михаил Илларионович молча улыбался, ждал, что же будет дальше.

31 июля царь назначил его командовать Нарвским корпусом, всеми сухопутными и морскими силами в Петербурге, Кронштадте и Финляндии.

— Вот видишь, Катенька, чем я не Чичагов: уже командую флотом, — смеялся Кутузов.

Но все это было еще не то. Александр все еще не хотел полностью признать большие заслуги Кутузова.

II

Не столько мрачные, сколько самонадеянные предсказания Наполеона о том, что Барклай и Багратион не увидятся больше, не оправдались: оба командующих армиями встретились в Смоленске.

Этой встречи ждали все: и войска и народ. Ей придавали большое значение, понимая, что после соединения двух армий в действиях русских должна произойти существенная перемена.

Горячий, невыдержанный Багратион в письмах к Ростопчину честил Барклая за бесконечное отступление и прямо называл его трусом и изменником. Еще более невыдержанный, чем Багратион, московский военный губернатор Ростопчин, сплетник и болтун, конечно, во всех московских гостиных рассказывал и читал письма Багратиона. О них знала вся Россия.

Народ не вдавался в стратегические тонкости маневра первой армии, а видел одно: Барклай без боя отдает врагу русскую землю, а Багратион мужественно пробивается на соединение с первой армией и призывает к отпору врагу.

Всем хотелось героики, хотелось умереть за отчизну, но очень немногие понимали, что просто умереть за отечество легче, чем выиграть войну и отстоять независимость родины.

Багратион был не великорус, а грузин. Народ знал и ценил его как верного и любимого ученика Суворова, и никто не сомневался в том, что Багратион — русский, что он — настоящий патриот России. А в патриотизм лифляндца Барклая-де-Толли почему-то не верили.

И вот теперь оба полководца должны были встретиться и руководить обороной России.

Несмотря на то что Багратион был старше в чине, он первый поехал к Барклаю, как к военному министру.

Армия оценила этот жест Багратиона: худой мир лучше доброй ссоры.

Окруженный большой свитой и пышным конвоем из ахтырских гусар и литовских улан, Багратион ехал в коляске к дому военного губернатора, где жил Барклай.

Барклай-де-Толли в полной парадной форме с тремя звездами на груди ждал его. Увидев из окна подъезжавшего к дому Багратиона, Барклай взял генеральскую шляпу с черным султаном и вышел навстречу гостю. Всегда спокойное, чуть грустное, удлиненное лицо Барклая изображало любезность и расположение.

— Я только что узнал о вашем приезде и хотел тотчас же сам быть у вас, — как бы оправдываясь в том, что он не поехал к старшему в чине Багратиону, а Багратион приехал к нему, сказал Барклай-де-Толли.

Внешне встреча прошла дружелюбно, о недавних размолвках не было и помину. Оба командующих отправили императору донесения, в которых сообщали, что все недоразумения между ними рассеяны.

А на деле этого, к сожалению, не получилось.

Генералы, недовольные отходом русских армий на восток, настояли, чтобы Барклай собрал военный совет. Хотя осторожный Барклай-де-Толли предпочитал не двигаться с места, но совет решил наступать, потому что корпуса Наполеона были разбросаны на значительном расстоянии друг от друга.

25 июля обе армии двинулись из Смоленска к Рудне, центру армии Наполеона. Впервые в этой войне русские наступали. Командиры ободрились, солдаты шли с песнями.

26 июля первая армия стала у Приказ-Выдры, а вторая у Катыни. 27 июля Барклай вдруг приказал остановиться. Он получил донесение, что французы заняли Поречье, и боялся очутиться в мешке, если Наполеон из Поречья зайдет ему в тыл.

Багратион продолжал настаивать на выступлении. Он считал, что Наполеон будет обходить не правый, а левый фланг русских и поведет наступление на Красный.

Совершенно противоположные по характеру и темпераменту, Барклай и Багратион не могли сговориться и действовать согласованно.

Первая армия стала на Поречской дороге, второй же Барклай приказал занять ее место у Приказ-Выдры. А на следующий день, 28 июля, военный министр велел Багратиону отойти к Смоленску.

Ежедневные передвижения — то наступление, то фланговый марш, то отступление, — совершавшиеся по невозможным дорогам, изнуряли людей и лошадей и не были понятны ни командирам, ни рядовым. Так как в приказе обязательно упоминалась лежащая у Смоленска деревня Шеломец, то солдаты остроумно окрестили эти бесконечные переходы «ошеломелыми».

Терпение всех истощилось.

Неразбериха в командовании издергала всех.

Багратион подчинялся приказам Барклая, но жаловался в письмах всем. Аракчееву он писал:

«Я никак вместе с министром не могу. Ради бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно, и толку никакого нет».

Необходимость единого командования назрела окончательно, была всем очевидна.

Ермолов писал об этом императору. Генерал-адъютант граф Шувалов, по болезни вынужденный покинуть армию, послал Александру письмо, в котором умолял назначить главнокомандующего:

«Дела с каждым днем становятся все хуже и хуже. Войска недовольны до такой степени, что ропщут уже солдаты; они не имеют никакого доверия к их главному начальнику. Нужен другой главнокомандующий, один над обеими армиями. Необходимо, чтобы ваше величество назначили его немедленно, иначе погибла Россия».

Выхода у Александра не было — не хотелось, а волей-неволей приходилось назначать главнокомандующего: народ ведь не просил царя во главе вооруженных сил.

Александр поручил избрание главнокомандующего специальному комитету из шести человек. В него вошли: бывший воспитатель Александра Павловича, председатель Государственного совета граф Николай Иванович Салтыков, петербургский главнокомандующий Сергей Кузьмич Вязмитинов, генерал Алексей Андреевич Аракчеев, начальник полиции Александр Дмитриевич Балашов и действительные тайные советники Петр Васильевич Лопухин и Виктор Павлович Кочубей.

Александр снова попытался умыть руки — пусть решают другие, кому быть главнокомандующим, а он останется, как всегда, в стороне.

III

Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал.

Пушкин

В большом кабинете графа Салтыкова, выходившем окнами на Неву, собрались члены комитета.

Сегодня здесь решалась судьба русской армии, судьба России.

Июльский вечер был тепел и тих, но окна в кабинете оставались закрытыми: хозяин, семидесятишестилетний граф Салтыков, боялся простуды. Он сидел с всегдашней кислой миной на худом, лисьем лице. Ни люстр, ни свечей не зажигали: скупой Салтыков считал, что и так еще достаточно светло.

За столом сидели: мрачный, надменный Аракчеев, сухощавый, спокойный Лопухин, добродушный Вязмитинов и двое молчаливых — себе на уме — красавец Кочубей и безобразный лицом Балашов.

Комитет выслушал рапорты командующих армиями и разные письма к государю и Аракчееву: Багратиона, его начальника штаба генерала Сен-При, Ермолова и других. Письма из армии говорили все о том же: о необходимости единого командования.

Их читал монотонным, дьячковским голосом Аракчеев. После этого обсудили, каким требованиям должен отвечать избранник, и решили, что он обязан иметь «известные опыты в военном искусстве, отличные таланты, доверие общее и старшинство».

— Ну что ж, господа, а теперь прошу называть кандидатов, — сказал председатель комитета Салтыков. Аракчеев тяжело думал, насупив брови. Лопухин, сложив пополам лист бумаги, обмахивался им, как веером, и думал только о том, что не худо бы открыть окно. Вязмитинов выражал полную готовность поддержать достойнейшего. Кочубей загадочно улыбался, легонько постукивая пальцами по столу. Балашов сосредоточенно рисовал на бумаге карандашом какие-то узоры.

— Ну кого же? Петра Ивановича Багратиона? — спросил Салтыков.

— Да, да, Багратиона! — встрепенулся Аракчеев.

— А не лучше ли Беннигсена? — осторожно предложил Вязмитинов.

— Он же не русский.

— Ах да! — махнул досадливо рукой Вязмитинов. — Я и забыл!

— Ивана Васильевича Гудовича, — сказал Лопухин. Он остался в душе москвичом, хотя жил в Петербурге, и потому вспомнил своего старого московского главнокомандующего.

— Да ведь Гудович мне ровесник. Он стар, — ответил Салтыков. — А как все-таки насчет Багратиона?

— Багратион слишком горяч! — возразил Кочубей.

— А кого же вы предлагаете, Виктор Павлович?

— Я предложил бы Алексея Петровича Тормасова.

— Молод еще. И опытом и доверием, — отрезал Аракчеев.

Все затихли, думая.

— А если Палена? — прервал молчание Вязмитинов.

— Так ведь, что он, что Барклай — оба лифляндцы. Эх, Каменский зря умер! Александр Дмитриевич, а вы что же молчите, сударь мой? — обратился к Балашову Салтыков.

— Я давно надумал, Николай Иванович, да жду, не назовет ли кто его.

— Кого это?

— Михайлу Ларионовича Кутузова, — ответил Балашов.

— Кутузова? — чуть ли не с ужасом переспросил удивленный Аракчеев. Он хорошо помнил, что император не жалует Кутузова.

— Да, Кутузова!

— О Михайле Ларионовиче мы все позабыли, — улыбнулся Кочубей. — Что ж, Кутузов — хорошо! Он человек достойный!

— Да, да, достойный! — поддержал Лопухин.

— Его императорское величество не будет доволен, — буркнул Аракчеев, кашляя в кулак.

— Погодите, Алексей Андреевич, однако же государь утвердил Михаилу Ларионовича начальником ополчения! — вспомнил Вязмитинов.

— То ополчение, а то вся армия! — развел руками Аракчеев.

— Недавно пожаловал титул князя.

— И назначил членом Государственного совета, — прибавил Салтыков.

— Кутузову много лет, он стар, — уже не так твердо, но все еще пытался возражать Аракчеев.

— Нет, ему годов еще не много. Погодите-ка... — задумался Салтыков.

— Михайло Ларионович родился в сорок пятом, следовательно, ему шестьдесят шесть, — подсказал Кочубей.

— Да, человек в самом соку, — подтвердил Салтыков. — Шестьдесят шесть для главнокомандующего — это пустяки!

Сорокачетырехлетний Кочубей невольно улыбнулся.

— Вот кто будет наверняка недоволен нашим выбором, так это Наполеон, — сказал Балашов. — Он не может простить Кутузову его победы над турками у Рущука.

— Ну, значит, так и решили, господа? Избираем главнокомандующим всеми нашими армиями Михаилу Ларионовича Кутузова? — спросил Салтыков, обводя всех глазами.

— Избираем! Избираем! — поддержали Вязмитинов, Лопухин и Кочубей.

— Кутузова знают и войско и народ! Обе столицы выбрали его командующим ополчением, — прибавил Балашов, глядя на Аракчеева.

— А вы как, Алексей Андреевич? — обратился Салтыков к Аракчееву.

— Ну что ж, выберем Кутузова, — нехотя уступил Аракчеев.

Все облегченно вздохнули.

Русские вооруженные силы наконец-то получили единого командующего.

IV

На следующий день весь Петербург только и говорил о решении комитета избрать Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим.

Все знали, что имя Кутузова было названо последним, что один Балашов осмелился сказать то, о чем говорила вся страна: только Кутузов может спасти Россию! Знали и нисколько не удивлялись тому, что «без лести преданный» Аракчеев попытался возражать против имени Кутузова.

Друзья Михаила Илларионовича радовались его избранию и хвалили комитет, а враги обливали грязью их обоих. Недруги чернили Кутузова. В их устах кутузовская тучность превращалась в «дряхлость», его осмотрительность — в «лень», а ум — в «хитрость».

Сам Михаил Илларионович услыхал новость об избрании, когда приехал утром в устроительный комитет Петербургского ополчения на очередное заседание по поводу снаряжения ратников.

Все члены комитета, генералы, бросились поздравлять Михаила Илларионовича.

— Благодарю вас, господа, за ваши добрые чувства ко мне, но поздравлять меня, право же, еще рано... — ответил, улыбаясь, Михаил Илларионович. — Будем лучше заниматься делом... Вчера мы решили, что вместо поясных сум на восемьдесят патронов мы делаем сумку через плечо на сорок патронов, не так ли? — переменил разговор Кутузов, садясь за стол.

Он не подал и виду, что новость взволновала его и была чрезвычайно приятна ему. Если кто-либо пытался заговорить об этом, Кутузов уклонялся от разговора.

Когда он вернулся к обеду домой, его встретила сияющая, довольная Екатерина Ильинишна: жена уже все знала.

— Вот видишь, Мишенька, правда торжествует! — сказала она, целуя мужа. — Народ тебя ценит и любит!

— Катенька, еще до поздравлений так далеко — жалует псарь, да не жалует царь. Александр Павлович может не утвердить. Ты представляешь, как ему тяжело будет сделать это! Год назад он не хотел вверить мне одну небольшую армию, а здесь речь идет о четырех!

Михаил Илларионович знал, что говорил: император два дня колебался. В это время как раз пришло письмо от московского главнокомандующего Ростопчина, который писал, что Москва хочет, чтобы командовал Кутузов.

8 августа Александр наконец дал указ Сенату и рескрипт Кутузову о назначении его главнокомандующим над всеми армиями и вызвал Кутузова к себе на Каменный остров.

Михаил Илларионович ехал на Каменный остров с чувством большого удовлетворения. В многолетней глухой неравной борьбе с царем он наконец-то вышел победителем.

По тому, как проворно выбежали к кутузовской карете придворные лакеи помочь выйти из нее князю Кутузову, как засуетились стоявшие у колоннады, а потом, когда Кутузов проходил мимо них, как застыли, вытянувшись в струнку, ординарцы, как навстречу ему торопливо вышел генерал-адъютант Комаровский, Михаил Илларионович увидал, что его здесь очень ждали, хотя час был послеобеденный, неприемный.

Дежурным генерал-адъютантом в Каменноостровском дворце сегодня оказался преуспевающий красавец Комаровский, которого Екатерина Ильинишна считала самым элегантным из всех генерал-адъютантов императора. Комаровский очень сердечно, но в то же время почтительно (он впервые называл Михаила Илларионовича «ваша светлость») поздравил с высоким назначением.

— Благодарствую, Евграф Федорович, — ответил Кутузов. — Мне предстоит весьма трудное поприще. Я противу Наполеона почти не воевал. Скажите же мне, голубчик, кто находится в штабе Барклая? Я ничего не знаю.

— Начальником штаба — Алексей Петрович Ермолов, обер-квартирмейстером — барон Толь.

— С Алексеем Петровичем я хорошо знаком. И Толю рад. Он выпущен из Первого кадетского корпуса. Он учился у меня. Способный юноша.

Комаровский, извинившись, что оставляет Михаила Илларионовича одного, пошел доложить о нем императору.

Михаил Илларионович не стал садиться: сядешь на минутку, а потом трудно подняться.

Комаровский тотчас же вернулся.

— Государь ждет вас: пожалуйста, ваша светлость! — сказал он.

Кутузов со шляпой в левой руке прошел бочком в следующую комнату. Это была приемная перед кабинетом царя. Она вся утопала в цветах.

Лакей с поклоном открыл перед ним большую дверь красного дерева с медными перекрещенными римскими мечами на филенках.

Михаил Илларионович вошел в большой, залитый вечерним солнцем кабинет. Александр Павлович стоял в дальнем углу кабинета за письменным столом. Кутузов подошел на три шага к столу, поклонился и стал ждать, что скажет царь.

Посмотреть на это красивое, женственно мягкое, пухлое лицо императора — можно подумать, что пред вами действительно ангел. Но как внешность не соответствовала внутренней сущности этого человека!

— Я нашел нужным поставить над всеми действующими армиями и ополчением единого главнокомандующего. Комитет, мною назначенный, избрал на этот пост вас, Михайло Ларионович. Я уже известил о моей воле всех командующих. Поезжайте немедля к армии. Я бы хотел, чтобы вы использовали опыт и знания генерала Беннигсена.

Император говорил. Румянец покрывал его щеки — разговор был ему неприятен, — но Александр прекрасно владел собой. Он как будто смотрел на Кутузова, однако Михаил Илларионович не мог не заметить: глаза царя не хотели встречаться с глазами Кутузова. Александр норовил смотреть только на правый, незрячий глаз Кутузова.

Император кончил и обернулся к окну, выставив вперед одно ухо, — собирался слушать ответные слова Кутузова.

Александр увильнул, прямо не сказал, что назначает Кутузова главнокомандующим. Он подчеркнул: комитет избрал Кутузова. А для конца, для завершения, Александр приберег все-таки горькую пилюлю: он приставил к Кутузову своего любимца Беннигсена. До сих пор Беннигсен интриговал против Барклая, а теперь, разумеется, будет строить козни против Кутузова.

«Погоди ж, я не останусь у тебя в долгу», — подумал Михаил Илларионович и спокойно ответил:

— Ваше императорское величество, у меня нет слов всеподданнейше выразить вам глубочайшую благодарность за то высокое доверие, которое вы всегда оказывали и оказываете в настоящий момент мне. Я не пощажу своей жизни, чтобы доказать свою сыновью преданность родине и вашему величеству, всемилостивейший государь.

Император молча наклонил голову: аудиенция окончена.

Это была только вынужденная, пустая формальность, а не разговор царя с главнокомандующим всеми вооруженными силами в грозную минуту.

Кутузов низко поклонился и пошел к выходу.

Александр медленно шел вслед за ним, делая вид, будто провожает гостя.

Кутузов уже подошел к двери, как вспомнил: «А на какие же средства я поеду? Дома одни долги...»

Он повернулся к императору. Александр стоял в двух шагах от него и уже смотрел во все глаза на Кутузова.

— Ваше императорское величество... От волнения, от беспредельного ко мне вашего благорасположения запамятовал... Осмелюсь просить ваше императорское величество о назначении мне денег на дорогу...

— Ах, денег? — переспросил император. Видно было, что у Александра гора свалилась с плеч — он ждал чего-то более неприятного. — Я жалую вам десять тысяч рублей.

— Премного благодарен, ваше императорское величество, — еще раз поклонился Кутузов и вышел из кабинета.

Улыбающийся Комаровский ждал в дежурной комнате.

— Ну, все в порядке? — спросил он так, чтобы только спросить. Иначе быть уже не могло: через руки Комаровского еще утром прошли рескрипты царя всем командующим армиями о назначении Кутузова.

— Да, дело решено: я — главнокомандующий, — скромно ответил Михаил Илларионович и, простившись, уехал домой.

Император не мог никак примириться с назначением Кутузова главнокомандующим: он ненавидел Кутузова, не верил в его полководческие таланты. Александр хотел, чтобы все знали, что он назначил Кутузова против своего желания. Он решил сказать обо всем Комаровскому: уже завтра весь Петербург будет знать об этом, а дня через три узнает и Москва.

Александр вошел в дежурную комнату и сказал Комаровскому:

— Я назначил Кутузова потому, что публика хотела его. Что касается меня, то я умываю руки!

Эту же мысль он повторил в письме, которое час спустя написал своей любимой сестре Екатерине Павловне:

«Я нашел, что настроение здесь хуже, чем в Москве и провинции: сильное озлобление против военного министра, который, нужно сознаться, сам тому способствует своим нерешительным образом действий и беспорядочностью, с которой ведет свое дело. Ссора с Багратионом до того усилилась и разрослась, что я был вынужден, изложив все обстоятельства небольшому, нарочно собранному мной для этой цели комитету, назначить главнокомандующего всеми армиями; взвесив все основательно, остановились на Кутузове, как на старейшем... Вообще Кутузов пользуется большой любовью у широких кругов населения здесь и в Москве».

Болезненно самолюбивый, дороживший именем полководца, каким он никогда не был, Александр постарался заранее предупредить всех: он не хотел, но вынужден назначить Кутузова, и во всем том, что произойдет вследствие этого назначения, он, император Александр, будет совершенно неповинен!

V

Михаил Илларионович решил за пятницу и субботу подготовиться к отъезду, с тем чтобы утром в воскресенье 11 августа тронуться в путь-дорогу.

В пятницу он сдавал дела по командованию Нарвским укрепленным районом и Петербургскому ополчению. За этим занятием пролетел весь день. Михаил Илларионович освободился только в семь часов пополудни. Он еще не обедал, и можно было бы, кажется, ехать домой и отдыхать после трудов праведных, но с новым назначением, как бывало у Михаила Илларионовича всегда, проснулась энергия, которая так поразила на Дунае более молодых генералов вроде Ланжерона.

Кутузов уже думал о русской армии вообще, об отпоре Наполеону.

Возвращаясь из Новой Голландии домой, он по дороге заехал в военное министерство расспросить Горчакова о резервах.

Михаил Илларионович не знал точной численности ни своей армии, ни армии Наполеона, но понимал, что силы Наполеона, собравшего войска из всей Европы, в несколько раз больше русских. Кутузов хотел знать, на какое прибавление он может в ближайшее время рассчитывать.

В России был проведен рекрутский набор, в шестнадцати губерниях собралось народное ополчение, какие-то регулярные части оставались внутри страны. Михаил Илларионович думал, что военное министерство располагает этими цифрами, знает, в каком состоянии находятся формирующиеся полки.

Приехав в министерство, Михаил Илларионович не застал Горчакова. Молодой князь больше щадил свой покой и здоровье, чем Кутузов: он два часа тому назад уехал домой.

Кутузов в той же приемной, где висела большая карта Европы, у которой в первые дни войны велись горячие споры, написал своим малоразборчивым почерком записку князю Горчакову, прося сообщить нужные данные.

С субботы 10 августа кабинет Кутузова превратился в штаб-квартиру. Михаил Илларионович взял себе в помощники своих привычных, милых полковников: Павла Андреевича Резвого, Паи-

сия Сергеевича Кайсарова и мужа недавно вышедшей замуж дочери Кати князя Николая Дмитриевича Кудашева. Они все служили у Кутузова в Петербургском ополчении.

Горчаков откомандировал в распоряжение главнокомандующего двух фельдъегерей.

Михаил Илларионович прежде всего отправил новгородскому, тверскому и смоленскому губернаторам предписание заготовить с 11 августа на станциях по сорок пять лошадей для него и свиты. Затем занялся самым важным вопросом — резервами для армии.

Горчаков прислал сведения. Выяснилось, что само военное министерство не располагает проверенными и точными данными.

Генерал Милорадович формировал у Калуги из рекрутов последнего набора особый корпус. Предполагалось, что это составит пятьдесят пять батальонов пехоты, двадцать шесть эскадронов кавалерии и четырнадцать артиллерийских рот. Князь Лобанов-Ростовский вел к Туле две дивизии, созданные на Украине. Ростопчин хвалился московским ополчением.

Все это пышно именовалось «второй стеной» и должно было дать от ста до ста двадцати тысяч человек.

— Если бы хоть сто тысяч, тогда нам никакой антихрист не страшен! — сказал Резвой.

— Все это лишь на бумаге, — покривился Кутузов.

— И потом все это — рекруты от матушки-сохи, не обученные, не привычные ни к ружью, ни к сабле, — заметил Кайсаров.

— А также слабо вооруженные, — прибавил Кудашев.

— Одним словом, пишите к Алексею Ивановичу, чтобы немедля прислал еще трех фельдъегерей. Пошлем предписание Милорадовичу — пусть докладывает мне обо всем в Смоленск, а Ростопчин — чтоб усилил Милорадовича московским ополчением, — приказал Кутузов.

Целый день пролетел в распоряжениях и сборах к отъезду в армию.

В воскресенье 11 августа, с самого раннего утра, у дома Кутузова стал собираться народ. Сюда, на Воскресенскую набережную, со всего города шли чиновники, купцы, ремесленники, крестьяне, мужчины и женщины. В толпе сновали любопытные, всезнающие мальчишки.

Весь Петербург прослышал о том, что сегодня отбывает на войну избранник народа, князь Михайло Илларионович Кутузов, кому вверено главное руководство всеми армиями. Петербург шел провожать маститого полководца, которого он знал и любил.

На набережной уже дожидались, звеня бубенцами, десять лучших ямских троек для Кутузова, его свиты, канцелярии, фельдъегерей, кухни и прислуги. К дому то и дело подъезжали коляски и дрожки — родственники и друзья съезжались провожать Михаила Илларионовича.

Толпа на набережной все густела. Народ стоял уже от дома Кутузова до Летнего сада. Полицейский офицер с несколькими нижними чинами безуспешно пытался установить порядок.

В доме у Кутузовых в эту ночь почти не спали. Далеко за полночь в кабинете Михаила Илларионовича полковники по его указаниям еще писали разные бумаги и рассылали во все концы России фельдъегерей. Потом, утомившись, прилегли тут же в кабинете по-походному — кто на диване, кто в креслах — отдохнуть до зари.

А утром в доме проснулись чем свет.

Раньше всех встала Екатерина Ильинишна — собирать мужа в путь-дорогу. Вчера целый день на кухне пекли и жарили. Нужно посмотреть, как все уложено, не забыли ли чего. Сколько раз за тридцать четыре года совместной жизни с Михаилом Илларионовичем приходилось ей заниматься этим малоприятным делом — провожать мужа на войну!

Екатерине Ильинишне помогала дочь Катя, которая впервые провожала в такую невеселую дорогу вместе с папенькой и своего молодого мужа. По дому бегала, стуча каблучками, проворная Марина и топал уже одетый во все солдатское медлительный Ничипор.

Михаилу Илларионовичу сегодня тоже было не до сна. Он встал вскоре после жены. Умылся, оделся и все или смотрел на карту, что-то прикидывая карандашиком, или ходил из угла в угол в тяжелом раздумье. Михаил Илларионович был скрытен. Он не любил никому говорить до поры до времени о своих замыслах, расчетах и планах. Только отдавал короткие приказания невыспавшимся полковникам.

Потом Ничипор усадил барина бриться. А после бритья обе Катеньки — жена и дочь — позвали всех в столовую завтракать. Еда не шла на ум, но пришлось сесть за стол.

В доме стоял дым коромыслом. В каждой комнате толклись люди — родственники и друзья провожали Михаила Илларионовича.

И вот раздался первый удар колокола: звонили к обедне.

Пора вставать из-за стола. Надо еще отслужить молебен в Казанском соборе и — в путь: дело не ждет, враг уже стучится в смоленские ворота.

Еще раз последние сборы, последняя проверка.

— Бумаги, карты, деньги взяли? — спросил Кутузов у озабоченных полковников.

— Взяли, Михаил Илларионович.

— Ну, тогда по русскому обычаю присядем-ка на дорожку!

Уезжающие, домашние и гости сели где попало. Ничипор сел на скамейку, которую всегда возил с собой для Михаила Илларионовича.

На минуту все в кабинете затихло. Только слышалось, как тихонько плакала, сморкаясь в платочек, бедная Катенька, впервые расставававшаяся с мужем.

Екатерина Ильинишна держалась молодцом.

— Ну, с Богом! — поднялся Кутузов.

Все засуетились, затараторили, зашумели. Ничипор и лакеи понесли укладывать на тройки последнюю поклажу.

Толпа на набережной загудела, заволновалась:

— Уже! Идет!

Все взоры устремились на парадную дверь дома.

И вот из нее на крыльцо вышел в скромном мундирном сюртуке без погон, в белой бескозырке с красным околышем князь Михаил Илларионович Кутузов.

Все мужчины, стоявшие на набережной, обнажили головы перед прославленным, убеленным сединами русским полководцем.

Первая коляска, в которую сели Михаил Илларионович с женой и дочь Катя с мужем, полковником князем Кудашевым, медленно тронулась с места. За ней постепенно двинулись остальные.

Ехать приходилось только шагом: так было много народу на Дворцовой набережной.

Люди жались к самой коляске, старались подойти к ней поближе, чтобы увидеть знаменитого полководца, пожелать ему счастливой дороги, успеха в неравной борьбе с врагом. Мужчины махали шляпами, шапками, картузами, женщины — платочками и шарфами. В коляску совали и бросали букеты цветов, кричали:

— Спаси нас, Михайло Ларивонович!

— Счастливый путь!

— Храни тебя Господь!

— Гони проклятущих немцев из штаба!

— Батюшка, побей супостата!

— Ты одна наша надёжа!

— Не допусти погибели России!

— Оборони нас!

Михаил Илларионович в ответ только махал бескозыркой — слов не было...

Царь еще два дня назад поторопился уехать в Швецию. Царь не хотел провожать Кутузова.

Кутузова провожал народ.

Глава четвертая

«ПРИЕХАЛ КУТУЗОВ БИТЬ ФРАНЦУЗОВ»

I

Шумные, многолюдные проводы взволновали Михаила Илларионовича. Его глубоко тронуло это искреннее выражение любви и доверия к нему народа.

Погруженный в свои мысли Кутузов сидел в коляске. Петербург давно остался позади. Вместе с Михаилом Илларионовичем ехал Павел Андреевич Резвой. Павел Андреевич, старый, всегдашний спутник Кутузова, хорошо изучивший его, умел, когда надо, посидеть молча, не докучал Михаилу Илларионовичу ненужными вопросами и разговорами.

А у Михаила Илларионовича не выходили из головы петербургские проводы...

Александр предостерегающе сказал Барклаю: «Помните — у меня одна армия!» Глупец! Он думает, что в ней все. А народ?

Александр, чужой России человек, не понимает, не хочет принимать в расчет самую главную силу, самое большое богатство — народ.

Армия отступала в глубь страны, отбиваясь от превосходящего врага, а народ боролся с ним по-своему: уходил в леса и болота, на каждом шагу подстерегая непрошеных гостей с топорами, вилами, косами. Об этом рассказывали курьеры, приезжавшие в Петербург из-под Полоцка, из корпуса Витгенштейна. Как ни тяжела была крестьянская подневольная жизнь, но иноземное рабство, которое нес Наполеон, было хуже.

На защиту родины поднимался весь народ.

И это стоило принять в расчет.

Думал Кутузов и о своей армии. Его беспокоили людские резервы и продовольствие. Многие магазины с зерном, мукой, крупой, фуражом достались врагу или сожжены самими русскими.

Провиантские чиновники радовались отступлению: можно свалить все на французов и показать уничтоженными тысячи пудов продовольствия там, где в действительности стояли одни пустые амбары с мышиными объедками, а денежки положить себе в карман.

Надо прекратить это безобразие, надо прибрать всех этих провиантских жуликов к рукам. И позаботиться о провианте для дальнейшего — без хлеба воевать нельзя. Кутузов никогда не забывал мудрого Румянцова, который говорил: «Войну надо начинать с брюха!»

Вспомнилось Михаилу Илларионовичу, как на Дунае он организовал снабжение Молдавской армии.

Кутузов думал, а версты незаметно уходили одна за другой. Вот уже и первая станция — Ижоры. У станционного дома было похоже на конскую ярмарку: табунилось сорок пять лошадей, приготовленных для Кутузова. Возле крыльца стояла, видимо только что подкатившая, курьерская тройка, которую со всех сторон облепил народ.

— Курьер из армии. Какие-то новости он везет? — нарушил молчание Резвой.

— Ничего хорошего. Видишь, все хмурые, — ответил Кутузов.

На лицах мужиков и баб, окружавших поручика-курьера, были написаны растерянность и тревога. Толпа даже как-то не очень оживилась, увидев подъезжавший длинный кутузовский поезд.

— Я выходить не буду. Пусть поскорее перепрягут лошадей. И пусть курьер даст сюда пакет, — сказал Михаил Илларионович, когда подъехали к станции.

Кайсаров и Кудашев, сидевшие во второй коляске, уже бежали к курьеру сказать, что князь Кутузов имеет право читать донесения командующих государю.

Пока полковники объяснялись с курьером, Михаил Илларионович прислушивался к разговору в толпе:

— На самый спасов день вошли!

— Там и река и стены — и не могли отстоять!

— Долго ли проклятущий немец будет отступать?

Сомнений не оставалось: Смоленск взят!

Кайсаров уже нес Кутузову пакет. Поручик-курьер шел за ним с раскрытой курьерской сумкой.

Михаил Илларионович вскрыл пакет, прочел донесение и помрачнел.

— Смоленск взят, — глухо сказал он. — Смоленск — это ключ к Москве. Дело стало еще сложнее!.. Запечатай, голубчик! И скорее в путь! — приказал он Кайсарову, возвращая ему нерадостный пакет.

— Ну-ка, братец, поди расскажи, как отдали Смоленск, — обратился он к поручику-курьеру, который почтительно стоял поодаль.

— Два дня дрались, ваша светлость, — воскресенье и понедельник. В воскресенье Смоленск защищали двадцать седьмая пехотная дивизия Неверовского и седьмой корпус Раевского, а в понедельник их сменили шестой корпус Дохтурова и третья пехотная дивизия Коновницына.

— Смоленск не укрепили, не подновляли старые валы?

— Никак нет.

— Армия отступила на какую дорогу?

— На Московскую, ваша светлость.

— Так, так, — машинально говорил Кутузов, доставая из трубки карту, а сам думал: «Зря поехал к Смоленску. Надо бы прямо на Москву!»

Он держал карту у самых глаз.

«Всего сто семьдесят верст от Москвы!»

Поручик-курьер стоял навытяжку, ожидая еще каких-нибудь вопросов. А ямщики тем временем торопливо запрягали тройку.

— Стой, куда ты пятишься, Барклай треклятый! — со злостью кричал на пристяжную ямщик. После того как Барклай отступил от Смоленска, его имя стало ненавистно всем.

Через несколько минут поезд Кутузова тронулся дальше.

II

Уже пятый день ехал к армии Кутузов. Он дорожил каждым часом и торопился как мог, тем более что погода благоприятствовала: стояли ясные осенние дни.

Екатерина Ильинишна заботливо снарядила мужа и зятя в дорогу — приказала повару нажарить и напечь столько всякой вкусной снеди, что с этими припасами можно было отправляться не к Смоленску, а хоть в Севастополь. Поэтому завтраки и ужины отнимали не много времени, на обед Михаил Илларионович отпускал не более часа (повар ехал впереди и приготовлял заранее), а на ночлег останавливались через день.

Больше всех задерживали курьеры из армии и те, которых Кутузов рассылал в разные стороны сам. Он продолжал вести деятельную переписку со всеми командующими и Ростопчиным.

Офицеры, приезжавшие из армии, рассказывали подробности героических боев русских войск на подступах к Смоленску и при защите самого города.

Михаил Илларионович узнал о том, как у Красного генерал Неверовский с двадцать седьмой пехотной дивизией самоотверженно задерживал два французских корпуса. Это было тем более поразительно, что из шести полков его дивизии четыре состояли из необстрелянных рекрутов с молодыми, семнадцатилетними офицерами. Французы через своих польских улан предлагали русским сдаться, но солдаты Неверовского возмущенно отругивались и кричали: «Умрем, а не сдадимся!»

Не менее мужественно дрались русские полки Раевского, Дохтурова, Коновницына и Неверовского у стен Смоленска — этого «дорогого ожерелья России», как Смоленск назывался исстари.

Михаил Илларионович восхищался героическими солдатами и офицерами.

На каждой станции к кутузовскому поезду стекались толпы народа, а в Торжке его не встречал никто: еще не взошло солнце, и Торжок спал.

Перепуганный смотритель побежал собирать лошадей — он не ждал, что светлейший приедет в этакую рань. Жена станционного смотрителя загремела в сенях самоваром, в доме забегали, засуетились.

Кутузов не пошел в горницу — там духота и мухи! — а стал умываться на воздухе. Потом сел на скамейку у дома, ел яблоки и диктовал Кайсарову письма. Он отправил их с нарочным Барклаю. Михаил Илларионович извещал, что следует на Стариц-Зубцов, и просил слать к нему курьеров с донесениями по этой дороге.

Позавтракав, Кутузов тотчас же отправился дальше.

На следующую станцию, Новотроицкую, приехали в полдень. Здесь Михаила Илларионовича ждала непредвиденная встреча.

В Новотроицкой у него не было никаких дел — ни курьеров, ни отсылки срочных бумаг. Кутузов остался сидеть в коляске, ожидая, когда перепрягут лошадей, а его молодежь вылезла размять ноги. Михаил Илларионович снял бескозырку, подставив осеннему нежаркому солнышку седую голову, смотрел вдаль и думал: «Какая тишина! Какая благодать!»

— Папенька, здесь Леонтий Леонтьевич Беннигсен, — сказал подошедший к нему Кудашев.

«Леонтий Леонтьевич!» — усмехнулся Кутузов. — И с какой стати окрестили этого ганноверца, лютеранина православным именем, ежели по-настоящему он никакой не Леонтий, а Левин Август Теофил? Хорош Леонтий — по-русски говорить не умеет!»

Беннигсен ехал в Петербург. Его происки против Барклая как будто, увенчались успехом, но не в пользу его самого, и Беннигсен решил удалиться из армии. В Новотроицкую он приехал вчера вечером, хорошо выспался и только к полудню взялся за утренний кофе. Хотя Беннигсену было очень неприятно, но волей-неволей пришлось выйти из дома и приветствовать Кутузова, которого он любил так же, как и Барклая.

Высокий и худощавый, с хищным, словно у коршуна, носом, он важно стоял у старой, вытертой в бесконечных походах коляски Михаила Илларионовича. Своим холодным, надменным видом Беннигсен старался показать, что назначение Кутузова главнокомандующим нисколько его не волнует, что он — выше всего. Недаром Беннигсена называли — «ледяная глыба».

— Его величество велели вам, господин барон, состоять при мне. Прошу не задерживаться, мы сейчас едем, — сказал Беннигсену Кутузов.

Беннигсен чуть поклонился и пошел к дому, негнущийся и деревянный.

Не успели проехать и трех верст от Новотроицкой, как им повстречался еще один любимчик императора Александра: любимчику стало неуютно в армии. В простой телеге, запряженной парой неказистых лошаденок, сидел на мешке с сеном небритый, взъерошенный генерал Фуль. Увидев Кутузова, Фуль с презрением отвернулся.

— Разлетается воронье! — сказал Резвому Михаил Илларионович.

Чем ближе подъезжали к столбовой Смоленской дороге, тем все чаще встречались бежавшие от войны жители Смоленска и смоленских сел и поместий, занятых неприятелем. Они ехали и шли на восток с женами и детьми, везли кое-какой скарб, вели домашний скот. Они, как цыгане, располагались со своими повозками и телегами у самой дороги. Увидев где-нибудь на жнивье или на лугу у речонки такой табор, Кутузов иногда останавливался на несколько минут, чтобы расспросить смолян обо всем. Потрясенные свалившейся на них бедой, разорением, пожарами, измученные треволнениями последних дней, они с ужасом и возмущением рассказывали о грабежах и насилиях армии Наполеона.

— Недаром баре держат французов-камердинеров: француз тебя быстро разденет и разует! — не без иронии заметил один смоленский ремесленник.

Кутузов видел слезы обездоленных, потерявших кров и имущество людей, и ему хотелось поскорее быть в армии, чтобы противостоять врагу.

И Михаил Илларионович торопил ямщика:

— Гони, братец!

III

Вдруг в одну ночь резко изменилась погода, откуда-то нахлынули хмурые, серые тучи. Они тянулись по небу без конца и края. Пошел дождь. Не буйный, по-летнему озорной и шумный, а тихий, монотонный, въедливый. В мелкой сетке дождя все предстало в ином виде: посерели деревни, грустью повеяло от сжатых полей, неуютным и черным казался лес. И сразу стали ощутимы все изъяны ухабистой проселочной дороги. Пришлось поднять в коляске верх и натянуть на колени кожаный, потрескавшийся и порыжевший от старости жесткий фартук.

Это сразу обкорнало, сузило обзор. Сидя в открытой коляске, Михаил Илларионович мог видеть далеко вперед и смотреть по сторонам. А теперь впереди все заслонили спины ямщика и Ничипора, словно они только сейчас сели на козлы, а сбоку оказалось для обозрения весьма небольшое пространство. Оставалось смотреть, как по морщинистому фартуку катятся дождевые струйки.

Езда потеряла последнюю прелесть.

К тому же стало быстро темнеть, фонарей у коляски не было, и все чувствительнее отдавались толчки разбитой колеи.

В чернильной темноте осеннего вечера под проливным дождем приехали в Зубцов.

Пришлось заночевать, хотя армия была уже так близко — возле Гжатска, у Царево-Займища, где Барклай собирался дать решительное сражение Наполеону.

Кутузов со свитой остался в станционном доме, а Беннигсена повезли в дом какого-то купца.

Михаил Илларионович при свечах тотчас же продиктовал Кайсарову письмо к Барклаю о том, что из-за дождя он не сможет приехать в Царево-Займище к завтрашнему полудню. Курьер немедленно повез это письмо по назначению.

Михаил Илларионович ходил по комнате и все посматривал то в одно, то в другое окно, не стихает ли дождь.

Дождь продолжал шуметь по-прежнему.

— Как думаешь, надолго ли зарядил дождик? — спросил светлейший у станционного смотрителя, принесшего самовар.

— Да ведь вчерась, ваше сиятельство, Успеньев день был. Дело к осени. Старики так бают: ежели к полуночи не перестанет, то будет идти до полудня.

Сели ужинать.

Светлейший приказал, чтобы лошади были готовы для отъезда в любую минуту.

Легли спать. Молодые полковники, утомленные дорогой, быстро уснули. За ними скоро захрапел и Павел Андреевич. Один Кутузов не мог уснуть, хотя и намаялся сегодня — старые рессоры плохо уберегали от рытвин.

Михаил Илларионович лежал и думал об армии, о том, как мало осталось Наполеону до Москвы. Думал о дочерях, Аннушке и Параше. Аннушка живет у Тарусы, между Калугой и Серпуховом. Не похоже на то, чтобы Наполеон добрался туда, но все-таки Таруса может оказаться в непосредственной близости к фронту. Надо осторожно предупредить об этом Аннушку — пусть заблаговременно уезжает с детьми на восток.

Еще больше беспокойства доставляла ему старшая дочь, Прасковья, бывшая замужем за Толстым. У Параши восемь детей, и живут они в Москве. Неужели не догадается уехать в свое рязанское имение?

Этот «сумасшедший Федька» Ростопчин только зря обнадеживает народ, пишет всякую ерунду в своих ёрнических афишках...

Проснулся Михаил Илларионович среди ночи. И первым делом прислушался, шелестит ли за окном дождь?

Как будто не слыхать.

Он надел туфли и подошел к окну. Было еще темно. Михаил Илларионович открыл окно. Пахнуло сыростью. По небу с прежней торопливостью, словно опаздывая куда-то, мчались тучи. Но уже не сплошной, непроницаемой стеной, как с вечера, а разорванными клочьями. Иногда среди них проглядывали светлые кусочки.

Дождь перестал. Только с крыши звучно падали на стол, стоявший под окном, дождевые капли.

Можно бы ехать, но еще все-таки темно. Придется обождать.

Михаил Илларионович снова лег в постель. Он долго ворочался с боку на бок.

Вот стали перекликаться петухи, и им охотно подтянул станционный. Потом робко начало светлеть за окном. Понемногу совершенно отчетливо вырисовался на столе самовар, и сквозь стекла окна обозначились кусты сирени, росшие у самого дома.

Пора в путь.

Через минуту весь станционный домик проснулся. Молодые полковники вскочили бодро, но, конечно, им бы еще спать и спать...

Невыспавшийся Ничипор говорил, зевая:

— Що за сон, як у головах шапка!

Ямщики быстро запрягли лошадей, и длинный кутузовский поезд снова тронулся в путь. Только одна коляска осталась на месте: генерал Беннигсен не изволил проснуться и сказал, что нагонит Кутузова в дороге. Михаил Илларионович не очень опечалился:

— Баба с возу...

Кутузов велел откинуть надоевший кожаный верх коляски.

Дорога была тяжела — грязная, разбитая. Ехать приходилось шагом.

С каждой верстой становилось светлее.

Когда подъезжали к Песочне, не только не было дождя, на даже показалось солнышко.

— В осінній час сім погод у нас: сие, вие, туманйе, шумить, гуде, тай зверху йде! — смеялся Ничипор, слезая с козел.

В Песочне Кутузов завтракал. Здесь уже все с тревогой поглядывали на запад и подозрительно прислушивались ко всякому шуму. Жена станционного смотрителя божилась, что, выгоняя корову в поле, слыхала, как грохочут пушки. Беспокойство усугубляли бежавшие из-под Вязьмы крестьяне, они целым табором расположились у самой станции. Горели костры. Пригорюнившиеся, измученные бабы варили еду, возились с грудными младенцами, пасли скот, который вели за собой. Мужчины угрюмо ладили телеги и сбрую, поили коней. Старики рассказывали жителям Песочни о своей беде, о грабежах и насилиях «франца». Босоногие ребятишки носились по лужам, глазели на кутузовский поезд — до них горе еще не докатилось.

Позавтракав, Кутузов двинулся дальше. Еще до полудня подъехал к Гжатску.

У опушки леса и на дороге Кутузова ждала толпа народа. Увидев коляску главнокомандующего, толпа кинулась к ней, облепила со всех сторон:

— Батюшка, родимый, спаси!

— Оборони нас, Михайло Ларивонович!

— Вызволи из беды! — кричали мужики и бабы, протягивая к Кутузову руки.

Михаил Илларионович заморгал — встреча растрогала его. Но что можно было сказать гжатцам, чем утешить, обнадежить их, если французы уже стоят под Царево-Займищем?

Гжатские купчики и их молодцы-приказчики бросились к тройке и стали выпрягать из коляски лошадей.

— Что вы, ополоумели? Не замай, не трожь! — яростно замахнулся на них кнутом ничего не понимавший ямщик.

— Ты плохо вез! Слезай! Мы повезем! — втолковывали ему гжатцы.

Резвой соскочил с коляски и пересел к Кудашеву и Кайсарову. Ничипор тоже хотел последовать примеру Павла Андреевича, но его задержали гжатцы:

— Сиди, сиди!

— В тебе весу-то не больше, чем в мешке овса!

— Будь за кучера!

Ничипор, ухмыляясь, остался сидеть на козлах.

Молодежь мигом распрягла тройку, ухватилась за оглобли, за коляску.

«Не развалилась бы она от их усердия, ишь как уперся в крыло!» — думал Михаил Илларионович, глядя, с каким рвением народ потащил коляску в город.

Кутузов с триумфом въехал в Гжатск. К коляске отовсюду бежал народ. Главнокомандующего подвезли к двухэтажному дому купца Церевитинова. Церевитинов, седой, кряжистый старик, встретил Кутузова у крыльца с поклоном, с хлебом-солью:

— Добро пожаловать, ваше сиятельство!

Михаила Илларионовича, словно архиерея, подхватили под руки и повели по устланной коврами лестнице наверх. Хотели сейчас же усадить за стол — откушать, но главнокомандующий отказался: дело прежде всего!

У дома его ждала толпа курьеров, прискакавших к нему с разных концов России, а в двадцати верстах от Гжатска — вся русская армия.

Кутузов слушал, как Кудашев и Кайсаров читали ему донесения, и тут же диктовал ответы.

По высокой лестнице, звеня шпорами, бегали ординарцы, курьеры, вестовые.

Главнокомандующий два часа занимался письмами, потом поехал в Царево-Займище.

Народ не расходился, стоял у дома, запрудив улицу. Сколько надежды светилось в глазах этих людей, которые встречали Кутузова!

«Ведь через день-другой им придется бросать все нажитое — дома, имущество», — с болью думал Михаил Илларионович, приветливо махая гжатцам из коляски своей бескозыркой.

IV

Приезд Кутузова вызвал в армии всеобщее ликование. Какой-то остряк удачно обмолвился:

Барклай-де-Толли
Не нужен боле —
Приехал Кутузов
Бить французов!

Это четверостишие вмиг пронеслось по всему лагерю и стало повторяться на каждом шагу.

— Теперь держись, франц-Полиён!

— Михайла Ларивоныч не будет с вами прохлаждаться, а раздва — и пожалуйте бриться!

— Да, да, милости просим, дорогие гости, на честной пир!

— Он заставил турок на Дунае конину жрать!

— Он по-суворовски: канители тянуть не любит!

Во многих полках солдаты и офицеры знали Кутузова по старой совместной службе, по прежним походам и победам. Старослуживые рассказывали молодым, как турецкая пуля пролетела через оба виска насквозь и один глаз у Михайлы Ларивоновича чуть усидел на месте, а второй вылетел, как воробей из гнезда.

— А как же, дяденька, он теперь одним-то глазом видит?

— Видит лучше, чем ты двумя. Он все, брат, видит! Что у тебя подвертки сносивши и что хлебушка ешь не досыта — все!

Тысячеустая молва подхватила и разнесла по лагерю первые слова, сказанные Кутузовым в Царево-Займище. Светлейший проходил с Барклаем по фронту выстроенного для встречи главнокомандующего почетного караула первой роты лейб-гвардии Преображенского полка. Глядя на рослых, ражих преображенцев, Кутузов как бы про себя сказал:

— С такими молодцами — и отступать!

В этой фразе могло быть все: и укор, и сожаление, и удивление.

Армия, два месяца отступавшая перед врагом, уже сама начала сомневаться в своих силах и возможностях. И одна эта фраза победоносного полководца, своего, родного, русского человека, вернула армии веру в себя:

— Право слово, что мы — не русские? Что мы — трусы?

— Что уж, так-таки мы ничегошеньки не стоим?

Затем вся армия говорила об орле, который парил над Кутузовым, когда он объезжал полки.

Оказалось, что орла видело больше народа, чем можно было предполагать. Спорили лишь о том, где это произошло: одни говорили, что когда главнокомандующий подъехал к шестому пехотному корпусу генерала Дохтурова, а другие божились, что у второго пехотного корпуса толстяка генерала Багговута. Солдаты подмечали все, по-своему расценивали каждый шаг Михаила Илларионовича.

Все генералы — Барклай, Багратион, Беннигсен, Ермолов, вся свита были в парадной форме, при орденах, а на Михайле Ларивоновиче — сюртук без эполет, да еще нагайка через плечо, как у казака. У всех у них были форсистые черные шляпы с петушиными — то черными, то белыми хвостами, а на голове у Кутузова — какая-то простецкая бескозырка с красным околышем. И ехал он не на каком-нибудь кровном жеребце, а на гнедой, невзрачной, спокойной кобыленке, не как новый главнокомандующий, «новая метла», а как свой, давнишний родной человек. Будто он всегда был со всеми ими от самой границы, будто шагал он в зной и непогоду по белорусским пескам, с болью в сердце отдавал врагу свою землицу и вместе со всеми клял этих сановных немцев-изменников, что наплодил в армии белобрысый царь.

Услыхав где-то в соседнем корпусе громкое, задорное «ура», солдаты без команды схватывались — чистились, осматривали обмундирование и амуницию, хотели предстать перед Михаилом Илларионовичем в лучшем виде.

— Дай-ка, братец, иголочки с ниточкой.

— Зачем?

— В мундере фалада по шву расползлась, подлая.

— А у меня в тесачном ремне пряжка расхлябавши. Хорошо еще — увидел.

— Ах ты подлая, не лезет! — сокрушался старик, вдевая нитку в иглу.

— Ты бы, дяденька, табачку понюхал: говорят, хорошо глаза прочищат!

— Ладно, молод еще учить. «Глаза прочищат!» Тебе бы вот спину шпицрутеном прочистить. Узнал бы.

Но солдаты так и не успевали навести в своем хозяйстве порядок: главнокомандующий уже въезжал в расположение их полка. И ничто не ускользало от его заботливого взгляда.

— Не тянитесь, ребятушки, не надо! Я приехал только посмотреть, здоровы ли дети мои. В походе солдату не о щегольстве думать. Отдыхайте, пока отдыхается! — по-отечески говорит Кутузов.

Солдаты были в восторге от нового главнокомандующего:

— Вот приехал наш батюшка. Он все солдатские нужды знает!

— Это не Барклаев. Тот ни словечка тебе не скажет, смотрит как протопоп!

— А потому, что и говорить по-русски Барклаев не горазд.

— Верно. И энтот жилистый, деревянный Бениксон не может. Я слыхал в осьмом годе в Пруссии, как он командовал: «Полк впруд!»

— А это что ж значит такое — «впруд»?

— Вперед. Он заместо «вперед» говорит — «впруд». Немец ведь!

— Речист генерал.

— Охо-хо! — хохотали солдаты.

Кутузов проехал по лагерю, осмотрел и одобрил позицию, выбранную для генерального сражения, принял рапорты начальников отдельных частей.

Ему показали карманный разговорник, который нашли у пленного французского офицера. Разговорник был четырехъязычный — на французском, немецком, польском и русском языках. В нем на первой странице стояли такие фразы:

Господин мужик дай меня кушат
Я лублу курица
масло
яйко
вещина
Мужик я алкаю
я жажду
Стели меня постел

Михаил Илларионович с возмущением качал головой:

— Навязались гости на нашу шею!

После осмотра позиции Барклай пригласил Кутузова к обеду. У Михаила Богдановича собрался весь цвет русской армии.

Садясь за скромно сервированный стол в доме, где поместился Барклай, Михаил Илларионович невольно вспомнил Павла Васильевича Чичагова.

Адмирал привез на турецкий фронт в Яссы пять подвод с дорогими сервизами и столовым прибором. Павел Васильевич, конечно, удивил бы гостей не только посудой, но и разнообразием и обилием блюд. А у скромного Михаила Богдановича ждать разносолов и роскоши не приходилось. Он зачастую обедал по-суворовски, из солдатского котла.

Барклай-де-Толли держался с большой выдержкой и достоинством. Он не показывал своей горькой обиды, что вынужден уступить командование Кутузову. Продолговатое лицо Барклая было так же бледно, как всегда, только на высоком лбу, переходившем в лысину, выступал пот, да от волнения едва заметно дрожала раненая правая рука, которой Барклай владел не совсем свободно.

В роли гостеприимного хозяина он был не по-русски чопорен, немногословен и сух. Угощать и развлекать беседой Барклай не умел.

Зато был оживлен и превосходно чувствовал себя князь Багратион. Горячий, но отходчивый, он уже без неприязни смотрел на Барклая, который так возмущал его, своим отступлением. Растягивая гласные («Па-анимаете, друг мой А-алексей Петрович!»), Багратион говорил с сидевшим рядом с ним Ермоловым: они дружили.

Суровый красавец Ермолов слушал Багратиона со своей всегдашней неестественной улыбкой. Из-под густых кустистых бровей, которые были бы под стать какому-нибудь семидесятилетнему старику, а не тридцатипятилетнему молодому человеку, глядели проницательные серые глаза. У этого могучего великана был звучный, настоящий командирский, но вместе с тем чрезвычайно приятный голос. Высокий, статный, Ермолов производил впечатление богатыря; солдаты так и звали его: Ермолай-богатырь. Они говорили: «Надень наш Алеша мужичий тулуп и замешайся в толпе на базаре, и то у тебя шапка запросится с головы, когда увидишь его!» Так величествен был Ермолов, с мощной фигурой и львиной головой.

Рядом с ним сидел маленький, нездорово тучный Дмитрий Сергеевич Дохтуров.

В этом небольшом и слабом теле жила недоступная слабостям большая душа. Когда русская армия подходила к Смоленску, Дохтуров только что выздоровел после горячки. Барклай послал спросить у него, может ли Дохтуров принять на себя оборону Смоленска. «Лучше умереть на поле боя, чем на постели», — ответил Дохтуров и мужественно принял на себя это трудное, ответственное поручение.

Михаил Илларионович спросил у Дмитрия Сергеевича, как он теперь чувствует себя.

— Спасибо, Михаил Илларионович, окреп после смоленской баталии, — ответил, улыбаясь, Дохтуров.

Солдаты любили его за доброту, веселость и бесстрашие.

«Коли наш Дохтур где станет, туда надобно посылать команду с рычагами — иначе его не сдвинешь с места», — смеялись его солдаты.

За Дохтуровым шли такие же герои: бестрепетный (как называл его мало о ком отзывавшийся хорошо язвительный Ермолов) Николай Николаевич Раевский и два генерала-суворовца: скромный и тихий Неверовский, доставивший столько хлопот французам у Красного, и быстрый, распорядительный Коновницын. Всегдашнее спокойствие Коновницына вошло у солдат в поговорку.

«Наш генерал — что на смотру, что на полковом празднике, что в бою — всегда одинаков», — говорили они.

Рядом со спокойным Коновницыным сидел вспыльчивый, горячий Толь. Ширококостый, он казался квадратным. Толь беседовал со своим сослуживцем, генерал-квартирмейстером, худощавым, ничем не замечательным стариком Вистицким, походившим на Дон-Кихота, и красавцем французом, начальником штаба армии Багратиона, генералом Сен-При.

За Сен-При сидели два черных и курчавых кавалериста — крючконосый Орлов-Денисов и неумный Уваров, которого звали за глаза «же, сир». Когда в Тильзите Наполеон спросил у Уварова, кто командовал русской кавалерией, то Уваров, плохо говоривший по-французски, ответил «же, сир» вместо правильного «муа, сир». За Уваровым восседал важный, напыщенный Беннигсен, с провалившимся, как у старой бабы, узким ртом и птичьим, хищным носом. Беннигсен плохо понимал русский язык, и, когда за столом смеялись, он подозрительно косился — уж не над ним ли?

Возле насупленного худощавого Беннигсена поместился добродушный плотный Багговут.

За обедом говорили о разном.

Багратион потешался над тем, как Ростопчин написал ему, что «женщины, купцы и ученая тварь едут из Москвы, и в ней становится просторнее».

Ермолов рассказал о своем разговоре с пленным французским офицером, которого захватили накануне.

— Наполеон, узнав о вашем назначении, вспомнил о вас, ваше сиятельство, — сказал Кутузову не то с почтением, не то с иронической улыбкой Ермолов.

— Как же Наполеону не признать меня — чай, я старше его по службе! — отшутился Михаил Илларионович.

— И до чего нахальны французы, — продолжал Ермолов. — Я спрашиваю у офицера: «Вы давно из Франции?» — «Всего три дня». — «Как три дня?» — «А так, — отвечает, — три дня назад я был в Смоленске, а разве Смоленск не французский?»

— Ну и нахальство! — возмутились все, даже слегка покрасневший француз Сен-При.

— У турок тоже спеси было сначала хоть отбавляй, а потом запели лазаря, — заметил Кутузов.

— И армия так думает, ваше высокопревосходительство, — вставил Багговут. — Вот я вчерась слыхал в Минском полку какие вирши:

Летит гусь
На святую Русь.
Русь, не трусь —
Это не гусь,
А вор-воробей.
Русь, не робей,
Бей, колоти
Один по десяти!

V

После обеда Михаил Илларионович поехал в отведенный ему пустой дом. Все жители Царево-Займища еще позавчера выехали из деревни, которая стояла на той самой позиции, где предполагалось дать генеральное сражение. В доме остался один кот — он не видел опасности и не захотел покинуть насиженного угла.

Михаил Илларионович устал за этот бесконечный, полный самых разнообразных впечатлений, долгий день. Он отложил до завтра организацию своего штаба.

На людях Михаил Илларионович был весел и разговорчив, а тут помрачнел и замолчал. Сидел у стола при свечах перед разложенной картой, не спеша пил чай с вишневым вареньем Катеньки и думал.

Положение оказалось тяжелее, чем он предполагал. Ни царь, считавший себя великим полководцем, ни военное министерство не подготовились к войне. Занимались только ненужной муштрой. Военный министр Аракчеев помнил лишь один завет: «Двух забей, третьего выучи!»

А чему выучить? Тянуть на парадах носок...

Война стояла у порога, Наполеон усиленно, тщательно готовился к ней, об этом знали и император Александр и Аракчеев, а о резервах не подумал никто из них.

Трудолюбивый, заботливый Барклай только два последних года был военным министром. Он успел сделать очень немного.

И теперь оказалось вот что.

Обещанная фантазером, краснобаем и вруном Ростопчиным «вторая стена» была просто мифом. Позади Гжатска никакой «стены» не стояло. Ростопчин хвастался, что «московская военная сила» составляет семьдесят пять тысяч человек, по спискам же значилось лишь двадцать пять, а в наличии, готовых к отправке в армию, всего семь тысяч! И эти семь тысяч были без ружей и в лаптях.

Гора родила мышь.

Кутузов знал «сумасшедшего Федьку». Знал, что Ростопчин такой человек, о котором народ метко говорит: «У него на вербе груши растут!»

Михаил Илларионович сразу же не поверил в широковещательные ростопчинские обещания и потому еще в пути из Петербурга старался сам выяснить истинное положение вещей. И только здесь, в Царево-Займище, все окончательно прояснилось.

Единственным настоящим резервом были пятнадцать тысяч рекрутов Милорадовича, наспех собранных и наспех обученных. А в действующей армии оказалось налицо меньше: по спискам числилось в первой и второй армиях около ста тринадцати тысяч человек, а на самом деле было лишь девяносто шесть. Чуть ли не вдвое меньше, чем у Наполеона. Кроме того, приходилось считаться с тем, что армия, отступая, прошла без отдыха более восьмисот верст.

Уезжая из Петербурга, Кутузов полагал, что с потерей Москвы будет потеряна Россия. Поэтому о дальнейшем отступлении он не хотел и думать. Встретив в Гжатске офицеров, высланных Барклаем для осмотра оборонительных позиций, Кутузов велел им возвратиться в Царево-Займище. «Мы и без того слишком много отступали», — сказал им главнокомандующий.

А теперь выяснилось, что резервов нет, ружей, патронов, снарядов, шанцевого инструмента не хватает, хлеба — в обрез...

Придется отступать.

Надо хоть собрать все, что можно. Надо вернуть в строй солдат, которые взяты из полков командирами для разных поручений и услуг, собрать отставших, подтянуть дисциплину, навести порядок.

Надо отступать...

Приходится сохранять хорошую мину при плохой игре. Не показывать никому, что у самого на душе. Ни словом не обмолвиться о своих замыслах и планах.

Михаил Илларионович сидел у стола в тяжелом раздумье. Изредка отхлебывал из стакана остывший чай, ел яблоко.

Кудашев и Кайсаров вполголоса говорили в углу, просматривая списки армии, донесения. Ничипор с вестовым стлали барину постель. Резвой молча сидел у стола за стаканом чаю. На коленях у него примостился хозяйский кот, который подружился с Павлом Андреевичем, — дремал и мурлыкал, иногда на секунду широко открывая свои большие янтарные зрачки.

— Ложитесь-ка спать, мальчики. Утро вечера мудренее. Мы сегодня мало спали, — сказал Михаил Илларионович, тяжело вставая и начиная ходить по комнате от порога до темного красного угла, в котором остались только следы от икон да висела паутина.

Кудашев и Кайсаров послушались, улеглись на лавках, и быстро, по-молодому, уснули.

Резвой продолжал сидеть, поглаживая кота рукой. Свечи оплывали.

Михаил Илларионович сам потушил одну из них, догоревшую до бумаги. Он все ходил из угла в угол. Одна половица скрипела, и Михаил Илларионович старался не ступать на нее.

Наконец он остановился у стола.

— Что ж, матушка Россия не клином сошлась! Есть где расшататься! — сказал как бы про себя Кутузов.

Резвой понял: боя у Царево-Займища не будет.

VI

Не успел Кутузов на следующий день встать, как к нему пожаловал Беннигсен.

Увидев поддержку царя и поняв, что не все еще у него потеряно, Беннигсен стал снова назойливым и нахальным. Интриговав до сих пор против Барклая, и интриговав не без успеха, Беннигсен был готов начать борьбу против Кутузова: он не оставлял надежду стать первым лицом в армии. Беннигсен попросил главнокомандующего определить его положение.

— Его императорское величество приказал мне воспользоваться вашими знаниями, генерал. Сегодня я отдаю свой первый приказ по армии и не премину в нем сказать о вас, — ответил Михаил Илларионович.

Приказ был написан. Кутузов объявил о своем назначении главнокомандующим всеми русскими армиями. В приказе один абзац относился к Беннигсену:

«Г. генерал от кавалерии барон Беннигсен состоять будет относительно ко мне на таком же основании, как и стоят начальники главных штабов относительно к каждому из гг. главнокомандующих армиями».

Назначать Беннигсена начальником своего штаба Михаил Илларионович не собирался. Он только уточнил границы его прав.

Вчера, находясь полдня при армии, Кутузов был в ней еще как бы гостем, а сегодня становился хозяином. Еще с дороги Михаил Илларионович мог писать Барклаю:

«Мое замедление ни в чем не препятствует Вашему высокопревосходительству производить в действие предпринятой Вами план до прибытия моего».

Но сегодня, вступив в командование, Кутузов смотрел на все иными глазами. Он считал, что нельзя давать генерального боя до тех пор, пока не собраны все резервы, насколько мизерны они ни оказались бы в действительности.

Корпус Милорадовича только кончал сосредоточиваться у Гжатска, московское ополчение спешно стягивалось к Можайску, Верее и Рузе. Кроме того, сама позиция у Царево-Займища не удовлетворяла Кутузова: позади намеченной русской линии находилась обширная болотистая долина реки Сежа.

Барклай, доведенный до крайности обидными подозрениями и упреками в измене и трусости, вынужден был согласиться дать бой у Царево-Займища, хотя не мог не видеть слабости своей позиции.

Кутузову же торопиться во что бы то ни стало не приходилось. И он решил отступить, каким бы странным это ни показалось.

Вечером главнокомандующий отдал приказ отходить на восток.

Армия оставила Царево-Займище.

Приезд Кутузова так поднял дух армии, что некоторые солдаты, уходя из Царево-Займища, говорили:

— Ну вот — идем на француза!

— Да ты что, аль не видишь, куда тя ноги несут? — огрызался другой. — В Гжатск идем!

— А пущай и в Гжатск! Все равно французу от этого не поздоровится!

В темноте проходили смятенный отходом армии, взбудораженный город. Михаил Илларионович с болью в сердце проезжал по улицам Гжатска, который так тепло его встречал. Он и раньше отлично понимал душевное состояние честного, преданного России Барклая, которому пришлось отступать восемьсот верст, а теперь сочувствовал ему еще более.

VII

Армия остановилась в десяти верстах от Гжатска, у деревни Иваново. Здесь Кутузов наконец организовал штаб.

Недоверчивый, видевший в жизни много подвохов и каверз, Кутузов составил свой штаб из преданных ему людей.

Новые назначения вызвали много толков среди штабных.

Генерал-квартирмейстером Кутузов назначил генерал-майора Вистицкого, высокого, худощавого старика, который занимал эту должность во второй армии Багратиона. Все знали, что Вистицкий звезд с неба не хватает, что он самый старый в квартирмейстерской части и что он будет только ширмой.

В следующей строке приказа после упоминания о Вистицком шла одна лаконичная фраза:

«Той же части полковнику Толю находиться при мне».

Полковник Карл Толь служил генерал-квартирмейстером в первой армии Барклая. Небольшой, плотный, Толь был энергичен, напорист и трудолюбив. Павел I, уволивший из квартирмейстерской части ряд офицеров, оставил Толя за красивый почерк. Михаил Илларионович знал Толя еще по кадетскому корпусу, знал, что Карлуша не только красиво пишет, но и что он неглуп. Его портили вспыльчивость и самолюбие. В корпусе Толь запустил чернильницей в товарища за то, что он посмеялся над его плебейским лицом. А кичился Толь тем, что сам великий Суворов произвел его в капитаны во время Итальянского похода.

Никто не сомневался в том, что не старик генерал-майор Вистицкий, а тридцатипятилетний Толь станет фактически генерал-квартирмейстером армии.

Всех удивило и следующее назначение: своим дежурным генералом Кутузов назначил полковника Кайсарова.

В Иванове Михаил Илларионович впервые написал коротенькое письмо домой, Екатерине Ильинишне:

«Я, слава Богу, здоров, мой друг, и питаю много надежды. Дух в армии чрезвычайной, хороших генералов весьма много. Право, недосуг, мой друг. Боже благослови детей».

И отослал более длинное письмо дочери Анне Хитрово, которая жила у Тарусы, между Калугой и Серпуховом:

«Друг мой Аннушка и с детьми, здравствуй! Это пишет Кудашев, так как у меня немного болят глаза и я хочу их поберечь. Какое несчастье, мой друг, находиться столь близко от вас и не иметь возможности вас расцеловать, но обстоятельства очень трудные.

Я твердо верю, что с помощью Бога, который никогда меня не оставлял, поправлю дела к чести России. Но я должен сказать откровенно, что ваше пребывание возле Тарусы мне совсем не нравится. Вы легко можете подвергнуться опасности, ибо что может сделать женщина одна, да еще с детьми; поэтому я хочу, чтобы вы уехали подальше от театра войны. Уезжай же, мой друг! Но я требую, чтобы все сказанное мною было сохранено в глубочайшей тайне, ибо, если это получит огласку, вы мне сильно навредите.

Если бы случилось так, что Николай не получил бы разрешения губернатора на выезд, то вы должны уехать одни. Тогда я сам улажу дело с губернатором, указав на то, что мужу надлежит сопровождать свою жену и детей. Но вы, дети мои, уезжайте во что бы то ни стало.

Я чувствую себя довольно сносно и полон надежды. Не удивляйтесь, что я немного отступил без боя, это для того, чтобы укрепиться как можно больше».

Михаил Илларионович уже понимал, что война угрожает самой Москве. Он твердо решил дать сражение Наполеону перед Москвой.

Главнокомандующий отправил Толя и Беннигсена к Можайску отыскать более удобную позицию для боя. Кутузов доверил бы выбор одному Карлуше, но ему так надоел этот длинный, пронырливый ганноверец Беннигсен, что он с радостью поручил ему выбор позиции.

Глава пятая

«ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА»

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Лермонтов. «Бородино»

I

Все полки двадцать седьмой пехотной дивизии генерала Неверовского завидовали виленцам: им посчастливилось расположиться у самых деревенских огородов.

Когда вчера на рассвете армия пришла к реке Колоче и оберквартирмейстер корпуса стал шагами отмеривать каждому полку его место, Виленский пехотный полк оказался возле изломанных заборов деревни Шевардино, которая лежала между двумя смоленскими трактами: Старым — узким, малоудобным проселком, и Новым — широкой дорогой, обсаженной молодыми березками.

Правда, огородами пользовались не одни виленцы: само Шевардино заняло начальство — командующий войсками участка генерал-лейтенант Горчаков, доводившийся, как говорили, родным племянником великому Суворову, и командир двадцать седьмой дивизии Дмитрий Петрович Неверовский со своими штабными.

Пронырливые и прожорливые генеральские и штабные денщики и вестовые раньше виленцев хорошо обшарили каждую грядку, но все-таки кое-где еще удавалось найти морковку, репу или картофелину поменьше, которой генеральские денщики брезговали, да у забора рос дикий чеснок. Виленцам и это оказалось на руку, потому что с хлебушком в армии было не ахти как. Двадцать седьмая дивизия, прошедшая столько верст в походах и боях, привыкла жить по-цыгански — на подножном корму. И потому солдаты оценили столь удачное размещение.

Хуже обстояло с водой. В полуверсте протекала речушка Каменка, но она пересохла за лето. Колодец в Шевардине был, но его быстро вычерпали, и генерал-лейтенант поставил к колодцу часового, чтоб воду из него не брал никто — ни пеший, ни конный. Драгуны, кирасиры и ахтырские гусары, стоявшие на флангах двадцать седьмой дивизии, рыскали за водой всюду. Лучше всех было егерям: их рассыпали по кустикам у правого берега Колочи. Воды в Колоче было тоже не бог весть сколько, но все ж напиться и постирать порты хватало. Многие купались, несмотря на то что не только прошел ильин день, но даже и «яблочный спас».

У самой проселочной дороги, ведущей из Шевардина в Семеновское, расположилась первая рота второго батальона виленцев. Солдаты устраивались на новоселье: долго ли, коротко ли придется стоять здесь, а надо соорудить шалашик, благо кустов хватает; будет ли завтра бой, останешься ли в живых или нет, а не грех подумать о том, что оторвалась подметка и холщовые брюки из белых, как положено, превратились в черные. Хорошо, что портупею не приказывали белить: она давно сделалась желто-бурой.

Некоторые отдыхали, покуривая. Накануне боя думали о своем, вспоминали:

— Так-то, брат, я и сказал жене: прощай, мол, Федосьюшка, да смотри ты у меня, а то, вот те крест...

— Ну что ж? И побьешь ее, коли что, отведешь душеньку: ведь законная, попом венчана!

— А что, братуха, у вас в селе солдаты стоят?

— Как же, сказывали земляки, всеё зиму стояли. Да еще гусары...

— Эх, гладыри...

Другие смотрели с высокого Шевардинского холма на извилистую Колочу, на зеленый купол бородинской церкви, на березовые рощи и кусты, уже расцвеченные яркими осенними красками, на кое-где скошенные, а где и просто вытоптанные людьми и лошадьми, исполосованные колесами пушек шевардинские, семеновские и алексинские поля. Перебрасывались фразами:

— Поля-то хороши, а их истолкли, изгадили...

— Не жаль — господское...

— Чудак, право: чьи бы ни были, а все наши, русские.

— Да, овсы знатные были.

— Урожай нонче всюду хороший.

— А место для жительства тут веселое: пригорки, речки, лес.

— Для пахоты не больно способное — вишь, на поле камней сколько!

— Будет здесь бой аль опять отойдем?

— Коли б еще нас разбили, тогда понятно б было, почему отступаем, а то отдаем Расею. И нас только мучат походами...

— Будет бой. Зачем же у нас вон батареи насыпают, а у Семеновской окопы роют?

— И в Цареве-Займище тоже рыли, а что толку-то?

— Пойдем дальше — Расея широкая. Какая тут позиция — холмы да речки.

— Много ты понимаешь! Раз холмы есть, стало быть, защищаться свободно.

— Братцы, гляньте, — сказал высокий носатый Левон Черепковский, — к нам какие-то гости жалуют.

Действительно, из Смоленской к Шевардину катила коляска, а за ней группа всадников.

Гостей увидали не только батальоны, расположенные у дороги, их заметило в Шевардине начальство. Из деревни, торопливо застегивая мундиры и повязывая шарфы, вышли генералы — высокий, сосредоточенно-серьезный Горчаков и небольшой, улыбчивый Неверовский.

Коляска остановилась у самой дороги. Из нее, тяжело ступая, вышел тучный старик. Ехавшие верхами за коляской генералы и штабные офицеры слезли и почтительно обступили старика.

— Сам! Сам!

— Кутузов!

— Где? Который?

— Да вона стоит в середке, показывает что-то вниз, в семеновскую лощину.

— А кто тот, горбоносый, быстрый?

— Эх ты, не знаешь! Это ж наш князь Багратион.

— Неужто? Горячий!

— Он грузин.

— Нет, он не грузен. Худощав.

— Да не то. Ты не понимаешь: грузин — это нация такая.

— Какая?

— Он с Капказу. С теплых вод.

— А мне сказывали — Багратион русский.

— Да, русский. Самый настоящий православный, но — грузин.

— Наш енарал Митрий Петрович встрял в беседу. Что-то говорит дельное, вишь, Багратион поддакивает.

— И Кутузов кивает головой, не спорит.

— Митрий Петрович может: башковат.

— Кутузове идет к коляске. Вона садится. Уезжает.

— Старый человек, а приходится ездить, трястись по этим горам да оврагам.

— Ничего не поделаешь — служба!

Сопровождавшие главнокомандующего генералы и офицеры снова вскочили на коней. Коляска поворотила назад. Кутузов, сидя в коляске, поднес к бескозырке руку — прощался с Горчако-

вым, Неверовским и всеми. После отъезда Кутузова на Шевардинских холмах пуще прежнего заработали кирки да лопаты: делали пятиугольный редут.

Передавали: главнокомандующий велел укрепляться — будет бой.

II

Должно постоянно обеспечивать свою операционную линию и добровольно не жертвовать ею.

Наполеон

Беннигсен и весь сонм квартирмейстеров выбрали позицию для генерального сражения с Наполеоном в двенадцати верстах от Можайска, у села Бородина, между двумя смоленскими трактами — Старым и Новым. Кутузов осмотрел ее. Разумеется, позиций без недостатков не существует. Сказать, чтобы главнокомандующий остался очень доволен бородинской, было нельзя, хотя он и написал царю, что позиция «одна из лучших, какую только на плоских местах найти можно». Поле представляло холмистую равнину, покатую к западу. По ней протекала речка Колоча с притоками, имевшими такие многозначительные названия, как Война, Огник, Стонец. Видимо, эти поля уже не раз бывали свидетелями кровавых схваток. Все эти речонки, высохшие за лето, текли в глубоких и крутых оврагах, поросших мелким кустарником. Правый фланг, защищенный крутыми берегами Колочи, был неприступен: обрывы доходили до пяти сажен, а левый — ровный, упиравшийся в Утицкий лес, оказывался слабее — он не имел никаких местных преград.

Багратион, войска которого занимали левое крыло, сразу же забил тревогу: левый фланг нужно укрепить.

Кутузов считал, что укрепить надо всю позицию, но не хватало лопат, кирок, топоров. Уже по дороге к Бородину Михаил Илларионович несколько раз писал Ростопчину о том, чтобы он прислал полторы тысячи кирок и две тысячи лопат. Но Ростопчин легок только на обещания и посулы. На словах у него, все спорится — ведь обещал же он создать «вторую стену», а много ли получилось из его обещания?

И даст ли Наполеон возможность укрепиться?

Михаил Илларионович поручил арьергард твердому, спокойному Коновницыну. Петр Петрович сдерживает натиск французской армии, но приходится поторапливаться с укреплениями: выстрелы с каждым днем все слышнее и слышнее...

Михаил Илларионович, по обыкновению, никому не говорил, но боялся за свой правый фланг, стоявший у новой Смоленской дороги. Главные силы Наполеона двигались к Москве по ней, и от самого Смоленска Наполеон обходил русских справа.

Михаил Илларионович считал, что на всякий случай надо укрепить правый фланг. Пусть левый останется для Наполеона в виде приманки. Пусть Наполеон переведет на правый берег Колочи побольше своих войск, тогда и Кутузов может начать перебрасывать полки с правого на левый фланг. А пока надо укрепляться у Горок, Смоленской и Шевардина.

Главную квартиру Кутузов устроил в господском доме у деревни Татариновой, владелец которой уехал.

Михаил Илларионович занял кабинет хозяина, где еще уцелели стекла, а в маленьком зальце расположились полковники Кайсаров, Кудашев, Резвой с канцелярией.

Работы было много. Приходилось заботиться не только о шанцевом инструменте, но и о хлебе, о снарядах, о подводах для раненых — ведь готовились к большому сражению.

Армия отдыхала на позиции только два дня. В субботу 24 августа, в полдень, на большой почтовой дороге за Бородином показалась от Колоцкого монастыря наша кавалерия арьергарда. Она шла на рысях.

— Видно, порядком прижал франц дружков сердечных, — говорили солдаты.

Все приготовились увидеть французов.

Слева послышались выстрелы: это егеря, рассыпанные по Колоче, встречали французов у деревень Фомкина, Алексинки, Доронино. Вскоре к ним присоединились и орудия Шевардинского редута.

Французы оттеснили нашу линию охранения и переправились через Колочу. Между Алексинками и Дорониной все поля и взгорья были полны синих мундиров. Горячий бой шел уже у Шевардина.

Михаил Илларионович диктовал диспозицию к бою. Услышав выстрелы, он заторопился. Перестрелка разгоралась, принимая все большие размеры.

Главнокомандующий диктовал последние, заключительные абзацы диспозиции:

«Не в состоянии будучи находиться во время действия на всех пунктах, полагаюсь на известную опытность господ главнокомандующих армиями и потому предоставляю им делать соображения действий на поражение неприятеля. Возлагая все упование на помощь всесильного и на храбрость и неустрашимость русских воинов, при счастливом отпоре неприятельских сил дам собственные

повеления на преследование его, для чего буду ожидать беспрестанных рапортов о действиях, находясь за шестым корпусом.

При сем случае не излишним почитаю представить гг. главнокомандующим, что резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден».

— Надо поехать посмотреть! — поднялся Кутузов.

— Запрягайте коляску! — крикнул в окно Кудашев.

— Нет, не коляску, а коня! — нетерпеливо махнул рукой Михаил Илларионович.

Проклятая тучность! И смешно и противно, что все думают, будто он так уж стар. Точно покойный князь Прозоровский. Ведут Михаила Илларионовича под руки, будто престарелого владыку-архиерея, а у него ясная голова и душа молодая, не шестидесятилетняя. Вон стоит молоденькая, курносенькая маркитантка. Из тех разбитных бабенок, что в Торжке на дороге продают бублики и приговаривают: «Купи, барин, на полтину, я тя на рубль поцелую!»

Михаил Илларионович все видит, все чувствует, только вот не ходят ноги и проклятущий живот не дает согнуться.

Главнокомандующий сел на коня и в сопровождении Кайсарова, адъютантов и ординарцев поехал к деревне Семеновской, избы которой в первый же день войска разобрали на топливо.

Наполеон все-таки напал на выдвинутый левый фланг. Эх, кабы это не только демонстрация! Посмотрим, как пойдет дело.

Наполеон наводил через Колочу мосты, теснил егерей. Они все жались поближе к Шевардину.

За Шевардином спешно строилась двадцать седьмая дивизия Неверовского. Кавалерия становилась на флангах.

Князь Багратион и начальник его штаба генерал Сен-При были уже где-то там внизу, на шевардинских полях.

Кутузов слез с коня — как-никак на земле полегче. Вестовой подал ему скамеечку. Михаил Илларионович сел и стал следить за ходом боя вместе с генералами Раевским, Бороздиным, Лихачевым.

Штабные офицеры свиты стояли по сторонам, обменивались замечаниями. Вестовые и казаки сгрудились поодаль. Некоторые из ординарцев и молодых адъютантов сели в кружок под остатками забора и дулись в штосе — заняться-то нечем.

Ополченцы, рывшие окопы, то и дело оборачивались посмотреть на Шевардино — им все было в диковинку. При пушечных выстрелах многие вжимали голову в плечи, крестились: страшно! Солдаты полков, занимавших Семеновский курган, делали свое дело, не обращая внимания на то, что происходит внизу.

Массы французской пехоты двигались на Шевардино.

Пороховой дым затягивал сероватым облачком опушку Утицкого леса. Сквозь дым мелькали красные огоньки отдельных выстрелов. К грому пушек, шипению и свисту гранат присоединился непрерывный треск ружейной стрельбы. Казалось, будто кто-то громадный ломает лес, и щепки с визгом и воем взлетают на воздух.

Вечерело. Французские ядра зажгли деревню Шевардино. Вот над одной крышей показался серый дымок, сквозь него острыми ножами пробилось пламя.

— Навалились на Андрея Ивановича, — посочувствовал Горчакову Лихачев.

— И Неверовскому опять достанется, — вздохнул Раевский.

Михаил Илларионович мельком, одним глазом, смотрел, как принимают бой войска, стоящие у деревни Семеновская. На лицах солдат и офицеров была написана решимость.

Кутузов сидел сложа руки. Конечно, веселее действовать — стрелять, рубить, колоть, чем сидеть вот так, в ожидании результатов боя. Точно нянька в саду, когда в стороне играют дети.

Французы усилили натиск и овладели Шевардинским редутом. Но Багратион кинул на помощь вторую гренадерскую дивизию. Сквозь гул орудий раздалось дружное «ура», и над редутом снова заколыхались русские знамена.

Французы откатились.

Михаил Илларионович написал записку Багратиону:

«Князь Петр, очень не ввязывайтесь. Берегите людей!»

Через полчаса Кутузов получил ответ, нацарапанный карандашом:

«Держусь, Михайло Ларионович. Никто, как Бог!»

Со всех сторон подступала густая осенняя темнота. Шевардино горело среди этой густой темноты жарким костром. Небо чертили огненно-яркие ядра.

Шевардинский редут уже несколько раз переходил из рук в руки.

Сомнений не оставалось: Наполеон ввел в бой крупные силы. У Горчакова, защищавшего Шевардино, всего одиннадцать тысяч человек, а у французов — в несколько раз больше. Пора отходить. Удерживать дальше ненужное Шевардино бесполезно: нечего зря лить кровь.

Левый фланг, оттянувшись к флешам у холмов, улучшил свое положение. Теперь французам обойти князя Петра будет труднее.

Михаил Илларионович подозвал Паисия Сергеевича Кайсарова и велел написать Багратиону приказ отступать от Шевардина к Семеновской.

Он послал казака за коляской — возвращаться в Татариново верхом в темноте по буеракам не хотелось: и так намаялся за день.

Бой затихал.

Коляска с Ничипором приехала быстро. Михаил Илларионович попрощался с генералами и поехал в Татариново.

— Ничего, мы подождем, а свое возьмем! — говорил про себя Ничипор, оглядываясь на горевшее Шевардино.

Небо затянули низкие тучи. Шевардинское зарево пылало зловеще. На лугу горели стога сена.

Редут в Шевардине так и не был взят французами: Кутузов сам приказал отвести войска.

III

Дух войска есть множитель на массу, дающий произведение силы.

Лев Толстой. «Война и мир»

Михаил Илларионович встал с постели. Крестясь на иконку архистратига Михаила, которую по приказу Екатерины Ильиничны Ничипор всюду возил с собой и аккуратно вешал в изголовье постели барина, Кутузов подумал, что хорошо бы сегодня пронести по всему лагерю икону Смоленской Божьей Матери, вывезенную из Смоленска.

Он позвал Резвого и передал ему приказ.

— Пусть перед каждой дивизией служат молебен, — сказал главнокомандующий.

— Для скольких этот молебен окажется панихидой! — вздохнул Резвой.

Михаил Илларионович взглянул в зальце, где сидели штабные офицеры. Паисий Сергеевич с писарями словно и не ложились со вчерашнего вечера спать — отбивались от бумажного потока, который сыпался на главнокомандующего отовсюду.

Утро было холодноватое, но ясное. Вчерашние ночные тучи куда-то уплыли.

С первых линий не слышалось ни ружейной, ни пушечной стрельбы. Стояла тишина.

Умывшись, позавтракав и выслушав донесения, Михаил Илларионович велел заложить коляску и поехал на центральную батарею. Он хотел с ее высоты посмотреть, что сегодня делает Наполеон и как подвигаются земляные работы.

Еще всюду — у Семеновской и на центральном кургане — продолжали работать ополченцы.

Московское ополчение было вооружено только пиками. Когда армия впервые увидала ополченцев, солдаты шутили: «Что это, братцы, зимы еще не слыхать, а вы уже собрались лед колоть?»

С лопатой и топором ополчение привыкло иметь дело, но вся беда была в том, что не хватало ни шанцевого инструмента, ни фашин: Ростопчин легче писал «афишки», чем доставлял нужный материал.

Он не хотел считаться с просьбой Кутузова, который предупредил Ростопчина, что без шанцевого инструмента «отымаются многие силы от армии».

Михаил Илларионович озабоченно смотрел на недоконченные укрепления и думал:

«Не успеем. Профиль редутов получится недостаточный. И сами укрепления без одежд. Отец посмеялся бы над нашими фортификационными работами!»

На Центральном кургане к Раевскому съехался весь генералитет: Беннигсен, Барклай, Багратион с начальниками штабов, командиры ближайших корпусов. Все смотрели в зрительные трубы на французское расположение.

Видно было, как вольтижеры занимают лес у Шевардина, как разными тропами пробирается к холмам и пригоркам артиллерия.

— Да их много больше, чем нас, — сказал Ермолов.

— И на всех участках, — прибавил Беннигсен.

Давно всем было известно, что Наполеон превосходит русскую армию количеством войск. На бумаге это не казалось угрожающим, но сейчас, когда каждый из генералов видел собственными глазами, всем стало как-то не по себе. У Шевардина стояли полки Понятовского и Даву, против Бородина — войска итальянского вице-короля Евгения Богарне, в центре — император с гвардией.

Наступило тягостное молчание.

— Смотрите, смотрите, всадники! Сам Наполеон! — заговорило несколько голосов.

По дороге из Валуева показалась группа всадников. Впереди них на белом коне скакал человек в треуголке.

— Он. В сером сюртуке.

— Осматривает. Что-то говорит.

— А свита у него не очень велика.

— Это только во время рекогносцировки... — переговаривались русские генералы.

Из французского расположения донеслись приветственные крики.

— Да, сомнений нет: это Наполеон, — сказал Михаил Илларионович: «Надо и мне объехать войска», — подумал он и направился к коляске.

Кутузов ехал, прикидывая в уме, что он скажет солдатам накануне боя. Говорить речи Михаил Илларионович был не мастак.

— Вы защищаете родную землю... Послужите верой и правдой... Каждый полк будет употреблен в дело... Вас будут сменять, как часовых... Отечество надеется на нас...

Слева послышалось пение — это духовенство шло с иконой по линии фронта.

«Как на Куликовом поле», — подумал Кутузов.

IV

Уже в ночном небе пылали яркие сполохи от тысяч бивачных костров двух армий, стоявших на Колоче, а к господскому дому у деревни Татариново, где разместилась главная квартира Кутузова, все еще продолжали ехать генералы и из разных корпусов скакали ординарцы.

В трехоконном зальце с выбитыми стеклами десяток штабных писарей работали при мигающих свечах. На ящиках, на опрокинутых вверх дном крестьянских кадках и бочках, пахнущих капустой и огурцами, писаря строчили бумаги. Исполнительный, дотошный Паисий Сергеевич Кайсаров, небритый, с пожелтевшим от постоянного недосыпания лицом, и зять Кутузова, быстрый князь Кудашев, диктовали писарям приказы и письма главнокомандующего.

Сам Михаил Илларионович расположился в хозяйском кабинете, служившем Кутузову всем — и кабинетом, и столовой, и спальней. Он сидел в кресле у окна. Окно выходило на запад. Посреди комнаты стоял каким-то чудом уцелевший ломберный стол, с которого содрали (конечно, на портянки) зеленое сукно. На столе лежали только вчера начерченные кроки:[1] «План позиции при селе Бородине близ г. Можайска 1812 г. Августа 25».

Уже был двенадцатый час ночи, когда от главнокомандующего ушел последний посетитель — Карл Федорович Толь. Энергичный квартирмейстер объезжал всю линию русских войск, смотрел за сооружением укреплений и только теперь вернулся к Кутузову с докладом.

Толь всегда говорил: «Исправный квартирмейстерский офицер должен ежедневно делать сто верст верхом».

У него было три коня. Один из них, светло-серый маленький иноходец, был столь же неутомим, как и его хозяин. Карл Федорович, меняя лошадей, сделал за сегодня больше, чем полагалось по его правилу.

---

[1] Кроки — набросок, наскоро сделанный план местности.

И теперь рассказывал обо всем Кутузову.

Он ругательски ругал болтуна и позера Ростопчина, который задержал присылку шанцевого инструмента; ругал «безруких» ополченцев, не знающих фортификации, не имеющих понятия, как делаются туры и фашины. Толь сказал, что земляные работы везде не смогли быть окончены и что на центральном редуте едва часть люнета имеет амбразуры, одетые фашинами. А Наполеон, которому не так уж надо было усиливать позицию, укрепил свой левый фланг у Бородина и даже построил на всякий случай три моста через Колочу.

— Не горячись, Карлуша; может, мы и так не ударим завтра в грязь лицом. Вот Лихачев рассказывал: уговаривал своих солдат быть храбрыми, а они говорят: «Ваше высокопревосходительство, чего нас уговаривать? Стоит оглянуться на матушку Москву, так на самого черта полезешь!»

— Я это знаю, ваше сиятельство, но вы сами когда-то в корпусе частенько изволили напоминать нам мудрое изречение Вобана: «Командир должен быть щедр на солдатский пот, но скуп на солдатскую кровь», — ответил Толь.

— Это все верно, Карлуша, но разве мы с тобою виноваты в том, что в армии не хватает лопат? Ну, ступай отдыхать; завтра нам всем предстоит нелегкий денек. А как у нас в лагере, как настроение?

— Настроение бодрое. Люди готовятся по-настоящему, осматривают вооружение. Настроение серьезное.

— А у французов — слышишь? — песни, музыка. И смотри, сколько огней, — показал на окно Кутузов.

— Что ж, им чужого леса и чужих дров не жалко! — ответил Толь. — Спокойной ночи, ваше сиятельство!

И квартирмейстер Толь ушел.

Михаил Илларионович постоял у окна, барабаня пальцами по подоконнику, потом подошел к ломберному столу, глянул на кроки, которые давно уже знал наизусть, и направился к кровати.

Михаил Илларионович лег, но повторилось обычное, стариковское: сон не шел. Уже разошлись писаря, ушли спать Кайсаров и Кудашев, улеглась и затихла вся главная квартира, а Кутузов все не спал. Завтра должно решиться многое, судьба многих тысяч людей.

Он ворочался на кровати, стоявшей у зеленых изразцов холодной печки, слушал, как за окном по-осеннему завывает ветер.

Наконец уснул.

Но спокойно отдохнуть не дали: перед светом его разбудил гонец от Ростопчина. Московский главнокомандующий, сочинявший глупые объявления для жителей Первопрестольной и охотившийся не столько за настоящими, сколько за мнимыми шпионами,

наконец-то слал часть лопат, кирок и буравов, обещая прислать еще через день.

— На что же годны сегодня все эти лопаты? — усмехнулся Кутузов.

Спать он уже не мог. Михаил Илларионович полежал еще с полчасика, а потом решительно сбросил ноги с постели и громко позвал:

— Ничипор!

Через несколько минут весь старый господский дом ожил — в нем заговорили, заходили люди, поднялась суета. За ним проснулись и другие избы, где размещались штаб и свита. Главнокомандующий собирался ехать в Горки, поближе к войскам и неприятелю.

Михаил Илларионович на скорую руку позавтракал и, не надевая парадного мундира, как делали многие генералы и офицеры, а все в том же сюртуке и в той же бескозырке поехал к правому флангу.

Восток только розовел как стыдливая красная девица.

Коляска простучала колесами по мосту через ручей Стонец и выехала с проселка на новую Смоленскую дорогу.

Вот справа к самому тракту подбежал березняк, тронутый золотой осенней желтизной. Приятно пахнуло грибами и прелыми листьями. А слева из-за аллеи лип выглянул длинный барский дом Михайловского, стоявший над чуть струившейся речонкой Стонец. Весь двор и дорога к имению Князькова были забиты телегами и лазаретными фурами: здесь располагался главный полевой госпиталь. Скоро здесь, на речке Стонец, застонут раненые...

В Михайловском все еще спало. Кутузов высунулся из коляски и махнул рукой. Его любимый адъютант ротмистр Дзичканец, ехавший верхом у коляски, нагнулся с седла к Михаилу Илларионовичу.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — прикладывая руку к своей высокой черной уланской шапке, спросил он.

— Голубчик, забеги сюда, — кивнул главнокомандующий на Михайловское. — Разбуди медикусов, скажи — пора!

У самых Горок стояли второй кавалерийский корпус Корфа и четвертый пехотный Остермана. Тут уже дымились костры, люди ели кашу, готовясь к делу.

А вот, у молодой березки, полосатый верстовой столб с цифрами: 9—108—296.

До Смоленска уже двести девяносто шесть, а до Москвы только сто восемь...

Горки.

Вернее, место, на котором еще четыре дня тому назад стояла богатая, веселая деревня, а теперь только торчали трубы да уцелев-

шие кусты и деревья указывали, где были дворы. Солдаты разобрали Горки на дрова — все равно сгорят в бою, как сгорело Шевардино. И только с краю, у оврага, уцелел один двор — дом, сарай и амбар. Их оставили для нужд штаба.

Михаил Илларионович вылез из коляски и пошел на холм. Казак нес за ним скамейку.

Из колясок, дрожек вылезли штабные генералы. Штаб-офицеры, ехавшие верхом, слезли с коней.

Михаил Илларионович облюбовал одно место. Здесь, видимо, стоял большой дом: лежали камни фундамента да торчали изломанные кусты сирени.

Штабные офицеры, ежась и позевывая, ходили по холму. Ординарцы и вестовые устраивали коней.

Кутузов глянул в трубу на Шевардино. Там темнели плотные четырехугольники французской пехоты и десятки пушек.

Из французского расположения доносились крики, — вероятно, читали приказ императора перед боем: Наполеон любил слово и был не прочь пустить пыль в глаза.

Внизу, через овраг, стояли полки шестого корпуса Дохтурова. В линиях русских войск царила тишина.

На нижней батарее у Горок Михаил Илларионович увидал командующего центром Барклая-де-Толли верхом на гнедом коне. Барклай был в парадном мундире, с лентой через плечо и тремя звездами, в черной шляпе с султаном.

«Зачем делать из себя такую заметную мишень?» — подумал Кутузов.

Он понимал самочувствие Барклая. Все кричат: «изменник», «изменник»; Барклай хочет показать себя настоящим патриотом.

Кутузов сел на скамейку, вспомнил Петербург, невольно подумал: «Катя небось еще спит... И не чувствует, какой сегодня предстоит нам день!»

Томительно тянулись последние минуты перед боем.

И вот на колокольне бородинской церкви блеснул первый солнечный луч.

«Солнце встало, сейчас начнется!»

И тотчас же на правом крыле ударила французская пушка: вице-король пошел в атаку на незащищенное Бородино.

Вслед за первой пушкой обрушился целый ливень огня на левый русский фланг. Сотни орудий, поставленные на Шевардинских высотах, ударили по войскам Багратиона.

Русская артиллерия стала отвечать.

Начался бой.

V

Ни бала, ни сражения описать невозможно.

Артур Веллингтон

От беспрестанного слитного гула сотен орудий дрожал воздух. Земля тряслась и словно стонала. Орудия били по всей шестиверстной линии.

Пороховой дым в один миг застлал еще минуту назад ясно видимые пригорки и долины, усеянные войсками.

Все штабные офицеры смотрели на Бородино, до которого было рукой подать. Вице-король засыпал Бородино ядрами. Падали сшибленные деревья. Одно ядро пробило зеленый купол бородинской церкви.

— Егеря бегут!

— Бородино взяли! — с тревогой заговорили на Горицком кургане.

Михаил Илларионович не пошевельнулся: Бородино — это пустяки.

И разве мог один полк гвардейских егерей сдержать натиск всей итальянской армии вице-короля Евгения Богарне?

Егеря, укрываясь за домами, за кустами, сыпались вниз к Колоче и уже бежали сюда, за правый берег реки.

Итальянцы так увлеклись преследованием, что их медвежьи шапки, тотчас же очутились по эту сторону реки. Но итальянцев тут же смяли свежие русские батальоны.

У моста через Колочу засуетились темно-зеленые мундиры гвардейского экипажа: моряки-балтийцы подожгли мост.

На левом фланге орудийная перестрелка усиливалась. К ее нарастающим звукам прислушивался и Михаил Илларионович.

Хотя бой шел уже по всей линии, но командующему с каждой минутой становилось ясно: Наполеон обрушивал главный удар на Багратиона, как этого и хотел Кутузов.

Сквозь пушечный гром и перекаты ружейной стрельбы Михаил Илларионович слышал, как за его спиной Беннигсен, приехавший в Горки только что, попозже Кутузова, говорил по-немецки с Толем. Конечно, говорить нормальным голосом в таком невероятном шуме было невозможно, но Беннигсен кричал уж слишком громко, явно затем только, чтобы его слова услыхал главнокомандующий. Беннигсен с жаром и важностью утверждал, что он слагает с себя всякую ответственность за левый фланг. Он-де вчера предупреждал главнокомандующего.

— И вот посмотрите, что будет уже через час! — каркал Беннигсен.

Михаил Илларионович чуть повернул голову к Кудашеву, стоявшему подле. Кудашев нагнулся.

— Поезжай, Коленька, к князю Петру, посмотри, как там.

И опять погрузился в свои мысли, не обращая внимания ни на пересуды генералов, стоявших сзади за ним, ни на ядра, которые с визгом проносились над его головой.

«Так, так! Будешь атаковать на узком участке! Я те не дам развернуться! — думал о Наполеоне. — Лишь бы наши стояли, как позавчера у Шевардина!»

Прошло еще полчаса.

Кутузов подозвал адъютанта, поручика Панкратьева, и послал его к Коновницыну с приказом поддержать Воронцова.

Со стороны казалось, что главнокомандующий спокоен. Это не Аустерлиц, никто не мешает ему руководить боем так, как он хочет. Мешают только советчики: не видят, не знают, не понимают главной цели Кутузова, а лезут с предложениями. Зудят, звенят над ухом, как назойливые комары.

А все решают доблесть и мужество солдат и офицеров, стойко отражающих превосходящего, сильного врага.

VI

На левом фланге бой с каждым часом разгорался все больше и больше. Французские атаки следовали одна за другой. Под несмолкаемый страшный гром сотен орудий беспрерывной чередой двигались на Багратионовы флеши французские полки. Они обрушивались на русских, как огромные морские валы, и, точно волны об утесистый берег, разбивались о мужественную защиту Багратионовых полков, стоявших насмерть.

Дым от орудийных выстрелов, пыль, поднятая тысячами людей и лошадей, иссиня-желтыми клубами повисли над полем боя, скрывая воюющих. Иногда порыв ветра на мгновение разрывал эту непроницаемую завесу. Тогда в зрительную трубу можно было рассмотреть синие колонны французской пехоты, сверкавшие на солнце сталью штыков, или желтые, белые, синие эскадроны кавалерии, блестевшие касками, латами, саблями, палашами.

Ни ружейных выстрелов, ни взрывавшихся зарядных ящиков, ни топота тысяч людских и конских ног, ни барабанного боя, ни криков и кликов сражающихся не было слышно: все покрывал один сплошной, не смолкавший ни на минуту пушечный гром. Даже здесь, в Горках, говорить нормально было нельзя — приходилось кричать: батареи, стоявшие ниже Горок, и пушки центрального редута вели огонь.

Свита Кутузова с тревогой смотрела на левый фланг. Все зрительные трубы были обращены туда, хотя противник пытался атаковать и центр русского расположения.

Кутузов сидел на скамейке. Гранаты лопались в воздухе, ядра гудели, сыпались со всех сторон, бороздили землю рикошетами.

А главнокомандующий сидел спокойно. Он почти не смотрел в трубу на поле боя: много ли рассмотришь в этих серо-дымных облаках, да еще одним глазом? Оставалось ждать донесений от ординарцев, которых главнокомандующий посылал время от времени к Багратиону.

Внешне спокойный, выдержанный, не привыкший делиться ни с кем своими мыслями, а тем более в бою, Михаил Илларионович молчал. Он переживал в одиночку то, что другие — пылкий Багратион, язвительный Ермолов или самовлюбленный и наглый Беннигсен — привыкли выплескивать наружу. Он не оглядывался и ни с кем не говорил, но чувствовал, что за его спиной вся пестрая штабная толпа, среди которой немало недругов и интриганов, осуждает его и сплетничает вовсю. И Беннигсен, и дядя царя принц Евгений Вюртембергский, и генерал Вистицкий, похожий на Дон-Кихота. И все они, конечно, встревожены яростными атаками Багратионовых флешей, подавлены величием полководческого имени Наполеона. Они с минуты на минуту ждут гибели Багратиона, а затем полного разгрома русской армии. Они не могут понять, почему Кутузов опасается за свой правый фланг.

— Ваше сиятельство, если мы не пошлем резерва князю Багратиону... — закричал, наклоняясь к уху светлейшего, длинноногий Беннигсен.

Михаил Илларионович не слушал ни его, ни подошедшего Ермолова, который тоже советовал двинуть резерв, словно Кутузов сам не разбирался в обстановке. Кутузов обождал, когда они оба наговорятся, а потом поманил к себе пальцем адъютанта Дзичканца:

— Гвардию — Измайловский, Литовский, Финляндский — к Багратиону!

И снова принял прежнее положение.

А за спиной главнокомандующего, надрываясь от крика, штабные офицеры делились новостями:

— Французы уже взяли. Багратионовы флеши!

— Да посмотрите, они бегут назад! — кричал другой, показывая на поле сражения.

В зрительную трубу было видно: от очередной яростной атаки французов не осталось ничего, кроме небольших групп синих фигур, бегущих к Утицкому лесу и Шевардину.

Михаил Илларионович по звукам боя на левом фланге оценивал положение. Ярость французов не уменьшалась.

«Наполеон хочет прошибить левый фланг и в восьмой раз бросает на него все новые и новые дивизии».

Кутузов приказал двинуть с правого фланга на левый второй пехотный корпус генерала Багговута и несколько батарей из резервов.

В это время французы попытались проникнуть за Колочу с центра. Это было совсем вот тут, внизу, у Семеновской.

Настала очередь Дохтурова. Он отбил атаку.

Кутузова все-таки больше беспокоил левый фланг. Адъютанты и ординарцы, мчавшиеся оттуда под непосредственным впечатлением очередной неукротимой атаки французов, не могли правильно, спокойно оценить положение. Кутузову же нужно было знать обстановку. Он попросил Ермолова поехать к Багратиону.

Не прошло и получаса после отъезда Ермолова, как прискакал Кудашев.

— Папенька, князь Петр тяжело ранен, — сказал он. — Коновницын принял команду.

Михаил Илларионович огорченно покачал головой: это была чрезвычайно горестная весть. Он поднялся и, минуя Беннигсена, который, конечно, ждал, что наконец наступит его час, подошел к принцу Александру Вюртембергскому и предложил ему принять командование второй армией.

Принц без всякого видимого удовольствия поехал к левому флангу. И еще с дороги прислал к главнокомандующему адъютанта, ротмистра Бока, просить подкрепления.

Михаил Илларионович досадливо махнул рукой и позвал:

— Паисий!

Кайсаров, стоявший с полковником Резвым сзади, за светлейшим, подбежал к Михаилу Илларионовичу.

— Дай бумагу и карандаш!

Кайсаров передал Михаилу Илларионовичу то, что он просил.

Кутузов написал:

«Господину генералу Дохтурову.

Хотя и поехал принц Вюртембергский на левый фланг, но, несмотря на то, имеете Вы командовать всем левым крылом нашей армии, и принц Вюртембергский подчинен Вам.

Рекомендую Вам держаться до тех пор, пока от меня не воспоследует повеление к отступлению.

Князь Г.-Кутузов».

— Пошли немедленно!

Минуту спустя Михаил Илларионович подозвал Толя:

— Поезжай на левый фланг, посмотри, надо ли подкрепление.

Толь уехал. Кутузов смотрел ему вслед.

В свите главнокомандующего тревожно зашептались. У большинства было написано на лице: дело плохо! Беннигсен ходил по холму большими шагами, изобразив на своем презрительно сморщенном лице покорность судьбе.

Кутузов кликнул Ничипора, который предусмотрительно хоронился в бывшем погребе дома:

— Дай поесть!

— Зараз! Зараз! — заторопился денщик. — Верно говорится: млын меле водою, а человек жыве ядою!

Ничипор принес Михаилу Илларионовичу кусок телятины и флягу с вином.

«Пусть дураки знают, что не так страшен черт, как его малюют!» — думал Кутузов.

И, словно в доказательство того, что не все так плохо, как хотелось бы Беннигсену, откуда-то, не от адъютантов и ординарцев, а от вестовых, стоявших с лошадьми у пригорка, понеслась весть:

— Мюрата взяли в плен!

Михаил Илларионович чуть улыбнулся. Он знал, что в пылу боя легко берутся в плен на словах генералы и короли.

— Погодите радоваться!

На центральной батарее Раевского, не прекращаясь ни на минуту, кипел жестокий бой. Понять, что там, кто кого, было пока невозможно.

И вдруг раздалось «ура».

Кутузова радовало: войска стоят чудесно!

Он доел телятину и вытирал салфеткой губы, когда увидал входившего на холм квартирмейстера шестого пехотного корпуса полковника Липранди со странным гостем. Липранди вел за повод коня, на котором сидел толстый французский генерал без треуголки, но почему-то в шинели, надетой в рукава, точно генерал замерз. Все лицо его было в крови.

На блестящего Мюрата этот тучный суслик не походил.

Французу помогли слезть с коня. Он озирался кругом, с растерянным видом смотрел на генералов — Беннигсена, Милорадовича, Уварова, Платова, Вистицкого и других, стараясь угадать, кто из них Кутузов. И не обращал внимания на самого Кутузова, одетого проще остальных.

Михаил Илларионович подошел к нему и спросил по-французски:

— Как вы себя чувствуете?

Кутузов увидал: кровь была не только на лице; в крови вся синяя генеральская шинель. Француз стоит неуверенно — не то пьян, не то его сильно помяли русские.

Главнокомандующий крикнул:

— Лекаря скорей!

— Маршал! Я генерал Бонами, который брал ваш редут! — наконец догадавшись, кто здесь старший, сказал француз и начал вытирать грязным платком жирное лицо, еще больше размазывая по лбу и щекам кровь.

Кутузов обернулся к Ничипору, державшему флягу и большой серебряный стакан:

— Налей полный!

Взяв стакан, Кутузов подал его Бонами.

— Пожалуйста, несколько капель вина, — предложил Михаил Илларионович.

Бонами охотно взял стакан, выпил и, улыбнувшись, стал что-то быстро говорить. Он жестикулировал и ругался по-солдатски, повторяя:

— Казак... казак...

Заниматься этим «добрым другом» Кутузову было некогда: сообщили, что французы чуть было не захватили центральный курган Раевского, но Ермолов отбил штурм, причем начальник артиллерии генерал Кутайсов убит.

Михаил Илларионович только сжал губы: неприятно!

А Багратионовы флеши французы все-таки в конце концов взяли.

Перед флешами и на них громоздились горы трупов — поверженные кони и люди.

Дохтурову пришлось отойти за овраг.

Было по-настоящему жарко. Потери большие, но немалые потери и у Наполеона. Сегодня французам приходилось драться, а не маневрировать.

Бой не прекращался ни на минуту.

«Потеснив наш левый фланг, Наполеон, конечно, набросится на центр. И совершенно ясно: у Наполеона нет сил, чтобы одновременно ударить по правому флангу. Следовательно, можно еще передвинуть к центру войска с правого».

Кутузов приказал Милорадовичу, командовавшему правым флангом, отправить на подмогу центру четвертый пехотный корпус Остермана и второй кавалерийский Корфа.

Солнце стояло на полдне.

Французы скапливали силы для удара по центру.

«А вот мы вам поставим банки, оттянем немножко ваши силы», — подумал Кутузов и подозвал щеголеватого Уварова. Командующий приказал Уварову и Платову обойти левый фланг Наполеона и ударить по его тылам.

Михаил Илларионович снова сел на скамейку и, уронив руки на полные колени, стал ждать результатов.

Огонь не прекращался. Теперь французы перенесли его на центр русского расположения.

Кутузов сидел, поворотясь спиной к французам. Он смотрел не на Семеновскую, а на деревню Маслово. «Ну скоро ли, скоро?»

Он волновался — то снимал бескозырку и сидел, подставив седую голову под осеннее солнце, то не спеша вынимал из кармана фуляровый платок и протирал слезящийся правый глаз.

«Да когда же они там?»

Время тянулось, как всегда в ожидании, черепахой.

Наконец справа донеслось далекое «ура».

Михаил Илларионович поднялся и стал смотреть в трубу туда, за Бородино.

В Бородине зашевелились. По дороге в Беззубово, где стояла кавалерия французского генерала Орнано, поднялась пыль. От Бородина торопливо шли, почти бежали, батальоны итальянской пехоты.

«Ага, забрало!» — весело подумал Кутузов.

Огонь в центре стал понемногу ослабевать.

Солнце уже шло к западу.

Наполеон потеснил левое крыло русских, но не разбил армию Кутузова: русские стояли так же твердо, как и раньше.

Кутузов продолжал время от времени смотреть в трубу на дорогу, ведущую из Бородина на север.

Вот уже от Беззубова потянулись назад французские колонны. Очевидно, Уваров унесся назад. Орудийного огня оттуда не слышалось: стало быть, Уваров не догадался воспользоваться своей конной артиллерией, а попытался атаковать одной конницей.

— Ах, бездарный «же сир»: упустил момент!

Михаил Илларионович сидел, уронив руки на колени.

Прошло с полчаса. Сзади послышались торопливые шаги и звон шпор, и к главнокомандующему подошел потный, возбужденный генерал Уваров.

Федор Петрович рапортовал Кутузову о том, что он гнал итальянскую кавалерию до реки Война, но дальше продвинуться, к сожалению, не смог, так как плотину на реке заняла пехота.

— Я все знаю. Бог тебя простит! — только и сказал главнокомандующий.

Уваров отошел к свите красный и улыбающийся — он по простоте душевной все-таки считал себя героем.

Михаил Илларионович повеселел: все же как-никак, а Наполеон потерял два дорогих часа. Итальянской пехоте пришлось бежать на выручку кавалерии Орнано и своих обозов в тылу, а потом возвращаться назад к Бородину. Полки измучились, и им теперь не до атаки.

Нападение французов на русский центр сорвалось.

Наполеон, обозленный неудачей, усилил артиллерийский огонь. Он выставил из резервов еще сотню пушек и начал громить всю русскую линию.

— Не горячись, приятель, не горячись! — беззлобно приговаривал Кутузов.

Он считал, что главное сделано: французы не смогли сломить русскую доблесть, им не удалось пробить пехотой и кавалерией центр русских, а одной артиллерией многого не достигнешь!

И тут невольно вспомнился далекий героический Измаил. Вспомнилось Кутузову, как он только хотел послать к Суворову просить сикурсу, а Александр Васильевич назначил Кутузова комендантом Измаила, хотя до овладения неприступной крепостью было еще очень далеко.

Надо поднять дух войска, сказать: завтра пойдем вперед! Чтоб не думали, что француз берет поверхность!

Кутузов подозвал адъютанта Граббе:

— Поезжай, голубчик, по всей линии и поздравь всех с отражением неприятеля. Предупреди: завтра мы атакуем французов!

Михаил Илларионович снял бескозырку и провел ладонью поилицу, вытирая пот. И в первый раз за весь трудный, жаркий, но героический день улыбнулся:

— А вот же Наполеон ничего не добился! Молодцы! Устояли!

VII

> Бородинское сражение, вследствие потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой, почти не укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в таких условиях, в которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства.
>
> *Лев Толстой. «Война и мир»*

День угасал, солнце заходило в тучу. Артиллерийская дуэль, которая сменила атаки пехоты и кавалерии, затихла.

Наполеон не смог ни разбить, ни обратить в бегство русскую армию. Она стояла на новой позиции за Горицким и Семеновским оврагами такая же решительная и непоколебимая, как и десять часов тому назад.

Кутузов с облегчением вздохнул: беспрерывный пушечный гул наконец-таки прекратился. Он в последний раз глянул в трубу на ужасное поле боя. Долины, холмы и овраги были покрыты телами убитых и раненых. Особенно много людей и лошадей лежало у

Центрального кургана. Здесь трупы громоздились друг на друга в несколько рядов. Там и сям валялись подбитые пушки и остовы зарядных ящиков, стадами бродили искалеченные, раненые кони.

Кутузов решил ехать в главную квартиру — в Горках оставался Барклай-де-Толли, один из героев сегодняшней битвы.

Барклай появлялся в самых опасных местах боя. Незаслуженно оскорбленный, он искал смерти. В полной генеральской форме, с тремя звездами на груди, он представлял прекрасную мишень. Под ним убили трех лошадей, почти все его адъютанты были ранены, а двое убиты. Вся армия, все, кто видел Барклая в этот день, превозносили его мужество и хладнокровие.

— Я никогда не сомневался ни в искренности его, ни в храбрости, — говорил Кутузов, когда ему указывали на беспримерное поведение в бою Барклая.

Кутузов сел в коляску и поехал в Татариново. Только теперь он почувствовал, насколько устал, а впереди предстояло так много работы: в эту ночь нужно было учесть оставшиеся силы и подготовиться к бою.

Проезжая мимо господского дома в Михайловском, Кутузов увидал, что в главном полевом госпитале еще кипит работа. Весь двор был заставлен телегами, на которых увозили раненых в Москву. В свете костра, горевшего посреди двора, маячили серые кафтаны ополченцев, доставлявших раненых с поля боя.

Кое-где у дороги уже виднелись свежие могильные холмики, на которых стояли связанные лозой кресты из веток.

Татариново снова оживало: возвращались генералы, штабные офицеры, ординарцы, денщики.

Ожидая, пока повар подогреет обед, Кутузов лежал на постели и слушал, как в зальце писаря рассказывали разные эпизоды сегодняшнего сражения:

— Ну и жарня сегодня была! Ну и побоище! У самого черта борода тряслась!

— Какой молодец Барклай! Какая дивная храбрость: он не выходил из огня! Под ним убило пять лошадей!

— Не пять, а всего четыре!

— И перебило почти всех адъютантов!

— Ламсдорфа, рыжего длинного гусара, во время атаки застрелил из пистолета французский драгун.

— Барклай сам отбивался — он проколол шпагой трех драгун.

— Барклай фехтовальщик знатный!

— А слыхали, что сделал Милорадович? Когда увидал, как Барклай хладнокровно стоит под пулями, он сказал: «Барклай хочет меня удивить?» Милорадович встал на самом перекрестном огне и приказывает ординарцу: «Давай завтракать!»

— Да у Милорадовича всегда ничего нет. Он добрая душа — все раздает. Мне рассказывал его ординарец. Приедет Михаил Андреевич к своей палатке, говорит денщику: «Давай ужинать!» — «Да у нас, ваше превосходительство, нечего: давеча вы за обедом угощали гусар». — «Ну так давай трубку!» — «Табак весь вышел!» — «Ну давай бурку!» Завернется — и спать.

— А Дохтуров, как заступил вместо князя Багратиона, слез с коня, сел под огнем на барабан и говорит: «Никуда отсюда не уйду!»

— Зато Михайло Ларивонович и обнимал его!

— Разная бывает храбрость. У Барклая во время сражения не заметишь никакой перемены ни в речи, ни в движении, ни в лице, а Коновницын делается под огнем веселее и командует громким голосом.

— А Багратион становится молчаливее.

— А Беннигсен, как попадет под пули, знай облизывает губы.

— Это у него они сохнут от трусости.

— Господа, слыхали, как начальник шестого корпуса генерал Костенецкий лупил банником налетевших на батарею польских улан? Словно Алеша Попович: вправо махнет — улица, влево — переулочек...

— Костенецкий может, он силач — единорог[1] сам поворачивает.

— А каково попарились в Бородине наши гвардейские егеря?

— А что?

— В Бородине главнокомандующий оставил три батальона егерей, а там почти при каждом доме баня. Вот они и давай мыться, париться. Два батальона успели до зари, а третий только стал париться, а тут бой начался. Итальянцы и поддали егерям жару! Половина егерей и легла...

— Зато мытые, чистенькие...

После обеда Михаил Илларионович сел со своими полковниками готовить рапорт царю о сражении при Бородине и письмо Ростопчину. Он знал, что Москву особенно волнует исход сражения. Если немедленно не послать реляцию Ростопчину, то «сумасшедший Федька» разведет такое, что хоть святых вон неси!

Кутузова очень тревожило состояние левого фланга. Никто не знал, какие потери понесли армии, и особенно вторая. Главнокомандующий послал Толя разузнать все на месте.

Толь вернулся из поездки в десятом часу вечера.

Выяснилась неутешительная картина: убыль в полках была громадная — в некоторых уцелело меньше батальона.

— В Ширванском осталось девяносто шесть человек, в Сибирском драгунском сто двадцать пять, в Астраханском кирасирском

---

[1] Единорог — гаубица.

девяносто пять, — докладывал Толь. — Полками командуют подпоручики. В Одесском пехотном старший офицер — поручик, Тарнопольским командует фельдфебель. Я подъехал к небольшой группе солдат и, зная уже, сколько может оставаться людей в полку, спросил: «Какой это полк?» А мне отвечают: «Это, говорят, не полк, а сводная графа Воронцова дивизия!» Вот те на! Ваше сиятельство, нечего и думать идти вперед! — махнул рукой Толь.

— Но и у французов, видно, не веселее, — вставил Кайсаров.

— Наполеон переломал о нас свои зубы, да жаль, что нам пока что нечем повышибить у него последние! — сказал Кутузов. — Куда же там наступать? Отойдем, подкрепимся, тогда уж. А теперь пиши, Паисий, приказ об отходе армий за Можайск. Арьергард поручаю Платову. Да пошлите кого-нибудь к генералу Барклаю-де-Толли предупредить об отходе!

Адъютант Граббе был послан в Горки к Барклаю-де-Толли с приказом Кутузова отводить войска за Можайск.

Холмы и долины, на которых еще так недавно кипела кровавая сеча, тонули в кромешной тьме осенней ночи.

Лишь кое-где горели одинокие неяркие костры, к которым со всех сторон тянулись искалеченные люди. Мало огней светилось и за Колочей. Отовсюду доносились стоны и мольбы раненых.

Граббе не без труда нашел в Горках единственный уцелевший двор, в котором разместился штаб. У разломанного крыльца дремал часовой. Сквозь разбитые окна из дома доносился разноголосый храп.

Граббе насилу дозвался барклаевского денщика. Солдат вышел к нему лишь тогда, когда услыхал, что Граббе приехал от самого главнокомандующего. Денщик высек огонь, зажег огарок свечи. Граббе ступил за денщиком на порог избы. В неверном, колеблющемся свете огарка Граббе увидал странную картину: на полу, на соломе лежали вповалку люди в нелепых позах. Виднелось шитье штаб-офицерских мундиров, шарфы, торчали сапоги со шпорами. Стараясь не наступить на лежащих и смешно балансируя, денщик пробрался кое-как в самую середину тел и затормошил кого-то:

— Ваше высокопревосходительство, проснитесь! От его сиятельства прибыли!..

Из кучи тел выглянула знакомая лысина Барклая, и вот он встал, длинный, заспанный и какой-то домашний, в сорочке, без генеральского мундира, в котором был сегодня в сражении.

— Кто это? В чем дело?

— Приказ его сиятельства! — доложил Граббе и передал Барклаю бумагу.

Командующий первой армией нагнулся к свече денщика, прочел приказ и закричал:

— Что, отступать?!

Спокойный Барклай-де-Толли был взбешен донельзя. Он ругался по-русски и по-немецки, не стесняясь своих офицеров, которые проснулись от его крика и тоже были изумлены таким приказом: в русской армии все были убеждены в своей победе. Барклай ругал Беннигсена. Он считал Беннигсена единственным виновником отступления.

— Я поеду сам к князю!.. Я поговорю!.. — заторопился Барклай, сдергивая с гвоздя висевший на стене парадный мундир со звездами.

— Ваше высокопревосходительство, вторая армия генерала Дохтурова уже двинулась к Можайску, — сказал Граббе.

Барклай от огорчения только развел руками. Приходилось подчиняться обстоятельствам и отходить.

Впервые за всю кампанию Барклай-де-Толли был возмущен отступлением русской армии.

VIII

Воины! Вот сражение, которого вы столько ждали!

Из приказа Наполеона к Бородинскому бою

Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми.

Наполеон

Наконец свершилось то, о чем три месяца только и мечтал Наполеон, чего нетерпеливо, хотя и без особого удовольствия, ждала его армия: русские остановились и приняли генеральное сражение, навязанное им французским императором.

В течение десяти часов армия Наполеона беспрерывно атаковала позиции русских. Солдаты действовали так, как призывал их в своем воззвании, прочитанном перед боем, император: они сражались с такой же яростью, как при Аустерлице и Фридланде, но день проходил, а успеха не было.

Наполеон бросил на русские редуты тысячи ядер и гранат, слал на них в атаку одну дивизию за другой.

Но ни артиллерии, ни пехоте не удалось сломить русских. Удивленный, разгневанный, Наполеон решил:

— Победа не дается артиллерии и пехоте? Ее принесет мне кавалерия!

«Тяжелые латники Европы прорвут своей несокрушимой мощью линию войск Кутузова, разрежут ее пополам. Драгуны и уланы довершат удар, а гусары и шеволежеры дорубят бегущего, разбитого врага», — думал он.

И Наполеон кинул на русские редуты французские, прусские, польские, саксонские, вестфальские, баварские эскадроны Нансути, Монбрюнна, Латур-Мобура, Груши.

Конница усеяла трупами людей и лошадей бородинские поля, но не смогла добиться победы.

Мюрат и Ней клялись, что русские едва стоят, умоляли императора пустить в дело гвардию. Наполеон не поверил этим горячим головам — Мюрату и Нею — и послал рассудительного маршала Бессиера посмотреть.

Бессиер увидал: русские в полном порядке стоят на хороших позициях и не обнаруживают никаких признаков расстройства.

— Ну что же русские? — запальчиво спросил у Бессиёра Наполеон.

— Стоят, ваше величество, — ответил маршал.

Когда после боя у Шевардина Наполеон удивлялся стойкости русских, Коленкур сказал ему: «Русских мало убить, их надо еще повалить». Наполеон тогда хвастливо заметил: «Я их повалю! В день сражения у меня будет вся резервная артиллерия!»

Эти слова вспомнились ему теперь.

— Русские стоят? Им еще мало? Так дайте ж им еще огня! — в бешенстве, в бессильной злобе крикнул Наполеон.

Император приказал выдвинуть из резерва всю артиллерию и громить русскую линию от Горок до Утицы.

Артиллеристы старались как могли.

Ветер относил дым и огарки от пороховых картузов на людей и пушки. Орудия от самых дул до затравок закоптились и стали черно-сизыми. Артиллеристы походили на трубочистов.

Два часа била, не умолкая, французская артиллерия, но русские не поколебались — они не дрогнули и не бежали.

День прошел, пролетел, как один миг. Солнце закатилось. Надвинулся хмурый, холодный вечер.

Поле боя еще дымилось и не хотело затихать. Гром сотен орудий умолк, но его сменили предсмертные стоны тысяч умирающих и вопли и крики раненых о помощи.

Пригорки, долины, пашни, перелески, овраги были полны трупов людей и лошадей, разбитых лафетов, зарядных ящиков и повозок, земля покрыта ядрами, осколками гранат и картечи, словно

градом после неистовой бури. Лица солдат почернели от пороховой копоти, голода и изнеможения, их разноцветные мундиры покрылись пылью и кровью.

Все было как всегда после большого, кровопролитного сражения, но вместе с тем все было по-иному.

У ног Наполеона не складывали пестрых, шелковых клочков неприятельских знамен и штандартов. Мимо полосатых императорских палаток не тарахтели десятки захваченных орудий, не тянулось с поля боя потрясенное многотысячное стадо пленных, с суеверным ужасом смотрящих на Наполеона.

Только по числу пленных всегда судили о победе, а сегодня за весь день — стыдно сказать! — их едва набралось семьсот человек!

Кроме гвардии, которая проскучала за спиной императора весь день и потому сохранилась в полном порядке, все дивизии и полки «великой армии» оказались перемешанными и расстроенными. Эскадроны кавалерии представляли странную смесь: медная каска кирасира очутилась в одном ряду с конфедераткой польского улана и меховой шапкой конноегеря. Адъютанты и ординарцы не могли отыскать своих генералов.

Когда артиллерийская дуэль окончилась, император спустился с Шевардинского холма к Семеновскому, чтобы самому посмотреть этот вспаханный снарядами кусочек поля боя.

Никогда оно не имело столь ужасного, мрачного вида.

Наполеон заставлял переворачивать трупы, чтобы посмотреть, чем убиты люди. И, как артиллерист, получал полное удовлетворение: многие из них были поражены картечью.

На одном редуте император застал человек восемьдесят пехотинцев с пятью офицерами.

— Почему вы не присоединились к своему полку? — спросил капитана Наполеон.

— Весь полк здесь, ваше величество, — ответил капитан.

— Кто это? — раздраженно оглянулся, ничего не понимая, император.

— Вот они, ваше величество, — с достоинством ответил капитан, указывая на трупы, окружавшие взятый редут.

Необычным и странным был также сегодняшний молчаливый, угрюмый бивак: голодные, измученные, продрогшие на холодном ветру, войска были вынуждены располагаться без воды и хлеба среди трупов, на голой земле, пропитанной кровью.

Всюду царило уныние. Солдаты были подавлены пережитым. После стольких трудностей и лишений похода, после стойкости и отваги, выказанной в сегодняшнем бою, — в результате не победа, а побоище. И будущее, полное мрачных предчувствий.

Безмолвие заменило прирожденную французскую веселость — не слышалось ни песен, ни шуток, ни острых солдатских словечек.

Не веселее было и в главной императорской квартире на Шевардинском холме.

Куда-то исчезли завзятые льстецы, которые обычно спешили поздравить императора с блестящей победой, восхваляли его гений, талантливость маршалов и храбрость солдат. Никто не докладывал Наполеону о том, сколько неприятельских дивизий капитулировало, какие трофеи взяты. Придворные лакеи и пажи, весь бой прятавшиеся в укромных уголках, не изображали лихих рубак и не вспоминали боевые эпизоды дня, о которых они узнавали от адъютантов и ординарцев, не хвастались случайно залетевшим на императорскую кухню ядром.

Маршалы сегодня держались отчужденно и несколько странно.

Самолюбивый Даву смотрел мрачнее, чем всегда. Преданный Бертье отводил глаза в сторону. Пасынок Евгений Богарне виновато улыбался. На лице прямодушного Нея было написано недовольство. Хвастуны и говоруны Мюрат и Себастиани не хохотали, крича: «Ах, как сегодня мы наложили этим канальям!»

Перед громадным костром, который был разведен у императорской палатки, грелись маршалы и штабные генералы.

Царило тягостное молчание. Наполеон, в раздумье прохаживаясь у костра, услыхал, как Мюрат сказал Нею:

— Я никогда не видел сражения, где бы так громила артиллерия. При Эйлау палили не меньше, но ядрами. А сегодня мы сошлись с русскими так близко, что все время били картечью.

— Увы, мы не разбили яйца! — недовольно заметил Ней.

Обычно после окончания генерального сражения император благодарил маршалов за победу, а маршалы, в свою очередь, превозносили его, но сегодня было иначе. Наполеон чувствовал, видел, знал, что его верные соратники недовольны им: почему он после взятия Центрального редута не пустил в дело гвардию, как умоляли маршалы? Они считали, что тогда бы русские были окончательно разбиты. Все они, разумеется, слишком хорошо помнили его предостерегающие, верные слова: «Генерал, приберегающий свой резерв к следующему дню за сражением, всегда будет бит». По их мнению, сегодня таким нерасчетливым генералом оказался сам Наполеон.

Но сегодняшний случай был из ряда вон выходящим. Маршалы не могли правильно разобраться «на шахматной доске», как всегда говорил о бое Наполеон. Они забыли, что император любил повторять: «Я живу всегда на два года вперед».

Они не понимали его как императора и напрасно осуждали как полководца. И это мучило его.

Наполеон походил у костра и пошел ужинать: днем он почти ничего не ел, только выпил два стакана шамбертена и съел ломтик хлеба.

Окончив ужинать, император позвал к себе государственного секретаря Дарю и главного интенданта Дюма. Император не хотел объясняться с маршалами, он предпочитал растолковать все этим трезвым, практическим людям. Дарю и Дюма скорее поймут его, чем горячий Ней, который в запальчивости сказал, как донесли потом императору: «Что он делает там, позади? Если он перестал быть полководцем и корчит из себя императора, пусть передает дело нам, а сам убирается в Тюильри!»

Император посадил Дарю и Дюма по обе стороны от себя. Сперва он спросил, какие распоряжения сделаны для раненых. Это был не жест человеколюбия, а простой расчет — раненый солдат может еще пригодиться: может снова встать в строй!

Затем император начал говорить о блестящей победе. Наполеон хотел уверить Дарю и Дюма в том, в чем не был вполне уверен сам.

Он говорил и вдруг уронил голову на руки и задремал. Дарю и Дюма сидели за столом, боясь пошевельнуться, чтобы не разбудить императора.

Но минут через десять он проснулся сам.

— Вероятно, многие не понимают, почему я не пустил в дело гвардию? — проснувшись, заговорил он о том, что больше всего мучило его. — Мне нужно беречь моих «ворчунов» для последнего удара перед вступлением в Москву. Успех дня и так был ясен. Мне оставалось позаботиться о таком же успехе всей кампании.

Дарю и Дюма, кажется, поняли его — они не оспаривали и не возражали.

Император встал из-за стола. Он приказал выдвинуться молодой гвардии и занять позицию против русских, чтобы дать отдых войскам, участвовавшим в бою.

— Сохраняйте за собой поле битвы. Больше я от вас ничего не требую, — сказал он командовавшему молодой гвардией маршалу Мортье.

Потом Наполеон занялся бумажными делами — письмами, депешами, приказами, списками.

Бертье, грызя ногти и гримасничая, вынужден был доложить императору о потерях «великой армии» на сегодня. Убито три дивизионных генерала: Монбрюнн, Коленкур и Шастель — и девять бригадных: Ромеф, Ланабер, Марион, Компер, Гюар, Плозони, Дамас, Бессьер и Жерар; ранено четырнадцать генералов дивизионных и двадцать три бригадных. Среди раненых были Рапп, Нансути, Груши, Моран, Фриан, Дессе, Компан, Бельяр, Тарро, Пажоль.

Список был ужасный.

Наполеон, выслушав его, побледнел. О смерти или ранении многих из них он знал еще во время самого боя, но не подытоживал этих невозвратимых потерь, а теперь понял, какой урон понесла «великая армия».

Он тут же продиктовал очередной бюллетень. Бюллетень из-под Можайска был так же лжив, как и все предыдущие — из-под Витебска, Гжатска, Смоленска. В русской армии было убито три и ранено четырнадцать генералов, но Наполеон щедро увеличил эти цифры, диктуя:

«Сорок русских генералов было убито, ранено или взято в плен, генерал Багратион ранен».

Совершенно умолчать о своих потерях он не мог — курьеры все равно скажут в Париже, что убит Монбрюнн и ранен Рапп. Арман Коленкур, конечно, сообщит домой о геройской гибели своего брата Огюста. Поэтому Наполеон написал:

«Мы потеряли дивизионного генерала Монбрюнна, убитого пушечным ядром; генерал граф Коленкур, посланный занять его место, спустя час был убит таким же ядром».

Из двенадцати генералов он упомянул лишь о шести, а о тридцати семи раненых сказал в бюллетене так: «семь или восемь ранены». Даже эта цифра показалась Наполеону страшной, и он поспешил прибавить к слову «ранены»: «большею частью легко».

Бюллетеня ему было мало. Он знал, что в Париже не поверят в такую победу, где нет разгромленных неприятельских армий, сдавшихся в плен дивизий и сотен взятых пушек. Наполеон хотел во что бы то ни стало представить дело так, будто при Бородине победил он. Уже под утро он написал письмо императрице Марии-Луизе: Наполеон знал, что это письмо получит не меньшую огласку в Европе, чем бюллетень.

В письме он сочинял по-иному:

«Мой добрый друг, я пишу тебе на поле Бородинской битвы. Я вчера разбил русских. Вся армия в сто двадцать тысяч человек находилась тут. Сражение было жаркое; в два часа пополудни победа была наша. Я взял у них несколько тысяч пленных и шестьдесят пушек. Их потеря может быть исчислена в тридцать тысяч человек. У меня много убитых и раненых».

Здесь тоже не обошлось без хвастовства и обмана — Наполеон сильно преувеличил численность русской армии и количество пленных и трофеев, но и в письме, как и в бюллетене, все покры-

вало беззастенчивое, грубое вранье: ни в два часа пополудни, ни в два часа пополуночи французы не могли похвалиться победой.

Командующий русской армией Кутузов тоже написал после Бородина письмо своей жене. Он писал кратко и скромно:

«Я, слава Богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием».

Написать так Кутузов имел больше оснований, чем Наполеон.

Глава шестая
НАРОД НА ВОЙНЕ

I

В воскресенье 25 августа виленцы, которые накануне ночью отошли со всей двадцать седьмой дивизией от Шевардина за лощину, приходили в себя после вчерашнего ожесточенного боя. Потери у виленцев были большие: полком уже командовал майор, а первым батальоном, где служил Черепковский, — поручик. В капральстве Черепковского недоставало многих: Тарас Гринченко был ранен, Иоганн Фридрихсон — ранен, Осип Феклистов — ранен, Парамон Аржаных — убит, Ян Карельске — убит...

— Везет же нам — всегда в самое пекло попадаем!

— Ну и француза валило — аж черно! Столько вражьей силы собралось, что и плюнуть негде, если штыком места не очистишь!

— А все-таки редут остался за нами — сами ушли! — вспоминали виленцы вчерашний бой у Шевардина.

От деревни Шевардино не осталось ничего — одни головешки; но на огородах сегодня хозяйничали французы: дорывали последнюю картошку. Виленцы стояли в ольховом и березовом мелколесье, сливавшемся с опушкой большого леса.

Впереди двадцать седьмой дивизии располагалась сводная гренадерская Воронцова.

Утром 26 августа, когда забушевала артиллерийская канонада, виленцы оказались в лучшем положении, чем остальные полки: они были не на открытом месте. Но это продолжалось недолго. Французы наседали, и раздалась привычная команда: «На руку!» Полк пошел отбивать штыками французов.

Идти локоть к локтю было нельзя — мешали кусты. Левон Черепковский шел рядом с дружком Савелием Табаковым. Держались вместе, чтобы помочь друг другу в схватке, но, как назло, у самой опушки на пути попались густые кусты, и приятели на ми-

нуту разлучились. Черепковский взял чуть влево, выскочил на прогалину и обомлел: прямо на него шла с ружьями наперевес целая рота французов. Черепковский сунулся было назад, но его нагнали, ударили прикладом по голове, отняли ружье, сняли перевязь, портупею и ранец.

Кровь текла по глазу и щеке. Черепковский уже читал про себя молитвы — он сразу же вспомнил, что говорили в армии: французы раненых убивают, а здоровых ставят в строй и принуждают идти против своих же. Два тощих черномазых стрелка погнали его к Шевардину:

— Але! Але!

Не успели выйти из перелеска, как французский стрелок подвел к Черепковскому Савелия Табакова. Савку не прибили, а только отняли у него оружие, но почему-то оставили ранец.

— Вот, брат, попались, — огорченно шепнул Черепковский товарищу.

Но ему стало все-таки как-то веселее: на миру и смерть красна!

Табаков молчал, сжав от злости зубы. Смотрел волком.

Французы лопотали непонятное и вели их к Шевардину. Русские ядра с воем проносились над головой. Все знакомое шевардинское поле было густо покрыто пехотой и кавалерией.

— Ишь сколько их, чертей, тут собравши! — буркнул Табаков.

— Гляди, гляди, кажись, сам Аполиён! — зашептал Черепковский, указывая вперед.

На высоком Шевардинском холме, с которого было прекрасно видно все — Горки, Семеновское, Татариново, — сидел на складном стуле, вытянув одну ногу на барабан, небольшой человек в простом сером сюртуке без эполет. Черная треуголка была низко надвинута на лоб. Сзади за ним стояла многочисленная нарядная свита — генералы в лентах и орденах. Блестели шитые золотом мундиры, ярко начищенные каски, кирасы. А за свитой выстроились солдаты — усатые, бородатые дяди в синих мундирах с красными эполетами, в белых жилетах и таких же белых (вот не замарали же, приберегли!) штанах. На головах у солдат торчали высокие, как доброе ведро, медвежьи шапки.

— Я видал его патрет. На патрете Аполиён — худ и черен, а на самом деле вон каков гусь! Жирный да белый! — сказал Табаков. — Птичка невеличка, а коготок востер!

— А это за ним, верно, гвардия. Ишь какие гладкие! Отъелись! — прибавил Черепковский.

Чуть впереди первой роты гвардейцев стояла их музыка и играла что-то веселое, от чего ноги сами шли.

Пленных поставили у холма. Заборов, у которых виленцы располагались вчера, не было уже и в помине.

От Шевардина не осталось ни дома — все сгорело. Недаром, когда дрались, было светло как днем; не верилось, что кругом ночь, и, только отойдя за лощинку, увидали: на дворе-то темным-темно.

Табаков стоял потупившийся, злой, не глядел ни на кого, а Черепковский смотрел, хоть одним правым глазом — левый затек, распух.

Вон колодец. У него торчит в такой же медвежьей шапке часовой. За колодцем красивые, большие бело-голубые палатки. Возле них какие-то люди в белых штанах до колен и расшитых кафтанах.

«Неужели такие молодые генералы? И без шпаги...» — рассматривал их Черепковский.

Один понес из палатки куда-то на подносе графин, а другой шутя ударил его по загривку.

«Нет, это не генералы. Похоже — лакеи».

Вон высунулась из палатки что-то жующая толстая рожа в белом колпаке.

«Должно, повар. Все евонный, Аполиёнов».

Верховые — ординарцы и адъютанты — драгуны, гусары, уланы скакали к холму и от холма с донесениями и приказами.

Пленные стояли уже с час. К ним присоединили еще трех русских гренадер, когда на них обратили внимание. К пленным подскочил какой-то вертлявый человек в мундире, вышитом золотом, и на чистейшем русском языке спросил:

— Какой дивизии, братцы? Какого полка?

Пленные молчали.

Увидев, что у Черепковского разбита голова, он вроде посочувствовал:

— Никак ранен, любезный?

Черепковского разбирала злость: подлая твоя душа, продаешь родину за золоченый мундир!

— Что ты о нас печалишься? От смёртухны и сам не увойдешь. Вот как потянут черти твою душеньку через ребра, тогда познаешь, как изменять родине! — ответил Черепковский и отвернулся.

Противно смотреть на мерзавца!

— Не, братки, я не русский, я природный француз, а только долго жил в Москве. А отвечать каждый должон: такой заведен порядок во всех армиях. Наши к вам попадут — их станут допрашивать, они должны отвечать всю правду...

— Пусть они отвечают, а мы не станем! — сказал Табаков.

В это время к пленным подскочил рыжеусый поляк в уланском мундире.

— Якего ты ест пулку? Сколько в пулку жолнеров? Кто з ваших генералов забиты? — строго спросил он у Черепковского.

Черепковский даже улыбнулся: это известный, это знакомый, это «пан». Дома, в Витебской губернии, все помещики — поляки.

«Погоди, я ж тебе отвечу!» — подумал он.

— Паночек, а где бы тут сходить до ветру, чтоб не срамить генеральство? — прикидываясь дурачком, спросил поляка Черепковский.

Поляк рассвирепел. Он схватил Черепковского за грудки и, оглядываясь на холм, где сидел Наполеон, прошипел со злостью:

— Пся крев! Гицель! Лайдак! Твое счастье, что император близко, а то...

Он с силой отшвырнул от себя Черепковского и, ругаясь, отбежал вместе с французами к своим.

Через минуту к пленным подъехал молодой польский улан и скомандовал:

— Марш!

Подгоняя пленных тупым концом пики, улан погнал их к Доронину.

Пленные шли и смотрели по сторонам. Их сердце радовалось: от линии боя в тыл несли и вели десятки раненых французских солдат и офицеров.

— Что, голубчики, аль напоролись? — кивнул Табаков.

У Доронина Черепковский обернулся назад — посмотреть, как стоят наши, чья берет. Но за Шевардинскими высотами только подымался вверх густыми клубами сизый пороховой дым и воздух сотрясался от беспрерывного тяжелого, многоголосого гула орудий.

II

Пленных целый день продержали в поле за сожженной деревней Фомкино. Их набралось человек до ста, в большинстве пехотинцев. Кавалеристы и артиллеристы попадали в плен меньше.

Пленные с тревогой поглядывали на восток, где кипел, не умолкая, бой. Земля дрожала от гула сотен орудий. Клубы порохового дыма, словно грозная черная туча, застилали весь горизонт, не рассеиваясь ни на минуту.

Русские солдаты беспокоились, устоят ли наши.

Настроение у пленных было невеселое. Им казалось: если они попали в беду, то дело вообще плохо. Они видели все в мрачном свете:

— Где там устоять? Этакая силища!

— Что сила? Ай не видишь, сколько они раненых волокут? И подкреплений нет — одни обозы, — возражали более спокойные.

По виду обозных нельзя было сказать, что французы побеждают. Да и раненые, которых несли и везли с поля боя, что-то не очень хвастались успехами.

День проходил. Обозы оставались на прежних местах: стало быть, французы не сбили русских с их позиции у Бородина.

Под вечер пленных, не покормив ни разу за день, погнали к Гжатску.

— Не успели умереть за отечество, натерпимся в неволе, — сокрушался курносый Табаков. Всегда веселый, даже он приуныл.

— Помереть за родину никогда не поздно, — ответил Черепковский, шедший с ним рядом.

— Что толку-то помереть лишь бы как! — бурчал Табаков.

— А я разве советую тебе вешаться вон на той березе?

— А что же делать?

— Разбить конвой и бежать. Нас тут человек около сотни, а улан только десять.

— Надо подговорить людей! — оживился Табаков.

Черепковский и Табаков, незаметно переходя по рядам, стали подбивать товарищей, но соглашались не все.

— Не привел Господь погибнуть в сражении, так, значит, нечего задаром и помирать: мы ведь без оружия, а у них вон и пики и сабли, — сказал старик канонир.

С ним соглашались и высказывали примерно те же соображения многие.

— Лучше теперь пропасть, чем дожидаться, как заведут невесть куда и запишут в полк. Видал, кого меж ними нет — всякой нации. Думаете, все по доброй воле идут? И с нами тоже не больно станут разговаривать, — усовещивал малодушных Табаков.

Все-таки нашлось человек двадцать, решивших попытаться бежать из плена. Черепковский и Табаков собрали их возле себя.

— Теперь, Левон, ты будешь нам всем за командира, — сказал Табаков. — Делай как знаешь, а мы должны тебя слушать!

— Ладно, ребятки. Примечайте только дорогу! — ответил Черепковский.

В сумерки пришли в какое-то еще не сожженное и не покинутое жителями село. Пленных поместили в большом сарае. У двери оставили двух спешенных улан — остальные разбрелись по селу покормиться и пограбить.

Черепковский решил воспользоваться слабостью караула. Он сказал нескольким товарищам, чтобы они затеяли притворную драку, а сам приготовился напасть на караул.

Услыхав шум, улан с проклятиями и руганью смело раскрыл дверь и вошел в полутемный сарай.

Черепковский ударил его по голове колом. Улан упал. Пленные, решившие бежать, кинулись в полураскрытую дверь, смяли второго улана, стоявшего у сарая, и бросились в разные стороны наутек.

III

Дружки — Черепковский и Табаков — бежали вместе. Они кинулись за сарай в кусты, а потом перемахнули через болотце в лес. На опушке леса приостановились, ожидая товарищей, но все бежавшие рассыпались в разные стороны.

Тем временем в селе поднялся переполох, послышались крики и выстрелы.

— Собирали-собирали дружину, а остались только вдвоем, — усмехнулся повеселевший на свободе Табаков.

— Надо уходить. Не стоять же нам тут! — сказал Черепковский.

И они пошли лесом на север, стараясь уйти подальше от Смоленского большака.

Небо затянулось тучами, окончательно стемнело. Они вышли на какой-то луг, уставленный стогами сена.

— Дальше не пойдем. Переночуем здесь, — предложил Черепковский.

— Вот тебе и ночлег: воздушным плетнем обнесу да небом накроюсь, — говорил Табаков.

— Зачем так? Мы в стогу переспим.

Дружки вырыли в стогу логово и улеглись, прижавшись спинами друг к другу.

Проснулись озябшие и голодные. Всходило солнце.

Покурили и тронулись дальше перелесками и полями. Чувствовалось, что близко деревня.

И вот она показалась впереди. В деревне голосисто пели петухи.

— Если петух цел, значит, франц еще сюда не добрался, — говорил Черепковский, выходя из кустов на проселочную дорогу. — И собаки не брешут, стало быть, никого чужого нет.

— А глянь, Левон, у крайней избы — караул. Вишь, бородач с трубочкой ходит? И вилы в руке. А поперек улицы бревна навалены. Застава.

— Ну так что ж, что застава? Мы же люди свои, — ответил Черепковский, продолжая идти к деревне.

Не успели они пройти и десяти шагов, как деревенский караульщик их заметил.

Собственно, заметили мальчишки, вертевшиеся вокруг караульного. Бородач, занятый своей трубочкой, может быть, и не так скоро увидал бы непрошеных гостей, но мальчишки застрекотали как сороки и кинулись по домам.

Бородач свирепо выставил вперед вилы и закричал издалека:

— А ну стой! Не ходи!

— Не бойся, дяденька, мы — свои, русские. Мы убегли из плену, — предупредил Черепковский, не думая останавливаться.

— Да у нас и оружия нет, — прибавил Табаков, растопыривая руки.

— А за плечами-то у тебя что? — недоверчиво косился бородач.

— Пустой ранец! — Табаков шлепнул по ранцу, ладонью.

Бородач опустил вилы.

Дружки подошли к бревнам.

В это время отовсюду сбежались мужики — кто с топором, кто с косой, — их привели осмелевшие ребятишки.

Мужики окружили Черепковского и Табакова, с любопытством разглядывая их, словно никогда не видели солдат.

— Откуда вы, служивые? — спросил один из мужиков. На нем был не кожух, а суконный кафтан, седая борода аккуратно расчесана — сразу видно: староста.

— Из плена, — ответил Табаков. — Вчерась за Можайском было большое сражение. Там нас и захватили.

— Слыхали. От пушечного грома и у нас небо разрывалось. Это за Колоцким монастырем, — степенно сказал староста. — А кто у нас командует? Всё немцы? — спросил он.

— Нет, генерал Кутузов, — ответил Черепковский.

— Не слыхать было такого...

— Заслуженный генерал — у самого Суворова помощником был. У Суворова плохих не бывало, — объяснил Табаков.

— Ну, хороший аль плохой — там видно будет, а главное — русский! — успокоился староста.

— И кто же вчерась побил? Наши аль ихние?

— Неужто Аполиён? — допытывались крестьяне.

— Мы не знаем. Вечером наши еще стояли на месте, — ответил Черепковский.

— Значит, француз скоро и к нам припожалует? — спросил бородач.

— Все может статься...

— И мы так думаем, — завладел разговором староста. — У нас в округе все мужики решили не сдаваться, встретить «гостей» по-русски, с топорами да вилами. Потому вот и караул поставили.

— Караул дело неплохое, да не так надо бы, — сказал Черепковский.

— А как же?

— Что же это вы держите караул у самой деревни? Вы бы выслали дозор подальше. Вон у вас березки растут, — обернулся Черепковский, — на них и посадите ребятишек, у кого глаза повострее. Как увидят, что с большака к вам кто-либо собирается, пусть бегут предупредить. А то под самой деревней караулите. Хорошо, что мы — свои, а если б это француз? Не успели бы поднять на ноги народ, как дядю, — кивнул он на бородача, — укокошили б и вас врасплох взяли бы.

— Слободно.

— Верно!

— Солдат правильно говорит.

— Знамо, ихнее, военное дело. Он больше нашего и ведает, — одобрительно загудела толпа.

— А что же вы, служивенькие, думаете дальше делать? — спросил староста.

— Пробиваться к армии, чего же нам делать-то? — ответил Табаков.

— А вы оставайтесь пока у нас. Будете за командеров.

— Верно, оставайтесь! — заговорили мужики.

— Кто из вас старший? — смотрел на дружков староста.

— Мы одного чина — рядовые. Но пусть Левон командует: он способнее и повыше, и нос у него как у начальника, — сказал любивший пошутить Табаков. — А я — курнос. А курносых и святых нет...

— У него и глаз подбитый, — в тон Табакову прибавил кто-то из толпы.

— Ну что, Левон-батюшка, согласен быть у нас за начальника? — спросил староста. — Я человек по этой части темный, в солдатах не был...

— Еще бы ты был, — насмешливо, но вполголоса заметил кто-то.

Черепковский улыбнулся:

— Мы согласны. Только сперва... поесть бы. Вторые сутки не евши.

— И правда, что же это мы держим людей у околицы? Пойдемте ко мне, — предложил староста.

— Солдату и еда — служба, — оживился Табаков. — Горнист играет — ему отказаться невозможно: какой на него порцион отпускается, солдат завсегда обязан съесть!

И Табаков уже перелез через бревна, чтобы идти вслед за старостой.

Но Черепковский стоял на месте.

— Коли хотите, чтобы я командовал, так давайте уж сразу делать по-военному. А ну, ребятеж, — обернулся Черепковский к мальчишкам, — трое бегите вон к тем березам. Да погодите. Пусть один влезет повыше на дерево и смотрит, а двоим оставаться внизу. Как чуть увидишь, что с большака кто повернет к нам, кричи вниз. А нижние — во весь дух бегите ко мне. Только не вздумайте все трое влезать на дерево: пока слезете, конный француз раньше вас будет в деревне. Поняли?

— Поняли, дяденька Левон! — хором отвечали мальчишки.

И не трое, а добрый десяток их помчался к березам — только босые пятки замелькали.

IV

Староста повел гостей к себе.

Кое-где из-под ворот на них лаяли собаки.

— Цыц вы, проклятые! — топал ногой на злых шавок староста.

— Не беспокойтесь, дяденька, пущай себе лают! — весело говорил Табаков. — Одной ли только деревни облают солдата на его веку собаки? Пустое!

Они подошли к большому дому старосты.

Староста хорошо попотчевал дружков.

Мальчишки-дозорные не сообщали ничего тревожного, и Черепковский с Табаковым сидели, отдыхая.

Степенный Левон Черепковский остался в красном углу за столом. Он курил, разговаривая с мужиками. В избу набилось много народу послушать солдатские рассказы.

А курносый Табаков пристроился со своим видавшим виды телячьим ранцем у окна, возле двери. Он приводил в порядок солдатское имущество. Около него теснились женщины и девушки — невестки и дочери старосты.

У стола шел серьезный разговор — Черепковский рассказывал о французах:

— Ихний солдат, ничего не скажешь, храбер. Под пулями стоит смело, на картечь и ядра идет хоть бы что. И стреляет справно.

— Смотри ты, — покачал головой староста.

— А на штыки — слаб. Колет он не по-нашему, зря: торкает тебя в ногу или в руку, а то кинет ружье и схватит за грудки. И зубами рвет!

— Ах, паскуда!

— Волчья стать! — не выдержали слушавшие.

— Только храбер-храбер, да против нас не выстоит: нежен, душа хлипкая, известно — пан...

А Табаков в это время вел более веселый разговор.

— И что у тебя, служивый, тута? — спросила старостиха, наклонясь над ранцем.

— В ранце, маменька, у солдата вся хозяйства, окромя сохи да жены, детей да бороны. Шильце-мыльце, белое белильце. Гребень, да щетка, да старая подметка. Воск да кресало, а денежек мало... — весело сказал обычную солдатскую присказку Табаков, вынимая из ранца полотенце с петухами. — Знаете, желанненькие, солдат, как придет куда на постой, допреж всего развешивает казенную амуницию. Вот попал солдат в ад. Набил в стену колышков, развесил свою сбрую, закурил трубочку, сидит, поплевывает и кричит на чертей: «Не подходи близко, аль не видите — казенная амуниция висит!» Нагнал на чертей страху. Не знают бесенята, что и делать, как от солдата отвязаться. И пришла их набольшему

мысль забить в барабан. Солдат как услыхал «В поход!», так в минуту собрал амуницию и ну бежать из пекла...

Бабы и девки смеялись.

Черепковский сидел без дела недолго — выкурил трубочку и встал:

— Спасибо, хозяин, за хлеб-соль. А теперь пойдем посмотрим, сколько у нас людей и какая у них оружия. Что у тебя, Савелий, так весело? — спросил он, проходя мимо Табакова.

— Да вот, брат, у нас с хозяюшкой торг идет: тетеньке больно солдатский ранец пондравился. Она дает за него дочку да квочку. А я прошу еще коровку в придачу! — скороговоркой ответил Табаков.

— Бросай свой ранец, пойдем посмотрим, сколько у нас воинов.

Табаков быстро складывал свое разложенное на лавке имущество в ранец, говоря:

— Да ладно, я не в него, — кивнул он на уходившего с мужиками из избы Черепковского. — Вот поношу ранец еще годочков тридцать — даром отдам!.. Надо идтить ваших мужиков учить!

— Велика ли солдатская наука? — лукаво усмехнулась старшая старостихина дочка.

— Говоришь, невелика? — встал Табаков. — А ну-ка скажи, где свету конец?

Девушка молчала, улыбаясь.

— В темной горнице, — там свету конец! — выпалил Табаков и, подмигнув девушке, вышел из избы.

— Веселый, ловкий солдат! — говорили девки.

— А тот, носатый, настоящий командёр: строг, не улыбнется, — оценивали бабы.

V

Черепковский собрал на улице всех партизан, чтобы посмотреть, какой отряд будет под его началом.

Когда стали строиться в одну шеренгу молодые и старые, бабы украдкой начали утирать слезы, словно их мужья и сыновья уже собрались на ратный бой. А девушки прыскали в кулак: им было потешно смотреть, как их отцы и дяди выстраивались, точно солдаты.

— Груня, глянь, глянь — дядя Софрон бегит! — смеялись они, показывая на спешившего к строю хромого мужика.

— У нас всякой сгодится, — сказал стоявший в сторонке среди баб Савелий Табаков. — В настоящую армию не берут не только лысых и косых, но даже разноглазых — у кого, скажем, один глаз серый, а другой карий. А мы не привередливы, всех возьмем.

— Это почему же не берут? — спросила с усмешкой молодая вдовушка.

— А из-за красы, милушка. Солдат должон быть как картинка, как орел. Чтоб молодки любили. Недаром поется: «Солдатушки во поход, у молодки сердце мрет...»

— А ну тебя, — лукаво отмахнулась от Табакова вдовушка. — У тебя, как говорится, мыши жернов проели! Одно слово — бахарь!

— Не веришь? Глянь-кось на меня аль хоть на мово дружка, — кивнул Табаков на высокого носатого Черепковского, важно ходившего вдоль шеренги. — Чем не красавец?

Девчата еще больше зашлись от смеха.

А Черепковский, не подозревая, что говорят о нем, серьезно осматривал отряд и его вооружение. Команда оказалась большая, да оружия — никакого: топоры, косы, вилы. Ружье нашлось одно — у кузнеца.

Черепковский велел убрать бревна, которыми была завалена улица: пока настоящего оружия не добыли, придется бороться при помощи хитрости. Днем мальчишки караулили на высоких березах, а ночью Черепковский высылал двух-трех парней в дозор к большаку. У Старостиной избы висел колокол: сзывать народ на случай тревоги.

Обучать мужиков Черепковский мог только штыковому делу. Он поставил ржаной сноп и приказал каждому колоть сноп вилами, как учили когда-то его самого работать штыком:

— Коли в грудь, как в репу!

На следующий день прошел слух, что наша армия отступила к Москве.

Мужики помрачнели.

— Неужто Аполиён все заберет? — спрашивали они у солдат.

— Подавится! — уверенно отвечал Левон.

Ближайшие деревни тоже готовились сопротивляться врагу, не допускать к себе фуражиров, бить врага поодиночке где только можно.

В соседнем селе взялся командовать мужиками семидесятилетний отставной суворовский капитан.

Во всех деревнях зарывали в землю зерно, а скот держали в лесу.

Незваных гостей ждали каждую минуту.

И наконец дождались.

На третий день, около полудня, с дороги прибежали возбужденные мальчики и, перебивая друг друга, радостно, как будто сообщали приятную весть, сказали, что с большака едут верховые с подводами.

Ударили в колокол.

Деревня встревожилась. Бабы с плачем бежали к лесу, унося с собой малых ребят. Мужики со своим оружием быстро собрались у старостиной избы.

Как было заранее условлено, Черепковский уводил партизан в лес, а староста оставался со стариками в деревне — принимать непрошеных гостей, угощать, занимать их.

Левон отрядил Табакова на дорогу высмотреть по-за кустами, кто пожаловал и сколько.

Уже у околицы Табаков встретил запыхавшегося, красного Петьку, который караулил на березе. Шустрый Петька успел-таки скатиться с дерева и примчаться домой раньше французов.

— Девятеро... все в зеленом... на них шапки с хвостами... А один с высокой такой... в синем... и пика... и три телеги... — задыхаясь, выпалил Петька.

Стало все ясно: фуражиры-драгуны и польский улан-переводчик.

«У драгун ружья и палаши, у улана пика и сабля... Эх, хорошо бы заполучить девять ружей и девять палашей, саблю да еще пику!» — подсчитывал в уме Табаков.

Он отправил Петьку проследить, что будут делать дальше драгуны, а сам пошел к Левону и партизанам, засевшим в кустах на опушке леса.

— Десять человек. На каждого из них у нас, почитай, по пяти человек. Да вот у них девять ружей, а у нас — одно! — зашептал дружку Табаков.

— Ничего, Савка, справимся! — ответил спокойный Левон.

Минут через пять прибежал Петька с новым известием. Драгуны, увидав на лугу стога сена, повернули к ним. Шестеро спешились, оставив оружие при телегах, стали накладывать сено: трое влезли на стога, а трое остались внизу. Один верховой ездит по лугу, сторожит. А двое драгун и улан направились в деревню.

— Угощаться! — сказал Черепковский. — Ну, мы их «угостим»!

Он поручил Табакову и трем партизанам идти в деревню и постараться захватить коней улана и драгун, а сам повел остальных к лугу.

— Как я свалю из ружья того верхового, бросайтесь с криками «ура» на троих, что внизу, — приказал он. — А трое на стогах никуда от нас не уйдут. Только бы ружье не подвело! Эх, если бы сюда мое, пристрелянное, привычное!.. — беспокоился Левон, устраиваясь поудобнее в кустах.

Драгуны, не чуя опасности, накладывали сено, весело переговаривались. До верхового было шагов не более сорока.

Черепковский подождал, когда верховой остановился, прицелился в зеленый мундир и нажал собачку. Раздался сильный выстрел — кузнец не пожалел пороха, заряжал ружье пулей, как на волка. Драгун свалился замертво с коня. Мужики бросились со всех сторон на драгун, которые не успели схватиться за оружие.

В минуту все было кончено.

Партизаны быстро разобрали оружие убитых врагов. Наконец у Черепковского оказалось в руках настоящее добротное ружье и целый патронташ с патронами. Теперь можно воевать!

Левон знал, что улан и драгуны услышат выстрел и шум на лугу, встревожатся и бросятся из деревни, поэтому Черепковский

крикнул тем, у кого оказались ружья, бежать с ним к деревне, чтобы не выпустить живым ни одного врага.

Но в деревне справились с «гостями» без них.

Услышав выстрел и крики, мальчишки ловко угнали французских коней, а Табаков с парнями ворвался в избу.

Улан и два драгуна сидели за столом у старосты — угощались вовсю. Они беспечно оставили при себе только холодное оружие — драгунские ружья лежали на лавке, у порога. Табаков и партизаны накинулись на драгун и улана и прикончили их тут же, в избе.

Победа была полная.

Со стороны партизан потерь не оказалось. Только один из драгун успел схватить со стола медную кружку и разбил Табакову переносье. Глаз у Савелия сразу подпух.

— Вот, Левон, теперь не только у тебя глаз подбитый, — смеялся неунывающий Табаков. — А молодцы мужики, храбро работали!

— Мужик на все сгодится: и землю пахать и врага стреблять! — удовлетворенно говорил Черепковский.

Начиналась новая, партизанская жизнь.

Глава седьмая

ФИЛИ

> Незавидна в подобные дни судьба главнокомандующего, к тому же обязанного скрывать под личиною бесстрастия все в душе его происходящее!
>
> Кутузов между Бородином и Москвою должен был выстрадать века целые.
>
> *П. Граббе*

> Офицеру и солдату воспрещается говорить то, что может устрашить товарищей.
>
> *Наставление пехотным офицерам в день сражения*

I

Отступая от Бородина, Кутузов понимал, что ввиду больших потерь вряд ли можно будет дать еще одно сражение под Москвой и что, желая сохранить армию, придется, по всей вероятности, оставить столицу. Но в своих печальных выводах он не мог признаться никому — ни один русский человек не примирился бы с этим. Если бы узнали, что Кутузов собирается отдать Первопрестольную, его сочли бы худшим предателем и изменником, чем

считали Барклая. Кутузов был вынужден скрывать до поры до времени свои мысли и делал вид, что намерен отстоять Москву. Поэтому он поручил Беннигсену найти подходящую позицию для сражения, а сам продолжал отходить на восток.

Генерал Милорадович, которого Кутузов назначил командовать арьергардом, сдерживал французов, рвавшихся к Москве.

Французам мерещились в ней все чудеса сказочного Востока. В их представлении где-то там, за Москвой, в десятке — пусть тяжелых, но преодолимых для «великой армии» — переходов, лежит таинственная, утопающая в золоте Индия. Страна залитых солнцем, благоухающих невиданными цветами долин, страна красивых, стройных и знойных женщин, страна блаженства и сладостных утех.

Как ни задерживал Милорадович наседавшего врага, но оторваться от него не мог: французы шли следом.

На пятый день отхода войска увидали башни древнего Кремля и золотые маковки «сорока сороков» московских церквей. Армия подходила к Дорогомиловской заставе.

Беннигсен решил именно здесь дать последний бой. По его планам правый фланг армии должен был примыкать к изгибу реки Москва впереди Филей, центр — находиться между селами Волынское и Троицкое, а левый — стоять на Воробьевых горах. Опытный военачальник, Беннигсен не мог не видеть слабостей избранной позиции, но считал, что другого выхода нет.

В воскресенье 1 сентября Кутузов, опередив подходившую к Москве армию, подъехал со своим штабом и свитой к Поклонной горе.

Утро выдалось ясное. Москва, белокаменная, златоверхая, пестрая, расцвеченная яркими осенними красками садов и бульваров, широко разбросалась внизу. В воздухе безмятежно летала тонкая паутинка бабьего лета и плыл колокольный звон: благовестили к утрене. Трудно было представить, что всей этой красоте и всему покою может угрожать что-либо.

Ополченцы, сняв серые кафтаны и шапки с крестами, усердно рыли на горе окопы. На виду Москвы они работали старательнее, да и шанцевого инструмента здесь было, по-видимому, больше, чем под Бородином.

Первый, кого увидал Михаил Илларионович, когда вылез из коляски, был желтый, с ввалившимися глазами, похудевший Барклай — после Бородина его мучила лихорадка. Три дня Барклай лежал в коляске, укрытый шинелью, а сегодня, превозмогая слабость, сел на коня и проехал всю позицию, выбранную Беннигсеном. Когда Барклай осмотрел позицию, пот еще сильнее прошиб его: позиция не годилась никуда.

— Нужно немедленно предупредить Кутузова, — сказал адъютанту Барклай и пришпорил коня.

Он поскакал к правому флангу, зная, что туда должен был направиться из Мамоновой главнокомандующий. У Троицкого Барклай неожиданно встретил ехавшего в дрожках сухопарого Беннигсена.

— Вы решили вырыть здесь могилу для всей армии? — спросил по-немецки Барклай.

Выдержанный, спокойный, он дрожал не столько от лихорадки, сколько от негодования.

— Почему вы так думаете? Эта позиция ничуть не хуже той, какую вы избрали в Царево-Займище, — ответил задетый за живое Беннигсен.

— Разве вы не видите, что вся позиция пересечена оврагами? Левый фланг отрезан от центра рекой Сетунь, — возражал Барклай.

— Я посмотрю. Я сейчас еду на левый фланг! — сказал надменно Беннигсен и, дотронувшись до спины кучера пальцами в белой перчатке, сказал, как он думал, по-русски: — Пшёль!

Коляска Беннигсена умчалась, но не к левому флангу, а к Москве. И теперь, увидев на Поклонной горе Кутузова, Барклай с жаром заговорил:

— Ваше сиятельство, позиция, которую изволил выбрать генерал Беннигсен, не годится никуда. Это могила для армии!

Кутузов не глядя знал, что никакой позиции у самых стен Москвы быть не могло.

А Барклай нетерпеливо продолжал:

— Смотрите, пожалуйста!

И он вынул из-за обшлага мундира листок с набросанными карандашом кроками.

— Вот овраги и река. Центр разобщен от левого фланга. Позади — река. Мостов на реке восемь, но спуски к ним так круты, что уйти сможет только пехота!

— Да, вы правы, Михаил Богданович: это гибель, — ответил Кутузов.

Он стоял, в задумчивости глядя вдаль на дорогу, по которой в пыли двигались к Москве полки.

Генералы, окружавшие главнокомандующего, молчали.

— Карл, как ты думаешь? — спросил у Толя Кутузов.

— Я никогда не предложил бы такой позиции», ваше сиятельство!

— А как находите вы, Алексей Петрович? — посмотрел Кутузов на Ермолова.

— С первого взгляда трудно оценить местность, ваше сиятельство, если на ней надо располагать семьдесят тысяч человек. Русская армия не удержится на ней! — горячо ответил Ермолов, тряхнув своей львиной головой.

Кутузов взял Ермолова за руку, делая вид, что щупает пульс:

— А ты здоров ли, голубчик? Русская армия не удержится? Удержится! — Он сделал паузу и сказал: — Поезжайте-ка с Толем, еще раз хорошенько осмотрите! — И направился к скамейке, которую вестовой уже приготовил для него.

Но посидел Михаил Илларионович немного: он тотчас же поднялся и стал ходить по холму. Заметно было, что сегодня Кутузов волнуется больше, чем накануне Бородина.

Генералы и штаб-офицеры разговаривали вполголоса. Одни настаивали на том, что сражение надо дать во что бы то ни стало, другие указывали на полную непригодность позиции:

— В каком-нибудь ином месте вы бы даже не взглянули на этакую позицию!

— А что же, сдавать Первопрестольную без боя?

— Никому и в голову не пришло бы, что на этих оврагах можно дать бой!

— А нет ли средства как-либо улучшить ее? У нас ведь много артиллерии!

— Это позиция нам велика — мы на ней потеряемся. Не по Сеньке шапка!

Гремя бубенцами, к Поклонной горе подкатила щегольская тройка. Из коляски стремительно выскочил большеголовый, чем-то напоминавший Павла I Ростопчин. Пожимая одним генералам руки, другим только кивая головой, «сумасшедший Федька» подбежал к Кутузову. И сразу же быстро-быстро заговорил, вращая своими неспокойными с-сумасшедшинкой глазами.

Кутузов молча слушал его и кивал головой, — видимо, соглашался с доводами московского главнокомандующего. Потом, приложив руку к сердцу, что-то сказал сам. Ростопчин отскочил от Кутузова, вполне удовлетворенный беседой. Он присоединился к группе старших генералов — Багговуту, Коновницыну, Вистицкому, Мишо, стоявших поодаль с принцем Евгением Вюртембергским.

Ростопчин тотчас же завладел разговором, сел на своего любимого конька: стал хвастать «афишами», которые он выпускал для народа. Ростопчин всерьез считал себя писателем и весьма остроумным, оригинальным человеком.

Как всякий барин, знавший мужика только по лакейской, он был убежден, что, усвоив два-три просторечных слова, вполне постиг психологию и язык народа.

— Я вчера написал народу вот что. — И Ростопчин прочел на память две фразы, над которыми промучился целое утро:

«Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев, станем и мы из них дух искоренять и етих гостей к черту отправлять; я

приеду назад к обеду, и примемся за дело, отделаем, доделаем и злодеев отделаем!»

— Что, право, недурно? Особенно вот это:

Я приеду
назад к обеду... —

словно скандируя стихи, сказал он, —

И примемся
за дело,
отделаем,
доделаем
и злодеев отделаем!

Ростопчин смотрел на всех с победоносным видом: какой талант! какое острословие!

Он был глубоко убежден, что это очень доходчиво, очень ловко написано. Поразив всех своей новой «афишей», Ростопчин откланялся и побежал к тройке «доделывать».

— Когда я, будучи поручиком, служил в Днепровском пехотном полку, у нас командиром был Зуев. Он изложил в таких же стихах всю географию России. У него было: «Вот лежит город Псков, который славится множеством снетков. И древний город Смоленск, в нем улицы узки, но делают сахарные закуски»! — колыхаясь от смеха, сказал толстый Багговут.

Генералы улыбались.

Толь и Ермолов, поехавшие к левому флангу напрямки по полям и оврагам, вернулись с разведки очень быстро.

Их мнение было все то же: позиция с очень большими недостатками.

— При отходе нельзя ли отступить на Калужскую дорогу? — спросил Кутузов.

— Неприятель, атакуя, сблизится с ней и не позволит нам идти по Калужской, — ответил Толь.

Кутузов в тяжелом раздумье сел на скамейку.

Московские колокола уже отзвонили, теперь слышны были иные звуки: пушечные выстрелы со стороны Мамоновой — враг приближался.

К сидевшему в глубокой задумчивости Кутузову подошел принц Евгений Вюртембергский. Наклонившись к главнокомандующему, он сказал по-французски:

— Пора, Михаил Илларионович, принимать какое-либо решение!

Кутузов внутренне улыбнулся: решение было принято давно, еще после Бородина. Надо было только умело, тонко и вовремя преподнести его.

— Да, положиться мне не на кого! Худо ли, хорошо ли, а придется решать самому! — сказал он, вставая.

Главнокомандующий подозвал Кайсарова и приказал известить всех корпусных командиров, что в четыре часа пополудни он приглашает их к себе на военный совет. Отдав приказание, Михаил Илларионович, не глядя ни на кого, пошел к своей коляске.

II

Военный совет продолжался долго. Неописанно было наше любопытство узнать об его решении.

А. Михайловский-Данилевский

Еще было только три часа пополудни, а уже к почерневшему от старости, скособоченному, с дырявой крышей домику вдовы, тети Фени Ивановой, собралось десятка полтора штабных офицеров. Напротив, через улицу, желтела свежими бревнами новенькая, аккуратно, «под гребенку», крытая соломой изба Фроловых.

У тети Фени квартирьеры не поставили даже денщиков, а у Фроловых разместился сам светлейший князь Кутузов, и у крыльца стояли двое часовых-преображенцев.

Только одни штабные знали о том, что в четыре часа у главнокомандующего будет военный совет, а то бы к этой избе, стоявшей шестой от Поклонной горы, пожалуй, потянулся бы весь офицерский корпус армии. На военном совете должна была решиться судьба Москвы: будет ли бой или отдадут Первопрестольную ни за понюшку табаку.

Офицеры терпеливо ждали. Кто сидел на завалинке, кто примостился на толстой дубовой колоде, валявшейся у изгороди, кто ходил по маленькому пустому вдовьему дворику и курил. Все завидовали князю Кудашеву и полковнику Резвому, которые оставались в сенях фроловской избы. Присутствовать на совете они, разумеется, не смогут, но слышать будут все. При светлейшем оставался лишь «мальчик-пай» — Паисий Кайсаров, считавшийся дежурным генералом.

Первым к главнокомандующему явился аккуратный Барклай-де-Толли. На нем была теплая шинель. И приехал Барклай не верхом, а в коляске, потому что лихорадка все еще не выпускала бедного генерала из своих когтей.

Почти одновременно с ним прикатили Дохтуров и Остерман-Толстой.

— Алеша плывет!

— Вот это детина!

— Ермолай-богатырь!

— Лев!

— Лев с хитрецой лисицы! — судачили офицеры, увидев идущего к дому Фроловых громадного, представительного Ермолова: он стоял здесь же, в Филях.

После Ермолова прискакал Коновницын.

— Как же это наш Петя расстался со своим колпаком? — шутили офицеры, глядя на парадно одетого Коновницына. Простецкий Коновницын при всяком удобном случае любил ходить без мундира и обязательно в колпаке.

С дрожек слез, улыбаясь офицерам, толстый, добродушный Багговут.

На прекрасном вороном жеребце примчался Уваров.

Двор Фроловых наполнялся экипажами, верховыми лошадьми и вестовыми.

— Кого же еще нет?

— Беннигсена и Милорадовича.

— Милорадович вряд ли будет: он ведь в арьергарде.

— А Беннигсен любит, чтоб его поджидали!

— Беннигсен не торопится: он отдыхает после обеда.

— А вот еще Толь летит!

— Карлуша вечно торопится.

— Он, должно быть, не успел проделать за день сотую версту — нагоняет!

— А Раевский не приезжал?

— Не видно было.

— Раевский тоже на передовой.

Офицеры не спускали глаз с дома Фроловых. Сквозь его три окна, выходивших на улицу, была видна вся изба. Печь, возле которой стояла походная кровать главнокомандующего, толстые дубовые лавки вокруг стен и такой же добротный дубовый стол в красном углу. Он, как скатертью, был покрыт картой.

Главнокомандующий сидел на лавке под образами. Генералы рассаживались по обеим сторонам стола. Барклай протиснулся в самый угол и сидел сжавшись, кутаясь в накинутую на плечи теплую шинель, — видимо, начинался приступ лихорадки, и он не мог согреться.

А время летело. Давно уже минуло четыре. После назначенного срока прошло полчаса, еще двадцать минут.

На улице нетерпение нарастало, трубки курились быстрее обычного. А каково же было ждать там, в избе?

Офицеры увидели, как главнокомандующий стал ходить из угла в угол — явно нервничал.

— Недоволен старик!

— Будешь недоволен!

— Семеро одного не ждут...
— А тут не семеро, а все десятеро ждут.
— Да нас еще вон сколько!
— Полнейшее хамство! Безобразие — заставлять ждать!
— Ну и Беннигсен, я вам доложу: скотина!
— Это как в виршах: «Тьфу, как счастлив тот, кто скот»?
— Именно!
— Первостатейный скот!
— Ты разве не знал?
— А ждать-то эту скотину придется!
— Светлейший посылает за ним!

Из дома выбежал бывший в ординарцах у Кутузова двадцатилетний штаб-ротмистр конногвардеец Саша Голицын.

— Сашенька, куда? — закричали ему товарищи, когда Голицын выводил со двора своего коня.

— За «колбасой»?

— Да, за Беннигсеном! — крикнул Саша и умчался.

Томительно тянулось время.

Уже было половина шестого. Стало темнеть. В избе у главнокомандующего Ничипор зажег свечи.

Видно было, как трясется от озноба лысина бедного Барклая. Дохтуров, Остерман и Ермолов склонились над картой, что-то обсуждали, обращаясь к Кутузову, который стоял тут же.

Коновницын, заядлый курильщик, вышел на крыльцо выкурить трубочку. За ним вылез из-за стола курчавый Уваров. Он был неплохой рубака, но тактика и стратегия вгоняли его в сон.

Ждать во дворе стало очень неуютно. Офицеры проклинали Беннигсена, задерживавшего всех.

Наконец послышался дробный топот копыт: мчался назад Саша Голицын.

— Сашенька! Саша! — кричали ему товарищи. — Где нашел немца?

— Сидел у себя, попивая кофе! Едет! — придерживая коня, ответил Голицын и, соскочив с седла, побежал докладывать.

Видно было, как Михаил Илларионович пошел и сел в красном углу за стол.

И вот явился-таки долгожданный Беннигсен. Он приехал в новеньких щегольских дрожках. Беннигсен, не торопясь, важно взошел на крыльцо. Еще мгновение — и его длинная фигура замелькала в окнах избы Фроловых. Беннигсен сел на лавку, на противоположном конце от Кутузова. Точно противостоял ему.

Все генералы обернулись к главнокомандующему. Кутузов открыл заседание. Что-то говорил.

Так хотелось бы подбежать к окнам и послушать, да нельзя. Придется обождать, когда кончится совет и выйдет Паисий. Он все расскажет.

Паисий Кайсаров не садился, стоял возле главнокомандующего, опираясь плечом о бревенчатую стену.

Уже около часа длился совет, когда послышался лошадиный топот и к дому Фроловых прискакали два всадника. Это был Раевский с ординарцем.

— Николай Николаевич!

— Опоздал!..

Раевский быстро вошел в избу. Вот он подошел к столу и сел с краю, возле Кутузова.

Поговорили еще несколько минут, потом, все видели, главнокомандующий, опираясь о столешницу, встал, что-то коротко сказал и даже хлопнул ладонью по столу, как припечатал.

Генералы поднялись со своих мест и начали расходиться.

— Кончилось!

— Кончилось!

— Что-то решили?

Первым на крыльцо выскочил Беннигсен. Он так торопился, что на ходу набрасывал шинель.

— Спешит. Видно, недоволен!

— Не по его вышло!

— Не по барину говядина! — шептались офицеры.

Один за другим разъезжались генералы. Все были как-то сдержанно-молчаливы.

А в избе главнокомандующий один сидел над картой, подперев обеими руками седую голову.

— Неужели не будет боя?

— Неужели отдадим Москву? — тревожились во дворе.

Все ждали, когда выйдет Кайсаров.

И вот Паисий вышел. Он столько времени терпел без трубки!

— Паша, Пашенька, поди сюда! — закричали офицеры.

Кайсаров спустился с крыльца. Офицеры окружили его плотным кольцом.

— Ну что? Что решили? — спросили сразу несколько человек.

— Решено отступать! — ответил Кайсаров, с удовольствием затягиваясь табаком.

Офицеры были поражены страшной вестью. Хотя все видели, знали, что позиция плоха, но как-то не верилось в отступление, не хотелось сдавать любимую столицу без боя. Разговор на мгновение оборвался.

— Как же так! Отдать Москву без единого выстрела?

— Даже в Смоленске дрались, а здесь не станем! Почему? — возмущались многие.

— А потому, что на такой позиции можно только быть битым, — ответил кто-то.

— Твое мнение мне неинтересно.

— Не спорьте, пусть Паисий Сергеевич расскажет, как было!

— Ну, что рассказывать? Михаил Илларионович открыл совет. «Нам нужно решить, — сказал он, — принять ли сражение под Москвой или отступить?» Михаил Илларионович объяснил всю слабость выбранной позиции: что ее пересекают овраги...

— Знаем, знаем! — перебили Кайсарова офицеры.

— Потом светлейший высказал главную свою мысль: пока будет существовать армия, до тех пор есть надежда успешно окончить войну. Потеряв же армию, мы потеряем все: не только Москву, но и Россию.

— Верно!

— Все спасение в армии! — раздались голоса.

— Вы так говорите потому, что сами из Петербурга! — горячо возражали москвичи.

— Чудак! Да у меня половина родни в Москве!

— Никто не спорит: Москву, разумеется, жалко. Москва — столица, но ведь остается еще Петербург.

— А ну вас с вашим Петербургом!

— Нашли чем тешиться — болото!

— Господа, погодите! Дайте же послушать. Паисий Сергеевич, что было дальше? Кто говорил первым?

— Барклай, — ответил Кайсаров. — Он горячо и убедительно говорил, что наша армия понесла большие потери при Бородине, что мы будем разбиты, что надо отступать. Говорил, как всегда, искренне и правдиво.

— Михаил Богданович без хитрости и лести.

— После Барклая говорил Толь. Он соглашался с Барклаем, что позиция слаба. Предложил занять другую — встать правым крылом к деревне Воробьевой, а левым — к Калужской дороге, где эта деревня, забыл ее название, тоже вроде какая-то птичья... Толь убеждал, что опасно отступать через Москву, когда следом идет такая вражеская армия. Светлейший возразил ему: «Вы боитесь отступать через Москву, а я смотрю на это как на счастье, потому что оно спасет армию. Наполеон — как быстрый поток, который мы не можем остановить. Москва — это губка: она всосет в себя всю армию Наполеона!» Затем встал Ермолов. Он — за сражение! Светлейший, услыхав это, даже поморщился и сказал: «Вы, Алексей Петрович, говорите так потому, что не на вас лежит ответственность!»

— Не выдержал старик!

— Ермолов Кутузова не любит. Только делает вид, что хорош с ним, — вставили сбоку.

— А затем вступил в разговор Беннигсен. Он увидал, что «то сей, то оный набок гнется», и пошел: мол, «стыдно уступать столицу без выстрела! И что скажет Европа!» И пошел, и пошел. Я не понимаю, говорит, почему мы должны быть разбиты? Мы ведь те же самые русские! И будем драться так же храбро, как прежде!

— Это он-то русский?

— До чего противна его игра в патриотизм!

— Нашелся русский из Ганновера! — не удержались, снова перебили Кайсарова офицеры.

— Беннигсен предлагал оставить один корпус на Можайской дороге, — продолжал рассказывать Кайсаров, — а все остальные войска перевести на левое крыло. Тогда Остерман спросил у Беннигсена: «А вы ручаетесь за успех сражения?» Беннигсен только облизнул губы, это у него привычка: если чем-нибудь недоволен, обязательно облизывается. «Слишком большие требования предъявляете, генерал Остерман, — ответил он. — Ручательством в победе должны служить храбрость и искусство генералов!» Тут не выдержал Барклай. Трясется в лихорадке, а говорит Беннигсену: «Ежели вы намеревались действовать наступательно, то следовало бы распорядиться заблаговременно! Утром, когда я говорил с вами, еще было для этого время, а теперь, говорит, уже поздно! Наши войска храбро бьются на месте, но не умеют маневрировать на поле боя!»

— Ох, не любят же они друг друга!

— Еще бы — Беннигсен столько делал пакостей этому порядочному человеку! Вспомни, как он науськивал на Барклая всех этих подленьких вольцогенов!

— Старая хлеб-соль не забывается!

— Постойте, господа, довольно вам! Пусть полковник Кайсаров продолжает!

— Беннигсена тонко поддел Михаил Илларионович. Он, поддержав мнение Барклая, как бы вскользь сказал: «У нас, — говорит, — есть прекрасный пример несвоевременного наступления — сражение при Фридланде». То есть напомнил Беннигсену: «Ты же сам тогда за такие действия был жестоко побит Наполеоном!»

— Ловко он его, вежливо поддел.

— Михаил Илларионович как пчела: в нем и мед и жало!

— Поделом Беннигсену!

— А что говорил Раевский?

— Раевский был за отступление. Он сказал: «Сохранить армию, оставить столицу без боя. Я говорю как солдат, а не дипломат: надо отступать!» И привел какой-то красивый стих: как-то «Россия не в Москве, а среди своих сыновей...»

— Это Озеров.

Россия не в Москве, среди сынов она,
Которых верна грудь любовью к ней полна! —

вспомнил какой-то офицер, любитель русской словесности.

— Вот, вот, этот стих, верно! — виновато улыбнулся Кайсаров.

— Паисий Сергеевич, а кто же кроме Беннигсена был за то, чтобы драться? — спросили из толпы.

— Дохтуров.

— Дмитрий Сергеевич такой!

— Коновницын, — перечислял Кайсаров.

— Петру Петровичу бой — разлюбезное дело!

— И Уваров.

— Уваров? Это он по всегдашней глупости. «Же сир» в военном деле ничего не смыслит, — смеялись в толпе.

— А толстяк Багговут?

— Карл Федорович — за отступление.

— И как же Михаил Илларионович свел все споры и мнения воедино?

— Михаил Илларионович терпеливо выслушал всех, а потом встал и сказал: «Господа, я вижу, что мне придется платиться за все. Я жертвую собой для блага отечества. Как главнокомандующий — приказываю: отступать!» — закончил рассказ Кайсаров.

Толпа на мгновение затихла: снова все почувствовали весь трагизм положения.

— Да, нелегко Михаилу Илларионовичу было решиться на такой шаг! — вырвалось у кого-то.

И все невольно глянули на окна дома Фроловых: Кутузов сидел у стола, все так же обхватив руками свою седую голову.

III

Голова моя была разрозненная библиотека, в которой никто не мог добиться толку.

Ф. Ростопчин
(о себе)

Московский генерал-губернатор, или, как он официально именовался, «главнокомандующий», самоуверенный хвастун и беззастенчивый враль Ростопчин, считал себя неотразимо остроумным человеком и оригинальным писателем. С первых дней войны он стал писать для народа специальные «афишки»: хотел объяснить происходящие события. Этот великосветский барин, дома говоривший только по-французски, писал «афишки» мнимонародным, ерническим языком раешника с плоскими каламбурами и дешевыми рифмами. Не знавший народа, Ростопчин наивно думал, что

своими балаганными зазываниями привлечет к себе внимание москвичей. Дворянство коробили эти просторечные, глупые выверты «афишек», этот «низкий штиль»; кроме того, дворянство хорошо знало цену словам своего взбалмошного главнокомандующего. Простой же народ по малой грамотности вообще не очень читал «афишки», а читавшие их сразу раскусили неискреннюю и неумную затею. И как все время ни старался Ростопчин убедить москвичей в том, что Первопрестольной не угрожает никакая опасность (он писал так, обращаясь к Наполеону: «Не токмо што Ивана Великого, да и Поклонной во сне не увидишь»), но каждый день из Москвы уезжали в разные стороны сотни семейств. Разрешение на выезд Ростопчин давал только господам — дворянству и купечеству. Простой народ негодовал.

В Москве стало очень туго с транспортом. Когда увозили в Казань женские учебные заведения, находившиеся под ведомством вдовствующей императрицы Марии Федоровны, то для «благородных девиц» не оказалось карет; пришлось перевозить институток в простых телегах. Огорченная Мария Федоровна писала почетному опекуну института поэту Нелединскому-Мелецкому:

«...Я уверяю вас, мой добрый Нелединский, что я плакала горючими слезами. Какое зрелище для столицы империи: цвет дворянства вывозится на телегах».

Несмотря на то что даже после Бородинского сражения Ростопчин клялся в «афишке»: «Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет», московские заставы были забиты уезжающими.

Вести о кровопролитном сражении у Бородина, тысячи раненых, привезенных в Москву с поля боя, отход русской армии за Можайск говорили красноречивее, чем все хвастливые разглагольствования самовлюбленного Ростопчина.

А с тех пор как в Москве стала слышна далекая орудийная канонада, волнение и суматоха в городе увеличивались с каждым часом.

К заставам тянулись дормезы, берлины, колымаги, коляски, брички, дрожки, возки, кибитки, телеги, повозки. Модные щегольские кареты катили вместе с дедовскими рыдванами, тощие рабочие клячи тащились впереди прекрасных выездных лошадей.

Глядя на все это, один из старых полицейских чинов сказал:

— Вот оказия! Сколько лет я служу в этой должности, всяко бывало, но такого бегства египетского еще не видывал!

Тревожной была для москвичей эта по-осеннему темным-темная ночь с 1 на 2 сентября.

Полнеба освещали сполохи бивачных костров, а на западе зловеще колыхались зарева горевших сел и деревень.

Во многих домах и дворцах горел свет: москвичи прятали свое добро всякими способами — зарывали в землю, замуровывали в

стены. Теперь собирались уезжать все те наивные люди, которые сначала поверили лживым словам хвастуна и фразера Ростопчина.

По улицам тарахтели подводы, слышались голоса: это увозили раненых; уезжали различные учреждения — полиция, пожарные; вечером Ростопчин получил от Кутузова письмо, в котором сообщалось, что армия оставляет Москву и отходит на Рязанскую дорогу.

Сегодня заставы были открыты для всех.

В третьем часу утра через Дорогомиловскую заставу вступили в Москву первые полки уходящей армии. Солдаты тоже не хотели верить в отступление. Казалось невероятным, что можно без боя отдать древнюю столицу.

— Идем в обход!

— Вот сейчас обойдем Аполиёна! — слышалось кое-где в шеренгах.

— Разуй глаза — аль не видишь, что весь народ, вся Москва с места тронулась? Отдаем Бонапартию святыни русские! — возвращал к действительности чей-нибудь трезвый голос.

А кругом творилось невообразимое. Улицы, переулки, площади — все было забито едущими и идущими москвичами. Сегодня больше уходил из Москвы простой народ: крестьяне, мещане, ремесленники, мелкие торговцы, чиновники последних классов, рядовое духовенство. Гнали овец, свиней, коров. Многие везли на ручных тележках или тащили на себе детей и скарб.

Вот купчиха в парчовом, еще бабушкином шушуне, вон попик, надевший на себя все свое богатство — несколько риз, начиная от черной, заупокойной, до светлой, радостной, пасхальной. В руках у него узелок, из которого выглядывает кропило.

И москвичи не верили в то, что идет враг, надвигаются французы. Хотелось иного, и потому кто-то пустил слух:

— Это шведы, это шведский король идет к нам на помощь.

— Не шведы, а англичане, — поправлял другой.

— Братцы, а в каку сторону двинуться, чтоб не встретить француза? — спрашивали некоторые у солдат. — Куды вы идете?

— Про то ведают командиры, — отвечали нехотя солдаты.

Солдаты шли понурые, не смели поднять глаз на потерянных, потрясенных свалившейся на них бедой москвичей.

Лавки и магазины были закрыты. В иных купцы с подручными спешно укладывались, заколачивали товар в ящики.

— Разбирай, служивые! Пускай лучше свои попользуются, чем достанется французу! — говорил торговец посудой, видя, что ему не увезти свое добро.

Сложив на телегу пожитки, стоял у дома гробовщик. На его товар охотников не находилось.

— Бери, матушка Москва, мое изделие. Дай бог, чтоб твоим гостям оно пригодилось! — говорил гробовщик, снимая картуз и кланяясь на все стороны.

— Не быть добру — недаром сегодня понедельник, — говорили солдаты.

— И — дурак. Понедельник понедельником, это точно, да не мы ведь входим в Москву, а он. Стало быть, ему понедельник боком выйдет!

В переулке слышался шум и гам. Выпущенные из тюрем колодники разбили трактир, кричали, горланили. Им — море по колено.

Солдаты с завистью посматривали на растерзанный кабак, на валяющиеся бочки — вот выпить бы с горя, да нельзя: дисциплина, приказ! Сказано: выйдешь из рядов — «наденут белую рубаху»[1].

Солдаты шли по улицам Москвы пригорюнившись, опустив головы, точно провожали покойника.

IV

В восьмом часу утра Кутузов, не заснувший в эту ночь ни на секунду, помрачневший и особенно молчаливый, подъехал к Дорогомиловской заставе. Сегодня он был верхом, а не в коляске.

— А день-то, день какой, словно летом! — восхищался Кудашев.

День начинался ясный, отменный.

Улицы были загромождены войсками, обозами, пушками. Армия шла в одной колонне, потому что через Москву-реку был один старый деревянный мост. Он в первый же час не выдержал тяжести и подломился. Его спешно чинили. А часть кавалерии и московское ополчение пошли вброд. Кутузов остановился: проехать было невозможно. Уезжавшие и уходившие москвичи сразу узнали светлейшего.

— Батюшка, ваше сиятельство, как же так? Неужто погибла Расея? — протягивала к нему руки какая-то женщина.

— Ежели Москва не устояла, то и Расее не устоять! — мрачно сказал рыжебородый мещанин.

— Седой головой своей ручаюсь: неприятель погибнет в Москве! — убежденно ответил Кутузов.

Народ молчал, думая свое. Один главнокомандующий уже ручался вот так же головой, что не допустит в Москву врага, а теперь другой обещает, клянется...

— Кто из вас хорошо знает Москву? — обернулся Михаил Илларионович к свите.

— Я, ваше сиятельство, — ответил Сашка Голицын.

---

[1] Надеть белую рубаху — расстрелять.

— Проводи меня, голубчик, да так, чтобы побыстрее и где бы поменьше народу! — попросил главнокомандующий.

Как он ни был убежден, что поступает совершенно правильно, но все-таки чувствовал себя неловко. Было стыдно смотреть в глаза не только жителям Москвы, но и солдатам. Полки сегодня встречали главнокомандующего без воодушевления, молча — не так, как всегда. Солдаты не могли понять всего положения, а видели, что Кутузов отдает Белокаменную врагу.

Голицын проехал с Михаилом Илларионовичем от Арбатских ворот вдоль бульваров к Яузскому мосту. Здесь встречные попадались редко.

У Яузского моста была свалка. Бегущие из столицы запрудили улицу, войска не могли из-за них взойти на мост.

У моста Михаил Илларионович увидел знакомую фигуру Ростопчина в треуголке и парадном сюртуке с эполетами. Он колотил нагайкой ремесленников, «рядчиков», крепостных, запрудивших улицу и въезд на мост, колотил тех, кому писал свои «афишки».

«Обещал вести народ на «Три горы» сражаться за Москву, а сам улепетывает», — подумал Кутузов.

Увидев Кутузова, Ростопчин подъехал к нему. Лицо «сумасшедшего Федьки» исказилось злобой и презрительной гримасой.

— Вот плоды ваших тактических и стратегических успехов! — истерически выкрикнул он по-французски.

— Прикажите очистить мост для прохода войск! — по-русски спокойно, но твердо, по-начальнически, сказал Кутузов и глянул на Ростопчина одним зрячим глазом.

Ростопчин, мешая французские и русские проклятия, кинулся к мосту. Нагайка Ростопчина заходила по спинам спасавшихся от врага москвичей пуще прежнего.

Белый спокойный мекленбуржец Кутузова ступил на Яузский мост.

За главнокомандующим двинулись полки.

V

Кто хочет быть с Вами, тому нужно иметь две жизни: одну — свою, другую — в запасе.

Ермолов — Милорадовичу

Командующий арьергардом генерал Милорадович стоял с адъютантами у Поклонной горы, где был его правый фланг. Левый примыкал к Воробьевым горам.

Милорадовичу предстояла труднейшая задача: подольше задержать армию Наполеона, чтобы дать возможность войскам и обозам выйти из Москвы.

Был полдень. Сентябрьское солнце грело совсем по-летнему.

Ординарец, посланный в Москву узнать, как проходят через столицу войска, сказал, что за Дорогомиловской заставой улицы еще забиты артиллерией и обозами.

— Придется завязать дело, или, как написал вчера Ермолов: «Почтить видом сражения древние стены Москвы». Фокусник Алексей Петрович! Ишь какие красоты подпустил. Чистый Макиавелли!

Вчера это ермоловское выражение взорвало Милорадовича. В первую минуту он готов был ехать к Михаилу Илларионовичу и отказаться от командования арьергардом, но потом лег спать, а наутро раздражение улеглось.

— Французы обходят нас, ваше высокопревосходительство. Пока мы будем сражаться, Понятовский раньше нас придет в Москву, — говорил его штабной полковник Потемкин.

— А что будет с нашей артиллерией и обозами? — спросил кто-то из штабных.

Милорадович молчал, щурился, что-то обдумывая.

— Ну, Бог мой! (Это было любимое присловье Милорадовича, вроде как у Суворова — «помилуй Бог!») Дайте мне офицера, свободно говорящего по-французски, — обратился он к своему штабу. — И не рохлю, а бойкого! Кого-нибудь из лейб-гусаров, чтоб понаряднее!

Через минуту к нему лихо подскакал безусый, светлоглазый штаб-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка в своем нарядном красном доломане и ментике с желтыми шнурами. Он имел вид лихого рубаки. Черный кивер был надет набекрень, молодое лицо смотрело с задором.

— Ваше высокопревосходительство, штаб-ротмистр Акинфов по вашему приказанию явился! — доложил он.

— Говорите по-французски? — спросил Милорадович, оглядывая Акинфова.

— С детства, ваше высокопревосходительство!

— Вот вам письмо его сиятельства к маршалу Бертье, — сказал Милорадович, подавая Акинфову большой конверт. — Письмо подписано дежурным генералом Кайсаровым. Мы поручаем великодушному попечению французов девять тысяч раненых и больных, оставшихся в Москве. Передайте это письмо лично неаполитанскому королю. Приветствуйте его величество от моего имени и скажите: если французы хотят занять Москву в неприкосновенном виде, то пусть дадут нам время спокойно пройти через город. В противном случае генерал Милорадович будет драться в Москве за каждый дом, за каждый переулок и оставит вам, скажите, одни развалины! — Милорадович махнул рукой, точно рубил по воздуху.

— Ваше высокопревосходительство, так говорить с французами не годилось бы, — негромко заметил полковник Потемкин.

Милорадович вспыхнул.

— Это мое дело! Ваше дело — умирать, мое — приказывать, как нахожу нужным! — отрезал он и продолжал говорить Акинфову: — Не торопитесь, ротмистр, старайтесь, ну, бог мой, погостить у французов подольше. Не забудьте взять трубача, а то вас подстрелят их ведеты[1]. Вон возьмите трубача у драгун, — оглянулся Милорадович. — Эй, трубач, ко мне!

Трубач Черниговского драгунского полка, усатый унтер, подскочил к командующему.

— Поедешь с их благородием.

— Слушаюсь!

— Так помните, ротмистр: туда — стрелой, оттуда черепахой.

Акинфов поднял коня в галоп и помчался.

Трубач не отставал от штаб-ротмистра.

— Ваше благородие, мы куда? — спросил трубач, видя, что Акинфов направился на запад.

— К французам! — весело ответил Акинфов.

— А куда поедем, ваше благородие?

— К авангарду, конечно.

— К какому — переднему аль заднему?

(Акинфов знал, что солдаты всегда спрашивают так.)

— Разумеется, к переднему! Эй, станичники, не стреляй! Погоди! — крикнул Акинфов казакам, которые лениво перестреливались с французскими постами.

Казаки прекратили перестрелку. К Акинфову подъехал сотник:

— Как далеко собрались?

— Мы едем для переговоров с французами. Прикажите, сотник, своим ребятам не стрелять.

— Хорошо, поезжайте. Час добрый!

Акинфов и трубач поскакали вперед. Французские пули тонко пели вокруг.

Впереди показались зеленые доломаны конных егерей. Часть из них перестреливалась с казаками, а часть занималась более приятным делом: копала на поле картошку.

Звонко запела драгунская труба. Акинфов и трубач стояли и ждали. Конноегеря передавали друг другу о том, что приехали парламентеры.

Через некоторое время к Акинфову подъехал усатый полковник.

---

[1] Ведеты — кавалерийские посты охранения.

— С какими вестями, мой молодой друг? — приветливо спросил француз.

— С письмом от его сиятельства князя Кутузова к неаполитанскому королю.

Услышав слово «Кутузов», полковник просиял:

— Что, мир?

— Все может быть, господин полковник.

— Ну что же, поедем. Его величество вон там, в том замке, — сказал полковник, указывая на группу деревьев, за которыми стоял загородный дом.

«Чей же это загородный дом? — соображал Акинфов. — Свечиных или Тутолминых?»

Они поскакали к «замку». На полях виднелись группы войск. Пять кавалерийских полков стояли эн-ашикье[1].

Акинфов подметил: посадка людей хороша, обмундирование сносное, но кони плохи — худы.

Перед строем кавалерийских полков разъезжал остроносый генерал в темно-коричневом не первой свежести мундире, с непомерно длинными волосами, выбивавшимися из-под выцветшей треуголки. Увидев Акинфова и полковника, генерал поехал им навстречу. Полковник конноегерей снял шляпу, доложил остроносому генералу.

Генерал махнул головой:

— Поезжайте к королю.

— Это генерал Себастиани, — объяснил полковник. Они поскакали дальше.

На поле располагалась пехота.

— Смотрите, господа, русский!

— Предлагают мир?

— Пусть поест нашего супу! — кричали солдаты.

Акинфов еще издали увидал цветистого, яркого Мюрата. Он ехал из «замка» в окружении многочисленной блестящей свиты штабных офицеров, молодых адъютантов, ординарцев. Увидев Акинфова и полковника, Мюрат и его приближенные оживились.

Акинфов, полковник и трубач подскакали к Мюрату и остановились. Акинфов, козыряя, подал неаполитанскому королю пакет.

Мюрат приподнял свою вышитую золотом и украшенную дорогими страусовыми перьями шляпу, коротко приказал свите остаться на месте, а сам отъехал с Акинфовым на несколько шагов в сторону.

Он положил руку, всю унизанную дорогими перстнями, на шею гнедого Акинфова — Баяна.

---

[1] Эн-ашикье — расположение войск для движения в шахматном порядке.

— Что скажете, милый капитан? — улыбаясь белыми зубами, спросил неаполитанский король.

Акинфов передал просьбу Кутузова и слова Милорадовича.

Мюрат вскрыл конверт, прочел.

— Напрасно, мой капитан, поручать раненых нашему великодушию: пленный для француза уже не враг!

— И для русских тоже, ваше величество.

— Вне битвы француз не любит иметь врагов!

Заключить перемирие Мюрат сначала отказался: он вспомнил, как Наполеон корил его за перемирие в 1805 году.

— Не в моей власти остановить движение великой армии. Я должен спросить разрешения у императора, — ответил Мюрат.

— Я готов ждать, ваше величество, когда вы получите ответ, — сказал Акинфов.

Мюрат колебался. С одной стороны, было заманчиво получить такой город неповрежденным, а с другой — немного рискованно: как этот шаг примет Наполеон? Но всегдашняя самонадеянность, заносчивая самоуверенность и наглость одолели.

— Верьте, мой капитан, я так хочу сохранить древний город! Пожалуй, я рискну на следующее: я пойду так медленно, как это угодно генералу Милорадовичу, но с одним условием: Москва будет занята сегодня же, — сказал Мюрат.

— Генерал Милорадович, конечно, будет согласен, — уверил Акинфов.

Мюрат послал адъютанта в передовую цепь сказать, чтоб не шли дальше и прекратили перестрелку.

— Вы хорошо знаете Москву? — спросил у Акинфова Мюрат.

— Я природный москвич.

— Прошу уговорить жителей оставаться спокойно. Мы не только не сделаем им вреда, но не возьмем малейшей контрибуции. Будем заботиться о безопасности. Скажите, где граф Ростопчин?

— Я был постоянно в арьергарде и потому не знаю...

— А где император Александр и великий князь Константин?

«Если я скажу, что они в Петербурге, то вдруг Наполеон пошлет туда Особый корпус?» — подумал Акинфов и сказал:

— Ваше величество, я слишком мал для того, чтобы знать.

— Я уважаю императора Александра и очень дружен с великим князем Константином. Жалею, что вынужден воевать с ними. Скажите, много ли у вас потерь в полку?

— Мы каждый день в деле, ваше величество. Сами знаете: без потерь не обойтись!

Мюрат смотрел вдаль и думал. Он прикидывал в уме: а может быть, шурин-император и не станет сердиться на него, что он задержит движение армии? Ведь так прекрасно было бы войти в совершенно нетронутую Москву!

Всегдашняя непреодолимая жажда риска овладела его пылким гасконским сердцем. Он перестал колебаться.

— Передайте генералу Милорадовичу, что я согласен с его предложением. И только потому, что очень уважаю его! — решительно сказал Мюрат. — Пора, пора мириться! Мы будем заботиться о сохранении мира! — горячо говорил он, думая о своем.

И неаполитанский король, милостиво помахав на прощание штаб-ротмистру рукой, уехал к своим.

Акинфов с французским полковником и трубачом, ожидавшими его поодаль, поехал к аванпостам. Акинфов помнил наказ Милорадовича не торопиться и попросил у полковника разрешения полюбоваться по пути двумя гусарскими полками, выстроенными на лугу.

Полковник, видя, как милостиво говорил с русским офицером король, охотно согласился.

— Это самые любимые полки неаполитанского короля — седьмой и восьмой гусарские, — сказал полковник.

Они проехали шагом мимо пестрых эскадронов. Один полк смахивал на русских изюмцев: доломаны имел красные, ментики — синие, а рейтузы — желтые. Только вальтрап был не синий, а малиновый. Второй напоминал мариупольцев: доломан синий с желтыми шнурами, рейтузы красные, а вальтрап канареечного цвета.

Акинфов похвалил гусар.

Не торопясь, разговаривая о том о сем, они проехали к передовой.

Пули уже не жужжали. Стояла тишина. Конноегеря раскладывали костры и варили картошку, забыв о неприятеле.

Акинфов попрощался с любезным полковником и поехал к своим.

Казаки тоже занимались домашними делами. Они быстро переключились от войны к миру: связывали по четыре пики, подвешивали на них котелок и что-то в нем готовили.

Акинфов поехал к сотнику. Сотник лежал на бурке под кустом, покуривая.

— Ну как, договорились? — спросил он, приподнимаясь.

— Все в порядке, сотник. Французы не станут теснить нас. Пойдут так, как пойдем мы! — ответил Акинфов и поскакал к Милорадовичу.

Милорадовича у Поклонной горы он не застал: артиллерия и пехота арьергарда уже вступили в Москву, и туда же уехал Михаил Андреевич.

Акинфов ехал по взбудораженным, переполненным повозками, телегами и каретами московским улицам.

Настоящее столпотворение вавилонское!

Акинфов догнал Милорадовича у самого Кремля.

Он докладывал генералу об успешном выполнении такой деликатной миссии, когда впереди, среди этих проклятий, стенаний и полного уныния, они услышали веселую музыку.

— Какой подлец вздумал в такую минуту играть марш? — вскипел Милорадович и пришпорил коня.

Из Кремлевских ворот выходил с музыкой гарнизонный полк. Впереди него ехал верхом, с важным и совершенно непечальным видом генерал.

— Какая каналья приказала вам оставлять столицу с музыкой? — закричал Милорадович, подлетая к генералу.

— Ваше высокопревосходительство, в регламенте Петра Великого сказано: если по сдаче крепости гарнизон получает дозволение выступить свободно, то покидает оную крепость с музыкой, — ответил педантичный и не очень умный командующий гарнизоном.

— А в регламенте Петра Великого сказано, что надо сдавать Москву? — кричал вне себя от ярости Милорадович. — Замолчать! — замахнулся он на музыкантов нагайкой.

Музыка оборвалась на полутакте. Незадачливый законник-генерал был сконфужен, а музыканты повеселели: им было противно играть веселые мотивы, когда кругом такое горе.

Отдышавшись, Милорадович обернулся к Акинфову:

— Видно, французам очень хочется получить Москву. И если Мюрат сам заговорил о мире, то он, я думаю, пойдет на это... Поезжайте снова к неаполитанскому королю и предложите ему заключить перемирие до утра, часов так до семи, чтобы дать время выйти из города всем обозам и отсталым. Пригрозите: иначе будем обороняться в городе!

Акинфов застал казаков с тем же сотником у Дорогомиловской заставы.

Мюрат уже вертелся среди них, как свой брат. Казаки льстиво называли его «гетман», а он, польщенный, раздаривал им не только свои часы, но и часы адъютантов и выменял у сотника за золотую табакерку его серую казачью бурку, которую уже и накинул на свой попугайский наряд.

Мюрат был горд, он цвел от казачьего почтения, принимая все всерьез. Увидев Акинфова, неаполитанский король улыбнулся ему как старому приятелю.

— Ну что еще, мой молодой друг? — спросил он.

Акинфов передал новое предложение Милорадовича о перемирии.

— Хорошо, хорошо! — сразу же согласился Мюрат.

Он с вожделением смотрел на блестевшие на солнце вдали купола и башни Москвы — у Дорогомиловской заставы любоваться было нечем.

— Но только с таким условием, чтобы обозы, не принадлежащие армии, были оставлены в Москве! — сказал Мюрат.

Акинфов поспешил согласиться.

Был шестой час пополудни. Из Москвы уже успела выйти большая часть арьергарда. В версте от Коломенской заставы, на левом фланге Милорадовича, появились два полка улан — польский и прусский. Они двигались наперерез Рязанской дороге, по которой отходили русская армия и бесконечные толпы москвичей.

Милорадович послал Акинфова разыскать Мюрата, чтобы он приостановил движение улан, но на этот раз штаб-ротмистр что-то замешкался. Если бы арьергард и успел уйти, то не успели бы выехать обозы, еще двигавшиеся по запруженным тесным улицам.

Тогда нетерпеливый Милорадович поскакал сам к польским уланам. Те с удивлением смотрели на отчаянного русского генерала.

— Кто командует вами? — строго спросил Милорадович, подлетая к полякам.

— Генерал Себастиани, — ответил польский полковник.

— Где он?

— В той стороне, — показал нагайкой поляк.

Милорадович помчался туда.

— Почему не взять этого пана генерала в плен? — спросил у полковника майор.

— Возьмешь его, а потом, пане Касперский, не возрадуешься, — ответил полковник. — Это генерал Милорадович. Он запанибрата с Мюратом.

— Два сапога — пара, — прибавил, усмехаясь, майор.

— Вот то-то. А конь у него ладный.

Себастиани стоял у дома: пил воду, которую ему подавала какая-то старушка. Он издалека узнал Милорадовича — Себастиани встречался с ним в Бухаресте.

— Добрый день, дорогой Милорадович, — приветствовал Себастиани.

— В Бухаресте было лучшее время, генерал! — весело ответил Милорадович, пожимая руку Себастиани. — И пили мы не воду, а вино... Но вы, мой милый генерал, поступаете вопреки праву: я условился с неаполитанским королем о том, что мой арьергард будет свободно выходить из города, а ваши уланы уже перерезали дорогу.

— Простите, генерал Милорадович, но я не получил никаких указаний от короля! — пожал плечами Себастиани.

— Вы не верите слову русского генерала? — возмутился Милорадович, вытаращив свои голубые глаза.

— Нет, я верю, верю! Тысячу раз верю вам, мой милый Милорадович! — ответил Себастиани и приказал уланам расположиться параллельно Рязанской дороге.

Неряшливый Себастиани и нарядный Милорадович поехали к дороге. Они стояли рядом и смотрели на то, как из Москвы проходят обозы.

Мимо них, нахлестывая лошаденок, с испугом оглядываясь на врагов, улепетывали ни живы ни мертвы москвичи. На одной телеге среди вороха узлов сидела миловидная девушка. Она без особого страха и смущения смотрела на польских улан, горделиво подкручивавших усы, посылавших по ее адресу кокетливые улыбки и циничные замечания (которых девушка, к счастью, не понимала).

— Признайтесь, генерал, что мы, французы, предобрые люди, — сказал, улыбаясь, Себастиани. — Ведь это не относится к армии. Все это могло бы быть наше!

— Ошибаетесь! — гордо ответил Милорадович, выпячивая грудь. — Вы не взяли бы этого иначе как перешагнув через мой труп! А сто тысяч, которые там, — указал он куда-то на восток, — жестоко отомстили бы за мою смерть!

Себастиани улыбался — он не возражал: перед ним лежала Москва с дворцами и несметными богатствами, по сравнению с которыми этот нищенский обоз с миловидной мещаночкой был ничто.

VI

У Коломенской заставы, близ старообрядческого кладбища, Кутузов слез с коня и сел на скамейку.

Подперев голову рукой, Михаил Илларионович в тяжелом раздумье смотрел на оставляемую и уходящую Москву.

Уходившие москвичи шли по полям: дорогу заняла отступающая армия. Над дорогой, над полями висели густые облака пыли, в которых померкло близившееся к закату, ставшее каким-то красным шаром, прежде яркое, радостное солнце.

Войска, выйдя из столицы, становились тут же на привал. Сегодня в полках не было слышно ни песен, ни шуток.

Полки шли молчаливые, понурые.

Зато в беспрерывном людском потоке, в разношерстной толпе москвичей, бросивших насиженные московские углы, говорили больше, чем следовало бы.

Плакали дети, причитали бабы, сокрушались мужики:

— И что с нами будет?

— Куда идем?

Выбираясь из Москвы среди войск и жителей, сбившихся в тесных улочках в одно стадо, Михаил Илларионович слушал, как доставалось и ему:

— Куда он нас завел?

— У, кривой черт!

— Что он, в полном ли уме? — честили Кутузова.

Если бы главнокомандующий был не русским человеком, ему бы, конечно, не сносить головы.

О Барклае и его отступлениях уже как-то забыли. Барклай верхом на коне стоял у Яузской заставы, сам командуя отходившими полками первой армии, наводил порядок.

Он говорил, как умел, по-русски:

— Бистрей, бистрей!

И никто уже не ругал его: москвичи не знали в лицо Барклая. А что коверкает русский язык — так мало ли у нас в армии немцев?! А войска, после того как увидали Барклая в Бородинском бою, когда он бросался в самые жаркие места боя и под ним убило пять лошадей (слухи о его геройстве уже шли разные: говорили, что не пять лошадей, а семь, что Барклай сам отбился от четырех французских драгун), — увидели его бесстрашие и самопожертвование и забыли старые подозрения.

Михаила Илларионовича не очень беспокоило то, что москвичи поругивают его: милые бранятся — только тешатся.

Главнокомандующий тревожился за арьергард Милорадовича: город большой, французы могли входить с разных застав, и не захватили бы они обозы и артиллерию арьергарда, который двигался от Дорогомиловской заставы.

Слать гонца к Милорадовичу Кутузов не мог: из Москвы через все заставы, как весенний поток, хлынул народ, и попасть в Москву было трудно. Наконец показался адъютант Милорадовича, гусарский ротмистр.

— Ну что, голубчик? — поднял голову Кутузов.

— Арьергард будет драться, ваше сиятельство!

— Так, так! — одобрительно кивал головой главнокомандующий, хотя думал обратное: некстати вступать в бой, еще не вышли все обозы и войска.

Но не успел гусарский ротмистр замешаться в людскую лавину, катившуюся из Москвы, как к главнокомандующему подскакал второй адъютант Милорадовича, черниговский драгун, с более приятной вестью: Милорадович послал к Мюрату парламентера, предлагает заключить перемирие. В противном случае грозится, что будет драться за каждый дом в Москве.

— Ай да Михаил Андреевич! Вот это молодец! — искренне похвалил главнокомандующий.

Он понимал, что угроза Милорадовича смешна, но на первый взгляд таит в себе неприятные возможности для французов. Поддастся ли на эту удочку легкомысленный Мюрат?

Фанфарон!

В войне с французами, где авангардом командует Мюрат, нужен именно такой командир арьергарда, как Милорадович, а не Платов. Милорадович подходит Мюрату: оба — рыцари, оба — актеры.

Михаил Илларионович представил себе Милорадовича: небось одет в новенький генеральский мундир, золотые эполеты, лента через плечо. Конечно, чисто выбрит, надушен, как на бал, и, может быть, еще, для пущей важности, на горле какой-либо дорогой шарф — это Милорадович любит, и это тоже в духе щеголеватого, любящего наряды Мюрата.

Жаль вот только, что Михаил Андреевич не научился правильно изъясняться по-французски — говорит чуть получше Уварова, «же сира». И то сказать: Мюрат и этак по-русски не знает, как Милорадович по-французски. Говорят, неаполитанский король научился у казаков хлесткому русскому бранному слову да еще знает «пасибо».

Прошел еще час в ожидании.

Выстрелов со стороны Дорогомиловской заставы не слышалось.

Поток войск из Москвы прекратился. Уже выходили пехота и артиллерия арьергарда.

Михаил Илларионович волновался: ну что же, как там разговоры о перемирии?

Наконец примчался адъютант Милорадовича. Привез необыкновенно радостную весть:

— Милорадович выговорил перемирие до семи часов утра. Улестил, пустил французам пыль в глаза, обвел вокруг пальца.

У Кутузова отлегло от сердца: «Ай да Михаил Андреевич!»

Недаром Кутузов любил его и звал Милорадовича «моя возлюбленная».

Армия, расположившаяся на биваке у Москвы, поела каши, немного отдохнула и могла двигаться дальше.

Главнокомандующий велел армии идти к Панкову — до Панкова пятнадцать верст, к ночи дойдут.

Войска снялись с места, а коляска главнокомандующего все еще стояла у кладбища.

Михаил Илларионович ждал, когда же французы войдут в Москву.

Уже вечерело, в какой-то церкви ударили ко всенощной, и тут к Кутузову подъехал на усталом, измученном коне Карлуша Толь. Он наклонился к Кутузову и тихо сказал:

— Французы вошли в Москву.

— Это их последнее торжество! — уверенно ответил задрожавшим от слез голосом старый главнокомандующий и, поднявшись, пошел к коляске.

Глава восьмая

МОСКВА В ОГНЕ

Вот башни полудикие Москвы
Перед тобой в венцах из злата
Горят на солнце... но — увы!
То солнце твоего заката!

Байрон. «Бронзовый век»

Никогда победитель не вступал с меньшим торжеством, которое сопровождалось бы более зловещими признаками.

Генерал Пюибюск

I

Наконец то, к чему все эти месяцы так стремился Наполеон, свершилось: «великая армия» подходила к Москве.

Император был равно готов ко всему: к кровопролитной битве под стенами древней столицы и к переговорам с упрямым Кутузовым о мире.

Но, как указывали карты д'Альба, до Москвы остались последние версты.

— Вон с тех холмов Москва должна быть видна, — говорили все.

К скольким столицам мира за пятнадцать лет войн подходили победоносные войска Наполеона! Сколько больших, красивых, богатых городов отдавалось на его волю, на волю его «орлов»: Милан, Венеция, Александрия, Каир, Яффа, Вена, Берлин, Лиссабон, Рим, Амстердам, Антверпен, Варшава!

Уже даже трудно вспомнить подробности каждой капитуляции.

В Милане армия назвала Наполеона «маленький капрал», а в Москве должна назвать «божественным императором».

Хотелось спешить туда, к этим холмам, но осторожность заставляла не торопиться и каждую минуту ждать коварного удара из-за угла, какой-либо непредвиденной скифской хитрости. Император велел двигаться осмотрительно: все равно теперь уже Москва никуда не уйдет!

Наполеон был весел: и болезнь и Бородино с тысячами трупов и неудовольствием на него маршалов миновали. Пусть дуются они, эти глупцы, что император, вопреки их желаниям, не пустил в дело старую гвардию. Вот теперь она идет — человек к человеку, могучая, несокрушимая, идут его «ворчуны», его оплот и сила.

Кавалеристы уже на Поклонной горе. Машут киверами, касками, радостно кричат:

— Москва! Да здравствует император!

Вот оно, настало!

Наполеон невольно коснулся шпорами белых боков Евфрата. Араб поскакал в галоп.

Наполеон вскочил на Поклонную гору. За ним, ломая строй, теснились усачи гвардейцы. Каждому хотелось поскорее, раньше товарищей, увидеть Москву.

— Москва! Москва!

— Да здравствует император!

Солдаты кричали, подпрыгивали, бросали вверх медвежьи шапки, блестящие каски, кивера, потрясали ружьями и саблями, обнимали друг друга, смеялись как обезумевшие, воздевали руки: конец мучениям! Конец усталости, конец странствованиям, скитаниям по лесам, пескам и болотам, конец боям!

— Москва! — восторженно повторяла свита, хлопая в ладоши.

Наполеон тоже рукоплескал, радовался, как ребенок:

— Наконец вот он, этот знаменитый город! Давно пора! Заждались!

— Это как в третьей песне у Тассо в «Освобожденном Иерусалиме», когда армия Готфрида Бульонского увидала башни Иерусалима! — кричал сзади Коленкуру Сегюр. — «У каждого как бы выросли крылья на сердце и на ногах! Как легко стало! Да, это Иерусалим!» — скандировал Сегюр.

«Дурак! Сравнивает меня с каким-то Готфридом Бульонским. Гастрономический полководец! Я бы не доверил ему одно капральство, не то что армию!» — подумал Наполеон, глядя вниз.

Перед ним расстилался громадный, необычайный город, в существование которого как-то уже не верилось, — казалось, он живет лишь в воображении восточных поэтов.

Сотни церквей с золотыми, яркими, причудливыми куполообразными главами, дворцы всевозможных стилей, дома, выкрашенные в разнообразные краски, сады, бульвары, извилистая Москва-река, текущая по светлым лугам.

Над всей панорамой господствовали башни древнего Кремля с высокой колокольней Ивана Великого, на вершине которой сверкал в ярком солнце большой золотой крест.

Мечта. Восточная сказка. Неизведанная Азия!

Вся армия, сотни тысяч глаз с волнением смотрели на Москву. Каждый старался высказать свое впечатление, находя все новые и новые красоты: одни указывали на прекрасный дворец в восточном стиле, другие — на великолепный храм.

Старая гвардия восторгалась:

— Бесподобно! Это — Калькутта!

— А ты был в Калькутте?

— Не был... Это — Пекин!

— А ты был в Пекине?

— Не был, но буду. Маленький капрал меня доведет! — кивал гвардеец на императора.

А «маленький капрал» слез с коня и смотрел на город в трубу и те же самые части города разыскивал на громадной карте, разостланной у его ног на земле.

«Молодчина д'Альб, постарался!»

Один из императорских секретарей, Лелорнь, знавший Москву, называл Наполеону части города, давал объяснения. Наполеон повторял за ним, стараясь запомнить дикие названия:

— Пасмани. Семльяни вал. Куснески мост. Мясниски ворота. Взвз-взвиженька...

И как всегда, плохо запоминал и путал названия, но зато быстро схватывал и запоминал накрепко, навсегда топографию. И постепенно осваивался в этой азиатской концентрической планировке города.

На Поклонной горе стояли уже больше часа. Хотелось не только смотреть издалека, но быть там, среди всего этого великолепия, если оно само дается в руки.

Еще не верилось, что русские отдают без боя такое сокровище.

Наполеон ждал депутатов. Поклонная гора, на которой все кланяются городу, для него — не поклонная. Наоборот: здесь московский мэр, московский магистрат должны поклониться Наполеону, но они почему-то медлят сделать это, а терпения уже не хватает ни у кого.

Армия Наполеона стоит у Москвы, готовая схватить город. Мюрат — у Дорогомиловской заставы, Понятовский — у Калужской, вице-король — у Тверской.

Может быть, депутация ждет у городской заставы, название которой Наполеону не выговорить — такое оно несуразно длинное:

— До-ро-го-ми-ловска-я...

Это не парижское, легкое и короткое: Сен-Жермен.

Терпение истощилось. Наполеон сел на коня и махнул белой перчаткой генералу Сорбье. Раздался условный сигнальный выстрел гвардейской пушки. Он обозначал одно великолепное слово: «Вперед!»

Кавалерия бросилась в галоп; артиллерия, забыв о своих неповоротливых пушках, пыталась не отстать от кавалерии; пехота кинулась бегом, словно не прошла с боями столько сотен лье.

Топот, грохот, лязг, скрип, крики! Веселый ураган! Бескровная атака! Можно бежать, зная, что не страшно, если только не споткнешься и не упадешь под свой же громыхающий зарядный ящик,

под тяжелые колеса пушек, если не собьют и не затопчут копыта взбешенных коней.

Опять всколыхнулись, поднялись густые тучи пыли и затмили радостное солнце. И в этих облаках пыли, как в облаках славы, скакал к Дорогомиловской заставе Москвы Наполеон.

II

Уже более получаса Наполеон с повеселевшей, оживленной свитой ожидал у Дорогомиловской заставы депутацию с ключами от Москвы. Он, удовлетворенный и счастливый, ходил не спеша по улице и предвкушал: вот сейчас появятся, как бывало не раз, смущенные, заискивающие вельможи в орденах и лентах. Будут молить о пощаде и снисхождении. Подадут на бархатной подушке городские ключи. Интересно, какие-то они в Москве? Должно быть, особенные.

Французы удивлялись: такой великолепный город — и без стен!

Гвардия чистилась, надевала парадные мундиры, готовясь церемониальным маршем вступить в Москву.

— Смотри, как наш Жак накручивает усы!

— Хочет понравиться москвичкам.

— Ах, я вчера плохо побрился!

— Не беспокойся — у тебя седина не только на щеках. Московские красотки всюду найдут!

— Седина в бороду, бес в ребро.

— И что это не видно жителей?

— Испугались!

— Боятся нас!

— А может быть, все ушли? — высказал кто-то смелое предположение.

Гвардейцы подняли товарища на смех:

— Смотрите, что выдумал Жером: москвичи бросили город и ушли!

— Оставили тебе все богатство, все дворцы. Ой, уморил! — хохотала старая гвардия.

Сконфуженный скептик не сдавался:

— Ни одного дымка над домами. Это плохой знак!

— Поздно ты спохватился смотреть за дымом! Москвичи давно сготовили для нас обед!

Наполеон стоял на левой стороне дороги, ждал депутацию: «Если она не успела к Поклонной горе, то должна же явиться сюда».

Он уже заранее все приготовил: назначил губернатором Москвы маршала Мортье (какая честь для гвардии!), комендантом — генерала Дюронеля, интендантом, правителем Московской губернии, — бывшего консула в России Лессепса, составил прокламацию жителям — а жителей что-то не видно.

— Поезжайте, поторопите! Эти скифы, вероятно, не знают, как проходят подобные церемонии. Почему так медлят? Могли бы одеться заранее. Со страху растеряли штаны! А может, спешно делают ключи, если у них нет городских стен и ворот. Могли бы взять хотя бы от Кремля. Какое это имеет значение?

Наполеон послал польских улан. Задержка вызвала разные толки.

Первыми зашептались шассеры, ближе всех стоявшие к Наполеону:

— Что за дьявольщина?

Солдаты, которые недавно высмеивали товарищей, предполагавших, что Москва пуста, теперь только пожимали плечами.

— Таким образом больших городов не покидают. Эти канальи попрятались, как кролики. Мы их разыщем! Они еще будут стоять перед нами на коленях! — обнадеживал «ворчунов» капитан первой роты Лефрансэ.

И все-таки гвардия первая услыхала недобрые вести:

— Москва пуста.

— Все уехали.

— Пусть их дворяне уехали — не жалко. Лишь бы оставили нам свои запасы и погреба.

— И горничных, — шутили гвардейцы.

К Наполеону вернулись посланные польские офицеры. Они доложили:

— Ни русского губернатора, ни коменданта в Москве нет: уехали.

Наполеон покраснел.

— Не может быть! Надо удостовериться. Поляки — трусы: они боятся отъехать в сторону на два лье. Дарю! — сердито окликнул император. — Поезжайте и приведите мне... — он щелкал пальцами, — опять забыл, как в России называется высший класс... Приведите мне этих... бояр! — вспомнил он наконец.

Дарю уехал.

Император помрачнел. От недавнего восторженного настроения не осталось и следа. Недобрые предчувствия охватили свиту. Генералы молчали, уже не восхищаясь Москвой.

Наполеон стал быстро ходить по пыльной улице. Он заметно волновался: то снимал, то надевал перчатку, мял носовой платок, машинально вытирал им вспотевшую короткую шею, потом пытался засунуть платок в карманчик мундира, где лежала табакерка.

Ему вспоминались пышные, торжественные встречи в Милане, Вене, Берлине. Как тогда он был весел и как теперь зол!

— Идут! Идут! — зашептали сзади.

Наполеон остановился и глянул.

Дарю возвращался действительно не один. Перед взводом конных гренадер шло около десятка каких-то горожан. Уже издали было видно, что это не депутаты, не магистрат. По скромной оде-

жде это были в лучшем случае мелкие чиновники. Среди них выделялся костюмом небольшой толстенький человек. На нем был темно-коричневый суконный фрак с необычайно узким воротником и круглыми металлическими пуговицами, какой был модным в Париже лет десять тому назад, и широкие сапоги а la Суворов с отворотами из желтой кожи. Они подошли к Наполеону и, сняв почтительно шляпы, стали перед ним.

— Кто вы? — неласково спросил Наполеон у толстяка.

— Француз, поселившийся в Москве.

— Стало быть, мой подданный. Вы что, негоциант?

— У меня был книжный магазин.

— Где Сенат?

— Уехал.

— Где губернатор?

— Уехал.

— Где народ? — топнул ногой император.

— Уехал.

— Кто же в Москве?

— Никого.

— Вы лжете!

— Клянусь честью, ваше величество!

— Молчите о чести! Болван!.. Коня! — крикнул, оборачиваясь к свите, Наполеон.

Рустан быстро подвел коня. Наполеон сам вскочил в седло.

Он помчался в этот загадочный, молчаливый, не покоренный, не сдавшийся город.

III

Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке.
А на стенах высот кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.

Песня

Француз Москву разоряет,
С того конца зажигает!

Народная песня

Первую ночь в Москве Наполеон провел в каком-то кабаке у заставы, поместив по всем переулкам Дорогомиловской слободы патрули и пушки.

Наполеон не хотел разбивать свои палатки. Он рассчитывал завтра ночевать в роскошных кремлевских покоях, где жили русские цари. Император лег в кровать, поставленную среди большой

залы. Стены залы были в зеркалах, и вся она пропахла запахом водки и кухни.

Но спать Наполеону не пришлось: к императору примчался адъютант Мюрата с известием, что в Москве в нескольких местах возникли пожары.

Вначале это не особенно беспокоило Наполеона. Понятно: пришли в чужой, к тому же безлюдный город и стали раскладывать костры поближе к домам, не заботясь о том, что дома большею частью деревянные — вот вам и пожар. Наполеон прекрасно знал психологию солдата: после нас — хоть потоп! Сам был таким.

Москва для них — не то, что для Наполеона. Адъютант Мюрата без удовольствия собирался ехать назад, в этот пусть и великолепный, но странный и страшный город. Не верилось, чтоб хитрые азиаты просто оставили богатейшую столицу. Французам на каждом шагу мерещилась опасность. Было дико идти мимо бесчисленных безжизненных домов, мимо окон и дверей, за которыми не видно ни одного живого человека.

Адъютант делился переживаниями первых французских солдат, вступивших в опустевший город:

— Лучше идти под пулями, чем так. Это как тяжелый, кошмарный сон. Ни одной живой души. Город словно вымер от чумы. Цепенеешь от ужаса в этом царстве молчания. Идешь и все время оглядываешься назад. Нервы взвинчены. Малейший шум в переулке — и уже чудятся крики врагов и лязг оружия. Улицы длинны — не разобрать, кто на другом конце, друг или враг.

И адъютант нехотя поехал в лабиринт кривых московских улиц, переулков, тупиков.

Не прошло и часа, как следом за ним прискакал второй с той же новостью о начавшемся пожаре.

Наполеон вызвал губернатора Москвы маршала Мортье.

— Вы отвечаете головой за Москву! — сказал он маршалу.

В шесть часов утра Наполеон поднял главную квартиру на ноги и поехал в Кремль.

Гвардия все-таки шла в парадных мундирах, с музыкой.

Так как на улицах валялось много всякого добра, Наполеон отдал приказ: кавалеристам под страхом смерти не слезать с лошадей, пехотинцам не выходить из рядов.

Улицы были пусты. Слышался лишь размеренный топот ног да барабанный рокот, отдававшийся от стен глухим эхом.

— Какое жуткое молчание!

— Такой богатый город — и пустой!

— Столько красок, а впечатление угрюмое!

— Ни одной женщины. Некому слушать нашу музыку!

— Некому оценить, какими молодцами мы выступаем! — сокрушались солдаты.

Молчание, сдержанность не в характере веселого, легкомысленного француза. Француз думает, что все обязательно такие же, как он сам.

Москва — с домами и дворцами разнообразной архитектуры, с башнями и башенками, с пестрыми куполами храмов, с высокими колокольнями, напоминающими минареты, — поразила Наполеона не менее, чем с Поклонной горы. Она и вблизи была необычайна, эта восточная красавица! Видя ее вблизи, ни глаз, ни сердце не разочаровывались. Удивляло и восхищало то, что дома оказались кирпичными и самой изящной архитектуры, а не просто деревянными, как ожидали встретить многие. Особняки частных лиц не уступали дворцам в богатстве и великолепии.

Наполеон смотрел с восхищением. Он старался не обращать внимания на то, что откуда-то еще попахивает дымком пожаров.

Подъехали к Кремлю.

— Вот они, гордые стены! — с довольной улыбкой сказал император. — Наконец-то я в Москве, в древнем дворце русских царей!

«Какую гримасу скорчат английские акулы, когда узнают, что я — в Москве! Вот я запру английские гавани, что тогда будут делать эти пираты морей? Переварит ли их желудок жесткие гинеи и залежалые товары?» — удовлетворенно думал он.

Вчера здесь, в Кремле, Мюрата встретили выстрелами какие-то бродяги, которых разогнали пушками. Хорошо же. На них можно свалить всю вину за московские пожары. Надо будет упомянуть о них в бюллетене.

Наполеон осмотрел Кремль — соборы, колокольню Ивана Великого, — посмеялся над «царь-пушкой».

— Возьмите себе этого «царя», Сорбье, — сказал он начальнику гвардейской артиллерии.

Наполеон занял во дворце комнаты, обращенные окнами на реку.

В Кремле разместилась старая гвардия. Площади заняли пушки и зарядные ящики. Кремль стал похож на крепость.

Император располагался с уютом. Он с удовольствием смотрел, как Констан, Рустан и придворные лакеи носят из фургонов его мебель, устраивают кабинет, столовую, спальню. Места здесь было предостаточно для всех: для Бертье, для канцелярии, для топографов, для свиты, для дежурных адъютантов.

Император пообедал и занялся письмами, распоряжениями, делами.

Днем загорелись Гостиный двор и Каретный ряд. Наполеон встревожился и послал Мортье с молодой гвардией тушить, хотя ему донесли, что Ростопчин увез из Москвы все пожарные трубы.

В прошлую ночь император не выспался и потому рано лег спать. Он лежал на постели и думал о том, как по этим покоям хо-

дили бородатые русские цари из династии... Он хотел вспомнить название династии, но так и не вспомнил.

Была глухая ночь. Один император спокойно спал, а все в Кремле бодрствовало.

С вечера поднялся сильнейший ураган. Он налетал то с севера, то с запада, словно примеривался, с какой стороны удобнее погнать на Кремль огонь пожаров, начавшихся еще днем в разных частях Москвы.

К полуночи все улицы вокруг Кремля оказались в огне.

С треском рушились стены домов, ветер с лязгом и грохотом срывал с крыш листы железа. Снопы искр огненной метели сыпались на кровли дворцов, соборов, арсенала и других построек Кремля.

Огненная пыль засыпала кремлевские площади, где расположился артиллерийский парк гвардии и артиллерии.

Лефевр поставил старую гвардию «в ружье». Грозные, стоявшие как стена шеренги гвардии сегодня были неузнаваемы: «старые ворчуны» кашляли и сморкались от едкого дыма и гари, тянувшихся отовсюду с громадных пожарищ. Гренадеры, как лошади от назойливых оводов, отбивались от туч огненных искр, сыпавшихся со зловеще багрового неба.

Сон никому не мог идти на ум: положение французских войск было похоже на положение крепости, которую штурмует грозный враг.

В Кремль залетали горящие головни. В нескольких местах уже начинались пожары, но гвардия тушила их.

Наконец в четвертом часу ночи император вдруг проснулся: яркий огонь, освещавший со двора комнату, разбудил его. В первое мгновение мелькнула мысль: «Торжественная иллюминация!» В Неаполе, Вене, Берлине — всюду бывала она. Но огненные отблески как-то странно плясали по потолку.

Наполеон позвал Рустана.

— Почему так светло? — спросил он.

— Пожар, ваше величество. Горит центр Москвы, — ответил мамелюк.

Наполеон оттолкнул от себя Рустана, подававшего рейтузы, и кинулся к большому окну. Он стоял у окна и чувствовал, что бледнеет: перед глазами полыхало бушующее неистовое море огня. И земля и небо — все было в огне. В этом вихре пламени и дыма исчезали все его надежды на мир.

Наполеон стал торопливо одеваться, приговаривая:

— Это непостижимо! Это превосходит всякое вероятие!

Он еще не говорил вслух, но уже думал: «Все пропало...»

Он вспомнил о пушках гвардейской артиллерии, которая разместилась в Кремле, и крикнул:

— Гвардию в ружье!

— Она давно уже бодрствует, ваше величество, — ответил, входя в спальню, Коленкур.

«Моя старая гвардия не имеет покоя даже в Кремле!» — возмущенно подумал Наполеон.

В волнении он заходил большими шагами по комнате. Наполеон то садился, то вновь подбегал к какому-нибудь окну в тщетной надежде увидеть стихающий пожар. Но пожар, наоборот, разрастался. Ветер гнал волны огня прямо на Кремль, точно хотел, чтобы огонь истребил чужеземцев, забравшихся в русскую святыню. Наполеон попробовал выйти на балкон, но до чугунных перил нельзя было дотронуться — так они накалились, несмотря на то что пожар был довольно далеко от дворца.

— Какое ужасное зрелище! Москва погибла. Я потерял средства наградить моих храбрых солдат! — сокрушался император.

К Наполеону вошли вице-король Евгений Богарне, маршалы Бертье, Лефевр и Бесьер. Они умоляли императора немедленно покинуть Кремль.

Оставить дворец русских царей? Наполеон не хотел и слышать об этом. Выезд из Кремля походил бы на бегство. Это хуже, чем отступление в бою.

Он снова и снова подбегал к окнам, но ветер ревел с прежней силой и за окнами была все та же страшная огненная бездна.

Даже стекла в окнах уже становились горячими.

— Кремль горит! — вдруг раздался чей-то испуганный крик.

Маршалы, адъютанты, лакеи, забыв о всякой субординации, толкая друг друга, кинулись из дворца посмотреть, где горит.

Оказалось, что от летящих головней и искр загорелась башня арсенала, в котором еще осталось много русского пороха.

Старая гвардия с полчаса тушила пожар.

— Ваше величество, медлить нельзя. Надо выезжать отсюда, — подошел к Наполеону Евгений Богарне.

Наполеон подозвал Бертье:

— С балкона плохо видно. Влезьте на кремлевскую стену и посмотрите!

Поручение было не из легких, но Бертье с адъютантом побежал выполнять приказ императора.

Бертье вернулся довольно быстро. Он весь пропах дымом, его сюртук, сшитый так же, как и у императора, был прожжен в нескольких местах.

— Ну как? — спросил Наполеон.

Бертье только развел свои коротенькие ручки.

— Меня чуть не смело порывом ветра! — говорил он, вытирая воспалившиеся от дыма, слезящиеся глаза.

— Ваше величество, умоляю вас, поедем! Мы здесь все погибнем! — уговаривал вице-король.

— Стоит только одной искорке упасть удачнее других на зарядный ящик... — начал Мортье и не докончил.

— Мы погибнем иначе: если Кутузов вдруг атакует нас теперь, вы, ваше величество, окажетесь отрезанными от своей армии огнем! — сказал Бертье.

Этот неожиданный довод произвел на императора больше впечатления, чем все остальные.

— Куда же идти? — спросил он.

— В расположение моих корпусов на Петербургскую дорогу, — ответил Евгений Богарне.

— Ну что ж, пойдем! — мрачно согласился император.

Во дворце поднялась суматоха. Придворные лакеи и адъютанты забегали по комнатам, укладывая вещи. Секретари собирали со стола бумаги. Меневаль держал зеленый портфель императора, а Фен — книгу со списками полков, которой Наполеон очень дорожил.

Император машинально надел пальто, поданное ему Констаном, надвинул на глаза треуголку и пошел из дворца.

Как гордо он всходил вчера по этим же ступеням и в каком подавленном состоянии спускался сейчас!

IV

В Петровском дворце Наполеон провел три томительных дня, но не отдал ни одного приказа, не продиктовал ни одного военного распоряжения.

Хотя Петровский дворец находился на расстоянии мили от города, он не мог идти ни в какое сравнение с Кремлем.

Когда под приказом, рескриптом, письмом или бюллетенем в Париж, Берлин или Вену стояло: «Москва, Кремль», весь мир понимал, что это значит. «Петровское» же звучало хуже любого Витебска.

Пусть Петровский дворец уютен и красив своим английским садом, гротами, китайскими павильонами, киосками и беседками, в которых разместились генералы и свита, но, разумеется, все это не могло сравниться с Кремлем.

Все три дня Наполеон не отходил от окон: смотрел, когда же утихнет этот невероятный пожар.

Ночью вид пылающей Москвы был очень эффектен, но император находил пожар Смоленска более величественным. Когда он смотрел на высокие смоленские стены и толстые башни, объятые пламенем, в воображении невольно возникали Троя, Помпея, Геркуланум.

А пожар Москвы напоминает ему Рим, сожженный Нероном.

Пожар Смоленска веселил Наполеона, пожар Москвы — беспокоил.

Думалось: «Что скажут в Европе? — Преступник...»

— Это предвещает нам большое несчастье! — вырвалось у Наполеона, когда на второй день пребывания в Петровском он утром увидал, что пожар и не думает уменьшаться.

Наполеон был мрачен, неразговорчив и зол. Маршалы, генералы и свита ходили на цыпочках, боясь чем-либо вызвать вспышку близкого, готового вот-вот взорваться гнева императора.

Наполеон еще верил в свою счастливую звезду, надеясь, что Кремль уцелеет.

«Пусть горит этот роковой город, лишь бы остался невредимым его Кремль!»

Маршал Мортье не забыл угрожающего предостережения императора: батальон гвардии, оставленный в Кремле, делал все, чтобы не допустить в нем пожара.

И Кремль уцелел.

Ночью с 5 на 6 сентября полил крупный, спорый дождь. Он шумел до самого рассвета.

Ураганный ветер, который бушевал вчера и позавчера, наконец стих. Зарево стало уменьшаться и бледнеть.

Утром 6 сентября густые облака дыма повисли над городом. Пламя уже не пробивалось сквозь них. Только солнце смотрело сверху кроваво-красным глазом.

Накаленная земля, по которой еще вчера едва можно было ходить — так она была горяча, — сегодня остыла. Воздух немного освежился.

Наполеон решил немедленно возвращаться в Кремль.

Сегодня он ехал уже без музыки, но в окружении все той же многочисленной блестящей свиты. Впереди — взвод конных егерей с карабинами, взятыми на изготовку.

Сейчас же за Петровским начались биваки «великой армии». Полки располагались на грязных, уже раскисших от дождя полях. Всюду жарко пылали бивачные костры. Они были сложены не из сырых, только что поваленных деревьев и не из старых бревен деревенских хат, как бывало в походе по дорогам Литвы и Белоруссии. В московских кострах горела разломанная, порубленная саблями дорогая мебель красного, палисандрового, черного дерева, горели золоченые рамы от картин и зеркал, тлели брошенные книги в сафьяновых и телячьих переплетах.

Вокруг костров стояло некое подобие шалашей, сооруженных из сорванных с домов дверей и створок шкафов, отделанных бронзой. Пол в них был устлан великолепными, втоптанными в грязь восточными коврами. Под этими навесами стояли шелковые диваны и кресла. На них располагались закопченные, почерневшие от

дыма и грязи, немытые, небритые, но, видимо, довольные офицеры и солдаты.

Из некоторых шалашей кокетливо выглядывали женские лица. Походные дамы, бесстрашно проделавшие со своими друзьями такой далекий и трудный поход, сидели в самых изнеженных и ленивых позах на роскошной мебели, укутавшись в персидские шали и китайские шелка и закрыв ноги лисьими, песцовыми, собольими мехами.

Над кострами вместо походных чугунных котлов висели серебряные ведра, чаши и вазы. Из них торчали лошадиные голени и ребра.

Тут же среди битой и целой фарфоровой и хрустальной посуды стояли мешки с кофе, сахаром, банки с вареньем. На серебряных блюдах лежали какие-то черные неаппетитные лепешки.

Ни на серебре, ни на фарфоре, ни на хрустале хлеба видно не было. И всюду в неимоверном количестве виднелись пустые и еще не откупоренные бутылки самых дорогих, тонких вин.

Почти все офицеры и солдаты были пьяны.

Увидев едущего императора, они и не подумали салютовать ему шпагой или брать ружье на караул. Одни подымали вверх хрустальные бокалы и серебряные кубки с вином или просто бутылки, из которых пили, и кричали нетвердыми и малопочтительными голосами: «Да здравствует император!» Другие приглашали императора чокнуться с ними, третьи под смешки своих возлюбленных слали «маленького капрала» ко всем чертям и даже дальше.

Но так поступали немногие. Большинство солдат и офицеров совершенно не обращали никакого внимания ни на императора, ни на его свиту. Они были поглощены серьезным и приятным делом: разбирали награбленные вещи, хвастались друг перед другом своей удачей, радовались богатой поживе.

Люди более веселого склада забавлялись на биваке чем и как могли.

Дородная, изрядно пожившая маркитантка, наряженная в костюм русской боярыни с кокошником, напяливала на молодого, шатающегося от возлияний шассера модную прозрачную женскую сорочку под одобрительный смех его товарищей. Маркитантка вертела шассера и, вероятно, отпускала сальные шуточки, потому что шассеры хохотали, крича:

— Ай да тетка Дюбуа!

Перед большим зеркалом, каким-то чудом вытащенным из дома в полной сохранности, несколько вольтижеров примеряли разную наворованную одежду: модные голубые и коричневые фраки, польские кунтуши, треуголки, енотовые и лисьи шубы, папахи.

Лагерь вообще представлял картину карнавала. Здесь можно было увидеть солдат, одетых персами, китайцами, поляками, татарами, калмыками, турками.

Город еще дымился. Кое-где на пожарище маячили фигуры изможденных, полуголых, обобранных до последней нитки москвичей, которые искали хоть какой-нибудь еды. А из лагеря французов доносились пьяные выкрики, песни и смех, сквозь которые иногда прорывалась многоязычная ругань дерущихся или истошные вопли горожанок, не желавших добровольно веселиться вместе с неприятелем.

«Великая армия» наслаждалась.

Навстречу императору, не думая сторониться и уступать ему дорогу, тянулись конные и пешие солдаты с награбленным добром. Они подгоняли прикладами и саблями полуголых москвичей — женщин, стариков и детей, которые, сгибаясь под непосильной ношей, должны были тащить награбленное французами.

Все эти сцены не коробили Наполеона: на войне как на войне! Что ж, его солдаты, прошедшие с боями столько лье, могут наконец доставить себе удовольствие!

Так было всегда, и так будет: vae victis![1]

Наполеон въехал в самый город.

Улиц не осталось. Они угадывались только по обвалившимся и частично уцелевшим стенам каменных домов и печным трубам, которые выказывали из пепелищ длинные шеи.

Дорога была завалена догоравшими, тлеющими бревнами, золой, скрюченным, обгорелым железом, осколками стекла и битой посуды, выброшенной из домов мебелью и разными домашними вещами. Их старались бросать немощные подневольные носильщики или оставляли сами мародеры, прельстившись по пути чем-либо более интересным.

Москвы, в сущности, не было. Была груда сплошных развалин.

Кремль возвышался среди руин, как маяк.

К вечеру топографы главной императорской квартиры во главе с д'Альбом уже представили императору план нового города: от Москвы осталась лишь одна треть.

Изумительная на числа память Наполеона тут же подсказала ему, что и от «великой армии» осталось не более.

Но все это для Наполеона были пустяки. Его слава еще не померкла.

Два таких имени, как «Наполеон» и «Москва», соединенные вместе, будут достаточны для того, чтобы достойно завершить кампанию.

И в этот же вечер Наполеон отправил из Москвы, из Кремля, письмо жене, императрице Марии-Луизе:

---

[1] Горе побежденным! *(Лат.)*

«Мой друг, я тебе пишу из Москвы. Я не имел понятия об этом городе. Он заключал в себе пятьсот таких же прекрасных дворцов, как Елисейский дворец, меблированных на французский лад с невероятной роскошью, несколько императорских дворцов, казармы, великолепные госпитали. Все это исчезло, огонь пожирает это вот уже четыре дня. Так как все небольшие дома граждан деревянные, то они загораются, как спички. Губернатор и сами русские в ярости за свое поражение зажгли этот прекрасный город. Двести тысяч обитателей в отчаянии, на улице, в несчастье. Однако для армии остается достаточно, и армия нашла тут много всякого рода богатств, так как в этом беспорядке все подвергается разграблению».

Наполеон написал письмо в таких же радужных красках, как писал из Вильны, Витебска, Смоленска, Бородина. Он обелял себя и всю «великую армию», он делал вид, что его дела — блестящи.

Наполеон написал так, как писал и все свои знаменитые бюллетени: с непомерной хвастливостью и беспардонной ложью.

Глава девятая

В ТАРУТИНСКОМ ЛАГЕРЕ

Пала Москва, но, опершись на Кутузова, устояла Россия.

Надпись на памятнике в Тарутине

Пребывание в Тарутине было для Кутузова одною из блистательнейших эпох его достославной жизни. Со времен Пожарского никто не стоял так высоко в виду всей России.

А. Михайловский-Данилевский

I

Еще в Филях все удивлялись и не понимали, почему Кутузов решил отходить на Рязань. Когда после совета, на котором было решено оставить Москву, главнокомандующий вызвал генерал-интенданта Ланского и сказал ему, что армия пойдет на Рязань, Ланской изумился: главнокомандующий должен был помнить, что все боевые и продовольственные запасы сосредоточены возле Калуги. Но Михаил Илларионович сделал вид, будто забыл об этом.

— А разве у Рязани ничего нет? — спросил он.

— Если прикажете, будет! — ответил Ланской.

Главнокомандующий не приказал передвигать запасы к Рязани, потому что и не собирался идти туда, но все-таки велел военному полицеймейстеру армии Шульгину отправлять на Рязань все обозы.

Штабные знали Кутузова: он никому не откроет того, что думает, это не горячий Багратион и не методичный Барклай.

И теперь армия и часть жителей Москвы медленно двигались по Рязанскому тракту на Бронницы. Армия не могла особенно торопиться: надо было прикрывать уходившее из Москвы население. Москвичи жались под крылышко армии. На остановках многие из них, вышедшие из дому налегке, просили у солдат «хлебушка», сенца для козы или коровы, которых вели с собой.

Солдаты делились с бабами и ребятишками последним куском.

Трудно было москвичам уходить из любимой, родной столицы. Вздыхая и плача, они оглядывались назад.

— Москва, красавица ты наша! По камушку, по дощечке унесли бы мы тебя с собою — не доставайся лютому ворогу! — говорили они.

На второй день пути, в ночь, москвичи увидали над древней столицей страшное зарево; оно переливалось всеми цветами. Ни один самый искусный пиротехник не мог бы придумать такого сочетания красок.

Солдаты шли хмурые, молчали.

— Господи, да что ж это такое!

— Матушка наша Первопрестольная занялась!

— Горит, горит Белокаменная!

— Поджег окаянный француз! — проклинали, причитали бабы.

Мужики кляли врага, ожесточались:

— Коли Москва не наша, так пусть уж будет ничья!

— Теперь остается нам торговать золой да углями! — с горечью иронизировали они.

Армия заночевала в деревне Панки, в пятнадцати верстах от Москвы. Главнокомандующий сидел в избе у открытого окна, пил чай. Под окнами собрались панковские старики. Кайсаров хотел гнать их, но Михаил Илларионович не велел. Старики с ужасом указывали на горевшую Москву, крестились, спрашивали:

— Что же это? Неужто пропадем все?

Девяностолетний, с замшелыми зелеными бровями дед говорил, опираясь на клюку:

— Ваше сиятельство, ежели не хватило войска, зачем же не кликнули народ? Разве мало нас на Руси? Все бы пошли. Солдат делал бы свое, а мы свое.

— Так и надо, дедушка: навалиться на него всем народом. Вон витебские и смоленские давно поднялись.

— Оружия нетути, — сказали из толпы.

— А топоры, вилы, косы — разве не оружие? — спросил Кутузов.

— Правильно!

— Всем миром мы ему голову и сломим, вспомните мое слово! — говорил в сердцах Михаил Илларионович. — Горит Москва — прискорбно, жалко, но ведь горела же она не раз: и татары ее жгли и поляки, а все стоит! Гори Москва — но живи Россия!

В тот же вечер Кутузов послал письмо жене в Петербург:

«Я, мой друг, слава Богу, здоров и, как ни тяжело, надеюсь, что Бог все исправит».

3 сентября подошли к Боровской переправе через реку Москва. На следующий день по устроенным двум понтонным и двум накидным мостам армия перешла на правый берег реки, и тут вдруг последовал новый приказ: не идти на Рязань, а повернуть на запад, к Подольску. Свернули с широкого большака на размытые дождями глинистые проселки. Тронулись в путь темной ночью; двигались по проселочным дорогам двумя колоннами, соблюдая строжайшую дисциплину.

«Всем генералам во всякое время находиться неотлучно в линиях при своих корпусах», — приказал Кутузов.

Арьергард должен был так прикрывать отход, чтобы ни малейшего следа на фланговой нашей дороге неприятель не открыл.

Арьергард скрытно шел следом за армией, оставив у Боровского перевоза два казачьих полка. Казаки должны были под натиском врага отступать к Бронницам, делая вид, что армия отходит по Рязанской дороге.

Офицеры недоумевали:

— И зачем петляем, как заяц на дороге?

— Принимаем фланговое положение.

— Пока зайдем во фланг Наполеону, так сами подставляем неприятелю свой. Враг сидит у нас на плечах, а мы перестраиваемся.

— И совсем неверно: наш правый фланг надежно защищен рекой. А французов нигде не видно, мы оторвались от них, — спорили офицеры.

Солдаты рассуждали об этом же по-своему:

— Почитай три месяца шли все на восток, а теперь, глянькось, повёрнули на запад, на Тульскую дорогу.

— Император, бают, велел идтить к нам, на Владимир.

— Идти на восток? — усмехался другой. — А всю теплую сторону, все лучшие земли, Украину, Новороссию, выходит, оставить францу?

— В твоем Владимире что есть? Купцы да монашки, а в Туле — оружейный завод!

— Да в Брянске пушечный.

— И в Орле тоже пушки льют, у Демидова.

— А у нас, на Черниговщине, в Шостке, селитренный, пороховой.

— Вот видишь, а ты со своим Владимиром! Михайло Ларивоныч знает что делает!

— Зна-а-ет! Москву отдал, столицу!

— А что Москва? Мы на любом месте столицу сделаем. Вон Петра Великой устроил на болоте Петербург...

— Михайло Ларивоныч играет с французом в гулюшки...

По мере приближения к Калужской дороге цель Кутузова становилась все яснее даже солдатам. Они поняли: идут в тыл врага. Потому старались удвоить шаг и жалели, что переходы невелики.

Все сообразили:

— Вот зачем отдали французам Москву.

— Это их нарочно заманили в западню.

Хвалили на все лады Кутузова:

— Ай да старик Кутузов! Поддел Бонапартия, как ни хитрил француз!

— Михайло Ларивоныч — тертый калач: он и турка объегорил!

— Он — суворовский любимый ученик!

5 сентября вечером армия подошла к Подольску и дневала в нем.

В Подольске Кутузов сделал смотр армии. Войска проходили мимо главнокомандующего и впервые после сдачи Москвы приветствовали его возгласами «ура».

Из Подольска армия двинулась на старую Калужскую дорогу, которая была в центре всех путей из Москвы на юг, и встала у Красной Пахры, прикрывшись рекой Пахра.

Русские отдыхали в Красной Пахре пять дней. Кутузов собирал отставших, приводил полки в порядок.

Он каждое утро спрашивал:

— А что, неприятель где? Не видно еще его?

Французы пропали. Мюрат, введенный в заблуждение Милорадовичем, потерял русскую армию.

А она с каждым днем становилась веселее. Отчаяние, уныние и ропот прекратились. Вернулась уверенность. Солдаты ободрились.

В Красной Пахре получили радостную весть: государь произвел за Бородинскую победу генерала Кутузова в фельдмаршалы, офицеры получили третное жалованье, а солдаты — по пять рублей на человека.

Однажды за обедом фельдмаршалу подали стерляжью уху.

— Откуда такая прекрасная рыба? — удивился Михаил Илларионович.

— Калужские купцы прислали, — ответил Резвой.

— Ну, спасибо им. Сразу видно, что мы теперь живем как надо быть, дома!

Мюрат, не найдя русской армии на Рязанской дороге, поворотил к Подольску, куда подошел со своим корпусом и Понятовский, посланный Наполеоном на розыски Кутузова.

13 сентября в Подольске оба генерала узнали наконец, где находится русская армия, след которой был потерян две недели тому назад.

Ввиду того что Мюрат и Понятовский двинулись на Кутузова, Михаил Илларионович собрал 14 сентября военный совет.

Оставаться у Красной Пахры Кутузов не хотел: от Москвы до Красной Пахры всего один переход. Лучше бы отойти еще на юг, чтобы не быть под непосредственной угрозой удара всей армии Наполеона.

На совете присутствовали Беннигсен, Барклай и Толь.

— Нам необходимо принять меры, чтобы не быть отрезанными от Калуги. Тридцать верст от Москвы — это очень близкое соседство с Наполеоном, — сказал главнокомандующий.

— Надо еще отвести армию назад, — предложил Барклай. — Нет ли хорошей позиции позади Чирикова? — обернулся он к Толю.

— Я исследовал всю местность до Воронова — нигде нет такой, чтобы можно было удержать, — ответил Толь.

— Тогда отступим дальше.

Услышав это, Беннигсен вскочил со скамьи и забегал по комнате, плюясь от негодования:

— Еще отступать? Всегда отступать! И так хорошо известно, что господин Барклай любит отступления!

По перекошенному от злобы лицу Беннигсена можно было подумать, что он готов поколотить Барклая.

Михаил Богданович, совершенно ошеломленный бестактной выходкой Беннигсена, сидел сконфуженный и красный. Ему было неприятно, что Беннигсен снова заговорил об отступлении, которое было Барклаю как острый нож. Он пытался вставить хоть слово в свое оправдание, но Беннигсен перебивал его потоком издевательских замечаний.

— Зачем вы горячитесь, любезный генерал? Вы знаете, как я вас люблю и уважаю. Вам стоит лишь высказать свое мнение, и мы тотчас же согласимся с ним, — вкрадчиво, спокойно, убедительно вставил Кутузов.

Беннигсен поддался на уговоры Кутузова. Он шагнул к столу, где лежала карта, и в последний раз бросил Барклаю:

— Отступать! Я думаю, вы очень недовольны, генерал, что нет второй Москвы, которую можно было бы отдать врагу!

Это был камушек в огород обоих врагов Беннигсена — Барклая и Кутузова.

Беннигсен нагнулся над картой и предложил не отступать, а идти к Подольску, навстречу Понятовскому, и дать бой.

— Вот что хорошо, то хорошо! Вы всегда говорите так умно, что остается только соглашаться с вами. Полковник Толь, сделайте распоряжение согласно указаниям генерала Беннигсена, — сказал главнокомандующий.

Барклай криво улыбался: он не понимал, почему нужно возвращаться назад по той дороге, по которой только что пришли в Красную Пахру, и оставлять без прикрытия важную стратегическую линию — Калужскую дорогу?

Беннигсен ушел с совета вполне довольный: завтра утром он поведет войска на французов.

Но радовался он преждевременно: Кутузов ни на минуту не думал идти вперед. В полночь армии было приказано отходить на юг.

Кутузов отступил еще на один переход к Калуге и остановился у села Тарутино на реке Нара. Тарутино находилось на большаке из Москвы в Калугу и лежало на одинаковом расстоянии от обоих городов. На левом берегу Нары раскинулось Тарутино, а на противоположном берегу села была деревня Гранищево. В полуверсте за деревней Гранищево и встала лагерем русская армия.

Река Нара здесь неглубока и неширока, но правый берег ее нагорный: крутые и высокие берега хорошо защищали лагерь. Позиция у Тарутина оказалась весьма сильной: она имела прекрасный обзор, правое крыло прикрывалось оврагом. Хуже было с левым, которое упиралось в лес, тянувшийся до самой Калуги.

— Позиция как при Бородине: левое крыло у нас всегда хромает, — сказал Беннигсен.

— Сделаем засеки в лесу, укрепим, — ответил Кутузов. — Здесь наш тыл прочно прикрыт. И мы можем угрожать сообщениям Наполеона, Смоленской дороге.

— Немножко тесновато для лагеря, — поморщился Толь.

— В тесноте — не в обиде! — весело отозвался Михаил Илларионович, оглядывая с высокого берега свое расположение. — Ну, теперь — ни шагу назад!

И в тот же день главнокомандующий отдал приказ, в котором говорилось:

«Приготовиться к делу, пересмотреть оружие, помнить, что вся Европа и любезное Отечество на нас взирают».

II

Слова Кутузова — «ни шагу назад!» — в тот же день стали известны всем.

— Ну, теперь держись, Аполиён! — радовались солдаты.

Теперь все восхищались дальновидностью, осмотрительностью Кутузова, его правильным, удачным фланговым маршем.

И все, кто еще недавно порицал Кутузова за блуждание по проселкам, за движение к старой Калужской дороге, не только хвалили его, но приписывали себе честь открытия этого марша. Толь хвастался тем, что это он подсказал «старику» такой план. Беннигсен делал вид, что он тоже причастен к плану. Ермолов, бывший всегда себе на уме, не говорил прямо, как Толь, но намекал, что не обошлось без его советов. Только один прямодушный Коновницын не присваивал себе такой чести.

На пороге из Панков в Жилино Кутузов отправил рапорт царю об оставлении Москвы. В нем Михаил Илларионович правдиво писал, что на совете «некоторые были противного мнения», и заранее признавал: «Не отрицаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею», но кончал тем, в чем был глубоко убежден: «Пока армия цела и движима известною храбростию и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря Отечества».

Кутузов послал рапорт с генералом Мишо. Мишо был иностранец; Александр I посчитался с ним, когда Мишо раскритиковал дрисский лагерь.

Рапорт о сдаче Москвы, конечно, запоздал.

Михаил Илларионович знал, что царю уже сообщили об оставлении столицы: первый постарался накляузничать Ростопчин. Кутузов ясно представлял себе, какой переполох вызвало это известие в Петербурге, как усердствуют в сочинении разных небылиц, в клевете на главнокомандующего его многочисленные петербургские «друзья», которые готовы утопить Михаила Илларионовича в ложке воды.

На пути из Красной Пахры к Тарутину прибыл в главную квартиру генерал-адъютант царя князь Волконский с письмом Александра I.

«Я отправляю с сим князя Волконского, дабы узнать от Вас о положении армии и о побудивших Вас причинах к столь несчастной решимости», — писал обозленный Александр (Кутузов не рапортовал царю с 29 августа).

В эти дни Кутузов дал приказ соединить две Западные армии в одну: уже не было никакого смысла продолжать их разделять. Командующим армией он назначил Барклая-де-Толли, а резервом, состоявшим из третьего и пятого корпусов и двух кавалерийских дивизий, — генерала Милорадовича.

Барклай подал рапорт об увольнении его из армии ввиду болезни. Честный Барклай считал ниже своего достоинства быть в непосредственном подчинении у такого начальника штаба армии, как Беннигсен.

Кутузов удовлетворил просьбу, и Барклай уехал. Командование Западной армией Михаил Илларионович принял на себя.

Дежурным генералом Кутузов назначил Коновницына.

Главная квартира приняла иной вид.

Но интриганы и враги Кутузова остались в ней по-прежнему.

Первым из них был все тот же Беннигсен. Он не терял надежды когда-нибудь свалить Кутузова и стать вместо него главнокомандующим. Беннигсен не гнушался никакими средствами: сплетней, ложью, клеветой. В этом ему деятельно помогал Ростопчин, живший здесь же.

Московский губернатор оказался в Тарутине не у дел: «афишек» выпускать он не мог; иностранцев при армии было не меньше, чем в Москве, но их нельзя было выслать ни в какой Саратов. Ему оставалось лишь интриговать против Кутузова, облыжно обвиняя его во всех смертных грехах, и писать доносы на него царю. Ростопчина очень задевало то, что главнокомандующий ни разу не пригласил его к себе, делая вид, будто Ростопчина нет в Тарутине.

К Беннигсену и Ростопчину примыкали родственники царя, молодые, но явно бездарные генералы — герцог Вюртембергский и принц Ольденбургский. Как всякая бездарность, они не могли простить старику Кутузову его полководческого таланта.

Не всегда ясно, но с всегдашним постоянством поддерживал группу Беннигсена наружно почитавший фельдмаршала, но державший камень за пазухой, умный, самолюбивый, иронический Ермолов.

Вся эта компания получила в Тарутине подкрепление: в армию приехал представитель Англии сэр Роберт Вильсон с большими полномочиями от Александра I.

Этот бритт с длинным красным носом и таким же красным угреватым лицом был деятелен и нагл. Он совал свой нос всюду. Вильсон вел себя так, будто не Кутузов, а он командует Западной армией.

И он поддерживал Беннигсена хотя бы уже потому, что Беннигсен, как ганноверец, считался подданным английского короля.

Вильсон, следуя английской политике, ее целям и намерениям, хотел, чтобы Кутузов уничтожил Наполеона и его армию. Он действовал так, как всегда действовали все английские дипломаты: старался загребать жар чужими руками.

Кутузов — полководец и дипломат — прекрасно знал традиционную политику Англии. Он давно сталкивался с ней на Дунае и в Крыму. Осторожная, осмотрительная тактика Кутузова не устраивала английского представителя. У него не хватало терпения выжидать. Он хотел бы разделаться с Наполеоном поскорее.

Вильсону было наплевать на все потери, которые могли понести русские: англичане ведь не рисковали ничем.

Беннигсен, всюду кричавший о необходимости активных наступательных действий, был больше по душе Вильсону, чем осторожный Кутузов. Как раньше о Барклае, Беннигсен распростра-

нял теперь разные небылицы о Михаиле Илларионовиче, клеветал на него. Главным коньком у Беннигсена была старость Кутузова. Беннигсен всюду кричал о дряхлости главнокомандующего, забыв о том, что сам он — ровесник Кутузова.

То, что Кутузов принял отставку Барклая, Беннигсен считал выгодным для себя: одним конкурентом стало меньше. Беннигсен помнил, что Александр не любит Кутузова, и все еще не терял надежды стать главнокомандующим вместо него.

На третий день пребывания армии в Тарутине, рано утром, когда Беннигсен еще нежился в постели, к нему прибежал его адъютант Клингер и сообщил потрясающую новость: главнокомандующий только что получил письмо от маршала Бертье. Наполеон послал к Кутузову для переговоров своего генерал-адъютанта Лористона, и Кутузов собирался ехать на аванпосты для встречи с ним.

Беннигсен вскочил как ужаленный.

Он знал, что после сожжения Москвы дворянство не позволит заключить мир и что Кутузов, конечно, не станет говорить о мире, но эту встречу Кутузова с послом Наполеона можно и должно использовать в борьбе против Кутузова. Нужно поднять шум, сделать из этого большой скандал. Беннигсен жаждал мщения. Он не забыл, как три дня назад, когда выбирали позицию у Тарутина и Беннигсен доказывал, что она плоха, Кутузов вдруг оставил свой всегдашний, хоть и ядовитый, но дипломатически выдержанный тон и бросил в лицо Беннигсену; «Ваша позиция при Фридланде была хороша для вас, а я доволен тарутинской! И мы на ней останемся, потому что я начальствую и отвечаю за все, а не вы!»

Кутузов снова напомнил Беннигсену о Фридланде? Хорошо же! Посмотрим, господин фельдмаршал!

Нужно натравить на Кутузова рыжего англичанина Вильсона. Но где он? Он ни минуты не сидит на месте, этот узаконенный шпион. Вильсон летает то на аванпосты, то в Калугу, хочет все видеть сам, собирает сведения для отсылки в Англию. Вот и сейчас он оказался на аванпостах.

Беннигсен написал записку Вильсону, прося его тотчас же возвратиться в главную квартиру. В записке Беннигсен сплетничал: он говорил, что главнокомандующий согласился на свидание с Лористоном за несколько верст от наших аванпостов, что при переговорах, вероятно, будет присутствовать сам Наполеон, которого «эта старая баба Кутузов» очень уважает.

Послав записку Вильсону, Беннигсен известил об этом всех своих единомышленников: Ростопчина, герцога Вюртембергского, принца Ольденбургского и Ермолова.

Вильсон немедленно примчался с аванпостов. Не заезжая к Беннигсену, он прямо ввалился к главнокомандующему, который

диктовал Коновницыну приказы. Михаил Илларионович уже думал о зимней кампании и слал калужскому, орловскому, рязанскому и владимирскому губернаторам приказы заготовить сто тысяч полушубков и сто тысяч пар сапог для армии.

Фельдмаршал не собирался ехать к аванпостам. Он хотел протянуть день, чтобы подготовиться. Кутузов не успел еще привести свой лагерь в надлежащее оборонительное положение и не хотел показывать его в таком виде французскому уполномоченному.

Когда Михаил Илларионович увидал красный мундир и красное, не столько от прыщей, сколько от гнева, лицо англичанина, он понял, зачем пожаловал к нему нахальный бритт.

— Вероятно, вы привезли мне новости из авангарда? — спокойно, но не без иронии спросил Кутузов.

— Раньше меня вам их привез французский парламентер, — не стараясь сдержать своего раздражения, выпалил Вильсон.

Он обрушился на Кутузова за его желание говорить с представителем «коварного корсиканца», сказал, что это свидание повредит общему делу. Тридцатипятилетний англичанин почти кричал на поседевшего в боях русского фельдмаршала. Коновницын видел, как бледнеют пухлые щеки Михаила Илларионовича и дрожит рука, держащая перо.

Фельдмаршал поднялся и сказал раздельно и веско:

— Извольте знать, сэр, что главнокомандующим русских войск являюсь я! Я знаю, что может быть вредно вверенному мне делу! Я буду делать то, что считаю необходимым! А вам советую увлекаться более преданностью к русскому императору, чем негодованием к Наполеону!

Вильсон повернулся и выбежал из избы, сильно хлопнув дверью и крича на ходу:

— Это возмутительно!

Он был взбешен до крайности.

Вильсон помчался к герцогу Вюртембергскому, жившему напротив. У герцога он застал принца Ольденбургского, Беннигсена и Ростопчина. Осторожный Ермолов предпочитал оставаться за кулисами. Решено было тотчас же идти к главнокомандующему обоим принцам и возражать против его свидания на аванпостах.

Дядя и шурин царя — молодые, еще не достигшие тридцати лет генералы — пришли с Вильсоном к фельдмаршалу. Английский генерал и немецкие принцы имели наглость пытаться решать судьбы России.

Михаил Илларионович согласился послать к Лористону князя Волконского. Фельдмаршал поручил Волконскому поехать на передовые посты, вызвать Лористона и спросить его, с какой целью он прислан. Если Лористон привез письмо Наполеона, то взять это письмо.

Опытный старый дипломат, Кутузов понимал, что если Лористон прислан Наполеоном для переговоров лично с фельдмаршалом, то он ничего не скажет Волконскому.

— А если Лористон не даст мне письмо: мол, приказано передать в собственные руки? — спросил Волконский.

— В таком случае скажите, что пошлете ко мне за приказанием. Но предупредите адъютанта, чтобы он возвращался как можно потише.

Волконский взял с собой штаб-офицера Павла Нащокина и поехал к аванпостам. Он вызвал Лористона. Лористон, видимо, ожидал поблизости, потому что быстро приехал к Волконскому. Французский генерал объявил, что послан императором Наполеоном для переговоров лично с фельдмаршалом и поэтому не может ни изложить цели своего посещения, ни передать Волконскому письмо Наполеона.

Волконский отправил Нащокина к Кутузову.

В это время к Лористону подъехал Мюрат, а к Волконскому — Милорадович и Беннигсен.

Беннигсен, только что осуждавший Кутузова за то, что он согласился на свидание с Лористоном на аванпостах, не выдержал характера: захотел показаться послу Наполеона там же. Это он сделал сам, не сказав ни Вильсону, ни прочим своим единомышленникам ни слова. Милорадович и Мюрат виделись ежедневно, и их встреча не представляла ничего особенного. Мюрат приветствовал Милорадовича как старого приятеля.

— Ну, долго ли еще будет продолжаться эта ненужная война? — широко улыбаясь, спросил он Милорадовича.

— Не мы начали войну, — ответил с достоинством Милорадович.

— Как король неаполитанский, я нахожу, что ваш климат суров для нас!

— Простите, ваше величество, но мы не приглашали вас к себе, — парировал Милорадович.

Это была их ежедневная, обычная словесная дуэль.

Беннигсену хотелось бы тоже вступить в разговор, но князь Волконский строго заметил:

— Господа, неудобно! Поедемте в главную квартиру!

Он сказал Лористону, что в ожидании ответа фельдмаршала целесообразнее всего каждому из них вернуться к себе в лагерь. И первый подал пример, поскакав к Тарутину.

Беннигсену волей-неволей пришлось последовать за Волконским.

Кутузов стал готовиться к встрече с Лористоном. Войска в Тарутине стояли очень скученно, лагерь был тесен. Фельдмаршал приказал некоторым корпусам расположиться за лагерем и всем войскам к вечеру разложить побольше костров, петь песни, а музыке играть.

В лагере и без того не было скучно — все радовались, что Наполеон шлет к фельдмаршалу посла: значит, хочет мириться.

— Наша берет!

— Подавился Москвой, бродяга!

— Нехолодно встретила его матушка Москва!

— Опалила крылья французским орлам!

— Скоро погоним гостей домой — больно засиделись у нас!

Кутузов не торопился. Уже стемнело, а он все не слал за Лористоном коляски.

— Ничипор, а ты мой парадный мундир взял? — спросил он у денщика.

— Узял, ваше сиятельство. Тільки еполеты старэньки, новые прозабулы узять! — виновато чесал он голову.

— Эх ты, макытра! Ну попроси у кого-нибудь. Вон у Петра Петровича. У него, наверно, найдутся.

Коновницын дал свою новенькую пару эполет, и Кутузов впервые за всю кампанию надел парадную форму.

Кутузов не захотел принимать Лористона в той избе, где стоял сам. Освободили маленький домик под горой недалеко от реки Нары, который занимал только что уехавший из армии Барклай. В домике помыли пол, поставили у самых окон («Пусть все видят, что я буду делать!» — сказал фельдмаршал) стол и две скамейки.

Наступил вечер.

Тарутинский лагерь сиял огнями бесчисленных костров. Если судить по ним, то русская армия была тысяч во сто. В лагере стояло веселье — смех, песни, музыка.

— Что он тянет? Это какая-то новая кутузовская уловка! — возмущался нетерпеливый Вильсон.

Он никак не мог постичь замыслов и планов Кутузова. Наконец в девять часов фельдмаршал отправил князя Волконского за гостем.

— Господа, если с Лористоном приедут французские офицеры, то прошу вас ни о чем другом с ними не говорить как только о погоде! — предупредил всех своих штабных Кутузов.

Михаил Илларионович сидел в избе у стола, на котором горели в подсвечниках две свечи.

Коновницын, Ермолов, оба принца и Вильсон стояли у порога, возле печки. Никто из них не смел сесть на единственную свободную, предназначенную для Лористона скамейку — главнокомандующий и не предлагал этого. Коновницын и Ермолов пришли по службе — мало ли что может понадобиться главнокомандующему! А Вильсон явился непрошеным и привел молодых принцев только затем, чтобы русский фельдмаршал не забыл, что за каждым его движением и словом следит недреманное око царя и всесильной Англии.

Беннигсен демонстративно отсутствовал.

Михаил Илларионович был весел, вспоминал французских послов в Петербурге — Коленкура и Лористона, как о них остроумно отозвался Александр Львович Нарышкин. Когда послом в Петербург был прислан вместо отозванного Армана Коленкура Батист Лористон, Александр I спросил у Нарышкина, кто из них лучше, Александр Львович ответил: «О ваше величество, батист всегда тоньше коленкора!»

— Посмотрим, верно ли это, — улыбался Кутузов. — Каков missus Dominicus?[1]

В половине одиннадцатого вечера приехал с Волконским Лористон. Он был один, без сопровождающих.

Михаил Илларионович не знал его, только слышал восторженные отзывы Катеньки об исключительном такте Лористона и его умении очаровывать собеседника.

Перед Кутузовым стоял высокий, стройный генерал. Его лицо, с прямым, немножко длинным носом, было приятно. Густые каштановые бакенбарды обрамляли лицо, делая его круглее. В мягких манерах, ловких движениях Лористона сквозила кошачья повадка. Михаил Илларионович сразу увидал: Александр Львович прав. Коленкур прямолинейнее и проще, а это настоящий дипломат.

После первых приветствий Михаил Илларионович предложил Лористону садиться. Французский посол сел на скамейку против Кутузова. Он недоуменно оглянулся на столпившихся у печки генералов, среди зеленых мундиров которых резко выделялся красный, нерусский мундир англичанина.

— Господа, прошу оставить нас одних! — сказал Кутузов, обращаясь к генералам.

Все поспешили выйти из комнаты. Последним с презрительной миной неохотно выходил Вильсон. Он шел, оглядываясь на фельдмаршала, словно ждал, что Кутузов его остановит.

— Спокойной ночи, генерал Вильсон! — сказал вслед ему Михаил Илларионович.

Кутузов остался с Лористоном с глазу на глаз.

Старый и молодой дипломаты сидели друг против друга, разделенные лишь неширокой сосновой столешницей.

— Я вас слушаю, генерал, — сказал Кутузов, глядя на Лористона.

— Ваше сиятельство, мой государь хотел бы предложить разменять пленных, — сделал первый, такой невинный на вид, выпад молодой дипломат.

«Вы не имеете точных данных о нашей армии и хотите получить их столь простым способом?» — мысленно перевел на свой язык просьбу Наполеона Кутузов.

---

[1] Посол властелина *(лат.)*.

— Мы так мало потеряли пленными, что, право же, генерал, игра не стоит свеч! Не стоит говорить о таких пустяках! — легко парировал первый удар противника Кутузов.

— Да, да, конечно. Это маловажный вопрос, — согласился Лористон. — Есть поважнее...

«Ну, какой же?» — подумал Михаил Илларионович.

— Его величество жалуется на варварский образ войны. Ваши крестьяне нападают на наших одиночных солдат. Сами поджигают свои дома и хлеб. Император полагает, что следовало бы унять крестьян.

Кутузов невольно улыбнулся:

— Если бы я и хотел изменить образ мыслей народа, то не смог бы достичь в этом успеха! Русский народ считает эту войну вроде татарского нашествия.

— Я думаю, что между великой армией и ордами Тамерлана все-таки существует разница! — не выдержав дипломатической бесстрастности, покраснел, задетый за живое, Батист Лористон.

— Может статься, но не в глазах народа, который видит, как горит его древняя столица.

— Нас обвиняют в поджоге Москвы, но вы же знаете, ваша светлость: жечь города не в характере французов! Москву подожгли сами жители.

— Жители виноваты в очень немногих пожарах. Эти пожары легко было потушить. Вы же разрушаете Москву планомерно: определяете день, когда должна гореть та или иная часть города. Вы разбиваете пушками дома, которые слишком крепки. Я имею обо всем подробнейшие сведения, — сказал Кутузов, барабаня пальцами по столешнице.

Выпад Лористона обернулся против него самого: теперь ему приходилось защищаться.

— Ваша светлость лучше меня знаете, что всякая война — жестока. Но неужели эта необычайная, неслыханная война должна продолжаться вечно? Император, мой повелитель, имеет искреннее желание покончить раздор между двумя великими и великодушными народами, — с пафосом сказал Лористон.

Дело дошло до дипломатического красноречия. В словах Лористона все было ложью, за исключением одного: Наполеону действительно нужен был мир!

— При отправлении меня к армии слово «мир» не было упомянуто государем ни разу! Я буду проклят потомством, если заключу какое бы то ни было соглашение, — таково настроение русского народа! — легко хлопнул по столу ладонью фельдмаршал.

Лористон секунду помедлил с ответом, а потом вытащил из кармана мундира конверт:

— Ваша светлость, мой повелитель шлет вам письмо.

И он с полупоклоном передал конверт Кутузову.

Фельдмаршал вскрыл конверт, достал из него четвертушку бумаги и, отставив ее подальше от глаз, к самой свече, прочел:

«Посылаю к Вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с Вами о многих важных предметах. Прошу Вашу светлость верить словам его, особенно когда он станет выражать Вам чувства уважения и особенного внимания, издавна мною к Вам питаемые. Засим молю Бога о сохранении Вас под своим священным кровом.

Наполеон

Москва, 20 сентября 1812 г.».

«Последний козырь! Ничего не говорящая, по-дипломатически льстивая записка! Пыль в глаза!»

— Я бы просил, ваша светлость, разрешить мне поехать в Петербург к императору Александру, — просительно сказал Лористон и посмотрел на Кутузова умоляющими глазами.

«Вот самый гвоздь всего разговора!» — подумал Михаил Илларионович.

— К глубокому моему сожалению, генерал, я не имею права сделать этого. Я доложу обо всем немедленно его величеству и думаю, что результат будет благоприятным.

— А пока последует ответ, мы могли бы заключить перемирие, — вкрадчиво предложил Лористон.

— Простите, генерал, останавливать военные действия мне не разрешено, — ответил Кутузов.

— Сколько же уйдет дней на все это? — раздумывал Лористон. — Ваше сиятельство, когда пошлете рапорт императору?

— Завтра утром с князем Волконским.

— А может быть, лучше послать простого фельдъегеря — он доедет быстрее?

— Нет!

— Тогда, может быть, ваша светлость, разрешите князю Волконскому проехать через Москву — это будет короче?

Кутузов чуть улыбнулся такой детски наивной хитрости Лористона.

— Зачем же князю Волконскому проезжать через неприятельский лагерь? — ответил Кутузов и встал, показывая, что больше говорить не о чем.

Лористон прощался с Кутузовым так любезно, словно русский фельдмаршал оказал ему громадное одолжение. Но когда французский посол вышел к дрожкам, то в свете фонарей его лицо было невеселым.

III

Потерпев неудачу в своем желании присутствовать при переговорах Кутузова с Лористоном, взбешенный Вильсон пулей вылетел из избы.

На улице Вильсон громко порицал фельдмаршала, упрекал его в робости, слабости и преклонении перед «корсиканским выскочкой», кричал, что Кутузову пора на покой, повторял слова Ростопчина, который называл Кутузова «старой бабой».

Но возмущение Вильсона было понятно только двум принцам, шедшим вместе, — Вильсон говорил на английском языке.

Вернувшись к себе, герцог Вюртембергский пригласил их поужинать. Сэр Роберт не мог есть спокойно: он то и дело вскакивал из-за стола, выбегал на улицу и смотрел на окна избы, где сидели Кутузов и Лористон.

Они все так же спокойно разговаривали за столом.

Вильсон клокотал от злости. Он представлял, какое письмо напишет об этом свидании сегодня же английскому послу в Петербурге лорду Каткарту и императору Александру I.

Принцы поужинали, кое-как поужинал и Вильсон, а беседа Кутузова с Лористоном все продолжалась. Вильсон видел, как фельдмаршал читал какое-то письмо, которое вручил ему Лористон. Англичанин приходил в совершенную ярость: Кутузов читает, а он, Роберт Вильсон, не знает, что там написано. Он рисовал перед молодыми принцами страшную картину предательства Кутузова и настаивал на том, что их священный долг — тотчас же после отъезда французского генерала пойти к Кутузову и потребовать от него полного отчета.

Так и сделали.

Едва лишь коляска с Лористоном скрылась в ночной темноте, как Вильсон побежал к Кутузову.

Михаил Илларионович диктовал Кайсарову письмо к царю, которое завтра чем свет должен был везти князь Волконский.

Кутузов правильно понял это позднее посещение его принцами и английским генералом. Он спокойно, с милой улыбкой на этот раз попросил их сесть и выслушать все то, о чем он говорил с Лористоном и что сейчас диктовал Кайсарову.

Кутузов рассказал им о своей беседе с Лористоном и только упустил одну деталь: благоразумно умолчал о том, что сказал Лористону, будто надеется на благополучный исход переговоров. Кутузову надо было во что бы то ни стало задержать подольше Наполеона в Москве, и он сказал это нарочно.

Вильсон и принцы выслушали сообщение фельдмаршала и откланялись.

Уже было за полночь. Герцог Вюртембергский пошел к себе домой пешком (адъютант нес перед ним зажженный фонарь), а Вильсон и принц Ольденбургский, жившие вместе на противоположном конце Тарутина, поехали на дрожках. Ночь была темная. Бивачные костры еще горели, но песни и музыка уже утихли — тарутинский лагерь спал.

Ехали без фонарей. Дремавший кучер неловко свернул в сторону, попал в какую-то яму; дрожки опрокинулись и придавили правую ногу Вильсона.

Принц Ольденбургский и его адъютант Фенш с трудом вытащили сэра Роберта из-под дрожек. Вильсон едва поднялся: нога была сильно ушиблена.

День вообще оказался очень неудачным для него.

Но все это не обескуражило упрямого бритта.

Когда приехали на квартиру, принц Ольденбургский лег спать, а Вильсон сел писать письма.

Он не смог не солгать лорду Каткарту и написал:

«Фельдмаршал желал, чтобы герцог Вюртембергский и я были тут, когда Лористон войдет, чтобы показать ему, что герцог и английский генерал присутствуют в его совете».

И укоротил ненавистное ему свидание Кутузова с Лористоном. «Свидание продолжалось полчаса», — написал он, в то время как Лористон пробыл у Кутузова больше часа.

Ушибленная нога сильно болела.

Утром сэр Роберт не мог ходить, — так распухла нога. Принц Ольденбургский вызвал лейб-медика барона Вилие.

— Вам придется посидеть несколько дней дома, сэр Роберт, — сказал лейб-хирург, сделав Вильсону компресс.

— Ежели что-нибудь случится, я все равно выйду, я поеду верхом! — ответил упрямый Вильсон.

IV

Кутузов перенес главную квартиру из Гранищева в соседнюю деревню Леташевка, которая лежала в четырех верстах по дороге в Калугу: в Гранищеве было очень тесно и шумно.

Леташевка представляла собой маленькую, в несколько дворов, деревеньку. Главная квартира с трудом разместилась в ней.

Кутузов занял чистую избу с тремя окнами. За дощатой перегородкой у печи стояла кровать Михаила Илларионовича, а вся остальная, большая часть избы была кабинетом, столовой и приемной фельдмаршала.

Коновницын с канцелярией помещался рядом в старой избе, которую еще топили «по-черному». В ней не было трубы, и когда

топили русскую печь, то дым выходил только через волоковое оконце над дверью и через раскрытую дверь. Оттого все стены избы покрывал черный блестящий нарост сажи, по которому, шелестя, бегали такие же черные тараканы.

— Я хоть и Петр, но не великий и тараканов не боюсь! — шутил Коновницын, вспоминая, что царь Петр боялся их.

Во дворе в низеньком овине жил комендант главной квартиры Ставраков.

В избе у Коновницына стояли кровати и стол, а здесь не существовало никакой мебели. Глиняный пол овина толстым слоем устилала солома, покрытая попонами, полстями, коврами, бурками. Это был штабной клуб: здесь спали офицеры штаба, сюда собирались покурить трубочку, попить чайку и покалякать о том о сем адъютанты, вестовые фельдмаршала и все приезжавшие в армию, потому что в избе гостеприимного Коновницына не хватало места.

В Леташевке Кутузов развернул большую работу — наконец он получил возможность переорганизовать, подготовить армию к контрнаступлению так, как считал необходимым.

Кутузов не думал столь легкомысленно и наивно, как Беннигсен и Вильсон, будто с Наполеоном уже можно быстро и легко покончить. Пусть враг и ранен, но он еще достаточно крепок. И это ведь не какой-нибудь враг, а Наполеон!

Пока русская армия не пополнит свои силы и не подготовится как следует, начинать контрнаступление рискованно.

Надо воспользоваться предоставленной возможностью передышки. Пусть Наполеон тешится тем, что занял русскую столицу, и ждет ответа на свои предложения о мире.

Кутузов был убежден, что Александр I не пожелает говорить с Наполеоном, но нарочно оставил у Лористона некоторую надежду на благоприятный исход переговоров.

Каждый день, проведенный в Тарутине, был дорог для Кутузова. Он считал, что не надо тревожить медведя в его берлоге. Лишь бы Наполеон подольше остался в разграбленной и сожженной Москве.

Приезд Лористона пришелся очень кстати, чего не понимал или не хотел понять соблюдавший только свои, английские интересы нахальный Вильсон.

В Тарутине Кутузов прежде всего взялся усиливать свою позицию, особенно ее левый фланг. Опять понадобился шанцевый инструмент, которого не запасли вовремя, и его все время не хватало. Фельдмаршал попросил тульского губернатора прислать две тысячи двести лопат и тысячу топоров. И хотя губернатор Богданов был совершенно обыкновенный человек и не «писатель», как Ростопчин, он быстро и точно выполнил требование Кутузова. Весь нужный шанцевый инструмент был немедленно привезен к Тарутину.

Кутузов видел, что приближается военная зима. Он приказал генерал-интенданту Ланскому запасти сто тысяч подков для лошадей, а губернаторам Калужской, Рязанской, Орловской и Владимирской губерний — доставить сто тысяч полушубков, сто тысяч пар валенок и сапог и шесть тысяч лыж для стрелков.

Нужно было также позаботиться о провианте, снарядах, госпиталях и о многом другом.

Забот и работы у главнокомандующего хватало, а его заклятые враги и мелкотравчатые клеветники вроде Ростопчина и Вильсона кляузничали царю, будто фельдмаршал Кутузов предается в Тарутине неге и несвойственным его возрасту удовольствиям.

V

— Ваше сиятельство, сегодня поутру к нашим аванпостам пришло несколько москвичей. Не желаете ли побеседовать с ними? — спросил у фельдмаршала Паисий Кайсаров, когда Кутузов окончил подписывать поданные ему бумаги.

— Да, да, обязательно! Веди их, Паисий! — ответил Михаил Илларионович.

Кайсаров вышел из комнаты, а Михаил Илларионович повернулся к двери, готовый встретить гостей.

Еще во время «отступного марша» к старой Калужской дороге приходили в армию москвичи, бежавшие из французского плена. Тогда это были одиночки, а теперь в Тарутино стали являться уже по нескольку человек каждый день. Они приносили самые свежие данные о неприятеле.

Кайсаров ввел к фельдмаршалу группу оборванных и изможденных мужчин и женщин. Все они были в таких немыслимых лохмотьях, что могло казаться, будто Паисий собрал на какой-либо ярмарке самых жалких нищих.

Войдя в избу, москвичи кланялись фельдмаршалу, крестились на темные лики икон, висевших в красном углу.

— Здравствуйте, друзья мои! — приветствовал их Кутузов.

— Здравствуйте, ваше сиятельство! Здравствуй, батюшка! — нестройно ответили москвичи.

Они вошли и, казалось, принесли с собой запах дыма и гари московских пожарищ.

— Ну, как Москва? — спросил Кутузов.

— Нет Москвы, ваше сиятельство, осталось одно пепелище.

— Сжег ее, нашу матушку, окаянный ворог!

— Уже не белокаменная, а чернокаменная!

— Может, десятая часть ее только уцелела.

— Нет, я думаю, немножко поболе осталось, — сказал старик в полушубке, засаленном до такой степени, что он казался сделанным из жести.

— Ну где там поболе? — возразил ему высокий, с козлиной бородкой человек. — Замоскворечье-то все сгорело?

— Все, — ответил старик.

— Земляной вал — весь?

— Весь.

— Старая Басманная — вся?

— Как вся? — возразил старик. — Остался дом княгини Куракиной да гошпитальной.

— Еще дом Хлебниковой уцелел, — прибавили из толпы.

— Ну ладно, — не уступал человек с козлиной бородкой. — От Воскресенских ворот до дома главнокомандующего все сгорело, даже трахтир...

— Сгорело, — согласился старик.

— От Мясницких до Красных ворот — большая часть сгорела?

— Нет, там оставши еще.

— Гостиный ряд весь, — не слушая возражений старика, азартно заторопился человек с бородкой. — Немецкая слобода вся, Покровская казарма сожжена. Сжег проклятущий француз Первопрестольную, а говорит на нас, русских, — обернулся он к фельдмаршалу. — На Тверском бульваре невинных людей вешают, будто бы поджигателей.

— Хватают кого ни попадя и — хоть кстись, хоть божись — не слушают: веревку на шею, и готов...

— Страстная площадь у француза так и называется, ваше сиятельство, «площадь повешенных», — сказали из толпы.

— А ведь французы говорят: мы, мол, тушили! — усмехнулся Кутузов.

— Видел я, ваше сиятельство, как они тушили, — продолжал старик. — Я жил в Мясницкой части, у Колпачного питейного дому. Пришли ихние солдаты в этаких высоких медвежьих шапках вроде тушить начавшийся пожар, а сами только и рады переполоху: знай шарят по шкапам, сундукам да чуланам.

— И не боятся огня: дом горит, а они лезут в него и тащат что под руку попадется.

— Француз грабит без зазрения совести, — высунулась из толпы древняя старуха. — У меня стояли на окне банки с вареньем, так варенье вычерпали горстями, даже бумагу не сняли, а просто продавили.

— Что твое варенье! Вот он, — указал старик на паренька в ветхом зипунишке, — купил в спасов день новые сапоги. Когда пришли французы, он надел сапоги, а сверху на них натянул шерстяные чулки и старые калоши. И проклятущие догадались. Один

смотрел, смотрел, да и говорит: «Что это у тебя ноги столь толстые?» А парень отвечает: «Водяная прикинулась». — «А вот, — говорит француз, — я тебя сейчас от водяной вылечу». Содрал с него чулки и сапоги. Парень остался в одних дырявых калошах. Как у меня дочиста все в дому обобрали и самого раздели-разули, я жаловался ихнему генералу — он на Покровке у церкви Успенья стоял. Так генерал только улыбается: «Из ста тысяч французских детей (это они-то, грабители, «дети»!) найдется, говорит, немало шалунов!»

— Это еще хорошо, что парень не вздумал сопротивляться, а то хуже было бы. Я видал, как прусской улан приметил у чиновника табакерку с финифтью, стал отнимать, а чиновник не дает: известно, жалко. Так улан без зазрения совести и проткнул чиновника пикой.

— И кто же больше грабит: француз, итальянец, немец или поляк? — полюбопытствовал Кутузов.

— Настоящие, природные французы — добры: где стащат, а где и своим поделятся!

— Француз берет то, что ему сгодится, а прусак не токмо грабит, а еще и портит: не может сам унесть, так уничтожает, чтобы после него другой не мог попользоваться. Вот сколь вреден!

— Француз как сыт да пьян, так никого не трогает, только болтает без умолку, а эти хуже исправников да заседателей ко всем пристают: давай пенионзы, давай брот, давай млека!

— Кто это?

— Ляхи, да беспальцы, да поварцы.

— Поляки, вестфальцы да баварцы? Так, так, — покачивал седой головой фельдмаршал. — Но, стало быть, живется им на грабеже да насилиях неплохо?

— Нет, ваше сиятельство. С едой у них тесновато. Сласти — вина, варенья, конфет — много, сахар они даже в суп кладут; а хлебушка не видно.

— И с одеждой плоховато, — прибавили из толпы. — Все торговые ряды обворовали, все дома ограбили, а ходят в женских салопах да в монашеских рясах. Кто генерал, а кто капрал — не разберешь!

— Теперь, как все погорело, ищут в стенах, в подвалах, погребах, роют в огородах, садах. Где увидят свежую землю, там и копают.

— Дворы поливают водой: если вода быстро впиталась, значит, взрыхлена, тут и роют.

— Могилы на кладбищах разрывают: думают, там клад...

— Слуг, ваше сиятельство, которые оставши при домах, бьют и пытают, чтоб указали, где спрятано барское добро, — рассказывал степенный мужчина в бакенбардах, по всей видимости, лакей. — Не осталось такой пытки, которой они не пользовались бы!

— Уж всю верхнюю одежду и сапоги сымут, идешь в одном бельишке, все равно обыскивают, смотрят, нет ли на шее креста серебряного, не зашито ли где что.

— Женщину встретят — соромно сказать, ваше сиятельство: юбку на голову заворотят и обыскивают...

— Нашей сестре — хуже всего! — раздался из толпы бабий голос.

— Ни малых девчонок, ни седых женщин не щадят охальники! Тьфу, прости Господи! — сказала в сердцах старуха.

— В девичьих монастырях иношеский сан оскверняют.

— Молоденькие послушницы чего не делают: сажей лицо мажут, в тряпье одеваются, чтоб страшнее казаться, — не помогает...

— Девичье естество не спрячешь.

— Как пришли к нам в дом, — сказал лакей, — все спрашивали: «А где ваши боярышни? Где ваши мамзели? Хотим, мол, с ними поплясать, позабавиться».

— «Мамзель» у них первое слово, — вставил человек с бородкой.

— Нет, перво слово у них «аржан», — снова не согласился с ним старик в полушубке. — «Аржан», стало быть, аржаной хлеб.

— «Аржан» — это, по-ихнему, деньги, — степенно объяснил лакей. — «Пень» — это хлеб, «бир» — это масло, «ох» — это вода.

— Не все требуют «аржан», другие поминают Пензу: «Матка, где Пенза? Пензу давай!» — поправила старуха.

— Ни наших ассигнаций, ни медных денег не берут, а только подавай им серебро!

— И допреж всего, ваше сиятельство, всякой кричит: «Манжет!» Мол, есть хочу, — сказал лакей.

— Спервоначалу не ели нашей русской пищи — квашеной капусты, соленых огурцов, вяленой рыбы...

— Семгу копченую пробовали жарить...

— А потом уж все прибрали, как саранча проклятая!

— Да, слава те Господи, сманжетили уже все: и галок, и ворон, всю городскую дичинку!

— Нехристи: голубей, божью пташку, извели! Как увидят голубя, целой ротой по нему палят!

— Что голуби! Они церквей святых не щадят: вон в Иверской часовне у них габвахта, у Спаса на бору — склад сена.

— В Лефортове, в Петропавловской церкви, быков содержат для убоя. А в Даниловом монастыре бойни устроены. В соборе на паникадилах туши висят, весь монастырский помост в крови и в коровьей требухе...

— А намедни звонят у нас на Мещанской у Андриана. Я думала, службу наконец позволили править, а это они, нехристи, залезли на колокольню и потешаются.

— Нет от них никакого житья, ваше сиятельство! — жаловались бежавшие.

— Порадейте, батюшка, вся надежда на вас! — просили обездоленные москвичи.

— Ничего, ничего, детушки! Отольются волку овечьи слезки! Мы им за все сполна отплатим — и за пожар, и за насилия, и за грабеж! — убежденно сказал фельдмаршал.

VI

> Благо тому народу, который в минуту испытаний, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью.
>
> *Лев Толстой. «Война и мир»*

Кутузов проснулся от размеренного, согласного топота сотен ног: по улице, мимо фельдмаршальской избы, шли из Тарутина войска.

Не хотелось подыматься с постели, но он все-таки встал, надел туфли и халат, подошел к окну и стал смотреть.

Еще во время флангового движения к Тарутину прибывали в главную армию пополнения князя Лобанова-Ростовского. А вчера генерал-майор Русанов привел сформированные им в Рязани, Тамбове и Воронеже четыре пехотных и два егерских полка. Кутузов смотрел их в поле. Полки были хорошо обмундированы и вооружены, имели вид тертых — хоть куда! — солдат. На учении неплохо стреляли.

Фельдмаршал остался очень доволен ими, благодарил генерала Русанова и весь офицерский состав.

Русановскими полками Кутузов пополнил гвардию.

— Вам будет весело служить с такими храбрыми молодцами, как наша гвардия, — говорил он рязанцам и тамбовцам. — Учитесь у стариков.

Солдаты Лобанова-Ростовского оказались значительно хуже. Они были еще, что называется, «сено — солома». Пока они больше напоминали ратников ополчения, нежели воинов. Их приходилось многому обучать.

Фельдмаршал приказал выводить ежедневно из лагеря за линию какую-либо часть для занятий в поле — «к лучшему познанию оборотных движений» и для стрельбы по мишеням.

Молодые рекруты приучались ходить тихим, скорым и беглым шагом, делали с полной выкладкой марши без дорог, по пересеченной местности, чтобы познакомиться со всеми превратностями похода, стать выносливыми. Кутузов учил молодых так, как в Петербурге готовил ополчение: поменьше фрунтовых «хитростей», побольше того, что требуется в бою.

Только в Тарутине Кутузов получил возможность организовать армию как следует. Раньше враг не давал времени, чтобы осмотреться. Те короткие дни передышки, которые случались иногда, служили только необходимым, недостаточным отдыхом. Оттого Михаил Илларионович так пристально следил за комплектованием и состоянием армии: от этого зависела окончательная победа. И теперь Михаил Илларионович внимательно смотрел в маленькое, зеленоватое от старости оконце.

Солдаты шли сносно. Конечно, любящий фрунтовую красоту Александр I побелел бы от негодования, видя такую выправку, а его «блаженныя памяти» папаша Павел I просто прогнал бы такие роты с парада, но в этих рядах уже присутствовал воинский ритм, шли уже не крестьяне с косами и цепами на косьбу или молотьбу, а солдаты с ружьями.

«Обомнутся, выправятся», — с удовлетворением подумал Михаил Илларионович и, кликнув Ничипора, стал одеваться.

Одевшись, Михаил Илларионович не спеша вышел из избы подышать свежим сентябрьским воздухом.

— Что, озяб, братец? — спросил он у стоявшего возле крыльца часового-измайловца.

— Никак нет, ваше сиятельство! — бодро ответил курносый гвардеец.

— Сыро. Вон землю как дождиком полило. И крыши влажные.

Михаил Илларионович стоял на крылечке, смотрел.

Напротив, через улицу, изба Беннигсена. Кружевные занавесочки на окнах, как у девушки-невесты. Возит с собой вместе с французом-поваром и лекарством от почечуя. Занавесочки задернуты, — значит, барон Левин-Август изволит еще спать-почивать. Вчера сидел допоздна — ужинал и «дулся» в штосе со своими прихлебателями, пока Михаил Илларионович отвечал царю на его выговор по поводу князя Яшвиля.

Генерал-майор Владимир Михайлович Яшвиль, сотоварищ Беннигсена по убийству Павла I, жил в Калужской губернии. Кутузов, не зная, что князь Яшвиль состоит под присмотром губернатора, поручил ему четырехтысячный отряд калужского ополчения. Царь, узнав об этом, дал нагоняй фельдмаршалу, и Кутузов вынужден был оправдываться.

— Не понимаю, — иронически улыбаясь, говорил Кудашеву Михаил Илларионович. — Один убийца, — кивнул он на окна

Беннигсеновой избы, — назначен начальником штаба армии, ему все дозволено, а другому, князю Яшвилю, оказывается, нельзя вверить даже небольшой отряд.

Михаил Илларионович сошел с крыльца и неторопливо двинулся, заложив руки за спину, вдоль изб, занятых главной квартирой.

Леташевка — деревенька маленькая, помещичьего дома здесь не было, изб мало. Пришлось размещаться во всех постройках, какие нашлись.

Вот старая изба, которую топили еще «по-черному». В ней живет работяга Петр Петрович Коновницын. Дверь в его избу раскрыта настежь. Из избы валит густой дым: денщик топит печь, стряпает для всей канцелярии обед. Дежурный генерал Коновницын обедал всегда у фельдмаршала, но кормил у себя всю свою штабную братию.

За древней избой раскинулся большой овчарник — низенький домик без окон, занятый комендантом главной квартиры полковником Ставраковым. В овчарнике нет никакой печи, но в нем всегда тепло: тут спала вся канцелярия и во всякое время дня «строила» чаи, курила бесконечные трубки и вела нескончаемые беседы штабная молодежь — адъютанты, ординарцы. На стене овчарника написано мелом: «Секретная квартирмейстерская канцелярия». Но дверь в овчарнике стоит открытой настежь, чтобы было светлее, и все ее секреты слышны издалека. Вот и теперь, пока Михаил Илларионович медленно подходил к овчарнику, он слышал, как чей-то тенорок выводил:

Полюбил меня московский купец,
Посулил он мне китаечки конец.
Мне китаечки-то хочется,
А купца любить не хочется!
Полюбил меня гусарик молодой,
Посулил он мне сухарик, да гнилой.
Мне сухарика не хочется,
А гусара любить хочется!

— Это Тройкин, — узнал своего адъютанта, ротмистра Ахтырского гусарского полка, Кутузов.

Фельдмаршал пошел вдоль овчарника. Остановился у стены послушать: о чем-то беседует молодежь? Голос Дзичканца рассказывал:

— Вот этак часов в одиннадцать утра сажусь за стол обедать. Разумеется, в халате. У ног моих лежит любимый пес Отругай. Пухленькая ручка, мишень моих лобзаний, разливает жаркий, пахучий борщ...

«Мечты о недосягаемом, о том, чего нет», — улыбнулся Кутузов.

— Потом спрашивает: какой тебе кусочек положить, мой маленький петушок?

— Хо-хо-хо, петушок! — рассмеялись в овчарнике.

— Ну не петушок, так голубок. Или еще какая-либо птица.

— А разве рученька может спрашивать?

«Это басит сам хозяин, полковник Ставраков», — признал Кутузов.

— Не мешайте, Семен Христофорович. Само собою разумеется, что говорят пухленькие губки, а не пухленькая ручка любимой супруги.

— А не жены?

— Не все ли равно, Семен Христофорович, супруга или жена?

— Нет, далеко не равно! Вот слушайте, как говорится в народе: если женился по любви — то жена, если из выгоды — супруга. Супруга — для совета, жена — для мужа. Жена делит радости и печали, супруга — имущество и деньги. Вот так-то, ваше благородие!

— Нет, тогда у меня — жена, женушка! — ответил Дзичканец. — И вот эта пухленькая ручка любимой женушки кладет на тарелку половину жареного поросенка с коричневой хрустящей кожицей...

— Постойте, Дзичканец, а были ли у вас за столом вареники с вишнями? — спросил Ставраков.

— Что за вопрос? Ведь действие происходит в благословенной Полтавской губернии. Ну вот, откушали...

— Как, уже и откушали? Так скоро? А разве ничего не пили за обедом? Или вы записались в трезвенники, испугались пухленькой ручки? — спросил иронический полковник Резвой.

— Нет, Павел Андреевич, выпивка была: домашняя сливянка или вишневка. Какой аромат, какой вкус! Поэма! Я пять серебряных чарочек пропустил...

— А знаете, Дзичканец, что пить из серебряной чарки называется пить втемную? — пробасил Ставраков.

— Ну, втемную так втемную. Я люблю из чарочки, Семен Христофорович!

На секунду в овчарнике голоса затихли. Очевидно, все в мечтах о будущем перенеслись в идиллическую домашнюю обстановку.

И только снова послышался тенорок ротмистра Тройкина, мечтавшего совсем об ином:

Я сорву алой цветок,
Совью милому венок,
Алой лентой обовью,
Поцелую-обойму,
Надёженькой назову...

— А вот послушайте, как меня в походе в восемьсот седьмом году обучали выпивке, — перебил артиллерийский поручик Лукьянов, прикомандированный к штабу. — Еду я с зарядными ящиками — вез снаряды. Холодина собачья, ветер. Навстречу мне — гусарский ротмистр. Усы повисли, взор мрачный.

— Явно с перепою, — подсказал кто-то.

— Да, да. Остановился и спрашивает: «Господин поручик, а нет ли в ваших ящиках древней истории?» Я удивился: «Никак нет, господин ротмистр». — «А не найдутся ли хоть повести Мармонтелевы?» У меня и глаза на лоб. «И повестей Мармонтелевых нет? Ну хоть чего-нибудь, говорит, из легкой литературы». — «Решительно ни одной книги нет у меня, господин ротмистр». А он досадливо махнул рукой и отвечает мне: «Да кто же вам говорит о книгах? На кой они черт! Я вам о древней истории и изящной литературе в военном смысле!» — «А это, спрашиваю, что же значит?» — «Извольте, объясню: в первом случае — водка, ром и коньяк, во втором — вина всевозможных цветов и качеств». — «Ах вот что! — понял я. — Так вы, говорю, господин ротмистр, кажется, изрядно начитаны?» — «Да, говорит, читывал, конечно, но видите ли, какая холодина? Надо бы пройти зады: повторение — мать учения. А то в такую погоду все чтение из головы выветрится!»

В овчарнике захохотали:

— Ай да чтец! Вот так грамотей!

— А что ж, сказано ведь: ешь солоно да пей кисло, на том свете не сгниешь! — сказал поручик Лукьянов.

Михаил Илларионович, улыбаясь, медленно пошел назад к себе, думая:

«Ах, молодежь, молодежь! А что им делать? Не о Наполеоне же, не о полушубках, госпиталях и подковах думать!»

Вслед ему из «секретной» неслась песенка:

К тебе любовью млею,
Мучение терплю,
Сказать того не смею,
Что я тебя люблю!

У фельдмаршальской избы стоял с самоваром Ничипор. Самовар уже кипел, но денщик все еще совал в трубу щепки.

— Он же кипит! — сказал Михаил Илларионович.

— Пущай в дру́гый раз закыпить — скусней будэ! — ответил Ничипор.

Кутузов усмехнулся: каждый денщик убежден, что если чай закипит вторично, то он будет вкуснее и крепче.

Кутузов вошел в избу.

Пока Михаил Илларионович сначала пил чай, а потом выслушивал пришедшего с докладом Коновницына, возле фельдмаршальской избы собрался, как всегда, народ.

В Леташевку приезжали из разных (и не только ближайших) губерний депутации дворян, купечества, духовенства с дарами и пожертвованиями в пользу армии.

Сюда стремились «всякого рода и состояния» люди, хотевшие попасть добровольцами в армию. На прием к фельдмаршалу являлись и безусые чиновники, и студенты, и семидесятилетние отставные подпоручики и ротмистры, которые мчались в главную квартиру, как старые военные кони, услышавшие полковую музыку. Ветераны надоедливо рассказывали о своей прошлой боевой деятельности, а молодежь скромно вручала фельдмаршалу прошения, исполненные искреннего патриотизма и начинавшиеся примерно так:

«Россия, дражайшее Отечество наше, яко оскорбленная мать, простирая к верным сынам своим длани, требует от них помощи, защиты и отмщения столь лютому и коварному врагу за обиды, насилия и поругания.

Я не имею денег, чтобы оными пожертвовать, но имею жизнь и здоровье. Ваше сиятельство! Простите мое дерзновение, что смело прибегаю к Вашему покровительству...»

Михаил Илларионович был ко всем ним чрезвычайно внимателен: семидесятилетних бывших гусар он не пускал дальше Тарутина, а молодежь охотно принимал в армию.

Сегодня у фельдмаршальской избы столпились одни крестьянские зипуны и свитки. Среди мужиков замешалось несколько парнишек лет десяти — двенадцати.

Подписав поданные Коновницыным бумаги и сделав распоряжения по армии, Кутузов вышел посидеть на крылечке и побеседовать с посетителями — день был ясный.

— Ну, с чем пришли, друзья? — обратился к мужикам Михаил Илларионович, садясь на скамейку.

— К вашей милости, ваше сиятельство, — ответило несколько голосов.

— Говорите, я слушаю.

— Хотим спросить, да не знаем как, — смущенно почесал затылок длинный, худой мужик.

— Ну, чего боишься, говори! — подбодрил его фельдмаршал.

— Ваше сиятельство, а француза... бить можно? — выпалил худой мужик и словно испугался того, что сказал.

Михаил Илларионович с удивлением посмотрел на него:

— Можно ли бить врага, который разоряет нашу землю?

— Да... армии — дело другое, а вот нам, мужикам?

— Он нас, русских людей, не милует, а мы будем с ним стесняться? А почему нельзя бить врага?

— Да вить, ваше сиятельство, мы княжеские, — сказал старик, ближе всех стоящий к крыльцу, — мы княжеские, у нас у князя жена — француженка, а управитель — немец.

Михаил Илларионович невольно улыбнулся:

— Так что же с того?

— Как бы чего худого не вышло.

— Кроме хорошего, ничего не выйдет!

— Стало быть, можно? — чуть не крикнул худой.

— Не можно, а должно бить!

Толпа весело загудела:

— А я что говорил?

— Вот это хорошо!

— Только, ваше сиятельство, бить его без оружия несподручно: пока дотянешься до хранцуза топором аль вилами, он тебя издалека скорей пристрелит. Нам бы ружьецом разжиться...

— На всех вас у меня ружей не хватит. Дам сколько могу, а потом уж сами добывайте у французов! — сказал Кутузов.

— Добудем, батюшка!

— Премного благодарны! — ответили хором мужики.

— Только не забудьте присылать к нам гонцов, как у вас дела идут. Вы откуда?

— Из-под Вереи.

— Хорошо. Ступайте вот за полковником, — кивнул на Резвого Кутузов. — Он вам десяток ружей даст.

Резвой пошел к избе Коновницына, у которого в чулане складывалось трофейное оружие. Мужики повалили вслед за ним веселой гурьбой.

У крыльца стояли одни ребятишки.

— А вы чего ждете, воробьи? — спросил Михаил Илларионович, лукаво поглядывая на ребят.

Мальчики молчали, смущенно улыбались, робели.

— Они, верно, вместе с тятьками пришли, — высказал предположение Кайсаров, стоявший у двери.

— Ну, что же вы молчите? — допытывался Кутузов.

— Нет, мы сами, — наконец осмелел кареглазый паренек в новеньких липовых лаптях.

— Как сами?

— Одни пришли.

— Откуда?

— Из Матрениной.

— Это где же такая?

— Из-под Вереи.

— Ага. А зачем пришли?

— Нам бы ружьецо, дедушка!.. — ковыряя пальцем тесовую обшивку крыльца, сказал кареглазый.

— Хоть бы одно на всех, — поддержал просьбу второй мальчик.

— А что же вы с ним станете делать?

— Француза бить.

— Он нашу деревню пожег. Тетку Марью убил, — прибавил третий.

— И дядю Степана, — разговорился последний, четвертый мальчик, бывший меньше всех.

— А где же вы теперь живете?

— В лесу, у лисьих ям, знаете? — ответил маленький.

Михаил Илларионович смотрел на ребят, горько улыбаясь.

— Дедушка, дайте хоть этот... Как его, забыл... Такой... поменьше... — просил кареглазый.

— Пистолет, что ли?

— Ага, ага! Дайте!

— А вы стрелять умеете?

— Умеем! — уже хором ответили мальчики.

— Как думаешь, Паисий, придется дать? — посмотрел на Кайсарова Михаил Илларионович.

— Придется, ваше сиятельство: парни — бравые, — ответил Кайсаров, пряча улыбку.

— Тогда принеси им карабин и патронную суму, что давеча взяли у пленного конноегеря. Карабин стоит возле окна, в углу.

Кайсаров принес французский карабин и сумку с патронами и передал Михаилу Илларионовичу.

— Тебе сколько лет? — спросил Кутузов у кареглазого паренька.

— В Филипповки будет тринадцать.

— Ну вот. Я в четырнадцать лет взял ружье, а ты немного раньше. Ты парень храбрый, будь же таким всегда! Получай!

И Кутузов передал кареглазому пареньку карабин и патронташ.

Мальчик весь зарделся от радости:

— Спасибо, дедушка!

— Спасибо! — благодарили все остальные.

И, окружив счастливца, побежали к коновницынской избе, где полковник Резвой выдавал крестьянам ружья.

Михаил Илларионович сидел на крылечке, удовлетворенно думая: «Народ поднялся, в нем вся сила!»

Наполеона, видимо, тоже очень беспокоит русский народ, партизаны.

Недаром и Лористон так распинался о «варварской войне». Перед партизанской войной весь полководческий талант Наполе-

она становится бессильным. Так было в Испании, так будет и в России.

Надо окружить Наполеона в Москве партизанскими отрядами, чтоб он без нашего ведома не мог сделать ни шагу. И побольше тревожить его коммуникации. А чтоб руководить партизанами, надо немедля отправить небольшие военные отряды.

«Ты думаешь, голубчик, разбить нас в генеральной баталии, а вот мы тебя доконаем малой войной!» — подумал Кутузов, вставая.

VII

> Каждый день, проведенный нами на этой позиции, был драгоценен для меня и для армии, и мы этим воспользовались.
>
> *Кутузов*

Партизанская война, которую от Витебска вели своими силами и по своему разумению народы России, приняла в Тарутине более широкие и совершенные формы.

Фельдмаршал Кутузов мудро оценил все значение и мощь народного гнева. Александр I и русское дворянство боялись народа и не хотели давать ему в руки оружие. Ростопчин, только на бумаге, неискренне призывавший народ дать отпор врагу, продавал москвичам заведомо негодное оружие. Когда же пришлось уходить из Москвы, Ростопчин предпочел оставить врагу в Московском арсенале сто пятьдесят пушек и шестьдесят тысяч новых, совершенно исправных ружей и пистолетов, нежели раздать их народу.

Кутузов же не только помогал организовать партизанские отряды и руководил ими, но и заботился об их вооружении.

Он взял под свой контроль выступления партизан, тесно связав их с действиями армии.

Кутузов разослал по всем направлениям летучие военные партии под командой молодых энергичных офицеров. Эти партии были костяком, на который опирались и вокруг которого росли отряды народных мстителей.

В треугольнике Можайск — Москва — Тарутино находились легкие военные отряды полковника Вадбольского, капитана Сеславина, поручика Фонвизина. Генерал Дорохов стоял у Вереи. Левее их, между Гжатском и Вязьмой, уже с конца августа действовал отряд Дениса Давыдова. Правее, на Серпуховской дороге, был отряд князя Кудашева, на Коломенской — казачьего полковника Ефремова, у Рузы — майора Пренделя, у Можайска — подполковника Чернозубова.

Москва была охвачена с юга и юго-запада цепью отрядов.

Они истребляли шайки французских мародеров, нападали на отдельные команды и транспорты наполеоновской армии, перехватывали курьеров и брали пленных.

Такая «малая война» была необычайно неприятна, непонятна и тяжела Наполеону: он терял в ней каждый день убитыми, ранеными и пленными сотни солдат.

Не очень понимал, а потому и не очень одобрял ее и английский соглядатай при квартире русского главнокомандующего сэр Вильсон, считавший себя первоклассным полководцем. Ему поддакивал Беннигсен: барон вообще всегда считал своим долгом выступать против любого начинания Кутузова. Он из зависти к Михаилу Илларионовичу называл «малую войну» никчемной.

— Курочка по зернышку клюет да сыта бывает! — говорил на все такие неумные, недальновидные разговоры Кутузов.

Он не обращал внимания на злопыхательства врагов и, делал свое. Фельдмаршал каждый день имел точные сведения о противнике и мог спокойно жить в тарутинском лагере, который, в сущности говоря, был не лагерем, а крепостью.

Русская армия хорошо обжилась за три недели у Тарутина. Лагерь растянулся от правого берега реки Нары по обеим сторонам Калужского большака почти на две версты в длину.

Видя, что главнокомандующий не собирается сниматься с места, солдаты построили теплые шалаши и землянки, завели бани. У офицеров в землянках появились камельки, и лежанки, и кое-какая мебель. В деревне Гранищево, как во всех окрестных деревнях, покинутых жителями еще до прихода армии, не осталось изб: солдаты растащили их по бревнышку, используя по-своему. Кое-что — заборы, клети, сараи — в первые же дни пустили на дрова. В Гранищеве было всего лишь две улицы, а тут сразу образовалось их множество: «Шестой корпус», «Второй корпус», «Гвардейский» и т. д. Самой крайней была «Кирасирская», а за ней все поляны вдоль дороги занимала резервная артиллерия, тянувшаяся чуть ли не до Леташевки.

В лагере существовали не только улицы, но и площади, возле которых осели пронырливые, юркие маркитанты.

Тарутино стало чем-то вроде столицы: взоры всей России были обращены на это безвестное село.

Сюда двигались воинские пополнения, гнали табуны лошадей, везли снаряды, порох, ружья, полушубки, сапоги, хлеб, фураж.

В Тарутино шли пешком и ехали на подводах мужики и бабы проведать служивших в армии сыновей, мужей, братьев.

Торговцы гнали скот, везли масло, мед, крупу, яйца.

В Тарутине можно было достать ставропольские арбузы и дыни, крымский виноград, астраханскую сельдь, киевские паляницы.

Тарутино походило на шумную, веселую ярмарку.

Ржали кони, звонко перекликались кузнечные молоты: полковые кузнецы делали подковы, обивали железом колеса повозок; стучали топоры: плотники исправляли фуры и зарядные ящики. На площадках сбитенщики, саечники, пряничники, блинники, квасники зазывали покупателей. Продавцы махорки кричали: «А вот черт курил, дымом жинку уморил!» Торговцы нюхательным табаком предлагали: «На грош нюхай сколь хошь!» Разбитные маркитантки бойко выкрикивали: «А вот орешки для помешки, пряники для Анечки!» — и лукаво поглядывали на служивых.

А старые служивые лихо подкручивали ус и улыбались друг дружке:

— Ишь у нас как: любую ягодку-малинку рви!

Всего в изобилии, лишь бы в кармане у служивого водились деньжонки.

И как раз деньги в армии пока что водились: за Бородинскую баталию каждый солдат получил по пять рублей, а офицер — третное жалованье.

В первые дни жизни в тарутинском лагере солдаты, обносившиеся в походах и боях, ходили в потертых, латаных мундирах и, шинелях, в пестрых, у кого какие оказались, холщовых, холодных брюках. У офицеров редко были видны эполеты и шарфы.

Блестели только ружья, штыки, эфесы сабель да пушечные стволы. Фельдмаршал понимал нужду и строго взыскивал лишь за чистоту и исправность оружия.

Но через неделю каптенармусы выдали на зимние панталоны белого, серого и черного сукна, и армия приоделась.

Жизнь в лагере была разнообразнее и веселее, чем в походе. В походе и бою некогда осмотреться и новости одни и те же: вчера убили того-то, сегодня ранили этого.

А здесь каждый день что-либо новое.

То пригонят из Калуги или Рязани тысячу лошадей для пополнения конницы. И не только кавалеристы, но и пехотинцы рады случаю посмотреть, оценить и обсудить коней по всем статям.

То въедут в лагерь с песнями, с музыкой, с лихим присвистом новые казачьи полки ополчения, которые собирал на Дону атаман Платов. Любопытно посмотреть: безусые чубатые казачата в одном ряду с седобородыми казаками. Деды и внуки в одной сотне. И пойдут рассказы о том, как деды «скрадывали свои лета не для венца брачного, а для подвига ратного».

То пригонят, как стадо баранов, очередную партию пленных, которых взяли мужики-партизаны. Желтый гусар рядом с малиновым уланом, громадный кирасир в шишаке — с малорослым артиллеристом в куньей шапке. Всякой нации люди: французы, прус-

саки, голландцы, баварцы, итальянцы, поляки. Стоят истощенные, худые.

— Не густо живете, тесно у вас с хлебушком!

— А не лезь в чужой двор! — говорили солдаты, глядя на незваного гостя, и удивлялись: из одной, кажется, армии все они, под одним французским золотым орлом воюют, а друг дружку не разумеют!

Коротенький осенний день в Тарутине пролетал для солдат незаметно. Молодых рекрутов уводили за лагерь на стрельбище, а старых с утра смотрел сам фельдмаршал. Сумы открыты, накремники вынуты и повешены на пуговицу, пыжовники и отвертки сняты.

Михаил Илларионович медленно шел вдоль строя и хоть одним глазом, а все видел, замечал всякий непорядок.

Но вот день прошел. Пробита «Зоря», пропели «Отче наш», и раздался фельдфебельский крик (нет приятней команды на свете):

— Водку пить!

Все бегут к каптенармусу, каждый спешит выпить «ржаное молочко»: водку выдавали в Тарутине три раза в неделю, а в дурную погоду — ежедневно. И хотя жадная каптерская душа, конечно, разбавляла ее речной водицей, но солдат пил водку с удовольствием. От каптенармуса все бегут к своим артельным котлам ужинать.

Сытная каша съедена. Трубочка выкурена. Кажется, можно бы и на боковую.

Но ничуть не бывало. О сне никто не думает — завтра не в поход и не на бой, можно и позабавиться.

Вот слева, в соседней роте, уже затянули серьезную песню, которую кто-то сложил здесь, в Тарутине:

Ночь темна была и не месячна.

Справа завели старую, лукавую, занозистую:

Молодка, молодка молодая,
Солдатка, солдатка полковая...

Где-то весело тренькает балалайка, и тенорок вместе с ней выговаривает:

Ах ты, черненький глазок,
Поцелуй меня разок!

А во втором батальоне уже ухает бубен, слышится топот ног, и кто-то припевает, выплясывая:

Как под дождичком трава,
Так солдатска голова:
Не кручинится, не вянет,
Службу царску справно тянет...

У жарких костров пошли задушевные разговоры.

У одного вспоминают Бородино:

— При Бородине трусу не было приюта!

— Да, пришлось и в рыло, досталось и по дыхлам, схватили и под микитки!

— У нас под телегой на самой оси висела корзинка с овсом. Ядро пробило ее, прошло скрозь овес и засело в оси. Так и до сих пор сидит.

У второго костра балагур-рассказчик складно бает:

— Старый муж молодую жену имел, из дому отпускать в гости никуда не хотел. Когда же с нею вместе опочивал, то спальню свою накрепко запирал...

У третьего старый солдат не спеша поучал молодых:

— Первый год службы — это, как сказано, первая паша, первый подножный корм... Я вот, братцы мои, в девяти стражениях был. В первых двух делах, не хочу греха таить, хоть назад и не пятился, а больно струсил: не пришлось мне по скусу, как ядра жужжат да пули свистят. Но с третьей схватки попривык к этой музыке. И перетузил на свой пай чуть ли не десяток врагов!

А в сторонке, где чернеют телеги и шалаши маркитантов, слышится приглушенный говор:

— Что ты, окаянный, уронишь! — недовольно шепчет бабий голос.

— Толста, не расшибешься!

— Чего пристал, всамделе? — уже строже начинает тот же голос, но тотчас сбивается на прерывающийся хохоток: — Ой, пусти, сатана!

— Дуня, слышь-ка! Где же солдату и погреться...

— Я те погреюсь! Пшел ты к лешему! — опять становится суровым бабий голос, слышится звучный шлепок, и от маркитантской телеги отлетает в сторону какая-то фигура в шинели.

— Велика барыня — до нее и не дотронься! Сама не прочь, даром что мужняя жена, — недовольно изрекает фигура.

Но через секунду снова ласково усовещает издалека:

— Дуня, Дуняша! Подь сюда — хозяин требует!

— Я те такого хозяина дам, гладкий пес! — слышится в ответ.

И все эти лагерные звуки покрывают протяжные оклики часовых.

Тарутинский лагерь жил полнокровной, спокойной жизнью, словно не было войны, словно в двенадцати верстах не стоял авангард Мюрата.

Русская армия пополнялась, укреплялась, отдыхала.

Вильсон, Беннигсен и прочие недруги Кутузова не хотели видеть этого, но народ, солдаты понимали прозорливость старого фельдмаршала.

— Наш Михайло Ларивоныч держит Аполиёна в Москве, точно лютого зверя в западне! — с гордостью и некоторой похвальбой говорили они.

Глава десятая

ПАРТИЗАНСКОЕ ЖИТЬЕ

В течение шестинедельного отдыха главной армии при Тарутине партизаны мои наводили страх и ужас неприятелю, отняв все способы продовольствия.

Кутузов

I

Вот когда Черепковский понял, что командовать, пожалуй, труднее, чем быть под командой.

В роте ему ни о чем не приходилось думать: за него думал ротный, капитан Чельцов. А случится тревога — загремит неусыпный барабан.

Здесь же и без барабана вечное беспокойство: выставь за деревней караулы да ночью сам проверь, не спят ли под кустиком дозорные. Патронов мало, ружей и того меньше — у кого голова об этом болит? У командира. А в бою класть голову что рядовому партизану, что командиру — одинаково.

Черепковский и Табаков осваивались с давно забытой деревенской жизнью, а мужики привыкали к новой, незнакомой роли партизан. Черепковский не думал обучать партизан строю. Он учил чистить ружье и всегда помнить о нем.

— Ружье чтоб всегда было справно. Придешь в избу, прежде всего ему место найди. Но не где-либо в темном углу, что сразу и не схватишь, коли вдруг понадобится, и не с бабьими ухватами да помелом, — повторял он то, чему двадцать лет назад учил его самого фельдфебель.

Черепковский прививал партизанам кое-какие солдатские заповеди:

— Кто вперед идет, тому одна пуля, а кто бежит назад, тому десять вослед! Храбрый терпит раны как мученик, трус — как наказанный преступник! — поучал Левон.

— Пострелять бы! — просила молодежь, не очень прислушиваясь к поучениям.

— Патронов мало. В армии и то говорится: береги патрон в бою, а сухарь в походе. А тут и подавно. Разживемся немного, тогда и постреляем.

— Как ни учись стрелять, а француз скорее тебя подстрелит, — сказал староста. — Он с ружьем так, как ты с цепом!

— Ничего — схватимся в загрудки!

Табаков слушал наставления Черепковского партизанам и вполголоса говорил бабам, которые так и ждали от этого веселого солдата каких-либо шуточек-прибауточек:

— Левон не колпак: строгий командир! Он у меня ровно поп, а я как пономарь. Он проповеди читает, а мое дело только петь.

Неунывающий Табаков поддерживал настроение деревни: все крестьяне ходили мрачными — в Москву вошел враг.

— Эх, Москва, Москва, горбатая старушка! — вздыхали крестьяне.

— Эта весть, как крещенский мороз, оледенила нас!

— Ничего, братцы! — подбадривал Табаков. — И опрочь Москвы люди живут: вот на Волге, в Сибири, на Украине.

— И какой-то Аполиён? Али у него ноги в десять сажен, что он так быстро до нас добрался? Ведь его царство — за морем, за горами, за лесами?

— Нет, не за морем. К нему по сухому пути дойтить свободно — через Смоленск, наш Витебск, Минск и на Аршаву. Прямая дорога, — объяснял Черепковский.

— Сказывают, он сам-то с локоток, таконечкий, а пузо у него агромадное, словно целое корыто гороху съел.

— Да не ври, — строго перебил Черепковский. — Человек как и все. Мы вот с Табаковым его видали...

— Да неужто?

— Всамделе. Человек как человек. Голова облезши, как старый полушубок, а шея синя, ровно в петле была, — улыбался Табаков, и партизаны не знали, шутит он или взаправду Аполиён таков.

Вместе со слухами о пожаре и разграблении Москвы доходили и другие, более веселые слухи: народ подымался на врага кругом. Все — и стар и млад, мужчины и женщины. Тут партизан собирал бурмистр, там — отставной солдат, а в соседнем селе — волостной писарь. И всего чуднее казалось, что в партизаны шли женщины.

— Ирод нашу сестру нарушает, — говорила баба. — Вон в Знаменье к помещичьей кухарке двое ихних подлипал влезли в чулан, где она спряталась. Так стряпуха их обоих кухонным ножом и приколола!

Девушки испуганно переглядывались:

— Поделом им, окаянным!

— А тая кухарка — Настасья знает — немолода, годов сорока, да к тому же дурнолица, с журавлиной шеей.

— Им любая гожа́...

— Вот добро нашему брату мужику, — улыбался Табаков. — Только б от него лошади не шарахались, то и красив!

Отовсюду шли рассказы об убийствах стариков и детей, о насилиях и грабежах солдат «великой армии».

В деревню иногда наведывались группы мародеров, но Черепковский не зевал, всегда достойно встречал их со своими партизанами. И его отряд все больше вооружался. Кроме того, молодежь ходила на страшное бородинское поле собирать ружья и патроны. И вскоре у большинства партизан уже были ружья.

Черепковский учил партизан на лесной полянке стрелять. Стреляли в соломенный куль, на который надевали мундир убитого французского солдата.

И через неделю уже кое-кто из молодых хвастался перед девками:

— Я к ружью, как крючок к петельке, приловчился. Мои выстрелы всегда верны, и франц промаха не жди!

II

Война ушла куда-то далеко, совершенно не стало слышно орудийных раскатов. Казалось, всюду царят тишина и покой.

Враг сидел в сожженной Москве. Партизаны со всех сторон окружили ее, не позволяя Наполеону производить фуражировку в окрестностях. У Калуги стояла главная русская армия, которая, по всем слухам, крепла и росла день ото дня.

Деревня повеселела.

— Аполиён сидит как волк, попавший в облаву! — говорили крестьяне.

Почти весь партизанский отряд был уже вооружен, и Черепковский сказал:

— Нечего нам отлеживаться. В военное время не вино курить, не брагу варить. Надо понемногу щипать француза.

По своему солдатскому опыту он знал, что к Москве должны двигаться обозы с вооружением, продовольствием, снаряжением.

— Как станем отбивать их подводы да нарушать подвоз, так Аполиён скорее ножки протянет!

Мужики охотно согласились: что ж, попробуем! Черепковский отобрал тридцать партизан помоложе, велел им взять с собой на два дня сухарей и толокна.

— А спать-то где и как будете? — поинтересовалась какая-то сердобольная старуха.

— Клади под голову кулак, а бока лягут и так! — шутил Табаков.

— Тебе что? Ты будешь спать в избе, — ответила старуха. Левон оставлял Табакова на всякий случай в деревне командовать стариками.

Партизаны впервые вышли за пределы своей деревни. Они осторожно двигались к большаку. Во всех деревнях, мимо которых они шли, их встречали партизанские дозоры.

— Куда путь держите? — спрашивали их крестьяне.

— Идем к французу в гости, — серьезно отвечал Левон.

— Час добрый!

К ночи Левон Черепковский со своим отрядом дошел до большака, переночевал в лесу, а утром расположил своих партизан на опушке леса, откуда открывалась Смоленская дорога.

Некоторое время на дороге никого не было видно. Затем показался длинный обоз, идущий с запада. На высоких нерусских фурах что-то везли. Фуры сопровождало большое прикрытие — эскадрон улан.

— Это антиллерийские. Везут порох, бомбы да гранаты, — сказал партизанам Левон. — Взорвать бы их, да у нас сила мала...

Когда обоз прошел, Левон перевел партизан в лощину, где через речушку был проложен небольшой мост. Он выставил с двух сторон караульных, чтобы знать, кто поедет по большаку, и взялся с партизанами ломать мостовины.

Партизаны успели взломать доски моста, когда дозорные сообщили, что со стороны Москвы движется небольшой обоз, сопровождаемый несколькими верховыми.

Левон приготовился встретить гостей — он расположил партизан в придорожных кустах.

Подъехав к поврежденному мосту, французский обоз остановился. Возницы, не ожидая нападения, слезли с телег и пошли к мосту — судить-рядить, что делать.

Партизаны по команде Левона ударили по ним из ружей, а потом кинулись врукопашную.

Произошел короткий бой. Из пеших и конных французов не уцелел никто. Партизаны отделались сравнительно благополучно: шесть человек были легко ранены.

Левон Черепковский, гордый и удовлетворенный, возвращался домой с добытым оружием и трофеями.

Все встречные крестьяне хвалили их за удаль и завидовали трофеям.

В этот день деревня напоминала шумный базар. У Старостиной избы, окруженные односельчанами, стояли и сидели партизаны. Они рассказывали о своих делах.

— Дяденька Левон, а что этот рыжий кричал: «Русь, пардон!»? — спрашивал молодой паренек.

— Это значит: сдаюсь! — объяснил Черепковский.

— А ты должон ему отвечать: «Никс пардон!» Стало быть, нет тебе никакой милости, ворюга! — прибавил Табаков, которому хотелось показать, что и он не лыком шит, а тоже кое-что знает.

— Я как подскочил к тому высокому, он хотел меня срубить сашкой. А я стукнул его прикладом, он и перекувырнулся. Я гляжу: помер аль нет? Хотел колоть штыком, а Петька кричит: «Брось, не коли! Сам околеет!» — рассказывал другой парень.

Табаков даже закашлялся от смеха.

— Такой детина даст, да еще спрашивает: помер ли? После твоей рученьки надо сразу панифиду заказывать!

— Что ж, мы гостей не звали, а постели им постлали, — нравоучительно заметил Черепковский.

— А я, — постарался завладеть разговором третий партизан и сам уже заранее смеялся своему приключению, — вижу, бежит поп, на плечах риза, на ризе хрест. Ну как тут его бить? Я и кричу дяде Левону: «Это ж поп, как в него стрелять?» А дяденька мне отвечает: «Он только прикрывается хрестом, а такой же поп, как мы с тобой!»

— И ты в хрест стрелил? — возмущались бабы.

— Хрест на плечах, а я чуть пониже, в поясницу вдарил!

— И зачем он, сучий сын, в ризу рядился? — не переставали возмущаться бабы.

— Набравши, награбивши в Москве, сами не знают, что и делают. От дожжа заместо плаща надел ризу, конечно! — объяснил Черепковский.

— Ах он окаянный! — не унимались бабы. — И что ж ты, паря, этого нехристя убил?

— Не встанет! — весело ответил партизан.

Разбирали, оценивали трофеи: оружие, телеги, вещи, которые французы, награбив в Москве, увозили в тыл.

Кусок парчи — он сгодится бабам на кики. Золоченые канделябры громадные, кому они нужны? Пожертвовали в церковь. А вот фарфоровая чашка. Красивая, ободок золотой, бока разрисованы, а в днище для чего-то дыра. Зачем она? В такой чашке ни киселя, ни каши не удержишь!

Но больше всего удивлял французский конь убитого драгуна. Коня придирчиво осматривали старики. Конь не понимал русского языка — ни «дай зубы», ни «ногу, ножку!» — и даже такого простого, ясного всем, как понукание, — «но»!

— Молодой, здоровый конь, а поди ж ты — бестолковый. Я ему говорю, а он ровно глухой! — возмущался старик.

— Что думаешь, дедуня, все кони на свете понимают только русскую речь? — усмехнулся Табаков. — Мы вот с Левоном бывали и в Неметчине, и в Туреччине, и у австрияка — вся животная такая: понимает только хозяйский язык!

III

В треволнениях живой партизанской жизни незаметно прошло лето. Потускнело небо, стали холоднее солнечные лучи, все чаще сыпался на землю нудный, осенний, «грибной» дождик. Неуютно стало в поле и в лесу. Бабы и старики уже неохотно ночевали в сырых лесных землянках, жались к избам и клетям, обнадеженные тем, что партизаны не дадут их в обиду.

И неуютно жилось на московском пепелище незваным гостям. От села к селу упорно шел слух: ни хлеба, ни фуража французы достать в Подмосковье не могли — в каждой деревне их ждали с ружьями, вилами, косами, топорами партизаны. Казачьи пики и шашки военных летучих отрядов встречали вражеских фуражиров на каждой дороге.

Холодно и голодно жилось «францу» в чужом, разоренном ими гнезде.

— А поголодай, Аполиён, поголодай!

— Раньше сказывали: «Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят!» А теперь и того нет, что у нас, в деревне! — смеялись мужики.

В Москву партизанам хода нет, но они, бродя по закустью, могли видеть французских курьеров, едущих в столицу. Летом это были сытые, барские рожи, а теперь голодуха сделала свое: из-под каски или кивера смотрели голодные глаза и впалые небритые щеки. Табаков, впервые увидев такого курьера, тотчас же — к смеху остальных партизан — вспомнил народную песню:

Сам шестом,
Голова пестом,
Руки грабельками,
Ноги вилочками,
Глаза дырочками...

И в одежде курьеры потеряли свой прежний бравый, воинственный вид. Вместо нарядного мундира болтался какой-то архалук, женская мантилья, а то и монашеская ряса.

— Обносились соколики! — потешались партизаны.

А кони курьеров чуть плелись, — видно, негусто живется и лошадям в ограбленной, сожженной Москве.

Однажды Левон Черепковский со своими товарищами обозревал из кустов дорогу. Вдали показалось несколько подвод: то ли везли из Москвы раненых, то ли опять увозили награбленное к себе домой. Охраны было не много — по одному-двум человекам на телеге. Черепковский решил напасть на них. Он распределил, кому из партизан по какой подводе стрелять.

— Вы, братцы, — сказал он двум парням, стоявшим рядом, — бейте по первой.

— Дяденька, в кого же стрелять-то? — спросил Петруха. — Тама ведь барыня сидит!

На передней телеге действительно сидела какая-то фигура в женском платье. На голове торчала вычурная соломенная шляпка.

— Какая-такая барыня? Это самый настоящий француз. Видишь, из-под юбки-то красные порты торчат и ботфорты? — усмехнулся Черепковский.

Левон был прав: когда партизаны разбили небольшой транспорт, «барыня» оказалась усатым драгуном.

Глава одиннадцатая

РУССКАЯ АРМИЯ НАСТУПАЕТ

Переход из оборонительного положения в наступательное — одно из самых затруднительнейших действий на войне.

Наполеон

I

Это уже начинало надоедать Михаилу Илларионовичу: каждый день кто-нибудь из генералов осторожно намекал ему, что не довольно ли, мол, стоять у Тарутина, не пора ли наступать?

Наступлением прожужжали Кутузову уши.

Об этом говорили Коновницын и Ермолов, Багговут и Платов, но, конечно, больше всего старался Беннигсен, которого подбивал английский уполномоченный. Вильсону не терпелось: хотелось поскорее, немедленно, сейчас же разделаться с ненавистным Наполеоном. Сэр Вильсон не желал внимать никаким резонам, не принимал в расчет никаких доводов. Карфаген должен быть разрушен! Ведь подставлять голову под французские пули будут не англичане, а русские, так чего же, в самом деле, медлить? Он вместе с Ростопчиным клеветал на Кутузова Александру I, обвиняя фельдмаршала в нерешительности, медлительности и вообще во всех смертных грехах. Вильсон хотел, чтобы русскими войсками командовал Беннигсен — с ним он легко бы сговорился.

Кутузов видел это и однажды, во время спора с Беннигсеном, прямо сказал ему:

— Мы с вами никогда не сговоримся, барон: вы думаете только о пользе Англии, а по мне, если сегодня этот остров пойдет на дно морское, я не заплачу!

В последние дни о наступлении упрямо заговорил даже Карлуша Толь. Сидение в Леташевке было горячему Толю не по нутру. Он каждый день ездил на рекогносцировку и сам проверял то, о чем доносили казачьи разъезды.

Казаки продолжали прибывать с Дона. К началу октября пришло в Тарутино двадцать четыре полка. Казачья разведка и пронюхала первая, что авангард Мюрата стоит у речки Чернишня слишком беспечно.

Мюрат, ежедневно встречаясь на аванпостах с казаками и генералом Милорадовичем, привык к ним. Неаполитанский король считал, что казаки влюблены в него, а Милорадович — его друг. Оба генерала съезжались на аванпостах, как два соседа-помещика в отъезжем поле. Оба болтуны, они говорили без конца и хвалились друг перед дружкой, причем, по словам острого на язык Ермолова, «в хвастовстве не всегда французу принадлежало первенство».

Мюрат являлся на эти свидания театрально одетым. Он, как завзятая кокетка, каждый раз приезжал в новом костюме: то в вымышленном испанском, то в польской конфедератке и глазетовых штанах. Сегодня у него на ногах красовались красные венгерские сапоги, а завтра он щеголял в желтых.

Милорадович тоже не уступал Мюрату. Он всегда был в парадном мундире со звездой, шея обернута тремя персидскими шалями — красной, зеленой и оранжевой. Их концы развевались по ветру, как хвост жар-птицы.

Ермолов зло смеялся, что «третьего, подобного им, во враждующих армиях не было».

К этим милым встречам на передовой линии, убаюкивавшим легковерного Мюрата, Кутузов прибавлял еще одно: он велел казакам распространять слухи, что подкрепления, идущие к русским, плохо обучены и недостаточно вооружены и что в Тарутине туго с продовольствием.

Кутузов придерживался все той же мысли: чем дольше Наполеон проживет в Москве, тем больше будет у русских времени пополнить и обучить армию.

Сэр Вильсон делал вид, что не может уразуметь этой простой мысли, которую уже отлично понимали даже солдаты.

Войска, отдохнувшие за три недели в Тарутине, были не прочь помериться силами с французом:

— Что же это мы отдыхаем, а француз сидит в Москве, точно бельмо в глазу?

— Подогрелся малость, теперь прохлаждается.

— Пора бы этих субчиков попугать.

— Да, засиделись.

— Авангард евонный можно расколотить за милую душу.

— Очень свободно.

— Наш старик чего-то раздумывает.

— Михайло Ларивоныч не хочет будить француза — передышка, вишь, нам выгоднее: мы поправляемся, а он слабеет.

— Да, партизаны щиплют его кажинный день!

Как ни был легкомыслен Мюрат, а все-таки и он наконец увидел, что на аванпостах казаки — одни, а в тылу у него — иные.

Но это не встревожило его пылкое гасконское сердце, а только обидело.

За несколько дней до наступления русских у Мюрата произошел на аванпостах любопытный разговор с Милорадовичем. Тон их беседы был уже далеко не тот, что неделю назад.

Когда они съехались на поле, Мюрат, щелкая по зеленым голенищам сапог шелковой плетью, сказал тоном выговора Милорадовичу:

— Известны ли вам, генерал, буйства, которые позволяют ваши казаки? Они стреляют по нашим фуражирам. Этого мало. Крестьяне убивают моих гусар!

— Мне очень приятно слышать из ваших уст, ваше величество, что казаки хорошо исполняют мои приказания, — спокойно ответил Милорадович. — Не менее радует меня и то, что крестьяне оказываются настоящими русскими!

— Это противно правилам войны. Если так будет продолжаться, мне придется отряжать солдат для охраны фуражиров! — возмущался Мюрат.

— Вы только сделаете нам приятное, — легко поклонился Милорадович. — Мои офицеры жалуются, что около трех недель бездельничают. Им хотелось бы отбить несколько французских пушек.

— Зачем озлоблять два народа, имеющие столько причин уважать друг друга? — уже миролюбивым тоном начал неаполитанский король.

— Поверьте, государь, что я и мои офицеры всегда готовы дать всевозможные доказательства нашего уважения храброму французскому воинству! Но вместе с тем осмеливаюсь заверить вас, ваше величество, что фуражирам вашим не дадим пощады. Мы будем бить и охрану, которую вы пошлете!

— Позвольте вам заметить, генерал, что охрана не разбивается словами! — снова вспыхнул Мюрат. — Лучшая часть России завоевана нами. Посмотрите, куда проникли наши победоносные войска!

— Карл Двенадцатый пробрался еще дальше, однако же... — начал Милорадович.

— Однако же мы по сей день всегда оставались победителями! — перебил Мюрат.

— Пока что мы дрались по-настоящему только под Бородином, и вы ничего не смогли нам сделать! — парировал Милорадович.

— А не открыла ли наша победа под Бородином ворота Москвы?

Теперь уже настал черед возмущаться Милорадовичу:

— Извините, ваше величество, Москва была отдана без боя...

— Как бы то ни было, но ваша древняя столица в наших руках! — торжествовал неаполитанский король.

— К сожалению, это пока еще так, — согласился Милорадович. — Но ведь его величество король неаполитанский приехал к генералу Милорадовичу просить пощады для французских фуражиров, а не наоборот!

Русский генерал улыбался.

Мюрат поморщился.

— Я хотел только довести до вашего сведения о наглых поступках казаков и крестьян... Я много воевал, но не видел такой войны! — обидчиво вспыхнул Мюрат.

— Я тоже воевал немало! — ответил Милорадович.

— Где и когда вы начали службу в генеральском чине? — заносчиво глянул на русского генерала Мюрат.

— В тысяча семьсот девяносто девятом году, во время похода Суворова в Италию. Я полагаю, во Франции еще не забыли Суворова? — улыбнулся Милорадович.

Мюрат ничего не ответил: он дал шпоры коню и помчался к своим.

Неаполитанский король был раздражен, но, проскакав с полверсты, успокоился. Он не придал сегодняшнему разговору серьезного значения; Мюрат счел это простой словесной дуэлью, в которой, может быть, русский генерал и вышел победителем.

Стоит ли об этом думать?

А настоящее столкновение назревало.

Толь продолжал убеждать Кутузова в необходимости наступления. Он говорил, что скоро Наполеон сам оставит Москву, что к французам идет на помощь корпус Виктора и потому следует поторопиться разбить авангард Мюрата. Толь представлял веские доводы: расположение французского авангарда у речки Чернишня таково, что легко обойти левый фланг: к самому лагерю подходит лес. В лесу не устроено засек, по лесу не ездят французские дозоры. Мюрат держит себя неосмотрительно, беспечно: он легкомысленно поверил в слабость русских. Французам война надоела, они хотят мира и уверены, что между Наполеоном и Александром идут переговоры. Силы у Мюрата невелики: восемь тысяч кавалерии и около двенадцати тысяч человек пехоты при ста восьмидесяти семи орудиях.

Кутузов отвечал Толю, что все это так, но русские непривычны к обходным маневрам, а к тому же теперь в полках много молодых солдат.

Может быть, все уговоры генералов и Толя не подействовали бы на Кутузова, но в эти дни он получил рескрипт царя, не очень ласково говоривший о том же:

«По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам с своею гвардиею, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед Вами, были значительны и не позволяли Вам действовать наступательно?»

В конце рескрипта стояла такая фраза, звучавшая угрожающе:

«Вспомните, что Вы еще должны отчетом оскорбленному Отечеству в потере Москвы».

Делать было нечего, Кутузов согласился напасть на авангард Мюрата, но с одним условием: чтобы это нападение не переросло в большой бой, — Наполеон с главными силами был все-таки очень близко.

II

Свита Кутузова, состоявшая из офицеров, служивших не только при Кутузове, но и при Барклае и Багратионе, прекрасно изучила нрав и характер своих полководцев. Она знала, каковы они в милости и в гневе.

Пылкий, горячий Багратион взрывался мгновенно, словно фейерверк. В гневе, как и в бою, Багратион был солдатом: его лексика приобретала всю простоту и упругость народной речи. Он с грузинским акцентом честил провинившегося: «Па-адлец!», «Маашенник!». Темпераментно слал он к черту-дьяволу и мог пригрозить «белой рубахой». Но все знали, что князь Петр так же быстро отходит, как и загорается.

Флегматичного, всегда внешне спокойного, сухого Барклая-де-Толли вывести из равновесия было не так легко. Он не возмущался даже тогда, когда слышал за своей спиной оскорбительно грубые замечания по своему адресу.

Но случались моменты, когда невозмутимый Барклай становился страшным. При отступлении от Смоленска генерал Тучков 3-й лично доложил Барклаю-де-Толли, что не может противостоять превосходящим силам противника. Барклай спокойно, но веско сказал ему: «Возвращайтесь к вашему посту и умирайте там. Если вы еще раз приедете сюда, я велю вас расстрелять!» Барклай сказал эти две фразы чуть быстрее обычного, и только. Но все, и в том числе Павел Алексеевич Тучков, поняли: будет так, как сказал командующий.

Совершенно иначе сердился Михаил Илларионович Кутузов.

С человеком, который вызвал его гнев, Кутузов становился предупредительнее и ласковее обычного. Михаил Илларионович ко всем вообще обращался с неизменным и ничего, в сущности, не выражающим словом «голубчик». Но когда он сердился, его вежливость переходила все границы.

Если, например, во время боя Он посылал кого-либо с поручением и посланный не вполне справлялся с ним, Кутузов медоточивым голоском говорил ему: «Ах, простите, любезный поручик, как же я мог подвергать пулям вашу столь дорогую для меня голову? Простите меня, голубчик Иван Иванович, вы говорите, что там свистят пули, — хотя поручик и не думал упоминать об этом. — Как я признателен вам, что вы туда не доехали! Пожалуйста, отдохните, поберегите себя, прошу вас!»

Но в Тарутине штабные увидали такую вспышку гнева Кутузова, какой никогда еще не случалось наблюдать им.

4 октября вечером Кутузов со всей свитой выехал из Леташевки к Тарутину. Никто не знал, куда и зачем направляется фельдмаршал: о решении атаковать Мюрата знали только командиры корпусов. Накануне, 3 октября, фельдмаршал отправил диспозицию к предстоящему нападению на французский авангард начальнику штаба первой армии Ермолову.

Для обхода левого фланга Мюрата главнокомандующий назначил три пехотных и один кавалерийский корпус с десятью казачьими полками Орлова-Денисова. Они должны были выступить вечером 4-го с тем, чтобы к рассвету выйти на опушку леса у самого бивака кирасир Мюрата. Всю операцию Кутузов поручил Беннигсену — назойливый барон упросил-таки фельдмаршала. Беннигсен хотел показать себя: вон смотрите, как я одержу победу!

Сам Кутузов с гвардией и главными силами полагал двигаться с фронта.

Кутузов ехал, внимательно вглядываясь вперед. По обеим сторонам старого Калужского большака шел лес. Вот сквозь полуголые деревья замелькали огни биваков резервной артиллерии, расположенной на широких полянах. Темнели группы зарядных ящиков, полуфурки, тела орудий, покрытых мешками с овсом. Лагерь готовился ко сну.

Навстречу коляске Кутузова двигалась какая-то масса. Это был целый табун лошадей. Кое-где на конях сидели солдаты.

— Куда едете? — высунулся из коляски удивленный фельдмаршал.

— На водопой, — словоохотливо ответило несколько солдатских голосов.

Михаила Илларионовича кольнуло: что-то не так!

За биваком артиллерии пошли коновязи кирасир. Тут все спокойно — обычные шумы кавалерийского лагеря: ржание лошадей,

злые окрики солдат, кое-где приглушенный лошадиный топот, сочный храп.

Кутузов не очень присматривался к затихающей жизни кирасирского бивака: кирасирам не надо двигаться в обход.

За кирасирами слева потянулись землянки, шалаши, избенки пехоты. Это третий корпус, которому по диспозиции уже положено готовиться к маршу. А у них — мир и покой. Откуда-то слышится песня:

У милого в огороде
Растет трава мята.
Любил меня милой друг,
Хоть я небогата!

Главнокомандующий подозвал попавшегося на глаза офицера:

— Приказ выступать получили?

— Никак нет, ваше сиятельство, не получили.

Кутузов так круто повернулся в коляске, что скрипнули пружины.

— Кто возил диспозицию к генералу Ермолову? — спросил он у Коновницына, ехавшего рядом с коляской верхом.

— Герсеванов, ваше сиятельство.

— Давай его сюда!

— Герсеванова к его сиятельству!

К коляске подскакал офицер:

— Что прикажете, ваше сиятельство?

— Голубчик, ты вчера возил пакет к генералу Ермолову? — вглядываясь в полутьме в безусое лицо поручика, спросил фельдмаршал.

— Точно так, я, ваше сиятельство!

— Кому вручил?

Мягкий, вкрадчивый голос фельдмаршала стал понемногу наливаться металлическими нотками.

— Начальнику канцелярии полковнику Эйхену, ваше сиятельство.

— Почему не самому генералу, как было приказано, голубчик?

— Не мог нигде разыскать его превосходительства. Он, оказывается, был в гостях у генерала Шепелева в селе Спасском.

Фельдмаршал вдруг поднялся в коляске и закричал:

— Это не армия, а кабак! И полковника и генерала — выгнать вон из армии обоих! И полковника и генерала! — повторил фельдмаршал, задыхаясь от гнева. — Поезжай к дому! — ткнул он рукой в спину ямщика и плюхнулся на сиденье.

На случай приезда главнокомандующего в лагерь в деревне Гранищево оставили незанятым один дом — тот, в котором Кутузов принимал Лористона.

Туда и привезли фельдмаршала.

Зажгли свечи. Кутузов, не раздеваясь, сидел у стола.

— Пиши приказ: наступление откладывается на сутки! — приказал он Коновницыну.

Пока писали приказ, в избу вошли Дохтуров, Уваров, командир третьего корпуса Строганов. Окончательно выяснилось, что полковник Эйхен побоялся сам вскрыть пакет, а Ермолов вернулся поздно и потому не успел известить о диспозиции войска.

Корпусные командиры просили не отменять диспозицию, говорили, что время еще не упущено, что впереди целая ночь, что отклад не идет на лад, но Кутузов стоял на своем: отложить!

И, сердитый, уехал к себе в Леташевку.

Коновницын едва уговорил фельдмаршала не наказывать генерала Ермолова.

III

Эту ночь Михаил Илларионович провел в маленькой избе в деревне Гранищево, среди шестого корпуса Дохтурова, составлявшего центр армии.

Войска, назначенные в обход левого крыла Мюрата, двинулись заблаговременно, с вечера. Шли со всей осторожностью — болтунам и курильщикам хоть пропади: громко говорить нельзя, огней высекать не смей. Казаки оставляли жеребцов в лагере, чтоб не ржали.

Погода благоприятствовала скрытному движению русских: дождя не было, но и не морозило. На сырой земле не слышалось ни топота ног, ни стука орудийных колес.

Когда обходные колонны тронулись, Кутузов вздохнул с облегчением: и Беннигсен, и надоедливый, чванливый англичанин Вильсон, и наружно вежливый, но держащий камень за пазухой Ермолов — все недоброжелатели Михаила Илларионовича потянулись к правому флангу. Завтра исполнялось их желание: русская армия наступала.

На рассвете 6 октября все в Гранищеве ждали выстрелов с правого фланга. Но день начинался, а, к удивлению всех, ни пушечных, ни ружейных выстрелов не было слышно.

Михаил Илларионович забеспокоился: что-то случилось, атака явно запаздывала.

К правому флангу поскакали все: и Толь, и Коновницын. Возле Михаила Илларионовича остались одни адъютанты.

Потом наконец послышались беспорядочные выстрелы. И вот прискакал с правого фланга первый ординарец с донесением. Вести были не особенно приятные: пехота за целую ночь все-таки не смогла подойти к назначенному месту, сбилась с пути и опоздала. На опушке леса собрались одни казаки Орлова-Денисова. Когда

рассвело, казаки стали бояться, что французы увидят их, и одни ударили по врагу.

Французские кирасиры были смяты и обращены в бегство, оставив свой лагерь.

— Кто успел оседлать коня, а кто так, на голую спину вскочил, — рассказывали участники.

Казаки, захватив лагерь, напрасно задержались в нем: Мюрат успел собрать силы для отпора.

Кутузов пришел в раздражение от такой вести. Он ходил по избе, ни на кого не глядя. Штабные офицеры вполголоса обсуждали происшествие:

— Как же предпринимать такое дело без проводников? Ночь ведь темная, осенняя?

— Да, надо было расставить на дорогах людей!

— Такие грубые промахи непростительны даже на маневрах, а не то что на войне!

— Во всем виноват рыжий Беннигсен!

С левого фланга приехал быстрый Милорадович. Он уговаривал Кутузова идти вперед.

— У вас у всех на языке одно: атаковать. Вы не видите, что мы еще не созрели для сложного движения! — немного раздраженно ответил фельдмаршал.

От Коновницына примчался адъютант:

— Багговут убит!

Михаил Илларионович представил себе милого толстяка Карла Федоровича Багговута.

— Ах, как жаль! Кто принял команду? — спросил Кутузов у ординарца.

— Командир семнадцатой пехотной дивизии генерал-лейтенант Олсуфьев.

Кутузов приказал шестому корпусу и кавалерии барона Корфа двинуться к Чернишне. Левый фланг и центр шли стройно, словно на параде.

— Смотрите, ваше сиятельство, как идут! — восхищался Милорадович.

— Потому что идут по прямой линии, — ответил Кутузов.

Мюрат отступал в беспорядке до Спас-Купли.

Кутузов медленно ехал по дороге.

Сзади послышался топот. Прискакал казачий урядник от Кудашева из-под Подольска. Он привез перехваченное отрядом Кудашева предписание Бертье генералу д'Аржану немедля все тяжести отправить к Можайску. Эта маленькая записочка была важнее длинных реляций. Кутузов понял, что Наполеон готовится ретироваться из Москвы, но куда?

«Не собирается ли он обойти нас по новой Калужской дороге, пока мы возимся тут?» — прикидывал Михаил Илларионович.

Не советуясь ни с кем, он тотчас же приостановил движение наступающих войск.

Не зная о перехваченном письме Бертье, все были страшно поражены странным приказом фельдмаршала: почему он не допускает окончательного разгрома Мюрата?

Дохтуров и Милорадович просили не прекращать преследования неаполитанского короля, который отступил уже на семь верст.

— Если не умели вовремя прийти на место и взять Мюрата живьем, то преследование пользы не принесет. Нам нельзя удаляться от укрепленной позиции и от нашей оперативной линии, — ответил генералам Кутузов.

Он велел разостлать на поле ковер и сел.

Приехал Толь. Карл Федорович рассказал, что во французском лагере нашли много награбленного московского добра: перины, подушки, шубы, самовары, вазы. И тут же, рядом с посудой саксонского фарфора и золоченой бронзой, валялись жернова, деревянная посуда и лапти, вероятно взятые в окрестных деревнях. В лагере застали много женщин — француженок, полек, немок.

— Весело жили! — сказал Милорадович.

— У французов так всегда: от любви — к сражению, от сражения — к любви! — заметил Михаил Илларионович.

— Беннигсен жалует! — увидел кто-то.

К временному биваку командующего ехал генерал Беннигсен. Его сухое лицо иезуита выражало плохо скрываемый гнев: он был уверен, что Кутузов нарочно не послал ему подкрепления, нарочно остановил движение центра и левого фланга, чтобы сорвать окончательный успех его дня. Беннигсен облизывал тонкие губы, словно его потчевали сладким.

Кутузов поднялся навстречу Беннигсену.

— Вы одержали победу. Я обязан вам благодарностью, а государь вас наградит! — сказал фельдмаршал.

Беннигсен даже не слез с коня. Он сказал, что получил контузию в ногу, и, рапортуя, постарался укусить Кутузова:

— Жаль, очень жаль, что ваша светлость находились слишком далеко от места действия и не могли видеть картины поражения!

«Не был, не видел, но знаю: ты провалил все!» — подумал Михаил Илларионович и стал собираться ехать назад, в деревню Гранищево.

Он ехал и думал, что не только Беннигсен, а с ним Вильсон, Платов, Ермолов, но даже Толь, Дохтуров и Милорадович, вероятно, подумают, что Кутузов не помог Беннигсену только из зависти.

«Дальше своего носа не видят!»

Никто не хочет считаться с тем, что Наполеон еще располагает стотысячной армией и только и ждет, когда Кутузов сделает какую-либо оплошность, вроде той, которую допустил Александр I, приказав очистить Праценские высоты. Наполеон ждет удобного случая, чтобы одним ударом решить все в свою пользу.

У полуразрушенной избы постоялого двора стояли привезенные трофеи: тридцать восемь французских пушек, сорок зарядных ящиков, обозные фуры. Тут же развевался штандарт кирасирского полка.

Фельдмаршал слез с коня осмотреть пушки. Калибром они были меньше русских.

Мимо Кутузова с песнями проходили войска,

— Вот наш подарок России! — крикнул Михаил Илларионович. — Именем отечества благодарю вас, дети мои!

Веселое «ура» было ответом главнокомандующему.

Сегодня ликовал весь русский лагерь.

Глава двенадцатая

НАПОЛЕОН ПРОСИТ МИРА

I

Наполеону хотелось думать, что русским после ухода из Москвы остается лишь просить у него мира.

В этой мысли его еще более укрепил неаполитанский король, примчавшийся в Москву с аванпостов.

Даже в осеннюю слякоть Мюрат сохранил в одежде театральную пышность и кокетство. Казаки, называя его «гетманом», подсказали ему мысль нарядиться а ля гетман Жолкевский. И Мюрат оделся в стиле XVI века: поверх зеленой венгерки с золочеными шнурами он набросил серый суконный плащ польского покроя, а на голову надел маленькую соболью шапочку с неизменным страусовым пером. Сапоги остались красными, как ноги у аиста. Но на московском пепелище фигура неаполитанского короля уже не производила того необычайного впечатления, как бывало прежде. Здесь на каждом шагу встречались не менее вычурно одетые фигуры, больше напоминавшие карнавальные маски, чем солдат и офицеров «великой армии». И среди них Мюрат несколько утерял оригинальность своей одежды.

Зато он не потерял своего всегдашнего апломба. Мюрат был вполне уверен в том, что он действительно прирожденный неаполитанский король, а не сын трактирщика из Кагора. Он был убежден, что все любят его, даже казаки. Мюрат хвастался в импера-

торской квартире, что казаки и даже «купидоны» (так французы называли башкир из легкой кавалерии, вооруженных луками и стрелами), увидев его, кланяются, снимая свои высокие шапки, и кричат: «Король!», «Гетман!». И конечно, не думают стрелять в него или принимать «в дротики».

Он рассказывал всем, что едва намеревался двигаться вперед, как к нему подлетал казачий полковник и просил не начинать бесполезного кровопролития. «Мы вам больше не враги. Мы хотим мира и только ждем указаний из Петербурга», — якобы говорили казаки. А если неаполитанский король настаивал, то казачий полковник услужливо спрашивал у него, до какого пункта его величество хочет дойти и где желает расположиться со штабом. Русский арьергард отступал до указанного места без боя. (Мюрат не видел, что казаки продолжают отступать по Рязанской дороге, в то время как главные силы русских уже начали фланговое движение на Калугу.)

Неаполитанский король был также уверен в том, что начальник русского арьергарда генерал Милорадович — его поклонник и верный друг. Милорадович почтительно называл Мюрата «ваше величество», а Мюрат, кокетничая, останавливал его и говорил: «Здесь я не король, а простой генерал!» И Милорадович, пересыпая «ваше превосходительство» словами «ваше величество», делал все, что хотел неаполитанский король.

Мюрат рассказывал смеясь, как однажды он шутя предложил русскому генералу: «Уступите мне вашу позицию». Милорадович ответил: «Извольте атаковать ее, ваше величество. Я приготовился к хорошему кавалерийскому делу и достойно вас встречу. У вас первоклассная конница, а у меня — сыны тихого Дона. Пусть сегодня решится, чья конница лучше: ваша или моя. Только советую вам, ваше превосходительство, не атаковать слева — там болото». И Милорадович поехал и показал Мюрату, где находятся топкие места.

Мюрат, разумеется, тоже сыграл в благородство — не атаковал русских.

Неаполитанский король не рассказал в императорской квартире продолжения этой совместной прогулки с Милорадовичем по русским аванпостам. Он хотел проехать немного в глубь русского расположения, но Милорадович, боясь, как бы Мюрат не увидал, что за казачьими полками нет больше никаких русских войск, вежливо предупредил: «Казаки знают вас, ваше величество, но пехота, стоящая сзади, может обстрелять!» И проводил Мюрата до французских постов.

Рассказывая все свои похождения на аванпостах, Мюрат убеждал Наполеона, что русская армия рассеялась, что она состоит из

одних казаков (так ему казалось) и что «сыны Дона» тоже скоро уедут домой.

Императору было приятно слушать рассказы Мюрата. Но все-таки на следующее утро он поспешил отправить неаполитанского короля назад. Наполеон хотел знать, где же находится русская армия. Он боялся, что генерал Себастиани, оставшись в авангарде один, будет еще менее решителен, чем Мюрат.

Прошло несколько дней; русская армия как в воду канула.

Наполеон начал тревожиться не на шутку.

Он продолжал рассказывать о похождениях неаполитанского короля на аванпостах, но передавал их уже в ироническом тоне. Наполеон сам не очень верил Иоахиму: он знал своего фантазера-шурина не первый день, знал его гасконскую лихость во всем. Недаром Наполеон звал его «полишинель» и «итальянский Панталоне».

— Мюрат — король казаков? Что за чушь! — насмешливо и раздраженно повторял Наполеон. — Легковерие — мать глупости. Русские водят наивного неаполитанского короля за нос! Не может быть, чтобы Кутузов оставался на Рязанской дороге: на ней он не прикрывал бы ни южных губерний, ни Петербурга!

Император думал, что русские должны прикрыть «Калигулу», как Наполеон по-своему называл Калугу, — там у русских были сосредоточены все запасы.

Наполеон образовал особый наблюдательный корпус под командой маршала Бессьера. Он отправил Бессьера на Калужскую дорогу, приказав двигаться по ней до тех пор, пока маршал не наткнется на главные силы русских. Понятовский двигался по Тульской.

Наполеон нетерпеливо ждал от них донесений. Он боялся, что русские перережут со стороны Можайска сообщения французской армии.

Император беспрерывно диктовал настоятельные приказы корпусам, разыскивавшим русскую армию. Бертье ежедневно слал им грозные напоминания.

Бессьер и Понятовский доносили: русских нигде нет, а Мюрат продолжал твердить все то же.

Теперь Наполеон был уже вполне уверен в том, что Мюрат и Себастиани обмануты переговорами.

— Все эти переговоры приносят пользу только тому, кто их ведет! — говорил Наполеон и велел Бертье написать неаполитанскому королю:

«Его величеству угодно, чтобы сносились с неприятелем только ружейными и пушечными выстрелами».

Бессьер, еще не доходя до Десны, доносил:

«Нет ничего удивительного, если старый русский генерал, ускользнув от неаполитанского короля, идет со всею армией наперерез наших сообщений с Смоленском».

Наполеон был в полном недоумении.

В ночь на 12 сентября он отдал категорический приказ Мюрату:

«Найти след неприятеля должно быть вашей единственной целью. Меня уверяют, что Кутузов через Серпухов идет на Калугу. Поищите его там!»

Тревога Наполеона росла с каждым днем.

II

Пока Мюрат, Понятовский и Бессьер по всем дорогам искали пропавшую русскую армию, Наполеон попытался навести порядок в сожженной и разграбленной Москве.

Древняя столица представляла огромное скопление развалин, между которыми едва можно было различить направление прежних улиц. Везде валялись трупы людей и животных. Они разлагались и заражали воздух.

Уже когда Наполеон ехал из Петровского дворца в Кремль, он увидал: большинство солдат и офицеров, попадавшихся ему навстречу, были пьяны. Дисциплина и порядок падали. Солдат, который всегда не склонен вообще думать о далеком будущем, предался грабежу и дрался с товарищем из-за добычи.

Приехав в Кремль, Наполеон приказал генерал-интенданту армии графу, Дюма собрать уцелевшее в городе вино и поместить в особых магазинах. Хлебное вино Наполеон хотел сохранить для раздачи войскам, а виноградное — госпиталям. Но Дюма резонно ответил, что прежде надо прекратить грабеж. По повелению императора Бертье издал приказ, кончавшийся так:

«Солдаты, которые будут пойманы и уличены в грабеже, с завтрашнего дня будут предаваемы военному суду и судимы по всей строгости законов».

Патрули задерживали грабителей. Кто нес награбленное — отнимали и складывали тут же, на земле, под охраной гвардии. В грязи, в пепле, в мусоре валялись богатые меха, золотые и серебряные вещи, дорогие вышивки и материи. В первые дни после издания приказа удалось сделать кое-какие запасы, и войскам выдали на пятнадцать дней водки.

Наполеон жил в Кремле как в крепости.

Были открыты только Никольские, Троицкие и Тайницкие ворота. Остальные наглухо завалили бревнами, и при каждых воротах стоял пикет из восьми солдат с сержантом. А у открытых ворот

находилось по сто шести гвардейцев. По всем кремлевским стенам растянулись цепи часовых, часовые стояли у башен, соборов и в дворцовых подъездах. По Кремлю беспрестанно ходили патрули. Караул в Кремле несли конная и пешая гвардия и польские уланы.

На холме, у церкви Николая Гостунского, стояло десять полевых орудий. Русским входить в Кремль не разрешалось, часовым приказано было стрелять по ним: Наполеон боялся покушений.

Сообщение с Францией и Парижем и всей огромной империей было налажено — депеши получались регулярно. Регулярно на пятнадцатый день приходили парижский портфель и пакеты из Варшавы и Вильны. Из Парижа ехали в Москву так же просто, как в Марсель. Мчались курьеры, врачи, интенданты, маркитанты. Даже прибывали обозы. В армию слали много вина, не зная, что в Москве его вдосталь, но зато совершенно нет хлеба.

Наполеон аккуратно получал европейские газеты. Все они превозносили взятие Москвы, называли его «дивным подвигом», сравнивали с походом Александра Македонского в Индию. Писали разные напыщенные красивые фразы, которые было приятно читать: «Гром французских пушек слышен в Азии», или «Россия поражена в самое сердце». В Париже по случаю занятия Москвы была произведена пушечная пальба, в храмах служились благодарственные молебны.

Но пожар Москвы произвел в Европе иное впечатление. О нем говорили с изумлением и ужасом и считали, что «это событие, без сомнения, нанесет сильный удар высокому идеалу воинской славы». Мирные, гражданские люди в первую минуту сочувствовали несчастным жителям Москвы, а потом вспоминали о своих сыновьях, мужьях и братьях, находившихся в «великой армии», и их охватывали тревога и беспокойство за близких.

«Всякий бюллетень, из которого узнали бы, что наши солдаты в тепле, одеты и сыты, произвел бы гораздо больше впечатления на всех, нежели известия о победах», — писали из Парижа.

Чтобы ослабить впечатление от пожара Москвы, Наполеон выпустил 17 сентября очередной, девятнадцатый бюллетень, в котором писалось:

«Хотя пожар убавил средства для содержания войск, но, несмотря на то, их найдено уже и открывается очень много. Огонь не коснулся погребов. Войска отдыхают от усталости. Они имеют в изобилии хлеб, картофель, капусту и другие овощи, свежую говядину, соленую провизию, вино, водку, сахар, кофе и вообще всякого рода продовольствие».

В этих строках все было истинно, за одним исключением: хлеб в Москве отсутствовал. Его с трудом получала гвардия и совершенно не видели остальные полки армии. Нужда в хлебе была за-

маскирована мнимым изобилием. Да, действительно, было много вин, водки, кофе, сахару, была соленая рыба, на истоптанных огородах находились кое-какие овощи, было свежее мясо, но не говяжье, а лошадиное, и совершенно, начисто отсутствовал хлеб.

В бюллетене не говорилось о лошадях. Если люди имели в изобилии хоть вино и сласти, то кони совершенно голодали: фуража в городе не хватало. На складах он был, но получить мешок овса представлялось делом более сложным, чем получить мешок медных русских денег. Лошади тысячами гибли в походе и так же продолжали погибать в Москве. Кое-как удавалось поддерживать гвардейскую кавалерию, а простые кавалерийские полки постепенно стали спешиваться.

III

Наконец только 14 сентября, через двенадцать дней после занятия Москвы, Наполеон достоверно узнал, что Кутузов фланговым движением прошел с Рязанской дороги на старую Калужскую и встал лагерем у реки Нары. Он успел загородить Наполеону путь на плодородный юг.

Император издевался над легковерием Мюрата и говорил:

— Я посоветовал бы своим послам быть столь же проницательными и ловкими, как эти дикие казачьи офицеры, которые так хорошо провели неаполитанского короля!

Наполеон был зол, что «канальи», как он называл казаков, провели фантазера Мюрата и что даже он сам на какое-то время поддался было их сладким речам.

Но теперь стало ясно: армия Кутузова вовсе не деморализована, как распинался Мюрат, и она располагалась слишком близко, чтобы можно было беззаботно отдыхать в Москве. Вставал вопрос: что же делать дальше? Ни генеральное сражение, которое Наполеон считал выигранным, ни занятие неприятельской столицы не принесли желаемой победы и славного, почетного мира. А мир был нужен всей «великой армии» как воздух.

И Наполеон решил добиться его другим путем.

Он вызвал Коленкура и предложил ему поехать к Кутузову.

Арман Коленкур отказался наотрез. Со всегдашней прямотой он сказал императору, что эта поездка не приведет ни к чему, а будет лишь вредна: Александр I убедится в трудном положении Наполеона.

Рассерженный император круто оборвал Коленкура:

— Ах, вы не хотите? В таком случае я пошлю Лористона!

Призванный Лористон говорил то же, что и Коленкур, но Наполеон не слушал его резонных возражений.

— Вы поедете! Мне нужен мир во что бы то ни стало! — раздельно, подчеркнуто сказал Наполеон. — Спасите только честь! Я больше от вас ничего не требую.

Лористону пришлось подчиниться. Он поехал к Кутузову и вернулся почти ни с чем. Оставалась лишь слабая надежда на то, что, может быть, Александр I соизволит ответить на предложение Наполеона.

Наполеон знал, что при русском дворе сильна партия за мир. Мириться с французами хотела Мария Федоровна, хотя она и не переносила Наполеона. За мир с ним были глупый Константин Павлович и влиятельный Аракчеев. И Наполеон ждал. Другого ничего не оставалось делать.

Зимовать в Москве? Сначала он думал об этом и говорил Коленкуру, что «Москва по самому своему имени является политической позицией, а по числу и характеру своих зданий и по количеству еще сохранившихся здесь ресурсов — лучшей военной позицией, чем все другие, если мы останемся в России».

Но он понимал, что французскому солдату тяжело будет примириться с зимовкой без победы. Он избалован прежними кампаниями: обычно война продолжалась всего несколько месяцев и к зиме армия возвращалась с победой домой. А здесь приходилось думать не о победах, а о хлебе.

Продовольствия становилось все меньше и меньше. Правильной раздачи провианта не существовало. Только гвардия снабжалась регулярно. Армия ела конину, кошек, стреляла ворон и галок. Насколько туго было с продуктами, видно из письма французского губернатора Москвы Лессепса к голландскому генералу Вандедену, который просил у Лессепса помощи:

«Я ничтожнейший губернатор в свете. Вам не трудно будет поверить моим словам, когда вы узнаете, что посылаю к вам то, что могу и от чего краснею. Я делюсь с вами по-братски. У меня нет ни хлеба, ни муки, и еще менее кур и баранов. Но мне подарили вчера несколько яиц, и я имел случай купить четыре бутылки вина. Тороплюсь уделить вам половину».

В Москве жили как в осаде. За фуражом и хлебом приходилось посылать вооруженные отряды. Вокруг Москвы располагались летучие кавалерийские отряды Кутузова, и кругом был враждебный французам русский народ. О русских партизанах говорили с невольным уважением и страхом:

— Они гораздо смелее испанских гверильясов, хотя хуже их вооружены!

Грабежи в Москве не прекращались. Наполеон приказал не пускать никого в столицу, кроме команд, отправляемых за продуктами. Каждый день являлись в Москву определенные части. Это

еще больше усилило грабеж: армейские полки, получив ордер на командировку в Москву, приходили к мысли, что такой счастливый случай больше уже не представится, и потому предавались безудержному грабежу. Солдаты дрались друг с другом за вещи, за одежду, за меха с не меньшим мужеством, чем с неприятелем за редут или пушку. А за хлеб и золото — ожесточеннее, чем за знамя. Солдаты не слушались офицеров, офицеры не обращали внимания на замечания генералов.

Улицы, которые пощадил пожар, походили на ярмарку. Продавцы и покупатели были военные.

В грабежах больше других участвовала гвардия, располагавшаяся в Кремле, в центре Москвы. Ей было сподручнее других. Гвардия всегда и во всем была на особом, привилегированном положении. Кроме того, на нее не распределялась очередность выходов, набегов на город: они могли грабить каждый день, когда душе угодно.

«Император чрезвычайно недоволен тем, что, невзирая на строгие приказания прекратить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающихся в Кремль», — писал в приказе маршал Лефевр, командовавший старой гвардией.

Гвардейцы уже в кремлевских караулах вели себя по-своему. Они несли караульную службу со всеми удобствами. Сидели у постов, завернувшись в лисьи, собольи шубы, перевязанные кашемировыми шалями. Возле часовых стояли громадные хрустальные вазы, наполненные вареньем. Из ваз торчали золотые и серебряные ложки. И всюду виднелись горы бутылок шампанского и разных дорогих вин.

Курьер, мчавшийся с депешами в императорскую квартиру, адъютант маршала — с донесением к императору, полковник или генерал, приехавшие с докладом, одинаково останавливались гвардейскими солдатами и не пропускались дальше, пока не чокались с часовым гренадером за здоровье императора или «тетушки Ланглуа», маркитантки первого батальона.

Наполеон видел, как под окнами у него, шатаясь, останавливались гренадеры. Хорошо, что при Наполеоне не было женщин и ничья стыдливость не оскорблялась при этом, а многочисленные подружки и походные жены свитских генералов и офицеров смотрели на такие вольности снисходительно.

Отсутствие хлеба и избыток вина не помогали дисциплине. Она падала тем больше, чем меньше становилось хлеба и больше — вина.

Ночью часовые уже не окликали прохожих.

И маршал Лефевр, которого звали «самый истинный солдат армии», напрасно изощрялся в приказах:

«В старой гвардии беспорядки и грабеж возобновились сильнее, нежели когда-нибудь, вчера, в последнюю ночь и сегодня. С сокрушением видит император, что отборные солдаты, предназначенные охранять его особу, которые должны подавать другим пример подчиненности, до такой степени не повинуются приказаниям, что разбивают погреба и магазины, приготовленные для армии. Они дошли до такой степени унижения, что не слушались часовых и караульных офицеров, бранили их и били. Все офицеры, всяких чинов, проходя с войсками мимо императора, должны салютовать шпагой его величеству. Сегодня на разводе это не исполнялось. Герцог Данцигский, поставляя на вид офицерам такое неисполнение обязанностей, предписывает начальникам всех частей войск, чтобы они наблюдали за порядком службы».

Еще меньше дисциплины, чем во французских полках, было в немецких и итальянских частях. Солдат страстно хотел мира. Но, видя, что до мира далеко, он стал думать только о том, как бы получше насладиться настоящим.

Наполеон замечал развал армии, но не хотел признаваться в этом окружающим. Он предпочитал сидеть в Кремле и здесь же делать смотры войскам. На парады выбирались лучшие армейские полки. Их тщательно одевали и снаряжали к смотру.

Наполеон наслаждался криками: «Да здравствует император!» — криками, в которых больше чувствовалось спиртного, чем энтузиазма, и не переставал восхищаться ясными осенними днями.

— Ну, что скажете вы, любезный Нарбонн, о таких войсках, марширующих при такой прекрасной погоде? — спросил он у своего самого блестящего, самого светского адъютанта, бывшего министром у Людовика XVI.

— Государь, я скажу только, что войска отдохнули и могут предпринимать движение на зимние квартиры в Литву и Польшу, оставив русским их Москву.

Император ничего не возразил на эту довольно ядовитую, но правильную реплику.

Мысль о том, что надо уходить ни с чем из Москвы, раздражала и угнетала его.

IV

Наполеон молчал.

Он никогда не был разговорчивым, а в последние дни жизни в Москве совершенно замкнулся в себе, стал как-то особенно холоден и сух в обращении с окружающими, не шутил с Бертье по поводу его легкомысленной жены, а одеваясь, не трунил над своим пополневшим животом. Работая в кабинете, он угрюмо молчал,

мучительно думал все об одном. Маршалы и генералы стояли по целым часам, не проронив ни слова, ждали, когда император заговорит с ними сам. А он, насупив брови, ходил из угла в угол или бросался на диван с книгой и делал вид, что читает.

Чаще, чем в других кампаниях, Наполеон страдал в Москве бессонницей. Он среди ночи вставал, надевал халат и ходил взад и вперед по кабинету. Услышав его шаги, дежурные адъютанты вскакивали, готовясь к тому, что император позовет кого-нибудь из них отдать приказ или просто поговорить.

Но император молчал, думая свою невеселую думу.

Когда же ему удавалось проспать до утра, Наполеон вставал с бледным, измятым лицом, — видимо, сон не приносил ему нужного отдыха и покоя и пробуждение к той же невеселой действительности угнетало его.

По утрам Наполеон был особенно раздражителен и по пустякам набрасывался на свиту и маршалов.

Раньше его обед продолжался не более пятнадцати минут, а теперь он растягивался до полутора часов. За столом император не становился общительнее и веселее. Он сидел, словно не замечая ничего вокруг, но не уходил из-за стола. Раза три в неделю Наполеон приглашал к обеду вместе с маршалами нескольких дивизионных генералов.

Но все это ничуть не рассеивало его тяжелого раздумья.

Время шло, а от Александра I не было письма. Наполеон чувствовал, что этот византиец не удостоит его ответом.

Всем было ясно: зимовать в Москве нельзя, придется уходить, самим оставлять древнюю русскую столицу. Оказалось, что войти в нее было гораздо легче, нежели выйти из нее.

Как уйти? Как отступать, если «великая армия» привыкла только завоевывать и наступать? Это окажется бегством!

Отступление невозможно — до такой степени оно противоречило гордости Наполеона, его блестящим успехам, всей боевой полководческой деятельности.

И как это отзовется во Франции и во всей Европе? Оно развеет обаяние его непобедимости, ослабит узы, в которых он держит всю Европу.

Москва — это не только военная позиция, но и позиция политическая. А в политике никогда не надо отступать, не нужно признавать своих ошибок — это подрывает уважение.

Что вся русская кампания была сплошной ошибкой, он уже ясно видел. Савари мог не подсказывать императору, что «неосторожно было так далеко углубляться в Россию!».

Войска еще не утратили веру в Наполеона, они привыкли к его непогрешимости. Они видели, понимали сложность положения

армии, но надеялись: император все предвидит, всегда найдет выход из любого обстоятельства.

И Наполеон тщетно искал выход.

Император приказал каждый вечер зажигать по две свечи около его окна, чтобы солдаты говорили: «Смотрите, император не спит, он заботится, думает о нас! Он всегда за работой!»

Для того чтобы поднять дух войск, Наполеон заплатил жалованье армии русскими медными деньгами, которые, однако, никто из солдат не хотел брать, и сфабрикованными по приказу Наполеона фальшивыми русскими ассигнациями, от которых было столько же проку, как от медных. Солдаты ничего не покупали, а все, что попадалось, брали бесплатно, и обманывать, в сущности, было некого.

Через Бертье и маршалов Наполеон велел распустить разные слухи, чтобы хоть немного успокоить возбужденных солдат.

То говорили о походе в Индию, прельщали сказочными богатствами этой чудесной страны, и солдаты гадали, за сколько месяцев будут доходить из Индии письма во Францию. То утверждали, будто маршал Макдональд взял приступом Ригу, захватил и сжег Петербург, а русский император Александр I умер от огорчения. Другие спорили, говоря, что не Макдональд взял Петербург, а шведы, и что Александр I вовсе не умер, а удрал в Сибирь. И все божились, будто из Вильны идут новые дивизии маршала Виктора с зимней одеждой, хлебом и что к весне в армии будет снова шестьсот тысяч человек, как при переходе через Неман.

Болтуны и легковеры хвастались:

— Если русские не заключат зимой мир, то Наполеон прогонит их в Азию, восстановит Польшу, устроит новые герцогства: Смоленское, Петербургское, Курляндское, Московское.

Более предусмотрительные и благоразумные отвечали на это так:

— Зачем нам Виктор, когда самим здесь нечего жрать?

— Наши беды только начинаются, а впереди — зима!

Наполеона угнетало то, что он не имел никаких сведений о России. Все его шпионы — генерал Сокольницкий, Даву и лейтенант легкой гвардейской кавалерии Вандернот, который следил за поляком Сокольницким, — не могли доставить свежих новостей.

Наполеон считал русскую кампанию наиболее тщательно обдуманной и подготовленной, а на деле получался провал.

Чтобы успокоить армию, отвлечь ее от невеселых мыслей, Наполеон велел организовать в Москве театр из оставшихся актеров французской труппы. Театр устроили на Никитской, в великолепном доме Позднякова, уцелевшем от пожара, но, конечно, разграбленном дочиста. Актеры и актрисы, ограбленные своими же земляками, были одеты кое-как, занавес сшили из парчи, вместо

люстры повесили паникадило, взятое из собора, мебель натаскали из дворцов. В театре ставились легкие пьесы: «Игра любви и случая», «Три султанши», «Притворная неверная» и другие.

Дом Позднякова был светлым маяком среди темной, мрачной московской ночи: он горел огнями. По Никитской тянулись всевозможные экипажи ехавших в театр генералов и офицеров. Вокруг дома стоял караул от разных полков и бочки с водой: боялись, чтобы русские не подожгли театр. В первых рядах партера сидели солдаты гвардии. Генералы и офицеры занимали ложи. В театре было много разряженных женщин.

Сам Наполеон не бывал в театре, но внимательно следил за его деятельностью.

В Кремле пел итальянец Тарквинио, приехавший в Москву из Милана, и играл пианист Мартини, но Наполеон скучал на этих коротких концертах: было не до музыки!

V

Наполеон делал вид, что очень занят. Он старался издать как можно больше декретов из Москвы, из Кремля, чтобы все видели, как он заботится о Париже, о Франции, чтобы думали, что военные дела идут у него хорошо, если император помнит о всякой мелочи. Он составлял уставы для разных цехов — булочного, аптекарского — и целых три вечера посвятил рассмотрению устава Театра французской комедии в Париже.

В тот вечер, когда Наполеон собирался подписать декрет об устройстве театра, он разговорился с Нарбонном.

Луи Нарбонн, внебрачный сын короля Людовика XV, служил при своем брате Людовике XVI военным министром, а теперь, в пятьдесят восемь лет, был адъютантом Наполеона. Наполеон отличал его за светскость и остроумие и любил вести с Нарбонном «умные» разговоры. Это не сын бочара Ней, не Виктор — сын какого-то сторожа, не Удино — сын пивовара, а все-таки — пусть и незаконный, но сын короля! С Неем или Мюратом не поговоришь о высоких материях. Хотя Наполеон дал им титулы герцогов и принцев, но дальше сабельного клинка или штыка они ничего не знают.

А с Нарбонном можно говорить о чем угодно.

— Я должен посоветоваться с вами, любезный Нарбонн, прежде чем подпишу декрет. Вы в молодости, конечно, любили театр, но, я знаю, вы предпочитаете комедию, а я, наоборот, люблю высокую, величественную трагедию, которую создал Корнель. Великие люди изображаются в ней вернее, нежели в истории. В трагедии они выведены в критических обстоятельствах, в которых вынужде-

ны прибегать к великим решениям. Все человеческие слабости, колебания, сомнения должны исчезнуть в герое. Это должна быть величавая статуя, глядя на которую не видишь слабостей. Это «Персей» Бенвенуто Челлини! — говорил Наполеон, шагая по громадной зале, — Надо, чтоб великие короли были великими и на сцене. Отчего не возведут на нее Карла Великого или Людовика Святого?

Он остановился у ярко горящего камина и секунду смотрел на огонь. Потом обернулся к Нарбонну, стоявшему навытяжку у стола:

— Я не отвергаю, любезный Нарбонн, даже иностранных героев. Какую трагедию мог бы создать писатель из Петра Великого, этого гранитного мужа, который просветил Россию, который вынудил меня через сто лет после него предпринять такую ужасную экспедицию! Я прихожу в изумление, когда думаю, что в этом дворце, — показал он рукой, — двадцатилетний Петр, почти без образования и без советников, захватил власть. Какой пример нравственной силы!

Наполеон быстро зашагал по зале. Потом остановился перед Нарбонном, который был уже не рад такой затянувшейся беседе: Нарбонну хотелось сесть, а он принужден был стоять.

— Что же касается особенностей его гения, то они никем не были поняты. Не заметили, что он приобрел то, чего не хватает рожденным на престоле: славу нового человека, дошедшего до трона со всеми испытаниями, соединенными с этой славой. Он добровольно сделался артиллерийским лейтенантом, чем был и я, — с улыбкой сказал Наполеон. — Это не была игра, комедия. Он оставил страну, чтобы освободить себя на некоторое время от короны, чтобы испытать жизнь частного человека и постепенно дойти до величия. Он сам сделал для себя то, что дала мне судьба. Вот что выдвигает его из ряда всех прирожденных государей!

Наполеон снова быстро прошел по зале, думая о чем-то, потом сказал:

— И несмотря на то, какое испытание этому гению! Подумайте: такой человек на берегах Прута во главе им же созданных войск допустил окружение турецкой армией! Лишил себя продовольствия и едва не попал в плен! Такие необъяснимые затмения случаются с великими людьми. Вспомните Цезаря, плохо начавшего дело и осажденного в Александрии негодными египтянами. Но Цезарь взял свое! Он отомстил им! Великий человек всегда найдется в ошибке и несчастье! — с пафосом закончил император, продолжая быстро ходить.

Граф Нарбонн, воспитанный при роскошном дворе Франции, не очень понимал Петра Великого. В глазах Нарбонна царь Петр был варвар. И своими успехами обязан не столько своему гению, сколько ошибкам противников.

— Если бы Карл Двенадцатый не вошел так далеко в глубь России или вовремя отступил бы, если бы он не продолжал своего нашествия даже зимой, то никогда не был бы побежден. Он прикрыл бы Польшу и не позволил бы царю идти дальше, — ответил почтительно Нарбонн, понимая, почему Наполеон вспомнил сегодня о русском царе.

Наполеон не любил, когда отгадывали его мысли и намерения.

— Я вижу, к чему вы клоните речь, любезный Нарбонн, — сказал он с улыбкой. — Вам говорят о театре, а вы отвечаете политикой. Впрочем, искусство и политика часто соприкасаются. Но будьте покойны, мы не повторим ошибки Карла Двенадцатого! Надо было несколько подождать здесь последствий громовых ударов Бородинской битвы и занятия Москвы. Я имел основания надеяться на заключение мира, но, заключим мы его или нет, во всяком случае, есть предел нашему пребыванию в Москве. Наши войска отдохнули и переустроены. Погода стоит хорошая. Мы имеем возможность отойти к Смоленску, соединиться с подкреплениями и расположиться на зимних квартирах в Польше и Литве. Есть и другой способ, который предложил Дарю. Я называю его «львиным советом». Дарю советует собрать продовольствие, посолить всех наших лошадей и зимовать в Москве. Я не согласен. Можно ходить далеко, но не следует долго оставаться в гостях! Париж призывает меня сильнее, нежели манит Петербург. Будьте довольны, любезный граф, мы скоро уедем! С миром или без него, но уедем отсюда! — хлопнул пухлой рукой по столу Наполеон.

VI

Он врет, как бюллетень!
Французская поговорка

Наполеон уже несколько дней готовился к уходу из Москвы. Мира, в котором он так нуждался, не было. Русские не хотели прощать Наполеону сожженных сел и городов, испепеленной Москвы, не хотели забывать о всех насилиях, надругательствах и грабежах «великой армии».

Он приказал начать вывозить из Москвы и окрестностей раненых и дал Бертье указание, чтобы дальше Можайска, Гжатска и Вязьмы не продвигалась бы ни одна воинская часть, ни один артиллерийский парк, идущие с запада.

Наполеон еще не говорил прямо, что начнет отступать, но заявлял:

— Армия займет другое положение.

Герцогу Бассано он написал несколько точнее: «Возможно, буду зимовать между Днепром и Двиной».

Ему так тяжело было сознаться в том, что он не смог уничтожить русскую армию и покорить русский народ, что он тешил себя разными слухами.

«Все сообщения говорят, что пехота у неприятеля ничтожна. Меня уверяют, что нет и пятнадцати тысяч старослуживых солдат. Второй и третий ряды состоят только из ратников милиции. Но неприятель усилил свою кавалерию. Он учетверил число казаков, страна наводнена ими, и это порождает для нас много мелких столкновений, очень тягостных», — писал он министру полиции герцогу Ровиго.

Но приготовления к уходу делал.

Корпусам Даву и Нея, стоявшим у Москвы, император приказал войти в город. И впервые армии были выданы из складов пятнадцатидневный запас сухарей и вина, холст и кожи для пошивки одежды и обуви.

В хлебе всегда был недостаток, и сухарям обрадовались; вина и без выдачи хватало всюду: среди пепелищ все еще находили подвалы с вином, а заниматься шитьем белья или сапог нашлось мало охотников.

Наполеон приказал захватить «трофеи» — крест с колокольни Ивана Великого, которым он хотел украсить Дом инвалидов в Париже, старинные турецкие и польские знамена из Оружейной палаты и ценности из кремлевских соборов.

Император предупредил Мюрата, чтобы авангард тоже запасся хлебом. Это звучало смехотворно: Мюрат давно объел все вокруг, а посылки отрядов за продовольствием куда-либо подальше никогда не обходились без потерь, — партизаны и казаки не дремали!

В письмах к жене Наполеон понемногу перестал писать о Москве. Он предпочитал говорить о разных мелочах, — например, о панораме Антверпена, которую сделали для императрицы: «Я очень рад, что ты довольна панорамой Антверпена. Было бы хорошо сделать панораму пожара Москвы». И как бы вскользь хвалил прекрасную, солнечную московскую осень.

Он каждый день делал парады в Кремле и заставлял маршалов устраивать смотры у кремлевских прудов или у Калужской заставы.

Для парадов в Кремле назначали наиболее дисциплинированные части, а из них выбирали солдат в наименее потрепанном обмундировании, и все же смотры у Калужских ворот представляли позорное зрелище. На зов барабана становились под знамена в изорванных, нечищенных мундирах и дырявых сапогах. Солдаты не слушались команды офицеров: громко разговаривали в строю, переходили с места на место, меняя награбленные вещи. С каждым днем полки редели — пехота уже становилась не в три, а только в две шеренги.

В солнечное теплое утро 6 октября в Кремле проходил обычный ежедневный парад. Наполеон смотрел линейные полки барона Разу из корпуса Нея. Португальцы Разу сохранили во всех превратностях лагерной жизни коричневый цвет своих мундиров. В дыму бивачных костров также не изменились их черные кивера, но широкие белые панталоны, которые португальцы носили навыпуск, стали грязно-серыми, а вместо розового лампаса шла какая-то красноватая размазня.

Император видел и не видел этого: парад ведь происходил не в Булони! А строй португальцы держали сносно.

Парад уже кончался, когда вдруг издалека послышалась глухая артиллерийская канонада.

Маршалы, стоявшие за Наполеоном, с тревогой переглядывались: орудийные раскаты доносились с юга. Мюрат не собирался давать Кутузову бой. Неужели русские пошли сами в наступление? Это была неприятная новость.

Император делал вид, будто не слышит канонады и не видит тревоги на лицах свиты.

Никто из маршалов не решался обратить его внимание на подозрительную пушечную пальбу, боясь порывов его необузданного гнева: в последние дни Наполеона раздражал любой пустяк. Все смотрели на начальника штаба маршала Бертье, но принц Невшательский от волнения только энергичнее обычного ковырял в носу. Красивый Коленкур кивал на рыжего Нея — Ней стоял ближе всех к императору. Наконец осмелился обер-гофмаршал Дюрок.

— Вероятно, русские напали на неаполитанского короля, — спокойно сказал он императору.

Наполеон изменился в лице, но быстро овладел собой. Его взволновало не нападение, а самый факт: значит, русские все-таки не желают мириться!

Он кончил смотр, похвалил барона Разу и Нея и быстрыми шагами ушел во дворец.

За завтраком он наружно спокойно выслушивал доклад префекта императорского двора Боссе о представлениях в Поздняковском театре, где вчера давали комедию Мариво «Игра любви и случая». Наполеон вместе с Боссе прикидывал, каких артистов надо выписать на зиму из Парижа в Москву. Но тут вошел растерянный Бертье и доложил, что прискакал адъютант Мюрата.

Боссе поспешил убраться со своими актрисами.

Предположения маршалов оказались верными: русские напали на авангард «великой армии» и оттеснили Мюрата.

Император в сильном волнении выскочил из-за стола и начал бегать по комнате.

«Значит, этот дурак Иоахим все наплел! Русские сильны! Надо торопиться на юг, чтобы выйти раньше Кутузова к этой Калигуле!» (Так называл Наполеон Калугу.)

Наполеон понял свою ошибку, в которой не хотел сознаваться, — он слишком долго засиделся в Москве, ожидая мира! Не послушался того, что говорили маршалы, верил в свою счастливую звезду.

В это утро он уже не мог усидеть на одном месте. Не проходило и получаса, как император отворял дверь в дежурную комнату и звал то одного, то другого. Распоряжения сыпались без конца.

Приходилось поторапливаться.

Наполеон оставлял маршала Мортье с семью тысячами солдат молодой гвардии в Москве, чтобы сохранить позу победителя и не показать, что удирает. Он велел Мортье сжечь магазины с продовольствием и фуражом, которыми не успели воспользоваться, сжечь дома Ростопчина и графа Разумовского, взорвать Кремль и все его дворцы.

— Это детское мщение! Словно персидский царь Кир, который заставил бить плетьми море за то, что оно потопило его корабли! — смеялись в дежурной комнате.

А Наполеон ходил и думал.

Как сохранить привычный облик победителя? Посредством какой уловки представить всему миру свою неудачу успехом? С помощью какого искусного приема уйти из Москвы с торжеством?

Оставался один верный выход — бюллетень.

И Наполеон прибег к нему.

Он без всякого смущения нахально написал в последнем бюллетене, данном в Москве:

«Великая армия, разбив русских, идет в Вильну!»

Глава тринадцатая

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Московские и калужские крестьяне
лучше испанцев защищали свои дома.

Воейков
(в письме к Державину)

I

У крыльца фельдмаршальской избы перед застывшим на часах рослым семеновцем, охранявшим вход, стояла пестро одетая толпа партизан.

Из-за рыжих кожухов и черных русских кафтанов «в сборку» кое-где выглядывали синие французские шинели. В гуще кресть-

янских заячьих треухов и старых, обтерханных малахаев там и сям торчали кивера вольтижеров, уланские каски, объемистые шапки итальянских гренадер.

У некоторых мужиков висела через плечо на веревочной портупее блестящая конногвардейская сабля или длинный кирасирский палаш, смешно бивший по партизанским онучам и лаптям.

Одни засунули за широкий суконный пояс, которым стягивался полушубок, обыкновенный топор, а другие — инкрустированный, дорогой пистолет.

Многие держали в руках дорожные посохи — увесистые дубинки.

Тут же, у забора, табунились кони под французскими седлами и вальтрапами с вензелем «N» или просто с перекинутым через лохматую лошадиную спину мешком и веревочными стременами.

Это были партизанские гонцы, прибывшие с донесением к Кутузову.

Партизаны точно исполняли приказ князя Кутузова: регулярно сообщать в главную квартиру о своих действиях.

Толпа негромко, но оживленно гуторила:

— Светлейший еще занят, вишь, у него офицер. Рассказывает. Докладывает.

— Это ротмистр из отряда генерала «Винцо в огороде», наши суседи.

— А ты откуда?

— Из села Малая Матерщина.

— Где такое?

— Под Клином. У нас по деревням народ хорошо француза щиплет...

— Им нигде спуску нет, — вмешался молодой партизан. — Вот мы вчера славный обоз отбили. Полковник Вадбольский напал на дороге у ручья, а мы и Никольские ему помогали. Полковник потом благодарил нас: мол, спасибо, братцы, за подмогу, мы без вас, мол, дольше провозились бы! Отдал нам все телеги ихние и лошадей. Телеги ничего — на железном ходу и упряжь подходящая, а лошаденки тощие-претощие!

— А в нашей стороне справно работает капитан Всеславин Александр Никитич, душа человек! Лихо воюет!

— Нет, лучше, чем Фиглер, не найти! Фамилия у него вроде не наша, а сам — настоящий русак. Ну и дает же он им жару! Кто в его руках побывал, тот больше на русскую землю не полезет! Казаки у него...

— Казаков они до смерти боятся. У нас в селе Верхнем вошло несколько этих поварцев в избу к бедной-пребедной старухе тете Паше. Требуют: «Давай млека!» — «Нет у меня млека», — отвечает. «А муму у тебя есть?» — пристали. «Нет муму. Есть одна коза». — «Казак! Казак!» — как встрепенутся, как закричат, и давай бог но-

ги. Старушка, вишь, говорит «коза», а им почудилось — «казак», — смеялся партизан.

— А у вас, бабы, кто за командера? — спросил басом у двух молодок высокий, кряжистый старик в синем французском мундире, который на нем трещал по всем швам. Одна из них держала в руках карабин, а другая — простые вилы.

— Кузнец Прокоп, дяденька.

— А я думал, ты командер: вон у тебя какая фузея! — шутил старик.

— Не-ет. Разве бабы бывают командерами? — застеснялась молодка.

— А как же, бывают. Вон в Сычевке старостиха Василиса, — сказал средних лет курчавый партизан.

— Ну, конец свету пришел, — гудел басом старик. — Бабы воевать зачали! Приведись мне, я бы к ней под начало ни за что не пошел бы!

— А она тебя — вилами!

— Баба-то? Руки коротки!

— У ней руки хорошие, молодые, у Василисы-то. Баба в самом соку! — смеялся курчавый.

В другой кучке партизаны оценивали трофейные головные уборы. Молодой мужик вертел в руках кивер.

— В етой шапке хорошо: она легкая и не боится дожжа. Вишь, вся кожаная, — хвалил он, поворачивая французский кивер во все стороны.

— А на ней же должон быть красный аль желтый султан. Стоит вот эдак торчком, ровно помело, — показал другой. — Ты куда же, паря, султан подевал?

— Верно, был и салтан. Зеленый. Длинный, ровно собачий хвост. Я его топором обкорнал. По закустью ходить с ним несподручно: мешает.

— Лучше моей шапки нет! — хлопнул по высокой медвежьей гренадерской шапке веселый партизан. — И мягкая и теплая! По нашей зимушке!

— Ты в ней, брат, как духовное лицо!

— И скажи: они все с теплой стороны, а как хоронят голову!

— Да, одежка у них ветром подбита, а голова накутана, как у старой бабы.

— Умные люди бают: держи голову в холоде, а ноги в тепле. А у них все навыворот: голову кутают, а ноги босы...

— Ты бы, как они, с конца света к нам пожаловал, тоже без сапог бы ходил.

— Мои сапожки не скоро износятся, — засмеялся партизан, подымая ногу в аккуратном, новеньком лапте. — Только вот беда: в стремя не влезают — широки!

Партизаны говорили о том о сем, а в избе фельдмаршал сидел, склонив свою седую голову над картой — обдумывал действия летучих военных отрядов, вместе с партизанами державших врага в тесном надежном кольце.

Организованная Кутузовым «малая война» приносила большие успехи.

Офицер из отряда генерала Винцингероде доложил все, получил приказ и умчался, не мешкая, назад, к отряду.

Михаил Илларионович глянул через стол в окно.

— Сегодня у нас много гостей! — весело сказал он. — Что, привели снова пленных? Сколько?

— Больше восьмисот человек, ваше сиятельство, — ответил Коновницын.

— Видишь, Петр Петрович, что значит «малая война», — сказал фельдмаршал. — Вчера в бою мы взяли всего тысячу пятьсот человек, а сегодня в мелких партизанских стычках враг потерял пленными восемьсот! Молодцы ребята! Ай да партизаны, ай да мужики!

— Не одни мужики, ваше сиятельство. Из Бронницкого отряда в конвое пришли две бабы.

— Вот как у нас! — улыбнулся Кутузов. — Стало быть, не только сычевская Василиса Кожина действует! Весь народ поднялся! Это чудесно! Ну, откуда они там?

— Из разных отрядов, — ответил Коновницын, глядя в окно. — Вот от Стулова из Волоколамска вижу гонца, вон старик из Звенигородского отряда дьячка Романа... А тот, курносый, молодой, — из-под Дмитрова. Я его запомнил — он как-то привез нам эполет убитого французского генерала, что попался партизанам...

— Как же, помню. Хорошо, голубчик. Давай послушаем-ка их, как всегда, по одному. Раньше тех, кто прибыл издалека. Нет ли сычевских, от Василисы Кожиной?

— Не видно, Михаил Илларионович. Да ведь от нее недавно были.

— Вон вижу гонца из Гжатского отряда.

— От Четвертакова?

— Нет, от Потапова.

— А, это от гусара, которого зовут Самусь? Ну что ж, начнем с него.

Коновницын вышел из избы, а главнокомандующий уселся поудобнее и приготовился слушать партизанские повести. Он только что выслушал донесения, присланные генералами, полковниками, командирами летучих военных партий, а теперь настал черед послушать представителей народных отрядов, которыми командовали крестьяне, мещане, ремесленники, купцы, духовные, отставные во-

енные и солдаты, попавшие в плен, как драгун Четвертаков и гусар Потапов, но потом бежавшие из вражеской неволи.

Коновницын ввел в избу сорокалетнего крестьянина в коротком дубленом полушубке и крепких сапогах. Крестьянин, не робея, вошел к главнокомандующему, степенно поклонился ему и спокойно стоял, ожидая вопросов.

«Одет хорошо. Очевидно, кто-либо из дворового начальства. Потому и не смущается! Привык приходить к барину для докладов», — подумал Михаил Илларионович и спросил:

— В старостах ходил?

— Изволили угадать, ваше сиятельство, был бурмистром в имении «Веселое» Полозовых.

— Как звать?

— Макаров Галактион.

— Как, как? Галактион? — удивленно переспросил главнокомандующий, наклоняясь вперед.

— Точно так, Галактион.

— Ишь какое мудреное имя тебе поп нарек! Почему?

— Наш барин любил выдумывать, чтоб посмешнее, чтоб мужик не мог выговорить, а другие б смеялись... Мое имя — что! В нашей деревне есть бондарь, ему при рождении барин дал имя Индис, вроде индюк, а другого зовут Арапион, вроде как собачья кличка — Арапка...

Главнокомандующий молча покачал головой. Спросил:

— Ну как же вы воюете в Гжатской округе?

— Стараемся, ваше сиятельство. Помним, что вы сказывали: чтоб французу — ни пройти ни проехать. Мы за большаком так и следим в оба глаза. Намедни снова разбили евоный обоз.

— А с летучими военными отрядами держите связь?

— Как же, держим. С полковником Давыдовым.

— Держите, обязательно держите! Ваш командир Потапов-Самусь — простой солдат, а Давыдов — полковник. И оба командуют отрядами. Ладят они между собой? — спросил, улыбаясь, Кутузов.

— Ладят, ваше сиятельство! Полковник лихой, но простой — русская душа!

— Впрочем, по численности ваш отряд не уступит давыдовскому. Сколько у вас в отряде человек?

— Поболе полутора тысяч.

— Петр Петрович, а сколько людей у Четвертакова? — обратился к Коновницыну Кутузов.

— За три тысячи перевалило, Михаил Илларионович.

— Вот слышишь, Галактион! Передай Самусю, что ему, гусару, негоже отставать от драгуна!

— Слушаюсь, батюшка!

— Передай всем мужикам: держать врага в страхе! Чтоб ему ни днем ни ночью не было покоя! Чтоб чувствовал, что не гостем пришел в наш дом, а разбойником, грабителем! Помогайте полковнику Давыдову расправляться с врагом. Других заданий пока не будет. Поезжай домой — путь у тебя не близкий!

— Не сумлевайтесь, ваше сиятельство. Будем истреблять врага! Счастливо оставаться! — кланяясь, ответил Галактион и вышел.

Коновницын пошел вслед за ним.

«Весь народ встал на защиту родины — русские, белорусы, украинцы... Башкиры и калмыки прислали свои полки», — думал Кутузов, глядя на разостланную перед ним карту.

Вместе с Коновницыным в избу вошел небольшой, невзрачного вида человек.

— Это из Серпуховского отряда, — доложил Коновницын.

— Ну что у вас новенького, рассказывай! — обратился к вошедшему Михаил Илларионович.

— Третьеводни ребятишки нам сказали, что французы идут на Хотунь. Мы переправились вброд через Лопасню, вышли им в тыл и ударили. Одиннадцать убили да тридцать шесть взяли в плен. Шесть повозок с лошадьми взяли.

— Ну что ж, молодцы, серпуховцы! — похвалил главнокомандующий. — Но не глядите, что осень идет. Не отлеживайтесь на печи.

— Что вы, батюшка, что вы! — замахал руками партизан. В одной руке он держал треух, из которого торчали рыжие клочья ваты.

— Неужто треух пулей прошибло? — спросил Кутузов.

— Пулей, — ответил партизан, повертывая треух во все стороны, будто видел его впервые. — Ежели б на палец пониже, то — каюк...

Коновницын записывал в тетрадку количество убитых и пленных французов. Главнокомандующий молчал, глядя на партизана. А тот стоял, переминаясь с ноги на ногу. Чувствовалось, что человек хочет что-то сказать, но не решается.

— Ну что еще, говори! — подбодрил его Михаил Илларионович.

— Не знаю, как лучше сказать, — почесал затылок партизан. — Барин наш, что в Покровском, Андрей Николаевич Ключарев, с французами заодно... У него в имении ихние кавалеристы стояли... Из дворни двое ребят хотели пристать к нам в отряд, так он узнал и грозил им всячески, говорил: не ходите, а то французы узнают, имение сожгут...

— Ах, так! — нахмурился Кутузов. — Запиши, Петр Петрович. Мы господину Ключареву это припомним!

— Спасибо, ваше сиятельство, спасибо! — поблагодарил крестьянин и заторопился к выходу.

— А какие это вон молодицы в лапоточках, откуда? — спросил Михаил Илларионович, глядя в окно.

— Из Бронниц. Привели пленных.

— Вишь они! Одна даже с карабином. А ну-ка попроси их сюда. Побеседуем с партизанками, — сказал Кутузов.

Коновницын вызвал в избу бронницких молодок. Одна — постарше — держала в руках французский карабин, а вторая — помоложе, курносая — простые русские вилы-тройчатки. Та, что, помоложе, войдя в избу, смутилась — не знала, куда девать вилы...

— Не робейте, бабоньки! А ты, голубушка, не соромься, что у тебя вилы, ведь это твое оружие, не так ли? — приветливо встретил партизанок Кутузов.

Молодая партизанка только кивнула утвердительно головой, но еще сильнее покраснела от смущения. Ее подружка волновалась тоже, но смело смотрела на главнокомандующего.

— Так вы, значит, привели пленных?

— Да.

— Одни вели?

— Нет. С нами шли два старика.

— А пленных много?

— Семь душ.

— И вы не боялись, что в дороге они вас одолеют?

Та, что была помоложе, взглянула на подругу и чуть улыбнулась. А вторая серьезно и уверенно ответила Кутузову:

— Нисколечко. Ведь они безоружные. Да мы и с вооруженными справляемся. Вот у нас на прошлой неделе две сестры укокошили немца-мародера.

— Как же так? — полюбопытствовал Михаил Илларионович.

— Пришел к ним в избу мародер, стал приставать к матери — давай деньги. В сундук полез, на мать тесаком замахнулся. Так Дуня и Фрося схватили топор да вот эдакие вилы и прикончили вора! Он, окаянный, успел-таки их тесаком поранить! Дуне рассек руку выше локтя, а Фросю ударил по голове. Дуня — рукодельница — плакала, боялась, что рука отымется, а младшая, Фрося, — хоть бы что. Кровь у нее с головы так и льется, а она только сжала губы и все...

— Молодцы! — восхищенно сказал главнокомандующий. — Ишь какие у нас на Руси геройские девушки! Петр Петрович, дайка — вон на подоконнике лежит — медовую коврижку. Давеча мне купцы из Калуги прислали. Попотчуем-ка наших дорогих гостей!

Коновницын протянул молодицам большую, как поднос, украшенную сахарным вензелем «МК» коричневую коврижку. Партизанки отказывались, благодарили, пятились от коврижки к порогу, но Михаил Илларионович заставил их принять угощение. Молодицам пришлось унести с собой коврижку. Они шли, гордые тем, что их попотчевал сам Михаил Ларионович.

Коновницын вызвал к главнокомандующему следующего партизанского гонца — крепкого чернобородого крестьянина.

— От Герасима Курина, из Вохновской волости, — доложил Коновницын.

— Добро пожаловать! — приветствовал Кутузов. Он ценил Герасима Курина, как одного из самых талантливых организаторов крестьянских отрядов.

— Да ты, брат, похож на Герасима Курина, — сказал Кутузов. — Такой же чернобородый...

— Герасим — мой двоюродный брат.

— Ах, вон оно что! Ну, какие вести привез?

— Стараемся, ваше сиятельство. В воскресенье опять сшибка была на большой дороге. Сто восемьдесят девять положили на месте, сам считал, сто шестьдесят два запросили пардону, из них два офицера, да разбежалось сколько-то. Захватили двадцать две телеги с амуницией и лошадьми, шесть зарядных ящиков и вот что.

Чернобородый достал из-за пазухи малиновый шелковый сверток. Он развернул сверток на столе у главнокомандующего — это было французское знамя.

— Какого полка? — нагнулся над полотнищем Михаил Илларионович.

— Сто семьдесят второго линейного пехотного, — прочел Коновницын.

— Вот за это, дружок, спасибо! — весело сказал главнокомандующий. — А кто же взял знамя?

— Я, ваше сиятельство, — смутился чернобородый.

— Молодец! Тебя как величать?

— Емёльян Васильев.

— Молодец, Емельян! Петр Петрович, запиши, голубчик, его фамилию. Надо представить к награде. Славно, славно! — повторил Кутузов, разглядывая знамя. — Вон в двух местах прострелено. Бывалое, боевое... А в стычке потери у вас были?

— Человек двадцать легко ранены да семь убиты...

— Вечная им память! — перекрестился Кутузов. — Ну, удружил Герасим! Ай да Курин! Ежели бы его учить, хороший полководец вышел бы! Сколько сейчас у вас в отряде народу?

— Около пяти тысяч пеших, ваше сиятельство, да пятьсот конных.

— Слышишь, Петр Петрович! Это два полка. А пушек не прибавилось? Все те же, что тогда взяли?

— Не прибавилось, — виновато ответил Емельян.

— Ну, передай Герасиму Курину — спасибо! Это не я говорю, Отечество, Россия говорит!

Емельян Васильев, обрадованный тем, что главнокомандующий обещал отметить его за взятое знамя и что сам Кутузов передает через него благодарность всему отряду, ушел из избы, сияя от счастья.

— Сколько за последние дни взяли в плен партизаны? — спросил у Коновницына Михаил Илларионович.

Коновницын полистал ведомости, лежащие на столе, и прочел:

— С третьего по восемнадцатое сентября уничтожено более тысячи ста человек, взято в плен один генерал, двадцать три офицера и пять тысяч пятьсот солдат. И это, ваше сиятельство, без сегодняшних, — уточнил он.

Кутузов встал из-за стола, чтобы немного размяться. Он тоже был удовлетворен: действия небольших отрядов регулярной армии превращаются во всенародную войну.

...Вечерело. В избе главнокомандующего уже горели на столе две свечи, а Кутузов все выслушивал рассказы партизанских гонцов.

II

Вечером 7 октября, когда в русском лагере пели, гуляли, веселились по случаю вчерашней тарутинской победы, к главнокомандующему примчался гонец от генерала Дорохова, стоявшего со своим небольшим летучим отрядом у села Котово. Дорохов сообщал, что на новой Калужской дороге показались значительные силы французов, и просил прислать в помощь два полка пехоты, обещая: «Я сей отряд убью непременно!»

Михаил Илларионович уже поджидал движения французов, хотя, по своему обыкновению, не говорил о нем никому. Кутузов знал, что Наполеон рано или поздно уйдет из Москвы, поймет наконец, что нечего сидеть у моря и ждать погоды.

Поражение Мюрата у Чернишни должно было ускорить это.

Конечно, Наполеон захочет пробиться на юг, к Калуге, где собраны все запасы русской армии. Старая Калужская дорога короче, но ее не уступал Кутузов — он вернулся назад, к Тарутину.

Люди, не вникавшие глубоко в положение вещей, советовали вчера Михаилу Илларионовичу гнаться за Мюратом. Фельдмаршал отказался: неаполитанский король отступил бы еще, а Наполеон тем временем обошел бы Кутузова и раньше его появился бы у Боровска.

Пока еще было неясно, куда направится Наполеон: он тоже следил за каждым шагом Кутузова. Михаил Илларионович старался поступать так, чтобы не он, а французский император сделал бы первый шаг. Кутузов придерживался той же тактики, как при Бородине.

Еще вчера, после сражения, Михаил Илларионович послал на всякий случай шестой корпус Дохтурова, казачьи и егерские полки к Боровску, подчинив ему отряды Дорохова, Фигнера и Сеславина. Вместе с Дохтуровым Кутузов отправил и генерала Ермолова:

Михаил Илларионович не хотел видеть его львиного взгляда, в котором львиное соединялось с лисьим.

Он знал, что Ермолов, так же как и Беннигсен, считает его дряхлым стариком. Недаром Алексей Петрович сплетничал о Кутузове: «Он ходит уже как на лыжах», то есть уже не подымает ног.

К Боровску по собственному желанию помчался жаждавший боевой славы английский генерал, сэр Роберт Вильсон.

На месте оставался лишь Беннигсен. После дела у Чернишни Беннигсен окончательно возненавидел Кутузова. Не понимая, почему фельдмаршал не пошел вперед, Беннигсен принял все на свой счет: он жаловался всем, будто главнокомандующий нарочно оставил его вчера без поддержки, чтобы не допустить окончательного разгрома Мюрата и уменьшить заслуги Беннигсена. Беннигсен не выходил из своей избы — делал вид, будто страдает от «контузии» ноги. И, следовательно, лезть к Михаилу Илларионовичу с предложениями и советами было уже некому.

Кутузов тотчас же отрядил Дорохову два полка пехоты и стал ждать дальнейших событий.

8 октября на русские аванпосты явился полковник Бертеми с письмом маршала Бертье. Князь Невшательский снова повторил слова Лористона «о принятии мер, дабы война получила ход, сообразный с установленными правилами, а страна претерпевала бы токмо одни неизбежно от войны происходящие бедствия».

Михаил Илларионович понял, что это просто разведка: Наполеону, с одной стороны, хотелось удостовериться, где находится Кутузов, а с другой — убедить русского главнокомандующего, что он еще в Москве, раз под письмом Бертье стояло: «Москва».

Кутузов был не настолько прост, чтобы не понять всего этого. Он ответил Бертье пространным письмом, в котором еще раз многозначительно сказал:

«Однако повторяю здесь истину, значение и силу которой Вы, князь, несомненно оцените: трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел, народ, который в продолжение двухсот лет не видел войн на своей земле, народ, готовый жертвовать собой для родины и который не делает различий между тем, что принято и что не принято в войнах обыкновенных».

В последние дни фельдмаршал был много занят текущими делами: он заботился о сухарях, вине и прочем. Хозяйство у Кутузова было громадное, обо всем приходилось помнить и вникать во всякую мелочь. Фельдмаршал продолжал подготавливать армию к зимней кампании и ждал, когда же станет окончательно ясным следующий шаг Наполеона.

III

Капитан Сеславин запомнил, что сказал фельдмаршал, отправляя их из Леташевки для ведения «малой войны»: «Партизан должен быть решителен, быстр и неутомим!»

Решительности у Александра Никитича не занимать стать, быстроты тоже, да иначе и не могло быть: отряд Сеславина состоял из двухсот пятидесяти казаков и эскадрона (сто тридцать человек) изюмских гусар. Народ все не только конный, но и молодой.

Фельдмаршал, отряжая партии, лично выбирал их командиров, а командирам дал право самим отбирать народ. И капитан Сеславин выбрал из изюмцев солдат помоложе. Только один вахмистр украинец Мыкола Кныш был лет сорока, но быстр и ловок. А неутомимости у тридцатидвухлетнего капитана Сеславина хватало: он уже целые сутки неустанно следил за французами, пришедшими в село Фоминское. Их было тысяч до десяти — об этом уже донес фельдмаршалу генерал Дорохов, действовавший рядом с Александром Никитичем. Это была дивизия Брусье и легкая конница Орнано, называвшаяся легкой, а по измученности лошадей превратившаяся в тяжелую на подъем.

Генерал Дохтуров, стоявший со своим шестым пехотным корпусом в Аристове, верстах в семнадцати от Леташевки, ждал точных известий. Он приказал Фигнеру и Сеславину вести неустанную разведку.

И Александр Никитич не спускал с Фоминского глаз.

Серый октябрьский денек быстро промелькнул. Отряд Сеславина расположился в трех верстах от Фоминского у деревни Мальково.

Деревня стояла пустая, сумрачная; жители все укрылись в лесу. Калитки и ворота открыты, ни из одной трубы не шел дым.

Отряд располагался на поляне в лесу. В дозоре у дороги из Фоминского в Боровск стояли три казака.

Уже вечерело. Сеславин с офицерами своего отряда сидел у костра. И вдруг послышался топот копыт — к ним скакал один из казаков.

— Тронулись! Едут! — закричал он издалека.

Сеславин сел на коня и, приказав всем оставаться на месте и взяв одного лишь вахмистра Кныша, выехал на опушку леса. Он встал в густых можжевеловых кустах. Кныш в нескольких шагах от него держал коней.

Взглянув на дорогу, Сеславин сразу понял, что из Фоминского движется не одна дивизия, а целая французская армия. Вся дорога была запружена войсками. Перед глазами Сеславина тянулась бесконечная пестрая лента повозок. Обозы были непомерно велики.

В них виднелось не так много армейских фургонов и телег, как много разного рода экипажей, карет, колясочек, дрожек. «Великая армия» увозила награбленное в Москве добро.

Генералы и старшие офицеры везли мебель, картины, ковры, меха, хрусталь более или менее открыто, а солдаты еще старались замаскировать все грязными рогожами, прикрыть мешками, в которых угадывался картофель или капуста. Но шила в мешке не утаишь. На тряской дороге из-под куля с отрубями или овсом тут нескромно выглядывал золоченый канделябр, а там дорогая фарфоровая ваза.

Среди обозов тяжело тащились орудия. Лафеты и зарядные ящики тоже были загромождены разной кладью, не имевшей даже отдаленного отношения к артиллерии.

Сама армия еще была громадна, но ее маскарадные костюмы выглядели странно: среди синих форменных мундиров кое-где виднелись женские мантильи и салопы, светлые священнические ризы и черные монашеские рясы, русские поддевки и бухарские халаты. Погода стояла еще теплая, и нельзя сказать, чтобы солдаты кутались из-за стужи. Вероятно, хотели прикрыться от дождя или напяливали на себя бог весть что, чтобы только не расставаться с понравившейся вещью.

Уже не было никакого сомнения в том, что двигалась вся армия. Но Сеславину хотелось удостовериться, увидеть самого Наполеона.

Александр Никитич простоял больше часа. Мимо него проходили полки, тянулись пушки, повозки. Повозок было больше всего — они шли в четыре ряда. Это напоминало движение варваров после удачного набега.

Но вот наконец среди этого маскарадно одетого войска, шедшего без всякой воинской выправки, думавшего больше о том, что у него за плечами, показалась сомкнутая по-военному колонна. Солдаты были все в одинаковом обмундировании, с ружьями на плече. Рослые, усатые, они шли привычным размеренным шагом. У каждого из гвардейцев поверх телячьего ранца лежали два-три белых хлеба, а сбоку на портупее висела фляжка, которая, разумеется, не была пустой.

В середине этих стройных шеренг колыхался эскадрон гвардейской кавалерии, а за ним ехал маленький человек в треуголке в сопровождении многочисленной свиты.

Ждать больше было нечего.

Александр Никитич повернулся, сел на коня и поскакал: надо было немедля известить генерала Дохтурова, что Наполеон идет к Боровску в обход русской армии.

Проворные казаки захватили в плен гвардейского унтер-офицера, которого неисправный желудок вынудил заскочить в придорожные кусты.

Сеславин допросил пленного.

Француз словоохотливо рассказал: Наполеон с армией идет из Москвы к Малоярославцу уже четвертый день. Тяжелая артиллерия и все прочие тяжести отправлены по Можайской дороге под прикрытием Понятовского. Завтра императорская квартира будет в Боровске. Мортье, с молодой гвардией оставленный в Москве, взорвал Кремль и уцелевшие от пожара дома и идет вслед за Наполеоном.

Француз был доволен, что наконец увидал настоящий хлеб, и только сокрушался, что в обозе у него осталось много имущества: он обещал жене привезти из Москвы ковры и персидскую шаль.

Капитан Сеславин взял с собой пленного и в сопровождении Кныша и трех гусар поскакал в Аристово к Дохтурову.

IV

Большие кавалерийские кони ординарцев постепенно отстали от маленького, выносливого майорского калмыка — Димитрий Николаевич Болговской шпорил его, ехал не разбирая дороги: она вся была одинаково плоха. Ее разбили войска Дохтурова, двигавшегося вчера в Аристово.

Под луной блестели лужи вчерашнего дождя, который лил всю ночь. Грязь летела из-под копыт калмыка во все стороны. Полы шинели и сапоги Болговского были заляпаны ею.

Получив донесение от Сеславина о том, что из Фоминского движется вся армия Наполеона, Дохтуров немедленно послал к фельдмаршалу с этим важным известием своего дежурного штаб-офицера.

Болговской торопился как мог. Еще хорошо, что стояла лунная, светлая ночь.

Уже было после полуночи, когда Болговской на измученном калмыке добрался до Леташевки. Майор с удовольствием соскочил с коня у избы Коновницына.

Болговской отворил тяжелую, набухшую дверь и вошел. Петр Петрович еще не спал. Он в халате и колпаке писал при свече у стола в облаках табачного дыма.

Коновницын поднял глаза на Болговского:

— Дмитрий Николаевич, что?

— Наполеон ушел из Москвы. Он движется от Фоминского к Боровскому, — выпалил Болговской.

— Это верно? Откуда сведения?

— Сеславин видел собственными глазами. Он взял пленного, который рассказал, что французы взорвали Кремль и сожгли все, что уцелело в Москве от пожаров. Вот рапорт Димитрия Сергеича. — Болговской положил конверт на стол.

— Садись, я сейчас! — сказал Коновницын и, надев мундир, выбежал из избы.

Болговской хотел сесть на скамью, но невольно глянул на свои ноги и полы шинели.

Фельдмаршал, конечно, пожелает сам расспросить гонца. Он вышел на освещенный луной двор и стал стряхивать пыль с шинели и сапог.

Коновницын через минуту вернулся к нему с Толем. И все трое пошли к фельдмаршалу.

Коновницын и Толь вошли в избу, а майор Болговской остался в сенях. Сквозь маленькое оконце светила луна. Из-за тяжелой двери глухо доносились голоса. Фельдмаршал быстро откликнулся. Ясно послышалось его возмущенное: «Ах мерзавцы, взорвали Кремль! Я ж говорил! Да позовите его сюда!»

Открылась дверь, и Толь позвал:

— Дмитрий Николаевич!

Болговской одернул шинель, вошел в избу и встал у перегородки в лунном луче, падавшем через окно на пол.

В призрачном свете луны Болговской увидел грузную фигуру Кутузова. Фельдмаршал в сюртуке сидел на кровати за перегородкой.

— Ну говори, дружочек, какие ты мне вести привез? Неужели взаправду Наполеон бежит из Москвы? Говори же скорее, голубчик! Сердце дрожит!

— Ваше сиятельство, Наполеон уже четыре дня как вышел из Москвы. Армия идет к Малоярославцу. Надеются завтра быть в Боровске.

— Так, так! Господи! Ты внял нашим мольбам! — растроганно сказал фельдмаршал. — Теперь Россия спасена!

Он полуобернулся к красному углу избы, где чернели иконы.

Кутузов протер слезившийся правый глаз, а заодно машинально провел платком и по здоровому левому. Когда он делал так, все считали, что Кутузов плачет. И враги Михаила Илларионовича, начиная от Александра I, неосновательно называли его «плакса».

— Свечу! — бодро и властно сказал фельдмаршал и, поднявшись, быстро пошел к столу.

Через полчаса майор Болговской уже мчался назад с приказом главнокомандующего генералу Дохтурову немедля идти к Малоярославцу.

Три недели можно было у Тарутина «предаваться неге», как писали неумные враги Михаила Илларионовича. Попросту говоря, три недели приходилось готовиться и ждать, а сейчас надо было действовать.

V

Еще час тому назад маленькая, затерявшаяся среди лесов Леташевка мирно спала, а теперь вдруг вся ожила: в окнах засветились огни, захлопали двери изб, тишину лунной ночи разорвали неуважительно громкие голоса, по улицам зацокали копыта лошадей — ординарцы и вестовые мчались от фельдмаршальского дома во все стороны, подымая фонтаны грязи.

Кутузов решил двигаться с армией к Малоярославцу утром и теперь делал последние приготовления.

Фельдмаршал сидел у стола перед раскрытой картой. Все эти дороги от Москвы на юг и запад давно были «исхожены» циркулем и карандашом. На карте спокойно стоял стакан чаю, поданный Ничипором.

Фельдмаршал предписал Платову со всеми его полками и ротой конной артиллерии, «не медля нимало», идти к Малоярославцу. Платов должен был прикрывать с фланга движение всей русской армии.

Кутузов вызвал начальника военных сообщений генерала Ивашова и приказал ему посмотреть дорогу и починить мосты.

Милорадовичу дано было задание уточнить, где находится французский авангард, а затем следовать за армией.

Кутузов послал гонца в Калугу предупредить губернатора о том, что Наполеон идет на Боровск.

Остаток ночи и утро прошли в разных срочных делах.

И когда уже, кажется, все было готово (Михаил Илларионович отдал за последние двенадцать часов шестнадцать письменных приказов, не считая словесных распоряжений), Кутузов вспомнил еще об одном.

Он уходил из гостеприимного, так много давшего русской армии Тарутина. Михаил Илларионович написал владелице Тарутина обер-гофмейстерине Анне Никитишне Нарышкиной, с которой не раз встречался при дворе:

«Село Тарутино, Вам принадлежащее, ознаменовано было славною победою русского войска над неприятельским. Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавою, и река Нара будет для нас так же знаменита, как Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая. Покорнейше прошу Вас, милостивая государыня, чтоб укрепления, сделанные близ села Тарутина, укрепления, которые устрашили полки неприятельские и были твердою преградою, близ коей остановился быстрый поток разорителей, грозивший наводнить всю Россию, чтобы сии укрепления остались неприкосновенными.

Пускай время, а не рука человеческая их уничтожит; пускай земледелец, обрабатывая вокруг их мирное свое поле, не трогает их своим плугом; пускай и в позднее время будут они для россиян священными памятниками их мужества; пускай наши потомки, смотря на них, будут воспламеняться огнем соревнования и с восхищением говорить: вот место, на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов Отечества!»

В полдень 11 октября русская армия оставила Тарутино.

VI

Дорога была скучная — грязная и непонятная: кажись, неплохо жилось в Гранищеве у Тарутина и неплохо поколотили «Мюрада» (старые солдаты, воевавшие с туркой, так называли Мюрата), а вот, поди ж ты, ведут куда-то назад, на юг.

Армия шла через Леташевку. Думалось разное, думалось такое, о чем вслух и не скажешь.

«Неужто отступаем?»

«Неужто так-таки против него не выстоим?»

От этих невеселых мыслей никли солдатские головы и нехотя шагали ноги.

Солдат весь век на ходу. Солдату не привыкать стать менять квартиру, но все же нелегко оставлять обжитое, пригретое местечко, веселый тарутинский лагерь.

Солдаты шли угрюмые, молча месили ногами осеннюю грязь.

И только на рассвете, пройдя Протву, услышали впереди орудийные выстрелы и оживились.

— Погоди, погоди, паря! Это на отступление не похоже! — начали смекать они.

Не доходя пяти верст до Малоярославца (уже виднелись колокольни его пятиглавого собора и церквей), главнокомандующий устроил привал.

Впереди кипел жаркий бой, слышались не только пушечные выстрелы, но и перекаты ружейной перестрелки. Полки составили ружья в козлы. Задымились трубочки, захрустели на солдатских зубах сухарики.

Фельдмаршал вылез из забрызганной чуть ли не доверху грязью старой коляски и сел на скамеечку среди гвардии.

От Малоярославца скакали к нему с донесениями гонцы. Солдаты услыхали: француз раньше Дохтурова поспел в Малоярославец. Бьются отчаянно, городишко уже три раза переходил из рук в руки.

По дороге из Малоярославца тянулись редкие госпитальные фуры с ранеными. Как всегда, раненым небо казалось с овчинку:

— Валом валят. Тальянцы...

— Не перебить окаянных.

Здоровые уверенно и бодро отвечали им:

— Ну да ничего! Мы их попотчуем!

Дохтуров, принявший на свои плечи удар всей армии Наполеона, просил сикурсу. Он бился с шести утра, уже больше восьми часов.

Михаил Илларионович сидел на скамеечке, думал: «Вот если бы послушался «умников» и погнался бы тогда за Мюратом у Чернишни, Наполеон успел бы проскочить мимо нас к Калуге по этой новой Калужской дороге. А так — близок локоть, да не укусишь, ваше величество!»

«Умники» были у Малоярославца: Ермолов, рыжий англичанин Вильсон. При Кутузове, как бельмо в глазу, торчал все еще обиженный за Чернишню спесивый Беннигсен.

Ермолов прислал адъютанта, просил подкрепления.

«Все они думают одно: как бы завязать генеральное сражение, а следует только не пустить козла в огород! Не пустить Наполеона в Калугу!»

Михаил Илларионович подозвал Коновницына — он не интриган, он простой солдат, увидит, что там надо.

— Петр Петрович, голубчик! Ты знаешь, как я тебя берегу! — сказал ему фельдмаршал. — Я всегда удерживал твою храбрость, просил: не кидайся в огонь, а сегодня прошу: очисти город!

Коновницын взял бывшую свою третью пехотную дивизию и повел туда, где клокотали гранаты, визжали ядра, рушились горевшие дома.

Томительно тянулись минуты. Малоярославец горел. Ветер приносил вместе с выстрелами терпкий запах пожарищ.

Коновницын оттеснил французов к реке Лужа, но французы зацепились за торговые ряды Соборной площади, за Черноост-

рожский монастырь, стоявший на противоположном конце города, на обрыве.

Коновницын просил помощи. Кутузов отправил своего второго любимца — Раевского.

Малоярославец в четвертый раз оказался у русских. Собственно говоря, города уже не было: были догорающие дома и груды тел на тесных улицах и огородах.

Опять барабанный бой, крики, лязг штыков, ожесточенная рукопашная схватка, и опять русские отброшены к южной, Калужской заставе.

Но и французы не могут никак пробиться дальше, за Малоярославец. Враги дерутся с одинаковым ожесточением.

Кутузов поднял армию и подошел на версту к городу — он твердо преграждал путь Наполеону.

Пока полки занимали позицию, фельдмаршал без свиты, незаметно подъехал к самому Малоярославцу. Не только ядра, но и пули носились роем вокруг него. Одна граната упала в двух шагах от Кутузова. Спокойный конь фельдмаршала испуганно шарахнулся в сторону, но Михаил Илларионович усидел и продолжал осматривать позицию, в потом так же невозмутимо вернулся назад к гвардии, где осталась его коляска. Позиция русских была выгоднее: южная часть города располагалась на возвышенности, и ее трудно было атаковать.

Раевский поддержал Дохтурова, но полки Дохтурова сильно поредели и утомились, пробыв целый день в непрерывном бою. Хочешь не хочешь, а надо их сменить.

Михаил Илларионович послал на смену Дохтурову второй корпус Бороздина.

В это время по дороге из Ильинки показались полки Милорадовича. Никто не ожидал, что он так быстро проделает пятьдесят верст. Армия встретила Милорадовича дружным «ура».

К Кутузову подскакал красный, потный, но все же щеголеватый (хотя уже без цветных шарфов на шее) сияющий, как именинник, Михаил Андреевич.

— Мой крылатый гений! Ты прилетел к нам, как архангел Михаил! — сказал фельдмаршал Милорадовичу, раскрывая ему свои объятия.

Теперь вся русская армия была в сборе.

Из Малоярославца выходили сильно поредевшие, черные, усталые солдаты шестой пехотной дивизии. Откуда-то из сожженных вишневых садов городка пришел и сам Дохтуров со своим штабом. Он был по-всегдашнему спокоен, и только глаза глядели устало.

— Мы не пропустили врага, ваше сиятельство, — сказал он, подходя к Кутузову.

— Благодарю тебя, мой дорогой! Ты сегодня утешил меня, старика! — ответил Михаил Илларионович, обнимая Дохтурова. — Пойди отдохни, дружок!.. Нет, провести нас я Наполеону не позволю! — добавил фельдмаршал, поправляя свою белую бескозырку. — Пусть идет назад, как пришел — по старой дороге!

Вечерело. Бой длился уже больше полусуток. Маленький уездный городок восемь раз переходил из рук в руки.

На землю легла теплая ночь. Бой затихал. Выплыла луна.

Михаил Илларионович ходил возле палатки и думал. Генералитет и свита стояли у костра, переговаривались вполголоса, ждали, что предпримет фельдмаршал.

Намерения Наполеона было нетрудно угадать: завтра он будет стараться пробиться к Калуге. Завтра он усилит атаки. Сегодня действовали только итальянцы вице-короля и Даву, а завтра Наполеон бросит все. Ему во что бы то ни стало надо пробиться к Калуге, где сосредоточены все продовольственные и боевые запасы русских.

«А какова же наша позиция? — обдумывал Кутузов. — На ней негде развернуться кавалерии, а кавалерия у нас сильнее обезноженной французской конницы. В тылу русского расположения, в версте, перед селом Нямцевом, лежит овраг. Овраг труден для перехода: его склоны, как назло, чрезвычайно круты. А дальше тянется узкая и длинная плотина. Конечно, нужно подготовить за ночь более удобную позицию».

Михаил Илларионович подошел к костру и сказал Толю:

— Карлуша, пиши диспозицию: армия отходит за село Нямцево. А ты, голубчик, — кивнул он квартирмейстерскому офицеру Кроссару, — поезжай и найди местечко поудобнее. Эта наша позиция и мала и узка!

В толпе генералов произошло движение, словно над их головами брызнула картечь.

Все заговорили, запротестовали.

Возражали на разных языках, хотя по одному и тому же поводу: Беннигсен. — на немецком, Вильсон — на английском, Ермолов и Толь — на русском.

— Отступать? Зачем? Куда? Никогда!

— Ваше сиятельство, я напишу диспозицию к завтрему такую: идти вперед, прогнать неприятеля за Лужу и преследовать! — горячо сказал Толь.

Он уже был в волнении, ноздри его раздувались.

— Да, да, только фпериот! — затараторил рыжий Вильсон.

Англичанин смотрел на старого фельдмаршала с удивлением и презрением.

Кутузов спокойно слушал эти нелепые возражения и предложения.

— Господин фельдмаршал, желаю вам успеха для завершения дела, начатого под Эйлау! — бросил Беннигсен.

Кутузов понял тонкую насмешку самовлюбленного хвастуна Беннигсена: мол, при Эйлау я начал бить Наполеона, а тебе остается теперь только докончить.

Кутузов подошел к возбужденному Толю и сказал:

— Видишь, Карлуша, вон опытный генерал, — Михаил Илларионович кивнул на Беннигсена, — говорит, что завтра на меня нападет неприятель. А ты хочешь, чтоб я действовал как заносчивый гусар. Нет, нет, я должен хорошенько приготовиться к встрече! — Фельдмаршал положил руку на плечо Толя и без тени неудовольствия, но твердо приказал: — Поди, милый, и напиши то, что я говорю!

Больше всех суетился и беспокоился Вильсон. Он стал так красен, как его волосы и мундир. Он кричал, что переводить ночью через нямцевский овраг значительные силы опасно. Что на длинной и узкой плотине войска смешаются, собьются, что арьергард, во всяком случае, погибнет целиком. И он сочувственно смотрел на генерала Уварова, командовавшего арьергардом.

На секунду фельдмаршал закрыл глаза. Потом с вежливой, но холодной улыбкой веско, неторопливо сказал наглому британцу:

— Ваши соображения меня не убеждают. Я предпочитаю построить неприятелю, как вы называете, «золотой мост», чем получить от него удар в затылок. Сверх того, я снова повторяю то, что уже несколько раз говорил вам: я вовсе не убежден, что совершенное уничтожение Наполеона и его армии будет великим благодеянием для вселенной. Его наследство достанется не России или какой-нибудь иной из держав материка, но той, которая уже завладела морями. И тогда-то ее владычество будет невыносимо!

И фельдмаршал пошел от него прочь так быстро, насколько позволяли его старые, больные ноги.

Несмотря на мрачные предсказания английского генерала, русская армия благополучно перешла через нямцевский овраг и узкую плотину. Арьергард остался совершенно цел: по коннице Уварова, когда она отходила на новые позиции, французы пустили всего лишь две гранаты.

А старый фельдмаршал, утомленный всеми переживаниями этого великого дня, решившего судьбы России и Наполеона, уснул под открытым небом на бурке. Свист ядер и ружейная трескотня, то и дело вспыхивавшие на линии, не мешали ему спать: Кутузов был спокоен — русская армия преградила Наполеону путь на юг.

Глава четырнадцатая

НАПОЛЕОН БЕЖИТ

Что иностранные писатели все почти единодушны приписывать истребление наполеоновской армии голоду и морозу, то это неудивительно. Все почти имели там своих представителей, и не сознаться же им пред целым светом и потомством, что истребили их действия русских армий.

Н. Митаревский.
«Воспоминания о войне 1812 г.»

Относительно ужасных бедствий, обрушившихся на французскую армию во время ее отступления, бедствий, которые Наполеон приписывает единственно морозу, Сен-Сир отвергает так, как и я: «Это заверение теперь все знают, говорит маршал, что когда большие морозы начались после переправы через Березину, то семи восьмых нашей армии уже не существовало».

Генерал Шамбре

Почти три четверти армии, которую Наполеон привел в Россию, было разрушено, а остальная, четвертая часть приведена в жалкий беспорядок еще до выпадения снега, которому Наполеон потом заблагорассудился приписать свою неудачу.

Вальтер Скотт

Было бы ошибкой думать, что зима в 1812 г. наступила рано: напротив, в Москве стояла прекраснейшая погода. Когда мы выступали оттуда, 19 октября, было всего три градуса мороза и солнце ярко светило.

Стендаль

Армия погибла прежде, чем погода приняла суровый вид.

Капфиг

I

«Великая армия» отступала.

Не пробившись в южные губернии, Наполеон был вынужден повернуть на старую дорогу и идти через Боровск — Верею — Можайск в Смоленск.

Наполеоновской армии был хорошо знаком и памятен этот широкий тракт, с кое-где уцелевшими полосатыми верстовыми столбами. Еще с лета там и сям у обочины валялись остовы разби-

тых фургонов и повозок, ржавели пробитые пулями каски, белели конские черепа. А чуть подальше от дороги мрачно чернели трубы сожженных домов.

Наступать по этому пути было не сладко, но отступать под неусыпным конвоем казаков и партизан, которые нападали при всяком удобном случае, было во сто раз хуже.

Тогда шли, надеясь на победу, на мир, на Москву. А теперь все кончено: нет ни Москвы, ни победы, ни мира.

Многие увозили и уносили из Москвы золото, серебро и дорогие меха, но ценой скольких лишений и невзгод!

А что ждало каждого впереди? Ведь еще надо было прошагать так много лье до милого отеческого очага, если не сразит раньше пуля русского мстителя или казачья пика.

Уныние царило всюду. А если француз потерял последнюю опору в несчастье — веселость, ему чудятся одни бедствия.

Солдаты шли с опущенными головами, стыдясь смотреть в глаза друг другу: каждый понимал, что хоть это и называется «отступление», но на самом деле — постыдное бегство.

Сеял мелкий осенний дождь. Дорога сразу стала грязной и тяжелой. Измученные, вечно голодные кони падали десятками под непосильной кладью. И опять, как летом, в канаву полетели повозки и зарядные ящики, а у дороги стали присаживаться усталые, отставшие солдаты.

Число отставших увеличивалось с каждой верстой.

Под Малоярославцем дрались отчаянно, самозабвенно, как при Бородине, потому что хотели любыми средствами пробиться на юг, к теплу и хлебу, хотели увезти и сохранить награбленное в Москве богатство. Но не смогли сломить стойкость русских людей, преградивших им путь, пришлось возвращаться на опустошенную дорогу, и уныние овладело армией.

Теперь у всех — от барабанщика до маршала — заветной мечтой стал древний Смоленск. Император, главный штаб, генералы — все только и твердили о том, что в Смоленске армию ждут богатые провиантские магазины, полные разных продуктов, гурты скота, склады обуви и зимней одежды, теплые казармы.

Хлеб и тепло. Какие увлекательные, волнующие слова! Хотелось верить, что где-то существует все это. Но когда говорили о Смоленске, в памяти вставали высокие каменные стены, море огня и дыма над городом, заваленные трупами улицы и испепеленные дома.

Наполеон позорно отступал, но хотел обмануть Европу, убедить ее в том, что он уходит на запад не под давлением русской армии и партизан, а лишь затем, чтобы занять удобные зимние квартиры и сблизиться со своими флангами. С пути он отправил комендантам Могилева и Витебска приказ заготовить побольше провианта и писал успокоительные слова:

«Движение армии добровольное, это только маневр для приближения на четыреста верст к армиям, действующим на флангах; с тех пор как мы оставили окрестности Москвы, нам попадаются только казаки».

Наполеон разделил армию на отдельные эшелоны, которые следовали в полупереходе друг от друга. На этот раз Наполеон предоставил войска маршалам, а сам отступал не как полководец, а как император. Он думал только о себе, а не об армии. Он готов был жертвовать всем, лишь бы самому унести ноги. Наполеон со своей главной квартирой не помещался, как обычно на походе, в центре армии, а шел с гвардией в авангарде. Он чувствовал себя увереннее и безопаснее среди этих закаленных в боях, хорошо обмундированных, сытых, сохранивших выправку и бодрость французских батальонов — недаром он берег их и не пустил в бой во время Бородинской битвы.

Наполеон не думал разделять труды и лишения с войсками, не спал, как Суворов в Альпах, вместе с солдатами на снегу у бивачного костра, а отгораживался от всех гвардией, которая становилась в каре вокруг домов, где располагался со своими фургонами, со своими лакеями и свитой император.

Кроме того, в авангарде не было голодных, завистливых глаз, ревниво следящих за тем, как на привале в императорскую палатку вносят стол, покрытый чистой накрахмаленной скатертью, ставят серебряную посуду. Император и его свита не чувствовали голода. У Наполеона всегда был белый хлеб, говядина или баранина, хорошее прованское масло, рис, любимые с детства бобы и не менее любимые вина — шамбертен и кло-вужо.

Императорский обоз, перевозивший провиант, мебель, палатки, канцелярию, был в порядке. За ним следовало семьдесят фургонов, двадцать карет и колясок и сорок вьючных мулов со столовыми принадлежностями. Никто не смотрел жадными, голодными глазами на мешки с белой мукой, на окорока ветчины, на бараньи туши, потому что за гвардией тянулся громадный обоз, какого, вероятно, не было ни у одной боевой части с тех пор, как ведутся войны.

Когда солдаты Мюрата, жившие впроголодь у Винкова, увидали сытую старую гвардию и богатство ее обоза, зависть и обида вкрались в их сердца. Голодные, они просили у гвардии продать хлеба и вина, но надменные гвардейцы не хотели даже разговаривать с ними. Они жестокосердно-грубо отказывали — денег и дорогих вещей у гвардии было вдосталь.

Вся остальная армия питалась только тем, что каждый вез в фурах или нес за плечами в ранце.

Выступая из Москвы, Наполеон приказал раздать войскам продовольственные запасы, собранные в разных складах на случай

отступления. Но уходили внезапно и поспешно, и правильной раздачи быть не могло. Кто оказался поближе к складам, расторопнее и нахальнее, тот захватил больше. Частям, стоявшим вне Москвы, как авангарду Мюрата, вовсе не досталось ничего. Они принуждены были идти в поход без запасов, надеясь только на то, что найдут по дороге. А дорога была опустошена и разграблена на много верст вокруг, и все, кто пытался добыть еду или фураж подальше от тракта, подвергались риску быть захваченными казаками или партизанами.

При таком беспорядочном распределении запасов нищета и голод уживались в одном и том же полку с изобилием и довольством. В первой роте было всего вдоволь, а во второй — полное оскудение. Случалось и так, что одному батальону доставалось много вина, но ни горсти муки, а у другого была мука, но ни капли вина.

В Симоновском монастыре жгли запасы, которые не успели увезти, а многие полки уходили из Москвы с полупустыми фургонами, имея лишь по нескольку горстей муки на человека.

На пути от Боровска к Верее Наполеон два раза смотрел проходившие корпуса с бесконечными тысячами повозок. Зрелище было неавантажное. Из фургонов, повозок, карет выглядывали дети, старики, женщины — жены и подружки солдат и офицеров, семьи московских французов, пожелавших уехать с армией на родину. Это походило больше на кочевников, ищущих, где бы остановиться, или на орды варваров, возвращающихся с удачного набега, чем на регулярную первоклассную армию Европы.

Каждому капралу было ясно, что маневрировать с таким табором невозможно. Но приказать бросить все награбленное Наполеон не мог — он боялся открытого возмущения. И так уже корпуса, увидев его, не кричали, как бывало: «Да здравствует император!» Он ловил на себе безразличные, а иногда и косые взгляды некоторых солдат, особенно немцев, слышал их нелестные реплики по своему адресу.

Солдаты были злы и недовольны. Они добились того, о чем мечтали, — увозили и уносили несметные богатства древней русской столицы, но никогда не предполагали, что им придется тащить все это на себе.

Наполеон понимал их самочувствие.

Он поехал к себе в авангард, под защиту довольных собой, своей жизнью и своим императором солдат старой гвардии.

Император презрительно думал: «Наплевать, у меня хватит еще пушечного мяса!»

Он торопил авангард, боялся, как бы Кутузов не встретил его в Вязьме, куда мог прийти раньше французов.

Армия спешила поскорее пройти разграбленную, сожженную местность, которую полчища Наполеона окончательно опустошали теперь.

Не сумев ни разбить русскую армию, ни поставить русский народ на колени, Наполеон в бессильной злобе предавал все огню и мечу.

— Так как господа варвары считают полезным сжигать свои города, то надо им помочь в этом! — сказал он.

И весь путь отступления «великой армии» обозначался сплошными пожарами. Все города и села, через которые проходила армия, безжалостно сжигались. А немногочисленные русские пленные расстреливались по дороге.

Привалы были короткими и случайными. Кто имел какую-либо муку, тот пек в золе лепешки или варил похлебку, приправляя ее вместо недостающей соли порохом. На углях костров жарили конину, ее было достаточно: голодные, истощенные кавалерийские, артиллерийские и обозные кони падали каждый день сотнями. Маршалы советовали императору бросить часть артиллерии, а освободившихся лошадей передать истомленной, почти уничтоженной кавалерии, необходимой для охранения и разведок. Но Наполеон упрямо не соглашался: в нем, во-первых, заговорила честь старого артиллериста, а во-вторых, он боялся показать, что бежит от русских. Он старался все увезти, а в результате все терял.

Вообще он не хотел признавать бедственного положения своей армии. Наполеон расписывал солдатам, какие блага ожидают в Смоленске, и повторял нелепую легенду о том, что скоро к армии прибудут какие-то «польские казаки», которые заменят обессиленную кавалерию.

Еще выходя из Москвы, Наполеон видел расстройство армии, падение дисциплины, но не хотел ни с кем говорить об этом, понимая, что уже ничем поправить дело нельзя.

Войск по количеству было достаточно, но мало хлеба и еще меньше дисциплины.

Он полагался на обаяние своего имени: армия еще продолжала верить в него и его счастливую звезду.

Спешенные кавалеристы первые внесли беспорядок в ряды армии, придали ей вид толпы, а не организованного войска. Очутившись без лошадей, они побросали ставшие обременительными и ненужными палаши и сабли. Спешенным кавалеристам роздали ружья, но бывшие кавалеристы не привыкли к длительным переходам и предпочитали опираться на простую легкую палку, а не тащить тяжелое, неудобное ружье. Их догадливостью быстро воспользовались пехотинцы — они понемногу освобождались от амуниции и вооружения. Лучше бросить подсумок с патронами, чем

расстаться с ковром или столовым серебром, заполнившими заплечный мешок.

Эти безоружные унылые толпы брели, как стадо за вожаком.

Постепенно с каждым днем разваливалась не только дисциплина — падал воинский дух, рушилось товарищество: каждый думал лишь о себе. Было потеряно доверие. Каждый смотрел на другого как на врага, который при первом удобном случае украдет у соседа ранец с награбленным в Москве добром, последнюю горсть муки или кусок конины.

Командиры приказывали солдатам делиться с товарищами своими запасами съестного, но никто не делал этого.

Вообще с каждым днем все меньше и меньше слушались начальников.

Солдаты армейских корпусов были озлоблены и угрюмы. Не слышалось ни шуток, ни смеха. «Великая армия» шла в великом унынии. Солдаты роптали:

— Завели на край света!

— Погибнем все в этой Татарии!

На мрачное состояние духа сильно повлияла ужасная, бедственная участь раненых. Раненых и больных везли из Москвы, из Тарутина, раненых захватили после боя у Малоярославца, раненых встречали здесь же, на Смоленской дороге, в Колоцком монастыре, в Гжатске.

Всюду были раненые.

Когда 17 октября, пройдя через страшное бородинское поле, увидали сотни живых мертвецов в Колоцком монастыре, Наполеон приказал: рассадить их по всем каретам, повозкам, фургонам.

— Римляне награждали лавровым венком тех, кто спасал своих сограждан! — изрек он.

Что руководило им: обычное позерство, игра в «отца и благодетеля» или просто расчет — может быть, из этих людей, раз они не погибли до сего времени, еще получатся солдаты? Ведь это старые, опытные вояки!

Наполеон даже постоял и посмотрел, как размещали этих несчастных, искалеченных людей.

Их сажали в генеральские кареты, в фургоны, нагруженные московской мебелью, в дормезы, набитые до отказа какими-то молодыми особами в атласных и бархатных салопах и кокетливых шелковых чепчиках, на грязные мешки, на торчащие углами ящики, на тесные, неуютные передки и задки телег, на высокие козлы, на скользкие крыши армейских повозок, на откидной верх фургонов.

Владельцев всего этого разнообразного транспорта не прельщали почетные римские лавры. Они встречали непрошеных гостей сдержанно, сухо и не внимали преждевременной, но искренней благодарности несчастных, поверивших в свое неожиданное

чудесное спасение. Раненые готовы были мириться со всей необычностью путешествия, лишь бы не оставаться заживо умирать в сырых стенах Колоцкого монастыря.

Но их надеждам не суждено было исполниться.

Грубые кучера, гордые камердинеры и наглые денщики, бессердечные, жадные маркитанты, возгордившиеся жены и подружки солдат и нахальные возлюбленные генералов только и думали о том, как бы поскорее избавиться от этого лишнего, неопрятного, неприятного седока.

«Страх погибнуть от голода, потерять свои слишком перегруженные повозки, погубить своих лошадей, изнуренных усталостью и голодом, закрывал чувству жалости доступ в людские сердца. Я и сейчас содрогаюсь, когда рассказываю, как кучера нарочно направляли свои повозки по рытвинам и ухабам, чтобы избавиться от несчастных, полученных в качестве дополнительного груза, и радовались «удаче», когда какой-нибудь толчок освобождал их от того или иного из этих злополучных людей, хотя они наверняка знали, что упавших раздавят колеса или изувечат лошадиные копыта», — писал об этом впоследствии не бесстрастный, но беспристрастный Коленкур.

Владельцы экипажей спешили как-либо избавиться от своих седоков: когда раненые сползали со своего места по нужде на землю, они погоняли лошадей, и несчастный оставался на дороге, где уцелеть было куда меньше шансов, чем оставаясь в Колоцком монастыре.

Они бросали раненых на ночлегах, уезжая без них, или, забрав лучшие вещи, выпрягали лошадей и оставляли раненых сидеть в повозке.

Такое бездушное, бессердечное отношение к раненым тоже не способствовало подъему воинского духа.

— Какой дурак станет драться, чтобы спасти других, а погубить себя? — рассуждали солдаты.

Воинственный пыл армии понемногу иссякал.

«Великая армия» теряла веру в себя.

Все думали лишь об одном: скорее, скорее из этой страшной России. Старались обогнать друг друга, с тревогой поглядывая по сторонам: не скачут ли из леса казаки, не налетают ли партизаны?

К счастью, погода еще благоприятствовала: было тепло, утрами слегка морозило.

Император неоднократно стыдил пессимистически настроенного Бертье, говоря:

— Это такая погода, какая бывает у нас в Фонтенбло в день святого Губерта[1]. Сказками о русской зиме можно запугать только детей!

Перед уходом из Москвы Наполеон приказал пересмотреть все календари и справочники за пятьдесят последних лет: когда в России наступают морозы? Ему доложили, что раньше первых чисел декабря нового стиля нечего опасаться. Следовательно, в его распоряжении было около сорока дней, то есть вдвое больше того времени, которое требуется, чтобы дойти до Смоленска.

Но, несмотря на то что холода еще не наступили, Наполеон за Гжатском уже не ехал верхом, а пересел в карету. И больше не выезжал из каре старой гвардии.

Он слышал, что с каждым днем порядок и дисциплина в частях армейских корпусов исчезают, и боялся, что какой-нибудь недовольный пруссак или вестфалец покончит с ним. Наполеон сидел в карете, погруженный в мрачные мысли, а когда хотелось на воздух, то переодевался и ехал верхом. Примелькавшийся всем серый сюртук и маленькая треуголка оставались в карете. Наполеон надевал польскую соболью шубу, крытую зеленым бархатом и украшенную золотыми шнурками, и меховую кунью шапку.

Он ускорял движение армии, но голодный арьергард не поспевал за сытым авангардом — ему надо было отбиваться от наседавших со всех сторон казаков и поджидавших у каждого моста или дефиле партизан. Эта поспешность еще более увеличивала количество отсталых.

Арьергард Наполеон поручил непреклонному, строгому, методичному маршалу Даву. Его первый корпус всегда считался образцовым во всех отношениях. По строжайшей дисциплине и полному порядку корпус Даву соперничал со старой гвардией. Если Мюрат лучше других мог наступать, то Даву лучше всех был способен замыкать отступление. Он отходил, огрызаясь как волк.

Даву отступал по всем правилам ведения войны, а Наполеону это здесь было не нужно. Ему нужна была не упорная защита армии, а быстрое движение к Смоленску. Наполеону требовалось одно»: чтобы арьергард не задерживал авангарда. Наполеону было наплевать на труды и лишения отсталых. Он не жалел людей — ему было жалко только себя и своей репутации.

Даву с каждым днем все больше отставал от Наполеона и в Вязьме поплатился за это. Платов, бывший со своими казаками в авангарде русской армии, которым командовал Милорадович, окружил у Вязьмы корпус Даву. Даву спасся от окончательного разгрома лишь потому, что к Платову не успела подойти пехота.

---

[1] 21 октября.

Наполеон, услыхав сзади орудийные выстрелы, понял, что у Даву завязалось серьезное дело, но не пошел, как сделал бы раньше, ему на выручку, а остался в Славкове. Из Вязьмы вернулся на помощь Даву вице-король Евгений Богарне. Вместе с Понятовским он кинулся на Платова. Очутившись между двух огней, Платов ушел с большой дороги. Сильно потрепанный Даву поспешил укрыться за корпуса вице-короля и Понятовского.

Маршалы решили отступать. Милорадович на их плечах ворвался в Вязьму, захватив пленных и большой обоз.

Наполеон передал арьергард пылкому Нею.

Даву обиделся: Ней и Даву, так не схожие друг с другом, были издавна не в ладу.

Прикрывая дальнейшее отступление, Ней убедился, что «великая армия» не существует.

Утром на следующий день откровенный и прямодушный Ней так и донес императору.

Наполеон никак не хотел примириться с мыслью, что его армия деморализована. Накануне, во время боя под Вязьмой, он в тиши своей кареты составил такой приказ:

«Если неприятельская пехота будет следовать за движениями армии, то его величество намерен напасть на нее, опрокинуть и частию взять в плен. С этой целью он избрал позицию посредине между Славковом и Дорогобужем. Завтра с рассветом император будет на ней с гвардией. Император разместит войска таким образом, чтобы их прикрывал арьергард маршала Нея и они могли бы со всею артиллерией двинуться на неприятеля, тогда как он будет предполагать, что перед ним находится один арьергард».

Для этого он приказал маршалам отправить все обозы вперед к Дорогобужу (как будто это был нормальный воинский обоз, а не огромный табор) и приготовить войска к сражению (словно можно было вернуть отсталым, деморализованным и безоружным солдатам их былую силу).

Ней приехал к императору и по-солдатски откровенно сказал ему:

— Вы хотите драться, государь, а у вас уже нет больше армии!

Бессмысленный приказ пришлось отменить.

То, что когда-то называлось «великая армия», продолжало свой постыдный бег на запад.

В эти дни Наполеон получил неприятнейшие известия из Парижа о заговоре генерала Мале. Мале, распространив слух о смерти Наполеона, хотел захватить власть, но был схвачен и расстрелян.

Наполеон встревожился заговором не на шутку: он двенадцать лет правит, у него родился сын — наследник Наполеон II, а кто-то может покушаться на его императорскую власть!

— Когда имеешь дело с французами или с женщинами, нельзя отлучаться на слишком длительное время, — наставительно сказал он Бертье.

После заговора Наполеон еще больше уверился в том, что надо спешить в Париж. С этой неудачной кампанией в России надо кончать любыми средствами, чтобы не потерять больше.

И тут, как назло, впервые пошел снег. Небо закрыли густые облака, повис туман, и большими хлопьями повалил первый снег.

Было не очень холодно — при Прейсиш-Эйлау та же армия прекрасно выдержала не такую вьюгу и холод, но снег действовал вообще на психику солдат. Пессимисты и трусы готовы были сделать из него трагедию, несмотря на то что до Смоленска осталось всего лишь полсотни верст.

Первый снег внес еще большее расстройство в среду полуголодных солдат.

Наполеон послал своего адъютанта полковника д'Альбиньяка посмотреть, что происходит в арьергарде.

Д'Альбиньяк вернулся и доложил, что только итальянская гвардия похожа на воинскую часть, в остальных полный беспорядок: солдаты не слушаются приказов офицеров, офицеры не повинуются генералам.

— У генерала Матье свои же солдаты украли ночью из-под головы ранец.

— Полковник, я не посылал вас собирать сплетни! — грубо оборвал недовольный император.

Его уши привыкли к победным реляциям, а не к такой грубой и горькой прозе. Он не хотел слушать, но д'Альбиньяк сказал правду: правильного военного строя уже не существовало. Двигались не в шеренгах, а группами, компаниями, объединенные старой дружбой или новой корыстью: четыре-пять стрелков шли вокруг одной клячи, на которой лежала их поклажа — еда и награбленное добро. Они готовы были защищать эту клячу до последнего патрона. На ночлеге происходило сплошное воровство, грабеж и даже убийства из-за куска конины.

Больше всех бедствовали женщины: лепешка из мякины стала для солдата желаннее и дороже любой привлекательной женщины.

Наполеон послал самого Бертье еще раз посмотреть на марше корпусá.

Принц Невшательский написал рапорт о том, что видел. Он подтвердил все сказанное полковником д'Альбиньяком и заключил:

«Такое положение, усиливаясь постепенно, дает повод опасаться, что, если не будут приняты немедленные меры против него, у нас не будет войск, способных для битвы».

Вся надежда оставалась только на Смоленск. И вот вдали показались колокольни Смоленска.

9 ноября Наполеон с гвардией вошел в Смоленск.

Он тотчас же велел запереть крепостные ворота и никого не впускать.

Гвардия стала получать припасы — их раздавали день и ночь.

У городских ворот собрались огромные толпы изнуренных, голодных солдат и офицеров армейских корпусов, спешивших к Смоленску. Это были закопченные дымом бивачных костров, небритые, заросшие бородами, с воспаленными, красными от дыма и ветра глазами люди. В театральных костюмах, в шалях, салопах, ризах, укрытые попонами, рогожами, они с ожесточением стучали в ворота прикладами, эфесами сабель, кулаками и посылали проклятия на всех европейских языках Наполеону и его интендантам. Они казались не солдатами, а шайкой бандитов, выпущенных из тюрьмы.

Они захватили в пригороде и тут же съели стадо быков и двести здоровых лошадей артиллерийских конюшен. Потом наконец-таки выломали городские ворота и бросились, давя друг друга, к складам.

То, что удавалось получить какому-либо счастливцу, он съедал за один присест, словно ему осталось жить только день.

Для многих изголодавшихся это так и оказывалось.

Люди грабили и убивали друг друга.

И все роптали на неравномерность раздачи:

— Гвардии выдали на две недели, а нам по кусочку!

Обозленные, они готовы были бы подступить к гвардейцам, но те стояли на карауле у своих казарм такие же усатые, рослые, здоровые, в своих непотрепанных синих мундирах и белых жилетах с высокой медвежьей шапкой на голове — как статуи.

— Эй ты, кишка, отойди, не горлань! Ты не в кафе Режанс! — еще по-приятельски прогоняли они французов.

— Убирайся, колбаса, подобру-поздорову! Проспись! — отталкивали они прикладами пьяного немецкого стрелка, лезшего к ним.

Наполеон сидел в доме и не показывался на улицу. Ему было о чем подумать.

Припасов в Смоленске оказалось только на семь-восемь дней для всей армии. Наполеон обеспечил провиантом главное — гвардию. Остальное было расхватано, растаскано и растоптано хлынувшей многотысячной толпой солдат разных корпусов. Склады в селе Клементово по дороге на Ельню — взяты и частью сожжены отрядом генерала Орлова-Денисова. Витгенштейн занял Витебск и захватил тамошние магазины. Ждать долго в Смоленске было нельзя. Об устройстве зимних квартир нечего было и думать: сол-

даты жгли те последние деревянные дома, которые уцелели от пожара во время штурма Смоленска.

Приходилось спешить дальше, пока армии Чичагова и Витгенштейна не перерезали окончательный путь к отступлению.

Наполеон выехал из Смоленска.

Он ехал верхом — хотел еще раз взглянуть на древний Борисфен.

За Смоленском у дороги лежал с переломленной ногой офицер из корпуса Жюно, шедшего впереди. Увидев Наполеона, он собрал последние силы и крикнул:

— Вот этот жалкий кривляка, который уже десять лет водит нас, как кукол! Он спятил с ума! Остерегайтесь его! Он стал людоедом! Чудовище сожрет всех вас!

Наполеон проехал, сделав вид, что не слышит этой справедливой ругани.

II

Я первый генерал, перед которым Бонапарте так бежит.

Кутузов

Осторожный, осмотрительный Кутузов прикрывал все пути на юг до тех пор, пока не убедился в том, что Наполеон отступает на запад по опустошенной Смоленской дороге.

План дальнейшей борьбы у Михаила Илларионовича был намечен заранее. 16 октября главнокомандующий так писал генералу Витгенштейну о своих будущих действиях против Наполеона:

«Полагаю ему нанести величайший вред параллельным движением и, наконец, действовать на его операционные пути».

Следом за Наполеоном Кутузов отправил авангард, а сам с главными силами пошел по параллельной дороге.

— Ну, господа, — сказал он Милорадовичу и Платову, — провожайте гостей нога в ногу, а мы проселком, левой сторонкой вперед забежим!

Этот остроумный план преследования был очень удобен: он не давал французам ни отдыха, ни срока, заставлял торопиться, потому что Кутузов мог в любой момент перерезать их путь. Кроме того, движение Кутузова не зависело от остановок Наполеона, и русская армия проходила по менее разоренным местам. Впрочем, Наполеон делал такие форсированные марши, что Ермолов, находившийся при авангарде, доносил главнокомандующему:

«Скорость, с каковой идет неприятель, так велика, что без изнурения людей догнать его невозможно».

Тем не менее казаки день и ночь нападали на французские фланги, а партизаны в каждом удобном месте поджидали бредущих толпами отстающих солдат и растянувшийся на многие версты обоз.

Как и ждал Кутузов, быстрота переходов неминуемо привела армию Наполеона к расстройству: такого бешеного темпа не выдерживали ни люди, ни тем более плохо кормленные кони.

Погода стояла теплая, шли обычные осенние дожди, но иной день вдруг прохватывал легкий морозец, и образовывалась гололедица.

Не подкованные как следует французские кони (Наполеон думал окончить всю кампанию до зимы и не позаботился о подковах) падали, ломая ноги.

Отступающим приходилось бросать зарядные ящики и повозки. Конечно, повозки, на которых были сложены награбленные в Москве вещи, никто и не подумал бросать; предпочитали оставлять на дороге провиантские, нагруженные чаем, кофе, сахаром, вином, крупой. Кроме того, что везли в ротных повозках, каждый солдат нес кое-какие запасы в своем ранце. Все надеялись на то, что до Смоленска еды хватит, а там будет всего вдоволь: ведь в Смоленске ждут зимние квартиры, ждет отдых.

И после французского марша на дороге оставались брошенными повозки, узкие зарядные ящики, оружие и обглоданные остовы павших лошадей.

III

В погожий день в главную квартиру Кутузова, помещавшуюся в большом селе Кременское за Медынью, прискакал от казачьего генерала Иловайского 4-го сотник. Он привез радостное известие; Москва освобождена.

В пятницу 11 октября казачий полк Иловайского, лейб-казаки и Перекопский татарский вошли в столицу.

Ликованию всех не было границ:

— Дождались-таки!

Сотника зацеловали, наперебой предлагали ему угощение — кто водки, кто табачку, кто чаю — и засыпали вопросами. Всем, особенно москвичам, хотелось знать: как матушка Первопрестольная. Но сотник раньше в Москве никогда не бывал, а в сожженной успел разглядеть не много — генерал тотчас же отправил его с донесением к светлейшему.

Сотник только мог сказать, что кремлевские соборы целы — он видел собственными глазами! — и Иван Великий стоит, но без креста: крест увезли французы. А так — кругом одни печные трубы да груды кирпича и камней...

— Вот негодяи!

— Теперь не скажешь: «Что матушки Москвы и краше и милей!..»

— Прежде говорили: славна Москва калачами да колоколами, спешили в Москву хлеба-соли кушать, красного звона послушать, а теперь в Первопрестольной — ни звона, ни хлеба, — сокрушались москвичи.

— Калачей не встречал, а ходебщики что пепелищам бродят, — рассказывал сотник. — Видал, баба в кичке и французской шинели носила какой-то бурый студень, мужик в зипуне и гусарской медвежьей шапке — гороховый кисель.

— Торг, стало быть, идет?

— Идет. Разный. Старушка предлагала мне охапку французских палашей. Спрашиваю: «Куда тебе палаши, мамаша?» — «Голубчик, говорит, избавь старуху от тяжелой ноши! Дешево, говорит, отдам. Сгодятся на косари щепать лучину!»

— Да, и смех и горе!

Главнокомандующий в этот же день дал приказ:

«Неприятель, с самого вступления в Москву жестоко обманутый в своей надежде найти там изобилие и самый мир, должен был претерпевать всякого рода недостатки. Утомленный далекими походами, изнуренный до крайности скудным продовольствием, тревожимый и истребляемый всюду партиями нашими, кои пресекли у него последние средства доставить себе пропитание посредством сбора от земли запасов, потеряв без сражения многие тысячи людей, побитых или взятых в плен отделенными нашими отрядами и земскими ополчениями, не усматривая впереди ничего другого, как продолжение ужасной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию, видя в каждом жителе воина, общую непреклонность на все его обольщения, решимость всех сословий грудью стоять за любезное Отечество, претерпев шестого числа октября при учиненной на него атаке сильное поражение и постигнув, наконец, всю суетность дерзкой мысли одним занятием Москвы поколебать Россию, предпринял он поспешное отступление вспять, бросив на месте большую часть больных своих, и одиннадцатого числа сего месяца Москва очищена».

А через несколько дней, уже за Вязьмой, в главную квартиру приехал из Москвы дворовый человек квартирмейстерского штабротмистра князя Гагарина, лысый, шестидесятилетний, но шустрый Яшка. Яшка был оставлен с другими дворовыми в Москве стеречь господский дом и пережил в ней все невзгоды нашествия. Старый князь Гагарин, вернувшись из имения в Москву (княже-

ский дом случайно уцелел), послал Яшку к сыну в армию — проведать его и обо всем рассказать.

Яшка целый вечер рассказывал квартирмейстерским офицерам, как французы входили в Первопрестольную, как жгли и грабили ее, как уходили, взорвав башни Кремля, и про то, что Иван Великий без креста «как с разможженной золотой главой», и что Грановитая палата без крыши и с закопченными стенами, и многое другое. Рассказывал словоохотливо, но степенно, чинно, без шуток.

А потом в тесной крестьянской баньке, где помещались штабные денщики, Яшку угощали ужином и водкой. И Яшка рассказывал брату мужику-денщику совсем по-иному:

— Грабили, окаянные, грабили знатно! Особливо старались немцы да поварцы. В первый же день, как только пришли, в нашей церкви стоял гроб с покойницей. Так немчура мертвое тело вытряхнула — не спрятано ли, мол, чего. Туфли с покойницы содрали и косыночку смертную с шеи. Не щадили ни живого ни мертвого, ни старого ни малого. Вот несет баба годовалого ребеночка. Ну, что они с бабой делали, известно. Но ребеночка-то хоть не тронь, подлая твоя душа! Так нет же, пеленки развяжут, расшвыряют — нет ли в них чего, — плевался лысый Яшка. — А бывало, среди горя — и смех. По первости, как загорелся Охотный, побежал и наш брат — все равно, мол, сгорит. У Ланских лакей есть, Меркул, маленький, толстый, словно шарик. Так озорники французы кинули его вниз головой в бочку с медом. Насилу выкарабкался. Фунтов десять с себя меду счистил потом. И смех и горе!..

— Погодите, а сколько же они, окаянные, пробыли в Москве? — задумался коновницынский Иван.

— Со второго сентября по одиннадцатое октября, — быстро ответил Яшка. Это он помнил как «Отче наш».

— Стало быть, сорок суток! Но, однако ж, пришлось им смазывать пятки...

— Да, пришлось! — продолжал Яшка. — И уходили все двунадесять языцы, как настоящие нищие, не хуже нас обносивши. Все в лохмотьях, словно их собаки драли. И обернувши во что горазд: тут и зипун, и бабья юбка, и лошадиная попона — чего хочешь, того просишь! Один натянул на себя салоп, другой — поповскую ризу. Как ряженые. Настоящие святки! А за ними пушки, а за пушками фуры, и коляски, и кареты. И в каретах, братцы мои, бабы. Ихние жены аль приятельки, кто знает. Одним словом, мамзели. Одна сидит в телеге и сама правит, а телега доверху нагружена: и перина, и самовар — всякой масти по части, а наверху кинарейка, не вру, ей-богу. Желтенькая такая! Солдаты вброд реку переезжали. Вздумала и эта мамзелька за ними, да забрала чуть в сторонку, попала на быстрину. Лошадь стала вертеться, мамзелька как за-

кричит благим матом, а французы на нее никакого внимания. Тут наши молодцы дворовые смекнули — кинулись в воду, столкнули мамзельку в реку, лошадь под уздцы, вывезли телегу на берег и пустились вовсю к Остоженке. Ищи-свищи! А мамзелька стоит на берегу, юбки выше колен задравши, и голосит! — мотал головой от смеха пьяненький Яшка.

Денщики тоже хохотали: понравилось!

— От як сказано: від вовка тікав, а на ведмедя натрапив, — утирал веселые слезы кутузовский Ничипор.

IV

В одно погожее октябрьское утро бабы, вставшие доить коров, услыхали отдаленные пушечные выстрелы. Деревня встревожилась: война снова приближалась.

Черепковский усилил дозоры и уже не решался уходить с партизанами дальше деревенской околицы. Старики и малые дети опять потащились в надоевшие темные лесные землянки. По ночам небо рдело заревами далеких пожаров — становилось еще тревожнее.

По деревням — от дозора к дозору — понеслась радостная весть: француз оставил Москву и с боями уходит восвояси. И в бессильной злобе жжет на пути все поселения, которые не успел сжечь прежде.

— Холодно у нас. Потянулись, как журавли к теплому краю!

— Да, мы их неплохо подморозили!

— Пришло и на них, окаянных, невзгодье! — ликовали крестьяне.

Затем выстрелы снова утихли. Французы не показывались.

А однажды под вечер в деревню с неожиданной стороны — с севера — въехало с полсотни верховых. Увидав конных, крестьяне сначала встревожились, но Левон сразу признал: свои, донцы-молодцы!

Казаков встретили как родных. Станичники рассказали: «франц» улепетывает домой. Кутузов идет сбоку, а атаман Платов и генерал Милорадович гонят француза перед собой по старой Смоленской дороге.

В избе у старосты поместился сотник. Увидев Черепковского и Табакова, он спросил:

— А вы кто такие?

— Солдаты Виленского пехотного полка, ваше благородие. Взяты в плен под Бородином. Бежали из плена и партизаним! — четко ответил Черепковский.

— Они у нас всеми партизанами командуют, — сказал староста.

— Добро, добро! Помогайте нам, — похвалил сотник, подкручивая усы.

— Дозвольте, ваше благородие, узнать, а далеко ли наша двадцать седьмая дивизия? — спросил Табаков.

— Еще далече! Еще партизаньте! Успеете нагнать!

— А ежели мы пойдем навстречу!

— Теперь на каждом шагу полно французишек. Наши донцы еще, чего доброго, не разберутся да возьмут вас в дротики! — рассмеялся сотник. — Лучше обождите, пока вся их орда пройдет по дороге!

К утру казаки тронулись дальше.

V

Черепковский, Табаков и несколько партизан отправились к большаку, посмотреть, как удирает «франц».

Французская армия отступала. Со стороны это походило не на отступление регулярной армии, а на бегство грабителей.

Вся широкая дорога была забита повозками, фурами, всевозможными экипажами, доверху нагруженными наворованным добром. Пушек в этой немыслимой толчее виднелось мало. И только немногие воинские части держали строй — солдаты и офицеры валили толпой. Пехотинцы перемешались с верховыми. Опытный глаз старых солдат сразу приметил странную вещь: драгуны и уланы шли пешком, а вольтижеры и фузилеры ехали на лошадях. Все это безбрежное людское море шумело, волновалось и неслось вперед.

Лихим казакам на резвых, еще не измученных конях можно было бы налететь на какую-либо маловооруженную часть обоза и, воспользовавшись переполохом, отбить что-нибудь. Но пешим партизанам здесь нечего было делать. Им оставалось лишь наслаждаться зрелищем позорного бегства врага.

Партизаны вернулись домой.

Черепковский и Табаков прожили еще несколько дней в гостеприимной деревне. Они кое-как привели в порядок обмундирование и, взяв с собой по ружью, отправились в путь разыскивать свой полк.

Вся деревня провожала их за околицу, а ребятишки — до той березы, на которой они столько дней несли караул.

Черепковский был по-всегдашнему сосредоточенно-молчалив, а Табаков веселил провожающих.

— Эх, опять к батюшке-барабану под бочок! Ничей петух не поет столь весело, как ротный барабан! Задробит, затрещит — чужому уху не понять, а солдатское — враз уловит. Барабан режет

правду-матку всем, даже самому фельдфебелю. Не меняет голоса, не поет лазаря. Иной раз разбудит до света, а в другой — не даст понежиться на привале, но без барабана солдат как без души!

У околицы стали прощаться. Черепковский целовался со всеми мужиками серьезно, а Табаков норовил поцеловаться и с молодками и шутил над тем, как некоторые сердобольные бабы украдкой утирают невольную слезу.

— Он весел, ему хоть бы что, — сказала старостиха. — Зря вы, девки-бабы, сокрушаетесь. У него где-то своя зазнобушка есть!

— Верно, Федосевна, есть! — смеялся Табаков. — И девка — я те скажу — не из последних: щека — блином, нос — огурцом, губы — стручком, подбородок — яичком!

— А ну тебя! Бахарь был, бахарем и остался! — притворно сердито хлопнула старостиха по плечу Табакова.

Выйдя на дорогу, солдаты пошли ровным, заученным солдатским шагом. Черепковский шел не оглядываясь, а Табаков несколько раз оборачивался и махал рукой.

VI

22 октября у самой Вязьмы неутомимый Милорадович, командовавший авангардом, атаковал сильно отставший от прочих своих эшелонов арьергард Даву.

На выручку арьергарда из Вязьмы вернулись полки вице-короля, Понятовского и маршала Нея. Французы упорно защищались, но были сбиты, потеряли большой обоз, до двух с половиной тысяч пленными и шесть тысяч убитыми и ранеными.

Милорадович вошел в Вязьму с музыкой.

Французам с каждым днем становилось труднее отступать. Провиант, который неделю тому назад армия Наполеона взяла с собой из Москвы, подходил к концу. Раздобыть что-либо по дороге было трудно — всюду рыскали зоркие казаки и партизаны, и потому армейские корпуса «великой армии» начали терпеть голод. Вот теперь многие пожалели, что бросали на дороге фуры с провиантом, а не награбленное добро: люстры, фарфор, картины, ковры не могли заменить ни муки, ни крупы, ни соли.

Михаил Илларионович писал жене из Ельни 28 октября:

«Я, мой друг, хотя и здоров, но от устали припадки, например: от поясницы разогнуться не могу, от той же причины и голова временем болит.

По сю пору французы все бегут неслыханным образом, уже более трехсот верст, и какие ужасы с ими происходят. Это участь моя, чтоб видеть неприятеля без пропитания, питающегося дохлыми лошадьми, без соли и хлеба. Турецкие пленные извлекали час-

то мои слезы, об французах хотя и не плачу, но не люблю видеть этой картины. Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища. А что с ими делают мужики!»

В эти же дни выпал снег.

Кутузов, еще после Бородина предвидевший зимнюю кампанию, заранее позаботился о том, чтобы армия была снабжена полушубками, сапогами, валенками. Войска в большинстве были обуты, одеты, имели хлеб, мясо и вино, но все-таки дело шло к зиме, и в одном из своих приказов главнокомандующий счел нужным напомнить об этом:

«Итак, мы будем преследовать неутомимо. Настает зима, вьюга и морозы. Вам ли бояться их, дети севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается. Вы будете уметь переносить и кратковременные недостатки, если они случатся. Добрые солдаты отличаются твердостию и терпением, старые служивые дадут пример молодым. Пусть всякий помнит Суворова: он научал сносить голод и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа. Идем вперед, с нами Бог, перед нами разбитый неприятель; да будет за нами тишина и спокойствие».

VII

И все-таки сказывались годы. На беспрерывном марше, в старой тряской коляске, на неудобных ночлегах, где Михаил Илларионович по давней военной привычке спал не раздеваясь, он в конце концов натрудил поясницу. С ним приключился «прострел» — не смертельная, но противная, нудная болезнь. Лежишь — кажется, здоров, нигде ничего не болит, а встать нельзя.

Ничипор, знавший эту частую гостью барина, накалил в печке кирпич, завернул его в мешок, и Михаил Илларионович должен был спать на кирпиче. Он смог так полежать одни сутки. Тепло помогало, становилось легче, но разлеживаться было некогда — впереди ждал Наполеон.

За эти сутки лежания в избе Михаил Илларионович многое передумал. Он написал Кате письмо:

«Если вдуматься и обсудить положение Бонапарта, то станет очевидным, что он никогда не умел или никогда не думал о том, чтобы покорить судьбу. Наоборот, эта капризная женщина, увидев такое странное произведение, как этот человек, такую смесь различных пороков и мерзостей, из чистого каприза завладела им и начала водить на помочах, как ребенка. Но, увидев спустя много лет и его неблагодарность и как он дурно воспользовался ее по-

кровительством, она тут же бросила его, сказав: «Фу, презренный! Вот старик, — продолжала она, — который всегда обожал наш пол, боготворит его и сейчас, он никогда не был неблагодарным по отношению к нам и всегда любил угождать женщинам. И чтоб отдохнуть от всех тех ужасов, в которых я принимала участие, я хочу подать ему свою руку, хотя бы на некоторое время...»».

Фортуна подавала руку старому русскому фельдмаршалу: уже был освобожден полуразрушенный, полусожженный Смоленск, где французы, отступая, побросали много пушек; а через несколько дней, в четырехдневном упорном бою при Красном, русские войска нанесли армии Наполеона страшное поражение — она потеряла двести шестнадцать орудий и двадцать шесть тысяч пленными.

Впрочем, пленных было гораздо больше: ни у кого не хватало времени заниматься их точным подсчетом.

Офицеры и солдаты русской армии рвались в бой. Они отказывались сопровождать пленных и только указывали им направление, куда надо идти.

— Адье! — отвечали пленные.

— Да, да, одне! Идите, приятели, одне. Нам некогда с вами возиться!

— Ишь, зяблики голоштанные, уже выучились плясать русского трепака! — беззлобно шутили солдаты, увидав, как, согреваясь, пританцовывали французы, португальцы, голландцы, пруссаки.

— Я подбежал к ним, а один и кричит: «Ляви, ляви!»[1] Чего мне, говорю, ловить-то, коли вы и так от нас не убежите! — обменивались впечатлениями солдаты.

Вечером 6 ноября, получив донесение от Милорадовича о последнем дне сражения у Красного, Кутузов поехал к бивакам гвардии. Семь кирасир везли за главнокомандующим отбитые у французов знамена. Обычно фельдмаршал ехал шажком, а тут примчался рысью.

— Здорово, молодцы семеновцы! — громко крикнул он, подъезжая к палатке командира дивизии генерал-лейтенанта Лаврова. — Поздравляю вас с победой. Вот гостинцы вам привез, — указал он на французских орлов. — Эй, кирасиры, нагните-ка пониже орлов! Вот так, пусть поклонятся молодцам! Матвей Иванович Платов донес, что взято сто двенадцать пушек и — сколько генералов? — обернулся он к Резвому.

— Пятнадцать, — быстро ответил Резвой.

— Слышите, друзья? Пятнадцать! — подчеркнул Михаил Илларионович. — Пятнадцать генералов! Ну если б у нас взяли

---

[1] «Жизнь, жизнь!» *(Фр.)*

столько! Сколько бы осталось? А? — хитро посмотрел главнокомандующий на улыбавшихся семеновцев, которые окружили его. — Пушки можно сосчитать, да и то не верится. А в Питере, как услышат — пятнадцать генералов, чай, скажут: хвастают ведь. Вот как! Ура, братцы!

Семеновцы так дружно и весело гаркнули «ура», что старый конь фельдмаршала затряс от неожиданности ушами.

Кутузов слез с коня. Казак, ехавший за ним, тотчас же подал Михаилу Илларионовичу его походную старую скамеечку. Главнокомандующий сел в кругу офицеров.

Николай Иванович Лавров, зная, что фельдмаршал любит чай, распорядился поднести ему горяченького — большой медный чайник стоял на угольях костра.

Кирасиры, везшие французские знамена, спешились и стояли позади Кутузова. Седой фельдмаршал сидел под пестрой сенью отбитых французских знамен.

Молодой семеновский поручик, оказавшийся у знамен, бестактно прочел вышитое на французском знамени золотом поперек красно-бело-синих шелковых полос: «Аустерлиц». Прочел он это достаточно громко.

— Что, что? — полуобернулся Кутузов. — Аустерлиц?

Недогадливого поручика уже толкали под бока товарищи.

— Аустерлиц... — виновато повторил покрасневший поручик.

— Да, под Аустерлицем было жарко, но я перед всем войском умываю руки: неповинны они в аустерлицкой крови! — громко сказал Кутузов, обводя всех своим одним зорким глазом. — Вот хоть и теперь, к слову сказать: выговор за то, что дал капитанам гвардейских полков бриллиантовые кресты за бородинскую победу. Говорят, я нарушаю предоставленное мне право: бриллианты принадлежат кабинету. Это правда. Но и в этом я виноват без вины. Если разобрать по совести, то теперь каждый, не только старый солдат, а и новичок ратник, столько заслужил, что, осыпь его алмазами, он все еще не будет достаточно награжден! Ну да что и говорить. Истинная награда не в крестах и медалях, а в нашей совести!

— Верно, верно! — загудела внимательно слушавшая толпа гвардейцев, офицеров и солдат.

Михаил Илларионович прихлебнул из чашки крепкого чайку и продолжал:

— Вот расскажу вам, дети, как за штурм Измаила получил я Георгия третьей степени и потом представлялся матушке царице. Иду я себе, горжусь, думаю: у меня Егорий на груди. Дохожу до кабинета, отворяются двери, и передо мной царица. Что со мной сталось, и теперь не опомнюсь. Забыл и про Егория, и про то, что я Кутузов. Ничего не видел, кроме ее очей! — закончил

Михаил Илларионович и полез в карман за платком: правый глаз слезился.

Толпа молчала.

— Это напоминает сцену из трагедии «Дмитрий Донской», — несмело сказал семеновский капитан, желавший как-нибудь загладить неудачно вырвавшееся слово своего товарища, вспомнившего Аустерлиц.

— Да, вот заговорили об изящной словесности, — оживился Кутузов. — Я сегодня получил из Петербурга стишок. Где это он был у меня? — захлопал руками по всем карманам фельдмаршал. — Эка беда, наверно, оставил на столе! Я помню. В Питере сочинили басенку в стихах, как волк, — многозначительно поднял Кутузов вверх короткий пухлый палец, — лез ночью в овчарню, а попал на псарню. Увидел свою промашку, стал умолять, чтоб псари его простили.

Михаил Илларионович на секунду остановился.

— Тут пиит так хорошо изобразил это стихом. Как же у него? — Он прижмурился, вспоминая. — Да, вот-вот! — прищелкнул от радости пальцами. — «Забудем прошлое, уставим общий лад, а я не трону ваших стад».

Толпа сдержанно смеялась, внимательно слушая, что же будет дальше.

— А дальше... — остановился Кутузов, — проклятая старость — забыл. Но финал помню. Волк так-то просит, а псарь ему и говорит... — Главнокомандующий поднялся со скамейки и четко продекламировал: — «Ты сер, а я, приятель, сед!» — И при последнем слове Кутузов снял с седой головы бескозырку.

Толпа захохотала, забила в ладоши:

— Здорово!

— Действительно!

— А кто это, ваше сиятельство, написал? Глинка? — спросил у главнокомандующего генерал Лавров.

— Не Марин ли? — подсказали из толпы.

— Нет, это Крылов. Тот, кто написал комедию «Урок дочкам».

— Михаилу Илларионовичу ура! — крикнул кто-то.

И все покрыло раскатистое «ура».

К генеральскому костру сбежалась и встала плотной стеной гвардия. Михаил Илларионович, опираясь на плечо Резвого, встал на скамейку. Все затихло.

— Друзья мои, это честь не мне, а русскому солдату! — И, подняв над головой бескозырку, Кутузов крикнул молодым, таким, как когда-то водил солдат на штурмы, голосом: — Русскому солдату — ура!

На этот клич отозвалась вся гвардия. «Ура» катилось по лагерю, как радостный весенний гром.

VIII

> Но каким образом тогда этот старый человек, один в противность мнению всех, мог угадать так верно значение народного смысла событий, что ни разу во свою деятельность не изменил ему?
>
> *Лев Толстой. «Война и мир»*

Дело двигалось успешно: наполеоновская армия с каждым днем все больше таяла и разваливалась. Но и в Петербурге, и в самом штабе главнокомандующего никто не хотел понять простых намерений Кутузова: уничтожить врага с меньшими потерями.

Все были недовольны тактикой фельдмаршала, даже его ближайшие помощники и друзья Толь и Коновницын. Молодые, горячие головы упрекали старика не только в «лени», как раньше всем наушничал Беннигсен, но и в неосмотрительности и даже трусости. Увидев отступление Наполеона, все они решили, что Наполеон совершенно слаб, что стоит лишь отрезать ему путь на запад и ударить, как «великая армия» будет разбита, а сам Наполеон пленен. Они не хотели принимать в расчет того, что у Наполеона есть еще более ста тысяч человек с сотнями орудий. Они не задумывались над тем, какие потери понесет такая же стотысячная русская армия, если преградит путь Наполеону, и без того старающемуся поскорее уйти из России...

Разумеется, больше всех кипятился и всюду с пеной у рта кричал неугомонный, надоедливый и неотвязчивый, точно овод, английский уполномоченный сэр Роберт Вильсон. Ему-то уж нисколько не было жаль русской крови, которая пролилась бы для окончательного уничтожения главного врага Англии — Наполеона. Вильсон проклинал кутузовскую медлительность и осторожность, писал на него бесконечные жалобы и доносы Александру, уверяя русского императора, что «Беннигсен в сравнении с Кутузовым — Аннибал».

Несмотря на то что Кутузов уже несколько раз прямо говорил Вильсону, чтобы он не лез не в свое дело, наглый бритт снова приставал к Михаилу Илларионовичу.

— Разве вы не помните, что я сказал вам у Малоярославца? — спокойно и веско ответил главнокомандующий и не стал слушать разглагольствований Вильсона, который окончательно потерял все хваленое британское хладнокровие.

А своим русским горячим головам фельдмаршал отрезал:

— За десять французов я не отдам одного русского! Неприятель скоро и так пропадет! А ежели мы потеряем много людей, то с чем придем на границу?

Старый полководец и старый дипломат, Михаил Илларионович Кутузов смотрел глубже и дальше, чем все его тридцатилетние генералы. Кутузов не хотел проливать понапрасну кровь русских людей. Он рассуждал здраво и трезво.

Уже после Смоленска Кутузов сказал Евгению Вюртембергскому:

— Наши молодые горячие головы негодуют на старика, что я удерживаю их порывы. Они не обращают внимания на обстоятельства, которые делают гораздо больше, нежели сколько могло бы сделать наше оружие. Не прийти же нам на границу как нестройной толпе бродяг!

Кутузов не боялся ничего: ни продолжавшегося нерасположения к нему императора Александра, ни ярой ненависти английского генерала, ни осуждения неспешных, но дальновидных кутузовских действий пылкими молодыми русскими генералами.

Он был уверен в своей правоте. Он знал, что беспристрастная история и русский народ скажут о нем и о его действиях в Отечественную войну свое веское, окончательное слово.

Глава пятнадцатая

БЕРЕЗИНА

Зубастой щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.

Крылов

I

Командующий Молдавской армией адмирал Павел Васильевич Чичагов, которого в прошлом году Александр I назначил на такой необычный пост «главнокомандующего Молдавией, Валахией и Черноморским флотом», чувствовал себя героем: его армия, двигавшаяся с южных границ навстречу отступающему Наполеону, заняла Минск и Борисов.

Мост у Борисова через Березину защищали польско-французские части генерала Домбровского, но авангард Чичагова под командой графа Ламберта сбил Домбровского с предмостного укрепления, захватил мост и вошел в Борисов. Переправа через широкую, с топкими, илистыми берегами реку, через которую должен был переходить Наполеон, оказалась в руках у Чичагова.

Адмирал Чичагов был любимцем Александра I. Не оттого ли, что Чичагов воспитывался в Англии, где, как писал сардинский посланник в Петербурге граф де Местр, он «выучился преимущественно презирать свою родину и все то, что в ней происходит»?

Чичагов никогда не служил ни у кого под началом, был безмерно заносчив и самовлюблен. Он считал себя способным ко всему, а других — ни к чему. О его пребывании в должности морского министра современник выразился так:

«Сорил деньгами, воображая, что делает наши морские силы непобедимыми. Подражая слепо англичанам и вводя нелепые новизны, мечтал, что кладет камень величию русского флота.

Наконец, испортив все, что оставалось еще доброго во флоте, и наскучив наглостию своею и расточением казны верховной власти, удалился, поселив презрение к флоту в оной и чувство глубокого огорчения в моряках».

Александр I почему-то верил в военные таланты Чичагова так же безоговорочно, как и в свои, и называл его без всякого повода и основания «человеком с головой».

Готовясь к войне с Наполеоном, Александр I назначил Чичагова командовать Молдавской армией вместо уволенного в отставку славного победителя турок Михаила Илларионовича Кутузова. Ни Александр I, ни Чичагов не могли в мае 1812 года предполагать, что через три месяца народ поставит Кутузова выше их обоих.

В военном деле Чичагов был полнейшим невеждой. Умный Дохтуров говорил о нем: «Наш адмирал управляет по ветрам!»

Напыщенный вельможа и сибарит, Чичагов привык и на театре военных действий жить по-барски: он возил с собой целое капральство поваров и большой обоз со столовым серебром, фарфором и разным кухонным имуществом. Захватив предмостное борисовское укрепление и город, Чичагов, не разведав хорошенько, где находится Наполеон, сразу же обосновался со всеми своими обширными пожитками в Борисове.

Чичагов был уверен в том, что ему будет принадлежать честь пленить всю армию Наполеона у Березины. Самонадеянный, лишенный чувства юмора, адмирал Чичагов дал такой приказ по Дунайской армии:

«Наполеонова армия в бегстве. Виновник бедствий Европы с нею. Мы находимся на путях его. Легко быть может, что всевышнему угодно будет прекратить гнев свой, предав его нам. Почему желаю, чтобы приметы сего человека были всем известны. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для вящей же надежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника: известные щедроты монарха за сие ответствуют».

Наивный Чичагов ждал, что к нему в Борисов приведут спасающегося бегством Наполеона.

II

Зло сжав губы и надвинув на лоб треуголку, Наполеон угрюмо ехал, окруженный свитой и остатками гвардейской кавалерии.

После небольших морозов ударила оттепель, и волей-неволей пришлось сбросить тяжелую соболью шубу и горностаевую шапку: Наполеон потел.

Впрочем, Наполеон потел даже в сюртуке и шинели — он волновался, он злился.

До Смоленска император следовал только с авангардом и потому не видал эти толпы позорно побросавших оружие, малодушных, забывших присягу людей. Но после Смоленска, в котором для всех стало окончательно ясно, что ни о каком отдыхе и зимних квартирах в России не может быть и речи, беспорядок и расстройство в войсках стали всеобщими.

Если до Смоленска вместо полков остались под знаменами хоть роты, то теперь на каждом переходе уже исчезали целые полки. До Смоленска в толпе солдат шли только младшие офицеры, теперь же в этом людском разношерстном стаде замешались полковники и генералы. Стало теплее. Из-под женских кацавеек и прожженных на биваках салопов, из-под рогож и попон, которыми укутывались воины, выглянули грязные мундиры солдат и потускневшее золото офицерского шитья.

Наполеон с трудом пробирался сквозь медленно, устало бредущие толпы безоружных, косо, без всякого былого энтузиазма глядевших на императора.

Более сильные и волевые, старавшиеся во что бы то ни стало унести голову из России, не засиживались в Смоленске. Они смешались с остатками корпуса Жюно, шедшего в голове наполеоновской армии к Орше. Впереди их ждала Березина, за которой маячил новый спасительный пункт — Минск. Там находились громадные провиантские склады, а главное — Минск не подвергся разрушению.

Туда и стремился Наполеон.

Картина с каждым днем все больше разлагающейся армии действовала на него угнетающе. Он не жалел этих людей, исхудавших и почерневших от дыма костров и всех лишений бесславного отступления. Он негодовал.

Наполеон решил испробовать последнее средство. Выбрав довольно большую поляну среди леса, он велел гвардии построиться на ней в каре.

Бредущие как автоматы, изнуренные, деморализованные солдаты и офицеры с удивлением смотрели на то, как строятся гвардейцы. Отсталым это казалось уже просто какой-то смешной и ненужной игрой.

Наполеон смотрел, как выстраиваются его «ворчуны». Их уцелело не более шести тысяч человек. Он думал: «Какое счастье, что при Бородине я не послушался большинства маршалов и сохранил эту силу!»

Когда гвардия построилась, Наполеон начал говорить. Его голос был более визгливым, чем обычно. Он дрожал от сдерживаемого гнева:

— Гренадеры моей гвардии! Вы видите расстройство армии, многие солдаты побросали оружие. Если вы последуете их примеру, то все погибло. Необходимо, чтобы не только офицеры поддерживали строгую дисциплину, но и солдаты бдительно наблюдали друг за другом и наказывали тех, которые оставляют их ряды.

Сегодня он уже ничего не обещал войскам — только обращался к их сознанию и долгу.

Окончив речь, Наполеон приказал гвардейским музыкантам играть походный марш. Музыканты, давно забывшие о музыке, схватились за свои холодные рожки и трубы и нестройно заиграли марш.

Раздалась команда.

Гвардейцы преувеличенно четко замаршировали к дороге. Бравурная музыка и воинственный вид старой гвардии не влили бодрости в эти бесконечные людские толпы, тащившиеся по дороге. Им было наплевать на все: на марш, на старую гвардию, на императора. Единственное чувство, которое возбудил в них весь этот необычайный парад, было озлобление на то, что гвардия своим шествием задержала их движение.

Наполеон ехал среди гвардии.

Он надеялся на свою «звезду», на какое-то чудо. Он надеялся на Борисов, где есть удобная переправа через Березину, и на близкий к Борисову Минск.

Но сведения, которые он получил по пути в Оршу, были неутешительны. «Звезда» Наполеона не хотела сиять. Маршал Виктор, сражавшийся с Витгенштейном на петербургском направлении, не сумел отбросить Витгенштейна за Двину. А Чичагов, шедший с юга, уже занял Минск.

Привыкший к победам и удачам, Наполеон взбеленился.

— Довольно я был императором! Пора вновь стать генералом! — запальчиво сказал он.

Наполеон послал приказания маршалу Удино, бывшему вместе с Виктором на Двине, спешить к Борисову.

И вот показались невзрачные домики Орши и главы Кутеенского монастыря.

В Орше Наполеон хотел попробовать установить порядок в войсках. Он приказал читать с барабанным боем в нескольких местах городка строгий приказ. В нем Наполеон призывал всех

оставивших свои части вернуться к полкам под угрозой военного суда.

Но угроза расстрела не пугала никого — смерть от изнурения и голода и так подстерегала каждого на любом лье дороги. И практически расстрел стал невозможен: безоружных было уже не меньше, чем вооруженных. Беспорядочные толпы солдат и офицеров, хлынувшие по мостам в Оршу, не обращали никакого внимания на барабанный бой и не слушали чтения приказа. Всех интересовало лишь одно — где выдают провиант. Но провиант раздавали только тем, кто следовал организованно, со своей частью. И потому безоружные бросились сами добывать еду. Сначала они покупали за фальшивые русские ассигнации, которые Наполеон выдал армии в счет жалованья, и за серебро и золото, награбленное в Москве, а потом стали просто грабить, как делали это везде.

Оставшиеся в строю получили продукты. Эта мера удержала многих солдат от ухода из части.

В Орше Наполеон переорганизовал армию: корпус Даву был сведен в три батальона, вице-короля — в два батальона, Жюно — в один батальон. Знамена и орлы уже не существующих полков сняты с древков и отданы на сохранение более здоровым офицерам.

В Орше Наполеон приказал сжечь лишние подводы, запретил солдатам иметь телеги с кладью. Несколько десятков их было уничтожено, но основная многотысячная масса все-таки осталась.

В Орше оказался артиллерийский парк из тридцати шести орудий. Из них сформировали шесть батарей и разделили между корпусами.

Хуже обстояло с кавалерией: пышная, цветистая, лихая, она вся погибла от бескормицы. Из двухсот двадцати четырех эскадронов, с которыми Мюрат перешел Неман, остался всего лишь один эскадрон в пятьсот коней. Он был составлен из одних офицеров, потому что только у них кое-как сохранились кони. В этом эскадроне полковники (вспомнив свою молодость) стали рядовыми, а бывшие корпусные командиры — генералы Себастиани, Латур-Мобур, Груши — взводными. Всем эскадроном командовал Мюрат.

Потерявший вместе с двумястами двадцатью четырьмя эскадронами всю свою театральную, нарочитую красивость и задор, Мюрат чувствовал себя ужасно. Действия эскадрона были ограничены и лишены поэзии и героизма — ему поручалась прозаическая обязанность охранять священную особу императора. Осталось одно, что еще немного льстило Мюрату и отвечало его не очень тонкому и глубокому уму, — пышное название эскадрона: священный эскадрон.

III

Наполеон шел пешком, опираясь на палку, которую раздобыл ему в Орше заботливый начальник штаба принц Невшательский.

Несколько в стороне от императора семенил своими коротенькими ножками маршал Бертье. «Обезьяна Наполеона», как называли все придворные принца Невшательского за его подражание во всем любимому полководцу, тоже опирался на палку. Палка Наполеона была из красного дерева (она принадлежала раньше настоятелю Кутеенского монастыря), а палка Бертье — из белорусской березы.

Бертье теперь не во всем копировал обожаемого императора. Наполеон после Орши был угрюм и мрачен: надежды проскочить между русскими армиями Кутузова и Витгенштейна не было — его прижимали к Березине, за которой стоял Чичагов. И потому Наполеон смотрел как затравленный волк. А толстенький Бертье старался изобразить на своем некрасивом лице овечью кротость и безмятежность. В душе он не меньше своего властелина переживал весь страшный позор неудачного похода, давно изгрыз ногти (пальцы Бертье всегда были в крови), но лицо принца Невшательского пыталось сохранить невозмутимое спокойствие.

И теперь, когда в версте от Толочина к нему вдруг подошел конноегерский лейтенант и передал страшную, потрясающую весть, лицо Бертье в первый момент покривилось ужасной гримасой. Но как только начальник штаба увидел, что император обернулся и вопросительно смотрит на него, Бертье попытался изобразить подобие улыбки. В эту секунду его лицо походило на лицо ребенка, который готов заплакать, но боится няньки.

Хотя император шел погруженный в свои мысли и, казалось, не видел ничего, но его серые быстрые глаза сразу схватили фигуру конноегеря, который стоял с солдатом и лошадьми на развилине дороги, ожидая, пока пройдет император. Двубортный зеленый мундир и кивер конноегеря были новее, чем у его спешенных товарищей, затерявшихся в несметной толпе отступавших. Малиновые обшлага не потеряли цвета, а ноги не были обернуты тряпьем.

«Уж не из второго ли корпуса Удино?» — мелькнуло в голове Наполеона.

И его точная на все, касающееся войска, безотказно действующая память сразу подсказала:

«Малиновый воротник — двадцатый конноегерский. Шестая кавалерийская бригада Корбино».

И в памяти возник сам генерал Корбино — маленький, быстрый, черноусый, но лысоватый в свои тридцать пять лет. Умный, преданный Наполеону генерал.

Наполеон повернулся и подошел к Бертье.

— Что он говорит? Что говорит? — нетерпеливо-быстро спросил император, по смущенному, исказившемуся лицу Бертье уже предчувствуя недоброе,

— Доложите сами его величеству, — сказал конноегерскому лейтенанту начальник главного штаба.

— Маршал Удино поручил мне доложить, что русский генерал Тши... Тши... — старался выговорить он трудную русскую фамилию, — Тшичагоф пришел к Березине и занял все переправы! — вытягиваясь, докладывал лейтенант. — Два неприятельских отряда...

— Этого не может быть! — перебил Наполеон.

— Два неприятельских отряда заняли мост и перешли на левый берег.

— Неправда! — визгливо кричал Наполеон, стуча палкой.

Но исполнительный офицер упорно продолжал докладывать то, что ему поручил маршал:

— Лед на реке слаб. Переходить по нему нельзя.

— Неправда! Он лжет! — в бешенстве кричал Наполеон, топая ногами.

Изменившийся в лице Бертье даже отступил назад. Лейтенант стоял красный как рак. Молодые, пухлые губы его дрожали от обиды и возмущения.

— Государь, я только исполняю поручение маршала, который приказал мне сообщить это, — ответил оскорбленный офицер, но Наполеону было не до того.

Все его надежды на то, чтобы пройти мимо окруживших его со всех сторон русских армий и перевести войска через Березину, разом исчезли. Самообладание оставило Наполеона. Он, словно отброшенный какой-то силой, отступил назад, заскрипел зубами и, подняв вверх руку, выругался так, как ругался, когда был подпоручиком артиллерии Лаферского полка.

— Значит, там, наверху, написано, что мы теперь будем совершать одни ошибки?

И он, как император Юлиан, выругал тех, кто наверху, еще раз.

— Коня! — крикнул, обернувшись к берейтору Амодрю, ведшему императорского араба.

Наполеон вскочил на коня, хотел пустить его в галоп к этим грязным домишкам Толочина, но потом подозвал Бертье и велел ему приказать Удино во что бы то ни стало отбить у Чичагова борисовскую переправу.

— Через несколько минут обиженный конноегерский лейтенант, которого успокоил Бертье, уже мчался назад со своим ординарцем и думал, как он будет рассказывать в штабе о своем споре с императором.

Наполеон подъехал к Толочину. У крайней хаты — еврейской корчмы — горел костер, сложенный из досок разломанного сарая.

У костра стоял только что прискакавший в Толочин генерал Дод, которого император посылал к Виктору.

Наполеон соскочил с коня и хотел уже идти в дом, но генерал Дод, почтительно снимая вылинявшую треуголку, подошел к нему.

С перекосившимся от злобы лицом Наполеон выразительно сказал Доду:

— Они уже там! — и, кивнув генералу, чтобы он шел за ним, вбежал на широкое крыльцо.

Лакеи, приехавшие заранее приготовить императору помещение, раскрывали двери, указывали, куда идти.

В большой комнате, на столе, застланном чистой хозяйской скатертью, стояли в двух субботних подсвечниках зажженные праздничные свечи, хотя было начало недели.

Наполеон подбежал к столу, сел на лавку и протянул руку, крикнув:

— Карту!

Паж тотчас же положил перед ним карту Белоруссии. Наполеон, не снимая треуголки, нагнулся над картой.

Генерал Дод стоял у стола.

Наполеон начал думать вслух, как выйти из создавшегося катастрофического положения. Кавалерии у него не осталось, разведки не было. Приходилось лишь гадать о силе и движениях русских войск.

Дод знал Березину с ее болотистыми берегами и советовал не переправляться у Борисова, потому что русские, конечно, уже сожгли мост, а ниже Борисова сплошной лес и болота, через которые проложены многоверстные гати из тонких бревен и фашинника и где десятки мостов. Дод советовал перейти реку у Лепеля, при соединении ее с Уллой — там Березина неширока, и берега не илистые, а песчаные. Удино неоднократно переправлялся через нее. Дод предлагал соединиться с Виктором и Удино и идти через Глубокое к Вильне.

Наполеон то внимательно слушал Дода, то слушал и не слышал, думая что-то свое. Он переспрашивал генерала, потом опять молча склонялся над картой.

— Путь на Борисов короче. Идя к Лепелю на Глубокое, придется сделать большой обход, — возражал Наполеон. — Русские смогут прийти в Вильну раньше нас. И впереди — Витгенштейн.

Наполеон возражал не столько Доду, сколько своему ходу мыслей, этому варианту, который он давно знал и о котором только что напомнил Дод. Император водил пальцем вверх и вниз по течению Березины и Днепра и вдруг прочел:

— Полтава!.. Полтава!..

Рука невольно оторвалась от карты.

За этим коротеньким словом возникли те картины, которые часто вспоминались еще в московском Кремле.

Наполеон вскочил и, заложив за спину руки и наклонив голову, заходил по корчме.

Дод с тоской смотрел на императора, понявшего печальную аналогию.

Молчали.

В комнату вошли приехавшие Бертье, Мюрат, Евгений Богарне и генерал Жомини.

Тактичный Дод поспешил выйти.

Император ходил, продолжая машинально повторять:

— Полтава!.. Полтава!..

Присутствовавшие поняли его невеселые мысли. Стояли кучкой у порога. Император дошел до порога и, подняв на Жомини глаза, сказал:

— Кто никогда не испытывал поражений, у того они должны быть так же громадны, как и его победы!

Жомини только поклонился, молча соглашаясь с императором.

Наполеон снова подошел к карте и, рассказав всем о предложении генерала Дода, спросил у Жомини, знавшего местность, что советует сделать он.

— Ваше величество, перейти Березину ниже Борисова невозможно, но идти с измученной армией к ее верховьям — утомительно. Я полагаю, что можно перейти Березину чуть выше Борисова и выйти к Вильне кратчайшей дорогой на Сморгонь, — ответил Жомини.

Наполеон слушал Жомини, глядя не на карту, а на пламя свечи в медном еврейском праздничном подсвечнике. Он продолжал думать о своем — не о бегстве и поражении, а о победе.

— Если бы не все сердца оробели, — взглянул он на маршалов, стоявших у стола, — то можно было бы произвести чудесный маневр: идти к верховьям Березины, броситься на Витгенштейна, охватить его, взять в плен! — зажегшись, горячо выпалил Наполеон.

Бертье смотрел на Наполеона с упоением. Евгений Богарне печально улыбался, как бы говоря: «Красивые сказки!» Мюрат, который окончательно завял, сник в этом бегстве армии, был настроен весьма скептически. Он только поднял брови и подумал привычными кавалерийскими образами: «Загнал коня, а теперь хочет, чтоб он скакал рысью!»

Наполеону ответил Жомини:

— Ваше величество, такое чудесное движение возможно лишь в Италии и Германии, где есть продовольствие.

Жомини возвращал Наполеона с небес фантазии на землю действительности.

IV

...И крысы хвост у ней отъели.

Крылов

Адмирал Чичагов наслаждался отдыхом в небольшом уютном доме местного ксендза, который он занял для постоя в Борисове.

Румяный, плотно сбитый пятидесятилетний ксендз, еще два дня назад усердно возносивший молитвы за императора Наполеона, теперь смиренно склонялся перед русским адмиралом. Ксендз вынужден был уступить «москалю» весь домик, а сам остался жить в одной комнатке у кухни со своей тридцатилетней черноокой экономкой, несмотря на обет безбрачия, который он давал при посвящении в сан.

Впрочем, русский адмирал не был виновником прельщения почтенного отца-настоятеля: ксендз жил с экономкой уже около десяти лет, о чем знал весь Борисов. А адмиральские повара и денщики слышали, как ксендз пилил экономку за то, что она якобы не прочь преступить седьмую заповедь с главным поваром адмирала, не по-поварски сухим англичанином Томасом.

Павел Васильевич Чичагов, только что плотно, на английский манер, позавтракав натуральным бифштексом из свежей борисовской говядины, сидел в кабинете ксендза под миловидной Мадонной, кормящей пышной грудью младенца, и чистил напильничком ногти. И тут к нему вошел адъютант и с таинственным видом доложил, что казачьи разъезды схватили за Зембином нескольких пленных французов и один, по мнению всех штабных, очень похож на Наполеона.

— Он, как вы справедливо изволили отметить, ваше высокопревосходительство, малоросл, — доложил адъютант.

— А где он? — заинтересовался адмирал.

— Вон стоит у крыльца. Я нарочно велел поставить его так, чтобы вы, ваше высокопревосходительство, могли обозреть.

Адмирал живо подошел к окну и глянул. У крыльца стоял в синей французской шинели и треугольной шляпе действительно маленький человек. Он нетерпеливо поглядывал во все стороны, но казачий урядник, свесив из-под шапки светлый чуб, не спускал с пленника глаз.

— Извольте видеть, ваше высокопревосходительство, как есть все приметы: мал, плотен, шея короткая, волосы черные, — угодливо шептал адъютант, наклонившись к окну.

— Накормить и дать выпить. Пусть развяжется язык. Потом доставить ко мне, — приказал адмирал и снова сел в кресло под пышногрудой Мадонной.

Чичагов чистил ногти и предвкушал, как напишет Александру Павловичу о том, что поймал его тильзитского «брата».

Прошел добрый час, пока пленник позавтракал. Наконец адъютант доложил, что француз готов.

— Сразу видно птицу по полету, ваше высокопревосходительство, — шептал адъютант. — Как он тонко разбирается в винах — с одного глотка узнал, что кло-вужо!

— Пусть войдет! — сказал Чичагов и встал у стола, на котором лежала гравюра, изображавшая Наполеона: адмирал возил ее с собой.

Дверь открылась, и адъютант ввел французского офицера лет сорока, в зеленом двубортном мундире с голубым воротником и зеленых рейтузах. У него были карие веселые глаза и полное небритое лицо.

— Добрый день, господин адмирал! — непринужденно приветствовал Чичагова пленник.

Чичагов наклонил голову так, что подбородок вдавился в шею. Он надулся и смотрел с достоинством — адмирал принимал такую позу всякий раз, когда хотел показать свой независимый, гордый характер.

— Спасибо за вкусный завтрак. Только, знаете, у нас в Париже другие соусы, более острые. Я, признаться, не очень люблю английскую кухню...

«Он даже каламбурит... Конечно, вам, государь, все английское не по вкусу!» — иронически подумал Чичагов. А охмелевший француз продолжал развязно тараторить:

— А вот вино — неплохое.

Чичагов стоял все в той же позе собирающегося бодать бычка. Прикидывал в уме, косясь на лежавшую гравюру:

«Рост и плотность — Наполеоновы. Волосы? Адъютант сказал — черные. Собственно, волос нет. Один седоватый венчик вокруг головы, а все остальное — голое, как орех. У Наполеона же сохранилась на макушке небольшая прядка. И все же какое-то сходство есть!»

— Прошу садиться, господин генерал, — предложил Чичагов.

— О, очень благодарен. Вы мне льстите, я еще не генерал, а всего лишь полковник, — по-приятельски улыбался француз, садясь в кресло у стола.

«Да, да, притворяется чудесно», — подумал Чичагов, тоже садясь к столу.

— Скажите, а какое вино вы пьете у себя? — спросил он, вспоминая рассказы Александра Павловича о том, что Наполеон пил в Тильзите один шамбертен.

— Какое придется.

— Шамбертен? — чуть улыбнулся Чичагов.

— Да, и шамбертен, — ответил француз, осматривая комнату. Увидев мадонну и младенца, он подмигнул адмиралу: — А неплоха!

Чичагов вспомнил о том, что у Наполеона ведь есть сын, и спросил:

— Как ваш сынок?

— Который? — повернулся к нему француз. — У меня их три.

— Вы скромничаете, государь, у вас их, верно, больше, — сказал добродетельный Чичагов.

— Хе-хе-хе, — засмеялся француз и игриво дотронулся рукой до адмиралова колена. — Вы шутник, я вижу!

— Я говорю о вашем любимом сыне.

— Любимый — Наполеон, назван так в честь императора. Бедовый мальчишка. Он с матерью в Париже.

— Так, так, — удовлетворенно подтвердил Чичагов, покачивая ногой. — Вы ведь артиллерист, а носите, если не ошибаюсь, форму конноегеря?

— Нет, я никогда не служил в артиллерии. По росту я гожусь в вольтижеры, как карманный мужчина. Но сам — прирожденный кавалерист.

— Вам понравилась Москва?

— Я не был в Москве. Я был только в Полоцке.

Чичагов молчал, испытующе глядя на француза в упор. Француз вдруг почувствовал себя неловко. Он оглянулся по сторонам, потом впервые обратил внимание на гравюру Наполеона, лежавшую перед ним на столе.

Француз глянул еще раз на адмирала, потом еще раз на гравюру, и его лицо снова оживилось.

— Постойте, постойте, я, кажется, начинаю понимать! В полку мне уже говорили об этом сходстве не раз. Но не может быть! Вы, вы принимаете меня за... императора? — вытаращил глаза полковник.

— А как знать, кто вы, — чуть улыбаясь, ответил Чичагов, закладывая руку за борт морского вицмундира.

— Кто я? Я полковник конноегерского полка Камиль Вуатю!

Веселость снова вернулась к нему.

— Я — император? О боже мой! — Француз захохотал, схватившись за живот. — Я — император? И не потому ли вы угощали меня кло-вужо? О-хо-хо! — Полковник хохотал до слез.

Чичагов сидел, покачивая ногой. Улыбка сползала с его важного лица. Щеки начинали покрываться краской.

— Да посмотрите же — у меня вон на щеке бородавка. Она от рождения.

Француз встал и, наклонившись к адмиралу, показал пальцем на довольно большую бородавку, сидевшую у него под глазом.

— У императора лицо чистое. Я видел его в лагере в Булони вот так же близко, как вижу вас! — уже не смеясь, сказал француз.

Адмирал Чичагов вскочил и, взбешенный, выбежал вон из комнаты.

На этом конфузном случае не суждено было окончиться неприятностям адмирала Чичагова в Борисове.

Граф Пален 2-й, вступивший в командование авангардом вместо раненого Ламберта, прислал к Чичагову ординарца, прося подкрепления. Верстах в десяти от Борисова, у деревни Лошница, где должен был расположиться авангард, Пален наткнулся на превосходящие силы противника.

Разведка у Чичагова была поставлена из рук вон плохо, адмирал не имел представления о том, какие и где французские силы стоят на его пути в Оршу. Зная из сообщений главнокомандующего Кутузова, что Наполеон бежит в полном расстройстве, Чичагов не поверил Палену. Он решил, что толстый сибарит Павел Петрович Пален просто струсил. Чичагов не обратил внимания на его рапорт, велел солдатам варить кашу, а три тысячи кавалеристов отправил на фуражировку по левому берегу реки.

Но не прошло и часа, как прискакал второй гонец с известием, что французы теснят наш авангард. Об этом можно было бы не говорить — орудийные выстрелы гремели уже вот тут, под самым Борисовом.

Впервые за все командование сухопутными войсками Чичагов видел наступающего врага. До сих пор враг не принимал боя, и адмирал уже привык к легким победам. А теперь он растерялся: Чичагов не знал, на что решиться — перевести ли оставшиеся на правом берегу войска и принять бой под Борисовом или уйти снова за реку. Пока он раздумывал, маршал Удино гнал Палена к Борисову. Дорога шла лесом. Палену негде было развернуть кавалерию для отпора.

Чичагов отдал приказ отступать на правый берег. Артиллерия и обозы бросились к единственному мосту через Березину. У моста тотчас же образовалась давка: всякий хотел поскорее очутиться на том берегу.

Адмирал Чичагов, бросив свои фургоны со столовым серебром и фарфоровой посудой, кинулся наутек. Повара и многочисленные слуги улепетывали вместе с ним.

Экономка ксендза тотчас же воспользовалась приготовленным для адмирала обедом, но не успела захватить фуры со столовым серебром и посудой — ими завладел маршал Удино, ворвавшийся в Борисов.

V

Борисовскому ксендзу повезло: не успел умчаться один постоялец, как его дом занял второй — французский маршал Удино.

По уверению экономки, русский адмирал был красивее и моложе французского маршала, но ксендз не поверил словам коварной сестры прародительницы Евы и продолжал не менее бдительно охранять ее целомудрие, чем охранял от русских.

Заняв Борисов, Удино немедленно начал разыскивать другую переправу через реку: мост у Борисова был наполовину сожжен отступавшими русскими, и на том берегу стоял Чичагов. Удино послал кавалерийские отряды и расспрашивал у местных жителей о бродах и переправах. К утру следующего дня он установил, что возле Борисова находятся четыре брода: один ниже Борисова, у деревни Ухолоды, и три выше города — у деревень Стахово, Студенка и Веселово. Удино думал остановиться на Студенке — она была подальше от Ухолод и Стахова, находилась недалеко от тракта на Зембин и по своему местоположению позволяла более скрытно вести подготовительные работы. А самое главное то, что брод был проверен: у Студенки третьего дня удачно переправились французы.

Кавалерийская бригада генерала Корбино из его же второго корпуса, стоявшая в Глубоком, возвращалась по приказу Удино к корпусу. Но так как Борисов был тогда занят русскими, то бригаде пришлось переправляться через Березину. Корбино нашел по указаниям местных жителей брод у деревни Студенка, благополучно (потеряв с десяток людей отсталыми) переправился через Березину и соединился с Удино.

Как все маршалы Наполеона, Удино отличался личной храбростью, о чем свидетельствовали его двадцать восемь ран, но, как немногие из маршалов, Удино был на поле боя только хорошим исполнителем замыслов Наполеона, а вести самостоятельные операции не умел. И здесь, находясь в переходе от Наполеона, Удино не рисковал действовать сам, а обращался к Наполеону. Он послал генерала Корбино к императору с докладом.

Из всех бродов Наполеон выбрал Студенку. Император немедленно отправил Корбино назад, в Борисов. Он приказал готовить в Студенке мосты, а чтобы отвлечь внимание Чичагова, устроить ложную демонстрацию — рубить лес, якобы для переправы, у деревни Ухолоды, а в Борисове распространить об этом слухи.

Наполеон правильно считал, что после этого к Ухолодам потянутся тысячи безоружных французских солдат. Они вряд ли уйдут от плена, но императору не было их жаль. И они еще сослужат службу, — Чичагов подумает, что к Ухолодам стягиваются главные французские силы.

Удино точно выполнил приказ Наполеона. Он скрытно перебрасывал свой корпус к Студенке. Деревню заняла кавалерия Корбино, укрыв людей в лесу. К Ухолодам Удино двинул батальон пехоты и роту понтонеров. За ними, как и ожидал Наполеон, потащились толпы безоружных. С русского берега они, конечно, представлялись крупным воинским соединением.

В Борисове же разыграли комедию.

Начальник штаба корпуса Удино генерал Лорансе потребовал к себе знатных мещан города. Когда человек десять борисовских жителей явились в дом ксендза, Лорансе стал расспрашивать их о переправах ниже Борисова и дорогах к Минску, о глубине реки у деревни Ухолоды. Борисовские мещане подтвердили все, что и без них знали французы.

Генерал Лорансе оставил при штабе пятерых мещан в качестве будущих проводников, а с остальных взял клятву, что они никому не расскажут об этом разговоре.

Можно было не сомневаться в том, что не позже следующего утра Чичагов узнает обо всем, что говорилось в стенах знакомого ему дома ксендза.

Так и случилось.

VI

Наше отступление, начавшееся маскарадом, окончилось похоронным шествием.

Е. Лабом

Бегство французской армии продолжалось.

Этот необычный марш начинался с рассвета и кончался вечером. Подымались без сигнала и шли без команды и порядка, подгоняемые голодом и страхом. Обледенелая дорога терялась в непроглядной чаще леса, а надежда на спасение — во мраке длинных, голодных и становившихся все более ощутимыми холодных ночей.

В растерянности и смятении армия Наполеона приближалась к Борисову, откуда неутешительно и тревожно, а не призывно, как было когда-то, раздавались пушечные выстрелы.

Деревень по дороге не было.

Приходилось разводить костры из сырых еловых или сосновых сучьев и веток. Нужно было приложить много усилий, чтобы только нарубить сучьев. К костру, который удавалось разжечь какой-нибудь более сильной и энергичной компании беглецов, уже не могли, как бывало еще до Смоленска, подходить погреться все желающие. Принимали только того, кто приносил свое топливо. Без

него к костру не пускали не только солдат, но гнали прочь даже полковников и генералов.

Императорские слуги и лакеи, всегда ехавшие немного впереди, разводили громадный костер, чтобы согреть землю для императорской палатки. Слуги потихоньку доламывали кресла и столы главной квартиры, чтобы развести огонь. И Бертье и Коленкур смотрели на это сквозь пальцы. Рядом с костром, на месте которого потом ставили императорскую палатку, раскладывали второй — у него грелась свита.

Бредущие мимо этого яркого, зовущего костра армейцы с завистью смотрели на жаркий, приветливый огонь. Там, у императора и его гвардии, находились и пища и тепло. Гвардейский обоз хоть и сильно уменьшился, но все-таки вез еще кое-какие запасы продовольствия. При всех раздачах провианта, которые производились в некоторых пунктах по дороге, гвардия получала львиную долю.

А шедшим без команды и оружия, несшим на себе только награбленные в Москве ценные вещи, приходилось самим заботиться о питании и ночлеге.

Уже подходили к самому Борисову. Густой бор, подымавшийся с обеих сторон хмурой стеной, уступил место полям. Впереди виднелась деревня, занятая какими-то войсками. Никто не знал, свои там или чужие.

Наполеон, ехавший верхом, побелел: неужели это войска Витгенштейна? Неужели перерезан последний путь?

Беглецы невольно остановились в страхе, но кто-то из генералов разглядел в зрительную трубу трехцветные французские знамена. Тогда все с радостными криками кинулись из последних сил к деревне.

Это были войска маршала Виктора, бесславно боровшегося против Витгенштейна и отступающего от Двины.

Солдаты корпуса Виктора, прекрасно снаряженные и вооруженные, сытые и бодрые, с удивлением и ужасом смотрели на своих товарищей. Вместо блестящих, стройных колонн «великой армии» они увидели безоружные, беспорядочные толпы грязных, худых, бородатых людей в лохмотьях, с ногами, обернутыми тряпками. Они, не испытывая стыда, угрюмо шагали, безучастно глядя по сторонам, как стадо пленников. Среди этого сброда виднелись треуголки офицеров и расшитые золотом мундиры генералов. Над толпами не реяло ни одно знамя.

Армия Виктора была поражена так сильно потому, что от нее скрывали положение главной армии.

Только всем знакомая фигура в серой шинели и маленькой треуголке осталась без изменения. Солдаты Виктора встретили им-

ператора обычным приветствием, которого он уже давно не слыхал.

Действия маршала Виктора, а тем более его последний отход за Двину, не вызывали восторга у императора, но, увидев боеспособные войска, Наполеон обрадовался. Тем более что вчера, не блиставший, как и Виктор, победами, маршал Удино выбил Чичагова из Борисова. Настроение у Наполеона поднялось. В его, казалось, совершенно безвыходном, катастрофическом положении блеснул маленький, робкий луч надежды.

К вечеру 13 ноября Наполеон прибыл со старой гвардией в Борисов. Всегда верный своему правилу — «полководец не должен щадить себя в деле рекогносцировок, но беречь себя в бою», — Наполеон лично познакомился с обстановкой — проехал до самого моста через Березину. Перед ним расстилалась мутная полоса реки. По ней плыли небольшие льдины. Мороз был не настолько силен, чтобы сковать реку и сделать ее удобной для перехода, но все-таки доставлял много неприятностей голодным, одетым не по сезону солдатам его армии.

Русские сожгли со своего берега значительную часть моста. На их берегу весело горели многочисленные костры, стояли пушки, преграждавшие переправу.

Наполеон поехал в Старый Борисов, в имение князя Радзивилла, которое лежало на одинаковом расстоянии от Борисова и Студенки; у Студенки император решил попытаться переправиться. С императором двинулась и старая гвардия.

Наполеон провел тревожную ночь. Он каждый час выходил на крыльцо дома послушать, не раздаются ли со стороны Студенки выстрелы. Сегодня решалась его судьба.

Против самой деревни Студенка, на правом берегу, стоял отряд генерала Чаплица. Когда Удино прислал к Студенке офицера для осмотра места, они не смогли даже промерить реку, потому что на противоположном берегу шныряли казаки, а у деревни Брили виднелись тридцать русских пушек: Чичагов поставил у Брилей дивизию генерала Чаплица. Французские офицеры делали вид, что только поят лошадей в реке: казаков это не беспокоило.

Удино очень боялся, что русские заметят его приготовления к переправе и помешают строить мосты.

В Студенку приехали начальник понтонеров армии генерал Эбле и начальник саперов генерал Шаслу.

Вечером затемно пришли четыре роты понтонеров. Понтонеры и саперы работали всю ночь — разбирали деревенские хаты, выкидывали жителей, пилили бревна, заготовляли гвозди и делали козлы и плоты, потому что понтонные лодки неосмотрительно сожгли в Орше, думая, что в них не будет нужды.

Как ни старались делать все это потише, но нельзя было работать бесшумно, нельзя было обойтись без команды, и, кроме того, нельзя было не разжечь костров, чтобы стало светлее и теплее. Все с тревогой посматривали на противоположный берег, где стояла дивизия Чаплица.

Но там царили мир и покой — даже пели, не чуя тревоги, петухи.

Наполеон не мог дождаться утра. Он каждый час вскакивал с постели, думая, что уже кончилась ночь. Он не верил ничьим часам: ни своим, ни Бертье, ни часам хозяев, ни петухам, еще не переловленным французами. И в полной темноте двинулся к Студенке; проводником был генерал Корбино.

Маршал Удино размещался в маленькой закопченной деревенской баньке, стоявшей в голых ольховых кустах у самой реки. Нерешительный Удино был в большой, понятной тревоге. Он боялся, что Чаплиц обнаружит их и ударит по мостам и переправе из своих тридцати пушек.

Но сегодня тревожился не один Удино. И более решительные и мужественные маршалы — Бертье, Ней, Мюрат — и все свитские генералы чувствовали себя весьма неспокойно.

Император с Бертье и Удино жались в тесной белорусской бане, пахнущей сажей и березовыми вениками, за наскоро сколоченным столом, на котором лежала карта и стояла свеча.

Наполеон в который раз изучал течение этой проклятой реки. Длинноносый, с невеселым лицом маршал Удино стоял у порога, ожидая приказаний. А не похудевший за поход маленький Бертье грел руки у «каменки», которую топили ночью.

В тесном предбаннике, устланном тертой соломой, стояли Ней, Мюрат и генерал Рапп. Они вышли из бани, потому что всем не хватало в ней места.

У дверей бани маячили с ружьями у ног два усатых гвардейца.

— Наше положение неслыханное. Если Наполеон выпутается, тогда в нем сидит сам дьявол! — по-солдатски грубо сказал товарищам несдержанный Ней. Он говорил по-немецки, чтобы его не поняли часовые.

— Я предложил ему, — зашептал Мюрат, — спастись одному: переправиться через реку в нескольких лье отсюда. Мои польские уланы берутся доставить его в Вильну. Но он и слушать не хочет. Я не думаю, чтоб нам удалось вывернуться. О сдаче в плен, конечно, не может быть и речи. Мы все должны погибнуть здесь!

Мюрат огорченно махнул рукой и вышел из предбанника на свежий воздух.

Ней и Рапп ходили в раздумье по тесному предбаннику из угла в угол.

И вдруг Мюрат вбежал назад в предбанник и, расталкивая Нея и Раппа, кинулся в баню.

— Государь, неприятель очистил позицию! — закричал Мюрат так, словно звал в атаку.

— Не может быть! — вскочил со скамейки Наполеон.

— Посмотрите, они уходят.

Все бросились вон.

Из деревни, занятой русскими, тянулась в лес колонна пехоты. Ее замыкали казаки. Из тридцати пушек, стоявших на пригорке у деревни, не осталось ни одной. Бивачные костры чуть дымились, потухая.

Все, у кого были зрительные трубы, смотрели не отрываясь на это непонятное, но восхитительное зрелище.

Сомнений не оставалось — произошло невероятное чудо: генерал Чаплиц снялся с удобной позиции за час до того, как французские понтонеры собирались ставить первые козлы для мостов.

— Фридрих Второй назвал бы это «его величество случай»! — говорил Наполеон, продолжая смотреть в трубу. — Я всегда считал, что всякое военное предприятие хорошо соображено, если две трети в нем отнесены на долю расчета, а одна треть — на долю случая! — закончил Наполеон, опуская трубу и глядя на своих повеселевших маршалов. — Я обманул глупца адмирала. Он ждет меня там, где я ему подсказал! Где я хочу, чтоб он меня ждал!

Он сиял от счастья, которое свалилось так нежданно.

Увидав, что Чаплиц ушел, Наполеон приказал поскорее занять противоположный берег.

Адъютант Удино, лейтенант Жакмино и граф Пшездецкий бросились на лошадях вплавь через реку. За ними последовало сорок охотников седьмого конноегерского полка. Конные егеря взяли на стремя по одному вольтижеру. Два простых небольших плота стали перевозить стрелков.

Переправившиеся на правый берег французы оттеснили казачьи разъезды, которые показывались несколько раз на берегу.

Наполеон приказал наводить два моста — в двухстах саженях друг от друга: один для пехоты и кавалерии, другой для артиллерии.

В час дня закончили легкий мост — его настлали досками. Первой переправилась шестая дивизия Леграна из корпуса Удино. Она была в отличном состоянии и в полном, почти кадровом составе. Когда дивизия перешла на правый берег, она закричала: «Да здравствует император!»

Наполеон гордо взглянул на маршалов и сказал:

— Моя звезда взошла вновь!

VII

Любимец императора Александра I адмирал Чичагов считал себя непогрешимым в военном деле, недаром император отводил ему, англоману, первую роль в поимке главного врага Англии Наполеона. Бежав на правый берег Березины, Чичагов был уверен, что Наполеон попробует переправляться где-либо возле Борисова, на кратчайшей дороге в Минск. Потому Чичагов с главными силами остался у Борисова, а дивизию Чаплица послал к деревне Брили против брода у деревни Студенка. Чаплиц должен был занимать дефиле у Зембина на пути в Вильну. Ниже Борисова адмирал поставил отряд генерала Орурка.

Когда же к Чичагову прибежали борисовские мещане и сообщили, что французы собираются переправляться в нижнем течении у деревни Ухолоды, где французские понтонеры уже рубили лес, то Чичагов решил оставить Борисов и двинуться на юг к Шебашевичам.

Как ни уговаривал его начальник штаба опытный генерал Сабанеев обождать, пока обстановка прояснится, самонадеянный и упрямый Чичагов не послушался и пошел со своими главными силами на юг.

Чаплицу он приказал подойти к Борисову, чтобы подкрепить оставленный у мостовых укреплений корпус Ланжерона.

Чаплиц, стоя у деревни Брили, заметил 13 ноября вечером возле Студенки многочисленные бивачные огни, услыхал стук топоров. Он произвел разведку на левом берегу и взял пленных. Пленные показали, что между Старым и Новым Борисовом сосредоточена вся французская армия.

Чаплиц послал донесение об этом Чичагову и Ланжерону, а сам собрал свои войска, разбросанные между деревнями Брили, Веселово и Зембинским дефиле, к Брилям. Он заботился только о дороге на Минск, а дорогу на Вильну оставил без внимания. На Зембинской болотистой дороге тянулась на несколько верст гать с десятками длинных мостов, делавших дорогу труднопроходимой. Если бы Чаплиц догадался все поджечь, французам, даже переправившимся через Березину, было бы невозможно спастись.

Прошел день. Чаплиц не получил от Чичагова никакого ответа, зато Ланжерон вторично приказывал идти с дивизией к Борисову. И Ланжерон и Чичагов не придали сообщениям Чаплица никакого значения.

Чаплиц, видя готовящуюся переправу, мог бы на свой страх и риск остаться с дивизией у Брилей, но не захотел брать на себя лишнюю ответственность. Он пошел к Борисову, оставив против

Студенки слабый отряд генерала Корнилова, решив: «Начальству должно быть виднее, что надо делать!»

Бездарный, но самоуверенный адмирал Чичагов и исполнительный, но глупый генерал Чаплиц оказались той «звездой» Наполеона, которая засияла ему в Березине.

VIII

> При Березине окончилась судьба великой армии, заставлявшей трепетать Европу. Она перестала существовать в военном отношении, ей не оставалось другого способа для спасения, как бегство.
>
> *Шамбре*

К вечеру 14 ноября был закончен второй мост, предназначенный для артиллерии, ее парков и обоза. Этот мост делали из более толстых бревен и настилали не досками, а круглым лесом.

В течение ночи и следующего дня шла беспрерывная переправа боеспособных частей и артиллерии под прикрытием сильной сорокапушечной батареи на высоком правом берегу у Студенки.

Толпы безоружных и обозы с награбленным в Москве добром, с которым никак не желали расстаться многие солдаты, их жены и любовницы, разбогатевшие жадные маркитанты, везшие десятки телег с дорогой даровой поклажей, — все они еще не успели подойти к Студенке.

Мосты, сделанные на козлах, ломались по нескольку раз в день. Возницы мчались по ним вскачь, козлы постепенно углублялись в илистое дно. На мосту образовывались впадины и ухабы, бревна настила выпирали вверх, козлы расшатывались и подламывались. Движение приостанавливалось на несколько часов, пока неутомимые понтонеры не исправляли повреждения.

15 ноября в полдень переправился сам Наполеон со свитой и штабом в сопровождении гвардии.

Императорскую квартиру устроили в одном лье от реки, в маленькой деревне Занивье. Переправившиеся раньше войска дивизии Удино растаскали на костры все занивские хатенки. Уцелела только одна: в ней помещался штаб. Эту хату заняли под квартиру императора, хотя в ней уже не было крыши: солома, стропила и слеги давно исчезли.

Наполеон приказал генералу Эбле хоть приблизительно прикинуть, сколько понадобилось бы дней для того, чтобы переправить все армейские и частные обозы, скопившиеся на берегу у Студенки.

— Понадобилось бы не менее шести дней, государь, — ответил Эбле.

— Их все надо сжечь на месте! — не выдержал Ней.

Наполеон молчал, думая о чем-то. Прекрасно знавший своего любимого властелина и опытный придворный угодник, маршал Бертье понял мысли Наполеона: ему не хотелось бы расстаться с «трофеями», вернуться в Европу с пустыми руками. Ему хотелось бы, чтобы новые тысячи солдат, которых он поставит под свои знамена, знали бы, что трудности похода вознаграждаются богатейшей добычей. Он колебался. Бертье понял его мысли и стал рьяно возражать прямодушному простаку Нею.

Решено было не жечь обоз — все равно приходилось ждать подхода частей корпуса Виктора. Маршал Виктор дрался с Витгенштейном, который наконец-то рискнул двинуться вперед.

До вечера 15 ноября давки на мостах не было, переходили только боевые части. Но поздно вечером к Студенке докатились первые волны моря беглецов с их несметным обозом. Грабители хотели не только уйти от справедливого мщения русского народа, но и увезти с собой награбленное.

Повозки, телеги, кареты, коляски, фуры подъезжали к мостам в тридцать — сорок рядов. Все пространство между мостами и тем местом, где стояла несчастная деревня Студенка, по бревнышку раскатанная французами для постройки мостов, оказалось покрытым повозками, людьми и лошадьми.

В ночь рискнули переправляться через Березину очень немногие, большинство отложило переправу до утра.

А утром 16 ноября на обоих берегах Березины загремели пушки: от Борисова шел Витгенштейн, а по правому берегу Чичагов. Оба они прозевали переправу Наполеона и теперь старались наверстать упущенное.

На правом берегу Наполеон уже сосредоточил почти всю свою армию: корпус Удино, гвардию и остатки корпусов Нея, вице-короля и Даву. На левом осталась для охраны еще не переправившихся обозов и беглецов одна дивизия Жерара из корпуса Виктора с двумя бригадами конницы, да у Борисова застряла следовавшая у Виктора в арьергарде третья дивизия генерала Партуно.

В полдень русские батареи стали уже обстреливать мосты. Снаряды падали в гущу столпившихся обозов, создавая панику. На мостах образовались заторы — ломались колеса, падали загнанные лошади, стояла страшная давка. Но короткий ноябрьский денек быстро пролетел, выстрелы стихли, поток едущих прекратился.

Наполеон не двигался никуда из Занивья — он ждал подхода последней дивизии Партуно: теперь каждый боеспособный солдат был для него на вес золота.

Ночью переправился с сорока орудиями и тремястами повозками своего обоза корпус Виктора. На левом берегу остались только его аванпосты.

Генерал Эбле предупредил расположившихся громадным табором беглецов, чтобы они переправлялись сейчас, потому что утром мосты будут сожжены. Но его предупреждения послушались не многие. Усталость и апатия овладели беглецами. Они были рады, что можно легко разжечь костер из поломанных чужих телег, поджарить любой кусок конины (павшие лошади валялись сотнями), и не думали о завтрашнем дне.

Утром 17-го Наполеон узнал в Занивье неприятную весть: дивизия Партуно сдалась в Борисове русским, окружившим ее со всех сторон. С Партуно сдались генералы ле Камю и Бланмон. Это был первый случай за всю кампанию, когда капитулировала целая французская дивизия.

В императорской квартире, которая помещалась в одной старой хатенке Занивья, все возмущались и негодовали:

— Так мог поступить только трус!

— Или полная бездарность.

— А кажется, Партуно был неплохой генерал! Однако какая небрежность!

— Не небрежность, а подлость!

— Капитуляция дивизии — позор!

— Поучился бы мужеству у Нея: Ней был тоже окружен, но не сдался же!

— Если генерал не имеет мужества драться, он должен предоставить это дело своим гренадерам! Барабанщик спас бы товарищей от бесчестья, ударив сигнал к атаке. Любая маркитантка спасла бы дивизию, крикнув: «Спасайся кто может!», вместо того чтобы сдаваться! — кричал в гневе Наполеон.

Он велел отвести аванпосты Виктора и сжечь мосты: ждать было некого.

Когда стали отходить последние солдаты Виктора, среди беглецов поднялась невообразимая паника. Все бросились к мостам. Тысячи разного рода повозок, нагруженных награбленным московским добром, мчались к спускам. Они давили встречавшихся на их пути людей, сталкивались друг с другом, сцепливались постромками. Кучера рубили чужие постромки саблями, другие кучера рубили их же самих, повозки опрокидывались, сшибая и давя пеших. На упавшую повозку налетали следующие. Груды исковерканных повозок, лошадей и людских тел загромождали подход к мостам и сами мосты. Предсмертные крики, исполненные отчаяния и ужаса, дикая многоязычная ругань, бесполезные мольбы и

страшные проклятия висели над холодной рекой. На мостах творилось неописуемое.

Один из мостов провалился. Едущие, идущие сзади не видели этого, напирали, сбрасывая передних в воду, чтобы через минуту быть самим сброшенными туда же.

А с правого берега понтонеры уже подожгли смолистые бревна. Сухое дерево студенских хат быстро загорелось. Черный едкий дым окутал мосты, поплыл над рекой.

Наиболее отчаянные и одержимые протискивались сквозь горы лошадиных туш, опрокинутые повозки и людские трупы и кидались в огонь, надеясь сквозь дым и пламя пробежать на спасительный берег. Многие бросались вплавь.

Те руки, которые убивали, насиловали, грабили, жгли Москву, теперь цеплялись за тонкие льдины, за обледенелые окровавленные устои моста, те люди, которые принесли неисчислимые бедствия русской земле и ее народам, хотели спастись, уйти от заслуженной кары, но гибли в мутных, студеных водах Березины, отомстившей за Двину, за Днепр, за Колочу, за Москву.

И вот уже из-за холмов показались высокие казачьи шапки и острые пики.

«Великая армия», завоевавшая всю Европу, перестала существовать.

Глава шестнадцатая

НА КРЫЛЬЯХ СТРАХА

> Он на крыльях победы дерзновенно проник в Россию и на крыльях страха поспешил из нее.
>
> *Бошан*

> Бюллетень заключается, как и многие другие, словами: «Здоровье его величества было в наилучшем состоянии».
>
> Осиротевшие семейства! отрите слезы: Наполеон здравствует.
>
> *Шатобриан*

После Березины не стало ни центра армии, ни крыльев — все перемешалось: пехота, пушки, кавалерия.

Наполеон еще имел под ружьем двадцать тысяч человек: гвардию, кое-какие остатки армейских дивизий и корпуса Удино и Виктора, не успевшие окончательно утерять дисциплину и порядок. Эти боеспособные части по-прежнему тонули в многотысяч-

ной безоружной толпе бродяг, несмотря на то что в самой Березине и на ее левом берегу у Студенки осталось не менее тридцати тысяч человек.

Только значительно уменьшился обоз, в котором армия Наполеона увозила награбленное в Москве добро.

За Березиной усилились морозы. Стало еще труднее с ночлегом и добычей провианта, тем более что и в Белоруссии в деревнях и лесах наполеоновских солдат ждали крестьянские топоры и вилы и неумолимые казачьи пики.

Казаки не давали Наполеону покоя. С ними ложились и с ними вставали. Слово «казак» подымало лучше трубы и барабана. Неутомимые вездесущие донцы надоели Наполеону невероятно. Он все ждал, когда же прибудут к нему обещанные Варшавой «польские казаки».

Наполеон надеялся или только притворялся, будто надеется, что в Вильне армия станет на зимние квартиры и солдаты возвратятся под знамена. Он говорил Коленкуру, что в Вильне и Ковне у него большие продовольственные склады, что из Европы идут людские пополнения, и хвастливо заявлял:

— Я за неделю соберу в Вильне больше, чем русские у себя за целый месяц!

Наполеон сильно тревожился, какое впечатление на Францию и всю Европу произведет его отступление из России. Сообщения с Парижем были в последние дни прерваны.

Сидя в карете, Наполеон подготавливал очередной, двадцать девятый бюллетень, чтобы заставить Европу думать так, как хочет он, как ему выгодно.

— Я расскажу все, пусть лучше знают подробности от меня, чем из частных писем, — говорил он Коленкуру.

21 ноября, в прекрасный солнечный день, при легком морозце Наполеон прибыл в тихое белорусское Молодечно. В Молодечне беглецы нашли не столько муки и крупы, сколько сена и соломы, но изобилие фуража было ни к чему: лошадей осталось очень немного.

В Молодечне Наполеона ждали четырнадцать эстафет из Парижа и депеши из Варшавы и Вильны. Пока все еще было спокойно: Европа верила в силы и могущество Наполеона.

Но Варшава о «польских казаках» молчала.

Впрочем, Наполеон надеялся, что скоро перестанет вообще видеть казаков. Он собирался уезжать из армии в Париж и осторожно заговорил об этом в Молодечне с наиболее близкими ему из придворных, чтобы узнать их мнение. Первому он сказал своему обер-шталмейстеру. И не из-за того, что в расположении Колен-

кура находились эстафеты, лошади, все хозяйство главной квартиры, а потому, что Арман Коленкур был искренний и прямой человек.

— При нынешнем положении вещей я могу внушить почтение Европе только из дворца Тюильри, — доказывал император Коленкуру.

Коленкур понял Наполеона так: император торопится уехать, чтобы опередить известие об отступлении «великой армии».

Обер-шталмейстер принял сообщение императора спокойно и, как казалось Наполеону, вполне сочувственно.

Тогда Наполеон посвятил в свои планы Дарю.

Трезвый, рассудительный Дарю заметил, что не видит необходимости в отъезде императора: сообщение с Европой восстановлено.

— Я не чувствую себя достаточно сильным, чтобы оставлять между собою и Россией ненадежную Пруссию. Надо успокоить Францию и удержать немцев в повиновении. А чтобы не подвергаться излишним опасностям, надо уезжать немедленно!

Дарю выслушал доводы императора без возражений, но, видимо, остался при своем мнении.

— Кому же, государь, вы доверите армию? — спросил в этот же день Коленкур.

— Неаполитанскому королю или вице-королю, — ответил еще не решивший этого вопроса Наполеон. — Что думаете вы?

— Храбрость неаполитанского короля, безусловно, достойна полного уважения. Все помнят его многочисленные заслуги, но упрекают за то, что Мюрат погубил столь прекрасную кавалерию. Сумеет ли он реорганизовать армию? У него мало воли. Он самоотвержен в атаке, но сейчас не время для атак. Вице-короля ценят и любят больше, — ответил Коленкур.

Наполеон энергично защищал своего шурина, а не пасынка:

— У неаполитанского короля больше блеска, а теперь это нужнее; его ранг не позволяет подчиняться вице-королю. Если во главе армии останется вице-король, Мюрат покинет ее. За неаполитанским королем титул, возраст, репутация. Он внушает больше почтения всем маршалам, чем Евгений. Храбрость тоже кое-что значит, когда имеешь дело с русскими! Наконец, при нем я оставляю принца Невшательского! Бертье — придворный, привыкший к беспрекословному исполнению. Следовательно, в самой форме не будет никаких изменений.

Коленкур понял, что Наполеон не хочет выдвигать пасынка и далек от мысли оставить во главе армии наиболее даровитых маршалов вроде Даву. Император предпочитал блестящую куклу — Мюрата.

— И нечего откладывать в долгий ящик. Я уеду послезавтра из этого... из как его... из Шомона, — сказал Наполеон.

— Из Сморгони, — поправил Коленкур.

— Да, да. И держать все в строжайшем секрете, — приказал император.

Он боялся, как бы солдаты не возмутились его отъездом.

В тот же вечер в Молодечне император предупредил об отъезде начальника штаба. Когда толстый принц Невшательский узнал о том, что Наполеон, который не расставался с ним с итальянского похода 1796 года, покинет его, послушный, почтительный, ехавший целые версты с непокрытой головой за Наполеоном, он вдруг в первый раз посмел возразить обожаемому монарху.

Наполеон возмутился его неповиновением, стал упрекать шестидесятилетнего принца Невшательского (который плакал и сморкался, как шестилетний ребенок) в неблагодарности: ведь Наполеон так облагодетельствовал его!

— Вам необходимо остаться с неаполитанским королем. Я-то отлично знаю, что вы не годитесь никуда, но другие этого не знают, и ваше имя в армии довольно популярно! Я даю вам на размышление двадцать четыре часа. Или оставайтесь при армии, или уезжайте в свое Гро-Буа и торчите там до смерти, не смея больше показываться мне на глаза! — визгливо, сердито кричал Наполеон, хотя в эту минуту он только притворялся сердитым.

Бертье не ждал даже двадцати четырех минут, он тут же покорно согласился остаться. Положение его было незавидное: он обожал Наполеона, он старался во всем подражать императору. Теперь же вместо Наполеона будет Мюрат. А Бертье, маленький, толстенький, плохо сложенный и некрасивый, никак не похож на Мюрата, если не считать того, что оба они любят женщин.

Здесь же, в Молодечне, во дворце князя Огинского, Наполеон окончил и подписал свой знаменитый двадцать девятый бюллетень, в котором не было и намека на паническое бегство «великой армии» из России и на ее громадные потери. Наполеон в бюллетене не признавался лишь в том, что французская армия лишилась «значительного числа лошадей в коннице и артиллерии».

О самой особе императора в бюллетене было сказано правдиво:

«Здоровье его величества не оставляет желать ничего лучшего».

Тысячи людей «великой армии» гибли каждый день, но виновник всех этих несчастий, не изведавший ни голода ни холода, чувствовал себя превосходно: к чужим страданиям и бедам Наполеон был равнодушен.

Через день Наполеон был уже в заснеженной Сморгони.

Коленкур в строжайшем секрете приготовил все для отъезда императора, позаботился о лошадях до Вильны и об эскорте. Наполеон решил, кроме слуг, взять с собой Коленкура, Дюрока, графа Лабо и необходимого в пути польского капитана Вонсовича. Адъютанты и офицеры императорского двора должны были нагонять его в пути. Эскорту — тридцати гвардейским конноегерям, выбранным маршалом Лефевром из наиболее здоровых и лучших наездников, приказано было сопровождать императора только до Вильны. По Пруссии Наполеон собирался ехать под именем Коленкура, называясь его титулом «герцог Виченский».

И вот настал последний вечер — 23 ноября.

Императорская квартира располагалась в помещичьем доме. Гвардия по-прежнему окружала ее, но не так, как случалось на походе, когда император помещался в деревенской хате, а гвардейцы сидели под открытым небом на своих ранцах и дремали, поставив ружья меж колен. В Сморгони армия заняла все ближайшие постройки, и только у помещичьего дома стоял на карауле взвод гвардейцев.

В девять часов вечера император устроил у себя нечто вроде совещания, хотя каждый из участников понимал его театральность.

Наполеон пригласил к себе всех маршалов, находившихся в армии. Пришли Мюрат, Даву, Ней, Бессьер, Лефевр, Мортье, Евгений Богарне. Не было одного Виктора — он командовал арьергардом. Наполеон с небывалой предупредительностью встречал каждого из них, рассыпал любезности и похвалы, старался всячески расположить их в свою пользу.

Пасынок, бывший в натянутых отношениях с Мюратом, попросил Наполеона отпустить его в Италию, но император отказал.

Особенно лебезил Наполеон перед Даву. Увидев его, Наполеон пошел навстречу, спросил, почему его давно не видно, не покинул ли Даву императора.

— Мне казалось, что вы, государь, недовольны мной, — ответил хмурый Даву.

Наполеон наговорил Даву похвал его замечательным полководческим талантам.

Затем приказал Евгению Богарне прочесть двадцать девятый бюллетень, а потом объявил, что сейчас же уезжает в Париж с Коленкуром и Дюроком, и просил всех сказать свое мнение.

Никто не возражал императору, понимая, что это было бы бесполезно.

Наполеон благодарил всех за прекрасные действия во время кампании и постарался оправдаться в своих ошибках.

— Если б я родился на троне, мне было бы легче избежать ошибок. Я поручаю командование армией неаполитанскому коро-

лю, — сказал император напоследок. — Надеюсь, что вы будете повиноваться ему, как мне, и среди вас будет полнейшее согласие.

Он радовался в душе, что уезжает, что уже через час не увидит этих тысяч голодных, оборванных, замерзших людей, которых его ненасытная жажда власти и мирового господства заставила прийти в непреклонную, суровую страну. И от радости Наполеон, никогда не отличавшийся особыми сантиментами, поцеловал каждого из маршалов. После этого поторопился уехать.

Было десять часов вечера. Вызвездило. Стоял крепкий мороз — таких в Париже не случалось. Наполеон в шубе и шапке шмыгнул в поданный к крыльцу дормез. Коленкур сел с ним рядом. Вонсович, Рустан и берейторы Амодрю и Фагальд вскочили на коней: они должны были ехать рядом с дормезом. Эскорт конноегерей давно стоял наготове.

Когда лакей захлопнул дверцу дормеза и сани, легко поскрипывая полозьями по снегу, тронулись с места, Наполеон сказал вслух то, что, видимо, терзало его все дни:

— Я покинул Париж в намерении не идти войной дальше польских границ. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, может быть, я худо сделал, что слишком долго там оставался, но от великого до смешного — один шаг. И пусть меня судит потомство!

Он помолчал несколько минут в раздумье, потом прибавил:

— А собственно говоря, чего мне стоила вся эта история? Какие-то триста тысяч человек. Причем в их числе было столько немцев! — презрительно фыркнул он.

...А в это время к большому костру гвардии, где грелось много старших офицеров, подошел командир батальона гренадер и громко сказал:

— А все-таки разбойник удрал!

— Что, император уехал? Когда?

— Пять минут назад, — ответил угрюмо командир батальона, садясь к огню.

— Бросил армию?

— Да, позорно бросил!

— Ему не впервой: вспомни Египет!

— Сам удрал, а нас оставил на погибель... Это низко! Это подло!

— Что и говорить: беспорядок в лавочке! — попробовал пошутить кто-то.

Но император Наполеон не слыхал этих осуждающих слов — он убегал от справедливого мщения народов России, которых надеялся так легко и быстро поработить.

Глава семнадцатая

ВРАГ ИЗГНАН

Наполеон все царства поглощал
И никогда б глотать не утомился,
Да отчего ж теперь он перестал?
Безделица: Россией подавился!

Из стихов о войне 1812 года

I

Русская армия шла за бегущей армией Наполеона по пятам.

Хотя солдат был одет и обут, но русская армия на каждом биваке оставляла сотни людей больными. А во время ежедневных форсированных переходов по разбитым проселочным дорогам провиантские фуры не всегда поспевали за воинскими частями, и русскому солдату частенько приходилось потуже затягивать пояс.

Кутузов, как опытный военачальник, знал это и на биваке обязательно подъезжал к какому-либо полку, чтобы поговорить и подбодрить людей. Он помнил, как в солдатской песне поется:

Русский наш народ таков,
Он на все идти готов,
Лишь бы было нам дано
Хлеб, и мясо, и вино.

— Что это вы, братцы, едите? — по-отечески спрашивал он, подъезжая к пехоте на своем тихом белом мекленбуржце.

— Да вот остатний сухарик размочили в водице, ваше сиятельство.

— А что, хлебушка разве нет?

— Нет, ваше сиятельство, — смущенно, точно провинившиеся в чем-то, отвечали пехотинцы.

— А говядины?

— Никак нет! — уже чуть свободнее говорили служивые.

— А вина?

При магическом слове «вино» обветренные солдатские лица расплывались в улыбке. Солдаты уже хором с мрачной веселостью кричали:

— И вина нет!

Фельдмаршал насупливался и громко, чтоб все слыхали, кричал, грозя кому-то невидимому нагайкой:

— Погодите же вы, провиантские крысы! Я вас всех вздерну на виселицу! — И, обратившись к солдатам, успокаивающе гово-

рил: — Завтра же, ребятушки, вам доставят всего: и хлеба, и мяса, и вина.

— Покорнейше благодарим, ваше сиятельство! — весело отвечали солдаты.

Фельдмаршал светлел. Минутку молчал, а потом подмигивал левым, зрячим глазом и говорил вразумительно, не спеша:

— А матушку Расею освободить от злодея надо! Надо добить лютого врага, а то, пока мы будем отдыхать, он унесет ноги...

— Вестимо, надо!

— Да мы что! Мы готовы! — гудели солдаты, окружившие Михаила Илларионовича.

И с привала уходили хоть и не сытыми, но бодрыми. Шли, пересиливая все невзгоды и тяготы, шли с одной мыслью — выгнать врага с родной земли.

И гнали его все дальше, к Березине, где должны были встретить непрошеных гостей менее уставшие, мало сражавшиеся армии Витгенштейна и Чичагова.

А они, Витгенштейн и Чичагов, сплоховали.

Малоталантливый, слабовольный и робкий, Витгенштейн не посмел ударить, как следовало бы, по маршалу Виктору. Путь для Витгенштейна был совершенно открыт, но он боялся, что за Виктором стоит сам Наполеон. Витгенштейн не хотел ставить под удар свою репутацию «спасителя Петербурга».

А совершенно бездарный, хоть и волевой, адмирал Чичагов ушел по глупости с того места, где ему лучше всего следовало бы стоять, поджидая Наполеона.

И Наполеон проскользнул между ними двумя.

Когда в ставке главнокомандующего узнали, что Наполеон перешел через Березину, Кутузов был искренне огорчен.

Михаил Илларионович все время твердо держался одного убеждения: сильного врага, нагло вторгшегося в Россию, надо только выбросить за ее пределы. Незачем жертвовать русскими людьми и непременно добивать его тут же в угоду Англии. Но коль скоро представлялась возможность сообща уничтожить «великую армию» у Березины, следовало воспользоваться ею. И вот теперь такая возможность была позорно упущена.

В штабе главнокомандующего все возмущались глупейшими действиями адмирала Чичагова:

— Эх он, сальная пакля! Зря потерял три дня, двинувшись неизвестно зачем к Шебашевичам. Упустил «барина»!

— Да, господин адмирал изволил хорошо сесть на мель!

— И скажи, как они собрались там все на букву «ч»: Чичагов, Чаплиц. Черта только не хватает. Умники! Полководцы!

— Чичагов-то хоть в сражениях на сухом пути когда-нибудь бывал?

— Нет.

— Ну, знаешь: не учась и лаптя не сплетешь...

— А зачем тогда лезть в командование армией?

— Всякому лестно!

— Сказано: як не коваль, той рук не погань! — вставил присутствовавший при разговоре офицеров кутузовский Ничипор.

Среди солдат пошла ходить неизвестно кем пущенная молва:

— Аполиён подкупил адмирала: дал ему десять бочек золота!

Осторожный Михаил Илларионович публично не осуждал императорского любимчика, но наедине с Павлом Андреевичем Резвым обсуждал происшествие.

— Жаль, что я не послал к нему на помощь Карлушу Толя, — говорил Кутузов.

— Думаете, Чичагов послушался бы Карла Федоровича? — спросил Резвой. — Никогда! Капитан Лузгин жаловался: говорит, Чичагов не верит ни советам таких опытных людей, как его начальник штаба Иван Васильевич Сабанеев, ни донесениям разведки — никому. Все хочет сам. Своим разумением!

— Адмирал сотворен по образу и подобию своего дружка, императора Александра Павловича. Одного поля ягодки. Как он будет слушать мнение какого-то Сабанеева, если Сабанеев — русский? Это же не Вейротер и не Вильсон. Они оба, и Александр и Чичагов, презирают нас, русских! — сказал Михаил Илларионович и продолжал, смеясь: — Да на Павла Васильевича-то, собственно, и жаловаться нельзя: он адмирал, с него и спрос невелик. И подумаешь, что он такое сделал? Надо было идти влево, а адмирал пошел вправо, к Шебашевичам... А вот генерал Чаплиц — тот настоящая корова: торчал у Зембина, где по болотам одни гати проложены, где длиннющие мосты, и, уходя, не догадался их сжечь! Не генерал, а мамврийский дуб! — стучал по столу пальцами Михаил Илларионович.

В кутузовском штабе все были возмущены Чичаговым. Один Вильсон, знавший англоманию Чичагова, щадил адмирала. Вильсон распространил всюду нелепую мысль, будто в том, что Наполеону удалось уйти, виноват не кто иной, как... Кутузов.

Михаил Илларионович подъезжал к своей, как он издавна называл, «доброй Вильне». Он любил этот маленький, уютный городок, укрывшийся среди зеленых холмов, между которыми бежит широкая, веселая Вилия. Любил узкие средневековые виленские улочки, Острую Браму, гордую Замковую гору, роскошный генерал-губернаторский дворец.

II

Михаил Илларионович два раза служил в Вильне военным губернатором, жил в ней привольно и не скучно.

И вот он приехал в Вильну в третий раз — главнокомандующим русскими войсками, перед которыми бежали разгромленные остатки «великой армии».

28 ноября войска Чичагова заняли Вильну. Михаил Илларионович попросил адмирала подождать его в городе и, опередив главную армию, приехал на следующий день после взятия Вильны, в восемь часов вечера, в любимый город. У городской заставы Кутузова встретил временный комендант Вильны с казачьим конвоем.

Михаил Илларионович ехал по слабо освещенным виленским улицам, которые еще были загромождены брошенными фурами, разного рода санями, завалены телами павших лошадей и замерзшими трупами солдат армии Наполеона, валявшимися всюду. На площадях горели костры: мороз был жесток.

В знакомом Михаилу Илларионовичу дворце его ждал адмирал Чичагов. Он был в морском вицмундире, с кортиком и фуражкой в руке. Чичагов, нарочно не надевший для встречи парадного мундира, не расшаркивающийся перед главнокомандующим, старался казаться независимым и гордым. Он понимал, что его карьера сухопутного полководца кончена и нечего зря притворяться.

Чичагов принужденно вежливо (он, так же как и Александр I, не любил Кутузова) отдал фельдмаршалу строевой рапорт и вручил городские ключи, о существовании которых Михаил Илларионович как-то до сих пор и не подумал.

Кутузов же встретил адмирала с подчеркнутой любезностью.

— Поздравляю вас, ваше превосходительство, с одержанными победами над врагом и вместе с сим благодарю вас за ваши распоряжения, — сказал Кутузов.

Фраза имела несколько оттенков. Для простодушных в ней заключалась преувеличенная похвала: какие особенные «победы» одержал адмирал Чичагов? И неужели приказ Чаплицу отойти от Брилей к Борисову можно считать заслуживающим благодарности?

Для скептика же в фразе сквозила насмешка.

Чичагов прижал подбородок к шее и, едва разжимая губы, ответил с плохо скрытой злостью:

— Честь и слава принадлежат вам одному, ваше сиятельство, ибо все, что ни делалось, все, что ни исполнялось, исполнялось буквально во всей силе слова повелений ваших, следовательно, победа и все распоряжения есть ваше достояние!

Михаил Илларионович не стал спорить с адмиралом, а обнял его за талию и повел в каминную. Кутузов мог идти во двор-

це, закрыв глаза, — так все было знакомо. Даже лакеи остались те же.

— Ваши экипажи с посудой и столовым серебром, захваченные французами в Борисове, отбиты. Я велел их доставить вам, — сказал Кутузов, возвращая адмирала к его борисовским «победам».

— Благодарю вас, — вспыхнул Чичагов. — У меня хватает посуды. Я могу предоставить ее вам, если вы пожелаете давать обеды!

Позор Березины следовал за адмиралом как тень. От этого пятна Чичагову не удалось избавиться до смерти, несмотря на все ухищрения английских друзей оправдать действия Чичагова.

III

«Я в прошлую ночь не мог почти спать от удивления в той же спальне, с теми же мебелями, которые были, как я отсюда выехал, и комнаты были вытоплены для Бонапарте, но он не смел останавливаться, объехал город около стены и за городом переменил лошадей», — писал жене на следующее утро из Вильны Михаил Илларионович.

Отправив курьера с донесением и письмами в Петербург, фельдмаршал поехал встречать первые полки главной армии, вступающей в Вильну.

Он остановился на просторной кафедральной площади у величественного собора святого Станислава — здесь должны были проходить полки.

День выдался чудесный — солнечный, тихий. Мороз не сдавал, снег искрился и скрипел под ногами. Михаил Илларионович вылез из саней и стоял, окруженный генералами и адъютантами. Поодаль, у большого костра, жалась кучка любопытных горожан.

Пришедшие в Вильну полки готовились к смотру на площади у ратуши. К ним поскакал адъютант главнокомандующего Дзичканец сказать, что фельдмаршал ждет.

Михаил Илларионович ходил, поглядывая на высокую колокольню собора, на заснеженную Замковую гору с остатками башни Гедимина, потирая уши — мороз был знатный.

И вот от ратуши показалась колонна гренадер. Солдаты шли в разной одежде и обуви: одни в сапогах, другие в валенках, кто в шинели, а кто в полушубке, рядом с форменным, но холодным кивером виднелась какая-нибудь неположенная, но теплая меховая шапка.

Шли весело и бодро.

Было радостно смотреть на войска, которые уничтожили такого грозного врага. Было приятно сознавать свое превосходство и силу.

— Песенники, вперед! — невольно вырвалось у фельдмаршала.

Из рядов гренадер выбежали десятка два людей. Впереди всех, лихо заломив кивер, у которого не хватало султана, приплясывал курносый молодой гренадер. И вместо привычных солдатских песен:

Мы, гвардейские солдаты,
Идем с радостью в поход...
Ах, мы Польшею идем,
Сами песенки поем...

курносый вдруг завел совершенно иную, неожиданную:

Весела тогда бываю
И довольна я судьбой,
Все на свете презираю,
Когда миленькой со мной!

И, повторяя припев, курносый гренадер при словах «когда миленькой со мной» задорно указал рукой на стоявшего впереди свиты Кутузова.

Это было так неожиданно просто и сердечно, что Михаил Илларионович рассмеялся.

Смеялась и вся свита.

А песня катилась дальше:

Как музыка ни играет,
Забавляя мя собой,
Но то лучше утешает,
Что мой миленькой со мной.

И запевала вновь указал рукой на фельдмаршала, а песенники с еще большей удалью и присвистом подхватили слова припева.

— Выдать от меня по полтине на брата! — обернулся Михаил Илларионович к смеющемуся Резвому.

Гренадеры уже поравнялись с собором, и приплясывающий запевала уже не был виден, но песня все гремела:

То мне служит в утешенье,
Было б в тягость что одной:
Разделяет упражненье
Всегда миленькой со мной!

Встречать истинных победителей было приятно, но совсем не радовала Михаила Илларионовича встреча с «победителем», который всю тяжкую кампанию спокойно просидел в тепле и неге петербургского Зимнего дворца. Александр I, узнав, что Вильна отбита от врага, заторопился из Петербурга к армии — он не доверял Кутузову и хотел взять управление в свои руки.

Старая неприязнь Александра к Кутузову неоднократно прорывалась в течение всей кампании. Хотя император в рескриптах к

Кутузову и подписывался «в прочем пребываю Вам благосклонный», но настоящая благосклонность в отношениях Александра к почтенному полководцу и не ночевала. Александр был недоволен Кутузовым за Москву, за Тарутино, за Малоярославец, за Красный — за все. Александру казалось, что Кутузов всегда делает наперекор ему. Император не желал понимать простой истины: Кутузов радел о благе России, а он, Александр I, о своем престиже и собственной славе.

Размолвки происходили на каждом шагу. Уже на третий день пребывания в Вильне фельдмаршал в рапорте писал императору:

«Главная армия, быв в беспрестанном движении от Москвы до здешних мест на пространстве почти тысячу верст, несколько расстроилась. Число ее приметно уменьшилось, и люди, делая форсированные марши и находясь почти день и ночь то в авангарде, то в беспрестанном движении для преследования бегущего неприятеля, в очевидное пришли изнурение; многие из них отстали и только во время отдохновения армии догнать могут.

Во уважение сих обстоятельств, дабы войска Вашего императорского величества привесть в желаемое состояние и с лучшими успехами действовать на неприятеля, я положил дать здесь отдых главной армии на несколько дней, что, однако ж, может продолжаться до двух недель».

Несколько дней назад он писал об этом же из Родошковичей, а теперь повторял свою окончательную просьбу.

Но не успел курьер выехать из Вильны, как прискакал фельдъегерь из Петербурга и привез не считающийся ни с чем строгий приказ императора:

«Никогда не было столь дорого время для нас, как при теперешних обстоятельствах, и потому ничто не позволяет останавливаться войскам нашим, преследующим неприятеля, ни на самое короткое время в Вильне».

Александр I не больше жалел русских солдат, чем Наполеон жалел немецких!

Предстоял серьезный разговор по поводу дальнейшего ведения войны. Александр I рвался освобождать Европу, готовился проливать русскую кровь во имя интересов Англии и Пруссии. А Кутузов, зная цену «дружбе» европейских держав, считал не только ненужным, но и неосмотрительным усиливать немцев: они клянутся в дружбе, а за пазухой всегда держат нож. Эти «друзья» легко могут оказаться врагами.

Кутузов готовил императору строевой рапорт. Рапорт получался малоутешительным. Когда главная армия выходила из Тарути-

на, в ней насчитывалось девяносто семь тысяч человек при шестистах двадцати двух орудиях. К Вильне же пришло лишь тридцать тысяч при двухстах орудиях. Двенадцать тысяч человек убитыми во время преследования французов, а сорок восемь тысяч заболевших по дороге остались лечиться в госпиталях.

Враг уже изгнан из России. В журнале военных действий Кутузов записал:

«Следы неприятеля остались видимыми только по костям его, усеянным по полям, начав от Москвы и до границы».

Пора остановиться, поставить точку. А Александру все еще хочется самому взять реванш за Аустерлиц, ему не дают спать лавры Кутузова.

11 декабря 1812 года император Александр I приехал вечером в Вильну.

В монастырях и госпиталях трупы французов валялись грудами. Не было ни одного дома, где бы не лежали раненые или больные. Но улицы Вильны, по которым должен был следовать к генерал-губернаторскому дворцу Александр, были иллюминованы, а сам дворец сиял огнями.

Фельдмаршал Кутузов, в парадном мундире, с лентой через плечо, встретил императора у дворца, рапортовал ему о том, что 2 декабря остатки главной французской армии перешли Неман. Из трехсот восьмидесяти тысяч, вошедших в пределы России с многочисленной артиллерией, едва осталось пятнадцать тысяч без единого орудия. Вручил императору строевой рапорт.

Александр прошел по фронту выстроенного почетного караула — роты лейб-гвардии Семеновского полка — и вместе с Кутузовым направился во дворец, расточая комплименты старому фельдмаршалу, — притворяться императору было привычно и легко. Кутузов только почтительно кланялся, думая про себя: «Врешь, не проведешь!»

Улыбаясь налево и направо генералам и виленской знати, собравшейся приветствовать русского императора, Александр прошел в кабинет, где его ожидали уже лакеи и приехавший вместе с другими петербургскими сановниками обер-гофмаршал Толстой.

Михаил Илларионович понимал, что император устал с дороги и его следует оставить одного, но не мог не высказать тотчас же главной своей мысли, которая мучила Кутузова все время:

— Ваше величество, ваш обет исполнен: на русской земле не осталось ни одного вооруженного неприятеля. Теперь от вашего величества зависит исполнение второй части обета — прекратить брань.

Александр, конечно, предвидел, что Кутузов заговорит об этом. Он ответил заранее приготовленной фразой. В ней сквозь льстивое признание заслуг Кутузова проглядывало непреклонное намерение царя продолжать дальше эту ненужную для России войну.

— Михаил Илларионович, вы спасли не только Россию, вы спасли Европу! — сказал, стараясь не смотреть на фельдмаршала, император.

Кутузов понял, что государь будет стоять на своем.

Он поклонился и ушел из кабинета в залу, где еще все ждали, не зная, выйдет к ним император или нет.

Не прошло и минуты, как дверь кабинета отворилась и из нее вышел обер-гофмаршал Толстой. Он нес на серебряном блюде орден Георгия первой степени. Толстой подошел к Кутузову, говорившему с генерал-адъютантом царя князем Волконским и статс-секретарем Шишковым, и почтительно протянул Михаилу Илларионовичу блюдо, сказав:

— Его императорское величество жалует вам, князь, орден Георгия Победоносца первой степени.

Обер-гофмаршал подчеркнул слово «Победоносца».

Михаил Илларионович с поклоном взял дрожащей рукой орден, олицетворяющий победу России.

Все окружили его, наперебой поздравляя с высокой наградой.

Кутузов машинально благодарил, но плохо слушал эти излияния. Он думал свое: «Да, русский народ отстоял Отечество и избавил Европу от тирании! Спасенная Европа, конечно, постарается поскорее забыть об этом подвиге России.

Но история, но наши потомки забыть не должны!..»

1951—1960

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ
7

АДМИРАЛ УШАКОВ
455

КУТУЗОВ
707

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Издательство просит отзывы об этой книге и Ваши предложения по серии «Полное издание в одном томе» присылать по адресу: 125565, Москва, а/я 4, «Издательство АЛЬФА-КНИГА» или по e-mail: mvn@armada.ru
Информацию об издательстве и книгах можно получить на нашем сайте в Интернете: ***http://www.armada.ru***

Литературно-художественное издание

Полное издание в одном томе

Леонтий Иосифович Раковский

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ
АДМИРАЛ УШАКОВ
КУТУЗОВ

Исторические романы

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ

Заведующий редакцией
В. Н. Маршавин

Ответственный редактор
Е. Г. Басова

Художественный редактор
Л. В. Меркулова

Технический редактор
А. А. Ершова

Корректор
Н. А. Карелина

Компьютерная верстка
Т. А. Рогожиной

Подписано в печать 18.05.11. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 80,00. Доп. тираж 5000 экз.
Изд. № 6096. Заказ №3575.

ООО «Издательство АЛЬФА-КНИГА»
125565, Москва, а/я 4; ул. Расковой, д. 20

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.oaompk.рф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЬФА-КНИГА представляет серии

«ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ»
и «ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ДВУХ ТОМАХ»

Н. КАРАМЗИН ..... История Государства Российского. Полное издание в одном томе

А. АФАНАСЬЕВ ..... Народные русские сказки. Полное издание в одном томе

А. ЛОПУХИН ..... Библейская история Ветхого и Нового Заветов. Полное издание в одном томе

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ ..... Христос и Антихрист. Полное издание в одном томе

А. СОЛЖЕНИЦЫН ..... Архипелаг ГУЛАГ. Полное издание в одном томе

В. КЛЮЧЕВСКИЙ ..... Курс русской истории. Полное издание в одном томе

Н. КОСТОМАРОВ ..... Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Полное издание в одном томе

А. РЫБАКОВ ..... Дети Арбата. Страх. Прах и пепел. (Трилогия). Полное издание в одном томе

С. ВИТТЕ ..... Воспоминания. Полное издание в одном томе

✦ ✦ ✦

ПЛУТАРХ ..... Сравнительные жизнеописания. Полное издание в одном томе

ДЖ. ВАЗАРИ ..... Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе

Ф. ГРЕГОРОВИУС ..... История города Рима в Средние века (от V до XVI столетия). Полное издание в одном томе

Ф. ГРЕГОРОВИУС ..... История города Афин в Средние века (от эпохи Юстиниана до турецкого завоевания). Полное издание в одном томе

А. ДЮМА ..... Королева Марго. Графиня де Монсоро. Сорок пять. (Трилогия о Генрихе Наваррском). Полное издание в одном томе

А. ДЮМА ..... Три мушкетера. Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон. (Трилогия о мушкетерах). Полное издание в двух томах

А. ДЮМА ..... Граф Монте-Кристо. Полное издание в одном томе

А. ДЮМА ..... Жозеф Бальзамо. Полное издание в одном томе

Ж. ВЕРН ..... История великих путешествий. Полное издание в одном томе

Ж. ВЕРН ..... Дети капитана Гранта. Двадцать тысяч лье под водой. Таинственный остров (Трилогия). Полное издание в одном томе

М. ПРУСТ ..... В поисках утраченного времени. Полное издание в двух томах

Ж. САНД ..... Консуэло. Графиня Рудольштадт. (Дилогия). Полное издание в одном томе

М. МОНТЕНЬ ..... Опыты. Полное издание в одном томе

АРАБСКИЕ СКАЗКИ ..... Книга тысячи и одной ночи. Полное издание в двух томах

О. ШПЕНГЛЕР ..... Закат западного мира. Полное издание в одном томе

Э. СЮ ..... Агасфер. Полное издание в одном томе

Издание серии продолжается

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЬФА-КНИГА представляет серии

«ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ» и «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ В ДВУХ ТОМАХ»

А. ПУШКИН ..... Полное собрание сочинений в одном томе

Н. ГОГОЛЬ ..... Полное собрание сочинений в одном томе

М. ЛЕРМОНТОВ ..... Полное собрание сочинений в одном томе

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ ..... Полное собрание романов в двух томах

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ ..... Полное собрание повестей и рассказов в одном томе

Л. ТОЛСТОЙ ..... Полное собрание романов и повестей в двух томах

Л. ТОЛСТОЙ ..... Полное собрание рассказов и пьес в одном томе

А. ЧЕХОВ ..... Полное собрание повестей, рассказов и юморесок в двух томах

А. ЧЕХОВ ..... Полное собрание пьес в одном томе

А. АХМАТОВА ..... Полное собрание поэзии и прозы в одном томе

Б. ПАСТЕРНАК ..... Полное собрание поэзии и прозы в одном томе

М. БУЛГАКОВ ..... Полное собрание романов, повестей, рассказов в одном томе

М. БУЛГАКОВ ..... Полное собрание пьес, фельетонов и очерков в одном томе

М. ЦВЕТАЕВА ..... Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в одном томе

А. КУПРИН ..... Полное собрание романов и повестей в одном томе

А. КУПРИН ..... Полное собрание рассказов в одном томе

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ ..... Полное собрание сочинений в одном томе

С. ЕСЕНИН ..... Полное собрание сочинений в одном томе

О. МАНДЕЛЬШТАМ ..... Полное собрание поэзии и прозы в одном томе

✦ ✦ ✦

И. ФЛАВИЙ ..... Полное собрание сочинений в одном томе

В. ШЕКСПИР ..... Полное собрание сочинений в одном томе

МОЛЬЕР ..... Полное собрание сочинений в одном томе

БРАТЬЯ ГРИММ ..... Полное собрание сказок и легенд в одном томе

Г. Х. АНДЕРСЕН ..... Полное собрание сказок и историй в одном томе

О. УАЙЛЬД ..... Полное собрание прозы и драматургии в одном томе

А. КОНАН ДОЙЛ .... Полное собрание произведений о Шерлоке Холмсе в одном томе

Р. КИПЛИНГ ..... Полное собрание рассказов для детей в одном томе

Г. К. ЧЕСТЕРТОН ..... Полное собрание произведений об отце Брауне в одном томе

Ф. КАФКА ..... Полное собрание сочинений в одном томе

Э. А. ПО ..... Полное собрание сочинений в одном томе

ЭЗОП, ЛАФОНТЕН, КРЫЛОВ ..... Полное собрание басен в одном томе

Г. СЕНКЕВИЧ ..... Полное собрание исторических романов в двух томах

Издание серии продолжается

«Издательство АЛЬФА-КНИГА»
представляет

ПОПУЛЯРНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ
в серии

«ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ»

Валерий
ЯЗВИЦКИЙ

ИВАН III –
ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Валентин
КОСТЫЛЕВ

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Юрий
ГЕРМАН

РОССИЯ МОЛОДАЯ

ISBN 978-5-9922-0725-5